

2005 14 ПОБЕРЕЖЬЕ

2005 14 ПОБЕРЕЖЬЕ



# ПОБЕРЕЖЬЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕГОДНИК



14

---

**THE COAST**  
PHILADELPHIA  
2005

**Президент общества «Побережье» ТАТЬЯНА АИСТ**  
**Вице-президент АЛЕКСАНДР ВЕККЕР**  
**Главный редактор ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН**

*Номер подготовили:* редакторы Валентина Демидова (проза), Марина Гарбер, Татьяна Меликова (поэзия), Евгения Каценелинбойген (литературоведение), Татьяна Аист (переводы); корректоры-редакторы Мария Холоденко, Мара Барас. Изобразительное искусство и оформление Юрий Крупа, Виталий Рахман, редактор по вопросам искусства Ахир Гопалдас (Ahir Gopaldas). Отдел переписки Виктория Кругликова; отдел компьютерного обеспечения Александр Синдаловский. Консультанты: Наталья Гельфанд (вопросы литературы), Роман Волькович, Сергей Якличкин (технические вопросы).

**Номер подготовлен при содействии и участии Vital Connections, Inc. (Виталий Рахман).**

**Основан в 1992 году в Филадельфии, США**

**ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ**

Обложка и титульный лист выполнены Сергеем Голлербахом  
Заставки к разделам выполнены Ланой Райберг

Редакция сердечно благодарит всех спонсоров.

Авторские тексты могут быть посланы в редакцию только в электронном виде и по e-mail по адресу:  
editor@coastmagazine.org

Присланные материалы не возвращаются.

Редакция оставляет за собой право отказывать в публикации рукописей без объявления причины.

При перепечатке ссылки на «Побережье» обязательны.

Мнения авторов не всегда совпадают со взглядами редакторов и издателей.

Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование принятых для публикации текстов.

Ответственность за достоверность публикаций и точность фактического материала (даты, цитирование, сверка с первоисточником, ссылки, переводы с других языков и т.д.) несут авторы материалов.

Авторы в индивидуальном порядке защищают свой copyright ©.

Неопубликованные рукописи не рецензируются, и редакция не вступает по этим вопросам в переписку.

Журнал не коммерческое издание, работы авторов могут быть использованы как в общеобразовательных целях, так и для исследований.

Адрес редакции:

**THE COAST**

**9921 Bustleton ave., unit W-10**

**Philadelphia, PA 19115 USA**

**www.coastmagazine.org**

**E-mail: editor@coastmagazine.org**

**ISSN 1057-932X**

**Printed in the United States by Morris Publishing**

**3212 East Highway 30**

**Kearney, NE 68847**

**1-800-650-7888**

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА

Георгий Демидов. Начальник. ....	6
Ирина Чайковская. Кольцо. ....	21
Гарри Ферр. Лоухи. ....	26
Валерий Дашкевич. Свадьба. Рассказ. ....	33
Давид Шраер-Петров. Кругосветное счастье. ....	36
Петр Ильинский. Наша Родина, как она есть. ....	42
Александр Синдаловский. Юнг. Три предсказания. ....	48
Михаил Бару. Новый русский хайбун. ....	55
Сергей Исаев. Господи, помилуй мя, грешного. ....	65
Татьяна Калашникова. Улица надежд. ....	67
Борис Клетинич. Мое частное бессмертие. Фрагмент из повести. ....	69
Виктор Каган. Синяя птица. ....	70
Ян Гамарник. Всё, что когда-нибудь будет. ....	75
Елена Скульская. Хлеб на рюмке. Фрагменты. ....	79
Максим Д. Шраер. Судный день в Амстердаме. Рассказ. ....	90
Михаил Садовский. Последнее слово. ....	98
Валерий Вотрин. Гримаса сдерживающего смех. Рассказ. ....	99
ЛеГеза. Тигрица Мотя. Роман в письмах. ....	105
Хаим Венгер. Письмо без обратного адреса. Рассказ. ....	112
Геннадий Ушеренко. Предсказание. ....	115
Лана Райберг. Поездка за удачей. ....	117
Ольга Гринвуд. Сатир. Сказочка. Зарисовки из больницы Сен-Пьер. ....	121
Валерий Любанов. Баня. ....	125
Александр Мигунов. Вниз, к отраженным звездам. Рассказ. ....	129
Тамара Москалёва. Ворожейка. (Из цикла «Урал. Моё заречье»). ....	134
Марина Стуль. Непростая история. ....	135
Александр Виткин. Встречи... ....	141
София Кугель. О Майкле Дж. Никласе. ....	144
Майкл Дж. Никлас. Из далекого прошлого. ....	144
Как я появился на свет. Мое первое прозвище. (Авторизованный перевод с английского). ....	144
Слава Полишук. Вместо автобиографии. ....	144
Яков Липкович. Одиночество (эссе). Знакомый незнакомец (рассказ). ....	152
Игорь Михалевич-Каплан. Кризис. Рассказ. Из цикла "Седой снег". ....	153

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРА

Марина Кацева. «Ужасно будет, если он умрет не оправданный...». (М. Цветаева. Из письма Сталину). ....	156
Текст черновика письма М.И. Цветаевой Сталину. ....	157
«Опять подошли незабвенные даты...». Анна Ахматова и Марина Цветаева. ....	160
Невероятный Булгаков. К 115-ой годовщине со дня рождения. ....	162
Ирина Чайковская. Генри Джеймс и русские. ....	163
Где был ЧиЖик? Чуковский и Жаботинский. ....	173
Вадим Скуратовский. Поединок со злом. К 80-летию сюрреализма. ....	177
Возвращаясь к Булгакову. 1. Был ли прототип у Мастера в последнем романе писателя. ....	178
2. Исторический контекст последней пьесы «Батум». ....	178
Марина Гарбер. О читателях поэзии. ....	181
Ирина Панченко. Науму Моисеевичу Коржавину – 80. «Ведь нет кроме нас трубачей на земле». ....	183
Наум Коржавин. Упоение у бездны. (Москва сорок четвертого, «Молодая гвардия»). ....	184
Вместо послесловия к воспоминаниям Наума Коржавина о московском литературном объединении 40-х годов «Молодая Гвардия». Зарисовка из прошлого (Глеб Казимирович Васильев). ....	189
Евгения Жиглевич. Смерть в Вене. К кончине англо-американского поэта Уистона Одена в 1973 г. ....	190
Анатолий Либерман. Курочка ряба. ....	191
Ирина Панченко. Агитпеса Юрия Олеши «Слово и дело». Архивная находка. ....	195
Эдуард Штейн. Неизвестный Георгий Иванов. После телефонного звонка. ....	198
Ян Пробштейн. Неприкаанный покой. Два Ангела. Первоначальное слияние. ....	201
Вильям Баткин. Осененный осенью поэт. Памяти патриарха русской поэзии Израиля – Савелия Гринберга. ....	211
Лев Бердников. Вертопрах, любовью исправленный. «Представь мне шеголя». ....	213
Марк Лейкин. Новеллы памяти. К трехлетию кончины Фридриха Горенштейна. ....	227
Марина Гарбер. «Киев. Русская поэзия. XX век» (ред. Ю. Каплан). Ирина Машинская, «Путнику снится». ....	228
Михаил Бриф, «Галера». Юлия Кунина, «Ночные шуточки пространства». Виктор Фет, «Многое неясно». ....	232
Ирина Чайковская. Три жизни Сергея Голлербаха. ....	234
Михаил Сергеев. Панорама российского религиозного юмора. ....	236
Наталья Гельфанд. Учёный и библиограф. Рец. на «Биобиблиографический указатель» В. Скуратовского. ....	236
Надежда Банчик. Лев Толстой как слеза несбывшихся надежд. ....	238
Анатолий Либерман. Владимир Батшев: Власов: Опыт литературного исследования. Т 4, чч. 13-16. ....	242
Риталий Заславский. Избранные сочинения в 6-ти томах. ....	243
Игорь Михалевич-Каплан, составитель. (По материалам выставки «Княгиня и гражданин»). ....	244
Петр Ильинский. Ларчик открывается. ....	246
Ирина Панченко. Юбилей свершившихся надежд. ....	249
Выставка живописи в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити. ....	253
Светлана Азволинская. Русский след в музыкальной истории Филадельфии. ....	253
Ксения Гамарник. Русское искусство в Америке. ....	259
Игорь Михалевич-Каплан. Там была сцена, здесь – зритель. О творчестве композитора Т. Меликовой. ....	262
Евгения Гейхман. Вспоминая Руфь Зернову. ....	263
Вадим Смоленский. Quo vadis? (Куда идешь?). О музыке XXI века. ....	259
Лариса Матрос. Человек, это звучит горько... ....	265



## ПОЭЗИЯ

София Кугель. «Стихи, что лава...».		Виталий Рахман.	320
О поэзии Льва Озерова.	270	Юрий Левин.	321
Лев Озеров.	270	Игорь Михалевич-Каплан.	
Рина Левинзон.	272	«А я внутри травы небесной».	323
Аркадий Кайданов.	273	О поэзии Сергея Дмитриевского	
Лоренс Блинов.	274	Сергей Дмитриевский (1961-2006).	323
Юрий Бердан.	277	Георгий Садхин.	326
Валерий Лукин.	278	Анатолий Либерман.	328
Сергей Яровой.	282	Александр Синдаловский.	329
Елена Максина.	283	Антонина Калинина.	330
Борис Ганкин.	284	Татьяна Калашникова.	334
Ольга Гришина.	286	Евгений Минин.	336
Ольга Родионова.	288	Юрий Попов.	337
Борис Кушнер.	290	Катерина Тараненко.	338
Михаил Мазель.	293	Михаил Сергеев.	339
Александр Габриэль.	293	Александр Казанцев.	339
Эрик Фридман.	295	Леонид Буланов.	343
Дмитрий Полищук.	295	Михаил Канова.	344
Ян Торчинский.	296	Михаил Беркович.	345
Марина Гарбер.	298	Феликс Чечик.	346
Аркадий Застырец.	300	Низль.	348
Григорий Тисецкий.	302	Михаил Ромм.	349
Евгения Гейхман.	302	Людмила Некрасовская.	350
Борис Юдин.	303	Валерий Пайков.	351
Вильям Баткин. «Я кричу невыкричанным криком».		Надежда Банчик.	354
О поэзии Анны Фишелевой.	303	Лариса Матрос.	355
Анна Фишелева.	304	Виктор Фег.	356
Валерий Дашкевич.	305	Владимир Микушевич.	356
Михаил Фокс.	307	Таня Варен. О поэзии Сергея Шелкового.	358
Алексей Дмитриев.	308	Сергей Шелковый.	358
Ольга Русакова.	309	Макс Ремпель.	360
Игорь Михалевич-Каплан.	311	Инна Санина.	361
Евгений Дубнов.	311	Давид Шраер-Петров.	365
Инна Богачинская.	312	Ян Пробштейн.	368
Григорий Марговский.	313	Елена Иоффе. О поэзии Бориса Сохрина.	369
Роман Камбург.	315	Борис Сохрин.	369
Александр Крамер.	317	Гари Лайт.	370
Виктор Бушев.	318	Александр Цыганков.	372
		Иосиф Витебский.	373

## ПЕРЕВОДЫ

Марина Гарбер. Клаудио Бальони. Пропавшие. (Пер. с итальянского).	381
Джонатан Сафран Фоер. Из романа «Всё освещено». Глава «Книга повзрослевших снов». (Пер. с англ.).	
Ян Пробштейн. Из английской поэзии XVII в. Джон Марстон. Ричард Лавлейс,	
Генри Воэн, Томас Тразн.	381
Александр Воловик (1931-2004). Иегуда Амихай. Бог милосерден к маленьким детям. (Пер. с иврита).	381
Владимир Розенталь. Вильям Шекспир, Генри Лонгфелло, Валтер Скотт, Джонатан Свифт, Вильям Блейк,	
Оскар Уайльд, Джордж Гордон Байрон, Перси Бишу Шелли, Редьярд Киплинг, Уолт Уитмен. (Пер. с англ.).	
Василий Симоненко, Леся Украинка, Тарас Шевченко. (Пер. с укр.).	391

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Сергей Голлербах. Заставки к обложке и титульному листу.	1, 2.
Лана Райберг. Заставки к разделам.	5, 155, 269, 375
Афиша премьеры балетного спектакля «Антигона» русско-американской компании	
Ребекки Дэйвис со штаб-квартирой в Филадельфии.	57
Эмиль Анцис. «Уход».	97
Иллюстрации к статье М. Кацевой. Текст черновика письма М.И. Цветаевой Сталину.	
Справка о реабилитации Сергея Эфрона.	158-159
Иллюстрация к статье Ирины Панченко. Ю. Олеша. Рисунок И. Игина.	198
Обложка буклета Филадельфийской выставки: «Княгиня и гражданин».	
Екатерина Романовна Дашкова, Бенджамин Франклин и эпоха Просвещения.	245
Светлана и Леонид Закурдаевы. Резьба по дереву.	282, 299, 347
Алексей Сторонкин. Живопись на холсте. Масло.	291
Андрей Бузилов. Война. Графика.	310
Фотопортрет поэта Сергея Дмитриевского (1961-2006).	325
Валерий Грязнов. Фотозтюд.	336
Сцена из спектакля «Гость и хозяин» в постановке театра «Синетик» (Вашингтон).	
Пьеса Важи Пшавелы. Режиссер Паата Цицуришвили.	366
Сергей Жуков. Карандаш. В балетной студии Ольги Кресиной.	381, 388

ОБ АВТОРАХ.	389
-------------	-----

---

# ПРОЗА

---



---

ПОБЕРЕЖЬЕ

---

Грузовик свернул с шоссе в узкий, извилистый распадок и через несколько минут остановился. Это значило, что наш маленький этап прибыл на место своего назначения - "дорожный" лагерь двести тридцатого километра Тембинской трассы, где мы будем обслуживать самый скверный участок одной из самых скверных колымских дорог. Знать пункт своего назначения, а, следовательно, и свой маршрут, этапникам, конечно, не полагается. Однако, в пределах Колымо-Индигирского района особого назначения это правило соблюдается редко. Здесь такая осведомленность вряд ли поможет бежать даже самому решительному арестанту, кругом ведь "вода, а посередке - беда". Тем более не может быть в ней никакого проку для трех десятков "доходяг", вывозимых с недалекого отсюда прииска "Порфирный". Мы были списаны с него за непригодность к дальнейшему использованию в качестве "исполняющих обязанности рабочих" или "вторых", как называли еще заключенных в официальных бумагах того времени. Будучи врагами народа, мы считались недостойными носить гордое звание «Рабочий».

Но если называть вещи своими подлинными именами, то ближе всего заключенные в те годы находились к положению рабочего скота, не имеющего, к тому же, никакой бухгалтерской ценности в отличие от скота четвероногого. Особенно после того, как двуногие "рогатники" утрачивали способность не только "водить" автомобиль "рено" (ручек две, а колесо одно), но, зачастую, даже передвигать собственные ноги.

Мы слышали, как вышел из кабины, ехавший рядом с шофером начальник нашего конвоя, и направился с этапными документами на лагерную вахту; как со своего сиденья-доски в передней части кузова прыгнули два солдата. Не отходя от машины, они курили, разминая затекшие ноги и, теперь уже не зло, поругивали чертову "Тембинку".

Никто из нас не поднял головы, чтобы взглянуть на свой новый лагерный "дом". Все продолжали сидеть на дне кузова, уткнувшись лицом в колени и натянув на головы вороты своих ватников. Спины этих ватников и нахлобученные на самые уши тонкие каторжанские картузики густо облепил снег. Снег был и на дне кузова и слегка уже подтаивал под жесткими мослами, заменявшими нам теперь ягоды. Таял он и вокруг пальцев, торчащих из рваных резиновых "чуней" - подобие калош, одетых на босу ногу.

От того, что в глубоком распадке не было жестокого, пронизывающего ветра, и мы не слышали больше его злобного воя, наше оцепенение полумертвых от холода дистрофиков начинало проходить. Но еще не настолько, чтобы кто-нибудь из нас добровольно предпринял хотя бы малейшее движение. Почти не было в здешнем распадке и снега. Он только слегка еще припорошил склоны сопок, обступивших расположенный здесь лагерь и крыши его бараков. Облепивший нас снег мы привезли с перевала, с которого только что спустились. Говорили, что паскуднее Остерегись нет перевала не только на тембинском отвлении главного колымского шоссе, но и на всей

Колыме. Трудность его преодоления заключалась не только в крутизне и узости петлястой дороги на сопку. Эта трудность едва ли не круглый год усиливалась снежными заносами, которые наметала здесь свирепая, никогда не утихающая пурга. Хребет Тас-Кыстабыт был тут достаточно высок, чтобы соскабливать на себя в виде снега почти всю влагу, которую несли с Тихого океана, достигающие здешних мест ветра и предоставлять им полную свободу. По меньшей мере три четверти года перевал Остерегись, если, конечно, он был вообще проходим, являлся пугалом даже для неробких и бывалых колымских шоферов.

Стоял только еще конец августа. Но наш слабосильный "газ" едва пробился сегодня через заносы, которыми снежная буря на сопке успела уже переместить ее "пережимы". Так назывались здесь узкие до жути карнизы, вырубленные в боках угрюмой конической горы взрывами аммонита и кирками строителей дороги, всё тех же "и.о.рабочих". Зима на перевале со странным и пугающим названием-предостережением начиналась на добрый месяц раньше, чем на других участках и всюду-то неприятного и зловещего Тас-Кыстабыта.

Мороз только вступал еще в силу, но ветер эту силу тут никогда и не терял. На поворотах "серпантина", по которым петляла дорога, карабкаясь на хмурую и высоченную Остерегись, казалось, что ветер вот-вот сбросит в тартарары наш старый грузовик с его задыхающим мотором. А поскольку это пока ему не удавалось, он обрушивал всю свою злобу на нас, голодных и полураздетых пассажиров этого грузовика. Ветер, как плетью, хлестал нас снегом, сметая его со склонов и скал сопки, штопором вкручивал этот снег в неплотности "щита", который образовали наши спины, когда все мы, как перочинные ножики, сложились вдвое на щелястом полу дряхлого кузова. Кроме этого "щита", своих изодранных ватников да еще привычного тупого терпения мы ничего не могли противопоставить ледящей, как будто сознательно злобной стихии. Вот разве только еще свою, благоприобретенную за долгие годы каторги, способность впадать в полубесчувственное состояние, нечто подобное анабиозу низких животных.

Каждый из нас, кто пережил эту каторгу, нередко задавался потом вопросом: смог бы он прежде, когда был еще сытым и здоровым человеком, выносить то, что выносил впоследствии в состоянии крайнего истощения. И сам давал на него неизменно однозначный ответ - нет, не смог бы! Во всяком случае без тягчайших последствий. Парадоксальный вывод, который следует отсюда, находит свое объяснение. Людей, попадающих в обстановку хронических, неизбывных бедствий, нередко спасает от окончательной гибели почти полное притупление их нервной и психической восприимчивости. У большинства из нас это притупление достигало такой степени, что не только душевных, но даже особенно острых физических страданий мы уже не испытывали. Мучительные эмоции и бесчисленные болевые сигналы, посылаемые в мозг страдающим телом, в конце концов были просто выключены каким-то мудрой. Бывают обстоятельства, когда они являются даже не бесполезным излишеством, а

опасным и вредным усложнением. Поведение изуровненных до крайности людей всегда подчиняется еще одному закону - подсознательному режиму экономии жизненных сил. Без настоящей необходимости доходяги не делают ни одного лишнего движения, часто производя при этом впечатление тупоумных или глухих. Некоторые утрачивают даже способность дрожать от холода. Все эти полезные теперь качества удалось, конечно, приобрести не сразу и далеко не всем. Подавляющее большинство привезенных на Колыму арестантов, не обладавших некоторым предварительным запасом физической и душевной прочности, или не получивших сколько-нибудь достаточного времени для акклиматизации в условиях голода, холода и изнурительной работы, давно уже лежали "под сопками" с фанерной биркой на левой ноге.

Мы почти не разговаривали. Дистрофики отличает еще и тупая молчаливость, способная произвести иногда впечатление немоты. Только в самом начале подъема на перевал, увидев вершину Остерегись в косматой шапке бурана, молодой хлопец откуда-то из Приднепровья вспомнил, видимо, свое село: - А у нас зараз чернослив уже поспевает...

Ему никто не ответил. А потом мы сжались на полу своего грузовика до физически возможного предела и почти полностью выключились из активной жизни. Сначала, когда машина "забуривалась" в очередном сугробе, конвоиры пытались согнать нас на дорогу и заставить подтолкнуть застрявший грузовик. Но мы оцепенело продолжали сидеть на своих местах, как будто не слыша свирепых окриков и даже не чувствуя пинков. Кончалось это всегда тем, что изматерившись до хрипоты, нащелкавшись затворами винтовок и пнув того, кто был поближе сапогом или прикладом, солдаты слезали сами. В своих крепких яловых сапогах, шапках-ушанках и дубленных полушубках они приплясывали у борта машины, который заслоняла их от ветра. В это время шофер-заключенный, конечно из "бытовиков", энергично шуровал лопатой, выгребая из-под колес газики снег. Потом садился за руль и, гудя и завывая под стать ветру, грузовик снова двигался по страшному прижиму до следующего заноса.

Но однажды он застрял, казалось, совсем уж безнадежно, и солдаты решили продолжать движение своего этапа пешком. Мы уже переваливали через вершину сопки, но на этой стороне ветер был еще лютее. Стараясь перекричать этот вой, конвоиры совещались у кабины грузовика, обсуждая вопрос, как им быть с нами: оставить ли замерзать в кузове или согнать с него и заставить зайти хотя бы за ближайший поворот? Солдаты не сомневались, что в этом случае мы загнемся еще быстрее. Но было желательно, чтобы осталось какое-то доказательство существования мер, предпринятых для нашего спасения. Хотя и почти уже бросовой, но мы числились рабочей силой, и бойцам ВОХР надлежало показать своему начальству, что они пекутся об ее сохранении. Мат и щелканье затворов были на этот раз особенно свирепыми. Но и теперь никто не поднялся с места даже при ударе окованным торцом приклада. Тогда вохровцы отстегнули задний борт кузова и стали сдергивать с него людей на снег. Те падали, почти не меняя своей скрюченной позы эмбрионов, как будто были уже окаменевшими трупами. Только парень из украинского села, вспоминавший о своем черносливе, сделал слабую попытку под-

няться. Но взглянув сквозь разрывы в снежных вихрях на теснящиеся до самого горизонта, гигантские черные конусы, он снова опустился на снег. Его сосед по сугробу слышал как хлопец по-детски заплакал в ладони прижатых к лицу рук: - Матинко моя ридна... Убедившись, что заставить своих подконвойных двигаться самостоятельно им никак не удастся, солдаты прокричали, что за такое неподчинение нас следовало бы расстрелять. Но делать этого нет необходимости, так как через какой-нибудь час мы подохнем тут и сами. И что это будет очень хорошо. Меньше останется на свете "темнил" и дармоедов, которых надо охранять да еще и тютюшкаться с ними... Солдаты закинули на плечи винтовки, обошли грузовик, перед которым продолжал раскапывать сугроб упрямый водитель, и пошли на спуск, утопая в снегу. Но тут шофер, рискуя свалиться вместе с нами и машиной с узенького карниза над тремя километрами крутого склона, провел ее по притоптанному конвойными снегу и каким-то чудом сумел вывести грузовик на нижние петли серпантина.

Все это происходило каких-нибудь полчаса тому назад. Мы не подошли и на этот раз и теперь с медлительностью оттаивающих рептилий соображали, неужто снова остались живы? Наконец кто-то из вохровцев крепко постучал прикладом винтовки о борт нашего грузовика и прокричал ненатуральным утробным и угрожающе свирепым басом: - А ну, вылазь! Быстро! Вряд ли конвойный, отдавший этот приказ, надеялся на особую быстроту его выполнения. Не было в такой быстроте сейчас и никакой необходимости. Но таков уж привычный стиль обращения к охранникам к заключенным. Почти все их распоряжения начинаются с этого - "А, ну!" - и кончаются почти обязательным - "Быстро!"

Мы зашевелились в своей полузасыпанной снегом коробке и начали медленно подниматься на онемевших ногах. Прошла ни одна минута прежде, чем все пассажиры грузовика поднялись, наконец, на ноги и стояли в нем полусогнувшись, как будто боясь стряхнуть облепивший их снег. Понадобился повторный окрик, подкрепленный густым лагерным матом, чтобы мы начали неуклюже переваливаться через высокие борта машины. Приземлиться без падения на каменную почву удалось не многим, почти все свалились на нее мешком. Но доходяги ушибаются в таких случаях редко. Выручает легковесность - у большинства вес тела достигает едва половины нормального - и своего рода натренированность. Дистрофики падают очень часто, почти на каждой, попавшей под ноги кочке.

Наконец, кое-как из кузова выбрались все и стояли тесной кучкой - обтянутые дряблой кожей и обвешанные невообразимой рванью скелеты. Рвань официально именовалась лагерным обмундированием "третьего срока". Сквозь громадные прорехи штанов из бумазеи, надетых только на короткие ветхие трусы, виднелись синие узловатые палки ног. Ватники у многих были изодраны и прожжены настолько, что фестоны грязной ваты, свисавшей у них вокруг бедер, образовывали у некоторых подобие ритуальных поясов как у африканских шаманов. - Ну и фитили! Плотный человек в новых ватных штанах и такой же телогрейке - по видимому здешний староста или нарядчик восхищенно скалился, глядя на нас: - Вот уж фитили... Дает Король! - А ты что, работаг от него ждал? - усмехнулся

немолодой надзиратель, вероятно, дежурный по лагерю. - Пока из последнего доходяги последней тачки грунта не выбьет, с прииска не отпустит. Разве что в Шайтанов Распадок...

Веселый придурак - оказалось, что он тут и надзиратель и староста одновременно, так как лагерь был малочисленный - захохотал. Как и "дежурняк" он, видимо, хорошо знал прииск, с которого нас привезли, и его начальника Королева, прозванного "Королем" за властность и бессердечную расчетливость рабовладельца. В Шайтановом Распадке расположилось лагерное кладбище Порфирино. Говорили, что из десяти эзков, проработавших у Королева два сезона, девять отправляются на "Шайтанку". Мы принадлежали к той десятой части, которая умудрилась на Шайтанку не попасть и теперь подлежала как "отработанный пар" передаче лагерям неосновного производства. Предполагалось, иногда не без некоторого основания, что в качестве дорожников, лесорубов, рабочих сельскохозяйственных лагерей и т.п. мы еще сможем некоторое время приносить Дальстрою некоторую пользу. Однако, даже такую сомнительную рабсилу рачительные хозяева основных предприятий, вроде того же Королева, старались удержать у себя до крайнего, возможного предела в надежде, конечно, выбить из них лишнюю тачку золотоносного грунта. В смысле времени, таким пределом здесь были последние числа августа и вот почему: первого сентября зимний сезон в Дальстрое считался уже официально наступившим. А это значило, что "покупатель", т.е. лагерь, куда прииск или рудник направлял, удовлетворяя его заявку, партию "крепостных" третьего сорта, если заключенные не были одеты, пусть в драное, но все же зимнее, обмундирование мог этой партии и не принять. Но поступить так еще вечером тридцать первого августа покупатель права не имел. Сегодня было как раз тридцать первое. Кулак Королев резонно рассудив, что добытые нами тачки песка уже не окупят даже рваных ватных штанов и бурок ЧТЗ, в которые прииск обязан был бы обрядить нас завтра и "сбагрил" доходяг на Тембинку точно "впритирку" с концом сезона.

- Шмутье-то на фитилях в утиль только, - заметил староста и, покрутив головой, добавил: - Утиль в утиле присылает жмот... - Под "жмотом" он подразумевал, конечно, Королева и, довольный забавным сочетанием слов, захохотал. - Ничего не скажешь, Королев - мужик хозяйственный... - согласился с ним дежурный и крикнул: - А ну, разбирайся по пяти! Быстро! - Что это могло относиться только к нам, явствовало уже из интонаций команды-окрика. Такие басовитые, ненатурально свирепые интонации умеют придавать своему голосу, кроме пастухов и погонщиков животных, только тюремные надзиратели и конвойные солдаты. Вяло перебраниваясь, мы начали бестолково строиться в шеренги, в которых вместо пяти, у нас получалось то четыре, то шесть человек. Предстояла обычная канитель сдачи-приема полученного лагерем пополнения. Но затем нас, конечно, пустят в сарай. Перспектива обогреться и, быть может, получить миску горячей баланды воодушевила даже самых "доходных". Поэтому через каких-нибудь минут пять мы уже построились в несколько кривеньких, колеблющихся рядов.

Из проходной вахты лагеря вышел угрюмый человек в офицерской фуражке и ватнике защитного цвета.

Его давно небритое и как будто заспанное лицо показалось мне не только уже виденным где-то, но и хорошо знакомым. Но вот где и когда виденным, этого я припомнить не мог. - Те работяги, - пренебрежительно махнул на нас рукой дежурный, обращаясь к человеку в защитном ватнике. - Будем принимать? - Это был скорее полувопрос, чем вопрос, но он означал, что человек с заспанным лицом - начальник здешнего лагеря.

Тот посмотрел в нашу сторону, но как будто сквозь нас равнодушным, каким-то пустым взглядом. Ощущение от этого взгляда было таким, как если бы на месте глаз на одутловатом лице начлага находились две небольшие дырки. Снова во мне зашевелилось ощущение, что когда-то я много раз ощущал на себе этот неприятный взгляд. Но вялая память дистрофика отказывалась что-либо уточнить в этом неопределенном воспоминании. Да и мало ли я видел за свой, почти уже пятилетний каторжный срок, всяких лагерных угрюм-бурчеевых! А память доходяги такая штука, что даже товарища, с которым пару лет спал рядом на одних нарах, через год узнать уже не можешь. Поглядев на нас, а точнее на место где мы стояли с полминуты, начальник неопределенно повел плечом и зашагал куда-то в сторону, не удостоив своего подчиненного ответом. Но пройдя несколько шагов и что-то, видимо, вспомнив, он вернулся к дежурному, державшему пакет, поданный ему начальником нашего конвоя, мотнул подбородком в нашу сторону и что-то ему сказал. Теперь пожал плечами уже дежурный. Было похоже, что он не был уверен в разумности какого-то распоряжения, полученного от начальника. И хотя оно, несомненно, касалось нас, вряд ли это распоряжение могло быть серьезным. Формально мы даже не были еще приняты в здешний лагерь, и дело шло, вероятно, о помещении, в которое нас следует сейчас отвести.

Началась давно всем знакомая процедура приемки заключенных от этапного конвоя. Лагерный староста громко зачитывал очередную фамилию по списку, извлеченному из запечатанного пакета. Вызванный должен был отозваться своим именем-отчеством, годом рождения и "установочными данными". У многих эти данные выражались длинным рядом путанных букв и цифр, запомнить и произнести залпом которые не всегда может даже человек с ясной головой. Тут же были люди, из которых далеко не все могли сразу припомнить даже собственное отчество.

Деменция. Таким ученым словом врачи называют слабоумие, вызванное хроническим голоданием. Для человека, находящегося в этом состоянии, хитроумная цифирь почти кодовых обозначений статей и пунктов уголовного кодекса, по которым он был осужден, бывает почти непосильной для припоминания. Доходяги путали срок со статьей, ее пункты с данными о поражении в правах и т.п. У некоторых получалось что-то вроде: "Статья... как ее... два "а", срок - пятьдесят восемь лет..."

Развлекаясь замешательством и бестолковостью дистрофиков, староста мурыжил их тем усерднее, чем меньше у тех сохранилось способности к запоминанию и элементарному соображению. Кроме веселой забавы тут было, очевидно, еще приятное чувство превосходства над этими людьми. Поэтому, когда кто-нибудь из вызванных зарпортовывался совсем уж

безнадежно, придурок со нисходительным презрением махал рукой и приказывал: - Ладно уж, отойди! И где вас только понабирали, таких чугреев? - Многие из "чугреев" имели высшее образование и даже ученые степени.

Наконец ритуал приобщения нас к списочному составу лагеря Двести Тринадцатого километра закончился. Получив от дежурного надзирателя расписку, что партия заключённых принята в полном составе и сохранности, одетая "по сезону" и накормленная "по норме", наш бывший конвой удалился. Еще раньше укатил в здешний гараж на своем грузовике наш лихой водила. Теперь оставалось только войти в лагерь и облепить печку в каком-нибудь из бараков. Холод чертового перевала засел, как нам казалось, самые кости. И кто знает, может быть, казавшийся незлым комендант прикажет даже выдать нам по черпаку баланды, хотя свой целодневный рацион мы получили еще ранним утром на прииске. Поэтому, не ожидая команды и почти без обычной бестолковости, мы сами построились по пяти перед лагерными воротами. Но их почему-то не открывали. Дежурный комендант ушел на вахту, а староста не только не оценил нашей организованности и инициативы, но еще и обругал: - Чего это вы, как бараны на ворота уставились? Они ж не новые... - Это была очередная острота, и довольный ею староста захохотал.

Мы слабо загалдели: - Как чего? Разве нас не в этот лагерь привезли? - Староста ухмыльнулся: - В этот. Но только до возвращения работяг с трассы, вас не велено в него пускать. Чтобы вокруг столовой да на помойке не шакалили Приказ начальника!

Мы запротестовали уже громче: - Где это видано, чтобы озьябших людей обогреться не пускать? Мы ж тут загнемся до вечера! Староста перешел на решительный тон: - Не загнетесь! А ну, отойди от ворот, кому сказано? - Привычным движением сытый и дюжий придурок пнул плечом крайнего в переднем ряду. Удар был умело нацелен наискось нашего строя? и он оказался мгновенно смятым. Несколько человек упали наземь. - Вот это - да, - довольно загоготал староста, - первого бьешь, а десятый валится... - Но тут он построжал снова: - Вот что, фитили! Стоять тут и ни шагу в сторону пока развод не вернется! Не то... - Он указал на место на углу зоны, ткнул рукой в сторону вышки с часовым и показал как вскидывается винтовка: - Понятно? Это-то было понятно. Но вот зачем здешнему начальнику понадобилось держать нас на холоде до вечера, этого мы понять не могли. Чтоб не шакалили! Так в его лагерь мы приехали не на один только сегодняшний день!

По всему было видно, что ни в зоне, ни за зоной тут особенно-то и не расшакалишься. Немного в стороне от лагеря сбились в кучу несколько самодельных лачуг. В них жили, наверно, вчерашние здешние эки, отбывшие в этом лагере срок и оставшиеся работать на дороге. В стороне от них стояли домики казенного вида, очевидно квартиры дорожного начальства, надзирателей и этого прохиндея здешнего начальника. А что он прохиндей сомнений быть не могло. Иначе зачем бы ему так бесцельно мучить только что доставленных к нему работяг? День едва только перевалил на свою вторую половину, а развод вернется с работы уже затемно. Значит торчать вот так нам придется часов шесть или семь. - Хороший хозяин и собаку в дом

обогреться пускает... - вздохнул кто-то. - Так то хороший... - возразил ему другой. - Садись, на чем стоишь! - сказал кто-то из наших немногочисленных блатных и опустился на притрушенную снегом землю, привычно натянув на голову драную телогрейку. Кое-кто последовал его примеру, но большинство осталось стоять на ногах, сбившись в тесную кучу, как овцы перед бураном, - не так холодно и надо меньше усилий, чтобы не свалиться. Разговоров больше никаких не велось, мы снова впали в состояние обычного полуоцепенения.

Лагерь дорожников занимал всю ширину узкой впадины между двумя довольно высокими сопками. На третью, замыкавшую распадок, он вползал доброй третью своей площади. Небрежно обритая пилами эзков она некрасиво щетинилась тонкими разной высоты пнями, здесь был когда-то редкий и чахлый лиственный лес. На боковых сопках, как видно, никогда ничего не росло. Бурые, в красноватых промоинах от весенних потоков, а теперь еще и посеревшие от присыпавшего их первого снега их склоны имели унылый и тоскливый вид. Распадок расположился высоко в горах и через его открытый конец был виден типичный для этих мест угрюмый горный пейзаж, напоминавший поверхность кипящего густого варева, внезапно застывшего в своем котле. Некоторые из дальних сопкок тоже были уже посеревшими от снега, другие оставались еще темными. И только одна, гораздо выше и ближе других, была уже совсем белой на добрую треть своей высоты. Кроме того, ее контуры на фоне тяжелых снеговых облаков были не резкими, как у соседних гор, а казались размытыми. Особенно на вершине, которая как бы дымилась и постоянно меняла свои очертания. Ниже, по заснеженным склонам висела узенькая полоска серпантина, которая на своих верхних петлях то показывалась сквозь рваную занавеску пурги, то снова за ней скрывалась. Конечно же, это была Остерегись.

По площади своей зоны и числу бараков лагерь Двести Тринадцатого был довольно велик. Но большая часть его строений стояла сейчас заколоченной. Некоторые бараки, давно уже заброшенные, совсем покоились, а на их крышах из дранки зияли большие дыры. Здешний лагерь, видимо, кишел эсками во времена строительства Тембинской трассы, когда в нем жили те, кто прокладывал тяжелый участок этой дороги и вырубал карнизы на склонах окаянной Остерегись. Почти все эти люди давно отдыхали вон там, где под бурым горным склоном находилось лагерное кладбище. Его было легко узнать по длинным рядам колышков с фанерками на верхнем конце. На этих дощечках размером с небольшой тетрадный лист были выписаны все те же "установочные данные", от которых заключенному никуда не уйти и после своей смерти.

В зоне лагеря никого сейчас не было видно. Только из задней двери лагерной кухни несколько раз выходил какой-то "кухраб" с помойным ведром, в грязной белой куртке, да к избушке санчасти проковылял человек, двумя руками опирающийся на кривую палку. Кухраб сонно и безо всякого любопытства поглядывал на нас с полминуты, а калека и вовсе не обратил внимания. Очевидно здесь освобождали от работы только таких больных, кто в доказательство своей болезни "приносил под мышкой" собственную голову. Обычно



прохиндей-начальники под стать себе подбирают и лагерную обслугу.

И обнесенная колючей проволокой лагерная зона меж безрадостных гор, и вышки-раскаряки на ее углах с безразлично поглядывавшими на нас часовыми, и ворота из жердей, сколоченные не без некоторой затайливости и напоминавшие деревенскую первомайскую арку - все это было уже тысячу раз виденным, осточертевшим "до блевотины", как говорят блатные. Такой же надоевшей была и выцветшая надпись над воротами, предупреждавшая за подписью самого Сталина, что "Кто не работает, тот не ест". Уже кто-кто, а мы то знали, что в лагере только тот и ест, да еще "от пуза", кто не работает, и как этот здешний староста погоняет да мучает других. Нет, ничего доброго не сулил нам этот вымерший лагерь! Когда на Порфирном нам объявили об отправлении на этап, у многих шевельнулась надежда попасть в такое место, где посытнее кормят. Пределом таких мечтаний являются сельхозлагеря, в которых, однако, на Колыме занято вряд ли более половины процента ее бесчисленных заключенных. Но перед самой посадкой в машину мы узнали, что "проданы" в дорожный лагерь да еще на Тембинскую трассу и всякая надежда угасла. В дорожных лагерях кормили еще хуже, чем на приисках, ведь это было не основное производство, а работа здесь была того же типа, с постоянным применением кайла, лопаты и тачки. Правда, по своей напряженности она, обычно, не была такой каторжной. На основном производстве главный залог выполнения производственного плана заключался в умении не щадить ни сил, ни жизни заключенных рабов, и многие из начальства в этом умении преуспевали. На уже действующих дорожных участках постоянного повода для проявления особого начальственного усердия не было, дело сводилось тут только к поддержанию дороги в рабочем состоянии. Тем более не было начальникам дела до того реален или нереален подтвержденный дорожным десятником объем работы, необходимый для выведения эскам их скудной "шестисотки". Действительно ли существовала показанная в рабочей ведомости как удаленная горная осыпь или она осыпалась с карандаша этого десятника? И не увеличил ли этот карандаш вдвое, а то и втрое число кубометров отброшенного снега? Лагерная "туфта-матка", праведная "ложь во спасение" процветала здесь всюду, но "заряжать" ее на дорожных работах было проще, чем на всех других. Случалось, что такая туфта была просто необходима. В дни, например, когда работы почти не было или сильная пурга делала всякую работу бесполезной. В такие дни и конвоиры, которые тоже предпочитали тепло казармы ветру и морозу трассы, нередко уводили заключенных в лагерь раньше положенного времени. Лагерное начальство обычно не замечало этого нарушения режима.

Все эти спасительные отступления от гулаговских предприятий проводили к тому, что заключенные дорожных лагерей могли существовать на своем голодном пайке довольно долго, гораздо дольше, чем на приисках. На вопрос о своем житье-бытье они обычно отвечали: - К бабе не захочешь, но помереть не помрешь... - Так до поры отвечали и дорожники Двести Тринадцатого, хотя их положение было хуже, чем у других. Ведь именно на их участке громоздилась Остерегись, одно восхождение на которую требовало

больше энергии, чем ее заключалось во всей их традиционной шестисотке хлеба. Спасти здесь заключенных от быстрого смертельного изнурения мог только неглупый и незлой начальник. Но по дороге сюда мы видели на Остерегись прижавшихся к ее скалам и полужансененных снегом здешних эзков с лопатами. Они, конечно, ничего не делали, так как работа по расчистке дороги в такую пургу является бросовым мартышкиным трудом. На место одной отброшенной лопаты снега ветер тут же намывает десять. Заставлять истощенных людей делать альпийское восхождение на гору, чтобы заниматься на ней бесполезной работой, мог, даже по колымским понятиям, только последний прохиндей или дурак. Отсюда было видно, что фанерок с лагерными эпитафиями на здешнем кладбище подозрительно много. Обычно они не выстаивают больше одного-двух лет, и присутствие такой фанерки на колышке служит свидетельством относительной недавности погребения.

На вышках лагеря сменились часовые. Они принимали свои посты, когда нас проверяли по списку. Значит с тех пор прошло уже четыре часа. В распадке почти стемнело, хотя горы вдаль были видны еще довольно хорошо. Но теперь тяжелые серые тучи спустились еще ниже и неслись быстрее, временами задевая за вершины сопок, обступивших казавшийся замершим лагерь. Перестала быть видной и вершина Остерегись. Ее укутали лохматые облака, сгрудившиеся вокруг сопки ниже, чем в других местах. В каком-то сарае за зоной застучал движок, и над колючей оградой лагеря вспыхнули тусклые фонари. Теперь небо казалось совсем черным, и на нем были видны только слегка подсвеченные этими фонарями разломаченные края самых низких из облаков. Но внизу, по-прежнему, были тихо. С точки зрения защиты от ветра место для лагеря было выбрано удачно.

Шел, вероятно, уже десятый час вечера. Так как утренний развод во всех лагерях производится в шесть часов утра, то здешних заключенных, значит, заставляют находиться на трассе полных четырнадцать часов - продолжительность рабочего дня, принятого для промывочного сезона на приисках и совершенно не обязательного здесь. Тем более на такой работе как сегодняшний мартышкин труд на сопке. Даже Король на Порфирном морил людей только тогда, когда надеялся на получение в результате этого нескольких лишних грамм "первого металла", как играя в какое-то подобие полусекретности, колымское начальство называло золото.

Наконец, со стороны входа в распадок послышались хриплые окрики и понукания конвоиров. Скоро в свете призонных фонарей показались возвращавшиеся с работы дорожники. Они, как и следовало ожидать, с ног до головы были облеплены снегом. На плечах люди несли железные и деревянные лопаты, долженствующие по мысли здешнего начальника, противостоять действию горной пурги. Вид у заключенных, даже у тех кто шел впереди, был едва ли не хуже, чем у работающего прииска. Там почти всегда находились относительно еще свежие люди. Здесь же была сплошная "слабосиловка". Небольшая колонна, человек всего в двести, растянулась на добрых полкилометра. Задние, несмотря на окрики и даже толчки прикладами, еле плелись. И все же среди этих людей нашлись такие, которые проявили к новичкам некоторый интерес.

Обычно он связан с надеждой найти среди новоприбывших знакомых. В течение безрадостной лагерной жизни это вносит иногда, хотя и кратковременное - на один-два вечера - оживление. Говорить, оказывается, обычно почти не о чем - всюду одно и то же.

Один из таких любопытных подошел к нам почти вплотную, вглядываясь в серые лица прибывшего пополнения. - Что у вас тут за начальник? - Спросил я у него. Вопрос был почти праздным. Ответ на такой вопрос давала и физиономия здешнего начальника и обстановка в лагере. Как вскоре выяснилось, это мне только казалось. Спрошенный хотел что-то ответить, но тут конвойный, только сейчас заметивший присутствие на плацу новых заключенных, замахнулся на нас прикладом: - А ну, отойди! - Нас отогнали шагов на двадцать в сторону. После того, как развод выстроился перед лагерными воротами по пяти, их открыли. - Первая, вторая... - начал отсчитывать проходящие мимо него шеренги дежурный. Очередь ряда, в которой находился парень, спрошенный мною про начальника, была еще далеко. Видимо обязательный человек, он пытался теперь ответить на мой вопрос странными телодвижениями. Рисовал рукой в воздухе круг с каким-то крючком сбоку, показывая как держит на этой руке что-то тяжелое, затем опускал ее на уровень бедер и хлопал себя по штанам. За этим занятием он не заметил как его пятерка тронулась вперед, и, получив от вохровца доброго матюга, побежал ее догонять. Я, конечно, ничего не понял.

К нам подошел уже знакомый староста: - Ну, бригада ух, становись по пяти! - "Бригада ух, работает с десяти до двух!" была одной из многих, не слишком блещущих остроумием, лагерных присказок. Уже на территории лагеря, провожая нас в какой-то дальний барак, староста еще раз предупредил, что если кто-нибудь из нас "сорвется" по дороге в надежде "пошалакалить", то такого ждет карцер. Постоянное повторение одинаковых угроз и предостережений как детям или слабоумным, было вызвано тем, что доходяги, и в самом деле, обычно ведут себя как умственно неполноценные люди.

Барак, в который он нас привел, был совершенно пуст и, видимо, давно уже необитаем. Даже при свете фонаря "летучая мышь", который принес с собой староста - шел третий год войны и электролампы на Колыме стали крайне дефицитным предметом - было видно, что и на покосившихся нарах, и на железной печке барака лежит толстый слой пыли. В помещении было холодно как в сарае и нигде не было видно и намека на дрова. На вопрос, где их взять, староста ответил, что на склоне какой-нибудь из сопков. Старые горные лесосеки часто подходят к самой трассе и пней на них хоть завались. Вот как выйдем завтра на дорожные работы, так и наберем дров для нашего барака. Дело нехитрое. Зашел в какой-нибудь распадок, выворотил пяток старых пней, да принес их в лагерь, вот те и дрова! Тут все так делают, не к теще в гости приехали. - А до утра, выходит, опять замерзаловка?

Нет, почему же замерзаловка! Во-первых, в присутствии людей место под крышей теплее становится, а во-вторых, сейчас нам принесут целый жбан кипятку и пару кружек. Веселись мужики! Ведро воды, да еще горячий, заменяет кило масла. - А кормить нас когда будут? - Еще чего? Вас утром на Порфирном кормили. - Так то пайка только да утренняя баланда, а нам еще

обед полагается. - Пустой твой номер, парень, да два порожних, - староста покачал пальцем перед самым носом попытавшегося "закосить" непричитающийся нам рацион. - В аттестате, брат, все проставлено. Вы ж штрафники, невыполняющие... Это было верно. С тех пор, как обессилев от изнурения, заключенный не мог более выполнять лошадиных лагерных норм, его, как злостного срывщика производственного плана, переводили на штрафной паек. По мысли высокоумных генералов из береевского Гулага, такими "ударами по брюху" из заключенных вышибалась их постоянная склонность к "филонству". Мы не выполняли приисковых норм и наполовину и получали поэтому меньше половины и без того голодного хлебного пайка и поллитра пустого супа на день. То и другое было нам выдано еще утром, перед посадкой в машину. - А что, если начальника попросить, чтобы накормили, - предложил кто-то из неисправимых рогатиков, - мы же сюда работать, а не подыхать приехали! - Старосту это предложение привело в самое веселое настроение: - Попроси, попроси... Получишь... От бублика дырку... - И он захохотал, представив себе, видимо, что-то необычайно нелепое и смешное.

Делать было нечего и мы начали готовиться провести ночь в неотапливаемом бараке. Для этого нужно было объединиться по двое, чтобы, положив на голые нары ватник: одного компаньона, укрыться ватником другого. Кооперировались, обычно, по признаку одинаковой изодранности телогреек. У кого они были поцелее, те не хотели объединяться с обладателями совершенного уж рванья. Послушав с ухмылкой споры доходяг о том, где дырка на ватнике важнее, спереди или сзади, староста ушел. Но уже от порога еще раз предупредил: - Слышь, фитили! Не вздумайте вокруг столовой шлаться да на помойке следочные головки собирать! Она у нас в "заплетке", охрана по ней, как снайперы по немецкой траншее, пристрелялись... Вспомнив что-то веселое, староста оскалился: - Одно-го такого любителя головок только вчера под сопку сволокли... - Придурок хохотнул и ушел.

Я лежал, плотно прижавшись к костлявой спине соседа, но от нее не исходило даже намека на тепло. Наоборот, и он и я начинали дрожать от холода, ощущение которого сделалось теперь еще мучительнее. Это происходило именно от того, что некоторую дозу тепла мы все-таки получили, и обрели, таким образом, способность чувствовать холод. Вероятно это чувство обострилось не только у нас двоих. - Да что нам тут, загигаться, что ли? - вскопчил вдруг со своего места Ленка Одесса, мелкий блатной-отказчик. На протяжении почти всего промывочного сезона Одесса на работу не выходил, предпочитая сидеть в карцере и получать штрафную трехсотку с самого начала. Все равно ею же кончится. Опыт показал, что честно вкалывая на полигоне за дополнительные полкило хлеба в день, работяга "доходит" скорее, чем "отказчики". Демонстративное отрицание настоящими "законниками" дисциплины каторги связано у них и с трезвым расчетом. Не всегда удавалось испугать ответных уголовников и дополнительной десяткой срока за "контрреволюционный саботаж", которую давали отказчикам от работы с начала войны. Не все ли равно сколько ты "останешься должен" прокурору, пять или пятнадцать лет? В таких местах как Порфирный, да, наверно, и этот Двести Тринадцатый все равно угодишь в "архив

три" через год-полтора, хошь работай, хошь не работай. Так умнее, вероятно, отправляться в "архив" не порадовав лагерных начальников особым усердием. Логичность этого рассуждения понимали многие и из рогатиков, но следовать ему они не могли по причине органической неспособности к неподчинению власти.

- Эй, карзубый! - Ленка тормозил своего друга, худенького, тщедушного паренька, который был намного моложе Одессы, считал его своим наставником по блатной линии и во всем подчинялся. - Сыпь за огнем, будем нары жечь! - Тот понял приказание старшего товарища сразу и побежал в соседний барак, а Одесса, ухватившись за конец доски-горбыля на своих нарах, попыталась его оторвать. Но силенки у него, как и у всех нас, было с "комариный нос", а горбыль оказался пришитым довольно крепко. Отчаянно матерясь и скрипя зубами, инициатор смелой затеи бился сначала один. Сочувствовали этой затее, конечно, все, но предпочитали прикидываться пока спящими - за ломку нар в бараке придется здорово отвечать. Но когда отчаявшись справиться с горбылем в одиночку, Ленка завел тонким плачущим голосом: - Да помогите ж вы, падлы, асмодеи - помощники у него нашлись. Усилиями нескольких человек доска была, наконец, оторвана. Выломать второй горбыль при помощи первого было уже легче, и уж совсем спорным делом оказалось расщепление досок ударами о край железной бочки, служившей здесь печкой. Из многочисленных трещин старого дерева сыпались желтые, похожие на сухую шелуху, клопы, и медленно ползли по грязному полу: Тоже хододные, гады, - заметил кто-то, - сейчас они на нас отожрут...

Однако "отожраться", по крайней мере сегодня, клопам на нас не удалось, хотя Ленка уже через минуту вернулся с горячей головней, и в нашей печке споро и весело загудел огонь. Быстро раскалившуюся бочку тут же тесно обступили. Жались теперь к ней и те, кто в ломке нар не принимал никакого участия, хотя такие, большей частью, держались позади. Впереди же были лихие заготовители топлива для печки, которые вскоре притиснулись к ней так плотно, что на некоторых начала уже дымиться их грязная рвань. К запаху паленой пыли и паутины в бараке прибавился еще и запах жженой тряпки. Никто, однако, не

протестовал. "Лучше сгореть, чем замерзнуть" гласила одна из самых ходовых поговорок колымских блатных. Ее не трудно понять когда кажется, что холод, засевший в твоих костях, может прогнать только огонь, а, скажем, парной бани или африканской жары для этого недостаточно. Среди пиршеств плоти как-то не принято числить также и наслаждение теплом. А оно, между тем, для промерзшего человека может быть даже более сильным, чем наслаждение едой для изголодавшегося. Впрочем, для обоих случаев надо сделать поправку. Понятие наслаждение вряд ли применимо при удовлетворении физиологических потребностей, достигших крайних степеней. Голодный почти не замечает вкуса пищи, а избытший до той степени, в которой пребывали обступившие печку люди, не чувствует даже той степени жара, при которой возможны настоящие ожоги, проявляющиеся потом.

И уж подавно никто из нас не заметил как открылась дверь и в барак вошли надзиратель и староста. - Кто разрешил в активированном бараке печь растапливать? - грозно рявкнул дежурный. Кто жался к печке

сзади, те с неожиданной для доходяг скоростью, метнулись к своим нарам. Передние сделать этого не могли, и большинство из них остались стоять на месте, нагнувшись над печкой и шевеля над ней пальцами. Староста посмотрел на кору от горбыля вокруг печки, на еще ползавших по полу клопов, снял с гвоздя висевший рядом с печью фонарь и прошел с ним в глубь барака. Обнаружить разломанный лежак было, конечно, проще простого. - Нары они ломают, - доложил дежурному староста. - Фитили, фитили, а шкодить сходу начинают. - Кто нары ломал? - спросил надзиратель. Все, конечно, продолжали молчать. - Известно, шакалы, - вернул староста, - разве они признаются... - А не скажут, кто ломал, все в карцер пойдут! - Я ломал! - неожиданно заявил Карзубый. Ему было уже лет семнадцать. Но от вечного недоедания он так и не дотянулся до нормального для своего возраста роста, а от страшной худобы казался еще меньше. Впечатление детскости усиливала в нем и шепелявость. У Карзубого спереди, действительно, не хватало двух зубов. - Ты, говоришь, ломал? - Надзиратель окинул подростка презрительно недоверчивым взглядом. - Да ты ж доски поднять с пола не сможешь, не то что от нар ее оторвать. - А я доски вагой отдираю, - сказал мальчишка. - Какой такой вагой? Где она? - Спалил. Говорю, я нары ломал! Вот и vedi в кондей. - И сведу, раз тебе за другч так сидеть хочется! - Дежурный начал сердиться по-настоящему. Он отлично понимал, что ломка нар групповой проступок, строго говоря, даже общий. И что принимая на себя всю ответственность за него, парнишка пытается отвести наказание от других. Необычное препирательство еще продолжалось, когда мы услышали глуховатый, какой-то тусклый голос, почти лишенный интонаций: - Всех в карцер! - Начальник лагеря вошел в барак неслышно, как кот и, наверно, уже довольно давно стоял в стороне, слушая спор Карзубого с надзирателем. В моей голове снова заработал, вернее, пытался заработать механизм памяти - голос угрюмого начлага тоже казался мне очень знакомым. Но пружине этого механизма не хватало завода и он тут же остановился. - Я один ломал нары! - уже выкрикнул Карзубый по-мальчишески звонко и почти без обычной шепелявости. Идея героического самопожертвования овладела им настолько, что помогла преодолеть не только голодную вялость, но даже этот недостаток. А оно, это самопожертвование, было очень нешуточным. Здешний карцер, конечно, не отапливается. Значит, наказанный в течение нескольких суток будет изнывать в нем практически без сна после целодневного торчания с киркой и ломом на трассе. Ничего, конечно, не изменится, если это наказание будет общим, но обычно общность страданий все же несколько помогает их переносить. Тут, однако, был случай противоположного свойства. Добровольно принятая на себя роль мученика за всех поднимала мальчишку в собственных глазах и ради нее он мог бы совершить и не такой еще подвиг. Определение "за всех" является тут не вполне точным. Карзубый принимал вину на одного себя не из-за каких-то там рогатиков-фраеров, а из-за нескольких, высоко чтимых им, представителей воровского племени, которые среди нас были. И прежде всего, конечно, из-за друга и покровителя Одессы. Ввиду его малолетства, хилости, а главное, незначительности совершенных им преступлений - что-то

вроде таскания мокрого белья с веревки - Карзубого не принимали всерьез и в лагерной хевре. Он никак не мог подняться в ней выше положения захудалого сьяки. Стать же полноправным "законником" было его лютой мечтой, как и всех почти малолетних преступников в лагере. Подросток был готов на многое, если не на все, чтобы заслужить признание старших уголовников. Одним из путей к этому было принятие на себя чужой вины - хевра это ценила.

Но подвиг самопожертвования Карзубого сейчас явно срывался. Начальник тяжелым, размеренным шагом направлялся к выходу. Мальчишка побежал за ним: - Гражданин начальник! - Повесть на х... чайник! - как эхо отозвался тот своим глухим голосом, берясь уже за дверную скобу. И так же глухо пролаял, повернувшись в пол-оборота, как будто обращаясь к дверному косяку: - Всем трое суток с выводом! И всех с утра на перевал! - И начлаг захлопнул дверь перед самым носом оторопевшего Карзубого. Но он был не единственным оторопевшим от диковинной реплики странного начальника. Сама по себе она, конечно, никого не могла удивить, так как была одной из самых популярных среди подобных ей по своей идиотичности лагерных приказок. Однако, чтобы такую приказку употреблял сам начальник, который в лагерях подобных этому является, строго говоря, даже не начальником, а властителем над сотнями своих подданных, все новоприбывшие заключенные встречали впервые.

Но только не я. И если я и удивился теперь, то не поведению начлага, а степени утраты своей памяти. Это ж надо, "дойти" до того, чтобы забыть самого "Повесть-Чайника", под началом которого я был около года в сельхозлаге Галаганных, расположенном на самом берегу Охотского моря. Меня из этого лагеря, вместе с почти всеми другими "контриками", вывезли в самом начале войны. За прошедшие с тех пор два года я умудрился забыть даже этого самодура и деспота и вспомнил его только, когда тот как бы представился всем нам своим полным именем. Иначе как "Повесть-Чайником" его не называют нигде, как вероятно, и в этом лагере. Теперь я понимал и странные жесты здешнего работника перед воротами и многое другое, что весь день никак не могло всплыть на поверхность моей обессиленной памяти.

Все ошеломленно молчали. Поведением своего начальника был смущен, по-видимому, даже дежурный надзиратель, с явным избытком пристальности изучавший сейчас поломанные нары. Только староста довольно ухмылялся, наслаждаясь эффектом, который произвел на новичков идиотический выпад их нового начальника. Он, видимо, очень любил все огорашивающее и ошеломляющее.

К печке опять жались все. Терять было нечего, а в перспективе у нас было семьдесят два часа непрерывного страдания от холода. Особенно мучительным он покажется сейчас, когда нас отгонят от печки. Это произойдет как только дежурный до конца исследует сломанные нары, по которым он постукивал сапогом, рассматривая их с фонарем в руке, хотя было очевидно, что ему совершенно безразлично какая часть старого барака, предназначенного на слом, спалена в печке. - Ну, пошли! - Комендант досадливо махнул рукой по направлению к двери.

Отбыть свой срок в лагере сельскохозяйственного производства было мечтой едва ли не всех заключенных у Колыме. Но осуществиться эта мечта могла лишь у немногих сотен человек из многих сотен тысяч. Да и то такими счастливыми были почти одни только женщины, старики и инвалиды. Мужчины же среднего возраста, если и направлялись иногда в сельхозлагерь из лагерей основного производства, то только после того, как они изнурялись на добыче первого, второго или еще какого-нибудь из занумерованных колымских металлов до полной потери работоспособности. Да и то временно, в расчете на то, что, поправившись на "легкой" работе и достаточно сытной кормежке, эти люди через год-два снова смогут быть возвращены тому же основному производству. Лагерь с полевыми работами от зари до зари в чуть не постоянное здесь охотскоморское ненастье, повалом и сплавом леса, промыслом рыбы и морского зверя в штормовую погоду, считался в Дальстрое своего рода санаторием для заключенных. Все в мире относительно, даже банальность этой, набившей оскомину, истины.

Галаганский совхоз обслуживал своей продукцией главным образом магаданское начальство. По морю, другого пути отсюда не было, в короткую прибрежную навигацию в дальстроевскую столицу отправляли отсюда картошку и капусту, молочные и мясные продукты, соленую и копченую рыбу, - сельское хозяйство здесь объединялось с рыболовецким. Вряд ли, однако, можно сказать, что снабжение высокопоставленных дальстроевских чиновников овощами из Галаганных, было очень уж устойчивым. Посевы часто губил мороз, а еще чаще уже готовую продукцию топило море. В иные годы оно разбивало в осенние штормы чуть не все наличные буксирные баржи, которые изготавливались из дерева на местных верфях. Куда более надежным было здесь снабжение сельскохозяйственными продуктами местного лагеря. Заключенных сельхозлага от пуза кормили отходами, которые все равно больше некуда было девать. Несортowymi овощами, побочными продуктами колбасной фабрики и бойни, непромысловой рыбой, которая к немалой досаде рыбаков постоянно лезла в сети вместе с лососем, корюшкой и сельдью. На протяжении многих лет все это шло в лагерный котел. Такие порядки давно стали здесь привычными и казались естественными даже высшему лагерному начальству. В конце концов тут был даже не просто лагерь, а как бы лагерный курорт.

Про житейские зэков в Галаганных по Колыме ходили легенды. Рассказывали, например, что заключенные в этом лагере, просто так, из форсу, время от времени вымачивают плац для разводов своими хлебными пайками. Что они устраивают забастовки, если борщ за обедом покажется им недостаточно наваристым или компот сварен не из тех фруктов, которые им нравятся. Что здешние блатнячки - как и все сельскохозяйственные лагеря, Галаганных был "смешанным" - выговорили себе у начальства незыблемую, хотя и неофициальную привилегию, - они выходят на работу только до тех пор, пока им позволяют беспрепятственно встречаться с мужчинами.

Нечего и говорить, конечно, что все это было фантастическим преувеличением куда более скромной действительности, созданным завистливым воображением голодных и обездоленных людей. А основанием для подобных рассказов явилось необычное для Ко-

лымы здешнее благополучие заключенных, их сытость, их почти постоянное общение с женщинами.

Они жили в отдельной зоне общего лагеря, отгороженной от мужской половины высоким забором с воротами. Запирались эти ворота только на ночь, хотя вход мужчинам в женскую зону не разрешался ни в какое время суток. Зато женщины до сигнала отбоя могли появляться в мужской части лагеря почти свободно. Поводов для этого, как действительных, так и выдуманных, могло быть сколько угодно. Здесь находились общие для всех заключенных лагерные службы и учреждения, столовая, кухня, каптерка, учетно-распределительная часть и, известная даже за пределами Галаганских, местная КВЧ - культурно-воспитательная часть. Формально всякий лагерь для заключенных имеет такую "часть", так как ее существование вытекает не только из принципа советских мест заключения - не только карать, но и воспитывать преступников, - но и из их штатных расписаний. В этих расписаниях обязательно предусматривается и должность вольнонаемного начальника КВЧ и "рабочая единица" ее дневальной из заключенных. Другое дело, чем занят этот персонал. На прииске вроде Порфирино или на том де Двести Тринадцатом начальник культурно-воспитательной части обычно откровенный и совершеннейший бездельник, сонная фигура которого даже редко появляется в лагере. А дневальный барачка КВЧ всего лишь ее сторож. На голодный желудок никто ни петь, ни играть не будет, это весьма древняя истина. Но если бы даже допустить, что заключенные чисто мужских лагерей были также сыты как и на Галаганских, вряд ли бы они проявили сколько-нибудь значительную склонность к художественной самодеятельности. И дальше чьего-нибудь тоскливого брэнчания на балалайке в помещении КВЧ или партии в "козла" дело все равно не пошло бы. Нигде правоту фрейдистской ереси о взаимном стимулировании деятельности полов нельзя проследить с такой наглядностью, как на примере кружковой работы в лагере. Общение заключенных оживляется здесь с такой же степенью очевидности, как половой гормон в высшем организме способствует его жизнедеятельности. Благоприятное влияние такого общения нередко преодолеvalo даже самые неблагоприятные внешние факторы. А их было предостаточно и на Галаганских, басни о райской жизни на которой оставались баснями. Рабочий день по продолжительности, а на многих работах и по напряженности, был здесь вполне каторжным. Летом, на полевых работах в страдную пору он доходил до шестнадцати и даже восемнадцати часов в сутки без единого за весь сезон выходного дня. Зимой, правда, снижался до двенадцати часов и выходные иногда случались. Именно в этот период короткого рабочего дня галаганская КВЧ и развивала свою деятельность.

Был здесь и неременный для всякого лагеря карцер и штрафные бригады. Любовь между заключенными мужчинами и заключенными женщинами, конечно же, категорически запрещалась и, притом, не только формально. За связь между ними полагались и нередко назначались всяческие административные кары, начиная от трех суток кондея с выводом, перевода на более тяжелую работу, отсылки на дальнюю "командировку" и кончая угоном в горные лагеря. Последняя мера ка-

салась, правда, одних только относительно здоровых мужчин, но она была поистине грозной.

Однако, до появления здесь нового начальника, кроме одного-двух особо ретивых надзирателей, никто на Галаганских не проявлял чрезмерного усердия в выискивании нарушений лагерного режима и лишних поводов для репрессий. К ним прибегали только, когда такие нарушения становились очень уж очевидными, например, когда блатные слишком демонстративно "крутили" запретную здесь любовь.

Лагерная самодеятельность при прежнем начальнике всячески поощрялась. Особенно умелых кружковцев переводили на более легкие работы, перед спектаклями их даже отпускали иногда на час-два раньше времени с работы. Даже у молодых мужчин - участников самодеятельности несколько уменьшались их шансы загреметь в горный лагерь. Такое отношение к ней со стороны здешнего начальства диктовалось, правда, не столько соображениями культурно-воспитательной работы среди заключенных, сколько интересами его самого и вольного населения поселка. Тут не было даже кино и три четверти года посёлок был почти отрезан от всего мира. Поэтому лагерная КВЧ давала концерты и спектакли не только для заключенных в их столовой, но и в поселковом клубе. И хоровой, и музыкальный, и драматический кружки были здесь очень сильными. Среди здешних заключенных, особенно женщин, было много профессиональных музыкантов и артистов. Тогда только еще закончился знаменитый "ежовский набор" 1937-го года. Самодеятельностью здесь увлекались всерьез и ее участники находили в себе силы ежедневно оставаться в лагерном клубе до отбоя, а то и позже, после своего полусуточного рабочего дня. Но дело заключалось не в одном только увлечении музыкой или самодеятельными спектаклями. КВЧ была также наиболее удобным местом для встреч и бесед мужчин и женщин, влюбленных, флиртующих или просто дружески относящихся друг к другу. Может показаться парадоксальным, но проявление такой дружбы в лагере связано с большими затруднениями, чем самая интимная, но кратковременная близость. За лишние четверть часа сидения рядом в лагерной столовой или стояния во дворе зоны бывшего доцента и бывшей журналистки может последовать грубый окрик дежурного надзирателя в то время как минутное свидание в кустах летом или где-нибудь на чердаке барака блатного и блатнячки останется незамеченным. Да и репрессии за "интеллектуальную" любовь всегда в лагере были гораздо строже, чем за любовь "собачью". На этот счет существовали, вероятно, соответствующие, хотя и неписанные инструкции. Однако, даже к многочасовым беседам заключенных интеллигентов, участников самодеятельности, если эти беседы велись в клубе, придраться было трудно. Тут было место творческой деятельности высокого класса, часто требующей долгого обсуждения.

Так было при прежних галаганских начальниках, в том числе и непосредственном предшественнике Повесь-Чайника. Это был пожилой, суховатый и подтянутый человек, отнюдь не склонный к попустительству, но и не делавший ничего, что могло бы отягчить жизнь заключенных сверх той меры, на которую обрекал ее казенный устав лагеря и реальная жизненная обстановка. Как уже говорилось, с каторжанской точ-

ки зрения, эта обстановка в Галаганных считалась весьма благоприятной. Однако, всякое начальство, особенно когда оно правит долго, неизбежно надоедает. Поэтому, когда стало известно, что Мордвин - так за его происхождение называли прежнего начальника - заканчивает срок своего договора с Дальстроем и уезжает на Материк - до войны это разрешалось - многие даже обрадовались. Не потому, что при новом начальнике что-то непременно изменится к лучшему, а потому, что в какой-то степени все-таки станет иным. На фоне вечного однообразия - а жизнь для подавляющего большинства заключенных была здесь, хотя и сносной, но весьма однообразной - всякое возможное изменение ожидается как благо. "Хоть гирише, абы инше," - говорят в таких случаях украинцы. Частенько, однако, это "инше" никак не окупает его издержек. Так, во всяком случае, получилось у нас на Галаганных с нашим новым начальником. Это стало ясно на первом же утреннем разводе в его присутствии.

Чуть в стороне от входа на лагерную вахту стоял человек с угрюмым и как будто сонным выражением на одутловатом лице. С безразличным видом новый началг смотрел куда-то в сторону, а если и переводил иногда взгляд на людей, то смотрел, казалось, не на них, а куда-то дальше, в какую-нибудь стену или забор. Поначалу это могло быть объяснено тем любопытством, с которым на своего нового начальника пялили глаза несколько сотен мужчин и женщин. Подобное любопытство может смутить иного человека даже тогда, когда оно исходит от подчиненных, почти подданных ему людей. Я работал тогда в бригаде лесоповальщиков, заготовлявших для поселка дрова и строительный материал в недалеком лесу. Бригадиром у нас был молодой, но очень толковый поволжский немец Отто Пик. Со знаменитым в те годы ученым-полярником у Пика совпадало не только имя, но и отчество. Поэтому в лагере его в шутку часто величали Отто Юльевичем Не-Шмидтом. Не-Шмидт был настоящим специалистом по лесоразработкам, работавшим до ареста в мордовских лесах, а главное, очень заботливым бригадиром, всегда готовым отстаивать интересы своих работяг. Те отвечали на это старанием и дисциплинированностью. Вот и сейчас у нашего бригадира возникло очередное препирательство с лагерным каптером, вынесшим к разводу для раздачи лесорубам меньше рукавиц, чем их было ему сдано накануне как уже утильные. За решением возникшего спора Пик направился к новому начальнику. Вытянувшись перед ним почти по-военному, как того всегда требовал Мордвин, Не-Шмидт громко и отчетливо произнес: - Разрешите обратиться, гражданин начальник! Вот тут-то все мы и услышали поразившее нас тогда, но вскоре ставшее привычным глухое и тусклое: - Повесь на х... чайник! Сохраняя на своей угрюмой физиономии прежний как бы невидящий взгляд, начальник размеренным шагом направился куда-то, даже не спросив обратившегося к нему заключенного, что тому нужно? Пик от неожиданности и изумления открыл рот и растерянно посмотрел вслед уходящему. В женской штрафной бригаде восторженно взвизгнули блатнячки, по глупости они вообразили, что новый началг свой в доску. Дежурный комендант и лагерный староста озадаченно переглянулись. Поведение начальника, да еще с первого же дня своей службы на новом месте, было более чем странным. Но худшее

заклучалось, конечно, вовсе не в его поведении. Скоро в нашем Галаганных начались новые порядки. Резко ухудшилось питание заключенных. Чисто искусственно наш рацион подтягивался к тому, который предусматривали скудные гулаговские раскладки. От сверхнормативных продуктов, которые-то главным образом и создавали в сельхозлаге его благополучный климат, новый начальник отказался как от неположенных. Так, например, лагерный суп часто готовили на отваре из костей, поступавших с сельхозовской бойни. Теперь же нам варили стандартную лагерную баланду, а кости выбрасывали. Если бросовую рыбу из сетей не могли съесть ездовые собаки, то ее тоже выбрасывали. Даже мелкую картошку во время уборки и капустный лист Повесь-Чайник не всегда разрешал закладывать в котлы, если их количество превышало положенное. За варку картошки на поле или рыбы на разделочных плотках он сажал в кондей.

Поначалу к режимщику-буквоеду отправлялись ходки от бригад с просьбой, хотя бы частично восстановить прежний рацион, все равно ведь добро пропадает! Но начальник таких ходков почти не слушал и только бросал через плечо: - Не положено! - Если же его продолжали упрашивать: - Гражданин начальник! - то следовало неизменное: - Повесь на х... чайник! - и проситель умолкал как выключенный репродуктор. В дурацком, на первый взгляд, отклике был резон. Конечно же, нового начальника за глаза уже называли не иначе как "Повесь-Чайник".

Повесь-Чайник прижал заключенных в Галаганных не только по части питания, постепенно он отменил и все другие виды здешней "лафы". Например, уход с открытых работ в лагерь до истечения положенного по уставу рабочего дня, даже если дневная норма была выполнена, а продолжать работу было уже нельзя из-за наступившей темноты. Особенно явственно сказывались нелепости и прямой вред новых порядков на работе в лесу в зимнее время. Норму по повалу леса, рассчитанную умниками из Гулага на двенадцатичасовой день за каких-нибудь четыре-пять часов тусклого полярного дня можно было выполнить только при крайнем напряжении всех физических сил. Лесорубы в бригаде Пика начинали работать как только в сумерках рассвета можно было кое-как увидеть куда подает спиленная лесина. И в одних только телогрейках в самый жестокий мороз, почти без единого перекура, и работали так до поры, когда уже в сумерках вечера дневная норма была схвачена. Платой за это напряжение было право отправляться по своим баракам. Но запас мускульной энергии у работяг был к этому времени исчерпан уже настолько, что прежде чем идти в лагерь, лесорубы, чтобы немного отдышаться должны были с полчаса посидеть у костра. Работать же в этот день они не смогли бы и под угрозой расстрела.

Новый началг усмотрел в этом непорядок. Заключенный обязан работать не менее двенадцати часов в сутки. А если по каким-либо обстоятельствам работы производить нельзя, то он все равно должен оставаться на своем рабочем месте. Так гласит гулаговский Талмуд! Заключенные эту тенденцию ежовско-бериевского талмуда и таких начальников, как наш Повесь-Чайник, переводили фразой: "Мне не работа твоя нужна, а нужно чтобы ты мучился". Но это было верно лишь отчасти. Людоедская и меркантилистская тенденция в лагерях принудительного труда тех вре-



мен сочетались самым прихотливым образом, а иногда и вступали в противоречие друг с другом. Мучения заключенных рабов неизбежно оборачивались снижением отдачи их труда. Так получилось и в лесорубной прежде гремевшей бригаде Пика и почти во всех рабочих бригадах на нашем Галаганских. На работу в лес мы ходили теперь под конвоем - иначе как удерживать там людей, когда они выполнили дневное задание? Заключенные и их конвоиры долго сидели у костра, ожидая полного рассвета - не валить же впотьмах лесину соседу на голову! Затем начиналась вялая работа и дневная норма была выполнена меньше, чем наполовину, когда снова темнело и продолжать повал было уже нельзя. Угрюмо сядя у костров, лесорубы ждали теперь команды "стройся" для следования в лагерь. Затем добрый час шли до лагеря - засчитывать время на ходьбу до места работы и обратно в рабочее время начальник запретил. С производственной точки зрения все это были весьма злобредные мероприятия, но букве и духу талмуда они соответствовали вполне. Поэтому, хотя совхозовское начальство тоже сразу же не полюбило Повесь-Чайника, сделать с ним оно пока ничего не могло. На занятиях кружков самодеятельности новый начальник обязал присутствовать дежурных надзирателей. На эти занятия разрешалось являться только тем их участникам, кто был непосредственно занят на предстоящей репетиции. Остальные пускай сидят по своим баракам. - Нечего тут любовь крутить! - заявил начлаг. В бараке КВЧ поселился унылый дух унтера Пришибеева, и активность галаганских кружковцев начала заметно снижаться.

С лагерной любовью Повесь-Чайник повел активную и планомерную борьбу. Он не только обязал надзирателей замечать и "братя на карандаш" пары, проявляющие склонность к подозрительно долгим разговорам, но и организовал слежку за ними при помощи специальных стукачей. Замеченных в грехе любви начальник вносил в особый "конduit", который держал у себя на столе. Для попавших в этот conduit мужчин резко увеличивалась вероятность уйти в горные лагеря с первым же этапом. От этого не спасало даже отличное умение играть на баяне или петь под гитару цыганские романсы. Даже самых лучших доярок и телятниц начальник переводил с работы на фермах в штрафную бригаду, если те крутили любовь. Всем заключенным было запрещено иметь хотя бы одну носильную вещь сверх положенного комплекта. Это тоже было придумано не самим нашим начальником, а куда более высокими по рангу составителями правил жизни в местах заключения. Однако Мордвин, которого все теперь вспоминали со вздохом, разрешал тем, кто работал на особо грязных работах, например, рыбникам или уборщикам навоза, держать в бараке смену для своей невообразимо уж грязной работы. Теперь же даже разделщики рыбы сидели вечером на своих койках в набитом людьми помещении в той же пропитанной рыбьей кровью и насквозь провонявшей одежде, в которой они целый день работали на рыбном промысле.

При прежних начальниках в нашем лагере практиковалось премирование отдельных заключенных за особо хорошую работу. По этому поводу по лагерю издавался особый приказ, и награды вручались на общем собрании заключенных. Самой крупной из вещевых премий был костюм - штаны и рубаха из хлопчатобу-

мажной ткани. За отличную работу на косовице в сезонзаготовительном сезоне я тоже получил такой костюм и бережно его хранил, надевая только в редчайшие здесь выходные дни. Поэтому мой выходной костюм остался еще почти новым, когда в нашем бараке был устроен неожиданный ночной "шмон" на предмет изъятия излишних вещей. При этом неуклонно соблюдался принцип: если у лагерника находили два предмета одинакового назначения, то отбирался тот, который был лучше, новее или чище. Даже хорошо уже зная повадки Повесь-Чайника, я тогда все же не думал, что засунутая в огромный мешок для отбираемых вещей моя драгоценная "пара" не будет возвращена после объяснения начальнику, что это премия, выданная мне его предшественником при торжественных обстоятельствах. Поэтому я обратился к присутствующему здесь же начлагу: - Гражданин начальник! - и сразу же осекся, услышав почти автоматическое: - Повесь на х... чайник! - хотя чувство обиды и сожаления по чистым штанам и рубахе были во мне чрезвычайно сильны.

Галаганский лагерный "рай" при новом начальнике быстро потускнел и захирел. Производительность труда заключенных заметно снизилась и было известно, что это привело к глухому, но все время усиливавшемуся конфликту между Повесь-Чайником и директором совхоза. Чем этот конфликт закончился я мог теперь только предполагать, увидев бывшего начальника лагеря расположенного в "Колымском Крыму", как назывался на Колыме район Галаганских, в этой дыре среди угрюмых гор Тас-Кыстабыта. Тогда вскоре началась война и в целях безопасности на случай столкновения с Японией всех заключенных врагов народа вывезли в глубинные районы Колымо-Индигирского района. Я сходу попал на Порфирный и оказался настолько крепким, что понадобилось целых два года, чтобы быть списанным в слабосиловку и снова попасть под начало к Повесь-Чайнику.

Здесь, как я узнал вскоре, он начальствовал уже около года. Свою маниакальную приверженность к соблюдению всяких ограничивающих, угнетающих и запрещающих правил Повесь-Чайник проявил, конечно, и тут, благо Гулаг издавал их в изобилии. И если заключенные на местах не вымирали все поголовно, то только потому, что лагерное начальство, большое и малое, зачастую делало вид, что не замечает постоянных нарушений этих правил. Там же на Колыме, где гулаговские инструкции по части рабочих норм, питания, режима и прочего соблюдались неукоснительно, лагеря быстро превращались в "холодные освенцимы", как их прозвали позднее. Старался по возможности обойти инструкции московских генералов от лагерных и тюремных дел и предыдущий начальник Двести Тринадцатого. Точнее, он просто не мешал делать этого дорожным десятникам, бригадирам и даже конвойным солдатам. Лагерные приписки, "туфта" были здесь ложью во спасение, благодаря которым несколько продлевалась жизнь заключенных. Лагерные нормы по раскайловке и вывозке камня вручную, очистке трассы от снега и т.п. были здесь такими, что выполнить эти нормы могли, иногда, разве только два или три сытых и здоровых человека. Разницу между ними и тем, что мог сделать истощенный человек возмещала фантазия десятника и его "карандаш".

Верный себе Повесть-Чайник всякие приписки сразу же запретил, ведь это обман государства! Наведение в здешнем лагере должного порядка было делом куда более простым, чем в сельхозлаге, люди работали здесь только под конвоем и не более, чем в двух-трех местах сразу. Заставить их находиться на этих местах все положенные двенадцать, а то и четырнадцать часов ежедневно было очень нетрудно. Правда, заводил дорожными работами не лагерный начальник, а начальник участка и его десятники. Но закон-то был не на их стороне, когда они "заряжали туфту" или неделями не предпринимали ничего, чтобы бороться с заносами на сопке, так как это было бесполезно.

Посажённые на почти постоянный теперь штрафной паек, дорожники Двести Тринадцатого начали загибаться едва ли не быстрее, чем на приiske. И происходило это даже не из-за готовности здешнего начальника отдать людскую жизнь за лишний грамм металла, а только из-за его бездушия бурбона и прохиндея. Две трети "фитилей", прибывших с нами осенним этапом из Порфирино, догорели еще до наступления нового года. Первым из этого этапа под сопку отправился Карзубый, так и не доживший до осуществления своей убогой мечты стать полноправным членом хевры. Впрочем, на Двести Тринадцатом, как и в других подобных лагерях, хевры практически теперь и не было. Всякая организация, чтобы существовать, должна хоть чем-нибудь заниматься. А чем было заниматься ворами в здешней доходилровке? Делить награбленное? Так грабить здесь было не у кого и нечего. Судить воровским судом нарушителя блатной этики? В силу тех же причин таких нарушителей тоже не было. Играть где-нибудь под нарами в самодельные карты, "чесать бороду королю", как говорят блатные, было не на что. Да на голодное брюхо шибко-то и не поиграешь. Из серой массы фраеров и штымпов «законники» не могли тут выделиться даже отказничеством. Оно здесь имело бы полнейший смысл так как больше полкило хлеба в день нельзя было получить даже вкалывая наравне с рогатиками. Но карцер у Повесть-Чайника не отапливался и в лютый мороз. Поэтому соблюдение принципа "Кашки не доложу, да на работу не тревожь" зимой было почти равносильно самоубийству.

Случалось, что из-за заноса или обвала, над удалением которого работали дорожники, останавливалась проезжая этапная машина. Стоило этапному конвою на минуту зазеваться, как с этой машины неизменно спрашивали: - Ну как тут у вас? Такие встречи были одним из средств межлагерной информации. По отношению к дорожникам Двести Тринадцатого такой вопрос был, в сущности, излишним. Наш вид совершеннейших доходяг отвечал на него достаточно красноречиво. Однако, это был почти уже ритуал, соблюдаемый неукоснительно как вопрос гостя-китайца своему хозяину, больному раком желудка, об его пищеварении. Ответ не требовал, впрочем, затраты особых усилий. Спрошенный молчал обращал к земле большой палец, как это делали зрители в древнеримском цирке, требуя добить поверженного гладиатора, или складывал крестом два указательных пальца. На немом языке, широко применявшемся в лагере, это означало: "Плывем и берегов не видим". Комментариев к нему никогда не спрашивали.

И все же к весне надежна на облегчение существования у нас появилась. Дело в том, что Повесть-Чайник

неожиданно исчез с Двести Тринадцатого километра. И не как-нибудь, а был арестован и увезен под конвоем в Устьембинск, центр нашего горнорудного управления. Арест начальника явился в лагере настолько знаменательным событием, что интерес к нему проявили даже дистрофики 3-ей степени, впадшие, казалось, в полнейшее безразличие ко всему на свете.

Повесть-Чайник пил. Я знал об этом еще с Галаганных. Но пьянствовал он исключительно дома, разделяя выпивку разве только с собственной женой. От него часто несло винным перегаром, однако понять, когда начальник пьян, когда он с похмелья, а когда совсем трезв было не просто. Выражение обрюзгшего лица у него постоянно было почти таким, как у других после хронической пьянки, а речь всегда отрывистой и маловразумительной. Да в иные дни Повесть-Чайник ни разу ни к кому не подходил и ни с кем не заговаривал, а как бирюк бродил где-то в стороне. Здесь, впрочем, он пил сильнее, чем на Галаганных. В те дни, когда в посёлке давали спирт, из домика начальника почти всегда слышались приглушенные вопли его жены, которую, напившись, он истязал. Это было несчастное, видимо, до крайности запуганное и забитое существо. На улице жена начала появлялась редко и ни с кем почти никогда не разговаривала. Говорили, что муж разрешает ей отлучку из дому только по неотложным хозяйственным делам, только в раннее дневное время и только на строго определенный срок. В окна начальнического домика были вделаны решетки, а на дверях домика почти всегда висел большой амбарный замок, хотя было точно известно, что начальничиха дома. Вряд ли это было просто мерой по охране супружеской верности, пусть даже понимаемой на уровне пещерного человека. Скорее тут действовал врожденный инстинкт тюремщика, усиленный найденной по призванию профессией. Если верно, что всякая эпоха получает нужных ей людей, то в эпоху Сталина-Ежова-Берии должны были непременно выкристаллизовываться и типы тюремщиков в их чистом духе. Странная чета жила замкнутой, угрюмой жизнью, ни с кем не общаясь. Так было даже в сравнительно нескучной и многолюдной Галаганных, тем более так было и здесь.

Слышали на поселке крики начальничихи и в ту ночь, когда в пятидесятиградусный мороз муж выбросил ее избитую и почти раздетую из домика и запер дверь изнутри. На утро женщину нашли на крыльце полуживую, без сознания и жестоко обмороженную. В устьембинской больнице ей ампутировали обе ноги и кисть одной из рук. Попытки добиться от пострадавшей, почему она так долго терпела истязания изверга мужа и не попросила приюта у соседей даже погибая на морозе, ничего не дали. Одни говорили, что жена Повесть-Чайника совершеннейшая дегенератка, другие, что она пьяница под стать мужу и была мертвецки пьяна в ту ночь, когда в одной только рубашке он вытолкнул ее на мороз.

Повесть-Чайника судили. С облегчением мы узнали, что его приговорили к двум годам лагерей. Срок по понятиям того времени совершенно ничтожный, но осуждение лагерного работника означало, что его карьера тюремщика окончена. В местах заключения могут работать и злобные садисты, и формалисты-душегубы, вроде того же Повесть-Чайника, но людям с отметкой о судимости здесь места нет. То ли предпо-

лагалось, что побывав в заключении, они набираются духа солидарности с заключенными, то ли тут действовали кастовые соображения: работники всех систем НКВД суть рыцари без страха и упрека. Сам же по себе лагерный срок вряд ли для бывшего лагерного прохиндея мог явиться очень уж большим несчастьем. Те, кто порадел ему на суде, на котором было признано, что пьяная сама выскочила из дома в одной рубашке, а ее муж виновен только в том, что не принял мер по ее спасению, порадеют ему, наверно, и в заключении. Но вряд ли они сумеют спасти его от "темной". Попавшие в лагерь бывшие надзиратели, милиционеры, прокуроры, не говоря уже о лагерных начальниках типа нашего Повесь-Чайника, могут считать свои дни сочтенными.

К нам приехал новый начальник. Не то чтобы очень хороший, но и не мешавший восстановлению здесь обычных порядков. Лому, кирке и тачке на трассе снова усердно помогал десятичный карандаш. Никто особенно не приглядывался ежедневно ли выдерживает озябший конвой заключенных положенное число часов на трассе или приводит их иногда на отдых раньше времени. И по-прежнему ли требует леком в санчасти, чтобы явившиеся к нему на прием, обязательно предъявляли из-под мышки собственную голову? Даже развеселый здешний староста уже меньше развлекался "игрой в кегли", когда при ударе по одному человеку падает добрый десяток доходяг. Словом, все вошло в свою обычную колею. Вскоре затихли и разговоры о бывшем начальнике, сумевшем раньше времени загнать под сопку добрую сотню заключенных. Ряды фанерок с установочными данными продолжали, конечно, удлиняться и теперь, но в темпе, который считался как бы нормальным. На вопрос приезжих эзков о нашем житье-бытье мы не показывали больше ни креста, ни обращенного к земле большого пальца, а отвечали обычным унылым: "Помереть не помрешь..." Но все же, хотя тоже уныло и медленно, умирали. Шансы дотянуть до конца срока, особенно у тех, у кого этот срок оставался еще большим, были весьма не велики.

Все меньше по мере утраты сил становились эти шансы и у меня. Однако, пути Господни действительно неисповедимы. Когда я весной предпоследнего года войны все еще оставался в живых только благодаря удивительной жизненной цепкости своего, еще молодого тогда организма, в учетно-распределительную часть Двести Тринадцатого на меня пришел спецнаряд. Лагерное управление в Устьтембинске приказывало заключенного имярек по профессии в прошлом инженера-электрика доставить в довольно отдаленный отсюда пункт для работы по специальности. Уже на следующий день под персональным конвоем я покинул постылый лагерь между унылыми сопками, под одной из которых кладбище эзков так и не пополнилось за мой счет.

Уже к концу второго года войны Дальстрой начал получать из Соединенных Штатов по знаменитому "ленглизу" большое количество техники, ранее здесь почти отсутствующей. Техническая политика организаторов колымской каторги сводилась к откровенному акценту на примитивный ручной труд, на знаменитый лагерный "давай! давай!". Дело тут было не только в бедности технического снабжения, но и в ставке на истребление при помощи изнурительного труда жертв

сталинского беззакония. Если гитлеровцы в результате удушения газом не получали от своих жертв почти ничего, кроме их трепья, изредка золотых зубов и кучки пепла для удобрений, то тут польза было куда большей. Она заключалась во многих кубометрах золотого песка, километрах горных дорог, траншей и штолен оловянных и иных рудников. Как уже говорилось, меркантилизм и палачество тут то сочетались, то сталкивались. И, пожалуй, самое крупное из этих столкновений произошло тогда, когда Дальстрой понадобились квалифицированные специалисты для обслуживания новой здесь техники. Там, где на целые десятилетия вперед предполагалось безраздельное господство тачки, кайла и лопаты, появились американские экскаваторы, впервые увиденные в СССР бульдозеры, самоходные буровые станки и множество других горных машин. Автомобильный парк Дальстроя обильно пополнился грузовыми автомобилями марки "даймонд" и "студебеккер". Даже не очень большие начальники разъезжали теперь на полувоенных "джипах" и "бьюиках". Быстро ставшее очень большим техническое хозяйство требовало управления, обслуживания и ремонта. За счет поставок по тому же ленгизу, было построено несколько ремонтных заводов и множество мастерских, электростанций и гаражей. А вот людей, понимающих толк в технике, богатый союзник не поставлял и их отчаянно не хватало. Вспомнили, что на протяжении ряда лет перед войной дальстроевские пароходы привозили сюда многотысячные этапы, в составе которых находилось, несомненно, и великое множество технических специалистов всех рангов и профилей. Однако, никакого учета прибывающих заключенных по их профессиональной подготовке тогда не велось. Зачем? Все это было лишь Сезликая рабсила, кое-как разделенная при поверхностном медицинском осмотре на категории: "ТТ", "СТ" и "ЛТ". Кроме этих букв, означающих пригодность лагерника к тяжелому, среднему и легкому физическому труду и его установочных данных о рабочей единице не было известно почти ничего, да ничего в ней и не интересовало. Более того, если эта "единица" являлась по своей статье "врагом народа", то всякое ее использование иначе, чем на грубой физической работе, рассматривалось чуть ли не как контрреволюционное попустительство по отношению к тем, кто поднял руку и голос против Народа, Партии и ее Вождя. В девяти из десяти случаев квалифицированный рабочий, не говоря уже об инженерах или доцентах, "загибались на тачке" гораздо раньше, чем их товарищи по каторжному труду из числа крестьян или грузчиков. До поры, до времени это вполне соответствовало расчету высшего руководства НКВД. Но вот неожиданно понадобились не их слабые плечи, а умение и знания этих людей. И тогда-то обнаружилось, что подавляюще большая их часть уже лежит под сопками. А сколько их было! - сокрушалось теперь производственное начальство. Тех, кто еще уцелел, было приказано выявлять и беречь. Учет специалистов задним числом был организован повсюду, включая и самые глухие "командировки" и "подкомандировки". Дело это было не легким, так как в лагерных делах почти не было данных об образовании и квалификации заключенных, и этим широко пользовались самозванцы. Не беда, что обман неизбежно раскроется. До

того можно будет не одну неделю прокантоваться на этапах и пересылках.

Несмотря на неизбежную в таких условиях путаницу и бестолковщину, некоторое количество настоящих специалистов было выявлено и приставлено к делу по своей специальности. Правда, это понятие толковалось здесь очень широко и соответствие полученной работы профилю и уровню квалификации заключенного было, чаще всего, весьма относительным. И все же, выдающиеся в прошлом инженеры, кандидаты или даже доктора технических наук считали величайшей удачей своей нынешней жизни работу в качестве технолога небольшой ремонтной мастерской или дежурного электрика локомобильной электростанции. Ведь здесь было тепло, светло, и "не кусали мухи", т.е. все то, ценность чего человек постигает по-настоящему только испробовав прелесть кайла и тачки на приисковом полигоне в зимнюю стужу или осеннее ненастье. Впрочем, сколько-нибудь устойчивое жизненное благополучие снова быстро делает человека тем, что он есть, т.е. единственным существом на земле, которое неспособно радоваться тому уровню благополучия, которое он имеет. Но мы, находившиеся на технических должностях специалисты из заключенных, тогда всему радовались. И за скудную лагерную пайку работали с усердием и увлечением, которое далеко не все и не всегда проявляли прежде. Тут, правда, была еще одна причина. Она заключалась в том, что теперь надо было отвлекать себя от мыслей, что в правовом отношении, ты как был, так и остался каторжником, что нет у тебя ни семьи, ни настоящего дома, ни будущего. И в любую минуту ты снова можешь оказаться вogle той же тачки. Работа же нередко помогала почти забыть об этом, создать иллюзию полноценной жизни. Эта иллюзия усиливалась, если производственная необходимость вынуждала дальстроевское начальство предоставить заключенному специалисту право бесконвойного хождения, а иногда и проживания вне лагеря. Подчас таких посылали даже в довольно дальние командировки, разумеется по соответствующему пропуску. Правда, такой либерализм, появившийся во второй половине войны, продолжался по ее окончании не более года и сменился резким усилением режима.

Но тогда, до начала холодной войны, он еще действовал. Я к тому времени определился на Колыме как специалист по автоматическим устройствам, которыми янки часто снабжали, поставляемые ими сложные агрегаты, особенно электротехнические. И однажды в качестве наладчика и консультанта, а также чтеца и переводчика инструкций на английском языке, был отправлен на вновь открытые лесоразработки в южной части дальстроевской территории. Доморощенные электрики никак не могли тут разобраться в досадных и ненужных, по их мнению, усложнениях, которыми фирма оснастила небольшую передвижную электростанцию, блок дизеля и генератора. Покричав предвзвительно противным голосом своей сирены, эта электростанция могла черт-де отчего сама собой остановиться. Поди догадайся, да еще не умея читать приложенную к машине документацию, что это от того, что в резервуар залито масло не той марки, которое потребляет капризная американка.

Тут было недалеко от моря. Пейзаж с пологими сопками и климат местности во многом напоминал мне

Галаганных. Недалеко отсюда находился и Магадан. Близость к дальстроевской столице определила одну особенность новых лесоразработок - сюда было послано довольно много вольнонаемных. Это были освобожденные с магаданской пересылки недавние эски. Обычно сюда направляли к самому концу срока тех заключенных, освобождению которых на месте не радовались. Это были главным образом блатные-отказчики и не имеющие никакой рабочей квалификации доходяги, которых передавали Главному управлению лагерей Дальстроя по принципу: "Вот тебе, боже, то, что нам негоже". Следуя этому принципу, новоиспеченных вольняшек отфутболили сюда, поскольку их трудовая категория позволяла использование их только на легких работах и работах средней тяжести.

Для вольняшек за зоной лагеря лесорубов был отведен большой новый барак. Но стекла в его окнах были уже выбиты и заткнуты тряпками, внутри царили невообразимый беспорядок и грязь. Несмотря на обилие леса, тут было холодно, а люди валялись на ничем не прикрытых нарах. Для меня эта картина не требовала пояснений. Главный тон здесь задавала уголовная шпана, на свой лад понимавшая только что полученную, весьма, впрочем, кучую свободу. Для нее это была свобода день и ночь резаться в карты, пропивать свое и чужое имущество, всю ночь горланить и драться, не подметать полы и не топить печи, поскольку вопрос о том, кто будет заготавливать для нее дрова решить было трудно. Правда, были тут и "фраера", которые пытались поначалу навести в своем бараке некоторый порядок. Но после того, как блатные украли у них даже казенные одеялишки и матрацы, эти тоже предпочитали теперь лежать после работы на голых нарах, завернувшись во все то же лагерное обмундирование десятого срока. Любопытно, что это были большей частью интеллигенты нетехнических профессий. Этим и по окончании срока в лагере приходилось браться за лопату, пилу или топор потому, что на работу по специальности их нигде не принимали. И не из-за того, что на Колыме не были нужны учителя, бухгалтеры или журналисты. Но как лишенные политического доверия, они теперь не имели права работать по специальности. Бывшие гуманитарии теперь с тоской вспоминали даже лагерь. Там хоть ночью был покой, а от произвола уголовников могли защитить надзиратели. Здесь такой защиты не было, а для местного начальства и блатные, гулявшие тут до очередного срока и бывшие интеллигенты были только одинаково никудышными работниками, не выполнявшими производственных норм.

Однако, не все вольняшки жили здесь так плохо. Кроме "Индии", барака для работяг третьего сорта, пьяниц и картежников, здесь был еще крепкий и чистый барачек для лесорубов-стахановцев и младшего лесного начальства. Вот тут-то я и встретил, конечно совершенно неожиданно для нас обоих, того самого Отто Юльевича Не-Шмидта, в бригаде которого состоял когда-то на Галаганных. Оказалось, что Пик недавно освобожден на том же Галаганных и через Магадан был направлен на эти лесоразработки десятником. Нечего и говорить, что мы оба очень обрадовались этой встрече и не один час провели в разговорах, вспоминая совместное прошлое. Правда, о судьбе большинства людей, которые меня интересовали, Пик мог сказать немного. Почти все они, как и я, были

угнаны куда-то в самом начале войны. Не-Шмидта эта участь миновала только потому, что сидел он не по пятьдесят восьмой статье и не по одному из литеров, прямо включающих в себя понятие контрреволюционный, как, например, КРД (контр – революционная деятельность), а по не совсем определенной СОЭ (социально опасный элемент). Социальная опасность немца заключалась в его национальной принадлежности. В кастовой лагерной иерархии литерники СОЭ занимали промежуточное положение между браминами – бытовиками и париями-контриками по трижды окаянной Пятьдесят Восьмой. Мы им нередко завидовали и, как оказалось, не зря. Осужденных по СОЭ было даже разрешено оставить в пограничной, приморской зоне, несмотря на всю их опасность.

Конечно же, я спросил Пика, при каких обстоятельствах галаганские эки избавились от Повесь-Чайника. Как я и предполагал, это было результатом его избыточного прохиндейского усердия. В докладной директора совхоза магаданскому начальству, в которой тот объяснял, почему оказался невыполненным план поставки в магаданский распред сливочного масла, он, в числе прочих причин, указал и на деятельность начальника лагеря. Галаганский начлаг, в целях пресечения пресловутой связи заключённых мужчин и женщин, додумался комплектовать смены на животноводческих фермах либо из одних мужчин, либо из одних женщин. Высокое начальство получение масла к своему столу ставило, видимо, выше принципов лагерной нравственности, и Повесь-Чайника перевели куда-то, где он мог проявлять свое усердие уже без вреда для этого начальства...

- Я знаю куда его перевели... - перебил я Пика. И рассказал ему как удача галаганцев обернулась «архивом-три» для многих дорожников Двести Тринадцатого. В том числе, наверно бы и для меня, не угоди Повесь-Чайник сам в заключение. Не прояви он тогда своего нрава на собственной жене, вряд ли бы я сейчас имел честь беседовать со своим бывшим бригадиром. Но теперь в "архиве-три" Повесь-Чайник сам. Вскоре после его ареста прошел слух, что бывшего начлага уголовники пришили уже на магаданской пересылке. - Тут ты ошибаешься, - усмехнулся Отто, - Повесь-Чайник жив. Я заявил, что этого не может быть. Даже какой-нибудь бригадиришка, тяжелый на руку, после того как он слетает на "общие" или мелкий лагерный стукач после своего выявления, протягивают очень недолго. На производстве их поджидает сорвавшаяся под уклон, груженная вагонетка, неогражденный шурф или тяжёлый камень на краю глубокой траншеи. Да и в самом лагере для таких есть и дровяной колун, и петля-удавка... И добро бы Повесть-Чайник донимал одних только наших, почти всегда безропотных как телята, "врагов народа". Но он столько же, если не больше, насолил и "друзьям народа" - уголовникам! И один из блатных, которого Повесь-Чайник едва не заморозил в холодном карцере давно его зарезал. - Повесь-Чайник жив! - упрямо повторил Пик. - Свой срок он уже отбыл и теперь работает на лесоповале. Здесь, на моем участке.

Трудно человеку расставаться с устоявшимися представлениями. Но я не мог не поверить и Не-Шмидту, никогда не бросавшемуся словами и не хуже меня знавшего нашего бывшего начальника. А он, довольный моей растерянностью и недоумением, расска-

зал мне историю Повесь-Чайника после его ареста, которую, как оказалось, хорошо знал.

Ворон Ворону глаз не выклюет. Как и следовало ожидать, начальство из Управления дальстроевскими лагерями подыскало для бывшего лагерного прохиндея местечко, теплее и безопаснее не придумаешь. Он был назначен нарядчиком в смешанный лагерь в самом Магадане. Большая часть заключенных в этом лагере – женщины, работающие на местной фабрике лагерного обмундирования, городской прачечной и домработницами в домах дальстроевского начальства. Мужчины тоже есть, но это почти исключительно парикмахеры, закройщики, сапожники и часовщики, обслуживающие все то же начальство. Почти все они – бесконвойники с легкими статьями и малыми сроками. Способных "пришить" кого-нибудь среди них и в помине нет. Повесь-Чайник отлично прокантовался в этом лагере до конца своего куцевого срока. Но вот тут-то и начались для него нестоящие жизненные затруднения. Начальство, которое так радело об его безопасности – делалось это не столько из-за прекрасных повесь-чайниковых глаз, сколько по соображениям профессиональной солидарности – не несло более за жизнь бывшего начлага никакой ответственности. Более того, оставлять на показ всему городу, где он мог бы подыскать себе работу сторожа этого дегенерата и пьяницу было, видимо, сочтено неполитичным. Ведь только случайно он лишился фактического права бесконтрольно вершить судьбы подвластных ему людей. Повесь-Чайника, как отслужившую свой срок грязную рукавицу, просто выбросили на свалку. Ни настоящей профессии, ни элементарной грамотности у него не было. Свои бесчисленные приказы на Галаганских о водворении в карцер провинившихся тамошних эзков он писал так: "За убийство заключённым таким-то вольнонаемной курицы... или "За связь с женщинами трубачиста (трубача) КВЧ такого-то... водворить..." И вот теперь он оказался в одном бараке и на равных правах с теми, над кем прежде с таким бессмысленным усердием издевался. Да еще в подчинении у своего бывшего заключенного, которого первым огорошил на Галаганских своим дурацким: "Повесть..." Я живо припомнил эту сцену во всех подробностях и постарался представить себе обоих ее участников в теperешней перестановке ролей. Но это не удавалось, и я спросил у десятника, как работает его бывший начальник, как живет, а главное, почему обитатели здешней "Индии" его не трогают. Отто только махнул рукой. Разве тот, кто всю жизнь погонял и угнетал людей, когда-нибудь умеет работать сам? Норм на лесоповале бывший начлаг не выполняет и наполовину, хотя для вольняшек эти нормы в полтора раза ниже, чем у заключенных. Конечно, при помощи карандаша можно было бы и ему, как большинству других здешних горе-работяг, несколько повысить процент выполнения. Однако, замерщики и бригадиры на лесосеке учитывают работу бывшего ревностного приверженца всяческих талмудов в строгом соответствии с его собственными принципами. Всякая приписка – антигосударственное и противозаконное дело! Многие на работе в лесу зависят и от полученной делянки. Они тоже попадаютс бывшему прохиндею не ахти какие. Все больше редколесье да тонкомерье. А не нравится – "можете жаловаться!" Тут не как в Магадане под крылышком у тамошнего начальства. "Закон –

тайга, прокурор - медведь"... Вот и зарабатывает бывший начальник какие-то гроши, да и те, если не успеет пропить, у него отнимают блатные. Опустился он хуже последнего доходяги в лагере. Конечно же, его тут постоянно и беспощадно травят, дразнят: "Начальник, повесь на х... чайник!" Места на нарах не дают, хотя его и достаточно, живет под нарами. Он здесь даже не пария. Если уж проводить аналогию с кастовым делением, то Повесь-Чайника следовало бы отнести, скорее, к "неприкасаемым". Впрочем, прикасаются к нему здесь, пожалуй, даже слишком часто - кулаком, ногой или палкой. Но вот не убивают же...

Не убивают потому, что возможность поиздеваться над бывшим лагерным начальником ценится выше его смерти. Убить его означало бы лишить население здешней "Индии" его главного развлечения. Хотя Повесь-Чайник несколько портит это развлечение тем, что не только не отбивается, но почти и не огрызается. Забивается под свои нары или, если позволяет погода, уходит и бродит где-то в лесу. Почти одичал. - Да вон он, гляди! - Пик показал рукой немного в сторону. По направлению к лесу ковылял человек в лагерном дражном бушлате, подпоясанном веревкой. Из прорех бушлата, прожженного во многих местах, как и из ватных штанов оборванца, клочьями свисала вата. Пятка одной из стоптанных лагерных бурок - подобия чулок, пошитых из ватного утиля - переместилась чуть ли не на середину голенища. Ее передок, мотающийся где-то впереди ступни, явно мешал человеку ходить, но он, видимо, давно уже ничего не предпринимал, чтобы поправить свою немыслимую обувь. Одно ухо тоже прожженной, лагерной «шапки-ежовки» торчало вверх, другое свисало.

Догнать доходягу не стоило никакого труда, так как он едва брел. Не доходя до него шагов пять, Пик громко крикнул: «Гражданин начальник!» Тот вздрогнул и обернулся. Да, это был Повесь-Чайник. Это его - одутловатое, теперь заросшее седеющей щетиной лицо, и глаза, еще более угрюмые и тусклые. Но они не смотрели сквозь человека, как прежде, а растерянно бегали.

- Повесь на х... чайник! - дурацкой скороговоркой пробормотал десятник. На мгновение глаза бывшего начальника перестали бегать, и в них появилось осмысленное выражение. Но это было выражение бесильной злобы, затравленности и животного страха. Потом оно исчезло, сменившись прежним, тупым и почти бессмысленным. Повесь-Чайник как-то съехался, втянул голову в плечи и неуклюже повернувшись, заковылял куда-то, волоча свою бурку.

1965

## ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

### КОЛЬЦО

Банни бежала впереди, я шел следом, обдумывая план будущей статьи, как вдруг взгляд мой упал на что-то блестящее, радугой переливающееся в траве. Нагнувшись, я поднял маленькое кольцо. Такое маленькое, что это сразу бросалось в глаза - мне оно не налезло бы и на мизинец, а у меня рука совсем небольшая, если, конечно, сравнивать с American guys. В камнях я не знаток, поэтому не смог определить ценность маленького прозрачного камушка, блестящего

посредине. По краям переливались совсем крошки, цвета спелого заката. Бриллиант и рубины, ни дать, ни взять! Я в голос рассмеялся, и Банни, заинтригованная, подбежала ко мне. Но она мне помочь не могла, только утолила свое женское любопытство, ткнула мордой в мою ладонь, с которой я поспешно убрал найденное сокровище в карман шорт. По привычке я стал делиться с Банни соображениями: как ты думаешь, Банни, чье это колечко? И что прикажешь с ним делать?

Может, отдать в полицию? Но я даже не знаю, где здесь полиция, я ведь не местный. Приехал сюда в этот маленький поселок на каникулы. Живу в доме умерших родителей, проводивших в этой дачной местности последние годы жизни. Домик этот не вовсе мне незнакомый. Я навещал своих старичков довольно часто, так как живу и работаю совсем рядом - в городе N. Я профессор филологии N-го университета, ну не совсем еще профессор, пока ассистент, но дело к тому идет. Заведующая нашим отделением Нэнси Шафир, обговаривая со мной тему очередной совместной статьи - о Генри Джеймсе, - намекнула, что от этой работы много что зависит...

Я стоял в нерешительности. Кольцо, даже брильянтовое, было мне ни к чему. Продавать найденную вещь я не собирался, дарить ее было некому. Да, некому. У меня нет постоянной подружки. Не постоянных тоже не так много, так как я разборчив - черта унаследованная от моей ирландской родни по матушкиной линии. Матушка дожила до восьмидесяти и год назад неожиданно умерла, через три месяца за ней последовал мой 86-летний дэдди. В свои 36 лет я один как перст, не с кем даже перекинуться словом, не считая, конечно, Банни, которая замечательно все понимает. Пожалуй, подошла пора жениться. Помнится, у Джеймса его герой Кристофер Ньюмен как раз в этом возрасте надумал жениться. Подыскал себе "кадр" в Европе... Но, кажется, у него ничего из этого не вышло. И у самого Джеймса не вышло. Так что поглядим.

Впереди, за поворотом тропинки, куда убежала Банни, раздался женский крик. Я поспешил в ту сторону. Моя рыжая миролюбивая собака - крупный чистопородный лабрадор - глядела виновато. Женщина возле нее стояла ко мне спиной.

- Hello, - вас напугала моя собака?

Женщина обернулась. Первое, что я увидел, было кольцо с маленьким красным камнем на ее указательном пальце. Она заслоняла рукой лицо, словно боялась нападения.

- Банни, на место!

Собака отошла от женщины и легла на некотором расстоянии от меня, видимо, в предчувствии нагоняя.

- Она смиренная, никогда никого не тронет, но очень любопытная - настоящий женский характер, - пытался я пошутить.

Женщина молчала. Уж не глухая ли она? Или у нее шок от страха? В таком случае, мне придется платить штраф. Возможно, она из тех, кто не упустит свой шанс, даже если это всего лишь безобидное собачье заигрыванье. Женщина что-то прошептала, обращаясь к Банни, смущенно мне улыбнулась и нетвердыми шагами направилась по дорожке, в противоположном моему направлению. Я стоял в ошарашенности. Сцена показалась мне странноватой. Я ожидал чего угодно,



только не этого. Конечно, собака ее не тронула - я знаю Банни, - но у нее есть плохая привычка заигрывать со встречными. Иногда она даже пытается закинуть на тебя лапы. Пару раз я отгонял ее от п-их соседей по улице. Там, в N., она ходила у меня на поводке, как положено. А здесь, в этой парковой зоне, я расслабился и решил дать ей побольше свободы. И вот результат. Я подозвал Банни и надел на нее поводок. Так обычно кончаются все благие намерения. Конец прогулки был испорчен, и домой мы с Банни возвращались не очень довольные друг другом.

Но главным образом я был недоволен собой. Хотя что, собственно, я должен был делать? Извиняться? Предлагать деньги? Но собака не причинила ей вреда. И, однако, весь тот день мне было не по себе. К тому же не шло из головы найденное кольцо. Каким-то странным образом это крохотное колечко и кольцо на руке встреченной женщины соединились у меня в одно. Закрепил эту связь сон, приснившийся мне в ту ночь. Мне снился длинный-длинный коридор со множеством дверей по обеим сторонам, и я иду по нему, почему-то твердо зная, что моей двери здесь нет. Внезапно дорога разветвляется, и я уверенно ступаю на побочную тропу, по которой навстречу мне идет давешняя встречная. Мы останавливаемся друг напротив друга, и она протягивает мне что-то похожее на капельку крови - ее колечко, догадываюсь я. Но я отдвигаю ее руку, и, вместо того, чтобы взять протянутое кольцо, вынимаю из кармана и поспешно надеваю ей на палец свое - найденное на тропинке... Я проснулся в полной уверенности, что непременно встречу незнакомку, может, даже сегодня.

Хотя назвать ее незнакомкой было бы слишком романтично. Я плохо запомнил ее лицо, и во сне я видел ее словно без лица, на месте которого было то, что Платон назвал бы "идеей" лица. Я не запомнил, была она низкой или высокой, толстой или худой, светлой или темноволосой. Я не увидел ни цвета ее глаз, ни во что была она одета. Про голос уже не говорю, так как она не удосужилась произнести ни единого слова, не считая невнятицы, обращенной к Банни. Общее впечатление было, что она намного старше меня, хотя я мог ошибиться. Запомнилась рука с очень длинными худыми пальцами, с кольцом на одном из них. Когда я привел весь этот сумбур в порядок, в голову пришло, что у меня возникла ситуация, вполне в духе сказки Гоцци. Там герой проклятием коварной ведьмы был обречен полюбить три апельсина. Я по воле судьбы, которая иногда играет с людьми не хуже коварных колдуний, обречен искать встречи с кольцом, или с некоей дамой с кольцом.

Но и дамой назвать ее было нельзя, как и незнакомкой. В этих названиях сквозит какая-то романтизация, что-то средневеково-идеальное, чего я не выношу. Могу поклясться, что у меня к этой встречной с кольцом ничего не возникло, никаких чувств. Просто было какое-то наваждение, помутнение рассудка, с которым на первых порах мне лень было бороться.

Два дня прошли в беспрепятственных прогулках - Банни глядела на меня с недоумением. Я не мог заниматься, статья, ради которой я приехал сюда в это безлюдье, повисла на волоске, но делать было нечего: я не мог, точнее не хотел, с собой совладать. Все сосредоточилось на этом кольце; я понимал, что прежде, чем мой поиск не закончится хоть чем-нибудь, что в какой-то

степени можно было бы считать завершением, точкой или хотя бы запятой, я не смогу приступить ни к какому другому делу.

Я увидел ее на третий день под вечер. Весь этот день я провел на тропе. То ходил по ней туда и сюда, то сидел на складном стульчике, на котором любила сидеть матушка. Банни, привязанная к его ножке, томилась и даже пыталась лаять. Я убаюкивал ее взятой из дома очищенной морковкой, любимым ею лакомством. Сам я есть не хотел. За весь день не так-то много людей прошло по тропе. С утра пенсионеры прогуливали по ней собак, да несколько здоровенных раздетых до пояса парней и полуголых девиц совершали привычный jogging. Сидя на стульчике, чуть в стороне от начала тропы, я слышал их тяжелое дыхание, видел их разгоряченные бегом и душной жарой тела. В девять утра дышать практически было нечем, солнце шпарило с адской силой. Меня поражали воля и физическая крепость соотечественников, способных на пробежку в такое душное утро. Сам я не бегун. Отсутствие тяги к спорту - еще одна черта, сильно отличающая и даже отдаляющая меня от American guys. Эту черту, похоже, я унаследовал от дэдди, чьи родители приехали в эти края из Италии, из Мачераты, когда дэдди - тогда Паоло, впоследствии Полу - было всего 3 года. Дэдди до конца жизни остался *un po' italiano* (немножко итальянцем) и даже мне передал в наследство несколько итальянских слов. Спорта он не любил, обожал макароны и дожил при этом до весьма преклонных лет. Свою недостаточную спортивность мне пришлось компенсировать отличной учебой и участием в общественной жизни школы и университета, как-то: редактированием школьной и университетской газеты, победами в творческих конкурсах и лингвистических играх, нудной работой по подтягиванию отстающих и иностранцев. Свое местечко в N-е я заработал потом и кровью; Нэнси Шафир не промахнулась, взяв меня в свое отделение, и моя будущая статья о Генри Джеймсе, я уверен, приблизит меня к истинной цели - должности профессора. Такие или похожие мысли бродили в моей голове, пока я смотрел на любителей бега трусцой.

За весь день, как я сказал, по тропе прошло совсем немного людей. Я заметил, что мы, американцы, в отличие от европейцев, не гуляем, а занимаемся спортивной ходьбой - все прошедшие мимо меня двигались в быстром темпе, не глядя по сторонам, изо всех сил размахивая руками. Одна такая девица появилась на горизонте, когда уже начинало темнеть и я подумывал, не пора ли прекратить мое сегодняшнее дежурство. Девица была в теле и, видно, хотела с помощью спортивной ходьбы поправить положение. Мне показалось, что движениями своих огромных толстых рук она напоминает мельницу. Я загляделся на эти нелепо подпрыгивающие сосисочные конечности и пропустил появление на тропе еще одной фигуры. Это была она. Я приподнялся со стула и уставился на нее. Я стоял, крепко сжимая поводок в руке, так как Банни начала проявлять странное нетерпение, а она медленно шла мимо. В наступающей темноте я разглядел, что на ней светлое платье с короткими рукавами, на незагорелой худой руке поблескивало кольцо. Проходя мимо нас с Банни, она приостановилась и испуганно взглянула на собаку. Я стряхнул непонятное оцепенение и произнес: "Добрый вечер!"

"Добрый вечер", - так могло ответить эхо. Она ускорила шаг. "Послушайте!" - не мог же я бежать за ней с собакой на поводке, к тому же привязанной к стулу. - "Послушайте!" - Она приостановилась и посмотрела на меня с удивлением и испугом. "Послушайте, это не вы потеряли кольцо здесь на тропинке, несколько дней тому назад?" Казалось, она не понимает, чего я от нее хочу. Я вынул кольцо из кармана шорт и показал ей. Она поглядела, медленно, словно о чем-то задумавшись, подняла глаза и покачала головой. Тут меня осенило. Вы иностранка? - Она кивнула. - Из Италии? - Я назвал первую пришедшую в голову страну. - Я русская, - она отвернулась и почти побежала от нас с Банни вперед по тропе.

В ту ночь никакие сны мне не снились, но и спать я не мог. Работал кондиционер, и нельзя было пожаловаться на духоту. Но не спалось. В голове мелькали разрозненные мысли. Когда я понял, что заснуть не удастся, я решил сконцентрироваться на мыслях о статье. В ней я, вопреки общепринятым утверждениям, собирался показать, что Генри Джеймс был патриотом, что он любил и почитал свое отечество и своих сограждан и что его долголетнее, до конца жизни, пребывание за границей объясняется, скорее всего, причинами культурного порядка. Дальше мысль моя уперлась в словосочетание "духовная провинция" и застряла на нем. Я сильно сомневался, что Нэнси Шафир согласится оставить его в статье. Она скажет - и я уже слышал ее начальственную интонацию, - что в наше тревожное время мы не имеем права называть свою страну "духовной провинцией", даже если определение это относится ко временам Генри Джеймса. Я вслух застонал, и Банни внизу, под моей спальней, заворчала. Бедняжка, ей, видно, тоже не спалось. Я встал и спустился по лесенке вниз, к Банни. Собака приветствовала меня фырчаньем и вмиг облизала обе мои ноги. Я сел рядом с ее лежанкой и начал медленно поглаживать ее короткую и упругую рыжую шерсть. "Что, собачка, не спится? Что-то такое есть в воздухе этого дома, что не дает уснуть, а?" Банни потянулась и зафырчала. Я вспомнил, как все последние годы, навещая родителей, никогда не оставался здесь ночевать. Родители имели обыкновение под вечер громко сосориться, дэдди кричал и ругался на двух языках, матушка, то в сердцах отвечала, то начинала плакать. Я не могу вспомнить, по какому поводу они ругались, возможно, к концу дня оба доходили до определенной кондиции, так как любили приложиться к виски, большие запасы которого я до сих пор нахожу в разных местах дома. Обычно с первыми визгливыми звуками голоса дэдди и плаксивыми всплесками матушки я быстро поднимался с кресла и бесшумно покидал место разворачивающегося семейного побоища. Резвоногая ауди в полчаса переносила меня из лесной глуши в чинный каменный К., в мой уютный кондоминиум, где меня ждали компьютер, вечерняя сигара, статья в "Ньюйоркере" и моя верная рыжая Банни.

На следующее утро я решил исполнить план, родившийся в моем мозгу на исходе ночи. Оставив недовольную Банни дома, я начал методично обходить поселок, улицу за улицей, прилегающие к тропе. Я прислушивался ко всем шорохам и звукам, доносящимся из внутренностей домов, к обрывкам разговоров и звукам радио. Я ждал указаний от своего слуха, зрения, обоняния и еще от чего-то, чему нет имени;

все вместе должно было навести меня на след. В университете, занимаясь с иностранцами, я сталкивался с русскими. Не скажу, чтобы они меня привлекали. Главная черта, отличающая их от всех прочих прибывших в нашу страну, непомерная гордость и уязвленное самолюбие. Они мнят себя намного умнее и содержательнее здешних аборигенов, коренных американцев, и страшно недовольны, что те не хотят потесниться и пойти навстречу их преувеличенным амбициям. Звук русской речи был у меня на слуху, в Н-е я занимался английским языком с одной русской девицей из какой-то таежной республики, а она, в свою очередь, обучила меня нескольким русским словам: chord, nudag, gepazval. Наверняка, это ругательства, так как она смеялась, когда их произносила, но для меня главное - их звучание. Похожие звуки я сейчас и вылавливал из окружающего меня пространства. Правда, большая часть домов молчала - хозяева или уже уехали на работу, или еще спали. Я уже подумывал вернуться, так как вспомнил, что забыл налить в миску Банни воды, как вдруг, - я не поверил своим глазам - столкнулся с нею нос к носу. Она внезапно вынырнула из-за угла, в шортах и слишком яркой блузке, в руках к ней была продовольственная сумка. Увидев меня, она не попятилась, а улыбнулась, как знакомому. Я тоже ей улыбнулся и подошел. - Вы понимаете по-английски? - Когда говорят медленно и рядом нет собак. - Из магазина? - я указал на сумку. Она кивнула: "Но я купила немного, только для себя". - Обычно вы покупаете больше? - Да, когда моя дочка со мной, я покупаю больше. - А где сейчас дочка? - В лагере. Она говорила с паузами, неуверенно, словно сомневаясь в каждом произнесенном слове. Так, должно быть, строят фразы на чужом неосвоенном языке - его кирпичики известны, но куда их ткнуть, - дело произвольного выбора. - Вы давно здесь? - Всего год, но за это время много чего случилось... Она остановилась, словно не зная, стоит ли продолжать, но все же продолжила: "Муж ушел к другой женщине, оставил нас с дочкой без всякой помощи... Она искося взглянула на меня и вдруг рассмеялась:

- Вы не хотите мне помочь?

От неожиданности я вздрогнул.

- В... каком смысле?

- В прямом. Донести сумку.

Я схватил ее сумку с продуктами, она была достаточно тяжелой.

Интересно, кем я кажусь со стороны, с продовольственной сумкой в руках и в компании этой странной русской, в вызывающе яркой блузке? Зрелище не для слабых. И еще я подумал, что она напрасно рассказывает такие вещи совершенно постороннему человеку.

Не то чтобы я ее стыдился. Но теперь, когда я увидел ее вблизи при ярком солнечном свете, она действительно показалась мне не очень молодой и не слишком привлекательной. Я взглянул на ее руку, кольцо было на месте и словно подмигнуло мне красным огоньком. Возле небольшого, совсем простенького домика она остановилась.

- Здесь я живу. Спасибо за помощь. Стоя возле двери, она помахала мне рукой.

- Захотите - приходите в гости, только без собаки. И она захлопнула дверь.

Всю следующую неделю я писал статью. Работа меня увлекала. Фразу о "духовной провинции" я оставил

без изменения и твердо решил за нее сражаться, если Нэнси Шафир на нее ополчится. Моя решимость вернула мне утерянное настроение, и я прямо с утра сел за свой портативный компьютер и работал до обеда. Обедать я ездил в рыбный ресторанчик неподалеку, на завтрак ел, как в детстве, кукурузные хлопья с молоком, на ужин - гамбургеры с сыром, ветчиной и салатом. В местном магазине был за всю неделю один раз; кидая сумки с продуктами в багажник резинового ауди, естественно, вспомнил свою последнюю встречу с русской. Впрочем, я о ней не забывал. Выгуливал Банни на поводке по лесным тропинкам и оглядывался; все мне слышались какие-то шаги, мерещилось, что это она сзади или впереди или даже рядом. Я гнал от себя наваждение. Призывал на помощь реальность. Зачем мне было влезать в проблемы женщины с ребенком, которую бросил муж, женщины, плохо владеющей английским языком, некрасивой и немолодой?

Признаться, то, что она немолода и некрасива, не было для меня аксиомой. Я не знал точно, ни сколько ей может быть лет, ни хороша ли она собой. В последний раз я обратил внимание на ее довольно-таки гордый профиль и длинную шею, что, на мой взгляд, разительно не сочеталось с шортами и цветастой блузкой. Что касается ее возраста, то он, как и ее внешность, был ее внутренней составляющей, которую надо было принимать как данность. Да, на ее лице я заметил морщины и кожа возле глаз и на шее была увядшей, но сквозь морщины лица и увядшую кожу просвечивал некий изначальный образ, почему-то подчиняющий меня своему воздействию. Я боролся и протестовал, я не хотел слепо подчиняться каким-либо внешним воздействиям. Я дал себе зарок не искать с нею встречи до окончания статьи.

В пятницу вечером неожиданно позвонила Нэнси Шафир. Она весело осведомилась, как идет моя работа и хорошо ли мне отдыхается, пожаловалась на жуткую жару в городе и бросила как бы ненароком: "Если ты не против, я бы приехала на уик-энд в твой райский уголок передохнуть и поработать". Конечно, я согласился.

Нэнси - большая, грузная, веселая и на этот раз кудрявая как пудель, привезла с собой огромную коробку с гамбургерами и дюжину пакетов с кукурузными хлопьями. Я расхохотался, увидев эти припасы, и высказался в смысле общности наших с ней кулинарных пристрастий. С Нэнси, пока она не садится на своего конька - политкорректность - можно ладить. После завтрака и прогулки с Банни по лесистым тропинкам (Банни сразу признала Нэнси, которая обходилась с ней запросто), мы с "шефиной" взялись за статью. К моему удивлению, ее не задел пассаж про "духовную провинцию", зато она придралась к рассказу о любви Джеймса к писателю Тургеневу. Она настаивала, чтобы слово "любовь" было мною заменено на "дружбу", напоминая, что при современной ситуации в области секса "нас могут неправильно понять". Если учесть, что только в нашем отделении работают несколько геев и лесбиянок, ее опасения были не напрасны. Однако я заупрямился. Не согласился я и на ее предложение удалить места, где у меня говорится, что Джеймс выступал против антисемитизма. Нэнси заявила, что, поскольку статья будет подписана двумя нашими фамилиями, соображения политкорректности велят от-

бросить еврейский вопрос в сторону. Меня всегда умиляло, как евреи боятся всякого публичного упоминания о своем происхождении. Кажется, для них лучше быть обвиненными в юдофобстве, чем прилюдно выказать симпатии к своим братьям по крови. Нэнси, услышав мои возражения, против обыкновения, не стала давить, а только сказала, что все мужчины одинаковы и не ставят мнение женщин ни в грош. После этого она села на диван рядом со мной, тесно ко мне прижалась и сказала кротким и совсем не свойственным ей тоном: "Кажется, я разведусь с Мигелем, он сволочь". О ее муже, мексиканце, давно ходили разнообразные слухи. Говорили, что он путается со всеми подряд, невзирая на пол и возраст. Нэнси вышла за него два года назад, во время своих активных занятий латиноамериканской тематикой. Мигель был ее аспирантом, часто они полночь засиживались в ее кабинете. Сотрудники, уходя домой, с непроницаемыми лицами, но уморительными телодвижениями, прижимали палец к губам и на цыпочках проходили мимо Нэнсиной двери: "Т-сс, начальство занимается". Чем именно занималось начальство, было тайной полишинеля. За эти два года Нэнси расплелась, начала красить волосы, пристрастилась к ядовито-оранжевому бурито, которое они оба поедали в обед, почти синхронно облизывая жирные, вымазанные соусом пальцы, и, на мой взгляд, сильно поглупела, так как парень был явно не из высоколбых. Все эти два года я помню ее с темными гладко зачесанными волосами, собранными на затылке. Сейчас я подумал, что, вероятно, действительно в отделении и в ее жизни грядут перемены, ибо видел перед собой светлую блондинку в мелких кукольных кудряшках.

Банни не дала Нэнси до конца излить передо мной душу. Она вклинилась между мной и шефиной и потребовала снова вывести ее на прогулку. Мы вынесли на улицу шезлонг и складное кресло и расположились на отдых. Банни легла в тени у меня в ногах.

День казался безразмерным, мы настолько развелись, что решили не ехать в ресторан и пообедать гамбургерами, заполонившими холодильник. Вечером после ленивой игры в бадминтон, на подстриженном газоне, среди редких, фигурно подстриженных деревьев, Нэнси забралась в ванную и не вылезала оттуда часа полтора, так что я уже начал беспокоиться. Но она была в порядке - вышла, закутанная в банное полотенце, и осведомилась, где она будет спать. Я указал ей на диван в гостиной. Я не сомневался, что ночью она заявится ко мне наверх. Так оно и случилось. Банни в этот момент, видимо, ею разбуженная, как-то странно завывала. Я давно подозревал, что у моей собачки чуткая женская душа. Было довольно гадкое ощущение, что мною хотят воспользоваться. Нэнси - вовсе не героиня моего романа, она толста, по возрасту я гоюсь ей в сыновья, к тому же, у меня брезгливое ощущение, что она всегда слегка припахивает потом. Но и это не все. Мне с нею неинтересно - вот что главное, мне не интересно с нею ни днем, ни ночью. Ее присутствие делает меня болваном, точно таким болваном, как ее усатый кот Мигель. Я не хотел быть уравненным с усатым Мигелем, но в данном случае ничего не мог поделать. Мне пришлось подчиниться обстоятельствам. От Нэнси, в конце концов, кое-что зависело в моей дальнейшей научной карьере. Я не мог ее оттолкнуть.

Воскресенье прошло так же, как суббота. Когда утром в понедельник она уехала, я готов был пуститься в пляс.

Казалось, Банни понимает мою радость. У нее было какое-то задорное настроение, она металась по гостиной, задевая за стулья, я еле ее успокоил. Когда она легла у моих ног и я, под ее довольное фырчанье, стал медленно гладить ее рыжую короткую шерсть, я подумал, что вот единственное женское существо, которое не вызывает во мне раздражения.

В принципе статья была готова, осталось только уточнить некоторые мелочи. В частности, в воспоминаниях о Тургеневе, которого обожал мой герой, я наткнулся на место, связанное с кольцом. Это был талисман, подаренный Тургеневым Полине Виардо. К самому Тургеневу кольцо перешло от некоего русского поэта Жуковского, а тот получил его от русского стихотворца Пушкина, автора либретто оперы "Евгений Онегин". К Пушкину этот талисман, по преданию, перешел от некоей его любовницы-цыганки, впоследствии жены русского князя или графа.

Я заинтересовался этой историей, так как мой герой, приехав в Париж, сдружился с одним русским, по фамилии Жуковский. Поль Жуковский был поздним, родившимся в Германии, сыном Базиля Жуковского, он мог что-то слышать про необыкновенное кольцо, более известное под названием "талисман любви". Легенда гласит, что на нем были начертаны магические слова на Hebrew, отгоняющие неверность и измену и привязывающие его носителя к предмету первоначальной страсти.

История кольца таинственна. Мадам Виардо вернула его русским властям после кончины своего русского обожателя, но впоследствии оно исчезло и до сих пор не найдено. Мне не терпелось узнать, слышал ли Генри Джеймс о существовании этого кольца и - еще больше, - видел ли он его.

Но эти детали не были столь уж важны, статья в целом была завершена, и тем самым я был свободен от данного самому себе зарок. Сразу же после отъезда Нэнси я отправился на прогулку в поселок, оставив притихшую Банни наедине с полными до краев мисками с едой и питьем.

Маленький домик стоял на том же месте, он мне не приснился. Я помедлил в тени стоящего напротив дома дерева. Из открытого окна до меня долетали звуки фортепьяно. Но играл кто-то неумелый, то и дело останавливаясь и спотыкаясь. Я подумал, что играет она из рук вон плохо, но тут музыка прекратилась, и из двери вышел маленький мальчик, лет четырех, в сопровождении своей мамы. Мама неслась огромный портфель, видимо, набитый нотами, мальчик - тоненькую папочку. У обоих были серьезные и даже взволнованные лица, мальчик, казалось, вот-вот заплачет. Через минуту из дверей выбежала моя знакомая. Она подбежала к мальчику и взяла его на руки. Тут уж он разревелся в голос, а она быстро-быстро что-то ему говорила, то и дело обращаясь к надувшейся пухлой мамаше. Общий звук разговора был такой: "Ви-и ... не-а-а...пла-аа...ничи-и-и." Мальчик чуть успокоился и был опущен на землю, мама взяла его за руку, и они проследовали к старенькой Вольво, стоящей не так далеко от дерева, за которым я скрывался. Машина взревела и покатила. Я оторвался от дерева и подошел

к русской. Кажется, она меня заметила еще раньше, так как не удивилась.

- Вы в гости? А я думала, вы уже не придете. Проходите.

Я вошел. Комната была светлая, но небольшая, возле окна стояло фортепьяно, напротив у стены - диван с подушками, над которым висел портрет задорной девочки-подростка с двумя косичками. Я сел на диван и чуть не опрокинул маленький круглый столик со стеклянной вазой посередине. - Осторожнее! - у нас мало места. Хозяйка подхватила вазу и засадила в нее еловую ветку с шишками, какие валяются вдоль лесной тропы. На ней было уже знакомое мне светлое платье. Ничего нового в ее внешности я не заметил. Да, кольца на ее руке не было. Наступила минута неловкости, когда не знаешь, с чего начать. Она поднялась и подошла к фортепьяно. - Хотите, я сыграю для вас? И даже не взглянув в мою сторону, открыла крышку. И начала играть. Если я правильно понял, она играла Шопена. Было впечатление, что это такой способ разговора. Она мне так о себе рассказывала. Но чтобы понять, надо было что-то изначально знать о ней или хотя бы о Шопене. Я не знал ни того, ни другого. У меня не было к этой музыке ключа. Что касается музыки как таковой, я не большой любитель этюдов и мазурок, хотя признаю, что играла она превосходно.

- Вам не понравилось? - она захлопнула крышку и на меня опять не смотрела.

- Почему вы думаете?

- Я всегда чувствую, когда есть отклик, а когда нет.

- Вы музыкант?

- Была. Здесь я даю уроки музыки русским детям. Хотите чаю?

- Я бы выпил воды.

- Я забыла, что вы американец, русские от чая не отказываются.

Она принесла мне стакан воды из холодильника.

- Кстати, мы с вами еще не познакомились. И она назвала себя, а я себя. Ее звали Liza. Я спросил, типичное ли это имя. Она ответила, что это имя сейчас не очень популярно, но оно традиционно для ее семьи. Понемногу она разговорилась. Ее речь была очень замедленная и грамматически неправильная, и слова она произносила с жутким русским акцентом. Но я ее понимал. А она призналась, что мой американский понимает с трудом. Рассказала, что родом из Петербурга и что ее семья с дворянскими корнями и с польской кровью - отсюда ее любовь к Шопену. Ее дед-дворянин погиб в лагере, и отец был на каторге. Кажется, она даже назвала какой-то известный польский род, увековеченный в истории, фамилия на букву В, типа Branskiy или Branidskiy. Я спросил, куда делось ее кольцо. Оказалось, что она снимает его во время занятий музыкой. При мне она взяла его с крышки фортепьяно и надела на палец.

- Нравится? Я кивнул.

- А то кольцо... которое вы нашли... оно с вами?

Я достал свою находку из кармана шорт. Белый прозрачный камушек в окружении шести алых капель. - Брильянт и рубины! - провозгласил я, смеясь. - Чешское стекло, - сказала она как-то уж очень уверенно и серьезно, словно столкнулась с давно знакомой вещью, и продолжала в какой-то отключке: "Карловы - Вары. 1987 год. Он сказал, что наша любовь до гроба. И подарил мне кольцо". Ее голос дрожал, а взгляд она

отводила. Когда я все-таки заглянул ей в глаза, мне показалось, что в них стоят слезы. Но она быстро вернулась. И потом уже только улыбалась. "Бойтесь этого кольца, - шутливо погрозила мне пальцем, - Оно... и она употребила русское слово, звучание которого я забыл. Что-то типа "privotnoe" или "priotnoe". Я спрятал кольцо в карман и поднялся.

- Спасибо за музыку, за разговор и за воду. Я старался говорить отчетливо, она поняла мою фразу и рассмеялась. - Приходите еще, расскажете мне о себе. В пятницу приезжает Поинка - я вас с нею познакомлю. Девочка очень страдает... без отца - и она показала на задорную девчонку с косичками, висящую над диваном. Я простился и вышел.

\*\*\*

Во вторник мы с Банни быстро собрались и уехали в город. Мой двухнедельный отпуск кончился, статья о Генри Джеймсе была написана, больше меня ничего не привязывало к этому глухому местечку. Перед отъездом я в последний раз обошел дом, поднялся в спальню родителей, где посещали меня бессонные ночи, постоял в гостиной, где в углу угнездилось матушкино кресло, в котором мне полюбилось отдыхать. Обошел я и все тайники с крепкими напитками, которые мне удалось отыскать. Было мгновение, когда в тишине дома я вдруг услышал отголосок родительской ссоры и матушкин плач. Бог знает, может, мне следовало вмешиваться в их громкие разборки? Я почти уверен, что именно дэдди свел матушку в могилу, ее унижали и травмировали его крики и ругань. А сам он? Разве смог он жить один, когда ее не стало, с ощущением, что он был причиной ее смерти? С другой стороны, начни я тогда вмешиваться в ссоры родителей, возможно, и на меня обратились бы их пьяная брань и крик. Нет уж, я правильно делал, что не вмешивался. И я правильно делаю, что спешу уехать из этого дома и из этого места.

В последнюю бессонную ночь я определил для себя дальнейшую стратегию. Пожалуй, мне следует проветриться. Мне, как и моей научной работе, не повредит соприкосновение с Европой, где долгие годы жил и где в конце концов умер Генри Джеймс. Я разовью перед Нэнси Шафир план моей предполагаемой научной командировки. Париж - Венеция - Лондон. Не думаю, что она будет серьезно возражать. Возможно, она даже захочет ко мне присоединиться на определенном ее этапе. Скажем, провести несколько дней в Париже или на Сицилии... несколько дней, не больше. Все остальное время я буду один, один или вместе с Банни, я еще не решил.

Я уезжал из родительского дома в хорошем бодром настроении в предвкушении нового этапа своей жизни. В самый последний момент, уже усадив Банни на заднее сиденье и заведя мотор, я вышел из машины и сделал несколько шагов по лесистой тропе. Я вынул из кармана шорт колечко с белым прозрачным камушком и шестью кровавыми лепестками - и с громким криком закинул его в самую гущу листвы, перепутанной с хвоей, на противоположный конец мира, в антимир. Я был отныне свободен, и Банни, будто почуяв мое освобождение, приветствовала его громким залившимся лаем.

Август 2003

Отдохнув в конце июля неделю на Пяозере, а если точнее, на острове Ваушколошари, расположенном чуть южнее северного полярного круга в Карелии, мы возвращались на базу - поселок Софпорог. Поселок этот расположился на одном из берегов пролива Софьянга между Кумским водохранилищем и собственно Пяозером. Возвращались мы на катере, который подогнал нам шеф местной туристической фирмы Гриша с опозданием на 3 часа. Тем, кто был в тех местах, не трудно представить наше состояние и "добрые пожелания" Григорию и его маме, которые мы посылали в направлении Софпорога в процессе ожидания катера. Дело в том, что продукты и "огненная вода" закончились полностью, а у меня, кроме того, каждый этап обратного продвижения контролировался датами купленных билетов. А этапы эти были таковы: от Софпорога до железнодорожной станции Лоухи, от Лоухов до Москвы и от Москвы "до самых до окраин".

Любая задержка примерно на 5 часов могла разрушить всю цепочку и привести к большому дополнительным хлопотам типа покупки билетов, продления визы и т.д.

По правде говоря, нервничал больше всех я, поскольку почти вся наша команда была в этих местах не первый раз, а главное - все были в своей стране. Теперь о команде:

*Большой Начальник* - начальник космической связи Большого учреждения и организатор экспедиции;

*Рыбак-маньяк* - блестящий инженер и организатор экспедиции;

*Актёр* - обаятельный человек и по совместительству полковник одной из крутых служб;

*Пират* - опытный турист-профессионал, а также классный инженер;

*Крепыш* - сын Пирата - также опытный турист и добрый малый;

*Бывалый* - он же удачливый рыбак и он же супер-спец по связям;

*Я* - представитель иностранного государства.

Нужно отметить, что мы не были туристами - просто мужики на отдыхе в труднодоступном районе, что, вообще говоря, не очень типично для России, т.к. порыбачить и выпить можно было бы и на Клязьме и без этих хлопот, как говорится в старом еврейском анекдоте.

Шкипер на катере был немного похож на Клинта Иствуда в "Хороший, плохой, злой". У него даже шляпа была такая же, хотя я не уверен, что он фильм этот видел - слишком уж глухое место этот Софпорог. У нас на острове даже приемник практически ничего не принимал. Воздух был лишен не только привычного нам дыма и пыли, но и электромагнитных волн... Часть нашей компании сидела в "кают-компании" катера, где стоял большой стол с двумя скамейками и в углу примостилась даже небольшая газовая печка, на которой Большой Начальник готовил "Дорожную яичницу", состоящую из заказанных заранее и привезенных Гришей яиц и всех оставшихся продуктов. Я, Актёр и Бывалый стояли в хвосте на небольшой палубе, обозревая напоследок проплывающие мимо непередаваемой красоты острова. "Иствуд" стоял у штур-

вала, строгим взглядом высматривая топи и мели и уверенно ведя судно по фарватеру. Вспомнились наши денечки на острове Ваушколошари, проскочившие как одно мгновение.

Гриша выбросил нас неделю назад в не очень-то удачном месте, причем виноват был в этом больше всего не он, а шкипер. Все-таки он был похож на Иствуда. Он все время молчал и шурился на свет. Когда мы уже приближались к берегу он надвинул шляпу на лоб как Иствуд в фильме и заявил с уверенностью:

- Это место я знаю. Тут в прошлом году было много шук.

Рыбак-маньяк встал в «стойку». Увидев это, шкипер затормозил катер и быстро бросил якорь. Первой же неприятностью, встретившей нас при разгрузке, была мель. Пришлось все рюкзаки и мешки с катера на берег перевозить на надувной лодке. Занятие это хлопотное и "мокрое". Но с грехом пополам переправили все и огляделись – пейзаж был довольно безрадостный: вокруг были камни и поваленный лес.

- Так ептыть, ты куда нас завез... - начал было Пират, но осекся – моторы заревели и шкипер уже резко разворачивал катер. Ничего изменить уже было нельзя. Ровно через неделю катер должен был вернуться и забрать нас. Отдых начинался...

Нужно было строить лагерь. Благо материала было немерянно: сосновые бревна любых диаметров и размеров лежали неподалеку от берега, причем валялись они ни абы как, а вдоль береговой линии, что говорило о непосредственном участии прибоя в их укладке. Отколовшиеся ветки, многократно перебиваемые и перекатываемые водами озера приобрели причудливые формы. Я нашел в последующие дни фигурки почти всех животных, обитающих на земле: и оленей, и медведя, и жирафа, и змею, и многих-многих других. Под ногами хрустел крупный песок с отшлифованной галькой и гранитными камнями самых разных размеров и расцветок. На солнце эти камни сверкали всеми цветами радуги из-за вкраплений слюды, приротов и даже полудрагоценных минералов типа малахита, флюорита и лазурита. Вода в озере была совершенно прозрачная и приятная на вкус. А ничего место, а сначала не показалось!

Напилили подходящих бревен и занялись строительством лагеря. Поначалу Пират, Рыбак и Крепыш сколотили и с трудом врыли в песчано-каменистый грунт стол и скамейки, а затем из нескольких жердей, веревок и целлофана смастерили навес. Все это время Большой Начальник ходил вокруг и ехидно посмеивался, утверждая, что ни хрена они не умеют делать. К вечеру он не выдержал и смастерил защитную стенку от ветра, постоянно дующего со стороны озера, которая, вместе с навесом, создавала более надежное укрытие. Не зря посмеивался, выходит. Среди мха вырыли глубокую яму и сложили в нее продукты в целлофановых мешках. Этот естественный холодильник очень хорошо показал себя впоследствии. Натянули две палатки – одну чуть в глубине леса, а другую почти на берегу. Сложили все рюкзаки и мешки в большую кучу и накрыли их всё тем же целлофаном. Покрыли стол клеенкой, вытащили продукты: лук, чеснок, хлеб, консервы, спирт, поставили их на стол и выпили по первой, а чуть погодя по второй, и только после этого уже огляделись по-настоящему. Вокруг была неописуемая красотища: близлежащие, порос-

шие сосной, острова и затейливые облачка отражались в прозрачной воде, воздух был кристально чист, летали чайки и бакланы. Комары, хоть и тоже летали, но были какие-то ослабленные или наоборот, как мне потом сказали, наполненные черникой, которая отягочала их и делала безразличными к нашей крови. Выпили по третьей...

К вечеру все были в приподнятом настроении. Разожгли костер. Из-за высокой насыщенности воздуха кислородом довольно толстые бревнышки вспыхивали как спички и горели с треском и очень весело. Дым и сноп искр потянуло ветром в сторону леса. Кто-то предложил перенести костер подальше от леса и поближе к воде, но большинство было против. Актер вытащил ружье и предложил стрелять по мишеням – пустым банкам из-под консервов. Все с энтузиазмом согласилось. Началась пальба.

- Главное, - сказал я, - чтобы банки были впереди, а люди сзади.

При этом я повернулся вместе с ружьем. Все невольно присели.

- Да вы че, я в Сибири на медведя ходил!

Воспоминания, по-видимому, были настолько живыми, что палец на курок надавил инстинктивно. Раздался выстрел. Через пять секунд к ногам упал убитый баклан.

- Ну ты, Мюнтхаузен! - воскликнул Пират.

Я разочарованно положил ружье на песок и отправился допивать.

Стали жарить бараньи шашлыки, приготовленные заранее еще в Москве.

Начало смеркаться. В это время все услышали звук мотора приближающейся к нашему берегу лодки. В лодке сидели трое. Наша компания, хорошо разогретая и преисполненная вселенской любовью, пошла встречать пришельцев. Я обратил внимание на то, что в лодке сидели хорошо накачанные ребята, причем у двоих были напряженные изучающие взгляды, выдающие в них работников спецслужб. Да и кто мог подплыть к группе, состоящей из семи человек, после беспорядочной стрельбы и пьяных криков? Ребята деловито подтянули лодку и представились питерцами. Думаю, что они не врал, поскольку самый вальяжный из них, у которого не было пронизывающего взгляда, поговору и внешности был типичным питерцем.

- Давайте ребята – к столу, - сказали Бывалый и Рыбак, подтверждая свои слова загребающими движениями рук.

Ребята чуть напряженной походкой направились к нашей "столовой". Самый молодой и самый напряженный был одет в широкую плащевую куртку, под которой могло быть все что угодно, и я нисколько не сомневался, что оно там было. Сели и снова разлили. Наш полковник (т.е. Актер) до поры до времени карты не раскрывал, поэтому разговор шел неспешный - беззаботный с нашей стороны и прощупывающий с их. По-видимому, в результате анализа, а, может быть, под действием выпитого обстановка быстро разрядилась, пошли анекдоты и тосты. Молодой так до конца встречи и не расслабился...

Проводив непрошенных гостей, все стали потихоньку разбредаться для ночлега и тут Большой Начальник крикнул:



- Смотрите, - и показал всем рукой направление на соседний остров.

Над островом показался большой оранжевый шар.

- Что это? - вырвалось невольно у всех, - неужели луна.

Да, это была, конечно, она, о чем свидетельствовали характерные пятна, но в десять раз больше привычной для нашего глаза луны по размерам.

Шар чуть-чуть приподнялся над деревьями и стал двигаться параллельно верхушкам деревьев. От удивленного все вмиг отрезвели и как замороженные стали пялиться на это чудо. Тучки, которые мы не различали в сумерках, так закрыли шар, что он превратился в продолговатый диск, сильно напоминающий летающую тарелку. Я стал сомневаться, а луна ли это.

- Да, полярный круг - это тебе не хрен собачий, - сказал задумчиво Рыбак-маньяк, - тут чудес хватает, а вот будет ли рыба ловиться - это вопрос. Всё-таки полнолуние никак. Поплыву я, пожалуй, на ночной лов...

- Да ты что, поддал же... - опасно, - стали отговаривать его все, но это было бесполезно. Рыбак-маньяк загрузил снасти и еще что-то в надувную лодку и отчалил. Было уже три часа утра, но стояла настоящая белая ночь...

Все уже окончательно стали разбредаться на ночлег и только Пират как сомнамбула всё таскал и таскал бревна к костру.

- Папа, пойдем спать, - звал его Крепыш, - но папа все таскал и иногда останавливался и вещал:

- Хорошо-то как, господи, - никто не орет...

Кто там орал на него на Большой Земле, было не понятно - очевидно кто-то орал.

Утром все проснулись и удивились - голова не болела. Кислород!

Рыбака-маньяка не было...

- Ничего - появится, - сказал Бывалый, - он и на сушке пропадал в прошлом году. Не ест, не пьет, а только забрасывает, да забрасывает. Я с ним как-то поплыл, так чуть не утонул от скуки, а ему ничего. Глаза горят - одно слово - маньяк...

Маньяк появился к обеду с запавшими скулами и красным облупившимся носом. На дне лодки лежали две небольшие щучки... Он еле доплелся до "столовки" с меланхоличным видом сжевал несколько кусков шашлыка, запил его холодным чаем и пошел спать.

Утром Большой Начальник заставил всех мыть посуду и наводить порядок в лагере. Все слушались. После этого на общей сходке решили предпринять тотальную атаку на рыбу, но отдельными группами и в разных местах. Поскольку я никакой снасти не привез, то мне достался самый паршивенький спиннинг с "неактуальной" как потом выразился Рыбак-маньяк, блесной. Ну да ладно, я был не в обиде.

- Рыба никуда не денется, а поспать надо, сказал Большой Начальник и завернулся в спальник.

Мы пошли гуськом вдоль берега в левую сторону от лагеря. Надо сказать, что продвигаться было очень трудно: огромные валуны коренных пород преграждали нам путь. Приходилось прыгать с камня на камень, что поначалу было очень трудно. По мере движения от группы отпочковывались "рыбаки" в понравившихся им местах и забрасывали снасти. Наконец я и Бывалый, с которым мы сразу подружились, тоже выбрали себе место. Это был довольно крутой обрыв гранит-

ной скалы с выступами. Лес вплотную подступал к этому обрыву и как бы нависал над головой.

Отошли друг от друга метров на тридцать и стали забрасывать спиннинг.

Очень скоро это мне надоело и я решил немного углубиться в лес и полакомиться черникой, которую я люблю не меньше комаров. Почвы, как таковой, в этих северных местах нет: полуметровый, а порой и метровый слой мха, потом небольшой слой перегноя и сразу же каменные коренные породы - как правило граниты. Сразу же налетели комары, но, почуяв запах антикомарина, недовольно закружились вокруг головы. Черники довольно крупной и спелой, было много. Кроме нее попадались морощка, голубика и брусника, а больше всего было бросовой ягоды - вороники, которая просто устилала поверхность мха. Она была чуть горьковата и суховата, но, как мне сказал Большой Начальник, очень полезная от стронция. Попадался белый гриб и подосиновики. Собирать их было не во что. Почти из-под самых ног вспорхнул глухарь и запыленно полетел низко над землей. Я незаметно углубился довольно далеко в лес. Подул холодный ветер, который донес до меня какой-то очень неприятный запах. Я стал искать глазами источник и сердце мое екнуло, когда я увидел его - это было очень странное животное: темно-бурая крупная голова, немного напоминающая медвежью, со светлыми волосами на лбу, большие лапы с крупными светло-желтыми когтями, покрытый длинными волосами хвост. А главное - это злые-презлые глазки. Животное с жадностью поедало воронику, все время оглядываясь по сторонам. Странно, но меня оно не видело, хотя несколько раз бросало взгляд в мою сторону. Я стоял с подветренной стороны, поэтому животное меня не чувало. Странная какая зверюга, - подумал я и стал тихо отступать. Зверюга тоже что-то почувствовала и семенящей неуклюжей походкой помчалась между деревьями в другую сторону.

Когда я вышел из леса, то оказалось, что Бывалый уже поймал несколько хариусов и большую кумжу. Я с азартом стал забрасывать спиннинг, но это было совершенно бесполезно - мой спиннинг рыба игнорировала. Но зато природа вокруг была восхитительная, а, главное, тихо.

Никто не орет, - вспомнил я рефрен Пирата. И ведь действительно - никто не орет, нет, даже не разговаривает. Только тоненько попискивают комарики, да иногда переругиваются чайки или гагары. Солнышко пригревает. Красота! Я подстелил куртку и лег на нее.

Как хорошо, что на земле еще остались такие места - подумал я, - где возникает полное ощущение счастья существования. Только в детстве я чувствовал что-то подобное в маленьком казахском поселке, расположенном "на краю Ойкумены": на берегу реки Чу, разделяющей пески Муңкумы и Голодную степь. Там - в детстве - воздух был также чист и прозрачен. Я лежал весной среди красных тюльпанов и смотрел в небо, в котором кружил орел. Шустрая ушастая ящерка залезла мне на живот и смешно уставилась мне в глаза. Трава и тюльпаны пахли так сладко и ... я уснул. Разбудил меня Бывалый и сказал, что пора сматывать удочки, что мы и сделали.

Обратный путь был еще труднее. С непривычки болели ноги, перепрыгивать с камня на камень стало труднее, но с горем пополам добрались до лагеря.



- Будешь сегодня готовить плов, - сказал мне Большой Начальник голосом, не терпящим возражений, - ты, я знаю, большой мастак по этому делу.

- Хорошо, - согласился я, - но мне нужны помощники для того, чтобы резать мясо и морковь.

Вызвался Актер и стал помогать с огромным удовольствием. К сожалению, большого казана, как это принято у настоящих специалистов - узбеков и таджиков, у нас не было. Пришлось использовать большую кастрюлю. Вытащили баранье мясо из "холодильника", разложили морковь, чеснок, рис, соль и... приступили...

Плов у нас, несмотря на то, что он варился не в казане а в кастрюле и на костре, получился отменный. До утра, хотя понятие утра было относительное, выпили под него огромное количество спирта, разбавив его предварительно. Заспиртованные сидели у костра, который горел все ярче и ярче, поскольку Пират таскал бревна непрерывно. Даже после того, как постепенно все разбрелись на ночлег, Пират продолжал таскать, распевая при этом свои пиратские песни...

Следующий день прошел под всепоглощающей идеей БАНИ. Какой еще к черту бани, - думал я, - это не реально, хотя, конечно, очень хотелось. Мы, конечно, мылись в индивидуальном порядке, отойдя на сотню метров от лагеря. Снимали одежду, голышом заходили в холодную воду (около 16 градусов), намыливались и ныряли - вот и все дела. А тут баня! Какая еще баня? Но я был не прав...

Опытные туристы - Пират и его сын, Крепыш, - оказывается, еще за день раньше напилили длинных березовых жердей и прижали их тяжелыми бревнами для придания желаемой дугообразной формы. Тонкие концы жердей были скреплены веревкой, а толстые растянuty в стороны и установлены на специально расчищенную площадку. Все это юртообразное сооружение было обтянуто полосами целлофана, рулон которого был извлечен из недр огромного рюкзака Пирата. Мне было дано задание принести из леса несколько рюкзаков мха. Дело это оказалось не очень-то и простым как мне показалось сначала. Пришлось ладошками внедряться в толщу мха и затем разрывать его на большие ломти. Мох, зеленоватый на поверхности, внутри оказался нежно-розовым и плотным. Поначалу операция вырывания мха вызвала во мне неприятные ассоциации, но потом дело пошло. Пальцы я изодрал в кровь, но нужное количества материала было поднесено к банному шалашу. Главный Банщик (ГБ) - он же Пират - приказал нам с Бывалым таскать бревна. После того как мы натаскали нужное количество, ГБ начал возводить странное сооружение на небольшом расстоянии от банного шалаша: он укладывал рядком по 10 бревен, затем клал на них гранитные камни и снова 10 бревен, и снова камни.

- Что это? - спросили мы.

- Неужели не понятно? - ответил вопросом на вопрос ГБ - это нагревательные элементы.

- А!!! - сказали мы с Бывалым, - хотя ничего не поняли.

ГБ поджег бревна и ушел к банному шалашу. Там он выстелил мхом пол шалаша и в углу вырыл лопаткой небольшую ямку метр на метр и глубиной сантиметров пятнадцать. Набрал в озере и занес в шалаш ведро воды, кружку, березовые веники, мочалки и мыло. После этого он объявил, что баня почти готова и

нужно установить очередь на помывку. Затем замотал себе практически все лицо тряпкой, подхватил лопаткой (грабаркой, извлеченной из того же бездонного рюкзака) разогретый до красна камень, отнес его в шалаш и бросил в ямку. Так он, пока все подтягивались к Бане, натаскал камней десять.

- Первая пара заходи! - крикнул он, и мы с Бывалым оголившись заскочили в шалаш.

- Лейте воду на камни! - крикнул ГБ.

Я схватил ведро и плеснул... Нас обдало таким жаром, что мы оба выскочили пулей из шалаша.

- Да вы что! - заорал на нас ГБ, - нужно кружкой.

Мы с опаской вернулись в шалаш. В нем уже стоял устойчивый жар и банный запах от листьев. Под ногами была приятная мягкость ото мха. Я плеснул кружку.

Жар был сильный, но терпимый. И мы начали мыться. Подлили еще водички.

Кайф неописуемый - настоящая баня. Да здравствует Главный Банщик - великий гений всех времен и народов! Ура!!!

Мы выскочили из этого ада как ошпаренные и бросились в воду.

Подобную же процедуру повторили Главный Начальник и Актер, причем последний весьма артистично имитировал сексуальные домогательства, что вызвало всеобщее гоготание. Рыбак-маньяк мылся один и основательно. Замыкающей двойкой были сам ГБ и его сын. К этому времени лопатка практически уже расплавилась и таскание последних камней казалось почти цирковым номером.

После помывки было положено... и все собрались у стола. Разлили по первой.

Хорошо-то как, - сказал Пират и он же Великий Банщик, - никто не орет...

Водка после бани пошла как лимонад. Пили много и закусывали много. Пели песни. Особенно хорошо на удивление шли "Песняры". Веселье закончилось глубокой ночью.

К полудню проснулись все. Светило солнце. Пират с Крепышом остались кашеварить, а вся остальная команда отправилась на рыбалку. Я наконец получил у Рыбака хорший спиннинг. Мы с Актером и Большим Начальником отправились к большому скалистому мысу. Через полчаса добрались. Постояли несколько минут замороженные открывшейся красотой. Темно-красный гранит мыса, дополняя зеленый цвет леса, создавал яркую, пронзительную гамму. Первый заброс оказался недалеким и, как всегда, пустым. Через прозрачную воду было хорошо видно как вращалась золотистая блесна, подтаскиваемая к берегу. Второй раз удалось забросить блесну с грузилом довольно далеко. Я крутанул несколько раз катушку и... Было такое впечатление, что крючок зацепился за камень. И вдруг катушка начала раскручиваться с неимоверной скоростью. Мощная рыбина потащила снасть перпендикулярно к берегу. Я попытался по неопытности остановить катушку...

- Ты что делаешь, твою мать - закричал Большой Начальник, - пусть тащит, только притормаживай чуть-чуть. Я честно пытался притормаживать.

- Удилище подними, козел, - заорал Большой. Я приподнял. Адреналин забегал по жилам у всех троих. Актер схватил фотоаппарат и начал делать кадры. Ры-

ба вдруг очень быстро устала и затихла. Я стал постепенно подтягивать ее к берегу.

Большой залез по пояс в воду с сачком. Рыба не сопротивлялась. Я последний раз подкрутил катушку и ... Большой подхватил рыбину и вытащил ее на берег.

- Ни хрена себе! - воскликнул Актер.

Рыбина действительно была великолепной: кумжа, не менее пяти килограммов, пятнистая и широкая...

- Э, да она с икрой, - сказал Большой Начальник, - везет же дуракам. Маньяк обплавал все острова в округе, а поймал несколько щучек, а этот ни хрена в рыбалке не понимает, а такое чудо отловил.

- Да ладно тебе, - сказал Актер, - он просто скрытый профессионал.

Вернулись в лагерь. Рыба вызвала всеобщий восторг. Рыбак-маньяк тоже наловил приличное количество рыбы. Вечером обмыли ее "с ног до головы"...

\*\*\*

Итак мы плыли на большом катере к Софпорогу. Все были в предвкушении Большой Бани, которую нам обещал Гриша. Последний сильно напоминал мне студента-интеллигента 60-х годов, как его показывали в советских фильмах: небольшого ростика, худощавый, в больших роговых очках и с залысиной. Он стоял на палубе и с умным видом объяснял Бывалому (который на этом съел собаку, но не подавал виду) принцип действия GPS-навигатора:

- Наши координаты передаются на спутник, - говорил Гриша, - и оттуда посылаются нам и выдаются на экран.

- Да, а зачем их передавать на спутник и обратно, если они уже в приборе? - с наигранным удивлением спросил Бывалый.

Этот вопрос полностью озадачил Гришу. Он думал минут десять, а потом сказал:

- А, я вспомнил - это для ФСБ - они должны знать все... На всякий случай....

- Да иди ты, они и так знают, где ты, - сказал Пират. Гриша покраснел.

- Ну а как баня, топится? - спросил Рыбак-маньяк. Гриша почему-то засмутился и промывчал неопределенное. Мы настоержились. Потом он смущенно захихикал и выдал:

- А она у нас всегда топится.

Все расслабились, но чувство тревоги осталось. Появились первые домишки Софпорога. С воды он смотрелся убого. Всюду следы подлинного запустения и бедности: покосившиеся столбы линии электропередачи, почерневшие домишки с шиферными крышами, убогие сараюшки.

Как только мы причалили, Гриша сразу же быстро исчез. Мы перенесли вещи на берег. "Иствуд" долго возился с причальными канатами, таскал какие-то канистры, закрывал дверцы, форсунки, снимал флаг...

- А где Гриша? - спросил Крепыш.

На базе он, - ответил "Иствуд" невозмутимо - наплыв туристов.

- Какой нахрен наплыв, - заявил Большой Начальник, - тут туристов всегда кот наплакал. Мы уже третий год ездим и ни одного не встретили.

- Ну, значит отчетностью занимается, - улыбнувшись белозубой улыбкой, сказал Иствуд.

- Какой еще отчетностью? - удивился Пират, - он же нам баню обещал, а у нас осталось только два часа.

- Не знаю - он мне ничего не говорил. - Щас съезжу, узнаю.

- Ну уж нет, вези нас к нему, - заявили мы хором.

Иствуд пошел за своей машиной. Через минут пятнадцать подъехала тойота-пикап, но какая это была тойота! Если честно, то я определил марку машины по чудом сохранившемуся фирменному знаку. А по сути это был металлолом на колесах. Только в российской глубинке подобный динозавр может передвигаться благодаря смекалке русского мужика. Мы загрузились и поехали. Иствуд, однако, подвез нас не к турбазе, а к какому-то частному деревянному, новому и довольно приличному дому и помахал нам шляпой. Вообще говоря, все дома поселка были деревянные, почерневшие от времени и сырости, и одноэтажные. Но этот новый дом, стоящий немного в стороне, говорил о достатке хозяев. Я обратил внимание на другой дом, стоящий неподалеку - он был двухэтажный, обшитый досками, и совсем черный - очень сильно напоминал барак.

- А здесь поселенцы жили, которых из лагерей отпускали, - сказала нам старушка, стоящая у ворот соседней избушки. Они тут и доселе живут...

Людей на улице не было. Правда, проезжая на тойоте, мы встретили одну молодую пару с покрасневшими и светящимися какой-то вселенской радостью лицами. Такое выражение может быть либо у сильно верующих, либо у сильно пьющих людей.

Из ворот нового дома вышла хозяйка, которая оказалась женой Гриши и сообщила, что машина за нами (везти на станцию Лоухи) придет на полтора часа раньше.

- Это что же, нам для бани остается полчаса? - возмутился Рыбак.

Все стало сразу понятно: и то, что катер пришел на три часа позже, и то, что машина придет пораньше - не хотят с нами возиться и желают от нас избавиться побыстрее. И вот тут бы любой новый русский закатил такую бочку, что даже местные собаки забились бы в конуры, но русский интеллигент, где бы он ни находился, даже если он большой начальник или, к примеру, полковник, ругаться не будет, потому, как рефлексирует, воспитанный на чтении русских классиков и поэтому дурят его, где только можно...

- А что же баня? - уже практически без надежды спросил Рыбак.

- А вон там во дворе, - указала пальцем жена Гриши, - вы можете здесь в сенцах все лишнее снять и вот тут по тропинке пройдете. Там будет большая собака, но вы ее не бойтесь - она добрая, потом повернете направо и увидите баню - она дымится.

Мы радостно переоделись в спортивное и гуськом отправились по указанной тропинке между сарайчиками и сараюшками, огородиками и странными сооружениями, оказавшимися теплицами. Собаку мы нашли не сразу. Огромная псина посмотрела на нас злобно и зарычала, обнажая зубы.

- Она видно добрая только к местным, - сказал Актер, - а чужими она питается.

Мы, как и было указано, с удовольствием резко свернули вправо. Пройдя несколько метров, обнаружили, что дымится только одно сооружение - маленькая почерневшая избушка. Мы заглянули в нее и обнаружили, что она одноместная и топится явно по черному.

- Рrrrrрастопи ты мне баньку по черному... – пропел я слова Высоцкого.

- Ну всё, мне это надоело, - возмутился Рыбак-маньяк, - пора давать Григорию по морде.

Остальные решительно устремились за рыбаком. Когда мы уже приближались к дому, навстречу с обезоруживающей улыбкой вышла жена Гриши.

- Мы решили дать вам не предусмотренный программой прощальный ужин на базе, - провозгласила она торжественно.

- Ужин..., - разочаровано начал Рыбак, а баня?

- Да хрен с ней, с баней, - сказал Крепыш, - дома помоемся, давайте перевезем вещи – вон УАЗик стоит дожидается.

Мы перевезли на базу вещи и поужинали в красивом деревянном "охотничьем зале", украшенном оленьими рогами, медвежьими шкурами и различными поделками народного творчества. Хозяйка нашла где-то в сусеках початую бутылку дешевой водки. Когда мы выпили, она зачитала нам на карело-финском наречии отрывок из карело-финского эпоса "Калевала". Нас впечатлило. Особенно понравилось нам (потом хозяйка сделала перевод) история со злой волшебницей по имени Лоухи...

Через час пришла машина ("Газель") и мы поехали на станцию Лоухи, которая была примерно в ста километрах от Софпорога. Когда мы выезжали было одиннадцать часов вечера. Поезд Мурманск-Москва должен быть на станции в пять часов.

- Что мы будем там делать четыре часа? - спросил я, но ответа не получил.

Как ни странно, ночь выдалась темная. Три четверти пути мы должны были продвигаться по грунтовой дороге, которая, как мы убедились совершая прямой путь от станции к Софпорогу неделю назад, была достаточно приличной.

Ехали со скоростью примерно сорок-пятьдесят километров в час. Вокруг стоял глухой лес, часто прерывающийся очередным озерцом. Воды вокруг было навалом.

Как несправедливо устроена природа, - думал я, - где-то народ как манны небесной ждет целый год дождя, который заполняет хилые озерца и речушки питьевой водой, а где-то питьевой воды море и нико-му она практически не нужна.

Заметно похолодало. Сильно хотелось спать, но холод все не давал нырнуть в спасительный при любом утомительном путешествии сладкий сон. Почему-то все время в голову приходило это странное название станции - Лоухи. По-русски оно было ближе всего к слову "олухи" или "лохи", что придавало ему юмористический оттенок. Несерьезное какое-то название... Сознание то всплывало, то проваливалось. В голову полезла какая-то чушь...

...Оп-па, - проснулся я, - пить надо меньше, а закусывать больше. Эдак можно и погнать незаметно сначала для окружающих, а потом и для себя. Спокойно, спокойно: вдох-вдох, вдох-выдох. Я снова стал засыпать. Все было нормально – мы продолжали двигаться. Почти все спали. Широкая спина водителя имела надежное вертикальное положение. Я успокоился и снова начал дремать. Теперь мне уже было интересно, чем же закончится этот неуправляемый поток сознания. Вот тебе и тихие места, - думал я, - а так невинно все: мох, сосенки, грибочки, цветочки, кочки и все это

почти, что у полярного круга – почти что у оси, у оси, у оси...

Ну, слава Богу, подумал я – ночь прошла спокойно, а то я совсем изпереживался. Все, прилечу домой – месяц буду пить только чай и кофе. Захотелось пить. Я повернулся к бывалому, который сидел рядом со мной. Он сразу же проснулся.

- Слушай, сказал он, - снится всякая херня...

- Интересно, не война?

- Да нет, какая война – местный КВН...

- Что, - я захихикал, еле сдерживаясь, чтобы не разбудить остальных, - "Лоухи - Старс" против "Софпорог - Лайонс"?

- А почти отгадал, - заулыбался Бывалый.

...Мы проехали поселки Новый Софпорог, Кестеньга и Сосновый. Удивительное дело – ни в одном окне поселков свет не горел и только подъезды продмагов освещались, правда сторожей мы нигде не видели. Собаки в поселках тоже не лаяли. Мы сидели притихшие в салоне Газели среди вещей и каждый думал о своем. Становилось все холоднее и холоднее. Все переживались и мечтали поскорее добраться до места назначения. Вскоре показали первые домишки станции Лоухи и мы подъехали к вокзалу. Это было желтое одноэтажное здание, на фасаде которого красовались цифры 1953, т.е. его построили в год смерти Сталина. С тех пор, по-видимому, и не ремонтировали... Когда мы вышли из машины, то ощутили настоящий холод – было градусов 6-8 тепла. В тупике стояли несколько нефтеналивных цистерн темно-красного цвета, на которых белой краской крупными буквами было выведено "ЮКОС".

Мы зашли в здание станции. Там в небольшом помещении вповалку на скамейках и на полу спали туристы. Дышать было практически нечем. Купив поспешно билеты, наши выскочили наружу. Я задержался из чистого любопытства, т.к. по собственному опыту знал, что в таких местах можно найти подлинные шедевры бюрократического творчества. Тут ими были испещрены все стены: сотни инструкций для служащих и пассажиров. К примеру, такая: "Входя в зал ожидания, убедитесь в наличии свободных мест на скамейках. При отсутствии последних (непонятно, мест или скамеек) задерживаться в зале в целях пожарной безопасности (а если я задерживаюсь не в этих целях?) воспрещено...". Поскольку записывать было не на чем, я запомнил только это и вышел наружу. Наши стояли неподалеку от входной двери возле рюкзаков и сумок, сваленных в кучу. Я узнал, что Актер и Большой Начальник отправились искать местный "бар", чтобы купить "огненной воды", поскольку все уже прилично замерзли. Что удивительно, они действительно нашли бар, который работал до трех часов ночи. В нем, как рассказал мне потом Большой, у стойки сидело несколько забулдыг с опущенными головами.

- У вас Шартрез и анчоусы есть? - спросил Актер.

Забулдыги подняли головы и посмотрели мутными глазами.

- Фрукты нам не завозят, - ответил бармен с достоинством в голосе.

- А Божоле и Шерри? – добавил Актер.

- Конфет навалом, - сказал бармен и показал широким жестом руки.

- Ну ладно, находчивый, а водка есть? – спросил Большой.

- Есть, питерского разлива.

- А сигареты "Друг" есть? – просто так спросил Большой, вспомнив фильм "Берегись автомобиля".

- Есть, – ответил бармен и достал пачку с полки.

- Вот это сервис! – восхитился Большой.

В это же самое время к нам на старом велосипеде подкатил местный мужик лет 30-40 с большой косматой головой и чуть безумными глазами вовремя не похмелившегося русского человека. За велосипедом семенил огромный волкодав с добродушной мордой. Велосипедист слез прямо рядом с нами с велосипеда, чуть не упав при этом, повернулся к кобелю и стал разговаривать с ним, как бы не обращая на нас никакого внимания:

- Вот, Верный, тяжело тебе стало пропитание-то добывать. А помнишь, как мы с тобой на волка ходили. Ты ж его, бродяга, чуть не загрыз. Хорошо я вовремя отнял, а то б ты всю шкуру ему попортил. А я отнял... Да... И на Медведя мы с тобой ходили, помнишь? Пес стоял, ласково поглядывая на нас и помахивая обрубок хвоста. Увидев, что на нас его монолог никак не подействовал, мужик поглядел "гипнотизирующим" взглядом на всех поочередно и вдруг неожиданно для нас спросил:

- Мужчины, рога не нужны?

- Нет, зачем нам рога – нам уже, наверно, дома их наготовили...

Мужик не понял, поскольку с итальянским фольклором был явно не знаком:

- А вы откуда будете?

- Да из Москвы мы, мужик, не нужны нам рога.

- Не, в Москве какие рога, а тут настоящие – оленьи, большие, ветвистые.

- Нет, мужик, не нужны нам рога.

- Да, – сказал мужик и на некоторое время замолчал, но от нас не отходил. Для него, видно, было дико, что собрались несколько явно русских пассажиров в холодную погоду, ждут поезда и... не пьют.

- Да... я, мужики, Москву всю знаю – у меня в Солнцево сестренка замужем. Мужика ее убили в прошлом году, ага... А она, значит, в Солнцево живет. Я к ней два года назад приезжал. Ага... И эту Москву всю как есть знаю: и Солнцево и еще, этот, вокзал...

Мы никак не реагировали.

- Ну что, Верный, сказал мужик, перестав нас гипнотизировать, поедом домой? Мужчинам рога не нужны.

Он сел на велосипед и поехал, а преданный Верный посеменил за ним, убежденный, что лучшего человека на свете, кроме его хозяина, нет.

Подшли Актер и Большой с бутылками подогревающей. Мы быстро согрелись и обсудили ситуацию. Нам осталось ждать поезда два часа, а значит не замерзнем.

Актер увидел двух девиц, сидящих на скамейке метрах в двадцати от нас и ушел туда, поскольку таких возможностей он никогда не упускал.

- Посмотрите, – сказал Крепыш, показывая рукой на входную дверь вокзала.

Мы обернулись и увидели здорового кота совершенно изумительного темно-сиреневого окраса с чистой, не длинной, но очень густой и гладкой шерстью. Матерая и наглая морда с большими усами была

совершенно невозмутимой и надменной. Кот сам открыл довольно туго открывающуюся дверь и вышел, по-видимому подышать свежим воздухом. Он явно ощущал себя хозяином здания и близлежащих окрестностей. Какой-то придурак из туристов, стоящий у крыльца, шутя замахнулся на него. Кот даже не прижал ушей. Он с ненавистью посмотрел на потенциального обидчика, а потом, как бы сбрасывая возникшее раздражение, брезгливо дрыгнул лапой. Потом двинул в нашу сторону, поскольку мы закусывали колбасой и остановился в нескольких метрах, поглядывая не на нас, а куда-то вбок. Этим он подчеркивал свое брезгливое отношение к двуногим:

Пусть радуются, что я почтил их своим присутствием и если им хватит ума поделиться колбаской, то может быть я и съем кусочек, а нет, так им же хуже.

У нас, как назло, колбаса, из вытащенных из рюкзаков запасов, закончилась и поэтому мы бросили ему шкуру. Кот на нее даже не посмотрел, повернулся и медленной походкой отправился к углу здания вокзала. Мы наблюдали с интересом. Кот подошел к краю фундамента и замер. Потом он почти незаметно резко опустил левую лапу в расщелину между фундаментом и грунтом, поднял ее и мы увидели в когтях мышонка.

Нам не удалось досмотреть финал, поскольку нас отвлекло некое создание подошедшее к Большому. Такого я лично никогда раньше не встречал. Я сразу же сообразил, что это одна из девиц, к которым отправился Актер, однако назвать девицей то, что подошло к нам было бы огромной натяжкой. Судя по фигуре и каким-то косвенным признакам, которые я даже не могу объяснить, ей было лет 15-18, но вместо лица у нее была красно-фиолетово-белая маска из сморщенной от постоянного перепоя кожи. Мешки под глазами и ярко накрашенные губы красочно дополняли портрет этой привокзальной шаболды. Она пыталась взять под руку Большого, который в ужасе шарахнулся от нее.

- Уйди, уйди! – вскрикнул он, – тебе чего?

- Да я сказал, что ты ее хочешь, – пояснил появившийся внезапно Актер.

- Нет, нет, не хочу, – в испуге отмахивался руками Большой Начальник.

Малолетняя шаболда совершенно не обиделась и вернулась к своей подруге на скамейку.

До подхода поезда осталось полчаса. Туристы стали выходить из вокзала и на площади перед железнодорожными путями народ разбился на несколько групп. И тут Актер увидел даму лет тридцати, стоящую в стороне от какой-либо компании. Он сделал стойку и ринулся напролом.

- Мадам, – сказал он, улыбаясь лучезарной улыбкой, обнажая все 32 идеальных зуба, – разрешите скрасить ваше вынужденное одиночество?

Еще ни одна дама не могла устоять против обезоруживающей улыбки высокого блондина с голубыми глазами. Эта дама, как сразу заметил Актер, высокими интеллектуальными способностями не обладала: она сразу стала хихикать, томно опуская глазки.

- Мадам, – сказал Актер, – вы видите этого мужчину в желтой куртке? И тут он показал на меня. Это представитель Интерпола. Мы проводили тут совместное учение в экстремальных условиях – наше спецподразделение и Интерпол. В мешках – разобранный вертолет... А вот этот, и он указал на Пирата, – главный ли-

квидатор – мизинцем убивает в две секунды. Мы не ели и не пили уже пятнадцать суток.

Сначала по лицу дамы мелькнула тень недоверия, но посмотрев на лишенное жиринки лицо Актера, она вдруг поверила и рот ее приоткрылся. Немного засуетившись, она спросила:

- А может быть вы чего-нибудь покушаете? Мне еды в поезд надавали навалом.

- Нет, нам сейчас нельзя. Время "ч" только через час...

- Хорошо, а в поезде сможете? – с надеждой в голосе спросила мадам.

- В поезде сможем, но не все... Некоторым придется прыгать на ходу.

- А Вы тоже будете прыгать?

- Мне и моему заместителю, и тут он показал на Большого Начальника, нельзя – мы должны организовать конечный пункт сбора.

По времени через десять минут должен был подойти поезд. Из здания вокзала вышла начальница в фуражке с кокардой и мы задали очень волновавший нас вопрос, на какой путь подойдет наш поезд. Ответ начальницы был для нас полной неожиданностью:

- А Бог его знает, иногда по первому, а иногда по второму идет.

- Так как же нам быть если какой-то поезд будет стоять на первом пути, а наш подойдет по второму?

- Обойдете – не старики поди.

- Да у нас одних рюкзаков семь штук, да мешков разных – мы и за два раза не обернемся, а поезд стоит только пять минут.

- Да, оставьте, мужчины, у меня с вчерашнего и без вас голова болит, - сказала начальница и пошла к вокзалу.

- А номера начинаются с головы или с хвоста? – спросили мы вдогонку.

- А это когда как.

Мы подтянули вещи к середине площади и в полной растерянности стали ждать поезда. Наконец он появился и, слава Богу, подходил по первому пути. Из каждого вагона выглядывал проводник. Просто идеально. Я остался охранять вещи, а остальные схватили по две сумки или по мешку и бросились к своему вагону. Я видел как наши показывали проводнику билеты, о чем-то с ним спорили, а потом потащили вещи в обратную сторону.

- Что такое, - спросил я.

- Поезд не наш, а какой-то дополнительный. Проводники говорят, что наш опаздывает на пять минут.

- А, так этот, значит, сейчас уйдет?

Он действительно начал двигаться, но очень медленно.

Тут по радио начальница объявила, что на второй путь прибывает скорый поезд Мурманск-Москва. Мы начали жутко нервничать...

Наконец, дополнительный освободил путь и мы бросились к своему, который уже стоял на втором пути. Естественно, наш вагон был в самом хвосте. Проводниками оказались симпатичные студентки из Ростова. Актер мгновенно забыл о мадам и переключился на новые объекты, на ходу заигрывая с обеими. Нам пришлось изрядно побегать прежде чем мы перенесли все вещи. Но наконец все наши мешки, рюкзаки, удочки, палатки и пр. и пр. были занесены в вагоны и мы вышли покурить перед отправлением. Через два

вагона от нашего, отделившись от всех, стояла мадам и смотрела в нашу сторону.

- Прощайте, мадам! – помахал ей ручкой Актер театральным жестом. Потом он повернулся в сторону вокзала, возле которого на скамейке сидели две малолетние привокзальные проститутки и радостно махали руками, явно обращаясь к нему, и тоже сделал им ручкой:

- Прощайте, девочки!

- Прощайте, Лоухи, - подумал я про себя, - придется ли когда-нибудь еще появиться в этих краях?..

19.01.05

## ВАЛЕРИЙ ДАШКЕВИЧ

### СВАДЬБА

#### Рассказ

Мишка встретил их в центре, возле ДК. Он спешил домой со стройцеха – в субботу, как обычно, все валяло дурака, и Мишке удавалось втихаря улизнуть из уничтожающей беломор и балдеющей над в сотый раз слышанным анекдотом компании к своим фотопленкам, растрепанной общей тетради в клеточку и старой двухрядной гармошке, выпрошенной им у худрука Юры после списания.

Мишке повезло – село словно вымерло. Оставалось свернуть в проулок и – задами до двухэтажки, чтоб никто из конторских не увидел, да не «вложил» прорабу – тот и так скоро весь на слюни изойдет... Но тут от магазина засвистели, и Мишка увидел Серого с Индексом. Неразлучная парочка катила детскую коляску, осевшую под тяжестью груза. Столкновение было неизбежным, и Мишка повернул в их сторону.

Серый был как-то очень уж парадно одет, подстрижен и благоухал шипром за километр.

– Здорово, кентуха, держи кардан... – потная ладонь стиснула Мишкины пальцы, да так, что ему не удалось скрыть болезненную гримасу. Серый удовлетворенно ухмыльнулся:

– Ты че это... на своей лесопилке совсем в доску затесался, че ли? Корефан женится, а ты весь в стружках...

– Это прораб с него стружку снимает за деревянность! – Индекс как всегда не упустил случая продемонстрировать остроту ума.

Мишка проглотил пилюлю. Ладонь Индекса была холодной и вялой, как снулая рыба.

– Да я отпросился у прораба пораньше, хочу одну штуку спать для... – сам не зная почему, начал врать Мишка, но Серый, похоже, его вообще не слушал.

– Во! У тебя, кажись, гармошка есть?!

– Ну... есть...

– А ты играш че-нибудь? “Цыгана” можешь?

– Привыкли руки к топорам!.. – вставил Индекс.

– Я все могу, не то, что некоторые, – огрызнулся Мишка. – А чего это ты, Серега, еще не женился, а уже с коляской разгуливаешь? Тренируешься, что ли?

– Ага, – заулыбался Серый, – разминаюсь я... Во! Смотри, какие у меня гантели!..

Он откинул матерчатый полог, и чрево коляски, до упора набитое бутылками “андроповки”, заиграло солнечными зайчиками, как сундук с самоцветами в фильме про Али-Бабу.

– Пахан боится, что водяры не хватит – твоих, говорит, друзей ведром не опишешь. Я Индекса гонцом за-  
слал, а Верка ему не дает...

– Зато мне Лариска дает... – вставил Индекс.

– Не верю, говорит... – продолжал Серый, не обра-  
щая внимания на привычные шпильки своего оруже-  
носца. – Пусь сами приходят, им, говорит, дам, а тебе  
– токо с двух часов... Короче, Мишк, бери гармозу и  
приходи гудеть. Не дай бог не придешь – Индекс на-  
жрется и обидится на тебя... га-га-га!..

Мишка дипломатично заулыбался и стал ногтями  
вытаскивать занозы из рукава куртки.

– Ну, ладно, Мишк, не в обиду... Все ништяк... Ко-  
роче, приходи к двум.

\* \* \*

Мишка торопился. В несколько упругих прыжков  
одолев лестницу двухэтажки, выгреб из почтового  
ящика ключ и помятую районную многотиражку. По-  
вертев газету в руках, вернул ее в ящик, тихо, как вор,  
справился с замком и, проскользнув в прихожую, ос-  
торожно закрыл за собой дверь.

На душ и переодевание ушло минут пятнадцать. На  
ходу причесываясь, Мишка прошел на кухню и обжа-  
рил глазами ее скудный интерьер. Его взгляд остано-  
вился на старом холодильнике “Зил”, к покатои груди  
которого осколком магнита была прикреплена запис-  
ка:

**СУП В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ХЛЕБА НАДО КУПИТЬ  
Я УШЛА ЗА ЯГОДАМИ ТЕТЯ ЗОЯ СТАРОВОЙТО-  
ВА ОБЕЩАЛА КУПИТЬ ДВА ВЕДРА ЧЕРНИКИ  
БУДУ ПОЗДНО МЕЛОЧЬ НА СТОЛЕ МАМА...**

Мишка не сдержался и хватил кулаком по этой са-  
мой мелочи. От вчерашней двадцатипятики осталась  
одна “мелочь на хлеб”! Уж и не надеясь, он заглянул в  
нижний ящик стола и, беззвучно ругаясь, захлопнул  
его так, что мелочь слетела со стола.

Теперь придется искать материны заначки “на чер-  
ный день”...

\* \* \*

В ограде Серееино дома толпились нарядно оде-  
тые люди, приглушенно переговариваясь между со-  
бой. “Незванный гость – хуже татарина”, – вспомни-  
лось Мишке. Хотя почему же, я ведь “званный”...

Но среди гостей мало кто был ему знаком. Так,  
встречались на улице. В пестрой толпе выделялась  
массивная фигура Пал Палыча Быкова, которого  
Мишка не раз видел в кабинете прораба.

И впрямь как бык – топорная работа... Да еще и ра-  
ботает заготовителем... – подумал Мишка, вспомнив  
почему-то репродукцию Аполлона Бельведерского из  
книги “Легенды и мифы Древней Греции”.

Мишка зачитывался “мифами” и не особо представ-  
лял себе работу заготовителя. Он знал только, что  
дочка Пал Палыча Ленка в школу с седьмого класса  
ходила в золотых серьгах, “печатке” и норковой шап-  
ке, а своему сыну, весной пришедшему из армии, Бы-  
ков купил “Ладу” – “восьмерку”.

Неизвестно, сколько бы еще Мишка проторчал на  
углу, если б его не заметил запыхавшийся от спешки  
Индекс.

– Ты чего, как неродной?.. Чего так поздно? Иди  
сюда! – Индекса не интересовали Мишкины ответы.  
Они вошли в ограду и стали протискиваться сквозь  
толпу в глубину двора, к добротной свежесрубленной

бане. Гармонь то и дело задевала кого-нибудь, и  
Мишка поспешно извинялся.

Из толпы послышался грубый женский голос:

– Да это Нюры-дворничихи сын, неужто не знашь!..

Мишка почувствовал, как загорелись щеки, но Ин-  
декс по-хозяйски небрежно распахнул дверь бани, и  
он нырнул в спасительный полумрак. Там уже сидело  
несколько здоровых парней, по-видимому, приезжих  
родственников Серееи. На полке теснились ящики с  
водкой, пятидесятилитровая цинковая фляга, вспо-  
тевшая крупными каплями и таз вяленых лещей. Ин-  
декс сунул руку под полку, вытащил оттуда “дипло-  
мат” и исчез за дверью. Мишка стал искать взглядом -  
куда бы пристроить гармошку, но так и не нашел.

– Слушай, а ты не Паганини случайно? – серьезно  
пробасил усатый парень с опухшим лицом, и баня на-  
полнилась гоготаньем. Мишка тоже посмеялся.

– На, жхни пивера! – Ему протянули бутылку.

Пиво было теплым, и на последних глотках Мишку  
передернуло от тошноты. Парни опять добродушно  
захохотали. В это время со двора послышался шум и  
несколько раз просигналила “Волга”, как понял Миш-  
ка по фанфарному звуку клаксона.

– Наконец-то... – донеслось из-за двери.

– О-ох... Колосники горят!.. – простонал усатый,  
поднимая с лавки свое огромное сытое тело.

На пороге появился всполошенный Индекс.

– Мужики, мужики, пошли места забивать! Мишка,  
бросай здесь “голяшку”... да брось вон на лавку – кому  
она на хер нужна!..

Кампания вынырнула из бани во двор и расположи-  
лась поближе к дверям особняка, чтобы успеть потом  
занять удобные места. Жених с невестой уже кусали  
каравай у калитки. Мишка узнал в невесте свою одно-  
классницу Ленку Быкову, дочь того самого Пал Палы-  
ча, заготовителя, который стоял сейчас перед моло-  
дыми вместе со своей худой и непропорционально  
сложенной супругой. Лицо Ленкиной матери с ярко  
накрашенными тонкими губами выражало скорее раз-  
дражение, чем радость. Во всяком случае, так расце-  
нил Мишка блуждающие по ее щекам красные пятна.  
Церемония чстречи свадебного поезда прошла очень  
быстро и почти без испытаний для молодых. Серееа с  
Ленкой прошли в дом по ковровой дорожке. Гости  
сыпали им под ноги мелочь, потом, пропустив роди-  
телей, стали входить следом и рассаживаться за сто-  
лами.

Индекс отлично ориентировался в этой суете. Они  
вместе с парнями из бани сразу заняли места поближе  
к выходу – чтобы можно было беспрепятственно бе-  
гать покурить и по нужде.

Мишка мельком поглядывал на стол – у него давно  
уже сосало под ложечкой.

– Да... роскошно... – невольно пробормотал он. –  
Все как в лучших домах Лондона и Парижа, – самодо-  
вольно, будто в этом была его заслуга, прошипел Ин-  
декс.

Стол и вправду был царский. От разнообразных за-  
кусок и всевозможных салатов шел такой плотный за-  
пах, что Мишка несколько раз проглотил слюну. Были  
тут и жареные бройлеры, и даже пара молочных поро-  
сят с прикушенными бурыми язычками и по-собачьи  
сложенными под мордочками растрескавшимися ро-  
зовыми копытцами. Хозяйева стола не погнушались  
выложить вне очереди даже эти “kozyри”, дабы сра-



зить гостей своим благополучием. В пороссячих спинах торчали огромные вилки, над блюдами колыхался парок. Меж холмами снеди торжественно и непоколебимо возвышались небоскребы бутылок с яркими иностранными наклейками.

Гости самоотверженно притворялись, будто стол их не интересует, и вообще – они пришли сюда поговорить. Разговоры велись о чем угодно, только не о свадьбе.

Когда суэта утихла, наконец, появились Серегины родители. Им всучили большущие рюмки, и Ленкины родители тоже поднялись и пробралась поближе к центру пиршества.

В конце стола, зашатая “небоскребы”, вскочил рыжеватый прыщавый “друга”, тоже незнакомый Мишке, и произнес сбивчивую непонятную речь, смысл которой раскрылся в конце фразой: “Давайте выпьем!”. Предложение было принято с искренней радостью.

И начались тосты – “за родителей жениха”, “за родителей невесты”, “за молодых”... После третьего тоста разговоры стали громче, лица – веселее, а “небоскребы” на столе сменились другими – только без пробок, и содержимое их сравнить со слезой было трудно даже после трех стопок.

Когда очередь провозглашать тосты дошла до гостей, Индекс привстал на полусогнутых, расплескивая содержимое рюмки на стол, вытянул руку в сторону новобрачных и почти прокричал: – Давай скоря – горит нутря!

Мишка стыдливо потупился, но гости одобрительно загалдели. Шум застолья достигал уже штормовых баллов. Жених с невестой пили “Байкал” из длинных стаканов, после чего торопливо закусывали. Друга, невеста как очутившись на другом краю стола, уже подружился с усатым здоровяком и что-то доказывал ему, отчаянно жестикулируя. Конец его ослабленного галстука скользил взад-вперед по “зимнему” салату, слизывая майонез и равномерно размазывая его по клеенке, защищающей скатерть. Индекс что-то бормотал в Мишкино ухо, но тот ничего не слышал, тупо глядя в одну точку – туда, где в углу, под плакатом “Не спи, жених, – сосед не дремлет!” дремал Юрахудрук.

Из хмельного оцепенения Мишку вывел визгливо-заигрывающий голос полной женщины, стоящей в дверях. На ее грушевидном животе почти горизонтально лежал до смешного крохотный кухонный передник, а в руках красовались бутылка коньяку и блестящий поднос с рюмкой чешского стекла.

– А-а ну-ка, гости дорогая, поздравим молодых... Попили, поели, таперя давайте...

Мишка нашупал в кармане заветный червонец.

– Да мы еще и ничего не пили... – заплетающимся языком возразил кто-то из гостей. – Водки-то нет у нас!..

– А это че?!

– А это я не знаю че... это не водка. Если это водка, тогда я – невеста...

– Надо ж – какие мы разборчивые!.. А ты вот выворачивай карманы – коньяка налью!

– А я и выверну – че ты думаешь... Я ить могу... и вывернуть че надо, и ввернуть куда надо...

Бабий визг. Мужское ржанье. Запоздалый залп шампанского. И полетели на поднос разноцветные

бумажки – в конвертах и без конвертов, с речами и без...

Пал Палыч встал, громко, чтобы сосредоточить на себе внимание, прокашлялся, и медленно вытащил из внутреннего кармана дорогого пиджака два серые сберкнижки.

– Это тебе, дочка... А это тебе... зятяк... От меня и от Альбины Павловны вам по две тыщи... Живите по-людски!..

Последние его слова потонули в одобрительном гуле. Компания из бани, в том числе и Мишка, молча набросали на край подноса кучку “красненьких”, после чего стали, звеня посудой, подниматься со своих мест и протискиваться к выходу. Мишка облегченно вздохнул. Индекс выразил свою радость матерно – его давно приперло сходить кой-куда.

На улице был сильный ветер, но он никому не мешал. Двор сразу превратился в муравейник. Одни гости, обнявшись или похлопывая друг друга по плечам, продолжали застольные беседы, другие общались более оживленно:

– Я тебе покажу дуру!.. Ишь, рассупонился!

– Люд, да оставь ты мужика, пусть гулят – мужик ить...

В глубине двора жалобно застонала гармошка. Мишка бросил едва раскуренную примину и стал пробиваться на звук. У бани он увидел Индекса. Тот одной рукой держался за сруб, с трудом сохраняя равновесие, а в другой сжимал обрывок гармонного ремня. Двухрядка с растянутыми мехами валялась на уже изрядно покрытом окурками и плевками асфальте Серегиного двора.

– Ты что делаешь!..

– Ти-ха... Михайла!.. Давай музон...

– Да отдай ты ремень... Чего вцепился...

– Ни фиги себе, оборзел Михайла!.. Ну, ты – конкретный чувак... Не залупайся – контужу, понял?!

Мишка стерпел. Взял под мышку гармонь и удивительно твердыми шагами направился к калитке. Двор заметен опустел, но его все же заметили и задержали несколько пьяных мужиков.

– О-о-о!.. Паульс!.. Давай “цыганочку” с выходом!

Пришлось привязывать ремень. Из-за узлов он стал короче, и поэтому гармошка “прилипла” к груди. Пальцы после всего выпитого тоже были не те, но Мишка все же решился сыграть свои, как он в уме называл, “вариации” на темы русских народных песен. Пальцы работали, но вариации почему-то получились грустными, и мужикам не понравились.

– Не-е... ты ить не на поминки пришел!.. Не-е!.. Митрич! А ну, давай! А ты учись, Паульс!

Шатающегося Митрича усадили на табурет и сунули в руки двухрядку. Митричу ремень не понадобился. Гармонь панически взвизгнула, как ушибнутая за гузно баба, и стала издавать однообразные, но сложные колена. Глаза Митрича то совсем закрывались, то щурились, как смотровые щели танка. “Во дает... – с завистью подумал Мишка, – Интересно только – как он умудряется играть и спать одновременно...”

Тут из дому высочила баба в смешном переднике и стала всех загонять за стол. Митрич с гармошкой остался на табурете, продолжая наяривать все те же рулады, как заводная кукла, которая уже не может остановиться, пока не ослабнет пружина.

Стол был неузнаваем. Появились голубцы, жареная рыба, сельдь “под шубой” и “Столичная”, причем с пробочками. Вот только рюмки исчезли. За столом глухо роптали.

С визгом вошла та же полная баба с пластмассовым тазом, наполненным стопками.

— Кому рюмки нужны? Недорого беру — по зеленому рублю! Ага — три рубля и спасибо опосля!..

Мишке рюмка не требовалась. Он думал теперь только о том, как бы скорее отсюда выйти незамеченным. После купли рюмок все потянулись к заветным небоскрегам, и Мишка решил пробираться к выходу. Но не тут-то было.

— Куда! — усадила его на место полная баба. — А ну-ка, порадуем молодых, раскошелимся на пеленки для Аленки, на штанишки для Мишки... Кто имеет, тот не пожалеет!..

Поднос поплыл вдоль стола и затормозил возле Мишкиного носа.

— А ты чего съезжился?! А ну, покажи, какой ты товарищ жениху! Ну, давай!..

Мишка застыл под взглядами жующих. Кровь обожгла лицо. Для чего-то он сунул руки в карманы брюк, потом медленно вытащил и сжал пальцами колени.

— Я... все... у меня... — он забыл человеческий язык.

— Да ну — врешь, поди!..

— Я... уже...

Баба не отцеплялась:

— Ба-а!.. Вот так друзья-а-а!.. — протянула она, повернувшись к молодоженам с нарочито распахнутым ртом.

У Мишки остановилось дыхание. Он почувствовал себя вошью под ногтем визгливой бабы. Вдруг чьи-то грубые пальцы впились в воротник его рубашки. Мишка резко повернул голову. Перед глазами расплывалась фигура Индекса.

— Ты че, козел, Серого не уважаешь?.. — взревела фигура, дернув Мишку за воротник. — Да я тебя!..

Мишка встал, и фигура исчезла. Потерявшего равновесие Индекса подняли парни из бани, усадили за стол и всунули в руку рюмку.

— Кончай!.. Все по уму! Мишку тоже насильно усадили. Над ним навис усатый и что-то бубнил, хлопая по плечу. Через мгновение все забыли о жадном гармонисте, только хлопанье по плечу продолжалось, попадая в такт ударам Мишкиного сердца.

— Горька-а-а! — завизжала баба.

— Горька-а-а-а! — застонали стены.

Мишка сдернул с плеча назойливую руку и, выбравшись из-за стола, яростно полез к дверям.

— Горь-ка-а-а! — настигло его в коридоре. Челюсть перекосило от тошноты.

— Раз... два... три... четыре... — Мишка добежал до бани.

— Пять... ше-е-есть... Слаба-а-а! — ударило в уши, и он не сдержал рвоты..

Отдышавшись, Мишка зачерпнул из стоящей под водосток бочки воды и сполоснул лицо. Ноги сделались ватными, казалось, будто в них впиваются тысячи иголок. Он доковылял до калитки, поднял лицо к небу — над селом плыли лохматые звезды. Мишка шагнул, споткнулся и упал, больно ударившись о землю носом. И тут его прорвало. Схватив голову дро-

жащими пальцами, он глухо, по-звериному заревел, судорожно вздрагивая всем телом...

\* \* \*

В воскресенье молодожены проснулись рано. Вернее, это Ленка проснулась и растолкала Серегу. Новоиспеченный муж болел со вчерашнего “Байкала” и поэтому первое, что сделал, откупорил бутылку “шампуня”.

Ленка выглядела получше. Убедившись, что Серега ожил, она стала стягивать с себя измятый свадебный наряд и натягивать джинсы. Торопилась — скоро придут первые утренние гости, нужно их хорошенько “попарить”, а вся родня еще спит. Правда, основная часть денег была уже собрана и лежала в целлофановом пакете на столе. Серегина мать вчера называла сумму, но... деньги любят счет.

Ленка села за стол пересчитывать бумажки, а мужу сунула трехлитровую банку с мелочью, “подметенной” с пола.

Серега угрюмо высыпал деньги в супружескую постель и стал сортировать монеты, складывая их в кучки.

Серебро — к серебру. Медь — к меди...

1989 г.

## ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ

### КРУГОСВЕТНОЕ СЧАСТЬЕ

Я стоял на площади перед собором святого Петра. Золотой купол собора сиял, как Исаакий. Мне показалось, что я в Ленинграде. Но это был Рим. Огромная толпа ждала появления Папы Римского из ворот Ватикана. Пришел я поздно, когда с трудом можно было найти место в самом заднем ряду. Место стоячее. Наконец, черный лакированный автомобиль-каре́та, облицованный пуленепробиваемым стеклом, появился в воротах Ватикана, прополз между маскарадными швейцарскими стрелками-охранниками и выкатился на площадь. Толпа возликовала. Папа начал мессу. Все это было интересно мне как реализация чего-то невероятного и все-таки случившегося со мной, моей женой и сыном. Мы эмигрировали из России и оказались в сердце западной цивилизации, в Риме. Невероятное случилось не только с нами, но и героем тогдашнего ликования. Опальный польский ксендз-поэт стал главой католической церкви. Его итальянский язык оказался настолько совершенным, что толпа римлян внимала его проповеди, как гласу посланца Бога, который говорит с ними на родном языке. То есть, я впервые ощутил, что для людского дерзания нет никаких границ, что земля понапрасну изрезана и истерзана пограничными полосами, проволоками, столбами, паспортами и прочими свидетельствами тирании, которые для свободного духа равно ничего не значат. Есть шар земной, по которому и вокруг которого волен идти, ехать и плыть куда угодно любой обитатель нашей планеты. Я, русский еврей, на этой мессе впервые ощутил себя человеком земли.

К тому же, случайное знакомство приобщило мою догадку к концепции абсолютной личной свободы как неперемennого условия счастья. Я стоял за спинами

заднего ряда внимающей и молящейся толпы. Жена с сыном остались в Ладисполи, маленьком курортном городке на побережье Тирренского моря. Мы были эмигрантами из России и провели там целое лето, ожидая въездных виз в Америку. Я стоял позади внимающих и молящихся римлян и паломников из других городов и стран.

Рядом со мной расположился субъект с тележкой, набитой мешками, торбами, свертками и еще каким-то скарбом. Я принял соседа за бродягу, каких много шатается по Европе. В то же время лицо бродяги с тележкой приковывало мое внимание. Оно было лицом уравновешенного, знающего свою цель интеллигента. Крупный лоб, аккуратно зачесанные каштановые волосы, зальсина, седеющие виски. Лицо его было свежесвыбрито и ногти подстрижены. И все же — тележка бродяги с дорожным скарбом! Тогда я еще не знал, что всяческого рода соискатели свободы существуют на свете. Много лет позже, в Сан-Франциско я видел бродягу, который расположился на ночлег в подъезде ювелирного магазина. Он лежал на резиновой надувной подушке и при свете переносной лампы читал толстенный роман. Рядом с подушкой лежала другая книга. Я разглядел название и автора: «Театр» Сомерсета Моэма. Римский бродяга был наверняка из таких интеллигентов дороги. Он видел, что я с интересом поглядываю на него. «С интересом» слишком мягко сказано. Я пялился на него, придумывая биографию моего нового героя. Незнакомец, видя мой интерес, заговорил по-английски. Я кое-как ответил ему на том условно английском аргоне эмигранта из России, в котором слова соединяются без предлогов, а действие происходит в инфантильном мире инфинитивов. «Так вы русский? — возликовал незнакомец на родном нам обоим языке. — Я сразу понял, что русский, но не решился начать разговор». Как получается, что по одному слову люди угадывают страну происхождения, если эта страна — их общая родина? А муравьи в траве? А птицы в небе? А рыбы? Все выходцы из России разговаривают похоже. Мы познакомились. Он (Александр Борисович Лурье), подобно мне, относился к весьма популярной народности России — был русским евреем. Его дед и бабка бежали в 1918 году от пролетарской революции. Дед оказался одним из немногих русских эмигрантов, успевших переправить капитал в британские банки. В Лондоне открыл он шикарный салон одежды с русскими манекенщицами. Его сын, отец моего нового знакомого, ушел в кинопромышленность. Молодого Александра Лурье послали учиться в медицинский институт при Лондонском городском госпитале. Туда, где его тезка и старший коллега Александр Флеминг открыл лизоцим и пенициллин. По наследству передается не столько капитал, сколько талант. Александр Лурье стал талантливым глазным хирургом. Пациенты месяцами ждали очереди, чтобы попасть к нему на операцию. Он был процветающим окулистом, счастливым мужем и любящим отцом. Он и сейчас любит свою бывшую жену Кэтрин, дочь Лилли и сына Питера. Его особняк неподалеку от Риджент парка был образцом стиля необарокко. Сад, заключенный в причудливые переплетения чугунной решетки, благоухал розами из всех обитаемых континентов.

Но однажды Александр Лурье проснулся с твердым решением немедленно уехать от всего этого. Уехать

инкогнито в недостижимые для семьи, коллег и пациентов дали океанов, островов и дорог. Повидать места, откуда пришли в его сад экзотические розы. Он путешествует почти два года. Начал с Австралии. Побывал на Борнео и Филиппинах. Доплыл на корабле до японского острова Хоккайдо, оттуда — до Сахалина. Прошел и проехал на перекладных Сибирь, пересек Уральские горы, повидал Заволжье и Среднюю Россию, посетил Москву и Ленинград, узнал Европу с севера на юг. Теперь ему предстоит спуститься по итальянскому сапогу до самого носка, побывать на острове Сицилия и вернуться в Англию. Я спросил его: «А как же визы? Дорожные расходы? Непредвиденные траты? Как семья, которую вы не видели два года?» Он рассмеялся, как будто бы мои вопросы были вопросами наивного ребенка или крестьянина из глухой деревни. Так оно и есть. Мы эмигранты из Совдепии были наивны и несведущи о жизни европейцев и американцев, как наивны деревенские люди из русской глубинки и несведущи в повседневном быте жителей крупных городов. Он (Александр Лурье) рассмеялся: «Послушайте, Даниил! От деда и отца я унаследовал так много, что обеспечил на всю жизнь мою бывшую жену (она прислала мне в Сидней развозные бумаги, которые я подписал с легкостью) и детей. Дочь и сын получили блестящее образование. Визы? Поверьте, мое резюме не запятнано. Мой адвокат из Лондона готовит для меня наперед въездные и выездные визы в тех странах, где, как в России, понятие свободы путешествовать расходится с представлениями, принятыми на Западе...».

Мы расстались с бродягой-доктором Александром Борисовичем Лурье. Как мне казалось, навсегда.

...Был конец января на острове Антигуа в тропической части Атлантики, где мы отдыхали с Гилой. Мы жили в коттедже между океанским берегом и маринной, сооруженной так искусно, что все время казалось, как будто воду окружают не дома, построенные из легких досок, а корабли, остановившиеся посередине моря. Мечталось о далеких путешествиях, коралловых рифах, пальмах, которые, как длинноногие темнокожие островитянки, заманивают гибкими руками ветками причалить и остаться с ними навсегда. К острову приплывали яхты. Из яхт выходили мореплаватели. Они развлекались на берегу, обедали в прибрежном ресторанчике, ездили в город и уплывали искать счастья. Мы валялись в шезлонгах с книгой или журналом, купались, бродили по береговой кромке и провозжали взглядами уходящие невесты куда корабли.

В тот день мы отправились после ленча в город, столицу острова. Таксист выбросил нас посередине улицы, зафрахтованной антигуанскими художниками. Здесь, как и на всяких подобных выставках-продажах, преобладала эклектика вкупе с ремесленничеством и эпигонством. Местный Шишкин торговал картинами, на которых в лучах утреннего солнца семейство обезьян бродило посередине пальмовой рощи. Местный Давид изображал истекающего кровью героя туземной революции. Местный Репин запрыгал дюжину обнаженных по пояс темнокожих силачей в веревочную упряжку, которая выволакивала на берег многотонную шуну. Местный Гоген прославлял мягкую красоту темно-коричневых красавиц-антигуанок, принимавших вечернее омовение в океанском прибое. Местный Поллак выражал в желтых, синих, красных и

черных зигзагах пугающую красоту антигуанской грозы. Местные Кандинский, Шемякин, Целков ... Мы купили пейзаж с уплывающей вдаль парусной шхуной. Гила выбрала этот пейзаж. Незамысловатая работа туземного мастера звала нас далеко-далеко, подалее от чемоданов и авиабилетов с обозначенным днем возвращения в Провиденс.

Тот же или другой улыбчивый и говорливый таксист примчал нас обратно на берег океана, к нашему временному жилищу. На берегу горели костры, вился аппетитный запах жареного мяса, переплетавшийся с дразнящими запахами пива, вина, игры и веселья, которые сопутствуют пикникам, маскарадам, сборищам беззаботных гуляк, оказавшихся вдалеке от буржуазной цивилизации с ее жизненной рутинной. Да, наша часть острова была мало обитаема и вполне пригодна для такого веселья. На рейде покачивались три огромные яхты, от которых к берегу причаливали лодки с путешественниками. Какое-то любопытство потянуло нас пройти мимо костров, понаблюдать за очередными гостями острова, прислушаться к их беспечным голосам. Несмотря на вечер и предстоящий ужин почти все приплывшие были, скажем мягко, неодеты. Мужчины — преимущественно в плавках, а женщины — в купальных костюмах, весьма открытых. Гости не обращали никакого внимания на меня, Гилу и других обитателей коттеджей, как будто бы не они приплыли к нам на Антигуа, а мы явились невесть откуда и неприлично глазеем на их праздник. Они вправду, веселились безоглядно: пили много пива и вина, азартно откусывали от больших кусков жареного мяса, обгрызали сочные кукурузные початки, весело раскраивали алые пасти арбузов, словом, пировали неудержимо, словно праздновали свободу после множества лет заточения.

Чернота южной ночи рассекалась пламенем костров. Надо было идти домой пить чай, читать, смотреть новости, а мы никак не могли уйти, как будто что-то притягивало нас к безумному веселью гостей с причаливших днем яхт. У одного из костров я заметил старика в шортах. Он попыхивал сигарой. Красный огонь сигары разгорался и притихал в ритме раздувавшихся щек курильщика. В тот момент, когда сигара сильнее вспыхнула или старик повернулся к пламени костра, я успел разглядеть его лицо. Это был мой случайный знакомый с площади перед собором святого Петра в Риме. «Александр Борисович?» — обратился я к старику по-русски. Обратился вопросительно-приветственно. Он посмотрел на меня недоумевающе, а потом, словно протирая зеркало дальней памяти, улыбнулся смущенно: «Ах, да, вспоминаю. В Риме. Пять или шесть лет назад... Вы перемещались из России в Америку. Простите, имя запамятовал». Я напомнил ему мое имя и познакомил с Гилой. «А это Марта», — показал Лурье на молодую крепкую женщину в бикини, которая исступленно подпевала магнитофонной записи тяжелого рока, гремевшего на весь берег. Марта кивнула нам, выпила полбутылки пива и убежала к другому костру. «Вы всё путешествуете, Александр Борисович?» — осторожно спросил я старика, чтобы не показаться излишне любопытным. Спросил, скорее, для поддержания разговора, хотя и было интересно, куда направилась его судьба. Тем более, что явственно обозначилась некая Марта, молодая и напористая эпикурейка. «Что ж, если помните, нашу встречу в Риме,

я заканчивал путешествие и собирался домой в Лондон. Дела мои шли вполне успешно. Отчет управляющего показал, что капиталы, вложенные отцом и дедами в акции и прочие денежные операции, дают устойчивый капитал. Что же до глазной хирургии, то эта область медицины, требующая глаза ювелира и знаний математика, ушла настолько вперед, что не было смысла ее догонять. Тем более, что приближался пенсионный возраст. Бывшая жена Кэтрин вышла замуж за одного из моих прежних друзей, овдовевшего к тому времени. Сын Питер пошел по моим стопам: закончил резидентуру и работает окулистом. Дочь Лили учится в Оксфорде на кинокритика. Он передохнул. Затянулся глубоко и посмотрел внимательно на мою жену: «Не отпускайте своего мужа в кругосветные путешествия! Это, как алкоголь или героин. Сначала кажется счастьем, а потом затягивает навсегда». «Куда ему! (Она поправила себя.) Куда нам путешествовать! На Карибские острова с грехом пополам раз в год вырываемся». «Понимаю. Деньжата не пускают. А может, это к лучшему, — сказал он и грустно улыбнулся: мы вот путешествуем на яхтах больше года. Публика подобралась веселая. Маршрут разработан навигаторами с таким совершенством, что мы избегаем сезонных штормов и ураганов. Моя Марта обладает столь счастливым характером, что я просыпаюсь, радуясь, что она со мной, и засыпаю, мечтая увидеть ее утром». Он сказал это, отогнав тень сомнения или печали, промелькнувшую было на его лице, помахал нам рукой и пропал среди полуобнаженных тел, по которым бродили отблески костров.

Наутро берег был пуст. Яхты уплыли. Мне показалось, что продолжение истории с моим римским знакомым просто сон, который принесли океанские волны. «Что ты думаешь о нем?» — спросила Гила, наливая кофе в бокастые коричневые кружки местного производства. Кружки явно были сделаны по модели пышнотелых островитянок. «О чем?» — переспросил я, все еще находясь во власти, как мне казалось, сна. «О вчерашнем мореплавателе», — выразительно уточнила моя жена, категорически опустив на стол тарелку с поджаренными хлебцами, покрытыми расплавленным сыром.

Приходилось: а) поверить в реальность вчерашней встречи, в) попытаться понять мотивы или хотя бы главную причину кругосветных путешествий Александра Лурье. Но могли ли мы быть справедливыми судьями? По характеру своему я и Гила были домоседами или *home bodies*, как говорится по-английски. В России не успевал я уехать в командировку: в Сибирь, на Кавказ или в Прибалтику немедленно начинал скучать по дому и считать дни, когда вернусь в Москву, где ждут меня жена и сын. Да и Гила еле вынесла свою двухмесячную деловую поездку в Японию. В Америке мы всегда путешествовали вместе: в Калифорнию, на Средний Запад, в Луизиану. И летали из Америки в Европу всегда вдвоем. Нам не хотелось порознь, хотя бывало не все так гладко, как пузатая поверхность керамических чашек, из которых мы пили кофе. Неужели и мы иногда приближались к тому состоянию, на рубеже которого человек покидает дом и бросается на край земли? В одиночку или с подвернувшимся попутчиком.

Прошло еще несколько лет. С одним из наших американских приятелей произошла загадочная и траги-

ческая история. Его невеста, Линда, журналистка, сотрудничавшая с нью-йоркским еврейским периодическим изданием, отправилась на Ямайку собрать материалы по распространению иудаизма среди потомков рабов, вывезенных из Восточной Африки, преимущественно, из Эфиопии. Линда должна была вернуться через месяц-полтора. Она не вернулась и через два месяца. И ни разу не позвонила. Что было совершенно нетипично для нее, вышедшей из семьи пунктуальных немецких евреев. Гарри, так звали нашего приятеля, поднял на ноги полицию и ФБР. Однако, безрезультатно. Никаких следов Линды, живой или убитой, не было. Гарри отправился на Ямайку, просидел в Кингстоне больше месяца, стал близким знакомым префекта местной полиции, организовал несколько экспедиций в глухие места острова, завел контакты с ямайскими евреями. Все безрезультатно. Был он малый дошлый, не только оттого, что доводил каждое дело до последней точки, но и потому, что под конец всем надоедало его усердие. "Помнишь, Линда изнемогала от усердия Гарри выбрать для свадьбы самое модное платье, самый популярный джаз, самый изысканный ресторан да еще с еврейской кухней?" — напомнила Гила. «Помню, конечно. И что?» «Не догадываешься?» «Предположим... Тогда, знаешь что, мисс Марпл, давай-ка слетаем на Ямайку! На носу январь, а мы полгода не отдыхали».

Небольшой отель, который мы сняли в спешке по телефону, располагался на берегу океана в нескольких километрах от городка Порт-Антонио. Это был ветхий двухэтажный амбар, чердак которого был разделен на комнаты. Наверняка, два или три века назад это был склад для мешков с тростниковым сахаром, который экспортировался с ямайских плантаций. На первом этаже отеля с прилегающей открытой верандой был бар с выпивкой, кофе, бутерброды, какие-то горячие блюда, что позволяло хозяевам называть эту забегаловку рестораном. Теперь о хозяевах. Отель держала колоритная пара: глубокий старик в заношенной ковбойке и полотняных белесых шортах, обросших бахромой, и его жена, разбитная бабенка лет тридцати в ускользающей шелковой юбке, едва прикрывающей паховые складки, и лифчике-полусарафанчике, из кружевной пены которого вылетали, как струи пива, лихие груди. Подергивающейся походкой обладателя болезни Паркинсона старик время от времени колесил по залу, собирая тарелки и стаканы. Жена его стояла за стойкой бара или подсаживалась за стол к гуляющей компании. Стены бара, а вернее сказать, кабака были разрисованы картинками пиратских баталий: корабли, взятые на абордаж, пушки, стреляющие ядрами в соседнюю шхуну, разбойники, убивающие или пленяющие экипаж и пассажиров захваченного судна. Попадались и совсем гнусные сюжеты: торговля черными рабами на базарной площади Кингстона или сцены рабского труда на сахарных плантациях. Все это мы увидели в одно мгновение, когда брали у старика ключи от нашей комнаты. Контора отельчика была в том же баре. Мы сразу узнали друг друга: Александр Лурье — нас, а мы — его. «Вот и свиделись снова, — сказал старик вместо приветствия и крикнул барменше: Марта, Марта! Угости моих русских друзей!» Марта принесла нам за счет хозяев две бутылки ямайского пива. Время было послеполуденное. В баре собирался народ. Хозяину некогда было

рассусоливать с нами воспоминания. Да и какие там были воспоминания? Две случайных встречи и — нынешняя. Мы тоже устали с дороги, хотели поскорее искупаться и побродить вдоль океана, который лежал за окнами бара, как блюдо, покрытое кобальтом.

Наша комната была с душем и видом на бесконечный простор сливавшихся в вечности океана и неба. Мы раскидали вещи, натянули купальные костюмы и бросились на пляж. Вечерняя публика прогуливалась вдоль берега, на котором, как на ярмарке, располагались торговцы ямайскими диковинками: деревянными масками темноликих африканских вождей; фигурками животных из черного отлакированного дерева, среди которых чаще всего попадались изображения свиней; бусами из ракушек или дерева; ожерельями из акульих зубов; неказистыми фруктами, выращенными ленивыми хозяевами... Дымки марихуаны вились над вечерним пляжем. Солнце упало. Становилось прохладно. Или мне так показалось? Мы наскоро перекусили в баре, решив, что для последующих трапез подберем более цивилизованное местечко. Но всегда ли наши намерения сбываются? Мы устали и рано легли спать, хотя поначалу мешала громкая музыка из бара и гортанные голоса гуляк из центральной Европы. В середине ночи я проснулся от головной боли и озноба. Я заболел, хватанув вирус в самолете от моего соседа, который беспрерывно чихал, сморкался и кашлял.

Началось самое непредвиденное: я заболел гриппом. Температура, наверняка, доходила до 39 градусов по Цельсию. Да кто ее будет измерять? Кто возит с собой градусники в южные моря?! Хорошо еще, что в большой гостинице, куда Гила добралась по пляжу минут за сорок, был киоск, где продавались жаропонижающие средства. Я целыми днями валялся в постели, одолеваемый головной болью, кашлем, ломотой в суставах и ужасающей слабостью. Когда лекарства действовали, озноб отпуская, я покрывался испариной и обессиленный лежал пластом под простыней. В минуты некоторого улучшения удавалось мне прочитать два-три абзаца из каких-то мемуаров киносценариста, напечатанных в последнем номере «НьюЙоркера». Или я высовывал голову из окна и дышал. Сквозь проем между манговыми деревьями, окружавшими отель, я видел океан, кусок пляжа с пристанью и веранду бара. Океан бороздили катера, катамараны и яхты с разноцветными парусами. Чернокожие парни катали курортников на огромных желтых надувных бананах. Иногда мне доставался кадр, в котором покачивался купол парашюта. Его тащил на шелковом тросе неутомимый катерок. Или проплывала фигура парашютиста, болтающего ногами, просунутыми в детское креслице. Я ловил мимолетные кадры островного веселья и сваливался в постель, чтобы ждать как неизбежную принадлежность самого себя — приступ жестокого озноба, слабости, головной боли. Потом — жаропонижающее, проливной пот, неутолимая жажда с полным отвращением к еде и недолгая полоска облегчения. Иногда я спускался вниз. В баре отеля с утра по поздней ночи бушевала все та же компания европейцев. Это были крепкие молодые люди, лет тридцати-тридцати пяти. Наверняка, инженеры из какой-нибудь фирмы или клерки из банка во Франкфурте, Вене или Нюрнберге, зрелые активные мужчины, которые решили провести отпуск холостяцкой компанией на тропическом острове Ямайка. Они поглощали полные

тарелки сосисок с макаронами и выпивали пивные кружки кофе, потом выхлебывали несколько таких же гигантских кружек пива, гулко прихлопывали ладонями деньги за полученную еду и смачно шлепали (кому подвернется) Марту по задиристому заду в коротеньких шелковых шортиках/юбке. Трудно сейчас отделить реальность того, что я наблюдал и того, что воображал в состоянии лихорадки или последующей безумной слабости. Но гортанные голоса, лошадиный хохот и затрещины по доскам стола — это уж точно! Иногда веранду пересекал, ковыляя, старик Лурье. Чаще же (да целый день!), там вертелась Марта, разнося еду и напитки обитателям нашего отеля или случайно заглянувшим прохожим. Так что в промежутках между приступами болезни я вдоволь насмотрелся не столь уж интимных проявлений физической симпатии посетителей бара к Марте. Особенно выделялся среди группы европейцев молодой господин, предпочитавший появляться на веранде бара в узких черных плавках. Он демонстрировал свое тело анатомически высокоразвитого самца. Было что демонстрировать: шары грудных мышц, бугры рук и ног, жернова шеи. Весь он был метафорой культуризма: от сплющенного лба над смеющимися щеками, волосатым туловищем и узкими, как плавки, усиками — до мускула, расправившего черные плавки. Я назвал его Адиком. Он был весельчаком и щедрым малым. Я видел, как он обрисовывал круговым движением руки всю их компанию подбежавшей на его зов Марте, и она притаскивала полдюжины кружек пенящегося, как океанский прибой, пива. Теперь, по прошествии стольких лет, я осознаю, что увидел многое из жизни отеля, хотя и находился из-за болезни не в лучшей форме, да и наблюдал отрывочно.

Ги́ла выбегала окунуться в утреннем море. Потом приносила завтрак: кофе, сок, минеральную воду, хлеб, масло, сыр. Я нехотя съедал что-нибудь, запивая водой, и валился в постель. Она возвращалась к морю, время от времени забегала, чтобы проведать. Я дремал, читал, или наблюдал за океаном, небом, верандой бара, почти не реагируя на приходы и уходы жены. Иногда Ги́ла заказывала что-нибудь для меня в баре и посылала ко мне еду с Мартой или угрюмой туземной женщиной в неизменном черном платье-халате. Женщина эта играла в отеле роль уборщицы, посудомойки и запасной официантки. Но и этот доморощенный сервис не прибавлял аппетита, несмотря на то, что Марта на правах давней знакомой старалась расшевелить мой аппетит, угнетенный зловредным вирусом. Она ставила поднос на мою постель, уговаривала поест то и попить это, срезала кожуру со спелого плода манго, сочащегося золотом сладкой мякоти, наклонялась надо мной, кормя, как ребенка. При этом упругие груди ее почти что выпрыгивали из-под кружевной кофточки вслед за манго. Несколько раз навещал меня старик Лурье, принося по своему почину горячий чай, минералку или апельсиновый сок. Однако из-за моего болезненного отвращения ко всему, головной боли или еще чего-то неосознанно мерзкого, к чему я боялся прикоснуться, беседа не завязывалась.

Пошла вторая половина недели. В субботу надо было возвращаться. Приступы лихорадки повторялись каждый день. Отпуск был сломан окончательно. Я молил Бога помочь мне хотя бы долететь домой без новых осложнений. Ги́ла пыталась изображать опти-

мизм. Она пересказывала мне пляжные происшествия: кого-то обожгла медуза или кто-то наступил на осколок стекла, или кому-то пришлось отправиться в местную больницу из-за солнечных ожогов. Иногда, как будто бы даже со вздохом, она говорила об экскурсиях в глубь острова или о прогулке на яхте к коралловым рифам. Идея экскурсии в островные джунгли отпала сама собой, как только я напомнил о Линде — исчезнувшей невесте нашего приятеля. Да, неизвестность нас обоих тяготила. Из-за моей болезни мы ничего не узнали о пропавшей журналистке. «Знаешь, что, моя хорошая, поезжай-ка ты завтра с экскурсией на коралловые рифы. Хотя что-нибудь вспомнить будет красивого!» — сказал я жене. «А ты?» «Мне полегче. Буду валяться, ждать тебя, иногда выползть на песок, если температура отпустит». «Ты не шутишь?» — спросила она с надеждой. «Нисколько! Если кому-то из нас будет весело, значит и другому передастся».

Ночь прошла хорошо. Впервые за последние дни удалось мне выбраться на утренний пляж, ополоснуть лицо тихо плещущейся зеленовато-голубой водой просыпающегося океана, размять руки-ноги. А потом я и Ги́ла завтракали на веранде. Я пересилил себя: выпил целую кружку кофе со сливками и проглотил два яйца всмятку. Рядом с нами трапезничала шумная компания европейцев. Они собирались на ту же экскурсию к дальним коралловым рифам, что и моя Ги́ла. Яхта должна была подойти к ближней пристани. Внезапно, как по команде, шумная компания покинула веранду. «Тебе пора идти», — сказал я жене. «Я сейчас», — кивнула она и все не уходила, положив руку ладонью на мою кисть. «Ты опоздаешь!» «Ну и что! Не очень-то хочется», — ответила она, как будто ждала, что я соглашусь с нею, и она останется.

Экскурсия должна была возвратиться часа в четыре после полудня. Давно прошло время ленча. Я чувствовал себя вполне прилично. Даже прошелся по пляжу туда-сюда. Но идти в бар отеля не хотелось, и я придумывал всякие оправдания, чтобы оставаться дома. Словно не хотел идти туда, где мы были вместе с Ги́лой перед тем, как яхта уплыла к коралловым рифам. Я промаялся еще немного. Ни чтение, ни попытки вернуться к начатому еще до отпуски рассказу ни к чему не привели. Какое-то беспокойство, которое я не могу назвать совсем безосновательным, охватило меня. Как паутина, которая еще не сковывает движений, но обрисовывает сферу возможной беды. Я не мог оставаться один.

В баре за столиком под картиной с разбойниками, убивающими экипаж пассажиров захваченного судна, сидела старческая пара из Детройта, с которой мы познакомились шапочно в самый день приезда. Я кивнул им. Они не узнали меня. Наверно, я сильно изменился за время болезни. Или выражение лица у меня так отличалось от внешности улыбчивого расслабленного господина, каким я был в день приезда, словно теперь это был другой незнакомый им человек. Словом, я кивнул старикам и, не получив ответа, уселся за столик на краю веранды, чтобы видеть море и причал. Марта стояла за стойкой. Лурье приковывал ко мне с затрепанной картой меню. Да меню и не требовалось: я запомнил наперечет убогий ассортимент нашего ресторана. Ничего не хотелось, но чтобы не обижать старого доктора, я заказал фруктовый салат из манго и апельсинов, кофе и коньяк. «Вы не откажетесь выпить



со мной, Александр Борисович?» — спросил я. «Буду рад», — ответил он и потащился к Марте выполнять заказ. Между тем, солнце показилось к стайке облаков, висевших над линией горизонта. Экскурсия к рифам давно должна была возвратиться.

Старик Лурье принес коньяк, кофе и фруктовый салат. Я хотел было поскорее проглотить коньяк, наверняка не лучшего качества, как и все в этом захудалом отеле, выпить кофе и уйти, но мой давний знакомый приостановил трясущейся рукой пустяшный тост, который я готов был произнести ради приличия, и сказал: «За благополучное возвращение вашей преданной жены!» Мы выпили. Я не мог не выпить, потому что хотел этого с самого начала. Да и не хотел обижать старика. Хотя тост его, да и коньяк, оглушивший на секунду, не принесли мне успокоения. «Почему он предложил такой странный тост? — думал я. — С подчеркнутым *за вашу преданную жену?*» Умные люди, а к тому же умные в нескольких поколениях, могут обнищать, спиться, потерять моральное равновесие, но не утратить интеллект. А это и есть: наблюдательность, прозорливость, умение прочитать ход мыслей собеседника или даже не мыслей, а неуправляемый рой неосознанных откровений, которые составляют калейдоскопический орнамент предчувствия. Он разглядывал этот орнамент. «Знаете, не волнуйтесь. Такое бывает с нашими прогулочными яхтами. Пикник на коралловых рифах затянулся. Или вдруг все договорились доплатить и полюбоваться закатом изнутри океана. Или, так чаще всего бывает, экскурсанты проголодались и упростили капитана причалить к отелю «Марriott», где в ресторане дают потрясающие устрицы. Не волнуйтесь, Даниил». «А я и не волнуюсь, просто...», — пробормотал я и полез в карман за кошельком, чтобы расплатиться. «Подождите, куда вам спешить! Дождемся вашей яхты вместе. А пока я вам расскажу одну загадочную историю», — удержал меня старик Лурье. Я нехотя остался. Он рассказал: «Года два назад или около того, впрочем, в этих широтах легко сбиться с календаря, в нашем отеле поселилась молодая американка. Кажется, журналистка...» «Линда?» — перебил я рассказчика. «Не помню ее имени», — он прикоснулся губами к чашке с кофе, огляделся и, увидев, что пара из Детройта подзывает его, чтобы заплатить за ужин, оставил меня и поковылял к ним. «Вдруг окажется, что невеста нашего Гарри жила здесь?» — пронеслось в моем воспаленном воображении. «Так вот, некая американка поселилась в нашем отеле, — старик Лурье повернулся ко мне, — Она исчезла на день или два и снова возвращалась. У нее были какие-то дела в еврейских общинах Ямайки или еще что-то вроде этого. Мы не спрашиваем наших гостей, откуда они приезжают и куда направляются. Особенно, когда они платят наличными. Однажды, как раз когда американка вернулась из поездки в глубь острова, к нашему берегу причалили яхты кругосветных путешественников. Ну, помните, какими были я и Марта, когда мы встретились однажды на Антигуа?» «Конечно, помню!» «Причалили яхты. Началось веселье. Костры. Жареное мясо. Пиво. Вино. Часть гостей из нашего отеля, в том числе эта американка, приняли самое живейшее участие в пикнике. Словом, все шло, как заведено, когда люди вовлечены в круг безоглядного и бесконечного веселья...» «Бесконечного ли?» — не удержался я. «Так продолжалось двое суток. То

есть, двое суток шла гульба, в которой молодая американка принимала живейшее участие. На рассвете третьих суток яхты ушли в море. Горничная, прибравшая в комнате американки, нашла на столе деньги и записку. Наша гостья расплатилась с лихвой и, забрав дорожную сумку, исчезла». «Вы думаете, она...?» «Не в моих правилах изучать маршруты гостей!» — оборвал меня старик Лурье и поднялся. Я оставил деньги и пошел к причалу.

Ночь упала на плоскую поверхность невидимого океана, как черный занавес. Вода накатывалась на берег и уползала, шипя, как змеи, которые выползают из гнезд в траву, отползают назад и готовятся к новому набегу. Дурацкие мысли тревожили меня, клубясь и расталкивая друг друга: была ли молодая американка Линдой? Не наткнулась ли яхта с Гилой на коралловые рифы? Что сейчас делает моя жена? Так я стоял у причала в темноте. Десять минут? Полчаса? Час? Наконец, я увидел среди черноты океана золотые мигающие звездочки, которые становились все крупнее и крупнее. Послышался шум мотора. Я различил лампочки, бегущие от палубы до верхушки мачты. Я услышал голоса, смех, громкую музыку оркестра, записи которой непременно сопровождают морские прогулки. Яхта подошла к пристани. Стало светло от огней на палубе и мачтах. Матрос перемахнул с яхты на пристань. Ему кинули канаты. Он привязал яхту. Возбужденная морской прогулкой публика потянулась на берег. Наконец на пристань шагнула моя Гила. Ее поддерживал неутомимый культурист с черными усиками-плавками, которого я условно назвал Адиком. Гила была в том неукротимо-веселом настроении, в котором бывают дети, вырвавшиеся из-под назойливой опеки и показывающие всем своим видом, что больше не собираются возвращаться в состояние узаконенной зависимости, навязанной родственными узами. Ее черные локоны рассыпались по оголенным плечам. Ее огромные цыганские глаза смотрели на меня насмешливо и бесстрашно. Вспомнилась пушкинская Земфира. Мне даже показалось, что Гилу окружал горький дымок костра или колючее облачко шампанского. «Даня! — воскликнула она, поцеловав меня в щеку, — Я была уверена, что ты давно спишь. Как ты себя чувствуешь?» Я извлек какой-то бодряческий о'кей, который Гила восприняла, как мне показалось, вполслова и сразу начала рассказывать про изумительный день, проведенный на коралловых рифах, про необыкновенную красоту рыб и неповторимую вкусноту устриц.

Мы возвращались вместе с толпой к нашему отелю, когда раздался картово-гортанный возглас Адика: «А теперь все идем в бар праздновать благополучное возвращение!» «Ты пойдешь?» — спросил я. «А ты? Хотя, ты, наверно, устал, — коснулась моей спины Гила. — Ложись спать. Я скоро приду».

Я проснулся на рассвете. Гила спала в своей кровати, обняв подушку. Я выглянул в окно и увидел край синего океанского блюда на желтом столе берега. Прогулочная яхта покачивалась у причала.

Октябрь-декабрь 2003, Провиденс

## НАША РОДИНА, КАК ОНА ЕСТЬ

*ПОПУЛЯРНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ по горисландской (горичанской) истории, географии и культуре, с приложением краткого очерка этнографии и особенностей фольклора, а также с вкраплением объяснения, перевода и этимологии наиболее употребительных слов и выражений языка горичан (горисландцев).*

*Обращение к читателю.*

Теперь, когда после тысячелетнего нахождения на самой границе цивилизованного мира, а иногда – и за его пределами, горичанский (горисландский) народ наконец-то присоединился – хочется думать, навечно! – к семье культурных наций, на повестку дня, как никогда ярко, встала необходимость познакомить окружающий мир с историей и жизнью нашего народа, ввести наше славное отечество, так сказать, в гармонический ряд всемирного развития. С тем, чтобы никогда с ним уже не порывать или, точнее – не диссоциировать.

Пришло время воздать должное свершениям, подвигам и открытиям многочисленных горисландцев (горичан), до обидности несправедливо скрытым доселе от человечества – не хочется думать (хотя кажется очень и очень вероятным), что в результате коварного заговора, а возможно лишь благодаря причудливой исторической случайности (пусть последнее все-таки маловероятно, но мы останемся по-европейски корректными и не будем ни на кого указывать пальцем<sup>1</sup>).

Этой цели – воздаянию должного и утверждению истины – и служит данная книга – опыт, быть может, скромный и несовершенный, но необходимый, как всё, создаваемое в первый раз. Шутка ли – охватить под одной обложкой долгие века горисландского (горичанского) национального бытия и всю ширь, и мощь его духовного развития. Но иного не дано. Кто не ошибается – тот ничего не делает, а дорогу осилит тот, чей осел хорошо накормлен, как сказал кто-то из великих горичан (горисландцев).

Поэтому – в путь, друзья мои! Не удивляйтесь предстоящим сюрпризам и откровениям, ибо вам суждено приоткрыть завесу умолчания над многими краугольными событиями в истории человечества, в которых горисландцы (горичане) неоднократно играли самую ведущую роль, но на которой, по врожденной скромности своей, они столь часто не настаивали. Однако это время позади – и хочется верить: навсегда.

Но довольно предисловий! От имени и по поручению всего горичанского (горисландского) народа мне доставляет особенное удовольствие распахнуть свои объятия и заключить в них дорогих читателей.

Здравствуйте, любознательные мои!

Первый всенародно и почти что единогласно избранный Президент Горисландии (Горичании) Вассиан Лопата.

Вступительное этнонимическое замечание: о двойственности названия горичанского (горисландского) и народа и населяемой им территории

Спор о происхождении горичан ведется с раннего средневековья. Дело в том, что попавшие в наши земли не то в VII, не то в X веках латинские монахи были, в большинстве своем, немцами или, точнее сказать – германцами, то есть – людьми дотошными, но неглубокими, а главное – не знавшими нашего образного и идиоматически богатого языка. Последнее весьма резонно ставилось им в упрек многими новейшими критиками.

Уяснив, что автохтонная народность именует свое место обитания не то «Горем», не то «Горим», возможно, что: «Гором», – а согласно иным, даже «Горюм», наши центрально-европейские братья достаточно логично присоединили к нему старинное немецкое слово «земля» – «ланд», и для благозвучия порешили принять термин «Горисландия». Был ли при этом кто-то сожжен (от праславянского «гореть»), и «горевал» кто от этого впоследствии особенно сильно – истории неизвестно.

С другой стороны, возможно, что поводом к сим филологическим изысканиям послужило знакомство пришельцев с национальным горичанским напитком – горилкой, от которой у них как раз все внутри с непривычки и «горело». Однако, от названия «Бренландия» (от немецкого «brennen») педантичные патеры, все-таки кое-что соображавшие, удержались, ибо оно, с одной стороны, сильно напоминало имя какой-то другой страны, а с другой – могло оскорбить национальные чувства горичанцев. Впрочем, не исключено, что на самом деле вышепоименованный и давно уже ставший привычным топоним происходит всего лишь от слова «горы», а все остальное – не более чем красивая легенда, выдуманная католическими попами для оболванивания наших славных, но недалеких предков.

К счастью, в то же самое время на защиту горичанской национальной уникальности смело выступили византийские монахи, считавшие своих немецких коллег исчадием ада и вообще людьми не слишком образованными. Несмотря на собственную идейную ограниченность, они выдвинули весьма прогрессивную для своего времени теорию о самобытности горичанского (горисландского) народа. Из которой следовала полная невозможность придания нашему дорогому отечеству германоязычного наименования – с использованием чуждого нашему языку слова «ланд». А посему в своих трудах греки всегда называли нашу милую землю словом «Горичания», что как было установлено горичанскими краеведами во времена национального возрождения, наиболее точно отвечает древним реалиям, а также фонетическим особенностям древнегоричанского наречия.

Однако, к сожалению, все западноевропейские учебники географии, путеводители и справочники уже со времени Возрождения использовали термин «Горисландия», что сделало полный отказ от него невозможным, по причинам, в основном, чисто экономического характера. А посему, при вступлении в Организацию Объединенных Наций, Горичания (Горисландия) попросила все международные институты использовать в официальных документах оба наименования, что делается и поныне. Особо обращаем внимание граждан из стран Европейского Содружества – не думайте, что к вам стремятся сразу две страны, что могло бы негативно отразиться на ваших финансах.

<sup>1</sup> Хотя могли бы.

Отнюдь! Горичания (Горисландия) – это только одна страна!

*Краткий очерк горичанской (горисландской) географии.*

Невелика и прекрасна наша родина. Не так уж широко, но весьма живописно раскинулись ее леса и доли, ровно посередине рассекаемые извилистой неторопливой рекой Трясинкой, получившей свое название благодаря этой самой неторопливости и произрастающим по ее берегам камышам, лилиям и прочим травам, способствующим судоходству.

В том самом месте, где Трясинка изгибается особенно резко, гордо выпячивающиеся холмы временно отступают от ее берегов, а прорезающие леса опушки и поляны начинают постепенно сливаться в поля и огороды, с незапамятных времен (несмотря на упорные усилия, археологи никак не могут дорыть до самого древнего из его культурных слоев) существовало человеческое поселение, рождение которого, как легко догадаться, уходит к самому началу цивилизации – к ее, точнее сказать, зарождению.

Немудрено, что в силу присущей нашему народу экономности (а вовсе не из-за отсутствия выдумки, как утверждают иные злонамеренные языки), сие поселение испокон веку носило то же название – Трясинки, ныне являющейся столицей наконец-то ото всех независимой Горичании (Горисландии).

Город Трясинка компактен и просторен. Улицы его широки, но не чересчур, в меру пыльны, в меру утрамбованы. Заборы, плетни и изгороди уже который век содержатся в надлежащем порядке, а центральная площадь вымощена наилучшим булыжником, произведенным прямо по соседству – в карьере на другом берегу реки. Это еще раз доказывает прозорливость и предусмотрительность наших славных предков, несомненно понимавших, что рано или поздно каменное строительство почти полностью заменит деревянное, а потому и основавших город в столь удобном месте. Начиная с XIX века, горисландцы не раз пользовались благами сей природной каменоломни, хотя до того, в темном средневековье, не одна горичанская баржа потонула, желая доставить в Трясинку максимально тяжелый груз. Обломки этих барж то и дело всплывают со дна, пугая купальщиков и случайных моряков, и привлекают на наши благодатные земли и мутные воды немало кладоискателей.

Климат в Горичании (Горисландии) умеренный до противного, дожди, снега, ветры и жара чередуются с завидной регулярностью. Оттепели обычно наступают весной, а заморозки осенью. Зимой в Горисландии (Горичании) чаще всего холодно, а летом – не так холодно. Облачность невысока, влажность умеренна, а давление шадящее. Считается, что благодаря этому природному постоянству в национальном характере горисландцев (горичан) появились, а со временем закрепились такие черты, как неторопливость, обстоятельность, задумчивость, рассудительность, взвешенность, усидчивость, справедливость, юмор и постоянное желание прекрасного.

*Древняя история.*

Начало начал горичанского народа теряется в толще времен. Происхождение его неизвестно, а культурный генезис ставит в тупик этнографов, антропологов и

искусствоведов. Однако из данных археологических раскопок очевидно, что горичанская керамика мало чем уступает керамике греческой и древневосточной. Дошедшие до нас ее фрагменты, находящиеся в запасниках лучших европейских музеев, позволяют разделить древнюю горичанскую культуру на следующие периоды: примитивный, геометрический, постгеометрический и постпримитивный, последний из которых продолжается и по сей день.

Недавние изыскания ученых Гарвардского университета позволили пролить свет на еще более давнюю эпоху в истории нашего края и указать на возможную всемирно-историческую роль древних горичан (горисландцев). А именно – в докультурном слое одного из размытых недавними дождями местных холмов были обнаружены кольцеобразные отложения древесного угля. Датировка данных артефактов с помощью радиоуглеродного метода показала, что их возраст установить невозможно. Это, в свою очередь, является серьезным аргументом в пользу того, что и изобретение колеса, и добывание огня были впервые сделаны нашими далекими и совершенно прямыми предками.

На последнее обстоятельство косвенно указывает также большое количество хорошо обглоданных и тщательно высосанных костей различных животных, обнаруженных в том же докультурном слое. Как справедливо рассуждает в своей недавней статье д-р археологии профессор Эбеназер Джозайя Прендергаст-младший, уровень обработки костей зубами протогорисландцев (горичан) с неотвратимостью свидетельствует в пользу высокого уровня первобытной цивилизации на землях нашего отечества, в свою очередь находящегося в прямой корреляции со степенью жарки пищи.

Однако в связи с удаленностью горичанских земель от областей традиционной античной культуры, греческие и римские путешественники редко попадали в наши пределы, а потому и не оставили достоверных сведений о горисландских богах, героях и прочих выдающихся мужах древности. Впрочем, стоит упомянуть, что Тацит пишет о том, что на самом востоке Европы живут «еще какие-то длинноволосые варвары». Таково наиболее прямое упоминание нашей страны в знаменитых «Анналах». Надобно подчеркнуть, что, как мы теперь прекрасно знаем, великий историк был не прав – Европа заканчивается гораздо восточнее Горичании.

Сходным образом и Страбон говорит, что «далее в глубинах лесов начинаются земли, населенные непонятно каким народом». Большинство современных комментаторов единодушны в том, что великий географ древности имел в виду нашу родину. С ним совершенно беспочвенно не соглашался Плиний Старший, утверждавший, что «в тех лесах человеку жить совершенно невозможно и не нужно». Такое голословное отрицание существования древних горисландцев не делает чести известному философу. За это его в свое время справедливо критиковал блаженный Августин, считавший, что «Господь в своей неизмеримой благодати населил человеками и земли самые для таковой жизни неприспособленные». К сожалению, отец церкви не дополнил это, безусловно, весьма глубокое суждение какими-либо дополнительными деталями, повествующими о прото-горичанском быте и духовном мире.

Ныне общепризнано, что отсутствие подробных описаний древней горичанской истории сильно обедняет труды античных авторов, хотя и не перечеркивает их в целом прогрессивный вклад в науку, находившуюся в те далекие времена на относительно невысоком методологическом уровне.

#### *Горичания и первые отшельники.*

Основы христианской культуры были заложены в Горисландии в очень глубокой древности, каковая примерно совпадает с эпохой первоначального церковного строительства около двух тысяч лет тому назад. Народное предание утверждает, что в те незапамятные времена в Горичанию с юга<sup>2</sup> пришел неизвестный. Он долго ходил по лесу, а потом нашел большой дуб, забрался на него, залез в громадное дупло и стал в нем жить, лишь изредка показываясь изумленным горисландцам.

Всякое свое явление народу он сопровождал громкими заклинаниями на неизвестном языке, после чего – сразу или в течение нескольких дней, а иногда даже недель – в горисландских долинах обязательно менялась погода. Засуха уступала место дождям, а те, в свою очередь – снегам и метелям. Снег спустя несколько месяцев неизменно таял. Постепенно об этом удивительном человеке стало известно всему племени, и старейшины вместе с лучшими охотниками собрались прямо под тем же дубом, дабы обсудить, к добру ли появление незнакомца, и как оно может отразиться на урожае зерновых и молочности коз.

После недолгих дебатов было решено, что пришелец является лесным божком значительной мощи или, по крайней мере – великим колдуном, а то, что он избрал местом своего пребывания горичанский лес, свидетельствует об его особом расположении к нашим родным долам и опушкам. На протяжении совета старейшин неизвестный несколько раз показывался из дупла и то и дело кричал на полюбившемся ему к тому времени горичанском наречии: «Покайтесь, окаянные!» – память о чем отечественный фольклор сохранил до наших дней. Некоторые исследователи утверждают, что он также добавлял: «У, ироды вонючие!» – но ныне это единогласно признается позднейшей контаминацией.

После чего все нижние ветки дуба, по которым пришелец забрался в дупло, были обрублены горичанами, дабы лесной бог не мог покинуть наши благодатные места. Сучки же были стесаны до полной гладкости – обратите внимание, будущие инвесторы, вот до чего ревностен и старателен был горисландский народ уже в те далекие времена! Говорят, после этих событий сей отшельник не раз выбирался наружу при ясной луне, печально глядел вниз с двадцатиметровой высоты и восклицал: «О, горе мне!», – что без сомнения свидетельствовало о правильности принятого горичанскими старшинами решения.

В дальнейшем означенный дуб и его обитатель стали считаться самым драгоценным талисманом племени, и отцы семейств часто приводили к нему детей (особенно после достижения последними совершен-

нолетия), дабы те могли перекувырнуться вокруг дуба и после этого почитаться настоящими мужчинами. Особо хорошей приметой считалось, если житель дуба появлялся из дупла во время данного обряда и издавал какие-нибудь проклятия в адрес кувыркающихся. Обычно это встречалось взрывом восторга, как правило, еще более возбуждавшем кудесника, после чего он продолжал свои дискурсивные инвективы, делавшиеся по мере познания им языка аборигенов, все более и более многословными и красноречивыми. Заметим, что некоторые часто повторявшиеся им иноземные ругательства вошли в горичанский национальный обиход и весьма прочно в нем закрепились – подавляющее большинство исследователей не без основания считает, что подобных слов в нашем языке исходно не было и быть не могло.

Впрочем, ежели вопли отшельника становились чересчур невыносимыми, то его прогоняли обратно в дупло с помощью камней или частично испортившихся сельскохозяйственных продуктов – что считалось приметой еще лучшей. И чем больше и громче он ругался, тем больше яиц и свеклы летело в его сторону. Не исключено, что в этой, так сказать, ролевой игре отразилась осознаваемая нашими предками необходимость подкармливать «живой талисман» горичанского племени. В дальнейшем вокруг дуба начали играть свадьбы и проводить сельские игрища, что с завидным постоянством привлекало внимание постояльца дерева и способствовало дальнейшему обогащению горисландского лексикона.

К этому древнему обычаю восходит горичанская поговорка: «кувыркаться на поляне», со временем приобретая несколько иное значение – впрочем, как и в далекие времена, по-прежнему свидетельствующее о вступлении кувыркающегося в зрелый возраст. Поэтому на традиционных свадьбах (которые любопытствующий турист может и по сей день наблюдать в сельской местности) все так же положено, чтобы кто-то из старших родственников новобрачных показался в одном из чердачных окон будущего дома молодых и начал поносить брачующихся на чем свет стоит. Дружки же жениха должны в ответ закидать родственника яйцами и помидорами<sup>3</sup> – иначе он не убирается в дом и продолжает публично охаивать новобрачных, приводя все более подробные и откровенные сведения из их личной жизни. В городе этот обычай давно отмер – после бракосочетания молодые по традиции кидают камнем в столб, с незапамятных времен стоящий во дворе муниципальной управы. Считается, что чем раньше они в него попадут, тем меньше ссор у них будет в совместной жизни, и что даже разведутся они полюбовно. Народная мудрость, не оставляющая ничего на долю слепого случая, требует, чтобы родители новобрачных находились при исполнении этого обряда на противоположной от столба стороне двора.

Старинная же легенда повествует далее, что в один прекрасный день сей счастливый обитатель дупла, один из первых известных мировой истории филологов-практиков, далеко опередивший свое время, исчез и что больше его никто не видел. Горисландцы некоторое время о том тужили и всячески печаловались, но потом из некоей другой страны в пределы нашего оте-

<sup>2</sup> Не исключено, что все-таки с запада – ученые пока не могут прийти к единому мнению по данному вопросу, как и о том, могли ли прото-горичане различать стороны света.

<sup>3</sup> Постепенно заменившими свеклу в знак признательности горичан американскому народу.

чества забрел еще какой-то человек, который все время ходил по лесу с задранной головой. Горичанцы быстро смекнули, что к чему – и не успел новый посетитель опомниться, как оказался на том же самом дубе. Велико же было счастье горисландцев, когда новый жилец разразился теми же самыми проклятиями, что и предыдущий! Так покой снова вернулся на горичанскую землю и урожай продолжали радовать мирных селян.

В дальнейшем, когда в Горичанию приходил искавший одиночества и покоя чужеземец, то его неизменно подсаживали на рогатину и оправляли жить в насиженное дупло. В настоящее время этот обычай забыт, хотя любознательный турист может заметить, что в некоторых горичанских гостиницах вход с улицы ведет прямо на второй этаж, а лестницы, по которым туда приходится подниматься, узки и не имеют перил. Так фольклорные образы трансформировались в нашей национальной архитектуре.

### *Средние века.*

Среднековье в Горичании началось с появления в окрестных лесах двух оборванных бородатых людей. К тому моменту заблудившиеся странники сильно оголодали и с трудом держались на ногах. Вида они были иноземного и одеты не по сезону – в плотные черные плащи, перетянутые длинными веревками. Немудрено, что они страдали от недоедания и перегрева одновременно.

Нашел их, совершенно выбившихся из сил, один из местных пастушков, которого по причине малого ума и большой безобидности, посылали со стадом в самые дальние и непроходимые углы лесных пастбищ. Постепенно приведенные в чувство с помощью горисландских национальных блюд и напитков (хлеба, молока и колбасы – подробнее в кн. «Горичанская национальная кухня и ее наиболее употребительный 1001 рецепт»), неизвестные с помощью знаков осведомились у горичан, а могут ли каким-либо образом отблагодарить своих спасителей?

Горичане задумались, но ничего не придумали. Однако взять и просто так отпустить таких необычных, выраженных в длинные балахоны людей было обидно, и потому их под разными предлогами задерживали в одной из деревень, а те, согласно преданию, не слишком возражали, ибо колбасы в наших краях уже тогда делали весьма отменные. Некоторые традиционалисты предлагали даже выдолбить для них отдельное дупло в каком-нибудь подходящем дереве (старинный дуб был в тот момент занят забавным отшельником, все время кидавшемся желудями, то и дело прикрикивавшим: «Эврика, эврика!»<sup>4</sup>). Однако после длительной дискуссии, которую не всем старейшинам удалось пережить, восторжествовала та мудрая точка зрения, что провидение должно само показать, что надобно делать с незнакомцами – ведь и первый горисландский прорицатель забрался ввысь совершенно по своей воле.

Провидческие способности древних горичан решающим образом сказались на мировой культуре. Ибо постепенно выяснилось, что пришельцы говорят на

языке, слегка схожем с горисландским, и вскоре общение с ними перестало представлять какую-либо сложность. Такое быстрое превращение из бессловесных тварей в почти что людей, случившееся с чужестранцами, приятно удивило наших пытливых предков. Однако истинная степень высокой разумности гостей горичанского племени пока еще была никому не известна. Проявила же она себя в ходе следующего события.

В те годы горисландцы, подобно остальным лесным и полевым народам, пользовались устной почтой. Должность почтальона племени была почетной и трудной. Отбор на нее происходил следующим образом.

Каждый раз летом горичане собирались к излучине реки на сходку. Парни играли в незамысловатые игры, девушки плели венки и украшали ими победителей (подобный обычай отмечается и у некоторых средиземноморских народов, каковой факт дал нескольким ученым возможность заключить, что культурные заимствования шли в античную Европу не только из Египта и Древнего Востока, но также и с севера). Вслед за чем переходили к пляскам и хоровому пению. После чего расходились до следующего года.

По традиции почтальона племени выбирали в предпоследний день сходки, если было время и желание отрываться от плясок. Как правило, им становился обладатель лучшей памяти, которого определяли в ходе многоступенчатого состязания. Делалось это так.

За день до соревнования старейшины племени выдумывали для испытуемых длинное, но не представлявшее ничего сверхъестественно сложного задание. Например: пойти в близлежащий лес, собрать там горсть желудей, накормить ими свинью на чьем-нибудь дворе, выйти из двора не сквозь калитку, а непременно перелезши через плетень, затем бросить два камня в деревенский пруд, свистнуть в кулак, обернуться вокруг своей оси, попрыгать на одной ноге, постучать себя по лбу и т. д. Задание излагалось каждому из участников состязания устно и только один раз. Они же должны были выполнить его как можно точнее и быстрее. Для отслеживания каждого задания в контрольные точки направлялись судьи, внимательно следившие за соревнующимися.

Заметим, что помимо должности почтальона, не включавшей в себе ничего особо приятного, победитель, согласно тогдашним нравам, мог выбрать любую приглянувшуюся ему незамужнюю девушку племени и провести с ней не более трех дней зараз (обычай варварский и давно уже оставленный горичанами на пути к прогрессу – теперь, выбрав на сходке девушку, с ней необходимо проводить никак не меньше трех месяцев).

Нечего и говорить, что по причине большой охоты некоторых молодых горисландцев получить во временную собственность определенных девиц, а также из-за неточного судейства – связанного с почтенным возрастом старейшин, в силу которого они сами не всегда были в состоянии воспроизвести последовательность придуманных ими заданий – данное состязание часто заканчивалось мордобоем, а почтальона, бывало, и вовсе не удавалось выбрать. Потому-то его и определяли от случая к случаю, часто предпочитая этому занятию какой-нибудь особенно зажигательный народный танец или особенно заувнуную народную

<sup>4</sup> К сожалению, он один раз не удержался и полетел вслед за желудями – после чего древняя традиция водворения чужестранцев на дерево начала постепенно отмирать.

песнь. Однако в силу присущего горичанцам упрямства, они не отказывались от этого, весьма прогрессивного, нужно сказать, желания назначить на общественную должность наиболее достойного члена общества и пробовали снова и снова.

К вшечему удивлению горичан, победу на сходке, о которой идет речь, одержал вышеупомянутый юнец-пастушок, до того не отличавшийся особой памятью, да и самим умом. Именно по причине полной бесполезности он, говорят, и был приставлен к иноземцам, уже неплохо разевшимися на горичанских харчах и по-прежнему (а может – и потому) бывшими не в силах покинуть нашу гостеприимную землю<sup>5</sup>.

Так вот, судьи единогласно признали пастушка победителем, после того, как поглядывая себе на ладонь, он в точности напомнил им ту последовательность действий состязавшихся, о которой они договорились заранее. И к ужасу семьи одной весьма смазливой девицы, вполне логично рассчитывавшей на заметно лучшую участь, он, перекинув ее, в соответствии с народным горисландским обычаем, через плечо, удалился в ближайшую землянку.

Впрочем, через три дня сия юница даже совсем отказалась из этой землянки выходить, а будучи все же спустя еще некоторое время вызвана на переговоры любопытствующими подругами, поведала им, что по-прежнему поглядывая уже не на ладонь, а на зажатую в ней тряпочку, по ходу тех или иных значительных моментов совместной жизни, победитель конкурса почтальонов, оказался совсем не так прост, как о нем думали. После этого рассказа подруги разошлись по домам, снедаемые черной завистью.

Позже выяснилось, что собравшиеся наконец покинуть горичанские пределы незнакомцы<sup>6</sup> захотели на прощание одарить долго и трогательно заботившегося о них юношу, предупредив впрочем, что ничего материального они преподнести не в силах, хотя для Бога Живого, которому они поклоняются, когда отдыхают от поединков с колбасой, нет ничего невозможного. Было это примерно за одну-две луны до состязания почтальонов. Тогдамышленный горичанин потребовал от них, чтобы так или иначе, но они обеспечили ему победу в вышеописанном конкурсе и, более того, устроили все таким образом, чтобы означенная девица не покинула его по прошествии законодательно утвержденных трех дней. Ответствовав, что выполнить что-либо в этом роде их Богу не представляет не малейшей сложности, странники удалились на ближай-

ший холм и в течение трех дней с него не слезали, но не молились – а что-то бурно обсуждали между собой.

А потом скатились кувырком вниз, оглашая горичанские доли радостными криками, и забрались в вырытую для них землянку, откуда в течение месяца не выходили, совершенно позабыв про гастрономические искусства и борения, изредка лишь вызывая своего молодого спасителя и что-то ему громко втолковывая. За знаменитым состязанием они наблюдали со стороны, снабдив своего протеза несколькими палочками древесного угля, которыми он рисовал себе что-то на руке, когда остальные конкуренты внимательно слушали дававших задание старейшин. Убедившись в его победе, пришельцы не стали даже дожидаться исполнения второго из желаний юноши и потихоньку покинули горичанские земли, сказав кому-то из встречаемых, что направляются в какую-то Моравию.

Из этой древней легенды с неопровержимостью следует, во-первых, что славянская письменность была изобретена Кириллом и Мефодием во время их пребывания в Горичании и что именно особенности горичанского языка отражены в знаменитых глаголических знаках. Думается, что изобретенная форма некоторых из этих букв (спирали, завитки, кольца и т. п.), до сих пор ставящая в тупик многих ученых, с неотвратимостью должна напоминать внешний вид производимых тогда у нас на родине колбасных изделий. Кажется, что малое внимание, которое известные филологи прошедших веков уделяли горисландскому языку и горисландской же материальной культуре, и привело их к не совсем верным выводам о генезисе алфавита многих великих и не очень великих народов восточной Европы и ее еще более восточных окрестностей.

Во-вторых, в противоположность бытующему мнению, первым текстом, записанным с помощью изобретенных знаков, были не священные книги Запада, при всей их важности для мировой культуры – а иной, скорее всего, восточный текст, имевший прямое отношение к этике и психологии семейной жизни, с которым св. Кирилл скорее всего познакомился во время своих странствий по далеким аравийским и персидским землям. Об утрате этого текста, без сомнения заключавшем в себе многие вечные и до сих пор искомые человечеством истины, можно только сожалеть. Однако, кто знает? Быть может, еще не один приятный сюрприз ждет археологов на горичанских пустошах.

Говорят, что сей документ еще долго хранился у потомков удалого горичанского молодца и его счастливой супруги. Однако спустя несколько сотен лет на горисландскую землю поочередно напали турки, поляки и, наконец, австрийцы. Так закончилось средневековье и началось Новое Время – о чем будет подробно рассказано в нижеследующих главах. Несмотря на то, что ни в одном из знаменитых сражений той эпохи горичане не участвовали, жизнь их то и дело подвергалась значительным переменам, в ходе которых, по-видимому, и был утрачен знаменитый текст, от которого осталось лишь его предполагаемое название: «О благоустроении семейном и счастии людском».

Нельзя не вздохнуть с грустью при мысли о том, что потеря этой рукописи, скорее всего, невозможная, навсегда закрыла перед человечеством простые и яс-

<sup>5</sup> Поздняя и не вполне достоверная традиция рассказывает, что пришельцы часто сидели по средам и пятницам перед большим куском горисландской колбасы и тоскливо на нее смотрели. Затем один из них быстро протягивал к колбасе руку и запихивал оную колбасу себе в рот, откусывал, сколько мог, после чего начинал торопливо жевать, приговаривая: «Ох, грешен я, грешен!» – а второй смотрел на это с завистью и презрением. После чего первый становился на колени, плакал и говорил: «Уж прости меня, братец!» Вслед за чем они менялись ролями и сцена повторялась до полного исчезновения колбасы со стола.

<sup>6</sup> «Богата соблазнами земля сия, неможно вести здесь жизнь постную» – якобы сказал кто-то из них.



ные способы достижения одного счастья и благоустраения.

### *Горисландия в эпоху Крестовых Походов.*

Широко известно, что из многочисленных крестоносных ополчений, отправившихся из различных европейских стран в Святую Землю, многие канули неизвестно куда – их не видели ни в Палестине, ни в Византии, ни на невольничьих рынках Востока. Подобный факт давно занимает историков и они выдвинули немало гипотез, дабы объяснить сей загадочный феномен. Указывают в частности на то, что рыцари Христовы не обладали достаточными географическими познаниями, а потому попросту заблудились в Восточной Европе и либо умерли от голода в тамошних дремучих лесах, либо добрались до азиатских степей, где опять же умерли от голода. Приверженцы иной точки зрения настаивают на том, что, совсем наоборот, никаких ополчений в сущности не было, но дабы представить крестоносное движение более мощным и всеобщим, чем это было на самом деле, средневековые хронисты придали ему столь массовый масштаб.

Нечего и говорить, что ошибаются и те, и другие. Ибо Горичания лежала всего в шести днях конного пути и двух речных переправах от древней дороги, соединявшей Кёльн и Константинополь. Поэтому ни до каких степей заблудившиеся рыцари не дошли.

Народное предание повествует, что авангард крестоносцев появился в горисландских землях незадолго до праздника урожая – и они сразу же попали на девичьи гадания. Сей древний обычай заключается в следующем. Сразу же после сбора урожая все незамужние горичанские девушки собирались на лужайке, скидывали где попало загрязненные сельскохозяйственными работами одежды и играли в широко популярную национальную игру «ладошки». Ее краткие правила примерно таковы.

Девушки с распущенными волосами становятся напротив друг друга с вытянутыми вперед руками, при этом ладони должны быть отставлены перпендикулярно вверх. После чего каждая начинает бить в ладоши соперницы, при том не абы как, а в соответствии с довольно сложным алгоритмом, описание которого здесь займет слишком много драгоценного места. Цели у данной игры нет никакой, кроме взаимного удовольствия играющих – а потому в ней не имеется ни побежденных, ни победителей.

После же достижения вышеозначенного полного удовлетворения играющих начинается собственно гадание. Здесь надо сказать, что процедура эта тайная и входит в разряд так называемых женских культов, о которых мужчины и тем более ученые мужчины имеют самое отдаленное представление. Резонно впрочем, будет предположить, что происхождение горичанских женских культов относительно то же, что и у вавилонских, греческих, римских, галльских и германских, если не немного более древнее.

Так вот, считается, что перво-наперво принимающие участие в гаданиях дамы раздеваются догола. Вслед за чем начинают водить по прибрежным лугам хороводы, сопровождая их песнопениями магического порядка. К сожалению, что происходит дальше, осталось неизвестным, ибо единственный раз, когда мужчинам удалось подглядеть за началом данного обряда – а это именно и были наши крестоносцы – они, увы,

дотерпели только до хороводов. А потом выскочили из своего укрытия и бросились танцевать с девушками.

Те, однако, им поначалу не давались, а так как передвигались юные горисландки значительно мобильнее закованных в латы европейских гостей<sup>7</sup>, то распалили пилигримов настолько, что они постепенно стали высобордаться из своих металлических одеяний, не зная, что этим практически дословно выполняют древнее горичанское пророчество, гласившее примерно следующее.

Дескать, никогда не бывает такому, чтобы все девушки нашли себе суженых в одном и том же году. За исключением совершенно особого случая. Ибо однажды осенью, во время девичьих гаданий на горисландские земли придет толпа железных людей и захочет этими самыми девушками непременно завладеть. И если им поддаться, то жди беды – они не только воспользуются их плотью, так сказать, в обычном смысле, но, насытившись, обязательно разорвут тела своих жертв и всех съедят до последней косточки. Или, как минимум, сядут на железных же лошадей и уедут в неизвестном направлении.

Однако, ежели девы не станут сразу же отдаваться пришельцам – как бы тем и другим этого не хотелось – а терпеливо побегут с ними враспашку на солнышке, то их железная скорлупа станет понемногу таять и постепенно совсем спадет, после чего они станут люди как люди, и окажутся на поверку даже более беззащитными и выгодными мужьями, чем обычные горичане. Что в точности и случилось.

Легко догадаться, что, гонимая за девушками, крестоносцы разбрасывали свои доспехи в большом беспорядке и отнюдь не сразу начали их собирать. Поэтому многие, особенно яркие и хорошо сделанные вещи уже растащили лесные звери, птицы и наиболее хозяйственные и, благодарение богу, уже обремененные семьей горисландцы. Поэтому даже у тех особо богобоязненных рыцарей, которые посчитали, что теперь-то им все-таки стоит продолжить путешествие в Палестину, был, что называется, некомплект. Возникшие при этом споры чуть было не переросли в кровопролитие, однако горичанки, с присущими им чуткостью и тактом, сумели предотвратить нежелательные эксцессы и убедили спорящих передать их тяжбы на рассмотрение местному суду, который после долгого обсуждения пилигримы согласились считать достаточно христианским и принесли ему соответствующую клятву верности.

И вот что интересно. В соответствии с прогрессивной для своего времени горисландской юстицией, любой житель Горичании имел полное судебное преимущество перед иноземцем. Однако, кто должен иметь перевес, когда оба спорящих – иноземцы, определено не было, поскольку в Горисландии никогда не было тяжущихся чужестранцев, тем более в таких количествах. Пока наши славные предки судили да рядили, кто-то из особенно предприимчивых визитеров прознал о мудрых горичанских обычаях, немедленно обвенчался с некою, оставшейся истории неизвестной девушкой и благополучно отсудил у своих товарищей все доспехи, оружие, пажей, ослов, мулов, лошадей и

<sup>7</sup> Которые с тех пор приезжают на наши земли предвзвешенно раздетыми.

походную утварь, включая плошки, чашки и дарохранительницы.

Это событие было поистине революционным для горичанского этногенеза и вне всяких сомнений, спасло от неимоверных разрушений Багдад, Дамаск и Каир. Поскольку достаточно способные, как выяснилось, к простым логическим умозаключениям европейцы быстро смекнули, что к чему, и начали скопом жениться на окрестных девицах, дабы не остаться совсем без оружия и прочего инвентаря. Тут споры вспыхнули вновь, ибо некоторые, с позволения сказать, неогорисландцы вознамерились отсудить у своих товарищей и сограждан вещи, утраченные ими в прошлой жизни.

После многомесячного обсуждения дело опять чуть не дошло до кровопролития, но и здесь на выручку пришли славные дочери горичанского народа. Успев к тому времени разродиться многочисленными детьми, они спустились на поляну для гаданий, которая в тот момент почти уже стала полем боя, и держа своих чад над головами, показывали их отцам с криками: «Се – горисландцы! А вы кто?» Часть рыцарей заскребла при этих словах в затылке, а другая часть начала недоуменно переглядываться промеж себя, ибо им упорно казалось, что они где-то уже про это читали<sup>8</sup>. Однако после того, как названия оной книги им так и не удалось припомнить, они присоединились к первой половине доблестного войска и хорошенько почесав затылок, пришли к выводу, что без детей и тем более, жен, права их на полноценную жизнь в Горичании самые хлипкие.

Расставаться же с этой жизнью им уже совсем не хотелось, ибо горисландки уже тогда славились пышностью форм, речистостью, величавой поступью, любовью к домашним растениям, неистощимостью на выдумки, бережливостью, строгостью воспитания, ласками и страстью к вышиванию. Особенно крестоносцы запали на вышивание, хотя и против домашних растений, как выяснилось, тоже ничего не имели. Бывалоча, идешь в средние века по узенькой трясиной улочке и видишь: стоит мужчина с воинской выправкой, с граблями на плече у какой-то скамейки. Уже совсем, стало быть, готов заняться окучиванием или прополкой – а работать не идет. Это несомненно, какой-то рыцарь вышиванием любитесь – прилипнет, как кролик к удаву и смотрит, как там пальчики бегают, с ниткой да иглой управляют.

Так и не дошли паладины ни до Малой Азии, ни до Палестины. Да и что им там было делать? Вон даже наивысшие властители мира, которые уж очень рвались в неведомые края, не снискали особого счастья: император Фридрих утонул в речке, король Людовик развелся с супругой, а Ричард Львиное Сердце попал в тюрьму. Что уж говорить о графах да баронах, а особенно о тех, кто происхождением совсем не вышел и умер в благословенной земле от несварения желудка, тепловых перегрузок и общей экзальтации организма?

Насколько бы им было лучше в объятиях горичанских дев! Потому те, самые первые рыцари, никогда о переменах в судьбе не жалели, а других своих соплеменников, которых, бывало, заносила в Горисландию

нелегкая, сразу же ставили на ум. Те, в общем, и не сопротивлялись так уж сильно, а осматривались по сторонам, находили подходящих дев и забывали про борьбу с неверными. Со временем, к сожалению, девиц стало не хватать и задержавшиеся на горичанской территории вооруженные гости начали постепенно заносить на наши невинные земли всю совокупность европейских пороков (см. раздел «Высокое Средневековье»).

Однако периодически горисландки вспоминали былое и успешно действовали против налетчиков. Особенно важную роль в европейской истории сыграли неоднократные соблазнения ими свежих рекрутов Тевтонского Ордена. Как-то получилось, что у тех в руках оказалась любопытная и не полностью аккуратная географическая карта, на которой путь в Восточную Европу из Западной шел прямо через Горичанию. Поэтому рыцари сначала недосчитались столь важной для них подмоги на Чудском озере, потом – на Ворскле, а в конце концов – на Грюнвальдском поле. Тут меченосцы спомнились, провели ревизию и уволили в отставку главного картографа ордена. Но было уже поздно. Польша, Литва и Россия успешно нанесли цивилизации поражение, отстояв при этом свою, казавшуюся им тогда необходимой самобытность. И отблагодарили горичан непрерывными набегами, продолжающимися по сей день. Воистину, нет в истории справедливости!

## АЛЕКСАНДР СИНДАЛОВСКИЙ

### ЮНГ

Когда-то я был близок к природе, хотя и не настолько, чтобы ощущать себя ее нераздельной частью. Турнистические походы пугали меня встречами с недружелюбными представителями фауны. Ночевки в палатках угрожали несметными полчищами пауков, готовых в любую минуту обрушиться на меня, парализованного беспомощным ожиданием и бессонницей. Нет, я никогда не желал интимности с природой. Но я был ее достойным и благодарным зрителем. Пусть я предпочитал наблюдать из ложи (сквозь окно уютной квартиры или с хорошо утрюбованной аллеи парка, обрамленной скамейками и урнами), но я не отвлекался на театральную мишуру, не глазел на торжественно-безвкусную люстру, не искал в партере знакомых. Я смотрел на сцену с пристальным вниманием, граничащим с самозабвением.

Новый год без снега был для меня не в счет. Такой новый год я не мог принять всерьез. В январе я жмурился от морозов, ярко-голубых днем и фиолетовых вечером, уютно скрипел пружинистым снегом и пил мелкими глотками обжигающий воздух. В феврале задыхался от бесноватых вьюг и сладости первых сырых ветров оттепели, несущих смуту и грипп. В марте я возрождался вместе с природой. Внутренне таял, как невыносимо ослепительные сосульки на припекающем солнце, мысленно бежал за говорливыми ручейками проталин, несущими скопившийся под снегом хлам. В апреле я распускался вместе с почками на деревьях нежными, клейким листочками. В мае моя грудь разрывалась от восторгов весенних ароматов, и сердце расширялось от тихой пронзительной мелан-

<sup>8</sup> Феномен так называемой «ложной памяти» таким образом впервые наблюдался в Горичании еще в Средние Века.

холии первых цветов. В июне я томился несбыточными обещаниями белых ночей. В июле пылал полуденным зноем и наливался животворящими соками, питающими листья и траву. В августе плыл по ленивому течению душных дней среди пыльных деревьев и сочных гор арбузов. Я веселился с сентябрем на его красочном карнавале. Бывал не раз обманут неверностью кружащихся проказливых масок. Вместе с октябрём ворошил ногами ненужные больше декорации отошедшего праздника. Ноябрь бубнил мне свои унылые не просыхающие элегии. Декабрь торжественно свершал надо мной обряд посвящения в великое таинство смерти и возрождения.

Но как-то незаметно природа ушла из моей жизни. Я больше не замечал кровавых баталий заката и мучительно-прекрасных родов рассвета. Зима давала знать о себе только простудой и муштрой гололеда. Весна — аллергией. Лето досаждало своей бесцельно-настырной жарой. Осень была короткой передышкой. Впрочем, осенью-то все и началось...

— Послушай, — сказала однажды жена, — да ведь ты стал совсем рыжим!

Я посмотрел на себя в зеркало. Действительно, на моей голове было много рыжих волос, факт прискорбный, но едва ли достойный пристального внимания. Однако, то, что я заметил неделей позже, заставило меня не на шутку испугаться. Среди рыжих волос, увеличившихся в своем количестве, появились красные, вернее, багровые. Мой вид оказался настолько нелеп, что я был вынужден прибегнуть к бессменной помощи берета, который носил теперь как на улице, так и дома, расставаясь с ним только по ночам и стойчески игнорируя насмешки друзей и негодование жены. Хотя центр города и изобиловал шевелюрами, больше смахивающими на оперенье тропических птиц, чем на человеческий волосяной покров, для главы семейства и скромного инженера красного и желтого цветов было более чем достаточно.

— Мне так идет! — отчаянно защищался я от попыток посягнуть на мой головной убор. — Берет подчеркивает мою артистическую натуру...

Но жена начала догадываться:

— Неужели ты стесняешься рыжих волос? — домогалась она. — Глупый, это же придает твоему облику ауру страстной мужественности.

Но мужественность волновала меня теперь меньше всего. У меня стали заметно выпадать волосы. Просыпаясь, я каждое утро находил на своей подушке спутанные ржаво-багровые клочья. Я поспешно убирал их, опасаясь быть уличенным в своем недуге. В дополнение, мои волосы стали жесткими и заскорузлыми. Их не брала даже расческа с крупными редкими зубьями. Я попробовал противоперхотный шампунь, но он оказался бессилён. У меня не оставалось иного выхода, как обратиться к врачу.

Перед тем, как попасть к терапевту, я провел несколько часов изнурительного ожидания в очереди, формально подчиняющейся распорядку номерков, но фактически живущей согласно первобытным законам. Я сидел в берете, натянутом по самые уши, но моя наружность едва ли выделялась среди разношерстной и разномастной публики, собранной здесь предельно субъективным чувством, что сегодня им хуже, чем вчера. Участковая была немолодой женщиной, пови-

давшей виды, но не нашедшей им иного, нежели «Острое Респираторное Заболевание», объяснения. Она приходила на работу уставшей, а к концу ее сама была готова занять очередь, свернувшуюся невозмутимым, но бдительным кольцом у дверей ее кабинета.

Зайдя в кабинет, я тут же снял головной убор, но врач не выразила никакого удивления. Может, потому что даже не взглянула на меня...

— Что Вас беспокоит? — равнодушно задала она канонический вопрос, не отрываясь от бумаг.

Я нагнул, чтобы показать ей причуды пигментации своих волос в лучшем ракурсе. В целях демонстрации, я слегка дернул красновато-золотистую прядь, и она осталась в моих взволнованных пальцах.

Врач посмотрела на меня растерянно. Последние остатки профессиональной чести не позволяли ей поставить диагноз ОРЗ.

— Может, Вам их сбрить? — робко предложила она.

Принимая во внимание темпы, с которыми я лысел, подобная мера была бы явно излишней. Я решил умолчать о некотором одеревенении в пальцах, которое испытывал последнее время. Мне теперь с трудом удавалось ухватывать мелкие предметы и часто приходилось прибегать к помощи второй руки. Терапевт порекомендовала мне обратиться к дерматологу. Все-таки волосы и кожа — понятия смежные.

К сожалению, я получил направление в кожно-венерологический диспансер. Больница, к которой он принадлежал, состояла из таких уютных кирпичных домиков, просвечивающих сквозь разреженные кроны осенних деревьев, что я впервые в жизни подумал, что болеть, наверное, не так уж и плохо. В диспансере меня встретила предсказуемо сомнительная публика. Одни, потупившись, смотрели себе под ноги. Другие, казалось, наоборот, рассматривали самое пребывание здесь как привилегию и залог не зря прожитых лет. Я снял берет, истощив необходимую для скрытности энергию. Мне почудилось, что в полутемной приемной стало светлее от дерзких переливов моих волос. Какой-то субъект нагло и манерно подмигнул мне, давая понять, что догадывается о причине, приведшей меня сюда. Он одобрял ее и, по всей видимости, пытался назначить мне свидание. Я снова натянул на себя берет и уже не снимал его до приема врача.

Дерматолог удостоил меня только беглого осмотра. Волосяной покров не имел никакого отношения к его специальности. Дерматолог объяснил мне это в очень доступных терминах. Он спросил меня, пошел бы я к окулисту, если бы у меня стали выпадать из век ресницы. Но порекомендовать иного врача отказался. Когда я уже уходил, он вдруг проявил сострадание.

— Попробуйте обратиться к психиатру, — предложил он.

Я вяло выразил сомнения: проблем с психикой у меня, кажется, не наблюдалось. Но дерматолог начал оживленно рассказывать мне про психосоматические заболевания. У одного на нервной почве развился паралич. Другой полностью потерял чувствительность. Третий оглох. Четвертый совершенно ослеп. И все без каких-либо физиологических нарушений. В общем, мой случай был далеко не безнадежным, при условии, что я сумею попасть к хорошему психиатру.

Скоро на моей голове не осталось больше черных волос. Рыжие тоже постепенно исчезли, уступив место

бордовым и даже бурым. Руки окончательно престали слушаться меня. В один прекрасный день я не смог открыть ключом дверь и был вынужден ждать прихода жены.

Я передал ей диалог с дерматологом.

— Что ты теряешь? — спросила она. — У моей Ольки есть подруга. Отец двоюродного брата ее мужа дружит с мясником, который часто обслуживает известного психиатра. Я тебе все устрою. И она действительно все устроила.

Психиатр принимал у себя дома. Я долгое время добирался до его квартиры в центре города, пересеживаясь с трамвая на метро, с метро на автобус, с автобуса на троллейбус. Не доставало только черной повязки на глазах. Меня впустила его жена, непримечательная субтильная женщина, проводила в кабинет и незаметно исчезла. Я долгое время дожидался врача, жадно впитывая непривычную обстановку губкой взволнованности: громоздкую безвкусную мебель, страдающую ожирением и одышкой; глубокие мягкие кресла, напоминающие музейные, про которые никогда не знаешь, предназначены ли они для отдыха пресыщенного духовной пищей посетителя или являются неприкосновенными экспонатами; тяжелые шторы на окнах, ревниво сторожащие полумрак и тишину комнаты. Психиатр вышел ко мне в костюме, но без галстука. Это был пожилой грузный мужчиной с седой эспаньолкой. Звали его Карлом Августовичем. Он неуклюже сел за стол, напряженно держась за подлокотники кресла и медленно сгибая колени, а затем вдруг рухнув в него, и начал флегматично изучать меня из-за надежного прикрытия очков с толстыми линзами в роговой оправе. Он был немного туг на ухо. Всякий раз, когда я сообщал ему очередную деталь из собственной биографии, он приставлял к уху собранную в чашечку ладонь и слегка наклонялся ко мне. Даже когда я переставал говорить, он все равно некоторое время держал руку в прежнем положении, что придавало его облику выражение рассеянности. Перед тем, как ответить мне, он опускал ладонь, отшатываясь от меня всем телом, словно ему только что открылось нечто чудовищное во мне, и говорил приятным ровным и низким голосом. Его глаза смотрели спокойно и равнодушно. В них не было жизни, вернее, они витали где-то высоко и далеко от того места, где сидели мы и вели неторопливую беседу. А может, они совещались в глубине за кулисами. Иногда глаза Карла Августовича загорались вниманием, и он удивленно смотрел на меня, как будто видел в первый раз. Тогда мне чудилось, что я угадываю еле заметную иронию, барахтающуюся на самом донышке его глаз, разбавленных молоком абстракции. Все в Карле Августовиче красноречиво свидетельствовало о том, что передо мной знаменитый психолог и талантливый психиатр.

Карл Августович терпеливо выслушал историю моей болезни. Пока я расписывал эволюцию своих волос, он смотрел поверх моей головы и, видимо, предавался размышлениям, если, конечно, не дремал. Когда я закончил, он снял очки, тщательно протер стекла бархатной тряпочкой, лежавшей на столе, снова надел их и вдруг обратился ко мне с неожиданной просьбой:

— Будьте добры, раздвиньте шторы.

Я подумал, что он мог бы сделать это сам, но повиновался. Сумрак неохотно отступил под несмелым натиском серого осеннего дня.

— Что Вы видите за окном? — спросил он.

Я посмотрел вниз. Кажется, я находился на третьем этаже.

— Я вижу остановку троллейбуса, — ответил я.

Я заметил, как только что уехал мой троллейбус. Значит, следующий придет примерно через час. Надо будет подгадать.

— Дальше, — сказал он.

— Женщина в доме напротив моет окна.

— А еще? — спросил он.

— Еще я вижу магазин. Только что оттуда вышла старуха, перекошенная набок тяжелой авоськой.

— Посмотрите вверх, — приказал он.

Наверху я увидел ошеренную телевизионную антенну и замызганных голубей на крыше противоположного дома.

— Ну, хорошо, — отступил он, — а природы Вы не замечаете?

— То есть, к каком смысле природы?

— Деревьев, неба, облаков?

— Ну, конечно, — усмехнулся я его наивности, — это само собой разумеется. Разве стоит об этом говорить?

Далее мне предстояло такое упражнение. Карл Августович произносил слова или обрывки фраз, а я должен был придумать их продолжение.

— Осень, — начал Карл Августович.

Я молчал.

— Ну, что же Вы? — спросил он.

Я ответил, что мне ничего не приходит в голову.

— Говорите первое попавшееся. Осень —

— Дождливая.

— Весна —

— Красна, — ответил я и испытал стыд за пошлое клише.

— Зима —

— Холодная.

— Лето —

— Жаркое.

Его до этого умиротворенное лицо изобразило гримасу недовольства.

— Попытайтесь раскрепостить воображение. Так мы далеко не уйдем. Давайте попробуем немного иначе. Этой весной у меня —

— Была аллергия.

— Я шел по осеннему парку, вороша ногами листья и —

— Обрывки газет.

— Когда выпал снег, —

— Начались перебои с общественным транспортом.

— С приходом белых ночей —

Я молчал.

— С наступлением белых ночей, — настаивал он.

— Ничего не изменилось.

— Ничего не изменилось... — еле слышно повторил он мои слова.

Я начал испытывать неловкость. Карл Августович был явно разочарован моими ответами, хотя и старался этого не показывать.

— Знаете что, — сказал он, — я дам Вам небольшое задание. Идите с женой в парк. Погуляйте там, подышите свежим воздухом. А потом расскажете мне, как можно подробнее, что Вы там видели.

На этом аудиенция была закончена. Она оставила во мне смешанные чувства бесцельно потраченного времени и невольного уважения к Карлу Августовичу.

Я все-таки опоздал на троллейбус. Доходящая следующего, я смотрел на женщину, продолжавшую мыть окно, голубей на крыше и уставших людей, медленно выдавливаемых из магазина наружу.

Идти в парк мне не хотелось, но жена относилась к предписаниям врачей с религиозным трепетом. В парке нам не встретилось ничего примечательного. Там все было по-прежнему: деревья, скамейки, белки и бесцельно слоняющиеся люди. А еще там пробегали физкультурники в нелепых спортивных костюмах. Они вызывали у меня раздражение своим неумным радением о здоровье. Я думал про работу. Жена периодически дергала меня за рукав. Это означало, что на проходящей мимо женщине была красивая шляпка или модное пальто. Она тоже хотела такие. Я устал думать про работу и решил собрать материал для следующей беседы с врачом. Мне не хотелось больше чувствовать на себе укоризненного взгляда его близких глаз.

Одно дерево, стоявшее на отшибе, привлекло мое внимание. Оно было зеленым снизу и красно-золотым сверху.

— Что это за дерево? — спросил я жену.

— Не знаю, — сказала она, — наверное, клен.

— Помилуй, что угодно, но не клен!

— А я тебе говорю, клен!

— У клена не такие листья, — возразил я.

— А какие же, по-твоему, у клена листья?

— Другие! — заорал я. — Совсем другие!

— А, по-моему, именно такие.

Люди начали оглядываться на нас. Гулять больше не хотелось, и мы ушли из парка.

На следующей день я снова сидел в кабинете Карла Августовича. Рассеянно выслушав мой отчет о деревьях как понятии, скамейках, бесцельно слонящихся и деловито заботящихся о своем здоровье людях и белках, их нисколько не боящихся и нагло вымогающих свое пропитание, Карл Августович попросил меня перечислить породы деревьев в парке.

— Там был клен, — сказал я. — То есть, это был не клен, но жена утверждала, что это именно клен, и за неимением лучшего названия, черт с ним, — пусть будет клен.

— Так, — сказал он, — а еще?

— Еще там были вечнозеленые деревья.

— Это какие?

— С иголками, — пояснил я. — Ели.

Он с трудом встал, подошел к книжной полке, вытащил оттуда толстый крупноформатный альбом, положил его передо мной и раскрыл наугад. Там оказалось изображение огромной чернильной кляксы.

— Расслабьтесь, — сказал он грозно, — дайте волю своему воображению. Какие бы странные мысли ни пришли Вам в голову, высказывайте их вслух. Что напоминает Вам эта картинка?

Уродливая клякса походила только на саму себя. Но я уже знал, к чему он клонит.

— Она напоминает мне большой черный кленовый лист, — солгал я.

— Кленовый лист? — удивился он.

— Да. Если бы на том дереве были такие листья, только, разумеется, не черные, оно было бы кленом...

— Но чем она напоминает Вам кленовый лист?! — разозлился вдруг Карл Августович, словно подозревая с моей стороны обман.

Этого я объяснить не мог и только виновато качал головой: дескать, делайте со мной, что хотите, но я вижу здесь кленовый лист и только его. Карл Августович немного помолчал, нервно развинчивая и завинчивая шариковую ручку. Потом он закрыл альбом с кляксами и раснял меня неподвижным гипнотизирующим взглядом.

— Мне кажется, я начинаю понимать, что происходит с Вами, — сказал он наконец. — Изгнанная из вашего сознания природа нашла себе приют в бессознательном. Перед нами стоит задача выселить ее оттуда и водворить на прежнее место жительства. Только Вы сами сможете это сделать, но я постараюсь оказать Вам посильную поддержку.

Так закончилось наше второе свидание. На этот раз я очень ловко поспел к троллейбусу. Водитель хотел закрыть двери перед самым моим носом. Это было для него спортивным интересом. Он терпеливо ждал, пока я подбегу к остановке, и нажал на кнопку только тогда, когда я уже заносил ногу к подножке. Но я успел просунуть руку в закрывающиеся двери. Так ехать водителю боялся. Он был не против немного покалечить меня, но убивать не решался. Я сидел в троллейбусе и гордился своей находчивостью и расторопностью. Мимо окна ненавязчиво проплывали грязные фасады домов и уставшие пешеходы. А еще там скользила потусторонним призраком старая, немощная осень, уже примирившаяся с мыслью о своей последней обновке: уютном дотканном саване зимы.

Вскоре на моей голове не осталось ни единого волоса. Это полностью разрешило мою основную проблему. К плешивости в нашем обществе относятся терпимо. Даже коренная переоценка политических ценностей мало что изменила в данном вопросе. Теперь я носил головной убор только для тепла. Я мог в любую минуту снять его и все равно остаться незамеченным, вкушая несравненное блаженство конформизма и анонимности. Правда, пальцы были по-прежнему одеревеневшими, но я изловчился делать ими все, что и раньше, иногда прибегая к помощи зубов.

По поручению врача я старался записывать все свои сны. Это удавалось мне не часто: сновидения редко задерживались в моей памяти. Сразу после второго посещения Карла Августовича мне приснилось, что мы с женой спорим о дереве: клен это или не клен. Спорим долго и ожесточенно. В разгаре спора я хватаю ее за волосы, а она отчаянно царапает меня и визжит. Во время короткой передышки мы оборачиваемся взглянуть на дерево, чтобы убедиться, что это соответственно не клен и клен, и вдруг видим, что дерева больше нет, а вместо него стоит столб. «Я же говорил, что это не клен!» — кричу я жене со злорадством. Но тут я вижу абличку на столбе, на которой значится: «Клен». «Не может быть» — думаю я и смотрю на верхнюю часть столба: «Или он только снизу, как столб, а сверху клен?». Но наверху я вижу повешенного. Столб оказывается виселицей. С женой происходит истерика. «Значит, это все-таки не клен. Клен — это имя повешенного» — проносится у меня в голове. Но мысль не приносит мне покоя. У меня уже нет уверенности в том, что передо мной не клен. Я хотел рассказать о своем сне Карлу Августовичу, но в последний

момент испытал стыд: я уже и так успел надоесть ему с кленовым эпизодом.

Началась зима, пока бесснежная. Однажды, бреясь, я заметил, что у меня мутные, как подернувшаяся тонким льдом лужа, глаза. «Наверное, не выспался» — успокоил я себя. Но день ото дня глаза становились все более матовыми. Мое зрение заметно ухудшилось. Предметы казались окутанными полупрозрачным туманом, в котором они теряли четкость своих очертаний. Я постоянно зяб даже в хорошо натопленном помещении.

Я несколько раз посещал Карла Августовича. Он постоянно твердил о временах года, ушедших в мое подсознание, но уклонялся от вопросов о конкретных мерах.

— Не в моей власти проделать за Вас Ваш путь. Я могу служить вам посохом, но не ногами.

Я был согласен. Но вопрос скорее заключался в том, кто возьмет на себя функцию моих глаз.

— Мы попытаемся поделить ее пополам, — успокаивал он меня. — Вы должны воздать природе то место в Вашем сознании, которое оно занимало раньше. Понимаете?

Я все понимал. Зима тем временем набирала свой неслышный, но быстрый ход. Зима скользила на проворных полозьях по недавно выпавшему снегу. Снег у нашей парадной прикрыл тонким слоем бесстыдство голого льда. Не подозревая об этом, я поскользнулся, упал и сломал руку. Но такое стечение обстоятельств только обрадовало меня. Теперь немощь руки была полностью оправдана, и жена начала ухаживать за мной как за больным.

Последнее время я стал ощущать некоторые внутренние изменения. Как будто во мне замерзло что-то, обрастая все более толстым слоем льда. Все меньше вещей волновало меня теперь.

— Почему ты не смотришь новости? — негодовала жена.

Я послушно шел к телевизору и прилипал взглядом к экрану, как в старые добрые времена. Но мировые события скрежетали танками, громыхали выстрелами, корчились голыми судорогами, рушились многэтажными зданиями, рвались сросшимися с телом бомбами — не затрагивая душевных струн. Новости погружали меня в сон. Я пробовал читать книги, но и они обладали сходным эффектом. Злободневные однодневки раздражали своей суетностью. Философские повести отталкивали надуманностью и неуклюжестью. Романы с исторической канвой вызвали протест бессмысленным ворошением умершего прошлого. Я всегда скептически относился к утверждению, что в истории все повторяется. Скорее, в ней ничего не меняется в силу завидного постоянства человеческих инстинктов. Зачем откапывать артефакты деспотизма и предательства из глубокой могилы ушедших веков, если они открыто лежат на поверхности вчера и позавчера?

Я продолжал посещать Карла Августовича, но наши беседы становились все более беспредметными и натянутыми. Между моими обледеневшими глазами и его, спрятанными за призмы очков, больше не было связи. Во время одной из встреч он сказал мне:

— Мне кажется, что наш анализ исчерпал себя. Думаю, что и у Вас нет лишних денег для продолжения зашедшего в тупик лечения. А бесплатно я не лечу.

Эти слова должны были принадлежать мне. Но теперь я только слушал, согласно кивал головой и боролся с дремотой. Последнее время мне постоянно хотелось спать. Видимо, сказывался недостаток дневного света.

— Я желаю Вам всего лучшего, — продолжил он. — У меня есть для Вас одно утешение — скоро наступит весна...

«Весна?» — удивился я сквозь сон, облепивший мои веки тяжелыми снежными хлопьями — «А что мне до весны? Мне, собственно, и зимой совсем, совсем плохо...».

*16 ноября 2002 г., Филадельфия.*

## ТРИ ПРЕДСКАЗАНИЯ

Все началось с того, что в провинциальный городок О. из столичного града М. приехал предсказатель будущего. Он всячески умалывал свой сверхъестественный дар и относил успехи прорицания на счет сложного аппарата, установленного в углу тесного гостиничного номера. Устройство (сиречь машина времени, или детектор грядущего, как называл его прорицатель) чрезвычайно напоминало самогонный аппарат. Так, по меньшей мере, показалось инженеру Гармоникову. Впрочем, Гармоников в своей убого-интеллигентской жизни с самогоном дел почти не имел, а по сему вполне мог заблуждаться, о чем и предупредил своего приятеля Дипова, которому теперь рассказывал о своем недавнем визите к гадалею. Гармоникову не терпелось узнать, когда, наконец, выдадут зарплату. Если больше, чем через год, Гармоников был твердо намерен сменить инженерскую профессию на оплачиваемую. Гадалец о зарплате сообщить ничего не смог, оправдавшись тем, что детектор плохо регистрирует пренебрежимо малые величины. Зато он обнадежил Гармоникова тем, что тот выиграет в лотерею холодильник. Гармоников пророчеству обрадовался, решив, что если зарплату к тому времени еще не выплатят, он возьмет приз деньгами. Теперь Гармоников подробно описывал гадалею и обстановку его номера, то сгущая краски до мистической палитры, то не в меру иронизируя. Дипов слушал внимательно. Он был начинающим, но преуспевающим бизнесменом. Его предприятие выпускало ботинки, на подошве которых значилось: «Made in Italy». При этом, фабрика «Италия» находилась в нескольких километрах отсюда, в пригороде О. Дипов рассуждал так: если неудачнику Гармоникову выпал холодильник, то ему, Эдику Дипову, должна быть уготована поистине триумфальная судьба. В бога Дипов не верил, но был чрезвычайно суеверен: до трепета боялся разбитых зеркал, люто ненавидел черных кошек и по-юношески робел перед гадалками.

Дипов догворился о встрече с прорицателем по телефону и отправился к нему в гостиницу. Прорицатель был невзрачным плешивым мужчиной с аккуратно подстриженными усиками. Он, как и предупреждал Гармоников, избегал разговоров о своем даровании и всячески расхваливал мудреный аппарат внушительных габаритов — футур-детектор. Несколько раз он пытался завести разговор о его устройстве и даже порывался вытащить электрические схемы и разъяснить их своему клиенту. Но Дипов, для которого схема не сла столько же полезной информации, как китайская



грамота для кита, попросил прорицателя перейти к делу. Ему, Эдуарду Дипову, хотелось знать, что ожидает его через год. Загадывать на большой срок Дипов опасался. А вдруг... не дай, конечно, бог, но кто его знает? А год — срок невеликий. Дипов чувствовал себя здоровым, как Минотавр, предприимчивым и энергичным, как Тезей, и довольным жизнью, как Ариадна, ублажаемая Дионисом, — не зная, конечно, имен ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого, ни греческой мифологии вообще.

— Всего через год? — разочарованно переспросил оракул. — За ту же плату я могу предсказать на десять лет вперед.

Дипов почувствовал азарт картежника. Мгновение жадность боролась в нем с трусостью, но потом трусость взяла верх.

— Нет, браток, — с сожалением ответил Дипов, — ты давай на год вперед, а если что, я снова к тебе приду. Дашь мне скидку?

Прорицатель уклончиво мотнул головой по диагонали и принялся вращать многочисленные колесики и переключать рубильники. Комната наполнилась туманом — наподобие того, которым потчуют публику на дискотеках. Дипов почувствовал оцепенение и впал в транс. Через неопределенный промежуток времени он увидел себя в просторном кабинете. Из высокого окна, доходящего до пола, открывался вид столичного города. Стены были уставлены книжными шкафами с золочеными корешками массивных фолиантов. Ни их названий, ни авторов Дипов не знал. Некоторые из книг, судя по всему, были на иностранном языке. «Муляж», — с уважением решил Дипов. В нишах между книжными шкафами стояли бюсты греческих философов. «Это вам не хер собачий!» — впечатлился Дипов. У входа застыли изваяниями телохранители — плечистые детины с глазами младенцев, носами боксеров и мускулами Самсона, третирующего льва. «Эге! — смекнул Дипов, — а я, знать, пойду в гору. Да еще какими темпами!». И тут Дипов остолбенел: в кабинет, словно лебедь, вплыла сногшибательная блондинка. Ни дать, ни взять Леда! Ее геометрически безупречные формы, казалось, были выточены из мрамора. Стройные, словно колонны Парфенона, ноги дружелюбно выглядывали из-под мини-юбки, неохотно скрывавшей лишь их капители. И самое главное: блондинка (не иначе, как личная секретарша!) улыбнулась Дипову и даже сделала как-то так языком, что у того потемнело в глазах и послабело в коленках. Когда он очнулся, дым уже рассеялся. Прорицатель озабоченно возился у аппарата и проверял контакты проводов и показания приборов. Дипов не обратил на это никакого внимания.

— Ну, спасибо, брат, — хлопнул он прорицателя по плечу. — Ну, удружил, сукин сын!

И уехал в свою пятикомнатную квартиру с видом водокачки и центрального рынка из окна.

С того дня Дипов принялся ждать исполнения пророчества. У него появилась привычка предаваться на досуге метафизическим домыслам: мол, даже интересно, как провидение добьется своего, если, он, Эдик Дипов, и пальцем не пошевелит, чтобы помочь ему. А зачем? Пусть само старается.

С женой Дипов стал обращаться грубее обыкновенного. К чему, спрашивается, ему было цацкаться с ней, если вот уже меньше, чем через год, у него заведется

такая завидная любовница. Не любовница — а песня песней! По странной женской логике жена Дипова приняла изменение в отношении мужа благосклонно: хамит — значит, не изменяет....

Время шло. Дипов ждал, но ничего не менялось. Торговля шла, но вяло. Конкуренты Дипова, выпускающие «испанскую» обувь, в основном, сапоги, отказывались уступать свой сектор рынка, хотя Дипов через третьих лиц не раз настойчиво убеждал их заняться производством «швейцарских» часов. А любовницы Дипова были скандальные потасканные девки с рыхлыми, безвкусно раскрашенными физиономиями и воровскими замашками. По прежним меркам сошли бы и такие, но теперь Дипов знал, что такое настоящее комильфо. Он грубил любовницам еще отчаяннее, чем жене.

А время шло. Незаметно пролетело полгода. Потом еще два месяца. И еще один. Дипов начал беспокоиться. «Может, — сомневался он, — судьбе нужно помочь? Может, без помощи и судьба — не судьба?». Поскольку прорицатель давно уехал из города О., Дипов решил обратиться за советом к безработному философу, когда-то преподававшему на кафедре Марксизма-Ленинизма в институте, где Дипов проучился два года.

Профессор философии жил в однокомнатной квартире с немолодой и некрасивой женщиной и напоминал вещь в себе. Его лик был сокрыт в буйных зарослях бороды, заполонивших лицо, как полынь и бурьян — развалины некогда величественных зданий. Когда-то огненные, а теперь тусклые, очи профессора мерцали из-за пуленепробиваемых диоптрий его очков. За кроватью пылился лицом к стене портрет Фридриха Энгельса. Портретов Маркса и Ленина в доме не было. На книжной полке хмурился бюст Ницше с отбитым носом. В квартире стоял затхлый запах, и у Дипова начала кружиться голова, направляя его по касательной к входной двери. Но страх за будущее заставил его взять себя в руки. Дипов вручил философу бутылку коньяку, а его сожительнице — коробку конфет, и неловко — без приглашения — примостился на продавленной кушетке. Профессор ушел на кухню за рюмками. Бутылку он забрал с собой. Женщина спросила, не хочет ли Дипов есть, и заметно повеселела, когда тот отказался. Профессор вернулся с наполненными рюмками. Дипов отхлебнул из своей и почувствовал, что коньяк разбавлен водой.

После недолгого обмена любезностями и дипломатических вопросов Дипова о жизни профессора, отвечая на которые, тому приходилось выбирать между «неплохо» и «ничего», Дипов перешел к цели своего визита. Он заготовил вопрос еще дома.

— По-философски говоря, — спросил Дипов, — может, это вот, бытие жизни человека происходит без его посылной помощи?

Профессор снял очки, закрыл глаза и медленно провел по векам тыльной стороной ладони.

— Что вы говорите? — рассеянно переспросил он и кивнул женщине, дававшей понять ему знаками, что она хочет выйти из комнаты.

— Если человеку на роду написано стать богатым и преуспевающим, значит, так тому и быть или как? — редуцировал свою мысль Дипов.

Профессор протер очки, надел их снова и объяснил Дипову, что человеческий жребий неминуем. С одной

стороны, он не волен свершиться без участия со стороны субъекта бытия. Однако с другой стороны, не поспешествовать собственной судьбе находится вне человеческих возможностей. Как говорил один великий немецкий философ, предопределенность выбора отрицают исключительно глупцы, но ощущают ее — лишь душевнобольные. Поступки человека и вызывающие их мотивы — и есть судьба. Последняя — суть имманентный атрибут становления. Напротив, восприятие и оценка судьбы — есть модус, обусловленный как интеллектом и образованием индивидуума, так и его эмоциональным состоянием.

Из речи профессора Дипов понял следующие слова: сторона, не может, содействие, однако, другая сторона, возможности (человеческие), глупцы, душевнобольные, напротив, состояние.

— Так что нужно делать, чтобы нажить состояние? — уточнил Дипов.

Профессор внимательно осмотрел Дипова, снял очки и положил их в футляр. Без них его лик стал совсем непроницаемым. Словно в маленьких подслеповатых окнах старого каменного дома потушили свет и наглухо закрыли их ставнями.

— Молодой человек, делайте, что нужно, и все будет, как полагается.

Когда Дипов ушел, профессор сказал женщине:

— Некоторые могут усваивать мудрость только в разбавленном виде.

— У нас нет денег, — пожаловалась женщина. — Почему даже в наше время удалось продать портреты Маркса и Ленина, а Энгельс по-прежнему никому не нужен?

— Такая у него судьба, — ответил профессор.

До срока, назначенного прорицателем, оставалось ровно три месяца. Дипов несколько дней обдумывал наставление профессора и пришел к выводу, что ему необходимо идти навстречу судьбе. Но так как времени оставалось совсем не много, Дипов навстречу судьбе побежал.

Теперь он пускался в самые рискованные аферы. Заключал сомнительные сделки. Шел напролом. Пренебрегал «этикетом». Поступая так, Дипов не испытывал страха: он жил в согласии с собственным жребием и находился под его протекцией. В женском вопросе Дипов развел такую активность, что у городских сплетен отнялся дар речи — явление беспрецедентное. Наконец, Дипов добрался до жены местного воротилы и магната, занимавшегося производством печатей, которыми делались оттиски: «Made in Italy», «Made in Spain», «Produced in England», «Manufactured in Switzerland». Жена магната обладала выдающимися достоинствами, но была брюнеткой. Дипов немного колебался, но потом успокоил себя: «Наверное, прорицатель допустил небольшую ошибку в вопросе мастити».

Некоторое время дела Дипова если не шли в гору, то, по крайней мере, сохраняли status quo. Закономерные потери в одних предприятиях, компенсировались невероятными приобретениями в других. Однако вскоре его бизнес, помедлив в состоянии неустойчивого равновесия, низринул в плотоядно облизывающуюся пропасть полного краха. Дипов начал терпеть убыток за убытком. «Испанская» фирма расширила сферу влияния и занялась выпуском сандалий и босоножек — основной продукции Дипова. Словно

этого было недостаточно, среди молодежи завелась нелепая западная мода ходить повсюду босяком.

Наряду с неприятностями на работе, у Дипова обострились проблемы в личной жизни. Во-первых, его до полусмерти избили телохранители магната Печати.

— Шеф сказал: богу — богово, а кесарю — кесарево, — передали они слова хозяина, вслед за чем попытались подвергнуть Дипова процедуре кесарева сечения, но так как не до конца знали, как оно делается, сошлись на том, что поставили ему на чреслах оттиск: «Сделано в Хохломе».

Дипов провалялся с неделю в больнице, а когда выписался, обнаружил, что от него ушла жена. За неделю до назначенного срока Дипов оказался один, на грани полного банкротства и — что много хуже — отлученным от церкви городского бизнеса.

Все оставшиеся дни Дипов просидел дома, ожидая невозможного чуда. Когда чуда не произошло, он продал то, что сохранилось у него от былых ростков роскоши, и отправился в город М. Там Дипов занялся поисками прорицателя, продлившимися более месяца. Он пользовался услугами частных детективов, не жалея на них последних денег. Однако адреса, полученные им от агентов, вели на квартиры, откуда прорицатель либо успел съехать, либо никогда не жил. Казалось, он успел сменить за этот год с десятков квартир.

Наконец, по истечении месяца, блуждающий и прерывающийся след привел Дипова к грязному пятиэтажному дому на окраине города. У дома росли нескладные долговязые тополя. С помойки шла такая ядреная вонь, что Дипов невольно заткнул нос двумя пальцами. В песочнице шумно играли дети. Когда Дипов приблизился к ним, дети замолчали и испуганно уставились на него. «Неужели у меня такой вид?» — обеспокоился Дипов, но потом только махнул рукой: мол, какая теперь, собственно, разница? Дипов сверился с клочком бумажки, на котором был записан адрес, и устремился на пятый этаж второй парадной — в квартиру номер сорок.

У двери квартиры лежал пестрый коврик. Дипов машинально вытер ноги и позвонил в дверь. Никто не ответил. Тогда Дипов постучал. Ответом была тишина. «Дудки, — остервенел Дипов, — буду ломиться, пока не откроют!». После минуты стука Дипову почудилось, что он слышит сопение.

— Отпирай, сукин сын, подобру-поздорову! — рявкнул Дипов.

— Кого вам угодно? — тихо спросил затравленный голос.

— Предсказателя, — ответил Дипов.

— Я больше не предсказываю.

— Не важно. Я по поводу старого предсказания.

Дверь неохотно отворилась. Дипов переступил через порог и с большим трудом узнал прорицателя. Тот, казалось, очень пополнился, и в то же время, лицо его осунулось.

— Не сбылось! — сказал Дипов с вызовом.

— Что не сбылось?

— А ничего не сбылось! Пророчество твое не сбылось...

— Вот и хорошо, — устало сказал прорицатель, — может оно и к лучшему, что не сбылось.

— К лучшему?! У меня теперь ни жены, ни денег, ни бизнеса? Что же здесь может быть к лучшему?

— Затрудняюсь ответить, — ушел от ответа прорицатель. — Аппарат-то свой я продал ликероводочному заводу. Не мог больше таскать его за собой с квартиры на квартиру...

Дипов огляделся по сторонам. Комната пребывала в состоянии запустения. Дверь на балкон была тщательно забита досками. На полу валялись окурки. Дипов повнимательнее присмотрелся к прорицателю. Нет, тот не растолстел. На нем многими слоями была надеята одежда, хотя в квартире было тепло. Когда-то тщательно оберегаемый, родничок усов влился в безбрежное море неопрятной бороды и затерялся в нем.

— И тебя, вижу, жизнь потрепала неслабо, — примирительно заметил Дипов. — Что же это ты бегал, как угорелый революционер, с квартиры на квартиру? Насилу тебя отыскал...

— А я тут себе нагадал, — воспрянул прорицатель, как всегда оживляется человек от возможности поделиться с первым встречным укоренившейся душевной тоской — что меня скинут голого с балкона...

— Чего? — удивился Дипов.

— Да, вот вышла такая чепуха. С тех пор и скрываюсь.

— Мдааа... — задумался Дипов.

Несколько секунд прошло в молчании. Стало слышно, как капает на кухне из крана вода.

— С балкона, говоришь?

И тут Дипов всем своим существом испытал огромное облегчение, словно то, что представлялось безвыходной реальностью, оказалось дурным сном.

— А ну-ка раздевайся, — приказал Дипов прорицателю спокойно, но безапелляционно, и принялся оттирать доски от заколоченной балконной двери...

А что касается Гармоникова, жизнь инженера вне всяких сомнений пошла в гору благодаря удачному предсказанию. Правда, никакого холодильника он в лотерею не выиграл. Да и денег на лотерейные билеты у Гармоникова толком не было. Зато в скором времени он получил зарплату за полгода и восхитительную «английскую» электробритву — «в подарок от любящей жены на день рождения».

*18 февраля 2004 г., Экстон.*

## МИХАИЛ БАРУ

### НОВЫЙ РУССКИЙ ХАЙБУН

Двадцать седьмое сентября. Не успел кончиться один дождь, как начался совершенно другой. В порядке незаживающей очереди. Пронизанная ветром старушка и пронизанная ветром кошка в пронизанной ветром сумке старушки. И все до костей, до самых костей. Старушка, кошка, сумка. Труба городской котельной поутру распоролла пять облаков. Просто в клочья. Слишком низко нависли. Места им уже не хватает — вот и нависают ниже некуда. Сейчас такое время: все кто может — на юг. И они тоже. Столпились и ждут попутного ветра. А тот и в ус себе не дует. Шарахается по улицам и переулкам. Прикуривать мешаает, неприличное насвистывает в уши прохожим. Мужчины только посмеиваются, а женщины детишек по домам загоняют, чтоб не слушали. Детишки все равно слушают, но это не большая беда — у них через

другое ухо быстро вылетает. Если, конечно, им родители его чистят регулярно. А нет, так в голове остается и гуляет допоздна. По утрам, спросонок, зеваешь все длиннее и длиннее. Но это еще ничего. Вот к декабрю придется начинать зевать еще засветло, чтобы на работу вовремя успеть. Огурцы и помидоры попрятались в банки. Грибы еще не спрятались, но кто им виноват? Кто заставлял расти в таком количестве? Капуста свежа, беззаботна и весела, но того и гляди начнет кваситься. Мелочь выстуживает кошелек. Одежда и носки начали толстеть и покрываться шерстью. Мерзнут кончики. Пока только они. Батареи ночами урчат на пустой желудок. Бархатный сезон уступает место отопительному.

конец сентября... / с каждым днем все холоднее / звон колокола к заутрене

\*\*\*

А сначала было тихое туманное утро. Потом начал дуть ветер и пошел дождь из маленьких березовых листьев. Ветер усиливался, и началась желтая березовая метель. Ветер, он вообще как-то перевозбудился и рвал березовые листики отовсюду, даже с лиственниц, осин и разных других деревьев. Листики взлетали высоко-высоко, выше крыш, и медленно кружась, падали. Как большие кукурузные хлопья-переростки. К спине одной крошечной старушки пристало несколько таких хлопьевелистиков. Она была как ежик из детской книжки. Только грибов и ягод у нее на иголках не было. У нее и иголок-то не было, так, только лохматые завитки на ткани драпового пальто. На завитках грибы с ягодами не унесешь.

осенний вихрь / приделась по случаю елка / вся в желтых березовых листьях

\*\*\*

Развиднелось. Пригрело. Совсем чуть-чуть. Солнце присело ненадолго. Соблюдает обычай. Облака, свинцовые, тяжеленные (и как только не падают), не уходят совсем, караулят по краям. Чего уж так расстраиваться? Да и не навсегда. До весны. Может и напишешь. Правда, письма оттуда долго идут. И туда. И наша почта черт знает как. Нет, ну дождемся, конечно. Куда деваться. Сейчас, вот, немного не по себе. А потом... потом отопительный сезон начнется. Рукавицы на меху. Чай горячий. Стопка с мороза. Бабы снежные. Круглые и веселые. С яблочным румянцем и разноцветным смехом. Бабы непременно.

вечер вдвоем / я обнимаюсь твоими руками / а свои распускаю...

\*\*\*

Настоящая зима у нас, с утра. Снег валом валит. Мягкий. Снежинки крупные, отборные. Такая растает — воды на большую женскую слезу наберется. Хорошо — не горькую. Вот когда метель злая, мороз и снег колючий — тогда на скупую, мужскую. А еще сегодня День Свежих Следов. Больших — человечьих, маленьких — птичьих. Жаль только — замедляет их быстро. Обернешься назад — уже и не видать почти ничего. Если еще и забыл куда шел... Жалко, дровень нет. На них бы сейчас, торжествуя, путь обновить. А и пешком обновлю. За колбасой докторской, буханкой бородинского, конфетами "Коровка" и чаем "Ахмад" с бергамотом в больших зеленых пачках.

первый снег — / он так долго идет, что уже перешел во второй

\*\*\*

День серый, туманный и тихий. Незаметный такой день. Пройдет будто его и не было. В такие дни шпионам и контрразведчикам, наверное, хорошо. Скажем, от наружки уйти легко. А ежели ты контрразведчик то обратно и шпиона арестовывать удобно. Никто и не заметит. Где Сидоров? А нету Сидорова. Вышел и растворился в тумане. Нет, не так. Вывели и растворили в тумане. А уж потом, при обыске, найдут у него в секретном ящике стола Коран в переплете из зеленого сафьяна с надписью "Сидорову от Усамого лучшего друга".

сплошной туман / из ниоткуда прилетела ворона / каркнуть и улететь в никуда

\*\*\*

В воскресенье ходил на Оку с удочкой. Открыл сезон. По случаю его открытия устроил себе скромный фуршет на пенке с пивом «Сибирская корона», рижскими шпротами, краковской колбасой и парой местных соленых огурчиков. По окончании фуршета набил и не торопясь выкурил трубку, задумчиво глядя вдаль. Потом нас с солнцем начало клонить: его к закату, а меня в сон. Разномастные облака плыли по течению к Нижнему, ветерок похлопывал листьями кувшинок по серой, в морщинках, спине реки, рыба искала где глубже, а я сквозь дрему думал, что есть, наверное, места, где лучше, да и как им не быть, но ... охота была их искать. Тут из-за поворота реки выплыл довольно большой белый катер с надписью «Милиция». Пять здоровых и здорово пьяных мужиков гребли руками и обломками каких-то дощечек, держа курс на причал местного клуба «Дельфин» и вспоминая матерей: катера, отсутствующих весел, внезапно кончившегося бензина и какого-то Проскурякова. Течение, однако, у нас сильное и их сносило дальше и дальше. Повернуть же к берегу они не могли, поскольку для этого следовало гребцам с правого борта перестать грести, а с левого продолжать. Отчего-то у них это не получалось. Может от того, что никто не хотел перестать. Тем временем, солнце уже почти закатилось, только краешек его подсвечивал стволы березовой рощи на холме. Рыбак в плоскодонке на середине реки закутался в плащ-палатку, замер и приготовился раствориться вместе с лодкой и удочками в вечернем тумане. Окружающий пейзаж стал напоминать картинку на больших коробках шоколадных конфет фабрики «Красный Октябрь», которые так любят покупать иностранцы и гости столицы. Концентрация буколик достигла предельно допустимой и собиралась превысить ее. Я смотал удочку, подобрал пустую пивную бутылку и пошел домой.

ночь на Оке / шепчут, чуть слышно смеются / духи воды в камышах

\*\*\*

Сегодня грозовой день. Черные тучи все идут и идут повзводно и поротно. Дождевые капли огромные, со взрослое яйцо. Такие пробивают насквозь обычный зонтик китайского производства. Спасают только военные зонты ВЗ-05Х, производства КБ "Рубин". Особенно те, которые снабжены устройством, отклоняющим траекторию полета капли. Мы хотели такие продать Ираку. Не успели. Только опытный образец Примаков отвез Саддому перед самым началом войны. Зеленый, с полумесяцем на верхушке и гравированными сурами из Корана на спицах. С ним уса́тый и был та-

ков. А теперь Буш хочет его списать, как и все остальные иракские долги. А наш-то и слова поперек не скажет. А оппозиция как воды в рот набрала. А вообще... да просто суки, что там говорить. Довели страну.

дождик идет / по многочисленным просьбам / пересыхающих луж

\*\*\*

Не грести, не рулить, но лежать, беззаботно валяться в дрейфе. Чтобы все мимо и мимо, не причаливая, не приставая, не требуя принять концы. Не сообщать ни координат, ни порта приписки, ни номера телефона, ни семейного положения. Гудеть в трубу нечленораздельное и пускать дым колечками. Не помнить дат убытия и прибытия. Помнить ничего ... Не получается.

весеннее море желаний / по теплым и ласковым волнам / к тебе я на нерест плыву

\*\*\*

С утра льет как из ведра, кастрюли, чайника и чашек из чайного сервиза на двенадцать персон. На том берегу Оки, над заповедником, небо «цвету наваринского дыму с пламенем». Молнии раскалывают небо вдребезги. Совершенно нелетная погода. А уж если крылья картонные... Хотя парафином их пропитывай, хоть салом смазывай – толку мало. Сырость, тяжесть и горечь. Ни улететь от, ни долететь к. Открыть окно, смотреть на дождь и вздрагивать от капель, рикошетом отлетающих от подоконника в лицо. В такую погоду только клады и зарывать. Взять жену и тещу, чтобы тащили кованный сундук с нажитым непосильным трудом и решительно углубиться в лесную чащу. Выбрать дуб понеобхватней и отдать приказ рыть яму. Оглядываться поминутно. Покрикивать, чтобы быстрее копали. Прикладываться к фляжке с ромом. Мелко креститься при каждом ударе грома. Незаметно проверять рогатку за пазухой – не отсырела ли. Слушать, как жена и теща с чавканьем месят грязь, чертыхаются, опуская сундук в яму. Смотреть с ненавистью на их перепачканные желтой глиной и красные от натуги лица, достать рогатку... Идти домой налегке, посвистывая, постреливая ворон из рогатки. Дома принять ванну и остатки рома, открыть окно, смотреть на дождь и вздрагивать от капель, рикошетом отлетающих от подоконника в лицо...

И вот еще что. Не забыть выбросить крылья. Не понадобятся.

Осенний дождь / Намокшие крылья сложив / По лужам бреду домой.

\*\*\*

Был у зубного. Удалял нерв в одном из верхних зубов. Заморозка нынче хорошая пошла. Понятное дело – зима уж на носу. Как вкатили – так через пятнадцать минут, в дополнение к зубам, онемела левая половина носа (совершенно не мог им шевелить) и глаз на той же стороне еле-еле двигался. Молодая и симпатичная докторша (это я увидел незамороженным глазом) взяла в руки бормашину и сказала: "Ну, с Богом!". О, жестокий Бог зубных врачей... Она уверила, что только просверлит канал. Только канал. Прямой канал к моему мозгу, как стало ясно буквально через несколько секунд. По-моему, она мои мысли через него читала. По крайней мере, она время от времени прикладывала к зубу какой-то датчик и где-то неподалеку, на полке, что-то попискивало. Судя по тому, как слабо и жалобно – это точно были мои мысли. А еще она велела не бояться ее, а любить. На третье декабря у меня



Афиша премьеры современного балетного спектакля «Антигона» русско-американской компании Ребекки Дэйвис в ее постановке со штаб-квартирой в Филадельфии и с участием русских, американских и канадских артистов (2006 г.).

назначен повторный визит. Я должен придти с любовью. Где ж ее взять-то эту любовь к зубному врачу... А сейчас у меня отходит заморозка ... За что, за что все это ... Я ведь зла никому не делал, мирно переводил себе американские хайку и курил трубку. И вдруг - удаление зубного нерва.

заброшенный / зубной канал /паутина оголенных / нервных и злых / окончаний

\*\*\*

Последний день марта. В Серпухов приехал большой цирк лилипутов. Большая желтая афиша с синими буквами. Будут выступать в городском театре, который еще в позапрошлом веке построил местный купец. Как склад самоваров построил. Уж потом его переделали в театр. Бархату красного завезли, кистей золотых, лепнины гипсовой намешали и сделали театр. Он без претензий. Отзывается на "гортеатр". И сто лет назад в него приезжали лилипуты, и пятьдесят, и сейчас. И мы все умрем, а лилипуты все равно будут приезжать в Серпухов. Просто он лежит на пути их сезонных миграций. Весенних должно быть. Осенью лилипутов у нас не замечали. А вот весной, когда грязь, когда мусор какой-то несусветный так и ползет из всех щелей, когда оттаивает замерзшее собачье дерьмо, когда авитаминоз, когда кулаков не хватает сопли намазывать, когда даже руки на себя наложить сил никаких нет, тогда нате вам - еще и этих б...ских лилипутов принесло.

\*\*\*

Город N на северной Украине. Сюда, наверное, приезжать умирать хорошо. Простишься без сожаления. По улицам сонные куры бродят. Что-то клюют. Жители, похоже на этих кур. Какие-то истерзанные кильки на прилавках ларьков. Церковь, перестроенная из школьного спортзала. Из автомобилей старенькие москвичи, запорожцы и копейки. Даже гривенников нет. Часы на угловом доме остановились. И, слава Богу, что остановились. Кажется, до своей остановки они шли в обратную сторону.

\*\*\*

ПО ДОРОГЕ ИЗ ПУЩИНО-НА-ОКЕ ДО МОСКВЫ. Чего только ни встретишь на пути в столицу. Бывало, выедешь, чуть ли не засветло, холод, дымка туманная, деревья спросонок всякую ерунду шелестят, чьи-то тени хмурые за окном мельтешат подозрительно, как вдруг затормозит резко автобус посреди чистого поля или лесной чащи и словно из под земли вырастут две или три старушки с корзинками, прикрытыми белыми или в цветочек тряпочками, с баулами большими и баульчиками поменьше. Кряхтя, поднимутся в автобус со своим багажом, заплатят водителю кто сколько сможет, постоят в проходе молча и через минут пятнадцать-двадцать сойдут в таком же чистом поле. Уходят куда-то на восход, по неприметной среди высокой травы тропинке, а не то в овраг с дорожной насыпи спустятся и растворятся в тумане. Судя по усталой походке, навсегда уходят. Ан нет. И на следующее утро, и через неделю, и через год все повторяется: и остановка в чистом поле, и старушки с корзинками. Впрочем, иногда с ними старичок в компании бывает. Щетинистый, послевчерашний, в древнем габардиновом плаще и с мешком, наполненным какими-то клубнями. Но это редко.

\*\*\*

Вчера вечером, после проливного дождя, над Окой стоял пар. Ветра не было. Река замерла и боялась пошевелиться. Комары и прочая мошкара носились над водой, над берегом, как обкуранные. Пили кровь даже из моего полиэтиленового пакета с бутербродами. В такую погоду на пляж надо ходить с тещей. Лучше с двумя. И загориваться их могучими телами. Иначе значок «почетный донор» обеспечен. Как начало смеркаться, как пролетели три чайки и одна кофейка. Кофейки у нас редко встречаются. Слишком теплолюбивы. Не всякий год даже прилетают. Мальчишки их ловят и продают заезжим москвичам. Дорого продают. Кофейка умеет кричать «мок-ко». Из-за этого и ценится. Вообще-то раньше их больше прилетало, когда экологическая обстановка была лучше. А теперь... теперь воробьи - и те иногда норовят на зиму улететь куда подальше. А соловьи даже там остаются насовсем. Не все, конечно. Только самые отпетые. Гринпис им письма шлет каждый день, просит вернуться. Весь почтовый ящик забит их письмами. Житья от этого спама нет никакого. Задолбали.

\*\*\*

Посетил с дружественным визитом Серпуховский историко-художественный музей. Мы с ним дружим очень давно, хотя и редко встречаемся. В среднем, раз в десять лет, не чаще. Сегодня был третий раз. Посмотрел на старых голландцев, на передвижников. Поскрипел вытертым паркетом. Подышал воздухом старинного купеческого особняка. Погладил мраморные, в трещинках и оспинках, подоконники. Пожертвовал толику денег на реставрацию. В одном из залов стояла фанерная тумбочка, в которые обычно собирают пожертвования на дела церковные. Собственно, она такая и была, только нарисованный храм закрывала бумажка, написанная сотрудниками музея. Когда деньги свои засовывал в прорезь жертвенной тумбочки, старушка, что за залом присматривает, сказала: «Дай Бог здоровья». Ответшал мой друг. Сильно обветшал. Латунные таблички на картинах темнее темного. Что написано - и не разобрать почти. Смотрел по памяти. Помню, где Рокотов, а где Левицкий, где Шишкин, а где Айвазовский. Картин много - висят и в залах, и в коридорах, и в полутемных закоулках. Как больные в переполненной районной больнице. Не стонут, не жалуются. Позолота с рам облупилась, лепнина с потолков высматривает, как бы шмякнуться поаккуратней, чтобы не задеть старушек-смотрительниц. А старушки... Никто уж и не упомнит, когда их в последний раз реставрировали. Тихо-тихо они шуршат по залам, даже и паркет под ними почти не скрипит. Уж когда уходил то подумал, что неплохо бы мэра серпуховского за его отношение к музею подвесить за яйца перед входом. Мэр, конечно, скажет, что он де не виноват, что это все при его предшественнике музей дошел до такой разрухи. А и предшественника за это же самое место рядом подвесить. Пусть оба повисят, подумают на этаким досуге о судьбах нашего общего культурного наследия.

\*\*\*

Таруса. Облака над Окой. Серые и белые. Кучевые перины, кисейные ленточки, пуховые перышки. Пристань с толстым рыжим котом, брезгливо обнюхивающим вареные макароны в алюминиевой миске. Теплоходик «Матрос Сильвер» в потеках ржавчины. Плоскодонки рассыпью на отмели. Собор Петра и



Павла в чахлах лесах. Свежевыкрашенное, с огромным блюдом спутниковой антенны на крыше, капище налоговой инспекции. Картинная галерея, по которой можно бродить в одиночестве. Туалет только для сотрудников, но пока нет директора мы вас пустим только не дергайте сильно за ручку бачок дышит на ладан. Площадь имени его с бронзовым памятником ему же. Рука, которую он смертельно устал тянуть вдаль. Серая кошка, спящая на клумбе возле памятника. Сонные тарусяне, озабоченные тарусянки и беззаботные тарусики. Салон-магазин «Ксюша» с керамическим графином «Му-Му». Нет, не Герасим. Желтая корова в зеленых яблоках. Ряды копилков «овца», «хрюша», «мурзик» и «тюбיתейка барх.» Объявление: «Маленький кукольно-теневой театр La Babassa и домашний ансамбль Гвалт дает!!! Музыкальное представление Песнь о Роланде в помещении районного дома культуры вход свободный». Здание районного дома культуры вида «Мне отмщение и аз воздам». Бордовые георгины в палисадниках. В окне сувенирного магазина «Топаз» - сегодня в продаже цемент, рубероид, стекло. Столовая «Ока» на улице Свердлова. Белая кошка в окошке, намывающая гостей. Трое намытых, небритых и послевчерашних гостей. Ресторан «Якорь» с указателями перед входом: «Васюки — 785км», «Лондон — 2573км», «Москва — 135км». Кроссворды тропинок в оврагах. Деревянные столбики ограды, подвязанные веревочками к перилам веранды парализованного дома. Коренастые, красно-мордо-кирпичные особняки вездесущих москвичей. Крохотное кладбище у церкви Воскресения Христова. Темное известняковое надгробие с еле видимым «...а преставился он девятнадцати лет от роду...». Изумрудный мох в буквенных углублениях. Яблони, усыпанные белым наливом. Высокий-превысокий клен, начинающий краснеть. Облака над Окой. Серые и белые. Кучевые перины, кисейные ленточки, пуховые перышки.

\*\*\*

Такой день. Один из последних. Желтое сквозь зеленое все настойчивее. Как ни взъерошивай ветер кроны - все равно заметно. Еще в пиджаке, но под ним свитер. Все истончилось - тепло, светло, воздух, обещания писать каждый день. Прозрачное и призрачное. Вот-вот оборвется, истает. Но пока нет. Что-то там виднеется на горизонте, но очень далеко. И хорошо, что далеко. Упавшие листья, пыльные дороги и глаза сухи. Их еще вымачивать и выплакивать. Уголки губ еще вверх, но вот-вот начнут опускаться. У ее духов еще летний запах, но он начинает горчить. Нежность во взгляде, но он поверх головы. Руки обнимают, но начинают мерзнуть. Слова еще слышны, но свист ветра, но шорох листьев... Время пришло и уже не уйдет.

конец сентября: / еще тонкие / первые льдинки / в твоих словах.

**ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ СЕНТЯБРЯ.** Сегодня под вечер, на площадке перед Домом Ученых, играл духовой оркестр. У них были красные, цвета сентябрьских кленовых листьев кители с золотыми погонами и двумя рядами золотых пуговиц, а у дирижера еще и аксельбант. У дирижера, правда, и лицо было почти кленового цвета, но он не пьет, я знаю. Он всегда такой индеец, да еще и загорел летом на огороде. Мы с ним в соседних домах живем. Площадку почти всю засыпало упавшими листьями. И танцующие пары пенсио-

неров шуршали ими в такт. У одной старушки была маленькая собачка, которая не хотела сидеть, пока хозяйка танцует. Старушка ее взяла на руки и они вальсировали втроем — третьим был могучий старик с орденскими планками. Конечно, собачка им мешала, все пыталась лизнуть в лицо то старушку, то старика, но они неплохо справлялись. Наверное, у них очень хорошая выучка, у этих стариков. Играли «Амурские волны», потом какую-то довоенную мелодию. Кажется, это был медленный фокстрот Цфасмана. А еще «На сопках Манчжурии» и совсем неожиданно «Летку-енку». Тут уж старики сели отдохнуть на скамеечки, и молодые мамы отстегнули поводки у своих малолетних чад. Чада носились и визжали от удовольствия. Один молодой человек пяти лет чуть не описался от восторга. Его еле увели в кусты. Бабушка его держала и руководила процессом, а он писал, кричал, смеялся, размахивал руками и пританцовывал. На заднем дворе Дома Ученых жгли опавшие листья. И горьковатый дым поднимался высоко-высоко. Солнце зацепилось за желтые верхушки берез и красных кленов, и по всему было видно, что не очень-то и хочется ему закатываться. А уж в самом конце заиграли «Прощание славянки». Танцевать перестали, а одна старушка на скамейке взяла и заплакала. И надо было уже уходить, потому что дым от догорающих листьев стал есть глаза, и они начали слезиться.

**О ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С ЛЮБОВЬЮ.** Всем хорошо моё Пушкино — и Окой безмятежной, и лесами, и холмами, и воздухом прозрачным, и заброшенной дворянской усадьбой на краю, и осенним кленовым пожаром, и дымкой зеленой, апрельской. Вот только... живу я в микрорайоне «Д», а раньше жил в «АБ». А между этими «АБ» и «Д», как можно догадаться, «В» и «Г». И все. И когда договариваешься с кем-нибудь о встрече, то говоришь — приходи к почте или к магазину «Спутник», или к институту почвоведения. Двадцать пятого дня октября месяца сего года бродил я по Петербургу и с завистью смотрел на таблички с названиями улиц, площадей, мостов. Назначь свидание у Египетского моста, и она придет загадочная, таинственная как сфинкс, с черными глазами. Назначь свидание на Аничковом мосту, и она придет, цокая каблучками, строптивая, одно неосторожное слово и на дыбы... Возьмешь ее ласково под уздцы, по крупу упругому легонько похлопаешь... Назначь свидание у магазина «Спутник» и ... лучше бы она не приходила. Немолодая, невеселая, недевушка. В руке авоська, из которой торчат перья зеленого лука, похабного вида тепличный огурец, из тех, что у нас зимой продают, буханка черного и рулон туалетной бумаги. И окажется она матерью кучи сопливых детишек, да к тому же и твоих, бездельник, пьянь, рожь твоя усатая бесстыжая. И побредете вы уныло к дому в микрорайоне на одну из вышеупомянутых букв. Да по пути не забыть картошки купить, а то уж кончается. А жил бы я, к примеру, на Кавалергардской... Кончики усов вверх подкручены, сапоги зеркальным блеском, каблук шелк-шелк, мадам позвольте ручку, ножку, шнуровку на корсаже ослабить, юбки по персидскому ковру разметать. Кавалергардская, одним словом. А письмо написать? Не то, которое «мылом» и по клавише настучать пальцем заскорузлым, а настоящее. Так, чтобы взять конверт из плотной бумаги, с красивой маркой и, умакнув перо, выво-

дить с превеликим тщанием, с приоткрытым от усердия ртом, с мелкой барабанной дробью, с тонкой флейтой, со звоном шпор и медным, полированным сверканьем это гордое, стремительное и негибкое слово.

**ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ФЕВРАЛЯ.** Дождь с самого утра. С ночи даже. Тепло, беспросветно, болотно. Начнешь говорить, скажешь два или три слова, да и заквакаешь. Беременность во всем. В мокрых, черных деревьях, в бледных прохожих, в облезлых собаках, жадно нюхающих талый снег. Те, у кого есть чернила – те при деле. Плачут. Ничего не напишешь – февраль. Время поливитаминов два раза в день по одной горошине. Об эту пору только они и оранжевые, эти горошины.

\*\*\*

Который день безоблачно. Зимние облака давно уж уплыли в свои высокие широты, а весенние что-то не торопятся. А может задержались дорогой. Если с юга к нам, через Украину... это надолго. Таможня и все такое. Пока им все поля не оросишь, да огороды... А у них огородов... Выжмут все до последней капли и к нам потом вытолкают. Толку от таких облаков. На них без слез не взглянешь – заплатки, а не облака. То ли дело раньше... Никакой самостоятельности на местах. По фондам, по разнарядкам, по постановлениям ЦК и Совмина... Таковую страну... Вот и сидим без единого дождя, как туареги какие. Не говоря о сушняке, который просто...

**ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ АПРЕЛЯ 2004 ГОДА.**

Ока еще не пришла в себя после ледохода. Вся на нервах, бурлит, суматошно течет в разные стороны. Облакам боязно плыть в Нижний по такой неспокойной воде. Но нависли низко – присматриваются, ждут. Вдоль берега валяются прошлогодние пустые бутылки с полуразмытыми этикетками. Первые комары – злые и худющие, в чем только жала держатся. Сизая дымка от потухшего костра, понемногу становящаяся зеленой там, высоко, в кронах вязов. Измученные долгой зимой лодки с выступающими ребрами, лежащие без сил рядом с городской пристанью. В глубине, под серой водой, еще неоттаявшие брачные песни лягушек. Полусонный шмель, растерянно жужжащий вокруг да около едва раскрывшегося цветка мать-и-мачехи. Холодное небо, затянутое по углам черной паутиной осинowych и березовых веток. Малиновый, от предзакатного солнца звон к вечерне с колокольни церкви Михаила Архангела.

**ШЕСТОЕ МАЯ.** В Москве настоящая весна. В метро, на остановках, на каждую, выходящую из вагона красивую девушку, приходится по две входящих, не менее красивых. Еще две недели назад это соотношение было один к одному. Не говоря уже о каком-нибудь феврале, когда входили и выходили только закутанные в шубы и платки существа черт знает какого пола или милиционеры. И ведь речь идет о скромной серпуховско-тимирязевской линии, которая и на карте-то обозначена серым цветом. А если взять кольцевую? А станции внутри кольцевой? И все эти крылышки, и разноцветные перышки, и даже перламутровый педикюр, до сей поры скрытый, и бретельки на честном слове, на одном только суффиксе этого слова, и сверкающая пыльца вокруг глаз, и сами глаза, и губы, на которые смотришь, не в силах оторваться, и кусаешь, кусаешь свои...

\*\*\*

Утром шел на работу мимо поляны с одуванчиками. Молодые еще, желторотые. Вчера солнце целый день светило, а сегодня дождь зарядил беспросветный. Одуванчики и закрылись наполовину или даже на четверть. Может еще не отошли после вчерашнего солнца, может и просто разгильдяи. Стоят себе нараспашку, покачиваются. Небось, где-нибудь в Европе или Америке все закрываются поголовно. Там-то не забалуешь. А у нас ни в чем порядка нет...

\*\*\*

На работе пустили слух, что пошли летние подберезовики. Ходил сегодня проверять. Березы есть, да. А вот под ними... Зато видел десятка два поганок. Может они пошли вместе с подберезовиками, а потом подберезовики отстали по дороге или заплутали. Или рассорились дорогой. Кто их знает. Грибы – существа загадочные. Так что до нас дошли только поганки. Встретил двух бомжующих улиток. В смысле без домиков. Сидели на листьях, в чем мать родила, и рожками шевелили. А вот одна, совсем крошечная, прилепившаяся к желтку огромной ромашки, была с домиком. Небось, ребенок богатых родителей. И как она умудрилась залезть-то на такую верхотуру. Практически леопард на вершине Килиманджаро. Ромашек, незабудок, лютиков, колокольчиков моря, реки, ручейки и лужицы. А еще видел маленькие белые цветочки размером с ноготь мизинца. Лепесточки у них продолговатые, а из середины цветка растут три изумрудных тычинки с серыми бархатными кончиками. Помню, еще в школе, нам преподаватель биологии объяснял, почему некоторые ученые не могли поверить в эволюционную теорию или в зарождение жизни из простых органических молекул. Какая эволюция? – говорили они. Это же уму непостижимо, чтобы каждое существо от кита до комара и от секвойи до незабудки произошло от каких-то бесцветных и невидимых молекул. Разве это все не от Бога? Наивные. Конечно из молекул. Из соединений четырехвалентного углерода с водородом, кислородом, азотом и другими элементами. Но, когда вглядываешься в маленький белый цветочек размером с ноготь мизинца и видишь, как по одной из его тычинок ползет еле заметная глазу черная букашка, поблескивая слюдяными крылышками... нет-нет, да и засомневаешься...

\*\*\*

После обеда ничего не происходит. Совсем. Куришь на балконе и дым колечками. Ну, еще облизываешь усы от остатков абрикосового варенья. Вот и все развлечения. Какой-то мужик под окнами не может оторвать пивную бутылку от губ. А незачем было так присасываться. К городской трубе причаливает большое серое облако. По всему видать – осеннее. Наверное, какая-то ошибка в прокладке курса. Несколько ласточек суетится вокруг него. Лоцманы местного небесного тихоходства. Скучно, душно, кисельно. Воздух такой густой – того и гляди остекленеет. В такую погоду на скрипке, к примеру, играть нельзя. Звуки забиваются под верхнюю деку, и никаким смычком их оттуда не выманишь. Только на барабанах можно. Впрочем, на барабанах в любую погоду можно. Хорошо, когда горы со снеговыми шапками на горизонте. Когда плохо, тогда на горизонте деревня Балково с заброшенным коровником. Поле и пыльная дорога. Все

вокруг плоское, точно блины. Не стоило, конечно, их есть в таком количестве. Даже с абрикосовым вареньем. Тем более с вишневым. Если б заставляли – тогда понятно. Если б угрожали, не давали спать, пока не съем, вводили бы их внутривенно – и говорить не приходится. А так... Зато я теперь знаю «отчего люди не летают так, как птицы...» Я и раньше догадывался, а теперь точно знаю.

\*\*\*

Если едешь в сельском автобусе, то можно попросить шофера: «Командир, останови у тропинки через поле подсолнухов». И он остановит. Он знает у какой. Это вам не следующая станция Маяковская. И утром над проснувшейся Окой такая дымка, как будто надыхали на зеркало перед тем, как протереть. И когда идешь по деревне, на тебя из палисадника покосившегося дома под зеленой крышей зевает рыжая собака, и смотрят во все лепестки розовощекие георгины и тонконогие гладиолусы. И в пустой прохладной церкви старушка говорит: «Ты, милоч, свечку-то свою ставь поближе к образу – вон, сколько мест свободных, а ты с краю...». И оплавляет нижний конец свечи, чтобы прямее стояла в подсвечнике. И кресты разросшегося кладбища нацелились на березовую рожицу неподалеку. И на портрете отца, на памятнике, сидит какой-то прозрачный мотылек, прямо на галстуке. И отец его не смахнет.

**ДВЕНАДЦАТОЕ АВГУСТА.** Прошел ливень. С громом, молнией и сильным ветром. Обычный ливень, каких этим летом по два на неделе. После него на земле желтые листья. Совсем немного. Где-то они в кронах прятались. До поры. Наверное, им было неловко. Все еще, а они уже. Не утерпели – сорвались. Да нет еще никакой осени. Еще и лета толком не было. Мало ли от чего может пожелтеть лист и разбиться вдребезги утренний воздух. И стая птиц просто носится по небу от избытка своих птичьих чувств, а вовсе не собирается... Да и вообще это вороны. Куда они денутся.

А взгляд у нее не холодный, нет. Просто устала.

\*\*\*

В середине осени стая писем собралась лететь на юг. Уже и в конвертах с надписанным адресом. Даже с наклеенными марками. Солидно подготовились – заказные все. И только одна записка в чем мать родила. Но лететь хочет. Ее, конечно, отговаривают – куда, мол, ты. Если дождь в пути – буквы-то все враз и посылывает. А ветер? Ты и так на сгибах вся уж потертая. Разорвет ведь на клочки. Да и без марок как через границу? Безмарочных, почтальоны сбивают почем зря. Даже простые письма, случается, не долетают, а о записках и говорить нечего. И что за блажь такая – непременно лететь! На тебе всего три слова, из которых одно местоимение, а истерики устраиваешь, как доклад на сто страниц машинописного текста. Перезимуешь. Она их, конечно, просила, чтобы в чем-нибудь конверте, в уголке, Христа ради... но нет. Это, говорят, перевес, да и заклеены мы все. Так и улетели. А через два месяца вернулись. В черных штемпелях, измятые, потрепанные. Может, адресат выбыл, а может, и получить не захотел. Ничего рассказать не успели – разорвали их быстро. На мелкие кусочки.

конец сентября / и листья и письма и время / летят и летят на юг

\*\*\*

Сумерки. Дождь мелкий не то идет, не то висит на своих прозрачных ниточках. А как устанет висеть, то и упадет. И окажется, что он снег. Робкий, быстро тающий, но снег. И в письмах об эту пору все больше прошай пишут, а не до свидания. Не июнь на дворе, чтобы так писать.

мокрый снег / дворняга у входа / в метро ждет никого

\*\*\*

Видел гусеницу. Толстую, черную, с белыми пятнышками на спине. Ползала по скамейке то вперед, а то назад. Правда, я не очень понял, где у нее зад, а где перед, так что она могла ползать совершенно противоположным образом, а вовсе не так, как мне показалось. Зачем были эти странные поползновения в конце сентября? Все приличные гусеницы уже давно окуклились и летают во сне на новеньких разноцветных крылышках. Впрочем, может быть, она до этого момента все пела, а теперь решила таким образом поплясать. Кто ж их, гусениц, разберет. А вот фортепьянную музыку уже холодно слушать. Только, если концерты для фортепьяно с оркестром. Да и то не всегда. Сейчас хорошо виолончель или саксофон. Можно даже контрабас, но это ближе к началу отопительного сезона. А еще лучше чай горячий с лимоном и сухариками, только что насушенными из сдобной булки. Умакиваешь их в мед, или варенье, или сгущенное молоко, а потом хрустишь так, что не слышно о чем говорит диктор в последних известиях. Хотя... Что он хорошего может сказать, этот диктор? Уж лучше бы тоже хрустел, чем каркать.

\*\*\*

Еще вчера оставалось три дня лета, а уже сегодня послезавтра осень. Но еще тепло. В полдень даже жарко. Ваша сестра еще порхает по улицам в небрежно накинута на голое, загорелое и упругое. Скоро, скоро все будет шерстяное и с начесом, и в три слоя, и как же это, черт побери, у тебя расстегивается-то! А пока... пока эта бретелька так легка, что можно ее и взглядом отодвинуть. Наш брат это чувствует. И бросает такие взгляды... Нет-нет, да и смахнет тайком каплю сольной слезы, дрожащего в уголке глаза.

\*\*\*

Сегодня у меня была собака. Нет, мне ее не давали поносить, и она не приходила ко мне в гости. Я сам к ней пришел. Взял удочки и пошел ловить рыбу подальше от деревни. Если пройти километра три от моего дома вниз по течению Оки, то, как раз придеешь к старой барже, вытасненной на берег. Там хорошее тихое место. В этой самой барже собака и живет. Рыбаки ее подкармливают, а когда не подкармливают... она и сама стащит. Но совесть имеет – тащит только закуску. Чтобы бутылку взять – это ни-ни. Она давно возле рыбаков крутится – понимает, что к чему. Откликается на любую кличку. Даже когда и не зовешь ее вовсе. Придет и смотрит. Собаке отказать трудно. Если бы я умел так смотреть, как она – мне бы никогда ни в чем не отказывали. Даже самые краси... Ну, да я не о том. Дал я ей кусок колбасы, который собирался немного поджарить на углях. Потом еще один. Когда колбасы не осталось, я открыл банку шпрот. Запил пивом съеденные ею шпроты и пять сдобных сухарей с изюмом. Шестой в нее уже не влезал, и она закопала его неподалеку. От предложенной сигареты отказалась. Потом мы смотрели на поплавки, на проплы-

вающие мимо облака и лодки, на двух цапель, бродящих вдалеке по отмели. Жаль, конечно, что у тебя не клюет, думала она мне. А то б рыбки свежей... Знаешь, приходи завтра. Какая тут рыбалка, когда ни кусочка колбасы... Вот завтра обязательно. Тут лещ берет. Сама видела, как один мужик, на мотыля... Только ты, это... будь другом, на всякий случай шпроты захвати, а?

Ох, и клонет сейчас... / Задремавшая была собака у ног / Приоткрывает глаз

**ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ АПРЕЛЯ 2005 ГОДА.** Вторые сутки дождь. Дождь отец, дождь сын и дождь сын от второго брака. Теплый и живородящий все, что можно живородить. От травы и дождевых червяков до несбыточных надежд и легких, летучих мыслей, вскипающих точно пузырьки в боржоми. Рассказывают, что в одном провинциальном городке одна женщина, по дороге за спичками к соседу по лестничной площадке, попала под такой дождь буквально на одну ночь и.... Но я не про Лариску, я про другое. Под этим дождем даже слова, которые хотел написать, но не решился – прорастают. В какой-нибудь записке, сложенной вчетверо и переданной второпях, или поздравительной открытке с тисненым красным сердечком. Как раз после местоимения вдруг набухнет почкой запятая или даже точка, и как лопнет, как высунется кокетливо из нее тонкая, с закрученным носком, ножка буквы л, а за ней другая... и пойдет, пойдет расцветать пунцовыми красками по щекам и беготней мурашек далее везде.

**ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ МАРТА.** Да нет еще ничего такого. Еще тает только под ногами, а не в руках не говоря о том, чтобы во рту. По ночам так и вовсе звезды жмутся друг к другу от холода. Но днем, как пригреет... чем-то начинает наполняться этот пустой, холодный, но начинающий запотевать стакан зимнего воздуха. Немножко ручейного журчанья, немножко запаха талого снега и воробьиного чирикания. Потом, ближе к середине апреля, прибавится детских криков от разных догонялок и казаков-разбойников, чирикания по асфальту пустых гуталиновых баночек в расчерченных классах. И лопнувшими почками запахнет так, что ив сен лоран обнимется с дольче и габбаной, и все пятеро зарыдают в голос. Потом майские жуки и комары натянут в воздухе толстые веревки своего солидного жужжания и тонкие ниточки голодного писка. И шелест первых листочков переплетется с шелестом первых, таких же крошечных, и таких же клейких юбок и первым, чуть смущенным смехом... и первым вздохом.... Можно ли дышать весенним воздухом? Конечно, нет. Кто же им дышит. Его пьют. Воздух, которым дышат, появится осенью. Но будет ли осень? Никто не знает. Да и кто это может теперь знать?

намазал на хлеб / запах листы молодой... / и упле-  
таю

**ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ МАРТА.** Утром - минус двенадцать и северный ветер. На обочине кучка грачей выясняла отношения. Гвалт невообразимый. Разобрал не все, но отчетливо слышал, как один крикнул: «Пустите меня! Я сейчас этой суке, этому ворону позорному, который каркал, что пора лететь, что здесь весна – клюв-то обломаю!» Рядом, на ветках клена, недоумевала стайка снегирей. Они, кажется, определились. Перезимуют в наших краях всю весну. Может и лето. А там видно будет.

\*\*\*

Мартовский снег идет из последних сил. Цепляется за ветви сосен, за края крыш, крылья ворон, липнет к прохожим, падает без сил на землю, на спины серых, целлюлитных сугробов. Всхлипывает под ногами промокших ботинок. В такую погоду лучше дома сидеть. В смысле валяться на диване и выдумывать женщин из головы. Весной надо непременно выдумывать их из головы. Хорошо, если насовсем. Иначе они забивают её напрочь. Еще и перепутывают извилины до морских узлов. А выдумашь её из головы - и легче. Хотя бы на время. Просторнее. Только не надо ее задумывать обратно. Но это плохо получается. Как-то она всегда умудряется дверцу в твоей голове держать приоткрытой. Не знаю как. Хочет – выйдет, а хочет – зайдет. Как к себе домой. А может у нее ключик есть. Может даже и золотой... От этой пустой и пыльной каморки за нарисованными очками, бородой, усами и погасшей трубкой. Потому и пустой, и пыльной, что без нее.

\*\*\*

У нас, в провинции, все такое же, как и в столицах. Только скромнее, без люрекса и стразов. У нас и культурная жизнь есть. Она и вообще у нас есть. Разная. Но из Москвы ее не видно. Они там иногда поднимаются на башню и смотрят вдале. За кольцевой - ничего не видать. То ли дым из-под снега, то ли снег с прошлой зимы не убрали.... Какая-то муть на горизонте. Уж и стекла в очках протирали по третьему разу, и даже соринки из глаз повываскивали – одна муть, хоть тресни. А если треснет, то, само собой, две. Ну, да не о них речь. Сегодня я был на выставке. Нет, вексельберги нам свои драгоценные яйца не показывают. Это не для нашего скромного краеведческого музея на втором этаже промтоварного магазина «Весна». Выставка чугунных печных заслонок – вот это для нас. Тоже, между прочим, частная коллекция. Вьюшки, поддувала, топочные дверцы – всего десятка два экспонатов. Литые тульское, каслинское, калужское, липецкое и нижегородское. На огромной топочной дверце калужского литья позапрошлого века – красавец лось. Из тех еще лосей, которые потом, в эпоху центрального отопления, эмигрировали на настенные коврики с бахромой. А там и вовсе вымерли. Вот вьюшка литья путиловского завода, по рисунку самого Клодта. И вовсе не кони, а «дворовый, везущий на дробушках барыню». По виду эти дробушки – самые обычные салазки. Барыня старая, укутанная в сто одежек. Куда он ее везет – теперь уж не узнать. Может в гости к такой же старой барыне на чай с липовым медом, смородиновой наливкой и сдобными калачами. Кухарка натопит им печку, березовые дрова жарко загорятся, и в трубе запоем-загудит теплый воздух, и станут они вспоминать о том, о чем вспоминают все старые барыни, в каком бы столетии они ни жили. Потом будут зевать, мелко крестить сморщенные рты, потом хозяйка уговорит гостью остаться переночевать, тем более, что дворовый мужик, привезший ее сюда, уже так угостился белым вином на кухне, что не только дробушки с барыней, но и самого себя, подлеца... потом лягут спать, задуют свечи и через пять-семь лет тихонько отдадут Богу души, потом домик этот, проданный невесть откуда появившимся, и вступившим в права наследства троюродным племянником, станет какой-нибудь скобяной или керосинной лавкой, потом конторой, потом

снова конторой, потом устроят в нём какую-нибудь пельменную или рюмочную под неоновой вывеской с перегоревшими буквами, потом он обветшает вконец, и его снесут по приговору неприметной канцелярской крысы с потными, красными лапками и шустрым хвостом, потом мальчишки будут рыться в его развалинах в поисках пиратских сокровищ, а вместо них найдут чугунную вьюшку литья путиловского завода, на которой дворовый везет на дробушках барыню....

\*\*\*

... и буквы не успевают. Потому, что подуманное уже улетело и, вдогонку, прикрепляешь к нему буквы. Они цепляются к нему, как разноцветные ленточки к длинному хвосту воздушного змея. И летят. Там холодно, в сером, не по-весеннему зимнем небе. Если по отдельности, то каждая буква окоченеет, не долетит. Поэтому они сбиваются в слова. Есть такие слова, внутри которых тепло. Даже на морозе. Всего одно слово может обогреть целое предложение, а то и письмо. И это письмо получается низачтонеуразрывным. Так и летят, цепляясь друг за друга гласными и во всем согласными, причастиями и исповедями, наращениями и напевами. И прилетают теплыми. И успевают отогреть уже начавшие замерзать губы...

\*\*\*

Сижу, курю. В полуоткрытое окно залетела снежинка и не может вылететь обратно. Все кружится, бьется о стекло.... Того и гляди растает. Сбежал к соседям, взял стиморола с зимней свежестью. Сижу, не курю, жую и дышу на нее, чтоб не растаяла... А помнишь, как ты залетела в закрытую дверь? Как не хотела вылетать обратно... как кружила по комнате и билась о мою голову скалкой... как я стал дышать зимней свежестью в ледяном подъезде...

Я из последних сил / Втянул язык за зубы / Так долго мы скандалили с тобой!

**ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ.** Днем показалось, что пришла весна. Не то, чтобы пришла, а забежала на минутку. Даже и не забежала, а так... бывает, когда позвонят по телефону и ломающимся баском спросят, волнуясь: «Юля дома?». И, услышав, что забегала на минутку и уже успела уйти к подружке, вздохнут тяжело, а на вопрос «Что передать?» пообещают перезвонить попозже. А под вечер опять зима... и в чай сахару кладешь две ложки с горкой, и из певчих птиц только закипающий чайник на плите. Только и есть весеннего, что мандариновый сандаловый и жасминовый запах на доньшке пыльного и пустого флакончика твоих духов. И пробрался этот запах так глубоко, что мечтам щежотно, и они, точно разноцветные шарики, наполненные гелием, летят и летят вверх, смеясь и волнуясь на теплом майском ветру в студенном февральском небе.

\*\*\*

Ну и метелище. Умей Ярославна на путивльской стене так стенать и завывать, как этот ветер за окном – Игоря отпустили бы домой с запасом продуктов, теплых вещей и еще тормознули попутную лошадь. На улице, перед институтом, не видать ни одной, даже самой заваливающей, зги. В такую погоду работать тяжело. А вот зевать в окно, почесывать кошку или женщину за ухом, думать короткие мысли спинным мозгом – легко. Еще лучше обедать. Идти-то мне недалеко, потому как деревня. Да и при таком ветре не столько идешь, сколько низко летишь в условиях ну-

левой видимости. К обеду лететь легко, потому что курс держишь прямо на запах чеснока в борще со сметаной, потом, на полпути, делаешь поворот на запах запеченной свинины на ребрышках и, уже на подходе к дому, чуть-чуть доворачиваешь влево на запах вишневого компота с ватрушками. А вот обратно на работу... просев ниже ватерлинии... да крутым бейдевиндом... Куда идти? На запах? Чем пахнут ремесла... особенно моя химия.... На этот запах только под конвоем ходят. Три раза сбивался с дороги и возвращался обратно. Первый раз на запах чеснока в борще со сметаной. Второй раз на запах, а уж третий. Так и не дошел до работы. Лес-то у нас рядом, и если б мой институт был волком, то, конечно, мог бы. Но он не волк. А дома всегда найдется, чем заняться. Зевать в окно кухни, потом спальни, потом... можно попросить, чтоб почесали за ухом. Мурлыкнуть, потереться об... ну, как получится, и почешут. Обязательно.

\*\*\*

Мороз сегодня трескучий. В такую погоду хорошо при расставаниях посылать воздушные поцелуи. Они замерзают в разноцветные крошечные кристаллики. Если долго прощаться, то можно набрать их целую пригоршню. Принести домой и спрятать в морозилку. Потом или даже совсем потом, доставать по одному и прикладывать к губам, а то и просто слизывать с ладони. Зимой поцелуи прикладывают к озябшим пальцам, а теми, которые долежат до лета, хорошо остужать горячий лоб. Два-три таких кристаллика на стакан воды – и вода превращается в шампанское. Чаше всего в сладкое, реже в полусладкое, а бывает, что и в брют. Но иногда... иногда от них остается просто мокрое место. Соленое и почти незаметное.

\*\*\*

Вообще такая ерунда была с этим апрелем посреди января. В середине зимы, как раз к началу окончания празднования нового года – набухшие почки и зеленая трава. Мало того, стали возвращаться веснушки. Обычно-то они как улетают сразу после бабьего лета в теплые и солнечные края – так до весны их и не жди. Сразу после грачей и возвращались. А тут – здрасьте! И что-то сбилось у них в настройках. К примеру, улета-ли с маленького вздернутого носика на лице смешливой девчонки лет восемнадцати, а вернуться угораздило на румпель таких размеров. Еще и с бородавкой на самом кончике. Мечутся по лицу, встают на уши, чтобы углядеть среди изменившегося пейзажа то самое место, с которого они улета-ли. Все напрасно.... Хотя чему тут удивляться? Порядка теперь у нас нет ни в чем. Откуда ж ему взяться у веснушек?

\*\*\*

Погода совершенно нелетная. Хочется вобрать в себя шасси, чтоб не мерзли, и прилечь где-нибудь на запасной полосе. Чтоб хорошенькая стюардесса, прибираясь в пустом салоне, щежотала пылесосом в разных местах... Стюардессы такие затейницы, когда между рейсами. А небо сегодня в мелкую дырочку. Поэтому снежинки крошечные. Будь такие слезы у девушек – они бы не катились по щекам, а висели в воздухе, как туман. И все было бы, как учили наизусть. Дыша духами и туманами, она садится у окна. Наверное, кто-то ее обидел. Какие-нибудь кролики с глазами пьяниц. Теперь везде кролики. В какой ресторан ни зайди. И только она – одна.

\*\*\*

Ветер воеет так, как будто у него украли только что полученную зарплату за полгода и ключи от водительских прав на паспорт. Рот приоткроешь, и слова с языка сдуваются мгновенно. Даже те, что хотел загрызть до букв, до палочек и крючочков, до точек над «и», незаметно сплунуть куда-нибудь в уголок. А они раз – и вылетят. Вроде и размером с воробья, не больше, а как на шляпу начальству или забор... да расплывутся.... А те, другие, которые, может еще и меньше, но хрустальные, но хрупкие, которые долго полируешь прежде чем, которые на ветер ни за что, которые простуживаются от неосторожного выдоха, от которых щекотно в горле, которые надо осторожно с языка на язык, из губ в губы... те не складываются. Кто ж их знает почему.

ночной снегопад / слова, слетевшие с твоих губ / тают на моих.

**НОЧЬ ПЕРЕД САМЫМ КОРОТКИМ ДНЕМ В ГОДУ.** Местные подрывники-затейники начали мощную артподготовку часа за полтора до. Потом было небольшое затишье перед самой полночью и несколько шампанских минут после нее. И все. После этого живого места на небе не было. Даже над противоположным берегом Оки, где только зубры в заповеднике, все было в гулкие малиновые и шипящие зеленые дребезги. Уши закладывало, как за воротник. А вот атака пехоты захлебнулась. Или нахлебалась. В половине третьего, выйдя на балкон покурить, почувствовал себя Джульеттой. Какой-то мужик во дворе, задрав голову истошно кричал: «Девушки, я желаю добра и счастья, бля, ва-а-а...». Недокричал. Упал в детские санки, стоявшие рядом, и его увезла с поля боя сестричка в белой шубке.

\*\*\*

Второй день такой туман, что ни зги не видать. Люди не могут найти дорогу на работу. У нас ведь не Москва – вышел из квартиры, задремал в лифте и следующая станция краснопресненская. У нас надо пешком, по тропинкам. Вот и не доходят. Некоторые посмекалистей, стали в группы сбиваться, чтоб на работу идти. Проводника берут, запас продуктов, водки, теплых вещей, выходят затемно и... не доходят. В такие туманы много ежей гибнет. Соберутся они в гости к медвежатам, варенья малинового с собой возьмут, выйдут, и... поминай, как звали. Летом еще туда-сюда. Медвежата рычат, зовут их. Они на голос и добираются. А зимой – и рычать некому. Спят себе по берлогам. То есть, как ежик с вареньем в гости придет, то сразу просыпаются и чайник ставят или даже самовар на еловых шишках. А так – нет. Спят и лапку сосут. Вот ежики и бродят, пока не замерзнут. Потом, как развиднеется, идешь по лесу, смотришь – узелок валется, и из него край банки с малиновым вареньем торчит. Значит и он, бедолага, неподалеку. Не дошел. А народ-то сами знаете, теперь какой... Некоторым грех на душу взять, что раз плюнуть. По весне, как подсохнет земля, ходят по лесу, собирают это варенье малиновое. После туманных зим много набирают. Что сами не съедят – так на базар несут. Их, конечно, милиция, экологи разные гоняют. Надо ж понимать, что еще и медвежата болеют от недостатка малинового варенья в организме. Какое же это детство без мали-

нового варенья? Да кто ж нынче станет понимать... Всяк только о себе и печется. А как выйдут в лес наши дети и внуки – а там ни медвежат, ни ежат, ни варенья малинового. Ни одной, даже и малюсенькой баночки. Вот тогда и спохватимся. Ан поздно будет.

\*\*\*

За ночь снегу навалило по колено. Тропуары у нас, конечно, чистят, но где это чистое место мало кто знает. Иду на работу по тропинке. Навстречу мне двое. Идут с трудом. Поддерживают друг друга из последних сил. Им нехорошо. По всему видно, что они как встали и упали не в силах отжаться, так и выползли на поиски каких-нибудь средств первой помощи пострадавшим при катастрофе от... рыг... Короче говоря, поправить расшатанное вчера здоровье. Даже штаны толком застегнуть не успели, не говоря о том, что практически все на голое, синее тело. И эти двое решили уступить мне дорогу. Один другому так и сказал: "Леха, давай уступим мужикам дорогу. Они на работу спешат". Мы, то есть я, то есть сколько бы нас ни было, могли бы и сами посторониться, и даже собирились это сделать, но... было поздно. Леха и его товарищ решительно уступили дорогу. В следующее мгновение из огромного сугроба, в который они посторонились, торчал только пакет с пустой посудой, которую два вежливых джентльмена надеялись обменять на полную. Через полминуты из сугроба протянулась ко мне рука и заскоружеными пальцами прохрипела: "Земляк, помоги ...". Кто строил в детстве карточные домики – тот может себе представить. Минут через пятнадцать я поставил их рядом и, затаив дыхание, убрал руки. Уходя, еще долго оглядывался. Так и стояли. Шевелили руками. Выдыхали с паром в чистый и холодный утренний воздух обрывки коротких, вчерашних, перегоревших слов. Большая ворона осторожно обходила их десятой тропинкой.

\*\*\*

Тихо в библиотеке. Так тихо, что слышно, как пролетают белые мухи за окном. В гардеробе старушка вяжет шарф длиной в двенадцать месяцев. Толстая и шерстяная анаконда уползает куда-то вглубь, под прилавки. В читальном зале старичок, с авторучкой в нагрудном кармане пиджака, дремлет над наукой и жизнью. Скусающая библиотекарша о чем-то беззвучно шевелит губами и рисует пальцем на толстых и пыльных листьях гортензии. Гортензия старая. Она еще помнит как на полке, над ее горшком, стояло полное собрание сочинений вождя. Ей тесно в горшке и к непогоде корни просто выкручивают. Но она не жалуется. В конце концов, поливают регулярно и не тушат окурки в горшке. Через неплотно прикрытую дверь каморки в глубине читального зала слышно, как кто-то говорит по телефону. "Надь, шампанское, нарезку и фрукты оплачивает профсоюз. Все остальное принесим сами. Ну, как что? Салатики. Вас трое придет – так три и принесете. Ты со своим будешь? Только не надо перцовку. Клюквенную лучше... Да ничего не делаем. В хранилище часа два порядок наводили. Все уши в пыли. Чай пили с тульскими пряниками. Ленка принесла. Она с внуком приходила. С Минькой. Шустрый мальчонка. Пока мы трепались – залез под стол и нарисовал самолет черным фломастером на ленкином сапоге. Ага. Бежевые. Которые она на прошлой



неделе купила. Еще занимала на них до получки". Начинает смеркаться. На стенде "Край родной" лица лучших людей города и района нахмуриваются. Только банка с вареньем, нарисованная на объявлении о заседании клуба садоводов-огородников "Встреча", краснеет, как ни в чем ни бывало. Завтра, в воскресенье, у них посиделки. Будут хвастаться новыми рецептами консервирования. По сотову, должно быть, разу. За стеной двигают стульями. Общество любителей поэзии собирается на вечер, посвященный некруглой дате со дня рождения Шевченко. А может и Лермонтова. На стареньком пианино кто-то пробует брать аккорды. Пианино в ответ мычит невразумительное. Житья ему нет от этих "литературно-музыкальных композиций". Особенно по выходным. Хочется покоя, ласковых прикосновений фланели, стирающей пыль с крышки, и блендамеда с отбеливающим эффектом для пожелтевших клавиш. Два школьника, обложенные и загнанные внеклассной литературой, готовятся к сочинению. Шепчутся между собой. "Шур, а я вчера четвертый уровень прошел. А ты? А я нет. Меня маги задолбали. И мать с отцом. Всю мою конницу ухайдокали. В смысле, маги. Не, блин, Леш, ты смотри, я у Заболоцкого нарыл - людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Я хуюю. А писать будем про не позволяй душе лениться и вечер на Оке. Ну, и кто после этого наша Сергевна?". Они вздыхают и снова утыкаются в книжки. В приоткрытую форточку осторожно просовывает погреться свою ветку береза. В сером голубом красном оранжевом небе сходит с ума зимний закат. Окна соседнего дома наливаются теплым медом. Тихо в читальном зале. Так тихо, что слышно, как пролетают белые мухи за окном.

Зимний вечер. / Так календарь исхудал, / Что ясно уже - не жилец...

\*\*\*

За что, среди прочего, люблю свою деревню, так это за множество тропинок. Есть, конечно, и у нас тротуары, и на них даже есть в некоторых местах асфальт, но хочется сойти с них поскорее и айда по тропинкам шуршать, шуршать всласть красным кленовым и желтым березовым. У нас, кстати, и листья падают медленнее. Не городские. Куда им торопиться. Да и не падает он - летит. Это городской лист торопится упасть, потому что его ждет злой и похмельный дворник с метлой. А нашего, деревенского, кроме его, уже лежащих, собратьев никто не ждет. Вот он и летит, летит... Иной кленовый лист такие пируэты выделяет, прежде чем приземлиться - лыжники, которые с трамплина прыгают - отдыхают в травматологии. Теперь лысеть хорошо - за компанию. Опавшие листья везде. Кажется, только в супе их нет... Впрочем, если мелкие, березовые, то и в нем... Где-то вдалеке собаки не то еще лают, не то уже кашляют от холода. Не разобрать. Тучи, цвета воронова крыла и вороны цвета туч. И всё мечется, суетится по небу. Тучи так и вовсе в недоумении - то ли последний дождь лить, то ли первый снег сыпать. Точных указаний сверху не поступало - одни слухи, да и те непроверенные. Ну, недолго ждать осталось. Только и успеешь вздохнуть, да взгляд оторвать от листа падающего, от птицы улетающей - а уже и Покров на дворе.

СЕРГЕЙ ИСАЕВ

## ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ МЯ, ГРЕШНАГО

- Вставай, соня, - слышится мне голос моей матери, - все на свете проспишь.

Нехотя я поднимаюсь, одеваюсь, обуваюсь и отправляюсь в нашу, местную церковь к заутрене. На улице тихо, морозно, светло. Снег почти вымерз и на тоненьком льду я несколько раз поскальзываюсь. Уже бьет колокол, и я поторапливаюсь. Возле деревянной церковной ограды меня догоняет и присоединяется ко мне мой приятель Н., высокий, худой, сутулый, в сером драповом пальто, длинноволосый. В последнее время мы с ним увлеклись Церковью, посещаем службы, пытаемся петь на клиросе, крестимся, молимся.

- Ты знаешь, что я недавно у Толстого прочел? - спрашивает у меня Н. на ходу и сам же отвечает, - что крест, церковные купола, колокола - это всего лишь форма великой сущности, которая должна жить в душе у каждого человека.

- А я где-то читал, что вроде бы это Эртель сказал, - говорю я и еще более ускоряюсь.

Н. шагает рядом, искоса смотрит на меня своими маленькими, голубенькими глазками, морщит свой большой, мужицкий нос и улыбается узкими губами.

- Нозишь, - наконец-таки произносит он, - какая разница кто сказал, главное по существу сказано. Я вот тут стихотвореньице написал, потом прочитаю. «Малиновый звон» назвал. Был такой город, Малин назывался, там колокола лили, и звон от них классный был, ну и вот, я и про этот звон написал, про Церковь беру.

- Молодец! - удивляюсь я, - а мне что-то не пишется, наверное, опять творческий кризис начался.

У церковных ворот мы с Н. останавливаемся, снимаем шляпы, крестимся и входим в церковь. Служба уже идет. В углу торгуют иконами, крестиками и прочей церковной утварью. Алтарь затворен, но в нем кто-то находится, на клиросе толпятся какие-то люди. В тонких высоких позолоченных чашах горят свечи и освещают иконы, святые надписи на стенах, росписи. Кое-где на длинных металлических цепях свисают лампы, в них не хватает масла, и они чуть-чуть теплятся. Тяжело пахнет ладаном, человеческим потом и, какой-то особенной, церковной пылью. В полутемном зале стоят старухи, старики и, еще более редкие женщины, дети - все молятся, крестятся.

Слабый старушечий голос читает:

- Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Господи устне мои отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою.

Растворяются царские врата, и из алтаря выходит молоденький диакон в сиреновой ризе, он поворачивается спиной к залу, помахивает кадилом и возглашает:

- Миром Господу помолимся. Бог Господы! Хвалите, имя Господие, хвалите рабы Господа, Аллилуйя, Аллилуйя.

Я подпеваю, крещусь и кланяюсь. Н. не отстает. Мы проходим на клирос, опять крестимся, кланяемся, здороваемся со всеми певчими и, в первую очередь, со старухой регентом Параскевой. Хор состоит в основном из одних старух и нескольких немолодых женщин, одетых в черные платья, платки, есть и один старик грек, приземистый, широкий, плотный, с седой

головой и бородкою, с черными круглыми глазами, в очках.

Параскева взмахивает своею высохшей, старушечьей рукой и хор поет:

- Воскресение Христово видевше поклонимся святому Господу Иисусу Единому, Безгрешному, (зал подпевает), Кресту твоему поклонимся Христе и святое Твое Воскресение поем и славим.

Молоденький диакон поворачивается к залу, позвякивает кадилом и опять возглашает:

- Спаси Боже, люди твоя.

И хор стонет:

- Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Престарелый священник о.Никодим входит в алтарь и становится на колени:

- Милостию и щедротами и человеколюбием Единородного твоего Сына, - молит он, - с ним благословен еси, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

- Аминь, - протяжно поет хор

Диакон уходит в алтарь, затворяет за собою царские врата и там произносит:

- Богородицу и Матерь света в песнях возвеличим.

Параскева открывает Псалтырь, что-то ищет в нем, находит, делает знак, и одна из женщин тонким, пронзительным голосом поет:

- Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим (вступает хор), без истления Богословородшую, сущую Богородицу ты величаем.

Седой грек поет басом, приседает, нутуживается, шея у него краснеет, щеки надуваются, и он раскачивается из стороны в сторону: - Велич-а-а-ем, - ревет он, а у меня мурашки идут по коже, мне кажется, что я вот-вот заплачу.

Оглядываюсь на Н., тот стоит, смотрит в пол и изо всех сил пытается петь. И я тоже потихонечку начинаю подпевать, но совсем себя не слышу, слов почти не знаю и только шепчу что-то, лишь бы рот открывать. Ну, наконец-то, хор смолкает.

О.Никодим отворяет алтарь, выходит на клирос и сердито глядит на Параскеву.

- Вы что поете? - громко спрашивает он и тут же прикладывает ладонь к уху, чтоб лучше слышать.

- Как что? - тоже сердито отвечает Параскева, - то, что надо по богослужению, то и поем, а ты раззи не слышишь?

- Не знаю, не знаю, ничего не знаю, что происходит, - возмущается о.Никодим, - ничего не пойму, я из одного места читаю, а вы из другого поете.

Высокий, немного согнутый, в черной широкой рясе, с большим позолоченным крестом на груди, с седой бородой и лысый, он поворачивается и уходит в алтарь.

- Никто Бога уже не убоится, - вздыхает он в алтаре, - только одно и могут, что какое-нибудь пакостное сотворить.

- Глухой черт, замучил совсем, - злится Параскева, - сиди дома коли старый уже, коль не можешь уже службу служить, так нет туда же, лезет куда и все, позорится и нас позорит, что верующие скажут, а ну как архиепископу напишут, что тогда, всем достанется.

Тоже старая, но еще сильная и властная, самоуверенная Параскева осуждающе качает своею седою головой, сплевывает и крестится.

Молоденький диакон опять появляется из алтаря, дымит кадилом, кланяется и нараспев повторяет:

- Свят Господь Бог наш, свят Господь Бог наш.

Уходит, а хор вслед за ним:

- Всякое дыхание да хвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите его в высих, тебе подобает песнь Богу.

Только что испивший церковного вина и сразу же подобревший, о.Никодим голосит в алтаре:

- Слава тебе, показавшему нам Свет! (а хор подхватывает).

- Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоговение, хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, Святы Боже, Святы крепкий, Святы бесмертный помилуй нас.

О.Никодим продолжает голосить:

- Яко Бог милости и щедрот, и человеколюбия еси, и тебе хвалу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь.

И хор отвечает:

- Яко Бог милости. Аминь!

Я перевожу дыхание, опираюсь на стойку, становлюсь поудобнее, ноги дрожат, устали, нет сил стоять, кажется, что еще немного и я не выдержу, сяду.

О.Никодим произносит:

- Мир всем!

Хор тянет:

- И духови Твоему.

И опять растворяются царские врата, диакон берет с престола и выносит обтянутую бархатом, тяжелую церковную книгу, поднимает ее над головою и торжественно проговаривает:

- Главы наша Господи преклоним.

Все крестятся, кланяются, а хор поет:

- Тебе Господи!

Диакон уходит. Царские врата затворяются.

На клирос взбегает, какая-то, маленькая, тощая женщина, в капроновой косынке, в красном байковом халате и в галошах на босу ногу. Она подскакивает к Параскеве и громко шепчет:

- Щас Мишка заезжал, сказал в универмаге платочки шелковые продаются, такие ж точно, как у Кузьминышны, помнишь?

Параскева оживает:

- Да, помню конечно, че ж не помнить-то, - говорит она и оглядывается на хор, - надо ж брать, пока есть, а то ж их завтра днем с огнем не найдешь, разберут.

Хор тоже оживает: старушки суетятся, развязывают свои потайные узелки, вынимают оттуда деньги, отдают их Параскеве, шепчутся, и только старик-грек молчит, не шевелится и презрительно смотрит вокруг. Н. ухмыляется, а я отворачиваюсь.

- Господи Святы, в вышних живой, и на смиренная презирая, и всевидящим оком Твоим презирая на всю тварь. Тебе приклонихом выю сердца и телесе, и молимся Тебе, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков, аминь! - бормочет в алтаре о.Никодим и вдруг замолкает, прислушивается.

Параскева поднимает палец и хор поет:

- Аминь.

О.Никодим трясет головою и дребезжащим старческим голосом почти кричит:

- Сын благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно и вовеки веков, аминь.

И опять поет хор:

- Аминь.

О.Никодим стихает:

- Слава тебе, Христе Боже, Упование наше, Слава Тебе.

И хор, и зал вместе подпевают ему:

- Слава и ныне, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови.

Хор смолкает. Старушки чихают, сморкаются. В зале кто-то натужно кашляет...

- Ну вот и почти все на сегодня, отмучились, - усмехается Параскева и пристально, строго смотрит на нас, - мы то, что, опять усмехается она, - мы привычные, а вот мальчишки наши видать подустали, а, как, тяжело службу отстоять?

- Да нет, ничего, - отвечаю я, - не тяжело, наоборот интересно.

- Ну, ну, - морщится Параскева, - в ваши-то годы конечно, а нам тяжело приходится и ноги, и руки болят, все болит, попробуй здесь целый день побегать, особенно в праздники, народу тьма тьмущая, не продохнуть, Слава Богу пока еще кое-какое здоровье есть, Господь своею милостию не оставляет, вот и бегаешь.

И снова растворяются царские врата. Яркие солнечные лучи из алтарного окна падают в полутемный зал, по-видимому уж полдень, стало душно, жарко, какой-то дым поднимается к потолку, чем-то воняет, совсем нечем дышать.

Выходит о.Никодим, и диакон выносит Святую Чашу с вином, и сразу же провозглашает:

- Со страхом Божиим и верою приступите, - а затем передает чашу о.Никодиму и уходит.

Хор поет:

- Благословен Грядый во имя Господне, Бог Господь и явился нам.

Образовывается очередь: все идут к о.Никодиму причащаться, и я тоже становлюсь за кем-то, Н. вслед за мною. Через некоторое время я слышу, как над моею головою о.Никодим говорит:

- Причащается раб божий Честного и Святого Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь Вечную, - и с этими словами он вкладывает маленькую ложечку с вином в мой раскрытый рот, я пью и отхожу к блюду с просфорами, беру одну, жую.

А хор тем временем поет:

- Тело Христово примите, Источника бессмертного вкусите.

Вино оказывается яблочным, а хлеб слишком пресный, черствый. С трудом глотаю, не зная, что делать, стою, чего-то жду.

Уже гасят свечи. О.Никодим берет крест с престола, осеняет им нас, потом целует его, и дает нам целовать.

Опять возникает очередь. Почему-то Н. оказывается впереди, и я вижу его растерянную физиономию, он стоит за какой-то дряхлой больной старухой и не хочет целовать крест вслед за нею, брезгует. Но его подталкивают, и ему некуда отступить, о.Никодим сует крест к его лицу, Н. отшатывается, но толпа напирает сзади и он вынужден, он сдается. Н. быстро целует крест, морщится и отходит. Я тоже целую и отхожу, но еле-еле сдерживаюсь, так хочется сплюнуть.

Церковь пустеет, темнеет. О.Никодим возвращается в алтарь, царские врата затворяются, и на них опускается белый парчовый занавес. Служба кончилась.

Мы идем в своих пальто нараспашку, сдвинув на затылок дурацкие шляпы, идем по лужам, по грязи, по осколочному таящему льду, дышим, дышим, не можем надышаться, и смеемся. Н. достает из кармана, смоченный одеколоном, чистый носовой платок и трет им губы, он боится чем-нибудь заразиться, не хочет раньше времени помереть.

Я иду и говорю:

- А вот еще Толстой сказал, что всякий подлинный интеллигент, кроме верного понимания исторической действительности, должен к тому же проникнуться и учением Христа.

Н. плюется, а я опять смеюсь.

## ТАТЬЯНА КАЛАШНИКОВА

### УЛИЦА НАДЕЖД

Маленький тихий городок Алмонте... Мы переехали туда, когда мне было восемь лет. Переехали не потому, что так было нужно. А потому, что так захотела мама. Местечко, которое мама назвала городом осени, казалось, ничего особенного собой не представляет. Но когда мы впервые посетили Алмонте проездом, мама всё время вертела головой, как ребёнок, и возторгалась то старенькой заброшенной электростанцией, то ржавым металлическим флажком с потускневшей надписью «Добро пожаловать», поскрипывая болтавшимся на цепи у въезда в город, то узкими какими-то уж совсем не современными улицами...

Помню, отец ещё долго возмущался, приводя всевозможные весомые с его точки зрения аргументы: далеко добираться до работы, бензин, километраж — время и деньги, да и скучно жить в таком захолустье. А мама настаивала:

— Это — мой город. Я хочу здесь жить.

По своей натуре, мама у нас упрямая. Сам я точно тогда не знал, упряма ли мама на самом деле, но отец часто любил повторять:

— Приходится констатировать факт, — мама так упряма, что меня следует наградить медалью «За много-терпение».

Мама отшучивалась:

— У тебя и так уже места свободного от медалей на груди не осталось, — и добавляла, — но если мы переедем в Алмонте, я награжу тебя ещё одной: «За многопонимание».

И мы переехали.

Довольно скоро отец и мы с братом привыкли к тамошней жизни. Привыкли к столетним домам, к причудливым старомодным вывескам у входа в магазины, к крутым, покрытым сплошь яблоневыми садами, берегам реки. Привыкли и постепенно перестали замечать. Мама тоже по-своему привыкла. Она любила бродить по узким улочкам города или сидеть подолгу у реки, глядя в никуда. А по вечерам мы пили чай и играли в лото. В лото я очень любил играть, особенно, как и все дети, выигрывать. Отец время от времени поглядывал на телевизор, нервно подёргивая ногой под столом. Ещё бы, — в это время шёл футбол или хоккей. Мама почти всегда проигрывала и говорила, что всё в жизни уже выиграла, поэтому ей больше не положено.

Так мы и жили. Летом по воскресеньям рано утром мама ездила на местный рынок за овощами и фрукта-

ми. Мы с нетерпением её поджидали в сладком предвкушении отведать свежей клубники или земляники со сметаной.

В один из таких воскресных дней мама, по своему обыкновению, отправилась на рынок. Её почему-то долго не было в тот день, и мы уже начали волноваться. Отец волновался молча. Он всегда волновался молча. Только часто смотрел на часы и сдвигал брови так, будто у него болела голова. Но вот хлопнула входная дверь, послышалась знакомая возня в прихожей, и мы поспешили навстречу. Мама казалась немного взволнованной. Она суетливо раскладывала покупки по полкам холодильника и кухонных стеллажей, снова и снова ныряя руками в корзинки и пакеты. В ней чувствовалось напряжённое ожидание вопроса.

— Ну что, наконец? — не выдержал отец, — Ты чего так долго? Мы волновались. Санька плакал.

Санька — это мой младший брат. Тогда он был совсем крохой и всегда плакал, если родители где-нибудь задерживались.

Осчастливленная долгожданным вопросом мама бросилась отцу на шею, он немного даже оторопел от неожиданности.

— Сейчас мы поедим! Я покажу! Это секрет! — тархтела она быстро и бессвязно.

— Куда? Зачем? Лично я никуда не поеду. Я пылесосить собирался...

— А я поеду! И я! И я! Поехали, мама! — наперебой кричали мы с Санькой.

Под напором нашего несносного верещания и маминых уговоров отец быстро сдался, и мы, погрузившись в машину, которую отец любовно называл «невестушкой» за её белый цвет, тронулись в путь. Путь наш оказался совсем недлинным. На одной из уже знакомых нам улочек города мы припарковались и дальше двинулись пешком. Мама с важным видом знатока шла впереди, указывая нам дорогу. Мы с братом в припрыжку бежали за ней, а отец лениво плёлся следом.

— Мы пришли! — торжественно объявила мама, остановившись на углу заброшенного деревянного дома.

— Ну и что? Куда пришли? — оглядывался вокруг отец.

— Протри глаза. Читай.

У дороги стоял указатель с короткой надписью «ул. Надежд». В первый момент ни отец, ни мы с Санькой не поняли, — при чём здесь эта надпись. Потом отец сказал:

— Хм, странно. Улица Надежд. Первый раз встречаю такое название улицы.

Тогда, еще ребёнком, я не раз замечал, что взрослые всегда говорят «странно», если им что-то не понятно. Вот и маму отец называл странной. Он просто не знал, что она — волшебница. А я это знал. Санька, наверное, тоже знал. Но тогда, совершенно не понимая, зачем мы остановились, он сделал серьёзное лицо, наморщил лобик, подражая отцу, и картаво повторил:

— Хм, стлянно.

Впрочем, ему и так было хорошо, — папа и мама рядом, и все мы куда-то целенаправленно идём. А я стал приставать к родителям с расспросами, — что эта надпись означает, и зачем мы здесь.

— Сейчас мы пойдём по этой улице, — разъясняла мама, — и когда дойдём до конца, произойдёт чудо.

— Какое чудо? — не отставал я.

— Увидишь.

Улочка была длинной и извилистой. От нетерпения увидеть обещанное чудо я всё время забегал вперёд, а потом останавливался и ждал всех остальных. Поглощённый стремлением как можно скорее добраться до того самого места, где должно произойти чудо, и потому не питая большого интереса ко всему остальному, располагавшемуся на пути к моему главному пункту, я только бессознательно выхватывал любопытным и жадным взглядом то, что так заманчиво для нас в детстве и что после долгие годы вызывает своим видом томное ностальгическое чувство. Вот уже позади широкое и ветвистое дерево, на которое было бы так здорово взобраться и ощутить себя сильным и смелым, теперь ноги слегка замедлили бег у большого черного с блестяшками мотоцикла, а роскошная гроздь ранних черешен, казалось, так и просившаяся, чтобы её кто-то сорвал, обиженно осталась висеть на низко склоненной под тяжестью обильных плодов ветке... Знак «Проезда нет»... Что это? Как выяснилось, улица вела в тупик. В конце показался высокий дом из крупного камня с большим количеством окон и широким балконом на подпорках. Помню, что моё внимание привлёк навесной замок на огромной тяжелой двери дома. Я тогда ещё подумал, что теперь таких дверей и замков уже не бывает. А ещё о том, что ключ от такого большого замка, наверное, очень неудобно носить, и в карман он не поместился бы.

— Ну что, всё? Погуляли, и домой? — засуетился обрадованный концу путешествия отец, — Да и ветер подымается. Прохладно что-то.

Отец был прав. Нежное безоблачное утро незаметно перешло в пасмурный полдень. Поднимался, всё больше усиливаясь, порывистый ветер.

— Смотрите! Смотрите! — почти затерялся в оглушительном порыве ветра мамин голос.

Всё произошло так быстро, что трудно было разобрат, — отчего вдруг распахнулись окна и балконные двери дома. Оттуда вылетело множество голубых мотыльков. Среди них — большие (казалось, это именно они делают ветер воздушными и, как будто, слегка замедленными взмахами своих крылышек) и совсем маленькие. Сказочное нежно-голубое мотыльковое облако всё больше приближалось к нам и вот уже парило над нашими головами, теряя свои очертания и делаясь полупрозрачным.

— Что это, мама? — с замиранием духа прошептал я.

— Это наши надежды. Они вселяются в наши души и делают нас сильными.

Облако становилось всё более прозрачным и, наконец, совсем растворилось.

— Теперь я сильный? Скажи, мама, — я сильный?

— Ты сильный, сынок. Теперь никакие беды и невзгоды тебе не страшны. Ты — сильный.

— И Санька сильный? И папа? И ты?

— Да, сына. И Санька, и папа, и я.

Много лет прошло с тех пор. Родители и сейчас живут в Алмонте. Мы с Санькой изредка навешаем их. Каждый раз, когда мне приходится бывать у родителей, я стараюсь специально проехать мимо странного указателя «ул. Надежд». И снова, в который раз, вспоминаю шумную и непоседливую маму и степенного, немного медлительного отца, от которого всегда исходило чувство силы и молчаливой уверенности, — тогда ещё совсем молодыми; вижу изумлённые широко открытые глаза белокурого курносого Саньки, распахнутые окна старого дома и парящее над нами нежно-голубое облако наших надежд.

Мы перебрались в Айялу в августе, в долгознойные и как бы одинаково сработанные дни. А потом и сентябрь целиком был зашит в лето.

Местность, оселившая нас, показалась мне по первому взгляду живописна: две гряды лесоватых возвышенностей с постеленной в межгорье долиной. Я долго не находил ей определения, пока не пришло на ум сравнение с комнатой. Нет в Айяле извольного природного самокура, сусла, твороженья. Ноздреватая от серых пород и древних колодцев, она и впрямь как комната - с поштучно собранной обстановкой: возвышенность, дерево, травяной влог. Да огромное дупло солнца в меху света.

С северо-запада из Бейт-Шемеша, с востока из Иерусалима, ежедневно вступал я теперь в эту горницу, не зная, как надышаться покоем и укоренённостью.

Наш образ жизни и в деревне изменился не сильно. Я учительствовал в Иерусалиме и поначалу не мыслил иного сообщения со столицей, как только знакомым автобусным тором из пригорода. Но я недолюбливал трассу номер один. Не улыбалось мне греметь как запущенный шар в кегельбане, среди тысячи фар, без права на рассеянность, тем более ошибку. Водитель я был малоопытный, автомобиль мы приобрели недавно.

Но пейзажная интуиция убеждала меня в том, что и в Айяле отыщу я иерусалимский лаз, пусть окружной и околесый. Вскоре я нащупал его ссученную нить - горно-лесистую от Эйн-Керема до Бар-Гиоры, выбоисто-пустынную перед Маттой и разбитую вчки в сухокором заповеднике, примыкающем к нашей деревне. Всего тридцать-тридцать пять минут интимного путешествия в Святой Град, когда всякая встречная машина редка и своелика как чёлн. Несмотря на скверные колен, на горный неосвещённый серпантин с низкой оклажей зимних туманов, я не ездил уже иначе.

Ещё радость: взялся я разбирать архив - три картонных коробки, прохваченных бечевой. Сколько лет следовал он за мной из квартиры в квартиру, чтобы освободиться в Айяле яроводьем прошлого. Сколько помню себя, я отцеживаю из подённости его диковинное собрание. Там твёрдый оклад немецкого бисквита, не покрошившегося с годами, капроновый напальчник с женской ножки, авиабилет «Кишинев-Минск» и множество тому подобных удостоверений пережитого.

Затем я обнародовал мою детскую, в две тысячи голов, отару значков на долматках чёрного вельвета. Их отстрочила моя бабушка в 73-м.

Бабушка была пылким соавтором моей коллекции. Мнительная до своего здоровья, она не пропускала ежегодных курсовок в Моршин и Трускавец, но всегда обрывала их, возвращаясь на полусроке - с ридикюлями, пропахшими горечью таблеток. Колочая масса значков населяла те ридикюли. Мы расплетали их по разделам: «города», «космос», «великие люди»...

Ещё Айяла привнесла в мою жизнь ночные дежурства по охране посёлка: в два-три месяца раз. Заступал с тем или иным из соседей. Садилась в натруженные кожи пограничного «джипа». Объезжали как внутрен-

ние, электрифицированные кварталы, так и тёмные окрестности: лес, долину...

Мне не забыть самое первое дежурство - в полнолуние того сентября.

В напарники мне выпал д-р Фанин. Мы коротали время в тёплом джипе. Фанин был профессор-эндокринолог. Его американский акцент стоял как стена в мягкозёмом языке иврит. Но в третьем часу нас по рации вызвали на перекрёсток. Там целая дискотека съехалась. Мигалки секли глаза.

ЧП! Увели лошадей из местного кибуца.

Принялись выставлять засады по козым ночным тропкам. Наш экипаж - за лесной холм Соко, поросший рожковыми деревьями, изрытый природными впадинами и колодцами, выложенный каменными рядами древних террас. К нам присоединился Рахамим, поселковый пограничник младшего звания, «индус» из Кучина.

Спрятались мы за холм, погасили фары. Рация приглушена, оружие в готовность.

Тогда я впервые услышал от Рахамима, что на холме Соко царь Шауль с воинством разбили лагерь. Филистимляне стояли напротив - на холме Азека, где другая засада на конокрадов. 3-метровый Голиаф в драгоценных доспехах сошёл в долину и стал поносить Творца на виду у израильтян. Он долго и безуспешно выкликал соперника.

И тогда прибыл отрок из Вифлеема - с домашними лепёшками для старших братьев. Продолжение известно: праща, голыш из ручья...

Надо же, а я полагал, что Давид - это полунеприличная статуя Микельанжело перед Палаццо Веккьо во Флоренции.

Ан, оказывается, это мох и валуны моей Айялы.

Тогда д-р Фанин, университетский неполный профессор с респектабельным своим каменно-заборным акцентом, добавил, что Голиаф страдал «Акромегалией».

-Что, что? - спросил я. А Рахамим не стал спрашивать - будто ему и так понятно.

- Избыточное производство гормонов роста, нарушение периферического зрения! - объяснил Фанин. - Давид атаковал его сбоку, в "слепой" для него зоне. Филистимлянин «проморгал» его...

Эту гипотезу д-р Фанин услышал на международном конгрессе из уст некоего профессора Б-ра, тоже израильтянина. «Профессор Б-р., знакомое что-то! - подумалось мне. - Гипотеза интересная во всяком случае!»

Тогда полуграмотный Рахамим, не желая оставлять последнее слово за учёным Фаниным, явил какой он дока в Кабале.

Сотворение мира происходит непрерывно, сказал он. Господь всякое мгновение произносит названия предметов: «колодец», «долина», «дерево»... и только поэтому они существуют. Запнись Он на миг, и колодца не станет. И деревья не станут как не было. Произнось, Он творит их каждое минуту.

«А конокрадов, которых мы караулим в засаде, тоже Господь творит каждую минуту?» - съязвил я. В посёлке о Рахамиме судачили, что за бакшиш в 100 шекелей он освобождает от утомительных ночных дежурств.

Но меня охватило смятение. Ночная засада, таинственная жизнь леса, краденые кони, перемещающиеся

где-то поблизости... - было в них что-то действительно непрерывное, сиетворящееся. Как и персональная моя холмолунная связь с псалмопевцем, восстановленная 3000 лет спустя.

«Значит, Господь каждую минуту произносит нас и потому мы есть?..» - размышлял я смятенно. - Возможно, Он и от нас ожидает, чтоб мы произносили – себя, авторские свои миры, частное свое бессмертие.

Сколь многое из моей жизни выкинуто бесследно. Довольствуясь сегодняшней короткой минутой, я и не пытаюсь «произнести» себя целиком.

...Огни «мигалок», сирены, выстрелы вывели меня из задумчивости. Конокрадов перехватили у Адерет. Это были арабы из Хусана. Побросав лошадей, они скрылись в ночном лесу, где им всякая тропка знакома.

Рахамим подвёз меня к дому. Мы распрощались. Ультрафиолет мигалки скрылся в верховьях деревни.

«Профессор Б-р... профессор Б-р., - вспомнилось мне уже на пороге дома. - Автор гипотезы о слепоте Голиафа... не тот ли это врач-невролог, что помогал шахматному герою Корчагину в 78-м, накануне заключительного сражения с советским циклопом?.. Надо выяснить!».

С ключами в руках я помедлил у двери. Мне открылась чарующая картина. Айяла лоилась плоше обычного - точно под слоями безмутной воды, а небеса разрывались от вылушивающегося света. Это лунная сулея истекала непомерно.

И я загоревал от красоты, подумав, что год моей жизни исчислен двенадцатью лунами и, стало быть, вся жизнь не бесформенна и не бессчётна, но как комната собрана из поштучных годов. И сам я, как каменная Айяла, состою из инвентаря, убранства: из автомобиля, затулённого у ограды, из двухэтажного дома без балконов, из жены и дочки, спящих наверху, из початых коробок с архивом и перепиской... И никогда прежде моя сокровенная «комната» не была убрана с такими любовью и достатком. Я как бы вызнал свое земное полнолуние, облачился в свое окончательное тело.

В последующие ночи всё пошло на убыль. Согласно ущербному лунному циклу наступала аутентичная мгла, и в деревне нашей, не обнесённой заборами, разом угнали два автомобиля.

Возвращаясь к той сентябрьской ночи, я вижу себя заключённым в счастливое самообъятие, запелёнутым в невеский свиток – в ежеминутное произношение себя.

Свиток, развернись.

**ВИКТОР КАГАН**

**СИНЯЯ ПТИЦА**

Что толкнуло его поехать в Россию, он и сам объяснить не мог. Однако что-то сдернуло с места, взял оставшиеся десять дней отпуска, приурочив их ко Дню Благодарения и выходным, набежало две недели, и вот он в самолете, оторвавшись от полосы JFK.

Жена лететь наотрез отказалась, хотя его желанию не удивилась, как будто ожидала, что рано или поздно это должно случиться. Попробовал уговаривать, но она только плечами пожала: «Зачем?». Он подумал:

«А и правда, зачем?» - благодарно даже подумал. Она всегда, всю их жизнь вместе каким-то безошибочным чутьем знала, когда на его предложения лучше не отзываться, и даже в раннюю пору их отношений никогда не портила мальчишники и не мешала мужу с дремавшим в нём одиноким волком побыть одному, когда ему это было надо. Дети, выросшие уже здесь, сначала удивились, а потом посмотрели на него так, как когда-то смотрели, когда он отправлялся в Сибирь или на Камчатку: ну, батя, даешь! Он на мгновение даже ощутил себя моложе. Возможно, почувствуй он, что его отъезд огорчает их, он бы и не двинулся никуда. Но скучать без него никто не собирался – жизнь давно уже вышла из границ, в которых необходимо было каждый день держаться за руки, и он рванул. Да, именно рванул, подчиняясь чему-то еще неясному, но властному.

Стюардесса с привычно-автоматической повадкой неудавшейся модели полупоказывала-полурассказывала о правилах безопасности, натягивая на себя спасательный жилет и поднося к губам привязанную к нему трубку, похожую на свисток. На жилет вместе с правилами безопасности всем было наплевать – тысячу раз видно и слышано, но стюардесса была вполне мила в свои 32-35, и на нее смотрели. Смотрел и он, а в голове крутилось: «Где мои семнадцать лет?» и в ответ – не в лад: «На Фонтанке», и он никак не мог подогнать детский свой адрес к ритму Высоцкого.

Два двойных виски пролетели мимо сознания, даже тени не отбросив, и он принялся перелистывать записную книжку со шпилем Адмиралтейства на обложке, пытаясь представить себе – кому можно позвонить и кому первому. Страницы уже подернулись легкой желтизной, добрая половина адресов была вымарана – время сделало свое. Palm мирно отдыхал в кармане – он появился всего пару лет назад и существовал отдельно от книжки, хранившей ориентиры прошлой жизни. Так он и заснул с книжкой в руках, проспав весь полет и открыв глаза лишь перед посадкой во Франкфурте. Под ложечкой посасывало, и оставалось лишь пожалеть о прозевавшем обеде. Полтора часа между рейсами он провел в кафе, не торопясь, запивая пивом какую-то вполне интернациональную еду. А еще через три часа он вышел в таможенную зону пиетерского аэропорта.

Оглянувшись с удивлением – улетал из тесной сараюшки, приютившейся рядом с главным зданием сталинского стиля и стыдившейся собственной убогости рядом с этой помпезностью, а сейчас оказался во вполне западного вида помещении. Не Бостон, конечно, не JFK, но что-то вполне приличное, хотя и съездившееся, как пытавшийся выспаться на двух креслах баскетболист в самолете. В будочке паспортного контроля сидела болонкой деваха с челкой на глазах и в сержантских погонах. Скользящим взглядом закомпо-стировала его физиономию. Спросила: «Надолго к нам?» и, не слушая ответа, толкнула к нему паспорт.

Багажные ленты застыли в ожидании, а пассажиры не могли устоять на месте и искали повод размять затекшие тела, слоняясь по залу, заглядывая в магазинчик Duty Free, который почему-то был здесь, пытаясь углядеть встречающих через зону досмотра. Его никто не встречал – вечный тихушник, он и в этот раз не изменил себе. Потянуло сигаретным дымом, и прежде, чем он почувствовал, как хочет курить, мелькнула



мысль о милиционере, который возникнет из ничего и скажет: «Нарушаем, гражданин?!». Но милиционера не было, и он закурил, на секунду почувствовав вкус табака так же свежо и остро, как при первой мальчишеской затяжке. Наконец одна из лент затарахтела и выкатила самой первой его сумку – неизменную спутницу во всех полетах последних лет. Легко подхватив ее, он, не спеша – так, что его кто-то опередил – прошел в зону досмотра. Бросив сумку на досмотр, подошел к таможеннику. Мундирчик со слегка засаленным воротником, пухлое с сероватинкой лицо, дежурный прострел взгляда – уже без былой хозяйской всевластности, но не без наглости все-таки хозяина положения: вот, сейчас мы тебя и проверим! Его радары не уловили в подошедшем ни испуга, ни напряжения, и он расслабился. Полувопросительно: «Владимир? Карганов?» и в ответ на русское: «Точно так» (армейский опыт, черт его побери!) снова напрягшись: «Гражданин США?». Влад подтвердил. «Надолго к нам ... домой?» – по умыслу или без него, но двусмысленно и не без поддельдыка. Влад улыбнулся: «На две недели». Таможенник делал свое дело: взгляд на экран, взгляд в декларацию, прочерк, росчерк. И уже шлепнув штампиком: «Валюта, кредитные карты?». Одним взглядом определил верность названных трех тысяч, а на карты и смотреть не стал: «Приятно провести время». Все! Влад подхватил заждавшуюся на выходе из пасти автомата сумку и шагнул к выходу.

Многоголовая гидра ожидающих с вытянутыми шеями, цветами, табличками с именами ощупала его глазами и, не признав своего, равнодушно пропустила сквозь себя. Зал был небольшой, с кофейным баром, закрытым окошком Singsen Exchange и несколькими телефонами на стене. В голове что-то щелкнуло – вид телефонов не совпадал с фотографией в памяти, и Влад подошел к ним. Ого, можно звонить по кредитке! Он поискал глазами и нашел цену – семь долларов за минуту! Влад ухмыльнулся и решил, что позвонит жене позже. Сознанием понимал, что это – Питер, а душа еще не верила.

Из-за мелькающих дверей потягивало влажным и темным холодом. Влад запахнул куртку и вышел. Раздолбанное грязное месиво под ногами и редкий, мгновенно чернеющий снег сверху. На протянутую ладонь легло несколько снежинок, однако толком разглядеть их не удалось – танками надвинулись трое, на деревянном английском предлагавшие подвезти. Наглая морда – второе счастье, а эти ребята, судя по лицам, были счастливчиками. «Где тут у вас такси, ребята?» – спросил Влад, и они отступили, теряя к нему интерес, но еще пытаясь удержать клиента многообещающим сквозь зубы: «Ну, поищи, поищи!». Он понял, что больше искать некого, и пробормотав себе: «Ладно, не велик барин! Тряхни стариной!», закурил и пошел вдоль зданий в поисках автобуса. Восемь вечера в Питере в конце ноября – уже ночь. Остановку он нашел быстро, но до автобуса оставалось минут двадцать, и он зашел в старое здание аэропорта. Отдавало гулкой пустотой, и лишь изредка мелькали какие-то люди. На втором этаже в ресторане сидело несколько пар и большая шумная компания. В подошедшем официанте не чувствовалось гэбэшной выправки. Влад попросил меню и, стоя, просмотрел его. Цены были похожи на телефонные своей несоразмерностью с названиями блюд, и Влад решил, что поест уже в гостинице. Из

ресторана вышел с легким раздражением на себя: «Что, жаба давит?!» – промелькнуло точное в своей противности выражение, и он вдруг ощутил, что просто боится вступать в эту давно позабытую и до неузнаваемости изменившуюся жизнь.

Зачуханный автобус оказался полупустым. Влад сел на свободное сидение – ему не хотелось быть рядом с кем-то чужим сейчас. Люди пробивали билеты в привинченных к стенкам компостерам, как бы напоминая Владу, что он едет зайцем. «А и черт с ним, – подумал он, – ну, штраф. Big deal!» – и продолжал сидеть, исподволь разглядывая пассажиров. Прилетевших здесь не было – кого встретили на машинах, кто не захотел смазывать ощущение прилета и уехал с этими мордашками, атакующими у выхода, ребятами. Лица людей, но уже не по-советски одетых, были намертво схвачены той напряженной зажатостью, которую он страшился с себя года два, прежде чем кто-то на работе сказал ему, что он стал хорошо улыбаться. Лишь пьяноватый мужичок, обращаясь, как поднаторевший в своем деле лектор, не к отдельным людям, а к аудитории, нес по кочкам президента, каких-то черножопых, демократов и коммунистов. Весьма складно нес, и временами то один, то другой улыбался безо всякой обиды на него, но и не разжимая лица.

Влад вышел на «Московской». Место знакомое, да и «Мир» недалеко. Не пять звездочек, но для ночевки хватит. Он хорошо знал эту гостиницу и даже представлял себе, как выглядит номер. Все оказалось так же, как было много лет назад. Похоже, даже мебель та же. Настольная лампа не работает. Шум за стеной – кто-то веселится. В памяти вспыхнул вечер года за четыре до отъезда, когда сидя за нехитрым столом в номере двумя этажами выше и, кажется, дальше по коридору, с приехавшими из Казахстана друзьями он вдруг подумал, что уедет, и Сергей, который всегда все просекал, спросил: «Эй, старик, ты где?». Он погиб через год после отъезда Влада, погиб совершенно по-дурацки, ни за что, ни про что. Влад услышал свой голос: «Где, где, Серый? В Америке я. Вот, к тебе приехал». Голос растворился в пустой комнате, и Влад подумал: «Осталось только чертиков увидеть!». В соседнем номере шумели едва не до рассвета, но Влад спал, как убитый, хотя по его «внутренним», давно уже американским часам, был день ...

Разбудил его телефонный звонок – сочный, играющий мурлыкающими басами голос с кавказским акцентом, требовал какую-то Лялю и наливался угрозой в ответ на голос Влада, пока не услышал самое, видимо, убедительное для него – матерком-с-ветерком. Влад удовлетворенно улыбнулся: «Не разучился еще!» – и подошел к окну. Присыпанная тающим снегом улица. Несколько прохожих. Ларьки на углу Авиационной справа и два слева – раньше их не было. Вслед за суетливым «Жигуленком», вальяжно переваливаясь на ухабах, проехал новехонький «Мерседес». Было около десяти утра, живот надрывался песней голода, но двигаться никуда не хотелось, Влад налил ванну, плеснул в нее шампунь и погрузился в тепло. Он лежал и перебирал имена – кому позвонить сначала. В трубах прерывисто тарыхтело и булькало, как будто бегемот отфыркивался короткими внезапными очередями. Насчитав в раздающейся очереди двенадцать фырков, Влад решил начать с буквы Л. Выбравшись, наконец, из ванны, открыл записную книжку: Лопатин

— где-то в Австралии, Левка — в Германии, Лучников — умер, Лепов — кто это?, Лина ... На этом имени Влад споткнулся. Лина — да, как же, как же? Он вспомнил ясно и отчетливо тот вечер.

Пропивали Гарькину женитьбу, и на следующий вечер собрались уже не у него на 5-ой Красноармейской, а у его жены на Коломенской — в такой же коммуналке. Просидели долго, водка Влада не брала или ему казалось, что не брала. Скорее казалось. Иначе с чего бы он, уже уходя, снял трубку висящего в коридоре общего телефона, набрал А23456 и, когда сняли трубку — ворчащий голос, мол, кого носит, уже первый час — наугад попросил Лину. Друзья уловившие, что Влад в кураже, остановились: случайный номер, случайное имя — сейчас отошьют. Но произошло почти невероятное — трубку передали ... Лине. Влад понес какую-то чепуху, она не могла понять — кто это, а он говорил: «Угадай» — и в конце концов она вопросительно выговорила: «Володя?». Это было уже чересчур — случайно такое не происходит. Было жаль даже, что она «узнала» его так скоро — ему хотелось бесконечно слушать ее голос. Голос, и правда, был редкостный. Мягкий, глубокий, добрый, слушающий — да-да, слушающий голос. Ни у кого больше ни до, ни после он такого голоса не слышал. Ему вдруг стало совестно морочить ей голову, и он сказал, что он, да, Володя, но не тот, что просто позвонил наугад и наугад же назвал имя, что он дико извиняется, но ее голос ... он хотел бы встретиться ... Выпалил и замер — вот, сейчас пошлет подальше. Но она, как будто увидев его сквозь трубку, сказала, не меняя тона: «Позвоните мне завтра ... если вспомните телефон и имя». Он вспомнил, конечно, но не позвонил — испугался, как мальчишка. Годы спустя он прочитал у Фрейда о мужском страхе перед женским совершенством. А тогда ... нет, это был даже не страх: будто нечто большее и сильнее его шепнуло: «Не надо!» — и он послушался.

Влад медленно набирал 123456, думая, что он полный идиот — и номера давно уж не шестизначные, и столько лет. Отвыкший палец с трудом попадал в дырочку над нужной цифрой, а аппарат жужжал, возвращая диск на место и ожидая следующего попадания в нужное отверстие. Гудок, гудок, гудок — и трубку сняли. Влад опешил — тот же голос: «Слушаю». Он стал говорить что-то, как и тогда, глупое, мол, не туда, наверное, попал, но давайте поговорим немного. Она спросила — кто это, и он сказал: «Угадай». Пауза была бесконечно долгой — как падение в детстве со стула, а потом раздалось: «Володя? Вы ... запомнили?». «Да, — ответил он, — я помню, мне жаль, что я тогда не позвонил, я долго был далеко, как вы посмотрите на то, чтобы встретиться теперь?» Он выпалил все это, не особенно задумываясь — слова шли сами, он слышал себя как бы со стороны, и вечный его внутренний циник съехидничал — что, в Долину Розовых Одуванчиков потянуло?

Она отозвалась не сразу. «Вы где? Да, да, знаю, конечно, знаю, я заеду за вами через два часа, ждите внизу». Влад обалдело слушал гудки — она повесила трубку, не дожидаясь его «да». Чудеса в решете — вспомнил он бабушкины слова. Приключения на стороне его никогда особенно не привлекали, во всяком случае, не был он таким ходяком, как многие его друзья, подшучивавшие над ним — тяжело жить, Влад, с геном моногамности в крови? Романтиком тоже не

был, скорее — прагматиком. И что происходит с ним сейчас — категорически не понимал. Мягкий нежный комок тепло шевельнулся в груди, как когда-то при виде новорожденных детей, которых хотелось взять на руки и боязно было, такие они незащищенные и хрупкие. Влад всегда старался держать этого зверька в норке и не выпускать наружу — привык жить в жестком мире по жестким правилам, где «чужаки» делают уязвимым. А может быть, в отца пошел — из того тоже всю жизнь ничего такого не вытянуть было, оставалось лишь угадывать.

Перекусив в гостиничном буфете, за полчаса до назначенного времени он был внизу. Осмотревшись в безлюдном маленьком холле, вышел на улицу. Ни дождь, ни снег — что-то очень по-питерски неопределенное сеяло сверху. Поднял воротник плаща и надвинул на брови кепарь, купленный на одной из боковых улочек, уходящих от Бродвея в иную — многоязычно галдящую, шумную, небезопасную жизнь, где копы не улыбаются прохожим при встрече и, кажется, не снимают руки с кобуры. Постоял на крыльце, закурил и тут же перехватил сигарету в кулак — от сыпавшейся с серых небес влажной манки. Перешел улицу и подошел к киоску. Ба, знакомый ассортимент дешевой нью-йоркской лавчонки. Но рублевые цены смотрелись пугающе. Только пиво — «Балтика» с номерами — да ужасной расцветки бутылки с названием «Коктейль Молотова» — свои, остальное — дешевый Запад в ассортименте. «Балтика № 6. Портер», — прочитал Влад и вспомнил бабушку. Когда одно время «Портер» был в продаже, она любила время от времени выпить чашечку подслащенного, как чай, пива, а Владу нравилась портеровская горчинка, и он не мог даже попросить бабушкино сладкое пойло. Он повернулся, чтобы вернуться в гостиницу, и перед глазами на фоне низкого затянутого неба взметнулся, протыкая тучи, купол храма — название вертелось в голове, но не давалось языку. Перешел улочку, поднялся на крыльцо, но заходить внутрь не хотелось, и он снова закурил. Задумался и спохватился, лишь когда хлопнула дверца «Жигулей», и от них отделилась женская фигура.

В походке было что-то от балерины — носки врозь. Сыпавшаяся с неба слякоть как будто облетала фигуру, не прикасаясь. Влад, как мальчишка при виде учителя, отщелкнул за спиной сигарету в сторону, подался навстречу и чуть не загремел со ступенек.

— Осторожнее, Володя!

— Да уж, надо бы! Здравствуйте, Лина.

— Здравствуйте, наконец, Володя!

Словно они век знали друг друга и простились только вчера.

— Ну что, Володя, поехали — покажу вам Питер. Он изменился, а вы, небось, соскучились.

Она повернулась к «Жигулям».

— Может быть, я поведу?

— Да нет, Володя, это вам не Америка.

— Почему Америка?

— Господи, да у вас же интонации американские.

Она улыбнулась, открывая машину. Это был жигуленок-единичка — такой, как был у Влада до отъезда, и такого же необычно-зеленого — как изнанка непроявленной пленки 6х6 — цвета. Не слишком ли много совпадений? — подумал Влад, садясь в машину, и запнулся — с торпеды на него смотрел компас, который пода-рил вернувшийся из загранкомандировки шеф, высту-

павший с сообщением Влада на конференции. Не может быть! Влад потрогал компас – он был приделан намертво. Еще бы – стяннутый на работе вечный клей, которым любивший, как все мужчины, игрушки Влад присобачил компас на века. Лина со спокойным любопытством смотрела на него. «Тут в бардачке когда-то жил бронзовый пес» – услышал он свой охрипший голос, и в ответ: «Он и сейчас там – возьмите». Не веря своим глазам и ушам, Влад открыл бардачок – в нем не было ничего, кроме забившегося в уголок пса, который как будто прыгнул в протянутую руку и улегся в ней.

- Я оставил его, когда продавал машину. Покупатель оказался очень симпатичным парнем, а пса таможня бы ни за что не пропустила – культурное достояние. Жалко было – мой многолетний талисман, но оставил парню на счастье. А у вас машина давно, как она к вам попала?

- Этот парень – мой муж, и машина с тех пор у нас. Муж хотел собаку домой взять, а я уговорила оставить в машине – пусть охраняет. И знаете, за все годы – ни одной аварии. Теперь пес вернулся к вам – оставьте.

- Что вы, что вы, – засуетился Влад, – он уже к вам привык, а меня забыл (пес дернулся в ладони и как будто заскулил).

- Оставьте, Володя. Нам собака послужила, а машину мы завтра продаем. Оставьте, мне это будет приятно.

Влад разжал ладонь и посмотрел на пса. Тот был явно доволен.

- Вот и славно. Поехали. Куда вы хотите? Да, у нас есть часа четыре, не больше пяти. Сначала – куда вы хотите, а потом я хочу пригласить вас в один ресторанчик ...

Влад дернулся.

- Да не волнуйтесь, Володя. На ваше рыцарское достоинство я не посягаю, тем более, что вы – богатенький дядя Джо. Знаете, рестораны и кафе растут, как грибы хорошим летом. Вы наверняка предложите мне что-то из того, что помните, а я это все не люблю еще с тех времен, когда микрофонов под столом было больше, чем посадочных мест. Так куда?

Они уже выезжали на Московский.

- На Бородинку. Знаете?

- Стыдно, но нет. А где это?

- По Московскому до Загородного, направо мимо Витебского до Звенигородской и сразу налево.

О, да, она умела слушать. И не только слушать, но и разговаривать, оставаясь при этом в тени. Влад рассказывал о своей американской жизни и, стараясь не пялиться, разглядывал ее лицо. Возраст не определить. Он вспомнил, как на встрече выпускников Димка шепнул ему: «Ты посмотри, какие тетки! А какие были девчонки! Неужели и мы ...». Нет, не тетка – женщина. Ничего необычного. Только черты прорисованы мягко, но строго. Легкий восточный акцент разреза глаз. Девчачьи островатые скулы. Неожиданно строгая при полных губах линия рта. В серых с прозеленью глазах прыгают смешинки, но взгляд – как в рамке прицела, острый и точный. Косметики, пересол в которой Влада всегда отталкивал, вызывая брезгливость, очень немного. Волосы ... ну, кто сегодня возьмется угадать истинный цвет женских волос? «Хороший парикмахер, – отметил Влад, – уши не торчат из прически». А в общем, ничего особенного ... до тех

пор, пока не начинал звучать ее голос – как будто зажигается внутренний свет, и в нем лицо обретает свои истинные черты.

Удивительно, но слушая свой рассказ, Влад понял, что его представления о себе и этом большом куске времени никогда раньше не выстраивались в такой ряд. Он увидел свою жизнь без шелухи и подумал, что, может быть, из-под шелухи этой он и пытался вылезти, затеяв поездку. Пес согрелся в ладони и терся лбом об основание большого пальца.

Сталинские дома на Московском остались позади, впереди справа серел кубический Московский универмаг, но когда поравнялись с ним, он оказался похожим на заколоченный дом. Вот и Техноложка. Повернули к Витебскому. Тут у Влада первый раз со вчерашнего вечера что-то екнуло и заняло в груди. Когда свернули на Бородинку, он предложил: «Давайте пройдемся, если вас погода не пугает». Около школы ни одного дерева – печальная и сиротливая лысина прошлого. Дошли почти до Фонтанки – молча. Два дома-близнеца. Свернули во двор. Питерский колодец, каких тысячи. Но этот – один. Влад поднял голову и, не отсчитывая этажи, нашел свое окно: «А что, если мы поднимемся?» – спросил он. Она молча кивнула, вышли со двора, направо и вошли в подъезд. Та же кафельная заброшенная дворницкая печка, не топившаяся с незапамятных, дореволюционных, наверно, времен. На стене выставка грязных полуразломанных почтовых ящиков. Лифтовая клетка старая, а лифт в ней новый. Шестой этаж. Широкая площадка с огромными окнами по бокам, в верхних створках которых застряли одинокие кусочки когда-то красивой оконной мозаики. Влад сел на подоконник, собрался было закурить, но тут же вскочил: «Садитесь», – и понял, что сморозил глупость – было грязно, как и тогда. Кажется, прошла вечность. Но она достала из сумки газету – Влад заметил незнакомое название «Час Пик», широко постелила на подоконник и села. Он присел рядом: «Полжизни здесь ... давайте зайдем. Странно это – встретиться вот так, чудом, впервые и таскать вас по грязным углам. Но все-таки ... мне именно с вами хочется зайти». Она опять молча кивнула. Кнопка долго и туго упиралась, но в конце концов из недр квартиры раздался хрипло-одышливый – тот самый – звонок, а еще минут через пять – едва слышное пошаркивание, потом старческий голос: «Кто там?». Влад был уверен, что она давно умерла. Сколько же ей теперь – 95, 98? «Это Володя, Лидия Борисовна», – пересохшими губами произнес он. И наконец, звякнув откидываемым толстым и длинным крюком, всхлипнув замком, дверь открылась в освещенную соороковатткой прихожую с дверью в его бывшую комнату справа и теряющимся в бесконечной темноте узким коридором – прямо. Влад и сейчас мог бы пройти по нему без света, не задевая стен. Пергаментная старческая фигурка вдруг покачнулась, едва не упав, но удержавшись на его протянутой руке: «Владичка?!» – она была почти невесома ...

Когда они вышли на улицу, крупными хлопьями валил снег, из которого, казалось, сейчас возникнут Дед Мороз со Снегурочкой. Под ногами почавкивало и похлябывало, а Влад покосился на Линыны сапожки, но промолчал.

- Вы здесь долго прожили, Володя?

- Вечность ... кажется, вечность. Лет с двух. С перерывами. Вы простите, что затащил вас.

- Да нет, это хорошо даже. Мы уезжаем, и я подумала, как через несколько лет зайду в свою квартиру. Грустно ...

- А вы ... далеко ли?

Оказалось, в Японию. Они с мужем японисты, его пригласили в университет, а ей предложили место переводчика в крупной электронной фирме, хотя лучше бы что-нибудь гуманитарное. И как будто угадав его мысли: «Думаете – останемся? Едва ли. А впрочем, мужа в этом университет знают и любят ... Может быть ...». Дошли до Загородного, повернули налево. Магазин, кафешка, глазная поликлиника – все на месте. А вот и «Правда», куда в кино с уроков убегали. Но нет, вывеска «Jazz Philharmonic Hall».

- Помните Давида Голощекина? Его детище. Найдите время заглянуть. Лучше на второй этаж – на джазовую скрипку или джазовый орган. Да, вот завтра как раз вечер джазовой скрипки.

- Ну, если с вами ...

- Нет, Володя, послезавтра мы должны быть в Москве – документы наши там оформляются. А сейчас (она взглянула на часы) поехали. В Америке рестораны неплохие, но этот, уверяю вас, лучше.

Только теперь, когда за окошком замелькали знакомые места центра, Влад окончательно почувствовал себя в Питере – одновременно том же и очень изменившемся. Церковь на Владимирской, когда-то бывшая складом, снова оказалась церковью. Старого дома напротив не было, а в глубине образовавшегося проема мелькнула станция метро. Подъехали к «Сайгону» со слепыми заколоченными витринами и повернули налево по Невскому – к Дворцовой.

- А что «Сайгон»? Тоже перелицовывают?

- «Сайгон» давно умер. Открыли в другом месте, но туда даже заходить не хочется – это уже не то. При нас тоже было не то, что раньше – один из приятелей мужа был среди пионеров, когда еще Довлатов заглядывал сюда на чашечку коньяка и рюмку кофе – он много рассказывал. Но и нам все-таки кусочек настоящего достался. А в новый – нет, не хочется.

Некоторое время они ехали молча. Влад с интересом разглядывал мелькавший за окнами Невский. Узнавал и не узнавал. Чище. Ярче. Люди одеты совсем иначе. Появились подземные переходы. Между Думой и Гостиным вместо старинного складского здания, тянувшегося на всю улочку, остался только портик, на котором красовалось: «Театральные кассы». Знакомое едва не до слез и уже не свое, хотя и не вовсе чужое.

- Что, не узнаете?

Влад встрепенулся:

- Простите, Лина, унесло куда-то. А что вы подумали, когда я вам тогда полночь позвонил и голову морочил?

- Откровенно?

- Если хотите и можете, то – да.

- Глупость подумала – что давно вас знаю. Впрочем, я с тех пор не поумнела – мне и сейчас так кажется. А тогда я еще подумала, что вы больше не позвоните.

- Честно говоря, я не надеялся ни дозвониться, ни застать вас все там же. Столько лет ...

- Да, немало. Тогда еще мои родители были живы. Мама – это она взяла трубку, сказала, что звонить в

час ночи – наглость, конечно, но по голосу, вроде, приличный человек ...

«Голос бывает обманчив» – чуть не сорвалось у Влада, но сзади вдруг раздалось: «Дурак ты, однако». Влад оглянулся – пес сидел сзади и ел вишни из пакета, аккуратно сплевывая косточки в пустую пачку от «Беломора». Влад разжал ладонь – пусто. Пес ухмыльнулся: «Я ж говорю – дурак», – достал из пачки с косточками сигару и вальяжно раскурил. «Азazelло и Бегемота здесь только и нехватает» – подумал Влад, но пес вдруг снова оказался в ладони.

- ... Вы опять куда-то пропали.

- Простите, Лина, перелет, столько лет ... я и сегодня, как тогда, позвонил вам для себя самого совершенно неожиданно ... как будто во сне ...

- А вы во сне и есть.

Влад посмотрел на нее. Ни тени улыбки. Взглянул в окно. Вроде, набережная, но канала Грибоедова, Мойки, Фонтанки – он не понимал.

- Где мы?

- Мы уже приехали.

Снег ложился под ноги, на подоконники домов, мгновенно укрыл машину белой шапкой. Влад хотел было, прочесть название улицы под номером дома и название ресторана, но все было скрыто падавшей с серого неба белизной. Поднявшись по нескольким ступенькам, они вошли. Небольшой – столик на двадцать – зал. На стенах и стойках вещи, которых он уже вечность не видел – примус, керосиновая лампа, черный раструб громкоговорителя, часы с кукушкой, патефон, плакат «Ты записался добровольцем?», пара фикусов ... и огромная хрустальная люстра, которая украсила бы концертный зал. Заняты всего несколько столиков.

Они сели за столик в углу около единственного окна. Влад посадил пса на стол и поднял глаза на Лину. Сейчас уже можно было не прятать взгляд, как пятиклассник, и он подумал, что именно так он представлял себе Нефертити и Мону Лизу до того, как увидел их – Нефертити в виде гипсового, тонированного грифелем простого карандаша слепка, Мону Лизу – на репродукции, а потом в Лувре. Обе его разочаровали своей непохожестью на его представление, которое теперь сидело напротив и придвигало к нему меню.

- Знаете, Володя, я голодна. И если честно – озябла немного. Что если так – немного водки, рыжики, уха и поджарка с грибами? Не удивляйтесь – я понимаю, что все это по нынешним вкусам, как говорят, не катит, но, во-первых, ломаться перед вами совершенно не хочу, а во-вторых, все это здесь просто великолепно. Так как?

«Чертовщина какая-то, – подумал Влад, – я сто лет этого хочу. Она что – мысли читает?» и молча кивнул, не отрывая взгляда от ее лица. Первый раз за много лет, если не за всю жизнь, он чувствовал себя на своем месте в этом мире и всем существом понимал Кастанеду: «Простой акт сидения на своем месте создает высшую силу». Свет переливался бесконечным множеством никогда не виденных им цветовых оттенков, и только между ним и сидящей напротив него женщиной оставался сияюще-прозрачный световой коридор. Мысли освободились от слов, став легкими и ясными. Сова, сидевшая на плече официанта – самого официанта не было, в воздухе плавали только его плечи и

руки – подмигнула Владу, сказала: «А и Б сидели на трубе» - и опять подмигнула.

На столе тем временем появился поднос с хлебом и другой – небольшой – с лежащими бородкой вверх свежими рыжиками и деревянной солонкой с крупной солью. Лина слегка присолила бородки рыжиков и кивнула на хлеб: «Попробуйте». Влад вдруг ощутил его запах – тот самый запах из детства – и почувствовал вкус хлеба прежде, чем успел протянуть к нему руку. Свет, касаясь хлеба, обретал голос – тихий, едва-едва различимый, но щемяще знакомый. Так когда-то звучала осенняя паутина в лесу под прикосновениями воздуха. Влад отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и услышал голос Лины: «Ты помнишь!», но губы ее при этом не шевельнулись и даже не дрогнули. Он хотел сказать: «Да», но кукушка начала отсчитывать время. Под ее кукование на столе возник запотевший графинчик, соль на рыжиках влажно засеребрилась ...

Пес вдруг спрыгнул со стола и встал рядом с Линой. Шерсть у него на загривке вздыбилась, он зарычал и изготовился к прыжку, но внезапно жалобно заскулил и забился под стол. Из-за соседнего столика раздался срывающийся в крик голос директора школы – Пипина Короткого: «Кар-га-нов! Сядь – но ровно сядь!». Из огромной кастрюли между столами выглянула стерлядь, прищурилась, брезгливо проворчала: «Гибермо! Дармоедские мор-р-рды! Жаль расходовать на пар-разитские морды!» - и нырнула обратно, обрызгав всех горячей ухой. На стойку бара вскочила какая-то девица, отряхнулась по-собачьи от ухи и превратилась в плохо ошипанную курицу со свернутой башкой. Похотливо дурнув ножкой Буша, она задергалась в шаманской сдержке под несущуюся из черной тарелки громкоговорителя музыку и, угрожающе глядя на Владу, заорала: «Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней, слишком много мужчин и женщин стали сдуру гонять за ней». Невесть откуда взявшаяся древняя старушонка с розовой авоськой понеслась к ней с воплем: «Почем синяя птица?!» Ангел в камуфляжной форме, насивистывая «Чижик-пыжик», прицелился в старушонку из гранатомета и нажал спуск. Из ствола вылетела точка и полетела в сторону Владу, стремительно разрастаясь в огромный ком пыли, ударивший ему в лицо ... дыхание остановилось ... в гложущем сознании затихало: «... сдуру гонять за ней», а надо всем этим медленно таяло в воздухе светящееся лицо Лины ... «Раз, два, три, четыре, пять» - весело прокричала кукушка. «Шесть» - отозвался злым шипом тупой иглы патефон. Все погасло. На лоб легла мягкая рука ...

Влад медленно открыл глаза. Тело было наполнено матовой приглушенной болью – не пошевелиться. Он осторожно повел глазами. Сквозь жалюзи пробивались бледные полоски света. Женский голос произнес: “My name is Lynn”. Влад потянулся к нему взглядом и попытался спросить, где он, но не смог, а она приложила палец к губам и улыбнулась. Рядом с ней возникла другая: “I am Lisa Mone. I am your physician”.

Жена настояла на том, чтобы он взял накопившиеся отпускные – искусственный клапан как никак, шеф не возражал, и Влад погрузился, как он сказал бы раньше, в обломовщину. Ему было спокойно и хорошо. Что-то в душе, что раньше не давало ему покоя, встало на свое место. Он не делал никаких усилий, не

строил планов – все происходило само собой, как будто он плыл в спокойном и мощном потоке, сам будучи этим потоком.

В один из дней он сидел на бэк-ярде и наблюдал за возней двух белок, когда вдруг зазвонил телефон. «Может быть, дверь откроешь наконец, черт старый» - раздалось в трубке. Сашка! За все годы жизни в Америке они ни разу не виделись, иногда лишь перезваниваясь. Пока Влад шел к двери, в сознании пронеслось все. Как они, пятилетки сопливые, открыли в дворовой драке свою дружбу. Как поступали в институт и познакомились с какой-то бойкой девахой, которую часами выгуливали по Питеру – потом оказалось, что обоим она раздражала, но как же не поддержать друга, не помочь? Как готовились к сессиям у Влада дома и спали валетом на узком диване. Как ... Сашка стоял на пороге – малость погрузневший, с короткой стрижкой вместо былой шевелюры, в очках, но все тот же Сашка. «Жисть, – сказал он, – она такая ... сюка. Если бы Маринка не позвонила, ты бы так и сидел здесь бирюком, черт старый. Давай, показывай, как живешь, буржуин, а главное, где тут у вас кухня».

Он прошел за Владом, достал из сумки несколько бутылок – «Сам гоню» - и сунул их в морозильник. Бросил в раковину пару рыбин – «Из последнего, для тебя, черта, члова». Положил на доску кусок говядины – «Небось, забыли на своей Нью-Йоркшине, как мясо настоящее выглядит». И наконец, явно наслаждаясь предвкушением эффекта, небольшую корзинку с грибами: «Тарелку давай!» - выбрал из корзинки с полдюжины рыжиков и разложил бородками вверх, присолил из сумки появившейся крупной солью, хмыкнул удовлетворенно и добавил: «В душ хочу!». Вернулся шумный, мокроголовый, достал из морозильника бутылку: «Если нельзя, но очень хочется, то нужно. А перец сладкий у вас есть в доме?». Ловко срезал попки у перчин, вытряхнул зерна, налил: «Помнишь, как мы в лесу пили? Ну, давай – Бог с нами и хрен с ними!». Они выпили и молитвенно захрустели рыжиками. «Хорошо? – сказал Сашка – То-то же! Говорил тебе, перебирайтесь ко мне в Калифорнию. А теперь так – еще по единой и будем ушицу варить и скобянку с грибочками творить, а то Маринка придет, а у нас голяк. А ты рассказывай. Да, вот еще» - и он достал из сумки круглую пахучую буханку черного хлеба. «Из Питера?» - улыбнулся Влад. «Дурак ты, однако, - сказал Сашка, - в Питере уже сто лет такого нет. Все твердишь-твердишь тебе – не мы там, где жизнь, а жизнь там, где мы. Ну, рассказывай ...». «Как будто во сне» - подумал Влад, и голос Лины ответил: «А вы во сне и есть».

## ЯН ГАМАРНИК

### ВСЁ, ЧТО КОГДА-НИБУДЬ БУДЕТ

— Серый, с ума сошёл! Нас мент на радар поймает! Тормози!

— Не поймает!

Стрелка на спидометре замирает на отметке 120 и ползёт дальше.

— Ни хрена не поймает! А поймает — не догонит! — Серёга ухмыляется. — Да и что мне канадский

мент делает? — стрелка подползает к 160. — Канадский мент — добрый!

Дорога прямая как из учебника по геометрии за пятый класс. А на обочине ни домов, ни деревьев. Плоская тундра, серая внизу, голубая сверху, и трасса, как пробор на земле.

— Давай! Давай! Давай! — Серый кричит и давит на газ.

— Убьемся — говорит Антон.

— Это ты убьешься. А я вознесусь!

Справа и слева метеоритами пролетают обгоняемые машины. Стрелка на спидометре упирается в 180, и ещё дальше в предзакатное солнце где-то по правую руку и чуть впереди. Детали на обочине сливаются в одно колышущееся голубое марево.

— Взлетаем! — орёт Сергей. — Давай! Давай! Давай!

Но почему-то голос слабеет и отдаляется, уходит куда-то вправо, туда, где солнце, и это уже не «давай-давай», а лишь его слабое подобие, какое-то невнятное «авай-авай», да и солнце уже больше не солнце, а ночник где-то справа, на полу, и этот ночник никак не ужомонится, и всё твердит своё «авай... авай... авай...».

— Серёжа, вставай! Вставай, слышишь! Вставай, на работу опоздаешь!

Света трясёт мужа, и тот стонет, не открывая глаз:

— Который час?

— Половина седьмого уже. Тебе пора.

— А разве сегодня не воскресенье? — Сергей ещё цепляется за соломинку.

— Вторник уже! Забыл?

Да, точно. Вторник. Вчера ведь на работе сидел на еженедельной летучке. За круглым столом короля Ар... зам. директора по вопросам финансов и развития Роберта Гризли. А уж какое славное вчера было развитие «по часовой стрелке»: «А ты над чем работаешь? Так, хорошо. А ты, Джон? Замечательно. Теперь ты, Пола. Великолечно. Просто здорово! Мы все работаем дружно, одной сплочённой командой. И это очень важно — работать одной командой. Потому, что в сегодняшнем непростом конкурентном мире...».

Сергей открывает глаза и встаёт с кровати. За окном ещё чёрное небо и оттуда кто-то безжалостно солит несчастную землю снегом. Вторник.

— Господи, когда же эта зима кончится, — вздыхает Света. — Я тут недавно по телевизору видела, один дядечка объяснял: есть такая точка особенная — «эклиптика», что ли... Вот, как Солнце туда попадает, в эту точку, так сразу и начало весны... Правда, Серёжа?

— Наверно, — бормочет тот, полупроваливаясь в сон. — Солнце..., оно... — Серёгина голова соприкасается с чёрным оконным стеклом. — Ух, чёрт, холодное, зараза! Да, весна... это обязательно... А, вообще, не знаю... и точка... эклиптика...

Серёга бредёт в душ. Начало весны.

На самом деле весна начинается не так. Зимой, вечером, после работы, когда пересекаешь окружную дорогу, и городские фонари остаются позади, чёрная бездна глотает твою машину и ты благодаришь Господа и инженеров, установивших в автомобиле «дальний свет». Но однажды, в какой-нибудь всеми забытый вторник, выезжая из города, и уже приготовившись к борьбе с этой чёрной бездной, вдруг попадаешь в синий мир. Сумерки придвигают к тебе синий горизонт, и всё далёкое становится близким: протяни

руку — и возьмёшь. Это первая примета весны. Есть и ещё одна.

Когда в без пяти минут полночь, услышишь как отъезжает от остановки последний автобус, не торопись засыпать, подожди немного, и если, через некоторое время раздастся звонкое «цок-цок-цок», стук высоких каблучков по асфальту, значит скоро весна, и можно празднично болтаться, празднично шататься где-нибудь до утра.

— Серёжа, — Света стучит в дверь ванной, — Серёжа, заberi сегодня, пожалуйста, Саньку из школы. Ты же знаешь, сегодня вторник, я не могу, у меня репетиция.

— Ладно, — доносится из-за двери.

«Вот ведь, всегда так, — злится Серёга, — только наметишь для себя что-то, только соберёшься это сделать, и тут, на тебе, «заberi Саньку», всю неделю ждал, а теперь «заberi Саньку», а ведь сегодня вторник, а это значит, что сегодня...».

«Счастливым день».

Серёгина зубная щётка замирает между челюстями и нелепо торчит как неначатая сигарета. Послышалось, что ли?

«Сегодня — счастливый день».

— Светка! Ты что-то сказала?! — орёт Сергей из ванной.

— Я говорю, Саньку заberi из школы сегодня.

Дверь в ванную открывается и... ничего интересного, голый двадцативосьмилетний мужчина смотрит на свою жену.

— И это всё? Больше ты ничего не сказала?

— Нет. Но если ты не против, забеги ещё на почту, отправь Ольке посылку в Питер, а то уже целый месяц тут лежит, всё забываю и забываю.

— Хорошо, отправлю, — бормочет Серёга.

И надо же, чтобы такая глупость прислышалась: «счастливый день». Не может быть счастливым такой огромный промежуток времени как целый день. Не длится счастье так долго, даже полдня не длится, даже четверть дня... Прошлым летом, по дороге на Торонто, когда Светка была за рулём, и они как раз только-только проехали Сиракузы, и дорога вдруг опустела, и вечер вдруг навалился на холмы по правую руку, и на озеро слева, тогда Серёга сказал: «Останови на минутку». «Зачем?» — удивилась Света, но остановила машину. Если бы Серёга всегда говорил только правду, он бы ответил, что остановиться совершенно необходимо, иначе не увидишь, как сосны на холме из последних сил сдерживают голубую крышку земного гроба, пока та не рухнула вниз, и не вдавила всех в серое бытие. И что поэтому, совершенно непростительно называть эти чудесные сосны грубым словом «лес». «Зачем?» — повторила Света. «Спина заболела» — соврал Серёга. Они остановились. Было 7:32 вечера. В 7:34 Серёга сказал: «Едем».

— Ой, Серёжа, представляешь, мне такой странный сон приснился, — Светка наблюдает как муж одевается. — Будто ты играешь на волынке, а я смотрю на тебя с огромной высоты издалека, и это даже не просто высота, а самая верхняя палуба огромного океанского лайнера, и этот теплоход отплывает, а ты стоишь на берегу и играешь шотландскую мелодию, а за тобой пристань и городок, всего несколько улиц, и все они такие маленькие, как на макете, потому, что уже дале-



ко, и тебя не видно, только волюнка играет, а потом корабль уходит в океан и я плачу...

— Поменьше мыльных опер на ночь смотри, — Серёга причёсывается. — Тогда и глупости снятся не будут.

— Какой же ты... — Светка ищет верное слово, подходит его, но тут же заменяет его на менее резкое. — Какой же ты грубый! Вот!

— Таким родился. — Серёга надевает рубашку.

У Светки по этому поводу особое мнение, но она молчит и смотрит как Серёга жарит яичницу. Потом она смотрит, как Серёга завтракает, потом ей надоедает молчать и она произносит:

— Серёжа...

— Чего?

— А тебе что-нибудь снилось этой ночью?

— Да.

— Расскажи!

— Мне приснилось будто я выиграл в лотерею сорок миллионов. — Серёга смотрит на себя в зеркало, поправляет галстук...

— Врёшь, ведь...

— Вру. Я даже во сне не выигрываю.

«Неудачник», — думает Светка.

«Не везёт», — думает Серёга.

— Да... — мечтает Светка. — Сорок миллионов в хозяйстве пригодились бы... А ты Бога попроси, помолись. Вдруг услышит и мы выиграем.

— Я бы помолился, — Серёга открывает входную дверь, — если б знал, что это именно он лотереей заведует. Ну всё, пока. Чао!

— Пока. Про посылку не забудь.

— Ладно.

«Помолись», — вспоминает Сергей, вырубив на шоссе. Но вместо слов молитвы вдруг посыпалась в голову всякая ерунда. Привиделось Серёге, будто пишет он заявление на Божье имя. И даже увидел Серёга первую строку на бумаге: «Дорогой Бог!». Нет, так не годится. А вдруг, Бог — женщина? И вот появляется новая строка: «Дорогой Бог или Богиня! Убедительно прошу Вашего разрешения на выигрыш сорока миллионов. С уважением, Сергей Опаринцев».

— Эй, куда прёшь, придурок! — из соседней полосы наезжает огромная харя на «бронзовом» Мерседесе. — Разуй глаза!

Мерседес пролетает вперёд. На его бампере табличка: «Иисус помнит о тебе».

Только через полчаса Серёга добрался, наконец, до работы.

В современных офисах люди делятся на две категории: на тех, кто работает, и на тех, кто говорит, что работает. Первые нагружают работой электронную почту и телефон, вторые — голосовые связи. Любимое место первых — собственный рабочий стол, вторых — рабочий стол соседа. Первые отгораживаются от мира компьютерным экраном, вторые познают мир в коридорах и курилках. Но сегодня утром вдруг все перебежали во вторую категорию — не работал никто.

— Слышал новость? — подскочил Джон к Серёге, как только тот переступил порог здания. — Общее собрание сегодня. В 9:30. Явка обязательна.

Джон улыбается как древнегреческая маска Комедии с пустыми глазами.

— Очередная промывка мозгов на тему «давайте дружно работать», — предположил Антон.

— Ты не понимаешь, Тони, всей серьёзности момента, — Джон меняет маску с Комедии на Трагедию. — Общее собрание, обычно, не назначают «сегодня на сегодня», его планируют заранее, и извещают о нём тоже заранее, а если не извещают, то...

— То что? — подхватил Серёга. — Бить будут?

— Бить не будут, а совсем наоборот: очень вежливо попросят уйти.

— Хватит панику разводить, — сердится Кэти. — И без вас тошно.

— Да, я и не развожу панику, — Джон нелепо водит руками вдоль боков, ища карманы, но их там нет и он снова и снова ищет их там, проваливаясь пальцами в пустоту. — Чего мне бояться? Меня семь раз увольняли, одним разом больше, одним меньше...

— Джон, расскажи как тебя в самый-самый первый раз увольняли, — просит Пола.

— Правда, расскажи, Джон, — смеётся Серёга. — Поделись с коллективом.

— Это ж когда было, — вспоминает Джон. — Лет тридцать тому назад. Мне тогда было пятнадцать и работал я тогда... правильно в Макдональдсе! Ух как нас тогда гоняли в три шеи, теперь так не гоняют, теперь обленились, а может, судебных исков бояться... Да, так вот... Бегал я от нарезки к расфасовке, от расфасовки к клиенту, от клиента к швабре... Всяко было... И вот однажды, раскладывал я котлеты по бутербродам, да и выронил одну на пол. Очень я испугался, менеджер у меня тогда был — зверь! За соринку загрыз бы. А тут огромная котлета! Ну, я эту котлету быстренько с пола поднял и обратно в бутерброд вложил. Оглянулся — всё тихо. Слава Богу, думаю, пронесло! Только взялся за новый бутерброд — менеджер тут как тут! «Ешь!» — говорит. Я сначала не понял, чего он хочет, стою и смотрю на него, а он: «Ешь или убирайся!» Достал ту самую котлету, которую я выронил, и говорит: «Или ты её сейчас съешь, или пошёл вон отсюда, и чтоб я тебя никогда здесь больше не видел!» Вот, так меня и уволили. Пятнадцать лет мне тогда было. Теперь всё не так... теперь я бы эту котлету съел.

Тем временем, Сергей открыл свой электронный почтовый ящик и прочитал следующее:

«Совет директоров постановил провести общее собрание сотрудников нашей компании сегодня в 9:30 утра. Явка обязательна. Ввиду того, что мы не располагаем достаточным помещением для сбора всех сотрудников в одном месте, было принято решение разделить персонал на две части и провести собрание одновременно в двух местах — в комнате номер восемь и в комнате номер три. Пожалуйста ознакомьтесь с прилагающимся списком фамилий для комнат номер восемь и три. Ждём вас в 9:30».

— Тебя куда засунули, в восьмую или в третью? — спросил Джон Серёгу.

— В восьмую.

— Меня тоже, — почему-то обрадовался Джон, — и тут же добавил, — А тебя, Тони?

Антон не ответил, встал из-за стола, подошёл к окну и стал смотреть, как где-то далеко внизу, на безразличной ко всему серой улице, ползёт от дома к дому мусоросборочная машина.

Антону выпала комната номер три.

А ровно в 9:30 в комнату номер восемь вошёл сам Роберт Гризли, стройный и сияющий, ароматный и

гладковыбритый, гроза и гордость компании, её душа и накачанное тело.

— Друзья мои! — начал он. — Я так рад, что мы всё ещё вместе в эти трудные, непростые для нашей компании времена. Ни для кого не секрет, что в современном мире жёсткой конкуренции выживает сильнейший. И наша компания должна быть этим сильнейшим, и она им будет! Друзья мои, чтобы быть сильнейшим на теле не должно быть ни одной жиринки, ничего лишнего, никакого балласта! Надо безжалостно срезать весь балласт!!! Да, это тяжело друзья мои... Особенно тяжело тем, кто в комнате номер три — сегодня их увольняют. Но мы с вами — остаёмся! Мы — мышцы компании! И мы сделаем её сильнейшей!!! А теперь, вы можете идти домой, приходите завтра на работу в обычное время.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло, — размышляет Серёга. — Есть время на почту забежать, посылку отправить, и заодно, Саньку заберу из школы пораньше». Но, как назло, на почте посылки принимали только два работника, видно, остальные были на больничном, да и те двое, кто принимал, постоянно выуживали откуда-то из-под прилавка одноразовые салфетки и терли ими распухшие носы.

Очередь двинулась.

— Следующий! Кто следующий? — выкрикивал почтовый работник и ставил на посылку штамп.

— Следующий! Фамилия? — учительница смотрит на Серёгу сквозь открытое окно машины и не может узнать. И не удивительно — обычно Саньку из школы забирает мама.

— Фамилия? — переспрашивает учительница.

— Опаринцев. Александр Опаринцев.

— Алекс! — учительница машет рукой. — Алекс, за тобой приехали!

Санька волочит за собой тяжеленный портфель. Ручка у портфеля оборвана и висит на тоненьком кушочке материи.

— Алекс, поторапливайся, человек тебя ждёт. Кто он тебе? Ты его знаешь? — учительница начеку.

— Это мой папа.

— Хорошо, тогда до завтра. Всего хорошего, господин Опаринцев, — это уже Серёге.

— Что с портфелем? — спросил Серёга когда они отъехали.

— Случайно порвался. Мы со Стивеном его тянули в разные стороны. Он его забрать хотел, а я не давал.

— Понятно. Что ещё?

— Всё. Больше ничего.

— Ничего, — бурчит Серёга, — такую крепкую материю порвать! Сильны вы со Стивеном!

— Точно, материю! — Санька вспоминает. — Со всем забыл! У нас новый учитель! Будет нас учить разным точным наукам. Физикам! Он тоже так говорил — материя! Или похоже...

— Как его зовут?

— Господин Свенсон.

— Строгий?

— Не очень. Немножко. Ирма его не слушала и шепталась с Линдой, а он и говорит: «Ирма, будешь шептаться, я тебе такое большое домашнее задание дам — будешь всё воскресенье его делать». А Ирма: «А вот и не буду! Мы в воскресенье утром всегда в церковь идём. А вы разве не ходите?»

— А что господин Свенсон?

— А он сказал: «Нет. Не хожу». А Ирма говорит: «Только плохие люди не ходят в церковь. Мне так мама сказала». А потом господин Свенсон сказал, что он не ходит в церковь не потому, что он плохой, а потому, что он верит не в Бога.

— А во что он верит?

— В Космос. Он даже на доске предложение написал, и сказал, кто хочет, может переписать. Я переписал. Сейчас найду.

Санька роется в разорванном портфеле.

— Вот, нашёл! «Космос — это всё, что есть, что когда-либо было, что когда-нибудь будет». И ещё господин Свенсон сказал, что «космос» — это по-гречески «порядок», и поэтому у него на уроке всегда должен быть порядок. Но, вообще-то, господин Свенсон не строгий. Нет, не строгий.

— Он атеист, — говорит Сергей.

— А, знаю. Это которые мясо не едят.

Следующие десять минут, до самого дома, Серёга объяснял различия в концепциях неприятия Бога и мяса.

А ещё через полчаса домой вернулась Светка.

— Как репетиция? — поинтересовался Серёга.

— Да пошли они все к чёрту!

— Понятно, — констатирует Серёга.

— Ничего тебе не понятно! — Светка бросает свою сумочку на диван. — Вот так всегда! Всегда! Дай сюда!

Это она Серёге, выхватила у него пульт от телевизора и давай каналами щёлкать.

— Света, помнишь, мы с тобой договаривались... Сегодня вторник, сегодня моя передача в восемь...

— Не помню! — Светка забилась в угол и там сопит носом и глаза трёт. — Не помню! Понял? Не помню, и всё!

— Ладно, не помнишь, и не надо... — Серёга ищет зажигалку. — Пойду покурю.

Ранней весной, в восемь вечера, очень хочется курить. Особенно когда на чёрном небе появляется красная точка — Марс. Ты куришь, и красная точка твоей сигареты видна далеко-далеко в темноте как маленький Марс. И чем дольше ты куришь, тем быстрее приходит странная-странная ночь. Неопределённая, как деление на ноль, как Принцип неопределённости Гейзенберга, согласно которому существует вероятность, что в следующую секунду ты растворишься в пространстве и окажешься на Марсе. И пусть эта вероятность ничтожно мала, но она существует! Закон физики! А против физики не попрёшь.

— Правда? — спрашивает Серёга у Марса.

Но Марс никогда не слышал о принципе неопределённости и поэтому молчит, устыдившись собственного невежества, и только ещё больше краснеет.

Ранней весной, в восемь вечера, закури сигарету и вспомни всё, что когда-либо было, а ещё через год, вспомнишь, как ты вспоминал.

— Папа! Папа! Тебя к телефону! — Санька орёт так, что в соседних домах тоже поднимают телефонные трубки.

— Иду.

— Папа, тебя дядька какой-то.

— Дядька? — Серёга берёт трубку. — Алло?

— Господин Опаринцев?

— Да, это я.

— Добрый вечер, сэр. Меня зовут Джим Престон. Я представляю Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям.

— Это какое такое агентство? NASA что ли?

— Совершенно верно. NASA.

— Что же вам нужно от меня? Я не учёный.

— И это очень хорошо, господин Опаринцев, что Вы не учёный. Учёному мы бы не позвонили. Для нашего опроса нужен, так сказать, «средний человек». И вы нам подходите.

— Какой ещё опрос?

— Дело в том, что наше агентство решило отправить космический зонд к Плутону, но после встречи с Плутоном зонд уйдет дальше в открытый космос. Таким образом, этот корабль, эта частичка Земли, станет маленьким вестником от нашей цивилизации к другим мирам. Конечно, шансы очень невелики, но если вдруг инопланетный разум обнаружит наш корабль, мы должны быть готовы.

— Ну, и причём тут я?

— Сейчас объясню, сэр. Вместе с кораблём мы отправим DVD, небольшую золотую пластинку, на которой запишем самые разные звуки, от падающей капли до концерта «Битлз». Мы так и назвали эту пластинку: «Звуки Земли». Кстати, передо мной каталог, вот, к примеру, номер восемь — женщина поёт колыбельную, запись 1970 года, место записи: Святошино, Украина. А вот ещё, номер одиннадцать — «лодка под ночным дождём в Ниингато», это в Японии. Но, кроме звуков, нам бы хотелось ещё записать образец человеческой речи. Совсем немного, одно короткое предложение, пять секунд, и вот тут нам нужна ваша помощь. Согласны?

— А что я должен сказать?

— Что хотите, лишь бы это было прилично. Вы готовы?

— Пять секунд?

— Пять секунд.

За пять секунд миллионы планет во Вселенной сталкиваются друг с другом, миллионы звёзд взрываются вспышками сверхновых, миллиарды тонн вещества пропадают в галактических чёрных дырах, за пять секунд несметное число новых звёзд рождается в космическом огне, и в том же огне, возможно, гибнут миллиарды живых существ. Таков безжалостный, бездушный, беспристрастный вечный порядок.

Космос. Всё, что есть, что когда-либо было, что когда-нибудь будет.

Но видит Серёга, что даже этот равнодушный тёмный предел вдруг отступает перед маленьким земным механизмом, летящим в пространстве. Перед колыбельной из Святошино. Перед лодкой из Ниингато. И слышит Серёга, как через миллионы лет, где-то между звёздами Барнарда и Эридана, включается золотая пластинка, и человеческий голос, его голос, говорит:

— Я живу.

## ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ

### ХЛЕБ НА РЮМКЕ (Фрагменты)

Сегодняшние книги поспешных воспоминаний чаще всего похожи на откровения старой проститутки, которая рассказывает о знаменитых посетителях публичного дома, где ей довелось служить. Отношения с проституткой непременно интимны, но не доверительны, а потому сказать ей, собственно, нечего. Вот она и говорит: да, был тут у нас как-то Тургенев, Иван

Сергеевич, зашел, да и остался до утра. Остался он с Люськой, она у нас уже не работает, но я ее хорошо знала, подарила ей даже на прощание свой красный шарф, необыкновенно нравящийся клиентам. Чем запомнился Тургенев? Трудно сказать. Тогда у всех было много работы, друг к другу мы не лезли, но мне кажется, у него была борода...

Писатель и переводчик Эдик Елигулашвили много лет проработал корреспондентом «Литературной газеты» по Грузии. В его почётные служебные обязанности входило принимать дорогих гостей из столицы Советского Союза, а также дружественных стран; Эдик должен был демонстрировать истинное и безграничное грузинское гостеприимство, о котором складывались легенды. Евгений Евтушенко прозвал Эдика Елигулашвили — Ели-гуляли-пили-швили.

Естественно, не один Эдик в Тбилиси умел принимать гостей, не он один возил их в Мцхета, Джвари и Светицховели, не один он возносил их по канатной дороге над городом, чтобы они с птичьего полета могли любоваться его родиной...

Приезд прогрессивного и знаменитого карикатуриста Херлуфа Бидstrupа стал для Тбилиси творческим праздником. В первый день его принимал Союз писателей, во второй — Союз театральных деятелей, третий — «Литературная газета»...

В первый день председатель правления Союза писателей Грузии Нодар Думбадзе, как положено, поднял гостя на фуникулере в гору, посадил в строительную люльку, замаскированную под скорлупу грецкого ореха, хранящую отпечаток человеческого мозга; люлька по стальному канату заскользила вниз, показывая гостю с высоты птичьего полета город. Но гость на город не смотрел, он уставился на слабенький, дрожащий, обрывающийся крючок на калиточке наклоненной люльки; гостя затошнило. Гость стал проситься на землю, он почувствовал себя Икарсом, забывшим в спешке надеть крылья. Однако датские его крики сопровождающие воспринимали как восторги.

До глубокой ночи пил потом Бидstrup счастливое свое спасение и в Мцхета, и в Джвари, и в Светицховели. Духанщику алаверды, шарманщику алаверды.

На второй день, так же, как и Думбадзе, отказавшись от переводчика, главный режиссер театра марионеток Резо Габриадзе поднял гостя на фуникулере в гору и попытался посадить его в ту же строительную люльку с отпечатком мозга. Гость, проявив неожиданную прыть, сопротивлялся изо всех сил: он сорвал вялый, словно на эту работу наняли дождевого червя, крючок от калитки люльки, он плача объяснял, что боится высоты, он клялся, что его жизнь уже подвергалась вчера страшному испытанию. Но тбилисский ритуал приема гостя не терпит пропусков и изъятий, и Бидstrupа бережно затолкали в люльку, а калитку весь полет Резо придерживал рукой, чтобы не распахнулась над бездной...

До глубокой ночи пил потом Бидstrup счастливое свое спасение и в Мцхета, и в Джвари, и в Светицховели.

На третий день в гостиницу за гостем заезжает Эдик. Как только поднимаются они на гору, гость требует переводчика, консула, адвоката; гость впивается зубами в стальную канат, вгрызается в него и перекусывает, как швея шелковую нитку, откинув голову вбок и по-лошадиному замерев скошенными глазами.

Подают новый орех. Когда люлька проносится над Курой, становится ясно, что гость не только боится высоты, но и не умеет плавать.

Как же ему хочется выпить после счастливого своего спасения! Шарманщик и духанщик принимают его с распростертыми объятьями и осушают в его честь огромный рог.

- Вы ошибаетесь, уважаемые, - удивляется Эдик. - Это наш прогрессивный зарубежный гость из Дании, Херлуф Бидstrup, он впервые в Тбилиси.

- Э-э, - отвечают шарманщик и духанщик, - это тебя мы видим впервые, а он у нас каждый день гуляет!

В Пенсильванском университете рассказываю славидам-аспирантам о «Капитанской дочке». Вот, говорю, пишет Пушкин, матушка еще только была брюхата Петрушей Гриневым, а его уж записали сержантом в Семеновский полк, и он считался в отпуску до окончания наук. Пытаюсь продолжать, но меня перебивают.

- А если бы родилась девочка?! - тревожатся американы.

Удивительна не их практическая основательность, а то, что Пушкин как бы предвидел этот вопрос и на первой же странице на него ответил: «Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта...»

Больше всего мой отец любил зиму из окна. В старости он подходил к окну, чтобы чувствовать, как там дует и заметает, и курил, курил, стряхивал серый пепел на пол, а за окном тоже стряхивали пепел, белый. Дома стояли, а мы проходили мимо. Время стояло, деревья стояли, а мы проходили мимо. Беззащитность снега и нас. Мандельштамовский рыбий жир и новогодняя елка Тарковских. Ничто так не напоминает о детстве, как снег.

Когда умер Бродский, закатилось солнце российской поэзии; когда умер Окуджава - остановилось ее сердце.

«И в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев». Потому что негодяй знает, что разврат должен приносить удовольствие, которого не обещает ни жизнь, ни любовь. Разврат, оргия - это и есть симуляция творчества, приобщение к творчеству людей, к нему никакого отношения от Бога не имеющих, возвышение их до творчества, о котором (как о разврате) мечтает в глубине души всякий обыватель. Моцарт влюбляется, Сальери развратен. Художник, исчерпав романтизм, решается на дальнейшее; симулянт пугается стайерского расстояния, у него дыхание принципиального спринтера, он останавливается и берется за новое начало. Разврат похож на взрослого человека, который никак не может забыть, что он в детстве писал стихи и подавал надежды... Исчерпав «романтизм», разврат непременно переходит к боли, симулируя уже не творчество, но его высшую ступень - дар любви. Любовь.

Обыватель, мечтающий о творчестве и о любви, ментально соглашается на боль. Боль, как кажется обывателю, делает его существом утонченным. Никто не хвастается благополучием, удачей, счастьем, но все охотно и радостно хвастаются и кичатся своими бедами и болями. Как бы не так! Именно боль усредняет нас и опускает - ниже некуда. Но! Боль - бой не по правилам. В этом ее непреходящая прелесть, ибо удар

ее всегда приходится ниже пояса, то есть как бы имеет отношение к любви и эротике.

Женщина в любви хочет быть обманутой обещанием вечности, бессмертия, то есть творчества. Поэт предлагает ей правду надорванной аорты; она отворачивается с отвращением и обидой. Развратник и симулянт приглашает ее на карнавал своих рифм, метафор, слов, картинок, которые все суть - накладные, надувные, масочные, временные, пьяные, праздничные, и женщина в серой своей обыденности вытирает руки о фартук, скидывает его, скидывает быт и день, надевает ночь и горящие глаза и пускается в пляс во весь разворот своих бедер, обтянутых шелковой кожей.

У Евы был добрый, верный, порядочный муж. Но он ничего не знал о плотской любви, потому что он же не какой-то шулер, поездной вор, гипнотизер, предсказатель, чтобы быть психологом и догадываться о евиних смутных фантазиях и желаниях! У Евы был муж, Эдем, Бог и душевный покой, но карнавальным костюмом Змия на дьяволе произвел на нее неизгладимое впечатление.

Женщине всегда хочется чего-нибудь другого. Если у нее есть тайна, ей хочется огласки, если у нее есть муж, ей хочется иметь любовника, если у нее есть любовник, ей хочется вступить с ним в законный брак, если она полюбила негодяя, то ей хочется сделать из него порядочного человека. Тогда негодяй уходит к другой, и все начинается сначала.

Человека человеком делает обезьянничание. Как минимум, это справедливо по отношению к женщине. Иначе Дон Жуан и Казанова начали бы получать отпор очень быстро. Нет ничего слаще для женщины, чем сначала пополнить донжуанский список - как все - а потом - я одна! - переделать Дон Жуана в Командора.

Толстой говорил, что все счастливые семьи похожи друг на друга, но кто же лучше него знал, что похожих людей не бывает, иначе говоря - никаких счастливых семей нет вовсе.

Участники оргий - слушатели стихов в Лужниках знали, что они соавторы поэтов, сами почти поэты. Да, во время оргий есть только случайные партнеры, но им отдается весь опыт гордости и тщеславия...

- Неужели вы не читали «Мцыри»? - спрашиваю я студентов третьего курса журфака.

Студенты молчат.

- Что ж, господа, в таком случае я прочту вам поэму вслух.

Прочла.

Один из студентов трудолюбиво:

- А дальше самим читать?

- В каком смысле - дальше?

- Так ведь пока был только один Мцырь...

Мой отец очень любил ездить в поездах и выслушивать исповеди простых людей. Мне же всегда были нестерпимы и насильственная близость и совместный сон с совершенно посторонними людьми. Я избегаю поездов, страшусь манящего зазора между перроном и поездом, бессонной войлочной ночи, опрелого запаха, выбивающегося из-под одеял. И главное - тех диких, пьяных российских откровений, в которых, кажется, наяву происходит все то, что видишь в литературных снах. Итак, вхожу в Петербурге в поезд на Таллинн. В купе всего один попутчик: мрачный мужик, громозд-

ким трехдверным шкафом привалившийся неудобно к окну вместе со своей сумкой. Глянул из-под бровей.

Достал из сумки: початую литровую бутылку водки, заткнутую скрученным газетным обрывком, жирную вялую ветчину, сально пахнущую чесноком, толстые и грубые, как у телеги, колеса репчатого лука; в спичечном коробке – соль. Свежий, круглый хлеб он тут же начал криво резать перочинным ножом – хлеб приседа, как от шекотки, и упирался, вылезая в разные стороны боками.

– Мадам, вы кушамши?

Я промолчала.

– А водки? Я, конечно, не могу предложить вам рюмку, но из горла прошу!

Я отвечала, что водки не пью, есть не стану и вообще прошу меня не беспокоить.

– Но мне-то вы позволите выпить? – уточнил он.

– Сделайте одолжение.

Потянулся ночной путь. Густо ложился чесночный дух, пахло сивушными маслами, пустела бутылка... Я дремала, потом просыпалась и видела, как мой сосед, не отрываясь от главного дела, читает какую-то книгу с безумно знакомым корешком и с цифрой 17.

На границе таможенник с удовольствием рассмотрел бутылку.

– Чей будет алкогольный напиток?

– Мой, – охотно отвечал мой спутник.

– С кем пили? С женщиной?

– Да нет, дама отказалась, один пил.

– Сколько?

– Думаю, грамм четыреста.

– Так вот, – даже несколько погрузнев от такой полной удачи и безоговорочной победы, сообщил таможенник, – распитие спиртных напитков в поездах строго запрещено. Будешь отвечать по всей строгости закона!

– Хорошо, – миролюбиво отозвался мужик.

– Нет не хорошо, – поправил его таможенник, – документы!

Мужик протянул ему паспорт, таможенник глянул в него и изменился в лице.

– На каком языке у тебя паспорт?

– На голландском.

– Как это на голландском?

– Так.

– А ты кто по национальности?

– Голландец.

– Слушай, ты мне не груби! Какой ты голландец? Ты кто?

– Профессор.

– Какой профессор?

– Профессор кафедры славистики. Специалист по русской литературе.

– Русский, значит?

– Голландец.

– А русский...

– Выучил.

Повисла пауза. С перрона доносились крики, гулко превращавшиеся в эхо.

– Слушай, мужик, такое дело... Может, не будем составлять протокол? Понимаешь, если я составлю протокол, то тебе придется в суд явиться.

– В петербургский?

– Именно.

– Ну и отлично. Я с удовольствием приеду еще раз в Петербург. Надо думать, не за свой счет? Вы меня, видимо, будете конвоировать?

– Да ладно тебе, всего-то штрафа-то рублей пятьсот заплатишь. И можем разбежаться...

– Нет уж! – не согласился голландец. – Пишите протокол.

– Дурак, тебе на работу сообщат.

– Ну и прекрасно, они же знают, куда я поехал.

– Ну, смотри, буду писать.

– Пишите.

– Имя? Фамилия?

Голландец произнес. Таможенник не понял. Голландец произнес снова. Таможенник опять не понял.

– Ты, мужик, можешь понятно сказать? По буквам!

– Не могу. Таких букв нет в русском языке. И вообще вы обязаны все сведения почерпнуть из моего паспорта, так мне объяснили в Голландии...

– А тебе не объяснили в твоей Голландии, что с русскими ментами лучше не спорить?!!

Голландец, даже если ему этого в Голландии не объяснили, поверил на слово...

Наконец поехали.

– Мадам не возражает, если я еще выпью?..

И голландец уткнулся в 17-й том Достоевского.

Мой друг – молодой поэт, главный редактор газеты KesKus (КтоГде) и ее популярной телевизионной версии Юку-Калле Райд бреет голову, носит в ухе серьгу, в одной руке – неизменную бутылку пива, во второй – неизменную сигарету. За серьгу он несколько лет назад страшно пострадал: поздней ночью в Киеве его остановили бравые парубки вопросом: «Ты чего с серьгой? Голубой, что ли?» Юку-Калле, придерживаясь ортодоксальных взглядов на любовь, как это хорошо известно его самому широкому окружению, тем не менее, чувствуя в самом вопросе посягательство на свою свободу, ответил «А что?» и был страшно избит; в драке он потерял несколько передних зубов, отсутствие которых гордо оберегает как символ независимости.

Юку-Калле приехал в Питер, был принят в доме моей дочери, но очень быстро заскучал от отсутствия истинных питерских безумств, приключений и потрясений. В два часа ночи он пошел колобродить по городу, продвигаясь от одной пивной до другой рюмочной.

В пять утра он очнулся на берегу залива в страшной потребности немедленно опохмелиться. Сквозь молочную невнятицу апрельского рассвета он внезапно различил мужской силуэт, нетвердодвигающийся в отдалении.

– Эй, эй, мужик, не проходи! – закричал Юку-Калле.

Тот остановился:

– Чего тебе?

– Как мне выбраться? Я ничего здесь не знаю!

– Ты чё? Местность не узнаешь? Совсем допилился.

– Да нет, я приезжий.

– Ты?! – захохотал старожил, – ты приезжий?! А кто здесь валяется каждую ночь?!

– Я эстонец, – стал объяснять Юку-Калле.

– Какой ты эстонец?! Ты самый обычный наш брат – алкаш! – надсаживался сторожил.

Тогда Юку-Калле прибегнул к последнему, но самому убедительному и бесспорному доказательству:

– Да ты послушай, какой у меня акцент! Я же еле-еле по-русски говорю!

– У тебя – акцент?! Парень! Ты просто лыко не вяжешь!..

...Следующим вечером Юку-Калле вернулся с ошеломляющим известием:

– Вы не представляете, о чем говорят у вас в рюмочных! Три самых обычных мужика сидят за столиком, пьют одну за другой; пьяный гул стоит, дым стелется, буфетчица хохочет, подвал, сырость, скользкие от пивной пены столы, окурки в грязном блюде, а они знаешь о чем? Был ли Георгий Иванов неоцененным гением или это вторичная фигура русской эмиграции, и его ли поэтическую строчку цитирует в «Даре» Набоков, а второй о Радищеве – самоубийце и истерике, обвинявшем в собственном сифилисе государственное устройство, а третий...

На следующий день привожу Юку-Калле в редакцию журнала «Звезда». Заходим в кабинет к главному редактору, где идет заседание редколлегии, и тут Юку-Калле как заорет:

– Смотри, вот эти три мужика из вчерашней рюмочной!!!

Я очень хорошо помню, как впервые пошла – по коричневому, длинному, поднимающимся вверх к входной двери узким половикам коридора, попеременно видя то облупившийся закругленный носок правого ботинка на шнуровке, то целый – левого. Помню, что кто-то сказал, что я похожа на одуванчик с белыми, легкими, мелко вьющимися волосиками, и я боялась, что дунут – и я облечу. Помню кошачью лапку патефона и иголку, которую она выпускала в пластинку и сверлила, сверлила ее, как зубной врач сверлил мне зубы, а папа сидел рядом и рассказывал, что вот так же юная партизанка терпела пытки гестаповцев – они сверлили ей зуб за зубом, но она никого не выдала. Спустя десятки лет я увидела американский фильм с Дастином Хоффманом, которого опрятный пожилой фашист с гладким, похожим на большое доброе яйцо черепом, пытал именно что сверлением зубов.

Наверное, детские страхи у всех одинаковы, это потом, в течение жизни, мы стараемся загнать их в разные метафоры и аллегории, спасаемся от них в образы. И только в конце честно понимаем, что и правда, нет ничего мучительнее дребезжащего, подкарауливающего, дергающего нерв сверла; и действительно: дунут – и голова облетит, как у одуванчика; и длинный, коричневый, поднимающийся к входным дверям коридор состоит из параллельных половиц, сошедшихся в близкой бесконечности.

.....

Уверовавший в Бога бизнесмен вдалбливает жене:

– Ты пойми, – эта жизнь ничто по сравнению с жизнью вечной!

– Ну... Не знаю... – тянет жена, которой лень крепиться.

– Дура! – топает ногами бизнесмен, – после смерти нас ждет царство небесное!

– Ой ли... – вяло прикидывает жена.

– Отвечаю!!! – визжит выведенный из себя бизнесмен.

Молодая пожилая актриса Таллиннского Русского театра говорила в антракте спектакля «Вишневый сад» в постановке Галины Волчек другой молодой даме – местному театральному критику: «Вы утверждаете, что это спектакль о любви, которой все

жаждут, но которую никто не может друг другу дать, только потсму, что вы сами – одинокая женщина и подстраиваете под себя классику; конечно, классика на то и классика, что с ней, на самом деле, можно сделать что угодно. Но при этом всем давно известно, что Лопехин любит Раневскую, и пьеса об этом!»

Позвонил Валерий Золотухин: «Лиля, пришли мне ту фотографию, которую сделала твоя дочка, когда вы вместе с ней приходили ко мне за кулисы на гастролях в Петербурге, ту, где мы с тобой сфотографировались обнявшись. Мне нужно для книги». Я сказала, что фотография получилась плохая. «Это ты говоришь как женщина или как полиграфист?..»

Действительно, мы с Маринкой пришли к Золотухину в гримерную во время гастролей Таганки в Питере. Я сказала дочери: хочешь сфотографироваться с гением? Золотухин закричал: «Замолчи, здесь фанерные перегородки, не дай Бог услышит Любимов, у нас в театре один гений» – и на всякий случай прокричал еще громче: «Юрий Петрович, не слушайте ее!» И тут же, с пинг-понговой быстротой: «Ой, Лилия, как я бестактен, ведь под гением ты, вероятно, подразумевала себя...»

Разлюбить порядочного и достойного человека очень легко – достаточно разочароваться в его достоинствах; но очень трудно разлюбить негодяя, никакими достоинствами изначально не обладавшего.

.....

31 декабря, 12 часов дня, едем с таллиннским приятелем в такси по Петербургу в сторону Эрмитажа. Город совершенно пуст. Такая пугающая пустота бывает только в Америке, где нет тротуаров и никто не ходит пешком, и еще в советских фильмах, где непроснувшимся утром влюбленная пара идет навстречу поливальным машинам.

– Где же все? – спрашиваю. – Неужели поголовно готовятся к новогодней ночи? Женщины в бигудях, салат «оливье»... А мужчины?

Таксист, еще минуту назад словоохотливый и доброжелательный, неожиданно обиделся и помрачнел:

– А то вы не знаете, где сегодня мужчины?

– Не знаю.

– Не знаете? Не надо притворяться! Прекрасно вы все знаете!

– Правда, не знаю. Скажите, ради Бога, умру от любопытства.

– Да ладно вам прикидываться! Сами что ли не такая?

– Это какая?!

Тут мы с таксистом оба почувствовали, что наш разговор напоминает семейную перебранку и именно в той ее части, где выясняется, кому выносить мусорное ведро. Помолчали.

– В зоопарке мы все, – сказал, наконец, таксист горько, но примирительно.

– Все в зоопарке?! Почему?

– Да потому, – и он в отчаянии оглядел пустую площадь, – да потому, что она утром проснулась, растолкала его и как закричит: «Ты мне, аспид, всю жизнь загубил, сгноив! Молодость мою пропил и заел! Дети без отца растут, пьяная ты сволочь! Ты когда сына-то последний раз видел, поговорил-поиграл с ним? А? А ну вставай, одевайся и отправляйся с мальчиком в зоопарк хоть раз в году!» Он, конечно, чуть-чуть сопротивлялся, мол, так хочется в праздник



полежать, а детские голоса пусть за стенкой гомонят... А она: «Належишься еще, когда харю тебе в драке разобьют, глаза выбьют!» Делать нечего: встает, берет пацана за руку, едет в зоопарк. Вот вы в Эрмитаж собрались, а то бы поехали в зоопарк – мы там все сегодня, сами бы увидели...

... Возле Эрмитажа нас, однако, ожидала довольно внушительная очередь. Кто-то, значит, уже вернулся из зоопарка. Стоять не хотелось. И тут как-то сразу подскочил к нам и прилепился сомнительный мужичонка киношно-деревенского вида в ветхом и коротковатом пальтишке, из-под которого торчали такие короткие брюки, что ноги в них с выглядывающей на мороз полоской кожи между носком и брючиной казались деревянными протезами. При этом пальто было вызывающе украшено цигейковым воротником, а на руках у подскочившего были совсем уже дерзкие желтые замшевые перчатки.

– Не угодно ли в Эрмитаж? – изысканно поинтересовался мужичонка. – Беру недорого, всего 50 рублей...

Мы с моим спутником тут же согласились, и мужичонка, тревожно оглянувшись, поманил нас за собой. Предполагалось, что мы попадем в Эрмитаж, но вместо этого дорога повела нас вдоль каких-то заграждений, берегового гранита, потом спустилась вниз и дальше, дальше – снег слепил глаза, мужичонка все ускорял шаг, мы почти бежали, а Эрмитаж оставался в совершенно уже недостижимой дали.

– Слушай, да куда ж ты нас ведешь, в Эрмитаж ли? – остановился мой спутник.

– А куда же? – засуетился и раздражился мужичонка.

– А ты дорогу-то знаешь?

– Я?? Это ты не знаешь, с кем говоришь! Я тридцать пять лет, я жизнь Эрмитажу отдал! Меня здесь каждая мышь в лицо узнает, а ты...

– Ладно-ладно, – примирительно улыбнулся мой приятель, – я даже твою фамилию знаю. Ты – Пиотровский.

– Э-эх, – махнул на него рукой мужичонка, – ну и дурак ты! Ну неужели Пиотровский, директор Эрмитажа, из-за пятидесяти рублей пойдет мараться. Он и тысячи-то не у каждого берет...

Пришли, наконец, к входу в театр Эрмитаж, соединенному многочисленными переходами с музеем. Мужичонка приосанился, расправил плечи и побарски повел нас по лестнице. Его и правда все узнавали. Он же щедро раздавал нам указания: «В гардероб по десяточке, на дверях по червончику»... На одном из этажей он задержался, распахнул пальто, распахнул объятия и кинулся на служительницу, тиская и целуя ее. Она отбивалась.

– Валь, – хохоча, подначивал ее мужичонка, – ты чего, их стесняешься? – и иронично косился на нас.

– Да нет, – отвечала неприступная Валя, – ты с обжиманьями полез точно под камеру слежения, не видишь что ли?

– Ну и пусть завидуют, – продолжал веселье мужичонка.

– Совсем одурел?! – одернула его Валя, – они же там увидят, что я без пропуска людей пустила!

Когда все препятствия были преодолены и мы ступили в первый зал музея, мужичонка, уже попросив-

шись, все-таки вернулся и интимным шепотом попытался продолжить встречу:

– Могу показать та-аки-их старых голландцев... Очень рекомендую... Мой конёк...

... Вечером 31 декабря в винных магазинах тихая, благообразная очередь. Все трезвые, все молчат. Становимся, ждем. Мой приятель просит меня подойти к холодильнику:

– Посмотри, пожалуйста, вдруг «Старый мельник» есть, – говорит он тихо.

Я возвращаюсь от ледяной витрины и тоже тихо:

– Есть, Юра, «Старый мельник».

Стоим. Через несколько мгновений:

– Посмотри, пожалуйста, а вдруг «Три медведя» есть?

Посмотрела:

– Есть «Три медведя», Юра.

Еще через минуту:

– А «Толстяк»?

– Есть, Юра, «Толстяк».

Юра подавленно:

– Надо было селиться не в Эстонии, а в России.

Подходит наша очередь. Продавщица, перегнувшись через прилавок, нежно и сочувственно:

– Ну что, Юра, выбрал, бедный ты мой?!

**В Абхазии, в Пицунде, у Дома творчества писателей был свой маленький пляж. В необыкновенной тесноте, стучаясь локтями, наступая друг другу на полотенца, соприкасаясь потными спинами, принимали солнечные ванны писатели. Они были так близко друг от друга, что когда в одной компании выкрикивали: «Семь трей!» или, там, «Девять бубей!», то в другой какой-нибудь начинающий преферансист успевал взвизгнуть: «Вист!», пока его не приводили в порядок более опытные игроки. Пляж никак не был огорожен или закрыт, и границы его проходили исключительно в воображении. Он был так же каменист, как и весь окрестный берег. В теплой воде плавали те же мучнистые медузы, что в любой точке побережья создают ощущение супа с клецками. В камышах, как и положено, попискивали те же водяные крысы, селившиеся порой в писательских номерах и выкармливавшие свое потомство в писательской столовой; однажды такое семейство оказалось в моем номере, и я долго наблюдала за веселой возней котят, идиллически прикидывая, кто же именно мог их из жалости подобрать и приютить у меня, пока один из них не развернул ко мне свою острую, как карандаш, мордочку крысы... Так вот, пляж писательский был крохотным, а рядом, по обе стороны, сколько хватало глаз, простирались необозримые прибрежные пространства покоя и воли, куда каждый мог удалиться в поисках свежих впечатлений или уединения. На этом пространстве куда менее скученно, а, точнее, совершенно не беспокоя друг друга, загорали дикари. Но никто из писателей ни разу на моих глазах не решился перейти Рубикон, отделяющий его от читателей. Однажды я спросила у Эдварда Радзинского, чем он объясняет эту странную преданность литераторов клочку домтворческой каменистой земли. Он ответил:**

– Здесь, на своей территории, все лежащие знают друг друга и помнят, что они – цвет литературы. Особенно цвет литературы – секретари Союза писателей, редактора журналов и издательств. Но как объяснить это дикарям?

К художнику Александру Эстеру пришли заказчики – начинающие рестораторы. Попросили нарисовать большую картину в золоченой раме с изображением стола, уставленного яствами. Через месяц приходят за заказом – недовольны: темно, на столе ни меню, ни скатерти, ассортимент представлен бедно, просят переделать. После длительной борьбы, в которой одна сторона говорит про композицию и цветовую гамму, а вторая про то, что некультурно есть без ножа и вилки, Эстер соглашается на некоторые доработки. В условленный день опять приходят заказчики и долго смотрят на картину, по-прежнему далекую от их гастрономического идеала.

– Так всё и останется? – угрюмо спрашивает первый, – ничего нельзя переделать?

– Раму можно сменить, – холодно откликается художник.

– Не-а, рама-то как раз очень замечательная, – прикасается к золотому боку картины заказчик. – А больше ничего нельзя?

– Ничего!

– Совсем?!

– Совсем!

– Э-эх! – бросает на пол шапку и топчет ее в сердцах второй. – Э-эх, говорил же я тебе, что надо брать оленьи рога! Говорил?! Сейчас бы прибили к стенам рога, и красоты твоей гребаной было бы до хрена.

В 1977 году, из Пушкинских Гор в Коктебель, Сергей Довлатов написал мне письмо, в котором уверял, что подслушал у телефонной будки замечательную реплику. Девушка кричала в трубку: «Алка, здесь совершенно нет мужиков. Многие женщины уезжают, так и не отдохнув...»

С письмом в руке я отправилась на послеобеденный пляж, где собрался кружок знаменитых драматургов и режиссеров того времени. Ликуя оттого, что, с одной стороны, я сейчас представляю Довлатова столь прекрасному собранию, а с другой, оттого, что внесу свой вклад занимательности в разговор людей, которые совершенно незаслуженно приняли меня в свой круг, я выразительно прочла выдержку из Сережиного письма.

Наступила гробовая тишина. Все были смущены моей бездарной выходкой. Но, в разумении моей молодости, отнеслись ко мне снисходительно. И один из мэтров – может быть Илья Авербах, может быть Марк Розовский, может быть Андрей Смирнов, утешительно объяснил мне, что здесь собрались люди с профессиональным чувством реплики, им виднее: реприза Довлатова груба и глупа, пошла и уныла, а главное, не способна вызвать даже улыбки...

Когда наши коллеги по газете «Советская Эстония» кричали Довлатову: «Ваше место на торфяных складах, оттуда и пишите свои репортажи, а в отдел культуры не смейте лезть!», я, слава Богу, понимала, что они кричат от зависти, но усомниться в суждениях классиков и кумиров не посмела и тут же написала Довлатову письмо с некоторым оттенком назидательности, со ссылкой на авторитеты и с предложением этот эпизод с Алкой из большой литературы убрать.

А вот как бы Довлатов взял бы, да меня бы и послушался?! Впрочем... «В Заповеднике» он Алку заменил на Татусю.

У меня плюшкинское честолюбие: храню все письма, все записочки, открытки, телеграммы, черно-

вики. По утрам сажусь за письменный стол, который моя мама заказала моему папе по собственным чертежам на фанерно-мебельном комбинате сорок лет назад. Он сделан из светлого, теплого дерева в солнечных разводах. Задняя стенка у него состоит из пяти маленьких книжных полочек под стеклом. На полочках этих стоят миниатюрные издания – от малой серии Библиотеки поэта до юбилейной «Пиковой дамы», набранной бриллиантом. Мама начала собирать эту кукольную библиотечку сразу после войны, когда важно было обрасти многочисленными признаками мирной жизни, которая чернобурками и сервизами, роялями и пишущими машинками создавала оседлую надежду и ощущение длительной передышки.

На столе до сих пор лежат трубки отца, мунштуки, открытые коробки с табаком, пепельницы. Из начищенного серебряного кубка выглядывают непьющие авторучки, медный Наполеон сидит на бочке и пьет из большого кубка, думаю, на Святой Елене.

В среднем ящике лежат черновики. Перебирая их, можно наткнуться на какую-то запись, строчку, брошенную когда-то и забытую, а теперь найденную на этом блошином рынке, будто она сама бежала, плыла и пробиралась с лишениями ко мне на встречу, и мы обнялись. Вот на листке обрывок разговора с моим милым:

– Лилюша, не грусти, ложись спать. Отдохнешь, проснешься совсем другим человеком... Например, торговой яблоками...

А вот листок с началом стихика:

*Овации птиц,  
и деревья стоят, приподняв,  
крахмальные пачки  
осенней балетной листвы...*

А дальше оборвано, наверное, я сама и оборвала листок, чтобы записать чей-нибудь номер телефона.

А вот открытка, попавшая из отцовского архива, открытка, которую он прислал маме с фронта. Между штампами «Выше черты не писать» и «Ниже черты не писать», над штампом «Просмотрено военной цензурой» написано: «Так хочется тебя увидеть, что, кажется, не хватит дыхания...»

Постепенно зарываешься в листки, слезы выступают на глазах от жалости и любви, разделенное одиночество тянется к перу и бумаге, но тут утыкаешься носом в плоский экран нового компьютера, и холодное бешенство стучит и стучит по клавишам...

Как приятно спустя четверть века напомнить себе и другим, что у литературы нет срока давности. Четверть века назад Сергей Довлатов писал мне:

*«Дорогая Лилия!.. Новостей мало. На работу не берут.... Зато сочиняю много, от отчаяния. Написал мстительный рассказ о журналистах «Высокие мужчины». Заканчиваю третью часть романа. Ну и кукольную пьесу с лживым названием «Не хочу быть знаменитым». Она лежит в трех местах. Пока не вернули. Не могу удержаться и не напечатать для Вас финальную песню оттуда:*

*За право быть самим собой  
Отважно борется любой,  
Идет на честный бой, лица не пряча,  
Чужое имя не к лицу*

*Ни моряку, ни кузнецу,  
А каждому свое, и не иначе.*

*Нет двойников, все это ложь,  
Ни на кого ты не похож,  
У каждого свои дела и мысли,  
Не могут даже близнецы  
Похожи быть, как леденцы  
Или как два ведра на коромысле.*

*Наступит час, в огонь и дым  
Иди под именем своим,  
Которое ты честно носишь с детства,  
И негодую, и люблю,  
Мы вспомним ИМЕННО тебя,  
И никуда от этого не деться!*

Пьеса, как сказано в письме, разослана в три театра, и ни один из них пока еще не вернул ее автору.

Тут нужно пояснить: в советскую эпоху далеко не все художественные издания и прочие культурные учреждения имели право не рецензировать и не возвращать рукописи. Напротив, большинство из них обязано было внимательно и бережно относиться к сочинениям трудящихся масс, а именно — возвращать присланные произведения с доброжелательными приписками примерно такого содержания: «Уважаемый Имярек! С большим удовольствием прочли Ваши стихи (повесть, роман, пьесу, новеллу, очерк, рассказ и так далее), многое понравилось и привлекло, особенно взволновало Ваше доброе отношение к лошадям (людям, кочегарам, женщинам, делу мира, озеленению планеты и так далее), тронули сюжет и стиль (тема, мировоззрение, композиция, версификационное мастерство и так далее), однако, к сожалению, Ваше замечательное произведение мы вынуждены Вам вернуть, поскольку в нашем портфеле уже есть вещь, очень похожая на Вашу по теме, стилю, композиции и исполнению, а так же потому, что наш журнал (наш театр, наше издательство) полностью обеспечен материалами на ближайшие десять лет. Вам же советуем пока учиться у Пушкина и других наших драгоценных и неисчерпаемых классиков. С нетерпением ждем Ваших новых произведений, с глубоким уважением и благодарностью за то, что Вы обратились именно в наше издание (наш творческий коллектив, и прочее и прочее)...»

Чем нежнее была подобная приписка, тем меньше было у автора надежды хоть когда-нибудь опубликовать или поставить свое произведение.

Но пока ответа не было, позволительно было мечтать. Действительно, один раз на миллион приходил ответ совсем иной — грубоватый и резкий: «Уважаемый Имярек! Получили Вашу рукопись. Она показалась нам растянутой и скучной. Характеры главных героев не прояснены и не раскрыты. Композиция хромает и в конце просто заваливается набок. Стиль убогий. Идея жалкая. Мысль глупая. В связи с нехваткой материалов и заинтересованностью в теме, мы решили опубликовать (поставить) Ваше сочинение при условии, что Вы в кратчайшие сроки переделаете комедию в трагедию (водевиль в оперу, роман в новеллу, невесту в старушку-мать, стрелочника в директора завода, балерину в ткачиху), перепишите все стихами, а имен-

но пятистопным ямбом, стихи переделаете в производственную прозу...»

Чем грубее и оскорбительнее были замечания, тем больше было надежды на дальнейшую публикацию или хотя бы вялотекущие переговоры, поддерживающие в авторе творческие амбиции.

Сергей Довлатов в том давнишнем письме находилась как бы в отрадной поре советского автора — рукопись ему пока не вернули, а, следовательно, теоретически он мог рассчитывать на грубоватое предложение...

Тогда, полагаю, Сергей так и не получил из театров никаких известий. И ни для кого из друзей, кроме меня, судя по всему, финальную песню из пьесы не перепечатал, может быть, и вовсе он эту вещь не показывал приятелям, а в Америке забыл о ней совершенно, как еще о нескольких вещах, писавшихся в Союзе...

И вот спустя четверть века, в 2002 году, в Псковском кукольном театре стали разбирать архивы и нашли случайно сохранившуюся папку с надписью: «Сергей Довлатов. Человек, которого не было. Кукольная пьеса. 1975 год». Сергей Довлатов — классик, и уже никому не верилось, что вот так, запросто, в захламленном архиве валяется, оставшаяся без ответа, а, скорее всего, и без прочтения, рукопись его пьесы. Не особенно надеясь на удачу, сотрудники театра стали, однако, искать доказательства подлинности своей находки. И вот анализ текста потребовал признать его принадлежность перу Довлатова, не хватало только какого-то окончательного аргумента, какого-то последнего факта, чтобы издать счастливый возглас. Перевраб все прочие источники, обратились, наконец, к сборнику «Малоизвестный Довлатов», выпущенному в 1995 году в Санкт-Петербурге журналом «Звезда». Там, в разделе «Приятели о Довлатове», печаталась моя новелла о Довлатове и целиком цитировалась финальная песня из кукольной пьесы.

Сверив рукопись и письмо Довлатова ко мне, театр и все заинтересованные лица убедились, что найденная во Пскове пьеса «Человек, которого не было» и есть та самая кукольная пьеса «Не хочу быть знаменитым», о которой сообщает мне Довлатов. Песни и в рукописи и в письме совпадают буквально.

Нужно ли добавлять, что Псковский театр принял пьесу к постановке, о чем экстренно и уважительно сообщил вдове Довлатова Елене...

Эдвард Радзинский, находясь в своего рода булгаковской полуопале («Они меня называют явлением в области духа, но спектакли закрывают, полагая, видимо, что духовное явление совершенно не нуждается в материальном подкреплении», — замечал Эдвард Станиславович), написал пьесу «Лунин, или Смерть Жака, записанная в присутствии хозяина». Слава Радзинского и блеск пьесы были таковы, что просто замолчать произведение было невозможно. Тогда в надежде если и не на сальерианские порывы, то хотя бы на некоторую собственническую ревность дали пьесу на отклик Натану Эйдельману, автору монографии о Луние. Натан Яковлевич прочел пьесу и написал о ней с воодушевлением и восторгом.

— Все-таки Натан Эйдельман больше историк, чем писатель. Писатель органически не может столь похвально отозваться о собрате по перу, такая альтруи-

стическая честность – удел историка, - диагностировал Эдвард Радзинский.

**Вскоре после смерти** Булата Окуджавы его вдова Ольга на вопрос о том, как она спасается от беды, ответила: «Открываю шкаф, где висят его рубашки, и дышу этим запахом...» Вскоре после смерти Сергея Довлатова я была в гостях у его вдовы Елены в Нью-Йорке. Она открыла большой шкаф: Сергей складывал туда подарки для гостей из Союза – джинсы, куртки, платки, украшения, блузы; шкаф время от времени опустошался, но вновь любовно набивался Сергеем до отказа. Он сам покупал все эти вещи, сам складывал их на полки, и Лена, уговаривая меня выбрать что-нибудь на память, долго стояла у раскрытых дверей... Вскоре после смерти моего отца мы с мамой привинтили к его синему, бархатному, парадному пиджаку все его фронтовые награды и на долгие годы оставили пиджак в шкафу. Временами я открываю дверцы шкафа и чувствую привычный, коричневый, кашляющий запах отцовых сигарет и прохладный, стоптанный, запотевший запах валидола.

.....  
**Натан Эйдельман** говорил, что в Советском Союзе неважно обстоят дела со свободой на душу населения, кажется, еще хуже, чем с ситцем и зерновыми... Почти никто не знал, что много лет он собирал документальные свидетельства и более или менее достоверные рассказы современников о сталинской эпохе. Эти материалы он называл «Заметками о нравственности», надеялся, что когда-нибудь он их опубликует... Он умер раньше, чем это стало возможным... В одном из разговоров он поделился со мной несколькими новеллами.

### СЛАДОСТНАЯ БОЛЬ

Знаменитый критик и писатель Аркадий Белинков рассказывал Эйдельману, что, приговоренный к расстрелу, он ждал более двух месяцев решения своей участи в камере смертников. Однажды ночью его повели, как он думал, на казнь, но вдруг появился хорошо знакомый мучитель-следователь и начал избивать Белинкова. После первого же удара Белинков понял, что расстрел отменяется, ибо вряд ли в этом случае стали бы так бить. Каждый удар следователя стоил Белинкову крови, зубов, но он совершенно не чувствовал боли и только повторял себе – «Жив! Жив!» Избивавший, грязно ругаясь, подтвердил, что заключенный останется жить, но добавил, что тому придется ответить на разные вопросы; однако все это было второстепенно: Белинков помнил, что удары казались ему сладостными и ободряющими: значит, жив! Вскоре после того он получил сравнительно короткий тюремный срок, позже, впрочем, увеличенный...

### ОПЫТ ЮНЫХ

В крымском пионерском лагере «Артек» регулярно собирали школьников, связанных единством каких-то сходных дел: например, пионеров-цветоводов или пионеров-тимуровцев, помогавших одиноким старикам. Один из таких слетов – в 1938 году – был посвящен памяти пионера Павлика Морозова, прославившегося тем, что в 1932 году он разоблачил и сдал властям собственного отца, «врага народа», после чего был убит своими родственниками. На слете 1938 года собрались со всех концов страны юные доносчики,

сумевшие «вывести на чистую воду» тех, кто, по их мнению, вредил или хотел вредить советской власти. По вечерам у костра «юные герои» рассказывали своим товарищам истории о том, как они раскрыли злой умысел соседа, знакомого, председателя колхоза, близкого родственника. Рассказы были страшные, нередко кровавые, изобиловавшие мучительными подробностями. Одна девушка, молодая вожатая, пожаловалась директору лагеря, что после страшных вечерних рассказов дети очень плохо спят, мучаются кошмарами, стонут, плачут; вожатая предложила, чтобы рассказы о подвигах звучали утром или днем, а никак не вечером. Директор был бдителен и тут же сообщил куда следует о вредительских намерениях девушки, старающейся помешать столь важному обмену опытом. Вожатая была арестована и вышла из заключения 17 лет спустя. Она продолжала так же любить Сталина, несколько не сомневалась в героизме Павлика Морозова и подобных ему пионеров и только повторяла, вспоминая роковой для нее эпизод: «Я только хотела, чтобы дети лучше спали, они очень плохо спали ночью, мне было их жаль...»

### СПАСИТЕЛЬНЫЙ ДОНОС

В августе 1946 года Жданов клеймил перед ленинградскими писателями Ахматову и Зощенко. В конце обратился к залу: «Называйте других недостойных, тех, кто вредит нашему делу!» И из зала тут же начали выкрикивать десятки фамилий.

Казалось, все называли всех, и только что объявивший своего соседа врагом мог быть через минуту назван так же...

Много лет спустя, однако, люди клялись, что они выкрикивали имена своих товарищей не с тем, чтобы их погубить, а наоборот - чтобы спасти! Последующая практика показала, что тех, кто попадал в фокус общественного внимания, обычно не арестовывали по какому-то странному правилу. Многие же, избежавшие публичного оглашения, были вскоре репрессированы и погибли в лагерях...

.....  
**Эдик Елигулашвили** гулял по берегу моря со своими друзьями Беллой Ахмадулиной и Борисом Мессерером.

– Неужели, Эдик, ты никогда не купаешься в море? – удивлялся Борис.

– Никогда!

– Даже в такую жару?!

– В любую. Я не могу войти в воду, в которой уже кто-то побывал...

– Нет, Эдик, я все-таки не понимаю, – продолжал Борис, – как это можно - всю жизнь провести на берегу Черного моря и ни разу в него не окунуться?!!

– Что же тут непонятного, Боря? – вступилась за Эдика Белла, – вот ты, Боря, живешь в Москве, но ты ведь не бегаешь каждый день в Мавзолей?!!

.....  
**Художник Владимир Макаренко** бедствовал в Советском Союзе, работал в кочегарке, но не соглашался даже за большие деньги рисовать первомайские плакаты или отражать в полотнах производственную тематику. Эмигрировал двадцать лет назад во Францию и прославился там. Приехал недавно в Таллинн навес- тить своих старых друзей. Через неделю говорит:

– Ничего не могу понять! Спонсоры, покупатели трех слов грамотно сложить не могут: «звонют» и «ложут», дикие, с дикими же охранниками, и зачем им охрана – сами похожи на бандитов. А вчера пришел на рынок, стою у лотка с ягодами, а торговка: «Не угодно ли попробовать? Красивые ягоды, но внешность, как вы знаете, бывает обманчива. Хотя я лично так не считаю, я полагаю, что внешность точно отражает внутреннюю суть. Я в этом споре на стороне Чехова, а не притворщика Заболоцкого...» И не она одна! Каждая вторая там – учебник родной речи! Как у вас все изменилось!

– Ничего, – говорю, – у нас, Макар, не изменилось, – только коچهгарок больше нет. Учителя русского языка и литературы, упорствующие в падежах и спряжениях, отправлены торговать на рынки.

.....  
**Моя родословная** прибывает ко мне прямо домой, в Таллинн: приезжает из Москвы мой двоюродный брат Володя и его жена Тамара. Мне было три года, когда родители, отправляясь в какой-нибудь Кисловодск (мамино вкусное, душистое крепдешинное платье, ее ноги с крепкими икрами – словно факелы высоко подняты древками каблуков), подкинули меня впервые в Москву. Я прекрасно помню, как стояла посреди родственной московской квартиры и кричала «Мяса! мяса! мяса!». Помню, как Володя повез меня кататься на лодочке, а меня укачивало и тошнило, и зеленая тина речки пугала, как живая... как живая рыба, что билась потом головой о черную лунку в эмалированном тазу на кухне. Помню, как я заболела дизентерией и не могла есть землянику; моя четырнадцатилетняя сестра вызвала меня накормить: она вывела меня на балкон, съела мою землянику, а последней ягодой вымазала мне губы... Я помню яркую красавицу Любу – Володину маму с пуховкой в руке, которой она ворошила розовую, летучую пудру, помню ее девяностолетнего отца, ходившего после операции с бутылочкой, привязанной к животу, в которую по трубочке медленно стекала моча; Любиного мужа – Володиного отца – мамино брата – архитектора Лёву – лысого, в круглых очках и без шеи: он все время хватался с силой за свою голову, словно пытался перелепить ее по-другому.

Спустя тридцать семь лет я написала об этой семье в книге об отце. Отец приезжал туда с соавтором писать роман. А Люба была не только ярка, как стоваттная лампочка без абажура, но и необыкновенно болтлива, и отец, чтобы писать в тишине, обещал ей за час молчания поход в пивную и – в ресторан за молчание в три часа. Эти сроки были для нее невыносимы и, чтобы совладать с собой, она убегала налегке в зимний парк, где заговаривала с кустами...

Володя обиделся на мою книгу – на понуро ревнивого своего отца, на болтливую мать, увешанную фальшивыми сапфирами и бриллиантами, которые так шли ей, что наводили на мысль о бешеной и смертельной шулерской удаче, на себя самого – сугубого математика и своих детей – с роялями и скрипками.

Он замолчал на десять лет, потом как-то совершенно заочно потеплел, и вот теперь, когда они с Тамарой разменяли восьмой десяток, а я шестой, они больны, их дети в Америке и в Германии, моя дочка – в Петербурге, моя мама – их властная тетка (сорок семь лет начальницей отдела новой техники на фанерном ком-

бинате!) лежит в больнице, выправляясь после шестого отека легких, они едут ко мне в гости, чтобы обняться и утешиться.

**Моя сестра**, заметив на мне фамильный медальон, говорит:

– Это медальон моей бабушки.

– У нас с тобой общая бабушка, – отвечаю я.

– Формально. Но не на самом деле.

– Как это?

– Ты родилась через девять месяцев после смерти бабушки и значит не успела побыть ее внучкой... Этот медальон ей подарили в 1900 году. Цепочка на нем была длиннющей, почти до пола, бабушка обвязывала шею три-четыре раза. Когда в семье наступали трудные времена, бабушка снимала несколько звеньев цепочки и продавала их. Во время войны, когда папа был на фронте, а я с мамой и второй бабушкой голодали в эвакуации, была истрачена почти вся цепочка, осталось только то, что теперь – вокруг шеи... И это моя история!!

**Коля Крышук**, как это почти непременно у людей, движимых талантом и благородством, простодушен и наивно недалковиден в вопросах житейских.

В молодости мы сочиняли в соавторстве пьесы и постоянно ездили друг к другу – в Таллинн и Ленинград. Коля в это время работал литературным консультантом Ленинградского отделения Союза писателей. Както ленинградцы собирались в Эстонию с визитом дружбы народов и литератур. Секретарь спросил на собрании:

– Товарищи, подумаем, у кого из нас есть связи с писателями Эстонии?

Коля немедленно откликнулся:

– У меня есть связь... Одна...

Питерцы приехали в Таллинн. После официальной части мы шатались по городу, сидели в кафе, а вечером, проводив их до гостиницы, я собралась домой. Позвонила своим и сказала, что выезжаю. После этого присела буквально на минутку, чтобы услышать новые стихи одного из приезжих. Потом прочла буквально одно свое новое стихотворение. Потом все вместе решили выпить буквально по последней. Утром, когда первый раунд споров и чтений был закончен, я испугалась, – дома, наверное, сходят с ума. Коля стал меня успокаивать:

– Не волнуйся, я сейчас напишу записку, которая всё поставит на свои места и всё объяснит.

И снарядил меня в дорогу запиской, адресованной тогдашнему моему мужу: «Дорогой Арик! Не тревожься: эту ночь Лилька провела со мной...».

**Много лет назад** эстонские коллеги попросили Колю Крышука проанализировать творчество молодых русских таллиннских литераторов. Предполагалось, что у Коли будет приятная и необременительная возможность лишний раз приехать в Таллинн. Но Коля взялся за дело с утомительной честностью: он прочел все предложенные ему рукописи и книги и ... выступил в Таллинне с блистательным докладом, о котором потом еще долго ходили легенды. В частности, он написал виртуозный детектив по поводу одной поэтической строчки С. В этой строчке зима сыпала на дорогу сухой анальгин. Коля предъявил неопровержимые стилистические, ритмические, метафорические улики, бесспорно доказывающие, что эта строка могла принадлежать только одному поэту – Осипу Мандель-

штаму. Зал замер, автор почувствовал себя ведомым на казнь. Коля улыбнулся: «И все-таки у Мандельштама нет такой строчки, и об этот простой факт разбиваются все мои построения...».

А через несколько месяцев случайно выяснилось, что у С. был доступ к не опубликованным тогда еще стихам Мандельштама, и Колю вдохновенное литературное расследование вполне могло обернуться прозаическим делом о плагиате. Но Коля, получив документальное доказательство своей правоты, моментально потерял к ней интерес.

И правда: факт всегда отнимает веру.

**В литературе Крышук – буддист.** Как только здание новой книги начинает достраиваться, труд завершаться, Коля чувствует тоску, тревогу и ищет лазейки для выхода из тупика финальной точки. Самый простой способ, конечно, просто потерять – неизвестно где и не помня при каких обстоятельствах – единственный экземпляр рукописи. Так он обычно и поступает. Не оставляет заботой о совершенстве и своих близких. Недавно я привезла ему в Питер свою пьесу, отдала единственный экземпляр. В тот же день отправлялась дальше, в Москву. Шел бесконечный проливной дождь, Петербургу было море по колено. Выпили, спасаясь от непогоды. Из каких-то гостей поехали на вокзал на такси, у Колиного дома я попросила таксиста притормозить, сказала Кольке, чтобы он шел домой, а я доберусь сама. Коля согласился. Таксист проехал десяток метров и остановился:

– Смотрите, – ткнул он в зеркальце заднего вида, – вот ваш товарищ стоит в луже, раскачивается, зря вы так его бросили, надо было довести до подъезда.

– Ничего – ничего, – говорю, – сейчас откроет портфель, выбросит в лужу мою пьесу и прекрасно дойдет до дверей.

**Резо Габриадзе** рассказывал мне об эпизоде, который был придуман для фильма «Мимино», но не был снят. На экране мы увидели несколько иную сцену, но и ее запомнили надолго: герой, затосковав в чопорной Европе, просит телефонистку соединить его с Телави, а та, никогда не слыхавшая о грузинском городке и не вникающая в тонкости созвучий, соединяет его с Тель-Авивом. И все-таки на другом конце провода оказывается земляк героя и происходит случайно-точное попадание в грусть чужой жизни и, разделенные неведомыми пространствами, оба затягивают грузинскую песню.

А хотелось авторам сделать так: в Тель-Авиве снимает трубку юное существо в болтающейся майке и обтягивающих джинсах, оно не заинтересовывается собеседником, подбегает к окну и зовет к телефону дедушку. А дедушка медленно, стараясь не отрывать ног от земли, тащится по залитой желтым цветом раскаленной улице, и пронзительная зелень деревьев не принимает его в свою тень, и на голове у дедушки грузинская кепка по кличке «аэродром», а из старой кошелки выглядывает гусь и смотрит в обратную сторону, как бы еще больше тормозя движение, а над дедушкой, в небе, пролетают самолеты, целая стая их видна вдали, за спиной. Внучка кричит: «Дедушка, иди скорее!» Он отвечает, оглянувшись на самолеты: «Подожди, ты же видишь, я и так иду быстрее истребителей!»

**Советские писатели** гордились благодарностью эзков. У Вознесенского есть стихи, в которых он едет в электричке среди малаховской братвы: «...и как-то получилось, что я читал стихи...» К Радзинскому, откинувшись, приезжали братки поблагодарить за фильм «Еще раз про любовь». Высоцкого эзки считали за своего. Я с некоторым почти приятным замиранием вспоминаю убийцу, приехавшего ко мне в первый день после освобождения с тетрадкой, в которую любовно были переписаны мои стихи.

Советская власть задумывалась политкаторжанами по тюрьмам и лагерям, в ссылках, в Туруханском крае и претворялась потом в жизнь по законам воров и урок, к которым привыкли выжившие большевики.

Когда советская власть кончилась, первые фирмы новых русских поражали сходством с райкомами партии: явка в девять ноль-ноль, строжайшая субординация, строгие костюмы, раздутые штаты, чудовищное безделье, совершенная и наглая фикция вместо какой-либо деятельности, важность и чувство превосходства и собственного достоинства... Вору и бандиту создали свои офисы по моделям райкомов партии, потому что изначально райкомы партии создавались по воровским и бандитским моделям бытия.

.....  
**Бродский в конце жизни** говорил, что человек – сумма его поступков, а не слов. Как жаль, что он пришел к этому. Человек не сумма, а, как он отлично знал, часть – часть речи. Я физически ощущаю, как наша часть речи становится написанной симпатическими чернилами.

На нас наступает новый язык – семантической нищеты и звукового бесстыдства; он не знает метафор, аллегорий, подтекста, он понимает только прямые высказывания. Порвалась синтаксическая связь времен.

Когда-то отношения заключались в скорлупу золотого яичка общих метафор, форм, ритма и синтаксиса; компьютерная мышка хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Все всех могут иметь по имейлу. В споре с Шариковым профессор Преображенский удивительно лишен остроумия и блеска. Шариков говорит: «И очень просто...», а Преображенский бессильно передразнивает его: «Вы напрасно говорите «и очень просто» – это очень непросто...» Что ж, слов никаких других не найти? Именно что никак невозможно найти слова – все мосты сожжены.

.....  
**Несколько лет назад** я сказала в интервью английскому журналисту, что в советское время одна редакторша объявила мне: «А все стихи о смерти я буду выжигать из сборника каленым железом!» Молодой английский славист печально закивал головой: «Да-да, мы знаем, что поэтов в Союзе пытали, но вы, мадам, можете утешаться хотя бы тем, что шрамы не видны!»

Совсем недавно я пожаловалась коллеге – русскому литератору на своего приятеля: в споре о том, как следует воспитывать молодежь, он совершенно вышел из берегов и кричал мне: «А со всей этой вашей рефлексией следует бороться оперативным путем, следует ее отсекают скальпелем!» Коллега удивилась: «А разве он хирург? Ты же говорила, что он инженер-строитель...»

.....  
**Сюжет:** женщина, овдовев, живет в доме за городом со старухой матерью. Ее муж умер от сердечного при-



ступа, узнав о предательстве партнеров по бизнесу; предательство означало полное разорение. Женщина, до того никогда не работавшая, занялась сбором шишек, грибов, лесных цветов и веток, она строит из них композиции и продает, как-то зарабатывая на жизнь; она огрубела, но и закалилась. Ее взрослый сын живет отдельно, на него она предусмотрительно переписала все, что удалось сберечь. Однажды среди ночи возле ее загородного дома останавливается машина и некто по-хозяйски пытается войти в калитку. Лают собаки. Женщина хватается мужнино ружье и выбегает в сад. Она велит ночному посетителю убираться прочь. Тот нагло кричит в ответ, что дом принадлежит ему. Женщина отступает и запирается в доме, ночной гость – за ней. Старуха-мать рыдает. Ночной вор разбивает стеклянную дверь на веранде и вваливается с бранью в комнату. Женщина стреляет...

Женщине дают свидание с сыном.

– Как же ты мог продать наш с бабушкой дом и ни слова нам не сказать? – рыдает женщина.

– Мама, – раздраженно отвечает сын, – во-первых, я не хотел вас с бабушкой беспокоить, а во-вторых, ты сама переписала дом на меня, и я имел право поступать с ним так, как мне заблагорассудится. Мне и в голову не могло прийти, что ты будешь стрелять в человека...

– Но он же стал ломиться к нам ночью! – всхлипывает женщина.

– Мама, – изнемогает от ее непонятливости сын, – человек купил дом, и он имеет право въехать в свою собственность в любое время – хоть ночью, хоть днем. Ты полезла не в свое дело, мама!

**Сюжет.** Почти в каждом городе есть такое: чуть удалишься от центра, а там – целый район деревянных домиков с печным отоплением и большими запущенными садами. Один такой домик – девять квартир – целиком спился. И вдруг к ним пришел человек, назвал себя адвокатом и взялся их перевоспитывать в строгости, но справедливости. Кого запугал, кого взял лаской, кого побил, но только все по утрам стали обливаться холодной водой, делать зарядку и стали возделывать с тщанием и любовью землю вокруг дома. Вскоре вырубил и выкорчевали деревья, выкопали длинные стройные грядки, посадили траву, которая, по словам адвоката, совершенно излечивает от пьянства, то есть так, что и не хочется пить совершенно, а хочется заниматься исключительно полезным делом, например, продавать эту самую траву и получать от продаж огромные деньги. Сначала мучаясь страшным похмельем, потом претерпевая ужасную ломку, потом трезво глядя в будущее, весь дом терпеливо дожидался всходов.

Как-то ночью нагрянула полиция, зеленые стройные стебли с острыми листьями были безжалостно вырваны из земли и растоптаны, адвоката, оказавшегося рецидивистом, арестовали, жильцам пригрозили конфискацией сада, если они опять попробуют разводить коноплю.

После отъезда полиции дом понял, что счастье кончилось, как всегда оказалось мифом и впереди одно беспросветное пьянство и гибель. Пили весь день, а ночью запалили дом и разбрелись по свалкам.

В 1980 году Белла Ахмадулина приехала в Таллинн и попросила меня познакомить ее с настоящим типичным эстонцем – чтобы был с трубкой, с бородой и

медленно-медленно, с большими-большими паузами изрекал какие-нибудь философские максимы. Дело было поздним вечером, даже ночью. Я сказала, что в такое время и в таком состоянии можно, пожалуй, нагрянуть только к Тээту Калласу, но, боюсь, он разрушит ее представления об эстонском темпераменте – он человек резкий, яростный; ради любимой женщины вошел в клетку к тигру, тигр кинулся на него и отгрыз палец... Белла поморщилась: моя метафора отдавала безвкусицей.

И все-таки отправились к Калласам. Началось ночное застолье; Тээт и Белла встретились впервые, но у них оказалось так много общих знакомых – Тээт дружил с Аксеновым, перевел Юрия Казакова, – что они очень скоро заговорили как старые приятели, которые давно не виделись. Обменялись новыми книгами. И вдруг Белла заметила, что у Тээта не хватает на руке пальца; Тээт перехватил ее взгляд: «Это у меня была не очень удачная встреча с тигром...». Белла воскликнула: «С какой стремительностью в Эстонии литература становится фактом жизни!»...

Белла Ахмадулина захотела поздним вечером пойти в Таллиннский клуб художников и литераторов «Куку», что и сегодня расположен на Площади Свободы, только тогда, в начале 80-х, туда пускали лишь по членским билетам творческих союзов, а сегодня туда может зайти каждый. Белле очень понравился и сам клуб и его тихая, какая-то потаенная атмосфера; было много выпито, и вдруг она поднялась, вышла в центр зала, поклонилась до земли и буквально пропела-проплакала: «Простите меня! Простите, что я ничего не сделала для того, чтобы ваша прекрасная страна стала независимой! Простите, что я ничего не сделала для вашей свободы, которая непременно придет к вам!»

Наступила гробовая тишина. Никто не ответил, не повернулся к поэтессе. Она растерянно постояла в центре зала и вернулась понуро за столик. К нам подошел один из завсегдатаев клуба и тихо, но категорично посоветовал нам уйти; Борис Мессерер стал нервно и с вызовом объяснять, что Белла – великий поэт, что сам он – художник, что он буквально ошарашен такой реакцией на искренние слова своей жены, но представитель клуба был тверд и все-таки указал нашей компании на дверь.

Какая непримиримость! И только спустя четверть века я узнала, что же тогда произошло. Я рассказывала, сидя в том же «Куку», эту историю Ваапо Вахеру – известному эстонскому литератору. Он огорченно кивал и, наконец, прокомментировал:

– Я был в тот вечер в клубе. Понимаешь, мы же все тогда были на зачетке в КГБ, а Белла Ахмадулина говорила так вдохновенно и открыто, что мы решили, что органы подготовили очередную провокацию...

В начале 80-х Евгений Евтушенко увлекся фотографией и устроил выставку своих работ в Таллиннской башне Кик-ин-де-Кёк. Но фотографии были довольно обыкновенными и ажиотажа не вызвали. Зрителей не было. Евтушенко подключил влиятельных друзей, из ЦК Компартии Эстонии поступило указание в газеты – немедленно откликнуться на выставку выдающегося советского поэта достойными положительными рецензиями. Моментально всё было выполнено – журналисты атаковали Евтушенко, газеты запестрели заметками. На зрителей, понятно, это не

произвело никакого впечатления, и выставку они по-прежнему игнорировали. Тогда Евтушенко объявил на своем литературном вечере, что у него совсем не случайно все фотографии из-за границы сделаны в цвете, а из Советского Союза – черно-белые, мол, на Западе жить радостная и цветная, а у нас... И спасибо Эстонии, которая не побоялась устроить эту экспозицию... Тут же в газеты полетели новые указания из ЦК, категорически запрещающие прославлять поделки сомнительного литератора. Весть облетела город. Зрители стали штурмовать старинную башню с фотографиями...

Евгений Рейн попал в больницу. Уважающий его талант и славу медперсонал предложил ему отдельную палату. Рейн испугался: «Вы с ума сошли! Зачем мне отдельная палата?! А кому я буду рассказывать?!» Рейна поместили в палату, где уже лежал один пациент; на груди у него была татуировка: «Жить хочу, но не умею». – «Это про меня! – закричал Рейн, – это именно про меня!»

Евгений Рейн сказал мне: «У меня все крадут истории и потом пишут книги, романы, стихи, потому что я умею придумывать новые сюжеты. Зачем я рассказываю? Как за столом всегда есть человек, которому нестерпимо хочется выпить, так мне нестерпимо хочется рассказать».

В 1996 году Булат Окуджава выступал перед русскими людьми в Эстонии. Прислали записку: «Булат Шалвович! Вы воспитали несколько поколений романтиков; мы верили Вам, а теперь мы никому не нужны. Что-то Вы нам скажете сегодня?»

Булат Окуджава наклонился к залу:

– Я скажу вам сегодня, что и тридцать лет назад...

В середине восьмидесятых Булат Окуджава выступал в Доме печати в Таллинне. На входе дежурила милиция, по вечерам контроль был особенно строг. Окуджава приехал на свой вечер заранее. Милиционер спросил у него билет и, узнав, что билета на концерт у этого – одетого в серый и неновый пиджак человека – нет, стал выталкивать Окуджаву за дверь.

Спутники и поклонники поэта стали объяснять милиционеру, что перед ним – Окуджава. Милиционер никакого Окуджавы не знал, а имел предписание пропускать только по билетам; начался гвалт, кто-то громко и навязчиво повторял: «Это Кафка! Это «Замок»!» (Думаю, что, скорее всего, это была я). И лишь сам Окуджава был не только спокоен, но, как мне показалось, даже доволен отчасти, поскольку видел в происходящем нормальное, органичное отношение обывателя к поэту.

Однажды, в 70-х, Евгений Рейн пришел в гости к Белле Ахмадулиной. Поднялся на шестой этаж и видит, что вход на лестничную клетку забран решеткой. Стал кричать, звать хозяев; из квартиры вышла Белла и говорит, что Борис ушел, а ключ от решетки унес с собой. Рейн хотел распрощаться, но Белла его удержала: она принесла столик, накрыла скатертью, Рейн открыл принесенный коньяк, сели они по разные стороны решетки, выпивают. Вечером вернулся Мессерер и говорит: «С какой стороны ни посмотри, а поэты у нас сидят за решёткой...»

Все, может быть, и изменяется, кроме журналистики. Тридцать лет назад редактор газеты, в которой я служила, видя стихотворную цитату, вскидывался и

тревожно спрашивал: «Живой поэт?» и успокаивался только тогда, когда узнавал, что поэт Данте давно умер и не может быть обвинен в отступлении от партийной линии. Однажды я процитировала поэта Рембо, была вызвана на ковер, шла спокойно и уже в дверях начала: «Он умер так давно, что...» – «Я вам покажу, как пропагандировать американского зеленоберетчика Рэмбо на страницах партийной печати!» – закричал на меня бдительный шеф.

Нынче я попыталась вернуться в журналистику, заняла должность редактора глянцевого журнала. Вызывает меня издатель и говорит: «Почему у вас на обложке артист, о котором в самом журнале – ни слова?» Я отвечаю: «Как же? На десятой странице извольте видеть...» – «Это не он, у того, на обложке, короткая стрижка, а у этого длинные волосы и усы» – «Он, он, – успокаиваю я, – только он в гриме, в парике» – «Зачем?!» – «Ну, он артист, играет разные роли, гримируется...» – «Вы разыгрываете меня, что ли?» – «Боже упаси! Почитайте, тут написано, это тот же человек, правда!» – «Зачем мне читать, если я вижу, что другой!!!»

Тридцать лет назад один мой коллега-журналист принес с выставки собак заметку под названием «Хорошо, когда твой друг – собака!» Грубоватый редактор орал: «Значит, мой друг – сука?! Свинья мой друг?!» Журналист посрамленно ретировался и через день сдал информацию под заголовком: «Хорошо, когда собака – твой друг!» Редакторский мат опускаю. Еще через три дня на стол главному лег окончательно переделанный и переработанный текст – «Каждому – по медали!»

Несколько дней назад я переписала от начала до конца заметку своей юной коллеги об открывшемся в нашем городе кладбище собак: из десяти страниц сделала две, заголовок «Куда пойти с невыносимой утратой?» заменила на менее скорбный, исправила грамматические и синтаксические ошибки, уточнила перевранные: фамилию директора кладбища, название улицы и района. «Что скажете?» – спрашиваю у автора заметки. «В целом неплохо, – отвечает она, – но у меня есть несколько замечаний по вашей стилистике...»

К ужасу своему видишь, что человек становится похож не только на свою собаку и жену, но и на то, что он пишет...

МАКСИМ Д. ШРАЕР

## СУДНЫЙ ДЕНЬ В АМСТЕРДАМЕ Рассказ

Сентябрьским туманным полуднем, открывшимся из окна Скипхолского терминала, Джэйк Глаз вышел из самолета, прилетевшего из Ниццы, и решил перекусить, прежде чем отправиться электричкой в Амстердам. Хотя было только два часа дня, Джейк заранее беспокоился, что не успеет плотно поесть до наступления заката: это был канун Судного Дня. Единственной причиной для его остановки в Амстердаме было желание избежать покаяния на борту самолета, летящего над бездонным океаном. Джэйк Глаз, которого прежде в России звали Яша Глазман, был не в восторге оттого, что ему предстоит вернуться на два дня позже домой в Балтимор, где он возглавлял фили-

ал международной туристической компании. Но что было делать! Йом Киппур, еврейский день покаяния, был, пожалуй, единственным религиозным праздником, который он преданно соблюдал.

Поглощая второй бутерброд с голландской селедкой, вкус которой ностальгически напоминал семгу из его советского детства, и запивая его пивом Грельш, Джэйк снова и снова прокручивал в голове весь свой отпуск в Ницце: по утрам пляж и прогулка по набережной, а по вечерам — рулетка в Монте-Карло. Как-то раз, во время одной из поездок на выходные дни в Аннаполис, они с Эрин задумали провести сентябрь на Ривьере. Трепещущие флаги над гаванью, устрицы и голубые крабы, курсанты в небесного цвета форме, яхты, бороздящие горизонт... Прелести лета на морском побережье всегда возбуждали в Джеке желание провести отпуск на Ривьере во время *бархатного сезона*, когда средиземноморская жара спадает, а французские отпускники возвращаются домой после своей традиционной августовской передышки.

«Джэйки, милый, — сказала ему Эрин своим игровым голосом, которому была неведома ирония. — Ты, кажется, читал недавно что-то про Ниццу? Расскажи господина Чехова? Или это был господин Набоков?»

Их роман продолжался почти два года, и Джэйку не переставала нравиться ее беспредельная непосредственность. Он считал Эрин классической американкой германо-ирландских кровей; она была улыбчивая и легкая в общении, с продолговатым лицом, усеянным веснушками, вся сотканная из длинных ног и маленьких грудей, кроссовок, джинсов и свитеров толстой вязки. Он поражался ее способности жить одним лишь практическим опытом. Джэйк никогда толком не понимал, как Эрин способна с такой естественностью и уверенностью сочетать глубокое знание всего, что непосредственно окружает ее: родной город, любимые журналы мод, государственную службу — с невероятным безразличием к остальной вселенной. Это не значило, что Эрин не хотела узнавать новое. Она вполне успешно запоминала всякие разрозненные события из еврейской истории, о которых Джэйк рассказывал ей в машине, во время поездок, или когда они валялись в постели, насытившись любовью. Эрин всегда была вполне довольна теми кусками пирога жизни, которые подносила ей судьба на блюдечке с голубой каемочкой.

Это должна была быть ее первая поездка на Ривьеру, и Джэйк старался, чтобы их путешествие получилось действительно захватывающим. Профессионал в сфере туризма, он никогда не планировал свои поездки так тщательно, как на этот раз. Каждый день должен был открыться какой-нибудь новизной: лимонные рощи в Ментоне, высший свет в Монте-Карло, Пикассо в Кэйп д'Антиб и Ренуар в Кань-сюр-Мер, синема в Каннах, парфюмерные чудеса в Грассе, рыбная ловля в Сант-Тропезе. В конце концов Джэйк забронировал номер в тихой четырехзвездной гостинице, по соседству с резиденции консула Российской империи, всего в пяти минутах ходьбы от Английской набережной.

К исходу апреля каждая мелочь их двухнедельного путешествия по Ривьере была тщательно продумана; билеты и бронь на гостиницы давно лежали в верхнем ящике рабочего стола Джэйка. А потом наступило лето, которое было в том году жарче и болотнее, чем обычно в Балтиморе, и чем больше они приближались

к сентябрьскому дню, на который был назначен отъезд, тем мучительнее Джэйк ощущал себя в ловушке собственных сомнений. В конце концов все это сошлось воедино, подобно несложному географическому ребусу на экране его компьютера, сошлось после их поездки на викенд в западную Пеннсилванию, в город, где родилась Эрин. Ее дядя докучал Джэйку идиотски-сочувственными вопросами о кинофильме «Список Шиндлера». Ее старшая сестра называла ермолки евреев-хасидов, которых она видела Питтсбурге, «камилавками». И в довершение ко всему, в воскресенье он провел все утро один в доме, развлекая себя игрой с такой по имени Скарлет, пока вся семья Эрин была в церкви. Правда, Эрин никогда не лезла к нему в душу со своим католичеством, понимая, как все это будет ему чуждо. Собственно как и Джэйк, который никогда не старался прозелитствовать — он находил это занятие интеллектуально оскорбительным и абсолютно чуждым сущности иудейства. Хотя личный опыт тех его друзей, которые женились на нееврейках, впрочем как и разнообразная статистика, которая была ему известна, — все вместе предполагало, что Эрин, скорее всего, перейдет в иудаизм, если он этого захочет. И вот теперь в машине на обратном пути в Балтимор он впервые столкнулся с непреклонной преданностью Эрин католичеству, абсолютной преданностью, силу которого он никогда прежде не представлял себе. Крупные детские слезы стояли в ее глазах. Через вырез бейсбольной кепочки с надписью «Navy» был пропущен хвост ее рыжих ирландских волос. Эрин гладила его руку, которая лежала на ручке скоростей, и повторяла снова и снова: «Джэйк, у нас будут дети, мы вырастим их по еврейским законам, я выучу ваши обычаи, но я сама не смогу изменить моей вере...»

Джэйк молча вел машину, раздираемый злобой. Он представлял в своем мечущемся воображении то Папу Римского, благословляющего воскресную толпу перед Ватиканом, то черно-зеленые клетчатые юбки девочек из католических школ в вашингтонском метро, то полдюжины католических свадеб, на которых он посылал. До сих пор он жил, полагая, что в христианском мире еврей должен уважать нравственные правила большинства населения, но при этом не терять своего достоинства. Теперь же оказалось, что он так взбешен, так враждебен Церкви, как будто бы это она, Церковь, повергла его безмятежное будущее в руины.

«Почему ты не можешь любить меня такой, какая я есть?», рыдая, повторяла Эрин по телефону в течение двух недель после этого разговора.

«В том-то и дело, что я люблю тебя, Эрин. Но, пойми, я не могу жениться на тебе. Мы — маленький народ. Мать моих детей должна быть еврейкой, как ни крути, — ответил Джэйк, задохнувшись от своих слов. — Другого выхода нет», — добавил он после паузы.

А через неделю долговязая тетка из UPS доставила ему коробку из-под 20-дюймового телевизора. Внутри коробки Джэйк обнаружил коллекцию всего, что он дарил Эрин в течение этих двух лет. Она возвратила все в первоначальных подарочных упаковках. «Странная шутка!» — подумал вначале Джэйк, срывая упаковку с начатого флакона французских духов, которые он купил Эрин ко Дню Благодарения, и вытаскивая из подарочной коробки темно-зеленую шерстяную накидку, которую он привез из Лондона. Потом его пальцы нащупали толстую пачку писем на дне посыла-

ки. Все его письма, в том числе посланные по электронной почте, все ФАКСы, которые он любил отправлять ей с работы или иногда даже с борта самолета, и, по крайней мере, двадцать открыток, брошенных во время его деловых поездок в Сингапур, Непал, Мокву или Сан Паоло... Каждая корреспонденция была аккуратно разорвана пополам. Вся толстая связка была перевязана голубой шелковой лентой. И наверху приложена записка: «Джэйк, я любила тебя больше всего на свете, но не больше Христа. Когда-нибудь ты поймешь. Пожалуйста, не пытайся меня разыскивать. Я поменяла номер телефона. Прощай! Твоя Эр». Он сидел на полу среди всех этих подарков, теперь дважды раскрытых, сидел на полу, уставившись в потолок невидящими глазами человека, измученного бессонницей.

К счастью для Джейка, его близкий московский друг, Миша Мартов, человек семейный и отец двух девочек, остался таким же любителем приключений, как и в те времена, когда у них с Джэйком Глазом (в ту пору Яшей Глазманом) была общая юность и беззаботные студенческие игры. Миша и его жена Надя, тоже давнишняя приятельница Джэйка со времен их бывшей школьной московской компании, быстро достали дешевые билеты, сняли недорогой отель в Ницце, оставили детей на попечение Надиных родителей (счастливых владельцев подмосковной дачи) и состыковались с Джэйком на Ривьере, чтобы провести вместе целую неделю. Джэйку удалось поменять обратный билет, чтобы вернуться в Балтимор на шесть дней раньше. Поэтому получилось так, что в канун Судного Дня он оказался в Амстердаме.

Много раз до этого Джэйку приходилось делать пересадки в аэропорте Схипхол в Голландии, но вот до этого так и не удавалось ни разу побывать в Амстердаме. Неподалеку от амстердамского центрального вокзала, на площади, запруженной молодыми бродягами из разных стран, воздух был насыщен туманом. Все цвета казались приглушенными. Хилое лимонное солнце пыталось пробиться через целлофановые облака. На улицах было больше велосипедистов, чем пешеходов. Чайки кружили над мусорными ящиками. И все же в этом городе было нечто, что сразу же подкупило Джэйка своей невероятной жизнеспособностью и свободой духа. Пока он медленно шел к своей плавучей гостинице, пришвартованной к берегу Амстела, он все время замечал приметы, присущие старинной городской культуре. Джэйк отметил для себя, что жители Амстердама выглядят хотя и буржуазно, но не помещански. К тому же он с удовольствием заметил, а потом записал в своем дневнике, что молодые голландские женщины, на которых он обращал внимание в вечерней толпе, ловили его взгляд с чувственной готовностью, вовсе не боясь показаться незнакомцу заинтересованными. «Лучшего места для покаяния еврей не найти!» — подумал Джэйк и усмехнулся.

Получив номер в плавучей гостинице, он пошел пообедать в уютный застекленный ресторанчик на Дамраке. Он с аппетитом поглощал абсолютно недиетическую, вкуснейшую телячью отбивную с жареной картошкой. Было четыре часа, а он решил начать поститься с половины седьмого. Так что у него оставалось чуть больше двух часов, чтобы обдумать важные вещи в ожидании ежегодного дня покаяния. «Вот и Йом Киппур, — обратился Джэйк сам к себе, допивая

второе пиво. — Грешил ли я? Был ли разрыв с Эрин грехом? Или, напротив, это было добрым делом, *мицвой*? В чем же мне каяться, если я не грешил? Еврей ли я только потому, что не смог, не захотел жениться на Эрин?» Джэйк понимал, что мысли его устремлялись совершенно не в том направлении после бессонной загульной ночи, которую он провел, прощаясь с друзьями накануне раннего вылета из Ниццы, и пива, которое он беспрерывно пил с тех пор, как оказался в Амстердаме. Он знал, что не в силах рассуждать логически, но ничего не мог с этим поделать. Он хотел, чтобы этот Судный День разрешил его сомнения. И даже начал корить себя за то, что порвал с Эрин так безоглядно: «Я не должен был спешить, надо было дать ей побольше времени, чтобы взвесить мои доводы...». Туманный воздух за окнами ресторана переменил свой цвет с голубого на пепельный. Джэйк попросил чашку кофе. «Может быть, мне надо было просто-напросто жениться на ней — и наплевать на все эти еврейские дела?!» Он вспомнил первый ужин, на который он пригласил Эрин. Это был итальянский рыбный ресторан в Балтиморской гавани. Она не соглашалась на близость целый месяц, а он не настаивал, довольствуясь продолжительными любовными прелюдиями, которые она предлагала ему. Внезапно от этих мыслей Джэйк почувствовал себя страшно одиноким и ощутил потребность женского общества. Он подозвал толстого, раздутого, как луковица, официанта и спросил, притворяясь, что он пьянее, чем был на самом деле: «Где тут у вас этот ужасный Квартал Красных Фонарей? Я бы хотел на него взглянуть!»

Ничуть не удивившись, официант немедленно принес карманную карту центра Амстердама, похожую на страницу из анатомического атласа: голубые вены каналов, черные нервы главных улиц, красные мышцы мостов.

«Пересечете Дамрак, потом — все время прямо. Невозможно пропустить». Официант кивнул, приняв от Джэйка деньги за обед и чаевые.

Какой-то необъяснимый магнетизм, как шкипер, провел тело Джэйка сквозь вечернюю толпу, фланирующую по главным улицам, а затем направил его вдоль длинного пустынного проулка, выложенного булыжниками. Вскоре он оказался около узкого замусоренного канала в окружении других мужчин, прогуливавшихся в одиночку или по двое-трое. Иногда сюда забредали парочки. Джэйк заметил даже целое семейство туристов с двумя детьми, мальчиком и девочкой, одетыми в желтые куртки с капюшонами. Кое-кто фотографировал. Вспышки тонули на дне канала, по обеим сторонам которого стояли готического вида здания, мрачные и узкие. В каждом было по несколько стеклянных дверей. Джэйк вначале был так смущен всем этим, что не решался подходить близко, лишь издали присматриваясь к этим дверям, от которых видимые ступени вели вверх. Он прошелся вперед и назад, наблюдая за тем, что было ежевечерней жизнью этого необычайного пространства. Он читал и слышал об амстердамском Квартале Красных Фонарей, но не мог вообразить, что это место окажется столь мирным, столь чуждым мерзости и преступности, присущим подобным районам в Америке. Некоторые стеклянные двери были зашторены или занавешены. Темно-красные фонари горели за стеклами дверей. Это было условным знаком того, что хозяйка занята с гостем.

Было знобко и сыро, и только изредка Джэйк замечал открытую дверь и женщину в кружевном белье, стоявшую у входа. Чаще всего женщины стояли позади затворенных стеклянных дверей, улыбались и махали руками, зазывая клиентов. Уличные фонари вдоль канала отбрасывали желтый восковой свет, и обрамленные стеклянными дверями фигуры женщин напоминали выцветшие старинные портреты. Джэйк разгадал здешний деловой код: сначала клиент легонько стучится в дверь, которая после этого приоткрывается и начинаются переговоры, если таковые необходимы, затем занавеска опускается, и, наконец, зажигается красный волшебный фонарь, мерцая сквозь щели штор и жалюзи.

Он мог различать свое собственное отражение на зыбкой поверхности канала: большой мясистый подбородок, рыжеватая щетина, крупный нос с горбинкой, лохматые брови, глубоко упрятанные темные глаза. В конце концов Джэйк решился. Латунная дверная ручка сияла, словно ее только что начистили. «Хорошая примета», — подумал Джейк. Он прислонился к двери, облизывая сухие губы и вытирая влажный лоб клетчатым носовым платком. За дверью, прильнув к стеклу, стояла блондинка лет двадцати пяти, изучая своего нового клиента. Затем она поджала тонкие губы и отперла дверь.

«Поднимайтесь вверх, здесь внизу холодно. Я включила отопление».

Проститутка говорила по-английски с едва заметным германским акцентом, приглушая согласные. На ней были белые шелковые трусики и лифчик с темно-вишневыми кружевами. Джэйк наблюдал, как она скользит вверх по лестнице, словно сямская кошка. У нее были узкие бедра и некрупный, мальчишеский зад. Грудь были большие для ее роста и фигуры, а волосы, как он определил, крашенные.

«Семьдесят гульденов — бутерброд или в рот. Деньги вперед!», — сказала она.

Джэйк поразился абсолютному автоматизму, с которым эта белокурая женщина распоряжалась им. Он достал бумажник и заплатил. Проститутка спрятала деньги, стянула с себя трусики, отстегнула лифчик и аккуратно положила белье на деревянный стул. По углам комнаты горели четыре большие красные свечи. Узкая кровать была покрыта восточным покрывалом. В комнате стоял кофейный столик со стеклянным верхом и два стула. Голые стены были выкрашены в бежевый цвет. К потолку над кроватью было подвешено зеркало. Джэйк переминался с ноги на ногу, не зная, что делать дальше.

«Чего вы ждете? Раздевайтесь».

Джэйк покраснел до корней волос.

«Можно немного воды? Во рту пересохло», — сказал он, запинаясь, как подросток, покупающий сигареты.

«Вообще-то это не в моих правилах. Но я могу сделать для вас исключение. Только не разбейте, — проститутка наполнила голубую фаянсовую чашку водой из-под крана. — Это подарок».

Джэйк жадно выпил всю воду.

«Вкусная у вас здесь вода. Спасибо!»

Он сидел на краю кровати, она курила, сидя на стуле, стоявшем напротив.

«Послушайте, я не знаю, как вам это объяснить, — нарушил тишину Джэйк. — Я вообще-то пришел сюда

не ради секса... Мне было одиноко. Ничего, если мы просто поболтаем?»

«Я сразу поняла по тому, как ты пялился, что ты один из этих. Мне все равно, что давать, что болтать, лишь бы платили. Если хочешь остаться на полчаса, гони еще сто гульденов».

«Ничего себе. Круто!», — Джэйк снова достал бумажник и дважды пересчитал иностранные банкноты.

Проститутка натянула фиолетовый свитер и завела будильник.

«Как тебя зовут?» — спросил Джэйк, наконец, почувствовав себя свободнее с нею.

«Анетте».

«Ты голландка?»

«Нет, немка, из Гамбурга».

«А почему ты переехала в Амстердам? Тьфу, дурацкий вопрос, извини. Можешь не отвечать», — Джэйк пожал плечами, показывая, что он сожалеет о своем нелепом вопросе.

«А тебя что привело в Амстердам?» — в ответ резко спросила Аннетте.

Первым желанием Джэйка было рассказать ей про Эрин, про Ниццу, про его решение провести Судный День в Амстердаме. Но что-то остановило его.

«Я готовлю материалы по туризму в Амстердаме. Я журналист», — Джэйк поразился, с какой легкостью он соврал.

«Получается, что половина моих клиентов — журналисты и писатели. Можете вы придумать что-нибудь поинтересней?»

«Вообще-то...»

«... это не мое дело, — прервала его проститутка. — Ты еврей?» — спросила она, глядя на него в упор.

«Как ты узнала?»

«Ты похож».

«Чем же? У нас в Штатах, мало кто может определить».

«Мой отец — еврей. У тебя такая же печаль в глазах, даже когда ты улыбаешься. Отец говорил, что это из-за многих веков гонений».

«А мать — немка?»

«Мать — немка. Они с отцом цирковые гимнасты. Я выступала с ними до семнадцати лет».

«Послушай, Аннетте, я хотел бы спросить, если ты не против, как ты можешь этим заниматься?»

«Чем именно?», — она прикурила другую сигарету и распахнула ноги.

«Ну, этим. Я имею в виду... не противно ли тебе спать с разными незнакомыми мужчинами за деньги? Пожалуйста, пойми меня правильно. Я вовсе не моралист, но все-таки...».

«Что же тут непонятного? Это моя работа. Деньги хорошие. Жизнь в Амстердаме недорогая. Я много откладываю».

«Что ты будешь делать с этим деньгами?»

«Прежде всего, я хочу купить приличную квартиру на юге Франции. Да мало ли о чем я мечтаю...»

Зазвенел будильник, звук которого был похож на пожарную сирену. Джэйк поднялся и одел светлый дождевик.

«Что ж, благодарю тебя за потраченное время, Аннетте». Он остановился посередине комнаты, чтобы пожать ей руку.

«Не в моих правилах пожимать руки мужчинам на работе. Не обижайся». Она впервые за весь сеанс улыбнулась.

«Ну что ж, как знаешь. И все-таки, можно мне задать последний вопрос?»

«О'кэй. Только давай покороче».

«У твоих родителей счастливый брак? Я имею в виду, имело ли значение для них, что отец — еврей, а мать — нет?»

«Боюсь, что тебе придется придти в другой раз, если ты хочешь узнать еще что-нибудь. К тому же, я не уверена, что мне хочется говорить об этом. Запомни только одно: разные люди только тогда счастливы, когда они способны понять свои различия».

Аннетте открыла дверь и включила свет на лестнице: «Не забудь зонтик. Льет, как из ведра».

Она была права: потоки дождя неслись по булыжникам набережной, наполняя каналы осенней ртутью.

На следующее утро Джэйк проспал до десяти. Он проснулся на узкой кровати своей кабины второго класса и, пытаясь затолкнуть свое тело назад в сон, ощутил первые порывы голода. Ему надо было продержаться до вечера. В открытом кафе с влажными после ночного дождя стульями Джэйк заказал чашку чая с лимоном. В Судный День он всегда разрешал себе пить чай с лимоном, но без сахара. У молоденькой официантки волосы были цвета начищенной меди. Она предложила ему кусок только что испеченного яблочного пирога.

«Поверьте, я бы съел с огромным удовольствием, но не могу. Я сегодня соблюдаю пост».

«Да, конечно! Я понимаю», — улыбнулась ему официантка с сочувствием.

С Бедекеровским путеводителем города в руках Джэйк двинулся в южном направлении, сначала по улице Рокин, а затем по Вейзелстраат. Он пересек полдюжины каналов, останавливаясь, чтобы рассмотреть старинные ограды и барельефы. Его взгляд задерживался то на львенке, то на купидоне, то на драконе. Он повернул направо, на Ветеринг, и вскоре оказался на площади перед Рейксмузеем. Он вошел под своды массивной арки, где уличные художники предлагали свои работы, а четыре джазиста играли Глена Миллера. Джэйк купил у Глеба, бородатого художника из Санкт-Петербурга, маленькую литографию в тонкой рамке. На картинке: гостиница-поплавок, напоминавшая ту, в которой он остановился, мост, бросающий выпуклую тень, и бездомный велосипед. Джэйку нравилось в Амстердаме; ему нравился теплый туманный воздух, молодые длинноногие мамы с детскими колясками, кленовые листья, медленно вращающиеся на поверхности каналов. Он чувствовал себя здесь желанным гостем. Именно как с желанным гостем, а не с чужаком, говорил с ним пожилой господин, может быть, банкир, у которого он спросил дорогу к Музею Кино. Желанным для двух приказчиков в обувном магазине, где он купил пару ботинок на каучуковой подошве. Ему нравилась та непреднамеренность, с которой он в этот раз соблюдал пост, бродя по улицам Амстердама. Чем яснее и яснее его голова становилась от голода, тем больше его тело было готово к полету в бесконечность, в небытие.

«Я мог бы быть счастлив здесь, — думал он. — Я мог бы по-настоящему быть счастлив в этом городе, будучи просто никем, человеком из толпы. Красным

кленовым листом, плывущим по поверхности какого-нибудь канала по направлению к морю».

Около четырех снова пошел дождь. Сначала накрапывало, а потом сильно полило. Джэйк забыл зонтик в гостинице и насквозь промок, ощущая себя Ионой во чреве кита. «Мост, мозг, мотоцикл, масть, мать, мадригуана, Марианна, манна...», бормотал Джэйк эту чепуху — вариации на героические темы Ветхого Завета вперемишку с впечатлениями дня. «Можешь ли из болота вытащить бегемота, можешь? Можешь? Ха-ха! А на нееврейской женщине жениться? Как тебе нравится такой вопрос?»

Джэйк вернулся в гостиницу, чтобы переодеться. Он принял душ, надел галстук и пиджак с брюками и сделал запись в дневнике. Он посмотрелся в зеркало, застегнул на все пуговицы плащ и шагнул в проливной дождь. Он шел по направлению на восток, в сторону старой португальской синагоги, расположенной в бывшем еврейском квартале. «Сефардская синагога, — Джэйку вспомнился родной вороний голос его отца на другом конце провода, — была построена в 17-м веке. Это одна из самых почитаемых синагог во всем мире. Ты должен посетить ее, сынок». Его отец умудрился прочесть ему целую лекцию о гордых сефардских евреях Амстердама, о том, что архитектура внутреннего двора в синагоге должна напоминать Храм Соломонов. И вот теперь, продираясь сквозь потоки дождя, Джэйк пытался представить себе, как будет выглядеть здание, в котором ему предстоит услышать в этом году пронзительный звук Шофара. Очень может быть, что по ассоциации с сефардскими евреями он вообразил здание в мавританском стиле.

Синагога была обозначена на одной из карт в его путеводителе, он знал точный адрес: угол Л.Е. Виссерплейн и Муйдерстраат. Но то, что он увидел, совершенно не соответствовало тому, что он ожидал. Здание кубической формы было построено из темного кирпича и окружено балюстрадой так, что почти не видна была крыша. Из-за массивной формы этого здания, которое возвышалось над соседними, Джэйк принял его за старый банк, арсенал или монетный двор. Он обошел здание, нашел главный вход и попытался открыть тяжелую дверь. Дверь была заперта. Портал главного входа был украшен резьбой: пеликан, кормящий трех птенцов. Джэйк постучал снова. Никто не ответил. «Что за ерунда! Как синагога может быть закрыта в Йом Киппур?» — подумал он, барабанив в дверь. «Наверно, это не то здание — и архитектура вовсе не мавританская», — убеждал себя Джэйк. Он отошел от массивного здания метров на триста, надеясь спросить у кого-нибудь дорогу, но вокруг никого не было. Джэйк оказался в квартале старых, соединенных друг с другом кирпичных домов с высокими ступенями, белыми колоннами и портиками. Когда он решил вернуться на главную улицу, дверь одного из домов отворилась, и две женщины и девочка шагнули прямо в дождь. Они шли медленно и с достоинством в направлении того места, где Джэйк только что побывал. Женщины показались ему типичными голландками, принадлежащими к среднему сословию: светловолосые, белокожие, в добротных неброских нарядах. Джэйк всмотрелся. Лишь одно показалось ему странным: они все, даже маленькая девочка, были одеты в длинные шерстяные юбки. Женщины были в шляпах с черными вуалями. «Куда это они — на похороны? В



четверг, во второй половине дня?» — усомнился Джэйк, направляясь вслед за обладательницами длинных юбок. Это привело его опять к темному кубическому зданию с высокими окнами и балюстрадой. Одна из женщин постучалась в дверь главного входа, но никто не отозвался. Они молча постояли несколько минут, думая, что делать, и вдруг Джэйк услышал протяжный скрипучий звук. Тяжелая дверь с боковой стороны здания отворилась, и мужской голос сказал что-то по-голландски. Женщины вошли; Джэйк поспешил за ними и заглянул внутрь. Он увидел нескольких мужчин атлетического сложения с темными бородами, курчавыми волосами и в ермолках. Мужчины курили и тихо переговаривались. Джэйк вошел и обратился к одному из «охранников», как он назвал их про себя:

«Шалом, простите, могу я войти в синагогу?»

«Шалом, мой друг, вы, должно быть, американец?» — ответил один из охранников, предлагая Джэйку простую черную ермолку.

«Спасибо, я захватил свою», — ответил Джэйк, доставая ермолку из кармана пиджака.

Скрипучая дверь закрылась, и Джэйк услышал клацанье тяжелого затвора. Он поднялся на несколько ступеней и увидел еще две двери, слева и справа. «Правая, должно быть, ведет на женский ярус», — подумал Джэйк. Он вошел в обширное помещение храма. Рассеянный свет падал сквозь полукруглые окна. Кубическое пространство храма было разделено на три придела. Ряды мраморных колонн поддерживали свод крыши. Дополнительные малые колонны подпирали стены. Несколько полуколонн поддерживали верхнюю галерею. Джэйку понравилось расположение мест внизу: скамейки из темного дерева стояли рядами на противоположных сторонах храма. Таким образом, в рядах по обе стороны мужчины молились лицом друг к другу. Святой Ковчег был в дальней стене; *бима* — кафедра, находившаяся на возвышении, — была с ближней стороны святилища, напротив Ковчега. Джэйк сел на самую крайнюю скамейку справа и начал рассматривать молившихся. Было около пяти вечера, когда он вошел, и в синагоге было уже около двухсот человек. Храм постепенно погружался в полутьму, окна меняли цвет от серо-голубого до дымчато-серого, а потом до цвета ночного неба. Все больше и больше людей наполняло синагогу по мере того, как приближалось время трубить Шофару. К заключительной части службы, часа через три, почти вся синагога была заполнена.

Джэйк и не пытался следовать службе; он почти не знал иврита, а по главным праздникам дома в Балтиморе ходил в реформистскую синагогу. Вместо того, чтобы молиться, он принялся наблюдать за прихожанами. Он различил два типа лиц. Одни угловатые, с оливковой кожей, явно средиземноморские лица. Эти мужчины чаще всего были крепкого телосложения и невысокого роста, у них были темные глаза, их выразительные горбатые носы были изогнуты, а курчавые волосы — черные или же иногда каштановые. Вероятнее всего, они были потомками сефардских евреев, выходцев из Португалии и Испании, основавших общину Амстердама. Гораздо больше было мужчин с чертами лица, типичными для голландцев и северо-германцев. Это были высокие светлокотые блондины с длинными лицами и небольшими острыми носами.

«Это *ашкеназим*, у них в жилах течет германская, польская и литовская кровь», — Джэйк представил себе, что бы сказал по этому поводу его отец.

Из находившихся в храме, четверо мужчин особенно заинтересовали Джэйка. Один был типичный мистер Пиквик: толстый, с полными щеками и тройным подбородком, мягкой улыбкой и выпуклыми лукавыми глазами. Так же, как и многие другие мужчины, включая кантора, «мистер Пиквик» был во фраке и шляпе с высокой тульей. Неподалеку молился мрачного вида сефардский еврей с мощным носом и лопатистой бородой. Он был с двумя подростками, у которых негроидные черты лица подчеркивались темным пушком над верхними губами. Они шекотали бахромой своих талесов шею мальчика, который молился в соседнем ряду. Джэйк, кроме того, заметил высокого стройного господина. «Наверняка, адвокат или финансист», — подумал Джэйк. Господин казался спокойным и самоуверенным. У него были ледяные зеленые глаза за стеклом очков, сидевших на кончике заостренного носа. И, наконец, на глаза Джэйку попался старый еврей с поросшим щетиной лицом. Его синий костюм-тройка лоснился от заносенности. Старик истово молился. Он был горбат, и его крупные розовые уши были растопырены.

Кантор взмошел на *биму*. Он был похож на отставного пехотного полковника, с бобриком серебристых волос, узкой щеточкой усов и квадратной челюстью. По контрасту с суровой внешностью кантора, его голос был мягким и трепетным. «Медовый голос, медовый», — вспомнил Джэйк восторженные слова своей матери, после того, как она слушала Ричарда Такера в постановке «Богемы» в Метрополитен Опера. Кантор пел, а храм погружался в темноту наступившего вечера. Только *бима* оставалась хорошо освещенной. Двое прислужников обошли зал вдоль стен и колонн, зажигая свечи. Они двигались тихо и медленно, чтобы не потревожить кантора и молившихся, которых объединяло таинство Судного Дня. Постепенно храм осветился сотнями огней.

Горящие свечи и гортанное пение взбудоражило Джэйка и сосредоточило его мысли на самом главном. Хотя он не чувствовал себя чужаком в этой тесной общине, он все же испытывал одиночество. Кроме того, отсутствие женщин в зале вынуждало его думать о женах всех этих молившихся евреев. «Там наверху, наверно, они ждут, когда наконец придет время соединиться со своими мужьями и сыновьями? Каждому еврею положено жениться, у каждого должна быть жена», — подумал Джэйк. Ему уже тридцать шесть, а он все еще далек от женитьбы. Он вспомнил об Эрин и о тех двух годах, которые ему когда-то казались счастливыми. А потом, — внезапное расставание. «Как можно любить и не быть вместе?» — спросил он самого себя, невольно раскачиваясь в разные стороны в ритме пения кантора. Закрыв глаза и скрестив пальцы на груди, Джэйк вспоминал места, где они побывали вместе с Эрин. Чаще всего они ездили на выходные в Аннаполис. Однажды в марте — на Ки Вест. Потом, как-то раз, катались с гор в Солнечной Долине. И, наконец, вспомнилась деревушка в горах северного Вермонта, где они провели неделю в свой первый июнь.

По краям поляны были россыпи земляники. Устав собирать земляничины руками, они ползали на коле-

нях и ели некрупные безумно сладкие ягоды прямо с веточек. Они были одни на всей поляне. Некоторые склоны гор были в тени, а другие освещались накаляющимся солнцем. Гудели пчелы. Они с Эрин медленно продвигались к дальнему краю поляны, в сторону от пылившей дороги, а потом прилегли отдохнуть в тени под шелестящими деревьями. Джэйк был в джинсовых шортах, Эрин — в маечке и в выгоревших хлопчатобумажных рейтузах в облипку.

«Джэйк, знаешь о чем я думаю?» — Эрин прикоснулась к его груди.

«О чем?!».

«Я хочу, чтобы наша жизнь вместе была, как длинная поляна — и вся в землянике».

«Да, было бы здорово. Длинная—предлинная. Вся из выходных дней».

«И мы бы все вместе ходили в церковь: ты, я, дети».

Джэйк почувствовал, как ледяная пустота образуется у него в груди.

«Эрин, ты же знаешь, что я не хожу в церковь», — ответил он сухо.

Смятение промелькнуло в ее глазах. Она покраснела.

«Джэйки, милый, я имела в виду... я подумала о том... как мы пойдем на какую-нибудь службу всей семьей, необязательно в церковь. Джейки, что случилось?»

«Ничего не случилось. Все в порядке».

Она перевернулась и поцеловала его в живот. Джэйк не сопротивлялся. Ее правая рука стянула с него шорты, а голова поползла вниз. Приближаясь к границе между жизнью и смертью, Джэйк оглянулся. Он устремил глаза на дальние горы, потом закрыл их и не открывал, пока все не кончилось. Он смотрел на безоблачное голубое небо над головой и ощущал с невероятной силой и правдивостью, что хотя его тело оставалось лежать на теплой траве рядом с Эрин, некая часть его существа — душа? дух? дыхание? — как мы условно обозначаем это словами или вообще никак не называем, отделилась и унеслась в зенит небосвода. Он знал, что Эрин нужны его слова и его ласка, но он не мог найти в себе сил, чтобы дать ей то, чего она ждала. Он ощутил полное-одинокчество. Уже тогда, на той вермонтской поляне Джэйк почувствовал, что их разделяет что-то непреодолимое. И все-таки прошел еще год, пока он не осознал это и не высказал ей.

Пронзительный звук Шофара вернул Джэйка в реальность, в синагогу Амстердама. Оглянувшись, он заметил двух маленьких девочек в платьях с оборочками. Девочки бежали между рядами по проходу, заливаясь счастливым смехом. Они подбежали к мужчине, которого Джэйк до этого прозвал «мистером Пиквиком». Из их лепета Джэйк только и мог уловить слова «папа» и «Шофар». Улыбаясь водянистыми глазами, отец этих девочек прижал толстый палец к губам, а затем, приподняв одну за другой, посадил их к себе на колени. Девочки поцеловали отца, обхватив тоненькими ручками его пухлую шею. «Разве я не знал еще тогда в Вермонте, что никогда не смогу жениться на ней?» — Джэйк спросил у самого себя, насупившись и напрягшись. — «Знал, что не вынесу этих воскресных походов в церковь с Эрин и детьми». Он взглянул на высокий свод храма, и внезапная радость завершения Судного Дня охватила его. Это было, словно конец долгой болезни. Облегчение. Ам-

стердамские евреи поздравляли друг друга, некоторые обнимались и целовались, другие обменивались рукопожатиями. Джэйк тоже пожал руки соседям справа и слева и поспешил по проходу между рядами по направлению к выходу.

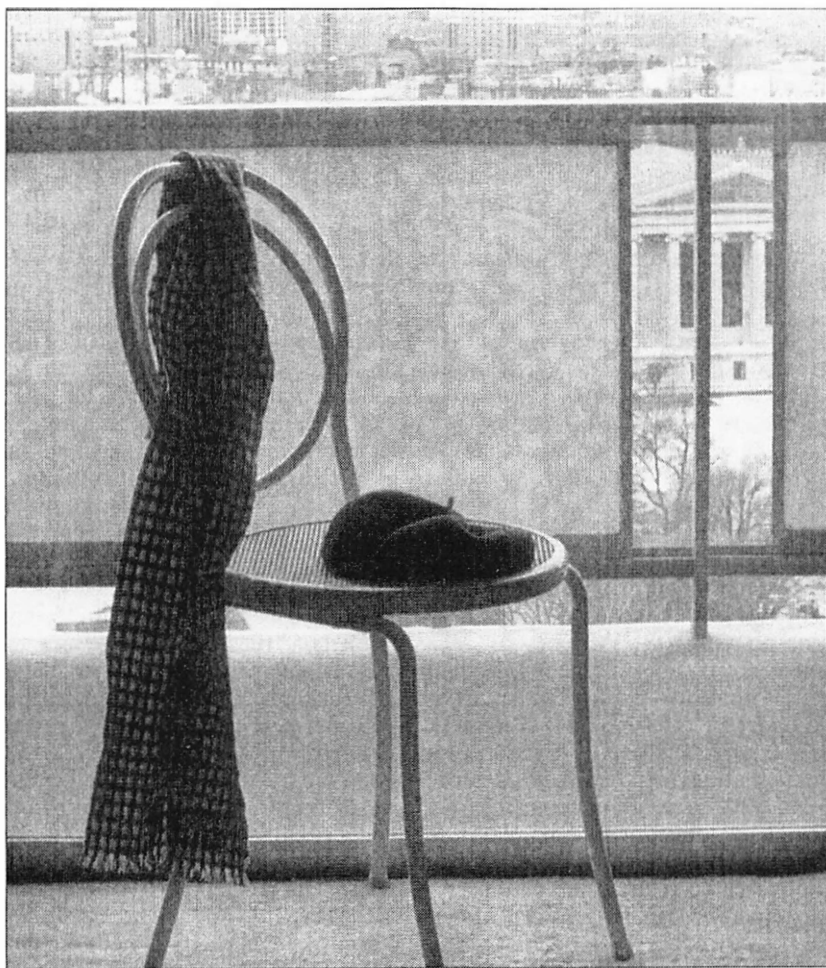
Он нашел ресторан сразу же за углом от португальской синагоги. Интерьер ресторана был корабельный: с бочками вместо столов. Джэйк заказал две рюмки водки кряду, селедку на подсушенных кусочках хлеба, рыбный суп и жареную печенку с брокколи. «Ваше здоровье! — улыбнулся он официантке. — Будьте всегда счастливы!» В почти блаженном состоянии он проглотил еду, оставил щедрые чаевые на бочке, и направился в сторону гостиницы, вдыхая вечернюю йодистую влагу.

На обратном пути в отель-поплавок Джэйк осознал, что видит и запоминает окружающий мир с особенной, пронзительной ясностью: здания и предметы, мимо которых он проходил и которые оставлял позади: угольные силуэты двухскатных крыш, луну, скользившую по-над влажной светящейся черепицей, тени катеров и барж, мягко качающихся на поверхности каналов. Это великолепие бытия, эта способность впитывать в себя весь мир! Всё вокруг говорило само за себя, открывалось ему в абсолютно обнаженной форме. Он больше уже не думал о Судном Дне, об Эрин, еврействе и христианстве. Все это он уже понял, если не разрешил полностью в своем сердце, и знание этого успокаивало его. Пока он шел по улицам Амстердама, у него в голове выстроился план. Он вернется домой в Балтимор, где восемнадцать лет назад поселилась его эмигрантская семья. Они даже перевезли и перехоронили в Балтиморе останки родителей его отца — точно как Моисей, который унес с собой из склепа кости Иосифа, когда он покидал Египет навсегда. Через четыре года, когда Джэйку исполнится сорок лет, он проживет в Америке половину своей жизни. Покидая Россию в девятнадцать лет, он привез с собой в самолете такой тяжелый груз памяти, что ему потребовались годы, чтобы избавиться от него, и этот груз так давил — а временами казался таким невым, — что порой Джэйк не мог из-за него твердо стоять на американской земле. И тот первый перелет через Атлангику был попыткой побега от всех чудовищ, сирен и демонов, от которых еврей никогда не может освободиться.

Дождь кончился, и Джэйкоб Глаз почувствовал под языком сладчайший запах листьев и солянки, гниющих листьев, анаши, портовой снеди. Он стоял на нижней палубе отеля-поплавок и наблюдал за тем, как на Амстеле мерцали огоньки. Вбирая в легкие дыхание Амстердама, он думал о полете в Балтимор, — домой, о завтрашней дороге и с восторгом воображал американское житье, которое судьба держала крепко в своем глубоком голубом кармане.

-----  
*Авторизованный перевод с английского Давида Шраера-Петрова и Эмили Шрайер*

© 2005 by Maxim D. Shrayer. Russian translation copyright © 2005 David Shrayer-Petrov and Emilia Shrayer. Впервые опубликовано по-английски в 2005 г. в британском журнале "New Writing: The International Journal of the Theory and Practice of Creative Writing".



Эмиль Анцис. Уход.

## МИХАИЛ САДОВСКИЙ

### ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

На взгорке росли только дубы. Они, не толпясь, подходили к самому берегу озера и даже слегка наклонялись над чёрной водой, роняя в неё желуди в зелёных шапочках с хвостиками набекрень, а потом уже — в позднее предзимье, сбрасывая плотные ржавые листья. Озеро было глубокое, ледникового периода. Накопило оно за прошедшие столетия много этого дубового концентрата, утащило его на дно. Так и заросло озеро илом, говорят, метров на десять, отчего вода в нём всегда была чёрной.

Прожорливое озеро было. Перед войной во время учений сорвался с мостика над крошечной речушкой, вытекающей из него, танк. Сорвался и остался на дне вместе с экипажем... только пузырь воздушный бухнул на белый свет — будто отрыжка ненасытного голема... Искали его... да не нашли даже места, где это случилось, видно, засосало его в глубину и... всё...

А Ванечку нашли. Не то что нашли — сразу почти вытащили. Да в чувство привести так и не сумели. И фельдшер, который прикатил на велосипеде, старался потом — по всем правилам дыхание делал и дышал с ним рот в рот... Трудно и говорить, и вспоминать об этом.

Дуся, как подкошенная, упала, когда увидела. Не вскрикнула даже. Повалилась. Сзади-то успели её подхватить почти у самой земли, а то бы затылком ударилась и за сыном следом пошла. А ей нельзя — у неё ещё четверо было. Старший уже школу кончал. А Ванечка последний. "Мизиникл" — сказала Броха и велела всем уйти... Что она там бормотала на непонятном никому наречии над пластом лежащей четвёртый день женщиной?.. От больницы её спасла, потому что та открыла глаза к вечеру, посмотрела на соседку и заплакала. Звука не было — слёзы текли с двух сторон из уголков глаз на подушку. Волосы прилипли в углублениях у висков к коже. Броха отвернула край полотенца с её головы и промокнула эти слёзы, а потом сняла его вовсе и бросила зачем-то на пол в ногах кровати, а сама опять наклонилась к лицу Дусиному и запричитала, запричитала полушёпотом... Долго не разгибалась... может, час... Сестра Ванечкина шестиклассница Ленка, стоявшая за дверью и следившая за всем, что в комнате творилось, на цыпочках рванула к отцу: "Пап, может Броха сама тронулась? Глянь: зудит, зудит... не разгибается... как быть-то?" "Цыц!" — сказал пьяный Денис. И на этом всё кончилось...

Выходила Броха Дусю. Своих детей забросила, дом запустила. Моня её совсем почернел — не от ваксы и дратвы: лицом помрачнел и сутулиться стал, — то ли свою беду опять переживать начал, когда на Сёму похоронку получил, то ли за Илюшу своего испугался, одноклассника Ванечки... только зыркнул на сына и сказал тихо, как никогда не говорил, орал ведь всегда: "Увижу у берега..." дальше у него слов не нашлось, и он для убедительности всадил прямо сквозь клеёнку мясной нож в кухонный стол так, что Броха потом ходила за соседом Столяровым, чтобы его вытащить...

Денис-то и раньше поддавал, а с той поры вроде как оправдание себе нашёл: и на окрики жены и укоризны поднимал вверх указательный палец и крутил головой. "Всё!" — произносил он загадочно. — Всё. Ребята, всё... Ванечка, всё!"

С чего бы так забываемо стало имя его сына... одуванец и одуванец. Шустрый, глаза, как стрелки, и на слово скорый, а главное — пел душевно. Что ребёнок в семь годов спеть может? Это вопрос праздный — так пел, что сердце заходило. Голосок высокий — "дишкант"... Денис-то ещё по своему детству судил, когда в церкви такое слышал, а сейчас, куда его? Раньше бы к батюшке отвёл, а тот-то уж знал цену голосу в хоровом деле... церковь порушили... посёлок умирал потихоньку... а когда война кончилась, вождем умер, дети разбрелись... остались они вдвоём со старухой... со старухой не по годам, потому что внуки уже пошли... и их сюда на лето забрасывали под присмотр... а какой присмотр, когда Ванечку не уберегли... все же его помнили: и они сами, и дети их — братья и сёстры его... и чуть что — Ванечку в пример. Не умирал он. Не уходил из семьи... "Ванечка бы так не сделал...", "Ванечка-то лучше бы спел", "Ванечка бы на одни пятёрки учился..." — особенно, когда в телевизоре видели лохматых новомодных... — с ними жил Ванечка... теперь со внуками, которые его по годам догонять стали...

Сегодня Денис, как всегда с утра принял. Норму. Ветлухину лодка нужна была. Таксу человек знал. Такса была твёрдая. Налил он Денису гранёный без ушерб стакан. Да настоящий, не каким семечки покупателям у станции из мешка отмеряют. Денис его степенно выпил, не отрываясь, понюхал корочку и пошёл отмыкать замок на цепи у мостка. Вёсла выдал — всё, как полагается. Потом стал подниматься по взгорку между дубов, да вдруг оглянулся и закричал на всю воду, обернувшись к ней лицом:

— Сталин мене здесь оставил озеро сторожить! Поняли! И не гозволю! Иностранцы проклятые! Не позволю... — какая его муха укусила — неведомо... кричит, и Бог с ним, не в том дело, — пьяный дух выйдет, опять человеком станет.

Броха как раз ковыляла с бидоном к Дусе на своих побитых "трозом" ногах. Чего ей самой вздумалось? Да так всё вышло — по совпадению... Остановилась она у косого штaketника, положила пухлую руку в черепашьих морщинах на головку сырого столбика, чтоб поддержать и передохнуть, и так стояла, глядя в спину расхोлившегося Дениса. Хотела было повернуть обратно, да её Дуся заметила. Вышла от Зорьки с ведром молока, надоенного, и обернулась... крик-то и сюда долетал, и она не сразу сообразила, что к чему... На мужа бы наскочить, так за это время Броха уйдёт, а её позвать — так вроде специально, чтоб этого дурака пьяного слушать. Она поставила ведро на землю, пена качнулась и чуть напозла за край на его блестящий бок, и кинулась к соседке, говоря нарочно громко, чтоб перекрыть лишний голос...

— Ты чего всполошилась-то... я что ж не пришлю тебе молока что ля?..

— Чтоб ты забыла?.. Ты другое забыла... — возразила Броха, дёргая плечом.

— Что? — удивилась Дуся.

— Завтра... завтра — Ванечкин день...

— Ой... — Дуся даже будто присела. — Ой... — она закусила край платка зубами, потупилась и перекрестилась.

— Я думала тесто поставить... Так нет же дрозжей... А ты забудешь, так потом корить себя станешь... А он, так, наверно, вспомнил... расходился, во!..

— Он каждый день "вспомнил"! — махнула рукой Дуся. — Идём уже в дом...

— И что ему мирные люди сделали? Что он так разгулялся? Что я мало в жизни имела?! — Броха ковыльнула два раза по направлению к калитке и снова остановилась... — Ну, скажи мне, что я ему сделала плохо?.. Я ещё войну помню... ну?.. Скажи? А?.. — она вдруг почувствовала, что слёзы навернулись на глаза и решила идти назад.

То ли пьяному надоело кричать в пустоту, то ли услышал голоса сзади — он замолчал, повернулся, увидел женщин и напрямик направился к ним. Они обе тоже замолчали от неловкости и смотрели на него в упор. Трудно сказать, помнил ли он, что кричал, и сопоставил ли это как-то с приходом Брохи, но на подходе галантно снял засаленную — когда-то зелёного велюра — шляпу с лентой в разводах от разных случившихся с ней неприятностей и даже попытался улыбнуться...

— Здравствуй, Броха... — и замолчал на полуслове.

— Я не Броха, — неожиданно для себя ответила соседка.

— Как? — совершенно растерялся Денис.

— Я — инородка проклятая...

— Ты??? — страшно удивился Денис. — Не-е-е т!!! Это не про тебя... Ты не... — он осёкся и замолчал.

— И-и-и! — протянула Дуся. — Кабы знала я, до чего ты допьёшься... рази бы я шла за тобой столько годов... Ну, скажи... рази шла бы?

— Нет! — Денис уверенно помотал головой из стороны в сторону... — ааа...

— А разве я к тебе шла за молоком? — обратилась Броха к Дусе. — Я к тебе шла с разговором...

— Ну, так... — начал Денис.

— Пошли! — обрадовалась выходу из неудобного положения Дуся... — она протянула руку, чтобы перехватить бидон, но Броха его не отпускала.

— Я думаю, что уже не нужно, — тихо сказала она. — Он ответил мне на все мои вопросы...

— Нет, — ободрился Денис, — Это так не годится. Мы сейчас сядем рядком, нальём по-маленькой...

— Нет. Мы не сядем, Денис Иванович, — чётко проговорила Броха, — Потому что Вам не годится пить. Нельзя...

— Совсем нельзя! — обрадовалась Дуся. — Пошли, пошли!

— Зачем?.. Я же уже всё поняла... У меня такое сомнение было, что весь мозг поднялся... Я ещё сегодня утром думала: как я безо всего этого жить буду, — и она обвела взглядом окрестность, ни на чём его не останавливая... — это ж ноги мои, этот чёртов троз... *а за ёр аф мир...* ломит... от этой сырости, от этого озёра, и чтобы пирог поставить так за дрозьжами надо в город тащиться, потому что даже Клавка в ОРСе не может мне достать их. Я же Моню уже неделю просила... и я всё равно не могу... что подумаю: утром открою глаза и что я увижу... и кому я что скажу?.. Вот... — она отодвинула передник в мелкий ситцевый цветочек со своего солидного живота, засунула руку в карман зелёного бумазеевого халата и показала конверт. — Вот. Это Илюша пишет... — она потрясла конвертом ещё раз и стала снова в общем глухом молчании засовывать его аккуратно в карман. — Я что,

Денис Иванович, виновата, что он жив остался?.. Так он уехал со своим старшим братом, потому что вы в озеро кричали это страшное слово, а ему голову с этим словом проломили... Так он уехал и вот теперь пишет и пишет, зовёт и зовёт, а я всё не еду и не еду... так я шла с разговором, потому что тут вокруг на двести километров мне некому дать совета, понимаете? — Денис, кажется уже совсем протрезвел, кивал вдогонку каждой фразе головой и открывал рот, как рыба, пытаясь вставить слово, но Броха говорить умела. Она недаром славилась на всю округу, и шли к ней, как к фельдшеру, даже, когда медпункт открыли и врача прислали. — Так что я в дом пойду? Вы мне всё ответили...

— Нет!!! — вдруг рубанул воздух рукой Денис. — Это не по-нашему, это как же так — на улице совет держать?! Мы в дом пойдём...

— Пошли, — робко попросила Дуся.

— Я же не доскажу тогда, — тихо воспротивилась Броха. — Моня у меня ничего не решает — он подмётки режет. У него же вся жизнь в подмётке, он же по каблuku характер человека высказывает, а я — так должна в глаза посмотреть и голос услышать... Так я, как услышала вас сегодня, Денис Иванович, сразу подумала, что лучше я уже не буду понимать, что они там по-израильскому языку говорить будут, чем...

— Эттто, — закрутил головой Денис, — Эттто к тебе, Броха, никакого не имеет отношения...

— Не имеет? — поинтересовалась Броха.

— Нет! — отрезал Денис. — Я Вас даже очень уважаю...

— Взаимэнэ, — сказала Броха и тяжело повернулась на своих артрозных ногах. Казалось, что они заскрипели под её грузным телом...

— У!!! — Дуся ткнула кулаком в голову Дениса и показала ему на ведро с молоком, а сама бросилась вдогонку за Брохой, молча и отдыхаясь на каждом шагу.

Так они и шли: две плотные широкие спины по тропинке между старых дубов, чем-то невыразимо напоминая их... может быть, своей основательностью, жесткостью, а может быть, внутренним сходом, которое проступает наружу, как у долго проживающих вместе супругов, которые при полной несхожести лиц всё же похожи друг на друга даже морщинами...

И судьбы их, внешне несхожие, были тоже похожи... похожи даже тем, что одно оброненное слово могло повернуть судьбу соседа наветом, целительным разговором, или обидой...

22 марта 2001 г.

ВАЛЕРИЙ ВОТРИН

ГРИМАСА СДЕРЖИВАЮЩЕГО СМЕХ  
Рассказ

Рано поутру, пока солнце еще не взошло, и пауки не заплели своими клейкими сетями лесные тропинки, Валентина Андревна отправляется встречать министерского инспектора. Путь ее пролегает через северный лес, по которому давно никто не ходил, и Валентина Андревна с неудовольствием ощущает в темноте - лицом и открытыми частями тела - прикосновения

старой паутины, чьи тугие, усеянные росинками струны протягиваются через тропу. Она досадует внутри, что не взяла с собой палки, какую обычно носят все в этих краях, чтобы отбиваться от паутины. Подразумевается, что палка поможет защититься и от собак, но они в этих краях почти перевелись, а те, которых еще не унесли лесные звери и хвори, смирные, не нападают и не лают.

Между стволами скоро забрезжило, и когда она выходит на широкую, с небрежно кинутым ковром из лесных цветов поляну, солнце уже взошло. Становится жарко. Валентина Андревна идет к дальнему концу полянки, по пути удивляясь тому, что не слышно жужжания насекомых. Их, кажется, густое благоухание, источаемое цветами, совсем не привлекает. Оглянувшись по сторонам, она замечает, что деревья по краям поляны оплетены густой паутиной. Ну конечно. Все насекомые запутались в паутине. Ясно, ведь у них нет палки. Пока Валентина Андревна вспоминает, почему паутина здесь на каждом шагу, а пауков никто не видел, из леса слышится шум. Она быстро оправляет на себе платье, снимает с него последние комки паучьего долгостроя и делает приветливое лицо - ведь инспектора из министерства подобает встречать именно с таким лицом, об этом написано в инструкции. Шум слышится ближе, превращается в невнятные чертыхания, и плотная стена паутины, закрывшая ход на поляну с той стороны, прорывается изнутри сильными ударами палки. Получается солидная дыра, и в нее ступает человек из министерства.

После почти двухчасовых блужданий по лесу, завешенному плотными седыми тенетами, после опасений, что вот-вот он колыхнет какую-нибудь сторожевую нить, и сверху на него бесшумно опустится клыкастая осьминогая тварь, после проклятий по адресу всех интернатов, где он побывал и где еще побывает, а заодно и солнца, которое не взошло и вряд ли уже взойдет, Егупов видит перед собой залитую солнцем полянку и на ней - приветливую женщину в простом домотканом платье, сложившую в ожидании руки на большом мягком животе. Лицо женщины тоже мягкое, с большим мягким носом и ртом, довольно большим и мягким. Егупов с облегчением вздыхает и идет к ней, на ходу приветственно протягивая руку.

Валентина Андревна принимает ее и осторожно трясет, одновременно вглядываясь в его лицо. По первоначалу она чуть было не оглядывается, следя за его направленным мимо взглядом. Только затем она понимает, что у него невероятное косоглазие. Стараясь не смотреть ему в глаза, Валентина Андревна перемещает взгляд на его нос и видит, что он тоже невероятен - горбат и посажен на лице как-то боком. Когда он улыбается, она видит, что рот его будто разъезжается и обнаруживает торчащие в разные стороны зубы, и темные десны, и шевелящийся где-то там язык. Волосы и платье его все скрыты паутиной, и Валентина Андревна не смотрит на них. В его руке она замечает маленький чемоданчик, единственное, что вызывает в душе хоть какой-то положительный отклик.

- Матюшина, - говорит Валентина Андревна, трясая его протянутую руку, и слышит, как жуткий глухой голос, идущий будто из его чемоданчика и убиваю-

щий все положительные о нем, о чемоданчике, отклики, произносит его, инспектора, имя:

- Егупов, Станислав Петрович.

Представившись, Егупов чувствует, что произвел на женщину приятное впечатление: это видно по тому, как она заглянула ему в рот. Вдвоем они шагают через полянку. По пути он размахивается, чтобы забросить свою палку куда-нибудь подальше, но Валентина Андревна мягким движением берет палку из его руки.

- Не нужно, - говорит Валентина Андревна. - Палка нам еще пригодится. Без нее по лесу никуда.

- Мне ее выдали в министерстве, - говорит Егупов. - Вместе с командировочным удостоверением.

- Палку выдают всем инспекторам, - говорит Валентина Андревна. - Иногда мы даже печать об убытии ставим на палке, а не на удостоверении. По ошибке, конечно.

- Я не инспектор, - говорит Егупов. - Я ученый. Психолог. Приехал понаблюдать за вашими детьми.

- Тогда вам обязательно нужна палка, - уверенно произносит Валентина Андревна.

- Что вы! - говорит Егупов. - Я никогда не прибегаю к таким методам. Я знаю, в некоторых интернатах...

- Нет, нет, вы не так поняли, - улыбается Валентина Андревна. - В лесу без палки никуда.

Они перестают разговаривать, потому что входят под полог леса, и Валентина Андревна начинает мягкими, но уверенными движениями палки прокладывать себе и ему путь, когда просто перерубая пересекающие тропу под разными углами нити, а где они становятся гуще, и наматывая их ловко на кончик палки.

- От порезов помогает, - отвечает Валентина Андревна на его молчаливый вопрос. - Здесь все ее собирают. Говорят, даже скоро за границу начнем продавать. - Детей, - тут же отвечает она на другой его молчаливый вопрос. - Дети бегают по лесу да режутся. А иногда колются о сучья. Тогда их ранки мы обрабатываем паутинкою. А недавно, - продолжает Валентина Андревна, не прерывая своих монотонных, но очень ловких движений, - один мальчик сильно обварился. Играл в котельной и нечаянно угодил в чан с кипятком. - Она останавливается и выразительно смотрит на него. - Ну да, - соглашается в ответ на еще один молчаливый взгляд Егупова. - Мы одели его в паутину, знаете, поместили в такой большой кокон, и повесили его в лесу. В смысле, кокон. Через три дня все прошло.

У Егупова много вопросов, но он решает подождать с ними, пока не придут на место. Постепенно тропинка оборачивается неширокой лесной дорогой со следами тележных колес. Будто обрадовавшись такому неожиданному подарку, дорога немного играет и водит их петлистыми извивами, а потом, точно заскучав, выкидывает в виду черных, украшенных безликими статуями ворот, за которыми виден большой парк. Постамент одной из статуй украшает дощечка: «Особый среднеобразовательный специализированный приют № 6». Над воротами висит другая дощечка, видом по солиднее. «Специализированный интернат для особых детей», - гласит надпись на ней.

Валентина Андревна становится так, чтобы видеть лицо инспектора. Что он там ей ни говорит, а он все-



таки инспектор. Что она, психологов не видела? И даже если он говорит, что психолог, то при взгляде на их таблички все равно проявит себя инспектором. Ведь это она придумывала эти таблички и сама их приколачивала там, где они сейчас. Еще на прошлых проверках она заметила, как действуют они на министерских людей. Так действуют, что те сразу требуют их переделать, а уж почему так, ей было невдомек. Она в курсе, что их интернат в министерстве называют иначе, но как, она не помнит. Да и неинтересно ей это. Просто если начнет кричать да требовать переделки, значит, инспектор. Если нет - значит стойкий. Катаньем будем его.

Егупову не терпится видеть детей. До этого он был всего в двух интернатах. Но то были не особые заведения, как этот, - обычные приюты. Этот особый, и у Егупова холодок пробегает по коже от особого же чувства, что здесь он найдет то, что ищет.

- А где дети? - спрашивает Егупов, пока они идут по дорожкам парка. Вокруг стоят огромные безлистые деревья, а между ними стоит тишина.

- Дети в лесу, - отвечает Валентина Андревна. Он невольно оглядывается, и она быстро взглядывает на него. - Они должны вот-вот возвратиться, - добавляет Валентина Андревна. - Пасутся, - отвечает на его молчаливый вопрос. - Вам в министерстве должны были сказать. Пищеблок наш давно закрыт. Мы выпасаем детей в лесу: там есть грибы, ягоды, мох съедобный. - Съедобный, съедобный, - заверяет она его в ответ на его нахмурившиеся брови. - Даже за границу хотят его отправлять, потому как такого у них там нет.

Про интернат Егупову в министерстве говорили. Теперь он его видит воочию. Здание, к которому они приблизились, тоще и желто, как ведомственный формуляр. Оно будто пряталось до времени за стволом одного из огромных деревьев парка, а сейчас выступило из-за него и заглядывает в глаза Егупову с тем выражением голодной укоризны, с каким ветхие здания смотрят на реставраторов, сворачивающих свои леса по причине нехватки бюджета. Еще Егупову, для которого все на этом свете имеет свое выражение, кажется, что здание интерната страдальчески морщится, будто сдерживая чих, его тусклые окна слезятся, дверь криворотом зевает своим проемом. У него пропадает желание входить, - ему кажется вдруг, что он станет той соринкой, от которой старый дом оглушительно чихнет и развалится.

- А вот и наши дети, - говорит за его спиной ровный мягкий голос Валентины Андревны.

Дети возвращаются из лесу.

- Они выглядят счастливыми, - снова за его спиной ее голос.

Бегут к интернату, звонко перекрикиваясь, ничего нельзя разобрать из их слов.

- Они вам понравятся, - в ее голосе ни капли сомнения.

Первые уже достигли ее, запрыгали вокруг, следом подбегают другие, и вот вокруг нее столпотворение, маленькие человечки в одинаковой синей форме кишат у ее ног с одинаковыми улыбками на лицах, звонко кричат, прыгают, Егупова не замечают. Внезапно раздается резкий, почти писклявый крик:

- Косой!

Взрыв хохота, на него указывают пальцами, подхватывают обидное прозвище, она пытается их урезонить, бесполезно. Инспектор видимо смущен, его глаза съезжаются к переносице еще больше, что только добавляет веселья, дети совсем разошлись. Он ставит свой маленький чемоданчик на землю и делает шаг к детям. Страшное его лицо искажается, обнажаются зубы, на них невозможно смотреть.

- Я Бармалей, - тихо, но отчетливо произносит Егупов.

Дети издают дружный вопль ужаса, их глаза расширяются, но блаженная улыбка странным образом не исчезает с их побледневших лиц. Потом, точно по команде, они разбегаются, вот уже никого не осталось. Егупов и Валентина Андревна встречаются взглядами.

- Пойдемте, - говорит Валентина Андревна, в ее голосе слышно удовлетворение. - У меня в кабинете тише, мы сможем спокойно поговорить.

В кабинете Валентина Андревна спрашивает Егупова:

- На сколько вы к нам?

Прежде чем ответить, Егупов оглядывает кабинет. Он больше похож на врачебный: все белое, у стены обтянутая клеенкой кушетка. Стоит даже стеклянный шкаф с лекарствами. Кабинет в свою очередь смотрит на Егупова, смотрит недоверчиво.

- До завтрашнего утра, - говорит Егупов и задает вопрос: - Сколько у вас детей?

- Количество постоянно меняется, - отвечает Валентина Андревна.

- Вы тут и врачом? - задает вопрос Егупов.

- И врачом, - отвечает Валентина Андревна, - и воспитателем, и директором. Вам в министерстве не говорили?

- А в среднем? - спрашивает Егупов. - Просто на заметку.

Валентина Андревна барабанит пальцами по столу.

- Это не простой интернат, Станислав Петрович, - отвечает она. - Они - гадкие утята.

- И из гадкого утенка может получиться прекрасный селезень, - говорит Егупов.

- Они трудные дети, - ровно произносит Валентина Андревна, и звучит это как приговор. - Они не слушались своих пап и мам. Гримасничали. Вам это должно быть известно, как никому другому. Если уж вы инспектируете наш интернат...

- Я не инспектор, - говорит Егупов. - Я приехал посмотреть ваших детей.

- Если вы приехали излечить наших детей... - говорит Валентина Андревна.

- Я приехал не излечить их, - говорит Егупов, - а посмотреть. Понаблюдать за их гримасами.

Валентину Андревну передергивает.

- Знаете, Станислав Петрович, - говорит Валентина Андревна, - я здесь работаю уже девять лет. Всякого насмотрелась. Ничего интересного в их гримасах нет. - Нет и нет! - отвечает Валентина Андревна запальчиво на его молчаливый вопрос. - Они упрямые, непослушные дети. Мы проводим им комплекс специальных процедур, чтобы они избавились от своих гримас, выгуливаем в лесу, - природа, знаете, все лечит, - водим на речку. Ни капли благодарности, Станислав

Петрович, не получаем мы взамен. Одни гримасы, еще страшнее прежних.

- Они строят вам рожи? - спрашивает Егупов.

- Ого-го какие рожи, Станислав Петрович! - отвечает Валентина Андревна. - Вы таких и во сне не видели.

- А обычно? - спрашивает Егупов. - Какие у них гримасы, когда они думают, что вы за ними не смотрите?

Валентина Андревна постепенно успокаивается.

- Обычно? - говорит Валентина Андревна. - Обычно они все время улыбаются.

Вдруг она пристально вглядывается в него.

- Вы ищете какую-то особую гримасу, Станислав Петрович? - спрашивает Валентина Андревна.

Егупов не отвечает. Он задумчив. От задумчивости глаза его косят еще больше, точно безобразный его нос магнитом притягивает их к себе.

- Покажите мне мою комнату, - говорит Егупов.

Валентина Андревна вздыхает и поднимается. Ведет показывать ему его комнату.

Комнате Егупов не нравится с первого взгляда. Сама она небольшая и грязноватая, ее единственное окно выходит на кочковатое поле с пасущимися на нем тощими подержанными козами, - но держится комната с пятизвездочным достоинством. «А мы с разбором!» - будто заявляет она всем своим видом. На Валентину Андревну это напускное достоинство действует разительно. Она как-то сникает перед порогом и переступает его уже сникшая, готовая лебезить и просить.

- А вот и ваша комната, господин инспектор! - громко говорит Валентина Андревна, словно знакомя его с кем-то сиятельным.

Комната в ответ поводит углами, как плечами.

- Видали и получше, - презрительно откликается комната.

Егупову такое заискивание противно.

- Комната для инспектора, - с усмешкой говорит Егупов, стремясь вложить эту усмешку в каждое слово. Его усмешка на вид ужасна. Комнату передергивает. От возмущения она не находит, что сказать, и словно поворачивается к Валентине Андревне за помощью.

- Здесь не очень уютно, - извиняющимся тоном говорит Валентина Андревна. - Здесь мы селим всех наших гостей.

Так-то она и всем инспекторам отвечала, по очереди. Ну что ж.

- Ну что ж, - произносит Егупов, открывает створку шкафа, огромного, как пожарный автомобиль, ставит туда свой чемоданчик и резким движением захлопывает ее, тем самым затыкая рот комнате, которая как раз порывалась что-то сказать. Комната обескуражено затыкается. Смотрит на Валентину Андревну. Этот - не инспектор. Кто иной, а не инспектор.

- Ну, а перекусить у вас найдется, Валентина Андревна? - весело говорит не инспектор.

Стол накрыт в отдельной палате. На вид палата мертвая. Только если сильно приглядеться, можно заметить слабую жизнь в ее застывших чертах. Эта палата - в коме. Здесь пусто и светло. Здесь обедают. Подает на стол лысый, с безволосым одутловатым лицом человек в белом халате.

- А это наш повар, Булдурген, - говорит Валентина Андревна. - Из казахов.

Поименованный кидает на нее быстрый взгляд раскосых глаз. Взгляд какой-то восточный.

- Салат не забудь, Булдурген, - говорит Валентина Андревна. С поваром она обращается не то что с комнатой, ни следа не осталось в ней прежней угодливости. Булдурген приносит и расставляет на столе тарелочки с моховым салатом под майонезом. Здесь же засоленные грибы, какие-то палочки и веточки в уксусе. Большой кувшин с жидкостью, похожей на компот, компотом и оказывающейся. На горячее чье-то затушенное тельце, наполовину скрытое в кусочках овощей и травяных пучочках. Это, по словам Валентины Андревны и молчаливому уверению Булдургена, заяц. Егупов без лишних вопросов его съедает. Валентина Андревна за этим внимательно следит. Сама она еле притрагивается к салату. При притрагивании лицо ее не может скрыть кислой гримасы. Егупов за ней внимательно следит.

Когда голод утолен, Егупов утирает рот и говорит:

- Да.

Валентина Андревна отрывается от рассматривания грибка на кончике вилки.

- Да? - спрашивает Валентина Андревна. - А что - да?

- Я ответил на ваш давешний вопрос, - поясняет Егупов. - Я ищу особую гримасу.

Валентина Андревна хмыкает и кончиком пальца сбрасывает в миску грибок с кончика вилки.

- Здесь вы найдете всякие гримасы, - говорит она. - Мы их, правда, зовем рожами. Вот вы как психолог ответьте: вам в детстве родители говорили, что если будешь строить рожи, лицо таким и останется? Говорили вам?

- Видите ли, Валентина Андревна... - говорит Егупов.

- Нет, вы скажите как психолог, - настаивает Валентина Андревна. - Родители плохого не посоветуют.

- Дети протестуют, - говорит Егупов. - Это протестная форма поведения.

- Да, но улыбка, - настаивает Валентина Андревна, - улыбка-то у них остается. Они могут строить рожи, дразниться, косить глазами... - тут она осекается, но потом заканчивает: - А под этим - улыбка.

- Это фоновая гримаса, - объясняет Егупов. - Она бессмысленна, лицевые мышцы даже не напрягаются, изображая ее. Такие гримасы встречаются повсеместно, у детей и стариков в особенности. У политиков, у тех гримасы другие.

- Мы хотим, чтобы они перестали улыбаться, - говорит Валентина Андревна. - Вернее, даже не мы, - так хотят их родители. Мы им всего лишь помогаем. Вам, наверное...

- Да, в министерстве мне показывали статистику, - подтверждает Егупов. - Они перестают улыбаться в 87 процентах случаев. Совсем перестают улыбаться. С их лиц исчезает фоновая гримаса.

Валентина Андревна вглядывается в него.

- Что-то не пойму, - говорит Валентина Андревна. - Вы нас в этом вините, Станислав Петрович? Да, показатели у нас низкие...

Егупов устало трет глаза.

- Я занимаюсь детьми всю жизнь, Валентина Андревна, - говорит Егупов. - И я понял, что у них есть душа.

С минуту Валентина Андревна смотрит на него. Просто смотрит на него, лицо ее неподвижно.

- Душа? - наконец переспрашивает Валентина Андревна. - Вы это что, серьезно? Я здесь девять лет, с хвостиком, а хвостик месяцев на шесть потянет. И до этого с детьми работала. Я заслуженный педагог края. У меня одних дипломов четыре штуки. И никогда я прежде не слыхала, чтобы у детей была душа. Да как вы смеете такое утверждать? - внезапно кричит Валентина Андревна.

- Я смею так утверждать, - говорит Егупов, - потому что я не люблю детей.

Услышав эти слова, Валентина Андревна успокаивается. Появляется Булдурген, убирает пустые тарелки, ставит на стол самовар и вазочки с какими-то пирожными. Валентина Андревна невидящим взглядом наблюдает за его ловкими движениями.

- Да кто ж их любит! - говорит Валентина Андревна. - Но насчет души вы это перегнули. Или это новая установка министерства?

- Министерство здесь при чем постольку, - говорит Егупов, - поскольку в Минсельхозе, - а они, как вы знаете, с нами в одном здании, - недавно пришли к выводу, что душа есть у козы и у лошади. Читали статьи?

- Ну, - говорит Валентина Андревна, на лице ее напряженное внимание.

- Так вот, - говорит Егупов, - там мои коллеги пришли к этому выводу на основании длительных наблюдений за работой лицевых мышц у этих животных. Вы замечали, наверное, что козья морда очень выразительная, она может отражать самые разные эмоции, каковые есть движения души, об этом пишут отцы церкви. Лошадь же вообще разумна, здесь они просто научным образом подтвердили истину. Теперь на этот счет имеются и министерские инструкции.

Валентина Андревна подносит руку ко рту.

- А собака? - спрашивает Валентина Андревна. - Я не раз видела, как у собаки брови двигаются, и улыбаться она может...

- По собакам будет другая инструкция, - говорит Егупов. - Собаки нас, в общем, не касаются.

- Да, да, - легко соглашается Валентина Андревна. - Их в этих краях и не осталось уже.

- Но к детям, - продолжает Егупов. - Меня, откровенно признаться, вдохновили опыты моих коллег. И я решил применить ту же методику к детям. - Да, да, - подтверждает он в ответ на ее округлившиеся глаза. - С этой целью я посетил уже два интерната, таких же, как ваш. Там дети тоже улыбаются. Признаюсь, иногда это выводит. Но я верю, что душа у них есть, просто они ее скрывают. Как корова. У нее на морде тоже написано полнейшее безразличие ко всему окружающему. Но эта гримаса - фоновая. Впрочем, по коровам тоже будет другая инструкция, - обрывает Егупов сам себя.

- Так какая же гримаса вам все-таки нужна, Станислав Петрович? - задает Валентина Андревна вопрос, когда он задумывается.

Егупов встряхивается.

- Гримаса сдерживающего смех, - отвечает Егупов. - Видите ли, Валентина Андревна, открытое проявление эмоции не есть доказательство существования души, так же как блеск молнии не доказывает существования бога. Только сдерживание эмоции, только напряжение мускулов, здесь лицевых, указывает на наличие той внутренней силы, каковая есть душа. Душа - это разум. Ребенку хочется улыбаться, но он себя сдерживает. Это - разум. Такое не везде встретишь.

- У нас две палаты, - объясняет Валентина Андревна, когда они идут по коридору. - Одна палата - общая, она для большинства наших детей. Которые улыбаются, - кивает она на молчаливый вопрос Егупова. - Другая - для других. У которых другие гримасы, отличные от гримас большинства, - отвечает Валентина Андревна на другой вопрос Егупова.

Они входят в палату. Она небольшая и озабоченная. Здесь четыре койки, и палата нагнулась над ними и глядит на лица спящих детей. Вошедших она замечает, только когда те уже на ее середине. Палата с невнятным вздохом распрямляется и встает перед ними с прежним озабоченным видом. Егупов не понимает ее озабоченности. Сейчас мертвый час, спят дети с обычными гримасами и дети с гримасами необычными. Так положено по инструкции. Но тут он замечает, что одна койка пуста и что окно в лес раскрыто.

- Опять утек, - всплескивает руками Валентина Андревна. - Ну никак не уломаешь его спать после обеда. Опять утек в лес! - Витя Катков, - отвечает Валентина Андревна на молчаливый вопрос Егупова и добавляет: - Его гримаса более всего похожа на ту, что вы описываете.

Егуповское сердце делает небольшой ёк и замирает.

- Если вы докажете, что и у него есть душа, - продолжает Валентина Андревна, - тогда я просто не знаю...

- Докажу, докажу, - бормочет Егупов и обращает взгляд на спящих детей. Палата подходит и становится с ним рядом, думая услышать от него что-нибудь дельное. - Ролевая игра, - шепчет Егупов. Палата недоумевающее на него смотрит. Она так не думает.

Дети крепко спят, и во сне гримасы сползли с их лиц, точно платки. Остается только гадать, что это были за гримасы. Егупов недовольно морщится. Валентина Андревна замечает эту гримасу.

- Вы посмотрите на них, когда они проснутся, - говорит Валентина Андревна. - Они не улыбаются, как другие. Вот у этой девочки, у Маши, на лице изумление, она всегда на все смотрит с таким изумлением, знаете, глаза раскрыты, рот раззявлен, тыфу! - плюет вдруг с ожесточением Валентина Андревна. - И пугали ее, и лексрства кололи, - все без толку. А вот этот мальчик, Саша, сердитый. Он будто сердится все время, брови нахмурены, рот сжат... Дурак! - с сердцем бросает Валентина Андревна. - Показывали ему мультфильмы про Тома и Джерри, думали ими снять его гримасу, они такие смешные. И что вы думаете - не берет! Упрямые, непослушные дети!.. А это вот Паша, - продолжает Валентина Андревна, - он глазами косит, скоро совсем косой станет, - Валентина Андревна осекается, осторожно смотрит на Егупова.

- А четвертый? - спрашивает Егупов. - Как вы сказали... Витя? Что у него?

- Он меняет свои гримасы, - решительно заявляет Валентина Андревна. - Он еще больший озорник, чем остальные. Мы и в карцер его сажали, и в угол ставили, и без сладкого оставляли, в общем, применяли к нему все научные методики. Ничто его не берет. Мы даже оставили его один раз в лесу на ночь, но ему лес так понравился, что он теперь оттуда не выходит.

- А где мне его найти? - спрашивает Егупов куда-то в сторону, и получается, что спрашивает он у палаты. Та уже была прерывает прт., чтобы ответить, но Валентина Андревна ее опережает.

- В лесу, - отвечает Валентина Андревна и пожимает плечами.

Оставив ее заниматься хозяйственными делами, Егупов идет вон из здания, идет через парк в лес. Свысока смотрят на него деревья в парке. Солнце занимается тем же, что и всегда. Егупов выходит из ворот и идет по дороге, помахивая палкою и напевая. Дорога, видя палку, отказывается от затеи поиграть с ним и выводит его в нужное, в давешнее место, послушно после этого исчезая, готовая вновь появиться по малейшему его приказанию. В лесу Егупов оглядывается.

Лес большой. Ходить по нему трудно из-за спутанного валежника и паутины: это Егупов проверил на себе еще утром. Тропинки в лесу лукавые, своевольные: не понравишься - могут завести в такую чашу, что и не выберешься. Остается только идти по знакомой тропе и стараться не навесить на себя больше паутины, чем обычно. Да свистеть громко - в лесу свист слышен далеко.

Так Егупов добирается до поляны, где встречала его Валентина Андревна. Здесь он останавливается и стоит немного, свистит, говорит чуточку сам с собой. Поляна глядит на него, как дикая: она успела отвыкнуть от людей и не понимает его языка.

- Ну что, выйдешь из кустов? - вдруг говорит Егупов негромко, прерывая свист.

В кустах едва слышное шевеление и треск.

- Выходи, мне поговорить с тобой нужно, - добавляет Егупов.

После некоторой паузы на тропинку выходит Витя Катков, худенький беленький мальчик с большими оттопыренными ушами. Его одежда изодрана, на ногах что-то стоптанное до неузнаваемости. Его лицо отображает крайнее изумление - глаза выпучены, нижняя челюсть отвисла, - вид довольно идиотический. Его тихий голос с этим видом не вяжется:

- А я уже давно за вами слежу, - говорит Витя. - Вы кто?

Егупов нагибается к нему, его страшное лицо почти на одном уровне с головой Вити.

- Я Бармалей, - говорит Егупов. - Не бойся.

- А я и не боюсь, - тихо отвечает мальчик.

- Ты что здесь делаешь, в лесу? - спрашивает Егупов почти ласково.

- Играю, - говорит Витя. - Это я Машкину рожу украл.

- Это у тебя игра такая? - спрашивает Егупов.

- Ага, - отвечает Витя. - Хотите, Сашкину покажу?

- Хочу, - говорит Егупов.

Гримаса изумления исчезает с лица Вити, и на ее месте появляется сердитое выражение - брови нахмурились, рот поджат.

- Это когда они меня без сладкого оставили, - говорит Витя.

- А не страшно в лесу одному? - спрашивает Егупов. - Волков не боишься?

- Тут волков нету, одни протелы, - отвечает Витя, сердитая гримаса не сходит с его лица, отчего получается, что он будто сердится, что настоящих волков в лесу не осталось. - Они земляные, норы копают и в них живут. Они не страшные.

- А еще какие рожи у тебя есть? - спрашивает Егупов.

Сердитая гримаса быстро исчезает с Витино лица, он сжимает глаза, как-то сморщивает нос и становится похожим на Егупова. Егупов будто смотрит на свое отражение в детстве и видит себя таким, каким его всегда дразнили дворовые пацаны.

- Косой! - доносится до него из прошлого их истошный крик.

- У меня их много, - говорит Витя, довольный впечатлением. Он надувает щеки, что-то делает со лбом и становится поразительно похожим на Валентину Андревну. - Она так злилась, - говорит он ее голосом. - Засаживала меня в карцер. Так я в лес сбег.

- Тут еще кто-нибудь живет, в лесу? - спрашивает Егупов.

- Еще пацаны живут, наши, интернатовские, - говорит Витя. - Наших тут много. Мы костры жжем и с пауками воюем.

- А к родителям не хочешь? - спрашивает Егупов.

- Они мне не давали рожи строить, - говорит Витя. - Обещали меня в цирк отдать. А я в цирк не хочу, там животных мучают и рожи у всех ненастоящие.

- У тебя, значит, настоящие? - спрашивает Егупов.

- А я знаю, какая рожа вам нужна, - радостно объявляет Витя и вдруг отступает назад. - Мне пацаны рассказали, они вас под матюжиной дверью подслушали.

- Покажи! - просит Егупов, делает шаг к нему. Получается жалобно, он не ждал такого от себя, удивляется.

- Не-а, - говорит Витя радостно и делает еще шаг назад. - Это моя любимая рожа, она у меня всегда, когда никто не смотрит.

- Покажи! - просит Егупов, протягивает к нему руки. Витя звонко смеется и бежит по тропинке. Егупов бежит за ним, но скоро его теряет - солнце уже садится, лесом завладевают тени.

Возвращается Егупов в интернат затемно, возвращается мрачный и облепленный паутиной: палку он потерял по дороге. Комната встречает его темнотой, в ней чувствуется враждебность, но он не обращает на это: все комнаты в темноте выглядят враждебно, а эта враждебность вполне может быть направлена на руководство интерната, которое никак не расплатится за электричество. Егупов долго обливается водой. В дверь стучат. С полотенцем на плечах он идет открывать. На пороге Валентина Андревна с керосиновой лампой.

- Лампа вот, - говорит Валентина Андревна. - Если что записать захотите.

- Спасибо, - говорит Егупов.

- Есть не хотите? - спрашивает Валентина Андревна  
- А то бы червячка заморили.  
- Нет, я лягу, - говорит Егупов. - Устал.  
- А, ну ладно, - говорит Валентина Андревна. - Спокойной ночи.

Она в каком-то широком платье и в ночных шлепанцах. Егупов закрывает дверь, слыша, как она шаркает ими по коридору. Он ставит лампу на стол, подкручивает ее, чтобы не коптила, достает из своего чемоданчика в шкафу блокнот и начинает писать в нем. Рита Катков не выходит у Егупова из головы. А вдруг это не собака - философское животное, как считал Платон, а ребенок. От этого сумасшедшего вывода Егупов пропотевает. Он быстро строчит в своем блокноте. Ложится заполночь и во сне всю ночь идет куда-то под несмолкаемым дождем, что ест ему глаза, как пот.

Наутро и впрямь идет дождь. Валентина Андревна встречает его, одетая в дождевик, в огромных резиновых сапогах, залепленных грязью. Егупов спрашивает ее, как спалось, и Валентина Андревна отвечает:

- А я и не ложилась.

Стаскивает с себя дождевик, Булдурген приносит ей что-то горячее в кружке, Валентина Андревна говорит:

- Мы с Булдургеном так и не ложились, правда, Булдурген?

Булдурген кивает, что-то бормочет.

- Ну да, - громко подтверждает Валентина Андревна и с торжествующим видом поворачивается к Егупову:

- Можете доложить в министерстве - все пойманы. - Дети, которые скрывались в лесу, - отвечает Валентина Андревна на егуповский молчаливый вопрос, добавляет: - И Катков тоже.

- Вы мне его покажете? - спрашивает Егупов, стараясь не выдать своего волнения.

Валентина Андревна довольно смеется.

- Конечно, дорогой Станислав Петрович, - говорит Валентина Андревна.

Егупов смотрит на часы.

- В десять поезд, - говорит Егупов. - Мы успеем?

Валентина Андревна удивлена.

- А, - осторожно начинает Валентина Андревна, - вы разве не посмотрите нашу отчетность. Все инспектора смотрят нашу отчетность. Она у нас в порядке, - торопливо присовокупляет Валентина Андревна.

- Я в этом уверен, - говорит Егупов.

- И участок не осмотрите? - спрашивает Валентина Андревна.

- Местность у вас очень красивая, - задумчиво говорит Егупов. - Остался бы отдохнуть. Да дела зовут.

Они выходят в парк и идут к воротам. Накрапывает. Земля мокрая. Воздух пахнет грибами.

- А где дети? - задает Егупов вопрос.

- Дети в палате, - ровно отвечает Валентина Андревна. - Карантин.

Они идут по дороге. Дорога набухла от дождя, и ей даже мысль не приходит поиграть с ними. Кажется, ей мечтается сейчас о солдатских батальонах, как тогда, сорок лет назад, доброй поступи тяжелых сапог, которые бы выжали из нее эту бременную влагу, гусеницах танков. Дорога ушла в свои мысли и не замечает Валентину Андревну, не замечает Егупова.

- Когда н-м спустят новую инструкцию? - спрашивает Валентина Андревна. - А то мы все работаем по старой. Если у них есть душа...

На это Егупову есть что ответить.

- Своевременно, - произносит Егупов магическое слово. - Своевременно, дорогая Валентина Андревна.

Вот они выходят на тропинку, ведущую к поляне, и тут Егупов останавливается. По обеим сторонам тропы висят на деревьях большие коконы, сплетенные из тонких паутинных нитей. Их около сотни и в каждом видно детское лицо, где - печальное, где - с улыбкой. Коконы перекликаются между собой звонкими детскими голосами, некоторые даже поют песенки. Валентина Андревна с улыбкой наблюдает за Егуповым.

- Это в качестве наказания, - объясняет Валентина Андревна. - Скоро придет Булдурген, снимет их.

Детские глаза с высоты тоже с любопытством смотрят на Егупова. И вдруг он замечает, что все лица стали гримасами - ноздри раздуваются, глаза смеются, рты крепко сжаты, но давятся смехом. Егупов изумленно застывает. Наконец-то он видит то, чего так долго искал. Кто-то за его спиной прыскает, и с одного из деревьев чей-то изменившийся голос бросает:

- Косой!

Раздается дружный смех. Дети громко хохочут, некоторые даже раскачиваются в своих коконах. Под каскадами этого смеха, как под душем, Егупов что-то строчит в своем блокноте.

- Озорники, - с улыбкой говорит Валентина Андревна и обращается к Егупову: - Пойдемте, Станислав Петрович.

Они выходят на полянку. Прежде чем скрыться в дыре среди паутины, Егупов оборачивается. Он видит стоящую на полянке женщину, машущую ему на прощание. Лицо женщины мягкое, доброе.

- Я еще приеду, - взволнованно говорит Егупов и слышит, как Валентина Андревна отвечает ему:

- Мы всегда рады вас видеть, господин инспектор!

## ЛеГеза

### ТИГРИЦА МОТЯ

- Я повешусь! - сказал Мотин муж, и намазал бутерброд маслом, - или застрелюсь, - и положил сверху большой кусок ветчины, накрыл сыром и увенчал веточкой укропа. Откусил с аппетитом и выпил пива. Вытер губы и продолжал, - тогда ты получишь страховку и сможешь выбраться из этой ямы. Больше я, кажется, уже ни на что не способен.

- Не говори глупости, Котя. И вообще, из чего застрелишься, из веника?

- Ты забываешь, что в Америке свободная продажа оружия для личного употребления. Что может быть более личным, чем самоубийство? - он опять отхлебнул пива и подвинул к себе тарелку с жареной капустой.

- Нужна мне твоя страховка поганая! Не трави душу, и так тошно. Мне все равно ничего не заплатят. Ты же сам объяснял, что по закону родственникам самоубийц не выплачивают страховые премии.

- Заплатят, не беспокойся. Если факт самоубийства произошел спустя два года и более после подписание страхового договора, это служит доказательством, что не было предварительного намерения и жульничества. Получишь все до копейки, все сто тысяч...

Котя уже несколько лет безуспешно пытался изучать американское законодательство и стать каким-то «паралигалом», чиновником в юридическом офисе. Моте это слово напоминало почему-то «паралитика» и результат был примерно такой же.

- Хватит, надоело... - ей самой хотелось застрелиться, но сил не было. Мотя устало махнула рукой, но и маха не получилось. Так, жалкое дрожание пальцев.

То, что муж деликатно называл «эта яма», было на самом деле глубочайшей финансовой пропастью, в которую они падали уже три года, и дна не предвиделось. С тех пор, как Мотя заболела, в пропасть свалились их малые сбережения, кредиты, все, что выручили их родители от продажи квартир в Москве и Харькове, обручальные кольца и сам их брак.

Мотю, на самом деле звали не Мотей, а Машей. Но муж придумал ей кличку «Мотя». Так трогательней звучало: Котя и Мотя. И муж, на самом деле, уже два года как не был Мотиным мужем, именовался так только по привычке. Они развелись, когда выяснилось, что Моте, то есть Маше, как замужней женщине, государственная медицинская помощь не положена, так же как и пособие по инвалидности. Есть муж – пусть он и обеспечивает! - так рассуждали чиновники социального обеспечения. В чем-то они были правы. Но мечтательный тощий Котя со своей скрипкой обеспечить Машу медицинской помощью не мог, а без скрипки – и подавно.

Они наскребли по знакомым \$400 долларов, продали обручальные кольца, серебряные ложки, подаренные на свадьбу, золотую десятку, оставшуюся в память от прабабушки. Один малосимпатичный бородастый и почти безработный адвокат, консультировавший Котю в области законодательства, за неделю состряпал им развод. Еще и убивался, что так мало запросил, только по дружбе и старался. Маша в суд не ходила, уже не могла. Просто подписала бумажки, не глядя. Котя один перед судьей отбрезивался.

- Ну вот, мы теперь опять свободные люди! - бодро пошутил муж, вернувшись из суда. - Меня адвокат подучил сказать судье, что жена пилит постоянно и раздражает до язвы в желудке. Как тебя увижу – так колики начинаются. Подействовало! - Он обнял Машу осторожно через одеяло. - Ты же понимаешь, Мотя, что все это пустые формальности. Все по-прежнему между нами. Да?

Маша с трудом кивнула.

- Очень больно?

- Терпимо, - вяло ответила она, не поворачиваясь, и потерла на пальце то место, где было кольцо.

Маша любила мужа до боли, до соплей, но как-то неправильно. Она готова была перегрызть горло любому, кто скажет о нем дурное слово. Когда Котя играл на скрипке или строил свои фантастические планы, Маше казалось, что отворяются двери в райские кущи. А Котя стремился вперед, не глядя под ноги, занятый только скрипкой и мечтами, Маше хотелось нестись впереди него грозной тигрицей, размета

тистыми лапами всех недругов на пути, сбивая препятствия, очищая Коте дорогу в светлое будущее, оглашать окрестности диким рыком, пугая аборигенов, а потом, уже в кущах, расстелиться ему под ноги пушистой шкурой, мурлыкать и преданно снизу заглядывать в глаза. Но Котя об этом не знал, и ругал Машу за плохо выстиранные рубашки и мятые брюки. Когда она подавала обед, Котя снисходительно отковыривал кусочек курицы под майонезом и ласково говорил: «Как тебе удалось такую гадость приготовить? Абсолютно несъедобная отравка». Маша, забыв, что она тигрица, уходила плакать в тесную ванную. Через пять минут Котя втискивался за ней, нежно обнимал.

- Чего ты плачешь? Ну, это же правда, совершенно несъедобная гадость получилась. Поехали в греческий ресторан, я тебя накормлю потрясающими шашлыками.

- Денег нет.

- Кого волнуют деньги? Заплатим кредитной карточкой.

- А как расплачиваться потом?

Все глубже затягивала их трясына нищеты, чавкая и ухмыляясь. Не той привычной советской нищеты, в которой они жили почти до тридцати. Ту нищету они не замечали, отмечая радостные дни добычей курицы на Воскресенском базаре, или сыра, или «выброшенным» Киевским тортом и гроздь бананов. И плевать было, что курицу нужно вымачивать в уксусе два дня, чтоб не воняла, а сыром питались целую неделю, за неимением лучшего, пока он не усыхал до трещин. Неважно, что бананы приходилось закидывать на шкаф, чтоб дозрели, а торт уже «с душком» съедался за один вечер. Все так жили – и ничего. Теперешняя нищета была унижительная, сытная, американская. За квартиру нечем платить, но нужно покупать машину, чтоб добраться до работы. В офисе косились на Машины застиранные блузки из «Армии спасения» и стоптанные туфли.

Однажды сотрудница-румынка дружелюбно улыбнулась и спросила Машу, не хочет ли она поехать вместе «на шоппинг», за покупками в новый мол: «Там отличные магазины и не дорогие. Подберешь себе гардероб на осень». Маша радостно согласилась. Никаких магазинов она не знала, и ездить далеко боялась одна. Только по привычному маршруту: на работу и с работы, а когда выходила из машины – ноги дрожали от напряжения и страха.

В гигантском моле Маша выбрала на распродаже две блузки (за цену одной), и еще плащ, бежевый, немаркий. Разсечение, но нужно прилично одеться на работу.

- И это все? - удивилась сотрудница. - Стоило так далеко ехать. А обувь?

Маша почувствовала ее разочарование, сникала, и покорно отправилась выбирать обувь. Нашла бежевые (под плащ) туфли, удобные, в меру открытые и на толстой высокой платформе, на теплую погоду и на дождь.

- Нравится?

- Ничего, приятный цвет, незатейливый, - согласилась сотрудница. - Можно купить. Все зависит от того, какого цвета у тебя остальные туфли и сапоги. Как



они сочетаются с твоим гардеробом, костюмами, пальто, шубой...

Маша изумленно на нее вскинулась - другие туфли? Потом начала суетливо оправдываться: эти туфли хорошие, практичные, ко всему подходят... Но было уже поздно, сотрудница все поняла по Машиным глазам, что не было у нее никаких других туфель, ни гардероба, ни шубы. И больше на совместные прогулки по молу не приглашала.

Потом Машу уволили, сократили. Нищета стала еще плотнее и гуще. Нищета, приправленная бесплатными пайками благотворительных организаций, потертой мебелью и одеждой, подаренной сердобольными знакомыми. Нищета с долгами, забитыми кредитными карточками, ресторанами, когда уже все равно и все катится к банкротству. Нищета, когда звонишь работающей институтской подруге, а та уверяет, что перезвонит через пятнадцать минут:

- Не трать деньги на разговоры, Машенька. В пригороды звонить дорого. Я сейчас сама тебе позвоню! Как тебе с работой не повезло... везде сокращения. И у Коти ничего? Конечно, кому в Америке нужны скрипачи. Он пиццу не пробовал развезить, или на такси? Так многие делают. Ничего такого. Извини, я сейчас на второй линии с Филадельфией. Там Алла, помнишь, из второй группы. У них свой магазин...

И неделю, две никто не звонит, а потом стороной выясняется, что приезжала из Филадельфии Алла, и подруга с ней ездила на выходные в Висконсин, развешать на природе, а Маше позвонить ну просто забыли.

Через полгода они сталкиваются в русском магазине. Подруга покупает копченую рыбу, икру и коньяк – день рождения у мужа. Радостно перебирает бывших однокурсников, кто – где. Поминает недобрым словом преподавательницу марксизма. Но на праздник Машу не приглашает, а когда уже садиться в машину вспоминает, что у нее есть почти не ношеное пальто, которое Маше, наверное, будет как раз в пору.

- Так ты мне звони! Не пропадай! - доносится из улетающего «Кадиллака» подруги, забывшей как дорого звонить в пригороды.

Когда Маша заболела, она решила, что переборет все невзгоды, и будет сражаться за их с Котей счастье, как дикий зверь. Главное, никому ничего не говорить и делать вид, что все в порядке. Не даром же она себя всегда называла тигрицей. Бодро искала работу, хромая в бежевых туфлях на высокой платформе, а вечерами вымачивала распухшие ноги в тазу с холодной водой. Котя таскал ее по знакомым нелегальным врачам и каким-то целителям-экстрасенсам, (на настоящих врачей денег не было). И все – бестолку! Он мрачнел и худел, даже скрипку забросил. Тигринными скачками перескочить болезнь не удалось. Вскоре Маша и ходить перестала, сидела в старом кресле у окна, кутаясь в пальто, а сверху – в одеяло. А потом легла.

После развода, получив «медикейд», под Котиным напором, она отправилась в госпиталь, приобщиться к знаменитой американской медицине. Там ее начинили гормонами, нашипиговали уколами, сделали кучу анализов, которые ничего интересного не показали, и пообещали, что наука движется вперед со страшной ско-

ростью, и в недалеком будущем гении что-нибудь придумают, а пока нужно потерпеть. Маша взбодрилась, начала ползать по квартире с костылями, и даже водить машину, несмотря на Котины протесты.

- А если ты разобьешься? Посмотри, какая ты дохлая, еле руль ворочаешь.

- Но ты жэ меня не можешь возить все время, тебе работать нужно. А у меня *апоинтменты* с врачами каждую неделю, а то и по два раза. Ну и разобьюсь, черт с ним. У меня тоже страхова есть. Купишь новую машину и фрак. Будешь концерты давать.

**- Заткнись, идиотка!**

- Почему тебе можно, а мне нельзя?

- Да, тигрицу не переспоришь, законтит. И доводы разума до нее не доходят.

Котя махнул рукой и опять ударился в поиски заработков. То ли он давал великовозрастным оболтусам уроки игры на скрипке, то ли подрабатывал в ресторане и на бармицах, но его не было дома до поздней ночи. А Маша с утраправлялась таблетками, допознала до окна, садилась в кресло и задумывалась:

- А вдруг и вправду застрелится? Или найдет другую женщину, здоровую? Нет, это не в его натуре. Будет терпеть, мучиться вместе со мной и просто сломается. Скрипачи все такие ранимые. Сопьется, как герои Достоевского. Потянет его на наркотики, как Мадильяни. Иги разобьется на машине, возвращаясь с ночной работы. Как один знакомый, который заснул за рулем, заехал под *трак* и ему снесло голову.

Она пристально рассматривала свои отошавшие скрюченные руки – далеко не тигриные лапы. Потонем мы, ох, потонем! Котя и Мотя, обнявшись крепче двух друзей, как Мцыри с барсом, пойдут на лиственное дно американской жизни, пуская пузыри. Может, устранишься самой? Вскрыть вены. Не так уж трудно.

Как другие мечтают о летнем отпуске на Гавайях, Маша, растянувшись в кресле, мечтала, как она набирает ванную полную горячей воды. Добавляет ароматическую соль. Плюхается в восхитительно пахнущую воду. (С начала болезни она могла только под душем мыться. В ванную с распухшими коленями не сесть. Но в последний раз можно просто повалиться, а вставать уже не нужно!) Достает заранее приготовленную бритву... и конец всем тревогам и болям, сомнениям, мукам! Освободить его и себя. Говорят, это даже приятно, словно медленно засыпаешь, мурлыкая: *Нир-р-ванна...*

Но воображение не останавливалось, а катилось дальше. Вот приходит Котя домой, усталый. Тихо. Он думает, что Маша спит, и осторожно, стараясь не шуметь, заходит в ванную помыть руки, а там... нет, так нельзя, у него большое сердце. Его может инфаркт хватить, и, вообще, будет грызть себя всю оставшуюся жизнь, что вот из-за него... он не смог. Еще свихнется. Не годится. Нужно как-то иначе. Лучше так – Мотя снимет номер в мотеле, на окраине, под чужим именем. Опять же наберет полную ванну прекрасной теплой воду, достанет из сумки бритву... Нет, все равно докопаются. Явится полиция, отверзут тело в морг, сделают вскрытие. Вызовут Котю на опознание, выдвинут железный ящик... Плохой план, ни к черту. Уж если она собралась умирать, не проще ли начать новую, другую жизнь. Отпустить Котю на свободу, а са-

мой тогда делать, что угодно, кончать с собой, или... что? Какой может быть ее жизнь отдельно от Коти. Она другой жизни не представляла, а тут – задумалась.

И ожил тигриный дух! И Мотя сделала два решительных шага: взяла в дом приبلудного мордатого серого кота, и подала заявление на дешевую «инвалидную» квартиру. Котя пригрозил, что выкинет животное, если оно не будет себя вести соответственно. Мотя ощерилась:

- Ты целые дни пропадаешь, а мне слово не с кем сказать. Хоть с кошаком перемякнуться, и то легче. Смотри, какие у него глаза умные и усы! Назову его Мордальоном.

- Хоть шампиньоном! Конечно, тебе кошачьи ближе по натуре, но за ним тоже ухаживать нужно. А ты и за собой – еле-еле. Рехнулась ты, мать. Не скули, вот придут мои родители, будут за тобой присматривать.

- Я и не скулю, с чего ты взял. Это я так грозно вою. Держи карман шире, насчет родителей. Они получат квартиру в стариковском доме, будут учить английский в синагоге, ходить на русские концерты, лечиться от депрессии, и требовать, чтоб ты их возил по магазинам. И раз в год ездить в дешевый круиз, а потом жаловаться, что переели и у них печень болит. Как все пенсионеры кругом.

- Злоязычная, ты, все-таки, Мотя. Нужно быть добрее.

- Что бы добрее, нужно было жениться тебе не на тигре, а на скромной овечке.

- Еще не поздно...

У нее теперь болел живот, после каждого разговора с Котей, и, возможно, открылась язва. Она похудела и как-то обуглилась, только на щеках краснели два пятна – следствие приема большого количества гормонов. Во время частых перепалок, шея у Моти дергалась, и веко тоже. Если бы их не развели в первый раз, то теперь уж развели бы наверняка.

Так, между прочим, все и получилось, как Мотя предполагала. Котины родители приехали, получили студию на тридцатом этаже в небоскребе, в самом центре. Они тут же записались на курсы английского и к психиатру. А Моте в это время предложили однокомнатную квартиру в далеком пригороде, в так называемом «проекте», где селились алкоголики, психи, наркоманы, калеки и многодетная эмигрантская безъязыкая беднота.

- Никаких мужчин чтоб к себе не водила, - строго предупредила менеджер (управдомша), рыхлая мексиканка без определенного возраста, но в бряцающих монистах и с алыми губами. - И животных никаких, нечего свинарник разводить в доме.

«Тут и так свинарник изрядный», - подумала Мотя, рассматривая ободранный линолеум рвотного цвета на полу и грязные стены. - Окна большие, на трассу. Квартира просторнее той, которую с Котей снимали, и за которую уже третий месяц не платили. Ничего, кота в кладовке поселю, секретно. Будет у нас Мордальон подпольщиком».

Она сунула мексиканке в руку десять долларов и коробку с французскими духами. Та благосклонно приняла подношение и вздохнула:

- Конечно, ты молодая. Понимаю. Если кто переночует иногда в твоей постели – нет беды. Но что бы без скандалов и мордобоя.

Мотя возмущенно вскинула плечи.

Коте новая квартира совсем не понравилась.

- Далеко с работы ездить. И жутко тут как-то. Подозрительные личности кругом шляются. Крики, магнитофону орут, дети. Автомобили под окнами гудят круглосуточно. Я в такой обстановке не смогу играть, и вообще... по закону мне тут быть не положено. А я законы уважаю. Как здесь можно заснуть, в адском грохоте?

- Я тебя буду, как кота, прятать в кладовке, если начальство нагрянет, - пообещала Мотя. - Мне даже нравиться, когда шум, не так одиноко.

- Еще чего не хватало, прятаться! Значит, ты Шампиньона своего хвостатого оставляешь, а меня выбрасываешь? После всего...

- Нет, совсем, не выбрасываю... ты здесь можешь жить сколько хочешь.

- А если я не хочу? Помойка какая-то. Ты своих соседей видела? После одного взгляда на них хочется долго мыть руки.

- Чем я их лучше? Тоже нищая эмигрантка. Какой же выход? Снимать мы уже не можем.

- Если хочешь, оставайся в этой клоаке. Я к родителям уеду.

- Как знаешь...

Первое время Маше было, действительно, очень страшно и одиноко на новой квартире. Ночью за стеной ругались, падала мебель, билась посуда. С гудящими sireнами подъезжала полиция. Кто-то истошно кричал по-испански. Плакали охрипшие дети. Маша проверяла замок, запиралась на засов и еще задвигала дверь стулом. Извлекала Мардальона из кладовки. Она до утра дрожала, прижавшись к нему под одеялом, пока не занималась над скоростной трассой простуженная зорь.

«Ничего, справлюсь, - утешала себя Маша, - я и раньше все время была одна, сама по врачам ездила, и всюду. Даже стирала и за покупками».

Бывший муж иногда заезжал, привозил продукты, сочувствовал, но на ночь не оставался. Когда включили телефон, Маша позвонила институтской подруге.

- Ты одна живешь, в «субсидайке»? С ума сошла! Твой, что, тебя бросил, да? Не захотел возиться с больной женой, мерзавец...

- Ничего не мерзавец. Я сама.

- Ну, тогда ты - ненормальная. Совершенно ненормальная. Тебе срочно нужно найти кого-нибудь. Мужа, любовника, друга. Ты одна не выдержишь.

- Мне пенсии хватает, с дешевой квартирой.

- При чем тут пенсия? На что тебе ее хватает, на мороженые куриные ножки? А машина, а одеться, постриться и вообще...

- Кому я нужна с моими болячками?

- Да, конечно. Дай подумать. У тебя гражданство есть? Может, на гражданство кто-то клонет. Мой брат двоюродный ищет, но ему нужна с квартирой. Нет, среди русских ты вряд ли найдешь. Приглядишься к американцам. У вас там, в комплексе есть какой-нибудь одинокий пенсионер мужского полу? Чтоб не очень дохлый.

- За пенсионером за самим ухаживать нужно. Я лучше подам объявление в газету, где знакомства. Молодая, интересная, чуть подпорченная жизнью ищет спутника. Заодно и английский свой поправлю, - веселилась Маша.

- Ты что, только проститутки объявления в газеты дают. Не думай даже. Еще на маньяка напорешься.

- Ну, тогда по телефону позвоню, где публика из высшего общества. Любители классической музыки. Я по радио слышала, есть такая служба. Подцеплю миллионера.

- Прямо таки. Нужна ты миллионеру, как мустангу бантик. Мало тебе было классической музыки с твоим юродивым?

Но мысль подучить английский, и найти спутника, чтоб вместе ходить на концерты, плотно засела Маше в голову. Пусть пенсионер, пусть бесперспективный, было бы с кем поговорить, отвлечься от боли, от страха перед будущим.

Первый кандидат на «классическую дружбу» оказался огненно рыжим, с торчащими клыками и Маше по плечо. Прямо как Азazelло. Но при этом очень симпатичный разговорчивый, кажется, инженер. Встретились в большом книжном магазине, у стойки с кофе. Поговорили, посмеялись. Жаль, что Азazelло жил у черта на куличках и был привязан к работе. Маше в такую даль ездить было уже не под силу, хотя он приглашал на ужин, даже со взрослым сыном обещал познакомиться.

Следующий оказался совершенным очаровашкой. Ковбой под два метра ростом, с открытым взглядом голубых глаз и плотным загаром. Остальные детали — в любом дамском романе из дикой жизни Среднего запада. Загорел он, впрочем, не в Индиане, в Новой Зеландии. У него там оказалась ферма с овцами, плюс работа-зарплата, и все как положено. Проникновенным голосом Ковбой рассказывал о своей покойной жене. Померла, бедняжка, десять месяцев назад, пролежав перед этим два года в параличе. Он ее и на колясочке возил, которую своими руками соорудил, и в саду с ней гулял. Двое мальчишек осталось. И решил он с детьми переехать в Новую Зеландию, начать новую жизнь, но не один... Ковбой доверчиво заглядывал Маше в глаза. Она давилась кофе и слезами (в том же книжном). Прятала под столик ноги с распухшими коленями и щиколотками. За ней никто не будет так ухаживать, возить в колясочке. И в Новую Зеландию не позовет, начинать жизнь сначала. Этому красавцу нужна здоровая молодая, чтоб за детьми смотрела и за овцами, и скакала с ним по зеленым холмам на веселой лошади, а не полуразваленная Маша с забытым техническим и незаконченным музыкальным образованием.

На встречу с третьим она плелась уже без всякого энтузиазма. Ночь перед встречей не спала, не от волнения, а от боли в ногах. Ворочалась, пила таблетки, все, какие под руку попадались. Неплохой способ, кстати, избавиться от утомительной жизни. Проглотить пригоршней пять, запить бутылкой виски и уснуть беспробудно. Тело мексиканка-менеджера опознает, когда запах поползет на лестницу. Можно и дверь не запирает любезно, чтоб государственный за-

мок не ломали. И Котю беспокоить не будут. Только таблеток нужно поднакопить.

Но раз договорилась, нужно появиться. У Маши было ярко выраженное чувство ответственности. Новый потенциальный кавалер - врач-психиатр, как раз то, что ей сейчас нужно. Можно ее сразу забирать в отделение. Интересно, если попросить у него таблеток, он даст?

Маша ждала на стоянке возле книжного магазина. Погода была отличная. С прежними она договаривалась о встрече в кафетерии, сидя за столиком, чтоб не заметно было хромоты. А тут решила — наплевать, пусть видит! Майкла она узнала сразу, хотя никогда раньше не встречались. Бывает так — знакомое лицо, свое, и все тут. Он, конечно, сразу усмотрел, как Маша переваливается, утка уткой, и спросил, что с ногой. Она почему-то обозлилась, тут же все ему и выложила, диагноз, и свое материальное положение. Чего время тратить на кофепития, если он, все равно, сбежит? Но Майкл выдержал ее монолог, не пошатнувшись. Видно и не такое ему на работе приходилось выслушивать. А потом заметил, что вот он тоже несколько языков знает, в том числе и китайский, но ни на одном не может так здорово говорить, как Маша по-английски. Она развеселилась, и кофе попили на высшем уровне, с шоколадным печеньем и литературными реминисценциями.

Честно говоря, по началу Майкл ей показался слишком уж белобрысым, простоватым и слегка отмороженным. Попили они, значит, кофе, сходили через неделю на концерт Брамса, потом на выставку импрессионистов. Майкл приехал за ней на своей далеко не шикарной машине. Когда он ее высадил вечером перед подъездом, наркоманка из соседнего дома проводила его длинным взглядом, сплюнула и пробурчала в сторону Магги (она ни с кем на прямую не разговаривала):

- Красивый парень. Настоящий викинг. Везет же некторым сукам.

Маша встрепелась. Викинг? Это про Майкла? (К «суке» она уже привыкла, наркоманка всех женщин так называла, а мужчин «сукиными сынами»). В следующий раз она присмотрелась к психиатру внимательнее. Действительно, похож на викинга, и вежливый. Добрый, наверное. Хорек у него дома живет, ручной. И о жене, хотя и разводятся они уже три года, ни одного плохого слова не сказал. Возвращаясь с джазового концерта, Маша потерла колени, вздохнула и сказала: «Знаешь, поехали к тебе. Нужно же познакомиться когда-то с твоим хорьком!» В этой жизни ей уже было нечего терять.

- Врач? Не может быть. Где ты его подцепила? - волновалась институтская подруга на другом конце провода. - Работа у него есть? И не страшный? Выходи замуж, немедленно. Ты понимаешь, ненормальная, как тебе повезло. Алке нужно рассказать. Она не поверит!

- Зачем так сразу замуж? - отбивалась Маша. - И потом, он женатый, вернее полуразведенный.

- Я так и думала, что-то с ним не в порядке. Он не пьет? Не колетса?

- Кажется, нет.

- Не маньяк? Ты к нему присмотришься повнимательней. Чего-то он от тебя хочет. У тебя вещи не пропадают? Ты его документы видела? Он действительно, врач?

- Он хочет того же, чего Коля Остенбакен хотел от польской красавицы Инги Зайонц. Любви.

Подруга хмыкнула с сомнением.

В пятницу Маша вернулась из магазина, потащила кульки к подъезду и тут увидела машину Майкла. Они договаривались сегодня встретиться после восьми, а сейчас пять. На ее вопросительный взгляд, Майкл выбрался из машины, подошел, повесив голову:

- Извини, что я так рано, но у меня дом сгорел.

- ????

- Я приехал после работы переодеться, а там только передняя стена и видно небо сквозь оконные проемы. Выгорело дотла. Только пепел густой на асфальте. Вот теперь буду жить в автомобиле, все что осталось...

- А хорек?

- Людей пожарные успели вывести, а животных...

Они помолчали.

- Да, я тебе обещал показать репродукции Дега, они у меня в машине. Я с утра положил...

- Подожди с Дега, у тебя есть, где переночевать? Друзья какие-то.

- Я в мотеле номер сниму, - бодро ответил Майкл. - Можно, конечно, к бывшей жене, в наш бывший дом...

- Ну, ничего, страховку получишь. У тебя была квартира застрахована? Первое время как-то... Помогите мне с кулками, - решительно приказала Маша. - У меня останешься ночевать. (И по-русски добавила - к черту, никакой бывшей жены.) А завтра, в субботу, мы по магазинам поедem, одежду покупать. Тебе же не в чем на работу будет пойти в понедельник. Правда?

- Правда, - легко согласился Майкл. - Только у меня никакой страховки не было. Я же снимал квартиру, когда от жены ушел. Дом был застрахован, а все, что внутри - нет.

Котя занес в квартиру мешок с картошкой и луком, и покосился на мужские туфли в прихожей. В комнате на письменном столе стоял новый компьютер Майкла, повсюду были разбросаны медицинские журналы.

- Кто это у тебя, в итальянских туфлях? Еще одного кота подобрала?

- Это Майкл, погорелец. Он на диване спит. - Маша покраснела. (Он и вправду спал именно на диване, что б не будить ее по утрам, и еще маялся бессонницей.)

- «...я к вам пришел на веки поселиться, и книгу спас, любимую при том...», - Котя плюхнулся на диван, пролистал медицинский журнал. - Что ты намерена делать с этим обгоревшим Васисуалием?

- Не знаю.

- Понятно.

- Интересно, мне самой не понятно, а тебе уже все понятно!

- Что ж тут непонятного? Американец? Сколько лет? По профессии кто? Врач. Зарабатывает неплохо, наверное. Женатый? Дети есть?

- Он разводи...

Хлопнула входная дверь. Маша перетаскала мешок с картошкой на кухню и ушла в спальню, рыдать в кота. Мордальон мужественно терпел, и только покрывшись

вал, когда она особенно горько вскрикивала и прижимала его к себе.

Через месяц Майкл влетел в Машину квартиру именинником, размахивая белой бумажкой:

- Развод, мне жена развод дала! Испугалась, что я дом у нее отсужу теперь, ввиду финансовых потерь, после пожара, и сразу подписала все старые бумаги. - Он порылся в кармане и положил на стол красную коробочку. - Через месяц - я свободный человек. Ты за меня выйдешь?

- Ой, как неожиданно. Поздравляю! Это кольцо? Красивое. Можно померить? Нет, ты лучше надень! Чтоб как по-настоящему. Нет! Не выйду. У тебя и так расходы... Знаешь, какие медикаменты для меня дорогие, уколы, таблетки, и врачи, и госпиталь, и пенсия, и вообще...

Маша опять захлопала носом. Слаба она стала на слезы, со времени болезни. Кот обреченно вспрыгнул на стол, подошел к хозяйке, повернулся задом. Давай, мол, рыдай в меня. А чего рыдать? Вроде, все складывается хорошо.

21.10.04

## РОМАН В ПИСЬМАХ

### Письмо первое. Июль, 2001.

Леша, проснулась, глянула в окно и похолодела...лицо забыла, твое. Не главное, не важно. Нам было восемнадцать, да? Ты сказал: я всегда для тебя. И пишу, пишу... А тогда - июль, тяжелая прохлада. Ничего не боялись. Ты говорил: приходи всегда. Здесь - жара тяжелая, а прохлада... из кондиционеров. Никакая.

Твои картины - помню. Лежали на полу озерами, лужами, отражали. Наши лица. Теперь вспомнила! Ты еще там? Подвал, прохлада. Комар жужжал. Откуда там комары? Под полом журчала вода. Бедность, тишина. Запах кофе, и красок, и сырости. А мы смеялись. Чему, Пеша, чему мы так беззаботно смеялись?

Я вырвалась. Убежала. Так много света! Ты мне протягивал горстями - восхищение, любовь, лесть, взгляды. Больше не увижу, не зачерпну.

Жара. Гудит кондиционер. Черная горничная протягивает мне чай, на подносе. Улыбается приветливо. В белом переднике. Дом громадный. Окна - узкие, вытянутые, в парк. Мы читали в книгах, которые тоже пахли сыростью. Помнишь? Компаньонка, седая, стройная. Не запомню ее имени, что-то длинное. Она говорит: пойдем в сад. Там - озеро, небо очень высоко.

Приходит девочка. Прелестная, с рыжими волосами. Читает мне, пишет письма под диктовку. Леню протянуть руку к сверкающим персикам, к ананасам. Девочка с персиками - откуда? Думать - медленно, странно. Тень чужого языка, как облако и лежит на всем, сиреневая, меняя цвет. Лиловые персики, пурпурные ананасы. Другой вкус. Шумит, шумит, гонит ледяной воздух из стен. Опять кофе с булочками, но не хочется есть. Горничной говорю: «Спасибо, милая». Она кивает. Беспрекословно уносит, улыбаясь приветливо белыми зубами на черном лице.

Удивляешься? Самой странно. Между нами - провал. Сколько лет, Леша? На дне - прохлада, жужжат комары. Кусают голую спину, голое сердце. Пом-

нишь? Ты говорил: Ирина, Ириша, Ирэн, голубая королева.

Ирэн, ирз, ир...

### Письмо второе. Август, 2001.

Здравствуй, милая! Здравствуй, моя голубая королева!

Помню, Ириша, я все помню. Никогда не забывал. И как мы встречали восход на Днепром, на Владимирской горке. После выпускного вечера. И как ты ко мне приходила в подвал, и как комары кусали. Подвал все такой же. Квартира без тебя пустая. Ветер свищет из щелей, синий фонарь за окном, все, как ты помнишь. У тебя замечательная память.

Давно не писал маслом, не спускался в Подвал, наш подвал. Времени нет. Нужно на жизнь зарабатывать. Ты же знаешь, как тут всегда было сложно. Многое изменилось, но, по сути, - все прежнее.

Тебе хорошо в этом большом доме, в зеленом парке? Замечательно, что вокруг тебя добрые, заботливые люди. Жара спадет, выключат кондиционеры. В Чикаго теплая, ласковая осень, ты мне писала. Я так и вижу тебя: в белой широкополой шляпе, на берегу. Трудно описать словами. Я никогда словом не умел, вот если бы нарисовать! Пиши мне чаще.

Твой, Леша.

### Письмо третье. Сентябрь, 2001.

Моя юность, наша - пролетела насквозь, навывлет. Хочется закричать - отдай! Кругом не поймут. Остались сквозные раны.

Леша, Леша, не затянуться раны. *Прольются слезами, пламенной смолой...* Откуда это? Тот, новый - был случайным. Мог быть другой, был он. С тобой - навсегда. Но мне хотелось туда, где все желания сбываются. В детстве обещала бабушка: загадай - сбудется. Хотелось все раздать и все забрать. Хлебать будущее жадно, как отошавшая лошадь в сухой степи. Тело - пригоршнями! Любовь, восхищение - ковшом. Только черпай. Я опаздывала.

Где он сейчас? Ты спрашиваешь. Зачем? Какая разница. Он - в разъездах. В дальних странах, как тогда. Приедет. Глаза вычерпаны. Бутафорский разговор, слова шершавые. Паузы проваливаются тонким льдом. Не важно. Твои письма - реальность. А я уже другая, на берегу озера с ускользящим названием.

Вспоминаю, вспоминаю... Владимирская горка - каждое слово перекачивается во рту. Леденец. Я чувствовала - счастье. Но была тревога тоже, досада. Хотелось все свои слова переложить тебе в голову. Чтоб заговорил. Все стихи. Все тайны. А ты молчал, и саднило. Наш подъезд. Воняла подворотня. Стена сочилась. Скрип, когда ты отпираешь дверь в подвал. Была я бестелесной, бессмысленной. Наполнена тобой. Мне нравились твои картины. Я совсем в картинах не разбиралась, но о твоих знала - настоящие. Фигуры суровые. Пугающие горизонты. Добрые яблоки. Ты говорил о трагизме цвета. Без выражения.

Теперь, на другом берегу - стала пустотой. Замусорена чужими словами, взглядами. Ненужными. Персики сочатся сиреневым соком. Спелые круглый год.

Вечное надоедливое лето. Клубника красная, не помещается во рту. Прозрачный виноград. Сквозь каж-

дую выпуклую ягоду можно рассмотреть будущее. Под микроскопом. Или прошлое... Тропические липкие плоды манго.

Настоящего нет. Оно липкое и тянется в никуда. Не в будущее, а вбок. Компаньонка, седая, заботливо подает летучую шляпу и шарф. Длинные молчаливые прогулки. Молчание - тот же мусор. Кружит на ветру, забивается в углы. Как рваные газеты. Где ты? Увижу ли?

Рыжая девочка улыбается. Глаза грустные. Это важно почему-то...

Телевизор мигает, показывают страшное. Что-то рушиться, горит. Самолеты врезаются в небоскребы, опять и опять... Я знаю - все не по настоящему, неправда. Так и девочка говорит: «Не волнуйся, это просто кино...» и плачет. На сердце тревожно. Где? За чем...

Ирэн

### Письмо четвертое. Сентябрь, 2001.

Милый Леша,

Позволь мне называть тебя так по старой памяти. Ищу и не нахожу адекватных слов благодарности за все, что ты сделал и делаешь для нашей семьи, для бедной моей девочки. И это несмотря на прошлые тяжелые времена, на обиду... но не будем об этом! Ты - удивительный человек, благородный, чистый. В наши дни таких больше нет. Без твоей помощи мне бы никогда не удалось вырвать Ирочку из этого страшного заведения, где глухие ватные стены и решетки на окнах. Теперь ей куда лучше, она стала спокойнее. Уход на новом месте прекрасный. Мы с Шурочкой ее ежедневно неукоснительно навешаем, приносим свежие фрукты и овощи. Хотя питание у них вполне разнообразное, калорийное.

Ирина по-прежнему никого не узнает, ни меня, ни дочку. А вот о тебе спрашивает постоянно, с нетерпением ждет писем, много говорит о прошлом и былом. Вспоминает школу, друзей, родной город. Но дальше - все словно затянуто туманом и прошедший день, даже час для нее покрыт мраком неизвестности. Сердце разрывается, когда она силится вспомнить что-то и не может. Тяжело, Леша, дожит до такого времени. Бедная моя девочка! И никакой надежды... Даже Рейгана своего они не смогли от этого вылечить, хоть и бывший президент.

Прости меня, старуху, за нытье. С кем еще я могу поделиться своими горестями в чужой стране? Шурочка мала. Ей только четырнадцать, а она уже столько повидала горя на своем коротком веку. Я стараюсь, чтоб она не забывала родной язык, пишу с ней диктанты, читаю классиков. Мы пишем письма по-русски вместе, разговариваем, обсуждаем новости, регулярно читаем газеты. Иногда ходим на русские концерты и спектакли. Только мало достойных мероприятий и билеты дорогие. Она, когда подрастет, поймет многое.

Я часто вспоминаю прошлое, школьные ваши годы, наш дом на Владимирской. Пусть тесно было, и жили небогато, и соседи шумные, и очереди, и сквозняки! Но столько было и хорошего! Всплакнешь невольно, припоминая. И надежды были, и мечты! Если бы не страшная болезнь, несчастье с Ириной, я бы ни за что не уехала из родных мест. Не иначе, как сам черт свел

мою дочку с этим американским миссионером, и понес ее в Штаты. Натерпелись мы от этого миссионера, когда Нил пытался справить Ирину в эту страшную закрытую псих лечебницу. Что за имя такое? Река, не река... стоячее болото, трясина зеленая, смрадная. Если бы не ты, Леша, мне бы не удалось вырвать мою девочку из лап этого лживого святоши.

В мире тревожно. Волнительно так, и за близких и за дальних. Не опасно ли тебе летать так много? После 11-го сентября, со всеми историями о террористах, просто не знаю, что и думать. Словно весь мир сошел с ума.

Как ты находишь время на все при своей занятости? Беспокойно мне за тебя, Леша. Ты уж будь поосторожнее! В газетах пишут, что новых бизнесменов преследует мафия и правительство душит налогами, всячески притесняет. Будто даже на улицах стреляют, не про тебя будь сказано. Прямо как на диком Западе! Во что наша страна превратилась? Последний раз письмо от тебя пришло из Швейцарии. Может быть, ты и к нам как-нибудь заедешь опять, между концессиями? Повидаться. Шурочка так вытянулась, не узнать! Она хорошо учится в школе, только по математике нужно немного подтянуться, а я уже все забыла.

Разболталась я непростительно. Отвлекаю тебя от дел. Пора и честь знать.

Вечно благодарная тебе,  
Анна Григорьевна.

#### **Письмо пятое. Октябрь, 2001.**

бабушке плохо сердце. она сказала мне писать. у бабушки часто бывает плохо. доктор ей таблетки дал а она не принимает. ей волноваться нельзя. а она волнуется все время. от ваших писем тоже. все ждет вы приедете а вы не приезжаете. бабушка говорит вы наш благодетель. я скоро закончу школу и буду учить медицину. сама буду работать и сделаю миллион. мы с мамой ни у кого денег брать не будем а вам все верну. и нилу верну брошу в него все деньги что он говорит на маму потратил. зачем вы маме фальшивые письма пишете что все нормально у нее хорошая память. только сбиваете ее еще больше. она не знает ничего какой день и год и не узнает. врете маме про ветер и пустую квартиру. мне бабушка говорила у вас свой бизнес три машины. я маме ваши письма читаю и книги когда она не может. она говорит спасибо девочка как мило что ты мне персики принесла. откуда ты знаешь я персики люблю? а мы ей каждый день с бабушкой персики даем. мама боится по телевизору террористов. я ей говорю это кино. мы тоже боимся. еще бабушка говорит напиши про школу. я люблю ботанику и биологию. математика не люблю. мы читаем Пушкин и Чехов. в следующем году бабушка говорит мы читать Толстой и Достоевский. я письмо бабушке не давать. в нем много ошибки. бабушка лучше. она таблетки взяла. имейте хороший день.

Шура.

#### **Письмо шестое. Ноябрь, 2001.**

Милая Анна Григорьевна!

Спасибо за Ваши подробные письма и теплые слова. Спасибо, что Шурочка мне написала, и что Вы учите ее русскому языку, как когда-то нас в школе учили.

Правда, я был всегда слабым учеником, но то, что Ирина. Но Вы относились ко мне снисходительно. Помните, Вы еще учили нас, что обманывать не хорошо, и умолчание может быть формой обмана? Что же вы мне не написали, что у Вас с сердцем проблемы? Что Вам прислать? Как облегчить? Нужны ли какие-то лекарства? Я все достану, только скажите. Я и сам постараюсь приехать, как смогу. Только, как подействует это встреча на Ирину? Прошлый раз врачи даже подходить к ней запретили.

Пишу Вам в полете, между Азербайджаном и Англией. Прямо в аэропорту в Лондоне и отправлю письмо. Вся жизнь на лету, на бегу, в дороге. Вы восхищаетесь моими успехами в бизнесе, а я мучительно думаю - вот если бы раньше! Все могло быть по-другому. Я случайно набрел на золотую жилу, слишком поздно, когда она уже никому не нужна, и копаю от скуки.

Не беспокойтесь обо мне. Не такая я крупная величина, чтоб меня на улице подстрелили. Террористы тоже сейчас заняты больше Америкой и Европой, а до нас еще не докатились кровавые волны. Не хочется думать о плохом, но всякое может случиться. Нужно позаботиться о будущем. Как в книге у Вадима Шефнера, которую Вы нам с Ирой так часто читали в детстве:

*Сегодня мы кушаем булку  
И платим за даму в кино,  
А завтра на водной прогулке  
Пойдем утюгами на дно.*

Мне предстоит весьма длительная деловая прогулка в Японию, потом на Кипр и в Турцию. Поэтому я посылаю Вам копию моего завещания. Оно написано по-английски и по-французски; один оригинал хранится в швейцарском банке, другой - у моего адвоката. Там и телефон есть, на всякий случай. Содержание в переводе примерно такое:

Все средства от нефтяных операций за последние годы разделяются поровну на три части. Одна треть предназначается моим родителями. Две трети делятся поровну между Ириной Лишанской-Смит и ее дочерью, Александрой Романовной Лишанской. До совершеннолетия последней, средства поступят в распоряжение их легального опекуна, то есть, в Ваше, Анна Григорьевна.

Не болейте. Пишите. Поцелуйте за меня Шурочку. Привет Ирине. С надеждой скорой встречи.

Всегда Ваш, Роман Семенович Лешанский.

2004-12-23

#### **ХАИМ ВЕНГЕР**

#### **ПИСЬМО БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА Рассказ**

Возвратившись домой, Марк Лурье по привычке открыл почтовый ящик. Среди счетов и рекламы, обильно рассылаемых в Израиле, находился довольно толстый конверт. Марка удивило, что на конверте отсутствовал обратный адрес, и не было почтового штемпеля. «Что бы это могло быть? - думал он, поднимаясь на свой



этаж. Войдя в квартиру, Марк разорвал конверт и извлек из него четыре листа, исписанные красивым убогим женским почерком.

Первая строчка начиналась обычным приветствием, но чем дальше читал он письмо, тем больше оно его захватывало.

«Марк, если ты помнишь время, проведенное тобой в Ессентуках в апреле 1965 года, то должен помнить и меня. Ведь немалую часть этого времени мы провели вместе».

Конечно, Марк все прекрасно помнил. Тогда впервые в жизни он оказался на питьевом курорте, или, как говорили когда-то, «на водах», чтобы подлечить бунтовавший в последнее время желудок. Приехал он «дикарем», а это значило, что все заботы о хлебе насущном, о лечении и жилье ложились на него. Апрель на Северном Кавказе, тем более в Ессентуках, - не лучшее время года, зато нет того столпотворения, которое свойственно курортам Кавказских минеральных вод в разгар сезона. Исключением, в смысле погоды, являлся лишь Кисловодск: там солнце светило триста шестьдесят дней в году. Но кисловодский «Нарзан» не подходил Марку по медицинским показаниям. И все же в Минводах, где совершил посадку его московский самолет, погода была довольно сносной, зато Ессентуки, куда Марк приехал на местной электричке, встретили его мелким нудным дождем. Утешением ему служило то, что в боковом кармане его пиджака лежало рекомендательное письмо, адресованное директору Центральной гостиницы. Она располагалась у самого входа в парк, где всем страждущим дарили себя целебные минеральные источники. Автор письма неоднократно бывал в Ессентуках и всегда прибегал к услугам того самого директора, естественно, за немалое вознаграждение. Так что осечки быть не могло.

Каково же было удивление и разочарование Марка, когда, подойдя к гостинице, он увидел опоясывающие ее строительные леса. Но не успел он оценить ситуацию, как рядом оказался не вызывавший особой симпатии мужчина. Позднее Марк узнал, что он армянин, женатый на еврейке, подрабатывает в качестве квартирного маклера. «Не расстраивайтесь, Ашот поможет вам устроиться», - ободряюще произнес его «спаситель» и, подхватив чемодан, попросил Марка следовать за ним. Когда они пересекли улицу, к ним присоединились две женщины, ожидавшие маклера на противоположном углу. Поздоровавшись, Марк про себя отметил, что одной из них лет пятьдесят, другой - немногим больше двадцати. И что сразу бросилось в глаза: молодая была необыкновенно красива. Устроив женщинам жилье, Ашот привел Марка в принадлежавший ему дом и предложил поселиться на веранде, за которую запросил явно завышенную цену, потребовав заплатить за неделю вперед. Не успел Марк обдумать предложение, как к разговору присоединилась жена маклера Роза Абрамовна, и стала заверять Марка, что ему у них будет очень хорошо. «Да и куда вы пойдете на ночь глядя? - завершила она свой монолог.

Промучившись ночь (на веранде было очень холодно, к тому же в нее проникали тошнотворные запахи смежной с ней кухни), Марк отправился в парк на «водопой», к прописанному ему гастрологом минеральному источнику «Ессентуки №20». Проходя мимо

гостиницы, он с удивлением увидел, что из нее выходят и в нее входят люди. В этот момент к нему подошли его вчерашние спутницы. «Давайте знакомиться», - сказала, протянув руку, старшая, - меня зовут Валентина Васильевна, а это моя землячка Надя».

И опять Марка поразила необыкновенная красота молодой женщины. Назвав свои имя, отчество и даже фамилию, Марк, с особой охотой пожал руку Нади. Но на его невольный порыв Надя ответила холодным рукопожатием и не менее холодным взглядом...

«Уже при первом знакомстве я почувствовала, что произвела на тебя впечатление. Молодая женщина всегда может оценить то, как смотрит на нее мужчина. Но тогда ответного интереса ты во мне не вызвал. Больше того, я была с тобой вызывающе резка. Это заметила моя землячка Валентина Васильевна, а, когда мы остались одни, серьезно меня отчитала. И все же я не сразу справилась с чувством неприязни, которое всегда испытывала к посторонним мужчинам, проявлявшим по отношению ко мне, замужней женщине, повышенный интерес. Не стану скрывать, немалую роль в этой антипатии играла твоя национальность. Сомневаться в ней не позволяли ни твоя внешность, ни твои «анкетные данные». Их я запомнила сразу и, как выяснилось позже, навсегда. Больно писать об этом, но свою неприязнь я даже не пыталась скрыть. Увы, среда, в которой я росла, воспитала меня в духе национальной нетерпимости. Но шли дни, и мой душевный настрой в корне менялся. Ты все больше и больше нравился мне. В этом, в первую очередь, была твоя заслуга. Открытость, отзывчивость, присущее тебе чувство юмора, рассказанный к месту остроумный анекдот, прекрасные стихи, которые ты артистически читал по памяти, могли растопить и каменное сердце... Но и Валентина Васильевна играла в моем «прозрении» немалую роль. Каждый вечер она, женщина куда более опытная и много повидавшая, проводила со мной «воспитательную работу», учила жизни. «Подумай сама, - говорила она, - в кои веки ты вырвалась из заштатного городка с его серыми, безрадостными буднями, оказалась вдаль от своего мужа, интересы которого более чем примитивны. А здесь ты встретила веселого, талантливого, очень симпатичного человека, который, пусть ненадолго, может скрасить твою жизнь. И как же ты себя ведешь?! И откуда эта неприязнь к евреям? Разве ты их знаешь? Разве когда-нибудь ты имела с ними дело? А я многих из них знала и кроме хорошего ничего сказать о них не могу. Эх, мне бы твои годы!»

Прошло некоторое время, и необходимость в этих разговорах отпала, семена посеянные тобой и Валентиной Васильевной, попали в благодатную почву и дали очень бурные всходы. Да что там, я просто без памяти влюбилась в тебя. Была готова на все по первому твоему зову. Ты же наоборот - стал по отношению ко мне сдержан и холоден. Нет, ты продолжал шутить, был остроумен, читал стихи, но адресовалось все это уже не мне, а Валентине Васильевне. Я как бы при этом только присутствовала. Ты даже шел не между нами, как раньше, а со стороны Валентины Васильевны. Понимая причину твоего охлаждения, я все же не решалась завести откровенный разговор. Но при этом мечтала вернуть твое внимание, во что бы то ни

стало, завоевать тебя. И надо сказать, хотя и с большим трудом, мне это удалось. И тогда Валентина Васильевна стала, под разными предлогами, оставлять нас наедине. Но уединения мы найти не могли. Отвратительная погода выгоняла нас из парка. Оставался только последний ряд в полупустом зале кинотеатра. Но разве о таком уединении мы мечтали?! К сожалению, нам с напарницей досталась комната, где кроме нас находились еще две женщины. Ты же, хотя и жил в двухместном номере пригласить меня к себе не мог, так как твой сосед по комнате относился ко мне с нескрываемой антипатией, я бы даже сказала враждебно. Видимо, в самом начале ты рассказал ему о моем антисемитском настрое».

Надя была права. Марк действительно посвятил Рудика Гольдмана в их отношения. В первое же утро, направляясь из парка в столовую, он неожиданно встретил его. Как известно, на чужбине даже мало знакомые люди встречаются, как закадычные друзья. А Марк с Рудиком одно время даже работали вместе. После первых приветствий и дружеских объятий между ними завязался «деловой» разговор». Рудик рассказал, что он в Эссентуках уже третий раз, что приехал два дня назад и, купив курсовку, поселился в комнате старого деревянного дома без всяких удобств еще с тремя приезжими. Марк, в свою очередь, поведал Рудiku о том, как, решив, что гостиница закрыта на ремонт, попал в лапы хитрого армянина, сдавшего ему за солидную плату крохотную веранду, насквозь через многочисленные щели продуваемую ветром. К тому же пришлось уплатить за неделю вперед. Выслушав Марка, Рудик сказал, что дело это поправимое, так как армянин не имел права сдавать жилье, минуя курортное бюро. «Пошли, - в заключение сказал Рудик, - сейчас они у меня попляшут». Дружная парочка оказалась дома, и Рудик, доходчиво объяснив какими неприятностями грозит домовладельцам незаконная сдача жилья, потребовал вернуть взятую у Марка сумму. Поняв, что на сей раз они имеют дело со «стреляным воробьем», хозяева, хотя и нехотя, вернули деньги, выпросив компенсацию за потерянные сутки. Взяв вещи, друзья отправились в гостиницу. Директор, прочитав письмо, тут же выделил им двухместный номер и, созвонившись с курортным бюро, помог Рудiku перебраться из похожей на конуру комнаты в просторные гостиничные апартаменты. В тот же день Марк рассказал Рудiku о своих новых знакомых, о поразившей его и красотой, и юдофобскими выпадами молодой женщине. На что Рудик саркастически заметил, что Марк, конечно же, может встречаться, с кем он хочет, но только очень нежелательно приводить в номер такую особу. Дескать, он, Рудик, антисемитов на дух не переносит.

«Но вот судьба, казалось бы, сжалилась над нами. Десять дней мы с Валентиной Васильевной каждый день отмечались в новой гостинице, расположенной за железной дорогой. И, наконец, получили в ней двухместный номер. Я написала «казалось бы» не случайно. Уже на следующий день после нашего переезда, ты, обедая в столовой, захотел полакомиться бутербродами с красной икрой. В результате с тяжелым отравлением попал в больницу. Весь вечер, напрасно прождав тебя, я рано утром прибежала в твою гости-

ницу. На этот раз Рудик встретил меня весьма доброжелательно и рассказал о том, что произошло. Я бросилась в больницу, но меня, как постороннюю, к тебе не пустили. Из оставшихся нам считанных дней пребывания на курорте три ушли на лечение. После больницы ты не только похудел, но и очень изменился внутренне. Думаю, что ты воспринял случившееся как Божью кару, как предостережение небес, ведь дома, в Москве, тебя ждали жена и дочь, о чем ты мне откровенно рассказал, когда мы в первый раз остались одни.

И хотя мы продолжали встречаться, никакой инициативы ты не проявлял. Я же, как мне того ни хотелось, не решалась пригласить тебя в номер. Боже мой, как я страдала, как плакала по ночам! И вот настал последний вечер. На следующий день рано утром мы уезжали, твой же самолет вылетал намного позже. Мы погуляли в парке, и ты проводил меня до гостиницы. Прощаясь, договорились, что ты приедешь проводить нас к поезду. Не могу описать, с каким тяжелым сердцем я вернулась в свое пристанище. Валентина Васильевна все поняла без слов. Мы приняли душ и уже в девять часов улеглись спать. Но уснуть я не могла, не могла смириться с мыслью, что навсегда теряю тебя. И вдруг раздался стук в дверь. Я замерла в безумном предчувствии, а Валентина Васильевна, вскочила с кровати и, как была в ночной сорочке, бросилась открывать дверь. В полуобморочном состоянии я увидела, как в комнату вошел ты...»

Проводив Надю, Марк долго бродил по парку, снова и снова возвращаясь мыслями к ней, понимая, как нелепо сложились их отношения. Незаметно для себя он оказался около гостиницы, где проживала Надя, и решительно открыл входную дверь.

«Как только ты вошел, моя землячка, наспех одевшись, сослалась на неотложные дела и выскочила из номера. Еще не захлопнув дверь, она успела крикнуть, что будет отсутствовать не менее трех часов.

О тех счастливых часах я писать не буду в надежде, что о них ты хорошо помнишь сам... Напомню только то, что ты сказал мне на прощанье: «Наденька, поверь, я не знаю, что со мной происходит, знаю только, что ты перевернула мою душу».

А теперь расскажу о том, что происходило со мной в дальнейшем. Приехав домой, я поняла, что жить с мужем не могу. Что меня раздражает в нем буквально все. В итоге, забрав трехлетнего сына, я вернулась к родителям и подала на развод. Однако жизненный уклад, царившей в моем когда-то родном доме, теперь коробил меня. Начались ссоры, вызванные взаимным непониманием. Промучившись два года, я предпочла снять комнату. А еще через два года, став администратором гостиницы, получила однокомнатную квартирку. Все свободное время я посвящала сыну. Никого из мужчин к себе не подпускала. А желающих со мной познакомиться было больше, чем достаточно, и этому в немалой степени способствовало место моей работы. Но вот однажды в нашей гостинице остановился мужчина, приехавший в командировку из Москвы. Еврей по национальности (звали его Лев Иосифович Зальцман) он был чем-то очень похож на тебя. Не то чтобы внешностью, скорее голосом, манерой держаться, улыбкой. И все же за две недели, что он у нас жил, я ни разу не согласилась с ним встретиться, хотя Лев

Иосифович меня неоднократно об этом просил. Уезжал он очень огорченный, о чем прямо мне сказал.

Прошло месяца три, и Лев Иосифович приехал опять. По его виду я поняла, что он приехал не только по служебным делам... Уже в первый день, отдав дань бюрократическим формальностям, он сказал, что дождется окончания моей смены у выхода из гостиницы, что никаких возражений на этот счет выслушивать не намерен, так как для него это слишком серьезно. «Ну, что же, ждите», - ответила я без особого энтузиазма.

Не буду писать о том, как Льву Иосифовичу удалось завоевать мое расположение, подчеркиваю, расположение, а не любовь (любить я продолжала тебя), но я согласилась уехать с ним в Москву и выйти за него замуж. И никогда, ни разу за всю нашу долгую совместную жизнь, я не пожалела об этом. Он оказался замечательным человеком. К тому же, как я уже писала, очень напоминал тебя. Через год у нас родился сын, и я назвала его Марком. Думаю, это имя тебе знакомо... А когда в авиационной катастрофе погиб мой бывший муж, Лев Иосифович усыновил старшего сына, и он стал зваться Виктор Львович Зальцман. Впрочем, и без усыновления он относился к нему, как к родному, и сын звал его папой.

Хотя теперь мы жили в одном городе, никаких попыток встретиться с тобой я не предпринимала, боясь причинить незаслуженную боль мужу, и все же судьбе было угодно, чтобы наши судьбы скрестились самым неожиданным образом. В 1989 году, в разгар антисемитской вакханалии распоясавшихся подонков, я от своей знакомой узнала, что в Москву из Иерусалима приехал повидать родных наш бывший соотечественник Марк Зиновьевич Лурье, что она была у него и попросила прислать вызов на всю семью. Какая буря поднялась в моей душе! Наверное, Бог прислал тебя, чтобы именно ты помог и моей семье уехать в Израиль. Мысли об отъезде давно бродили в наших умах, а в последнее время мы постоянно говорили об этом. Словом, я узнала, где ты остановился, и попросила мужа с тобой созвониться и договориться о встрече. Уже через два дня Лев Иосифович побывал у тебя и передал паспортные данные на нашу семью и семью старшего сына, женатого на еврейке. В то время у них уже было двое детей. Могло ли тебе придти в голову, что среди тех, кому Лев Иосифович просил прислать вызов, фигурирую я – женщина, повстречавшаяся тебе в Эссентуках!»

Марк помнил приятного мужчину, побывавшего у него в Москве и попросившего прислать вызов из Израиля. И он оказывается Надин муж. Значит многие годы Надя жила в Москве, а он об этом ничего не знал. Впрочем, причину этого Надя ему объяснила. Но, как видно, немало лет она живет в Израиле, опять же втайне от него. И Марк впился в оставшиеся строчки, надеясь получить ответ и на этот вопрос.

«Марк, тебя, наверное, интересует, сколько лет мы живем в Израиле. Уже через три месяца после того, как Лев Иосифович побывал у тебя, мы получили вызов, и сразу стали собираться. В то время ОВИР никаких препятствий желающим уехать не чинил. Уже в 1990 году наши две семьи приехали в Израиль. И опять я не предприняла никаких попыток увидеть тебя. Но теперь к той причине, о которой я уже писала,

присоединилась другая. Ведь новым репатриантам так нужна помощь старожила и не только советом, но и делом. А я не могла обрушить на твою голову наши заботы, и страшно боялась, что ты, пусть мысленно, можешь в этом случае обвинить меня в корысти. Что же касается нашей жизни в Израиле, то она сложилась довольно благополучно. Мы с мужем все эти годы работали, я, выучив язык и закончив гостиничные курсы, - по специальности; мужу пришлось переквалифицироваться. Сейчас мы оба, как говорили в Союзе, на заслуженном отдыхе. Младший сын прошел гиюр, отслужил в армии. Несколько лет назад он женился, и у них родилась дочь. А вот старший сын пострадал во время теракта в Тель-Авиве. Но, слава Богу, остался жив.

Ты вправе задаться вопросами, невольно возникающими при чтении письма. Почему я написала именно сейчас? Почему не послала письмо по почте, а вложила в твой почтовый ящик? Почему не указала обратный адрес? Отвечу по порядку. В течение всех лет, прожитых нами в Израиле, я была в курсе основных событий твоей жизни. Несколько раз присутствовала на презентации твоих книг. Постоянно читала твои газетные публикации. Слушала интервью с тобой по радио. Узнав, что ты собираешься отпраздновать свое семидесятилетие, я решила нарушить «обет молчания». Кто знает, что ждет нас в дальнейшем, а пока все более или менее благополучно, я решила поделиться с тобой тем, какую удивительную роль ты сыграл в моей жизни, сделать своеобразный подарок к твоему юбилею. Я не послала письмо по почте, чтобы оно, не дай Бог, случайно не пропало, а обратный адрес не указала, потому, что не хочу, а, вернее, боюсь, нашей возможной встречи. Ведь мне так хочется остаться в твоей памяти молодой и красивой...

Вот, пожалуй, и все.

Пусть бережет тебя Господь. Надя».

В конце письма была указана дата, совпадающая с днем и месяцем рождения Марка.

## ГЕННАДИЙ УЩЕРЕНКО

### ПРЕДСКАЗАНИЕ

Верите ли Вы в сны, гороскопы и предсказания судьбы? И хотя я тоже не верю, мне все же хочется рассказать о нескольких случаях, произошедших лично со мною и так или иначе повлиявших на мою жизнь.

Лето в тот год началось уже в мае, а в июне температура воздуха грозила побить все ранее официально зарегистрированные рекорды. Каждое утро, еще даже не открыв глаза, я всем своим существом ощущал волну удушающего зноя, предвещающую наступающий день. Торопиться особо некуда, так как работы в то время у меня не было, но и оставаться в жаркой и душной квартире без кондиционера не имело смысла.

Все резюме давно были разосланы по немногим возможным адресам, и оставалось ждать ответов и приглашений на интервью. Но будущие работодатели почему-то не спешили звонить, а ответы по почте, ко-

торами я по неопытности вначале очень гордился, сохранил стандартный, но вежливый отказ.

Поэтому, наскоро позавтракав, я рано уходил в ближайший парк, где прятался под спасительной тенью деревьев, в тысячный раз предаваясь невеселым размышлениям о превратностях судьбы и о том, как, все-таки, повлиять на сложившуюся ситуацию.

Так как на бывшей родине нам с детства прививали стойкое неверие в чудеса, а также неприятие любого явления, выходящего за рамки диалектического материализма, оставалось уповать только на свои собственные возможности.

А что, собственно, я мог сделать в создавшемся положении? Чтобы получить первую работу, нужно было иметь хотя бы минимальный опыт работы в Америке, а обрести этот опыт не представлялось возможным. Все это очень напоминало порочный круг, разомкнуть который могло только интервью, то есть личное свидание с кем-то, кто мог воочию убедиться в моих профессиональных качествах. Но проклятые капиталисты словно сговорились и не особенно спешили на встречу с таким замечательным инженером как я.

Вот такие невеселые мысли лезли мне в голову, пока я сидел на лавочке в маленьком скверике, полном крикливых и раскрепощенных американских детишек, а так же, судя по разговорам, к которым я невольно прислушивался, их не менее раскрепощенных мамаш.

На коленях у меня лежал раскрытый журнал «Мир» на русском языке, который я случайно нашел во время уборки мирановой комнаты. Кроссворд я давно уже разгадал, а теперь пялился на раскрытую страницу, в десятый раз бессмысленно повторяя про себя только что прочитанную фразу из рубрики «Гороскоп на неделю»: понедельник и вторник прекрасны для деловых свиданий, а в четверг возможны финансовые поступления.

И тут что-то вспыхнуло в моем размягченном жарой мозгу, — ведь сегодня как раз вторник, а значит надо немедленно проверить автоответчик и почту. А что же тогда я делаю здесь, мне ведь немедленно надо быть дома?

Уже в дверях, запутавшись в ключах, я услышал длинный настойчивый звонок, потом сработал автоответчик, и мужской голос, назвавшись Делроем Бен-том, пригласил меня на интервью. От волнения я долго не мог понять название и адрес компании, которые он продиктовал, и раз десять прокручивал запись туда и обратно, пока не записал все правильно.

— Итак, я получил интервью, осталось только удачно его пройти, и получить работу, — размышлял я, сидя в кресле и закуривая очередную сигарету. — А это уже полдела. У меня есть уйма времени, и можно отлично подготовиться.

Оставшееся время я посвятил именно этому, но когда на следующий день настало время ехать в Манхэттен, я понял, что совершенно ничего не помню, не могу составить даже простую фразу на английском. Кое-как одевшись и собравшись в дорогу, я сел в пустой в это время дня вагон метро и поехал навстречу судьбе.

Уверенность окончательно покинула меня, и чтобы хоть как-то успокоиться, я стал рассматривать пассажиров в вагоне. Их было немного: пара китайцев, о чем-то громко беседующих между собой на своем ко-

шачьем языке, здоровенный негр, развалившийся сразу на трех сиденьях и самозабвенно подпевающий рэп-певцу, речитатив которого доносился из огромной магнитолы, прозванной в народе «Биг-мама». Взгляд мой невольно задержался на интеллигентного вида женщине средних лет, сидящей через два от меня ряда сидений и делающей вид, что читает газету. Типичная домашняя хозяйка, спешащая в Манхэттен на встречу с подружкой, чтобы вместе пройтись по магазинам на Пятой авеню и после посидеть где-нибудь в кафе, обсуждая свои семейные проблемы.

А может, где-нибудь в квартире, выходящей окнами на Централ Парк, ее ждет любовник, как две капли воды похожий на ее мужа-адвоката (профессора, учителя, полицейского), но вносящий в ее пресную добропорядочную жизнь элемент риска и остроты ощущений.

На Манхэттен Бридж поезд внезапно затормозил и резко остановился. Наш вагон оказался как раз посредине Ист-Ривер. С высоты пролета впереди отлично был виден Манхэттен с его неповторимыми небоскребами и непрерывным потоком машин на ФДР. Позади остался Бруклин, с его одно- и двухэтажными домами и зелеными островками парков, уже успевший стать каким-то родным и близким.

Не в силах сдвинуться с мертвой точки, поезд дрожал и вибрировал всеми своими металлическими частями и деталями, как будто какая-то неведомая сила удерживала его на месте и не давала двинуться вперед.

«Половина жизни прожита, — вдруг ясно и отчетливо прозвучало в моем мозгу. — Ты жил как умел: не был подл с друзьями, не распахивал локтями окружающих, чтобы получить кусок получше, любил многих женщин, а дети и собаки любили тебя. Страна, в которой ты родился и вырос, отторгла тебя как ненужную в хозяйстве вещь, и ты уехал в поисках лучшей жизни в Америку, оставив в прошлом то немногое, что принадлежало только тебе.

Уже здесь ты потерял семью и теперь остался один в этом огромном и пока еще холодном тебе городе. Сегодня у тебя появился шанс доказать самому себе: не все потеряно, жизнь еще только начинается. Иди и действуй!»

И в эту минуту поезд, наконец, тронулся. Я растерянно огляделся вокруг, — китайская парочка продолжала громко ругаться, афроамериканец сладко посапывал во сне (видимо ему снились родные бабабы), и только женщина смотрела в мою сторону, но почувствовав мой взгляд, поспешно отвернулась.

Когда через несколько минут поезд подошел к нужной мне станции, и мы с ней оказались вдвоем на эскалаторе, я уже перестал сомневаться.

— Все будет хорошо, не волнуйтесь, — на этот раз вслух сказала она на чистом русском языке, — в вашей жизни начинается новый этап. Желаю удачи!

И мгновенно исчезла, затерявшись в толпе пассажиров еще прежде, чем я сумел прийти в себя от удивления.

Надо ли говорить, что интервью в тот день я успешно прошел, а уже через неделю приступил к работе в самом центре Манхэттена. Гороскоп, кстати, оказался двухгодичной давности.

## ПОЕЗДКА ЗА УДАЧЕЙ

Я стояла в здании вокзала на тридцать четвёртой улице и напряжённо смотрела на табло, боясь пропустить информацию, на какую платформу подойдёт мой поезд. Правда, я жила в Нью-Йорке уже полгода, но это было моя первая самостоятельная вылазка за пределы города, и я чертовски волновалась - а если заблужусь? Я ещё в недостаточной степени владела языком аборигенов. Надписи на вывесках я понимала хорошо, но иногда приходилось что-нибудь спросить у прохожих, и тогда начинались проблемы - если даже понимали меня, то я-то уже точно не могла разобрать ничего вразумительного из пространственных ответов. Поэтому я судорожно сжимала в потной ладони адрес, записанный на клочке бумаги, не доверяя ни сумочке, ни карману.

Я ехала в Джостервилл к незнакомой женщине. Меня заставил туда поехать Григорий Лозовский. Григорий написал обо мне очерк, который был опубликован в русскоязычной газете «Вечерний Бруклин». Очерк получил большой резонанс и его автора буквально завалили письмами - жалостливые русские женщины хотели помочь бедняжке, то есть мне, зазывали к себе в гости с целью устройства моей судьбы. Григорий требовал, чтобы я ответила на все приглашения, в противном случае его популярность как публициста пошатнётся и у читателей могут возникнуть сомнения в правдивости статьи. Статья была вроде бы правильной, но я в ней выходила такой несчастной страдальницей, что и на самом деле хотелось меня пожалеть и дать пирожок. Судьбу мне, конечно же, изменить очень хотелось, но я не представляла себе, чем в этом могут помочь пожилые эмигрантки. Дело в том, что я работала с проживанием, ухаживала за очень старой женщиной. В Нью-Йорке никого не знала, ну ни одного человека, и от скуки написала письмо в газету. Такое чудо сотворила первый и последний раз в своей жизни.

Письмо это, как ни странно, не попало в мусорную корзину, а вернулось ко мне телефонным звонком мистера Лозовского. Звонок прогремел в тишине захлавленной и покинутой родственниками квартире как гром небесный, а рокошующий бас Лозовского показался мне голосом архангела Гавриила, протрубившего начало новой эры.

Поэтому я согласилась дать ему интервью, хотя совершенно не понимала интереса к такой затрапезной теме. Подумаешь, ушла от миллионера. Для меня такой поступок совсем не был героическим, как все его воспринимают, а очень естественным. Если вам очень плохо, вы ведь стремитесь изменить ситуацию, не так ли? И неужели вы будете унижаться и терпеть какого-то придурка только потому, что он богат. Богат-то он, а не вы... Позже, конечно, я изменила эту точку зрения, но было уже поздно что-либо исправить. Миллионера, прогуливая старуху по Брайтону, уж точно не подцепишь. Они почему-то не доверяют местным девушкам, а предпочитают выписывать невест из слаборазвитых стран. Я тоже попала на такую удочку, решив из грязи попасть сразу в князи.

Так вот, меня пригласила к себе эта женщина из Джостервилла, и Григорий приказал обязательно к ней поехать. Он сказал, что мне не хватает общения. Что правда, то правда - весь мир для меня уместился в протухшей жиром квартире Ранигман, моей пациентки, которую я могла покидать не более чем на час в день. Таковы были условия, и я получала от агентства неплохие деньги за круглосуточную работу.

Общение с Ранигман было лимитировано из-за моего плохого английского и из-за её прогрессирующего склероза. Часто я переходила на русский, чертыхаясь про себя, но это не действовало на тяжело больную и вздорную старуху.

Свободолюбивый Лозовский не хотел или не мог понять, что это тип такой работы. Он считал, что проклятая буржуйка нещадно меня эксплуатирует и хотел вырвать бедную девочку из лап капитализма. В том письме я написала, что сижу взаперти и от тоски рисую груши и виноград, перед тем как их съесть. Раиса Моисеевна, к которой я сейчас ехала, являлась центральной фигурой русскоязычной общины Джостервилла. Она организовывала концерты артистов из России, которые с удовольствием приезжали - всё-таки Америка! Так вот, добрый Лозовский приказал мне ехать и исследовать возможность на предмет поселения у Раисы Моисеевны. Он сказал, что мне необходимо жить среди своих, веселиться, общаться с интеллигентным народом и развивать свои природные способности. Я хотела возразить, что для этого не обязательно ехать из Нью-Йорка в Джостервилл, но не посмела. Думаю, что решить мои проблемы можно было, выйдя замуж если не за богатого, как предполагалось в начале авантюрного вояжа из Белоруссии в Америку, а хотя бы за работающего парня. Потом мне расхотелось выходить замуж за американца. Я убедилась на собственном опыте, что им трудно понять нежную и загадочную русскую душу. Я уже хотела замуж за русского, а концертов полно и в Нью-Йорке, но я на них не ходила - было некогда, да и жалко было тратить на билеты.

Лозовский пообещал, что пронырливая Раиса Моисеевна обязательно пристроит меня замуж, и я поехала. Когда он мне давал наставления по телефону, я слышала в трубке голос его жены, Люси, которая говорила ему - «Григорий, отстань от девушки. Ты то пенсию получаешь, а ей надо работать, а не по концертам бегать. Она всё делает правильно, не сбивай её с пути истинного, она только потратится на поездку и вернётся ни с чем». Так оно и вышло.

Наконец я загрузилась в поезд, испытывая огромный душевный подъём. В свои почти тридцать лет я чувствовала себя так, как когда-то, когда сбежала из детского сада и воображая себя взрослой, шла домой самостоятельно. Я даже купила в привокзальном буфете китайскую еду и бутылку пепси, ругая себя за расточительность. Дело в том, несмотря на то, что я неплохо зарабатывала, я старалась собрать как можно больше денег, чтобы однажды уйти от Ранигман, снять свою комнату (как я мечтала иметь свою комнату!), и найти восьмичасовую работу с тем, чтобы освободилось время на поиски мужа. И ещё надо было подумать о документах. В случае неудачи с замужеством нужно было иметь достаточно денег на фиктив-

ный брак. Так что я себе никаких вольностей не позволяла - варила по утрам овсяную кашу, в обед - макароны с липкими сосисками из супермаркета за семьдесят девять центов. Фрукты на Брайтоне дешёвые и я их покупала, ведь девушкам, которым почти тридцать, обязательно нужно есть витамины.

Вообразая себя самостоятельной и ощущая холодок в животе от страха перед предстоящим вояжем, я с удовольствием съела китайскую вкуснятину, упакованную в пластиковую коробку и жадно смотрела всю дорогу в окно. Полтора часа пролетело незаметно и я стала волноваться - где же вокзал? Поезд останавливался на маленьких полустаночках, а я всё ожидала увидеть роскошное здание вокзала, с лепниной и колоннами. Ещё через полчаса меня высадил контролёр, сказав, что свою станцию я давно проехала. Я тряслась от ужаса и ничего не понимала. Он сказал что-то в рацию, видно, задержал отправление и вывел меня из вагона. Кругом простирались поля и луга, совсем как в Белоруссии. Контролёр перевёл меня через пути и показал жестом, что я должна стоять здесь, ждать поезда, чтобы поехать в обратном направлении и написал на обратной стороне билета название станции, где мне выходить. Тут моё настроение из приподнятого перешло в паническое - скоро ночь на дворе, а мне искать этот чёртов Джастервилл! Наконец подошёл поезд, и я поехала, не отрываясь от окна и судорожно выискивая названия станций, сверяясь с билетом. Со мной пытался заговорить парень, сидящий напротив, но меня оскорбляли его притязания - парень был явным выходцем из пролетарской семьи. У него не хватало переднего зуба и одет он был в перепачканные краской джинсы. Я даже расстроилась, что ко мне пристаёт такие личности. Значит, я неправильно выгляжу. Я не собиралась знакомиться с рабочим, даже если он американец - меня привлекали творческие личности, но, на худой конец, сошёл бы адвокат или доктор...

Наконец закончились перелески и за окном показались невысокие строения. По заплёванному деревянному настилу я спустилась на площадь, напоминающую автовокзал провинциального российского города - так же было неуютно и грязно. У автобусных знаков толпились люди, в основном это были усталые тётки с мешками из супермаркетов. Девушки держали в руках бумажные пакеты из дорогих магазинов, и конечно, было полно пенсионеров, которые норовят поехать к врачу или на базар в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются с неё.

Кое-как я забралась в переполненный автобус, заплатила предусмотрительно разменянной в прачечной мелочью и даже толкнула одну почтенную даму, чтобы пробиться к окну. По известным причинам рот не открывала - у меня была записана остановка, где нужно выходить. Раиса Моисеевна дала подробные инструкции по телефону. Так я тряслась минут сорок и совсем изнервничалась. Автобус между тем успел проползти мимо каких-то жутких гаражей, мимо приземистых зданий без окон, уже начало смеркаться и моё беспокойство перерастало в тихую панику. Наконец автобус вырвался на тихую улицу, всю усаженную старыми тополями, из-за которых выглядывали уютные особнячки. Вот и моя остановка! Слава Богу, добра-

лась! Я уже знала, что никакой Джастервилл мне даром не нужен вместе с его концертами и неизвестными ещё интеллигентными женихами, мечтающими жениться на доброй девушке.

Раиса Моисеевна встретила меня очень любезно. Это была полная, высокая и очень энергичная женщина лет семидесяти. Она была одета в малиновый халат с золотыми и зелёными драконами. Мне её дом показался роскошным и я восхитилась - живут же люди! Углы огромной гостиной тонули в полумраке - пока я добиралась, уже совсем стемнело. Из дальнего угла, как гордый крейсер, выплывало пианино. Раиса Моисеевна усадила меня в кресло, сама уселась в другое и водрузила на маленький столик босые ноги. Грязные пятки находились прямо против моего лица, но я деликатно молчала. Она предложила мне семечек, я не отказалась, и мы весело стали их лузгать. Беседа завязалась легко, я откровенно отвечала на все вопросы, хозяйка мне рассказывала о себе, о детях и внуках, хвасталась их успехами и показывала фотографии. Мне всё это было безумно интересно, потому что она была вторым русским человеком после Григория, с которым я познакомилась за полгода моего пребывания в Америке. Мне ужасно хотелось чаю, но я стеснялась попросить.

После недолгого инспектирования, Раиса Моисеевна схватилась за телефонную трубку, набрала номер и стала кричать в неё: «Фима, приходи немедленно! Ко мне такая барышня приехала из Нью-Йорка! Да, молодая, да, очень симпатичная, как раз для твоего сына...».

Хозяйка долго что-то выслушивала, по-птичь наклонив голову и искоса на меня взглядывая. Я, опустив глаза, рассматривала свои грязные пальцы ног, торчащие из запыленных босоножек.

— Интеллигентная девочка, талантливая, натюрморты рисует, - продолжала завлекать неведомого мне Фиму, возможного свекра, Раиса Моисеевна.

Брякнув трубкой об аппарат, она в сердцах произнесла: «Козёл. Кому его придурковатый сынок нужен?», но спохватившись, замолкла, снялась с места и приволокла с книжной полки толстенную книгу. «Вот, - гордо сказала она. Воспоминания Эльдара Рязанова. Он у меня жил, оставил весь тираж здесь, просил продать для него. Купи. Всего десять долларов. Безумно интересная книга».

Как овца на заклании, я безропотно полезла в кошелек за деньгами. За полгода проживания в Америке единственным изданием на русском языке, которое я позволила себе купить, была книга Лимонова «Это я, Эдичка». Я твёрдо решила не читать на русском и «брала язык», читая на английском Агату Кристи и Даниэл Стилл. Меня потряс тот факт, что классик комедии, недоступная знаменитость, ведущий Кинопа-норамы, тоже, наверное, ехал в автобусе среди розововолосых американских старух, смотрел в окно на унылые бензозаправки и гаражи, и что, возможно, он сидел в этом же кресле.

Я молча произвела обмен помятой десятидолларовой купюры на красочный том, и тут позвонили в дверь. Пришёл Фима, про которого я уже знала, что он поэт и раздаёт знакомым книжечки своих стихов, которые собственноручно изготавливает на домашнем



компьютере. В то время я компьютер видела только издали, и тот, кто свободно обращался с этой машиной, приравнивался для меня к управляющему центром космических полётов. По этим двум причинам я уже заочно страшно уважала Фиму, - я вообще испытываю странный трепет перед творческими людьми и до сих пор сильно расстраиваюсь, если они оказываются не совсем симпатичными. Маленького роста, с длинными нескладными конечностями, огромным носом и грустными глазами навывате, Фима напоминал кузнечика.

Он совсем не походил на поэта, хотя я не имела представления, как должен выглядеть поэт, но испытала лёгкое разочарование. Поэт поцеловал мне руку и подарил книжечку, предварительно её подписав. Мы не успели завязать интеллектуальную беседу, так как Раиса Моисеевна принесла ещё одну книгу Эльдара Рязанова, но Фима отказывался её покупать, ссылаясь на ремонт и на то, что ему не хватает денег на краску. Хозяйка наставляла, она укоряла гостя: «Фима, не будь мелочным. Ты же культурный человек и должен следить за новинками литературы». На что озлобившийся Фима отвечал: «А я у тебя возьму почитать». Я тихо стала осуждать мелочного Фиму и тяготилась затнувшейся сценой. Так он и ушёл без книги, и о его сыне мы поговорить не успели.

Раиса Моисеевна показала мне фотоальбом и снимки на стенах. Она и вправду была запечатлена на них в обнимку с российскими звёздами эстрады - с Газмановым, Валерием Леонтьевым и даже Филлипом Кирковым, когда он ещё не был женат на Алле Пугачеве. Хозяйка дома выглядела на всех кадрах просто ослепительно, и я ошеломлённо переводила взгляд с изображения холёной блистательной дамы на оригинал - грузный, немного помятый и в сеточке морщин. Раиса Моисеевна снисходительно открыла мне секреты, как хорошо выглядеть. Главное, нужно иметь красивое вечернее платье, которое будет скрывать недостатки фигуры и отвлекать внимание от лица. Перед концертом нужно полежать в темноте, чтобы зрачки глаз расширились, а лицо попеременно умывать то холодной, то горячей водой, тогда кожа станет розовой и свежей. Ну и, конечно, нужно как следует накраситься...

Раиса Моисеевна заманивала в Джостервилл дать хотя бы один концерт всех знаменитостей, приезжающих с гастролью в Нью-Йорк. Она сама распространяла билеты, расклеивала объявления в единственном русском магазине города, выбивала для концерта бесплатное помещение и привозила артистов ночевать к себе, чтобы они не тратились на гостиницу и у них был стимул приехать в это затрапезное место. Она всячески уговаривала меня остаться у неё жить, приводя соблазнительные доводы - я буду общаться с артистами (зачем? меня это не прельщало), она мне доверит продавать билеты перед концертами и я узнаю всех русскоязычных жителей, что облегчит решение матроманиальной задачи (мне расхотелось замуж за сына Фимы). И ещё она мне поможет устроиться на работу в компаньонки к богатой старухе... Я сказала, что подумаю...

Луна уже давно протягивала серебряные шупальца в щели между жалюзи, и дом был погружён в темноту - только настольная лампа освещала узкий круг

предметов, попадавших в её магический круг. Спыхватившись, хозяйка спросила меня, хочу ли я есть. Я горячо уверила её, что нет, показав руками, какую здоровую коробку риса и курицы смолотила по дороге к ней. Она зажгла свечу в высоком железном канделябре и повела меня за собой. Дом был огромен. Взращённая в тесноте хрущёвских клетушек, я немного терялась в этой гулкой пустоте, представляя себя по меньшей мере в замке.

Ситуация казалась ирреальной. Я эмигрировала, чтобы в буквальном смысле начать всё сначала, в новой среде и системе ценностей. Я даже готова была всю оставшуюся жизнь ухаживать за старухами - но за американскими старухами. Я не рассчитывала, что услышу родную речь, и угодила себе одинокую жизнь странницы среди чужих людей. В то же время, где-то в глубине души, я рассчитывала на удачное замужество, в котором удалось бы обрести дом, семью, стабильность и совершить прыжок - из самого дна наверх, ну или хотя бы в середину... А тут я попала туда, от чего сознательно бежала - шекспировские страсти проходного двора настигли меня в Джостервилле, штат Пенсильвания. Сменились лишь декорации, но суть осталась та же. Я не хотела ходить в люриковских кофточках и туфлях на шпильке - розовые кеды Конверс и найденные в Трифте зелёные Левайсы, давно снятые с производства - вот та одежда, в которой мне комфортно. Мне совершенно по барабану русская эстрада, я уже побывала в Нью-Йорке на концертах Пинк Флойда и Эрика Кlapтона...

По тёмной лестнице, покрытой ковром, мы поднимались на второй этаж, держась за перила. Раиса Моисеевна выдала мне ещё порцию информации - дом этот купил её сын, который удивительно разбогател здесь, открыв несколько авторемонтных мастерских. В доме живёт друг сына, который пытается выцарапать из Москвы свою семью и работает, как одержимый... Она посветила свечой в приоткрытую дверь спальни, и я увидела разобранную постель, какие-то вещи на ней, чёрное махровое полотенце, брошенное на спинку стула...

Следующая дверь вела в мою спальню - Раиса Моисеевна посветила мне, и я нашла выключатель. Она пожелала мне спокойной ночи и предупредила, что душ не работает - она вывернула краны в целях экономии, так как за использование воды выходили большие счета. Заметив моё замешательство, она успокоила - завтра утром тебя отвезёт в бассейн Игорь, мой жилец, там и примешь душ. У него завтра выходной, и вы познакомитесь...

Мне ещё не приходилось видеть такой большой и симпатичной ванной комнаты. У Ранигман она была крошечной, и везде у неё, как и в совковой коммуналке, висели какие-то тапки и вечные старушечьи розовые подштанники. Я осматривала пластиковую занавеску в рыбаках, стеклянную полку с красивыми флакончиками на ней. Особенно меня поразили акварельки в рамках. Впервые видела, чтобы в туалете висели картины. Ладно там плакат или календарик на двери, но картины!

Я твёрдо решила, что остаюсь. Вымыла под умывальником ноги и лицо, и пошла исследовать свою спальню. Спальня мне понравилась. Как и всё в этом

доме, она была большая.. В ней было много кресел, тумбочек, зеркал и ламп. Пол покрывал светлый ковёр. Я уже прикидывала, где буду писать акварели и попыталась рассмотреть вид из окна, но ничего не увидела. За окном расстилалась чернильная вязкая темнота, а из бегущих тревожно фиолетовых туч выглядывал странно блестящий, пугающий диск луны...

Ночью мне захотелось в туалет. С ужасом я вспомнила, что сливной бачок не работает... Меня прошибло потом от ужаса и я окончательно проснулась. Никогда я ещё не чувствовала себя такой униженной, это простая физиологическая надобность из-за невозможности её осуществления деморализовала меня как личность. Загнанно дыша, я крутилась в ванной, не находя выхода. Наконец вспомнила, что внизу, прямо у входной двери, есть ещё один туалет. На ощупь, в полной темноте, я стала спускаться по лестнице, молясь про себя, чтобы чем-нибудь не загреметь. В комнате соседа было тихо, а из-за следующей двери разносился богатырский храп хозяйки дома. Я вдруг вспомнила, что она ходила босиком и какие грязные у неё были пятки, и подумала, мыла ли она ноги перед сном или нет. К счастью, никто не проснулся - я себя чувствовала преступницей, и облегчённо вздохнула, лишь благополучно вернувшись в свою комнату.

Утро разбудило меня звонким светом и тишиной. Я блаженно лежала в широкой постели, почти забыв о ночном ужасе и думала о том, как хорошо не работать и жить в большом и светлом доме, наслаждаясь покоем и достатком. Внезапно раздавшийся вой согнал меня с кровати. От громкого звука, заполнившего всё пространство, закладывало в ушах, жалобно дребезжали стёкла в окнах. Я в панике металась по комнате, мне казалось, что это стая бомбардировщиков кружит над домом и сейчас посыпятся бомбы, что разверзлась бездна и это бушует пламя и скворчат сковородки, на которых черти будут жарить грешников. Я бросилась к окну, ожидая увидеть бегущих в панике людей с подушками и любимыми котами в руках, но увидела лишь пышную зелень и крышу соседнего дома, замерших в ленивой дремоте начинающегося жаркого летнего дня...

Я молниеносно влезла в помявшиеся в сумке шёлковые шорты цвета хаки и такую же рубашку с коротким рукавом, схватила на всякий случай сумочку с деньгами и документами и сломя голову ринулась на первый этаж, чтобы при необходимости срочно эвакуироваться и застала на первом этаже вполне мирную картину. Источником воя оказался громоздкий пылесос, который с отвращением на лице возил по ковру молодой мужик, таинственный Игорь, которого я очень боялась встретить ночью во время своего преступления. По выражению его лица было понятно, что Игорь находится на грани нервного срыва, что он ненавидит и этот дом и свою жизнь, и всю накопившуюся ненависть вымещал на несчастном невинном пылесосе.

Завтракали мы в огромной светлой кухне, за длинным деревянным столом. Открытая дверь вела в запущенный сад, из которого приплелась ужасающе старая овчарка, с проплешинами на спине и слезящимися глазами. Она обнюхала меня и забралась под стол. Я рассматривала расписные разделочные доски и мат-

рёшки, которыми была украшена кухня. Раиса Моисеевна сварила сосиски, но я их не могла есть - сосиски, очевидно, лежали в морозилке года два, став ментально твёрдыми. Я незаметно бросила их под стол для собаки. Уверяя хозяйку, что по утрам не ем, я жадно глотала горячий чай из большой кружки. Хлеба не было, и нам с Игорем было наказано его купить по дороге из бассейна.

Раиса Моисеевна была очень ласкова, она умильно на меня поглядывала и попросила вымыть на кухне и в коридоре пол - у неё болит спина и ей трудно наклоняться, а эти все американские швабры она не признаёт. Ещё она махнула рукой в сторону сада, пожаловалась, что совсем его запустила, а раньше высаживала там огурцы и помидоры. И вообще, сад надо привести в порядок.

Я безропотно вымыла пол старинным дедовским методом, то есть на карачках, отработывая гостеприимство хозяйки, и тут до меня дошло, почему она так хочет, чтобы я поселилась у неё. К слову сказать, копать в земле меня никогда не тянуло, и я всегда была плохая помощница маме на даче, предпочитая валяться на диване с книжкой или писать акварелью букеты полевых цветов. Если меня замучивала совесть и я уделяла часа два из своего блаженного ничегонеделания для усмирения сорняков, то мне была обеспечена жестокая мигрень на весь оставшийся день, чёрная меланхолия и желание поселиться в тундре.

Я вдруг заскучала по своей полубезумной Ранигман, с которой я бесстрашно переругивалась, не позволяя ей эксплуатировать меня более, чем положено условиями контракта. Мне захотелось в свою маленькую комнату, в котором я могла сидеть на полу часами, медитируя и сочиняя рассказы, в то время как моя пациентка или дремлет в кресле, или молится таинственному Богу, а я могу пить чай сколько влезет и есть пирожки с капустой из русского магазина...

Мы съездили с Игорем в бассейн, в душе я вымыла волосы, а он постирал носки и вёз их в машине, уложенными в пластиковый пакет. Он был привлекательным парнем, и я предположила, что, если я останусь жить в этом доме, возможно, со временем мы бы стали тайно бегать друг к другу в спальню по ночам, и он бы мучался виной перед любимой женой, которую всё никак не мог вырвать из Москвы - для этого ему нужно было легализоваться в Америке, а это долгая песня. Не все семьи выдерживают такое испытание. Я видела, что симпатична ему и конечно, поселившись в доме, взяла бы на себя ненавистную ему процедуру борьбы с пылью... Но в то же время он знал, что меня ожидает здесь, не стеснялся сказать, и мучался, жалея меня, если я совершу ошибку и останусь. Я нарушила неловкое молчание в машине, сказав: «Я всё понимаю, Игорь, и вижу... Желаю вам поскорее вырваться отсюда...». Он повернул голову ко мне, впервые за всё это время улыбнулся и произнёс: «Я рад за тебя».

Раиса Моисеевна ждала нас на крыльце, она пылливо спрашивала, понравился ли мне бассейн. Я совершенно искренне ответила: «Там было великолепно! И поставила её в известность, что немедленно уезжаю - вечером мне надо заступить на дежурство к Ранигман. Я суетливо собирала сумку (на работу мне надо было выходить послезавтра) и голосом, не терпящим воз-

ражения, попросила Игоря отвезти меня на вокзал. Раиса Моисеевна повторила приглашение, и я обещала подумать.

Она смотрела на меня с грустью, понимая, что я никогда, конечно, не приеду к ней. В этот момент она очень походила на свою овчарку - у неё так же слезились глаза, и при ярком безжалостном свете стало явно видно, как она не молода...

Мы расцеловались, и она задумчиво произнесла: «Да, конечно, я должна была подарить тебе ту книгу...» Я не ответила и побежала к машине. На вокзале Игорь купил нам по чашке кофе с бубликом, я думала, что уже потеряю сознание от голода. На дорожку я ещё купила себе в буфете бутылку пепси и коробку с китайской едой. И вот наконец, я уезжала, оставляя Игоря на перроне городка, в котором я так наивно надеялась обрести удачу...

Самое смешное, что я обрадовалась своей сумасшедшей Ранигман. Мне показалось, будто я вернулась домой. Григорий Лозовский ещё долго звонил мне, требуя отчёта о поездке, и звонила Раиса Моисеевна. Я их благодарила, называла себя дурой, но отказ переехать в Джостервилл мотивировала тем, что безумно люблю Нью-Йорк и никогда не смогу уехать из этого города. Кстати, это - чистая правда...

Книгу ту я так и не прочла - я её забыла в поезде...

*Октябрь 2003*

## ОЛЬГА ГРИНВУД

### САТИР

Троекратный звонок. Явился. Через зеленое поле ковра, шлеп-шлеп босиком по паркету, кто там за тяжелой деревянной дверью? Стоит в позе Гамлета, кокетливо потупив глазки, эдакий скромник, на голове беретик, за спиной рюкзачок, спасибо, что не ранец, руки спрятал за спиной. Вдруг театральным жестом протягивает в вытянутой руке букетик незабудок, и расстояние ведь рассчитал, подлец, цветы прямо у меня перед грудью. Нашел отмычку к сердцу, покорила с наскака, куда уж мне поперек матушки-природы. Мост поднят, замок пал, входите победители, вот вам ключи от города. Это от Лены, говорит он уже по эту сторону рва. Песня без слов в моей душе обрывается, и я клянусь себя за доверчивость. Конечно, это его сестра обо мне подумала, разве придет ему в голову мысль подарить цветочек. В последний раз пришел, не дал мне даже дверь как следует открыть, прижал ее с той стороны и говорит в щелочку тихо так: привет, ничего, что я с бабами? Какие еще бабы, говорю, где, лицо мое твердеет. Да вот, принес две ромовые бабы в пакетике. А теперь, пожалуйста, забудьте. От Лены. Все время морочит меня прямо с порога, никогда не зайдет просто, по-человечески, всегда со своими лешачьими шуточками, с приношениями-перевертышами из дикого леса. Одарит камнем самоцветным - глядь, а это высохший листик с куста, заявится принцем в россыпи золотых огней - и вот уже сидит и занудствует надутым лягушонком.

Снял свой берет, лобик узкий, тяжелый, над ним торчит непослушный, звериный волос. Широкие

скулы, грубые, тяжелые черты лица, вздернутый нос - не человек, не зверь, серединка наполовинку, только рожек не хватает. Мощный торс, сильные руки, нежность фавна - обнимет сзади бережно и крепко, оплетет, околдует и шепчет жарко, и целует в виски, пойдем, нимфа, пойдем, это же все так просто, где кровать, мама не услышит, пойдем. Лица не видно, кто там за спиной, что за сила тянет в дебри? Прекрати, говорю, хочешь чаю еще? Ну ладно, отпускает он меня, давай чаю, слушай, а у тебя покрепче нет ничего? Начинается, думаю я. Нет, нету, все в родительской комнате, понял, чай вот пей, сыра хочешь? А он уже хихикает, мнимый соблазнитель, опять подsunул мне подарок-обманку. Давай, говорит, поиграем в девять с половиной недель, помнишь, как он ее на кухне медом обмазывал, мы же на кухне, есть у тебя мед? Меда нет, сахар вон только, если хочешь. Берет ложку сахара и сыплет мне на руку тонкую белую дорожку от сгиба локтя к запястью. Ну давай, говорю, лижи. Ведет кончиком языка вдоль вены, исподлобья поглядывая на меня глубоко посаженными глазами. Мне тепло и немного щекотно. Вдруг он останавливается, судорожно сглатывает и говорит: не могу больше, сладко. Быстро отхлебывает чай, я смахиваю в раковину остатки сахара, и мы смеемся, и нам легко.

В душе твоей нет якорей, ты живешь одним днем, одним мгновением, и я боюсь заглядывать в твои глубины, в черный бездонный колодец, в непроходимую чашу твоего леса, откуда мне не вернуться подобрूपоздорову. Греческий, латынь - что это, зов предков, неудачная попытка найти свой язык, родной, как эти твои родинки на теле? Нет, ты ищешь не там, ты сам это понял, все равно тебя отчислят из-за запоев. Ты научил меня играть словами, научил любить Sex Pistols и песню My hands, научил вставать на краю пропасти, так чтобы закружилась голова, но я не пойду с тобой в лес, отпусти мою руку. Ты обречен бродить среди нас непонятым - смешной, загадочный, отвратительно-притягательный, чужой среди чужих.

Лукавство в твоих карих глазах тает, уступая место вселенской пустоте. Алло, гараж, посмотри, солнце встает! Еще нет и пяти утра, но белесое питерское небо уже засияло, зазолотилось, пронизав кухню светом нового дня. Твой взгляд на мгновение вспыхивает искорками и вдруг подозрительно теплеет. Глядя на меня сквозь полупущенные ресницы, ты нежно берешь мою руку в свои ладони и говоришь: дорогая, вот и наш первый рассвет вдвоем, и тут же, не выдержав, первый разражаешься смехом, донельзя довольный своей шуткой. Ну что мне делать с тобой?

### СКАЗОЧКА

Снова я не рассчитала линии, а время уже поджимало. Слякоть и теснота на узком тротуаре мешали идти быстрее - как в занудном сне, сменяли друг друга похожие улицы, спины прохожих, и не было тому конца. Продвижение вперед затрудняли еще и два пакета, цеплявшиеся за всех и вся, а оконечившие пальцы никак не могли нащупать в кармане бумажку с заветным адресом. Когда же она, наконец, была извлечена на свет, оказалось, что нужную линию я уже проскочила, и пришлось с проклятиями возвращаться назад.

Опоздав к назначенному часу минут на пятнадцать, я остановилась перед обитой черным дерматином дверью. Мои каракули гласили: два кор., один дл. Я протянула руку к звонку, но тут дверь внезапно открылась сама. В проеме стояла невысокая женщина.

– Здравствуйте, – от неожиданности я растерялась. – Я к Серафиме Львовне...

– Здравствуйте, это я. А Вы Алена? Заходите...

Я вошла в темноватую прихожую и встала грязными ботами на коврик.

– А я как раз собиралась позвонить... Извините, что опоздала.

– Ничего страшного. Раздевайтесь, я Вас чаем угощу.

– Да я на минутку – за книгой только...

– Вы спешите?

– В общем-то, нет, но...

– Ну вот и хорошо. Раздевайтесь, сейчас я Вам тапочки дам.

Мы посушались у вешалки, я освободилась от своих вериг и смогла наконец-то разглядеть хозяйку. В полумраке она показалась мне чуть ли не старушкой, но теперь, в освещенной кухне, куда мы прошли, я поняла, что ей слегка за шестьдесят. Кожа ее была довольно смуглой, но лицо выглядело бледным: без прозелени или голубизны, типичной для этих мест, а скорее с пепельным оттенком, возможно, после болезни. Довольно длинный нос сочетался с неуловимо восточными чертами. Маленький рост ее усугубляла сутулость, вдобавок, левое плечо немного выдавалось вперед, будто сведенное болезненной судорогой. Через него был наискось повязан серый пуховый платок. Волосы хозяйки, все еще темные, седина просолила прядями, а пальцы были слегка скрючены артритом. В кухне стоял застарелый душок сигаретного дыма, и я невольно стала искать взглядом пепельницу.словно уловив мои мысли, Серафима Львовна достала ее со шкафа и спросила:

– Ничего, если я буду курить? Вы переносите дым?

– Конечно, курите. А можно к Вам присоединиться?

Все было в порядке вещей. Серафима, как я стала называть ее про себя, отличалась от бывших моих преподавателей лишь нездешним обликом, да еще тем, что никогда и ничего не преподавала – насколько мне было известно. В остальном же антураж был привычен и предсказуем, вплоть до дешевых отечественных сигарет, которые она курила.

Я предложила ей свои «Мальборо лайтс».

Конечно же, она отказалась. В конце концов, мы были едва знакомы.

Держа сигарету слегка на отлете, она налила воды в чайник и поставила его на огонь. Потом правой рукой довольно ловко принялась доставать из шкафчика чайные причиндалы, тут же выставляя их на стол. В тесноватой кухне места хватало на полтора человека, но зато до всего было рукой подать – в буквальном смысле. Мы светски обсуждали погоду, меня так и подмывало спросить, из каких краев она родом, но я не решалась. Напоследок Серафима сняла с полки какие-то мешочки и коробочки и расставила их рядом с керамическим заварочным чайником. Тут она впервые сдержанно улыбнулась и сказала:

– Извините, кофе у меня закончился – как раз сегодня утром. Вы ведь пьете чай?

– Конечно, – ответила я. – В такую погоду чай – самое то.

Тут из-за ее плеча повалил пар, она обернулась к плите и предложила:

– Пока я заварю чай, Вы, может быть, возьмете книгу в гостиную? Она лежит на столе. Это сразу напротив кухни, дверь открыта.

Чуть не растворяясь в воздухе от деликатности, я направилась в гостиную.

Больное небо за окном сочилось скудным светом, и в комнате царил полумрак. Вдоль стен громоздились темные шкафы, набитые книгами, сувенирами, всякой всячиной, у окна стоял старый письменный стол карельской березы, а пространство над ветхим диваном почти сплошь покрывали картины и фотографии в рамках, и в самом центре этой ассамблеи висел портрет молодой женщины. Я сразу поняла, что это Серафима лет сорок назад, – нос на картине был явно ее. Одно из двух: либо художник ей польстил, либо в те годы она и правда была колдовски притягательна: глущие волосы, янтарная кожа, озорные искорки в глазах.

Посреди стола в гордом одиночестве лежала тоненькая книжка в защитной обложке. На всякий случай я осторожно приоткрыла титульный лист и прочла: Д.С. Кранков. Оккультные ритуалы в идеологии нацизма. Монография.

По пути обратно меня встретил запах травяного отвара. На кухне я не удержалась:

– Извините, Серафима Львовна, я случайно заметила – у Вас там портрет над диваном. Красивая такая девушка. Это Вы?

– Между фотографиями? Да, это когда я была помоложе. Спасибо за комплимент. Это один знакомый нарисовал в шестидесятые – был влюблен и приукрасил, конечно. Я ведь и тогда маленькая была, да еще худющая. Хотя то время, пожалуй, самое счастливое... Вы знаете, мне повезло с компанией – какие славные были ребята! Много физиков, математиков; гуманитарии тоже встречались. Совершенно неутомимые: все время что-то рисовали, сочиняли, пели... Да, Алена, – вздохнула она, – жить тогда было гораздо интересней. А Дема, то есть Дементий Семенович, учился на философском, очень был талантлив, много писал, печатался. Бедный мальчик...

Она опять закурила, присев на краешек углового дивана. Я скосила глаза на книгу. Вдруг в памяти всплыло, пробившись сквозь наслоения каждодневной шелухи: оригинальная работа... редкое издание... близко знакомы... очень переживала... Я старалась припомнить еще что-то, но не смогла.

Очнувшись и снова переведя взгляд на замолчавшую хозяйку, я едва подавила возглас изумления: на спинке «уголка», совсем рядом с плечом Серафимы, стояла на задних лапках мелкая мышь. Но поразило меня не это – мышей хватало и в моей квартире, хотя такой позы я еще не видала, – а то, что мышь, похоже, пребывала в состоянии нервного возбуждения, то, припадая на передние лапы, то опять выпрямляясь. Я уже открыла было рот, чтобы осторожно предупредить хозяйку, как мышь внезапно запищала. Мы обе

вздрогнули, Серафима быстро обернулась, но не завопила, а только как-то странно махнула рукой на непрошеную гостью: иди, мол, отсюда. Но мышшь не унималась, и сколько-то секунд длилась эта пантомима, пока серая тень, наконец, не шмыгнула с дивана прочь.

— Простите, Алена, ради Бога! Совершенно с ними замучилась! Тараканов еле отвадила, а с мышами — никакого сладу.

— Э-э... у меня они тоже есть... в квартире... А Ваши, похоже, дрессированные?

— Н-да, в некотором роде... В наследство от бабки достались... Да, мы же про чай совсем забыли! Я Вас, наверно, голодом уже уморила!

Серафима торопливо поднялась с дивана и принялась разливать пахучую заварку. Против обыкновения, она не стала разбавлять ее водой, но чай в итоге получился не черный, а темно-янтарный, очень ароматный. Вкус у него был чудесный: от удовольствия я даже прикрыла глаза и словно бы перенеслась в летний лес с запахами нагретой коры, брусники, зверобоя — чего там только не было!

— Чай у Вас просто волшебный! Я даже про зиму забывала!

— Рада, что Вам понравилось. Он еще и целебный к тому же. А Вы, значит, аспирантка?

— Да, у Светланы Захаровны. Но я начала недавно: пока только план составлен, да вот материалы собираю. Спасибо Вам за монографию, я сделаю ксерокопию и верну. Говорят, работа очень интересная.

— Да, Дема был очень талантлив, — повторила она. — Жаль, что все так случилось. Берите печенье. Очень вкусное, я себе позволяю иногда. А так — все время на диете, соли почти не употребляю, совершенно пресная жизнь. Вот чаем разве только и спасаюсь.

Печенье действительно оказалось на славу, и, вставая после угощения из-за стола, я ощущала чуть ли не блаженство, а слякотная улица внушала уже не такое отвращение, как прежде.

Пока я ковырялась в прихожей с пакетами, ботами и одеждой, Серафима стояла рядом, дымя сигаретой.

— Алена, — вдруг сказала она, — Вы меня извините за то, что я вмешиваюсь не в свое дело, но хочу Вам сказать: Вас ждут хорошие вести, скоро все переменится.

— Простите?..

— То, что Вас мучит сейчас, скоро отпустит, можете мне поверить.

— Спасибо, я надеюсь. Я Вам на днях позвоню.

Спускаясь по лестнице, я перебирала в голове впечатления от этого странноватого визита. Однако, едва захлопнулась за мной входная дверь, как мысли автоматически перескочили на другое, и я подумала: надо бы еще успеть у метро купить сока, воды, фруктов каких-нибудь. Времени до приемного часа вполне достаточно, идти, правда, далеко, но ничего, успею. И тут я внезапно вспомнила конец рассказа. Бедный Дементий Семенович: чудом не угодил на Пряжку, сидел на таблетках, шел в Публичку, сбила машина, всё.

Сколько их сменилось за эти четыре дня? Кажется, шесть — я уже сбилась со счета, и четверо из них — с кожей, черной как ночь. Первую звали Натэна — когда я с сумкой вошла в палату, она, одетая в белоснежный халат, восседала перед телевизором. Весь вечер экран изливался сериалами и телевизионными играми, не умолкая даже во время нескончаемых визитов ее многочисленных родственников и друзей. Я выходила и входила, и всякий раз как минимум три лица поворачивались ко мне с приветствием. По-видимому, все это были разные люди. Одно я знаю наверняка: мужчина среди них был только один — он пришел в числе первых и имел на голове белую вязаную шапочку в обликпу. Когда все наконец ушли и мы остались одни, Натэна пожаловалась мне на то, что ей разрезали брюшную полость — несколько дней после операции было мучительно и больно. На следующий день меня привозят с операции около пяти пополудни, и ее в палате уже нет — попрощаться с ней я так и не успела.

*Здравствуй, сестра!*

*Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе...*

И потянулась череда моих соседок... Кого-то привозили всего на одну ночь, сразу задерживая занавеску, разделявшую наши кровати, и я не всегда даже видела их лица. Филомена появилась на третий день под вечер, и темное лицо ее контрастировало со светло-серым свитером, пузырившимся седьмым месяцем. У нее, похоже, открылась шейка матки, а ей нужно было домой, к трехлетнему сыну. Ее уложили на кровать и прикатали аппарат — внутритрубноное радио, передававшее стук сердца еще не родившегося ее малыша. Сестра объясняла: «Вы слышите, Ваше сердце бьется так: пух-пух, пух-пух, а его: пух, пух, пух...» С полчаса прислушиваемся мы обе к биению крошечного сердечка, тихо, но все же слышного нам сквозь помехи. Эти позывные действуют успокаивающе, и когда аппарат наконец отключают, в палате становится как-то неуютно тихо. У Филомены, к счастью, все в порядке и вскоре она уходит, попрощавшись со мной серьезно, без тени улыбки.

*Кто-то ночью не спал,*

*Кто-то утром не встал...*

И еще Сесиль — белокожая, русоволосая и худощавая. Мило улыбаясь, она сообщает мне, что ей предстоит обследование на лейкемию. Но почему в гинекологии, тупо спрашиваю я. Она не знает. В полном замешательстве я желаю ей удачи. Когда делишь с кем-то больничную палату, поневоле становишься причастен к жизни своего соседа — занавеска препятствует взгляду, но не слуху, — и когда к Сесиль приходит больничный психолог, я узнаю о том, что ей тридцать пять, муж ее остался дома с тремя детьми — мальчиками четырех и двух лет и их 15-месячной сестренкой, что все они, к тому же, сейчас болеют и муж справляется едва, и что работает она никем иным, как психологом. Ее собеседница, живущая в Намюре, ездит каждый день на работу в Брюссель, а Сесиль — наоборот, и они со смехом удивляются такому раскладу. Моя новая соседка с утра еще ничего не ела, а кровь у

нее все не берут, и к каждой входящей медсестре она шуточно взывает: да уколите же меня скорее! Сестры смеются вместе с ней и отпускают обычные медицинские шуточки.

Последняя моя соседка – пожилая женщина родом из Руанды, мать восьмерых детей, не говорящая ни слова на здешних языках. Ее привозят дочь и племянница и выступают переводчицами весь вечер, но после их ухода мы с ней по понятным причинам не общаемся ни словом, и даже имя ее мне не суждено узнать. Демонстрируя характерную суровость и терпение, она не улыбается и не стремится к контакту, а оставшиеся до операции полсоток молча лежит на своей кровати. Лишь перед тем, как за ней приходят, слышу я за занавеской очень тихое бормотанье на незнакомом языке. Что это – молитва? Возможно...

Синяя обивка кресел и больничных табуреток, нежная голубизна мебели, моих тапочек и нижней половины стен. Другая половина – светло-желтая, под стать занавеске, пижаме и широкой вязаной шали с кистями – папиному подарку. Укрывшись ею для тепла, лежу на кровати, и взгляд мой бездумно скользит с голубого на желтое мимоходом через синее и опять к желтой стене. На фоне ее – десять роз сливочного цвета и шесть темно-пурпурных, цвета венозной крови, подернутых траурным бархатом. Полуоткрытые бутоны – тугие и свежие, плотная плотская красота, победительная даже в хрупкости своей и недолговечности. Цветы недвижно застыли в вазе, словно на картине, создавая иллюзию неизменности, приковывая к себе мой зачарованный взор. Вот я и поймала *это* – островок остановившегося времени, сиюминутную вечность, мираж в песках привычных представлений.

С больничной каталки мир видится в ином, необычном ракурсе. Непривычное поле зрения, и голова при этом почти неподвижна – как будто бы все, что видишь, снято на камеру, зафиксированную в одном положении. Я вижу лишь санитаря, тянущего изножье каталки, верхнюю часть стен и много потолка – интересное зрелище, ведь когда еще доведется так поездить? Но вот, наконец, санитары привозят меня в «предбанник» операционной и уходят восвояси. Мне любопытно, и я, как могу, осматриваюсь вокруг. Прямо передо мной дверь с изображением «плечиков», и из нее все выходят и выходят бесконечно мужчины и женщины в зеленой форме: брюки и блуза с короткими рукавами. В саму же комнату, однако, никто не заходит. Я задаюсь вопросом: как же они туда попадают? На лифте снизу? Найти ответ я так и не успеваю, потому что оказываюсь в операционном зале. Обе мои руки ассистенты сразу же тянут в разные стороны: правую – под капельницу, левую – мереть давление, и все лица вокруг меня расцветают добрыми улыбками. Увы, врач застряла в «пробке» у самой больницы и немного запаздывает, поэтому все мы терпеливо ждем ее появления. Внезапно до моего сознания доходят звуки, издаваемые неким аппаратом – словно бы смешение двух барабанных ритмов. Затем один из них умолкает, и по залу разносится теперь лишь прерывистый стук. Неужели это мое сердце? Я убеждаюсь в этом, намеренно замедляя его биение, как граф Калиostro в незабвенном фильме. Странное чувство: как минимум восемь человек стоят вокруг меня полукругом, слушают, как публично стучит мое сердце, и

ободряюще улыбаются – я ощущаю себя главным действующим лицом некой важной церемонии, которая вот-вот начнется с появлением верховной жрицы. Вдруг ни с того ни с сего вспоминается самое начало монти-пайтоновского «Смысла жизни», и меня так и подмывает спросить: ну где же эта машина, которая будет издавать звук «пинь»? Но вот появляется моя врач, желает мне доброго утра, одаряет улыбкой и ласково гладит по щеке. Маска на лицо, я старательно дышу, но сознание меня не покидает. Меня предупреждают: сейчас Вы ощутите легкое жжение в вене, мадам. Так оно и есть. Сознание уплывает в черноту даль...

Я просыпаюсь оттого, что мне как будто кто-то резко сжимает руку выше локтя. Что это, кто это, вздрагиваю я и понимаю, что это всего-навсего аппарат, автоматически измеряющий давление. Сознание еще не совсем ко мне вернулось, я проваливаюсь в дрему и опять выплываю из нее, смешивая реальность и сон, а черная обмотка упорно продолжает сдавливать мне предплечье каждые сколько-то минут. Периодически меня бьет крупная дрожь, и сестра щедро укрывает меня тремя одеялами подряд.

Слева на стене часы: четверть четвертого, и буквально через минуту – начало пятого. На стене напротив некий художник изобразил вихрь разноцветных листьев, но это я понимаю не сразу, принимая их поочередно за бабочек, за птиц, потом еще не известно за кого. Не поднимая головы, я оглядываю ряды каталок с недвижными товарищами и товарками по несчастью и справа от себя слышу вдруг мерный мужской голос, говорящий: мадам, Вы в больнице, у Вас сломано бедро, родственникам мы позвоним. И опять все сначала: мадам, у Вас сломано бедро... В разных вариациях я прослушиваю этот текст раз десять подряд, и наконец, не выдержав, с трудом поворачиваю голову: на соседней каталке сухонький морщинистый профиль и седые кудри. Но вот передо мной вдруг возникает врач: она улыбается, треплет меня по щеке и говорит, что операция была сложной, но теперь все хорошо. Я спрашиваю ее: а как Ваше имя? Фамилию я помню, но в этот момент мне почему-то страстно хочется узнать, как ее зовут. Элизабет, отвечает она.

– Что Вы хотите на ужин, мадам: чай или кофе?..

– Та-ак, как тут наша капельница? Снотворное Вам нельзя, я к Вам еще ночью зайду не раз.

– Зачем Вы сняли лечебные чулки? Это необходимо для кровообращения. Посмотрите, какая романтика: белые, плотные – восемнадцатый век да и только! Больше так не делайте!

– Доброе утро, мадам, сейчас я помогу Вам вымыться. У Вас есть рукавичка? Ничего, я принесу.

И ласковые заботливые руки Анн-Каролин – молоденькой сестры, сдобной, как булочка, со спокойными темными глазами и почти черными волнистыми волосами, которые она тщательно стягивает в узел, призывая к покорности. Она моет меня в постели, тщательно смывает с кожи засохшую кровь и синие пометки врача, журча водой и успокоительными словами, и я доверяюсь ей, как ребенок матери.

А вечерами мобильник изредка прорывается звонками, я подхожу к окну, чтобы поймать сеть, и слушаю родные голоса, вглядываясь в черноту плачущей ночи, подсвеченную редкими освещенными окнами.



## БАНЯ

В нашей прошлой (до эмиграции) жизни, которую теперь зовут "совковой", в ходу было словечко "достать". Потомок не полезет в толковый словарь, встретив его в тексте. Смысл этого слова будет ему вполне очевиден: потянуться и взять нечто, что не под рукой, что повыше или подальше, что высокий сделать может, а низенький - нет. Жаль! Кто донесет до потомка всю широту, я бы сказал, необъятность этого понятия - "достать", впитавшего самую суть повседневного людского бытия той эпохи? Все, кроме стихов и песен, все, что можно потрогать руками, без чего здесь обойтись нельзя, а там было, хоть с трудом, но можно, подпадало под понятие "достать". Пожалуй, правильнее сказать, что сфера материальных потребностей человека была рассечена на два неравных сектора: "купить" и "достать". Питание, одежда, мебель, жилье - тысячи и тысячи нужных для жизни предметов находились в одном из этих секторов и надо было знать - в каком именно. Например, обувь - ее, безусловно, можно было купить. Но если нужна была хорошая импортная обувь, ее можно было только достать. Нет, рост тут неприменим, тут и карапуз мог обойти рослого, если карапуз был со связями. Даже если "саламандру" из сектора "достать" выбрасывали в сектор "купить", то все равно, отстояв очередь в полный рабочий день, уже не поворачивался язык сказать, что купил, а горделиво скажешь: "достал".

Но, что интересно в той эпохе - предметы непредсказуемо дрейфовали из одной полусферы в другую. Очевидцы еще помнят, как самые простые и самые необходимые предметы неожиданно-негаданно исчезали из зоны "купить", чтобы чуть спустя всплыть в пространстве "достать". Хлеб, соль, сахар, спички, носки, мужские трусы, бумага для машино- и немашинописи, авторучки, точнее - стержни для них, горчичники, пардон, резиноизделия для семейной и внесемейной жизни... Позвольте оборвать почти бесконечный перечень предметов, циклически дрейфовавших из "купить" в "достать" и обратно и перейти к предмету, объявленному в заголовке.

В России, точнее в Сибири, у меня была дача. Я купил ее по дешевке и потому без бани. Кто имел дачу, тот понимает, что дача без бани - это не просто кусок хлеба без масла, это левый ботинок без правого, это Крымский пляж без Черного моря, это... Ладно, тому, кто дачи не имел, объясню в двух словах.

Представь себе, что в пузатой от набитости народом электричке, из полутора часов езды около часа ты простоял на одной ноге. Вылезши из нее, не снимая рюкзака, "уперся лбом" в крутой, метров в 500 склон и сгоряча взял его. Переведя дух, наскоро перекусив, перелопатил одну-две сотки под картошку. Или полил огород, принес из нижнего колодца 20-30 ведер воды по 12 литров каждое. Или сбегал в дальний лог за дватри километра, собрал там и принес на коромысле два пудовых ведра коровьих лепешек. Если сумеешь реально себе это представить, то поверишь, что к концу дня не только рубашка и штаны, но и воздух вокруг

тебя стал соленым. А потому баня на даче - не роскошь, а жизненно необходимая вещь.

Покупая дачу, я думал, что баню заведу как-нибудь потом, когда соберу нужную сумму. Как сказано в предисловии, было лишь два пути решения вопроса: купить или достать. Купить баню означало найти шабашников, причем таких, которые после пропития аванса, были бы в состоянии не только поднять топор, но и сложить им баню. Достать - означало, используя где связи, где - "смазку", достать материал (бетон для фундамента, бревна, доски) и построить из него баню самостоятельно. Оба варианта были сопряжены с затратами. Эх... откуда у инженера такие деньги? Но мечта жила и зрела где-то в глубинах моего подсознания.

И век бы ей там зреть, если бы не Сережа. Сережа - мой племянник, только что вернувшийся тогда из армии. Молодая энергия, не скованная более армейским уставом, требовала выхода. Сергей был готов окунуться в активную деятельность, но не было подходящего поприща. Имея свободное время, Сережа часто приезжал к нам на дачу и охотно помогал в трудах. Однако копать или поливать грядки, ходить в лес за хворостом - разве это дело для двух здоровых мужиков?

Однажды, племянник сказал: "Дядя Валера, давайте построим Вам баню". Идея у него возникла не на пустом месте. Дело было так: как-то раз у меня на работе коллега Тюрин рассказал, что видал на Верхней Колонии "ничейный" двухэтажный барак, который разбирают на дрова все, кому не лень. Особо важным обстоятельством, было то, что бревна, из которых барак был построен, прекрасно сохранились и могли стать великолепным материалом для бани. Я рассказал это Сереже как-то между прочим, вовсе тогда не строя планов. Сергей же, будучи практичнее меня, сразу смекнул, что случай редкий, и если история про барак правдива, то у нас есть шанс. В ответ я усомнился: "Сережа, разговор на работе был недели две назад, с тех пор барак наверняка успели растащить до последнего бревнышка". "А вдруг нет, давайте проверим - не унимался племянник - у Вас больше не будет такого случая".

На следующий день мы сели на велосипеды, поехали на Верхнюю Колонию на разведку. Верхняя Колония - это поселок строителей времен 1-ой сталинской пятилетки и вполне настала пора его сносить. Объект мы нашли быстро и убедились, что рассказчик не соврал - длинный двухэтажный барак стоял уже без крыши, а с одного конца - уже и без второго этажа. Сразу же стало ясно почему до сих пор барак не растащили по бревнышку. Это был крепкий орешек. Чтобы взять эти толстенные бревна, надо было их сначала "выковырнуть" из стен, что было совсем не просто, т.к. все они были в замках, в связках в шип, в штукатурке. Затем их надо было сбросить со второго этажа, распилить до "подъемного" размера, поскольку иные весили килограмм по сто, а уж потом грузить на машину. Барак был построен как жилье для строителей Кузнецкого металлургического комбината. В те времена строили "на совесть", а потому и развалить его было не просто.

Прибыв на место, мы не спеша прошли мимо дома туда и назад, не останавливаясь, чтобы на всякий случай, не привлечь чье-нибудь внимание. На втором этаже маячили две-три фигуры, они как-то лениво шевелились, постукивая топорами. В разговор мы вступать не стали, ибо в лучшем случае это были наши конкуренты. У нас не было никакой информации относительно барака: нужен ли он кому, купил ли кто-то эти бревна. Конечно можно было обратиться в горисполком с запросом, но было ясно и так, что если там о бараке знают, то не скажут - "берите". Дачи были почти у всех и никто не отказался бы от такого классного материала. Мы подошли к вопросу проще: если это уже чья-то собственность, то нас тут же остановят. Ничего не поделаешь - уйдем не солоно хлебавши, риск неизбежен. Но может быть добро это пока еще ничье, по той причине, что добыть бревна стоит трудов немалых. Кому охота надсаживать пуп?

Я взял тогда на работе неделю в счет отпуска и, вооружившись топором, двуручной пилой и монтировками, с понедельника мы начали трудиться. Чтобы не мозолить лишний раз глаза прохожим, решили разбирать заднюю и внутренние стенки барака, будучи прикрытые передней. С задней стороны на землю была сброшена крыша, ее части валялись в виде гор искореженного железа вперемешку с бревнами и торчащими во все стороны балками, ошестинившимися ржавыми гвоздями. Это был как бы пояс обороны от желающих испытать судьбу. Но для нас это не составило преграды: Сергею - вчерашнему солдату - взятие рубежей было делом привычным, а мне в горах приходилось и отвесные маршруты преодолевать.

Начали стучать, разбирать стенки и сбрасывать бревна. Сначала старались по возможности меньше шуметь, но постепенно забыли о какой-либо маскировке. Да и можно ли было "потихоньку" ронять со второго этажа на лежащее внизу листовое железо стокилограммовые бревна? Но никто не пришел, не остановил нас, не вызвал милицию, из чего мы заключили, что это добро действительно пока еще "ничейное".

В те времена все большое было казенным: дома, слоны, заводы и пароходы. Официально казенное добро стерегла государственная служба - ОБХСС. Фактически же "совковая" жизнь научила: казенное добро принадлежит тому, кто его сторожит. А если никто не сторожит, как этот барак, значит добро "ничейное".

Проработали до темна и разъехались по домам "вздремнуть". Спозаранку работа закипела вновь. К обеду вдруг стал накрапывать дождик. Весь хлам в доме и вокруг него был обильно напудрен штукатуркой. Морозящий дождик сделал из этой пудры субстрат, по консистенции близкий к солидолу.

Вот живем мы и не ценим, или хуже того - ругаем этот великий дар природы - трение. Корове на льду еще хорошо - она на горизонтальной плоскости и груза у нее, считай, никакого, разве что вымя. Нам же приходилось перетаскивать мокрые бревна, скользя по горбам смазанного известью железа, мимо бритволезенных его краев, через ржаво-гвоздевые ежи поломанных балок и стропил. Нет, не уронили мы ни бревна, ни на одну из четырех рабочих ног, не вспорол ни мою, ни его брюшную полость. Лишь однажды я проколол стопу, наступив кедом на торчащий гвоздь.

Длину рабочего дня нам определяло Светило и лишь проливной дождь давал передых. Мы спешили, чувствуя интуитивно, что операция может сорваться в любой момент по неожиданной причине. Гадать было некогда, надо было работать. Ясно было одно - шансы на успех были тем больше, чем быстрее мы унесем с этого места ноги, с бревнами конечно. К концу третьего дня работы с трудом шевеля членами, языком, да и мозгами тоже, мы порешили - баста! Наковыряли материала - уже хватит на баню с избытком. Бревна были рассортированы по длине, промаркированы, уложены в штабеля позади барака. Поверх бревен накидали травы так, чтобы не бросалось в глаза с улицы. Надо сказать, что там уже было несколько штабелей из коротких бревешек, уложенных до нас. Познав на практике: каков он этот труд, мы и не покушались трогать чужое. Но и за свое, обильно политое потом, мы готовы были показать оскал.

Итак, по всему раскладу выходило, что следующий день - день отдыха. Ну конечно не дома, не на диване. С утра в четверг Сережа расположился на наших бревнах - сторожить. А я отправился на ближайшую автобазу добывать машину. Сначала надо было найти согласного шофера, а потом "выписать" машину в бухгалтерии. Возле раскомандировки на перекуре я быстро "словил шефа". Для начала сунул ему бутылку, пообещав вторую и деньги по завершении рейса. Далее следовала бумажная часть процедуры: надо было подписать бумаги на заказ машины у двух-трех лиц, находящихся в разных углах автобазы. Я было по привычке рванул полубегом, но шеф меня строго окликнул и приказал: "садись в кабину!" Как я потом осознал кодекс водительской чести: ходить по автобазе пешком означало крайнюю степень падения человеческого достоинства. И шеф, зауважав меня за полученный аванс, не дал моей чести упасть.

Взревев медведем и выпустив облако голубого дыма, наш мощный МАЗ стал выписывать кренделя по площадке автобазы, лавируя между ему подобными КРАЗами и КАМАЗами. Дышите глубже: десятитонный монстр, джигитуюя, вез бумажку на подпись. С полчасика мы рулили в поисках старшего. Поймали, получили подпись. Осталась бухгалтерия. Опять сели в МАЗ и быстро преодолели последний перегон ... шагов в 35. Оформив бумаги, договорились на завтра на 10 утра.

Выйдя из автобазы, я поспешил на Объект к Сереже, окрыленный тем, что все довольно гладко идет по плану. Еще бы - пару недель назад я и мечтать не мог о собственной бане. А теперь, почти даром (не считая трех дней каторжного труда) у меня будет первоклассный материал. А там уж как-нибудь вдвоем сложим из него баньку. Молодец Сережа - блестящ его план! Только бы завтра не сорвалось!

Пятница, прекрасное солнечное утро, тишина. Тишина - да, но никак не спокойствие: идет завершающая ключевая фаза операции. Мы сидим на бревнах в нервном возбуждении ожидая машину, готовые к финишному броску. Только бы не сорвалось! Точно в 10-ноль прикатил наш МАЗ. Как ошалелые мы принялись вытаскивать из маскировки бревна и закидывать в кузов. Вот уже уложен первый ряд из самых длинных, метра по 4, тяжелых бревен. Начали бросать средние.

Истекло минут 40 жаркой работы, бревна в машине, мы в мыле. Оставалось забросить несколько коротышей, когда шофер завел двигатель.

Как гром среди ясного неба прозвучал ... нет, не рев нашего МАЗа, - прозвучали хлопки невесты откуда появившегося мотоцикла с коляской. Мотоциклист круто осадил своего "коня" и стал, махая какой-то бумагой, орать, перекрывая шум моторов. Изрыгаемые слова, если какие и можно было разобрать, были из абсолютно непечатного лексикона. Да и что там было разбирать, все было и так ясно. В коляске сидел еще один мужик - свидетель. Он молча демонстративно списывал с борта нашего МАЗа номер и название автобаза. Оба были в шлемах и в очках - видимо для того, чтобы нельзя было потом опознать. Из этого следовало, что нас они тоже опасались. И не только нас, иначе появились бы с милицией.

Когда мотоциклист, спев свою арию до конца, газанул и укатил, на авансцену выступил наш водитель. И хотя он понятия не имел, чьи и для чего предназначены эти бревна, расклад дела для него стал вмиг очевиден: ему вовсе не светило лишиться прав. Он не был так многословен, как предыдущий актер, но был не менее решителен, рявкнув: "А ну выгружайся на ферр!" Что нам оставалось делать? Проглотив горькую пилюлю и едва переведя дыхание после лихорадочной погрузки мы принялись стаскивать бревна из кузова на землю. Через четверть часа все было кончено. На прощанье нас, сидящих на беспорядочно разбросанных бревнах, злополучный МАЗ обдал синим газом и исчез. Было примерно одиннадцать часов и еще не закончилось прекрасное летнее утро. Опять воцарилась тишина. На этот раз полная трагизма.

На душе было так скверно ... нет, не то слово... На душе было так мерзопакостно, что не хотелось и говорить! Если что и хотелось, так это волком выть на луну, но луны не было, был солнечный день. Мы как побитые собаки поплелись в кусты и с полчаса жевали бутерброды, запивая чаем из термоса, не проронив ни единого слова. Острая стадия стресса постепенно сменялась глубокой депрессией. Взглянув на Сережу, я убедился, что и он пребывает в не меньшем расстройстве, чем я. Будучи старшим, я постарался сохранить хоть какое-то присутствие духа. Но что я мог сказать Сергею? Ну, хоть не в оправдание, хотя бы в утешение. Нас "обули" как последних дураков, разыграли как по нотам. Даром пропало три дня рискованного тяжелого труда. И ладно бы - коню под хвост, так нет же - все достанется хитрозадому мотоциклисту, покрывшему нас громовым трехэтажным матом. Не иначе, как негодяй уже и машину заказал на завтра, чтоб увести материал, наработанный нами. Выследить бы ловкача и вломить как следует, но мы и лица его не видели и номер мотоцикла не записали. До того ли было.

Как-то, мне попала книжка про карму и прочую эзотерику. Мне вдруг вспомнилась эта книжка и я подумал, что сегодня мы "отмотали" солидный кусок кармы, "намотанной" ранее, быть может, в наших прежних жизнях. Все равно рано или поздно пришлось бы ее "отматывать". Раз так, то нечего убиваться. Кроме того, с эзотерической точки зрения, жизненный урок еще не закончился и там, наверху "маг-

нитофон" ведет запись того, как мы отнесемся к удару судьбы, что извлечем из урока. Эти мысли более или менее помогли мне по философски взглянуть на себя со стороны, и обида уже не так жгла сердце. Но было бы полным идиотизмом в такой момент закатывать Сереже эзотерическую лекцию. И я начал с простой, житейски понятной, ноты: "Сережа, ты и сам знаешь, что жизнь состоит не только из побед. Когда победил - нет проблем. Но надо уметь принимать и поражения. Принимать, не теряя лица и присутствия духа. Мы с тобой все правильно делали, исходя из той информации, которую имели. Но наша игра была игрой без козырей, все козыри оказались на руках у противника. Он контролировал каждый наш шаг, а мы о его существовании могли лишь предполагать. При таком раскладе мы не могли избежать провала, и теперь этого не исправишь. Единственно, что нам с тобой остается сделать - забыть эту историю, как дурной сон".

Мой монолог не возымел какого-либо действия на Сергея, отрикошетив от его озабоченного мозга. Я поднял на него глаза, но на его челе прочел уже не тоску, что была полчаса назад, а лихорадочный поиск выхода из тупика. Видно было, что смириться с полным крахом нашей операции он не в силах.

"Дядя Валера, подумайте, Вы только представьте, сколько лет Вам придется жить на даче без бани, пока Вы соберете такую сумму, чтобы купить готовую баню или хотя бы материал, чтобы ее построить. Давайте сегодня же ночью перепрячем наши бревна в другое место, а после выходных достанем машину опять".

Но я не внял Сережиной речи, я настроился побыстрей выкинуть из головы эту историю, ибо по эзотерической концепции выходило, что бревна эти "не про нас" - надо же понимать намеки, которые нам делают свыше. Вздыхнув, я сказал Сергею: "Нет, то, что ты предлагаешь, - нереально". И мы разъехались по домам.

Дома, оставшись один (жена была на даче), я приготовил ужин, выпил полстакана сухого вина. Стресс как-то постепенно ушел на задний план, но с переднего все никак не сходило Сережино лицо с глубокой тоской, которую я прочел в его глазах перед тем, как мы разъехались по домам. Что же получается - рассуждал я, - племянник так расстроен и не из-за своей - из-за моей бани, а мне уже на все наплевать. Он снова загорелся и полон решимости на новый подвиг, а я веду себя как последний ...огнетушитель!

Продолжая рассуждать, мне вдруг открылся совершенно иной ракурс на случившееся - на его чисто психологический аспект. Чем ниже мы пали духовно, сраженные неудачей, тем выше вознесся противник в своем торжестве над нами. Наверняка в эти минуты мотомерзавец празднует победу и с упоением рассказывает в своем кругу как умно он все подстроил: бесплатно запряг двух рабов на три дня суровой "пахоты". Нетрудно представить какое море удовольствия он получал все эти три дня, наблюдая, как по щучьему веленью сама собою делалась работа, к которой он и не знал как подступиться. Теперь пожалуй, я даже знаю откуда он шпионил за нами - наверняка из проходной будки, рядом с воротами склада, что был через дорогу от нашего барака. Опять-таки только теперь стало ясно: почему в первый же день к нам никто не

подошел, не спросил есть ли у нас право на труд в этом месте, почему те люди, что работали до нас, исчезли с нашим приходом. Теперь все, все стало прозрачным!

Как-то, еще в студенческие годы, я записался в секцию вольной борьбы. Занимался я не долго, но запомнил один из важных борцовских принципов. Если противник пытается свалить тебя с ног, например, в левую сторону, не упирайся, не противодействуй, а помоги ему в этом стремлении - добавь крутящего момента в ту же левую сторону. Вы оба упадете на мат и ты будешь внизу, как он того и хотел. Но лишь на долю секунды! Далее неумолимо сработает физический закон - вращение по инерции: и в следующий миг наверху окажешься ты.

У меня хорошо развито чувство ассоциаций и я подумал, что тот борцовский принцип вполне вписывается в нашу с Сережей ситуацию. Действительно, мы делали то, что нужно было противнику. Мы думали, что выполняем свой собственный, прямой как рельс, план. Это был, как бы, одноярусный план. Фактически же выполнялся двухъярусный план противника: на первом работали мы, на втором коварный противник, следуя за нами, выбирал наилучший момент для сокрушительного удара. А почему бы нам не замыслить план трехъярусный? На ярусе первом мы по лошадиному пашем. На втором нас "обувает" противник. Ну и пусть обувает - это входит в наш план. На этом противник считает операцию законченной. Торжествуя успех своего плана, он неизбежно расслабится, полагая, что имеет дело с лохами. И вот тут-то и вступает в действие третий ярус нашего плана: незамедлительно после поражения мы увозим бревно на другой машине в никому неизвестном направлении. Противник, придя наутро на место своей полной победы, бревен там не обнаруживает. А обнаруживает, что лохом оказался сам.

Да, пожалуй такой подход меняет дело. Я снял трубку: "Сережа, ты уже поужинал? Тогда седлай Харитона (Харитон - наш старинный со школьных времен семейный велик) - выходим в ночную смену".

В кромешной тьме мы катили по Верхней Колонии к нашему Объекту. Приблизившись, решили спешиться и подошли как можно тише. На столбе у ворот склада и проходной (той самой, откуда велся за нами шпионаж) горела одинокая, но достаточно яркая лампочка. Под ногой скрипнул гравий и мгновенно поднялся собачий вой. Ага! Мы поняли - на складе ночной сторож. Если появимся сейчас у барака со стороны улицы, то максимум через 10 минут здесь будет милиция. Решили зайти на Объект с тыла, и начать работу под прикрытием барака. За бараком был небольшой двор-косогор, далее - кусты и роща, через которую шла пустынная гравийная дорога. С этой дороги мы и стали пробираться к бараку со стороны двора, где лежали наши и чужие бревна.

Солдатская смекалка и опыт армейского разведчика делали Сергея незаменимым партнером в этом ночном деле. Кроме двух фонарей он догадался прихватить 4 старых женских капроновых чулка. Чулки мы набили сухой травой и натянули поверх кедров. Кое-где на четвереньках, а где-то ползком мы сквозь густые кусты добрались до бревен. Ступая мягко, по-кошачьи мы

подняли и понесли первое небольшое бревешко. Где на руках, где - юзом протолкнули его сквозь кусты на заднюю дорогу. И процесс пошел ... Движение происходило буквально на ощупь, фонарики включали только в случае крайней необходимости, причем так, чтобы зайчик не превышал ладони. Штука за штукой сначала коротыши, а потом, когда приловчились, и средней длины бревна были вовлечены в процесс. Вот уже новый штабель вырос в на обочине задней дороги. После часа этой партизанской работы захотелось передохнуть. Но мы позволили себе остановиться минут на 10 не более, чтобы сжевать по бутерброду. Надо было помнить, сколь коротка летняя ночь и лишь она наша единственная союзница. После очередного цикла, мы, чтобы не терять времени, в качестве отдыха пошли належке вверх по дороге поискать место предстоящего "захоронения" груза. Метров через 500 за изгибом дороги нашли подходящее место в кустах в глубине леса. Еще через час штабель перекочевал в намеченную секретную точку. Затем заработала челночная технология: один тягал бревно на дорогу, другой - по дороге доставлял его в укрытие. Коротыши я носил на плече, а средние бревна клал на руль Харитона и придерживая катил вверх по пустынной дороге. Дело пошло в хорошем темпе, мы втянулись в работу, пропотели, появилось второе дыхание. Но оставалась нерешенной главная проблема - большие бревна, предназначенные составить основу бани. Эти бревна в полном беспорядке валялись там, где мы их утром сбросили с грузовика. Хуже всего было то, что это место оказалось в секторе, освещенном проклятой лампочкой. Грохнуть бы подлую, но собака поднимет такое ... Оперативный полувоенный совет принял решение начать ключевую часть операции в 2 ночи. Расчет был на то, что и сторож и его псина будут смотреть как минимум 3-й сон.

И вот, посветив фонариком на часы, я скомандовал: "Пора!" Бесшумно крадучись в мягких онучах, затаив дыхание и участив пульс, мы вошли в освещенный сектор. Проклятая лампочка, казалось, светила как авиационный прожектор. Сгибаясь и прячась в тени разбросанных бревен, взялись за концы первого "слона" и... ооп! Стараясь не кричать, оторвали его от земли и поперли, поперли... Занесли за барак, подняли на косогор и далее сквозь кусты на заднюю дорогу по "накатанному" маршруту. Но там, где сквозь кусты малые и средние бревна кое-как проходили, крупный калибр почти наглухо застревал. Привязали веревку, перли юзом. Переправив на заднюю дорогу этим путем два больших бревна, нам стало очевидно, что если и хватит наших сил для оставшихся десяти-одиннадцати, то уж темного времени нам не хватит точно.

Шел четвертый час ночи, а основная работа была еще впереди. Ситуация становилась критической. Ситуация толкала на крайний риск. И мы пошли ва-банк! Как в психической атаке, в полный рост, под барабанную дробь сердца, вместе с Харитоном мы вступили в освещенный сектор. Две гигантские тени, переломившись через разбросанные бревна, зловеще легли на косогор. Представить страшно, что тут было бы - приоткройся хотя бы один глаз у сторожа или шевельнись ухо у пса.

Выждав 10 секунд гробовой тишины, мы начали действовать. "Раз-два взяли!" - прозвучала команда, но прозвучала бесшумно, в возбужденном мозгу каждого из нас. Бревно килограмм под 80 легло одним концом на руль Харитона. Еще рывок и задний конец лег на седло. Мать-твою-перемать! Все так же бесшумно раздалось в головах. Чуть-чуть не рассчитали: за седлом оказался слишком длинный конец, и Харитон мгновенно взвился на дыбы. Спасибо, хоть не заржал. Натужно впились в бревно 20 побелевших пальцев, но упасть на землю не дали. Гиганта сдвинули ближе к рулю. "Баланс!", "Есть баланс!", "От винта!" - медным колоколом, но все так же бесшумно звучали команды в наших мозгах. Массивный транспорт начал медленное, но верное движение в сторону темноты. На наших ногах были бесшумные онучи, но Харитон был "босиком". Вот от его колеса отскочил камушек, и чуть не оборвались два сердца. Но наконец-таки мы в спасительной темноте, вот он - поворот на заднюю дорогу. Сбросить что ли груз здесь, чтобы быстрее вывести из под света остальное? Но слишком дорого дается заброска на Харитона каждого бревна, поэтому "без пересадки" все 500 м в гору катим до конечной станции. Обратно - полубегом, время поджидает. Технологию быстро освоили: все ловчее забрасывалось очередное бревно на Харитона, все бесшумнее исчезали мы из освещенной зоны. В пятом часу начало потихоньку светать. Пора бы передохнуть, но об этом не может быть и речи - уже ясно, что в график мы не укладываемся. Не отдыхать, а поднимать обороты надо. Делать нечего - высунув языки поднимаем обороты. Только б затемно успеть убрать из опасной зоны крупняк, перебросить хотя бы на заднюю дорогу. Как зомбики в полном молчании продолжаем циклические рейсы. Алеет восток, неумолимо надвигается рассвет.

К восходу стало ясно, что всего того, что было приготовлено за три дня согласно нашему проекту бани, нам не взять. Пару больших бревен еще оставались в опасной зоне. Но баста! На свету пусть Сталкер туда ходит. Слишком много труда поставлено на карту, чтоб продолжать риск, когда в любую минуту может проснуться сторож или появиться прохожий с удочками. Мы решили опять переключиться на средний и мелкий калибр бревен, прикрытых бараксом со стороны улицы. И переключились... пока совсем не отключились.

Часов около семи работа остановилась сама собой - энергоресурс обоих организмов был вычерпан до последнего джоуля. Пошатываясь, мы сошли с задней дороги и рухнули под куст, где были спрятаны велосипеды. Сильно хотелось есть, но спать - смертельно! Ведь в ночную смену мы вышли даже не вздремнув после дневной. Пока были на ногах, еще могли что-то соображать и как-то двигаться. Но лишь опустились на траву - не стало сил, чтоб и пальцем шевельнуть. Гигантским усилием воли я потянулся к велосипеду, подтащил к себе сумку и извлек из нее последний бутерброд. Разломил его надвое и повернулся к Сергею. Но поздно: солдат был сражен наповал. В неудобной позе, подломив руку он был в полном "отрубе".

Минут 30 сна позволили нам восстановиться настолько, что мы сумели влезть на велосипеды и под горку докатить до открывшейся в 7 утра заводской

столовки. Там мы и пришли более или менее в себя. А когда пришли в себя я сказал: "Слышь, Серега, бревна-то, однако, волшебные: баню еще не сложили, а уже попарились".

Чем же кончилось дело? Неужели хэппи-энд? И да, и нет. План сработал без осечки, и бревна оказались на даче. Как-то сосед спросил:

- Откуда "бревны"?

- Достал.

Как зрелый человек, сосед понял, что дальнейшие расспросы неуместны. Однако закончить строительство мне не пришлось - почти неожиданно я уехал в Америку. Бревна же, сложенные в виде недостроенного сруба, еще долго служили памятником той вдохновенной штурмовой ночи... пока их не растащили соседи. А теперь, думаю, что любой из них, когда спрашивают про бревна, отвечает:

- Достал.

*Чикаго, Апрель 2002 г.*

## АЛЕКСАНДР МИГУНОВ

### ВНИЗ, К ОТРАЖЁННЫМ ЗВЁЗДАМ

#### Рассказ

1. Судьба не обидела Никиту: его мать оказалась всенародно известная актриса, а в отцы судьба подбросила генерала, да непростого, а КГБ. От матери Никита унаследовал душу романтическую, мечтательную; что унаследовал от отца, он затруднялся определить; а вот по вине какого-то пращура Никита оказался авантюристом, он с детства мечтал поклоняться по свету с необыкновенными приключениями. В стране, отгородившейся от мира колючей проволокой, овчарками и стражами, стрелявшими без предупреждения, такая мечта у одних вызывала удивление, подозрение, а у других, включая отца, снисходительную усмешку.

Окончив Институт Международных Отношений, Никита уехал работать в Англию. Он полюбил там и что от Диккенса, и *fish and chips*, и дожди с туманами, и консерватизм, и замки, и Битлов, ему даже понравился антисоветизм, оказавшийся как острая приправа к первому географическому блюду. А то, что его в Англии разочаровало, было связано не со страной, а с особенностями работы советского дипломата в идеологически враждебном окружении. В бывшей владычице морей он оказался не на шхуне, плывущей на поиски сокровищ, а в клетке под названием Посольство СССР, и эта клетка была разбита на множество клеточек, правил, параграфов, и к этой холодной канцеляршине добавлялся жёсткий контроль над поступками и словами.

Дождавшись возвращения на Родину, он неожиданно для всех поступил в Академию Внешней Торговли, а в качестве товара для торговли с зарубежьем выбрал себе кофе и чай, уютный и мало хлопотный импорт из стран бедных, но экзотических.

Первая же заграничная командировка на африканский континент убедила его в правильности смены скучного статуса дипломата на живой вольный статус уполномоченного по древним тониизирующим напиткам. Это тоже был не вояж к островам с пиратами и

сокровищами, но и в клетке себя он не почувствовал. Надёжно отделённый от начальства самолётными расстояниями, он мог самостоятельно планировать дела, командировки, развлечения.

Торговлю он вёл энергично, успешно, что в Москве довольно скоро оценили, не упустили из виду заслуги и связи его именитых родителей, и предложили ему перебраться в аппарат Министерства Внешней Торговли. Норбеков вежливо уклонился, он, мол, нашёл уже место в жизни, на котором наиболее плодотворно мог проявлять свои способности.

Страны замелькали перед ним, и к моменту, когда он добрался до Индии, он мог бы сказать, что объехал полмира.

2. Норбеков весь день провёл на дорогах, рискованно лавируя меж пешеходами, велосипедами, легковушками, грузовиками, древними арбами, едва успевая увернуться от лежащих и тихо бредущих коров, коз, собак и прочих животных, включавших слонов и обезьян. Обычно на такие расстояния он заказывал самолёт, но по причинам, которые ниже, он предпочёл автомобиль. Он мог бы себе заказать и шофёра, но мало ль каким милым приключением может украситься любая, без лишних свидетелей, поездка; к тому же шофёр, с виду самый невинный, мог оказаться осведомителем известных всемогущественных органов, способных испортить любую карьеру из-за любого пустяка.

После многих часов нервотрёпки, сдобренной пылью, жарой и тряской, он жаждал взбежать на вышку бассейна, подпрыгнуть и после сложного сальто, когда-то отточенного на тренировках, ввинтиться в прохладный рай воды. Потом, предвкушая он, въезжая в Дели и продвигаясь к “советскому городку”, хорошо бы помокнуть под долгим душем, потом назначить свидание с Милой, недавно прилетевшей из Москвы с каким-то заданием от “Огонька”, потом растянуться на кровати, чтобы забыться на пару часов, потом облачиться во всё белое и отправиться с Милой в ресторан.

В Дели он приехал из Бопала, из жаркого города в центре Индии, хотя, закруглив там свои дела, должен был воротиться в Бомбей, где работал и проживал. Он повернул в сторону Дели не только ради свидания с Милой. На дороге от Бопала до столицы лежали знаменитые туристские места эротические храмы Кхаджурахо и романтический дворец Агры, которые он мечтал посетить, но они всё оказывались не по пути. А чтоб обратить поездку в Дели в деловую командировку и таким образом отчитаться в потраченном времени и в расходах, он отыскал бы немало причин встретиться кое с кем из Посольства и Торгового Представительства...

Мила... Не лестно ли, однако: такая красивая умная женщина столько лет в него влюблена. В своё время он как бы не понял её намёки на брачные узы, она уязвлённо пострадала, но встряхнула себя надеждой, что когда-нибудь он оступенится до того, что захочет создать семью. Милу он сравнивал со звездой, ярко сияющей на фоне Женского Млечного Пути, такого томительно разнообразного, так зазывающе мерцающего...

Норбеков взглянул на индианку в обгонявшем его такси. Молодая красавица не потупилась, как велели ей нравы и воспитание, а вдруг ответила долгим взглядом, в котором можно было узреть всё, что только душа пожелает. С другой стороны, подумал Норбеков, польщённый и несколько даже смущённый лестной реакцией индианки на нежный, но, впрочем, стандартный взгляд, который его глаза излучали при виде любой привлекательной женщины. Не удручит ли меня одиночество, даже самое кратковременное, в казённых стенах посольской гостиницы. С тобой, моя прелесть, его не разделишь, но почему бы одним махом не сбросить дорожное утомление, выкушав стакан холодной водки в компании старого приятеля?

Увидев измождённого Норбекова, Хлюстенко словами не разбрасывался, а тут же оформил диван в постель с помощью пледа и подушки и убрался за дверь кухни. Норбеков отказался от лежания после бесконечного сидения, он постоял посреди гостиной, негромко танцующей под радио, поводил глазами по быту приятеля, по незнакомцам на фотографиях, набрёл на окно, провалился в него, и заблудился бы в чёрном небе, но зацепился за лапы пальмы, обмазанные жёлтым светом комнаты, и зачарованно-оцепенело тихо стал покачиваться под музыку, что-то зацепившую в душе...

Он содрогнулся, всего-то от шарканья, издаваемого шлёпанцами приятеля, и проследил, как из бутылки, обросшей инеем, как на рекламе, маслянисто-ленивая струя переливается в стаканы, тут же потеющие от холода. Выдул сразу полную ёмкость, откусил от сладкого яблока, послал в организм ещё полстакана, упал на подушку, прикрыл глаза и проследил за переменами то ли в теле, то ли в душе, – то ли их лучше не разделять, как советуют некоторые философы.

– Поешь, – Хлюстенко придвинул яичницу. – А то с устатку, да натошак...

Норбеков отмахнулся от приятеля, который как будто позабыл, что он не любил закусывать сразу, – после еды алкоголь шёл плохо. К тому же, голос Хлюстенко вслинился в концерт по заявкам радиослушателей, а всё, что они сегодня заказывали, – всё и ему по душе было.

– Громче! – потребовал Норбеков, услышав, что некий майор Сабхарвал пожелал, чтобы Фрэнк Синатра спел для отца “Незнакомцев в ночи”.

Хлюстенко послушно усилил звук, – вернее, дошёл до таких децибел, что майор Сабхарвал на месте Норбекова пустил бы сквозь ноздри гневную бурю, после которой пришлось бы заново расчёсывать огромные усы, а в уши загнал бы толстые пальцы, пожизненно пропахшие махоркой.

– Как насчёт незнакомок в ночи? – сказал Норбеков, как бы шутя.

Шутил ли Норбеков, или всерьёз, но в жизни настоящей, без елеса, какой же подвыпивший холостяк (а если быть совсем откровенными, то придётся расширить до многих мужчин, которые женаты и непьющие), – так вот, какой же средний мужчина не пожелает незнакомки, которая ничуть бы не ломалась. Но, попытавшись найти такую, средний мужчина убеждается, что все знакомые потаскушки в моменты нужды



как сквозь землю проваливаются, а мгновенно доступными оказываются только дорогие проститутки.

– Соскучился по Родине? – спросил Хлюстенко. – Устроим в двадцать четыре часа.

Этим он намекал на историю с одним переводчиком-студентом, который в первой же командировке порезвился с продажной женщиной, а потом рассказал о приключении, казалось бы, надёжному человеку. Человек тот, возможно, и был надёжным, но с возрастом люди не так снисходительно смотрят на шалости молодёжи, – то ли завидуют ей, то ли мстят за свою унылую жизнь. И вот, буквально в течение суток студента отправили на Родину для более пристального ознакомления с его подозрительной моралью.

– Но идея, – добавил Хлюстенко, не пошатнув закалённой дружбы, – достойна пристального рассмотрения.

3. Норбеков шёл напролом по газонам, разрывая с треском стебли цветов, с хрустом наступая на плоды, печально отвалившиеся от ветвей ввиду перезрелости и ненужности; но известно: последней уходит надежда, – и плоды умирали с упованием, что душа их, притаившаяся в косточках, воплотится в других деревьях.

– Ты потревожишь уснувших змей, – говорил более трезвый Хлюстенко, ногами придерживаясь тротуара, под ноги подсвечивая фонариком.

– Дурак ты, змеям в траве зябко, они греются на асфальте..., – Норбеков наткнулся лицом на ствол.

Хлюстенко фонариком высветил кровь из разбитой губы приятеля.

– Может, вернёмся? – спросил он.

– На Джиппи роуд! – кричал Норбеков, рискуя быть услышанным моралистами из “советского городка”, которые, слыша об улице Джиппи, возмущённо звонили в пятый отдел.

На улице с редким ночным движением к ним подъехал дешёвый скутер, – тот, на котором три колеса, и будто сидишь просто на стуле, и стул этот мчится с дымом и треском, жутко вибрируя и раскачивая, вжимая в сидение на поворотах, как на пугающем аттракционе. Пока так летели на улице Джиппи, от качки и резких поворотов Норбекова сильно замутило, и он почти половину дороги разевал рот над кипящим асфальтом.

Таксист ухмыльнулся щедрой платё, скутер убрался, и стало тихо. Им показалось, что лучше налево, и они, напряжившись, как ковбои в незнакомом враждебном поселении, пошли по тесной кривой улице. Мимо храпящего на соломе; мимо изумлённой рожи старика, на короточках справляющего нужду; мимо кровати, как мусорный ящик набитой какими-то грязными тряпками, спящими детёнышами и хозяйкой этой вопиющей нищеты; мимо гнусавой молитвы старухи, не обратившей на них внимания; мимо типа среди дороги, – в чалме, с усами и бородой, подвязанной тряпкой цвета чалмы, в белом костюме, душившем тело, короткое и жирное, как сарделька, в середине перевязанная верёвочкой.

– Вам как-то помочь? – спросил сикх вежливо.

– Спасибо, не надо, – ответил Хлюстенко.

– Может быть, спросим? – сказал Норбеков.

– А, русрик, – воскликнул сикх, коверкая русские слова. – Давай, давай. Отвали, моя череша. – И доба-

вил ругательство, столь грязное, что – не здесь, не на этих страницах.

– Наверно торгаш, – прошептал Хлюстенко. – Навхатался русского у покупателей. Как бы он кому не проболтался.

Они обернулись шагов через двадцать. Сикх исчез. Нашёл, что искал? Или спрятался, чтобы подсматривать?

В доме напротив смеялись женщины. Норбеков и Хлюстенко переглянулись и ступили в тёмный подъезд. Смеялись откуда-то с потолка. Они взобрались по шаткой скрипучести и остановились перед дверью, обрисованной светом изнутри. Оправив одежду, пригладив волосы, потянули дверь на себя и оказались в сумрачной комнате.

В разных углах, на диванах и креслах сидели девицы в вольных позах, в центре стояла группа сикхов. По стенам шли фанерные дверцы, многие были полуоткрыты, за ними виднелись части кроватей. Завидев вошедших иностранцев, все одновременно замолчали.

Толстая женщина в ярком сари хлопнула в ладоши, что-то крикнула, девицы разом слетели с насестов и окружили новых клиентов. Во всю конкурируя друг с другом, они причмокивали и облизывались, строили глазки и подмигивали, оглаживали талию и бёдра, дёргали тазом вперёд и назад, а одна высоко задрала подол и теребила кружево трусиков.

Занятие странное, однако, – из группы женщин выбрать любую, и она с тобой тут же ляжет в постель. Чаще это странное занятие смешано с хорошим опьянением, в опьянении женщины желаннее, а желание сглаживает недостатки и выделяет привлекательное. Норбеков усердно искал привлекательное, но отмечал одни недостатки. У этой губы на пол-лица. Эта слишком старая и рыхлая. Эта рябая и кривоногая. У этой скулы дальше ушей. Эта маленькая и худая, и вертлявая, как мартышка, похожа на девочку лет двенадцати. У этих толстух резинки юбочнок глубоко врезались в животы, и тёмный жир оплывал на юбки, как закопчённый нагаф свечи.

В глаза назойливо лезла мартышка. Норбеков поднял её на руки.

– Сколько? – спросил в крохотное ухо из коричневой просвечивающейся кожи.

– Один раз десять рупий, – отвечала.

– Десять рупий?

– Один раз.

– Дороговато, – сказал Норбеков, обращаясь к присутствующей хозяйке. – В таком заведении в Бомбее платят рупию или две. А можно и за полтинник.

Хозяйка уставилась на Норбекова, – либо плохо знала английский, либо намеренно не понимала подобных щекотливых замечаний.

– Да, десятка, – сказал Хлюстенко, поговорив с хозяйкой на хинди. – В Бомбее проституция легальна, а в Дели она запрещена. Эта дамочка уверяет, что половину всего дохода приходится выплачивать полиции. Кроме того, говорит хозяйка, на разных девиц и цены разные. Ты, говорит, дорогую выбрал; мол, малолетка, с большим спросом. Если, конечно, она малолетка, – с сомнением глянул он на девицу, уютно пригревшуюся на груди очередного работодателя.

Норбекова хлопнули по спине. Он с неудовольствием обернулся на пьяные выпученные глаза, на зубы, залитые красной слюной, на кусочки изжёванного бегемота, застрявшие в скомканной бороде.

— Если вам это дорого, я не прочь заплатить половину. — Сикх показал бумажку в пять рупий. — С условием. Вы сделаете это здесь, — он кивнул в сторону циновки, брошенной на пол неподалёку.

Приятели сикха загоготали.

— Я ещё девственник, — сказал Норбеков, отвечая хлестким и злым шлепком по оттопыренной заднице сикха, от чего тот даже выпучил глаза и без того от рождения выпученные. — Покажите, как это делается.

4. Все отсмеялись обмену шлепками, мартышка с рук соскочила на пол и вошла в одну из каморок. Норбеков последовал за нею, пригнулся под низким потолком, хотя высоты как раз хватало, чтобы стоять, не пригибаясь. Поглядел на тусклую пыльную лампочку, на облупленные стены без окон, на железное ведро с какой-то жидкостью, на грубо сколоченную раму, на которой вместо чего угодно, напоминающего матрац, был переплёт из грязных верёвок.

Норбеков брезгливо сел на верёвки, притянул девушку на колени. У него ещё не было девушки с такими тоненькими руками, и вся она выглядела малышкой лет десяти или двенадцати, — только морщинки на лице и усталость в углах подвижного рта говорили, что возраст её неясный; может быть, очень даже неясный. Вошла хозяйка и жирным телом заполнила сразу помещение.

— Десять рупий, — сказала она на вполне хорошем английском.

— Потом, потом, — отмахнулся он.

— Нет, сейчас. Десять рупий, сэр, — протянула хозяйка жирную руку.

Норбеков сунул в руку бумажку, хозяйка кивнула и удалилась. Он прикрыл фанерную дверцу, поискал щекотку, но не нашёл, скинул туфли, стащил штаны. Девушка сбросила кофру и юбочку. Они откинулись на верёвки, обнялись, он стал целовать грудь размера набухшего соска, и ощутил нечистый запах, притупивший разгоравшееся желание. Девушка вывернулась:

— Десять рупий.

— Я при тебе отдал хозяйке, — сказал он в пятнистый потолок.

— Нет, десять рупий, — твердила девица.

— Я заплатил.

— Десять рупий, сэр.

— Слушай, зачем это ведро? — спросил он, пытаясь её отвлечь от досадного вымогательства.

Мартышка отпрянула от него, перекатилась на край кровати, голыми смуглыми ступнями оказалась на грязном полу. Он перегнулся, схватил её за ногу. Она завизжала. Ворвалась хозяйка.

— Заплатите ей десять рупий, — сказала хозяйка, руки в бока.

— Я заплатил, — сказал Норбеков.

— Те деньги для меня. Теперь отдайте девочке.

Он раздражённо вынул бумажку, швырнул её в сторону мартышки. Та на лету подхватила деньги, сунула в юбку и голой попкой присела на раму любовного ложа. Норбеков стал натягивать брюки.

— Иди, — протянула девица руки, склеенные из коричневых соломинок.

Не подхватить бы какую заразу, — вяло подумал он и подмывал её. Ему ничего уже не хотелось, но чтоб оправдать свои двадцать рупий, он упрямо вминался в тельце с запахом нестиранной одежды. Ей бы помочь, но она лежала неподвижно и безучастно. Всё получилось тусклым и грязненьким, всё в дальнейших воспоминаниях было, как та пыльная лампочка, отражённая в жидкости ведра, то ли в воде, то ли в моче.

Внизу, при выходе из подъезда, их поджидали полицейские.

— Что вы делали в этом доме?

— Были в гостях, — сказал Хлюстенко.

— У кого?

— У господина Гупты.

— Позвольте проверить, — сказал полицейский и зашёл на ступеньку ног.

— Он уже спит.

Полицейский вздохнул:

— Ну что же. Придётся пройти в участок. У вас документы при себе?

Хлюстенко вытащил кошелек. Ещё по десятке для полицейских.

5. В такси, в легковушке “Амбассадор”, которая скутер превосходила на целое четвёртое колесо и была значительно комфортабельней, они прикончили “Белую Лошадь”, которую Хлюстенко прихватил из дома. По дороге купили ещё пару виски, дрянного местного производства, и тут же избавились от половины, — “продезинфицировать организм после интимного общения с возможно не очень здоровыми женщинами”.

По пути от такси к дому приятеля Норбеков вдруг вздумал искупаться и потянул Хлюстенко к бассейну. Тот отвечал, что купался сегодня, либо вчера, — он точно не знает, поскольку сегодня или вчера определяют только часы, которые он не уверен где; возможно, забыл их в публичном доме, хотя он их вроде бы не снимал. Но не в часах, однако, дело, а в том, что вчера или позавчера вода была холодной до омерзения. А кроме того, продолжал Хлюстенко, в такой поздний час бассейн закрыт, все фанари должны быть потушены, а он боится плавать в темноте, ему ещё с детства в чёрной воде мерещатся змеи и чудовища. В звёздную ночь, возражал Норбеков, вода не имеет права быть чёрной, она должна щедро отражать всю бесконечность звёзд на небе, при этом чудовища прячутся в сказках, а змеи, если даже не спят, не мёрзнут в хлорированной жидкости, а добродушно греются на асфальте, ещё не совсем остывшем от солнца.

Они перелезли через ограду и оказались на территории тихого тёмного бассейна. Там было, пожалуй, слишком темно из-за потушенных фонарей, а большую часть звёздного неба заслоняли пышные кроны. По-мальчишески отталкивая друг друга, вскарабкались на вышку для прыжков, сбросили одежду, догнала.

Норбеков приблизился к краю трамплина и поглядел в черную пропасть. Звёзды внизу отражались так слабо, что казались лишь домыслами фантазии, и отсвечивали как-то слишком далеко. Что случается с расстоянием, которое оказывается под ногами? Может, природа, нас охраняя от опасного лёгкого рас-

стояния, так сконструировала глаза, что всё, находящееся ниже, как бы удаляется от нас?

— Как же нелепо, — сказал Норбеков. — Хотел я сегодня встретиться с Милой, а кончилось всё грязной мартышкой.

— А ты разве, братец, не заметил, что мы всю жизнь не главное делаем, а только что-то мелкое и ненужное?

Хлюстенко свернул пробку с бутылки:

— А мы вот утешимся сейчас. Давай с тобой выпьем как раз за то, чтоб заниматься только главным.

Он бедром подтолкнул Норбекова:

— А что это мы сегодня сдрейфили? Сифилиса, видите ли, не испугались, а прыгнуть в водичку... — Пихнул сильнее. — Ну-ка, показывай свою ласточку.

Норбеков удержался на трамплине, вырвал бутылку, поднёс к губам, а свободной рукой ответил толчком, от которого Хлюстенко зашатался и замахал руками, как мельница. Норбеков поддал ему ещё и, усмехаясь, забулькал виски.

Вместо ожидаемого всплеска вдруг послышался тяжкий удар. Бутылка выпала из руки, отскочила от края трамплина, полетела вниз и там зазвенела разлетевшимися осколками.

Норбеков сбежал к краю бассейна. Звёзды отсвечивали не от воды, а от блестящего синего кафеля. Вокруг неподвижного тела приятеля расплылось пятно темнее кафеля. Норбеков слетел на дно бассейна и попытался прощупать пульс. Жизнь из приятеля либо ушла, либо её мог обнаружить только кто-то более опытный. “Скорая помощь!” Он бросился к лесенке, чтоб за пределами бассейна затарабанить в ближайшую дверь. Ступню пронзила острая боль. Он извлёк осколок стекла, побежал, прихрамывая на вышку. “А если Хлюстенко уже мёртвый?” Медленно вскарабкался к одежде, почти на ощупь выбрал свою, выловил в штанах приятеля ключи, спустился к ограде, перелез её, замер на корточках, прислушиваясь.

Ночь наполнял аромат цветов, растущих на земле и на деревьях, треск и звон цикадных оркестров, тучки спящих в воздухе мошек, сонные вскрики и шорохи птиц и каких-то других созданий. Норбеков всего этого не замечал, его волновали звуки шагов. Никто как будто не приближался, и он стал натягивать одежду. Рубашка вдруг оказалась тесной, он по ошибке схватил чужую. “Вернуться в бассейн?” Только не это! Ступня была влажной и липкой от крови, он обвязал её носком. Прячась в тених, дошёл до квартиры нелепо погибшего приятеля и там тщательно удалил все следы своего пребывания.

6. “А что если в Дели его вовсе не было? — думал он за рулём джипа, продвигаясь по широкому бульвару, вдоль которого выстроились посольства. — Сейчас он рванёт на юго-запад, без отдыха доедет до Бомбея, — и докажи, откуда приехал, а спросят, — да, вот, из Бопала приехал”. Так он и сделал, и был в Бомбее к позднему вечеру тех же суток. Вымылся, кое-как отлежался, отбиваясь от случившегося кошмара и панических мыслей о последствиях. Утром, наигранно весёлый, поцеловал ручки всем дамам, крепко пожал руки мужчинам, занялся почтой, звонками, контрактами, — и так, внешне непринуждённо, прожил тот день, и ещё неделю.

Новость о гибели Хлюстенко до Бомбея домчалась моментально. Многие спрашивали, кто такой, и Норбеков некоторым говорил, что умерший — бывший одноклассник. Но личность какого-то Хлюстенко, в общем-то, мало занимала, а всех поразила причина смерти. Надо же, качали головами, пьяный прыгнул в бассейн без воды, — это же надо так напиться! Было похоже, случай закрыли, никто не видел Норбекова в Дели, и он постепенно стал успокаиваться. И вот — сам полетел в столицу в не очень нужную командировку, чтобы на месте узнать подробности и успокоиться окончательно.

Да, случай подробно расследовали, — рассказали ему знакомые. — Вскрытие трупа показало, что Хлюстенко был в сильном опьянении. А сколько он выпил, было неясно, поскольку в квартире обнаружили много бутылок из-под “Столичной” и из-под виски “Белая Лошадь” всем известного болгарского разлива (болгары этот шотландский напиток продавали в дружественные посольства по цене пятьдесят центов за бутылку, поэтому “Лошадь” брали ящиками даже те, кто не пил спиртного). Кроме того вокруг тела Хлюстенко валялись осколки другой бутылки. Но! — возникал такой вопрос. — Как получилось, что он был в бассейне буквально за день до своей гибели (отыскивались люди, его видевшие) и умудрился не заметить большое объявление при входе о предстоящем спуске воды и закрытии бассейна до весны? Но! — почему в бассейне нашлись окровавленные следы какого-то другого человека, они повели от тела на вышку, там потоптались, спустились к ограде. Всё это наводило на подозрение, что смерть Хлюстенко была вызвана не обязательно личной ошибкой, или, скажем, самоубийством. Возможно, с вышки его столкнули, — либо нарочно, либо нечаянно. Кроме того, — сказали знакомые, — циркулировал странный слух, будто в день гибели Хлюстенко на улице Джиппи видели русских, и есть описание их внешности. В одном из них признали Хлюстенко, а кто был другой, пока неизвестно...

Норбеков страшно разволновался, напился в одиночестве в гостинице, поймал такси, поехал куда-то, и тут по дороге ему пришла мысль: “Попроситься, что ли, к американцам?” Он попросил развернуть машину, велел остановиться метрах в ста от американского посольства, пешком двинулся в его сторону.

“Американцы его возьмут, как политического перебежчика, они брали всех, лишь бы советский, от таких, как Светлана Аллилуева, до никому неизвестных туристов. Когда соотечественники обнаружат его загадочное исчезновение, они обратятся сначала в полицию, и заварится долгий процесс поисков пропавшего иностранца. Тем временем он попадёт в Америку и начнёт там новую жизнь. Но это — идеальный вариант. Не идеальный: обнаружится, что он тот вечер провёл с Хлюстенко. Просто из мести, что он совершил политическое преступление, то есть сбежал во вражеский стан, советские пришьют ему убийство и потребуют его выдать. Не желая невыгодного впечатления, что они приютили уголовника, американцы пообещают сами расследовать историю. Норбековым займутся адвокаты, эти виртуозы юриспруденции, способные хоть кого оправдать...” Норбеков сошёл на лужайку сквера, который тянулся вдоль посольств, сел на траву против

звёздного флага. "Пожалуй, он даже не рискнёт вернуться в гостиницу за вещами. Да и к чему ему эти вещи? Терял их, и будет ещё терять. Главное, всё-таки, – свобода, а больше всего свободы в Америке. С другой стороны, кому он там нужен? Не страшно ль упасть с его высоты на дно, где придётся начать с нуля?.. Конечно, он потеряет родину. Но родина что? А просто страна, где ты родился, вырос, учился. Родина, если разобраться, – это просто отеческий дом. И чем ты старше, чем шире желания, – тем этот дом тесней и скучней. И, наконец, там так задыхаешься, что хочешь сбежать, – да куда угодно. Многие так, конечно, не думают, им в жизни хватает этого дома, но он не думает, как другие... Россия? Россия – другое дело, он отделяет её от родины. Родина – тело, Россия – душа и духовное наполнение. И где бы он ни был на планете, Россия всегда будет рядом, внутри... Мила? Ну что же. Терял он женщин, и неизбежно будет терять. И находить. Находить даже проще". Потом он представил себе, как отец, преданный партии чуть не с пелёнок, узнает, что сын его – перебежчик, как исказится и побелеет его породистое лицо, как, возможно, он схватится за сердце, как отречётся от сына-предателя...

Норбеков с надеждой взглянул на звёзды, отразившиеся на флаге, встал с травы, пересёк магистраль, подошёл к воротам вражеской страны и нажал кнопку звонка.

## ТАМАРА МОСКАЛЁВА

### ВОРОЖЕЙКА

(Из цикла «Урал. Моё заречье»)

Бабуся моя, Лидия Александровна, была черноволосая, лицом смуглая. Всяк её за свою принимал. А уж ворожила – куда там цыганке! Желающих судьбу узнать особо не поважала. Да и власти на это смотрели подозрительно.

Долгую жизнь прожила Лидия Александровна... Бед хлебнула немало. Частенько я просила её поведать какую-нибудь историю о себе. Давно уже нет бабуси, а рассказы её помню хорошо... Вот один из них:

\*\*\*

- Ну так слушай. В войну это было. Павла, мужа своёво – деда вашего, на фронт проводила. Сама осталась с двумя маленькими ребятёшками. Шибко голодали. Продукты получали по карточкам. Однажды, на беду, кто-то украл все карточки. Какие были запасы – подобрали, в доме крошки не осталось. Ну чё делать? Чем детей кормить целый месяц?

И вспомнила я про ремесло своё. Решила по здешним деревням походить – поворожить. Там-то народ чуть посытнее жил. Схватила ребят в охапку и – пешком. А зима на дворе. Буря. Дороги позамело...

Долго шли. Уж тёмно стало. Насилушку добрались до ближней деревни. Чуть не застыли, было. Устала, под собой ног не чувую... Шутка ли, двоих тащить?.. Да мешок за плечами. Постучала в крайний дом. За ставнями голос женский:

- Кто там? – спрашивает. – Чего надо, на ночь глядя?

- Ворожить пришла, – говорю, – откройте Христа ради! Не одна я – с детьми малыми...

Впустили. В избе жарко топлено. Просторно. Хорошо хлебом пахнет. Коза в углу голос подала, забеспокоилась. С палатей любопытные головёнки повысунулись. Дед на печи кряхтит.

Хозяйке обсказала всё, как есть. Так, мол, и так... Спасать ребят своих от голодной смерти привела...

- Ворожила когда-то. Сказывал народ, будто правду говорю... Созови людей. Погадаю, подскажу чего... Только денег не беру. Если съестное чё принесут... ребятёшки оголодали совсем...

Хозяйка, молода бабёнка, помогла ребят раздеть. Усадила всех за стол, по кружке молока с хлебом принесла, чугунок картошки нелупленной:

- Ешьте... Спать ребят вон на палаты к моим положим.

Дело-то, как раз, на Святки было. Ночью сбежались в избу бабы со всей деревни. Кто яйцо притащил, кто хлеба, кто картошки... Война... У каждого свой интерес: у каждого – кто-то на фронте. Одной – письма давно нету, другая похоронку получила – не верит. Ворожили всю ночь: и на обручально кольцо в тонком венском стакане (стакан-от с собой из дому прихватила), на блюдечке – духов вызывали. Прикидывала я и на картах...

Уж и не вспомню, кому чего говорила. Удивлялись – точно всё рассказывала. Да...

На следующую ночь да ещё на ночь – снова ворожба. Из соседних деревень приезжать взялись. Помню, просит старичок один:

- Слышь, Ляксандровна, в Сосновке молодуха больная лежит. Может, съездим и нашим заодно прикинем, чё и как?

- А чего с ей?

- Разбило... Не успела мать похоронить, как на мужика смёртна бумага пришла. Только и сумел, родимый, одно письмишко написать. – Айда поедем?..

- А ребята как же?..

- С моими побудут – встряла в разговор хозяйка, – вон дедушка присмотрит...

Детишки за эти дни повеселели.

- Ну дак останетесь ли чё ли? – спрашиваю.

- Останемся!

Оставила я их да и поехала.

Подъезжаю. Заходим в избу. У большого стола на широкой лапке молода баба лежит. Объяснили, что к чему. Она охнула, заголосила. В зыбке завозился ребёночек. Присмотрелась к женщине. Личность, вроде, знакома показалась... Только не вспомню, где видала... А больна-то меня сразу признала:

- Тётя Лиди! Вы?..

- Я... – говорю. – Да вот только тебя не припомню, чё-то...

- Вишь, как болезнь-то не красит... Да это же я – Да-ша.

- Данька? – едва узнала я в ей девчонку молоденьку, соседку бывшую. Взамуж за деревенского вышла да туды и уехала. Вскорости и мать вслед за дочкой в деревню подалась.

Забегала после Дарья раз ли два погадать на мужика своёво. Тот как раз в городской больнице сильно плохой лежал. Обнадёжила я тогда её, мол, встанет твой Аркадий. И, вправду, выжил. Потом вместе ко мне заходили. Уж перед самой войной...

- Да что с тобой приключилось-то? - спрашиваю. - Как Аркаша?

- Аркаша... Развела война навечно... Вон - похоронка. Убили Аркашеньку моего... Круглые сироты мы теперь с Митюшкой. Только мамка померла, а тут снова... - Дарья в голос заревела. - Тётя Лида... поворожи... Может, жив он, а? Может, ошибка какая? Ну вот не верю я, чтоб он нас с сыночкой одних оставил... Не верю, понимаешь? Ведь ты же тогда правду сказала. Помнишь, когда он почти безнадежный-то лежал? Может и сейчас...

- Да помню, - говорю. - Ты, девка, давай-ка не зевай да не убивайся шибко-то - тебе мальчонку грудью кормить. Молоко пропадет. А я, конечно, поворожу. Для того и пришла... Посмотрим, чего кольцо покажет.

Свечерело. Бабы стали подходить. Кто чего помаленьку несёт из съестного...

Свечек не было, так я лучинку запалила, зеркало на стол поставила. Рассыпала древесную золу. На золу - всё тот же стакан тонкого стекла с колодезной водой. Пустила на дно Дарьино венчальное кольцо. Все сгрудились у стола. Загладели, было. Прищипнула:

- Вы молчком сидите. Я вам, чё увижу, рассказывать буду.

Угомонились, не дышат. Тени хлещутся по избе. Бабы в стакан вглядываются: кто сбоку, кто сверху. Кто в зеркале чего-то заметить надеется. Нет...

На меня уставились. Ждут... А я в кольцо впялилась...

И вот легонько зарыбила вода... успокоилась. Стала вырисовываться картинка.

- Так... Так... тише, бабы... тише... вот, вот вижу... Ятно вижу... - Все прямо едят глазами стакан-от. - Напрасно... А мне удивительно: как они не видят-то ничего?

- Лес... вот, вот - лес, глядите, девки! Сосна в снегу. Вот... солдатик показался... Лица не разберу... Шапка на ём, полушубок... У дерева в сугробе сидит... прислонился к сосёнке. Ноги в снег урыты. От их кровь по снегу расплзлась. И гляди... гляди - винтовка спереди - вот... в сугробе, к плечу прижата. - Я говорила, а бабы попусту очи надрывали...

- Ну-ка, Дарья, может, ты чё увидишь? Поднимите её, бабы, только тихонько. Гляди через моё плечо. Вон он... вон - глаза открыл! А-а-а... Смотри-ка - встать силится... Видишь-нет? Живой он... Говорю те - живой! Истинный Крест!

- Нет... ничего не вижу, - всхлипывает молодича.

- Да погоди ты реветь-то, живой ведь он, раненый только. Скоро весточку подаст, помани моё слово!

Зарыбила водица... пропало виденье...

- Вот и всё, - сказала мне бабуся, - так не померли мы с голоду.

- Ну а дальше-то что было?

- А чего было?... Воспряла Данька духом, ожила. А через 18 дён письмо пришло от мужика из госпиталя. Вскорости и сам на костылях явился без ноги да без руки - крови много потерял да пообморозился в том лесу... Да... Мы не сгинули в тот год, - повторила бабуся, - и он живой домой пришёл... Вот те и вся история.

\*\*\*

P.S. Милая сердцу моему уральская речь! Необычный говор земляков слушаю с упоением. Сама, иногда забываясь, употребляю редкие теперь уже слова, особую манеру разговора, "чёканье". Простонародный русский язык сейчас почему-то стали называть заграничным словом "сленг". А всегда он был фольклором-кладезем слов-самородков.

Лидия Александровна, моя бабушка, коренная уралочка. Родилась 110 лет назад. Всю жизнь прожила на Южном Урале. Там и похоронена. Она была настоящей хранилищем южноуральской речи. Сейчас и на Южном Урале "бабушины слова" употребляют, разве что, где-нибудь в глухой деревне старики. Я эту речь, манеру говорить берегу, как бесценный дар, который перешёл мне по наследству от моей дорогой бабуся. Светлая ей память!

## МАРИНА СТУЛЬ

### НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Кто бы мог подумать, что когда-то придут лихие времена - учителя и врачи не смогут прожить на свои грошовые заработки, кое-кто и вправду станет заниматься коммерцией. Но в то время о такой кошмарной перспективе и подумать было смешно... Казалось, нянька для малышки - самая трудная задача.

Нянька объявила, что уходит нянчить внука генерала Щ.

- У меня будет отдельная комната, - похвасталась она.

Оля уносила Анечку в школу и подбрасывала ее техничке или свободным учительницам. Впрочем, через какое-то время ее мама, Елена Сергеевна, привезла им тетю Клаву - так она просила себя называть. Это был подарок судьбы. Она очень полюбила малышку, и та к ней привязалась.

Звала тетя Кава. Аня училась говорить. Правда, сама тетя Кава говорить умела только о неприятностях... У Марь Степановны сын в тюрьме... У Петра Савельича потолок провалился... Вера Дмитриевна ногу сломала...

Случалось, Ванечке, после этих сообщений, устраивать кого-то в больницу или ездить чинить потолок соседки, но это все были пустяки. Сама тетя Клава была находка: добрая: аккуратная и заботливая. На ее руках потом вырос Митя, а после и Мишка. Она стала членом семьи. И все очень жалели, когда вдруг пришла в слезах.

- Племянничку паралич разбил. Я там у нее нужна. А вы мне как родные...

Жизнь шла, шли годы...

Оля, когда они сидели как-то с мужем вечером на диване, сказала восторженно:

- Какую книгу я прочитала! Давно не держала в руках такую прелесть!

- И что это? - спросил Ванечка

- Автора зовут Трумен Капоте. Он пишет по-английски, а я читала французский перевод. Но все равно прелесть, прелесть. Такой нежный, такой открытый человек, ну просто ребенок! Но в то же время

замечательный мастер! Это рассказы и маленькие повести. Если бы я могла, хотела бы писать так... Принести почитать?

- Принеси, конечно. А по-русски уже перевод есть?

- Не знаю Если бы дать ее почитать Анечке? Даже и по-французски... Я попробую...

Олю посещали удивительные сны. Чаще всего ей снились дети. Не ее дети, вообще малыши.

- Знаешь, там у Капоте есть такой ужасно грустный рассказ. Симпатичная девушка продает сны. Кто-то покупает у нее сны! И я могла бы продавать сны! Иногда ничего не помню, а иногда - хоть роман пиши!

Ванечка поцеловал ее.

- И что снилось в этот раз?

- Какой-то парк у моря. Я в воде стою, а на берегу женщина держит на руках малыша и не решается войти в воду. А потом она кричит мне: «Лови!» И кидает мне ребенка с берега... он голенький и плачет... а я замираю от ужаса - вдруг не поймаю? но ловлю его и иду с ним в воду. Он перестает плакать, смеется, - ему в воде хорошо! А я испытываю такое счастье, такой восторг! Теплое море и нежное маленькое дитя на руках! Так жалко было просыпаться...

- Вот оно что... тебе не хватает малыша. Давай родим еще одного ребеночка!

- Ванечка, я не хотела тебе говорить пока, я еще не была у врача... По-моему, я беременна...

- Что же ты молчишь! Это же здорово!

И родился Мишка!..

Идут дни, складываются в недели, мелькают годы... Ане 15, Мите 12, а младшему уже 3! Ванечка обожает своих детишек.

Циля, названная мать, воспитавшая Ванечку, знала немецкий и его учила ему. Лет в десять он спросил: «Зачем учить язык фашистов?»

- Фашизм - болезнь международная, - ответила она, - а язык - это культура. У немцев богатая культура, литература, музыка. Мы когда-нибудь поедем туда, и я покажу тебе Веймар. Всю жизнь мечтала побывать в доме Гете, в доме Шиллера...

С Цилей так и не пришлось поехать в Веймар, а язык пригодился: благодаря этому, он познакомился с Олей, - она работала в иностранной библиотеке. Когда разрешили за рубеж ездить, поехали в Веймар с Олей.

Веймар маленький, но умудрился вместить в себя как бы два города - старый и новый. Две эпохи. Автобус пришел на автовокзал - это была новая часть города, отстроенная после войны. Серые пятиэтажки. Прямые асфальтированные улицы, мало зелени. Правда, чисто. Но у этого города, показалось Ванечке, как будто не было своего лица.

Вышли на площадь, - словно попали в другой мир, в другой век. Площадь, покрытая брущаткой, тут и воздух другой. Справа театр. Играли пьесы Гете и Шиллера! Величественный фасад, колонны. Наискосок построенная Шиллером библиотека. Ничего тут не меняли, так было и в восемнадцатом веке. В залах ящики с библиотечными карточками. Ищи то, что тебе надо. Доступ свободный. Нашел - покажи библиотекаря. Садись, читай. Столы старые, только керосиновые лампы заменили на электрические. Вот и вся современность.

Через площадь - дворец курфюрста. Теперь музей. Никакой показной роскоши: целесообразность и доброта. И еще - незыблемость, строили на века. Века прошли - все как было.

Дом Гете. Большие комнаты превратили в музей. Комнаты для гостей. На стенах и под стеклом страницы из книг. Документы. Портреты. Рисунки великого поэта. Он любил и умел рисовать. Оля долго стоит у портретов и гравюр. Так вот как выглядели современники... Интеллигентные лица. Свет нравственности лежит на них. Свет умственной жизни. Как же случилось, что новые поколения изуродовал фашизм?!

Жилые комнаты тесно заставлены мебелью. Тоже не видно роскоши. Предметы добротные, из хорошего дерева. Но только необходимые. Скрамная спальня. Кровать под балдахином. На ночном столике раскрытая книга.

В дом Шиллера они не попали: в музей был выходной день. В театр тоже не попали - спектакль начинался в 8-30. Автобус уходил в 7 часов. Жаль, что не попали: какая-то современная пьеса - может быть и не очень интересная, но сам театр, зал, сцена... здесь сам Шиллер руководил актерами! Уезжая, решили еще раз приехать в воскресенье. На утренний спектакль - в гости к Шиллеру! Не получилось: всю неделю была забастовка работников транспорта...

Обратно ехали с немцами. Автобус был чуточку пьян - шутили и смеялись громко. Был какой-то праздник, ярмарка. Водитель вышел с пассажирами, видно, тоже хотел что-то прикупить. Ярмарка сияла разноцветными огнями, взрывалась петардами, народ толкался, хохотал, и все были сильно навеселе... Оля положила голову на плечо Ванечки. Сказала:

- Знаешь, мне захотелось жить в восемнадцатом веке...

- Что, меньше тревог?

- Нет, больше духовности как будто...

...Так и жили. Оля любила литературные игры, играли всей семьей. Как-то она принесла новую игру. В дневнике Давида Самойлова прочитала, как она называется: «Назови имя».

Стул - Ножкин...

Кровать - Лежнева...

Ложка - Черпалкина! Супова.

Нет. Супова - это Тарелка.

Ножик? - Резкин! - Отрезов! - Островский!

Смеялись - А друг о друге?

- Анечка? - Красавина, - сказал Митя.

- А ты, Митя, Знайкин!

- Нет, - закричал семилетний Мишка. - Он - Задавалкин, Хвастунов!

- А папа?

- Больницын! Докторов!

- Есть такой писатель - Доктору, - это, конечно, заявила Оля.

- Нет. Папа - Любимов.

- Ах ты, - восхитился Ванечка, - ты у нас Солнышкина!

-- Нет, - вы оба Любимовы, - сказал Митя. - Вам надо менять фамилию Вы Любимовы!

- Меняем фамилию? - спрашивает Оля.

И Ванечка поддерживает: «Меняем! Мы - Счастливые!»



Домашним казалось, что главное в Ванечке - профессия. Вон какие имена придумали - Докторов, Больницин... Профессия, конечно, это важно, очень важно. Цили хотела, чтобы он заменил ее за хирургическим столом. Цили была хирург милостью божьей. Какие операции делала! А он не был виртуозом. Просто внимательный, аккуратный. Старательный врач. Просто порядочный человек. Довольно скоро стал заведовать отделением. Через какое-то время предложили должность главного врача больницы. Отказался решительно:

- Я не администратор, я практик. Администратор должен заниматься хозяйственными делами. Я этого не умею и не хочу. Я получил от Цили напутствие заменить ее. Она и ведь мне спасла жизнь. Я стараюсь. Я делаю что могу.

А дома он был просто внимательный и старательный отец и муж, любящий и счастливый. Оля всю жизнь звала его Ванечка. Дети тоже очень скоро стали говорить не папа, а Ванечка. Он был душевный приятель, до донышка свой.

Как-то после работы Анечка обратилась к нему.

- Ванечка... Папа... мне надо поговорить с тобой.

- Что-то случилось?

- Случилось...

- У тебя неприятности?

- Не знаю... Я влюбилась...

Ну, какие это неприятности! Писатель Шварц говорил - влюбляться полезно!

- Ты не знаешь... он негр!

- О! Ну и в чем дело? Он на тебя не смотрит, и ты расстроилась?

- Что ты, папа... Он... В общем, я беременна...

- Ох! Анька! Тебе же пятнадцать лет!

- Он говорит, в его государстве одобряют ранние браки...

- Но у нас... Боже мой. Сколько ему лет? Это же растление малолетних...

- Ванечка, ты что? Мы же любим друг друга!

Ванечка потрясен и, кажется, впервые в жизни не знает, что сказать...

- Ты... это... надо делать аборт?

- Ой, нет, он хочет наследника... Он же сам наследный принц. Его отец стар, и скоро он может стать правителем... в этом своем эмирате... а этот ребенок, которого я ношу, будет наследным принцем, как он теперь. Он хочет жениться!

- Опомнись, Анька, у нас же нельзя жениться до совершеннолетия.

- Да, и он хочет, чтобы мы поехали в его страну и там поженились прямо сейчас...

- Ну, ты меня убила... Я не знаю, что надо делать... а мама знает?

- Нет, я боюсь ей сказать... она такая впечатлительная. Расстроится... Ты скажешь ей?

- Ну, не знаю, что и сказать... Влюбилась...

«...Девчонка, подросток. Какие страсти! Он южный человек, заметил наш цветочек, влюбился... его нравственность позволяет, он хочет жениться... Как теперь быть родителям? Как сказать Оле? Сглазил, сглазил семью. Я недавно сказал - мы такие счастливые. Живем дружно, без тревог... Господи, что все-таки делать? Или сделать уже ничего нельзя, но как ко всему

этому относиться? Дело вовсе не в том, что он черный. Мы их не знаем... Но вот у Эфроса в спектакле Отелло был кристально чистым. Даже поэтически... Этот, Анин, возможно, тоже интеллигент... Но все же человек другой культуры, другой ментальности. Вот ведь он уверен, и Аню уверил, что ее детский возраст не препятствие для недетских отношений... там, у него дома, девочек рано выдают замуж. Но он должен был что-то сломать в ее психологии, мы же совсем другая интеллигенция. Она теперь чувствует свою вину и боится признаться маме. Но ей, должно быть, хорошо с ним, и она чувствует себя женщиной... какие противоречивые чувства! Это ведь для Ани прежде всего потрясение. А в сущности она ребенок! Беззащитный ребенок! И если мы ее не поддержим, она может сломаться... Как сказать Оле? Как подготовить Олю? Ведь у нее-то определенно традиционные взгляды! А если этот принц бросит Аню? У Оли свой драматический опыт и свои тяжелые переживания. Или лучше все же не допускать этого брака? Попытаться не отдавать девочку в этот чужой, чуждый мир? Но имеем ли мы право вторгаться в ее переживания? По мне, так не надо никакого брака, надо просто в своей семье пережить эту трудную ситуацию и самим вырастить ребенка. Но этот человек хочет видеть в нем своего наследника. Позволит ли оставить малыша у нас? Господи, какая каша у меня в голове. Господи, как жалко Анечку... Но она просто не даст себя жалеть!..»

И с Фархodom, Аничкиным ухажером тоже пришлось говорить Ванечке. Оля «молча» присутствовала, как и Анечка.

- Анечка говорил, я должен советоваться вас... Извините, я еще плохо говорил русски...

- А не каком языке говорите вы?

- Я говорю на пять языков... Я учился в Европе, изучал право.

- И что вас в Россию занесло?

- Я люблю русское искусство, я изучал искусство.

- Вы изучали право. Почему же не поняли, как относятся у нас к взрослому мужчине, который живет с девочкой!! Знаете, сколько лет Ане?!

- Да. Пятнадцать. А сколько лет Джульете?

- Это искусство, а в жизни- преступление.

- Но! Мы любим друг друга, и я хочу жениться прямо сейчас.

- У нас не регистрируют браки до совершеннолетия!

-- Я знаю. Поэтому хочу заключить союз там!

- Как! Вы хотите увести девочку!

- Но. Мы сейчас поехали только жениться. Но когда-то после моего отца я приму правление и тогда мы уедем совсем. Я не знаю, когда это будет. Мой отец стар, но он может прожить еще долго. И тогда Анечка будет женой... как это по-вашему? - государя. А ребенок, которого она родит, станет наследным принцем, как я теперь.

Оля, до этого не принимавшая участие в беседе, молчала потрясенная. Не знала, что сказать. Наконец она произнесла:

- Я бы не хотела этого. Если нельзя сделать аборт...

- Нет, аборт всегда опасно. У нас в стране аборты не делают. Не надо бояться. Когда я буду взять власть, буду развивать искусство. Искусство будет в школах. И вообще прогресс.

- Вы меня поставили в безвыходное положение... Аборт уже делать нельзя, но если надо рожать, может быть, и вправду надо жениться. Но я не стану говорить ложь. Я этого брака боюсь. Может быть, не надо жениться? Живите, если уж так вышло. А потом вы уедете и там у себя женитесь на соотечественнице. А ребенка мы тут сами вырастим.

- Нет, я люблю Анечку, она любит меня. Я не хочу ее бросать. Это мое решение. Хочу с вами попрощаться. Теперь вы знаете, как мы поступить...

- Мезальянс, - вступила в беседу Анечка.

- Не надо замуж! Мы сами твоего ребенка вырастим, раз уж такое случилось.

- Но он же хочет жениться!

- Ты совсем дитя неразумное! Ты хоть знаешь, что такое мезальянс?

- Конечно, слово французское. Неравный брак...

- Неравный, понимаешь? Он человек из другого мира, принц, а ты кто?

- Но он порядочный человек, и мы любим друг друга!

- Но все в мире мезальянсы кончаются одинаково. Хочешь, расскажу?

- Она была моя подруга, мы вместе учились. У нас была талантливая группа, но Милка была лучше всех!

- Это какая-то старая история!

- Это вечная история! Я всю жизнь чувствую себя виноватой перед ней, потому что это я привела ее в дом, где она увидела этого Игоря и сразу влюбилась. А он был аристократ, такая изысканная красота и изящество, даже не верилось, что такое может быть в наше время. Они с Милкой весь вечер глаз друг с друга не спускали и ушли вместе. Потом рассказывала - всю ночь бродили по городу, шутили, читали стихи... Нашли друг друга две родственные души. И очень скоро поженились. Это была первая свадьба у нас на курсе. Мы все немного завидовали. Милка и Игорь в один год кончили учиться. Они уехали в Ленинград, к его родным. Мама-гранд дама. Милка там сразу не понравилась. Их в аристократической квартире не поселили, сняли что-то попроще. И все намекали на простое происхождение... Не знаю уж как они Игоря убедили, но он Милку бросил, спокойно бросил. Она все поверить не могла, с ума сходила. Потом заболела нервным расстройством. Ее свалил паралич. Два года она лежала. Игорь даже не приехал на дочку посмотреть. Милка так и не встала, умерла вскоре. Вот такой мезальянс, радость моя. Не плач, у тебя, может быть, все и обойдется, хотя лучше не надо выходить замуж за принца...

- Ах, ты все пугаешь меня... Но Фарход ведь настоящий аристократ, не как эти твои нувориши! Мы скоро поедем туда, к нему жениться. Там можно жениться на несовершеннолетних. И Фарход радуется, что я буду принцесса!

- Ну-ну. Дай тебе бог удачи, солнышко мое.

Родился здоровый красивый мальчик, даже не очень черный. Но видно, что другой тип. Перед выпиской Фарход заехал за Олей и повез ее смотреть квартиру, которую он купил для Анечки. Квартира была роскошная: пять комнат. Фарход познакомил ее с пожилой симпатичной женщиной.

- Она будет вести хозяйство и помогать Анечке ухаживать за ребенком.

- У меня специальное образование, - сказала Вера (так ее звали), - Я имею среднее медицинское образование.

- Я думала, что сама сумею вырастить своего внука.

- Аня пойдет учиться. А Вера присмотреть за бэби. Не огорчайтесь. Будете гость, когда захотеть и видеть Халид. Мы называть его Халид.

...К концу 80-х начался обмен студентами между США и СССР. Сын Митя в последние годы жил у бабушки в Москве: считал, что столичное образование лучше провинциального. Вероятно, так и было. Тщательно учил английский. Французский, который знал с детства, не котиrowался. Теперь загорелся желанием получить образование в Штатах. Ванечка и Оля были уверены, что там далеко не лучшее образование, но мешать Митиной мечте не решились. Митя уехал в Америку. В доме стало совсем пусто. Тосковали все. Кажется больше всех переживал Мишка. Он все спрашивал: ну что так привлекает в чужих краях? Читал Митины письма - и не находил ответа.

В квартире бабушки поселился огненно рыжий американский паренек. Он приехал совершенствоваться в русском языке и делал успехи. Елена Сергеевна все думала, зачем ему русский.

- Я хочу заняться бизнесом, - отвечал Джерри, - думаю, русский бизнес - это очень перспективно.

Однажды попросил Мишку учить его русскому мату. Мальчик потерял дар речи.

- У нас дома считается - мат язык неинтеллигентных людей... Ищи другого учителя.

А Митя писал восторженные письма. Ему нравилось в Америке. Оля надеялась, что сын скоро вернется, но, кажется, этим надеждам не суждено было сбыться. В России, между тем, дышать было все труднее. Хотя и в Америке далеко не все так прекрасно. Ванечка думал: может быть, Митя прав? Может быть, лучше не возвращаться в это болото?

Года три Анечка жила отдельно от родителей. Бог знает, что думали и говорили соседи. И вдруг - этого события давно ждали, и все равно такое случается вдруг! Умер-таки державный отец Фархода. Фарход уехал принимать престол, наследство. А недели через три за Анечкой и мальчиком был прислан посланец. Она теперь была женой главы государства, а маленький Халид - наследный принц. Мучительная эта история для Оли и Ванечки казалась бесконечной, а на самом деле все обернулось весьма стремительно. Письма шли интересные, иногда восторженные. Анечка привыкала. Все было ново - обычаи, нравы, общение, климат...

Анечка привыкала, Оля жила письмами. Но привыкнуть не могла. Было тревожно. И словно она накликала беду: пришло письмо тяжелое, слезное. Фарход объявил ей, что приближенные, советники требуют, чтобы он взял вторую жену, мусульманку. Фарход долго не решался объяснить с ней, наконец решил - с.

- Понимаешь, это только дань традициям. Не огорчайся, я люблю тебя, ты всегда будешь для меня главной женщиной на свете.

Писем не было несколько месяцев, Оля просто с ума сходила. Ванечка пытался звонить, отвечали - все в порядке, Анечке телефон не давали. Наконец, пришло письмо. Оно было переполнено отчаянием.

«Мамочка, - писала Анечка, - они требуют, чтобы я приняла мусульманство и жила по законам их религии. А у них, ты знаешь, женщина не человек - предмет... Фарход не может им сопротивляться».

Родители не успели опомниться - Анечка возвратилась в Москву.

- Ты убежала?

- Нет. Я договорилась с Фарходом. Мы решили, что мальчику пора учиться в Европе, а я буду его сопровождать. Ведь сам Фарход тоже долго учился там! Кажется, он даже обрадовался такому решению, он-то понимал, как трудно мне менять менталитет.

С ними остался только младшенький. Его называли «Мишка» с детства, это было не пренебрежительное, а ласковое имя. Он был ни на кого не похож - ни на маму, ни на папу. Пасека, которую завещала мама Циля все еще принадлежала Ванечке Непомнящему, но теперь мед не продавали. Зато больные в Ваничкиной больнице получали порцию меда каждый день. Теперь там работал специально нанятый человек и Мишка помогал ему с удовольствием. Получалось, что именно младший стал наследником семейных ценностей. Он учился в Олиной школе, а не в Москве. О своем будущем пока ничего не говорил. Может быть, еще не решил?

- Чем бы ты хотел заниматься? - добивалась Оля - ведь будущее надо готовить сегодня.

Он молчал. Не решил? Ванечка тоже помалкивал. Только он один знал. Мишка показывал ему по секрету свои стихи и рассказы о природе. Просил никому не говорить, Ванечка и не говорил. Удивительно: все дети делились с ним своими тайнами, с ним, а не с Олей. Оля последняя узнавала все главное о своих детях. Она была слишком эмоциональна. Молодежь боялась взрыва ее чувств.

Оля сияла: приехал Митя. Она смотрела на старшего сына с восторгом: как он вырос! Сказала: «Как ты возмужал!»

- А как же, - ответил Митя, - я стал мужчиной.

- Ты собрался жениться? - подозрительно уточнила Оля.

- О нет, - был ответ. - У меня есть девчонка, в Америке, это называется «герлфренд». По-нашему - любовница. Она из Индии, учится на зубного техника. Выучится - уедет домой. А я женюсь на американке. Я ишу богатую американку. Очень богатую.

- Ты шутишь, Митя. Чтобы жениться, надо же полюбить!

- Ну, это не совсем обязательно. Но найду, постараюсь ее в себя влюбить.

- Ты странно рассуждаешь!

- Это ты странно рассуждаешь! Ты отстала от жизни, мама. Вот Анька с ее романтической любовью сумела стать счастливой? Она уехала от своего принца и теперь одна в Париже. А какие были переживания! Она же теперь королева или как их там называют, а принесло ли это ей счастье?

- Опомнись, Митя! Ты стал расчетливым. Эта Америка не пошла тебе на пользу.

- Успокойся, мама, вот о пользе я сам позабочусь!

Ванечка застал Олю в слезах.

- Что случилось? - встревожился он. - Где герой дня?

- Он в ванной, - стал совсем чужой, плакала Оля.

- Успокойся. Он, наверное, стал совсем взрослый.

- Да, но чужой взрослый. Он чувствует и рассуждает как-то грубо, не по-нашему. Как торгаш!

- Ах вот оно что! Уехал и стал американцем... Дети быстро меняются, когда вырастают. Не огорчайся. У тебя есть я. Я никогда не переменюсь.

Оля пыталась справиться со своими чувствами, это ей плохо удавалось. Думалось: что же мы с Ванечкой делали не так? Почему дети так удалились от нас? Я помню, он был до самой смерти так предан Цилю, своей названной маме... И я всегда старалась прислушиваться к настроениям своей мамы... Они другое поколение.

- Ты просто устала. Тебе надо отдохнуть, порадоваться чему-нибудь. Поедем в отпуск, в Крым! У моря все станет радостней, предложил Ванечка.

- Не надо в Крым. Поедем к Анечке. Ты сможешь организовать нам отпуск у Анечки?

- Я постараюсь. Не показывай Мите свое огорчение. Может быть, не все так страшно, как тебе увиделось.

Во Франции Оля и вправду успокоилась, ожила. Анечка казалась вполне благополучной. Нежный бутончик превратился в прекрасный цветок. Теперь это была красивая двадцати двух летняя женщина. Все вокруг казалось великолепным. Квартира дорогая. Обставлена со вкусом. Халид - чудесный ребенок. Веселый и ласковый. Свободно говорит на трех языках. Солидная матрона присматривает за ним и отвозит в школу. Школа дорогая, с творческим уклоном. Анечка открыла маленький бутик. Модели сочиняла сама и изготавливала их сама, было две помощницы, симпатичные, молодые.

- Смотри, этот костюмчик для дам бальзаковского возраста. Как раз тебе подойдет.

- Ну что ты, доченька. Я давно вышла из бальзаковского возраста.

- Ты хорошо смотришься. Я хотела тебе это послать. Приехала - еще лучше. Здесь надо только подправить чуть-чуть.

Оля довольна не столько туалетом, сколько вниманием: о ней помнили, о ней заботились! По средам в изысканном салоне Аня демонстрировала свои модели. Две дамы средних лет на подиуме имели успех. Молодежные модели Анечка демонстрировала сама. Одежда хорошо раскупалась. Но Аню не деньги интересовали. Фарход не скупился, и проблем с деньгами не было. Ее интересовал творческий процесс. Она так и сказала Оле: «...творческий процесс». Оле казалось - все прекрасно. Но с отцом Анечка, как всегда, доверительно секретничала.

- У тебя проблемы? - спросил он.

- Заметно? - удивилась она. - Даже не знаю, как тебе сказать. Тут вертится этот Муслим, я его давно знаю, он и там за мной приглядывал. А тут просто шпионит за мной, шагу без него ступить не могу. И все внушает мне, что я веду себя как субретка. Говорит, что я забываю, что я жена главы государства. И все уговаривает вернуться назад...

- Его Фарход послал?

- Наверное, не от себя же он меня воспитывает!

- Не соскучилась? Ведь такая любовь была!

- Я... я соскучилась. Но вернуться назад не хочу. Не смогу. Я тут себя человеком чувствую, а там... женщина не человек. Знаешь, этот Муслим даже грозил мне. Он сказал, если я не вернусь, они меня силой увезут. Ну, это вряд ли от Фархода. Там вокруг него такая родовая аристократия... мафия. Давят на него...

- Анечка. Может быть, ты и вправду ведешь себя слишком вольно? Поклонник есть?

- Да, есть. Но не то, что ты подумал. Я хотела бы развестись... Здесь - пожалуйста, там - боже упаси! Ох, Ванечка, смутно у меня на душе...

- Хочешь, я попробую связаться с ним и поговорить?

- Боже упаси, - повторила она. - Он не любит, когда вмешиваются в его дела.

- А там на него давят, выходит, вмешиваются.

- Там так полагается, это традиция. А я как раз традиций не соблюдаю, характер оказался не подходящий.

- Ну да. Пока ты была ребенок, влиять на тебя было легко. Но наше влияние оказалось сильнее, ты творческая личность. Для них это нонсенс... Что же делать? Как тебе помочь?

- Ничего делать не надо. Просто мне надо было плакать тебе в жилетку. Маме ничего не говори... Она всегда была уверена, что я игрушка в его руках.

- А теперь ей хочется верить в благополучие...

... Несчастье случилось прямо на глазах у Оли. Она ждала Анечку, стояла у окна и видела, как дочка перешла улицу, и ее сбила летящая на огромной скорости машина. Оля дико закричала и кинулась на улицу. Анечка была еще жива.

Она сказала: «...мама... мезальянс...», - и все.

Оля не поняла ее слов, сидела окаменевшая, держала на коленях голову мертвой Анечки...

Фарход прилетел инкогнито, был мрачен и, кажется, тоже страдал. Сказал: «Если бы она не уехала, не было бы трагедии». Ванечка помнил последний разговор с Анечкой, и ему захотелось крикнуть: «Убийца!» И просто задушить этого титулованного красавца. Но он сдержался: Оля восприняла смерть Анечки как несчастный случай. Ей не пережить правды.

- Оставьте нам хоть мальчика, - попросил он.

- Это невозможно, - ответил Фарход, - на него все мои надежды.

- У вас есть другие жены, они родят вам других сыновей.

- Нет, это - первенец, наследник престола. А две моих других жены рожают только девочек. Одна даже двойню. Хотите, я заберу вас к себе? Будете видеть мальчика постоянно. И вот еще что... Я открываю новые больницы. Вы могли бы там работать. Там нужны хорошие врачи. Подумайте, дайте мне знать.

Ванечка не поехал в эмират. Не мог себя заставить. Не поехал даже ради мальчика...

Ванечка привез Олю из Парижа прямо в больницу, в нервное отделение. Она была плоха, никого не хотела видеть, лежала лицом к стенке и молчала. Ванечка надеялся только на свою любовь, другого лекарства от ее болезни не было. Помощником оказался Мишка.

Ему было шестнадцать лет, он заканчивал школу и не хотел уезжать доучиваться за границу.

- Я с вами, - говорил он. - Я хочу быть всегда с вами.

Оля сидела на постели, смотрела в одну точку и повторяла: «Нет Анечки... Нет Анечки... Нет Анечки...». Мишка брал ее руки, прижимал к лицу и говорил: «Мы с Ванечкой у тебя есть. Мы всегда у тебя есть, слышишь?»

Он приходил к Оле каждую свободную минуту, кормил ее с ложечки, рассказывал про школьные дела, как-то принес гитару и пел ей тихонько про любовь. И опять:

- Мы с Ванечкой у тебя есть, мы тебя любим, любим. Слышишь?

Только из его рук она брала еду, ему первому улыбнулась. Сказала: «Ты стал похож на Ванечку. Маленьким не был похож, а теперь похож...

Он обрадовался.

- Поправляйся, мама, мы с тобой будем... - он не знал, что сказать. Просто «будем, будем...» Месяца через три она стала приходить в себя. Он читал ей стихи по-французски.

- Читай мне русские стихи, сынок. - сказала она, - я не могу слышать французскую речь...

Ванечка снова носил ее на руках, как в юности.

Ванечка сказал ей: «Я не верю в смерть... Она просто живет далеко от нас... Она же долго дома не жила.. Давай думать - она в Париже. Она живет в Париже...».

- Я иду к Оле. Хотите что-то передать? - спрашивает Олина мама, Елена Сергеевна, по телефону.

- Нет. Сегодня конференция. Я хочу еще раз посмотреть доклад. Приходите, лучше к нам, завтракать.

Ванечка смотрел на Елену Сергеевну. Она все еще красивая. Оля похожа на нее. Оля будет такая в старости.

- Давно хотела рассказать тебе про нашу молодость, - начала рассказывать Елена Сергеевна. - Мне было девятнадцать, когда я приехала в Москву и с мужем моим, Митей познакомилась. Он был замечательный человек и, знаешь, полиглот, я с ним в библиотеке познакомилась Я потому и стала языками заниматься. Я ведь из Азербайджана приехала, хотела московских ровесниц догнать... Митя стал для меня не только мужем, Но и любовником, воспитателем, педагогом - чудом. Когда я сказала ему, что жду ребенка, он так обрадовался. А я ему: «Митя, я такая счастливая!» Должно быть, этого говорить нельзя было, я нас сглазила...

Ванечка похолодел: он тоже сглазил семью, сказал - мы такие счастливые...

- После Нового года - был 38-й - он вдруг сказал: «Я не хочу пугать тебя... тебе надо уехать в Баку.

- Что-то случилось? - испугалась я.

Я ничего не понимала. Мое счастье заслонило мне все, я не видела, что в стране творится.

- Пока ничего не случилось, - сказал он, - но тебе лучше уехать. И не пиши мне. Если все обойдется, я вас найду, тебя и малыша. На вокзале сказал: «Верь мне, я тебя очень люблю. Как только смогу, приеду за вами. Береги себя». Больше я его никогда не видела. Там под Баку жили мои дед и бабушка. Там я Олю родила, они поднять ее помогли. Никакой весточки не

получила и не писала – всегда помнила, что писать нельзя. Уже после войны, в 49-м позвонила мне наша добрая знакомая и сказала, что Митю моего забрали в НКВД.

- Вы не пробовали после смерти Сталина узнавать о муже?

- Узнала, милый. Даже реабилитации добилась. За отсутствием состава преступления. Как многие. Как тысячи...

- Вы верите в бога, Елена Сергеевна?

- Не скажу, чтобы я религиозной была, но каждый год зимой хожу в церковь, чтобы поставить свечку за Митю. Теперь еще и за Анечку. Это как память. Если они могут слышать, чтобы знали: я помню, не забыла.

- Знаете, мы праздновали с Олей наше пятидесятилетие, такой юбилейный был год, и я сказал, что хочу выпить за наше счастье... Мы были счастливая семья... Сглазил?

- Анечка была очень счастлива долго...

- Да. Пока была девочкой неразумной. Не могла разобраться в своей судьбе и слушать никого не хотела.

- Теперь я ставлю свечку и за Анечку... Береги Олю, Ванечка. Оказывается ее так легко сломать.

Ванечка поцеловал руку Елене Сергеевне и уехал на конференцию...

Он еще не знал, что его, оказывается, тоже очень легко сломать. Это случится не скоро, через много лет, в другом полушарии, в другой стране...

*Март, 2005, Кливленд*

## АЛЕКСАНДР ВИТКИН

### ВСТРЕЧИ...

Встречи, встречи, встречи... Сколько бывает их в нашей жизни: коротких и длинных, пустых и судьбоносных, делающих наше существование лучше или хуже, сложнее или проще? Одни бесследно стирает время, как в детстве волна смывала построенные из песка сказочные замки. Другие вплетаются в наше бытие, иногда прорастая насквозь, и тогда оставляя кровоточащую рану, которая, со временем, как шрам, заполняется инородной тканью.

Мы сидим в маленьком столичном кафе. Я почти типичный «новый русский» со всеми атрибутами этого понятия, включая квартиру в центре, дачу и «Мерседес». Это очаровательное создание, сидящее напротив меня за чашечкой ароматного кофе, дочь женщины, которую я возможно любил и которая почти восемь лет была неотъемлемой частью моего существования. Женщины, так неожиданно вошедшей в мою жизнь и так же внезапно ушедшей из нее, ни на минуту не волнуясь о пустоте, оставленной ее уходом. Она вообще умела уходить: от того, предыдущего ко мне, от меня - к другому, легко и спокойно, без лишних слов и выяснений отношений. Обычный поздний звонок: «Прости, я выхожу замуж». «Прямо сейчас?» - автоматически спросил я. «Нет, через две недели», - мило ответила она, словно речь шла о поездке с подругой, словно не было сотен, даже тысяч дней и ночей проведенных вместе. «Вчера ты не говорила, что у те-

бя кто-то есть». «Все и случилось только сегодня, - засмеялась она и добавила, - Все к лучшему. Теперь, наконец-то, ты обретешь полную свободу, которой тебе так не хватало». Помню, как после ее ухода я бросился в разгул, увеличивая количество женщин, как алкоголик увеличивает количество спиртного, тупо ожидая, когда количество перейдет в качество. Впрочем, к обильной любви, как и к пьянству, я оказался неспособен. В итоге я женился. Женился просто так, потому, что надо было уйти от прошлого, а может быть доказать себе и другим, что ничего страшного не произошло и жизнь продолжается. Люблю ли я ее сейчас? Однозначно нет. Помню ли? Скорее вспоминаю иногда, давно уже без боли и обиды, вспоминаю как часть своей молодости...

Спустя год после ее ухода я случайно увидел ее на остановке автобуса. Она и автобус? Вещи несовместимые. С первого дня нашего знакомства она и ее «Жигули» были для меня единым целым. Это сейчас женщин за рулем развелось, хотя большинство из них я бы и на пушечный выстрел не подпускал с машинами. А в те годы женщина за рулем была большая редкость и скорее повод для анекдотов, чем серьезный конкурент. Она же, в отличие от многих водителей обоего пола, не просто великолепно водила машину, ощущая ее каждой клеточкой своего тела. Без малейших признаков усталости она часами могла вести машину, наслаждаясь самим процессом вождения. Эта фанатическая страсть к движению объединяла нас не меньше, чем постель. Автомобиль был для нее живым существом, с которым она здоровалась, разговаривала, шутила, спрашивала совета. Иногда мне даже казалось, что его она любит гораздо больше, чем людей. И вдруг автобус. Это было так непривычно. Впрочем, все оказалось гораздо проще. Через два дня они с мужем улетали в Канаду. Навсегда. Напоследок полдня я поработал для нее водителем. Помню тающие в волосах снежинки, холодные губы. «Если бы мы случайно не встретились, ты так бы и уехала, не попрощавшись со мной?» «А зачем?». В этом была вся ее суть, но я всегда принимал ее такой, какой она была, не стараясь что-то изменить или переделать. Ее достаточно пытались переделывать до меня, подгоняя ее индивидуальность под свои примитивные рамки. В результате она вырывалась и уходила, продолжая оставаться собой. Впрочем, практика показала, что даже полная свобода не помогла удержать эту своеобразную натуру. Была ли она красива? Скорее да, чем нет, хотя даже понятие красоты, как и все остальное в ней, было неоднозначно. Как-то жена моего приятеля возмущалась: «Что вы все в ней находите? Ты же художник! Черты лица неправильные, для идеальной модели плечи слишком прямые, а талия слишком тонкая. Она вообще состоит из одних недостатков». «Но какое гармоничное сочетание недостатков. А гармония всегда прекрасна, особенно для художника», - парировал мой друг. Она действительно была великолепно сложена, изяществом форм напоминая старинный кувшин или гитару, кто что предпочитает. И совершенно потрясающая походка. Когда она впервые прошла мимо меня, я посмотрел вслед и пошел за ней, забыв обо всем: о пред-

стоящем свидании, встрече с друзьями... «Можно я буду вас сопровождать?» «Юноша, вы соображаете, сколько мне лет?» «А какое это имеет значение?» Узкое бледное лицо, тонкий с горбинкой нос, удивительного зеленого цвета чуть раскосые глаза. Неожиданно низкий голос. Вначале мне казалось, что ее необыкновенная, прямо-таки патологическая сексуальность объяснялась редкой женственностью фигуры, этим непередаваемым сочетанием девичьей тонкости со зрелой округлостью форм. Но это был лишь первый залп. Много позже, узнав ее ближе, я понял, что самым мощным орудием этой «Цирцеи» были глаза. Казалось, они состояли из миллионов разноцветных точек, которые, сливаясь, придавали глазам мягкий оттенок, напоминающий цвет болотной зелени. Но как обманчиво было это болото! Стоило лишь собеседнику, на свое несчастье, вызвать легкий интерес у этого монстра, как они загорались странным внутренним огнем, переливались, словно каждая точка жила своей отдельной жизнью, меняли цвет глаз от зеленого до почти стального. Иногда на свету в них вспыхивали яркие желтые искры, а зрачки превращались в маленькую черную точку, окруженную желто-зеленым ореолом. При этом в отличие от многих женщин, она умела не только говорить, но и внимательно слушать собеседника. Слушать молча. И тогда казалось, что в целом мире существуешь только ты и ее глаза. Они всегда были разными, как и она сама. Помню, как на ее защите чуть подвыпивший пожилой профессор, глядя на ее танец, сказал мне: «Посмотри на эту гибкую извивающуюся фигуру и русалочьи манящие глаза. Запомни. Это женщина всех времен и народов. Она всегда будет сводить с ума и молодых и стариков. Женщина вне времени и вне возраста. Смотри, вот она танцует как древнегреческая гетера, а всего несколько часов назад ее блестящим выступлением были покорены наши строгие корифеи, вообще считающие женщину в науке морской свинкой - и не морская, и не свинка. Когда эта ожившая статуя выходит на трибуну, в ней видят женщину. Когда она начинает говорить - оратора и конкурента. У нее ясный мужской ум и при этом чертовски развита женская интуиция. Ты хоть можешь себе представить этот гибрид мужского ума и женской интуиции? Впрочем, кому я это все говорю, что ты в этом можешь понять?». Действительно, что? Мне было плевать, на то, что она талантливый ученый. Это скорее мешало мне, часто отдаляя ее от меня. Я ревновал ее к работе, составляющей слишком большую часть ее жизни. Для меня она была просто любимой женщиной, иногда другом. Со временем я понял, что ей нравилось коллекционировать мужчин, раскладывая их в своей жизни по одной ей известным критериям, как коллекционер раскладывает свои трофеи. Это была игра, пикантная психологическая игра, частью которой был я сам. Это даже забавляло меня, придавая особую остроту нашим отношениям. И только однажды я сорвался, отказавшись играть по ее правилам. К этому времени я уже достаточно хорошо знал ее и приучил себя не ревновать, переводя все в шутку. И вдруг... Юбилей моего друга в дорогом новомодном ресторане. В качестве почетного гостя, выполняющего

за столом роль тамады, был приглашен молодой поэт и преуспевающий драматург. Личность, на мой взгляд, довольно заурядная, хотя и популярная. Фильм, снятый по его сценарию, только что вышел на экраны и вызвал много шума. Он раздражал меня с первой минуты. Раздражал всем: томным видом, слащавой красотой, манерой говорить, тихо, чуть растягивая слова, и особенно взглядом, странным ускользящим, словно проходящим сквозь тебя. Единственным приятным отвлечением была его спутница, на редкость красивая и эффектная молодая актриса с потрясающим бюстом. Свои тосты он произносил, чуть покачиваясь, ни к кому не обращаясь, словно делал одолжение окружающим одним своим присутствием. Он уже собирался уходить, ссылаясь на срочные деловые свидания и встречу с режиссером, пожимал руки, прощаясь с гостями, и вдруг замер на месте, словно пораженный ударом молнии. «Какая женщина», - выдохнул он и сел. Я знал ее много лет, но так и не смог привыкнуть к этому редкому таланту перевоплощения, удивительному женскому дару из золушки превращаться в принцессу. В этот вечер она действительно была неотразима. Светло-зеленое длинное блестящее платье, каким то чудом удерживающимся на одном плече, плотно облегалo ее фигуру, мягко подчеркивая все ее округлости и изгибы. Глаза горели ярче, чем изумруды в длинных серьгах. Волосы, обычно рассыпанные по плечам, были собраны в высокую прическу, от чего лицо казалось еще более утонченным, но чужим. «Всем привет. Я предупредила, что опоздаю. Наливайте "штрафную" за здоровье именинника. Нет, нет. Только не воду. Я предпочитаю запивать водку шампанским». На нашего поэта было смешно смотреть. Куда девалась его скука и высокомерие? Он шутил и смеялся, рассказывал анекдоты, читал (кстати, даже неплохо и с выражением) свои стихи, и без усталости танцевал. Заметьте, танцевал с моей женщиной, глядя на нее преданными собачьими глазами, совершенно забыв о своей спутнице. Самым мерзким было то, что он вел себя так, словно я был пустым местом. Лишь однажды, впервые посмотрев мне прямо в глаза, он с издевкой спросил, обращаясь только к ней: «Этот юноша с вами? А он не сможет проводить мою даму домой?». В заключение он поставил корзину роз к ногам моей возлюбленной и, требуя продолжения банкета, пригласил всех к себе в гости. Для меня это было последней каплей. «Давай уйдем не прощаясь. Я больше не могу». «Без проблем», - был ответ. Да, она умела быть великодушной. Впрочем, это не помешало ей встретиться с ним пару раз, потом. Спокойно, без всякого чувства вины, она рассказала мне об этом. «Пойми, мне было безумно любопытно, чем же все это может закончиться. В итоге - ничего интересного. Нудный нарцисс. А эти звонки в два часа ночи? Ты же знаешь, я готова убить за прерванный сон. Впрочем, он посвятил мне свою последнюю книгу стихов. Уже хоть что-то!». Как ни странно, но я никогда не думал, что она может мне изменить. Вернее, не хотел думать.

Справедливости ради надо отметить, что не только особи мужского пола, но и многие женщины были абсолютно ей очарованы. Подруги буквально боготво-



рили ее, хотя я абсолютно уверен, что она никогда не была способна ответить им такой же любовью и преданностью. Одна моя московская приятельница однажды сказала мне: «Ты даже не понимаешь, какое чудо имеешь. Смотри, то, что мы не ценим, всегда теряем». Какое мерзкое пророчество. По закону падающего бутерброда все плохое сбывается всегда. Впрочем, сейчас я не уверен, было ли это действительно так плохо? С ней я был другим. Лучше или хуже? Не знаю. Но другим. Возможно таким, каким она хотела меня видеть. В такой ситуации неизбежно приходится жертвовать как минимум частичкой своей независимости. Сейчас, спустя годы, я понимаю, насколько она была права, говоря, что своим уходом возвращает мне свободу.

Я смотрю на ее тридцатилетнюю дочь, вглядываюсь в черты лица, вслушиваюсь в ее голос, пытаюсь найти сходство. Как быстро идет время! Моя нынешняя подруга моложе ее, а когда я впервые увидел этого ребенка, ей было столько же, сколько моей дочери сейчас. Забавно! Похожа и непохожа одновременно. Также очаровательно сексуальна. Иногда прорываются привычные жесты или знакомые интонации в голосе. Пытаюсь представить ее мать с такой вот короткой стрижкой. Временами, когда она слушает мою болтовню, на лице появляется до боли знакомое выражение насмешки и легкого снисхождения, так не сочетающееся с этими удивительно детскими глазами. Странно, по сравнению с нашей молодежью эта девушка непривычно скромно одета, акцент почти не заметен, однако сразу чувствуется, что она *оттуда*. Никак не могу понять, что же так разительно отличает нас от наших бывших соотечественников живущих там? Такое же чувство было, когда два года назад я случайно встретился с ее матерью в Праге, в отеле. Я отдыхал с женой и дочерью. Она приехала с мужем, на какой то конгресс. Мы не виделись тринадцать лет, и все же, почти сразу, еще не видя ее, только по звуку голоса, произносящего непонятные французские слова, понял, что это она. Тогда я впервые увидел ее мужа. Все как в песне. Он действительно очень хорош: элегантная седина, выразительные карие глаза, при взгляде на нее до неприличия светящиеся любовью и обожанием. Она прекрасно выглядела, и они великолепно смотрелись вместе. «Знала к кому уходить, стерва. А ведь он всего на год старше меня», - подумал я автоматически. Она тоже узнала меня, поняла мое замешательство и всего одним запрещающим жестом решила все проблемы. Через час в номер позвонили, и мужской голос сказал, что в четыре часа меня будут ждать в баре. Это звучало как приказ. Как всегда она была чертовски пунктуальна. Парадоксально, но время, такое жестокое к моим сверстницам почти не оставило на ней своих следов. Все та же тонкая талия и великолепная шея с высоко поднятой головой, те же легкие изящные движения. Упругая грудь, как и раньше не обремененная лишними деталями туалета, просвечивается через тонкую, плотно облегающую кофточку. Прямая челка, знакомый разрез глаз. Разве что морщинки в уголках глаз стали чуть резче. Впрочем, ее они никогда не портили. Бокал вина, чашечка

кофе, сигарета. Те же привычки, только сигареты стали тоньше, а вино дороже. Странное волнение. Не знаю, о чем говорить. Я закурил ее тонкую сигарету с ментолом и с непривычки закашлялся. Потом начал нести полную чушь о дорогих машинах, отдыхе на Канарах, новом офисе, молодой подруге. Она молчала вино и слушала весь этот затянувшийся бред. Знакомые смешинки, появившиеся в ее глазах, прервали мой словесный понос. «Ты счастлива?» - вдруг неожиданно для самого себя выпалил я, понимая всю глупость и банальность вопроса. В ответ – смех. «Не обижайся, я смеюсь над собой. Я так часто думала об этом. Смешно, но только совсем недавно я нашла свое определение счастья. Понимаешь, за эти годы эмиграции я прожила целую жизнь, другую жизнь. Трудно сказать, лучше или хуже, но другую. Эмиграция меняет людей, иногда ломая их и обнажая самые неприглядные, обычно хорошо скрываемые черты характера. Иногда, напротив, она выносит на поверхность то лучшее, что есть в нас, что мы так часто боимся открыть даже самим себе. Как ни тривиально это звучит, но в жизни за все надо платить. За любовь, за успех, за материальное благополучие. И как часто цена бывает слишком большой! Да и можно ли оценить потерю друзей, разлуку с дорогими и близкими людьми или даже отсутствие за окном любимого дерева? Как трудно бывает осознать, что все это – *навсегда*. Не обижайся, тебе этого не понять. Раньше я была просто умной, а сейчас стала мудрой. Я научилась с приятной грустью вспоминать прошлое, но не жить в нем. А самое главное – я научилась понимать и прощать людей, и если и не любить, то, по крайней мере, быть к ним терпимой. Так вот счастье – это когда человек живет в гармонии с собой и окружающим его миром. Вдумайся. Гармония с собой – это когда ты здоров, не занимаешься самоедством, не завидуешь другим и радуешься тому, что у тебя есть. Когда утром ты встаешь в хорошем настроении, а вечером засыпаешь, не жалея о прожитом дне, даже если шел дождь, и ничего особенного в этот день не произошло. Гармония с окружающим миром – это в первую очередь гармония с близкими тебе людьми. Когда ты можешь рассказать обо всем, и тебя понимают. Но главное – когда можно просто молчать вдвоем. Ты знаешь, как это здорово уметь молчать вдвоем!? Не отдельно, замкнувшись каждый в свою скорлупу, а вдвоем, не мешая при этом друг другу мечтать и думать о чем-то своем, не посягая на внутреннюю свободу. Конечно, в идеале гармоничный окружающий мир включает еще и любимую работу, приятных коллег, «идеальных шефов и начальников». Но, поверь моему опыту, во многом и это зависит от нас самих. Если нельзя изменить, то нужно приспособиться или просто не замечать». Она резко встала, собираясь уходить, и как в старые добрые времена чмокнула меня в нос. «Подожди, ты так и не ответила на мой вопрос?» «Разве? Какой же ты все-таки глупый. Как говорят мои ученые коллеги, главное – это найти о-п-р-е-д-е-л-е-н-и-е понятию, а остальное дело техники. Ты еще не понял формулы счастья? Хочешь быть счастливым – будь им! Сделай хотя бы то, что зависит от тебя. Будь в гармонии с самим собой.

Пусть тебя не волнует, что у кого-то больше денег, дороже «тачка», лучше квартира, моложе или красивее подруга, престижнее работа. Радуйся тому, что конкретно у тебя есть или нет. Например, отсутствие болезней, по крайней мере, серьезных, тоже повод для счастья. Понял? Дерзай! Мне пора. Меня ждут».

... «Мне пора. Меня ждут», - сказала ее дочь, резко подымаясь со стула. В эту минуту я понял, что такими удивительно похожими их делает не только выражение глаз. Они всегда верны себе, они всегда уходят вдруг, уходят от таких, как я, к тем, кто их понимает, и с кем можно молчать вдвоем. К тем, кто спокойно и с радостью отдает ей, единственной, свою свободу, ничего не требуя взамен, и, может быть, благодаря этому получая все, включая постоянство и верность «самой ветреной из женщин». А что остается таким, как я? Вечный поиск счастья? Хорошо она сказала о самоедстве. Знает ведь, ведьма, что это мое больное место. Нет, формула счастья у каждого своя, и я буду искать свое о-п-р-е-д-е-л-е-н-и-е...

**МАЙКЛА ДЖ. НИКЛАСА** человеком ординарным не назовешь, а потому читателю, возможно, будет безынтересно узнать основные вехи его жизни.

Родился он в американском городе Бетлехем, штат Пенсильвания. Отец, украинец по происхождению, был, как участник восстания на крейсере «Очаков» в Севастополе, приговорен царскими властями к расстрелу. Но ему удалось бежать через российскийско-австро-венгерскую границу и после бедственных скитаний по Европе в конце концов добраться до Америки. Он женился, стал сталеваром на заводе Бетлехем-Стил, купил в рассрочку небольшой дом – в семье росло четверо детей. Однако в годы Великой Американской депрессии вместе с миллионами других американцев оказался безработным, семью выбросили на улицу из недооплаченного дома. Пришлось перебраться в Нью-Йорк, где, казалось, было легче жить. В поиски заработка включились все члены семьи, в том числе и самый младший – автор публикуемого ниже рассказа. Ему, восьмилетнему, вместе с другими бойкими мальчишками, пришлось чистить ботинки на Бродвее, продавать газеты и журналы, быть подсобным у художников в Центральном парке и акробатом-эксцентриком в цирке...

А в 1934 г. безработный отец в числе нескольких сотен других американских специалистов подписал контракт с советским правительством и на пароходе «Мавритания» отбыл вместе с женой и тремя сыновьями (старшая дочь Энн осталась на родине) в Советский Союз, где сам Орджоникидзе направил его на Макеевский металлургический завод имени Кирова. В Макеевке Никлас окончил школу в тот самый год, когда началась Отечественная война. В 1942 г. он вступил добровольцем в Красную Армию, прошел с ней боевой путь от Курска до Берлина, и 2 мая 1945 г. оставил на английском свой автограф на одной из колонн Рейхстага. После войны учился, стал режиссером. Многие годы руководил Украинским Музыкально-драматическим театром в Херсоне, работал главным режиссером Госконцерта Союзного Министерст-

ва культуры. Он - автор и постановщик четырех своих пьес, а также нескольких сценариев международных эстрадных представлений, в которые привлекал звезд мирового класса из многих стран мира, включая Соединенные Штаты Америки.

Никлас – мастер художественного слова, автор-исполнитель невыдуманных новелл, объединенных в циклы (например, «Американец в стране большевиков», «Там, за океаном», «Кто же убил президента?» и др.). Это - повествования «о времени и о себе», обличенные в художественную форму достоверные факты и события, активным участником которых был. Тематика новелл, умелое развитие сюжета, порой чуть ли не в детективном жанре, талантливая подача материала обуславливали неизменный успех его выступлений в республиках бывшего Союза и за рубежом.

В 1994 г. Никлас вернулся в Америку – страну, где был рожден и прожил свое первое десятилетие. Сейчас он живет в Ньютоне, штат Массачусетс, с неиссякаемым интересом, порой с горечью, следит за происходящим в стране и в мире, много трудится – продолжает писать свои новеллы, выступает с ними теперь уже, в основном, перед американской аудиторией. Возможно, со временем из них составит книга, которая внесет свой штрих в общий портрет минувшего столетия.

София Кугель

**МАЙКЛ ДЖ. НИКЛАС**  
(Авторизованный перевод с английского)

## ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

### КАК Я ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ

Невозможно рассказать вам историю моей жизни, моей довольно странной жизни, не начав ее с того, что появился я в этом грешном мире почти полностью готовым к отправке на кладбище, которое, кстати, находилось совсем недалеко от дома. И если бы не наш семейный врач, я точно лежал бы на том бетлехемском кладбище.

...Когда мне исполнилось шесть, родители решили отметить мой день рождения, пригласив нескольких своих друзей. Самым близким из них был доктор Мийгел, тот самый наш семейный врач. Когда пришла его очередь произнести тост, он обратился ко мне:

- На втором этаже, в спальне этого уютного дома, шесть лет тому назад, в 4 часа пополудни твоя мама родила младенца – хилого, темно-синего цвета, не издавшего ни единого звука и вообще без каких-либо признаков жизни. Все необходимые в таких случаях меры не помогли и, честно говоря, я готов был уже вымыть руки и подписать документ о том, что младенец был мертворожденным.

- Минуточку, док! – не выдержал я. – О ком это вы говорите? Это я родился без признаков жизни?

- Вот именно, - подтвердил доктор Мийгел, - это был ты, герой нашего сегодняшнего торжества.

- И вы меня оживили?

- Оживил. Дело в том, что когда не осталось никакой надежды, мне вдруг показалось, что ты издал нечто похожее на слабый вздох. Не веря в удачу, я решил на последнее средство: поднял тебя за обе маленькие ножки над тазом с водой и, смочив ладонь, стал хлопать по спинке. Прошла минута, вторая... На третьей минуте ты стал дышать.

- А потом что? — мне не терпелось узнать, что было дальше.

- Потом я вымыл руки — моя работа была закончена. — Доктор улыбнулся. — А что было потом, может рассказать твоя мама. Наверное, это будет интересно послушать не только тебе.

- Да, да, конечно, — закивали головами гости.

Но прежде, чем продолжить повествование, я позволю себе небольшое отступление — расскажу немного о своих родителях то, что узнал о них, став постарше.

Мама моя была правозерной католичкой, отец — убежденным атеистом. По воскресеньям мама ходила в костел, а отец — в свой рабочий клуб. Мама читала Библию и всякие сентиментальные рассказы, отец любил свою газету «Дэйли Уоркер» и книги по истории. Мама слушала заезжих проповедников, отец — знаменитую Матушку Джонс и Матушку Блур, Юджина Дебса, Джона Рида, Льва Троцкого и многих других радикалов. Было удивительно, что таким разным людям удается прекрасно ладить друг с другом.

Мама не раз вспоминала:

- Когда увидела твоего отца впервые, сердце мое затрепетало: вот это — мужчина! Он был самым красивым из всех, кого знала. Высокий, стройный, широкоплечий брюнет с живыми глазами и подкрученными по тогдашней моде усами. Ты бы видел, как он танцевал, как играл на гармонике!

От отца я слышал рассказ, подобный маминому:

- Она показалась мне самой красивой девушкой на свете: изящная фигурка, длинные темные локоны, небесно-голубые глаза и лучезарная улыбка. Встреча с ней была наградой за все испытания, через которые довелось пройти.

Замечу здесь, что приключения, выпавшие на долю моего отца, — особая история, которую мне еще предстоит рассказать...

Однажды во время вечерней мессы священник укоризненно спросил у мамы:

- Дочь моя, почему твой муж никогда не приходит в нашу святую церковь?

- Потому, что он другой веры, — ответила мама.

- Как ты можешь жить с человеком другой веры? — возмутился священник.

- Я люблю своего мужа, отец мой, — твердо ответила мама. — Библия учит нас, что любовь превышает всего, разве не так?!.. Муж у меня один, а святых храмов в нашем Бетлехеме много. Я скорее поменяю церковь, чем мужа. Найду другой приход.

С тех пор священник избегал разговоров на эту опасную тему.

Однако вернусь к своему повествованию. Мама продолжила рассказ доктора:

- Ты выглядел таким неприглядным и хилым, думала — не жилец, месяца не протянешь. И если помрешь, не попадешь на небо — некрещеных туда не берут. Об

этом мне страшно было даже подумать. А отец твой, безбожник, был, конечно, против крещения.

Мама взглянула на отца, сидевшего поодаль в кресле с трубкой во рту, ожидая его реакции. Но тот промолчал.

И мама поведала о том, что ее сестра, моя тетушка Энни, посоветовала окрестить меня тайно от отца. Договорились обо всем со священником по имени Стефан. Тот сказал, что, поскольку обряд будет тайным, мама должна заплатить ему не три доллара, как обычно, а пять. По тому времени это были большие деньги, но пришлось согласиться. Крещение было назначено в среду, когда отец работал.

- Принесли мы с тетушкой Энни тебя в костел, развернули. Священник Стефан, взглянув, воскликнул: «Дочь моя, возрадуйся, возгордись! Ребенок, тобою на свет божий рожденный, как две капли водицы святой подобен младенцу Иисусу Христу на руках у Пресвятой Девы Марии». Боже мой! Неужели правда? — подумала. Я так обрадовалась, так возгордилась, что Господь меня тут же за это наказал: сама не заметила, как вместо одной пятидолларовой бумажки дала отцу Стефану две, и он их взял. Я же, когда обнаружила свой промах, ахнула: это ведь втрое больше установленной платы!

Мама снова опасливо взглянула на отца, как бы спрашивая, продолжать ли? Он лишь слегка усмехнулся, мол, говори, чего уж там!

- А когда настала пора заполнять налоговую декларацию, отец не досчитался десяти долларов. Пришлось во всем сознаться. В оправдание повторила ему слова священника Стефана, думала обрадовать. Но что я в ответ услышала! Даже сейчас произнести такое святотатство язык не поворачивается.

Я тут же повернулся к отцу:

- Скажи, пап! Что ты маме тогда наговорил?

Отец вынул трубку из рта, снова усмехнулся и произнес:

- Ладно, Нелли, пусть наш сыночек услышит, что я тебе тогда сказал. А сказал я так: «Сукин сын твой священник, женоушка моя дорогая! Дурит вас, черт бы его побрал! Он всем женщинам говорит одно и то же — каждый младенец у него похож на Иисуса, а каждая мать — на деву Марию. И вы — ты вместе со своей наивной сестрицей Энни — размечтались. Небось, думали, разнесется молва, что в нашем пенсильванском Бетлехеме еще один Иисус Христос на свет божий явился, теперь уже американский, и хлынут сюда паломники со всего света посмотреть на это чудо! Так вы подумали? Выкиньте эту блажь из головы: ни на какого Иисуса Христа наш сын не похож. И, думаю, жить ему придется, как мне, — по двенадцать часов пахать, чтобы сводить концы с концами...».

Забегая вперед, скажу, что жизнь моя не была похожа на отцову, но работать всю жизнь пришлось много — тут он, пожалуй, как в воду глядел.

## МОЕ ПЕРВОЕ ПРОЗВИЩЕ

Было это, если мне память не изменяет, за два — три месяца до того, как мои родители решили отметить мой шестой день рождения.

Дождливым воскресным утром под навесом крыльца нашего дома собралась компания разновозрастных подростков: Майк и Джон, мои старшие братья, кузен Джон, Юджин Пэтрик, Джим Косэк и я.

Кузен Джон был моим ровесником, мы оба окончили первый класс Бетлехемской начальной школы имени Джорджа Вашингтона. Джиму уже исполнилось восемь, он перешел в четвертый класс нашей школы. Юджину и моему брату Джону было по десять, им предстояло учиться в шестом классе средней школы. А Майку было почти четырнадцать, он стал десятиклассником. Вот такой была наша компания ребят на Восьмой стрит.

До того воскресного утра все, за исключением меня, имели известные всей улице прозвища. Майка, например, прозвали Ларди, т.е. «жирный», но не потому, что он был таким на самом деле, просто-напросто был плотнее всех остальных ребят. Брата Джона окрестили Хэффи, что означало «половинка» - он был почти вдвое хуже Майка. Прозвище Юджина Пэтрика было Жи-Пи - по начальным буквам его имени и фамилии. Джима Косака прозвали Кроссайд - «косоглазый», так как он немного косил, а кузена Джона - Литтл Джонни, он был самым маленьким среди нас. Лишь у меня одного не было никакого прозвища, меня называли просто Никки. Иногда, правда, дразнили Никки-Никки-болшэвики - бывшее в то время у всех на слуху слово удачно рифмовалось с моим именем.

Дождь лил, как из ведра, и мы не могли пойти в наш любимый Сокэн-Парк, где обычно летом играли в бейсбол. А потому, сидя под навесом, обсуждали городские новости. Нас, детей сталеваров, волновали те же проблемы, что и взрослое население города: как помочь рабочим завода «Bethlehem Steel Co» организовать профсоюз и как избавиться от наглых крыс, вдруг появившихся в городе. А потом разговор зашел о том, кто чем займется, когда вырастет.

Ларди заявил, что станет художником. Это никого из нас не удивило, так как он здорово рисовал и даже оформлял школьную газету. Хэффи сказал, что пойдет в университет и выучится на профессора истории или на прокурора. Никто в этом тоже не усомнился - он уже тогда, в свои десять лет, вмешивался в наши с Литтл Джонни споры и пытался поучать. Жи-Пи намеревался открыть банк на Мэйн стрит в Бэтлехеме. Тоже понятно - он иногда одалживал нам никэл или дайм, за что брал небольшие проценты, которые тщательно высчитывал. Кроссайд решил после четвертого класса бросить учиться и пойти плавать юнгой: «Хочу повидать мир», - объяснил он нам свой выбор. Литтл Джонни, большой любитель сладостей, собирался открыть цех, или даже целую фабрику по производству ванильного и шоколадного мороженого.

- А ты, Никки, что молчишь? Кем собираешься быть, когда станешь взрослым? - обратился ко мне Ларди.

- Боюсь, что вы поднимете меня на смех, если скажу, - честно признался я.

- Нет-нет, мы не станем над тобой смеяться, - заверил меня

Хэффи. И для большей убедительности добавил: - Честное слово и чтоб мне сдохнуть!

Остальные дружно его поддержали:

- Давай, Никки, говори, не бойся!

Я набрал воздух в легкие и выпалил:

- Хочу стать президентом Соединенных Штатов. Вот!

Никто - ни Ларди, ни Хэффи, ни даже Жи-Пи, выполняя обещание, даже не улыбнулись, но было видно, что они с трудом удерживаются от смеха. А Кроссайд и Литтл Джонни открыли рты от удивления.

- Как тебе в голову пришла такая идея? - весело поинтересовался Ларди.

- Моя училка Мисс Смит сказала, что любой из нас имеет право стать президентом, когда ему исполнится 35 лет. Так записано в Конституции Соединенных Штатов, она сказала.

- Мало ли что там записано, - усмехнулся Хэффи. - Нет, а если серьезно, кем ты хочешь стать? Может, сталеваром, как отец, или профсоюзным деятелем, как сестра Энн, или кем-то еще?

Хэффи явчо хотел мне помочь. Но я упрямо стоял на своем:

- Я уже сказал - президентом Соединенных Штатов, и точка!

- Послушай, Никки, - вступил в разговор Ларди. - А знаешь ли ты, например, сколько денег нужно потратить на президентскую избирательную кампанию?

На лицах моих друзей появились откровенно ехидные ухмылки. Это меня задело:

- Вопрос до конца еще не решен, - важно заявил я. - Но ты, Ларди, и ты, Хэффи, вы же оба видели моего фаянсового зайчишку с прорезью для денег, которого мне подарили родители на прошлый день рождения. И, между прочим, меньше, чем за год он почти доверху заполнился даймами и квотерами. А до тридцати пяти представляете, сколько денег соберется? Но, разве деньги !! главное?

- А что же, по-твоему, главное? - спросил Ларди.

Все смотрели на меня с любопытством.

- Главное то, что я люблю всех рабочих людей Америки: черных, белых, желтых и краснокожих. И я буду их президентом. Так я решил!

- О'кей, - сказал Ларди. - Допустим, тебя и впрямь изберут президентом. Каким будет твой первый президентский указ?

Я подумал немного и объявил, что для начала отправлю космический корабль на какую-нибудь далекую планету. Ребята удивленно переглянулись, они, очевидно подумали, что у меня крыша поехала.

- Зачем же тебе надо сразу посылать корабль на какую-то планету? - выразил общее недоумение Ларди.

- А затем, что я хочу, чтобы на заводе, где работает папа, был создан профсоюз сталеваров. Но хозяин завода Чарли Шваб - против. Он грозит уволить и занести в черный список всех, кто будет агитировать за профсоюз. А я посажу в космический корабль его и других таких же хозяев и отправлю их всех ко всем чертям в космос. Пусть они на какой-нибудь другой планете эксплуатируют друг друга сколько угодно!

Я не сказал ребятам, что идея эта не моя: недавно я услышал, как один из наших соседей говорил другому, что, мол, хорошо бы собрать всех этих чарли швабов вместе, да отправить куда подальше.

- И это все? - спросил меня Хэффи.

Все насторожились, что я еще придумаю?

- Нет, конечно, - во всю заработала моя президентская фантазия. - Это только самый первый шаг. А вторым будет распоряжение... - я выразительно посмотрел на Кроссайда и Литтл Джонни - выдавать всем ученикам в школах мороженое с клубникой. И тогда никто не станет бросать школу.

- Ну и ну! - друзья уже больше не сдерживали веселья.

- Что же еще? - явно потешаясь, поинтересовался Джи-Пи.

Что ты сделаешь еще?

Я повернулся в его сторону. Среди всех нас он был единственным обладателем пневматической винтовки с оптическим прицелом, и мы все ему страшно завидовали, когда он расстреливал жестяные банки или молочные бутылки.

- А еще я распоряжусь, чтобы всем ребятам в Бетлехеме выдали пневматические винтовки и тогда мы перестреляем всех крыс в городе.

- Во дает! - воскликнул Ларди.

Остальные ребята буквально покатались со смеху: ай да Никки, ну и президент! Хохотали так, что перепуганная мама выскочила на крыльцо узнать, что случилось.

- Awful visionary (невероятный фантазер)! - указывая на меня, ответил Ларди.

Так неожиданно я получил свое первое прозвище - Awful visionary, сокращенно AV, т. е. Эй-Ви.

Прозвище надолго пристало ко мне. И не только братья и ближайшие дружки, но и взрослые, увидев меня на Восьмой стрит, кричали: «Гэй, Эй-Ви! Что ты еще сделаешь, если тебя изберут президентом?» И я, войдя во вкус, каждый раз что-нибудь придумывал. Чаще всего мои ответы казались всем очень смешными, хотя, честное слово, я вовсе не шутил и даже завел тетрадь, на первой странице которой вывел крупными буквами: «Решения президента США». Помню, что отец, прочтя однажды мои сногшибательные проекты, весело рассмеялся: «Ай да Эй-Ви, ай да Son of a gun! За такого президента я, пожалуй, проголосовал бы обеими руками!»

## СЛАВА ПОЛИЩУК

### ВМЕСТО АВТОБИОГРАФИИ

*Иде*

\*\*\*

По Волге. После училища я работал грузчиком в Союзе художников. Директор салона на Ленинградском проспекте Валерий Дмитриевич Пейдус, спивающийся бывший дипломат со знанием французского, пустил меня к себе "на голову". Это было странство между потолком его кабинета и полом следующего этажа. Чуть выше моей головы. Пуская меня, он сказал, что помещение тесноватое, но в нем сидел когда-то Виктор Попков. Этой рекомендации было достаточно. У Пейдуса водились деньги. Он торговал картинками "налево" и угощал меня всякими вкусными штуками из соседнего грузинского ресторана. Там я закончил *Армейскую серию* и начал *Песни Субботы*.

Однажды мне предложили поехать в экспедицию по Волге. Цели плавания были не совсем ясны. На борт посудины, загрузили ящики с клеем "Биофак. МГУ". Это было последнее плавание, после которого суденышко должно было пойти под резак. Отплытие обставили торжественно. Прибыли красотики проходившего в это время в городе конкурса. За борт опустили какую-то продолговатую штуку, предназначавшуюся для забора воды на разной глубине. Замелькали вспышки и защелкали камеры на берегу. Капитан что-то буркнул в рупор и отдал команду механику. Девочки сбегали по трапу на берег, и наша посудина нехотя отвалила. Но плавание продолжалось недолго. Где-то за Химками бросили якорь. Боцман сошел на берег и скрылся в темноте. Лицо его было трезво и сосредоточенно. Больше я его таким не видел. Капитан сказал, чтобы не разбегались и были готовы в любую минуту к отплытию. Решив прогуляться, я пошел по тропинке, осторожно ступая по высокой траве, усыпанной вечерней росой. Вскоре стали слышны звуки веселой музыки и впереди замелькали огни дома отдыха. Вспомнив о словах капитана, я повернул назад. Навстречу шли женщина и мужчина. В темноте были видны только очертания фигур. Приблизившись на расстояние, когда надо принимать решение - уступить дорогу или нет, - я поднял голову, всматриваясь в идущих. Впереди шла женщина, осторожно ступая, стараясь не замочить ноги. Чуть приподняв плечи, она зябко куталась в длинную кофту, скрестив руки на груди и спрятав ладони в рукава. Ее голова, с гладко зачесанными и туго стянутыми платком волосами, была опущена. Приблизившись, она приподняла голову, и я узнал Инну Чурикову. "Добрый вечер", - сказал я, сходя в мокрую траву. Мужчина предсудительно шел сзади - ему бы я никогда не уступил сухую тропу. Поравнявшись со мной, он голосом Панфилова произнес "спасибо". Находясь в возвышенном состоянии духа, - ночь, Жанна д'Арк, музыка с танцплощадки, - я вышел к месту нашей стоянки. У сходней тарахтел грузовик. Веселый боцман перетаскивал на палубу ящики, нежно позвякивающие в ночной тишине. В ту ночь мы так и не тронулись.

Два первых дня мы шли по Каналу. Последний переход представлял собой два громадных по протяженности отрезка, совершенно прямых, с небольшим углом посередине. Я сидел на носу, прислонясь спиной к нагретому солнцем железному ящику и свесив ноги за борт. Было жарко. Вода неподвижно стояла между низкими покатыми берегами, засыпанными щебнем. Ни одно судно не встретилось нам, не обогнало нас. Тишина, тарахтение двигателя, шелест тяжелой, маслянистой воды под форштевнем, безлюдные паромные переправы. И все же присутствие человека было заметно по холодящему душу порядку, однажды заведенному в этих местах. Береговые откосы, утыканные невысоким редким и молчаливым лесом, отражавшимся в мертвой, серовато-коричневой илистой воде, начинались насыпным основанием. Выше лежали бетонные плиты, переходящие в горизонтальную плоскость - широкую ступень, поросшую травой. Редкие отдыхающие никогда не располагались на этой зеленой площадке - они расстилали свои подстилки на голых железобетонных плитах. Красные тела, прикры-

тые панамы и косынками, были выложены на плитах, как куски мяса на сером мраморе прилавка. Иногда тела соскальзывали в темную воду, заглатывающую их, и казалось, что на поверхности больше никто не появляется, тем самым восстанавливая порядок в отношениях бетонных плит, мертвой воды и низкого выжженного неба.

На третье утро мы подошли к шлюзу. Вода опускалась медленно. Огромные блоки, поверхность которых была слепком с задубевшей кожи рук и спин тех, кто строил этот мешок, составляли стены шлюза. В пятнах солянки, с плавающими обломками досок, огрызками яблок, кусками пористого пенопласта, вода лениво, с чавканьем опускалась все ниже и ниже. Вдоль стен, по вмурованным рельсам с воющим грохотом скользили крючья, к которым привязывались корабли. Мы проваливались в гулкий холод гигантского колодца. Дойдя до нижнего предела, крюк с лязгом ударился о выступ и остановился. С торчащей арматурой, покрытая зловонной испариной, тускло поблескивая под редкими лучами доползающего сюда солнца, поверхность стен выдавливала из себя холодную жижу. Посаженный на крюк корабль бился о рельсу, иссеченную бортами судов, кроша дерево поручней. Ячеистые ржавые ворота, затворявшие шлюз, обнажились из-под воды. Со скрежетом, усиливающимся на глубине многократным эхом, они медленно раскрывались. В расширяющуюся щель ударило солнце. Створки ворот зло, нехотя впускали его в склеп. Прижатые к стенам суда задвигались и одно за другим потянулись из шлюза.

Как-то не спалось. И странно качало, хотя ночь была тихая. Я поднялся на палубу. В рубке горел дежурный свет и я решил заглянуть туда. Николаич стоял в трусах, навалившись на штурвал. Я подошел ближе и окликнул его. Ответа не последовало. Сумрак скрывал лицо боцмана. Тяжелый дух водочного перегара перекрывал все запахи могучей реки, несшей нашу посудину. Николаич был мертвецки пьян. Веки боцмана медленно, в такт каким-то неведомым силам, опускались и поднимались, иногда задерживаясь в нижней точке траектории дольше обычного – в эти мгновения боцман спал. В такт движению век его тело моталось из стороны в сторону, что и являлось причиной качки. Я посмотрел в окно рубки. Река в этих местах была неширокой и мелкой. Мигающие в темноте буйки показывали узкий форватор. Было тихо. Только всхлипы воды, разрезаемой носом судна. Вдруг, нарушая заданный ритм, веки Николаича на мгновение задержались в верхнем положении, и, не поворачивая головы в мою сторону, боцман отчетливо произнес, с трудом преодолевая букву "с": "Не с-с-ы, Славик, доплывем". Я вышел из рубки, оставив боцмана нести бессонную вахту. Оглянувшись, я увидел болтающуюся голову Николаича. Только чудо спасло нас в ту ночь.

Ближе к Чебоксарам стало понятно, что продуктовый запас иссякает, хотя еще не была пройдена и половина пути. Тушенку, колбасу, чудные бычки в томате, крупу, – все обменяли на водку и самогон. За самогон местные жители подкармливались с проходящих судов. В Чебоксарах последние запасы вынесли к открытию винного магазина. Плавсредство стояло на приколе. Боцман с капитаном каждое утро отправлялись в парходство, в надежде получить права, ото-

бранные у боцмана, когда он отмечался в порту после тяжелого похмелья. Каждый раз, получив отказ, они возвращались "в стельку". Вечерами я ходил в город. Белые пластмассовые стулья летнего кафе не убирали на ночь, и я слушал отдаленное звучание грузовых кранов, гудки проходящих барж. В темноте набережную перебежали лягушки, мелкие и в крапинку. Ночь превращала в пятна нелепую, залитую асфальтом площадь, сквер, бетонный берег и ржавую трубу, день и ночь с дребезжащим воем высасывающую песок со дна реки. Одним концом труба, живая членистая кишка, в грубых швах, оставленных сваркой, уходила в воду, утолщаясь в месте соприкосновения с радужной жижей, а другим концом, неуклюже огибая бетонные береговые глыбы, уползала за изгиб набережной. Я прислонился к трубе, вслушиваясь в шуршание песка. Когда компрессор переставал работать, по уставшему телу трубы пробегала дрожь, гулко отдаваясь в каждом суставе, и затем затихала.

К тому времени из художников на судне остался только я один. Пара ученых ловила рыбку с кормы и жарила ее на остатках масла. Я свернул холсты и рано утром сел на Ракету, домчавшую меня до Горького. Прямо из порта я направился в баню. Тем же вечером я наслаждался пахнущим дешевым хозяйственным мылом постельным набором поезда Горький-Москва.

\*\*\*

**В Санкт-Петербурге.** Однажды позвонил дядя Миша из Ленинграда. Он сказал, что есть помещение – мастерская, предназначавшаяся для него как художника конструкторского бюро. И я могу попользоваться. Ничего лучше придумать было нельзя.

Я любил халод мансарды на Петроградской стороне, возле морского училища. У меня была плитка и я отогревался чаем, смотря в окно на жесть крыши, вылизанную до блеска пронизывающим ветром, гнавшим редкую снежную крупу. Марля крупы закручивалась вокруг выщербленных труб, пытаясь согреть выстуженный кирпич. Я спускался по узкой, пропахшей кошачьей жизнью лестнице черного хода, тускло освещенной редкими лампочками. На стенах сохранились синие стрелы и надписи "бомбоубежище". Было непонятно, оставшиеся ли это с войны, или только что нарисованные. Отличить было трудно. Да и кто хотел отличать. Я проходил аркой к скверику возле церкви. Кажется, слева был мост, выводивший меня на Васильевский, к Бирже и Музею. Минуя Стрелку и Дворцовый мост – к Эрмитажу. Пользуясь единственной своей привилегией – не стоять в очереди, я проскальзывал мимо замерзшего милиционера, сдавал пальто и шапку, и – мимо еще одного кордона билетеров – проходил к главной лестнице. Могу представить, как я выглядел в своем бордовом свитерке, по низу которого мама протянула резинку, чтобы остановить неуклонное движение ниток вниз, вдоль вытертых сзади до блеска солдатских брюк к такому же происхождению ботинкам. Но я чувствовал себя прекрасно среди всего этого золота и лепнины. Выходил из Музея уже поздно вечером. Ветер не отставал, набрасываясь с разных сторон, догоняя на перекрестках. Невский неожиданно проваливался в широкий и пустынный Литейный, с редкими фонарями, промерзшими трамваями, жующими на ночном морозе звенящую



сталь рельсов, с плотно прижатыми друг к другу домами, среди которых невозможно было укрыться от ветра. Еще раз направо. Улица засыпала. Как-то возле коней Клодта, на углу, купил тонкую книжку стихов, на синей обложке которой было указано: Иосиф Бродский.

Мне приходилось часто менять места своих мастерских. Даже в пределах одной квартиры это было постоянное перемещение. Я не успевал обжить подвал, как приходилось перебираться на чердак. Может быть, поэтому, мне нравится складная мебель, особенно столы на колесиках. И сейчас я не могу спокойно пройти мимо помойки, если вижу складной деревянный стул, годный к употреблению. В результате невозможности обосноваться на одном месте, неутоленная любовь сконцентрировалась на минимально малой, почти неделимой, части мастерской — столетумбе на колесах, крышка которого служит палитрой. Но даже его, который могу унести на своей спине, я сделал складным, максимально упростив возможный процесс восстановления на новом месте.

Я любил эти места. Подвал, где можно было обсохнуть и отогреться после часов долбления льда под зорким оком завхоза; старый дом, звуки и запахи которого проникали в узкую щель бывшей ванной комнаты; "голубятню", из окна которой я вылезал на теплую крышу, куря папироску и наблюдая, как дымок отлетает в сторону Садового кольца; конуру, оставленную, как милость, одним могущественным графиком между потолком своей гигантской мастерской и крышей, где я мог находиться, только пригнув голову, смотря в обресток окна на дом Чехова; мансарду на Петроградской стороне, удобство которой заключалось в наличии бомбоубежища. Я мечен этими местами. Мечен потоками ржавой воды из прорванных труб, тишиной катакомб подвала мебельной фабрики, жарой котельных и промозглым холодом чердаков. Перемена этих мест и есть моя биография.

И еще приезд в Ленинград, последний, осенний. Улица, на которой мы жили, вела к реке и саду. Вечером мы покупали копченую курицу, помидоры, огурцы и пиво. Мы поднимались по чугунной лестнице и шли на запах ветчины, которую подавали в буфете, напротив нашего номера. У нас был один стул, на который мы усаживались вдвоем. Мы рано ложились и поздно вставали. Днями бродили по засыпанному листьями городу, отогревались в забегаловках и смотрели на воду.

\*\*\*

**Московское метро.** Обилие мрамора и гранита делало станции похожими не на мавзолеи, главный из которых, на Красной Площади, казался выходом из метро. Это чувство усугублялось непонятно откуда появлявшимися членами правительства на стенах усыпальницы, как толпа рабочих, вывалившаяся из дверей Автозаводской. Меня никогда не покидало ощущение тайны в Московском метро. Вдруг расхопившиеся туннели, пустыми рукавами инвалида тянувшимися в никуда, всегда наглухо закрытые железные двери в глубоких нишах на пути следования поездов, странно проложенные маршруты, заканчивавшиеся на безлюдных платформах, скопление станций и пересадочных

узлов под улицами, на которых находились правительственные здания, переходы, зачем-то врезавшиеся в вековые фундаменты, — все это наполняло незатейливую идею перевозки населения иным, таинственным смыслом, заставляло думать о секретных задачах, возложенных на плечи работников метро.

Подземные дворцы станций поражали количеством ниш и арок. Греки ставили в ниши женоподобных мальчиков, римляне — бюсты императоров, ниши московского метро были пусты. Иногда страсть к нишам принимала размеры навязчивой идеи, как на Лермонтовской, где из темно-красного, почти коричневого мрамора стен, отделявших платформы от центрального зала, будто из брикета шоколадного мороженого круглой ложкой были выбраны холодные шарики, оставив глубокий ровный след. В ночные часы эта пустынная станция напоминала храм. Кто знает, быть может затаенная мечта построить храм владела Щусевым, успевшим до революции возвести несколько церквей. Во всяком случае, о зиккурате в Уре Халдейском он знал, чему свидетельством им сконструированный мавзолей.

Однажды поздно вечером, когда только уборщица подметала в дальнем конце станции, постукивая деревяшкой швабры о гранитный пол, я встал в нишу. Глубокая выемка скрывала меня полностью. Стоять было хорошо и уютно, как бывало в Новгороде, прислонясь к беленой стене и задрав голову, рассматривать столпников Феофана Грека, прислушиваясь к тишине, нарушаемой мягкими щелчками падающего на каменный пол голубиного помета.

Иностранные туристы теряли кроличьи шапки, купленные в валютных магазинах, задирая головы к подземным небесам, в которых парили не знавшие мягкой упругости взлетной полосы самолеты, ведомые улыбающимися летчиками. Выше стальных птиц было только незаходящее солнце, лучи которого наполняли соком яблоки и груши в вечнозеленых садах, где молодые колхозницы без усталости собирали плоды, а юноши-физкультурники играючи грузили мешки и корзины, наполненные до краев фруктами, в кузовы грузовиков отечественного производства. Чуть дальше, за свежеструганными столами, покрытыми белыми скатертями, возвратившиеся с полей колхозники вкушали от результатов коллективного труда в разных сферах сельскохозяйственного производства по случаю свадьбы члена бригады или трудовой победы. Головы туристов, следуя указательному пальцу экскурсовода, поворачивались к дымящим трубам заводов и фабрик, ковавшим новые танки и самолеты, в которых танкисты, отдавая честь командирам, катились по отрывающимся небесной синевой булыжникам Красной Площади, а пилоты пролетали над ней. Взгляды утомленных гостей столицы встречались со взглядами отцов и матерей танкистов и летчиков, их румяных жен с белокурой младенцами на руках, сестер-комсомолок, строящих гимнастические пирамиды, младших братьев-пионеров, идущих в колоннах и с песней под бой курантов на Спасской Башне под рубиновой звездой. Лучи звезды согревали бескрайние просторы с ползущими по ним сенокосилками, освещали морские лучины подводникам, бросали теплый свет на разложенные перед любознательными студентами книги и про-

бив толщу веков плясали на стали сабель чубатых товарищей Богдана Хмельницкого, уставших рубить чернявые головы в Польских местечках. Преодолев пространство, свет звезды играл на лицах представителей братских народов, кто с дыней и арбузом в руках, кто в папaxe и при кинжале, кто с неводом, переполненным прыгающими прямо в консервные банки "бычками", а кто и без ничего, в светлом чуме, заваленном шкурами ценных животных. А лучи проникали все дальше и дальше, будоража соседние континенты и племена, в едином порыве, взявшись за руки идущие на свет звезды.

**Нью-Йорк.** Много лет спустя, зимой, в Нью-Йорке я узнал о смерти поэта Иосифа Бродского. Небольшой зал с несколькими рядами кресел был пустоват. В первом ряду сидел знаменитый танцор. Время от времени пружинистой походкой он подходил к гробу, слегка наклоня голову и чуть изгибая шею, обтянутую тугим воротом белого свитера. Постояв несколько минут, он отходил к своему креслу, садился, опуская голову на ладонь, забрасывая ногу на ногу, перечеркивая пространство передо мной лезвием брючной складки. Я взглянул на лицо лежащего. Оно было широким и уставшим.

Каким бы никчемным не был прошедший день, со всей его суетой, дурацкими делами и разговорами, но если вечером попадешь в мастерскую, то день прошел не зря. Купи на углу в лавке у красавца в белой рубашке горячего хлеба, сохраняя его тепло, добеги до голубого дома, занимающего весь квартал, открой свежепокрашенную металлическую дверь, нашарь в темноте обломок выключателя, завари кофе. Теперь можешь не спешить. Отхлебни горячего, густого напитка, надкуси теплую корочку. Не спеши. Жуй. Упершись ладонями в гладкую поверхность доски, на которой сидишь, вспомни, на чем остановился вчера.

За стеной низкорослые дочери «Поднебесной» шьют одежды. Гладильная машина с шипением сжимает и разжимает мягкие губы, выплевывая в клубах пара предметы вождения перебравшихся через ленту Великой Стены. В судорогах забился движок, до капли выжимая из себя последние силы. Унитаз хрипло отплевался и затих в своем углу. У нас общий коридор, заваленный всяким швейным хламом. В шесть часов вечера взывает на мгновение сигнализация, прежде чем затихнуть до утра. Шорох шагов мимо моей двери, всегда открытой. Осторожно просовывается голова, быстро оглядывая содержимое мастерской, - груды холстов, мусор на полу, что-то непонятное на стенах. Я сижу на стуле чуть сбоку от двери, так что меня не видно из коридора. Через мгновение любопытный взгляд натывается на меня. "Хай", - говорю я. "Исюзьми", - шепчет голова, скрываясь за дверью. Слышу смех и удаляющееся перешептывание. Хлопает дверь, лязгнув языком замка. Запах дешевой туалетной воды и дезодоранта, задержавшись у моей двери, проскальзывает вслед за ушедшими.

Вот уже несколько дней в городе зима. Первый раз за все эти годы замерз Гудзон. На дорогах лед. Снег делает любой город похожим на все остальные. Первые минуты после мороза тепло мастерской не чувствуется, как не чувствуют замерзшие пальцы рук обжи-

гающего прикосновения горячей воды. Стягивая с себя за один раз все свитера, мгновение еще мерзнешь в теплом воздухе мастерской. Но после первой чашки кофе тепло делает свое дело. Не спи. Белые листы приколоты к стенам. Тростник, поскрипывая, оставляет след - черную прерывающуюся линию на шероховатой поверхности бумаги. Сталкиваясь с мягкой глиной пастели, упругая струйка туши распадается на десятки черных шариков, как ртуть из разбитого в детстве градусника. Тростник рассыпается горячей пылью, оседая на холодной стальной поверхности графита. Медленное продвижение грифеля по земистой поверхности переходит в стремительное скольжение. Колея, оставленная графитом, с красными каплями кадмия по краям, с осколками угольного карандаша, застывает в гипсе акрилика.

Изредка вздрагивает в своем закуте движок. Молотком по металлу, горячий воздух гремит в трубах, с шипением вырываясь через отдушины, дребезжа неплотно закрытым вентилем. Теплый воздух, не находя выхода, стелется вдоль труб, оседая капельками влаги над верхней губой. Распаренные в резине перчаток руки быстро высыхают под светом софитов. Жесткая арматура металлической спинки складного стула мешает заснуть.

**Нью-йоркская подземка.** Она отличается от московского метро, как медный цент от коллекционного рубля. Пребывание в московском метро было похоже на урок по советской истории во дворце Сарданапала. Оставалось непонятным, зачем загнали такое количество творений художников так глубоко. Но об этом не очень думалось под взглядами мускулистых девушек Дейнеки, парящих в голубой выси на *Новокузнецкой*, где широкая деревянная скамейка с мраморными подлокотниками в центре зала у правой стены, если стоять лицом к эскалатору, была моим любимым местом. Сияющие мозаики Корина, в золоте и лепнине, как галушки в сметане, тяжело нависавшие в гранитной выси над толпой, втягивавшейся в жерло перехода на *Комсомольской Площади*, поражали количеством гипсовых завитков и могучими ракурсами комсомольцев. Сомнения и колебания принимали форму твердой уверенности под дулом маузера в руке революционного матроса, присевшего на минутку перезарядить оружие на *Площади Революции*, где в одном ряду с ним на платформе, разделенной арками, в напряженном ожидании сидел пограничник с овчаркой, прислушивавшийся к чему-то рабочий с винтовкой и улыбающаяся колхозница с курицей.

В те годы увидеть обнаженное тело можно было только в бане или в залах *Пушкинского музея*. В залы греческой скульптуры основная масса населения попадала гораздо реже, чем на *Площадь Революции*, где женская половина передвигавшихся с помощью метро трепетала от вида мускулистых парашютистов возле небрежно брошенных парашютов и пограничников с четвероногими друзьями, а фигура колхозницы радовала взоры оставшейся части пассажиров. Именно эти защитники рубежей и колхозница, вернее ее могучие формы, вышедшие из под резца знаменитого скульптора и отлитые на одном из оборонных заводов, повинны в формировании художественного вкуса жите-

лей Москвы и гостей столицы. Икры и пушечные ядра грудей колхозницы (запоздалая дань конструктивизму, которым грешил скульптор в молодости), плотно обтянутые ситцевым платтицем, не шли ни в какое сравнение с играми на картинах Фрагонара, с фантазиями Рубенса, не говоря уже о субтильных барышнях Буше, иногда воспроизводимых в Огоньке. Закрыв все, что было возможно закрыть, мастер оставил лишь верхние полукружия грудей, стиснутые неглубоким вырезом платья, и икры ног. Эти части фигуры всегда сияли, отполированные миллионами ладоней до слепящего блеска, как будто лучи солнца, пробив толщу земли и бетона, согрели своим теплом колхозницу. Ни сводки о состоянии здоровья генеральных секретарей, свирепствующий грипп, отсутствие колбасы, молока и даже хлеба в магазинах, приход к власти очередного престарелого тирана или молодой демократии, возможность приобрести не только блестящие, с ярким малиновым нутром галоши, – ничто не могло остановить страстного желания дотронуться до ожившей бронзы. Темная поверхность отлитых из стратегического металла бушлатов, шинелей, телогреек, бескозырок, сапог, ботинок, кепок, летних шлемов, отутюженных брюк, измерительных инструментов, сторожевых псов, указательных пальцев солдат и матросов на спусковых крючках винтовок и маузеров отражалась в окнах синих поездов. Все эти творения были воплощением мечты о человеке, очищенном от сомнений, иногда притомившимся от тяжелой работы, но всегда готовом продолжать начатое дело. Ничего героического не было в их действиях, но готовность к подвигу была налицо. При встрече с ними возникало желание заговорить, пожать натруженную руку, поднести до двери вагона винтовку, подсыпать зерна курам и ослабить тугой ошейник на шее овчарки. Эти люди-скульптуры всматривались в даль, охраняли рубежи, что-то пытались понять в бумагах перед собой, измеряли что-то, присматривали за животными и отдыхали на бегу. Они ничем не отличались от миллионов пассажиров Московского метро – и в этом была их сила.

\*\*\*

Девять лет назад, очутившись в Нью-Йоркской подземке, я не ужаснулся, узнав в переходах и платформах заплыванные московские подъезды, аммиачный запах мочи на лестнице «черного хода» мастерской на Петроградской стороне, выщербленные ступени первого этажа Дома Рабочих, где мне довелось родиться, и холодный кафель в/ч 69768.

*14 Street. Union Square.* Спускаюсь по рифленным металлическим ступеням узкого лестничного пролета, прохожу через вертушку, на несколько мгновений оказываясь между двумя вертикальными рядами штырей-зубцов. Зубцы проворачиваются рывками, ударяя по задникам ботинок, и выталкивают на платформу. Нью-Йоркская подземка похожа на Эйфелеву башню, уставшую торчать без нужды и залегшую не глубоко под землей, растянувшись на сотни километров. Но парижская лишена функции игрушка всего лишь демонстрация возможностей стальной балки, болта и гайки. Подземка Нью-Йорка – чистая функция.

Оказавшись на платформе, ощущаешь себя Иовом во чреве гигантской рыбы. Сплетения проводов и труб в копоты и густой серой пыли, соединенные металлическими кольцами и подвешенные к бетонным перекрытиям потолка, – как хребет извивающегося на порогах остова с жабрами вентиляционных решеток, жадно хватающими горячий воздух с раскаленного асфальта тротуара, с отходящими ребрами стального каркаса, тянется вдоль платформы, уходя в темноту туннеля. Проскакивая однообразные кафельные станции, заставленные подпирающими бетонный потолок стальными балками, меняющими свой окрас с грязно-серого, почти черного, на оранжевый, синий или красный, замечаешь, – подземка заботится о своем виде, как нищенка, которая густо подводит глаза и губы, зажав в руке, спрятанной в перчатку с обрезанными пальцами, обмылок помады, как продавщица картошки в оббитой зелеными кусками пластика фанерной будке возле остановки метро *Коломенское*.

Переваливая через мост над *East River*, начинающийся между домами в *China Town*, так что можно видеть китайских детей, сидящих за компьютерами, и их матерей, склонившихся за швейными машинками бесконечных швейных фабрик, поезд ныряет под *Brooklyn Heights*, чтобы последний раз сбросить с себя чешую туннеля после *Church Street*. Даже конечная станция *Stillwell* не прерывает этого бега, переходя в пути противоположного направления. Стальные колонны, следуя за разбегающимися рельсами, как школьницы-гимнастки, забираются на плечи одна другой, соединяясь в голубой шатер навеса, своими сплетениями уводящим взгляд сидящего в пустом вагоне к парящей в вечернем небе золотой сосиске, торчащей из булки, как язык из собачьей пасти, заходящему на посадку самолету, огням фейерверка над деревянным настилом набережной – и дальше, в черноту плоской воды. Дав уборщикам пошаркать тряпками под сидениями, поезд трогается, повторяя изгиб набережной, петляя между домами, высоко поднимающимися над платформами, серыми полотнищами натянутыми вдоль океана, и цепляясь за хвост залива *Sheepshead Bay*, устремляется через уснувший Бруклин назад к реке.

\*\*\*

Жара на *34 Street*. Защищая глаза от вязкого, обжигающего воздуха, веки стремятся сомкнуться, оставляя узкую щель. Взгляд, замерев на кончиках ресниц, не решаясь слиться с жарой, охватывает всю длину путей до черной, дрожащей в мутном мареве, дыры туннеля: стену в ржавых подтеках, с пустыми квадратами отвалившейся кафельной плитки, с заплатами штукатурки, пятнами плесени, висящими лохмотьями отсыревшей краски, метками ремонтников; покрытые испариной бетонные перекрытия; платформу, густо усеянную сваями-колоннами, заросли расходящихся стальных конструкций, соединяющихся в кружево еще одного уровня – сетчатого настила, разрезаемого эскалаторами, тянувшимися на верхнюю платформу, с газетными киосками, уличными музыкантами, бездомными возле туалета, как у общественной уборной на *Кировской*, возле почтамта (под арку и сразу налево) и веером выходов на жаровню *Herald Square*.

Взгляд, пронизывающий раскаленную изнанку станции, спешит назад на платформу, как голый кулак в парилке торопливо соскальзывает с верхней полки, пригибаясь к деревянному настилу пола, втягивая голову и, за неимением шерстяной шапочки, прикрывая ладонями кончики ушей, обжигаемых паром. Вернувшись, взгляд замечает в неподвижном пространстве между платформами шевелящееся пятно – крысу. Обогнув груды мешков со своим изображением в красном круге, перечеркнутом красной полосой, крыса переваливает через рельсу. Нырять в углубления между шпалами, отвлекаясь на валяющиеся жестянки из-под пива, пластиковые стаканы, смятые бумажные пакеты с остатками еды, она пропадает из виду, каждый раз давая о себе знать суетливым кружением, нарушая неподвижность стали и бетона путей. На мгновение крыса останавливается возле натекающей со стен лужи, нюхает воду и пьет.

Последний раз замечаю крысу, покрытую темной маслянистой шерстью, с плотно прижатыми ушами, втягивающуюся в узкое отверстие между шпалами, за несколько секунд до появления на зеркальной поверхности рельсов всполохов, прыжками продвигающихся к платформе, начинающей дрожать от приближающегося, лязгающего на стыках поезда, тупым стальным лезвием, брошенным из темноты туннеля, разрывающим мокрую марлю желтого, плавающего воздуха.

\*\*\*

На *Canal Street* сворачиваю в один из переходов. Многократное эхо мечется между бетонным полом и кафельными стенами. В середине перехода, у стены сидит парень на пластмассовом ведре, которое ничем не отличается от нескольких точно таких же ведер, служащих ему барабанами.

Бетон перед играющим завален серебром мелочи и долларовыми бумажками, но он не делает никаких благодарственных движений в сторону подающих, никаких пауз на отдых, он вообще никак не реагирует на обступивших его прохожих. В какой-то момент, когда одна из палок, которыми он стучит, с треском ломается и кусок деревяшки отлетает к стене, он не переставая работать оставшейся, тянется за новой, не снижая скорости ритма. Его волосы, заплетенные в десятки косичек, мечутся вокруг лица и тяжелыми жгутами падают на плечи. Руки бешено летают от ведра к ведре, выбивая из мертвой пластмассы днищ сухую монотонную дробь. В зависимости от места – середины днища, чуть приподнятого ободка или боковой стороне ведра, извлекаемые звуки отличаются друг от друга только ускоряющимся ритмом. Кафель, стальные перекрытия и руки бьющего по пустой бочке рождают не складывающиеся в мелодию звуки, завораживающие, рассыпающиеся по бетонной трубе перехода, путающиеся под ногами пассажиров, летящие в жерло выхода, влажными лохмотьями цепляясь за болты и гайки, сыпью покрывающие колонны платформы.

По узкой лестнице поднимаюсь вверх. Через бетонный колодец в асфальте, затянутый частой решеткой, доносится шум станции и глухой лязг вагонных сцеплений. В городе осень. До дождей еще несколько недель. На противоположенной стороне Бродвея тем-

неют заклеенные коричневой бумагой окна *The Best Pizza on the Corner*, закрывшейся пару месяцев назад.

Пройдя немного, сажусь на *Prince Street*. Ехать далеко. Вытянув ноги на скамейке перед собой, засыпаю на оранжевом сидении. Голова, постепенно склоняясь, ударяется о стекло окна. Просыпаюсь. Поместив голову поудобней, между выступом металлической оконной рамы и стеклом, засыпаю опять.

December 2004, New-York

ЯКОВ ЛИПКОВИЧ

ОДИНОЧЕСТВО

Эссе

Он часами молча сидел, уставившись в пол, в вестибюле нашего дома. Когда с ним здоровались, он нехотя поднимал голову; и, тихо ответив, усталым и недолгим взглядом провожал поздоровавшегося. Иногда он выходил во двор, и там, на единственной, с облупленной краской скамейке так же сидел часами, опустив голову. Видели его и сидящим в той же позе на низком парапете у одного из расположенных рядом с нами офисов. Говорили о нем разное. Одни о том, что год назад он потерял жену и до сих пор не может прийти в себя. Другие, что он и раньше был таким нелюдимым. Третьи, что все дело в детях, которые навещают его раз в год, не чаще. Однажды я видел, как он поманил бродячую, в чем-то перепачканную кошку, и она подошла к нему, недоверчиво поглядывая на него снизу вверх. Он потянулся к ней и погладил ее. И она лизнула ему руку и пошла, не оглядываясь, по своим делам. И тогда он сказал, искоса взглянув на меня: "Скверно кошкам без людей". "И не только кошкам!" - подхватил я. - Разве не так?" Он не ответил.

И все мои попытки разговорить его, так ни к чему и не привели. Вскоре он встал и, не глядя на меня, пошел к нашему общему дому...

Отличался он от всех от нас еще тем, что ему никто не писал письма. Когда приходила почта, все дружно бросались к своим почтовым ящикам. А он... а он даже не поднимал головы. И только когда все, довольные, что им есть и письма, и газеты, расходились, он подходил к своей почтовой ячейке и безнадежно заглядывал внутрь. Однажды, правда, там оказалось письмо. Но оно было не ему: просто почтальон перепутал ящички.

Впрочем, к тому, что он не такой, как все, в нашем доме привыкли. Но некоторых все-таки задело, когда он вдруг почему-то перестал отвечать на "Доброе утро!" и "Добрый день!" Нет, выражение лица у него по-прежнему, было безучастным - никакой злобы, никакого раздражения. Так что оставалось только пожать плечами и уйти.

Многие так и поступили. И я бы, наверное, тоже ушел, если бы он не зацепил меня как-то странно, исподлобья взглядом, И тогда я, неожиданно для себя, присел рядом с ним на скамейку. Нет, он не сразу спросил, спросил через несколько минут: "Вы играете в шахматы?" "Нет, а что?" - удивился я не столько са-

мому вопросу, сколько его неожиданности. "Жаль", - сказал он и отвернулся.

А через несколько дней, в лифте все увидели приколотую к стенке записку - обращение неизвестно к кому: "Просьба к играющим... Сыграем в шахматы? Фельдман..." И указал свой телефон.

Все читали и удивленно переглядывались.

И висела эта записка целую неделю. А потом ее кто-то содрал, скорее всего, уборщица, строго следившая за тем, чтобы жильцы не пачкали стены всякой отсебятиной.

А он, как и сидел, понутив голову и свесив с колен кисти рук, так и сидит по сей день, - по сей день...

## ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

### Рассказ

За долгие годы я не помню, чтобы он хоть раз взглянул на меня. Его светло-серые глаза никогда не меняли своего отдаленно-отстраненного выражения. Где мы только с ним ни встречались - на улице, в магазине, в кинотеатре, в аптеке, часто нос к носу - он в упор не видел меня. Не скажу, что это задевало меня. Просто было любопытно: почему? Как-то я шел с дочкой, на которую пялили глаза все прохожие - до того она была хороша, он даже бровью не шевельнул, прошел мимо с отсутствующим взглядом. То, что он американец, не вызывало сомнения. Наших я узнаю сразу, как бы они ни маскировались. Печать Страны Советов сопутствует нам, хотим мы того или не хотим, до нашего последнего часа. Американца же мы узнаем чуть ли не с закрытыми глазами. Так вот он был американец. Его приятно-удлиненное лицо англосакса с характерными тонкими губами и аккуратно уложенными - с пробором - светлыми волосами, я думаю, не затруднило бы сколько-нибудь опытного американского физиономиста разгадать характер и положение в обществе нашего незнакомца. Я же ломал голову. Сперва я решил, что он поэт - идет и на ходу, взмывая под самые облака, в отрешенном упоении превращает слова в стихи. Но то, что он не поэт, я понял уже на второй или третий день. Его выдали неподвижные губы. Он никогда не шевелил ими, как большинство поэтов, перебирая непокорные слова и звуки. К тому же, он был аккуратно и строго одет и никогда, никогда не улыбался. Кто же он, гадал я и загибал пальцы; для пенсионера - слишком молод, для агента ФБР - нелюбопытен, для чиновника - свободен днем, для бизнесмена - очень спокоен и т.д. Словом, определить его профессию и место в обществе для меня, иммигранта, было не под силу...

Между тем, сильнейшее желание узнать, кто он такой, толкало меня, не- американца, на весьма рискованные шаги. Я расспрашивал о нем то одного, то другого малознакомого местного жителя. В ответ они лишь с улыбкой пожимали плечами и разводили руками. Но в глазах их я читал удивление: зачем ему это нужно? Зачем? Странно, не правда ли?

Однажды мы даже ехали с ним в одном автобусе. Больше того, сидели почти напротив друг друга. Мне показалось, что он на мгновение скользнул по моему

напряженному лицу взглядом и сразу же забыл о моем существовании.

Через две остановки он вышел из автобуса и направился в сторону кладбища. Но туда ли он шел или куда поближе, в один из ближайших домов, я не успел разглядеть.

Как-то я увидел его на экране телевизора. Он глядел в небо, в котором высоко-высоко плыл дирижабль с подвешенной рекламой: "Только у нас... и т.д".

А потом мы встречались, как обычно, на улицах, в магазинах, в аптеках, и он по-прежнему не смотрел на меня.

За эти годы я так привык к нему, что мне становилось не по себе, когда я его давно не видел.

И вот в один из весенних дней он и в самом деле исчез. Шли недели, месяцы, а его все не было. Мой взгляд ежедневно просеивал сотни лиц, но он как сквозь землю провалился. Я понимал, что он мог переехать в другой город, и угодить надолго в госпиталь, и, не дай Бог, умереть. Конечно, со временем я все меньше и меньше думал о нем. Все-таки чужой человек, никто для меня.

И когда я окончательно смирился, что его нет - он, как ни в чем не бывало - выплыл. Он шел навстречу мне своим обычным неторопливым и неслышным шагом и по-прежнему не замечал меня. Как будто бы меня и не было...

Вот так и ходим до сих пор, каждый, со стороны, сам по себе...

## ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ\_КАПЛАН

### КРИЗИС

#### Из цикла "Седой снег"

Вместе с этим страшным словом — тиф, которое и дети, и взрослые произносили с большой осторожностью, в наш детский дом пришли люди в белых халатах. Прервались общие игры, совместные обеды в столовой, состоящие из похлебки и кусочка хлеба.

Мне сказали, что заболел мой брат Калман, что у него "кризис" и он в изоляторе. Я просила про себя, чтобы наша кухарка тетя Эстер спасла его, потому что она нас обычно лечила от простуды, свинки, коклюша и всех других напастей.

Меня вызвал к себе воспитатель Фроим, двадцатилетний парень, который заменял нам в те времена родителей, погибших при погромах. Рядом с ним в кабинете сидела незнакомая женщина.

— Это наша Мария, — сказал он ей и затем обратился ко мне. — Тобой интересуется инспектор начального образования.

— Здравствуйте, — пролепетала я.

— Девочка, я рада твоим успехам, — сказала женщина. — О них знают твои друзья и родные. У тебя есть брат и сестра?

— Только брат, — ответила.

— Ну вот и хорошо. А мы тебе еще нашли и сестричку. Ты помнишь ее?

— У меня нет сестрички, — заупрямилась я.

— Твоя сестричка помнит тебя. Мы помогли вам найтись, — женщина улыбалась. — Ты обрадуешься, когда ее увидишь. Она в другом детском доме. А теперь вы будете вместе.

— Мария, — решил вмешаться воспитатель. — Твоя сестра нашлась, и это большое счастье. Вас теперь будет трое — ты, Калман и Рахиль.

— Нет, — ответила. — Я не хочу, чтобы она пришла.

— Но почему? — недоумевала женщина. Она растерялась и не знала, какие еще подобрать аргументы. — Мы так долго искали...

— Моя сестра ушла на тот свет, — попыталась я объяснить. — А оттуда никто не возвращается. Вот и Калман заболел. Она может и его забрать с собой на тот свет.

Я сказала словами Фроима, который в минуты нашей отчаянной тоски по дому и родителям хотел утешить нас таким образом. Видела, как вздрогнуло лицо женщины и по щекам покатились набежавшие слезы. Она плакала, не пытаясь вытереть их.

— Можешь идти. Мы потом продолжим наш разговор, — нашелся, наконец, воспитатель.

Слышала, уже за дверью, как Фроим обратился к женщине: "Я чувствую, как начинают сесть мои волосы".

Я не совсем понимала, что происходит. Сестра с того света прийти не может — это я твердо знала. Оттуда никто не возвращается. А вот Калмана она позовет к себе. И я этого панически боялась. Так чего же расстроилась эта женщина? И Фроим говорит, что начинает сесть.

Я сразу же пошла к медицинской сестре, которая обслуживала больных, и попросила пустить меня поглядеть с Калманом. То ли вид у меня был такой испуганный, то ли Калману было очень плохо, но она разрешила.

— Близо подходить нельзя, — наставляла меня медсестра. — Стой около двери. Побудешь несколько минут. Ему тяжело говорить...

Калман лежал, не укрытый простыней. Он стал совсем худым за время болезни. Его теплые, светлые глаза смотрели на меня. Рука Калмана приподнялась, и он указал на стул около кровати. Там стояла еда — все лучшее, что можно было раздобыть в кладовых тети Эстер: мед, кусочек сахара, тарелка манной каши, ломоть белого хлеба. Ради этого она сутками колесила по городу.

Я поняла, что Калман действительно не может говорить. Он хотел, чтобы я поела. Все, что ему давали, он оставил для меня, зная, что я, как и все детдомовские, голодаю. Но я хорошо помнила наставления медсестры. Надула щеки и стукнула легонько по ним, что на нашем языке означало — сыта.

— Они говорят, что Рахиль нашлась, — выпалила я. Калман вдруг ожил, улыбнулся бессильной улыбкой, а потом тихо рассмеялся, как умел делать только он.

Не помню, как меня вывела медсестра. Нашла тетю Эстер и просила ее помочь мне. Она гладила мою голову и говорила магические слова: "Кризис минует". И я верила ей, что мой брат будет жить. И была счастлива, что он обрадовался известию о Рахили, может

быть, нас теперь будет трое. И кто знает, в тот трудный и голодный год кусочек сахара и тарелка манной каши, как и хорошее известие, спасали маленькую человеческую жизнь.

Пришла в комнату. Рядом с моей кроватью поселили новенькую девочку. Она была намного старше меня, пухленькая, толстенная с рыжими упругими курчавыми волосами. Мы не успели познакомиться, потому что уже был отбой.

В эту ночь мне не спалось. Ворочалась с боку на бок. Моя кровать стояла возле окна. Я приподнялась и увидела, как медленно кружились хлопья первого в этом году снега. Они опускались на подоконник и стекло. Быстренько оделась, вышла из дома и оказалась во дворе.

Снег падал мне на волосы, таял на ладонях. Какое-то счастливое чувство первозданности этого мира, детская радость неповторимости момента, мое открытие первого снега — все это вместе переполнило меня. Я не удержалась, слепила несколько шаров для снежной бабы.

Но неожиданно увидела, что в одном из окон, как раз там, где жил Фроим, горит свет. Мне стало стыдно за свою ночную проделку. Если он об этом узнает, то у него опять прибавится седых волос. Я даже представила себе, как снежные хлопья падают на его каштановую шевелюру.

Я быстренько возвратилась в свою комнату. Вся одежда промокла. Кое-как развесила ее на спинке кровати. Усталая и счастливая, я засыпала. Сквозь дрему видела, как ко мне подошла моя новая соседка, с которой я не успела познакомиться. Эта пухленькая девочка с рыжими волосами взяла мои вещи и развесила на батарее. Потом она подошла ко мне, погладила по голове своей теплой рукой. И в этом прикосновении было что-то близкое, до боли знакомое, что-то от детства...

...Во время погрома мама приказала нам, детям, бежать подальше от нашего дома. За огородами было скошенное поле подсолнухов и огромный заходящий диск солнца. Мне надо было достичь конца этого проклятого поля. Я потеряла сандалии и босыми ступнями натыкалась на холодную стерню. Ноги мои распухли, чувствовала кровоподтеки. Диск солнца вращался перед моими глазами и темнел от страха, а от него отскакивали искры, как желтые лепестки подсолнухов. В конце межи я упала. И не помнила ничего...

...Очнулась от прикосновения. Меня гладили влажные руки. Они притрагивались к мочкам моих ушей. Я боялась открыть глаза. А вдруг все, что произошло, — страшный сон, и сейчас будет мягкая постель и мамин голос... Когда я открыла глаза, рядом со мной мирно паслась лошадь. Видно, она захотела меня лизнуть, это доброе бессловесное животное. Она хотела приласкать потерянное существо. В эту минуту больше всего я боялась встречи с человеком...

...И вот теперь это прикосновение. Рука этой девочки. И я уже догадываюсь, что это все значит. Я слышу, как она шепнула мне: "Спи, Мариечка, моя малышка". И я отвечаю ей, совсем засыпая: "Мама... Рахиль... Ма-ма... Ра-хи...ля".



---

# ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРА

---



---

## ПОБЕРЕЖЬЕ

---

«УЖАСНО БУДЕТ,  
ЕСЛИ ОН УМРЕТ НЕ ОПРАВДАНЫМ...»  
(М. Цветаева. Из письма Сталину)

В 1975 году дочь Цветаевой, Ариадна Эфрон, передала материнский архив в московский ЦГАЛИ, закрыв его устным завещанием до 2000 года. Однако некоторые из закрытых материалов пришли к читателю раньше намеченного срока. В их числе публикуемый ниже текст черновика письма Цветаевой Сталину. Но сначала несколько слов об истории его появления у меня.

\*\*\*

Осенью 1991 года мне позвонил незнакомый человек.

- Виктор Холодков, - представился он. - Искусствовед. С 1989 года живу в Америке, в Сан-Диего. Руководжу информационным центром и справочной библиотекой по русской культуре первой половины XX века. Недавно, прочитав вашу статью о дочери Марины Цветаевой, вспомнил, что в моем архиве есть несколько документов, имеющих отношение к Цветаевой. Например, черновик ее письма Сталину. Я не цветаевед и не знаю, известен ли этот текст. Как вы думаете, может ли он представлять интерес для биографов Цветаевой?

- Конечно, конечно! - поторопилась я. - Но как же вам удалось получить этот документ? Ведь цветаевский архив под государственным замком?!

- По случаю. Он находился в архиве одного крупного литературного чиновника из Союза писателей и ко мне попал после его смерти.

- Текст рукописный?

- Нет, машинописный.

- Вы хотите этот документ продать?

- Нет-нет, дело не в деньгах. Я просто хочу, чтобы этот материал дошел до широкого читателя.

\*\*\*

Окончив беседу, я начала размышлять. Цветаева, действительно, Сталину писала. Этот факт впервые удостоверяла дочь. В 1947 году, вернувшись из мордовских лагерей, где Ариадна Сергеевна отбывала свою первую ссылку, она, наконец, получила доступ к архиву матери. Весь цветаевский архив тогда хранился в Москве у родной сестры ее отца, Елизаветы Яковлевны Эфрон. Позже, в книге воспоминаний, Ариадна Эфрон расскажет, как, не имея права на прописку в Москве, она все же иногда нелегально оставалась на ночь у тети в Мерзляковском переулке. Вот тогда-то, примостившись на сундучке, в котором хранились бесценные цветаевские рукописи, она по ночам доставала «наугад мамины тетради - и ранние, и последние, где между терпеливыми столбцами переводов записи о передачах в тюрьму отцу и мне, наброски безнадежных заявлений всем от Сталина (выделено мной. - М.К.) до Фадеева, и слова: «Стихов больше писать не буду. С этим покончено...»

Так впервые был публично зафиксирован факт прямого обращения Цветаевой к Сталину. Затем, двадцать с лишним лет спустя, в 1988 году, в книге «Скрепление судеб» М. Белкина по этому поводу сообщила следующее: «Впервые Аля рассказала мне о письме где-то в середине шестидесятых годов... Аля тогда говорила, что те, голицинские, записи матери ей было очень трудно и мучительно расшифровывать, и не только потому, что близились трагическая развязка, но и потому, что записи эти очень разбросаны, отрывочны, вмурованы между строками переводов и зачастую зашифрованы так, что ей трудно было понять их смысл. О письме Сталину она еще говорила, что полного текста письма, копии (выделено мной. - М.К.) письма, не сохранилось, есть только черновые наброски в тетради с переводами...» И далее, уже от себя, М. Белкина добавляет: «Опустила ли Ма-

рина Ивановна то письмо в почтовый ящик или отнесла к Троицким воротам Кремля и вручила в руки дежурному? Как это делали многие, надеясь, что так уж обязательно дойдет...»

Однако к моменту моего разговора с В. Холодковым текст цветаевского обращения к Сталину оставался неизвестным, полностью нигде не публиковался и биографами Цветаевой прокомментирован не был.

Конечно, первая мысль: не фальшивка ли это? Цветаева, как известно, никогда не пользовалась пишущей машинкой, все писала только от руки; и потом, как мог за девять лет до истечения срока завещания, в обход строгих (а в отношении цветаевского фонда строжайших!) правил архивного хранения документ такой (!) важности не только «вырваться на свободу» из-под долгосрочного замка, но и беспрепятственно разгуливать по свету! В это невозможно было поверить. Возникали и другие вопросы: как цветаевский текст оказался в Секретариате Союза писателей? Кто был тот «крупный литературный чиновник», который хранил его в ящике стола?

Вскоре всему нашлось простое объяснение. В. Холодков слово сдержал. Спустя две недели после нашей беседы я получила от него пакет, в котором обнаружила ксерокопии четырех (!) ценных документов, имеющих прямое отношение к Марине Цветаевой. Все они датированы одним годом - 1967-м, и все обращены к одному человеку - Константину Васильевичу. Внимательно прочитав их в хронологическом порядке, не составило особо труда «расскретить» личность адресата. Это печально известный Константин Васильевич Воронков. В 60-е годы он занимал важный пост в Секретариате Союза писателей. Вот что писал о нем А. Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом»: «Как вообще дгшел Воронков до этого кресла? Почему он вообще руководил шестью тысячами советских писателей? Был ли он первый классик среди них? Рассказывали мне, что когда-то Фадеев выбрал себе в любовницы одну из секретарш Союза писателей, тем самым она уже не могла вести простую техническую работу, и на подхват взяли прислуживого Костю Воронкова. Оттуда он вжился, вьелся и поднялся. Но что же он писал? Шутили, что главные его книги - адресные справочники Союза писателей».

Именно этот человек, по случаю занявший свою высокую должность, стал адресатом и неофициальным хранителем важнейших литературных материалов целой исторической эпохи. Среди них оказались и копии четырех присланных мне документов. Только сопоставив все четыре документа, стало ясно как и почему они попали в стол Воронкова.

1967 год был особым - страна отмечала 50-летие Советской власти. В надежде на юбилейные послабления Ариадна Эфрон обратилась в Союз писателей с просьбой «возбудить ходатайство перед правительством об «истинной реабилитации» ее отца.<sup>2</sup> Дело в том, что сухая официальная справка с расхожей формулировкой «за отсутствием состава преступления», которую она выхлопотала на отца в 1956 году, не удовлетворяла ее. Дочерний долг требовал большего. Она пишет Воронкову: «Близится 50-я годовщина Октября. В эти дни воздается должное многим и многим безвестным и забытым героям. Одним из них был и мой отец, Сергей Яковлевич Эфрон, советский разведчик. Не пришло ли время вспомнить и о нем, отметить - пусть посмертно его опасный и самоотверженный труд? Справка о посмертной реабилитации моего отца - документ, свидетельствующий лишь о том, что он не совершал инкриминирувавшихся ему преступлений. Этого мало. Надо отметить и те подвиги, что он совершил. Надо, чтобы в биографиях Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона все стало

на свои места <...>, чтобы он не остался в представлении советских людей лишь в виде некоего белогвардейского довеска к Цветаевской биографии, или просто прочерка в ней – протяженностью в тридцать лет».

Именно эта благородная цель и заставила измученную собственной и родительской судьбой Ариадну Сергеевну вернуться к последним тетрадям Цветаевой и проделать эмоционально трудную для нее работу по их расшифровке. Она, видимо, искала в них то, что могло бы придать ее прошению большую весомость в глазах советских литературных чиновников. Свой выбор она остановила на одном из вариантов письма Цветаевой Сталину. Перепечатала его текст на машинке и 17 апреля 1967 года отправила его в Секретариат Союза писателей в виде приложения к своему официальному ходатайству.

В правом верхнем углу на первой странице цветаевского текста Ариадна Сергеевна сделала приписку от руки: *«Копия черновика М.И. Цветаевой Сталину. Послано зимой 1939-40 г. Осталось без ответа. Подлинник – в черновой тетради 1939-40 г.»* Эта приписка, и несколько других ее рукописных вставок в уже отпечатанном тексте, а также подпись на последней странице являются неопровержимыми доказательствами подлинности этого документа.

Публикуемый ниже текст – это один из неотредактированных Цветаевой черновых набросков. В нем нет обращения и заключения, в нем есть повторы и логические противоречия... Но из его содержания ясно, что тон письма к столь необычному адресату найден. Как верно отметила дочь Цветаевой, *«по этим наброскам можно судить о том, что Марина Цветаева осталась верна себе – она не просит, не молит, она только доказывает, слепо веря, что слово ПОЭТА может еще что-то значить!»*

#### Текст черновика письма М.И. Цветаевой Сталину <sup>3</sup>

Обращаюсь к Вам по делу арестованных – моего мужа Сергея Яковлевича Эфрон и моей дочери – Ариадны Сергеевны Эфрон. Но прежде чем говорить о них, должен сказать Вам несколько слов о себе.

Я – писательница. В 1922 г. я вышла за границу с советским паспортом, и пробыла за границей – в Чехии и Франции – по июнь 1939 г., т.е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно – жила семьей и литературной работой. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского в газете «Евразия». Вообще – в эмиграции была одиночкой.

Причины моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи, Сергея Яковлевича Эфрон, дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон (уехала первой в марте 1937 г.) и моего сына, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать сыну родину и будущее. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня в последние годы уже не связывало ничего.

Мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. Получила разрешение вернуться в Советский Союз, что и осуществила вместе с 14-летним сыном Георгием – 18 июня 1939 г.

Если нужно сказать о происхождении – я дочь заслуженного профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева, европейски-известного фило-

лога, долголетнего директора быв. Румянцевского музея, основателя и собирателя Музея изящных искусств – ныне Музея изобразительных искусств им. Пушкина – 14 лет безвозмездного любовного труда.

Моя мать – Мария Александровна Цветаева, урожденная Мейн, была выдающаяся музыкантша. Неутомимая помощница отца по делам музея, она рано умерла.

Вот – обо мне.

Теперь о моем муже, Сергее Яковлевиче Эфрон. Сергей Яковлевич Эфрон – сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (Лизы Дурново), и народовольца Якова Константиновича Эфрона. О Лизе Дурново при мне с любовью вспоминал вернувшийся в 1917 г. П.А. Кропоткин, и поныне помнит Н. Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия». Портрет ее находится в Кропоткинском музее. Детство моего мужа прошло в революционном доме, среди обысков и арестов. Все члены семьи сидели: мать – в Шлиссельбургской крепости, отец – в Вильне, старшие дети – Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон – по разным тюрьмам. В 1905 г. Сергею Эфрону, моему будущему мужу, тогда 12-летнему, уже доверяются матерью ответственные революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново эмигрирует. В 1909 г. кончает собой в Париже, потрясенная гибелью 14-летнего сына.

В 1911 г. Я знакомлюсь с Сергеем Эфрон. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в Московский Университет, на филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в рядах белых. За все добровольчество – непрерывно в строю, никогда не в штабе. Дважды ранен – в плечо и колено.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара – у него на глазах: - лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. – В эту минуту я понял, что наше дело - не народное.

Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белой армии, а не красной? Сергей Яковлевич Эфрон это в своей жизни считал – роковой ошибкой. – Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, но многие и многие сложившиеся люди. В «Добровольчестве» он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился – он из него ушел, весь, целиком – и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

По окончании добровольчества – голод в Галлиполи и в Константинополе – и в 1922 г. – переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет, кончать историко-филологический факультет.

В 1923-1924 г. Затекает студенческий журнал «Своими Путиами», первый во всей эмиграции печатающий советскую прозу, и основывает Студенческий демократический союз – в отличие от имеющихся монархических. Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе «евразийцев» и является одним из редакторов журнала «Версты», от которого вся эмиграция отшатывается. За «Верстами» - газета «Евразия» (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда бывшего в Париже) – про которую эмигранты говорят, что это – откровенная большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются. Правые – и левые. Левые вскоре перестают существовать, т.к. сливаются в Союз Возвращения на родину. (Евразийцем

Военная Коллегия  
Верховного Суда  
СССР

Форма № 30

2 октября 1956 г.

№ 44-09939/ 56

Москва ул. Зоревского  
д. 15

С П Р А В К А

Дело по обвинению ЭФРОН-АНДРЕЕВА Сергея Яковлевича  
пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР  
22 сентября 1956 года.

Приговор Военной Коллегии от 6 июля 1941 года в отно-  
шении ЭФРОН-АНДРЕЕВА С.Я. по вновь открывшимся обстоятель-  
ствам отменен и дело за отсутствием состава преступления  
прекращено.

ЭФРОН-АНДРЕЕВ С.Я. реабилитирован посмертно.

ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СУДЕБНОГО СОСТАВА ВОЕННОЙ  
КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР  
ПОЛКОВНИК ЕСТИНИН

подпись / С Е М И Н /

Круглая гербовая печать  
Военной Коллегии Верховного  
Суда СССР



Справка о реабилитации Сергея Эфрона

Копии черновика письма М.И. Цветаевой  
Сталину. Письмо датой 1939-40г. Осматривать  
без ответа. Подлинник - в черновом шкафу 34

Обращаюсь к Вам по делу арестованных - моего мужа Сергея Яковлевича Эфрона и моей дочери - Ариадны Сергеевны Эфрон

Но прежде чем говорить о них должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я - писательница. В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом, и пробыла за границей - в Чехии и Франции - по июнь 1939г т.е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно - жила семьей и литературной работой. Сотрудничала главным образом в журналах "Воля России" и "Современные записки", одно время печаталась в газете "Последние новости", но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского в газете "Евразия". Вообще - в эмиграции была одиночкой.

Причины моего возвращения на родину - страстное устремление туда всей моей семьи: мужа, Сергея Яковлевича Эфрон, дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон /уехала первая в марте 1937 г./ и моего сына, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать сыну родину и будущее. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня в последние годы уже не связывало ничего.

Мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз, что и осуществила - вместе с 14-летним сыном Георгием - 18 июня 1939 г.

Если нужно сказать о происхождении - я дочь заслуженного профессора Московского Университета Ивана Владимировича Цветаева, европейски-известного филолога, долголетнего директора библ. Румянцевского музея, основателя и собирателя "

Текст черновика письма М.И. Цветаевой Сталину

никогда не была, как никем не была, но была свидетелем и начала, и раскола).

Когда в точности Сергей Эфрон окончательно перешел на советскую платформу и стал заниматься активной советской работой не знаю, но это должно быть известно из его предыдущей анкеты. Думаю – около 1930 г.

В свою политическую жизнь он меня не посвящал. Я только знала, что он связан с Союзом Возвращения, а потом – с Испанией.

Но что я достоверно знала и знаю – это о его страстном и неизменном служении Советскому Союзу. Не зная подробностей его дел, знаю жизнь души его день за днем, все это совершалось у меня на глазах, утверждаю как свидетель: этот человек Советский Союз и идею коммунизма любил больше жизни.

(О качестве же и количестве его деятельности могу привести возглас французского следователя меня, после его отъезда в Советский Союз, допрашивающего:

*M. Efron menait une activité soviétique foudroyante!*

/Г-н Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!)

10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Советский Союз. А 12-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала – а именно: что это самый бескорыстный и благородный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании – не преступление, что знаю я его – 1911-1937 – двадцать шесть лет – и что больше не знаю ничего.

Началась газетная травля (русских эмигрантских газет). О нем писали, что он чекист, что он замешан в деле Рейсса, что его отъезд – бегство и т.д. Через некоторое время последовал второй вызов в префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка. – «Да не бойтесь, сказал следователь, это вовсе не по делу Рейсса, это по делу S.» - и действительно показал мне папку с надписью. Я опять сказала, что я никакого «S», ни Рейсса не знаю – и меня отпустили и больше не трогали.

С октября 1937 по июнь 1939 я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической «оказией». Письма его из Советского Союза были совершенно счастливые. Жаль, что они не сохранились, но я должна была уничтожить их тотчас по прочтении; ему доставало только одного – меня и сына.

Когда я, 19-го июня 1939 г. После почти двух лет разлуки, вошла на дачу в Болшево и его увидела – я увидела тяжело больного человека. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде и вегетативный невроз. Я узнала, что все эти два года он почти сплошь проболел – пролежал. Но с нашим приездом он ожил, припадки стали реже, он мечтал о работе, без которой *изныл*. Он стал сговариваться с кем-то из своего начальства о работе, стал ездить в город...

И – 27 августа – арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя Ариадна Сергеевна Эфрон первая из всех нас приехала в Советский Союз, а именно – 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения. Она *очень* талантливая художница и писательница. И – абсолютно лояльный человек. (*Мы все – лояльные, это наша – двух семей – Цветаевых и Эфронов – отличительная семейная черта*). В Москве она работала во французском журнале «Ревю де Моску», ее работой были *очень* довольны. Писала и иллюстрировала. Советский Союз полюбила от всей души и никогда ни на какие бытовые невзгоды не жаловалась.

А после дочери арестовали – 10-го октября 1939 г. и моего мужа, совершенно больного и изведенного ее бедой.

7-го ноября были арестованы на той же даче семейство Львовых, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в опечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Первую передачу от меня приняли: дочери – 7-го декабря, т.е. 3 месяца с лишним после ее ареста, мужу – 2 мес. спустя.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он неспособен. Я знаю его: 1911-1939 г. – без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут и друзья, и враги. Даже в эмиграции никто не обвинял его в подкупности.

Кончаю призывом о справедливости. Человек, не щадя своего живота, служил своей родине и идее коммунизма. Арестовывают его ближайшего помощника – дочь – и потом – его. Арестовывают – *безвинно*.

Это – тяжелый больной, не знаю, сколько осталось ему века. Ужасно будет, если он умрет *не оправданным*.

Справка. С. Эфрон прожил еще страшных полтора месяцев. Он был расстрелян 16 октября 1941 года. Похоронен где-то в окрестностях Москвы.

\*\*\*

Приведенный выше текст письма Цветаевой Сталину впервые был обнародован мною 28 июня 1992 года в сообщении на Международном Симпозиуме «Литература и Власть», проводившемся Русской школой Норвичского университета (штат Вермонт). А 21 августа 1992 года этот же текст, с незначительными расхождениями, был опубликован Л. Мнухиным (без ссылки на источник) в парижской газете «Русская мысль». Наконец, 2 сентября того же года появилась статья Ю. Клюкина и М. Фейнберг в московской «Литературной газете» - едва ли не самая информативная и важная по своей документальной ценности из последней периодики о Цветаевой. Речь в ней идет о *подлиннике* письма Цветаевой Берии от 23 декабря 1939 года, обнаруженном в архиве Министерства безопасности России. В основном его текст полностью совпадает с приведенным выше.

Письмо написано рукой Марины Цветаевой на линованных листах большого формата печатными буквами, чтобы адресату легче было читать, и ею же передано прямо в приемную НКВД. Надеюсь, что восстановление истории возникновения цветаевского письма Сталину и его продвижения по лабиринтам сталинских канцелярий – теперь уже тоже дело недалекого будущего.

Примечания.

1. А.И. Солженицын. «Бодался теленок с дубом». УМСА-Press: Париж, 1975, с.219.

2. Здесь и далее цитаты из никогда ранее не публиковавшегося письма А.С. Эфрон к А.В. Воронкову от 17 апреля 1967 г.

3. Орфография, пунктуация и курсивы в машинописной копии письма М.И. Цветаевой сохранены полностью.

**«ОПЯТЬ ПОДОШЛИ «НЕЗАБВЕННЫЕ ДАТЫ...»\***

**Анна Ахматова и Марина Цветаева**

Анна Ахматова была всего на три года старше Марины Цветаевой, пережила ее на четверть века. Вынесенная в название ахматовская строка – напоминание о том, что 2006 год – это год двойного юбилея: в марте исполняется 40 лет со дня смерти Ахматовой, а в августе 65 лет со дня гибели Цветаевой. Два эти имени существуют как нераз-



рывная пара - без оглядки на календарь - уже почти столетие; и все же ученые, архивисты, поэты, как правило, «приберегают» самые интересные находки к юбилейным датам. Нынешний год, наверно, не раз порадует любителей поэзии. Надеюсь, не останутся в стороне и «литературоведы из народа», те, кто служил (и служит) Цветаевой «служеньем добровольца», знающего «*весь склад ее перстней*» и кого Ахматова читала «*как тайну/как в землю вкопанный клад*». Именно такому читателю-другу они обе доверяли порой больше, чем собратьям по цеху.

*Наш век на земле быстротечен  
И тесен назначенный круг,  
А он неизменен и вечен —  
Поэта неведомый друг. \*\**

Так Ахматова оканчивает стихотворение «Читатель», введенное ею в поэтический цикл «Творчество» как необходимый компонент целостного творческого процесса; как, впрочем, не случайно составители белого цветаяевского двухтомника вынесли в качестве эпиграфа к стихотворному тому ее требование: «*Книга должна быть исполнена читателем как соната. Знаки - ноты. В воле читателя исказить или осуществить*». Именно такую важную роль исполнителя - сотворца они обе отводили своему читателю. Мое воспоминание об одном из них.

11 июня 1994 года в бостонском музее Марины Цветаевой проходила творческая встреча с поэтом Ниной Королевой. Московская гостья читала свои стихи и рассказывала много о своей работе литературоведа-архивиста. Основная тема исследований Н. Королевой - жизнь и творчество Анны Ахматовой, но участие в группе русско-американских славистов, занимающихся объединением «разделенных архивов», в силу эмиграции их владельцев, разбросанных по разным концам земли, значительно расширило круг ее интересов. Благодаря официальному допуску в зарубежные государственные и частные архивы, ее темой стал весь Серебряный век.

Литературное наследие Марины Цветаевой оказалось «разделенным» по той же причине, с той лишь разницей, что «раздел» производил сам автор. Известно, что перед возвращением на родину Цветаева в течение года внимательно пересматривала свои рукописи, тщательно отбирая то, что можно было взять с собою в Советский Союз 1938-го года. То, что, по ее представлению, могло осложнить ее и без того безвыходную ситуацию, осталось на Западе. Поэтому вполне естественно прозвучал вопрос: не «пересеклась» ли наша гостья в каком-либо из архивов и с Мариной Цветаевой? Ответ Нины Королевой сохранила магнитофонная запись. Вот ее рассказ.

«Документально — нет, не пересеклась, но вот одной своей догадкой я могу поделиться. Как известно, отношения Ахматовой и Цветаевой имеют свою непростую историю. Общаясь десятилетиями «виртуально», они встретились лично лишь однажды. Это произошло в Москве накануне войны.

Об этой встрече Анна Ахматова рассказывала многим. Запомнила ее рассказ и я. В начале марта 1961 года наш педагог, Лидия Яковлевна Гинзбург, устроила для троих своих питомцев незабываемую встречу с Анной Андреевной. Беседа, конечно, в основном, шла между ними. Мы же — Ирина Семенко, Александр Кушнер и я — слушали, боясь пропустить слово. Вот тогда-то, вспоминая о встрече с Цветаевой, Ахматова упомянула, что к моменту их встречи ее стихотворение «*Невидимка, двойник, пересмешник*» уже было написано и приготовлено для вручения Цветаевой. Однако ни во время беседы, ни при прощании Ахматова так и не вынула листок со стихотворением из сумочки, не решилась протянуть его Цветаевой.

Она объяснила это тем, что в тексте есть прямой намек на семейную трагедию Цветаевой (арест мужа и дочери), и что это могло бы больно ее задеть. Тогда же Анна Андреевна говорила, что вся встреча, не заладившись с самого начала, прошла не без шероховатостей. Многие они взаимно не поняли друг в друге.

Год спустя, всякий раз, перечитывая ахматовский «*Поздний ответ*», я сожалела, что Цветаева так и не узнала эти стихи. Быть может, они помогли бы растопить лед между великими женщинами. Да и версия Ахматовой, признаюсь, вызывала у меня сомнение: о какой обиде, думала я, могла идти речь, прочитай тогда Цветаева строки, которые нам известны сегодня? Мне казалось, напротив, в *тот* момент они могли бы ее поддержать.

Истинная причина мне открылась недавно. Во время архивных разысканий в ЦГАЛИ, в черновых записях Ахматовой я нашла ранний текст этого стихотворения. Он действительно датирован годом их встречи, но он существенно отличается от известного ахматовского стихотворения. В том раннем варианте есть начало — «*Невидимка, двойник, пересмешник...*», есть «*родимые пашни*», есть и «*Маринкина башня*», связанная с образом Марины Мнишек. Но если в известном варианте эта башня упоминается лишь как *один* из мотивов, ранний текст, напротив, весь был построен на обыгрывании параллели между Цветаевой и ее знаменитой тезкой. Я не могу сейчас воспроизвести по памяти весь текст, я только передаю его идею. Она заключалась в следующем: возвращение Цветаевой в Россию ассоциировалось у Ахматовой с победным въездом польской царицы в Москву. Однако, видимо, в момент реальной встречи с Цветаевой Ахматова поняла, насколько эта ассоциация неверна, насколько глубоко подобная параллель могла бы задеть Цветаеву своим несоответствием контексту ее жизни по возвращении на родину. Поэтому-то приговоренное для вручения стихотворение не было вынуто из сумочки.

Кстати, именно в окончательном варианте появился и новый сюжет, случившийся в реальной жизни на второй день их встречи, когда они обе шли по темнеющей московской улице, а за ними следовал осведомитель. Увлеченная беседой Цветаева скорее всего его не заметила, а у Ахматовой мгновенно пронеслось: «*Он — за нею или за мной?...*»

По черновикам же отчетливо прослеживается, как постепенно изменялся облик раннего текста, как он перерождался в то самое горькое, мужественное стихотворение, которое мы знаем. Теперь в нем доминирует тема гражданской судьбы народа, именно ей подчинена вся переработка начального варианта. Лишь 20 лет спустя Анна Ахматова включила это стихотворение в свой цикл «*Венок мертвым*» под названием «*Поздний ответ*».

*Невидимка, двойник, пересмешник,  
Что ты прячешься в черных кустах,  
То забьешься в дырявый скворешник,  
То мелькнешь на погибших крестах,  
То кричишь из Маринкиной башни:  
«Я сегодня вернулась домой.  
Полюбуйтесь, родимые пашни,  
Что за это случилось со мной.  
Поглотила любимых пучина,  
И разрушен родительский дом».  
Мы с тобою сегодня, Марина,  
По столице полночной идем,  
А за нами таких миллионы,  
И безмолвнее шестивия нет,  
А вокруг погребальные звоны,  
Да московские дикие стоны  
Вьюги, наш заматающей след. \*\*\**

\*\*\*

Рукопись, автограф, листок из альбома, страница из дневника, строка из письма, даже пометы на полях читаемой книги – все, что начертано рукой известного человека, – бесценно. И не только как исторический документ, но и как намек, подсказка, а порой и разгадка непонятной строки или недающихся сразу фразы, слова, знака препинания... Недаром Марина Цветаева в сердцах отдернула критика, рискнувшего давать ей советы как писать стихи: *«Нет в мире непонятных сапог, но сколько в мире непонятных стихов!»*\*\*\*\* И это правда – как много еще стихов, требующих расшифровки, то есть читательского участия. И надо ли говорить, как помогают подобные комментарии читателю, стремящемуся *«во всем дойти до самой сути»!*

Приведенный выше рассказ – комментарий к творческой истории стихотворения. Но не только: он вносит новый обертоны и в историю отношений двух женщин, имена которых столь многим сегодня дороги. Тайна, окружающая их встречу, никогда не будет разгадана до конца, сколько не старайся проникнуть в нее по доле-тевшим осколкам. Но случайно подаренное нам в тот далекий бостонский вечер воспоминание «из первых рук» меня лично подтолкнуло к пересмотру устоявшегося взгляда на известный литературный сюжет «Ахматова и Цветаева».

\* Анна Ахматова. Сочинения. Том первый. Москва. «Художественная литература», 1986, стр. 435.

\*\* Там же, стр. 192.

\*\*\* Там же, стр. 245.

\*\*\*\* Марина Цветаева. *«Поэт о критике»*. Избранная проза в двух томах.. Russica Publishers, Inc. New York, 1979. Том первый, стр. 226.

## НЕВЕРОЯТНЫЙ БУЛГАКОВ К 115-ой годовщине со дня рождения

Михаил Афанасьевич Булгаков как-то сказал о себе: *«Я – писатель мистический»*. Это утверждение вряд ли кто-то возьмется опровергнуть. Ведь невероятные события происходили и с героями, рожденными фантазией писателя, и с ним лично. Но самое, пожалуй, удивительное то, что они продолжают происходить и после ухода Булгакова.

В 1966 году, когда был опубликован роман «Мастер и Маргарита», вдова Булгакова, Елена Сергеевна, листая страницы журнала и все еще не веря в свершившееся чудо, сказала: *«Это шутки Воланда!»*

В 1977 году, после премьеры «Мастера и Маргариты» в театре на Таганке, к актеру В. Смехову, игравшему роль Воланда, подошел известный литературовед А. Вулис (он, кстати, написал послесловие к первой журнальной публикации романа) и таинственно прошептал: *«Веня, то, что спектакль не запретили, – это тоже шутки Воланда!»*

В 1994 году, возвратившись с бостонского вечера в честь 30-летия Таганки, мы «рапортовали» тому же Смехову: *«Встреча в Бостоне прошла замечательно! Зал был переполнен и благодарен. Думаю, что Воланду сегодня тоже не спалось...»*

15 мая день рождения Михаила Булгакова. В этом году ему исполняется 115 лет. И, скажите, разве нет доли мистики в том, что на другом конце земли, в самом маленьком американском штате Род-Айленд литературные страницы нашего скромного журнала посвящены юбилею любимого русского писателя?!

Что ж, попробую дополнить затронутый сюжет еще одним эпизодом, услышанным мною много лет назад на одном из московских, тогда еще полузапрещенных вече-

ров, посвященных Булгакову. Так как мне нигде после не довелось встретить этот рассказ напечатанным, хочу поделиться с читателями тем, что удержала моя память.

\*\*\*

Дело происходило в те дни, когда, заучивая наизусть страницы из только что опубликованного романа «Мастер и Маргарита» читатели (и далеко не только москвичи!) с номером журнала «Москва» в руках, словно загибнотизированные (и это ли не мистика?), разыскивали улицы и номера домов, где происходили события романа. Маршрут неизменно оканчивался на Новодевичьем кладбище у могилы писателя. И вот что однажды там произошло...

\*\*\*

...В теплый летний день ленинградский журналист Владимир Невельский, с трудом отыскав могилу Булгакова, удивился, что на ней нет цветов. Он не поленился вернуться к цветочному киоску, купил цветы и в тот момент, когда он наклонился, чтобы положить их на мраморную плиту, его окликнула незнакомая пожилая женщина. Она попросила его не задавать никаких вопросов, только назвать имя и адрес. *«Так надо»*, – решительно сказала она.

Через некоторое время на имя В. Невельского пришел денежный перевод без обратного адреса. А еще через день в его ленинградской квартире раздался телефонный звонок. Это была Елена Сергеевна Булгакова. Она интересовалась, получен ли ее перевод, и только теперь пояснила оторопевшему юноше: *«Не благодарите меня, пожалуйста. Я просто выполнила волю своего покойного мужа»*. И она рассказала, что однажды, уже прикованный к постели, Михаил Афанасьевич попросил ее внести в завещание следующий пункт: *«Тому, кто придет на мою могилу и положит на нее цветы в тот самый день, когда я сжег первый вариант рукописи «Мастера и Маргариты», после опубликования романа причитается часть гонорара»*.

В течение нескольких лет Елена Сергеевна дежурила в этот день на кладбище. *«Приходили многие, но цветы положили только Вы. Значит, именно Вас и упомянул Булгаков в своем завещании»*, – завершила она...

На полученные деньги В. Невельский купил маленький деревянный катер и прибил к его борту большие металлические буквы, выкрашенные в яркий оранжевый цвет: *«Михаил Булгаков»*. *«Надо было видеть, как восторженно приветствовали этот катер на всех его нехитрых маршрутах!»* – вспоминал рассказчик.

Прошли годы. Давно уже нет этого катера. Остались только буквы. Хозяин сохранил их – а вдруг они пригодятся какому-нибудь большому кораблю...

Не знаю, те ли же буквы прибиты к борту большого корабля, бороздящего ныне мировые водные глади, да, это и не так важно. Важно, что корабль этот есть. Он появился гораздо позже приведенного выше повествования. И корабль этот необычный: первая в мире плавучая глазная клиника с операционной, исследовательской лабораторией и лечебными палатами. Здесь облегчают людям страдания, возвращают им зрение... и носит этот корабль имя врача и писателя Михаила Булгакова.

\*\*\*

*«Рукописи не горят!»* – произносит один из героев великого булгаковского романа. Эти слова давно стали поговоркой. Для самого же Булгакова они стали чем-то вроде заклинания от обрушившихся на него несчастий и бед. Эти слова спасали его в те горькие минуты, когда насильно отлученный от своего читателя он чувствовал себя на краю пропасти. Они придавали ему веру в то, что написанное им обязательно дойдет до адресата. Эти слова, видимо, выполняли роль той «стальной пружины», о

которой говорит в своих воспоминаниях Елена Сергеевна: «Булгаков был невероятный. Я не встречала равного Булгакову. У него была какая-то стальная пружина внутри, и никакая сила не могла его согнуть...».

В 90-е годы в Америке был издан фотоальбом, посвященный Михаилу Булгакову. Среди собранных в нем фотографий есть одна, которую невозможно забыть: худое строгое лицо, впалые щеки, обнаженная горечь сомкнутых губ, на глазах темные очки, надеть которые заставила смертельная болезнь. Это последний снимок Булгакова. 1939 год, Барвиха... Всякий раз, когда я пытаюсь за непроницаемостью темных очков представить себе булгаковские глаза, «как небо, ярко синие, всегда светящиеся и горевшие интересом и жадностью к жизни», мне вспоминаются слова Елены Сергеевны.. Да, именно эти черные стекла, словно бы уже отделившие Булгакова от реальности, - та страшная деталь, которая обнажает драму всей его жизни. И так грустно знать, что, умирая, он сказал: «Это не стыдно, что я так хочу жить, хотя бы слепым...»

Эту фотографию Булгаков подарил своей жене. За месяц до смерти, он сделал на ней короткую надпись. Для меня эта надпись звучит как формула жизненной трагедии писателя и величия его наследия: «Жене моей, Елене Сергеевне Булгаковой. Тебе одной, моя подруга, подписываю этот снимок. Не грусти, что на нем черные глаза: они всегда обладали способностью отличать правду от неправды».

Бостон

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

#### ГЕНРИ ДЖЕЙМС И РУССКИЕ (Жизнь и творчество Генри Джеймса в контексте его русских связей)

Генри Джеймс - писатель недооцененный - как на родине, в Америке, так и за ее рубежами, в частности в России. О нем вспоминают как-то спорадически<sup>1</sup>, от случая к случаю, отдают должное его мастерству, его психологическим открытиям, предвосхитившим позднейшие прозрения психоаналитиков, - и затем как бы забывают, уходя к другим именам, другим кумирам. В этом смысле его положение чем-то напоминает положение нашего Тургенева. Кто спорит? - Иван Сергеевич числится в классиках: «Бежин луг», «Муму», «Записки охотника», «Отцы и дети» изучаются в школе, о Тургеневе пишут статьи, ему посвящаются конференции... но его не читают. Он в стороне от литературных пристрастий нашего читающего современника. Его задвигают в угол, на первый план помещая Толстого, Достоевского, Чехова... Что ж, Тургенев себя не навязывает, он, как и Генри Джеймс, ускользает, норовит убежать, укрыться от нескромного взгляда, нечуткого вмешательства. Его посмертные повадки очень напоминают прижизненные. Этим двум «ускользающим» классикам - Ивану Тургеневу и Генри Джеймсу, в чем-то столь похожим друг на друга, отчасти и посвящена моя статья. Но лишь отчасти, ибо Тургенев ввел своего младшего американского друга в круг своих русских друзей. Русское влияние, судя по письмам и произведениям тех лет, не могло не коснуться американца. Эта еще не исследованная тема - Генри Джеймс и русские - и стала главным предметом моих изысканий.

<sup>1</sup>Большой рецензией на публикацию «исторического романа» Колма Тойбина «Мастер», в центре которого Генри Джеймс, откликнулся Джон Андайк в престижном Нью Йоркере (The New Yorker. June 28, 2004, pp.98-101).

**Уроки мастера.** Да будет известно читателю, что американец Генри Джеймс считал Тургенева своим учителем, восхищался его писательским даром, его человеческими качествами. Тургеневу Джеймс посвятил несколько своих очерков 70-80-х гг., а в конце жизни, готовя предисловие к роману «Женский портрет» для нью-йоркского издания 1907-1909 гг., снова предался дорогим для него воспоминаниям: «Я всегда с благодарностью вспоминаю замечание Ивана Тургенева, которое сам от него слышал, относительно того, как у него обычно зарождался художественный вымысел. В его воображении почти всегда сначала возникал персонаж или несколько персонажей: главных и второстепенных; они толпились перед ним, взывали к нему, интересуя и привлекая его каждый собственными своими свойствами, собственным обликом... ему нужно было поставить их в правильные отношения - такие, где они наиболее полно раскрыли бы себя...». Этот же тургеневский «урок» вспоминал Джеймс в одном из своих эссе («Иван Тургенев», 1884), рассказывая о встречах с Тургеневым: «Всего интереснее были рассказы Тургенева о его собственной литературной работе, о том, как он пишет... В основе произведения лежала не фабула - о ней он думал в последнюю очередь, - а изображение характеров... Всё сводится к отношениям небольшой группы лиц - отношениям, которые складываются не как итог заранее обдуманного плана, а как неизбежное следствие характеров этих персонажей». Видимо, эти признания мастера сильно захватили Джеймса, так как он возвращался к ним неоднократно. Самое первое - непосредственное - впечатление Г.Д. от рассказа Тургенева об его писательском методе можно найти в письме к другу - Томасу Перри от 3 февраля 1876 года: «На днях снова был у Тургенева... Говорил он больше, чем когда-либо прежде, о том, как пишет, и сказал, что никогда ничего и никого не придумывает. В его рассказах все начинается с какого-нибудь наблюденного им характера...А то, к чему он в конечном итоге стремится, - это верно передать индивидуальный тип человека. Короче, он в общем рассказал мне, как протекает его творческий процесс, и сделал это бесподобно тонко и совершенно откровенно».

С той же, что и Тургенев, откровенностью Джеймс признается, что позаимствовал этот метод у русского брата или, во всяком случае, руководствовался схожими идеями при написании «Женского портрета»: «Теперь, когда предаваясь воспоминаниям, я пытаюсь воссоздать зерно моего замысла, мне ясно, что в основе его лежала отнюдь не хитросплетенная «интрига» (одно слово чего стоит!), а нечто совсем иное: представление о некоем характере, характере и облике привлекательной девушки, одной-единственной, вокруг которой предстояло выстроить все обычные элементы «сюжета» и, разумеется, фона».

Любопытно, что оба писателя сходно мыслили и об «источниках» художественного произведения, о таинстве его появления на свет. Тургенев, по воспоминаниям Джеймса, говорил ему о том, «откуда берутся семена вымысла»: «Они падают на нас с неба, они тут как тут за каждым поворотом дороги - вот, пожалуй, и все, что можно сказать. Они скапливаются, мы их сортируем, производим отбор. Они... занесены в наше воображение потоком жизни». Сам Джеймс все в том же предисловии к «Женскому портрету» высказывает близкую Тургеневу мысль: «Нравственный» смысл произведения искусства находится в прямой зависимости от того, сколько пропущенной через себя жизни вместил в него его создатель».

Был такой период в жизни обоих писателей, когда они тесно общались, обменивались мыслями, впечатлениями, встречались с общими знакомыми... Этот период охватывает осень - весну 1875 - 76 годов, когда Генри Джеймс, приехав в Париж, встретил там Тургенева. Связь американца с русским продолжалась до самой смерти последнего в 1883 году. Джеймс, начиная с 1876 года, живет в Лондоне, но держит Тургенева в поле зрения, то наезжая в Париж, то встречаясь с «Джоном» в Англии. Дружеское общение повлияло на обоих, но все же Джеймс находился по отношению к Тургеневу в позиции ученика, его литературное поприще, в отличие от тургеневского, только начиналось. Представляется, что многие произведения Джеймса времени его знакомства и дружбы с Русским несут на себе некоторый тургеневский отпечаток, некий знак, видимый не сразу и не вдруг. Но если взглянуть попристальней... Но однако не будем спешить и начнем по порядку.

**Что было у них за плечами.** Не случайно Генри Джеймс и Тургенев сразу друг другу понравились - у них было много общего в характере и судьбе. Приведу небольшой кусочек биографии Тургенева, составленной Генри Джеймсом для «Библиотеки английских читателей» (1896-1897 гг.):

«Тургенев родился в 1818 г. в Орле, в самом сердце России, а умер в 1883 г. в Буживале близ Парижа; вторую половину жизни он провел в Германии и во Франции, чем вызвал у себя на родине неодобрение, часто выпадающее на долю отсутствующих, - расплата за те широкие горизонты или за соблазны, которые им иногда случается открыть по ту сторону рубежа». Конечно же, в этих строчках присутствует явный автобиографический ответ. Говоря о Тургеневе, Джеймс говорит и о себе. Он родился в 1843 году, на четверть века позже Тургенева, в Нью-Йорке, но большую часть жизни провел в Европе и умер в Англии, чье подданство незадолго до смерти принял. На родине на такое «отступничество» смотрели с явным неодобрением. До сих пор некоторые критики винят Джеймса в антиамериканизме - это его расплата за «космополитизм» и «широкие горизонты». Продолжая рассказывать о Тургеневе, Джеймс сообщает, что у того было «множество друзей и знакомых среди выдающихся художников и литераторов, он так и не женился, продолжал писать, не торопясь и не гоняясь за числом книг, и за эти годы приобрел так называемую европейскую известность...». Все это можно отнести и к самому Джеймсу, за исключением, пожалуй, писания «не торопясь». В отличие от Тургенева, Джеймс жил на литературные заработки и вынужден был порой писать в жестком цейтноте.<sup>2</sup>

Что до женитьбы - он, как и Тургенев, женат не был. И об этом хочу сказать особо.

В наше странное время и в такой стране, как Америка, ситуация «неженатого зрелого мужчины» вызывает подозрения. В романе Тойбина Джеймс причисляется к адептам однополой мужской любви. Слава Богу, что автору не пришло в голову написать «исторический роман» о Тургеневе. Вполне возможно, что он сумел бы написать и о нем нечто подобное. Не буду углубляться в толщу биографии Генри Джеймса, скажу только, что в его жизни, как и в жизни Тургенева, была одна сильная привязанность. Девушку, его кузину, звали Мэри Темпл, по-домашнему, Минни. Она умерла от чахотки в возрасте 24-х лет в тот самый год, когда Генри совершал свое первое путешествие по Италии, с той поры ставшей для него

местом паломничества. Не подозревая, что дни Минни сочтены, он предполагал, что она присоединится к его путешествию. Черты Минни Темпл - ее внешнюю привлекательность, стремительную, скользящую походку, напоминающую бег гондолы, ее необычность и непосредственность можно увидеть во многих героинях Джеймса.<sup>3</sup>

Американский писатель, как и Тургенев, был любимцем и баловнем женщин, любил женское общество, знал, как обращаться с дамами, умел играть на струнах женской души. Все это, даже ничего не зная о его жизни, можно прочесть в его романах. И из них же можно узнать, что он боялся брака - показывая или невозможность соединения любящих, или глубокое разочарование, подстерегающее того, кто совершил этот опрометчивый шаг, - предпочитал жизнь одинокого холостяка, наблюдающего из своего угла за «человеческой комедией» (позиция тяжело больного Ральфа из «Женского портрета»). Тема «болезни» упоминается и в биографии Генри Джеймса. Леон Эдель, биограф писателя, пишет о болезни спины и позвоночника, мучившей Джеймса с юности, есть и другие, правда, неясные свидетельства... Скорее всего, из-за плохого состояния здоровья Генри и его старший брат Вильям, в отличие от двух младших, не приняли участия в Гражданской войне.

Существует некий мужской тип, и нам, читатель, он известен - кому из литературы, кому по опыту жизни - назовем его «вечным странником», или «человеком ускользающим». Его трудно представить в домашнем халате, обремененным семейными обязанностями и заботами, его нельзя вообразить счастливым на обычный лад... Это ученые, поэты, философы, революционеры, которым их служение своему предназначению заменило семью. Генри Джеймс в одном из писем назвал себя «вечным аутсайдером». Он выбрал для себя «сосредоточенность, совершенство и независимость» - три составляющих писательского ремесла; именно о них говорил своему младшему другу и коллеге-писателю Мастер в романе Джеймса «Урок мастера» (1888).

Но вернемся к нашей теме.

Американца, осенью 1875 года появившегося на пороге парижского дома Тургенева, сближало с его хозяином не только писательское звание, но и то, что оба они во Франции были чужаками, пришельцами - один из России, другой из Америки, но оба предпочли для проживания Западную Европу. Правда, причины, побудившие их к этому, были не совсем сходными.

Случайно ли Тургенев оказался за границей? Начав в возрасте 15-и лет обучение в Московском университете, Тургенев затем переводится в Петербург; в 19 заканчивает словесное отделение философского факультета Петербургского университета - и отправляется в Германию - в Берлин, столицу тогдашней философской мысли. И он не был там единственным русским: в Берлинском университете одновременно с ним слушали лекции Станкевич, Грановский. Русских в университетах Европы, как и вообще в Европе, было немало.

Получив знание «гегелевской философии», Тургенев приезжает на родину человеком европейски образованным, повидавшим мир, напитавшимся новыми впечатлениями и идеями свободы. Между тем, Россия 40-х годов, в самом зените николаевского царствования, ошетинивается страхом и ненавистью ко всяким проявлениям свободы в мыслях и действиях. Самодержавная власть стре-

<sup>2</sup> За жизнь Г. Джеймс написал 20 романов и 112 рассказов, не считая огромного количества критических статей и эссе. Кроме того, им написаны тысячи писем.

<sup>3</sup> Напомним читателям хотя бы такие образы, как Дейзи Миллер из одноименной повести или Изабелла Арчер из «Женского портрета».

мится держать в крепостном состоянии не только крестьян, но и все прочие сословия.

Бесспорно, «отсутствие воздуха» помешало Тургеневу обосноваться на родине. Но не забудем, что огромную роль в том, что Иван Сергеевич жил вне России, сыграла его любовь-страсть к Полине Виардо, с которой он познакомился 1 ноября 1843 года (знаменательная на всю жизнь дата!). Тургеневу, тогда молодому помещику, задумавшему охотнику и начинающему писателю, было 25 лет. Ей, уже познавшей успех на оперной сцене, вышедшей замуж за директора Итальянской оперы в Париже Луи Виардо, - только 22 года.

Увлеченный «проклятой цыганкой» (так называла Полину мать Тургенева), молодой наследник богатейшего состояния - под угрозой его потери - следует за четой Виардо за границу. Мать грозит и требует его возвращения, он приезжает. И снова едет - провожает больного Виссария Белинского на воды - умирать, а затем живет с семьей Полины в Куртавнеле, колесит по Европе почти 3 года. Но это еще не эмиграция, не переселение - финансово он зависит от матери и не может ослушаться ее приказа. Мать посылает ему деньги на дорогу и требует незамедлительного приезда. Покидая Францию, Иван пишет знаменательное письмо, адресованное Луи Виардо: «Конечно, отечество имеет права, - но истинное отечество не там ли, где человек встретил наиболее любящее к себе отношение, где сердце и ум чувствуют себя свободными?». В России со свободой всегда было сложно. Полицийская машина удержу не знала - в 1852 году за напечатание статьи о только что умершем Гоголе Тургенев «арестован при полиции, по приказанию государя». После месячной «котсидки» в полицейской части его высылают в родовое Спасское без права выезда. Сам он считает, что статья о Гоголе была только поводом: «На меня уже давно косились. Придрались к первому подвернувшемуся случаю».

И в самом деле, Тургенев мог находиться под подозрением у властей предрежащих - долго жил за границей, где изучал «вольнодумную» гегельянскую философию, общался с крамольником политэмигрантом Герценом, свел дружбу со смутьяном Бакуниным, в России был близким другом «кнеистового Виссария» Белинского, входил в редакцию «подозрительного» некрасовского «Современника», проповедовал последовательные «западнические», то есть демократические идеи; в его рассказах из цикла «Записки охотника», с 1847 года печатавшихся в «Современнике»<sup>4</sup>, только слепой мог не увидеть осуждение крепостнических порядков... И вот ссылка. Есть свидетельство, что, когда в 1853-м году Полина приехала в Россию на гастроли, Тургенев, под страхом наказания, разжившись фальшивым паспортом, покинул Спасское и помчался в Москву. Но настроение у «ссылного» было тягостное: «Моя жизнь кончена, в ней нет больше очарования; я съел весь свой белый хлеб...». «Прощайте, прощайте, пишите мне часто...», - строчки из его тогдашних писем к Виардо. Эти слова свидетельствуют об отчаянии, схожем с тем, что охватывает жертву при звуке захлопнувшейся ловушки.

В 1856-м году с концом николаевской эпохи, после бесславного завершения Крымской войны, Тургеневу наконец было дано разрешение на выезд. С этого времени (ему 38 лет, он одинок и - после смерти матери в 1850-м году - владелец крупного состояния), писатель в основном живет за пределами России, наезжая на родину по

литературным или хозяйственным делам, чаще всего в летнюю пору.

Говоря о Тургеневе, нельзя упускать из виду «фактор семьи». Иван Сергеевич вышел из семьи, где «бал правила» мать, человек с изуродованной психикой, жестокая и самовластная помещица. В детстве будущий писатель был свидетелем страшных сцен ее расправ с дворовыми и крепостными людьми; на его собственном домашнем воспитании сказались как диктат матери, так и - принимавшая порой изуверские формы - ее любовь к младшему сыну Ивану. В годы учения за границей и впоследствии - в странствиях за семьей Виардо, - молодой Тургенев бежал и от материнского всевластия, и от ее безжалостной садистской любви.

Теперь посмотрим, что привело в Европу Генри Джеймса.

Как и в случае с Тургеневым, на будущего писателя сильно повлияли детские впечатления. Они были нетипичны для тогдашней американской семьи. Отец Генри, Генри Джеймс-старший, человек широких философских взглядов, хотел дать детям (а их у него было пятеро) европейское образование. С этой целью семья странствовала по Европе. Женева, Париж, Лондон - эти города Генри увидел еще будучи ребенком. В одной из повестей Джеймса 90-х годов «Ученик» описывается семья американских «космополитов, цыган» Моренов, кочевавших по Европе и нанимавших своему болезненному «гениальному» ребенку самых лучших учителей, однако не плативших этим учителям ни гроша. Морены характеризуются автором как авантюристы, мошенники, которых погубил снобизм. Не думаю, что Морены - портрет семьи Генри Джеймса, но, без сомнения, в повести нашли отражение какие-то реальные детские впечатления писателя. По словам джеймсовского биографа Леона Эделя, Галерея Аполлона в Лувре, которую Генри впервые посетил в двенадцатилетнем возрасте вместе с 14-летним братом Вильямом (будущим известным психологом-прагматистом), стала для подростка настоящим домом. Братья Вильям и Генри учились в школах Нью-Йорка, Женева и Лондона, им нанимали домашних учителей-европейцев, они знакомились на практике с культурой и жизнью европейских стран. Уже тогда юный Джеймс мог сказать о себе цитатой из своего еще не написанного романа «Европейцы» (1878): «Есть такие люди на свете, которые на вопрос о родине, вероисповедании, занятиях затрудняются ответом». Когда 19-летний Генри Джеймс записался на юридический факультет Гарвардского университета, за спиной у него был уже богатый опыт жизни в Европе. Наверное, вследствие этого, Кембридж, где он учится на юриста, и Бостон, где живет его семья, кажутся ему глубокой провинцией, к тому же не лежит у него душа к занятиям юриспруденцией: Генри - книголюб, любитель искусства, живописи. В 21 год он успешно дебютирует как автор эссе о литературе в только что родившемся журнале «Североамериканское ревю». Он думает о писательстве. Но что такое писатель в Америке? Человек, который не занят ничем путным, не умеющий жить и зарабатывать доллары. В том же романе «Европейцы» есть иронический кусок, где обыгрывается «американское» восприятие слова «дилетант», столь же чуждого прагматической родине Джеймса, что и слово «писатель». На вопрос простодушного бостонца, чем этот человек занимается, следует ответ: «А он дилетант». И далее идет иронический комментарий писателя: «и мистер Б. возвращается к себе в Сейлем, полагая, что на языке европейцев это означает маклер или торговец зерном».

Посетив Италию в 1869 году, Генри очень резко высказывается о своих соотечественниках в письме к брату Вильяму: «Только одно слово может их определить -

<sup>4</sup> В 1852 году вышло отдельное двухтомное издание «Записок охотника».

вульгарные, вульгарные, вульгарные...», его возмущает «их невежество - их тупое, вызывающее недоброжелательство по отношению ко всему европейскому, их постоянное обращение к американским стандартам...» (здесь и далее цитирую в своем переводе - И.Ч.).

Джеймсу предстояло сделать нелегкий выбор; о владеющем им чувстве он напишет тому же брату Вильяму, призывавшему его вернуться на родину и избрать «нормальную» профессию: «Я испытал это чувство раз и навсегда, когда вернулся из Европы в мае 1970-го - и определял в те мертвые дни, как дальше жить. Тогда я почувствовал, как чувствовал и после следующих возвращений, что единственная возможность жить в Америке - это вернуться назад в Европу, что попытка *смешать* их - ужасающе бесплодное дело».

Об этом же говорит он и в одном из последних своих писем к жене Вильяма Алисе: «Дражайшая Алиса, я мог бы вернуться в Америку (мог бы быть отвезен туда на носилках) - умирать, но никогда - жить». Осмысливая свое решение в автобиографической повести «Веселый уголок», Джеймс гипотетически проецирует его восприятие соотечественниками, которые, конечно, не поняли бы и осудили многолетнее пребывание героя за границей: «Я бродил по странным тропам и поклонялся странным богам, и вы, наверное... думали, что все эти тридцать лет я вел эгоистическую, легкомысленную, недостойную жизнь».

Решение остаться в Европе зрело в Джеймсе как раз в те месяцы и дни, когда осенью 1875 года корреспондентом нью-йоркской газеты он прибыл в Париж и встретил там еще одного добровольного изгнанника - Ивана Тургенева.

**Встреча.** О Тургеневе он знал уже давно. Читал его в переводах на немецкий язык. К тому же, американский ньюпортский приятель Джеймса - Т.С. Перри - был большим «русофилом» и почитателем русского писателя: в 1873-м году перевел на английский «Рудина» и три тургеневских рассказа, позднее перевел роман «Новь».<sup>5</sup>

Генри Джеймс во время путешествия по Италии написал большую статью о Бальзаке и Теккере, крупнейших европейских реалистах, таких как. В ней он приветствовал Тургенева «как первого романиста современности». Приехав в Баден-Баден, Генри пишет отцу: «Тургенев живет здесь, и я думаю связаться с ним». Но в этот раз они не могут встретиться - русский в Карлсбаде, приходит в себя после приступа подагры. Однако, получив статью Г.Д., он любезно на нее откликается и пишет автору, что она была «вдохновлена прекрасным чувством правды; в ней ощущается мужество, психологическая глубина и явный литературный вкус». По-видимому, Тургеневу статья действительно понравилась, тем более, что в русской критике он редко встречал о себе доброжелательные отзывы (о чем речь впереди), он добавляет в письме:

<sup>5</sup> Вообще Тургенев был в Америке достаточно популярен. Энциклопедия российско-американских отношений сообщает, что в 1856 году в «Новом Американском обозрении» появились отрывки из «Записок охотника», в 1867 в Нью-Йорке были изданы «Отцы и дети» в переводе Юджина Скайлера, а в 1867-85 гг. нью-йоркским же издательством Г. Гольта было выпущено 8-томное собрание сочинений Тургенева. Любопытно, что в 1874 году «в счет барыша» Гольт прислал Тургеневу чек на 1000 франков, о чем Тургенев пишет в письме к Анненкову: «Эта истинно американская грандиозность меня тронула: сознаюсь откровенно, что в течение моей литературной карьеры я не многим был столь польщен. Мне и прежде сказывали, что я, если смею так выразиться, пользовался в Америке некоторою популярностью, но это доказательство воочию меня-таки порадовало».

«Было бы по-настоящему приятно свести с вами знакомство, что я уже сделал с некоторыми вашими соотечественниками». В конце письма русский писатель сообщал свой постоянный адрес в Париже на рю де Дюе.

Последовавшая затем встреча с Тургеневым в Париже в ноябре 1875 года потрясла Джеймса. Писатели встретились на втором этаже дома, который он снимал вместе с семьей Виардо, - в зеленой гостиной, в которой поражал богатырских размеров диван, сколоченный точно по меркам своего великана-хозяина. На стенах висели превосходные работы Теодора Руссо. В комнате, как у пушкинского Чарского, ничто не напоминало о писательском труде - не было разбросанных по полу бумаг и книг. В хозяине, необыкновенно высоком седовласом человеке, чье сложение обнаруживало большую силу, можно было увидеть «человека странствий», спортсмена, охотника. У него была прекрасно вылепленная голова, черты лица были неправильны, но красивы, выражение лица «было исключительно приятным», «а взгляд его добрейших глаз был глубоким и меланхоличным». У него были пышные и прямые волосы, короткая и ухоженная борода, такая же белая, как и волосы. В течение двух часов они беседовали. Тургенев говорил с Джеймсом на превосходном, но слегка старомодном английском. Джеймс был очарован хозяевами.

Вот его отзывы о «русском» из писем друзьям:

Лиззи Бутт: «Он чрезвычайно прост, искренен - почти наивен - короче, он настоящий образцовый гений».

Хоуэллсу: «...Он все, чего можно желать, - крепкий, симпатичный, скромный, простой, глубокий, умный, наивный - ангельски...».

Т. Перри: «Если бы ты знал его лично, ты бы возненавидел его книги - в сравнении с ним».

Спустя месяц после встречи с Тургеневым, Джеймс пишет брату: «Я видел его несколько раз, вооружившись вниманием. Он кажется более старым и сонным, чем казался мне в первый раз, но он лучший из людей».

Джеймс, которому в это время уже 32 года - влюблен в Тургенева, по выражению Пушкина, «как дитя». Позднее, уже после смерти Тургенева, в своих воспоминаниях о нем американец даст характеристику русского писателя и подробно расскажет о своих встречах с ним. Но прежде чем обратиться к этим материалам, ответим на вопрос, все ли воспринимали личность Тургенева так, как Джеймс...

**Пророк в своем отечестве.** Надо признать, что Тургенев любил далеко не все. И прежде всего в России. Аристократов-помещиков Тургенев раздражал своим демократизмом, сочувствием и любовью к мужику, отсутствием «национального чувства»; разночинцев - демократов, напротив, - аристократизмом, эстетскими замашками, европейским духом тех и других - слишком большой свободой, не допускающей догматизма, и высочайшей культурой, придававшей общению с Тургеневым дополнительную сложность. Его считали надменным, самолюбивым. Тургенев получил блестящее философское образование, прекрасно говорил, читал и писал на всех основных европейских языках, был завсегдатаем музеев и литературных гостиных Европы. Этого было довольно, чтобы его не любили - как справа, так и слева. Красноречивый пример - Авдотья Панаева, гражданская жена Некрасова, редактора журнала, где Тургенев печатался,

<sup>6</sup> Тургенев встречался с Г. Бичер-Стоу, М. Твенном, Дж. Р. Лоуэллом, Бойесеном. последнему он признавался, что всегда мечтал посетить Америку и что друзья-товарищи по Московскому университету даже прозвали его «американцем» за «демократические тенденции и энтузиазм по отношению к североамериканской республике».



близкого тургеневского друга. Мало кто в ее воспоминаниях удостоился таких едких характеристик, как Иван Сергеевич. Панаевой не нравится, что он «барин», что может пригласить к себе на обед всю честную кампанию, а сам, по забывчивости, отправиться на охоту (обед придется готовить уже в присутствии голодных гостей из неаппетитных жилистых кур...). Нет, гораздо милее Панаевой прямой как струна в своих мыслях и действиях Чернышевский и его ближайший сподвижник Добролюбов - «семинаристы», люди не надменные, простые, вызывающие у нее не только восхищение своей гражданской непримиримостью, но и жалость - российскую спутницу женской любви. А Тургенев - чего жалеть? Богатый, здоровый, если болеет - то больше притворяется, в России бывает только наездами - приезжает лавры пожинать после выхода очередного романа, да все норовит из своей заграницы наставить на ум бывших сограждан, распутать русские узлы... Нет уж, Иван Сергеевич, кишка тонка вам из вашего прекрасного далека нашу грязь расчистить. Все это, конечно, прямо не сказано нет в тексте воспоминаний Панаевой. Я пытаюсь реконструировать их («подтекст», найти причину ее (и не только ее) стойкой не любви к Ивану Сергеевичу. Впрочем, нелюбовь, как и любовь, часто необъяснима. Вот ведь и Чернышевский Тургенева недолюбливал, и Добролюбов.

С Толстым они чуть ли не дуэль затеяли, долго были в ссоре. А уж Достоевский - тот просто злобой исходил по поводу Тургенева, вывел его в карикатурном виде в «Бесах» - и в Степане Трофимовиче Верховенском, и под именем писателя Кармазинова, намекая на некую сентиментальную слезливость его писаний, бросал в лицо при встрече, что тот-де России не знает... И с Некрасовым Тургенев тоже рассорился. Некрасов принял сторону своих молодых сотрудников в их споре с Тургеневым, вопреки воле Тургенева, напечатал добролюбовскую рецензию на роман «Накануне» - «Когда же придет настоящий день?» Позднее Тургенев сам признает, что из всей тогдашней критики романа «самою выдающейся была, конечно, статья Добролюбова». А тогда ушел, хлопнул дверью, перестал звать «Современником». Значит, не такой уж смиренный был, готов был на разрыв. И Некрасов на мировую не пошел... Казалось, дружен был Тургенев с Тютчевым и Фетом, ценил их поэзию, отредактировал и выпустил их первые книжки. И что же? И от них летели в его сторону отравленные стрелы.<sup>7</sup>

Так обстояло дело со своим братом - писателем.

Что до критики... то тут, наверное, ни одному крупному творцу так не доставалось от нее, как Тургеневу. И доставалось со всех сторон - и от консерваторов, и от либералов.

Кто не знает, как по-разному оценили «Отцов и детей» и фигуру Базарова даже представители одного только демократического лагеря. Антонович, критик «Современника», увидел в романе поклеп на современную молодежь, в Базарове - «Асмодея нашего времени». Дмитрий Писарев, напротив, нашел в тургеневском герое путеводную звезду, образец для мыслящей молодежи. А уже упоминавшаяся нами Авдотья Панаева в записках рассказывает (не без злорадства), как знакомый отставленный после Крымской кампании генерал приветствовал сочинение Тургенева, полагая, что писатель издевается в нем над нигилистами...

Подводя итог своей литературной деятельности, Тургенев с горечью пишет о критиках, дружно нападавших

на все его сочинения при их появлении, обвинявших автора то в «ложном направлении», то в «недостатке патриотизма» и «оскорблении родного края», то в потере «всякого понимания русской жизни, русского человека».

В год, когда произошла встреча Генри Джеймса с Тургеневым, последний работал над романом «Новь», встреченным на родине на редкость недоброжелательно. Вот слова самого Тургенева: «Что же касается до «Нови» - то, я полагаю, не для чего настаивать на том, каким дружным осуждением было встречено это мое последнее, столь трудно доставшееся мне произведение. За исключением двух, трех отзывов - писанных, не печатных - я ни от кого не слышал ничего, кроме хулы».

Надо сказать, что Джеймс, чутко следивший за творчеством Тургенева, был одним из первых иностранцев, прочитавших «Новь» (во французском переводе). В письме к сестре Алисе он пишет: «Я прочитал в черновой рукописи, которую я не могу прислать тебе, так как хочу сохранить ее для ревю, новый роман Тургенева «Новь»: французский перевод. В нем много достоинств, но я думаю, что он решительно уступает его ранним произведениям». В своем неподписанном ревю в «Nation» (апрель 1877 г.) Джеймс написал о «Нови», что «сам Тургенев превосходит свой роман». В более позднем очерке (1896-97 гг.) Джеймс скажет об этом самом длинном романе Тургенева так: «хотя и прекрасное, но менее совершенное из его произведений». В этих отзывах нет большой похвалы, но нет и хулы. В них отсутствуют то язвительное недоброжелательство, которое сопровождало многие статьи о Тургеневе на родине.

**Проверка временем.** Дружба Тургенева и Джеймса прошла проверку временем. В год знакомства они встречались довольно часто, в феврале 1876 года Джеймс общается Хоуэллсу: «Да, я часто вижу с Тургеневым и подружился с ним. Он очень добр ко мне и вдохновляет меня чрезвычайно». Тургенев знакомит Джеймса со своим окружением - русскими и французами, вводит в маситый «кружок пяти», собиравшийся у Флобера, приглашает его вместе пообедать в парижские кафе... Джеймс присутствует и на домашнем празднике в семье Виардо, с удивлением видит преобразившегося Тургенева, который гримируется, переодевается и комически лицедействует вместе с детьми Полины. В последующие годы, будучи в Англии, Джеймс не теряет старшего друга из виду, они переписываются; при остановках в Париже Джеймс тотчас спешит к Тургеневу, навещает его и на рю де Дюе и в летнем шале в Буживале. В свою очередь, Тургенев, приехав в 1879 году в Лондон для получения степени почетного доктора права (*honoris causa*), заранее оповещает о своем приезде Джеймса, просит того организовать небольшой ужин после «события». Последние годы жизни Тургенева были мучительны, он умирал от рака, страдал от сильных болей в спине. Джеймс навестил Ивана Сергеевича в один из его хороших дней, когда боль отпустила. Он вспоминает полуторачасовую поездку с Тургеневым в экипаже (тот не любил поездов), «сверхобычный» блеск и остроумие своего собеседника.

После смерти Ивана Сергеевича американец написал о нем несколько эссе, из которых видно, какой глубокий след оставил Тургенев в его жизни. Если очерк 1890-х годов в основном посвящен разбору произведений Тургенева и оценке его писательского вклада, то в более раннем очерке, написанном под впечатлением смерти Тургенева, Джеймс делится своими мыслями об его человеческих качествах. Обратимся к этому удивительному документу.

Первое, на что необходимо указать, - полемическая направленность очерка, заявленная в самом начале и определяющая все последующее повествование. Джеймс при-

<sup>7</sup> См. по этому поводу содержательную и во многом новаторскую книгу Н.П. Генераловой. И.С. Тургенев. Россия и Европа. С-П, 2003, гл.V-VII



водит цитату из надгробной речи Э. Ренана, произнесенной на траурной церемонии по Тургеневу, в которой француз провозгласил, что русский писатель был «рожден по сути безличным» ("he was born essentially impersonal"). В переводе М. А. Шерешевской эта заостренность характеристики утрачивается: «он родился человеком, не ограниченным своей личностью». Но при внимательном чтении очерка становится понятно, что Джеймс неспроста начал с этой, по-видимому, задевшей его ренановской фразы (Ренан проводил в этой речи свою любимую мысль о пророке, говорящем от лица молчаливой массы).<sup>8</sup> Джеймс полемически выступает против такой формулировки Ренана, он настаивает на том, что «тот будет далек от истины, кто назовет его (Тургенева, - И.Ч.) «проводником» или «выразителем», у него было собственное вдохновение, так же, как и голос. Иными словами, он был личностью (individual)<sup>9</sup> в точном значении этого слова, и тем, кому посчастливилось его знать, сегодня нетрудно думать о нем как о значительном, выдающемся человеке».

Джеймс не может не рассказать о своем первом визите к Тургеневу, так сильно врезавшемся в его память: «Я никогда не забуду впечатления, которое он произвел на меня во время нашей первой беседы. Я нашел его восхитительным. Не верилось, что при более близком знакомстве, он окажется (что человек может оказаться!) еще более восхитительным. Близкое знакомство только подтвердило мою (смутную) надежду...». В длинном перечне качеств, которые, по словам американца, были присущи Тургеневу, можно найти «простоту и естественность», «скромность и доброту», «отсутствие тщеславия, раздражительности, нетерпения», «юмор и подтрунивание над собой». Если бы этот список предъявили русским братьям Тургенева, не думаю, что все они безоговорочно подписались бы под ним. Сдается мне, что любящий взгляд Джеймса, далекий от зависти, политических, словесных и прочих предубеждений, был ближе к истине при определении сущности Тургенева-человека, чем зашоренное близорукое видение некоторых тургеневских соотечественников.

Что же Джеймса особенно восхищало в Тургеневе?

Его блестящий, всегда умный и интересный разговор, его советы, связанные с работой писателя.

Отсутствие позы и рисовки, естественность поведения.

Мягкость и доброта в сочетании с физической силой и «богатырским» телосложением.

То, что позади него, «в резерве», всегда стояла Россия, ее судьба, ее народ, о которых он думал и говорил беспрестанно.

Были ли у Тургенева в восприятии Джеймса недостатки?

Американец говорит об излишней мягкости и нерешительности Тургенева, (свойственных и его героям), в связи с чем сам Иван Сергеевич над собой подтрунивал. Он, например, любил повторять отзыв о себе Флобера (poire molle - фр. «размазня», «мягкая груша»), более довольный этой остротой, чем даже ее автор.

Джеймс определяет Тургенева как «человека откладывания» ("a man of delays")<sup>10</sup>.

Тургенев частенько откладывал встречи, переносил их на другой срок - и друзья прощали ему эту «азиатскую» слабость (в чем не были схожи с А. Панаевой!), тем бо-

лее, что как пишет Джеймс, «он не помнит свидания, на которое бы он (Тургенев, - И.Ч.) вообще не пришел». При всех своих слабостях и чисто человеческих чертах (например, краснел как шестнадцатилетний юноша), Тургенев, по словам Джеймса - и они завершают очерк - «был слеплен из того материала, из которого выделяются великие».

Значительная часть очерка посвящена «русским делам» и «русским знакомым» Тургенева. К ним мы и обратимся.

**Русские в Париже.** Русских в Париже было много, как и вообще в Европе. Русские в Европе были в чем-то схожи с американцами - их привлекали «европейская цивилизация», древности, шедевры культуры и искусства, но одновременно им грозила перспектива в столкновении с европейскими ценностями утратить свое лицо, самобытность, начать молиться чужим богам... Повсюду в Европе существовали колонии русских, нашедших здесь приют. В Лондоне обосновался Герцен со своей Вольной русской типографией, в Риме жили и творили русские художники - Александр Иванов, Брюллов, Кипренский; много русских аристократов проживало в Германии, особенно в Баден-Бадене. Но, центром русской эмиграции был Париж, тогдашний, по слову Гоголя, «размен и ярмарка Европы», здесь обретали пристанище политические беженцы, художники, странники, не нашедшие себе места на родине.

Генри Джеймс, говоря о Тургеневе, не мог не упомянуть о русской колонии в Париже. Переехав в середине 70-х годов в Париж из Баден-Бадена, Иван Сергеевич в какой-то степени стал центром этой колонии - ее маяком и магнитом: все что было связано с русским языком и культурой тянулось к нему и его находило. Джеймс пишет: «Он (Тургенев, - И.Ч.) принимал живейшее участие во всех посещавших его молодых русских, они интересовали его больше всего на свете. Их всегда преследовали несчастья, они испытывали нужду и острое недовольство существующими порядками, которые и самому Тургеневу были ненавистны... За долгие годы перед ним прошла целая вереница удивительных русских типов».

Мне бы хотелось остановиться на нескольких фигурах из русского окружения Тургенева, которые, помимо самого Ивана Сергеевича, сформировали представление американца о русских. Это, в первую очередь, семья Николая Тургенева, старшего друга и однофамильца Ивана Тургенева, «почти родственника», каковыми однофамильцы подчас и являются... В очерке Джеймса Тургеневы не упоминаются; между тем, эта семья была в числе его близких парижских знакомых.

Николай Тургенев - человек-легенда, тот самый «хромой Тургенев» из сожженной 10-й главы пушкинского «Евгения Онегина», который ненавидел «цепи рабства» и был впоследствии судим вместе с декабристами: в день бунта на Сенатской площади он находился за границей, но как один из идеологов заговора был приговорен к смертной казни заочно. Иван Тургенев хорошо знал всю семью Николая Ивановича, умершего в 1871 году в своем поместье Вербуа под Парижем, в том самом Буживале, где через 12 лет суждено будет умереть его прославленному однофамильцу. Иван Тургенев написал некролог на смерть «благороднейшего из русских людей»<sup>11</sup>. Джеймс, таким образом, не застал в живых легендарного главу почтенного семейства, он был представлен его вдове и детям - двум сыновьям и дочери. Американец нашел этих

<sup>8</sup> См. выдержки из речи Ренана в переводе с французского в кн. Е.П. Генераловой. Россия и Европа., стр. 40-41)

<sup>9</sup> В переводе Шерешевской мысль опять сглажена: «личность» переводится как «человек».

<sup>10</sup> В переводе Шерешевской это место переведено не совсем понятно «из породы кунтаторов».

<sup>11</sup> В изгнании Н. Тургенев создал направленную против самодержавия книгу «La Russie et les Russes» - «Россия и русские» (1847), которая в полном объеме вышла в России совсем недавно (Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001).

Тургеневых - мать и молодое поколение, выросшее уже на чужой почве, - «оазисом чистоты и добра посреди парижского Вавилона»<sup>12</sup>.

В письме домой Генри напишет: «Тургеневы и молодой человек, с которым я познакомился позднее, дали мне высокое представление о русской натуре - по крайней мере, о некоторых ее проявлениях». Кто же этот молодой человек, который, вкупе с детьми «декабриста», сформировал мнение Джеймса о русских? Имя этого человека - Павел Жуковский, он был сыном замечательного русского поэта, близкого друга Пушкина - Василия Андреевича Жуковского. Но прежде чем говорить о Павле Жуковском в связи с нашей темой, я хочу сделать небольшое отступление о родословии...

**Отступление о родословии.** Начнем с человека не очень именитого, но именно к нему, как к большой реке, бегут ручейки нашего повествования. По рождению он был незаконнорожденный сын русского помещика и пленной турчанки. Впоследствии мальчику дал свое имя бедный дворянин Жуковский, живший в семье помещика на правах нахлебника. Так начинался жизненный путь черноглазого мечтательного Васи, ставшего впоследствии большим русским поэтом и переводчиком, сыгравшего колоссальную роль в общественной и культурной жизни России пушкинского (и не только пушкинского!) времени. Будучи любимым учителем членов царской фамилии, воспитателем наследника (будущего Царя-освободителя Александра II), Жуковский, по едкому замечанию Николая I, играл роль «главы оппозиции» в недрах царской семьи. Не перечислять крамольников и вольнодумцев, за которых он заступался перед своим самодержавным патроном (Баратынский, Пушкин, декабристы, Герцен, Лермонтов, Кольцов, Шевченко - лишь самые известные). После восстания декабристов он обратился к новому царю с «Запиской о Н.И. Тургеневе» с целью смягчить участь приговоренного к повешению изгнанника. Но это будет потом, в годы заслуженной поэтической славы и упроченного общественного положения. Однако не известно, как сложилась бы его судьба, если бы в ранней юности на пути Жуковского не встретила семья, согрешавшая его, оценившая по достоинству, подарившая дружбу. Говорю о семье симбирского помещика, масона новиковского поколения Ивана Петровича Тургенева, директора Московского университета, чьи три сына (четвертый Сергей болел и рано умер) Андрей, Александр и Николай стали ближайшими друзьями обделенного семейной лаской Василия. Старший из братьев Андрей, задушевный друг юности Жуковского, поэт и ранний философ, умер в возрасте 22-х лет\*. Двадцатилетний Жуковский оплакал его в стихах, провидя будущее «свиданье во гробе». Не отсюда ли постоянный мотив лирики Жуковского о ранней могиле и встрече после смерти? Александр Тургенев добился высоких чинов при новом царе, хотя всей душой разделял взгляды «государственного преступника» младшего брата Николая и помогал ему чем мог. И Жуковский, и братья Тургеневы теснейшим образом связаны с именем Пушкина. Именно Александр Тургенев сопровождал гроб с телом Пушкина, тайно отправленный царем для захоронения в Святые горы. Жуковский, всю жизнь помогавший Пушкину, был душеприказчиком поэта и после его смерти разбирал пушкинский архив. Жуковскому жена Пушкина передала кольцо-талисман, по преданию подаренное поэту Елизаветой Воронцовой.

Теперь наконец о родословии. Роды братьев Тургеневых и Ивана Тургенева восходят к разным предкам. У Ивана Сергеевича это Лев Тургенев, в крещении Иван, в 15-м веке выехавший из Золотой Орды к великому князю Василию Темному. Предки Ивана Сергеевича Тургенева населяли Орловскую и Тульскую губернии. Род братьев Тургеневых восходит ко времени Степана Разина (17 век), их предки жили в Симбирской и Московской губерниях. О дворянине Василии Андреевиче Жуковском в родословной книге, сказано, что у него была жена Рейтерн Елизавета Алексеевна и дочь Александра. Гербовник почему-то не называет еще одного ребенка Василия Жуковского - сына Павла.

*Рекомендую читателю любопытнейшую статью об Андрее Тургеневе, напечатанную в № 65 НЛЮ за 2004 год и принадлежащую Андрею Зорину «Прогулка верхом в Москве в августе 1799 года (из истории эмоциональной культуры)».*

**Павел Жуковский.** В очерке Генри Джеймса говорится о нескольких встречах с Иваном Тургеневым в парижских кафе, где русский писатель очень любил не столько завтракать и обедать, сколько общаться с друзьями. Об одной такой встрече Джеймс рассказывает особенно поэтически: «Помню другое свидание - в ресторанчике на одном из углов небольшой площади перед Opéra Comique, где нас собралось четверо, включая Ивана Сергеевича; двое других - господин и дама - тоже были русские, и последняя соединяла в себе все очарование своей национальности с достоинствами своего пола - сочетание поистине неотразимое....обед на низких антресолях оказался много хуже, чем можно было ожидать, зато застольная беседа превзошла все ожидания... я не помню чтобы он (Тургенев, - И.Ч) когда-либо держался более непринужденно и обаятельно».

К даме, участвовавшей в обеде, мы еще вернемся, а пока займемся господином, о котором далее говорится так: «Один из сотрапезников - русский господин, - имевший привычку произносить французское adorable (восхитительный, - И.Ч.) то и дело слетавшее у него с языка, на особый манер, впоследствии, вспоминая о нашем обеде, без конца награждал Тургенева этим эпитетом, выразительно растягивая ударное «а».

Русский господин, с которым Джеймс впоследствии вспоминал обед с Тургеневым, - это Павел Жуковский. Павлу на момент встречи 31 год (Джеймсу 33), он художник-дилетант, на время обосновавшийся в Париже. С Джеймсом его познакомил Тургенев. По цитированному отрывку видно, что Павел относился к Тургеневу с обожанием. Именно от Павла Жуковского Тургенев получил пушкинское кольцо-талисман, доставшееся ему после смерти отца...

В очерке Джеймса рассказ об этой встрече окрашен ностальгией: «Не знаю, право, зачем я вхожу в такие подробности - пусть оправданием мне послужит свойственное каждому из нас стремление сохранить от дружеских отношений, которым уже нет возврата, хотя бы крупицу их человеческого тепла, стремление сделать зарубку, способную воскресить в памяти счастливые минуты». Кажется, что в этой ламентации грусть не только по Тургеневу, но и еще по одной дружбе - вначале обретенной, затем утраченной, - с Павлом Жуковским.

Но прежде чем коснуться их отношений, следует рассказать читателю одну в высшей степени удивительную историю.

В жизни Василия Андреевича Жуковского была одна сильнейшая привязанность. Он любил свою сводную племянницу, потом она стала его ученицей - Машу Протасову. Из-за близкого родства (именно такую причину выдвигала мать Маши) брак между ними был невозмо-

<sup>12</sup> К Пьеру Тургеневу, сыну «декабриста» и своему крестнику, обращено удивительное по мужеству предсмертное письмо И.С. См. Н.П. Генералова. И.С. Тургенев: Россия и Европа, стр. 24

жен, хотя чувство было взаимным. Маша вышла замуж за хорошего человека, доктора Мойера, жителя Дерпта; там, в Дерпте, она и умерла, в родах, в 1823-м году, 30 лет отроду<sup>13</sup>. Казалось, Жуковский так и останется на всю жизнь человеком бессемейным. Но...

В 1826 году, скорее всего, в связи с переживаниями, вызванными «делом декабристов», Жуковский тяжело заболевает и отправляется на лечение за границу. Здесь он встречает художника-любителя Герхарда фон Рейтерна, по рождению балтийского немца, также путешествующего по Германии. Рейтерн на 11 лет младше Жуковского, ему в период встречи 32 года, у него огромная тяга к живописи, но есть обстоятельство, которое делает его труд живописца поистине героическим. Дело в том, что у него нет правой руки. Он лишился ее, сражаясь под российскими знаменами на полях Отечественной войны 1812-го года, служил адъютантом у Барклая де Толли, дошел до Парижа и был уволен по ранению. Он пишет картины левой рукой. Дружба началась сразу и длилась всю жизнь. Благодаря Жуковскому, Рейтерн получил от русского двора пожизненный пенсioen и звание придворного художника С ПРАВОМ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЗАГРАНИЦЕЙ.

Тесная дружба с Рейтерном поддерживалась совместными путешествиями по Швейцарии и Италии, посещением мастерских художников (сам Василий Жуковский страстно любил живопись и рисовал), а в 1841-м году 58-летний Жуковский женится на двадцатилетней дочери своего друга Елизавете.

С этого времени и до самой кончины в 1852 году Жуковский живет в Германии и в Россию НЕ ПРИЕЗЖАЕТ. И в самом деле, тяжело было бы Жуковскому жить в России без Пушкина, без близких сердцу друзей, оказавшихся кто в изгнании, кто в сибирских рудниках. Даже ему, приверженцу монархических порядков, думаю, стало не по себе от ледяного дыхания родины, когда российская цензура не пропустила в печать его написанную за границей книгу «Мысли и замечания» (1850). Большую часть отпущенного ему после поздней женитьбы срока Жуковский с семьей прожил в «райском уголке» - Баден-Бадене. Случайно ли, что именно в этом курортном городе, обжитом Жуковским и целой вереницей русских аристократов, включая Петра Вяземского, в середине 60-х поселится Иван Тургенев вместе с семьей Винардо?..

А теперь вернемся к нашему рассказу об отпрыске Василия Андреевича Жуковского - Павле Жуковском. Вот как описывает его биограф Генри Джеймса Леон Эдель: «Джеймс и бородастый, с мягким взглядом русский, с его горячей привязанностью к музыке Вагнера, понравились друг другу с первого взгляда. Жуковский имел манеры аристократа и пыл романтика. Рано осиротевший сын немецкой матери и известного поэта и переводчика Василия Жуковского, воспитателя Наследника, Павел был возвращен при русском дворе, его колыбель качали царственные особы. В ранней юности он жил в венецианских палаццо. Его огромное парижское ателье и квартира были наполнены ценнейшими произведениями итальянского искусства. Художник-любитель, Жуковский выставил той весной в Салоне два больших холста. Джеймс внима-

тельно их рассмотрел и пришел к выводу, что Павел Жуковский... «весьма любопытный и тонкий дилетант».

Джеймс, как мы знаем, увлекался живописью, был всегдатаем Лувра и итальянских музеев, в вопросах искусства он был взыскательным судьей. Несмотря на весьма скромную оценку творческих возможностей русского художника, Джеймсу Павел Жуковский нравился. Нравился как личность. У того был тонкий вкус, чувство прекрасного, умение держаться просто, но с большим достоинством. Джеймс увидел в своем русском ровеснике (Павел был всего двумя годами его младше) человека в чем-то себе близкого - как и он, оказавшегося вдали от родины, лишенного семьи и родной почвы, бесконечно одинокого аутсайдера, ревностно служащего своему искусству. К тому же, русский обладал природной мягкостью и обаянием. Джеймс напишет сестре после нескольких встреч с Павлом Жуковским, что они с ним «поклонились в вечной дружбе». Но вечной дружбы не получилось. Не получилось даже взаимопонимания. Любовь к Вагнеру и его музыке далеко завела Павла Жуковского, увела от людей в тесный круг служителей «вагнеровского культа». В 1880-м году Джеймс навестил Павла Жуковского в Позиллиппо, местечке в окрестностях Неаполя, недалеко от виллы Ангри - местопребывания Вагнера. К тому времени русский свел с Вагнером личное знакомство, стал своим в семье боготворимого им кумира. Встреча в Позиллиппо окончательно определила несхожесть дорог Джеймса и Павла Жуковского. Леон Эдель по этому поводу пишет: «В Париже Жуковский представлялся романтисту очаровательным и романтическим дилетантом; теперь он увидел его в образе слабого и распущенного служителя героя, к тому же, возможно, гомосексуалиста».

Впоследствии их переписка возобновилась, но Джеймс видел русского уже в ином, чем прежде, свете. Опыт этого знакомства пригодился ему, как я полагаю, в его творческой работе, но об этом в своем месте... А в завершении этой главы скажу несколько слов о дальнейшей судьбе Павла Жуковского. Вслед за Вагнером он последовал в Байрейт<sup>14</sup> (Бавария) и был неразлучен с композитором вплоть до 1885-го года, когда тот скончался от сердечного приступа. При всем своем скромном даровании, Павел Жуковский, однако, оформил вагнеровского «Парсифаля», известна также его картина «Святое семейство», в которой он изобразил членов вагнеровской семьи и себя на заднем плане. Умер Павел Жуковский в 1912-м году (Джеймс пережил его на 4 года). Последние годы жизни провел в Веймаре, где великий герцог Саксен-Веймарский предоставил ему мастерскую в Академии Художеств.

**Женский вариант «русской души».** Читатель, вероятно, обратил внимание на изысканную фразу, которой Джеймс описал спутницу Павла Жуковского во время обеда с Тургеневым: (она) «соединяла в себе все очарование своей национальности с достоинствами своего пола - сочетание поистине неотразимое». Любопытно, что, оказавшись в Италии, я впервые от итальянцев услышала бытующий здесь оборот «славянское обаяние». Для русского самосознания достаточно лестно узнать такое мнение о «славянах», распространенное заграничной (не изменят ли его «новые русские» - вот вопрос). Конец фразы Джеймса заставляет думать, что и он не смог противостоять обаянию русской дамы. Тургенев, по словам мемуариста, в тот раз «говорил не о нигилизме, а о других более приятных жизненных явлениях», и - Джеймс про-

<sup>13</sup> Поразительно, как «жизнь сердца» Жуковского рифмуется с тургеневской. В одной из недавних статей тартуского сборника прочла, что «Жуковский после замужества Маши остался в Дерпте почти на 2 года и решил было здесь осесть...» За 6 лет замужества Протасовой-Мойер Жуковский побывал в Дерпте 6 раз (!). См. Малле Салупер. «А та, с которой образован...» Пушкинские чтения в Тарту 2, Тарту, 2000, с. 65-78.

<sup>14</sup> По аналогии вспоминается Сергей Дягилев, возивший в ослепительной памяти Вагнера Байрейт своих «мальчиков».

должает - «я не помню, чтобы он когда-либо держался более непринужденно и обаятельно». Не хочет ли рассказчик сказать, что и Тургенев был воодушевлен присутствием красавицы?

Пришло время раскрыть ее имя - речь идет о княгине Марии Урусовой, урожденной Мальцовой. Биограф Джеймса дает ей следующую характеристику: «У нее были темные волосы, блестящие темные глаза и характерный русский нос. Дочь известного русского промышленника, Мария Мальцова всегда вращалась среди аристократов и в конце концов вышла замуж за князя. Однако богатство семьи истощилось, и она жила теперь «без княжеского блеска». Эдель пишет, что позднее салон княгини Урусовой в Париже посещал Мопассан, молодой Андре Жид привел Оскара Уальда на встречу с ней. Генри Джеймс нашел в Марии Урусовой «такое верное понимание и культуру, что разговор с нею был подлинным наслаждением». Ее единственным недостатком - пишет он домой - было то, что она «слишком много курила». В общении она была «так легка, как старая перчатка».

Княгиня Мария Сергеевна Урусова, урожденная Мальцова, похоронена на римском кладбище Тестаццо, том самом, где покоится Карл Брюллов. Она родилась в Санкт-Петербурге 9 декабря (по другим данным 3 декабря) 1844 года, а умерла в Риме 3 октября 1904 года. Восемнадцати лет она вышла замуж за князя Леонида Дмитриевича Урусова (1837-1885), действительного статского советника, служившего тульским вице-губернатором и имевшего поместье под Орлом.

Весной 1876 года, когда предположительно Джеймс обедал с Тургеневым и его друзьями, красавице княгине было 32 года.

Очарованный русскими знакомыми Тургенева, склонный к некоторой экзальтации Джеймс напишет отцу, что его русские друзья - «самые очаровательные люди из всех им когда-либо встреченных». Позднее он несколько изменит мнение о Павле Жуковском, чьи черты, на мой взгляд, найдут отражение в «темном» герое романа «Женский портрет». Что до княгини Урусовой, то позволю себе высказать здесь одно предположение. Общеизвестно признание Тургенева, что Марья Николаевна Полозова, «антигероиня» повести «Вешние воды» (1871), - это воплощение княгини Трубецкой: «Я только изменил подробности и переместил их, потому что я не могу слепо фотографировать. Так, например, княгиня была по рождению цыганкой; я сделал из нее тип светской русской дамы плебейского происхождения». Всем, знакомым с образом Полозовой, неизбежно приходит в голову «автобиографичность» этого персонажа, его связь с самым главным, самым сокрушительным в жизни Тургенева чувством к Полине Виардо. Образ Полозовой, как и Ирины из «Дыма», как и «соблазнительницы» из «Переписки», бесспорно восходит к ней... Но имя Полины для автора, естественно, табуировано. Как кажется, Тургенев намеренно скрывает и тот «лежащий на поверхности» женский тип, который послужил пластическим прототипом при создании героини-злодейки. Таким женским типом могла быть, на мой взгляд, княгиня Урусова. С Полозовой ее сближает происхождение (у обеих оно «плебейское»), муж Полозовой - старинный приятель героя «Вешних вод» Санина, муж Урусовой, будучи вице-губернатором Тульской губернии и владея имением в Орловской, не мог быть незнаком Тургеневу. Отец Марьи Полозовой «в Туле родился», у нее имение - в Тульской губернии Ефремовского уезда, по соседству с Алексеевской Санина. Значит, Санин с Полозовой - земляки («однокорытники»). Имение Дьяково, принадлежавшее Мальцовым, находилось в той же Орловской губернии, что и тургеневское Спасское. Тургенев и Мария Урусова-

Мальцова - тоже земляки. В повести подчеркивается простота и легкость обращения Полозовой («сама называла себя добрым малым, не теряющим никаких церемоний»), что согласуется с поведением княгини Урусовой, курящей и легкой в обращении «как старая перчатка». При всем при том на обеих есть лоск культуры (Полозова читает «Энеиду» по-латыни, Урусова-Мальцова легко поддерживает разговор с эстетом Джеймсом. Обе красивы и соблазнительно женственны, у обеих славянский тип лица, вздернутый нос, обе ведут себя как свободные дамы, не связанные семейными обязательствами...

Все сказанное - только предположение; прототипы - дело тонкое. Ясно одно, что для художников типа Тургенева и Джеймса ничто не проходит даром, все «впечатлительные бытия» идут в дело, и характеры будущих героев и героинь встречаются им, по словам русского мастера, за каждым новым «поворотом дороги».

**Русское влияние.** Знакомство и тесное общение с Тургеневым не прошли даром для Генри Джеймса. Здесь уже говорилось о творческом методе русского мастера, об его уроках писательского ремесла, которые были очень органичны «усвоенны» и «освоенны» Джеймсом. Читая и анализируя тургеневские произведения (в том числе в своих печатных обзорах), младший коллега, как представляется, творчески развивал некоторые тургеневские мотивы и характеры. Мне уже доводилось писать о ряде сходных мотивов в непереуловленном на русский язык романе Генри Джеймса «Американец» и тургеневском «Дворянском гнезде»<sup>15</sup>.

«Американец» (1877) задумывался как раз во время парижских встреч его автора с Тургеневым. В «Дейзи Миллер» (1879) мне видится явная перекличка с тургеневской «Асей». Во всяком случае, герой-рассказчик и в том, и в другом произведении находится в совершенно одинаковой позиции по отношению к впервые полюбившей молоденькой девушке, чье поведение представляется обоим героям «неподобающим», вызываясь странным. Американка Дейзи, не желающая подчиниться условным европейским приличиям, схожа с дикой, «плохо воспитанной» и неровной Асей, также ощущающей свою «чуждость» окружающему вследствие своего «незаконного» происхождения.

Цельные женские характеры - вот что привнес Тургенев в мировую литературу; его главные героини, как писал Джеймс, «героини в прямом смысле слова, притом героизм их неприметен и чужд всякой рисовки». Кто из прочитавших «Вашингтонскую площадь», «Зверя в чаше», «Веселый уголок» не применит этой характеристики к героиням самого Джеймса? Кэтрин из «Вашингтонской площади» (1879), которую предали все - отец, любимый, тетя, - всю жизнь, несмотря ни на что, несет бремя верности избранному в юности человеку. «Она не отступится», - с удивлением и некоторой гордостью говорит о ней отец. Не «отступаются» и героини двух других названных произведений. Годы, десятилетия ждут они «пробуждения» своего героя, служат ему опорой, несут ему свет и любовь. Что же делать, если герой слеп, слаб и немощен или служит иным богам? Это ли не перекличка с Тургеневым, с его Натальей из «Рудина», Лизой из «Дворянского гнезда» и соответственно со слабыми, не способными на ответственный шаг Рудиним и Лаврецким?!

Джеймс признавался, что из всех романов Тургенева больше всего ему нравится «Накануне». Как кажется, именно в Елене Стаховой, героине «Накануне», нашел развитие не просто цельный характер, но и новый тип

<sup>15</sup> См. И. Чайковская. Американец на rendez-vous. Новый журнал, сентябрь 2004

женщины - смелой, страстной, внутренне свободной, ставшей перед собой высокие цели, жаждущей деятельности, что порой делало ее в глазах окружающих «странной». В Изабелле Арчер из «Женского портрета» не трудно увидеть сходство с тургеневской героиней. Есть в этих романах и сходный мотив: и за Еленой, и за Изабеллой ухаживают двое, предпочтение же обе отдают третьему, причем, окружающие не понимают и не одобряют этого выбора. Еще бы - Елена предпочла судьбе жены скульптора или уважаемого профессора философии неприкаянную скитальческую жизнь с болгарским революционером. Изабелла отказала английскому лорду и богатому юристу-соотечественнику, чтобы впоследствии соединить свою судьбу с художником-дилетантом, к тому же космополитом. Героини Джеймса и Тургенева порой настолько одинаково реагируют на ситуацию, что возникают прямые текстуальные совпадения. В «Накануне» после прогулки с Берсеневым Елена уронила руки, «стала на колени перед своей постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами».

В «Женском портрете» читаем: «Она стояла недвижно, вслушиваясь: наконец Каспар Гудвуд вышел из гостиной, и дверь за ним закрылась. Изабелла постояла еще немного и вдруг в неудержимом порыве опустила возле кровати на колени и уронила голову на руки».

На романе «Женский портрет» (1881), написанном Джеймсом еще при жизни Тургенева, хотелось бы остановиться особо. В нем автор концентрированно выразил многое из впечатлений и раздумий, наблюдений и встреч своего первого пятилетия в Европе. Действие романа, напомним, происходит в Англии и в Италии. Его героиня, Изабелла Арчер, молодая американка, после смерти отца приехала погостить у богатой тетки в английский поместье Гарденкорт. Здесь она встречается с безнадежно больным дядей (кстати, у дяди тургеневская болезнь - подагра, и переносит он ее, как и Тургенев, стоически) и своим кузеном Ральфом. Ральф - по натуре философ и художник, наблюдает жизнь, практически в нее не вмешиваясь: у него чахотка и он живет в «подвешенном состоянии». Многие в Ральфе - от самого Генри Джеймса, это очень близкий автору персонаж. Ральфа называют «американец в Европе». Ему принадлежит фраза, под которой, полагаю, подписался бы сам автор. Американская феминистка и прогрессистка мисс Стемпол обвиняет Ральфа в том, что он отказался от родной страны, на что следует ответ: «От родной страны нельзя отказаться, как нельзя отказаться от родной бабушки. Ни ту, ни другую не выбирают - они составляют неотъемлемую часть каждого из нас, и уничтожить их нельзя». Все та же мисс Стэмпол предписывает Ральфу совершить три дела, которые надлежит сделать «каждому американцу», а именно: вернуться на родину, найти себе работу и жениться («в Америке все женятся»). Как мы знаем, не только его герой, но и сам автор (вкуче с Тургеневым!) с этими заданиями слегка шаржированной, в духе тургеневской Кукшиной, «прогрессивной» американской журналистки не справились.

В романе есть персонаж, на создание которого, как кажется, повлияло знакомство Джеймса с Павлом Жуковским. Я имею в виду Гилберта Озмонта. Напомню читателю об этом герое. Он появляется на горизонте главной героини в тот момент, когда отвергнув двух «престижных» претендентов на ее руку, она неожиданно получает большое наследство, оставленное ей отцом Ральфа - по просьбе последнего. Ральф следит за жизнью «мисс Арчер», отказавшись от безумных надежд, он желает счастья Изабелле, верит в ее умение распорядиться своей

судьбой и хочет с помощью денег обеспечить ей свободу действий. Между тем, на пути отправившейся в Италию очаровательной и теперь очень богатой Изабеллы встает человек, о котором Ральф в сердцах говорит ей так: «Не для того вы предназначены... чтобы вечно быть настороже, оберегая чувствительность бездарного дилетанта». «Бездарный дилетант» - это соотечественник Изабеллы Гилберт Озмонт, чье кредо: «Ни о чем не тревожиться, ни к чему не стремиться, ни за что не бороться. Смирить себя. Довольствоваться малым». Однако, этот человек, рано осознавший, что он беден и, увы, не гений, «всю жизнь ходит с таким видом, будто он прямой потомок богов». Зловещая миссис Мерль, познакомившая Изабеллу с Озмондом, характеризует его следующим образом: «Ни поприща, ни имени, ни положения, ни состояния, ни прошлого, ни будущего - ни-че-го. Ах, да! Он занимается живописью, пишет акварелью... Но картины его не многого стоят...». Фигура Озмонта намерена погружена в полумрак, о нем известно, что он сын довольно известной поэтессы, «американской Коринны», воспитывался матерью, рано лишился родителей - все это напоминает биографию Павла Жуковского, только вместо матери поэтессы надо подставить отца-поэта. Озмонт уже много лет живет в Италии, он художник-дилетант и посвятил свою жизнь служению красоте и искусству; у него «бездна вкуса», в его флорентинском палаццо собраны драгоценные раритеты - произведения итальянских мастеров. Все это также совпадает с тем, что мы знаем о Павле Жуковском. Наконец, Озмонт входит в высшие аристократические круги, и причастность к высшей аристократии дает ему чувство собственного превосходства. Как кажется, и эта черта могла быть свойственна сыну Василия Жуковского, чью колыбель, как пишет Эдель, качали царственные особы. Мы знаем, как скромно оценивал Джеймс талант Павла Жуковского-художника. И Гилберт Озмонт, и Павел Жуковский были «дилетантами», то есть не занимались живописью основательно, не учились ей, а просто «баловались» созданием картин. Сложнее говорить о темных нравственных чертах Озмонта, проявившихся после женитьбы на Изабелле, - таких как аморальность, неприятие чужого мнения, подчиненность этикету и сословным запретам, мрачный эгоизм и эгоцентризм, - если их сопоставить с нравственной характеристикой Павла Жуковского. Думаю, что «наполнение» героя - это тончайшая интуиция писателя, они могут совпасть и могут не совпасть с личностью конкретного живого человека. Другое дело, что этот реальный человек дает пластический толчок писательскому воображению, обуславливает цепь внутренних прозрений художника.

Подытожим сказанное. Книги Джеймса 70-80-х годов несут явный «русский след», что связано с близким знакомством американского писателя с Тургеневым и его русским окружением. Возможно, благодаря Тургеневу, в сферу интересов американца попала вообще русская литература, например, Пушкин, плохо тогда известный за границей<sup>16</sup>. Испытывал ли «обратное влияние» Тургенев? Сам Генри Джеймс считал, что его рассказы не были нужны Тургеневу «как мясо для мужчин» (в переводе Шерешевской «как хлеб насущный»), что Иван Сергеевич не читал книги, которые он, Джеймс, ему регулярно посылал. Может быть, и так. К самому Джеймсу Тургенев относился с безусловной симпатией, писал ему в записке по-английски: «Я рад, что вы в Париже и очень хо-

<sup>16</sup> Недавно мне встретилась чрезвычайно интересная статья, где проводится связь между «Письмами Асперна» Джеймса и «Пиковой дамой» Пушкина. Имя героя Aspern возводится в ней к инициалам нашего поэта ASP (Joseph S. O'Leary, Pushkin in "The Aspern papers" Sophia University, Tokyo.).

чу вас видеть. В моем настоящем положении я всячески избегаю человеческих лиц, но вы, естественно, являетесь исключением». Еще до знакомства с Джеймсом Тургенев ввел «американскую тему» в повесть «Вешние воды»: в эпилоге Санин собирается в Америку - вслед уехавшей туда за много лет до этого Джемме. Мне встретилось еще одно упоминание об Америке в произведении, написанном как раз в период близкого общения русского с американцем. Имеется в виду странная мистическая повесть Тургенева «Сон» (1877), герой которой уплывает в Америку. Наверное, Джеймсу, читавшему (в переводе) тургеневскую повесть, было это приятно.

**О любви.** В заключение этой статьи несколько слов о любви. Это чувство пронизывает воспоминания Джеймса о Тургеневе. С первого дня знакомства и до конца жизни любовь к русскому писателю остается в душе американца неизменной. Любопытно, как меняется написание имени друга по мере его узнавания. Вначале оно пишется, как тогда писались русские фамилии: Turgeneff, затем написание несколько видоизменяется: Tourguèneff, потом опять по-новому: Turgenieff. Джеймс ищет фонетического соответствия, пробует называть русского по-американски Джон («I am intimissimo with John»<sup>17</sup> - фраза, составленная из двух языков, итальянского и английского, и означает «я близок с Джоном»), в очерках Джеймс уже точно воспроизводит русское написание - Ivan Turgenev, и, в конце концов, останавливается на Ivan Sergueitch, специально оговаривая этот вариант: «Я даю его имя не в соответствии с русской орфографией, а так как оно произносилось его друзьями, когда они адресовались к нему по-французски». Как чутко должен был вслушиваться американец во французскую речь соотечественников Тургенева, чтобы сквозь чуждые наслоения правильно уловить его русское имя и отчество - «Иван Сергеевич».

Джеймс пережил Тургенева на 33 года. Он умер уже в новом веке, за год до социалистической революции в России, подготовленной потомками «нигилистов». В 1917 году кольцо-талисман, возвращенное Полиной Виардо после смерти Тургенева на его родину, было украдено и исчезло. Задумаемся, кто мог бы им владеть после Пушкина, Жуковского, Тургенева?.. Чехов? Бунин? Оба были современниками Джеймса. А дальше? Булгаков? Пастернак? И они начинали, когда Джеймс был еще жив. Но к тому времени связи его с Россией оборвались, стали воспоминанием. Они окрасились в ностальгические тона, ведь вспоминая своего русского друга и русскую колонию в Париже 70-80-х годов, он обращался к годам своей дерзновенной, уже отшумевшей молодости.

### Где был ЧиЖнк?

#### Чуковский и Жаботинский

*Чуковский и Жаботинский. История взаимоотношений в текстах и комментариях. Автор и составитель Евг. Иванова. Москва. Мосты культуры, 2005, Иерусалим, Гешарим, 5765.*

Появления этой или подобной книги следовало ожидать. В ней, с опорой на документы, рассказывается, что два человека, один из которых - всеми в России любимый детский писатель, критик и переводчик, а другой - национальный герой Израиля, в юности были хорошо знакомы, и их общение повлияло на обоих.

Почему та: важно и злободневно появление этого документального расследования?

Одна из причин кроется в биографии Корнея Чуковского, где есть зияющие пробелы, прямо-таки взывающие к заполнению.

Корней Чуковский - личность во многом загадочная и нераскрытая. Он, как известно, в юности сам смастерил себе имя и фамилию: из Николая Корнейчукова стал Корнеем Чуковским. Об отце, бросившем мать с двумя детьми и от брака с нею уклонившемся, предпочитал не упоминать, вычеркнул его из своей жизни. Сестра Маруся звалась по документам Марией Эммануиловной, Чуковский же выбрал себе нейтральное русское отчество - Иванович. Став петербургским журналистом, постарался забыть свое одесское прошлое (20 лет жизни!), стать в сознании читателей чистым и беспримесным «петербуржцем».

Между тем, на вопрос, шуточно и по другому поводу брошенный писательницей Тэффи «Где же корни у Корнея?», ответить можно однозначно - в Одессе. Там началась его человеческая и писательская судьба, там он сделался журналистом, там женился на девушке, которую любил и боготворил всю жизнь, вместе с которой прожил больше 50 лет...

Благодаря новейшим исследованиям Натальи Панасенко (Чуковский в Одессе, Альманах «Егупец», 11, 2002), предвосхитившим появление рецензируемой нами книги, мы теперь знаем имя отца Чуковского - Эммануил Соломонович Левенсон, был сыном врача, иудейского вероисповедания, получил в Одессе звание потомственного Почетного Гражданина.

Итак, по отцу - Корней Чуковский - еврей, по матери - украинец. Как тут не вспомнить строчки из Дневника писателя: «Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?) - был самым нецельным непростым человеком на земле... И отсюда завелась привычка... никогда не показывать людям себя - отсюда, отсюда пошло все остальное».

Неисследованным до настоящего времени был и поразительный факт мгновенного вхождения Чуковского в журналистику, превращение его из никому неизвестного замороженного философа, босняка, недоросля, вышибленного из гимназии, в талантливого критика, чьих статей и выступлений с нетерпением ждали и читатели «Одесских новостей», и члены одесского Литературно-артистического клуба...

И вот тут на сцену выходит новое лицо - Владимир Евгеньевич Жаботинский, как оказалось, знакомец Ники Корнейчукова еще по детскому саду, человек, с чьей легкой руки осуществилось это чудесное преображение.

В статье «Как я стал писателем» Чуковский без указания имени своего доброго гения рассказывает об этом так: «...моей философией заинтересовался один из моих школьных товарищей, он был так добр, что пришел ко мне на чердак, и я ему первому прочитал несколько глав из этой своей сумасшедшей книги... Он слушал, слушал и, когда я окончил, сказал: «А знаешь ли ты, что вот эту главу можно было бы напечатать в газете?» Это там, где я говорил об искусстве. Он взял ее и отнес в редакцию газеты «Одесские новости», и, к моему восхищению, к моей величайшей радости и гордости, эта статья появилась там...»

Ныне, благодаря разысканиям Натальи Панасенко и Евгении Ивановой, имя «неизвестного друга», которое по цензурным соображениям не мог назвать Чуковский, расшифровано: Владимир Жаботинский.

Но мало того, что Жаботинский, как говорится, за руку ввел Чуковского в литературу, он еще устроил ему поездку в Лондон в качестве специального корреспондента

<sup>17</sup> Из письма к Томасу Перри, январь 1876. (A life in letters. Edited by Philip Home, 1999. p.75).



«Одесских новостей». Поездка стала для молодого Чуковского судьбоносной, открыла ему мир, образовала (многочасовые сидения в библиотеке Британского музея не прошли даром!), навсегда связала с англоязычной литературой. Вполне вероятно, что именно командировка в Лондон ускорила брак Чуковского и Марии Борисовны Гольдфельд, скоропалительно заключенный 26 мая 1903 года. А уже в июне молодожены отправились в Англию.

О том, что Марии Борисовне пришлось порвать со своей еврейской семьей ради брака с «гоем» и «кухаркиным сыном», явствует запись, приведенная на страницах книги: «Газета послала меня в Англию корреспондентом... К этому времени я уже женился на Марии Борисовне. Она прибежала ко мне в одном платье, крестилась, чтобы обвенчаться со мной...» (стр. 66). Не так-то много знаем мы о жене Чуковского. Здесь, в этом крошечном отрывке — целая повесть о безоглядной любви, доверии и вере в 21-летнего паренька, который тут же, на свадьбе, собирает деньги на билет до Лондона, обходя друзей-журналистов с шапкой. Чуковский взял с собой в Англию молодую жену; это можно понять из строчек письма Жаботинского (кстати, бывшего поручителем на свадьбе со стороны жениха), отправленного в июле из Одессы. Там сказано: «Поцелуйте руку дорогой М Б».

Евг. Иванова не навязывает читателю своих комментариев, она предельно сконцентрирована на документах и очень лапидарна в их толковании, оставляя место и читательским догадкам, и дальнейшим исследованиям.

Теперь о второй причине, сделавшей появление книги, назревшим. Жаботинский, для части россиян олицетворяющий врага, «махрового» сиониста, а большинству попросту неизвестный, выступает здесь как один из героев документального повествования. Вместе с ним в рассказ входит «сионистский» сюжет. К этому сюжету автор подключает Чуковского. Читатель знакомится с литературными выступлениями начинающего тогда критика на еврейскую тему. Вот эта-то «еврейская тема» — запретная в советские времена, ныне вышедшая на поверхность, — а вернее ее интерпретация двумя сведенными под одной обложкой героями, чрезвычайно актуальна в наше чреватое национальными конфликтами время.

Но прежде чем обратиться к этой животрепещущей теме, зададимся вопросом, случайно ли два таких разных по судьбам героя вышли из Одессы? Что это за город, сумевший породить пронизательного критика, писателя и исследователя русской литературы и человека, от российской культуры намеренно отказавшегося ради служения мифическому в те времена еврейскому государству?

Оживленный и богатый, несмотря на молодость, отстроенный при Екатерине Великой на землях бывшей Османской империи, город-порт на Черном море был изначально многонационален. Греки, турки, татары, армяне, итальянцы, французы... И огромное число евреев, которых влекла сюда возможность вырваться из узких границ черты оседлости, заняться торговлей, предпринимательством, овладеть свободными профессиями, дать детям хорошее образование... Язык местечек, идиш, был здесь повсеместно в ходу. Любопытно, что в письмах к Чуковскому в Лондон Жаботинский использует несколько написанных по-русски еврейских слов и выражений, явно подразумевая, что адресат их поймет («аф майн ворт» — как я это называю... или еще выразительнее: «Что Вы, мешиге?» Мешиге на еврейском жаргоне означает «сумасшедший, придурок»).

Жаботинский, на два года старше Чуковского, рано ставший в оппозицию к правительству, как политически неблагонадежный состоял под «особым» надзором полиции. Но обращает на себя внимание тот факт, что ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ одесские журналисты, о которых упомина-

ется в документальном расследовании, включая Чуковского (и его невесту), также находились под бдительным жандармским присмотром, получали клички, фигурировали в полицейских донесениях... Составитель приводит отрывки из этих донесений за сравнительно безобидный 1902 год. В апреле 1903 года по Российской империи пронесется весть об ужасном Кишиневском погроме; именно это событие станет катализатором в политическом перерождении Жаботинского и его обращении к идеям сионизма. Но и до того в качестве «пропагандиста» он успел побывать в тюрьме, по выходе из которой попал под особое наблюдение под кличкой «Бритый». Чуковского в донесениях называют Большеносым, Марию Борисовну — Симпатичная. Что меня поразило, так это путаница в сведениях о поднадзорных, казалось, в таком «точном» учреждении как Департамент полиции. Марию Борисовну называют то Симпатичная, то Стурзовская (по названию улицы), путают профессии социалистов братьев Богомольцев... Возможно, беспорядок в делах связан с большим объемом работы — близилась первая русская революция.

Но суть не в том, главное, что хотелось бы подчеркнуть — Одесса в период пребывания в ней наших героев — город «политически неблагонадежных».

Под особым наблюдением и контролем находились пресса и ее работники.

И это не случайно. Как узнаем из донесения ротмистра Васильева, резко выступившего против намечающегося в городе издания газеты на идише, в Одессе того времени издаются три ежедневные газеты. Все они, по словам Васильева, подконтрольны евреям и «прививают местному населению идею космополитизма», одновременно заглушая «национальные понятия о государственности». Новая газета на «еврейском жаргоне», усиливая эти вредные влияния, будет к тому же пропагандировать еврейский национализм, а контролировать ее содержание, не зная языка, «со стороны», будет трудно.

Так и отказали примерного поведения мещанину Иоселе Гехту — и соответственно тысячам одесских читателей — в издании газеты на родном языке: «космополитизм» и «еврейский национализм» были одинаково не ко двору в полицейской России; как и встарь, требовались казенное православие, ошетинившееся самодержавие и лубочная народность.

Кстати, власти «прищучивали» не только евреев, но и вообще «инородцев», — таким нехорошим словом характеризовались все те, кто не принадлежал к «коренной» национальности. В Грузии, например, учившимся гимназий под страхом наказания запрещалось говорить по-грузински. Нет, все же не случайно так много грузин, армян, поляков и евреев участвовало в революционном движении — людям хотелось защитить свое достоинство и свой язык.

Возвращаясь к теме о специфике города Одессы, укажем еще на один момент, явственно выступающий в приведенных в книге статьях и высказываниях.

Наряду с теми, кто худо-бедно тянул лямку «инородца», говорил по-русски плохо и с акцентом, придерживался своих национальных обычаев, в Одессе существовал значительный слой интеллигенции, оторвавшейся от своих национальных корней и взращенной на русской культуре и русском языке. Это были греки, турки, армяне, итальянцы и французы. Но преобладающее число этой «обрусевшей» интеллигенции составляли евреи.

Почему-то всегда так получалось с этим народом, разбросанным по пространству земли после утери своего государства. Оказавшись в Средние века в Испании, влились в испаноязычную культуру, да так, что даже национальный испанский эпос «Песнь о моем Сиде», по слу-

хам, был записан евреем. Подобное происходило во всех странах «рассеяния» - евреи вращались в чужую культуру, привнося в нее остроту и терпкость своего национально-го характера, частицу своей духовной сущности, унаследованной от Книги.

Вот и в Одессе, как впрочем и в других культурных центрах Российской империи, почему-то именно интеллигентные евреи горячо принимали новую пьесу, книгу, статью; именно они были основными посетителями библиотек, музеев и выставок, они же очень остро воспринимали социальные идеи, боролись за классовое и национальное равенство ВСЕХ народов России - своей родины.

Плохо это или хорошо? С какой стороны посмотреть...

«У нас в Одессе, где она (еврейская молодежь. - И. Ч.) ведаёт почти всю нашу духовную культуру, где литераторы, референты, ораторы в нашем клубе... почти сплошь евреи», - можно вполне оценить весь трагизм такого положения». Это цитата из статьи Корнея Чуковского, написанной в памятный 1903 год и опубликованной в петербургской газете «Еврейское слово».

Через два года Чуковский переберется в Петербург, пока же он выступает в роли местного корреспондента, пишет от лица одессита - «у нас в Одессе».

Почему молодой критик воспринимает участие еврейской молодежи в культурной жизни города как трагическое? Ответить на этот вопрос не так-то просто. И для ответа, как мне кажется, следует обратиться к взглядам человека, к этому времени уже обосновавшегося в Петербурге и активно сотрудничавшего с «Еврейским словом»; он, по-видимому, и посодействовал опубликованию в газете статьи своего одесского друга.

Как читатель уже понял, это Владимир Жаботинский.

Что мы знаем об еврейской истории, даже недавней? Что такое Бунд? Слово «бундовец» стало у нас ругательным... с неясным семантическим значением. Недавно услышала от своего американского студента, аспиранта Брандайского университета, имя Семена Дубнова. Посмотрела в Интернете - действительно, был такой - известный еврейский историк, политический деятель, создатель народной еврейской партии, живший как раз в то самое время, о котором идет у нас с вами речь. Кто о нем знает в России?

О Жаботинском, как ни странно, кое-кто знает; если не знает, то хотя бы слышал. В последнее время имя его вышло из тени, и за его произнесение уже не сажали; издано литературное наследие классика сионизма. Вот еще одно слово, ставшее бранным в России. А значит-то всего-навсего: стремление в Сион, то есть в Палестину, то есть на землю отцов, где некогда существовала «страна евреев». Во времена юности Жаботинского это было безумной, ни на чем не основанной мечтой небольшого числа «мешиге» - сумасшедших: Палестина в то время подмандатна Англичам, и по ее пустынным бездорожьям кочуют полудикие бедуины на верблюдах.

Как случилось, что юноша из вполне обрусевшей еврейской семьи, воспитанный на русской и европейской литературе, блестяще владеющий европейскими языками, в 18 лет ставший специальным корреспондентом одной из одесских газет в Риме и печатавший свои заметки под обретшим известность псевдонимом «Альталена» (ит. качели), повторяю, как все же случилось, что этот почти мальчик встал на путь сионизма, презрел дары русской культуры и обратился к созданию и поддержке еврейской национальной культуры на идише и иврите?

Думаю, хорошо постаралось тут российское государство, дискриминирующее и унижающее еврейское население, провоцирующее погромы и соответственно оставляющее безнаказанными их участников - убийц и граби-

телей. К сионизму могло привести простое умозаключение: если евреев высочайшими декретами изгоняли из Англии, Франции, Испании и России, если они подвергались избиениям и унижениям в странах, где их только «терпят», выход из этого один - обрести свою собственную страну, а с ней - свободу и достоинство.

Именно так и говорит Жаботинский в «Письме о евреях и русской литературе» (1908 г.), присланном из Вены: «...принципиально демонстрирую совершенно одинаковое благорасположение к Ахену и Москве. Будь у меня всамделишный свой город, я бы тогда стал говорить о любви».

«Письмо» Жаботинского было отправлено в газету «Свободные мысли» в поддержку нашумевшей статьи Корнея Чуковского «Евреи и русская литература».

Пришло время к ней обратиться.

Но вначале одно замечание. В самой первой сионистской статье Жаботинского, написанной все в том же 1903 году, после кишиневского погрома, и озаглавленной «Тоска о патриотизме», мне встретилось высказывание, которое легко можно было бы считать антисемитским, достойным Шафаревича: «мы... нежною любовью любим эту страну - любим, несмотря ни на что, народ в ней живущий, и язык, на котором он говорит. Но ведь это любовь - неразделенная и потому горько обидная для самолюбия. Ведь это - навязывание своей дружбы тем, кто не просит о ней...».

Жаботинский пишет с горечью и любовью, Шафаревич с издевкой и ненавистью, но суть одна: евреям нечего делать в русской культуре, они в ней непрошенные гости, пусть займутся своей.

Обращаю внимание читателей на различные послылки этого умозаключения у сиониста и антисемита.

Первый, отлепившись душой от *этой*, еще одной предавшей его народ страны, призывает служить «будущей родине».

Второй хочет изгнать евреев из русской культуры, как бесов из храма.

Теперь о Чуковском. Его выступление со статьей «Евреи и русская литература» (1908) вызвало многочисленные отклики, часть из которых приведена на страницах книги. По этим откликам видно, как по-разному даже сами евреи оценивали свою роль в культурной жизни России. Большая их часть с писателем не согласилась, некоторые упрекали Чуковского за то, что его статью с похвалой цитировало черносотенное НОВОЕ ВРЕМЯ. Так какие же мысли высказал в своей «крамольной» статье уже довольно известный к тому времени петербургский журналист Корней Чуковский?

«...евреи заняты русской литературой, на свою они смотрят с пренебрежением, и до Переца ли им, если есть Максим Горький, Федор Сологуб и Максимилиан Кириенко-Волошин!»

«...главная трагедия русского интеллигентного еврея, что он всегда только помогает родам русской культуры... а сам бесплоден и фатально не способен родить».

«Пропеть на весь мир «Песнь Песней», а потом пойти в хористы чужой полудикой литературы, чтобы подхватывать чужие мотивы и подпевать неслышными голосами по чужим нотам, - это ли не рабство духовное, не унижение...».

Сказано резко и запальчиво, пожалуй, даже излишне запальчиво. Чего стоит один пассаж о «полудикой» русской литературе, к тому времени занимавшей едва ли не первенствующее положение среди европейских. Видно, что к писателям-современникам критик относится без особого пиетета, нельзя не уловить иронии по отношению к перечисленной троице, легко ее услышать в наро-

чито длинном имени Максимилиана Кириенко-Волошина, приписанном под конец.

Итак, по мнению критика, евреи должны обратиться к своей литературе, в основе которой лежит быт еврейского местечка, вдохновлявший Бялика, Шолом Аша и других идишистских писателей. В этом своем призыве мысли Чуковского совпадают с Жаботинским, также направлявшим еврейскую литературу к «родному чулану», к еврейским корням, к писанию на идише.

Помимо того, что свое есть свое, и не след от него уходить, «чужое», а именно русское, по мнению Чуковского, фатально не дается еврею, здесь он вторичен, не способен создать ничего оригинального, ибо не его эта «эстетика» и не его «язык».

Мнение весьма спорное, если учесть высокую степень ассимиляции российских евреев, их вовлеченность в культурную и социальную жизнь России, их «двойственную природу», по словам одного из участников полемики В.Г. Тана.

«...назлю «Новому времени» и не во гнев К. Чуковскому я еврей и также русский. Я не могу отказаться от своей двойственной природы. Поскольку я еврей и поскольку русский, я и сам не знаю. Если хотите узнать, вырежьте сердце и взвесьте. Не знаю, каким языком я пишу, плохим или хорошим, но этот язык – мой родной язык. Другого у меня нет... Русская литература – это моя родина. Я не уйду из нее никуда до последнего издыхания».

Как точно подходит это высказывание к жизнеощущению не только многих бывших советских евреев (лишенных, впрочем, возможности узнать и освоить еврейский язык и традицию), но и тех, кто, как я, оказался за границей и продолжает жить русской культурой и русским языком, к тому же идентифицируется местным населением с «коренными» русскими!

В.Г. Тан ответил еще на одно утверждение молодого критика – о том, что евреи не дали русской литературе ничего значительного (Этот вывод Чуковский пытается обосновать, разбирая творчество писателя-эпигона Семёна Юшкевича): «Если такой писатель еще не родился сегодня, то, быть может, он родится завтра».

Сочтемся, как говорится, славою и не будем уподобляться неразумным, с торжеством (или злобой) загибающим пальцы при перечислении *великих* в российской музыке, живописи, науке – и этот *еврей*, и тот ... кругом...

Однако писавших и ныне пишущих на русском языке писателей – назову, хотя далеко не всех: это и Мандельштам, и Пастернак, и Гроссман, и Бабель, и Тынянов, и Липкин, и Маршак, и Коржавин, и Давид Самойлов, и Бродский, и Кушнер... ох, дайте перевести дыхание...

В запальчивом азарте наш критик провозглашает слова, которые в другое время сам бы легко опровергнул: все же поэт-переводчик, интерпретатор чужих текстов. Но волна несет и словно помимо воли вырывается: «Я утверждаю, что еврей не способен понять Достоевского, как не способен понять его англичанин, француз, итальянец, иначе либо Достоевский не Достоевский, либо еврей не еврей».

Предчувствую, как у читателя, дочитавшего до этого места, закралась мысль об «антисемитизме» Чуковского, несмотря на его «прикрытие» примером европейских народов. Все же англичанин и француз далеко, в своей Европе, и говорят не по-нашему, а еврей – он свой, российский, и Достоевского, хоть тот и юдофоб был оголтелый, считает своим родным писателем, читает его книги, комментирует, гордится его всемирной славой...

Позволю себе высказать одну догадку о природе подобных высказываний у молодого Чуковского. Они, как мне кажется, родом из его детства, из неопределенной национальной идентификации («кто я? еврей? русский?

украинец?») из темного чувства к предателю-отцу, из желания НЕ БЫТЬ, как тот, евреем, уйти подальше от всего еврейского в себе и вокруг. Внешне это выразилось в перемещении из Одессы в Петербург и нежелании вспоминать о своих одесских корнях.

Не соглашусь с Евг. Ивановой, что тема «еврейства» лично Чуковского не задевала, «потому что в своей исконной принадлежности к русской культуре он никогда не сомневался».

Сомневался! Сомневался в своей национальной принадлежности, а следовательно и в «своей исконной принадлежности к русской культуре». Тем наступательнее отстаивал свою «русскость», свою прописку на «другой стороне». Нет, «Новому времени» нечего было радоваться – у Чуковского нет ни издевки, ни ненависти по отношению к евреям; другое дело, что в обсуждении весьма тонкого национального вопроса ему не хватило взвешенности, захлестнул темперамент, что удивило и раздосадовало его друзей. Еще раз повторю, что скрытые пружины этого вижу в ранах, нанесенных его детской душе.

Любопытна дискуссия «о евреях в русской литературе», спровоцированная в печати статьей Чуковского. По ней видишь и то, как полярно сами евреи смотрели на свою судьбу в России, и то, как срослись с ее языком и культурой, но также и то, какими порой недальновидными оказывались в своих прогнозах. «Многие концепции, возникшие в среде российского еврейства так своеобразны, что даже спустя более века они продолжают влиять на политическую и военную историю мира» (Яков Рабкин. Рецензия на кн. Быть евреем в России. Новый журнал, Нью-Йорк, № 239, стр. 307)

Вот читаю в одной из статей замечание о древнееврейском языке: «...язык этот мертв и возродится лишь тогда, когда возродится еврейское государство. То есть – никогда!» И там же: «...из всех утопий сионистская – самая безнадежная утопия». Написано сие в 1908 году. Не прошло и сорока лет, как «самая безнадежная утопия» воплотилась в жизнь: возникло еврейское государство, возродился древнееврейский язык. Это ли не сказка?

В том же году некий В. Варварин (псевдоним Василия Розанова) писал об евреях: «В рассеянии их призвание, в рассеянии их спасение». Тоже не угадал. Евреи-таки собрались в Иерусалиме, на земле праотцев, многовековый период «рассеяния» закончился.

Как часто бывает в истории, человек, носивший в сердце мечту о возвращении в Сион и сделавший все для ее воплощения (воистину нечеловеческими усилиями!), до этого события не дождался.

Владимир Жаботинский умер шестидесяти лет отроду в 1940 году, в преддверии новой грандиозной Катастрофы, постигшей еврейство.

В книге, которая лежит сейчас передо мной, он – один из героев.

Второй ее герой – Корней Чуковский – в письмах к Марголиной (1965 год) так вспоминает своего одесского друга: «Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишиневе погром. Володя Жаботинский изменился совершенно...»

В последний раз я видел Владимира в Лондоне в 1916 году. Он был в военной форме – весь поглощенный своими идеями – совершенно непохожий на того, каким я знал его в молодости. Сосредоточенный, хмурый – он обнял меня и весь вечер провел со мной».

Ко времени их последней встречи относится работа Чуковского в качестве редактора и автора Предисловия к книге Дж. Г. Паттерсона «С еврейским отрядом в Галлиполи», переведенной на русский язык.

В Предисловии к этой книге, еще есть и статья Жаботинского, Чуковский писал: «Издавая эту книжку о Сионском отряде, мы отнюдь не намерены проповедовать и прославлять сионизм. Прежде чем судить о сионизме, нам, неосведомленным русским читателям, нужно познакомиться с ним».

Но прогремела русская революция, изменившая судьбы России и мира, многие другие насущные вопросы надолго заслонили и вытеснили «вопрос о сионизме» из поля зрения российского читателя. Да и Чуковскому после революции было уже не до «сионизма»; дороги бывших друзей разошлись.

Встретились они вновь в книге Евг. Ивановой, в оформлении которой (художник Г. Златогоров) весело обыгрываются и соединяются начальные буквы их фамилий – получается ЧиЖ. Слово это напомнило мне название популярного детского журнала 20-х годов, а также новую профессию Чуковского – детский писатель, – на которую после революции ему пришлось сменить профессию-призвание критика.

Интересно, что за пять лет до смерти, Чуковский вспоминая в своем дневнике Жаботинского, восстановил в памяти смешной стишок, написанный его двадцатидвухлетним приятелем о нем, двадцатилетнем:

Чуковский Корней,  
Таланта хваленного,  
В 2 раза длинней  
Столба телефонного.

Оба тогда, в 1902, только начинали, подавали надежды, весело подтрунивали друг над другом...

Книга «Чуковский и Жаботинский» будит мысль, заставляет задуматься – о капризах истории, о человеческих судьбах, о путях народов и идей.

Автор и составитель книги Евг. Иванова затрагивает некогда табуированные и плохо изученные вопросы. На этом пути, как мне кажется, еще много нераскрытого, непроясненного. Очевидно, что тема «Чуковский и евреи» нуждается в дальнейшей проработке. Уже сейчас писателя подозревают – то в скрытом антисемитизме, то в открытом юдофильстве.

И вот что еще. Наверное, следует пристальнее взглянуть в общее для обоих одесское окружение Чуковского и Жаботинского, среди которого меня, например, больше всех интересует жена Корнея Ивановича – Мария Борисовна Гольдфельд. Мы о ней практически ничего не знаем. До недавнего времени даже семья Чуковских не располагала о ней точными сведениями ... Загадка «Маши» пока еще не раскрыта. Все – впереди.

## ВАДИМ СКУРАТОВСКИЙ

### ПОЕДИНОК СО ЗЛОМ К 80-ЛЕТИЮ СЮРРЕАЛИЗМА

Когда-то Василий Андреевич Жуковский так определил сущность литературного направления, в России им основанного: романтизм – это душа (определение, впоследствии так понравившееся Марине Цветаевой).

В самом деле: романтическая поэзия всех её проявлений и широт – это действительно душа. Языковая её «проекция». «Лингвистика» того, что происходило в глубинах человеческого сознания.

Но – *тогдашнее сознание*. То есть психологической материи, исторически чрезвычайно текучей, стремительно меняющейся от одной культурной формации к другой.

... На пороге двадцатого века человеческое сознание (по крайней мере, европейское) сместилось в направлении, истории ранее неведомом. С одной стороны, оно в ту пору неимоверно истончается, углубляется. С дикой скоростью уходит в сторону, где клубятся совсем уж загадочные, странные стихии, едва ли доступные нашему пониманию (в последствии как бы «экранизованные» в образах-галлюцинациях молодых Дали, Бунюэля, Магриты...). Испытание «психологических утроб», как впоследствии будут называть великих «спелеологов», путешествующих в таинственных лабиринтах этого сознания. Психоанализ Фрейда. Аналитическая психология Юнга. Психологические роман и новелла рубежа веков, насмерть раненные и Фрейдом, и Юнгом, а с другой стороны, дичающая в своей агрессивности цивилизация окрест. Без всякого стеснения, вконец бесцеремонно вторгающаяся в, казалось бы, заповедные для вторжения поля того сознания. Навязывая ему те или иные свои пароли, мифы, самые разнообразные идеологические «суеверия».

Именно с этой стороны и начинается самое бесцеремонное овеществление сознания XX века, его отчуждение от самого себя. И соответственно, его омертвление.

Во время Первой мировой, в пору гигантских выбросов такого омертвления, поэзия Рильке надолго умолкла. Да только ли Рильке? На фронтах той войны погибло более двухсот молодых французских поэтов. Соответствующую статистику, впрочем, могли представить все воюющие стороны и страны.

То есть мир входил в некое самое беспощадное к человеку состояние. Состояние, менее всего принимающее ко вниманию такую тогда исчезающую в нём величину, как человеческая душа. Без = душе XX века.

Однако же душа сохраняется. Или, по крайней мере, пытается уцелеть. Пусть и на периферии цивилизации, ей враждебной, но – она остаётся.

«Романтизм – это душа». Сюрреализм, возникший восемьдесят лет тому, это тоже душа. Но уже совсем другого исторического времени. Душа, с одной стороны представшая перед страшными легионами и другими множествами вздыбившегося мира. Перед его беспощадными, бесовскими институтами. С их без = личностью и именно без = душностью.

Фактически все сюрреалисты первого их призыва прошли через окопный и лазаретный ад Первой мировой. Либо, как вспоминает романист Андре Мальро (дебютировавший именно как поэт-сюрреалист), они, в ту пору ещё школьники, находили на своих жалких завтраках пепел той войны. Вовсе не метафорический, а самый реальный... А с другой стороны, та война и ассистирующая ей варваризованная цивилизация – лишь одна ступень из ведущих во вселенную тогдашней поэзии. Другая – это отчётливая память о той пред=военной, изысканнейшей психологической культуре. Чьи эхолоты уже опускались на самое заветное дно души человеческого.

Так что сюрреализм – это именно послевоенная европейская душа. Мятающаяся между угрозой полного своего исчезновения – и той недавней психологической изощрённостью.

Излагать историю сюрреализма от его французских отцов-основателей, -- скажем, Бретона, Арагона – до истории его чешских, румынских, сербских и других национальных «анклавов» – вещь ныне почти невозможная. Вся эта история от первых до последних её всплесков (сюрреализм как «институт» закончился – или, скорее заканчивается! – буквально на наших глазах – в Париже и отчасти в Праге). Она буквально испещрена множеством «внутрипартийных» размолвок, инцидентов, скандалов и попросту склок. Но все эти бесконечные усобицы, до сих пор удивляющие летописцев сюрреализма, это на самом

деле – всего лишь особый псевдоним нескончаемого бегства художника-сюрреалиста от террора истории. Нескончаемая его же эмиграция в упомянутые «психологические утробы».

Поэт-сюрреалист – самый зоркий сторожевой тех глубин: как только там появляется хоть в каком-то своём присутствии и качестве «внешнее», так сразу же та поэзия перемещается во все более «внутренние» стихии человека. В видах его «бытийственного» спасения.

Оттого предпочтительнее говорить не столько об истории сюрреализма, сколько о его базовом методе (разумеется, не в том значении и не в том направлении, которые содержатся в ныне благоразумно забытой брошюре Сальвадора Дали середины 1930-х «Почему я социалистический реалист...»).

Метод этот заключается в абсолютной суверенности человеческой души, с некоторого времени отовсюду угрожаемой. Смертью ли, ставшей базовым методом новейшей истории. Другими ли её интригами.

Суверенитет этот выносится на поверхность сознания в виде того или иного «текста». Словесно-литературного ли, визуального (живопись, скульптура, театр, кино). Наконец, в виде суперэксцентрического поведения самого художника. Эксцентричность, вызывающе вняющая беспощадному «поведению» самой цивилизации. «Картина» (то есть, вызов на дуэль) ей...

...А ведь там, на дне той суверенной души, как доказали упомянутые авангардисты от психологии, истариструится её, души, естественный «сюрреализм». Так называемая «внутренняя речь», иногда гейзерами вырывающаяся на поверхность литературы – в виде так называемого «потока сознания» («Улисс»). Только ещё более лирического «потока», чем у самого Джеймса Джойса.

В сущности, сюрреализм натолкнулся на святая святых поэзии, на само рождение в ней художественного образа, мучительно жаждущего, по слову Жуковского, отразить-запечатлеть человеческую душу. Но теперь уже в совершенно новых исторических условиях. Чей грозный облик всегда присутствует в любом «атоме» сюрреализма. «Литература» ли это, пластические ли искусства, воссоздающие не только бегство поэта, но и то, от чего он убегает.

Но драма (пожалуй, даже трагедия) сюрреализма заключается в том, что ведь слово на дне души человеческой, столь усердно им извлекаемое, на самом деле пребывает там нераздельно – с визуальным образом. Оттого все поэты-сюрреалисты жаждали быть ещё художниками, даже кинематографистами, а все художники-сюрреалисты пытались быть ещё и поэтами. Но эстетически это просто неподъёмно. Множество художественных недоразумений и даже поражений возникло именно на этом загадочном перекрёстке внутри человеческого «я».

Но, тем не менее, сюрреализм – это едва ли не единственное художественное зеркало XX века, в абсолютной подлинностью отразившее подлинное состояние в нём человека. «Заповедные уголки сердца, в которых притаились пытка и смерть» (Андре Мальро). Сюрреализм – непрестанный поединок с ними.

Современная поэзия всего мира продолжает этот поединок.

## ВОЗВРАЩАЯСЬ К БУЛГАКОВУ \*

### 1. БЫЛ ЛИ ПРОТОТИП У МАСТЕРА В ПОСЛЕДНЕМ РОМАНЕ ПИСАТЕЛЯ?

Осенью 1910 года в киевской больнице умирал пациент лет тридцати. Он совершенно добровольно поступил в эту психиатрическую лечебницу года за два до того, но

дал при этом обет молчания. А в последние недели жизни отказался и от еды.

Это был писатель Михаил Пантюхов. Он, как и Франц Кафка, умер от туберкулёза. Но этим сходство двух художников не ограничивается. Единственное вполне законченное произведение Пантюхова – повесть «Тишина и старик» (1907), ныне бесприсветно и несправедливо забытая. И вместе с тем одно из самых поразительных произведений всей литературы того времени. И русской, и, похоже, мировой.

Михаил Пантюхов – сын известного киевского, а затем тифлиского врача, автора множества трудов о социальной медицине и гигиене Киева, а также других городов и регионов империи. Доктор Пантюхов в своих работах набрасывал и постоянно уточнял как бы общий физиологическо-антропологический контур человека. Сын, студент-естественник, похоже, вполне мог пойти по стопам отца. Но он не просто перешёл на историко-филологический факультет – Пантюхов-сын сделал уникальную в литературе того времени попытку создать также обобщённый, но уже метафизический образ человека. Его метафизическую антропологию.

По обстоятельству своей трагической биографии Пантюхов – самый последовательный и трагический аутсайдер. Окончив университет, он отказался и от служебной, и от учёной карьеры. Все его катастрофически убывающие жизненные силы ушли на создание той поразительной повести.

Впрочем, Михаил Иванович подчас появлялся в московских и в киевских литературных кружках. Но тогдашней литературной ярмарки с её неистовой суетой, партийно-кружковыми и другими страстями он чурался.

...Один из первых (да, пожалуй, и последних комментаторов Пантюхова, киевский критик-философ Закржевский, считал автора «Тишины и старика» едва ли не самым глубоким воплощением современного «подпольного» состояния и поведения.

Поражает уже сам замысел той повести, представляющий, по словам её автора, «мировую сатиру». То есть художественную попытку создания именно антропологии человека, всего угрюмого спектра его бытия.

Киевский философ Лев Шестов во многом подготовил (мировоззренчески, конечно) появление пантюховской повести и, несомненно, её знал и ценил. Находясь в парижской эмиграции в конце 1920-х, он очутился в неслыханной для него роли – философского наставника молодого французского романиста Андре Мальро. Жаждавшего, отчасти под влиянием своего учителя, создать именно обобщённый портрет «Условий человеческого существования» (название самого известного романа Мальро).

Михаил Пантюхов, резко отличаясь от своих преимущественно радикальных сверстников – и также от «попутчика» Мальро, принимавшего тогда участие во всех героических авантюрах Коминтерна, – отвергал, по его собственному выражению, «между прочим, и социализм». Но повесть его представляет собой именно предельное обобщение «условий человеческого существования».

... Герои «Тишины и старика» – напряжённо символические обобщения, помещённые в некий условный угрюмый урбанистический контекст. Городское существование, при всей его обычности и будничности, представлено здесь как мрачная, а подчас и кошмарная последовательность неизбежного, нескончаемого абсурда и ужаса.

Юрий – несомненный двойник автора. Но здесь Юрий-Георгий само воплощение антипобеды, радикального поражения героя в его столкновении с жизнью. Антигероя,

преследуемого повсеместным беспощадным абсурдом, его слепой мощью.

Старик же, преследующий Юрия и Женю, томящуюся по тишине, по некоему успокоению с её «смутно грезящимся неземным миром, уютным и тёмным» – другой антигерой. В отличие от безмерно уставших молодых, Старик воплощает собой всю энергетику, всю активность мировой бессмыслицы. Вот он и начинает нескончаемый «процесс» против Юрия и Жени, постоянно их преследуя своим всеохватным физическим присутствием, демонической действенностью. Что и заканчивается безумием и смертью Жени. И уходом Юрия за пределы человеческого одиночества, откуда не возвращаются.

Такова эта ныне забытая повесть.

Известно, что Франц Кафка более чем внимательно перелистывал всю русскую литературу. В том числе и текущую. А заодно вникал в исторические обстоятельства, её сопровождающие. Его «Процесс» является неким метафизическим парафразом одного весьма известного киевского процесса, когда ареопаг мундирных свирепых стариков судил другого старика, так до конца и не понявшего, в чём же заключается его вина. Процесс Менделя Бейлиса во всём множестве его жуткой событийности отражён в «Процессе» Франца Кафки. Но ведь даже рассказ последнего «Штрафная колония» предстаёт как трагически углублённый пересказ внешне легкомысленной новеллы-фельетона Куприна «Механическое правосудие». Словом, возможный отголосок повести киевского писателя в кафковской прозе может быть не только историко-литературной гипотезой, но и реальностью...

Когда Михаил Пантюхов уже сидел в «доме скорби», в Киеве вспыхнул ещё один судебный процесс, возбуждённый духовной цензурой против украинского журнала «Літературно-науковий вістник» «На полі крові», рискувшего напечатать драматическую поэму Леси Украинки – драматический парафраз новозаветной драмы. Процесс длился довольно вяло, много лет. И студент-медик Михаил Булгаков, конечно знал о том, как цензура «крепко ударила по пилатчине».

Но совсем другое – судьба Михаила Пантюхова. Писатель, уединившийся от безумного мира в психиатрической лечебнице, «историк по образованию» («Мастер и Маргарита»), как Михаил Пантюхов. Катастрофа с романом. Редактор, задававший автору вопросы, показавшиеся тому «сумасшедшими» («Мастер и Маргарита»). А вот другие комментарии: «Ничего более кошмарного в своей жизни не читал». «Образец типично вырожденческой больной литературы». «Повесть открывает дорогу в литературу подлинным запискам сумасшедшего» и так далее. Это вовсе не из булгаковского романа – это из рецензий на пантюховскую книгу.

«Мой бедный окровавленный Мастер»... Вот он и скрылся от тех рецензий в психиатрическую лечебницу: «Я знал, что клиника эта открылась, и через весь город пешком пошёл в неё» («Мастер и Маргарита»). Совсем, как Михаил Пантюхов.

Пантюхов умирает там, оставив записку, стоящую целого романа: единственный выход – в христианстве.

... Киев поговорил-поговорил об этом случае, да и забыл автора повести «на такую странную тему» (опять же из Мастера и Маргариты).

Но киевский писатель, на котором задержался взгляд Франца Кафки (возможно) и Михаила Булгакова (несомненно), стоит того, чтобы вспомнить о нём.

## 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПОСЛЕДНЕЙ ПЬЕСЫ «БАТУМ»

История в какие-то свои моменты неимоверно плотно и грозно сгущается, не оставляя человеку в ней ни малейшего выбора.

... Биографы Михаила Булгакова, исследуя чреду катастроф, из которых и состоит жизнь мастера, необходимо остановились и на катастрофе его пьесы о Сталине «Батум». Поначалу пьеса была встречена едва ли не восторженно. Её вздохом хвалят – и «официоз», и «приватные» читатели.

Итак, конец июля 1939 года. «Читка» пьесы во МХАТе – на открытом там заседании Свердловского райкома ВКП(б). Участники заседания аплодируют стоя. «Театр должен поставить пьесу к двадцать первому декабря (то есть к 60-летию героя «Батума»)). В самом начале августа восторг этот разделяет и Комитет по делам искусств. И посылает пьесу «наверх», в секретариат цезаря.

Спустя неделю туда в нетерпении звонит другой энтузиаст пьесы Немирович-Данченко, чтобы узнать о дальнейшей её судьбе. Пьеса «оттуда» ещё не возвратилась, но уже решено отправить в Тифлис и Батум бригаду для подготовительных работ к этой пьесе (два художника для зарисовок, помощник режиссёра и помощник заведующего литературной частью для собирания музыки, наблюдения за типажам, над бытом. «Бригадир» – сам Булгаков, который должен руководить всеми и вести переговоры с грузинскими режиссёрами.

Выезжают из Москвы 14 августа, где-то в 11 часов «с полным комфортом». Пьют в «бригадирском» купе коньяк, едят ананасы. 15 августа остановка в Серпухове. Во время завтрака вошла в купе почтальонша и протянула Булгакову телеграмму-молнию. Писатель бледнеет. Елена Сергеевна Булгакова, жена писателя, в своём дневнике писала, он накануне провёл бессонную ночь, всё время будто ожидая ту роковую для него весть: «Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву». По свидетельству жены, которая сопровождала бригаду, в поездке, когда они возвращались в машине из Серпухова в Москву, Булгаков опасался: «навстречу чему мы мчимся? Может быть – смерти?» А дома Булгаков «ходил по квартире. Потирал руки и говорил – покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса?» ... Состояние Миши ужасно. Через две недели, не взирая на искреннее и сердечное сочувствие друзей и коллег: «У Миши состояние раздаленное. Он говорит – выбит из строя окончательно. Так никогда не было». Ещё через месяц: «Прямо к Мишиной тяжёлой болезни: головные боли – главный бич... Кругом кипят события, но до нас они доходят глухо, потому что мы поражены своей бедой». (Дневник Ел.С.)

... Пьеса беспросветно запрещена. Впервые она будет напечатана спустя почти сорок лет. В США, в штате Минчиган.

Через полгода после той катастрофы писатель умер.

Блестящий лингвист и историк культуры Вячеслав Всеволодович Иванов вскоре после известия об американской публикации «Батума» говорил мне: «Что ж Булгаков – русский националист, и, возможно, что-то в Сталине ему импонировало?» Не похоже. Радикальная националистическая переориентация советского режима, начатая Сталиным примерно в 1931 году, была встречена Булгаковым с глубоким недоверием: не то и не так.

Между тем, у Вячеслава Иванова есть единомышленники. Несколько лет тому назад в № 235 нью-йоркской газеты «Новый Меридиан» была напечатана серьёзная социологическая статья «Последний звонок Пилата». Её автор Всеволод Сахаров писал:

«А что же Булгаков?



Как он относился к этому человеку (Сталину – В.С.)? Боялся? Нет. Свидетельство тому – резкие, почти ульти-мативные строки его писем правительству СССР и Сталину. Боготворил? Нет, хотя многие умные, тонкие, всё, казалось бы, понимающие писатели и поэты (напри-мер, Б. Пастернак, К. Чуковский) боготворили; Булгаков же сочинял о всесильном вожде смешные устные расска-зы, весьма далёкие от культового преклонения. Но нет сомнения в том, что Булгаков относился к Сталину с большой симпатией. Об этом свидетельствуют и воспо-минания близких к писателю людей. И его пьеса «Ба-тум», написанная – и отнюдь не по заказу, а по велению души – к 60-летию Сталина. И эта симпатия – Диктатора и Мастера – была *вопреки расхожему представлению* (выделено В.С.) *взаимной*...»; «все пьесы Булгакова... были поставлены на сцене... А самым благодарным зри-телем булгаковских пьес был Сталин»; «судьба Булгако-ва могла бы сложиться куда более трагично, если бы сре-ди почитателей его таланта не было бы «кремлёвского горца».

Интересна профессиональная точка зрения на катаст-рофу Михаила Булгакова кандидата психологических на-ук Александра Эткинда, который как бы продолжает и углубляет суждения Вяч. Иванова и Вс. Сахарова: «...в конце 1936 года его жизнь резко ухудшилась. Пытаясь спастись и, одновременно, оправдать свою зависимость, Булгаков пишет «Батум», пьесу о Сталине, рассчитанную на чтение самим главным героем... Для писателя подоб-ного склада, оказавшегося в опасной, унижительной и почти невыносимой ситуации, сам его текст, подобно адре-сованным аналитику ассоциациям на психологическом сеансе, оказывается посланием к объекту его трансферт-ных (перенесённых на авторитетную фигуру, на всемо-гущего адресата – В.С.) чувств – любви, зависимости, страха... Такой текст выражает и любовь к покровителю, и страх перед его силой, и желание разделить с ним свои неясные чувства, и безотчётную магию, и сознательную лесть, и просьбу, и надежду, и авансом данную благодар-ность. Такой текст становится делом жизни; его принятие покровителем должно спасти автора и вознести на маги-ческую высоту, а неприятие ведёт к добровольной смер-ти. Булгаков смертельно заболел от извести, что его пьеса о Сталине отвергнута его читателем-героем. И од-новременно вернулся к доработке романа о Воланде, Мастере и Маргарите» (Кн.: «Эрос невозможного. Исто-рия психоанализа в России», 1993).

А вот истолкование пьесы, предложенное известным булгаковедом Мироном Петровским в его книге «Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова». Ис-следователь убедительно выявляет в «Батуме» некую двойную экспозицию, просвечивающую в сталинской теме, разительно не совпадающую с панегириками того времени. «Батум», по Петровскому (среди прочего, впер-вые выявившему в нём сквозную тему реминисценций из «Бориса Годунова»), это пьеса именно о самозванстве и самозванчестве. Но в ещё более демоническом, чем у Пушкина виде: пьеса об Антихристе, исподволь завладе-вающим миром...

Что ж, писатель, рискнувший сочинить роман о Хри-сте, мог рискнуть и сочинить пьесу об Его антагонисте.

Разумеется, эта тема в «Батуме» глубоко законспи-рована, спрятана «в глубину строки». Но ведь конспи-рует и сам герой пьесы. Конспирирует, утверждают тео-логи, и Антихрист...

...Почти одновременно с «Батумом» в русском зарубе-жье появилась новелла Владимира Набокова «Истребле-ние тиранов». Поразительная по своей художественной мощи картина той же темы. Только автор и рассказчик здесь, по обстоятельствам, не скрывают своих чувств.

Булгаков же (по другим, понятно, обстоятельствам) – скрывает. Подполье истории, душевное подполье героя. Подполье авторских намерений. Здесь всё зашифровано.

Но сам-то герой, перелистывающий пьесу на ближней даче под Москвой в августе 1939-го... Сам-то он её рас-шифровал? Ведь в семинарии он когда-то изучал апока-липтику, исчислявшую признаки и сроки Антихриста.

Так что же всё-таки происходило в те часы на той даче – и в самом сознании её хозяина?

Биографы Булгакова как-то не обратили внимания на те дни и тем более часы.

Начало августа 1939-го. Пьеса «Батум» – в сталинском секретариате в ожидании того, что её прочтёт её же ге-рой.

Увы, нет ещё так называемой научной биографии Ста-лина, его так называемой биохроники. Но, благодаря внушительной лубянской мемуаристике, появившейся в последующее десятилетие, более чем известно: в те дни хозяин полумира занимался совсем другим своим «био-графом» – Л.Д. Троцким, вот уже многие годы отслежи-вавшим каждый шаг Сталина. И в прошлом, и особенно в настоящем. Именно в те дни и воследовало распоря-жение об убийстве злостного «биографа». Сталин самолично наставляет его убийц.

Но дальше – больше. В самом напряжённом календар-ном режиме (можно сказать круглосуточном) сталинский компас в те дни колеблется – в сторону то союза с запад-ными демократиями против Гитлера, то союза с Гитле-ром против этих демократий. Демократии те лгут и лютят на переговорах со сталинскими канцлерами, доклады-вающими об их ходе диктатору едва ли не ежечасно. Пе-реговоры окончательно заходят в тупик. Но зато Сталина уже изо всех сил обхаживает германская дипломатия: Гитлеру надобны советские гарантии при нападении на Польшу, а самой той дипломатии – комфортабельное пребывание в её берлинских и особенно московских особняках. Лгут и изворачиваются все. Внешнеполитиче-ская сталинская стрелка ходит ходуном. Историография её расписана уже едва не по минутам.

Но вот – 13 августа. Воскресенье. Недолгий перерыв от тех трудов. Можно съездить на дачу и, по обыкновению, что-то там перелистать, не имеющее отношение к судьбе Троцкого, а также и всего остального мира...

По всем признакам, Сталин раскрыл «Батум» именно в тот воскресный августовский день: телеграмма о судьбе пьесы догнала Булгакова в Серпухове на следующий день...

Возможна некоторая реконструкция воскресных «чи-тательских» впечатлений.

... Троцкий уже обречён. Но неизвестно, когда «это» произойдёт. Так что ж: дать ему перед смертью «отре-цензировать» эту странную пьесу странного автора?!

...Лет за пять до того Троцкий подобным и беспощад-ным образом «отрецензировал» блестящий роман Андре Мальро «Условия человеческого существования». О ки-тайской революции в Шанхае. «О бюрократических в ней ошибках Коминтерна» (Троцкий), то есть о сталинской политике в Китае. Любопытствуя, вся тогдашняя запад-ная интеллигенция, либеральная и левая, прочла ту «шанхайскую» рецензию. Ждать теперь такую же, но «батумскую»? Весьма возможно, ещё более резкую?.. Нет!

...И с кем бы ни был подписан – в ближайшие дни! – договор, нечего давать в руки и договаривающимся, и договорившимся пьесу о том, с кем они договаривались или вот уже договорились... Нет!

То есть более неблагоприятной политической и психо-логической «метеорологии» для этой пьесы, чем в те дни,

трудно даже себе представить! Даже в контексте всей остальной многотрудной булгаковской биографии...

Следует та окончательно сокрушившая писателя телеграмма.

«Впоследствии, когда, откровенно говоря было уже поздно...» («Мастер и Маргарита»), в октябре 1939-го, посетив МХАТ, герой «Батума» скажет Немировичу: пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что её нельзя ставить... (Дневник Ел.С.).

А что можно? В следующем году на русский с грузинского переводится наивный лубок Шалвы Дадиани «Из искры...», написанный в Тбилиси в 1937-м, в самый разгар тамошних бериевских репрессий, и свидетельствующий более о лояльности драматурга, чем о его таланте.

«Ваш роман прочитали...» («Мастер и Маргарита»)...

Прочли и пьесу. Только другие и по-другому...

Но тоже так, «как это бывает только во время мировых катастроф» (там же).

См. в № 10 ежегодника «Побережье» за 2001 г. статью Вадима Скуратовского «К 60-летию «Мастера и Маргариты». Булгаков и Мак-Орлан (К проблеме источников «Мастера и Маргариты»).

## МАРИНА ГАРБЕР

### О ЧИТАТЕЛЯХ ПОЭЗИИ

*И как нашел я друга в поколеньи,  
Читателя найду в потомстве я...*

Е.Боратынский

*Дело обстоит очень просто: если бы у нас не было знакомых, мы не писали бы им писем и не наслаждались бы психологической свежестью и новизной, свойственной этому занятию.*

О.Мандельштам, «О собеседнике»

*...И брошу в мир, как на последний суд,  
В бутылке запечатанное слово...*

Л.Алексеева

Идолы низвергнуты, кумиры развенчаны, божества лишены ореола... После великих потрясений отнюдь не литературного порядка, русскоязычный читатель будто на какое-то время вернулся к примитивным понятиям о нравственности, и с могучего древа поэзии посыпались одряхлевшие готтентотовы деды, приговоренные молодыми и сильными к смерти. Наш современник пошел дальше сбрасывания больших имен «с парохода современности»: взятые на «гражданский прицел», уличенные в трусости и конформизме, русские поэты пред и после-революционной эпохи оказались на время сброшенными с древа жизни. Быстро расцвели и так же быстро завяли «цветы зла», навсегда затерялись в бесконечности сигналы, посылаемые поэтическими визионерами на Марс, так и не достигнув вождя желанного адресата. И теперь на некогда засоренных полях и в открытом море умело расставлены виртуальные сети, а опустевший «пароход современности» медленно, но уверенно поворачивает вспять. Сквозь грусть и скуку современного критика всё чаще проскальзывает ностальгия по разговорам на кухне застойных времен, по самиздату, андерграунду, железнному занавесу и прочим «запретным плодам». Вместо откликов на книги критик делится с читателем частными мыслями обо всём, что его окружает, часто уходя далеко от поэзии и упиваясь звучанием собственного голоса. В

«толстых» российских журналах постепенно угасает интерес к критике современной поэзии: полновесные рецензии на книги всё чаще сменяются краткострочными откликами – категоричными во мнениях, скупыми на цитаты, обычно поданными вне контекста... Возможно, это – лишь следствие стремления «идти в ногу» с современностью: в попытке «объять необъятное» притупляется чувство меры и вкуса. Так, в ответе на анкету «Сегодня, завтра, далее» А. Иванов, философ и издатель, писал: «Самые большие упреки – к отделу рецензий и книжной странице (всё то же: претензия на охват «всего», непредъявление собственной ограниченности, то есть отсутствие критериев отбора, оценки и т. д.). Не-, а часто и антиэстетический характер критики, морализаторство вместо анализа, попытки научить читателя жить – вместо предъявления ему рефлексии способов получения удовольствия от литературы» («Новый мир», № 4, 2000). Прошло несколько лет, но упреки остались. А вот еще одно читательское свидетельство, почерпнутое из того же источника: «Несмотря ни на что и у «Нового мира», и у «Иностранной литературы», «Знамени», «Октября» есть вечное ядро постоянных читателей. Они никогда не изменяют своим изданиям. Их не много на фоне грязи и пошлости крутых тинэйджеров, бизнесменов. И чувствуешь себя угнетенно, видя, как за последние несколько лет их становится меньше, меньше...» (О.Нетупская, ученица 9-го класса московской гимназии)... Можно предположить, что современный читатель, словно отправляясь вплавь за всё отдаляющимся парохомом, с головой уходит в «классику».

Однако не будем торопиться упрекать «толстые» журналы в отсутствии интереса к критике на современную поэзию. Из анкет, заполняемых подписчиками еще пять-шесть лет назад, следовало, что отсутствие такого интереса обусловлено одним простым фактом: отсутствием читателя. Отдельные подписчики даже ходатайствовали о сокращении поэтических подборок современников и критических статей («Анкета читателей «Нового мира», 1999). Незаметно для стихотворящих, некоторые читатели поэзии переквалифицировались в цветаевских «читателей газет» (из уст поэта – весьма нелестное определение). И сегодня читатели-подписчики «толстых» журналов предпочитают поэзии прозу, мемуаристику и публицистику на социально-общественно-политические темы (чаще даже в обратном порядке). К примеру, один из подписчиков «Нового мира» советует редакции предварять публикации прозы и поэзии публицистикой о Чечне, дабы показать литературу «в контексте», так сказать... А если стихи – о несчастливой любви, например? Нужно ли предварять их статистическим отчетом о числе разводов?.. Доказав свою пророческую несостоятельность и отложив в сторонку чисто-гражданскую лиру, поэты, кажется, оказались наедине с самими собой. Это, разумеется, не означает, что поэты не откликаются на события 11-го сентября, войну в Чечне или трагедию в Беслане. Откликаются, и как! Поэт должен быть созвучен своей эпохе, только тогда его поэзия будет – «на века». Но голос современного поэта – это «частный» голос, а не декларация с трибуны «горлана-главаря». Необъятные стадионы и площади сократились и сузились до почти «ручного», приватного, с глазу на глаз, пространства – сборников, журналов и альманахов. Наконец, в крепко сцепленных звеньях старой, как мир, цепочки «поэт-гражданин» первенство закрепляется за «поэтом».

Отступление от гражданской ноты в современной русской поэзии еще раз подтверждает ошибочность рационального подхода к поэзии: кажется, сегодня нет нужды никого убеждать в том, что поэзия стала не льет, сапог не чистит и карандашей не точит. Поэзия – не параллель-

ный, а соприкасающийся с реальным, но, всё-таки, особый и самоценный мир, не нуждающийся в провозглашении права на существование, потому что уже – всегда – существует. Поэзия – это средство, не требующее оправдания целью. Западные поэты, в целом мало увлекавшиеся мессиянством и мифологизированием, давно вкусили этой, обреченной на одиночество, участи: по статистике, в США число поэтов практически равно числу читающих поэзию. Вывод: в подавляющем большинстве читатели поэзии – это сами поэты.

Но так ли уж плохо это скоростное одиночество русскоязычного поэта? И речь здесь – не о «берегах пустынных волн», не о «широкошумных дубравах», необходимых для творчества. Речь о стремительном сужении читательского круга, о растущем равнодушии даже вполне образованной «толпы» к поэту: пустынные берега стали не периодическим, а почти константным его местонахождением. В очерке «О собеседнике» Мандельштам предостерегал «снотов от поэзии» от возможного одиночества: при полном осознании «собственной правоты», не возгордись... Однако одиночество современного поэта отчасти возникло не потому что, а – вопреки. Ибо, какой другой век может похвалиться подобным стремлением поэта к «перемирию» с «толпой» (причем, не с народом, а с «улицей»)? За пастернаковской «вульгатностью» (определение Мандельштама, «Заметки о поэзии») последовали две крайности: сначала «обмирщение» поэтической речи, а затем ее одомашнивание *pro domo sua* (в защиту себя – лат.) – как с положительными, так и с отрицательными последствиями. Так, попадая в сети и совершая огромные усилия над собой, критик – сквозь слезы – иронизирует по поводу стихотворения одной из участниц поэтического альманаха «Девять измерений: Антология новейшей русской поэзии» (сост. Б.Кенжеев, М.Амелин, Д.Воденников; М.: Новое литературное обозрение, 2004): «Что у тебя, Полина Андрукович? Месячные? Прекрасная тема, яркая, пока что освоенная лишь телерекламой...» (И.Шайтанов, «Стратегия поэтического неуспеха», «Вопросы литературы», №5, 2005). Конечно же, вышеприведенная цитата, адресованная поэте, слишком щедро делящейся «физиологическими новостями» с читателем, – утрирование, но и у признанных «мэтров» наблюдается умышленное занижение языка – вплоть до разговорного.

Он смотрел от окна в переполненном баре  
за сортирную дверь без крючка,  
там какую-то черную Розу долбили  
в два не менее черных смычка.  
(Лев Лосев, «В Нью-Йорке, облокотясь о стойку»,  
«Арион», №3, 2004)

Не отрицая бесспорных достоинств «разговорной» тенденции, не умаляя всех тех находок и открытий, привнесенных ею в поэзию, более того, отстаивая ее как новый и обещающий, еще не полностью вскрытый пласт, нельзя не отметить некий ее «копportunизм»: в поиске своего читателя поэт идет на сближение, пока не уступая и не поступаясь главным, а как бы роднясь. Пьедестал давно вышиблен из-под его ног, и вот он – до неземного земной – идет (а не ступает) по земле.

Поэт-читатель... О этот взаимодополняющий двуликий Янус! Неожиданно для самого себя современный читатель смекает, что и он способен писать о пахнущих мочой подворотнях (ведь и в его городе подворотни именно тем и пахнут), о сущащихся на бельевых веревках лифчиках (для этого даже не обязательно обладать грудью), о мечтах на улучшение квартирных условий, о высоком счете за электричество за месяц январь... Ему, обывате-

лю, не известно священное правило поэзии: важно не *о чем*, а – *как*, ибо поэзия – область не вещественной конкретности, а языка, эту вещественность то деформирующего, то подчеркивающего и усугубляющего, то поднимающего до каких-то «абсолютных» высот. Сочинителю не ведомо, что его субъективный опыт должен быть *ценным* для его читателя, равно как и для него лично... Ему невдомек, что до стихов нужно дорасти (а еще чаще – «домолчаться», как учила Мария Петровых). Что, наконец, литературные студии и виртуальные форумы не научат тому, что – *над* мыслью, звуком и техникой, – духовной зрелости. «Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека», – писал К.Батюшков... Но, благо, есть интернет, щедро предоставляющий свои виртуальные пространства для расплодившихся «разговорных» поэтов: экран монитора не краснеет и, при заботливом к нему отношении, не горит (заметим лишь, что здесь не оспаривается значение интернета в настоящем и будущем, спорно лишь качество многих публикуемых в сети материалов, но это – другая тема). Графомания – это та же «высокая болезнь»: от греч. *grapho* – пишу и *mania* – сумасшествие. И, в конце концов, следуя формуле С.Малларме, каждый выбирает для себя, *что* значит писать стихи – «убить несколько дней жизни или немного умереть». Да и посещать некоторые поэтические «сайты» не обязательно, так же, впрочем, как и читать современную поэзию в «толстых» журналах.

Поэзия – это музыка слова. Старая, как мир, затертая метафора. Читатель поэзии в чем-то идентичен музыканту: обоим необходим, по крайней мере, определенный навык, или, по большому счету, талант. Читатель и музыкант – интерпретаторы смысла и звучания. Можно вообразить себе виртуальное пространство, в котором любой, получивший хоть какое-то маломальское музыкальное образование, мог бы исполнять свои (или чужие) мелодии – не для благодущных родственников, а во всеулышание. Но даже для такого – не столь гипотетического, как на первый взгляд кажется, – выступления необходимо знание музыкальных «азов». Поэзию же, как кому-то может показаться, способен читать (интерпретировать) любой, умеющий соединять буквы в слог, слог – в слова. «В музыке необходимы технические умения особенного рода. Из окружающего общения так просто не узнаешь, каковы интервалы тромбона, гобоя, что исполнимо, а что нет на скрипке, законы формы, контрапункта, технические навыки исполнительства. Всё это можно получить от хороших учителей куда быстрее, чем постигать самому или по книгам. Но, как видно, даже здесь есть примеры самообразования – тот же Римский-Корсаков или Вагнер... Что касается литературы, то такая использует технический инструмент – язык – которым мы владеем в той или иной степени по праву рождения. Соответственно, для сочинительства важнее общее развитие, нежели какие-то формальные уроки. У меня всегда вызывали изумление литстудии – чему можно научиться из взаимных криков и наскоков глупых юнцов? Гостевые в Интернете – карикатурная модель таких «базаров». Опытный старший наставник может в деликатной форме что-то подсказать, но и здесь его роль крайне ограничена. Стихи должны созреть в душе, а технические формы придут сами собой (в отличие от музыки)» (Б.Кушнер, из письма). И даже Цветаевское наставление читателю о том, что поэзию нужно читать «духовными глазами», здесь не выручает, ибо «духовное зрение» у каждого свое: на таблице «духовного окулиста» лишь немногие способны разглядеть нижнюю строку, набранную очень мелким шрифтом...

В статье «Поэт о критике» М.Цветаева выставила два главных требования критику: доброжелательность и при-

надлежность к стану поэтов. Почти не оспаривая первого (но, на деле, далеко не обязательно соглашаясь) и заиклившийся на втором, критики запротестовали, отстаивая важность своей «посреднической» роли между поэтом и читателем, подчеркивая просветительно-наставнический характер своего труда. «Критик, лучший из читателей, воспитывает читателей, более слабых, менее чутких, более торопливых», – отвечал Цветаевой Ю. Айхенвальд («Литературные заметки»). И когда мы уже почти готовы согласиться с критиком, он вдруг неосторожно вносит поправку: «...пока еще безграмотность не ликвидирована...» О результатах поголовной грамотности – выше.

Кто же, всё-таки, кроме вымирающих, как мамонты, подписчиков «толстых» журналов, читает поэзию современников? Кто всё так же продолжает нуждаться в ней как в залоге духовного развития, возникающего при соприкосновении с искусством вообще? И кто он, этот «абсолютный читатель», этот пресловутый *alter ego*? Только ли внутренний, взыскательный и строгий, пушкинский судья? Нет, не только.

Это – другие поэты, братья по ремеслу – те, которые и видят, и слышат, и *ведуют*. Это любимые поэтом «классики», к которым он сознательно и подсознательно обращается, протягивая руку – с палубы вспять идущего парохода. Это его современники – поэты, которые верят и не верят в него, поддерживают и топят, хвалят и ругают, любят и нет. Это поэты, чьи стихи влияют на него и, порой, побуждают к ответу – притяжением, отталкиванием ли. Поэты, которые приходят на литературные вечера и поэтические чтения, затерываясь меж благодушных родственников, сердобольных пенсионеров и других случайных гостей. Поэты, которые то отзываюся редкими рецензиями – добрыми или злыми, то многозначительно молчат. Поэты – явные и скрытые участники «круговой поруки ремесла» (Цветаева). *Вне этой среды настоящих читателей, великих читателей-личностей* у отдельно взятого современного поэта – не более десятка. Цветаева утверждала, что вдохновлять на стихи – это такой же талант как их писать. Рискнем от себя добавить: и такой же – как их читать.

Мы в кафе посидим с тобой,  
и в «собачий мешок» объедков  
наберем, увезем с собой  
сувенирную часть объектов,  
когда завтра придет, когда  
просветлеет под небесами,  
и не будет, моя звезда,  
об ушедшем от нас навсегда  
лучшей памяти, чем мы сами.  
(Александр Стесин, из цикла «Гринвич-Вилладж»)

Только время покажет, будет ли у того или иного поэта «читатель в потомстве», но современный читатель поэзии – это «друг (и недруг) в поколении». «Скучно перешептываться с соседом», – писал Мандельштам («О собеседнике»), настаивая на расстоянии между поэтом и читателем как на необходимом условии правильного прочтения, и, в то же время, говоря о желании поэта, существа по природе своей эгоцентричного, «заинтересовать собой». А ведь незнакомого попугайчика в купе вагона или отдаленного во времени счастливого, нашедшего «бутылку мореплавателя» с вложенным в нее посланием, «заинтересовать собой» куда проще, чем соседа: на расстоянии *всё* ново, *всё* интересно, *всё* впервые – даже самое незначительное и второстепенное. С таким неподдельным интересом мы рассматриваем старые фотографии и читаем мемуары... Но «заинтересовать собой» соседа, изучившего тебя вдоль и поперек, не наскучить ему, а дерзнуть и

удивить – его и себя, «обрадоваться его радостью, полюбить его любовью», как писал Мандельштам, и не криком взвать, а *ше-по-том* – вот усилие, вот ответственность, вот устремление...

Люксембург

## ИРИНА ПАНЧЕНКО

### НАУМУ МОИСЕЕВИЧУ КОРЖАВИНУ – 80

#### «ВЕДЬ НЕТ, КРОМЕ НАС, ТРУБАЧЕЙ НА ЗЕМЛЕ»

*Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуночные бденья.*

*И мечты, что проснёшься в каком-нибудь веке другом.*

*Время дано. Это не подлежит обсуждению.*

*Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нём.*

Наум Коржавин «Вступление в поэму», 1952 г.

Самопознание – трудный духовный процесс. Не каждый может подняться на такую нравственную высоту. Поэту Науму Коржавину это под силу. Опыт нелегко прожитых лет, опыт долгих размышлений помог ему с психологической тонкостью проанализировать в мемуарах своё мировоззренческое становление, начиная с ранней юности. Известный ученый Михаил Бахтин считал, что «в человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова».

Мемуары Коржавина – это не только всматривание в себя, в свою внутреннюю жизнь, в свое прошлое, но и переосмысление истории России, судеб её творческой интеллигенции в сталинскую и послесталинскую эпохи. Подвергая сегодня прошлое переоценке в свете современности, Коржавин с беспощадной искренностью признаётся: «...тогда я так думать не умел». Для нас, его читателей, в процессе знакомства с мемуарами ярко предстают два образа поэта: его «тогдашнего», живого участника событий, которые он воссоздаёт, и умудрённого познанием интеллектуала. Нравственный стержень у этих образов неизменно один – *поиск правды*, который вёл поэта по жизни, который запечатлён в его творчестве.

Наум Коржавин впервые увидел своё следственное дело на Лубянке в январе 2002 года. Более чем через полвека, он нашёл там главное, что искал, – свои стихи. Они были конфискованы 20 декабря 1947 года при аресте студента третьего курса Литературного института «Эмки Манделя», как звали его тогда друзья по литературной Москве.

В Московский литературный институт им. М. Горького Наум Коржавин поступил в 1945 году, приехав в Москву из эвакуации. Его стихи вскоре стали ходить по столице в списках. Особенной популярностью пользовались стихи «Зависть» и «16 октября» (впоследствии перевернутое).

Бесстрашные стихи студента Коржавина повлекли его арест, восьмимесячное заключение во внутренней тюрьме Лубянки и трёхлетнюю ссылку на поселение в Новосибирскую область. В своей «Московской поэме» он так писал об этапах своего прозрения:

Хоть кричи – глушь сплошная.

Не услышат... завяз...

Будет день – я узнаю:

так Господь меня спас.

Что разбитый и слабый, и лишённый души, –

Я иду по этапу к откровенью от лжи.

Поэт был реабилитирован в 1956 году. Зарабатывал на жизнь переводами. Только в 1959 году Наум Моисеевич Коржавин смог закончить Литинститут, а первый сбор-

ник его стихов «Годы» вышел из печати в 1963 году. Эта небольшая книжка стихов оставалась у Коржавина единственной, изданной на родине до эмиграции поэта в 1973 году в США.

После отъезда из СССР Наум Моисеевич поселился в Бостоне, издал в США книги стихов «Времена» (1976), «Сплетения» (1981), опубликовал много острых публицистических и литературных статей и эссе.

Через двадцать лет после эмиграции Коржавина стали печатать на родине: «Время дано» (1992), «К себе» (2003). В журналах и газетах появились его стихи и множество статей о литературе. В 2003 году вышел сборник социально-философских эссе и статей «В защиту банальных истин». Наиболее полный поэтический сборник «Стихи и поэмы» напечатан в 2004 году в Москве (изд. «Материк»). Те из нынешних россиян, кто не знал или мало знал Коржавина до эмиграции, услышали его выступление на встрече в московском Историко-архитектурном институте в 1989 году, когда он приехал из Бостона в перестраиваемую Россию. С тех пор он не раз приезжал в Москву, где его ждут, где всегда рады встрече с ним.

Отдельные главы из мемуаров Наума Моисеевича публиковались в Москве в «голых» литературных журналах. К 80-летию Коржавина в столице России вышла книга его воспоминаний «В соблазнах кровавой эпохи», куда целиком вошли все главы (Москва: изд-во Захаров. Тираж 1500 экз.). С разрешения Коржавина ежегодник «Побережье» печатает фрагмент из этой мемуарной книги, любезно предоставленный автором (литературная редакция и небольшое сокращение Людмилы Свершковой).

Постепенно к нам приходит осознание того, что значит для русской культуры поэт и прозаик Наум Коржавин. Читателям близка его благородная идея личной ответственности каждого за всё, происходящее в мире. Они разделяют его стремление к сохранности системы безусловных нравственных ценностей (честности, совестливости, порядочности, достоинства). В эпоху международного терроризма всем понятна его боль и тревога за судьбу западной цивилизации, без которой, по его словам, «всё, чем мы в жизни дорожим, стало бы неуместным и невозможным».

Редакция альманаха «Побережье» и почитатели поэта от всего сердца поздравляют Наума Моисеевича Коржавина с 80-летием! Желают ему крепкого здоровья и долгих творческих лет. Это вступление к публикации страниц Наума Коржавина хочется завершить теми строчками из его стихов, которые воплощают кредо поэта. Ведь это горькое и мудрое авторское кредо и сегодня остаётся актуальным:

*Жизнь бьёт меня часто. Сплеча. Сгоряча.  
Но всё же я жду своего трубача.  
Ведь правда не меркнет и совесть не спит.  
Но годы уходят, а он – не трубит.*

*И старость подходит. И хватит ли сил  
До смерти мечтать, чтоб трубач затрубил?  
А может, самим надрываться во мгле?  
Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.*

## НАУМ КОРЖАВИН

### УПОЕНИЕ У БЕЗДНЫ

(Москва сорок четвертого, «Молодая гвардия»)

Как это ни странно звучит, но тогда – в 1944 году – в военной Москве существовала и набирала силу, восставлялась молодежная литературная жизнь. Наиболее

ясно это было видно по тому, что происходило со ставшим потом знаменитым литературным объединением при издательстве «Молодая гвардия». Открылось еще объединение при «Комсомольской правде», его я тоже исправно посещал. Возникали и другие подобные группы, где и при чем – не помню. Но тогда знал все. Человеку, соприкоснувшись с молодежной литературной средой, трудно было не узнать про них. Да и редакции с удовольствием к ним отсылали – взамен печатания.

И все-таки «Молодая гвардия» – так запросто, по имени издательства, мы называли и литобъединение при нем – оказывалось вне конкуренции. Динамика нарастания новой литературной «волны» просматривалась даже по смене помещений, где проводились его занятия. Когда я впервые туда пришел (привел меня Межиров), все собиравшись в небольшой издательской комнате. Но народ прибывал и прибывал. И уже скоро занятия перевели в просторный холл издательства. Потом и там стало тесно. Вот тогда литобъединение обосновалось в обширном подвале Политехнического музея (размещавшегося на Новой площади как раз напротив издательств). Этот подвал и был зафиксирован многими. И неудивительно – там кипела молодежная вольница. Зафиксирован многими в этом подвале даже я – потому что читал крамольные стихи и отчаянно спорил. Вообще слыл *enfant terrible* – роль (несмотря на сопряженную с ней опасность и несвойственность моей натуре) мне тогда, по младости лет, импонирующая.

На первом для меня собрании, еще в комнате, стихи – это было намечено заранее – читал Межиров, читал и всех очаровал. Впрочем, очарованности ждали заранее – видимо, срабатывал предыдущий успех. Я к большинству его стихов относился прохладно – чарующая других экспрессия не всегда для меня подтверждалась движением сути и выбором слов, что, как я теперь понимаю, одно и то же. Впрочем, тогда я этого не понимал, считал стихи хорошими, но почему-то не запоминал. Возможно, другие и запоминали – у Межирова много поклонников. Кроме того, он знал бездну стихов самых разных поэтов, любил поэзию и умел заражать этой любовью. От него, от первого, я услышал строки Цветаевой и Мандельштама. Это немато.

На объединение с самого начала обращал на себя внимание стройный человек с удлинённым, смуглым, удивительно мягким и располагающим к себе лицом. Даже традиционные очки завершали этот стопроцентно интеллигентный облик. Он явно имел отношение к издательству, но, по моему, каким-либо официальным статусом при объединении не обладал. Просто, не пропуская, как правило, ни одного занятия, сидел где-нибудь в сторонке. Но обычно после каждой жаркой дискуссии административного руководившая объединением Вера Васильевна Юровская просила его:

– Митя! Скажи тоже что-нибудь.

И «Митя» высказывался. Обычно очень интересно и точно. Мы часто возвращались вместе в электричке. Разговаривать с ним было чрезвычайно интересно. Я уже знал, что зовут этого человека Дмитрий Михайлович Кедрин, что он очень хорошо понимает и чувствует поэзию и все вокруг нее и вообще мне симпатичен. Не знал я, и даже не подозревал, только одного – что он поэт. А Кедрин ни разу не обмолвился словом об этом. Вразумил меня не он сам, а мой друг Николай Старшинов, с которым я поделился впечатлениями об этом «понимающем» человеке.

– А ты знаешь, ведь он поэт! – сказал Коля. – И хороший! У него книжка вышла... – И прочел мне «Зодчих». Потом я и сам добрался до книги Кедрина. Там были стихи, которые несколько позднее называли бы «антикульту-

товскими» (например, «Алёна-старица»), а ведь времена были такие, что никакого «разоблачения преступлений, связанных с культом личности» и представить было невозможно... Так что распространившиеся после его загадочной гибели слухи о том, что его вытолкнули на ходу из электрички (тогда двери вагонов еще не сдвигались автоматически) не уголовники, как считалось, а гебисты (чего я не думаю до сих пор) \* имели под собой основание. Этот разговор со Старшиновым произошел, вероятно, перед самой гибелью Дмитрия Михайловича, и с Кедринным как с поэтом (т.е. зная, что он поэт) я ни разу в жизни, к сожалению, не общался. И думаю, что не я один не знал, кем был на самом деле этот понимающий «Митя»...

Очень скоро к нему пришла настоящая известность. Стихи его постепенно входили во все антологии советской поэзии. Но ведь и до этого он вовсе не был запрещен, и в Москве существовало немало людей, прекрасно знавших ему цену. И тем не менее само старшиновское «А ты знаешь...» свидетельствует о том, что круг осведомленных был достаточно узок... конечно, я, мальчик из провинции, знал не всё и не всех, но всё же остро интересовался всем, что появлялось в поэзии. Я должен был знать его имя. Однако не знал... Даже после выхода книги — т а к о й книги в т а к о е время. Почему появление книги Кедрина не сопровождалось шумом, которым оно должно было сопровождаться? Не знаю... Но в том, что об этом не знала молодежь, с которой он непосредственно имел дело, «виноваты» его высочайшая скромность и личное достоинство — человека и поэта. О вышедшем сборнике он просто не заговаривал. Не хотел себя навязывать. Это недоразумение лишило меня многого, но одарило представлением о том, что бывают такие люди. Даже среди поэтов.

Но вернемся к литобъединению. Поначалу, как я уже говорил, административно (от издательства) им руководила Вера Васильевна Юровская. Не понимаю, почему Юровская была Васильевной — так не переводится ни одно еврейское имя, а она была еврейкой и от этого вовсе не отрешивалась. Кажется, она происходила из старобольшевистской семьи. Была ли в родстве с царевубийцей Юровским — не знаю. Тогда таких «заслуг» не скрывали, но речь об этом при мне ни разу не заходила. Поначалу Юровская отнеслась ко мне хорошо, но особо душевные беседы между нами не возникали.

Я её считал трусихой. Скорее всего несправедливо, хотя она и впрямь всего боялась. Так ведь не зря же. Возможно, это было связано с её старо-большевистским родством (если оно мне не приснилось). Формально оно продолжало считаться почетным, но на самом деле теперь скорее отягощало анкету, а по линии МГБ и просто выглядело подозрительно...

Конечно, к большевикам (говоря о «настоящих», «идейных» или представляющих себя таковыми), которые от всего «отдельно взятого» (ими за горло) народа требовали безграничного самопожертвования, а сами, когда пришлось, за редким исключением, не проявили и тени готовности к нему — особый счет. Но речь сейчас не о старых большевиках, а о Юровской, которая лично вряд ли была к чему-либо причастна и вполне имела право бояться моей лихости. Я не был идиотом и тоже понимал, что за такое не милуют, но воспитанный в героических традициях Ленинского комсомола и большевистской принципиальности не считал это достаточным основанием для отказа от истины. Примат общественного над личным, верности Революции над личной безопасностью (причем не только своей) я понимал буквально и воистину бескомпромиссно — хотя и вразрез с властью, якобы являющейся воплощением идейных «добродетелей». И я

действовал в соответствии с этим «кодексом чести», ни с чем не считаясь, — другими словами, публично читал стихи, которые писал. Стихи теперь отчасти (если мной же не забракованы) опубликованы в начале моих сборников, зарубежных и «худлитовского».

Что происходило! Мне «давали отпор», запрещали читать стихи, выступать, запрещали даже приходить, а я в шинели без хлястика и в «будёновке» со звездой на лбу (и то, и другое, правда, в «товарном» виде, мне подарил мой приятель Марк Малков) всё равно там появлялся как призрак военного коммунизма, выступал и читал. А директора издательства Михаила Тюрина, собственно и велевшего меня изгнать, даже вставил в стихи, которые тогда читал везде, но давно не читаю и публиковать не собираюсь. Лишь, к слову, здесь приведу отрывок:

О, старый мир! Ты был не прахом,  
А мстил сурово за себя,  
Когда у нас, в быту, с размаха  
Я наткался на тебя.

Ты шёл всегда на авантюры,  
Чужой от головы до пят.  
...Какой-нибудь редактор Тюрин  
Работал тоже на тебя.

Из этого видно, что все, чего я не любил, я относил к проявлениям старого мира (себя — к новому). И что с врагами мира нсвого был беспощаден — в смысле словесных приговоров. Между тем, Михаил Иванович Тюрин просто знал, что бывает за подобные «художества», независимо от того, новый это мир или старый. Правда, недоброе чувство ко мне он сохранил надолго. Не за эти строки, которые вряд ли знал, а за перенесенные страхи. Уже через много лет, когда он, заместитель главного редактора в «Известиях», обнаружил мою подпись под напечатанной репликой, то очень сетовал, что не заметил ее раньше, — такого человека, как я, по его мнению, и близко нельзя было подпускать к газете.

Я и сегодня не знаю, как относиться к своему тогдашнему поведению... С одной стороны, оно было проявлением самоупоенного эгоизма по отношению к малым (и не очень малым) сим, к «дрожащей — и вовсе не без причин — твари». Но ведь была и другая сторона... Не мог я в девятнадцать лет вдруг взять, да и перестать проявляться, практически — существовать. Да и хорошо ли бы это было? Что вообще нравственно в годы декретированной безнравственности? Рассказывать о том, что я тогда творил, значит хвастать собственным «героизмом». Между тем, героизма там не было. Героизм — направленное деяние, имеющее некоторую возвышенную цель. А я никакой цели, видит Бог, перед собой не ставил. Ну, например, чтобы люди, выслушав мои стихи, «встали и пошли». Да и куда было им идти? Психологически это был совсем не героизм. Я читал свои, именно такие стихи, потому, что я их написал. Просто удержаться не мог. Меня несло, но то, что я читал, было в принципе невозможно и невероятно. И не оттого, что было запрещено. Этого по общему уговору (очень неравноправному) — не существовало, а я с легкостью нарушал «табу», словно это так и надо. Залы взрывались аплодисментами. Ведь тяжесть всеобщего «уговора-табу» (как минимум, касавшегося страха и лжи «ежовщины», вообще лжи) давила на сознание и подсознание многих — вот люди и откинулись. Сегодня мне вспоминать об этом иногда страшно, а тогда — ничего. Главный страх, который я испытывал по этому поводу, был страх, что аплодируют не за стихи, а за храбрость. Я всегда относился к поэзии ответственно и



боялся допингов. Это располагало к серьезным размышлениям о ней.

Но открыто читать стихи, которые я писал, было опасно и в самом банальном смысле. Но что мне было делать? Писать их и никому не читать? Это противоестественно... Я не раз решал именно так и вести себя, но из этого ничего не выходило. Радикальным решением было бы их просто не писать. Но тогда бы меня, такого как я есть и должен был стать, не было бы вообще. Альтернативой тому, что некоторым кажется героизмом, становилось самоубийство. А хватать тем, что не покончил собой, — нелепо.

Я не ставлю свой опыт никому в пример. «Эксперимент» этот не только мог, но и по всему должен был завершиться моим исчезновением. Особенно, если б у него нашлись последователи. Тогда бы уже точно прикончили всех — и меня, и остальных. Но последователей, слава Богу, не было. Удивительно не то, что ответственные за мероприятие приходили в ужас от моих выступлений, удивительно, что эти выступления некоторое время все-таки сходили мне с рук. Иногда мне кажется — в виду невероятности. То, в чем других надо было уличить или приписывать с помощью внушения, а они изо всех сил упирались, отталкивались от обвинения, здесь человек просто произносил публично, и даже сам объявлял:

Мне каждое слово  
Будет уликой  
Минимум  
На десять лет.  
Иду по Москве,  
Переполненной шпиками,  
Как настоящий поэт.  
Не надо слезек!  
К чему шатания?  
А папки бумаг?  
Дефицитные!  
Жаль!  
Я сам,  
Всем своим сосуществованием —  
Компрометирующий материал.

Стихотворение это, написанное мной в восемнадцать лет, было названо «Восемнадцать лет» задним числом. Поскольку несомненно несет на себе печать этого возраста. В восемнадцать лет на снисходительно-ироническое отношение к своему возрасту я, естественно, способен не был. А в сорок я уже никак не мог всерьез ощущать интонацию этого стихотворения адекватной себе. Отсюда и ироническое дистанцирование в названии. Но ирония моя относится к самоуверенности тона, к безапелляционности авторской самооценки, к вере в свою способность на равных противостоять дракону, короче, к себе, а не к ситуации, которая тогда складывалась.

Эти стихи, как я потом узнал, не возмущали, а даже умиляли гебистов. Еще бы! Впервые в стихах прозвучал их рабочий термин — «компромат» (а я, честно говоря, и не знал, что это термин). Но «компромат», как правило, собирают по крупницам, под него скрупулезно подгоняют обычные факты и высказывания, а тут человек сам напрашивается и даже правильно все обозначает. Это могло и ошеломить. Особенно при непривычке к реальным, а не сфабрикованным делам. Конечно, времена были военные, либеральные, но не до такой же степени. Тем не менее, сразу меня не арестовали. И даже почувствовать свое присутствие дали не сразу.

Я до сих пор печатаю это стихотворение, хотя оно не соответствует моему сегодняшнему вкусу. Наряду с дву-

мя-тремя другими ранними стихами, к которым я отношусь так же, оно вошло даже в мой худлитовский сборник, куда я отбирал стихи строго. Вошло, потому что чем-то оно мне до сих пор по-человечески дорого. Как всякому дорога его юность. Обычно я таким своим слабостям не потакаю (во всяком случае, сознательно), а тут уступил.

Но здесь я говорю о нем, поскольку при всех своих недостатках оно несет на себе отпечаток моего тогдашнего состояния, времени и ситуации... И еще — при всей экспрессивности оно точно фиксирует гибельность этой ситуации для поэзии. Тогда и до самой смерти Сталина. Поэзии и потом бывало очень трудно, но петля стягивалась уже не так смертельно. А тогда практически оставалось только два пути формирования поэта, и оба гибельные — идти напрямую против, отбросив мертвящее наваждение открытым инфантильным жестом, как в этом стихотворении, это означало обрекать себя на физическую гибель. И был второй путь — стараться обойти все, что давило, как незначительный фактор. Он вел к тому, чтобы быстро заглохнуть, исчезнуть или вообще не возникнуть. Просто не состояться... Признаю, что дерзость юношеского противостояния не была бы меня, если бы не умер Сталин. Не говоря уже о том, что эстетическая ценность самого акта противостояния, тем более долгого, невелика. Но поскольку Сталин умер, это дало мне многие преимущества. Оказалось, что я человек с нормальной юностью, с естественными ее реакциями на окружающее, а, значит, и с мыслями о ней (самыми разными) — другими словами, что у моего самосознания и сознания, а, следовательно, и у творческого развития, не было потерянных лет.

Но в «Молодую гвардию» я ходил не за этим. Я ведь жил литературой и именно там мог окунуться в гушу литературных споров — они разворачивались и тогда. И даже походили на нынешние. В связи с ними я хочу сейчас вспомнить о Сергее Васильеве, одно время руководившем объединением. Однажды, разозлившись на идиотские требования «образов» (на самом деле, тропов, а это не синонимы), я поразил его неожиданным «открытием», что образы в поэзии вообще не нужны. Он тут же отреагировал:

— Вот странно — сам пишет образно, а образы отрицает.

Да, это был тот самый Сергей Васильев, который стал потом «героем» антикосмополитской кампании и вообще — столпом дубового соцреализма. Между тем, до войны он прославился своей эпиграммой на Лебедева-Кумача, бывшего тогда чуть ли не эмблемой счастливого сталинского времени. Да и на объединении никак не выглядел ни глупым, ни темным. Занятия он вел интересно и квалифицированно. Какая сила заставила его потом пуститься во все тяжкие, превратиться в эталон бездарности и антикультуры, в их бастион (и то, если употреблять слова только парламентские) — сказать трудно. Но тогда, в 1944-45-м, он производил хорошее впечатление. Высокий, крепкий, умный, знающий — куда всё девалось?!

Должен сказать, что моя поглощенность литературой не только не отвращала меня от общественных и идеологических тревог, а, наоборот, еще больше приковывала к ним. И было бы странно, если бы это было иначе. К несчастью, литература слишком уж зависела от подобных материй. Давление общественной ситуации отражалось на всем. Даже многомудрые диалектические рассуждения о выборе пути были косвенным его последствием, приспособлением к страшным и бессмысленным обстоятельствам, попыткой придать разрешенной деятельности видимость творчества — вообще осмысленности. Чтобы как-то абстрагироваться от действия прямых обесмысливающих факторов, таких, как Лубянка.

Я многое уже знал о Лубянке. Но настоящей правды о ней не знал. Проходя мимо нее к расположенному рядом Политехническому, где кипели наши страсти, я бы и догадаться не смог, что уже скоро, как только кончится война, там начнут «готовить материал» на... маршала Жукова... Что начнутся аресты среди боевых генералов... Что Генералиссимус пожелает безраздельно присвоить себе победу... Что нет и не будет никаких реальных политико-идеологических причин – только личный бред, личные амбиции и личные претензии спятившего от удачных преступлений Вождя! Или что карательные органы тоталитарного государства – уже давно превратились в личные сталинские когти. Этого никто не представлял. Но это висело над действительностью, было ее атмосферой. А культ подлинного коммунизма с его мировой революцией и другими аксессуарами оказывался естественной реакцией на эту атмосферу, поиском твердой духовной почвы среди хляби... Мудростью это не было... Немудрой, наверное, было и мое концентрированное внимание к «1937 году» – как к трагедии революции. Но я и теперь уверен, что это была еще и трагедия страны и народа, опущение их на еще более низкую ступень нравственного и психологического состояния.

До 1937 года Сталин, хотя он уже мог многое в смысле политического разбоя, но всё же таких изысканных удовольствий, как отбирание заслуг у прославленного маршала, еще себе не позволял. После «37-го года» – позволил и не это. До «чисток» даже о Троцком в научных статьях писали как об активном деятеле Революции и Гражданской войны, после – подобная мысль никому бы и в голову не пришла. Эта сомнительная заслуга у него была напрочь отнята. Его деятельность в революции стала теперь сводиться к одному – к изощренной и перманентной измене. Тогда я мало знал о Троцком, но знал, что всё внушаемое мне о нём – идиотизм. И часто «наперекор всему», как это ни глупо, ему симпатизировал – как антиподу Сталина. Теперь я знаю о Троцком больше и вижу в нем преступника... Но знаю также, что преступления его (как и многих других) коренятся не в измене большевизму, а в непреклонной верности ему. Тогда я так думать не умел. Именно поэтому не отягощали в эти годы мою совесть ни коллективизация, ни раскулачивание. Дескать были перегибы в грандиозном и прогрессивном деле, но не в них суть... Этот удар по общественному сознанию и совести оказался настолько силен, что ушиб от него начал болеть много позже – в конце 50-х – начале 60-х... И уж подавно не страдало мое сердце из-за ограбленных нэпманов – жалеть буржуев уж совсем было не к лицу.

Так в сознании пытавшегося мыслить молодого человека середины сороковых коллективизация оставалась в ключе великого мировоззрения, а вот «тридцать седьмой» из него выпадал, всё ломал, заставлял равняться на романтический «военный коммунизм» и «мягкие» двадцатые годы... Отвержение к муляжу порождало мираж. Такое это было мировоззрение.

А время не стояло на месте, и мировоззрение моё подтачивалось совсем с другой стороны – со стороны самой жизни. Не до конца, конечно. Еще долго для меня все совмещала и примиряла «диалектика» – но ригоризм, слава Богу, все же постепенно таял... Как бы преступно по отношению к своим ни велась эта война (а как – тогда не знал не только я, а почти все, в полной мере – и большинство генералов), дело шло к победе, и это радовало. Всех. И никто не задавал себе вопрос: «А кто собственно побеждал?». Действительно, кто побеждал? Коммунизм? Но его почти не поминали (о чем скорбели все романтики и идеалисты). Значит, Россия? По видимости – выходило так. Побеждали под немарксистским лозунгом за-

щиты отечества (Сталин понимал, что за коммунизм, в глазах народа теперь неотрывный от коллективизации, рисковать головой согласятся немногие). С одной стороны это меня огорчало – как бы сужало горизонты, а с другой – это была правда. Вот строки, которые лучше всего передают тогдашнюю путаницу моих мыслей и чувств.

## ОТСТУПЛЕНИЕ

Шли да шли. И шли, казалось, годы.  
Шли, забыв, что ночью можно спать.  
Матерились, не найдя подводы,  
На которой можно отступить.

Шли да шли дорогой непривычной,  
Вымощенной топотом солдат.  
Да срывали безнадежно вишни –  
Все равно тем вишням пропадать.

Да тащили за собой орудья  
По холмам и долам, вверх и вниз.  
Русские, вполне земные люди  
Без загробной веры в коммунизм.

Шли да шли, чтоб отдохнуть и драться  
За свое насущное, за жизнь.  
...И еще за то, чтоб лет чрез двадцать  
Вновь поверить в этот коммунизм.

Это юношеское стихотворение не вошло и не войдет ни в один мой сборник, и здесь оно приводится только как документ, свидетельствующий о той сумятице, которая творилась во мне... Стихи эти, кроме всего прочего, явно не пророческие – через двадцать лет (в начале шестидесятых) никто особо в коммунизм не поверил, а, наоборот, многие из тех, кто верил раньше (я, например), разуверились или начали разуверяться.

Стихи держатся на мировоззрении. Но, по совести, с верностью ему (мировоззрению) тогда не только у власти, но и у меня самого уже не все было гладко. И, прежде всего, в вопросе о патриотизме. В детстве разговоры о нем оскорбляли мой революционный интернационализм, но к тому времени, о котором идет речь, я уже сознавал себя русским патриотом. Хотя при этом понимал, что это, как и патриотические лозунги, с которыми мы выиграли войну, противоречит «учению». Вот только лозунги были связаны с тактическими соображениями Сталина, а мое самоощущение – с открытием России. Через ее роль в войне.

Несмотря на всю мою тогдашнюю теоретичность, я все же не был слеп и видел, что воевала именно Россия. Это не значит, что из всех народов СССР воевали (или воевали хорошо) одни русские. Совсем нет. Но это значит, что все группировалось вокруг России, вокруг русских воинских традиций и навыков – война вообще имела «русский характер». Людей других национальностей не оскорбляло, что иностранцы (а иногда не только они) считали их русскими солдатами... К тому времени я уже прочно любил Россию и отнюдь не считал русский патриотизм только удобным средством для защиты иных, «более высоких», ценностей. Но старался увязывать эти «ценности» и с патриотизмом и с Россией... Как у меня сказано в одной незавершенной поэме тех лет.

Россия!... Кто не ощущал  
В те годы, может быть, впервые  
Зародыш мировых начал  
В просторном имени – Россия.

Тут уже мировая революция оборачивалась почти славнофильством. Но, конечно, несоответствие одного другому оставалось. Сталина никакие несоответствия не беспокоили, но мне они мешали, я старался их примирить или объяснить. Но замечал их отнюдь не только я.

Всплывает в этой связи в памяти забавный эпизод, рассказанный мне В.В. Ивановым. Однажды – дело было в начале войны – к его отцу, известному писателю Всеволоду Иванову, зашел В.Б. Шкловский с газетой в руках. Газета была полна обычного (и естественного) для тех дней патристического, близкого к националистическому, державного пафоса:

– Ну что, Сева? – спросил он, ухмыляясь. – Воюем под псевдонимом?

И он был прав – патриотизм для сталинщины был псевдонимом. Но псевдонимом для нее был и коммунизм. Псевдонимом для нее служило любое обличье, в котором она являлась людям. Но в том-то была и чертовщина сталинщины, что псевдонимов у нее было много, а подлинного имени – такого, каким можно было вслух назваться, – не было ни одного. Ее духовной реальностью была только окружавшая всех нас, никогда никого не оставляющая в покое, все и всех себе подчиняющая гремевшая пустота. И промозглый мрак... В этом мраке мы и блуждали, ориентируясь по болотным огням.

И тем не менее, я «жил и мыслил». И не только я. Сам факт, что столько людей слушало мои стихи и симпатизировало мне – некоторые журили, но все равно симпатизировали – тоже о чем-то говорит. Конечно, в причинах своего сочувствия не разбирались – советские люди умеют недодумывать... Видимо, полагали, что просто проявляют заботу о подающем надежды юноше. Но ведь потому они и воспринимали меня как подающего надежды, что откликнулись на то, что им было близко. Что и в них жило.

Помню, как я в «Молодой гвардии» познакомился с приехавшим в отпуск старшим лейтенантом, сотрудником фронтовой газеты (имени, к сожалению, не помню), который собирался меня увезти в эту газету на фронт. Но не вышло. Я ведь жил в военной Москве без документов – их у меня в очередной раз вытащили. А без документов военкоматы не оформляли. А, может, уже и репутация «работала»? Но важно, что сами мои стихи его не останавливали.

Кстати, с этим старшим лейтенантом тоже связан эпизод, характеризующий время. Он на объединении читал свою поэму – с неожиданным сюжетом о погибшем герое, попросившем перед смертью похоронить его по христианскому обряду. Командование обещает выполнить его просьбу, но сталкивается с неожиданными трудностями. Невозможно найти священника, а обряда никто из командиров уже не помнит. Но не выполнить слова, данного герою, спасшему всю часть ценой собственной жизни, – нельзя. И вот под суфлерство другого верующего солдата функции священника берет на себя сам комбат. Помню только чегыре строчки из поэмы:

«Во имя отца и сына!» –  
Глухо сказал командир.  
И был непохож на рясу  
Блестящий его мундир.

Ни автор, ни его герои (кроме погибшего) в Бога не верили – отдавалась только дань воинскому подвигу. Тем не менее поэма вызвала жаркие споры, поскольку оскорбляла атеизм неверующих. Воспитанная в богоборчестве молодежь почувствовала себя задетой за живое.

Я тоже был атеистом и даже крайним романтиком революции, но поэму все же защищал. И даже обвинил на-

падавших на нее в антирелигиозном ханжестве. Ведь в нашей стране есть верующие, и есть среди них герои – почему ж нельзя об этом писать? Убеждение, что при любых взглядах, при любом отношении к описываемому следует писать правду, было мне присуще уже тогда. Кстати, думаю, что выражение «антирелигиозное ханжество», вообще точное, больше относится к нынешним западным интеллектуалам, чем к тогдашним спорщикам из «Молодой гвардии». Но это – другая тема.

Я должен еще раз опровергнуть распространенное представление, что в те годы все тотально боялись друг друга. Из-за моих стихов, да и просто общительности, у меня было много знакомых, и разговоры случались весьма откровенные. Это не значит, что все со мной обязательно соглашались, многие защищали Сталина, но обсуждали мы это – конечно, не в общественных местах – совершенно свободно. И никто из тех, с кем я разговаривал, на меня не донёс. Доносили стукачи, они, конечно, посещали наши собрания – не могла же Лубянка оставить такое шумящее скопище без своего попечения. Но доносили в общих чертах (большого не знали) и только о том, что происходило на наших собраниях. На меня стучали, но не те, с кем я общался, а посторонние люди, и тоже – очень приблизительно и не очень сообразуясь с правдой. Почему я не откровенничал со стукачами – не знаю. Вряд ли из осторожности. Вероятно, такая избирательность получалась стихийно – просто я общался, в основном, с теми, с кем хотелось, кто вызывал у меня интерес и симпатию, а стукачи, видимо, ни того, ни другого вызвать не могли.

Руководители объединения сменялись. Илья Сельвинский, Валентина Юровская, Сергей Васильев... Одно время руководил объединением монументальный Владимир Александрович Луговской.

У нас в подвале выступали с чтением стихов Вера Инбер, Михаил Светлов, Леонид Мартынов. И Инбер, и Светлов виделись мне в ореоле невероятных для моего воображения 20-х годов. О Леониде Мартынове я услышал, только приехав в Москву. Кто-то подарил мне его вышедший в Омске сборник «Лукоморье», и я узнал, что в России есть такой крупный и удивительный поэт. Я и теперь так думаю, хотя в его творчестве нравится мне не всё. Но не нравящееся (на мой взгляд, слишком нарочито проявляющее его эстетическую позицию) отбрасывается, а Леонид Мартынов остается большим поэтом). У нас тогда он читал поэму, представлявшую собой исповедь дочери служащего какого-то сибирского магистрата в XVII или XVIII веках. Поэма, кажется, была очень хорошей, но мало приспособленной для публичного чтения. Не говоря уже о том, что читал он ее очень скучно. Я никогда этой поэмы больше не встречал – ни в одном из его многочисленных сборников. Так что проверить своё давнее ощущение, к сожалению, не могу...

Очень понравился Михаил Светлов, особенно его «Итальянец», – в своей человечности, патристичности и интернационализме. Понравился «Итальянец» не только мне, а, наверняка, абсолютному большинству присутствующих: глоток свежего воздуха, возвращение к истокам. Впрочем, в этом стихотворении вообще нет ничего дурного. А для меня... Кто-то, а Светлов был для меня живой легендой, и вот теперь я сидел в зале и слушал. И пусть я не имел ничего за душой, ни одной напечатанной строчки, никаких источников существования, ни кола, ни двора, только койку в общежитии чужого по профилю института – это было уже некоторое исполнение желаний, дорогой к нему...

В «Молодой гвардии» я перезнакомился с большим количеством молодых людей. Там я впервые услышал и в первый раз подружился с Валентином Берестовым. В

первый – потому что он вскоре вдруг исчез с горизонта, попытался уйти из литературы. Совсем юный, почти мальчик, серьёзный мальчик в очках (моложе меня на три года – что это теперь значит!), даже ниже меня ростом, чуть ли не по грудь (это потом вымахал в «дяденьку-достань-воробушка»), он, кажется, тогда еще учился в школе. Но уже был замечен и обласкан Ахматовой, Пастернаком, Алексеем Толстым и другими – легендарными для меня тогда корифеями (это произошло в Ташкенте, во время эвакуации)... И действительно – стихи его были законченными, взрослыми. От этой законченности, от вундеркиндства он тогда и сбежал. Правда, на вундеркинда он не походил нисколько. Его суждения о поэзии были серьезными и точными, ориентированными на понимание живого организма стихотворения, а не на манипуляцию терминами... Это нас и сблизило, хотя никакой общественной тематикой он не то что не интересовался – не выделял ее. Судил о стихах как о стихах, независимо от степени крамольности – она не была для него ни плюсом, ни минусом. Мне это было очень дорого и близко в нем. Я не хотел «аплодисментов за смелость», не хотел и хулы за нее и не терпел сублимиций страха и равнодушия, высокомерно выдаваемых за эстетическую посвященность. У Берестова ничего этого не было. Он как был, так и остался для меня человеком тонкого, точного и строгого вкуса. Он был культурен.

На одно из занятий он привел своего товарища Кому Иванова, сына писателя Всеволода Иванова. Ныне он известный лингвист, литературовед и мемуарист В.В. Иванов. Правда, подружился я с ним только в конце пятидесятых.

Некоторые мои стихи располагали к откровенности. Студентка (уже не помню какого института) Дина Вейс, по какой-то причине близкая к иностранным коммунистам, рассказывала мне о многих проделках Сталина. От нее я услышал о «Катынском деле». И это – в 1944-м – максимум в 1945-м году! Не помню, поверил ли я ей, хотя в глубине души заподозрил, что это правда...

Моё чудесное существование, мои открытые чтения и выступления не могли безнаказанно продолжаться слишком долго. Чудес тогда, если они шли не из Кремля, быть не могло. Да еще в центре Москвы, в двух шагах от Лубянки и ЦК ВКП(б). Специальные люди следили за тем, чтобы их не было. А неспециальные, вроде Юровской и Тюрина, зная о существовании специальных, следили еще пуще. И скоро я наткнулся на то жесткое – жесткое, конечно, по нормальным, а не по тогдашним нашим представлениям – сопротивление. Но меня это не оскорбляло, скорее – окрыляло. От этого я себя чувствовал не политическим борцом, а подобием скандалиста-футуриста – образ в те годы для меня гораздо более привлекательный, чем «борец».

Но тучи постепенно сгущались. Правда, я, упоённый собственной жизнью, этого не замечал. Первый гром ударил неожиданно. В 1944-м году меня не приняли в литинститут. Это было удивительно. Я уже давно там был своим человеком, никто не сомневался, что кого-кого, а меня-то примут. Но вот не приняли. Был бы я умней и опытной, то я понял бы, что это уже жует зубы СИСТЕМА. Но я не понимал...

\* В этом не было нужды. Зачем такой «театр»? МГБ ничто не мешало его просто посадить. И обвинить не в стихах из книги, а в чём угодно. Он не настолько был тогда известен. Да и известность бы не помешала.

Бостон

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ К ВОСПОМИНАНИЯМ НАУМА КОРЖАВИНА

о московском литературном объединении 40-х годов  
«Молодая Гвардия»

К юбилею Наума Моисеевича Коржавина в архив «Вашингтонского музея русской поэзии» ([www.museum.zislin.com](http://www.museum.zislin.com)) была прислана краткая зарисовка об участии юбиляра в литературном объединении «Молодая Гвардия» в 1944 году в Москве.

Автор этой зарисовки – математик по профессии, большой любитель и знаток русской поэзии, друг, а ныне хранитель архива Анастасии Ивановны Цветаевой Глеб Казимирович Васильев. Он был очевидцем собраний этого объединения, будучи на два года старше юбиляра.

25 октября 2005 г. на торжественном собрании в честь юбилея Наума Коржавина в Генеральном консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке основатель Вашингтонского музея поэзии Юлий Зислин зачитал и передал юбиляру текст Г.К. Васильева.

Ниже приводим этот текст.

### ЗАРИСОВКА ИЗ ПРОШЛОГО

В 1944 г. в Москве существовало рыхло-объединённое литературное содружество под названием «Молодая Гвардия». Там бывали Семён Гудзенко, Саша Межиров, Ксюша Некрасова, Вероника Тушнова, Виктор Урин и совсем молодые, среди которых Наум Коржавин – он же Эмка Мандель, разительно превосходивший прочих.

Было это содружество бесприютным, собираясь когда в церкви напротив Политехнического музея, а когда – в подвале этого музея. Руководили этим объединением Сергей Васильев, Владимир Луговской, Дмитрий Кедрин, Вера Инбер, критик Зелинский и ещё кто-то.

Так вот, Эмка Мандель был несравним своей впечатляющей силой, когда читал

*...Хотелось жить, хотелось плакать,  
Хотелось выиграть войну  
И забывали Пастернака,  
Как забывают тишину.*

Он прочитывал Пастернака с необычным и даже невероятным полностью закрытым «е», прочитывая его как «ять».

И потом в ниспадающей минорности:

*...Мы не будем увенчаны  
И в кибитках снегами  
Настоящие женщины  
Не поедут за нами...*

Он завораживал и покорял не только самоубийственной смелостью своих стихов, но и совершенством их музыкального звучания. Ему дан был «язык, что умел слова ощущать, как плодовой сок...» (Багрицкий).

Перед началом встреч обычно кто-то стоял в дверях и полугрозно орал каждому входившему: «В Манделя – веруешь!?» «Верую!». «Проходи». И я орал...

**Глеб Казимирович Васильев**

**О себе:** Математик. Прожил всю жизнь со Стихом и Стихом полна голова.

На этих собраниях бывал неизменно. Но остался честен перед её величеством Поэзией – не сложил ни одной пары рифмованных строк.

17.10.05 г.

К КОНЧИНЕ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО ПОЭТА  
УИСТОНА ОДЕНА В 1973 Г.

*«Как отдаленные раскаты грома на пикнике,  
о смерти мысль»*

(Из поздних стихотворений поэта)

Умер Оден. В Вене, после литературного выступления, во сне. В городе, на окраинах которого он почти неизменно проводил лето. И прошло только одиннадцать месяцев со дня смерти Эзры Паунда («Смерть в Венеции», «Р. М.», № 2933). Обоих поэтов разделяло целое поколение, но как много между ними общего! Проступают неопровержимые параллели, пусть часто и устремленные в противоположные стороны.

Оба были искателями не только в области литературного творчества. Жизнь их ознаменовалась исканиями социальными и религиозными. В связи с ними оба стали экспатриантами. Паунд покинул Америку, поселился в Европе. Оден выехал из Англии, стал гражданином Соединенных Штатов. Оба искали выхода из социально-политического тупика, примкнув к радикальным движениям: Паунд — к фашистскому, Оден — к марксистскому. Отойдя от этого увлечения, страстно устремились к религии: Паунд — к конфуцианству, Оден — к консервативному англиканству. Объединяет обоих и разносторонность их деятельности. Так же как Паунд, Оден был и поэтом, и эссеистом, и переводчиком, и профессором, и составителем антологий, и если и не писал оперы сам, как Паунд, то был создателем к ним либретто. (Оден сотрудничал с Игорем Стравинским; он написал текст к опере И. С. «Похождения блудного сына».)

С годами тяга Одена к музыке становилась все сильнее; большой его радостью было соавторство с Честером Каллманом в составлении оперных либретто. Так же как Паунд, Оден был кладом учености, эрудиции, и был открыт культурам всех стран и наций, и считал такой космополитизм необходимым не только для каждого творца, но и всякого живого человека.

У Одена с Паундом было и одно поэтическое кредо: включить в поэзию повседневность, очистить поэзию от штампов, внести в нее конкретные, физически ощутимые образы, и стремиться к сжатости и совершенству формы. Достаточно привести строку Одена о значении мастерства в искусстве, чтобы понять его отношение к собственному поэтическому ремеслу.

— «Каждый раз правильно взятое верхнее "до" разбивает в прах теорию, что мы будто бы всего лишь безответственные марионетки, действующие по заклинанию судьбы».

И оба, конечно, были борцами против людской узости взглядов, обрушиваясь на безразличие, уныние и бездействие среднего класса, каждый — своей страны: Паунд — Америки, Оден — Англии.

И обоим в колыбель была положена щедрая горсть юмора — сверх даже той, с которой рождается каждый англосакс.

Одена можно действительно назвать поэтическим титаном нашей эпохи, выразителем ее боли и ее стремлений. Если он и не был открывателем новых земель в поэзии, каким был Эзра Паунд, то был он «блестящим их колонизатором», как говорит критик Тимоти Фут. Его видение мира и его образы яснее и четче очерчены, чем у Паунда, и он «доходчивее» своего великого предшественника. По мнению Одена, контакт с читателем — не-

пременное условие; если читатель поэта не понимает, поэт не достиг своей цели. Тут его глубокое расхождение с Паундом, который не стеснялся говорить выше головы читателя.

Но неизменно и сознательно, как и Эзра Паунд, и может быть еще настойчивее, Оден, как никто другой, пытался расширить область опозтезирования вещей, и в этом его первейшая заслуга. Он призывал идти в ногу с веком и не бояться достижений техники и интеллекта, в которых, по его мнению, была не меньшая красота, чем в соловьях и розах.

## ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО

Уистон Хью Оден родился в 1907 году г. Йорк, в Англии. В Оксфорде изучал биологию. В те же годы проявились его поэтические способности. К тридцатым годам относится его увлечение марксизмом; и тогда же он был центром в кругу молодых, революционно настроенных поэтов и писателей — Стивена Спендера, К. Дэй Люиса, Кристофера Ишервуда и Л. Мак-Ниса. В 1937 году он отправляется с Интернациональной бригадой в Испанию в качестве носилочного санитаря. Но конец 30-х годов знаменует собою разочарование Одена в марксизме. В 1939 году он переезжает в Соединенные Штаты и в 1946 году становится американским гражданином. К концу жизни он резко осуждает свои левые настроения и отражение этих настроений в своем творчестве.

«В конце концов, ни одно из моих стихотворений не спасло ни единого еврея от газовой камеры. С тех пор ко всяким политически обусловленным писаниям я отношусь весьма подозрительно». Зимы он проводил в населенной богемой части Нью-Йорка — Гринич Вилледж, летом уединялся на своей даче в предместьях Вены. Последний год жизни он провел на кампусе своего старого колледжа в Оксфорде.

Репутация Одена как поэта была создана книгами «Стихотворения» (1930 г.) и «Ораторы» (1932 г.).

Вторая книга, как бы пророчески в отношении личной судьбы его, открывается словами: «Что думаете вы об Англии — стране, где все больно?»

Обе эти книги вывели английскую поэзию того времени из состояния оцепенелости, из ностальгических вздохов по идеализированному прошлому — в мир современности, поставив читателя лицом к лицу с трудным настоящим.

Оден вместе с другими «послевоенными» (в период после Первой мировой войны) поэтами, вынес поэзию из царства теней на яркий Божий свет, и в этом его заслуга равна заслуге, в свое время, Уодсворта и Кольриджа. Язык английской поэзии, снова стал приобретать упругость, свежесть и новизну.

В тридцатые годы Оден увлекался драматургической формой. Он пишет несколько пьес, в которых стихи переплетаются с простой разговорной речью, наподобие пьес Брехта: «Пляска смерти»; «Собака под кожей» — сатира на средний класс Англии (в сотрудничестве с Ишервудом); «Подъем Ф-6» и «На новых границах». Музыка к этим пьесам написана Бенджамином Бриттеном. Переживания испанской гражданской войны отражены в «Испании» (1937 г.). «Письма из Исландии», написанные в сотрудничестве с Мак-Нисом, являются как бы маленьким праздничным антрактом среди страшных предчувствий и событий, предшествовавших Второй мировой войне. Последние полностью вылились в «Путешествии на войну», 1939 года (стихи — Одена, проза — Ишервуда); исходной точкой наблюдений явилось посещение Оден-ом Китая.

Произведения американского периода отмечены поисками Оденем новых верований, нового смысла жизни. Сороковые годы были в гораздо большей степени поворотным пунктом убеждений, чем сменой принадлежности к определенной стране. Первыми выпусками стихов в Америке были: в 1940 году — «Другое время» и в 1941 году — «Раздвоенный». Сами названия указывают на происходящие в душе поэта перемены. Поэт уходит не только от марксизма — он постепенно удаляется и от фрейдизма, сыгравшего огромную роль в его прежнем толковании мира. Уже в 1939 году он говорит: «Событий поэзия не вызывает. Но все события — в глубинах слова — она переживает» (Памяти Йитса).

Оден черпает новые силы из христианского учения и все больше углубляется в религию. Из этих его устремлений рождается в 1945 году «Рождественская оратория», заключающая в себе также размышления о взаимоотношениях искусства и общества — «Море и Зеркало».

Возможно, что самое значительное произведение написано Оденем в 1948 году, названное им «Веком страха и тревоги». Человек здесь представлен как изолированное существо, не имеющее духовной опоры. Местом встречи четырех персонажей этой поэмы является грязный нью-йоркский бар; каждый персонаж представляет собою частицу человеческой психики, оторванную от всех остальных частей; эти персонажи — мысль, чувство, интуиция и чувственное ощущение.

Обнаженность оденовской правдивости оттолкнула от него людей самых различных убеждений. И это метко определил американский поэт Рэндалл Джарелл: «Вместо того, чтобы, как раньше, говорить: "Надо против Гитлера предпринять какие-то действия!" — Оден стал говорить: "Пора понять, что мы сами и ЕСТЬ Гитлер"». За эту поэму, заключающую в себе это признание, Одену (первому из родившихся не в Америке поэтов) была присуждена премия Пулицера.

Важным выпуском был сборник стихов — «Ноны» в 1951 году, темы их были позднее развиты в «Щите Ахиллеса» (1955 г.), в «Дани Клио» (1960 г.) и «В домашнем кругу» (1965 г.), где все сильнее сказывается техническая виртуозность. Поэт здесь рассматривает контраст между стихийными силами и качествами, присущими человеку, и взаимодействие природы и истории. Но с каждой новой книгой все заметнее становится переход Одена от больших тем к малым, будничным деталям мира сего, вызывающим в воспринимателе их человеке улыбку радости и мудрости.

Среди поздней прозы Одена надо отметить «Романтическую иконографию моря» (1951 г.), лекции об отношении романтиков к человеку, к Богу и к природе; «Живые мысли Киркегора» (1952); «Созидание, Познание и Суждение» (1956 г.); и «Руку красильщика» (1962 г.), собрание лекций, эссе, размышлений и афоризмов.

Оденем написан текст средневековой музыкальной мистерии «Игра о Данииле» (1959 г.), и им сделана литературная обработка перевода дневника Дага Хаммершельда «Версты» (1964 г.); им же предпослано введение к этому дневнику.

Одена по праву называют певцом страха и тревоги, поэтом, выразившим боль нашего века, и, своей поэмой «Век страха и тревоги», определившим болезнь эпохи. Он сомневается, он раздвоен, более того — расщеплен на множество частей, и он открыто говорит об этом.

«Сомневаясь, боюсь, ощущаю свою ничтожность, и потому — человек», можно сказать за Одена. Но у каждой боли своя сила: возможность так много и по-разному чувствовать есть в то же время и особый дар, — вжива-

ние в другую сущность, способность смотреть на вещи другими глазами. И расщепленность, доведенную до такого перевоплощения, можно уже назвать многоликостью. Объединить эту многоликость единым смыслом — к этому стремился Оден, и этим объясняются его искания, от социальных — через психоаналитические — и до религиозных.

«В основе своей, — говорит его друг — поэт Стивен Спендер, — Оден ненавидел политику. Он всегда был индивидуалист, вступавший на общественную арену для защиты индивидуальных ценностей». Как и Паунд, Оден своим творчеством, и действиями говорил: «Вся жизнь — борьба за сохранение личности».

## ТЯГА К РУССКОСТИ

В заключение хочется отметить, что Оден, по крови чистейший англосакс, тянулся ко всему русскому. Он сотрудничал с Игорем Стравинским и входил в контакт с русскими поэтами. Весной 1966 года Оден переводил на английский язык стихи Андрея Вознесенского на его выступлениях в Америке. Его пленяла всякая русскость. Живя в Нью-Йорке, он встречался и с теми русскими, чьи имена не были окружены венцом славы. Русская душа таила для него богатые сокровища. Неудивительно, что и русские люди тянулись к Одену. Заслуживает внимания и благодарного уважения тот факт, что заупокойная служба в память Одена в кафедральном епископальном храме Св. Иоанна в Нью-Йорке была отслужена по инициативе Иосифа Бродского, вынужденного покинуть Советский Союз и поселившегося в Соединенных Штатах (первым шагом оказавшегося на Западе Бродского было посещение Одена на его даче в Кирхштеттене, в Австрии). На заупокойную службу собралось более 500 человек. Проповедь была заменена чтением из поэтического наследия Одена; в чтении участвовало семеро поэтов и вдова теолога Рейнхольда Нибура — Урсула Нибур. Богослужение окончилось хоралом на слова Одена (музыка Бриттена).

Если есть потусторонний мир и если в этом мире пишут стихи, можно быть уверенным, что благородный и душевный жест Бродского прозвучал там одним из лучших четверостиший Одена. В книгах оно не появится, но в наших душах мы его слышали. И, может быть, даже в этом четверостишии промелькнет искорка юмора, чтобы лишить его патетики и напыщенности... Блаженны улыбающиеся, ибо им улыбнутся в ответ.

Стихи и цитаты — в переводе Евгении Жиглевич.

## АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

### КУРОЧКА РЯБА

— Что это: хвост длинный, глаза горят, а яйца маленькие и грязные?

Очередь за яйцами.

*Из советского фольклора*

Нет сказки более загадочной, чем «Курочка ряба». Мы потому лишь не задумываемся над ее несуразностями, что знаем ее с малолетства, едва ли не с пеленок (впрочем, младенцев уже давно никто не пеленает). Почему не заколдованная, а самая обыкновенная курица снесла золотое яйцо? Как могло случиться, что дед и баба не побежали со столь редким сокровищем, словно от Фаберже, к царю или не попытались его продать, а начали бить по нему деревянной ложкой? То, что оно не поддавалось их



усилиям, понятно, но почему оно разбилось, когда его смахнула неведомо откуда взявшаяся на столе мышка? И что было внутри этого яйца: обыкновенное содержимое (белок и желток)? Собрать скорлупки (все-таки золото) тоже никому не пришло в голову, а тут еще курочка выступила с издевательским утешением и, надо полагать, успокоила своих хозяев.

Великие фольклористы никогда не обращались к «Курочке рябе». Ниже я попытаюсь исправить столь досадное упущение и отважусь поговорить со светилами филологической науки и суммировать их мысли.

#### Попытка первая: «Ты мое солнышко»

Долгое время не было в мире более популярного лингвиста и мифолога, чем немец Макс Мюллер (1823-1900), проживший почти всю жизнь в Оксфорде и писавший по-английски с несравненным изяществом. Он был знатоком санскрита, и о его теориях происхождения языка и мифов спорила образованная публика по обе стороны океана (Атлантического океана, разумеется). На его лондонские лекции в Королевской Академии собирался цвет научного мира. В Англии второй половины XIX века издавалось множество популярных журналов, и их интеллектуальный уровень был на удивление высок. Неутомимый Макс Мюллер, кажется, не пропустил ни одного из них; его обстоятельные пыльные статьи появлялись всюду. Много томное собрание его сочинений украшало сотни частных библиотек.

Читать Макса Мюллера интересно и сейчас. Беда в том, что его давно никто не читает. Он пережил свою феерическую славу и умер под сочувственные, но ироничные вздохи современников. Его теории происхождения языка и мифов подверглись бешеным нападкам, а потом всеобщему осмеянию. Современные филологи знают о нем понаслышке и никогда не открывают его книг, ибо по невежеству думают, что если тот или иной автор предложил ошибочную теорию, то и все у него неверно. Для них поверженный кумир не может быть богом. (Я все время употребляю полную форму *Макс Мюллер*, а не просто *Мюллер*, чтобы отличить его от бесчисленных однофамильцев и от его отца Вильгельма Мюллера (1794-1827), автора стихов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», широко известных благодаря циклам Шуберта. Полное имя сына было Фридрих Максимилиан; его иногда писали Фридрих Макс-Мюллер).

Макс Мюллер предположил, что дошедшие до нас из глубины истории сюжеты отражают мысли древних людей о движении солнца. Так возникло понятие солярного героя. Солнце медленно поднимается из-за горизонта, достигает апогея, встречается на своем пути тучи (а бывают и затмения) и снова уходит за горизонт. Герой сказки тоже покидает родные места, подвергается различным испытаниям (иногда даже гибнет и воскресает) и женится вдалеке от дома. Древний человек Макса Мюллера – абстракция, благородный дикарь вроде того, которого воспел Боратынский («Покуда природу любил он, она / Любвью ему отвечала»).

Оставалось загадкой, почему именно вокруг солнца строились мифы, героические предания и сказки (и действительно, существовала другая натурмифологическая теория, объяснявшая все сюжеты, исходя из наблюдений над луной), но многое получалось складно. Например, Красная Шапочка (которая оттого и красная, что якобы олицетворяет солнце) начинает свой путь, условно говоря, с востока, встречается волка (тучи: волк-то серый) и даже оказывается в его брюхе (затмение), но потом выходит на поверхность. Кое-что даже бесспорно. Например, в одной из самых знаменитых исландских саг описан персонаж, который был слаб утром, набирал силу к

полудню, а к вечеру снова ослабевал – классический солярный герой. И наконец, есть мифы о боге солнца, разьежающем по небу в колеснице и дающем некоторым смертным лучистые глаза (по таким глазам греки узнавали потомков Гелиоса, а у скандинавов сверкающий взгляд выдавал аристократическое происхождение). Но в целом солярная теория столь же безнадежна, как и любая другая, пытающаяся открыть все тайны прошлого одним ключом. В изданных Максом Мюллером «Священных книгах Востока» (51 том), в его лекциях и статьях я нигде не обнаружил даже самого маленького примечания о «Курочке рябе». А если бы он знал эту сказку, этот шедевр устного народного творчества, что бы он сказал о ней?

Цвет курочки сразу выдает ее солярное происхождение. Другими словами, курочка ряба – это солнце. В первоначальном варианте она была жар-птицей, но, спустившись в крестьянскую среду, слиняла. (Такое случается. В андерсеновском «Соловье» придворные, увидев скромную серую птичку с дивным голосом, тоже предположили, что она померкла при виде столь блестящего общества.) Способность нести золотые яйца – свидетельство курочкиного прошлого. Золотое яйцо, равно как и перо жар-птицы, – ослепительный луч. Его яркость не одолеть при помощи человеческих усилий («дед бил-бил, не разбил; баба била-била, не разбила»), но его может скрыть туча. Мыши, кроме тех, которые белые, серого цвета. Одна такая серая мышка пробежала (как набежала бы туча), и солнце исчезло. Люди в страхе («плачет дед, плачет баба»): вернется ли дневное светило? Опыт подсказывает, что вернется, хотя если вечер ненастен, то и утро будет хмурое («я снесу вам новое яичко, но не золотое, а простое»). Тут и сказке конец.

#### Попытка вторая: «Пережитки прошлого»

Макс Мюллер пал под ударами антропологической школы, тоже процветавшей в Англии. Самое известное имя в этой школе – Эндрю Лэнг. Англия того времени – колониальная империя, над которой никогда не заходило солнце (не макс-мюллеровское, а реальное). Она рассылала миссионеров во все концы земли, дабы вырвать языки, а то и совершенно голых туземцев из тьмы язычества. Везде сидела английская администрация, а за ней следовали этнографы, географы, естествоиспытатели, художники и прочие. Первобытное общество, вернее то, что было принято европейцами за таковое, обрело плоть. Ни австралийские аборигены, ни африканцы, ни тем более азиаты солнцем, как выяснилось, не интересовались, но фольклор в разной степени имели. Антропологи заключили, что мифы и сказки надо изучать в связи с историей народов. После солярных фантазий этот подход к фольклору был, как глоток свежего воздуха. Свежий воздух опьянил, но потом наступило отрезвление. Главное не детали, а сказка в целом, пружина, которая, раскручиваясь, двигает сюжет. Макса Мюллера не беспокоило то обстоятельство, что в мужской сказке на принцессе женится младший сын (обычно третий), а то, что он женится на чужой стороне, казалось ему естественным (солнце восходит на востоке, а заходит на западе). Для антропологов же именно такие события в жизни героя были особенно важны. Они заметили, что не всегда первородство гарантировало преимущественное право наследования. В некоторых обществах отцу наследует младший сын, и эту систему легко понять. Старшие сыновья уже отделились, дочери ушли в семьи мужей, а утешителем старости (с нынешней точки зрения весьма условной старости) оказывается младший. Ему и доставалась львиная доля хозяйства. Каждый легко вспомнит предания, в которых

отец больше всех любит последнего из своих детей, за что (как Иосифа) его ненавидят остальные.

Мифы и сказки, как учила антропологическая школа, донесли до нас в повествовательной форме пережитки старых обычаев. Видимо, торжество младшего сына, говорили ее сторонники, отражает определенную систему наследования. Увы, это остроумное решение – очередной карточный домик. Если в обществе господствует закон, по которому хозяйством отца будет владеть младший сын, то почему же он появляется перед нами в столь неприглядном виде? («Старший умный был детина / Средний сын и так, и сяк, / Младший вовсе был дурак»). Лентяй, по всеобщему мнению, тупица, предмет насмешек со стороны почтенных, уважаемых старших братьев и даже родителей, он еще и выпачкан в саже, потому что целый день сидит у печи. Кто придумал эти зловредные сказки? Уж, конечно, не младшие сыновья. Но ведь старшие сыновья и их родители тоже бы не изобразили законного наследника грязнулей и недотепой, да и не копался бы он с утра до вечера в золе. А главное, герой сказки в отцовский дом никогда не возвращается. Он получает полцарства в приданое, а после смерти тестя становится царем за тридевять земель.

Учеными антропологической школы был сделан вывод, что сказки сочинялись в переходный период и сохранили память о борьбе двух систем наследования. Это очевидный вздор. Не могли все сказки приобрести свой нынешний вид в переходную эпоху. И если была борьба, то где сказки, в которых побеждают старшие братья? Сходным образом истолковывали английские антропологи и женитьбу героя на иноземке (борьба разных систем брака: в соответствии с одной, невесту надо искать в своем племени, а в соответствии с другой, – на стороне). Все непонятное, включая сюжет, в котором овдовевший отец хочет жениться на собственной дочери, а та решительно отвергает его поползновения, оказывалось эхом промежуточных, переходных эпох. Но несмотря на недостоверность этих заключений, работа антропологической школы не пропала даром, так как было бы в высшей степени неразумно отрицать, что мифы, героическая поэзия и сказки рассказывают нечто важное о жизни и реальных отношениях людей. Вопрос в том, что именно, и эта неопределенность позволяет нам без страха двигаться дальше.

Подобно ошельмованному ими Макс Мюллеру, Эндрю Лэнг и его единомышленники «Куручки рябы» не знали, так как русским языком не владели. А между тем эта сказка подтвердила бы верность их взглядов. Одомашнение дикой курицы относится к глубокой древности. (Сомневающимся рекомендую посмотреть *одомашнение* в словаре Ушакова.) Процесс растянулся на тысячелетия, потому что люди тогда умирали быстро и рано, а все события развивались медленно. Наша сказка тоже давняя, что прежде всего видно по слову *ряба*. Такие формы прилагательных в современном языке всегда пережиточные и встречаются только в застывших выражениях типа *на босу ногу*, *не по хорошу мил, а по милу хорош*, *от мала до велика*, а также в наречиях вроде *малопомалу*. Было замечено, что раскраска перьев птицы иногда соответствует тону яичной скорлупы, и наблюдательность соединила коричневую скорлупу и рябую курицу. Куры вошли в быт задолго до того, как золото стало универсальным мерилем ценности, но когда это произошло, то и в сказке единичное коричневое яйцо назвали золотым. Яйца многих птиц отличаются необычайно крепкой скорлупой (птенцы не всегда могут вылезти наружу без помощи наседки). Даже людям разбить такие яйца было порой нелегко. Каменным топором делали обрешетку, но бить им яйца не решались, боясь повредить

столь нежный, хотя и неподатливый продукт. Эпизод с мышкой показывает, что случилось с яйцами, когда их в раздражении бросали об пол. По мере того, как шло время, прирученные куры стали нестись регулярно (а не только раз или два в год), их яйца побелели (коричневые яйца реликты), и оболочка утратила твердость. В этом и смысл обещания курицы: «Ждите много нормальных яиц, и они будут не на вес золота». Сказка была сочинена в переходный период одомашнения кур, но, видимо, до того, как научились делать яичницу. В истории птицеводства, а не в соляной курице надо искать ключ к «Куручке рябе».

### Попытка третья: «Курица не птица»

Эрудированы и находчивы были Макс Мюллер и Эндрю Лэнг, но простоваты, так как не подозревали, что существует подсознание. Для них курица – это курица, а яйцо – просто яйцо. Нельзя без улыбки читать их рассуждения. Поистине простота хуже воровства. На авансцену выходят Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, придававшие огромное значение снам и символике, а в остальном частно несхожие. Леча неврозы, Фрейд раскрыл роль сексуального момента. Юнг ввел в обиход архетипы, покоящиеся в глубинах коллективного подсознания. Мы теперь знаем, что цвет шапочки, которую носит героиня сказки, свидетельствует о начале половой зрелости (неважно, что шапочка на голове). Но к регулярным сношениям с мужчиной она еще не готова, как видно из эпизода с волком. Дровосек, убивший волка, – это на самом деле отец. Девочке не чужд эдипов комплекс. Именно бабушка символизирует в сказке фигуру матери, и Красная Шапочка сознательно посылает волка в избушку, чтобы избавиться от соперницы и выйти замуж за отца (не путать с сюжетом, в котором отец хочет жениться на своей дочери, о чем см. выше). Но болезни роста преодолены. Бабушка-мама спасена, дровосек-папа, сделав доброе дело, исчезает, а девочка, пережив травму, теперь постережется верить первому попавшемуся мужчине (в лесу, надо полагать, есть и другие голодные волки).

Ничего этого мы раньше не понимали, как и не догадывались, что во всех длинных и твердых предметах угадывается фаллос, а в предметах с круглыми очертаниями – женский половой орган. Например, читаешь, что Джек, герой известнейшей английской сказки, выменял корову, единственное достояние матери, на два боба (как и Красная Шапочка, Джек не имеет отца) и шел, потирая их. Неученый человек здесь ничего интересного не заметит, а фрейдист объясняет, что бобы у мальчика... ну, какие у мальчика бобы, и зачем их тереть? Проясняется и дальнейшее. Посаженный в землю боб, стал стремительно расти. А что у мальчика растет, если потереть бобы? И выросло бобовое дерево до самого неба. По нему, как ни странно, Джек влез наверх, а там (это можно было предположить) обнаружил женщину, великаншу, которая спрятала его в печке (или в духовке), но это только так говорится, что в печке: духовка-то большая и круглая. В это время явился домой великан, выполняющий в сказке заместительную роль отца мальчика. Как и в Красной Шапочке, в Джеке разыгрался эдипов комплекс (не забудем, где он находится), и великана он убил. Потом он спустился вниз, обласканный и обогащенный, прихватив по дороге самоиграющую арфу, которая вовсе и не арфа, а то, на чем мальчики играют за неимением другого способа получить удовольствие.

Обе интерпретации («Красной Шапочки» и английской сказки «Джек и бобовое дерево») я заимствовал из научных трудов, не заменив в них ни одного слова, а только сократив. Доказать или опровергнуть их аргументацию невозможно, поскольку речь идет о подсознании, области

недоступной прямому наблюдению и проявляющемуся в символах, снах, оговорках и т.п. Кроме эдипова комплекса, людей, оказывается, мучает страх кастрации. Его метка – погружение. Например, Беовульф, герой древнеанглийского эпоса, спустился на дно моря, чтобы сразиться с чудовищем, матерью Гренделя. Готовясь к бою с такой особой, Беовульф не мог не думать о том, что она с ним сделает, тем более что сыну он незадолго до того оторвал руку по плечо, и еще неизвестно, точно ли это была рука. В пещере мать Гренделя его и вправду чуть не зарезала, хотя ее кинжал или меч вроде бы не был направлен в пах.

В отличие от натурмифологических и всех прочих теорий фрейдизм в литературе чрезвычайно популярен до сих пор. Но и ученые этой ориентации упустили «Курочку рябу», и работу за них придется делать мне. К сожалению, в сказочке все слишком на поверхности даже для начинающего фрейдиста, но тут уж ничего не поделаешь. Курочка ряба, вне всякого сомнения, – женский половой орган (цвет перьев роли не играет: *ряба* просто рифмуется с *баба*). Сами дед да баба – муж и жена, причем молодые (иначе упоминались бы дети), и мы застаем их в брачную ночь. Эта ночь занимает видное место в мировой литературе и сопряжена со многими опасностями.

Мотив дефлорации проходит через весь европейский фольклор. Из «Курочки рябы» мы выясняем, что дед бил, бил, не разбил. Обычно такая неудача происходит, если невеста – ведьма, порождение троллей или дева-воительница, которая должна убедиться, что претендент способен справиться с ней. Но в данном случае невеста – простая «баба», помогающая своему «деду». Наиболее вероятно, что на каком-то этапе истинный смысл сказки был забыт и поверили, что курочка – это в самом деле курочка, а яйцо – это и есть яйцо (чистейший абсурд: где же куры несут золотые яйца?). Первоначальный текст, видимо, гласил: «Дед бился-бился, не добился; баба билась-билась, не добилась». Но последнее, почти безнадежное усилие, когда мужской орган стал похож на хвост («мышка пробежала, хвостиком махнула...»), и все кончено. Усталые, униженные, плачут наши герои, а «курочка» им и говорит, что плакать нечего: со следующего дня начнется у них нормальная жизнь, не хуже, чем у других молодоженов. Главное в литературном анализе – не верить своим глазам, а искать шифр.

Не исключено также, что «Курочка ряба» – это сон подростка, отражающий страх самокастрации, так как первым бьет по золотому яйцу (яичку) сам дед. За этим следует страх кастрации, совершаемый женщиной («баба била-била»), причем кошмар реализуется, хотя и смутно (мышка – это поллюция), с тем, чтобы принести пробуждение с его неприятными последствиями («яичко упало и разбилось») и спокойный сон до утра. Но возможно, что либо курочка, либо золотое яйцо – коллективный архетип божества, а простое яйцо – архетип изгнания из рая (и плакать не о чем; поздно: разбилось яичко). Все возможно, но то и теория.

#### Попытка четвертая и последняя: «Курочка по зернышку клюет...»

Забудем о Максe Мюллере, прекрасном мельнике, раз уж все забыли его мельницу. Забудем и пережитки: не в них суть. Забывать половую жизнь не хочется. Но неужели и впрямь все на свете от Адмиралтейской иглы до зонтика – торжествующий фаллос и любая корзина и печка – его цель? К счастью, есть на свете учение, которое всесильно, потому что оно верно. Это учение – марксизм, имеющий три составных части и столько же источников. Не осталось в гуманитарных науках даже самого маленького уголка, куда не проник свет марксова учения. Пропустили только «Курочку рябу». Опять про-

пустили! Не двужилен же я, чтобы работать за всех, но придется.

Прежде всего обратим внимание на диалектическую игру курицы и яйца, а еще – яйца золотого и простого (единство противоположностей). Золотое яйцо не могло быть первым, снесенным курочкой, так как явилось для деда с бабой неожиданностью (они не знали, что с ним делать). Значит, перед нами три яйца: простое (неупомянутое, но подразумеваемое), золотое и снова простое – отрицание отрицания. Теперь рассмотрим «Курочку рябу» с точки зрения материализма исторического, то есть применим к ней классовый подход. Судя по тексту, дед да баба – представители беднейшего крестьянства, безлошадники: все их хозяйство – одна, да и то рябая, курица. Но «идиотизм деревенской жизни» (Маркс) мешает нам найти союзников в лице пролетариата, единственного последовательно революционного класса (ах, эти звонкие, обкатанные фразы, сами слетающие с языка!). Все же «Курочка ряба» свидетельствует о частичной утрате иллюзий дедом-бабой. «Бедняку из нужды не выйти» (Ленин). Напрасными оказались их надежды разбогатеть в эксплуататорском обществе. Курочка, этот символ буржуазии, поманила их золотым яйцом, но его не разбить. Достаточно мышки, чтобы действительность стала ясна им. Завтра дед-да-бабу ждет то же убогое «простое яичко» (одно на двоих), что и вчера. У них нет выбора: надо перестать верить в кур и гусей, несущих золотые яйца.

Фольклор реакционен по существу. Он отражает чаяния патриархального крестьянства, мечту самого отсталого члена общества стать царем. Эта среда служит питомником монархических симпатий, а сказка уводит трудящихся от борьбы за лучшее будущее. Глубоко права была Н.К. Крупская. Руководимая классовым чутьем, она запретила издавать, читать и изучать сказки. На сходных позициях стоял и основатель социалистического реализма А.М. Горький, который, однако, признавал воспитательное значение фольклора. Русская сказка отдала дань сюжету, в котором Иванушка-дурачок женится на принцессе, а Емеля едет во дворец прямо на печи, давая по дороге людям, но приятно думать, что народные массы России раньше, чем на Западе, осознали бесплодность Иванушковых мечтаний и в сжатой форме создали эпос о курочке рябе. Разбиты золотые яйца. Да здравствует союз пролетариата и беднейшего крестьянства! Да здравствует курочка ряба!

#### Эпилог: «Выеденное яйцо»

Спустимся с высот теории на грешную землю. О чем же сказочка, с которой начинается литературное детство любого русскоязычного ребенка? Что такое «Курочка ряба»? Шутка? Нет, в повествовании не чувствуется юмора. Рассказчик совершенно серьезен. А может быть, рассказчика? Не пропустили ли мы феминистский («гендерный») подход? Или превращение золотого яйца в простое – намек на инициацию? Четырех попыток интерпретации явно мало. Ходят вокруг моей хохлатки великие тени: Макс Мюллер, Эндриу Лэнг, Зигмунд Фрейд... В хороводе есть место и Лакану, и Деррида, и прочим еще даже не родившимся гениям. Над ними высится тотемный столб с изображением курочки рябы. А мы гадаем: в чем же смысл сказки? Как в чем? «Жили-были дед да баба, и была у них курочка ряба...» и снесла им курочка яичко, но не простое, а золотое. Сколько это яичко ни бей, сколько над сказочкой ни бейся, никто из золотого яйца не выплывет. Уж если дед да баба не справились, то нам и говорить не о чем. Смысл сказки в ней самой: вот ведь какие случаются истории...

АГИТПЬЕСА ЮРИЯ ОЛЕШИ «СЛОВО И ДЕЛО»  
АРХИВНАЯ НАХОДКА

(Сокращённый текст доклада, прочитанного автором на ежегодной конференции Американской Ассоциации преподавателей славистики и восточноевропейских языков в Вашингтоне в 2005 году)

После разоблачения культа личности Сталина Олеша в своих дневниках называл авторов агитационных произведений «ретивыми агитпропщиками», однако сам отдал немалую дань социальным заказам (т.н. «соцзаказам»): в 1919 году в Одессе (работал в Одесском отделении Российского телеграфного агентства), в 1921-1922 в Харькове (в Юг РОСТе – Южном отделении того же Российского телеграфного агентства), а в последующих 20-х и 30-х годах в Москве, сотрудничество в агитационно-массовых сатирических журналах «Заноза», «Крокодил», «Смехач», «Чудак», в железнодорожной газете «Гудок»...

Наименее исследован харьковский период творчества Олеша, который длился приблизительно полтора года с июля (?) 1921 по октябрь 1922 года. В Харьков Олеша приехал из Одессы с В. Катаевым работать в Юг РОСТе для «укрепления пропагандистского сектора», как написал В. Катаев в известной мемуарной книге «Алмазный мой венец». До сих пор исследователям творчества Юрия Олеша была известна только одна его агитпьеса, созданная в этот период. В харьковском журнале «Коммунарка Украины» (1922, № 2, с.54-56) была опубликована сценка-агитка «Разборчивая невеста».

Между тем, литературовед Виолетта Гудкова (известная как составитель «Книги прощания» Ю. Олеша, вышедшей в 1999 г. к 100-летию со дня рождения писателя) опубликовала в московском журнале «НЛО» («Новое литературное обозрение», 2004, № 68) статью «Как официоз «работал» с писателем: эволюция самоописаний Юрия Олеша». В процессе работы над этой статьёй, Гудкова занималась разысканиями в архиве РГАЛИ, где обнаружила автограф одной из поздних автобиографий Олеша. В ней писатель вспоминал о своей работе в Харькове, в частности, следующее: «<...> писал я также пьесы, маленькие книжечки агитационного характера, для разных, возникающих в те времена компаний» (РГАЛИ. Фонд 358. Оп.2. Ед.хр.510, л.4). Комментируя этот фрагмент, Гудкова делает предположение, что кроме одной известной сценки «Разборчивая невеста», таких миниатюр, возможно, было больше.

Естественным было желание познакомиться в Украине с литературными материалами Олеша, относящимися к харьковскому периоду его творчества. Действительно, они обнаружили в Книжной палате Украины, которая до 60-х годов находилась в бывшей столице Украины г. Харькове, а ныне пребывает в Киеве.

В архиве Книжной палаты Украины мне удалось обнаружить агитпьесу Юрия Олеша, написанную для массовой «Серии Агит-Прод-Налога и борьбы с голодом»: это слепая машинописная копия *неопубликованной пьесы «Слово и дело»* на русском языке. На титульной странице машинописи значится: Харьков, 1922. В каталожной карточке дано описание рукописи: 26 с. (22,5 x 18 см), шифр 22 – 17 87. Первопечатать этой пьесы осуществлена мной в журнале «Зеркало» (Миннеаполис и Сент-Пол) в 2005 г., в № 167 (апрель), с.4-7 (начало); в № 168 (май), с. 26-28 (окончание).

В пьесе Ю. Олеша «Слово и дело» перед нами оппозиция «старого» и «нового» («старой интеллигенции», нэпманов и пролетариата), которая красной нитью проходит

через всю публицистику и художественную литературу 20-30-х годов. Как явствует из названия пьесы, писатель ратует за единство слов и дел. Он высмеивает тех, кто тонет в бесконечных бюрократических словопрениях и пустой болтовне, кто «мастера говорить, дурака делать». Когда читаешь пьесу Олеша, возникает ассоциация с остросатирическим стихотворением Вл. Маяковского «Прозаседавшиеся», также написанным в 1922 году. Однако за бесконечные пустые заседания ради самих заседаний Маяковский клеймит реальных государственных чиновников-бюрократов из большевистских учреждений, а Олеша ищет виновных в любви к заседаниям среди совсем иных социальных типажей, каждый из которых ведёт себя, как бюрократ. Это Купец-Лавочник («красный нэпман»), Поп (заметим, именно не священник, а Поп, подобный блоковскому из поэмы «Двенадцать»: «Что нынче невесёлый, Товарищ поп? / Помнишь, как бывало, Брюхом шёл вперёд, / И крестом сияло / Брюхо на народ?»), а также Учёный, Актёр, Три Спеца (так называли в 20-х техническую интеллигенцию), Барышня, Молодой человек (не комсомольцы, а представители праздной богатой и богемной молодёжи) – все вместе они являются членами некоей, насквозь выдуманной Олешей, «Комиссии различных общественных групп». Перед ними скромное по масштабу дело – необходимость накормить двух детей, пришедших из голодающей Саратовской губернии. Вот эту задачу «Комиссия» превращает в длительные пустые дебаты, изображая которые Олеша прибегает к юмору положений, патетике, абсурду. Каждый член комиссии предлагает лишь отсрочку решения, переваливая ответственность на других (прежде всего Нэпман). Звучат предложения: от организации молебна с крестным ходом и выносом чудотворной иконы (Поп) до танцевальных маскарадов и концертов в пользу голодающих детей (Актёр, Барышня, Молодой человек), а ещё «лучше», образовать новые комиссии с подкомиссиями, увеличить их сначала до числа четырёх, а потом и до бесконечности... А ещё распределить работу в этих комиссиях, поделив их на секции и подсекции... (Учёный, Три Спеца).

Олеша находит комические и гротескные краски для каждого из перечисленных персонажей. Вот некоторые из этих выразительных деталей:

**Купец-нэпман** охарактеризован так: «брюхо в три пуда, голова – семи пядей, кошелёк без дна». Он заявляет, что им, купцам, вообще некогда: «У нас дела всё по новой экономической политике... Мы, значит, частный капитал, теперича в почёт выходим, поэтому должны фабрики оборудовать... Красные купцы, можно сказать...».

**Учёный-теоретик**, «уважаемое светило науки», рассматривает голодного мальчика через лупу, «как ботаник насекомое», просит показать язык и спрашивает деревенского ребёнка: «Ты по латыни понимаешь?» А тот в ответ: «Саратовские мы».

**Барышня** (насквозь чувствительная) заявляет: «Я хочу, чтобы и мой голос сливался с голосом страдающих Поволжья». «Я умираю от жалости!» и видит свою помощь в том, чтобы «все свои сбережения» тратить «на покупку новых платьев и туфель для танцев на благотворительных вечерах», «на покупку шоколада в буфетах» на этих же вечерах. Молодой человек согласен «по десять раз в неделю танцевать всю ночь напролёт» в пользу голодающих.

**Актёр** с той же целью готов петь на благотворительном концерте, но... отнюдь не бескорыстно. Лишь в том случае, если ему предоставят машину, 12 бесплатных мест в партере для его знакомых и гонорар «натурой»: в виде трех фунтов сахару-песку, пяти фунтов пищённой крупы, четверть табаку Асмолова, десяти фунтов хлеба

и... коробки ваксы. Причём, Актёр требует всё это выдать пред началом концерта, иначе петь он не будет. Действительно, из-за отсутствия того времени (голод, инфляция) подобной «валютой» расплачивались с людьми творческих профессий. Это едва ли не единственная подлинно жизненная и одновременно трагикомическая подробность эпохи, запечатлённая в пьесе Олеши.

Аналог можно увидеть в недавно вышедшем первом томе переписки двух друзей-композиторов Рейнгольда Глиэра и Бориса Лятошинского. Глиэр в начале 1920-х гг. работал по инструментовке опер Лысенко для одного из киевских издательств – и вот он рассказывает в письме другу, как с ним тогда расплатились: «*Были сделаны, если Вы помните, «Наталка Полтавка» (за 4 пуда махорки), «Черноморцы» (за 3 пуда мыла)*» и продолжает: – *Сейчас так падают деньги, что просто невыгодно получать их... Если бы киевское издательство «Днепрсоюз» расплачивалось бы махоркой или мылом, я бы охотно пошёл бы на такую комбинацию».*

Олеша, изобразив в своей агитпьесе типажи-обобщения: жадного (Нэпманы); интеллигентов, неспособных на бескорыстие (Актёр), отчуждённых от реальности (Учёный), погружённых в религиозную мифологию (Священник), несамостоятельных и зависимых от начальства (Спецы), легкомысленных и недалёких (Барышня и Молодой человек), показал их всех, абсолютно каждого из них самодовольным, тщеславным, сверхэгоистичным и чёрствым. Ведь их дебаты происходят рядом с плачущими от голода маленькими детьми-сиротами, к беде которых они, по сути. Остаются глубоко равнодушными. Никакая мысль «о слезинке ребёнка» даже не теплится в их сознании. На наших глазах Олеша переводит течение пьесы из социального русла в нравственно-психологическое.

Есть в «Слове и деле» и ещё один очень любопытный и совершенно неожиданный именно для агитпьесы персонаж, названный автором в списке действующих лиц **Тёмная личность**. Это лицемер, подстрекатель ораторов-демагогов. Именно **Тёмная личность режиссирует** заседание «Комиссии различных общественных групп», определяет последовательность выступлений, даёт каждому слово, устраивая *показательный спектакль* самораскрытия редкостных эгоистов. **Тёмная личность** всячески разжигает костёр коллективного пустословия, злобно им наслаждаясь. В его действиях таится что-то сатанинское, нечистое, хищное. С голодными детьми он разговаривает. Замечает в ремарке Олеша, «*с ласково-стью сказочно-го волка*». Намёк на некую чертовщину, таящуюся в этом странном персонаже «в сереньком пальтишке на фоне голубого неба», содержится в тексте пьесы Олеша: «**Тёмная личность** (к детям): *Ну что напустились? Перепугались? Да разве я страшный? Ни рогов, ни хвоста! Всё как есть. Борода бородой, очки круглые...*» «*А сам кружится, юлит, как чёрт*», – читаем в авторской ремарке.

Характерно, что обращение к образу рока, чёрта, некоей inferнальной силы было свойственно молодым советским писателям-попутчиков 20-х годов.

Фантастика подобного рода встречалась у М. Булгакова («Роковые яйца», «Дьяволиада»), у В. Катаева («Сэр Генри и чёрт»), у В. Каверина («Мастера и подмастерья»)... Между тем представляется, что в одноактной пьесе Олеша «Слово и дело» можно увидеть некий прообраз, эскиз, подмалёвок к знаменитой сцене в Московском варьете в более позднем романе М. Булгакова (1929-1940) «Мастер и Маргарита». И хотя у Олеша **Тёмная личность** – это не могущественный сатана **Воланд**, наделённый демонической силой и властью, а только мелкий чёрт, этот чёрт тоже устраивает свой

спектакль (заседание Комиссии общественных групп), чтобы увидеть нравственное состояние российского общества через пять лет, прошедших после Октябрьского переворота.

**Воланд**, как известно, вместе со своей свитой испытывает с той же целью москвичей в жестокости и милосердии через срок вдвое больший. Он приходит к выводу: «*Они люди как люди... Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... Ну что же... и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди... в общем напоминают прежних*».

В пьесе Олеша (и здесь пропасть между двумя писателями) отсутствует такой примиряющий всё «нароdonаселение», общегуманный вывод. Олеша, который должен – по законам агитпьесы – предложить зрителю положительный образец (идеал) личности находит его в... партийном вожде. «Истина» произносится устами ребёнка. Когда в «Слове и деле», буквально под занавес, появились два новых (совершенно картонных) персонажа – Рабочий и Работница, на сцене – после всего предыдущего – неожиданно для читателя. Ибо никак неподготовлено) происходит такой вот диалог:

**Мальчик:** А мы до Ленина хотели...

**Работница:** До Ленина? Зачем до Ленина?

**Мальчик:** Всю беду рассказать... Хлеба просить.

Работница и Рабочий тут же немедленно забирают в свои семьи по голодающему ребёнку. Уходя со сцены, **Рабочий** с пафосом произносит лозунг, вовсе не вытекающий из содержания пьесы: «Да здравствует дружный труд для помощи голодающим!».

Так выглядел **классовый** подход Олеша к якобы решаемой в пьесе проблеме. Вот оказывается в чьи сердца стучится милосердие! Только в сердца пролетариев и их вожда! Чёрствая корка господствующей марксистской догмы, наскоро пришитая Олешей белыми нитками к тексту пьесы, не утешала и не убеждала. Напомним, что утопические иллюзии насчёт пролетариев, которых тилился изобразить Олеша, тот же Булгаков вскоре блестяще развенчал в своей остро гротескной повести «Собачье сердце» (1925, опуб. в 1987).

Среди действующих лиц «Слова и дела» заявлен ещё один персонаж «**Глухая бабка**», но таковая в тексте отсутствует. Это, видимо, случайно сохранившийся в машинописи след авторской работы над предыдущим вариантом пьесы.

В насквозь неправдоподобной фантастической пьесе Юрия Олеша «Слово и дело» нечего было искать даже намёка на жестокую действительность голодных лет в России. Насколько его агитпьеса была далека от адекватного отражения того, что было в реальности, можно судить, обратившись к исторической правде тех далёких лет.

Тягчайший голод царил в России в 1921-1922 годах. Голодом, как написал Энциклопедический словарь (соответствующий том издан в Москве уже в 1930 году), было охвачено 35 губерний, голодало 40 миллионов. Смертность повысилась в 3-4 %. Погибло от голода около 5 миллионов человек. Конечно, автор той энциклопедической справки Мстиславский объяснял «чрезвычайную тяжесть бедствия» как «тяжёлый дар царского режима», хотя истинную причину голода надо было искать в развале российской экономики большевистской властью в результате контрреволюционного переворота 1917 года и гражданской войны.

С голодом в России не агитпьесами, а на деле пыталась бороться православная церковь. Ещё в августе 1921 церковь создала епархиальные и всероссийские комитеты для помощи голодающим, начали сбор денег. «Но допустить *прямую* помощь от церкви к голодающему в рот

значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну. Патриарх (Тихон) обращался за помощью и к папе Римскому и к архиепископу Кентоберийскому, - но и тут оборвали его, разъяснив, что вести переговоры с иностранцами уполномочена только советская власть. Да и не из чего раздувать тревогу: писали газеты, что власть имеет все средства справиться с голодом и сама» (Солженицын А., Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. I-II. YMCA-PRESS. - с.348).

Была ещё организация «Помгол» (Государственный комитет помощи голодающим), созданная т.н. «старой интеллигенцией». В состав «Помгола» входили социал-демократы, марксисты-экономисты, т.н. «трудовики»... «Помгол» был лояльной организацией, сотрудничал с советской властью, но - в тоже время - представлял ряд требований к власти (административных, хозяйственных и т.д.). «Помгольцы» хотели, чтобы советское правительство не мешало их деятельности. Помогало им и - одновременно - оставляло их независимыми. Увы, этих интеллигентов ждала совсем иная судьба. Вот что о гибели этой организации в книге «Архипелаг ГУЛАГ» написал Александр Солженицын:

«Летом 1921 года был арестован Общественный Комитет Содействия Голодающим (Кускова, Прокопович, Кишкин и др.), пытавшийся остановить надвижение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были не те руки, которым можно было бы разрешить кормить голодных. Пошаженный председатель этого Комитета умиравший Короленко назвал разгром комитета - «худшим из политиканств, правительственным политиканством» (письмо Горькому 14. 9. 21)». (В кн.: Солженицын А. Там же - с. 46).

Советское правительство уничтожило «Промгол». В 1922 году Кускову и Прокоповича выслали за границу, многие члены организации были репрессированы.

Отвергнув помощь не тех соотечественников, Ленин вынужден был в июне 1921 года рекомендовать советскому Красному Кресту обратиться в Женеву с просьбой о международной помощи голодающим Поволжья, ведь только в этом районе России голодающих в тот момент насчитывалось более 20 миллионов. Спасали от голода тогда Россию всем миром: Международный Красный Крест создал в Москве временный Международный комитет помощи голодающим Поволжья по инициативе знаменитого норвежского учёного-полярника и дипломата Фритьофа Нансена, организовавшего знаменитую «Миссию Нансена», через которую в Россию поступило 82 тыс. тонн продовольствия и около 640 тонн медикаментов.

Приведённые факты красноречиво свидетельствуют о том, что в первую очередь не пролетариат, а именно духовенство, «старая интеллигенция», которая вызывала неизменное недоверие, неприязнь и презрение у большевиков, была в числе самых активных членов общества, которые сначала старались предотвратить, а потом реально помочь борьбе с голодом в России. Причём это была интеллигенция не только отечественная, но и зарубежная.

Сознательное отсутствие откликов на эти серьёзные обстоятельства в агитпьесе «Слово и дело» тем обиднее, что Олеша знал о голоде не понаслышке. Голодали жители страны Советов в ту пору не только в Поволжье. Голодно было от Харькова до Крыма. Тем летом, - писал Катаев в повести «Алмазный мой венец», - они с Олешей в столовой по талонам «получали на весь день полфунта чёрного хлеба... утром кружку кипятка с морковной заваркой и пять совсем маленьких леденцов, в обед какую-то затирку и горку ячной каши с четвертушкой круто-

го яйца, заправленной зелёным машинным маслом». Так питались вместе с молодыми агитаторами народные комиссары и члены ВУЦИКа. Но столовая закрылась на ремонт на две недели, и Олеше с Катаевым пришлось совсем туго. Катаев вспоминает, как они с Олешей однажды «вошли в кабинет заведующего республиканским отделом агитации и пропаганды Наркомпроса... мы шли по хорошо натёртому паркету босые. Мало того. На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с чёрным клеймом автобазы... было такое время: разруха, холод. Отсутствие товаров, почти библейский поволжский голод... Сейчас трудно представить себе всю безысходность нашего положения в чужом городе..., принуждённых продать на базаре ботинки, чтобы не умереть с голоду» (Катаев В. Алмазный мой венец. - М.: Вагриус, 1999, с.83, 84).

Ради обретения средств к существованию О. Олеша в ту пору стал работать в харьковском кавказском ресторане «Верден» на Сумской улице как конферансье, исполнитель «Буримэ» и даже ... отгадчик мыслей (Автограф Ю. Олеша. Альбом Кручёных № 2. - С.32 //РГАЛИ, фонд 358).

Агитпьеса «Слово и дело» не была опубликована, а значит и невостребована. Думается, что цензоры руководствовались не отсутствием в пьесе реальной жизни. Наверяд ли их смуглила фиктивная картина, изображённая писателем. Хотя, как знать, такая фигура, как Тёмная личность, могла вполне оказаться и непонятной, и идеологически чуждой цензорам-атеистам... Скорее же всего одной из причин отказа от публикации пьесы явилось то обстоятельство, что Олеша был дворянином по происхождению, сыном польских эмигрантов (его родители именно во время работы Олеша в Харькове получили разрешение на эмиграцию в Польшу. Олеша решительно отказался ехать с ними в город Гродно). Возможно, сыграло также роль то обстоятельство, что предыдущая агитпьеса Олеша «Сапожки панские - мешки пролетарские» (Харьков, 1921) была отправлена в спецхран и её автор больше не внушал доверия.

Однако подлинный писательский инстинкт, до конца ещё не искажённый и не убитый в 20-ые годы, побуждает Ю. Олешу обратиться к правде жизни не в жанре агитпьесы, а в художественной прозе. Так под его пером рождается в том же 1922 году талантливый рассказ «Ангел» на тему гражданской войны, который был напечатан в харьковской газете «Пролетарий», но разговор об этом рассказе - тема другого литературоведческого исследования.

Осип Мандельштам в «Четвёртой прозе», так и не увидевшей света при жизни поэта, яростно и бескомпромиссно писал о себе: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешённые (к ним, несомненно, относится весь агитпроп - И.П.) и написанные без разрешения. Первые - это мразь, вторые - ворованный воздух». Писателей, которые пишут заведомо разрешённые вещи, Мандельштам ненавидел, готов был плевать им в лицо, бить палкой по голове и даже готов был запретить им вступать в брак и иметь детей, потому что считал их «запроданными».

Эти яркие, но крайне резкие высказывания поэта, продиктованные праведным гневом, всё же нуждаются в переводе с языка эмоций на рассудочный язык трезвых рассуждений и доводов. Таковыми являются выводы американского философа и историка Ханни Арендт, автора известного труда «Источники тоталитаризма» (Киев, Дух и литера», 2002). В этой книге, Арендт написала что «Тирания начинается с подчинения разума идеологиче-



ской заданности. Этим подчинением человек предаёт свою внутреннюю свободу» (с. 527).

Далее Арендт подчёркивала: «Идеальный подчинённый тоталитарному режиму – это <...> человек, для которого больше не существует разницы между фактом и фикцией (то есть реальностью опыта), и меж истиной и неправдой (то есть нормами мышления)» (Там же).

В начале 20-х годов, когда Олеша писал свою пьесу, тоталитаризм в России ещё не возобладали, но тенденции приближения тоталитаризма уже просматривались. Уже начались гонения на священников и верующих (Московский и Петроградский церковные процессы 1922 года), началось преследование представителей членов не большевистской партии (Процесс эсеров 1922 года), не за горами было время, когда, по слову Солженицына, «начнут ломать хребет инженерии» (громкое Шахтинское Дело 1922 года и др.) «...Всё больше выступает в набросках 1922 года – вся панорама 37-го, 45-го, 49-го». (Солженицын, Указанное соч., с.368).

Сознание авторов, искренне пытающихся соединить художественное творчество с выполнением соцзаказов, «разрешённые произведения с написанными без разрешения», незаметно для них самих искажается, так как жить в двоемирии – это значит *предавать свою внутреннюю свободу*, готовить себя к принятию зреющего тоталитарного режима. Будущая драма Юрия Олеши зарождалась.

ЭДУАРД ШТЕЙН

## НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Исследователи творчества поэта-акмеиста утверждают, что при жизни им было выпущено в свет 10 сборников стихов. Цифра занижена – книжек было на одну больше, причем, последний сборничек своих стихов Георгий Иванов «издал» совместно с Ириной Одоевцевой. Кавычки на предыдущей строчке уместны, поскольку последний одиннадцатый прижизненный сборник стихов поэта – это замечательный образчик эмигрантского сам-издата тех «баснословных годов» (книга увидела свет в октябре 1957 года). История её создания в «телеграфном» сокращении такова.

19 августа 1951 года в Бразилии было основано Русское театральное содружество. В этот день русская колония Рио-де-Жанейро, после многолетнего перерыва, вновь увидела русский спектакль и услышала русскую речь со сцены. Содружество не преследовало целей заработка, все имеющиеся средства шли на улучшение качества спектаклей или на благотворительные цели. Душой объединения актеров были выходцы из Китая, которым чудом удалось спастись от ужасов маодзедуновского коммунизма. Большинство членов содружества были почитателями таланта Георгия Иванова. В далекой Бразилии они знали о бедственном положении любимого поэта. Было решено провести литературный вечер содружества и весь сбор передать нуждающемуся поэту.

4 октября 1957 года состоялась одна из последних «Пятниц» содружества. Впервые со сцены прозвучали отрывки из «Петербургских зим» Георгия Иванова в исполнении известной актрисы Анастасии Дзыгар-Неверовой (по второму мужу – Титова). Чудом сохранилась программа этого вечера.

Во время подготовки «Пятницы» (а в ней принимала деятельное участие и Юстина Владимировна Крузенштерн-Петерец) было решено обратиться к Георгию Иванову и попросить его отпечатать на машинке 50 экземпляров каких-нибудь стихотворений как самого поэта, так и Ирины Одоевцевой, и из них скомпоновать небольшой сборничек. Этот-то сборничек и предполагалось продавать на литературном вечере. С Георгием Ивановым было договорено, что, кроме стихов, он пришлет в Рио-де-Жанейро еще 50 своих автографов, которые, будучи вклеены в каждый экземпляр, должны были визировать сборник.

Организаторы согласовали с поэтом и вид обложки: 25 обложек с красными цветами и красной тесемкой и столько же – голубые цветы с голубой тесемкой. Весь тираж, кроме двух экземпляров, посланных поэту, был распродан. Доход от вечера по тем временам был довольно высок – почти сто пятьдесят долларов.

Насколько мне известно, сейчас сохранилось всего лишь два экземпляра этого уникальнейшего сборника. Из архива художника Бориса Яковлева, принимавшего участие в оформлении книги, они попали в мое собрание. Библиофильскую значимость этой книги трудно себе даже представить, но есть и еще один важный аспект – её текстуральная роль.

20 страниц книги (без заглавия) были распределены так: восемь достались Ирине Одоевцевой, а двенадцать Георгию Иванову. На них поэт поместил стихотворения из цикла «Дневник», над которыми, как оказывается, он работал почти до конца своих дней. Считаю поэтом, что именно «бразильский» сборник был последним. Дата создания сборничка – конец 1957 года, как мне кажется, дает основание утверждать, что именно текст этой книжки должен считаться каноническим.



Ю. Олеша

Рисунок И. Игина

В стихотворении "Этой жизни нелепость и нежность" публикаторам был известен лишь такой вариант третьей и четвертой строки:

Знаем мы - впереди неизбежность,  
Но её появленья не ждем

(Все цитаты по - *Георгий Иванов* "Собрание сочинений в трех томах", т. 1., Москва, 1994).

В "моем" сборнике Георгия Иванова вариант этих строк другой:

Знаем мы - впереди безнадежность.  
Но её наступленья не ждем.

В "бразильском" сборнике Георгий Иванов придал еще большую отточенность стихотворению "Как все бесцветно, все безвкусно":

третья и четвертая строка таковы:

Как мне невыносимо грустно,  
Как тошнотворно скучно мне...

В известном варианте у поэта вместо "невыносимо" было "невыразимо", точно так же, как его "хризантемы" были до сих пор только "пышны":

Смотри, как пышны хризантемы  
В сожженном осенью саду - ...

В окончательном же варианте строка звучит выразительней:

Смотри, как странны хризантемы...

В финале стихотворения поэт поменял лишь один глагол. Раньше стихотворение заканчивалось:

И царственно идет на убыль  
Лиловой музыки волна...

Теперь же концовка несколько иная:

И царственно пошла на убыль  
Лиловой музыки волна.

Изменил Георгий Иванов и конец стихотворения "Тускнеющий вечерний час". В многочисленных посмертных публикациях поэта он таков:

В парижский пригород, сюда,  
Где мальчик огород копает.  
Гудят протяжно провода  
И робко первая звезда  
Сквозь светлый сумрак проступает.

В сборнике без заглавия третья строка отсутствует, отчего четверостишие только выигрывает.

Как известно, инскрипты Георгия Иванова крайне редки не только в России, но и в эмиграции. Один из таких инскриптов хранится в моем собрании, но он с необъяснимой "ошибкой" - "Дорогому Николаю Ивановичу Ульянову очень и очень довольный, что наконец познакомился с ним. Георгий Иванов. Париж. Апрель 1953".

По утверждению Н.Н. Ульяновой, эта встреча произошла четырьмя годами раньше, в том же Париже, в книжном магазине журнала "Возрождение", во время первого приезда Ульянова из Марокко во Францию. Однако дарственная надпись была сделана в 1953 году, когда два писателя уже знали друг друга. В то время, в марте 1953 года, Николай Иванович Ульянов работал в русской секции радиостанции "Свобода" в Мюнхене. Тогда-то он и получил от Георгия Иванова письмо, в которое было вложено стихотворение поэта, написанное от руки и датированное 20-ым марта того же года. Сразу же по-

сле смерти Сталина политический курс "Свободы" резко изменился, и стансы Георгия Иванова так и не попали в эфир. Как ни парадоксально, но передачу, уже готовую к эфиру, "зарубил" Владимир Вейдле, что и стало одним из поводов ухода Н. Ульянова из радиостанции. Вдова писателя, Надежда Николаевна, передала мне стихотворение для публикации, что я и делаю вторично (впервые в № 54 журнала "Континент". Публикация эта, к сожалению, прошла незамеченной). Приведенный в 1-ом томе собрания сочинений Георгия Иванова вариант стансов существенно отличается от первого, посланного Н. Ульянову.

Короткий, гнилозубый, в оспе  
Лежит в Москве в блистательном гробу  
Великий Сталин - Джугашвили Оська  
Всех цезарей превзойдя судьбу.

И перед ним в почетном карауле  
Стоят народа меньшие "отцы".  
Те, что страну в бараний рог согнули  
Предатели, убийцы, подлецы.

Какие отвратительные рожи,  
Кривые рты, нескладные тела,  
И в центре - жирный Маленков похожий  
На вурдалака, ждущего кола.

В безмолвии у сталинского праха  
Они дрожат. Они дрожат от страха,  
Угрюмо морща некрещенный лоб, -  
И перед ними высится, как плаха,  
Проклятый вождь, проклятый гроб.  
20 марта, 1953 г.

Можно ли считать этот вариант стансов каноническим - не знаю, но отточенность формы стихотворения дает на это все основания.

Некоторые из стихотворений цикла "Дневник" Георгий Иванов посвятил литераторам-эмигрантам: Владимиру Маркову, Роману Гулю, И.О. - Ирине Одоевцевой и Т.Г. Терентьевой. Первые трое в этом перечне хорошо известны, а вот имя Татьяны Георгиевны Терентьевой сегодня знают единицы. В пятидесятых годах она была в руководстве нью-йоркского издательства имени Чехова, и именно она настояла на том, чтобы издательство выпустило в свет в 1952 году книгу Георгия Иванова "Петербургские зимы". Год спустя Ирина Одоевцева подарила Татьяне Терентьевой свой сборник - "Стихи, написанные во время болезни". Книга же эта двух авторов: Ирины Одоевцевой и Георгия Иванова. Правда, Иванов в сборнике - лишь художник-оформитель. Некоторые сборники супруги Георгий Иванов иногда расписывал или маслом или акварелью, что придавало книгам определенную притягательность, но их сохранилось крайне мало.

## ПОСЛЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

Две недели тому назад, когда еще не успели отзвучать музыкальные позывные моей радиопередачи, в доме раздался телефонный звонок. На другом конце провода был нынешний бостонец доктор Сергей Мюге, который, оказывается, довольно часто настраивает свой приемник, чтобы меня послушать. Так было и в этот раз.

С Сергеем Мюге я познакомился лет 20 тому назад, после чего эмигрантское наше житье-бытье разбросало нас по американским меридианам. После общих слов последовал вопрос - а известно ли мне что-нибудь о поэте Марии Крестинской? Я ответил, что конечно, да, но

вот беда - не видел я её единственного сборника стихов "Осколки" и найти его, как ни старался, не мог. Сергей Мюге, друживший с поэтессой, обещал мне незамедлительно выслать этот сборник, как и третье, дополненное издание своих мемуаров "Вне игры". Обе эти книги я получил, и они-то определили тематическую канву моей сегодняшней передачи (статья была написана в виде радиопередачи – *Редактор*).

Вплоть до 40-го года в Праге существовало объединение литераторов СКИТ. Так вот, Мария Крестинская принадлежала к самому юному, третьему поколению скитовцев. Недавно её упомянула в своей публикации "Пražский СКИТ – попытка реконструкции" Любовь Белошеская - единственная, насколько мне известно, исследовательница этого явления эмигрантской словесности. Правда, подозреваю, что Белошеской неизвестна настоящая фамилия поэтессы - Крестинская, потому что она все время указывает её псевдоним - Мария Мыслинская. Лет 25 тому назад, перелистывая старые номера журнала "Воля России", я обратил внимание на стихи поэтессы, печатавшиеся в этом престижном издании русского изгнания. Они подкупали меня чуть ли ни канонической выдержанностью стиля, тем высочайшим уровнем, который был присущ Серебряному веку отечественной поэзии. А лет 10 тому назад каким-то образом я получил вырезку со стихотворением Крестинской, которое полностью подтвердило мое первое восприятие её Лиры.

Закат пылал - янтарный небывалый,  
Неповторимый вечер уплывал в века,  
И были царственны и алы  
Повисшие над бездной облака.  
На цыпочках минуты пробежали,  
Брели часы неслышно стопой,  
Спешили звезды к синеве прогалин,  
Как стадо серн спешит на водопой.  
За этот мир, прекрасный и жестокий,  
Мы жизнь и кровь, по капле, отдаем...  
И теплые текут потоки,  
Спадая в вечности бездонный водоём...

Что мне еще было известно о Марии Мечиславовне Крестинской? Что до войны она вместе с мужем Борисом Павловичем проживала в Чехословакии, а потом с трудом им удалось перебраться в Америку. Здесь они жили бедно, отдавая все силы политической борьбе и просвещению политически наивных янки. Много сил отдавала Мария Мечиславовна живописи и поэзии. В 1977 году в издательстве ПОСЕВ вышел сборник её стихотворений "Осколки". Своего мужа она пережила на 20 лет и скончалась в старческом доме в Бостоне 15 ноября 1990 года.

Подаренная мне Сергеем Мюге книжка стихов "Осколки" многое уточнила в поэтическом облике Крестинской - она была утонченным мастером, версификатором экстракласса, в ее поэзии - интереснейшие находки.

Лет 10 я работал над двумя книгами - двумя венками: венок зарубежной поэзии посвященном Пушкину и венок Есенину. Обе эти книги давно готовы к печати, но дело остаётся за малым - не могу, как ни бьюсь, найти человека по имени "спонсор". Сейчас нужно срочно изменить макет обеих книг, поскольку хочу включить в них стихи Крестинской, которые их украсят. Вот её стихотворение А.С. Пушкину:

Сквозь злобный грохот октября,  
Сквозь вой свирепый урагана  
Звенит твой голос, как струя  
Бахчисарайского фонтана.  
Твой стих безоблачен и юн,

В нем льётся жизнь потоком лавы,  
И плачет птица Гамаюн  
О днях нерукотворной славы.

Как одинокий пилигрим,  
Влачится жизнь в чужом беспутьи,  
Но шестикрылый серафим  
Предстанет вновь на перепутьи...

Пророческий, жестокий дар  
Тебе был дан судьбой немилый...  
Пусть пилгрим угрюм и стар,  
Но он таит иные силы.

Пусть пламень жаркий от угля  
В груди России залит кровью,  
Но эта скорбная земля  
С тобою спаяна любовью.

Ты и Россия - навсегда,  
Как в сказке, золотая птица  
Сквозь эти страшные года,  
В сердцах надеждой будет биться.

Думается мне, что в есениаде стихотворение Крестинской займет одно из видных мест.

На берегу густом причал  
За желто-серебристым лугом,  
И замыкается печаль  
Широким, бледно-синим кругом.

И солнце жалит сотней стрел  
Плетень и домик кособокий.  
Когда-то здесь ты жил и пел -  
Задумчивый голубоокий.

И дней твоих весенних хмель  
Ещё лугам привольным снится.  
Твои стихи читает шмель  
Им внемлет сладко медуница.

А по ночам, в тени плетня,  
Приемля весть иного мира,  
Дрожит от звездного огня  
Твоя покинутая лира.

А за плетнем легли крестом  
Пути непройденной дороги,  
И месяц золотым перстом  
Твой след нашупал на пороге.

Без покаяния и слез  
Ушла душа, и в мире этом  
Лишь толги ко головы берез,  
Качаясь, плачут над поэтом.

Штрих к портрету Крестинской-человека мы находим в мемуарах Сергея Мюге. Цитата напрашивается сама собой. "...Однажды, на другой день после посещения их дома, она позвонила и попросила меня к телефону. - Сергей Георгиевич, не смогли бы Вы ко мне сегодня приехать до половины третьего? Я приехал. Вчера вы выглядели грустным. Наверное, у Вас нет денег. Я решила Вам подарить две тысячи долларов. Банк закрывается в три, так что идемте! ...Последний раз, приехав в Бостон на автобусе, я разговаривал с Марией Мечиславовной по телефону, когда она находилась в психиатрической больнице, расположенной за городом. Там она и умерла".

Одна из глав мемуаров Мюге посвящена моему другу Сереже фон Оэттингену. В занимательной манере автор повествует о жизненных хитросплетениях семьи Оэттингенов, о счастливом браке Сергея с Лизой. От себя добавлю, что в эмиграции Сережа был славен тем, что играл в сеансах одновременной игры с двумя чемпионами мира - Алехиным и Фишером, и ещё с Боголюбовым и Богатырчуком. Мюге признаётся, что забыл фамилию известного поэта эмиграции, друга Сергея и первого мужа его жены Лизы. Их - трёх друзей, уже нет в живых, но продолжают жить книги стихов Владимира Анта - таково имя и фамилия маститого поэта.

Владимир Ант вошел в словесность Зарубежья прежде всего своими замечательными танками. Сам поэт пояснял своим будущим читателям:

Японская лирическая танка  
весьма отлична от стального танка.  
Танк - это злой и грубый великан,  
Который ходит всюду, гибель сея.  
А танка - бабочка дальневосточных стран,  
А танка - нежная лирическая фея!..

Лирические миниатюры - танки Анта предельно лаконичны, но, вместе с тем, исключительно выразительны. В них мы находим и картины природы, и описание грандиозных социальных потрясений. Архаическая японская танка у Анта приобрела новый смысл:

Я катастрофу видел проезжая,  
Нагромождение вагонов и колес.  
Казалось, то страна моя родная  
На полной скорости сорвалась под откос.

## ВОЙНА

С войной ползли на запад холода.  
В тумане фонари висели, как медузы.  
Тащили с грустным воплем поезда  
Живые и безжизненные грузы.

Из многочисленных танок Анта мне особенно по душе две, которые, надеюсь, понравятся и читателям.

## НА ЗАПАД

Плывет фантастический закат  
И Апокалипсис грезятся картины!..  
Но мысли нет, чтоб двинуться назад,  
А есть - на запад! Вплоть до Аргентины!

## РОДНИК

Пустынник жаждой изнурен,  
Нашел родник и ожил он.  
А я, тоской себя губя,  
В пустыне душ нашел тебя!..

Смотря на даты, проставленные под стихами Марии Крестинской, не перестаёшь удивляться как от года к году росло её поэтическое мастерство, как она превратилась в крупного поэта, к сожалению, незамеченного никем. Подозреваю, что моя передача - первый рассказ о её Музе.

-----  
*От редакции.* Материалы печатаются из архива с разрешения Ольги Штейн.

## ЯН ПРОБШТЕЙН

### НЕПРИКАЯННЫЙ ПОКОЙ

Николай Шатров (1929-1977) жил трудно, а писал легко и естественно - так дышат, так птицы летают: «Но ребра под кожей сам Бог натянул / Земле неизвестною лирой». Поэзия была смыслом его жизни, его судьбой. Мятущаяся душа, он исповедывался и обретал покой в творчестве - «твой неприкаянный покой» - так писал Шатров о своей музе в стихотворении, написанном в пятидесятые годы. Его стихи поражают открытостью, исповедальностью, но также и жесткостью, даже гневом и злостью - как в «Каракульче» и в «Неравном поединке» - об охоте на волков, написанном, кстати, раньше, чем более известное стихотворение Владимира Высоцкого:

Твердишь, что устал от работы...  
А видел когда-нибудь ты,  
Как били волков с вертолета,  
Прицельным огнем с высоты?

Однако стихотворение не упражнение на тему охраны окружающей среды и не заканчивается возмущением убийством волков - у вожака поэт учится достоинству и презрению к смерти:

Навстречу чудовищу, гордо,  
В величье бессильной тоски  
Зверь поднял косматую морду  
И грозно очерил клыки.

Он звал к поединку машину!  
Врага, изрыгавшего гром!..  
И даже такие мужчины  
Шесть раз промахнулись по нем.

Когда его подняли в пене,  
Сраженного выстрелом в пах,  
Две желтые искры презренья  
Еще догорали в зрачках.  
(31 декабря 1960)

Юношеские стихи Шатрова настолько безыскусны, что иногда несколько прямолинейны. Со временем он научился скрывать боль и соль труда между строк - швы стали незаметны. Так пришло мастерство, появилось умение подняться над собственной болью:

Каждый стих свой проверяй на юмор:  
Не смешно ли простонала боль;

На смену прямолинейности пришла афористичность: «Нет мертвых форм, есть мертвые сердца». В ранних стихах Шатрова слышны были отзвуки Блока, Пастернака - это был камертон, по которому поэт настраивал свою лиру:

День склонил лебединую шею  
В золотой лучезарной пыли...  
Молодея и все хорошея,  
Я приветствую солнце земли.

Возмужав, он начал спорить со своими учителями, - не плюя в источник и преклоняясь перед мощью предтеч:

Наследник небывалой мощи,  
Чужое золото стихов -  
Нетленные святые мощи, -  
Я принял...

*Николай Шатров,*

Поверив в свой дар, поэт осознал и свою ответственность перед ним – ни разу не покривил душой, не сфальшивил. Были удивительные откровения: «Мне страшно самому от силы, / Которую в себе ношу». Это не ложная скромность, а страх Божий. Названия его стихов – «Серый стих», «Голый страх», «Страшная весна» – лишнее тому подтверждение. Стихотворение о себе – «Николай Шатров» завершается смиренным двустишием:

Я путь продолжаю, великий немой,  
Под стать безъязыкой России.

Стихи, написанные в конце сороковых – начале пятидесятых, особенно, если учесть, что Шатров был общительным человеком, охотно читал свои стихи и близким, и довольно дальним – были уже делом, равносильным подвигу: «За рубеж проклятого столетия / Мы судьбой своей занесены», – писал он в 1951 г. А в стихотворении «Родине-Матери» 58 года – прямая крамола, за которую можно было бы поплатиться и во времена так называемой оттепели:

Ты, огромная Родина, – больше Европы,  
И сильнее Америки в тысячу раз...  
Но погибнешь навеки от святого потопа  
Слез твоих сыновей, всех замученных нас.

Ты, огромная Родина, и плодороден  
И бесплоден пред Богом твой проклятый край,  
Ты, огромная Родина, – вроде уродин  
Балаганных... Живи и скорей умирай.

В те годы Шатров часто бывал в «Мансарде окнами на запад», – квартире Галины Андреевой, где собирались независимые и не печатавшиеся поэты Леонид Чертков, Станислав Красовицкий, Валентин Хромов, о чем пишет Андрей Сергеев в интервью-воспоминании, опубликованном в «Новом литературном обозрении» (№ 2, 1993), добавляя, что они «стихи его вслух ругали, а на самом деле ценили».

В 50-70-е гг. стихи Николая Шатрова были на слуху у многих, о них хорошо отзывались Пастернак, Антокольский, Сельвинский, С. Наровчатов, И Эренбург, Арсений Тарковский и многие другие более удачливые собратья, однако ни известным, ни тем более удачливым Шатрова назвать нельзя. Сказать, что поэт был незамечен и обойден вниманием современников тоже нельзя: среди людей, постоянно с ним общавшихся и ценивших его как поэта были Г. Г. Нейгауз, В. В. Софроницкий, композитор Л. Афанасьев, художники А. Н. Козлов, А. Г. Быстрин, Т. Маврина, поэты Н. Глазков, Ю. Куранов и очень многие поэты его поколения. При жизни Шатрова была, насколько мне известно, только одна публикация его стихов: в 1962 г. благодаря усилиям Г. Серебряковой удалось напечатать подборку в «Литературной России». У поэта были все основания писать о себе:

Меня от соблазнов уберегла  
Моя непечатная слава.

Были посмертные публикации в «Континенте», где указали, что об авторе ничего не известно. В 44 номере журнала «Огонек» за 1989 г. в «Поэтической антологии», которую вел тогда Е. Евтушенко, опубликовали стихотворение «Каракульча» в несколько сокращенном виде, не так давно в журнале «Новое литературное обозрение» (№ 2, 1993) было напечатано три стихотворения. Вот, пожалуй, и все, что предшествовало первой – посмертно вышедшей книге (Нью-Йорк, Аркада, 1995).

Задумывались ли мы над тем, чтобы было бы, если бы Осип Мандельштам издал свою первую книгу «Камень» не в 1913 г., когда ему было 22 года, и даже не в 1916, ко-

гда вышло второе издание этой книги, а скажем, в 40-летнем возрасте; Очевидно, и книга была бы в некотором роде анахронизмом, и творческая судьба поэта сложилась бы по-иному.

Николай Шатров, кажется, и это предвидел, когда в 1954 году писал предисловие к – так и не увидевшей свет при его жизни – книге стихов:

Как разыскать тебя сквозь время;  
И не навеки ли поник  
В твоей душе – чужой поэме –  
Мой замурованный двойник;

Но ты поймешь, что нет пространства,  
Что вечность переходит в миг...  
И я скажу: «Живи и странствуй,  
Ты – ставшая одной из книг!»

Без стихов факты жизни поэта – биография, со стихами – судьба. Николай Владимирович Шатров родился 17 января 1929 г. в Москве. Мать поэта Ольга Дмитриевна Шатрова была актрисой, отец Владимир Михин – известным в то время врачом. Родители разошлись еще до войны, а отец впоследствии был репрессирован (вот почему Николай носил фамилию матери).

Во время войны театр, в котором работала мать, был эвакуирован и до 1949 г. Николай путешествовал с труппой: Омск, Нижний Тагил, Березники, Тюмень, Семипалатинск, Алма-Ата – такова география его юности. В Алма-Ате Шатров учился на филологическом факультете Казахского университета, откуда в 1949 г. перевелся в Литературный институт. Поэт, однако, пришелся не ко двору в этой «кузнице литературных кадров» и вскоре оставил институт. Говорят, знакомые литераторы давали ему подработать переводами с языков народов СССР, но под этими переводами всегда стояла фамилия «заказчика».

В 1960 г. Шатров поступил на должность смотрителя в Третьяковскую Галерею, чтобы избежать обвинения в тунеядстве. Работа тем не менее нравилась ему, его вдохновляла жизнь в окружении полотен и общение с искусствоведами и сотрудниками галереи, среди которых было немало незаурядных людей. Но поработал Шатров недолго: ранним февральским утром 1961 года, когда он направлялся в Третьяковку, в Лаврушинском переулке на него наехал снегоочиститель, шофер которого уснул за рулем. Чудом спасшись, Шатров пролежал три месяца в больнице с переломом шейки бедра и травмой правой руки, два пальца на которой пришлось ампутировать. Так в 32 года он стал инвалидом.

В этот период своего творчества от социальных проблем поэт переходит к метафизическим, его видение становится глубже, объемней. Шатров был глубоко верующим человеком, не теряя при этом ни интереса к жизни, ни умения очаровываться ею:

Лишенный страшного всезнания,  
В дела чужие — не вникай!  
Не обнажай воспоминанья,  
В Ад превращающие Рай.

Стихи последних лет пронизаны предчувствием смерти: пророческий дар, как известно, сродни поэтическому. 28 марта 1977 года Николай Шатров перенес тяжелейший инсульт и 30 марта того же года в возрасте 48 лет поэт скончался. Он жил на износ, «на разрыв аорты» и прожил жизнь, не растеряв даров – в первую очередь, искусства любить и творить:

Райская песнь, адская плеснь,  
Сердца биенье...  
Юность — болезнь, старость — болезнь,  
Смерть — исцеленье!

Скоро умру... Не ко двору  
Веку пришелся.  
Жить на юру... Святость в миру.  
Жребий тяжел сей!..

Что же грехи? Были тихи  
Речи и встречи...  
Били стихи... Ветер стихий!  
Ангел предтеча...

Как тебя звать? И отпевать  
Ночь приглашаю.  
Не на кровать, в зеркала глядь!  
Только душа я!

Опыт полезен. Случай небесен...  
Все на колени!  
Детство — болезнь. Взрослость — болезнь.  
Смерть — исцеленье.

Отпевание и похороны были назначены в церкви Новой Деревни, где священником был о. Александр Мень, духовный отец Шатрова. Как вспоминает ближайший друг Шатрова Феликс Гонеонский, отец Мень произнес надгробное слово, закончилась отпевание, была готова могила на кладбище при церкви, но вдруг староста церкви категорически запретила захоронение. Никакие уговоры, просьбы и даже слова о. Мень не помогли. Все закончилось тем, что гроб с телом покойного увезли в крематорий, а урна с прахом Николая Шатрова была тайком помещена вдовой поэта Маргаритой Димзе на могиле отца, героя Гражданской войны командарма Берзиня "не чекиста", похороненного на Новодевичьем кладбище. В те времена вход на это привилегированное кладбище разрешался только по спецпропускам, так что даже ближайшие друзья Шатрова не могли посетить эту могилу. Не смогли они и выполнить просьбу поэта:

Когда уйду с земли, то вы, друзья живые,  
Пишите на холме, где кости я сложил:  
«Здесь человек зарыт, он так любил Россию,  
Как, может быть, никто на свете не любил».

Своей могилы у поэта нет. Это символично: поэт принадлежит всей земле. Книги поэта тоже до сих пор не было. Первая книга издана благодаря стараниям Феликса Гонеонского, вывезшего в США рукописные и машинописные тексты, а также начитанные поэтом магнитофонные пленки. Книга русского поэта, изданная в Америке, возвращается в Россию. Еще раз подтверждается то, что рукописи не горят.

## ДВА АНГЕЛА

Бывают случаи поэтического параллелизма — не диалога поэтов, не подражания, не продолжения темы, как в "Памятниках", не имитации, а именно независимого озарения родственным образом, видением или мыслью, выраженными родственными же интонационно-смысловыми системами. Однако и в этом случае можно проследить определенные, общие для обоих поэтов, для традиции и для самого языка закономерности, которыми было обусловлено столь разительное совпадение. Я уверенно знаю, что ни Шатрову, жителю подмосковного

Пушкино, ни Вл. Микушевичу, жителю подмосковной же Малаховки, стихотворения друг друга не были известны. Посмертно изданная первая книга Шатрова, которую я помогал редактировать и готовил к публикации, была напечатана в Нью-Йорке в 1995 г., однако прошло еще 4 года прежде, чем я лично подарил Микушевичу экземпляр книги в то время, как его собственная первая книга была опубликована в 1989 г. Вот стихи, о которых идет речь:

Ангел, воплощенный человеком,  
По земле так трудно я хожу,  
Точно по открытому ножу:  
Помогаю и горам, и рекам,

Ветром вею, птицами пою,  
Говорю иными голосами...  
Люди ничего не видят сами,  
Приневоленные к бытию.

Скоро ли наступит тишина  
При конце работы — я не знаю.  
Боже мой! Ты слышишь, плачет в рае  
Та душа, что мною стать должна?

О, подруга, равная во всем!  
На стреле пера, белее снега,  
В муке, ощущаемой как нега,  
Мы, сменяясь, крест земной несем.  
*Николай Шатров, Август 1972*

Вот стихотворение Владимира Микушевича, написанное на 8-10 лет позже (во всяком случае я слышал его не позже 1982 г, когда еще сам не знал стихов Шатрова):

Ангелу велели воплотиться  
Средь земной прилипчивой тухли,  
Воплотиться, то есть поплатиться  
За чужие гиблые грехи.

И сперва, прельстившись речкой жалкой,  
Тиной, где кувшинки вместо звезд,  
Ангел по ошибке стал русалкой,  
Крылья променял на рыбий хвост.

Очарован влажными лугами,  
Пёстрою прибрежной полосой,  
Обзавелся стройными ногами  
Ангел с тёмно-русою косой.

Но земля — не облако, не заводь;  
Преуспеть без крыльев — не судьба.  
Тот, кто знает, как летать и плавать,  
Знает как мучительна ходьба.

И когда проходишь ты по всполью,  
Начинает резать и колоть.  
Каждый шаг пронизывает болью  
Благоприобретенную плоть.

И тебя с твоей бедой земною  
Грех судить мне, страшно прославлять,  
Потому, что лишь такой ценою  
Ангелы способны исцелять.

Займемся, как говорят, сравнительным анализом. На первый взгляд, эти два стихотворения весьма похожи, если не родственны друг другу. Оба стихотворения написаны 5-стопным хореем с чередованием женских и муж-



ских рифм и, соответственно, с перекрестной рифмой, размером ныне весьма распространенным, а некогда, по свидетельству К. Тарановского и Л. Гаспарова, который вослед за Тарановским развивал теорию семантики стихотворных размеров, назвав ее “семантическим ореалом”, довольно редким в русской поэзии.<sup>1</sup> Р. Якобсон, как верно указывают и Тарановский и Гаспаров, первый заметил ряд семантических перекличек в хореическом десятисложнике,<sup>2</sup> с тою лишь разницей, что Якобсон и Тарановский следуют за Срезневским, полагая, что этот размер “является прямым продолжением общеславянского эпического десятисложника, а может быть даже и индоевропейского (Тарановский 373), в то время, как Гаспаров, напротив, приходит к выводу, что “5-ст. хорей пришёл в русскую литературную поэзию не прямым путем: в народной поэзии произведений, выдержанных в этом размере нет, даже в “Вавиле и скоморохах” 5-ст. хорей составляет лишь три четверти строк” (Гаспаров 269). Гаспаров возводит 5-ст. хорей к сербского десетерацу, который затем был заимствован и силлаботонирован немецкой поэзией, а отсюда уже перешел в русскую, причем и Якобсон, и Тарановский, и Гаспаров заметили, что первые лирические стихи, написанные этим размером Сумароковым (“Прилетела на берег синица...”), Тредиаковским, Державиным, Кюхельбекером и Фетом, указывают на Лермонтова как на основной источник этого размера в русской лирической поэзии, у которого темы неосуществимой любви, судьбы, одиночества, дороги были выражены в “Стансах” (“Не могу на родине томиться...”), “К” (Мы случайно сведены судьбою; / Мы себя нашли один в другом, / И душа сдружилась с душою, / Хоть пути не кончить им вдвоём. // - Я рождён, чтоб целый мир был зритель // Торжества иль гибели моей...” Через десять лет, как справедливо заметил Тарановский, тематика Лермонтова несколько видоизменилась, отчасти под влиянием поэзии Гейне, и тема пути соединилась с “размышлением о жизни и загробном сне” (Тарановский 380), а Якобсон в своё время поставил в этот ряд «Вот бреду я вдоль большой дороги» Тютчева, “Выхожу я в путь открытый взорам...” Блока, “До свиданья, друг мой, до свиданья” Есенина (в котором, однако, наращенные стопы во второй строфе: “До свиданья, друг мой, без руки и слова...”), к чему следует добавить “Письмо к матери” (особенно 2-ю строфу: “Пишут мне, что ты, тая тревогу, / Загрустила шибко обо мне, / Что ты часто ходишь на дорогу / В старомодном ветхом шушуне”) и следующее за ним в “Собрании сочинений” стихотворение того же, 1924 г.: «Мы теперь уходим понемногу / В ту страну, где тишь и благодать. / Может быть, и скоро мне в дорогу / Бренные пожитки собирать...” (III, 11-12). Якобсон определил стихи этого круга как «цикл лирических раздумий, переплетающих тему пути и скорбно-статические мотивы одиночества, разочарования и предстоящей гибели» (Якобсон 465-466), а Тарановский ввел Блока и Бунина и отметил мотивы пейзажа, пути, жизни и смерти, а у Блока тему родины.<sup>3</sup> В стихотворении Блока “Инок” помимо размера (кстати с последними усеченными 2-ст. строками начиная со 2-ой строфы) интересны не столько тема дороги, ночи или пейзажа, но и тема преображения, метаморфозы. Несомненно, что после Лермонтова и Блока, само звучание и восприятие не только 5-стопного хорей, но и ямба, и трехдольников изменилось. Семантический ореол, иными словами, звуко-смысл — важный вклад в стиховедение, но он не вполне объясняет, почему стихи, написанные одним размером на одну тему, за исключением эпигонских и шуточных стихотворений, разумеется, столь разительно отличаются друг от друга. Быть может, не лишне включить в анализ поэтического

текста не только материал, но и личность, не только тему, но и мотив.

Цитируя Вильгельма Дильтея («Мотив есть не что иное, как жизненное отношение, поэтически понятое, во всей его значительности») в статье «Поэтический мотив и контекст», Владимир Микушевич развивает далее идеи немецкого философа: «...Искусство начинается с жизненного отношения, с материала. Но необходима личность, чтобы поэтически понять значительность этого отношения. <...> Личность и материал — две ипостаси поэтического мотива».

Итак — личность и материал. Хотелось бы, однако, уточнить значение слова «мотив»: «мотив — есть побудительная причина, повод к действию» — такое определение дает даже *Краткий словарь иностранных слов*. В свое время слово «мотив» было заимствовано из французского. Значение французского слова — «основная тема, лейтмотив, главная тема». Поэтический мотив или мотив художественного произведения неизмеримо шире лейтмотива: это и основная тема, и отношение личности (художника) к действительности, «поэтически понятое», то есть не имитация реальности, но создание особой, поэтической, художественной реальности. Воплощение поэтического мотива — есть его словесно-синтаксическая реализация в конкретном произведении, «разыгранная при помощи орудийных средств» (Мандельштам).

Развивая идею «поэтического мотива», Владимир Микушевич пришел к выводу, что это — «персоналистический архетип или прафеномен, реализующийся в разных контекстах». Действительно, если смотреть на поэтический мотив художественного произведения как на воплощение духа и того, что было в начале, то есть Слова, он архетипен и в этом смысле понимание Микушевича близко к тому, что Джордж Стайнер (George Steiner) называет «непредсказуемое движение духа» (*contingent motion of the spirit*), и к мифологическому и архетипному мышлению канадского литературоведа Нортропа Фрая (Northrop Frye). Но поскольку художник несет в себе Божье и человеческое, то, что Т.С.Элиот в «Четырех квартетах» назвал «точкой пересечения времени с вечностью», поэтический мотив обращен одновременно к двум мирам — горнему и дольнему и включающий в себя и дух, воплощенный в языке, и личность художника, выявленную в материале, в данном случае в стихотворно-языковой ткани произведения. Поэтому, хотя поэтический мотив и несет в себе Божье и архетипическое начало, однако и земное — после падения Башни — тоже, мы, развивая языки — то, что называли *verba sacra*, — едины в наших различиях и различны в единстве. Поэтический мотив — это единство многообразия: на мой взгляд, он сочетает в себе то, что в античности называли *enargia* (движение поэтической мысли или повествования сквозь образ) и одновременно — *energeia* в трактовке средневековья, а затем Гумбольдта — сгусток поэтической мысли, дух, воплощенный в языке, при этом сам язык, по Гумбольдту, есть не произведение (*Ergon*), а деятельность (*Energeia*), то есть «вечно обновляющаяся работа духа, направленная на то, чтобы сделать *артикулированный* звук выражением мысли». Мотив поэтического произведения — это дух, воплощенный в языке. Выявить его можно, проследив движение образа и (или) повествования через стихотворную ткань. Контекст поэтического произведения, как сказано в предисловии, — та «звучащая картина», по выражению английского поэта сэра Филиппа Сидни (1554-1586), или «пластическое пространство», по определению Аркадия Акимовича Штейнберга, на котором воплощается поэтический мотив и разыгрывается картина мира.

Вернувшись теперь к разбираемым стихотворениям, мы заметим их разительные несовпадения при всем внешнем сходстве размера и *лейтмотивов* дороги, ходьбы, земного и небесного, перевоплощения-метаморфозы. Разница это заключается во-первых в отношении личности к миру, выраженном в стихотворении, то есть разграниченном на пластическом пространстве стиха. У Шатрова в центре всего — “я” — 1-е лицо единственного лица: все стихотворение своего рода исповедь, сродни Лермонтову и Есенину. Несколько рискованное сравнение себя с ангелом, а своей работы с работой Бога преодолевается в конце сочетанием земного (с введением темы поэта и толпы) и возвышенного. Стало быть, труд поэта (заметим в скобках, непризнанного, ибо у Шатрова при жизни была лишь одна публикация) сравнивается с несением земного креста, потому-то и плачет душа в рае, которая должна воплотиться в “меня”, то есть в непризнанного поэта, для которого стихотворчество не карьера, а судьба. Несмотря на то, что стихи написаны одним размером, а первые строки столь разительно созвучны, у Микушевича в центре — “не-я”: 3-е лицо единственного числа, в конце сменяющееся 2-м лицом, что дает совершенно иную перспективу, а сам мотив перевоплощения гораздо сложнее: ангел по ошибке становится русалкой и таким образом вводится мотив андерсоновской “Русалочки”, который затем переносится (транспонируется) в иное время и пространство — на русскую землю. Это стихотворение также говорит о воплощении как о некоей расплате за несовершенство мира, о служении и об искуплении, но все внимание переключено с собственной персоны на женщину, а сочетание возвышенного и земного, грешного, также лишено однозначности:

И тебя с твоей бедой земною  
Грех судить мне, страшно прославлять,  
Потому, что лишь такой ценою  
Ангелы способны исцелять.

Мотив бескрылости, боли и греховности земного существования парадоксальным образом трансформируется в концовке, когда оказывается, что земной грех — расплата ангела-женщины за исцеление, за спасение других грешных душ. В итоге, мотив андерсоновской “Русалочки” прочитан русским поэтом не менее интересно, чем в “Докторе Фаустусе” Томаса Манна. Стало быть, стихи, написанные одним размером и посвященные близкой, но не сходной тематике, разительно отличаются друг от друга из-за перспективы — то есть, личности. Даже когда Шатров обращается к общеизвестным литературным, историческим или библейским сюжетам, он, за редким исключением, пишет о себе, как в “Фантазии на тему Сервантеса”, которая начинается с обращения к герою бессмертного романа: “Дон Кихот, рассвет уже синее/ Мавританских крепостных ворот...”, а заканчивается вновь темой поэта, личной судьбы и предчувствием смерти:

“Дон Кихот, вставай! Заря, как рана!  
Понимаешь, я сейчас умру!”

“Уходи! Не выходи из роли!  
Покровитель бедных и сирот...»  
Мельницы меня перемололи,  
Чтоб с тобою — всё наоборот!”

Стало быть, даже когда Шатров пишет о другом, он пишет о себе, причем основная тематика его стихов, в частности стихов, написанных 5-стопным хореем, это стихи о судьбе, о поэзии, о жизни и смерти, о любви — таковы “Молитва” (“Помоги мне, Господи, дай силы. / Ук-

репи мой слишком слабый дух”, которое заканчивается также на лермонтовской ноте:

А когда освобожусь от тела,  
Помяни во царствии Твоём  
Сердце, что всегда добра хотело,  
Душу, не отравленную злом.

Стихотворение это, однако, — не подведение итогов: написано оно двадцатидвухлетним поэтом. В 1970-е годы Шатров вновь обращается к 5-стопному хорею, и наряду с таким кредо, как “Верю в Бога, тому что верю./ Потому что жизнь иначе — смерти!”, в котором любовь к живому и потребность любви помогают поэту превозмочь брешьность и собственную слабость, и упоминавшиеся стихотворениями “Ангел, воплощенный человеком” и “Фантазия на тему Сервантеса”, такие стихи, как “Кришна Мурти” (“Правда жизни... В чём она, ответь-те?!”), в котором поэт думая о последней метаморфозе (“Кроме смерти, всё на свете — бредни”), говорит о детской, первой и последней простоте (“Стань ребёнком, не впадая в детство”), о единении с Богом и Миром. Есть стихи о любви (Были ярче звёзды, да не лучше./ Ты — моя любовь! И нет иной...”) и о разминовении (“Бедная Наташа или Люда,/ Я пускаю фильм наоборот. / Я с тобой знакомиться не буду: / Пусть другой тебе про счастье врёт.”), и — неизбежные думы о смерти еще не старого, но больного измученного человека: “Завещаю дочери и сыну/ Не ходить на ярмарку чудес... Умирающему апельсины / Принесли, и он воскрес!”, в котором поэт сравнивает дождь со слезами, заключая:

Эти слёзы — что вода в пустыне.  
На могиле хлеба покроши...  
Знал бы ты, как быстро тело стынет,  
Отделившееся от души.

Следует заметить, что и у Микушевича, и у Шатрова, 5-ст. хорей — излюбленные размеры, при этом видно по этим и другим стихам, что если Шатров ближе к лермонтовско-есенинской традиции, то Микушевич, знаток и русской и европейской поэзии, в особенности же немецкой, столь повлиявшей, по мнению Гаспарова, на развитие отечественного 5-стопного хорей, очевидно, более близок к бунинской традиции. Примечательной чертой его поэзии является растворенность в мире: даже когда стихотворение написано от первого лица единственного или множественного числа, “я” или “мы” выводят поэта на архетипические, универсальные обобщения. Даже в зарисовке-воспоминании о войне «Автопортрет с поросянком», в котором поэт вспоминает, как во времена военного детства пятилетним мальчиком водил поросенка на веревочке и прятался с ним от бомб в ботве («Мы в ботве под бомбами братались...»), Микушевич придает своим воспоминаниям универсальное, общечеловеческое звучание:

Разучились мы бояться крови,  
Потому что мясо на прилавке,  
Не в хлеву, не в поле и не в небе,  
Не в хлеву, где тоже были души.

Потому-то в конце поэт выходит на архетипические обобщения, когда убийство малых сих сравнивается с убийством Авеля, а в подтексте звучит проклятие Каину:

Год голодный, год бомбоубежищ.  
Этот визг до белого каленя,  
Чтобы до седьмого поколения  
Откликаться каждой каплей крови.

У Микушевича есть пейзажная лирика, напоминающая отчасти бунинские стихи: “День лугов безветренный, беззвучный”, “Листья загорелись и костры;/ Всё прохладней солнце, дым всё выше”. У Шатрова, напротив, исповедальность, заговаривание себя и другого (другую?) у последней черты: «Ничего не бойся, кроме страха, / Кроме тьмы кромешной.../ Не хули судьбу — она неряха, / Как и подобает деве грешной”. Поэт как бы обращается и к себе, и к собеседнику (собеседнице) во 2-м лице единственного числа, окончательно отделяя “Я” от “Ты” только в последних двух строках: “Я люблю тебя всей силой смеха!/ Честное мужское слово.” В целом же, он тяготеет, как было замечено выше, и к есенинской (“В этой жизни умирать не ново, / но и жить, конечно, не новей”), и к лермонтовской традиции. Так, в стихотворении, написанном за год до смерти, он констатирует: “Все-таки к земле привык не очень / Я за эти сорок с лишним лет”), и говорит о своем другом “я”, который слышит зов с неба (или призыв внутреннего человека):

“Сын мой, ты промаялся довольно!  
Время собираться в новый путь.  
Колокол разрушил колокольню,  
Ну а сердце износило грудь...

Ты восходишь к незнакомым звёздам,  
К музыке невиданных светил...  
Мир земли, что был тобою создан,  
Сущности твоей не захватил!”

На этой ноте можно было бы и закончить это сравнение, если бы не одно стихотворение Микушевича, в котором лермонтовская тема — из стихотворения “Ангел”, написанного другим размером — сочетанием 4-стопного и 3-стопного амфибрахия — из другого, казалось бы, семантического ореола, в котором выражена *та же* тема противоречия между земным и небесным и *та же* тема воплощения-недовоплощенности:

Он душу младую в объятиях нёс  
Для мира печали и слёз;  
И звук его песни в душе молодой  
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томила она,  
Желанием чудным полна;  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

Первая строка лермонтовская стихотворения вынесена (“По небу полуночи ангел летел”) в эпиграф стихотворения Микушевича “Острога”, являющегося как бы продолжением темы, а не просто переключкой с известным стихотворением. Микушевич не показывает, а лишь указывает на традицию, начиная, скорее в бунинском ключе: Мрак неуловимый, но глубокий  
Топкие окутал берега;  
Встрепенул отрок синеокий,  
И пронзила рыбу острога.

Дрогнули смолистые лучины,  
Медленнее лодка поплыла;  
Сразу же из тинистой пучины  
Высунулись мягкие крыла.

В озере под первую звезду  
Филин рыбу крупную поймал;  
Даже мёртвый, даже под водою,  
Он когтей своих не разжимал.

Так весь век я предвкушаю сушу  
На бесцветном этом дне в гостях,  
Потому что пойманную душу  
Держит ангел в стиснутых горстях.

В полумраке тинистом телесном  
Избежать я света не могу;  
Плавая в челне своём небесном,  
Дедушка заносит острогу.

Границы мира реального, земного и божественного размыты, так же, как и границы меж “я” и Всечеловеком — стихотворение это не столько о себе, хотя оценка миру дольнему дана и от 1 лица единственного числа: «На бесцветном этом дне в гостях”// - “Избежать я света не могу”, и от имени всех бранных, обреченных не только смерти, но и жизни. Ангел оказывается филином, стало быть, выполняющим не свою — высшую волю (а в первом стихотворении ему просто “велели воплотиться”) в то время, как Дедушка, заносающий острогу, одновременно и освобождает и — забирает душу к себе. Так завершается круг воплощений и земное соединяется с небесным.

## ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СЛИЯНЬЕ

Имя Владимира Микушевича, поэта и прозаика, автора глубоких и полемичных статей, неразрывно связано с многоголосием европейской поэзии, зазвучавшей порусски. Не случайно, две его книги из трех — «Крестница зари» (1989) и «Бусенец» (2003), опубликованные с перерывом почти в 15 лет, заканчиваются стихотворением «Памятник», о котором несколько ниже. Несмотря на то, что на протяжении нескольких десятилетий Микушевич много печатался, но первая книга его стихов «Крестница зари» вышла лишь в 1989 г. Царившая в бывшем Союзе писателей иерархическая разделенность на ведомства, переводческое и поэтическое — одна из черт безвременья. А если к этому добавить непростой характер Микушевича, его прямоту и бескомпромиссность в сочетании с широчайшей эрудицией и острым умом, изысканность его стиля «невыгодно» выбивавшегося из царившего в те времена патристическо-почвеннического потока, станет понятно, почему Микушевича побаивались деятели, руководившие «совписом».

Стихи Микушевича и до этого время от времени появлялись в периодической печати. Помнится, в «Дне Поэзии 1975» мое внимание сразу же привлекли стихотворения «Дорога в Провансе», «Курсив» и особенно «Сонет» о сонете, о зарождении формы, о Петrarке:

И в лирике невидимые троны  
Колеблются, когда в переполохе  
На площадях внимательной эпохи  
Сонетами сменяются канцоны.

.....  
В пустыне, в пустоте, в толпе народа,  
В изгнании, как в собственной отчизне,  
И без обиняков и без отсрочек

Такая нестерпимая свобода,  
Что для твоей многоголосой жизни  
Достаточно четырнадцати строчек.

Время и пространство слились в творчестве. Границы Европы разошлись. История Европы в стихотворении Микушевича — это история созидания, об остальном сказано как бы вскользь. Междоусобные войны, которые

терзали Европу, особенно Италию, и, как известно, вынудили Данте покинуть Флоренцию, отступили в тень: «В Европе соловьиные каноны. / Век междоуметий: возгласы и вздохи». Оглядываясь из XX века, поэт видит, как вся Европа XIV в. сгустилась в пространство стиха. С высоты такого полета видится, как «в лирике невидимые троны / Колеблются, когда в переполохе / На площадях внимательной эпохи / Сонетами сменяются канцоны». Европа, оказывается, следила не за тем, как по приказу папы Иннокентия III разоряли Прованс, а позднее — как гвельфы, впоследствии разделившиеся на «белых» и «черных», боролись с гибеллинами (не напоминает ли это современникам Россию XX века?) — «внимательная эпоха» следила, как «сонетами сменяются канцоны». В столь пристрастном взгляде на историю — своя правда: искусство сильнее кровопролития, гражданских войн — *Ars longa, vita brevis est*. Именно поэтому «в изгнании, как в собственной отчизне.../ Такая нестерпимая свобода, / Что для твоей звонкоголосой жизни/ Достаточно четырнадцати строчек». Течение времени, оказывается, подчинено законам творчества, искусства, то есть созидания. Оксюморон «нестерпимая свобода» ассоциируется с сонетной формой, а не с изгнанием, не с французскими рыцарями и монахами-доминиканцами, опустошавшими Прованс приблизительно в то же самое время. Творчество Петрарки (и Данте, а иначе почему — «изгнание?»), появление сонетной формы становятся главными событиями эпохи, истории, времени.

С тех пор за Микушевичем закрепились репутация поэта тонкого, с богатым и чистым языком, автора философской лирики и проникновенных стихов о культуре. А люди, пришедшие в поэзию «от сохи» и свято верившие, что образование вредит непосредственности, добавляли: «Стихи переводчика».

Однако Микушевич удивил и своей первой книгой, и последующими публикациями даже благожелательных читателей, выплеснув водопады образов и открыв такие языковые кладбища, о которых многие забыли за долгие годы диктатуры серости и усредненности.

Если бы меня спросили, каков основной мотив книг Микушевича — «Крестницы зари», «Сонетов Пречистой Деве» (1997, 1999), «Бусенца» (2003), — я бы не задумываясь ответил: любовь:

В том лабиринте средоточий,  
Где небо землю посетило,  
Со мною только эти очи,  
Два пронизательных светила.

И я не то, чтобы немею,  
Я только буквы забываю.  
Слезам свет назвать не смею,  
И слезы светом называю.

И в этом северном сиянье  
Такая сила притяженья,  
Что вместо вечного сближенья  
Первоначальное слиянье.

Все книги Микушевича — не сборники, а книги стихов, цельные в своей композиции, тематике и структуре, книги о любви, земной и небесной, о некрикливой и трезвой любви к России.

Бог задумал тебя и задумал меня,  
От соблазнов других нас ревниво храня.

Сотворил и послал нас в разрозненный мир,  
В царство братских могил и отдельных квартир.

В этих стихах Микушевич уже не игнорирует реальность и современность, приметам которой являются братские могилы и отдельные (а нередко и коммунальные) квартиры. Однако в «Крестнице зари» преобладает мотив «первоначального слиянья» и гармония, которой разрешаются все, даже трагические противоречия:

Все в том же саду грозное минует ненастье,  
Все в том же саду наступает мое воскресенье,  
Все в том же саду мне теперь улыбается счастье,  
Мое запоздалое счастье, в котором спасенье.

Анафорические повторы сродни заклинанию. Параллельные конструкции в сочетании с неброскими рифмами (при том, что Микушевич умеет поразить неожиданной и эффектной рифмой) еще сильнее, на мой взгляд, подчеркивают тему запоздалого счастья. Лишь иногда в стихах Микушевича боль говорит о себе прямо и от того убедительно:

Ангелу ведали воплотиться  
Средь земной прилипчивой тухли,  
Воплотиться, то есть поплотиться  
За чужие гиблые грехи.

И сперва, прельстившись речкой жалкой,  
Тиной, где кувшинки вместо звезд,  
Ангел по ошибке стал русалкой,  
Крылья променял на рыбий хвост.

Очарован влажными лугами,  
Пёстрою прибрежной полосой,  
Обзавелся стройными ногами  
Ангел с тёмно-русою косой.

Но земля — не облако, не заводь;  
Преуспеть без крыльев — не судьба.  
Тот, кто знает, как летать и плавать,  
Знает как мучительна ходьба.

И когда проходишь ты по всполью,  
Начинает резать и колоть.  
Каждый шаг пронизывает болью  
Благоприобретенную плоть.

И тебя с твоей бедой земною  
Грех судить мне, страшно прославлять,  
Потому, что лишь такой ценою  
Ангелы способны исцелять.

Сравнивая двух «Ангелов», стихотворения Шатрова и Микушевича, написанные одним размером — 5-стопным хореем, я писал о том, что несмотря на разительное сходство, это совершенно разные стихотворения, так как у Шатрова в центре 1-е лицо единственного числа, «я», а труд поэта сравнивается с несением земного креста, потому-то и плачет душа в рае, которая должна воплотиться в «меня», то есть в следующего непризнанного поэта для которого стихотворчество не карьера, а судьба. У Микушевича же в центре «не-я», а 3-е лицо единственного лица сменяется 2-м, и самый мотив воплощения включает в себя сходную аллюзию на «Русалочку» Андерсена, а мотив бескрылости, боли и греховности земного существования парадоксальным образом трансформируется в концовке, когда оказывается, что земной грех — расплата ангела-женщины за исцеление, за спасение других грешных душ. В итоге, мотив андерсеновской «Русалочки» прочитан русским поэтом не менее интересно, чем в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна. Воплощение рождает

боль за несовершенство мира. Воплощение в слове –  
боль о невозможном, о несовершенстве перевода с языка  
видения на язык земной:

И на исходе года светового  
Какие средства и какие цели,  
Когда вначале было только слово,  
Которого сказать мы не успели;

Мысль о том, что для поэта слово – его дело, а дело –  
это слово, стала уже аксиомой, почти трюизмом. И тем  
не менее противоречие между жизнью в слове и жизнью  
среди людей не снимается, а выходит за рамки страницы,  
пространство же принимает облик страницы:

Когда бы я увидел царь-девицу,  
Я вспомнил бы, что есть еще земля,  
Но принял я пространство за страницу.

Путь к цельности и единству в этом мире проходит че-  
рез противоречия, «логово антиномий». Об этом стихо-  
творение «Маска Канта» из «Таллиннской тетради». На-  
веянное посмертной маской Канта, хранящейся в Музее  
классической древности Тартуского университета, стихо-  
творение это воссоздает и образ Канта, и противоречи-  
вость его философии. Образ «дальнозоркого гнома», как  
заметил Леонид Столович в комментарии к этому стихо-  
творению, восходит к стихотворению Александра Блока  
и перекликается с воспоминаниями И. М. Муравьева-  
Апостола, писавшего после посещения Канта в 1799 го-  
ду, что тот похож на Вольтера, изображенного скульпто-  
ром Гудоном с саркастической улыбкой. Потому и  
«жизнь, саркома сарказма, / Усиливается, дразня / Чаю-  
ем или чтивом, / Но даже этот мираж / Заканчивается  
взрывом...». Воплощая эти противоречия, Микушевич  
уже по-иному обращается со словом: аллитерация, кор-  
невая игра, резкие столкновения таких близких по звуча-  
нию, но различных по значению слов, как «саркома сар-  
казма» придают неожиданный смысл всему стихотворе-  
нию. Воссоздавая диалог Канта с Богом, Микушевич  
проводит читателя через все круги отрицания – милосер-  
дия, любви, бессмертия души и самого существования  
Бога – к неожиданному утверждению:

И, зоркий, в мире ином,  
Себя узнавая в Боге,  
Беззвучно смеется гном.

Борьбой антитез, удвоенных сферическими зеркалами  
оксюморонов увлекают и «Страсти по Владимиру»,  
опубликованные в 1-м номере альманаха «Петрополь»:

Когда в блаженном оскуденье  
В необитаемом раю,  
Себя приняв за привиденье,  
Я Богу душу отдаю,  
Как будто бы душа отдельно  
От биографии скудельной  
Над бутафорией парит  
И часто принимает Еву  
За огнезрачную Лилит,  
Препятствующую посеву  
Огня небесного в земном,  
Мол, пусть родится лучше гном,  
Чем Божий Сын, когда родится  
Сын человеческий затем,  
Чтобы воскликнул тот, кто нем:  
«Осанна», лишь бы убедиться  
В том, в чем уверился Фома:

Тогда срывает этикетку  
Душа с бесплодного ума  
И возвращается сама  
На Рождество в грудную клетку.

Все естественно настолько, что не успевая опомниться,  
вновь следуешь воле витка, и только много позже оказы-  
ваешься способен проанализировать: да это же *одно*  
*предложение*, где все перекликается – какая-то динами-  
ческая симметрия сферических зеркал, удваивающих,  
множащих энергию антитез и оксюморонов и в конце  
концов от отрицания приводящих к утверждению. И  
вновь слова употреблены «на сдвиге», как в сочетании  
«биографии скудельной»: слово «скудельный» – вполне  
библейское, означающее «бренный, тленный» в сочета-  
нии с обыденным словом «биография» (в отличие, ска-  
жем, от высокого «судьба») рождает неожиданный эф-  
фект. Такого же плана сочетания «в блаженном оскуде-  
нье», «в необитаемом раю», а стих «Я Богу душу отдаю»  
вмещает в себя сразу два значения, идиома «отдать Богу  
душу» приобретает ту объемность, которая и отличает  
истинную поэзию от плоских, даже зарифмованных вы-  
сказываний. Душа переходит из физического мира в ме-  
тафизический – без мучительных противоречий и пре-  
одоленных соблазнов подобные метаморфозы невозмож-  
ны. Это метафора, которая стала метаморфозой, если  
вновь обратится к формуле Мандельштама.

Высшая любовь принимает в стихах Микушевича зем-  
ные формы. Искусство любви – это, быть может, умение  
увидеть земное в небесном, а небесное в земном, где  
«Психея, мышь летучая, висит, / Вцепившись в наши  
ребра коготками». Реальность становится мифом, совре-  
менность растворена в предании, которое уводит поэта к  
истокам, где православие вобрало в себя язычество, так  
же, как в таких стихотворениях как «Острога», «Царевна-  
лягушка», «Лось и я» и «Бусенец», в которых метамор-  
фоза становится метафорой, если перефразировать из-  
вестное высказывание О. Мандельштама. Микушевич  
открывает новые связи в языке, раздвигает границы язы-  
ка и мышления (а на мой взгляд, это – одна из главных  
задач поэзии) и, если потребуется, переступает через эти  
границы, что он и демонстрирует в большой поэме-  
действе «Любовь и Параскева», возрождающей жанр  
средневековой мистерии. Жанр драматической поэмы  
позволяет автору высказывать сокровенное и сталкивать  
мнения с большей свободой, чем даже в таких «диалогиче-  
ских» стихотворениях, как «Маска Канта» и «Страсти  
по Владимиру».

Цельность и русскость Микушевича не ограничивают,  
а ограняют его видение мира. Человек созидающий, поэт  
открыт для мира и готов принять чужое, увидеть «меж-  
планетное место» каждого народа:

Почва для нас – наше кровное тесто,  
И для хороших соседей мы тест.

.....  
Время для нас – не потоп, а река,  
Где возрождается снова и снова  
Наша естественность, первооснова  
Отмели, Острова, материка.  
(Eestima)

Культура для Микушевича – не прогресс и не цивили-  
зация: «Что значит смерть, / Когда такой ценою / Так на-  
зываемая современность?», а «всееленский охват». На со-  
временность Микушевич смотрит иронично, нередко  
скептически. Таково стихотворение «Царство перемещен-  
ных лиц»: отталкиваясь от недавних исторических собы-

тий – распада Советского Союза, массового исхода, отъезда ли в эмиграцию, или, как случилось со многими, кто никуда не уезжал, но оказался за границей России потому лишь, что переместились границы, – поэт выходит на обобщения философского, эсхатологического уровня:

В царстве перемещенных лиц,  
Где на каждом шагу утрата,  
Лишь для любящих нет границ,  
И поэтому нет возврата.

Парадоксальным образом, Микушевич, никуда не уезжавший, испытывает подобное же чувство в стране размежеваний, сместившихся географических и нравственных границ — не случайно, такое же бунинское (и блоковский) чувство любви и отчужденности преобладает в конце книги «Бусенец»:

Так ослепительно начавшаяся  
Не меркнет, всё ещё гадая,  
Эпоха, только что скончавшаяся,  
Красивая и молодая.

Друг другу показавшись чудищами,  
Мы в ожидании гостинца,  
Пытаемся всмотреться в будущее,  
Как в заколдованного принца.

Не знаем, где искать убежища,  
Когда вчера и завтра ложно,  
И разве что небрежно брезжащее,  
Лишь невозможное возможно.  
(6.08.2000)

Это стихотворение, озаглавленное “Невозможное”, объединяет в себе два блоковских мотива: боль от лицемерия эпохи и России “во рву некошенном” и нерефлексирующую, не умоустранимую любовь, которая сродни вере. Так, в другом стихотворении “постперестроечной эпохи”, полном гневного протеста и неприятия действительности, поэт приходит к смирению, любви и примирению в Боге:

Но и во льдах я оплакиваю  
Родину необитаемую;  
Вспомню лучистую, злаковую,  
И перед Богом оттаиваю.  
(“Бабочка в образе мамонта”, 1999)

Микушевич полемичен в своем утверждении, что «Слово о Полку Игореве» современнее «Евгения Онегина» “именно в силу своей архетипичности, вселенского охвата”. Однако и эта мысль послужила причиной поиска корней, уводящих к пересечению языческого славянства с православием, поисков языка, в котором «Слово» пересекается с современностью. “Дробится время, вечность неделима”, – утверждает Микушевич, перекликаясь с Эллиотом и Борхесом в «Проблесках», собрании афоризмов и раздумий. Архетипы – вселенское и неисчерпаемое – связуют прошлое с настоящим и будущим. История для Микушевича – звучащее пространство современности, олицетворяющее собой непрерывность времени и духовного развития человечества. Об этом его стихотворение «Таллинн»:

Не черепа, нет, Божьи архетипы, –  
Там «я» и «ты», случайное звено,  
Само в себе навек погребено,

Чтобы во мне свои же слышать всхлипы,  
Когда во мрак распахнуто окно,  
А перед ним – кладбищенские липы.

Откровение, навеянное созерцанием кладбища: «Божьи архетипы», где умирает, стирается граница между «я» и «ты» «случайное звено, / Само в себе навек погребено», то есть навек друг с другом соединено. Микушевич отрицает философию Фихте, основанную на положении, что «я есть я», и так приходит к отрицанию смерти. В своих эссе и лекциях он развивает эту мысль, утверждая, что все тождества ошибочны и иллюзорны, а природа человека в том, что он всегда больше самого себя.

Несмотря, а может быть, именно в силу этого утверждения, особым трагизмом исполнено стихотворение «Смерть Ивана Бунина» – об одном из самых русских писателей, который из-за все той же порочной неизбежности границ и злой логики тех, кто их установил, был вынужден жить и умереть, не увидев своей России, вынужден был

Сказать «весна», когда приходит осень.  
Сказать «любовь», когда кругом пустыня.  
И суждено тебе сказать «Россия»,  
Когда твоя Россия – не твоя.

Любовь к России для Микушевича – это прежде всего любовь к ее природе, культуре, духовному наследию, которые неразрывно переплетены в таких стихах, как «Неугасимый закат» и «Царское село», где сама земля, сам воздух, по утверждению Микушевича, помогают нам обрести себя:

...Но здесь взамен потусторонних благ  
Самих себя мы повстречаем снова.

Микушевич как бы занят очищением времени, пространства, духовной реальности от злободневного и сиюминутного. В ранних своих стихотворениях, как «Курсив» и «Сонет», он, если можно так выразиться, демонстративно «переписывал» историю, утверждая, что главное событие эпохи появление сонета или, скажем, шрифта «курсив», который, как указывает в примечании автор, был впервые применен в XVI веке издателем А. Мануцием и копировал почерк Петрарки (к слову сказать, Эзра Паунд в *Canto XXX* говорит о том же и делает изобретение курсива одним из главных событий эпохи, но утверждает, что шрифт курсив изобрёл не Мануций, а Франческо да Болонья). Позже Микушевич стал все пристальнее всматриваться в приметы времени, пространства, реальности, не принимая ни «так называемой современности», ни прогресса, который наносит ущерб душе, как бы говоря: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит»? Не принимает Микушевич и границ, признавая их дурное постоянство:

Все проходит, кроме границ,  
Где границы, там нет союза.

Более того, Микушевич бросает вызов даже таким нравственным ценностям прошедшего XX века — века двух мировых войн, как коллективное (и анонимное) поминовение павших: начиная с аллюзии на Данте в стихотворении «Вечный огонь», наш современник, казалось бы, высказывает несовременную и несвоевременную мысль:

Под обелисками только пустоты,  
А над пустотами пляшут огни.



Пусть наше войско еще не отпето,  
Каждый боец перед Богом предстал;  
Души, тела бесприютные где-то,  
Всюду тоскуют они по крестам.

Огненных слез мы во тьме не уняли;  
После сражений и после погонь  
Пишется грозная правда огнями:  
Адский огонь - это вечный огонь.  
(1991)

Вспомним, однако, что неприкаянный дух Ельпенора в «Одиссее» просит своего вождя похоронить его, водрузив над ним “злополучным и до поры безымянным” весло, и таким образом дать ему возможность обрести покой. Соединяя века и продолжая тему «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама, Микушевич говорит не только о невыполненном моральном и религиозном долге, но и о забвении исторической памяти, когда воздавая внешний почет коллективному солдату неизвестному, мы предаем забвению “миллионы убитых задешево” (О. Мандельштам).

Отрицая здравый смысл и “географический морок” не только трехмерного, но и четырехмерного пространства, Микушевич выбирает иррациональный путь веры в поисках выхода из тупика неверия, безлюбия и скепсиса:

Кто говорит: Ариадна?  
С толку сбивают слова.  
Осенью так безотрадн  
Призрачная синева.  
Только морочит беспечно  
И никуда не ведет.  
Нить путеводную вечно  
Дева Мария прядет.  
(«Безымянный тупик», 15.10. 1976)

Время для Микушевича «не поток, а река» — не «река времен», а помощница в труде, та река, по которой, «как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». Поэтический мотив Микушевича — время, сгустившееся в движение духа, пространство, ставшее страницей, история как развитие духовных устремлений и культуры. Именно поэтому он вторично опубликовал свой «Памятник», ставит себе в особую заслугу служение мировой культуре, которое для него является источником обогащения родной культуры и, стало быть, служа культуре европейской, он служит культуре русской, русскому языку, России:

И не участвовал я в повседневном торге,  
Свой голос для других в безвременье храня;  
Кретьен, Петрарка, Свифт, Бодлер, Верлен, Георге,  
Новалис, Гёльдерлин прошли через меня.

В готических страстях и в ясности романской  
В смиренье рыцарском, в дерзании малых сих  
Всемирные крыла культуры христианской -  
Призвание мое, мой крест, мой русский стих.

Останется заря над мокрыми лугами,  
Где речка сизая, где мой незримый скит,  
И церковь дальняя, как звезды над стогами,  
И множество берез и несколько раки.

В России жизнь моя - не сон и не обуза,  
В России красота целее без прикрас;  
Неуловимая целительница Муза,  
Воскресни, воскресив меня в последний час!  
(1977)

Три книги собственных стихов издал поэт, которому в 2006 году исполняется 70 лет, из которых более 50 лет отдано поэзии, литературе. Три? Между ними тома Новалиса, Петрарки, “Сонеты” Шекспира, в которых впервые Шекспир зазвучал как Шекспир, а не Спенсер, каким его представил Маршак (переводу “Сонетов” Шекспира Микушевичем — следует посвятить отдельную статью), перевод других сокровищ англоязычной поэзии от Поупа до Паунда. «Загадочная русская душа» для Микушевича — не самоограничивающий идеал «почвенника», но поиски пересечения двух миров — Востока и Запада. Это встреча двух культур: одной, усвоившей классическую древность сначала от Западной Римской империи, как об этом писал русский мыслитель XIX века Константин Леонтьев, а затем, в период Возрождения, которое Леонтьев называл «эпохой сложного цветения», — от византийской, и другой — славянской, усвоившей и религию, и культуру непосредственно от Византии. Эта мысль близка Микушевичу: не случайно он все время говорит о культуре как о «цветущей сложности» и о «золотом веке как о сочетании первобытной невинности с цветущей сложностью» («Проблески»). Потому вслед за Данте, Гете, Гельдерлином, Мандельштамом, Волошиным, Элиотом, Паундом и Готфридом Бенном Микушевич в эссе «Мечта о Европе» говорит о «неделимом небе Европы», о неделимости средиземноморского наследия, о средоточии «цветущей сложности» национальных культур, не разрушающим самобытности каждой из них. Благодаря такому видению культуры, истории и реальности Микушевич живет под «неделимым небом Европы» и при этом остается истинно русским поэтом.

2005

#### Примечания:

- (1). Тарановский, К. «О Взаимоотношении стихотворного ритма и тематики». *American Contribution to the Fifth International Congress of Slavists, I: Linguistic Contributions*. The Hague, 1963, 287-322. Rpt. *О Поэзии и поэтике*. М: Языки русской культуры, 2000, 372-403. Гаспаров, М.Л. *Метр и Смысл*. Об одном из механизмов культурной памяти. Москва: РГГУ, 1999.
- (2). Roman Jakobson. “Studies in Comparative Slavic Metrics.” *Oxford Slavonic Papers*. III (1952), и его же *Selected Writings*. The Hague, 1979.
- (3). Тарановский, К. «О Взаимоотношении стихотворного ритма и тематики». *О Поэзии и поэтике*. М: Языки русской культуры, 2000, сс. 386-387.

#### Библиография:

- Гаспаров, М.Л. *Метр и Смысл*. Об одном из механизмов культурной памяти. Москва: РГГУ, 1999.
- Есенин. С. *Собрание Сочинений* в 5 томах. Москва: Художественная литература, 1967. Т. 3.
- Лермонтов, М. Ю. *Собрание сочинений* в 4-х томах, М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1961.
- Микушевич, В. Крестница зари. М.: Современник, 1989.
- Микушевич Вл. Б. Поэтический мотив и контекст/ Вопросы теории художественного перевода. - М., 1971. - С. 40-42.
- Тарановский, К. «О Взаимоотношении стихотворного ритма и тематики». *American Contribution to the Fifth International Congress of Slavists, I: Linguistic Contributions*. The Hague, 1963, 287-322. Rpt. *О Поэзии и поэтике*. М: Языки русской культуры, 2000, 372-403.
- Шатров, Н. Стихи. Сост. Ф. Гонеонский и Я. Пробштейн. Предисловие Я. Пробштейн. Нью-Йорк: Аркада - Arch, 1995.
- Jakobson, Roman. “Studies in Comparative Slavic Metrics.” *Oxford Slavonic Papers*. III (1952).
- Jakobson, Roman. *Selected Writings*. The Hague, 1979.

## ВИЛЬЯМ БАТКИН

### ОСЕНЕННЫЙ ОСЕНЬЮ ПОЭТ...

Памяти Патриарха русской поэзии Израйля –  
Савелия Гринберга

**ЭНЕРГИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА.** Достоверная информация о достославном возрасте Поэта – в двузначной цифре властвовала округлая восьмерка с притороченной пятеркой. Эти цифры предполагали кручинную встречу с высохшим, сгорбленным старцем. Но на творческом вечере Савелия Гринберга в иерусалимском Музее итальянского еврейства предстал элегантно-статный автор, с первых минут мастерски и ненавязчиво овладевший аудиторией. Он говорил негромко, молодо и напористо читал свои стихи. Они, словно волны, накатывались на слушателей, в одночасье и очаровывали запасом энергии поэтического слова:

...Утро и лица теплеют, \ словно вытасканные из ночи...

Или:

...Там на верховьях \ вдоль по урочищам рекастым \  
осколки солнца иных времен...

А спустя несколько дней поэт принимал меня – приглашенного – в своей непритворной иерусалимской обители, заставленной блоками книг. Усаженный в кресло, я чувствовал радушие, мог наблюдать хозяина в привычной, домашней обстановке. И первое впечатление, четкое и неопровержимое, возможно неожиданное, – человек он свободный, вольный, независимый. Одет он был в васьково-темную, легкую, неприталенную сорочку, на горле – распахнутую, – под стать его нраву. Походка и жесты – пластичные, разлет белоснежных волос – шелковистых, над крупным лбом, черное надбровье над глубокими глазами, скулы острые, щеки до розовости начисто выбритые. И губы яркие, улыбкой означенные, и весь облик – нескорбный, свободный, какой нам всем предначертан, да обретен не каждым...

...Лицом к лицу лица не увидать,  
большое видится на расстоянии...

Есенинские лаконичные строки, вырванные из контекста, изначально по праву афоризма обреченные на признание, в данном случае позволили мне – при четырехчасовой беседе – лицом к лицу с Савелием набросать лишь эскизный его портрет. Истинное же, доподлинное изображение поэта – в его творчестве – крупном и глубоком, оригинальном, непохожем, то, что называется поэзией Савелия Гринберга.

По основным возрастным этапам биографии С. Гринберга следовало бы отнести к громкому поэтическому поколению Константина Симонова и Маргариты Алигер, Павла Шубина и Ярослава Смелякова, Льва Озерова и Вероники Тушновой. Но он с ними изначально разошелся в главном – дарованная Савелию Гринбергу Свыше поэзия – свободная и раскованная – не пожелала ни за какие блага повиноваться власти предрекающим, и его никогда не печатали в стране Исхода, впрочем, он никогда не сгибался в редакционных кельях столичных журналов.

Москвич с двухлетнего возраста, по интеллигентности, по самообразованию, по прозрачной чистоте русской речи, не замутненной после двадцатилетнего погружения в ивритскую среду, он с молодости и до сегодняшнего дня писал стихи, обозначаю их «савелиогринберговские», ибо едва ли специалисты-литературоведы, лингвисты найдут им аналоги.

Поэт Савелий Гринберг – дитя народа Авраама, одарил нас высоким слогом российской поэзии. Его стих непрост, необычен, и оттого, можно споткнуться на уступах его сложения, на устно-разговорных ритмах.

«МОСКОВСКИЕ ДНЕВНИКОВИНКИ» – название первой книги Савелия Гринберга, изданной в 1979 году в Иерусалиме. «Дневниковинки» – неологизм, вновь появившееся в языке слово, обнаруженное поэтом в неисчерпаемых языковых запасах, его патент, придумка, не механически собранное, а слитое из двух слов – якобы разноликих, разноперых, разновалентных: *дневник*, вбирающее регулярные важнейшие записи, и *дикинины*, точнее *дикивинки* – странные удивительные явления. Оба слова порознь – привычны, всегда на слуху, но, сплавленные в пламени авторской творческой фантазии, они и щедро пополняют язык, и предельно точно озаглавливают сборник стихотворений, в котором каждое – и впрямь в диковинку.

«...когда я прохожу сквозь город  
от Арбата до Таганки  
в глубины выгнутых старинных переулков  
Заяузя  
завязшего в веках...»

Или:

«...Москва пролетала отнятым счастьем...»

Изданная в Иерусалиме книга – от первой строки до последней – московская, сотканная мастерски и вдохновенно, на любви и страдании, выдохнутая сквозь изнывающим от боли сердцем за тридцать лет репатриации. Невзирая на непризнание, поэтическую судьбу, изломанную невостребованностью, на антисемитизм – он принадлежал российской и одновременно вселенской культуре.

Мне «Московские дневниковинки» интересны тем, что «это было с нами или страной, или в сердце было моим...» – судьба Савелия Гринберга, невольного поэтического отшельника, в те годы, горестные и кровотокающие, прочно сочленена или переплетена с частью государства, ныне нами именуемого страной Исхода:

В тридцатые годы, после трагической смерти великого Поэта, он участник «бригады Маяковского»...

В сороковые – доброволец народного ополчения, военный корреспондент в окопах «Малой земли» – не той, брежневской, а захлебнувшейся кровью молоденьких морских пехотинцев Цезаря Куникова...

«Береговыми тропами \ придавлено \ к земле \ перебинтованное небо \ в тампонах облаков».

Или:

«Граненое волнами море \ в обвалах ночных облаков \ в походах \ волнам и разрывам \ наперерез \ с Большой на Малую \ в звездный \ огненный рейс».

В пятидесятые-семидесятые годы Савелий – научный сотрудник Музея имени В. Маяковского, сотрудник штатный, но штампами не мыслящий, осознавший – исподволь или внезапно – барометр удушливой атмосферы власти зашкалило. И прежде неприятие советской системы рвется наружу – в рокот строк. В 1973 году Савелий Гринберг репатрируется в Израиль.

Ибо: « В начале было слово \ а потом нарушение его...».

– Савелий, – спрашиваю я у поэта, – какое самое яркое впечатление у вас на Земле Обетованной за все эти годы?..

– Свобода... Человек должен быть свободен от своего собственного существования... Поэзия связана со свободой... Поэзия – самоосвобождение.

Когда мы, в силу различных обстоятельств, уезжали в Израиль, мы рвали с корнями, по живому, оставляли любимых, друзей, родных, ощутив опустошенно себя за бортом той прожитой жизни, и лишь спустя время внезапно счастливо осознав – самое дорогое в себе, в раздраемой боли душе мы увезли с собой, пронесли сквозь таможенные турникеты. С. Гринберг об этом напрямую

не говорит, как и о своей негромкой, глубинной, не декларативной любви к Эрец Исраэль, где он стал большим, признанным почитаемым израильским Поэтом.

«ОСЕНИА». Именно так, с ударением на третьем слоге, называется следующий сборник стихотворений Савелия Гринберга, изданный в 1997 году в Москве при поддержке преданных друзей, и через четверть века не вычеркнувших Поэта из памяти.

А он остается верен себе - и по стилю, и по тональности, и по форме стиха, даже в названии вновь неологизм – ОСЕНИА. Этот неологизм красочный и точный, философский и глубокий. Он вобрал в сочном слове *осень* весь полный спектр смысловых нагрузок: и корень – *сень* – покров, с глаголом *осенить* – покрывать, как сенью, в знак защиты, покровительства, и явленной внезапно чистый ручей, в реку рвущийся исток новой книги «Осениа».

Еще в первой книге поэта я неожиданно обнаружил четыре строки заворожившие меня: «...Бывало - встретишься в толпе с ней. \ Под грохот моря выйдешь к ней, \ была когда-то песня песней, \ а нынче осень осеней...» Четверостишие это, словно мост переброшенный, словно чистый ручей, в реку рвущийся исток новой книги «Осениа».

Оба сборника «Московские дневниковинки» и «Осениа» обогащают друг друга, не зря ведь автор продуманно и обоснованно включил во вторую книгу несколько фрагментов из первой. И все же «Осениа» - ярче и красочней, глубже и таинственней, и исповедальней – так талант самобытного художника от картины к картине, от книги к книге вбирает и накопленный опыт, и в непрестанном поиске новые краски и слова изыскивает. Читатель, уже сжившись с неологизмами поэта, акклиматизировавшись в его словесных импровизациях, в мире его внезапных метафор, изловчившись не проваливаться, словно в проруби, в тексты без знаков препинания, вдруг вновь обнаруживает для себя нечто новое, непривычное, сызнова завораживающее.

«...Бескрайние глаза глубин \ пронзающие чернью огненных зрачков \ осенний маскарад лесов».

Или: «В распахнутое утро \ улица Атлантидой \ выплывает из пучины темноты».

Или: «Здесь на изгибающихся асфальтах \ громоздкого \ задыхающегося города \ когда тополиные пушинки плывут».

Четырнадцатистроочная строфа – онегинская строфа, которой написан весь «Евгений Онегин» - пушкинский патент. И Савелий Гринберг мастерски, словно играючи, изящно и вдохновенно, и естественно приглашает нас под высокие своды храма онегинской строфы, где уже в авторском исполнении звучат его лирические стихи, узнаваемые, савелиогринберговские, - тридцать одна строфа в книге. Вот одна из них:

В полнеба осень распушило  
От подожженных облаков  
По несгораемым стропилам  
Лучи скользят на твой балкон  
К чему морфемы и фонемы  
Когда мы скованы и немые  
Так вспомним солнца времена  
Любое время криминал  
Бушуют фабулы утопий  
- Утопия – Утоп и я  
Утопия Цветы Поля  
Подмостки Сцены – Все утопят  
Театр летучий мореход  
И легендарный Мейерхольд

Поэма «Осколковщина» - именно поэма, в ожеговском определении, большое произведение в стихах, обычно на историческую или легендарную тему. Сложенная С. Гринбергом о нашем времени и о себе, она исторична и легендарна, - из чего-то схваченного, услышанного, проговоренного, словно мозаичный узор из осколков камней, стекла, стали...

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ. Не приехавший за долгую жизнь к восторженному и шумному приему зрительного зала, не говоря уже о внимании критики в печати, напротив, к заговору молчания вокруг своей поэзии, Савелий Гринберг достойно и спокойно провел поздней осенью 1997 года творческий вечер в Музее В.В. Маяковского. Это была презентация первой московской книги «Осениа», общепринятая дань почитания давнишнему сослуживцу музея, интерес любителей русской словесности. «Осениа» не могла пройти в Москве незамеченной... Нет времени.

Но это было не первое его посещение Москвы – уже постперестроечной, после десятилетий репатриации. Вероятно, одновременно ностальгический всплеск и осознание собственной судьбы, врезанной в память, запечатленной в стихах, начатых еще в 40-60-е годы в Москве, дописанных в Израиле... О Савелии Гринберге вспомнили, пригласили в Москву – в канун столетнего юбилея Владимира Маяковского – он ярко и интересно выступал и на международной научной конференции «Маяковский на рубеже XXI столетия» (19-21 мая, Москва, ИМЛИ), и за «круглым столом» в Музее В.В. Маяковского, где до репатриации долгие годы работал.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА. Разумеется, вдумчивому и чуткому читателю, очарованному стихами Савелия Гринберга, небезынтересны речевая тайнопись его поэзии, источники и истоки запасов энергии его лирики, и если первая составляющая – милость Б-жья, очевидна и неоспорима, то о его виртуозной технике следует поговорить особо, прежде всего нам, приученным или привыкшим к силлабо-тонической строгой ритмике стиха – яростному ямбу, нахохленному хорею, размеренной поступи амфибрахия.

Не мной сказано – каждый пишет, как он пишет, а Савелий Гринберг, напряженно вслушиваясь в Небо, исповедует и передает бумаге свои свободно ритмические композиции, наполненные разговорной интонацией, щедро насыщенной новыми формами, словосочетаниями, сплавами. Углубленный всесторонний анализ поэзии Савелия Гринберга еще ждет исследовательской дотошности лингвистов, мы обозначим лишь основные, впечатляюще характерные: уже упомянутые неологизмы – новые слова, сотворенные поэтом, - «Осениа», «Дневниковинки», «Онегостишья», «Хеменгуэзье», «ведьмофейство» и ряд других, неожиданно точных, используемых автором для передачи оттенков чувств или предметов; это и гринберговское открытие - «рифмоуловители» - внезапно щедро рассыпанные, вкрапленные, передвигающиеся по стиху рифмы, созвучия не только в конце строки, но и в середине или в начале:

«...Мимоз! / мимо озера», «...ветры заиндевели \ Индию выдумали индивидуумы...», «Выставка Пабло \ когда тряхануло земную палубу», « И жизнь пикасса, и жить Пикассо...» - к открытию в 1956 году выставки Пабло Пикассо в Москве. Обращая внимание на «онегостишья» Савелия Гринберга, в которых он легко и изящно входит под высокие своды пушкинско-онегинской строфы, не упомянул я о неожиданно точных великолеплных рифмах: «облаками – облакают», «далекость – клетот», «лукаво – лекалом», «нагрывает – на грани», «рысками – рассекали», «мореход - Мейерхольд», - вплетен-

ные в стихи, они их усиливают, несут дополнительную нагрузку, впечатляют.

Даже у именитых мастеров, уже проверенных временем магов поэтического слова, есть красная черта – дозволенные себе границы, через которые они не переступают. Савелия Гринберга отличает завидная, непонятная традиционному пишущему безбоязненность, неустрашимость в работе над словом – его язык не боится сложившихся негласных запретов, его символика предлагает читателю, к примеру, слова-перевертыши, в которых логика обратного порядка чтения слова или фразы равнозначна знакомой... Так возникает его прославленная «Палиндромика», врывающаяся, словно вихрь, не только в его предварительно напряженный верлибр, но и в ямбы, и в хореи, оправдывая авторскую самоиронию: «...Ты палиндром себе воздвиг нетрюкотворный».

**ВЛЮБЛЕННЫЙ В ИВРИТ.** Каждый из нас, возвращающихся по воле Всевышнего на Землю Обетованную, искренне тешит себя надеждой вложить свой вклад, по мере сил, в становление Эрец Исраэль. Для Савелия такой мечтой, реальной, осуществленной, стали переводы ивритских поэтов на русский язык, - его «Шира Хадиша» - страницы новой израильской поэзии в переводах Савелия Гринберга, выдержали два издания (1992, 1995 г.г.) стали библиографической редкостью.

К моменту репатриации в 1973 году – Савелий Гринберг был уже сложившимся русским поэтом, со своей своеобразной, оригинальной поэтикой. Как и Маяковский, уверенный, что «время родит такого, как я, длинноногого», он интуитивно чувствовал, что в Израиле – современном, свободном, - должен быть – есть поэт, близкий по поэтическому миропониманию – новаторскому, модернистскому.

И Савелий Гринберг находит в журнале «АТ» стихи такого поэта – Давида Авидана и знакомит автора со своими первыми русскими переводами. Младше Савелия на двадцать лет, крупнейший мастер в израильской поэзии наиболее новаторского направления, художник и кинорежиссер, Давид был взволнован и переводами нового репатрианта, и его пониманием стиля, слога, словотворчества своего поэтического собрата. Началось многотруднее сотрудничество, искренняя мужская дружба – русские переводы Савелия Гринберга появлялись в печати вслед за выходом новых книг Давида Авитана. Но в 1995 году он внезапно ушел из жизни, и Савелий Гринберг, сужу по личным впечатлениям, тяжело пережил смерть своего друга.

Для профессионального переводчика перевод начинается с выбора, и Савелий сделал безошибочный выбор – благодаря его книге «Шира Хадиша» (буквально: поэзия новейшая) русскоязычный любитель словесности смог познакомиться и оценить, и восхитится стихами современных израильских поэтов – Давида Авидана, Иегуды Амихая, Ионы Волох, Натана Заха, Меира Визельтира, и одного из крупнейших поэтов Израиля – Ури-Цви Гринберга, и ряда других. Не зря ведь не щедрая на похвалы новым репатриантам израильская пресса, отмечая мастерство его переводов, назвала Савелия Гринберга русским поэтом, влюбленным в иврит.

Мне остается лишь посоветовать на лимитированные незыбкие журнальные рамки и пообещать читателю «Побережья» отдельный рассказ о современной израильской поэзии - новаторской, модернистской – в переводах Савелия Гринберга.

**СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.** Признание современников, желанное и нелишнее, неременное и ко времени, пьянящее, как первач крестьянский, сладкое, как патока, имеет и обратную сторону медали – затягивает, словно тина болотная, слепит и развращает – сколько

самородных дарований извели, промотали свой талант, обожглись в чадающих лучах славы, исчезли, словно бабочки – однодневки, - сберегли себя лишь единицы.

Есть в механике понятие – сопротивление материалов – свойство материалов противодействовать изменению их форм, - и к поэтам это тоже применимо. Да простит меня поэт Савелий Гринберг, милый сердцу моему Савелий Соломонович, но едва ли бы он состоялся по большому счету, если бы – дадим волю фантазии – его изначально, молодого и дерзкого, признали и печатали, жаловали бы и тиражировали, окатывали бы елеем критики, наделяли орденами и госпремиями, спецраспределителями и загранпоездками.

Но непризнание упрочило, уберегло дар запредельный – слово и слог его, и сегодня мы имеем того, кого имеем – крупного и самобытного Поэта на земле Израиля, замеченного и замечательного, очаровывающего и очарованного поэзией иврита, нам, читателям, дарованной в его переводах отточенных...

...Помню, некоторое время тому назад мы с ним долго разговаривали по телефону - он позвонил, вернувшись из больницы, - бодрый голос вселял надежду – худшее позади. Интересовался литературными новостями, о своем здоровье умалчивал: мол, еще созвонимся, переговорим... Не созвонились, не переговорили...

Умер Савелий Гринберг – патриарх русской поэзии Израиля. На кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме собрались родные, друзья, почитатели его поэзии. Наш общий друг, известный русский поэт Борис Камянов прочел поминальный *кадиш*. На горестную весть откликнулись не только у нас, но и в Москве, и в русскоязычном Зарубежье, - его поэзию знают, любят и ценят...

Время – единственный и непогрешимый критик, чуткий к счету гамбургскому, и современная русская поэзия медленно, кропотливо, вдумчиво собирает под свои знамена достойных - возвеличенных и забытых, а имена нашумевшие отсекает. Уверен, - в Антологии русской Поэзии двадцатого века, без поспешности собранной, будет и наш поэт – Савелий Гринберг.

*Иерусалим*

## ЛЕВ БЕРДНИКОВ

### ВЕРТОПРАХ, ЛЮБОВЬЮ ИСПРАВЛЕННЫЙ

*“Не умерен в похоти, самолюбив, тщетной  
Славы раб, невежеством наипаче приметной.  
На ловли с младенчества воспитан псарями,  
Как, ничему не учась, смелыми словами  
И дерзким лицом о всем хотел рассуждати”*,

– так поэт А.Д. Кантемир отозвался о любимце императора-отрока Петра II, обер-камергере, светлейшем князе, майоре гвардии Иване Алексеевиче Долгоруком. Кантемир знал, о чем говорил, ибо приятельствовал с князем Н.Ю. Трубецким, пострадавшим от самоуправства этого фаворита. “Слюбился он [И.А. Долгоруков – Л.Б], иль лутче сказать, взял на блудодеяние себе и между прочими жену к[нязя] Н.Ю.Т[рубецкого], рожденную Головкину, - рассказывает историк XVIII века М.М.Щербатов, - и не токмо без всякой закрытности с нею жил, но при частых выездах у к[нязя] Т[рубецкого] с другими своими молодыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицера кавалергардов, имеющего чин генерал-майора, и с терпением стыд свой от прелюбодеяния своей жены сносящего. И мне самому случалось слышать, что, единожды быв в доме сего князя Т[рубецкого], по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец его выкинуть в окошко, и естли

бы...сему не восприимчив[и], то бы сие исполнено было". Однако, и эта, и другие проказы временщика легко сходили ему с рук, благодаря заступничеству венценосного друга.

Чем же заслужил Иван Алексеевич монаршую любовь и покровительство? Ответ на вопрос может дать сама жизнь князя Долгорукова. Потомок Рюриковичей, который знатностью рода мог поспорить с самими Романовыми, князь был на семь лет старше Петра II, и можно представить, что значила компания "знающего жизнь" девятнадцатилетнего юноши для царственного отпрыска. Тем более, что в манерах Ивана сквозил столь притягательный для отрока Петра заграничный лоск. Ведь отрочество и раннюю юность Иван провел в Варшаве, куда его дед, блистательный дипломат Г.Ф. Долгорукий, получил назначение посланника при дворе короля польского и курфюрста саксонского Августа II Сильного. Там господствовали галломания и утонченный политес. Причем пример задавал сам Август II, изощренный в модах и любовных утех (по некоторым подсчетам, у него было свыше шестисот наложниц) и снискавший славу истинного петиметра (то есть шеголя-франкофила).

"Молодежь брала пример со взрослых, - свидетельствует писатель П.В. Полежаев, - а взрослые, в особенности придворного круга, отличались крайней легкостью нравов. Около трона короля Августа II кружились роями обольстительные красавицы, интриговавшие розовыми губками гораздо действеннее своих усатых панов и, в сущности, управлявшие государством". Несмотря на все старания деда, а затем сменившего его на дипломатическом посту дяди, С.Г. Долгорукова, дать юноше надлежащее образование (к нему пригласили в учителя известного в то время ученого Генриха Фика), Иван отнюдь не налегал на учебу - он рано закружился в вихре светских удовольствий и легких побед над доступными жрицами любви.

Из всех своих сверстников он сделался самым развязным и озорным, отличаясь при этом животной грубостью. Впоследствии историк скажет, что "согласие женщины на любодейние уже часть его удовольствия отнимало", а потому он нередко прибегал к насилию. Известно, что подобные поступки часто носят ярко выраженный маниакальный характер. Это уже патология, разобраться в которой по силам лишь врачам-психиатрам. Мы же можем констатировать, что любострастие и грубость князя вполне укладываются в психологические и поведенческие рамки петиметра той эпохи. Английский писатель, издатель журнала "The Tatler" Джозеф Аддисон сообщал, что был бы благодарен вертопрахам, если бы те носили на себе внешние знаки отличия для определения класса, к которому они принадлежали. А французский литературовед Ф.Делоффе уточняет, что среди шеголей выделялся особый тип со свойственным ему вызывающим поведением: "Им [этим вертопрахам - Л.Б.] уже не было достаточно устраивать самые роскошные дебоши; они не уважали разницу полов; были разнузданы; их уже не удовлетворяло господство в моде... Поведение их было шокирующим... В обществе они демонстрировали пренебрежение к женщинам, особенно к женщинам высших классов".

Всякая типизация неизбежно грешит схематизмом. В действительности характер Ивана отличался своеобычностью и был сложнее, многограннее заданного шаблона. По отзывам большинства современников, он был легкомысленным и развратным человеком; не выделялся ни умом, ни способностями; слыл непросвещенным и безнравственным. Болезненное честолюбие, чванство, презрение по отношению к другим дворянским фамилиям (не говоря уже о безродных "выскочках"), сочетавшиеся

с кутежами и озорством, принесли ему дурную славу. Вместе с тем (это тоже отмечали очевидцы) в нем наличествовала какая-то особая внутренняя доброта, отзывчивость на все благородное. В его дерзких, иногда безумных выходках проглядывало скорее легкомыслие, чем подлость и низость.

"Всегда франтоватый и даже роскошно одетый, умевший, когда надо, вести себя прилично и с тактом, - говорит о нем в романе "Юный император" Вс.Н. Иванов, - ...понявший характер императора, ...он, естественно, должен был играть большую роль при Петре". И к царю Иван привязался искренне. Они сошлись еще в 1725 году, во время правления Екатерины I, когда Долгорукова назначили гоф-юнкером к тогда еще десятилетнему великому князю Петру Алексеевичу. По словам очевидца, Иван сразу встал перед ним на колени, "изъявляя всю привязанность, какую весь род его к деду его, Петру Великому, имеет и к его крови, по рождению и по крови почитает его законным наследником российского престола, прося... увериться в его усердии и преданности к нему".

Как и все семейство Долгоруких, он интригует против генералиссимуса А.Д. Меншикова, который после провозглашения Петра II императором стал фактически самовластным правителем России. Особенно противился Иван плану Меншикова женить царя-отрока на своей дочери Марии, за что был понижен в чине и записан в полковые полки. Однако после падения "прегордого Голиафа", Меншикова, Иван Долгоруков становится неразлучен с царем.

Испанский посланник герцог Де Лириа отмечает, что "расположение царя к князю Ивану таково, что царь не может быть без него ни минуты". Дружба их стала настолько глубокой, что князь даже почивал в покоях Петра II. Причина такой их близости коренилась и в характере самого императора. Последний любил всякого рода потехи и был расположен к той бездельной жизни, в которую втянул его ветреный фаворит. Князь же, потакавая Петру, с готовностью доставлял ему всевозможные удовольствия: балы, куртаги, кутежи за городом с бенгальским огнями, иллюминацией и фейерверком. Он привил царю-подростку и вкус к развлечениям эротического свойства. Есть свидетельства, что с наступлением ночи они выезжали из дворца и неизвестно где пропадали до утра; спать же ложились в семь часов утра; а на следующий день все начиналось сызнова. Архиепископ Новгородский Феофан Прокопович писал по этому поводу, что Иван "сам на лошадях окружен драгунами, часто по всему городу, необычным стремлением, как бы изумленный, скакал, но и по ночам в честные дома вскакивал, - гость досадный и страшный!" Предводительствуемая им шайка распутников довела до того, что "честь женская не менее была в опасности тогда в России, как от турков во взятом граде".

Другой страстью царя и его любимца была охота. Значительную часть времени друзья проводили в лесу на биваках с их незатейливыми радостями. Известно, к примеру, что за осеннюю охоту 1729 года Петр и его свита, размещившаяся на пятистах экипажах, затравили 4000 зайцев, 50 лис, 5 рысей и 3-х медведей. А один исследователь подсчитал, что в июле-августе 1729 года они были на охоте 55 дней, а из двадцати месяцев 1728-1729 годов - целых восемь месяцев.

Модной игрой при дворе юного императора становятся карты, столь ненавидимые когда-то его великим дедом. Иногда Петр II предпочитал их даже "игре в любовь". Можно только присоединиться к словам австрийского посланника: "Дело воспитания государя идет из рук вон плохо" и к заключению польского эмиссара И. Лефорта:

“Он действует исключительно по своему усмотрению, следуя лишь советам фаворитов”.

В фавориты Петра выдвинулся и соперничавший с сыном во влиянии на государя князь Алексей Григорьевич Долгоруков. Человек невеликого ума и колоссальных амбиций, он вел свою собственную игру, решив повторить опасный путь Меншикова и стать императорским тестем (злые языки говорили, что он тем самым открыл “второй том глупости Меншикова”). Рассчитывал он на то, что красота и отсутствие предрассудков у его старшей дочери Екатерины заставят Петра потерять голову, а уж потом “покрыть грех” можно будет только свадьбой. К тому же княжна Екатерина, не менее тщеславная, чем ее батюшка, ради короны была готова пожертвовать всем, включая любовь. Старший Долгоруков с братьями заманили царя-отрока в примитивную ловушку: напоили и доставили прямиком в опочивальню княжны. Даже князь Иван был шокирован поведением родственников и покинул родительскую усадьбу. Припертый к стенке Петр вынужден был дать обязательство жениться на Екатерине. Их обручение было торжественно отпраздновано в Москве 30 ноября 1730 года.

После этого на клан Долгоруковых словно пролился золотой дождь. Представители этого семейства вкуче с их родственниками и свойственниками получили назначения на самые высокие государственные посты. Кори-столюбивые и “роскошные” (как назвал их Щербатов), они не брезговали ничем и запускали руки в государственную казну: присвоили себе великолепные бриллианты, всякого рода украшения, наличные деньги, дорогую мебель, немалые пуды дворцовой серебряной посуды; привели в свои конюшни лучших лошадей и заполучили отменных собак. Убыток казне составил полтора миллиона рублей. Они не щадили даже церковного имущества – приказали изъять в свою пользу из главного храма драгоценности: украшавшие евангелия, скипетры, священническое облачение. “Ненависть к Алексею Григорьевичу и его семейству, - пишет Вс.Н. Иванов, - возрастала с каждым днем не только в дворцовых сферах, но даже и в народе. Всем было известно, что Долгоруковы злоупотребляют своим влиянием, как обирают казну, творят разные несправедливости. Только за одного Ивана Алексеевича находились заступники: в войске его любили”. И причина тому та, что Иван любил царя и не искал корысти в дружбе с ним. В отличие от отца, он не был слишком озабочен возвышением своих родственников; гораздо больше его занимали амурные дела.

Американский исследователь М.Фехер отмечал, что для петиметров “похоть – это единственный мотив эротической привлекательности. Следовательно, сексуальное удовольствие – единственная цель, к которой стоит стремиться. Что же касается великодушной любви, то вертопрахи видели в ней искусственное и опасное искажение чувственного желания”. Именно поэтою во французских пьесах конца XVII – середины XVIII века (а из них не менее шестидесяти были посвящены непосредственно щеголям) существовали два самостоятельных ампула – серьезного любовника и петиметра. Последний, по словам русского поэта XVIII века А.А. Ржевского, мог “говорить о своей любви как можно больше, а любить как можно меньше... Петиметры не имеют сердец, или сердца их непобедимы!”

Надо сказать, что сердце Ивана Алексеевича не совсем зачерствело, поскольку наконец было побеждено всепоглощающей любовью, наполнившей его прежде беспутную жизнь новым смыслом. Сам князь, казалось, не вполне осознавал, как произошла в нем эта разительная перемена. Ведь никакие слова, никакие красноречивые фразы не могли описать того глубокого впечатления, кое

произвела на него милая и женственная графиня Наталья Борисовна Шереметева (он впервые встретил ее на балу по случаю дня рождения герцога Голштинского). Совсем иное чувство, столь непохожее на то, что дымало им в его бесчисленных донжуанских подвигах, овладело им. Стало вдруг невозможно увлечься разом несколькими женщинами, да и все они будто померкли, шарм свой потеряли перед кружившейся с ним в контрдансе юной графиней. И пленили его не только изящный стан, румяные щеки, огромные глаза, брови соболиными дугами, не только изящество ее убора, искусный фонтанаж с драгоценностями и кружевными лентами, не только воздушная легкость, с которой выписывала она фигуры церемонного танца, - но какое-то особое внутреннее свечение, исходящее от души чистой, отзывчивой.

Сколько же непохожей на малообразованного, легкомысленного Ивана была Наталья Борисовна – прямо “лед и пламень”! “Нашло на меня высокоумие, - писала она впоследствии о своей ранней юности, - вздумала себя сохранить от излишнего гулянья, чтоб мне чего не понести, какого поносного слова – тогда очень наблюдали честь... Я молодость свою пленила разумом, удерживала на время свои желания в рассуждении о том, что еще будет время к моему удовольствию”. Дочь сподвижника Петра Великого “Шереметева благородного”, Наталья в свои четырнадцать лет (тогда брачный возраст наступал рано) была одной из самых завидных невест в России. Ее называли еще “книжной молчалицей”, поскольку долгие часы она проводила в чтении книг и изучении иностранных наречий. Знала, между прочим, не только французский и немецкий, но и древнегреческий – самому архимандриту впору. И, как чувствительная героиня из прочитанных романов, она ждала жениха, готового разделить с ней “любовью озаренный путь”, как сказал поэт.

Когда к ней посватался Иван Долгоруков, Наталья сразу же согласилась пойти за него. “Первая персона в государстве нашем был мой жених, - вспоминала потом она с гордостью, - При всех природных достоинствах имел он знатные чины при Дворе и в гвардии” и – добавим! - сверх того принадлежал к знатнейшей и богатой фамилии. И не беда, что “природные достоинства” князя в глазах окружающих были более чем спорными – эта девушка видела в нем то, что хотела: “Он рожден был в натуре, ко всякой добродетели склонной, хотя в роскоши жил яко человек, - говорила она, - только никому зла не сделал и никою ничем не обидел, разве што нечаянно... Я признаюсь вам, что почитала за великое благополучие его к себе благосклонность... И я ему ответствовала, любила его очень”.

Именно эта любовь Натальи с ее неукротимой верой в его добрую натуру преобразила князя. “Иван Алексеевич зажил иначе... - говорит писатель, - Его нельзя было узнать... Те же черты лица, но иное выражение приняли эта внешность и эти черты от нового, незнаваемого налета... Любовь к Наталье Борисовне заставила, без ведома его самого, глубже относиться к себе и ко всему окружающему, наложила на открытое, милое, но беспечное лицо выражение вдумчивости и какой-то заботы”. А историк Д.А. Корсаков подчеркивает, что чувство князя к Шереметевой “служит лучшим мерилом его собственной души: в нем выразилось все лучшее в его природе”.

Обручение молодых проходило исключительно пышно – сам государь и первые сановники почтили обряд своим присутствием. Церковную службу отправляли в великолепном зале архиереев и два архимандрита. Высокие гости жаловали обрученных богатыми дарами – бриллиантовыми серьгами и кольцами, часами, табакерками и готвальнями, старинными кубками, драгоценными флягами, столовым серебром, парчовыми тканями. Одни



только перстни жениха и невесты стоили: его — 12 тысяч, а ее — 6 тысяч рублей. И как же счастлива в тот день была Наталья Борисовна: “Я не иное что воображала, что сфера небесная для меня переменялась”, — признавалась она. Что до Ивана, то, если верить авторам исторических романов, его радость была омрачена смутными предчувствиями капризов непостоянной придворной Фортуны и скором возмездии за содеянные ранее проступки. Писатель А.П. Павлов вводит в свою повесть “Божья воля” характерную сцену: в ходе обручения Долгорукова отзывает в сторону ворожее-цыганка и пророчит ему страшную мученическую смерть. Подлинность этого эпизода сомнительна, но сумятицу души князя он передает совершенно точно. Тем более, что Иван сознавал свою ответственность не только за собственное будущее, но и за жизнь своей любимой и любящей спутницы. Он как бы испытывал ее верность, говоря о возможных злоключениях судьбы такого “припадочного человека” (так называли тогда фаворитов), как он. Наталья, однако, ни в какую не желала отступить от своего суженого, и их бракосочетание было назначено на 19 января 1730 года и приурочено к свадьбе Петра II и Екатерины Долгоруковой.

А в ночь с 18-19 января, то есть в тот самый день, когда должны были проходить свадебные торжества, умирал император Петр II. Он простудился на празднике Воскресения и сгорел в две недели от лихорадки, осложненной оспой. Лицо и тело умирающего было покрыто черными язвами; испуганные придворные боялись даже приближаться к одру царя (обрученная невеста Екатерина и та его покинула). Рядом с ним оставался лишь один Иван Алексеевич. Он был отуманен горечью потери друга, покинувшего свет в такие юные лета. Его же отец, без пяти минут тесть царя, скорбел, конечно, не о самом государе, а о последовавшей за этим возможной потере влияния Долгоруковых при Дворе. Неизвестно, какими просьбами и доводами, но Алексей Григорьевич уговорил сына подписать почерком царя (который Иван наводрил так ловко имитировать) подложную духовную, по которой Петр II якобы завещает трон и власть “государевой невесте” Екатерине Долгоруковой. Однако, пустить в ход это обманное завещание не удалось — его забраковали даже некоторые здравомыслящие люди из клана Долгоруковых: они понимали, что невенчанной Екатерине императрицей вовек не стать. Духовная сразу же была предана огню.

Верховный Тайный Совет, в который входили четверо князей Долгоруковых и двое князей Голицыных, в конце концов порешил призвать на российский престол дочь брата Петра I, царя Иоанна Алексеевича, вдовую герцогиню Курляндскую Анну. “Верховники”, однако, желали ограничить полномочия будущей монархини и составили так называемые “кондиции”, по которым вся полнота власти переходила к ним, родовитой аристократии. Но планам “верховников” не суждено было исполниться — российское шляхетство, опасавшееся, что вместо одного государя ими будут управлять сразу несколько, убедило Анну Иоанновну стать единоличной самодержицей и порвать ненавистные “кондиции”. После того как Анна стала самовластной императрицей и распустила Верховный Тайный Совет, над Долгоруковыми, противодействовавшими этому, нависла угроза неминуемой опалы.

Из первого жениха империи, с которым хотели породниться самые видные вельможи, Иван Алексеевич превратился в персону, с которой даже говорить стало опасно. Но иначе рассудила невеста. Несмотря на уговоры родственников и друзей отказаться от этого замужества, она упрямо стояла на своем: “Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и честная ли это совесть, когда

он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему. Я такому бессовестному совету согласиться не могла, а так положила свое намерение, когда сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участия в моей любви. Я не имела такой привычки, что сегодня любить одного, а завтра другого. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна...”. И 17 апреля 1730 года они обвенчались в тихой сельской церкви, что в усадьбе Долгоруковых, Горенки, в присутствии лишь двух старушек — какой-то дальней родни. Никто больше приехать не решился. Но юная Наталья была вознаграждена радостными ласками молодого супруга, смотревшего на нее с восторгом и “виноватинкой”.

В то время как молодожены наслаждались днями нежданного счастья, мстительная императрица издала указ, в котором изложила все вины опального семейства. Долгоруковы, подчеркивала она, “всячески приводили Его величество, яко суще младого монарха, под образом забав и увеселений, отъезжать от Москвы в дальние и разные места, отлучая его от доброго и честного обхождения... И как прежде Меншиков, еще будучи в своей великой силе, ненасытным своим властолюбием Его величество, племянника нашего, взяв в свои собственные руки, на дочери своей в супружество сговорил, так и он, князь Алексей с сыном своим и братьями родными Его императорское величество в таких младых летах, которые еще к супручеству не приспели, Богу противным образом, противно предков наших обыкновению, привели на сговор супручества ж дочери его, князь Алексеевой, княжны Екатерины”.

Вскоре в Горенки прискакал нарочный с монаршим предписанием “отправиться князьям Долгоруким всем семейством, включая “вдову-невесту” и молодых, в трехдневный срок в дальнюю свою вотчину северную — деревню Селище”. Предание говорит, что княжна Екатерина родила тогда преждевременно мертвого ребенка — злополучного “государева наследника”. А Наталья Борисовна, снаряжаясь в дорогу, прихватила с собой только самое необходимое — белье, носильное платье, пару икон, книгу “Четьи-Миней”, вышиваные пальцами и перстень: подарок Петра II на обручение.

Не успели ссыльные добраться до места назначения, как их настиг новый приказ — выехать под строжайшим караулом на зечное поселение в таежную глухомань, городишко Березов, куда три года назад они спроводили теперь уже покойного Меншикова. Старших Долгоруковых разместили в угрюмых кельях бывшего монастыря, а Наталье и Ивану выделили утлый сарай. Скупа на радости была жизнь березовских изгнанников. Схоронили одного за другим родителей Ивана. Единственное утешение — дети любви, они и в неволе сердцу отрада! Тем более, что их первенец, Михайлушка, — Натальяна школа! — по-французски говорил не хуже столичных сынков дворянских. Долгие томительные вечера проводили они в чтении, воспоминаниях о прежней блестящей жизни, о придворных нравах. Порой разобиженный Иван, не сдержанный на слова и чувства (особенно во хмелю), костерил власть предержащих. Явил он и новоявленных безродных выдвиненцев, и “расеянную” цесаревну “Елизаветку”, а об императрице сказал в сердцах роковую фразу: “Бирон, де, государыню Анну Иоанновну штанами крестил”.

Вступился он однажды за честь сестры, Екатерины, которой домогался докучливый подьячий Тишин. Поколотил он обидчика, а тот злобу затаил — и полетел в Петербург извет об оскорблении князем царского величества.

Кара последовала незамедлительно. Сперва Ивана, как отпетого злодея и бунтовщика, посадили в темную ост-

рожную яму на хлеб и воду, причем еду и парашу спускали вниз по веревке. Наталья Борисовна тщетно умоляла стражу разрешить ей побыть с мужем наедине хоть полчасца.

А 9 августа 1738 года обессиленного от голода Долгорукова на дощанике увезли из острога, навсегда разлучив с женой и детьми. Его жестоко и долго пытали заплочных дел мастера – подвешивали на дыбе, тянули жилы, били батогами. Обезумев от несносных побоев, в горячем бреду князь оговаривал сам себя, выбалтывая даже то, о чем не спрашивали его мучители, – о подписанной им подложной духовной Петра II, некогда бесследно сгоревшей в огне. Но более всего виноватили Ивана беды, что приняла за него “лазоревого цвет Наташенька” (как он нежно ее называл). Он, в прошлом безбожник и вертопрах, истово и отчаянно молился, испрашивая у Всевышнего прощение за прежние грехи. И эта ниспосланная ему новая вера и любовь озарила, возвысила и укрепила его мятущийся дух, помогла сносить напасти со стоическим мужеством.

31 октября 1739 года Генеральное собрание вынесло приговор: князя Ивана Долгорукова – четвертовать, а затем отсечь голову. При этом повелевалось: казнь учинить в Новгороде публично. “Он вел себя в эту высокую и страшную минуту с необыкновенной твердостью, – свидетельствует историк, – он встретил смерть – и какую смерть! – с мужеством истинно русским. В то время как палач привязывал его к роковой доске, он молился Богу; когда ему отрубили правую руку, он произнес: “Благодарю тебя, Боже мой!”, – при отнятии левой ноги “яко сподобил меня еси”... “познати тя”, – произнес он, когда ему рубили левую руку – и лишился сознания. Палач поторопился кончить казнь, отрубив его правую ногу и вслед за тем голову”. Так окончил свои дни бывший фат и вертопрах, любовью исправленный.

А его супруга, Наталья Шереметева-Долгорукова, на сто лет раньше жен декабристов явившая миру пример преданности, жертвенности, силы духа и нравственности, навсегда осталась в исторической памяти России. Впоследствии к Долгоруковой, освобожденной из ссылки, многожды сватались, обещая “составить счастье ее и детей”, но она оставалась верна своей неизбывной первой любви. “Он всего свету дороже мне был, – утверждала она, – Вот любовь до чего довела! Все оставила – и честь, и богатства, и сродников... Этому причина – вся непорочная любовь, которой не постыжусь ни перед Богом, ни перед целым светом, потому что он один в сердце моем был. Мне казалось, что он для меня родился, а я для него, и нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассуждении не тужу, что век мой пропал, но благодарю Бога, что он мне дал знать такого человека, который того стоил, чтоб мне за любовь жизнюю свою заплатить, целый век странствовать и великие беды сносить, могу сказать – беспримерные беды!”.

Последние восемнадцать лет жизни она провела в монастыре под именем инокини Нектарии, став усердной молитвенницей. Вышивала для церкви бисером и жемчугом, привечала больных и странников, ухаживала за брошенными могилами. Из тиши своей монастырской кельи она приветствовала воцарившуюся в 1762 году Екатерину II, и получила в ответ следующий рескрипт: “Честная мать! Письмо Ваше от 12 июня и за присланную при том икону Пресвятые Богоматери, также за усердные желания Ваши много Вам благодарны. О сыновьях Ваших будьте уверены, что по справедливости милостию и покровительством моим оставлены не будут. Впрочем, поручаю себя молитвам Вашим и пребуду к Вам всегда благосклонна”.

В монастыре написала Наталья свою знаменитую книгу “Своеручные записки Натальи Борисовны Долгорукой” и посвятила внуку, сыну рожденного в ссылке Михаила, Ивану, названному в честь многострадального деда. Подарила она ему и перстень – тот самый, которым пожаловали ей в день обручения с любимым князем.

Внук Иван Михайлович Долгоруков стал со временем вице-губернатором и видным русским поэтом. В стихотворении “На план города Березова” он подвел своеобразный итог этой истории:

“Под стражей мой отец на месте сем родился,  
Мой дед и друг царев в остроге здесь томился,  
А я, как Павел крест, всех выше титулов чту  
И дедов эшафот, и отчу нищету”.

*5.22.05. Лос-Анджелес.*

### “ПРЕДСТАВЬ МНЕ ЩЕГОЛЯ...”

В своей программной “Эпистоле о стихотворстве” (1747) писатель А.П. Сумароков, намечая пути развития молодой русской поэзии, поставил перед словесниками XVIII века такую задачу:

“Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос,  
Что целый мыслит век о красоте волос.  
Который родился, как мнит он, для амуру,  
Чтоб где-нибудь к себе склонить такую ж дуру”.

И сам Сумароков, несмотря на то, что, как светский человек, одевался во вкусе того времени весьма модно, был отчаянным противником щегольства, или, как его называли на французский манер – петиметрства. Американский исследователь М.Фехер отметил, что для петиметров “похоть – главный мотив эротической привлекательности; сексуальное удовольствие – вот заветная цель, к которой надо стремиться” (1). По словам же Сумарокова, “презренна любовь, имущая едино сластолюбие во основании” (2). “Презрение петиметрства” он почитал неременной обязанностью “великого человека” и “великого господина”. И щеголи служили для него важнейшей мишенью комедийной и журнальной сатиры.

В произведениях А.П. Сумарокова щеголь впервые обретает голос в русской литературе. Мы имеем в виду реплики петиметра Дюлижа, выведенного в комедии писателя “Чудовище” (1750). (Кстати, именно Сумароков ввел тогда в обиход слово “петиметр” (от французского “petite-maitre”). “Волосы подбивает он хорошо, по-французски немного знает, танцует, одевается по-щегольски, знает много французских песен; да полно еще, не был ли он в Париже?..” – говорят о нем персонажи комедии. Главная черта, которую автор наделяет своего незадачливого героя – это воинствующая галломания. “Я бы Русского языка знать не хотел. Скаредной язык!.. Для чего я родился Русским! О, натура! Не стыдно ль тебе, что ты, воспроизведя меня прямым человеком, произвела меня от Русского отца!” – восклицает Дюлиж и напевает легкомысленную французскую песенку, причем песенка эта, по его словам, “всего Русского языка стоит”. Об окружающих Дюлиж судит исключительно “по одежке”: для него человек несветский – дикарь, не стоящий и полушки. Но более всего смехотворна его неукротимая вера в то, что одними своими куртуазными манерами он приносит стране неоценимую пользу: “Научиться етому как одеться, как надеть шляпу, как табакерку открыть, как табак нюхать – стоит целова веку, а я етому формально учился, чтоб я тем отечеству своему мог делать услу-

ги". И тут же он клянет "неблагодарное..отечество", не признающее его, Дюлижа, бесценных "заслуг".

В комедии "Нарцисс" (1750) Сумароков дает образец пародийной панегирической оды, написанной в похвалу самовлюбленному петиметру. Приводим текст:

"Нарцисс: ...А ода эта сочинена не от моего лица: да будто кто другой мне эту похвалу сопел. Послушайте:

Твоих умильных блеск очей  
Во изумление всех приводит:  
Сиянье солнечных лучей  
Во оных образ твой находит;  
И в виде смертной красоты,  
Изображенны зря черты,  
Аврора, вздыхая, рдится;  
Адонис пред тобой Сатир;  
Оставлен Флорою Зефир,  
И мать Эротова стыдится.

Тирса: Эта похвала меры превзошла.

Пасквин: Только в меры вошла.

Нарцисс: А мне кажется, что еще не дошла...". И далее Нарцисс говорит об издании этой оды (чем не пример щегольского тиснения!): "Мне хотелось при этой Оде в заглавии положить свой портрет, да ни написать, ни вырезать никто не в состоянии. Мне думается, что меня и редкое зеркало точно изображает. Едакова человека произвела природа...". Забавны и незамысловатые резонерства Нарцисса, выдержанные в рамках щегольского поклонения красоте: "Разум и премудрость потребны школам; золото и серебро великолепие, чин гордости; а красота любви, на которой все сладчайшие мира сего основаны утех".

Комедия Сумарокова "Пустая ссора" (1750) примечательна тем, что в ней впервые воспроизводится своеобразный диалект российских петиметров. Мы не будем специально останавливаться на этой теме (ей посвящены работы академика В.В. Виноградова, Б.А. Успенского, В.М. Живова, Е.Э. Биржаковой и др.). Отметим лишь, что такая исполненная варваризмов речь очень напоминает разговорную практику некоторых современных американских русскоязычных эмигрантов, с той разницей, что она ориентирована не на английские, а на французские языковые модели. Вот, к примеру, диалог щеголя и щеголихи – Дюлижа и Деламиды:

"Дюлиж: Вы мне еще не верите, что я вас адорирую.

Деламида: Я этого, сударь, не меритирую.

Дюлиж: Я думаю, что вы давно ремаркировать могли, что я в вашей презанс всегда в конфузии".

Однако, сквозь эти смеха достойные словесные конструкции проглядывают характерные черты петиметрской "морали" (точнее, отсутствие таковой).

Речь заходит о возможном замужестве Деламиды, на что она отвечает:

"Деламида: И я вас очень эстимую, да для того-то за вас нейду; когда б вы моим мужем стали, так хотя вы и многие калите имели, мне б вас эстимовать было уже нельзя.

Дюлиж: А чего, разве бы вы любить меня не стали?

Деламида: Любить мужа! Ха! Ха! Ха! Ха! Это посадской бабе прилично!

Дюлиж: Против этого спорить нельзя, однако ежели вы меня из адоратера сделали меня своим амантом, то б это было пардонабельно.

Деламида: Пардонабельно любить мужа! Ха! Ха! Ха! Ха! Вы ли, полно это говорите, я б не чаяла, чтоб вы так не резонабельны были!"

В комедии Сумарокова "Мать совместница дочери" (не ранее 1769) героиня Минодора твердит о своей холодности к супругу и о радостях модной любви: "Мужа не

люблю я по антипатии...Что во мне маркирует и что тебе меня любить ампеширует? Имей компассию! А я тебе капитально рапотирую, что ты меня смертно фрапируешь".

Тем парадоксальней, на первый взгляд, выглядит такой сонет А.П.Сумарокова, помещенный им в журнале "Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих" в июне 1755 года:

"Не трать, красавица, ты времени напрасно,  
Любися; без любви все в свете суеты,  
Жалей и не теряй прелестной красоты,  
Чтоб больше не тужить, что век прошел несчасно.  
Любися в младости, доколе сердце страстно:  
Как младость пролетит, ты будешь уж не ты.  
Плети себе венки, покамест есть цветы,  
Гуляй в садах весной, а осенью ненастно.  
Взгляни когда, взгляни на розовый цветок,  
Тогда, когда уже завял ее листок:  
И красота твоя, подобно ей, завянет.  
Не трать своих ты дней, доколь ты не стара,  
И знай, что на тебя никто тогда не взглянет,  
Когда, как розы сей, пройдет твоя пора".

Речь идет здесь именно о призыве к сластолюбию, что автор подчеркнул напечатанным сразу же после этого сонетом об умерщвленном плоде, написанном от лица женщины, как бы следовавшей совету "любить" (3). Был искус воспринять приведенный сонет в буквальном смысле. Собственно, так и поступил литературный антагонист писателя В.К. Тредиаковский – он настрочил донос в Академию наук, в котором обвинил издателя журнала Г.Ф. Миллера в том, что тот удостоил печати "стишки полковника Сумарокова о беззаконной любви" (4). Однако, позднее историк литературы В.И. Покровский заметил провокационный характер сумароковского сонета, а потому включил его в книгу "Щеголихи в сатирической литературе XVIII века" (5). Ученый понял, что позиция, выраженная в сонете – ложная, порицаемая автором, и содержит скрытое порицание щегольского взгляда на любовь.

Что же заставило поэта писать от лица презираемого им петиметра? Думается, что для Сумарокова и писателей его круга – передовых литераторов века Просвещения, щегольство было не только вредным социальным явлением, но и выражением чуждой им культуры. Они желали вести полемику с "гадкими петиметрами" (как назвал их журнал "Трудолюбивая пчела", 1759). Русские же петиметры заявляли о себе кричашими, модными, баснословно дорогими нарядами и, осваивая причудливый язык тафтяных мушек, "аглинского" пластыря и опал, вовсе не были озабочены написанием сочинений, излагающих их культурную позицию. И тут произошел парадокс: в целях развенчания и осмеяния щеголей Сумароков сам заговорил от их имени. Это была мистификация, своеобразная литературная игра – попытка создания пародийной словесности и книжности, составляющей якобы круг чтения вертопрахов.

Впрочем, речь идет не только о чтении. Русский литератор И.П. Елагин, отказывая щеголям в способности к оригинальному творчеству, упоминает некоторые произведения, которые вертопрах "счерна...переписывает сам" в угоду красавицам (6). В этом же ключе может быть рассмотрен и приведенный выше сонет Сумарокова.

Правомерен вопрос – а были ли в России XVIII века сами щеголи, писавшие не сатирические, а "всамделишные" тексты с изложением их взглядов? Обратившись к известной литературной полемике о петиметрах начала 1750-х годов, можно дать утвердительный ответ. Хотя тут же следует оговориться, что это были единичные

примеры, дошедшие до нас лишь в одном списке и не попавшие в печать, следовательно, известные весьма узкому кругу лиц. В силу этого они не стали заметным явлением русской культуры, а потому не могли остановить поток пародийных мистификаций.

Весь сыр-бор загорелся здесь из-за “Сатиры на петиметра и кокеток” И.П. Елагина, подвергшей бичеванию невежество, слепое поклонение моде, галломанию и мотовство российских щеголей. В ходе дебатов в этой словесной баталии были предложены две диаметрально противоположные оценки щегольства. Одни видели в нем опасный общественный порок и рассматривали петиметра как “непримиримого неприятеля добродетели, имевшего с нею явную и всегдашнюю ссору”; другие оценивали вертопрашество как “безвинную” страсть, недостойную стать объектом злой сатиры.

Позиции сторон и сами произведения полемистов были детально проанализированы литературоведом П.Н. Берковым еще в 1936 году (7). Нас же будут интересовать тексты, введенные в научный оборот позднее, в 1976 году, исследователями И.Ф. Мартыновым и И.А. Шанской (8). Ими был обнаружен сброшюрованный сборник, принадлежавший известному стихотворцу XVIII века А.А. Ржевскому. В этом сборнике в числе прочего рукописного и печатного материала содержатся два стихотворных послания. Первое из них, названное “Письмо Бекетову”, принадлежит перу преподавателя Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса, автора “стихотворений разного рода, а особливо песен” Н.Е. Муравьева. Помимо филиппики ученым педагогам и отрицания пользы наук, письмо заключало в себе восхваление щегольской дерзости как гарантии успеха в любви:

“Венерин сын и слеп, и мальчик молодой,  
Он хочет, чтоб ему безумием и игрой  
На свете угождали. Он тихих проклиная,  
Сам дерзок, он иском и дерзким помогает...  
Изрядное весьма есть правило влюбляться –  
Быть можно влюбленну, не надо лишь казаться”.

Эти “правила влюбляться” как раз и содержались в ответном послании Н.А. Бекетова, которое так и называлось: “Правила как любить без печали. Письмо к приятелю”. Бекетов по праву считали “эталоном истинного петиметра”.

(Кстати, Сумароков вывел его в уже знакомом нам образе Нарцисса в одноименной комедии). Кратковременный фаворит императрицы Елизаветы Петровны, обладатель дорогих и экстравагантных нарядов, острослов и даровитый стихотворец-песенник, он, по словам Екатерины II, тогда быстро “входил в моду”. Его письмо являет собой своего рода руководство к одержанию любовных побед, причем изложенное без всякого “извития словес”:

“Коль в свете счастливым хочешь быть,  
Старайся ты скорей любезной объявить  
И страсть свою и все, что сердце ощущает,  
А как ты изъяснишь то, чем твой дух страдает,  
Ответа ты ее неправдой не считай –  
Сумнением своим драгой не раздражай...  
Когда с обеих стран страсть нежна изъяснится,  
То должно обоим отнюдь того храниться,  
Чтоб новой сей любви никто не мог узнать,  
Кто может тайною любовию пылать”.

И совсем, как завзятый вертопрах, поэт говорит о бесплодности неразделенной чувственной любви:

“Сукова кто к тебе – престань о том вздыхать,  
И злым мучением притяства обретать”.

Какие же литературные жанры пользовались успехом у петиметров? Если верить периодике XVIII века, то это преимущественно произведения французские. “Пети-

метрское упражнение состоит в том, чтобы...восхищаться любовными враками, которые в Париже продаются по копейке, то есть Идиллии, Стансы, Сонеты, Мадригалы и Билеты.” – говорит журнал “И То и Сие” (1769) (9). “Петиметры только и читают песни, сонеты, элегии, да и то французские”, – констатирует А.А. Ржевский (10). “Одна только из них [наук – Л.Б.] заслуживает несколько мое внимание: ето стихотворство; да и оно нужно мне тогда только, когда захочется написать песенку”, – заявляет щеголь со страниц новиковского “Живописца”. Петиметры “читают новые песенки, любовные цыдулочки,” – вторит им А. Писарев (11). А И.П. Елагин отметил, что “петиметр ничего не должен писать, кроме любовных писем, сонетов и песен”(12). Щеголь, распевающий песенки, представлен в сборнике “Дело от безделья” (1792), а также в лубочных листах (Ср.: “В прекрасных садах гуляю, // Амурные песенки попеваю, // Никогда не работаю”). В своей “Сатире на петиметра и кокеток” (1753) Елагин расширяет жанровый диапазон щегольских текстов:

“Хваленый петиметр, чтоб больше показаться,

Тут велеречием потищется украшаться,

Сбирает речи все в *романах* что читал” (13).

“Чтение романов и французских театральных сочинений ..довершили всю глубину премудрости, в кою она когда-либо снисходила,” – говорит о щеголихе “Собеседник любителей русского слова” (1783). “Почта духов” (1792) подчеркивает, что петиметры “выдают себя знатоками театральных пьес”. Будучи “охотниками до театральных представлений” (“Всякая всячина”, 1769), щеголи “присвоят себе право рассуждать об остроумных, а особливо о Театральных изданиях и осуждать то, что не на их чистый вкус сделано”. Особенное озлобление вызывают у франтов отечественные авторы; их они “ругают...без милосердия и ...от свиста у них самые распухнут губы...Они с язвительными насмешками стараются помрачить их хвалу”. А “Утренние часы” (1788) в числе прочих аксессуаров щегольского быта называет “забавные романы”, “любовные цыдулки” и “эпиграммы”.

Обратимся же непосредственно к многожанровой пародийной щегольской культуре, существование которой в России XVIII века представляется нам очевидным. Не претендуя на полноту, мы ограничимся лишь некоторыми примерами конкретных жанров, воссоздающих нравы и жизненные устремления вертопрахов с целью их сатирического уничижения.

Начнем же мы с сонета, рассматриваемого русскими стихотворцами того времени и как жанр щегольской, любовный. В портфелях издателя журнала “Ежемесячные сочинения” Г.Ф. Миллера (РГАДА) нами была найдена стихотворная подборка А.А. Ржевского, посланная издателю, но так и не увидевшая свет (14). Наше внимание привлекли два сонета – “Сонет I К красавцу” и “Сонет II К красавице”. Названия говорят сами за себя – налицо непосредственное влияние опыта Сумарокова. Ржевский не только передает отдельные мотивы старшего поэта, но дважды использует один из доводов “увещевания” красавице – напоминание безрадостной старости. Однако, адресат “Сонета I” – иной, чем у Сумарокова. Это красавец, который

“...в свет произошел красотками владети

И нежные сердца собою вспламенить,

Плоды красы своей любовию имети

И младости своей тем славу заслужить”.

Красота объявляется здесь смыслом жизни адресата:

“Чем можешь обладать, того не упускай,

Покуда есть краса, любовь в сердцах сжигай,

Но старость дряхлых лет лишит тебя ее.

Хоть будешь и тужить, раскаяньем стенать,

Что лучшей радости не льстился ты вызнать,  
Бесплодно будет то раскаянье твое”.

Само это назначение – “владети красотками” – не могло быть отнесено ни к кому иному, как к петиметру. Примечателен отказ Ржевского от введения в художественную ткань “Сонета I, К красавцу” сравнений и метафор, характерных для сумароковского образца. Петиметр, адресат сонета, не нуждался ни в поэтических сравнениях, ни вообще в увещеваниях и уговорах. С другой стороны, очевидно желание поэта приблизить слог своих сатирических сонетов к опытам Н.Е. Муравьева и Н.А. Бекетова.

Наставление красавице трансформируется здесь в житейский совет, рассчитанный на “понимающего” собеседника, готового в сей же час этому совету последовать. Слова “чем можешь обладать, того не упускай” низводят ситуацию до повседневной. По сути дела перед нами – отрывок из беседы двух щеголей, где один поучает другого.

“Сонет II, К красавице” также написан от лица петиметра. Речь идет в нем о даме “суровой”, то есть воссоздается мотив, обозначенный в послании Бекетова. Только герой не перестает вздыхать об отвергнутой его любовью красавице, а выступает с хулой неприступной гордячки. Рассерженный петиметр не желает смириться с тем, что она

“...нежную любовь не право презирала,  
И в младости своей, забав в ней не вкуса,  
Любовников своих чтоб гордостью терзала,  
Смеяся им, себя суровством превноса”.

Этот текст вполне укладывается в рамки тех “язвительных и ругательных сочинений на шет женщин, девишек”, которые, по словам литератора А.Писарева, распространялись в щегольской среде (15).

В майском номере журнала “Полезное увеселение” за 1761 год А.А. Ржевский публикует “Сонет, заключающий в себе три мысли: читай весь по порядку, одни первые полустихия и другие полустихия”:

“Во веки не пленюсь красавицей иной;  
Ты ведай, я тобой всегда прельщаться стану,  
По смерти не пременюсь; во век жар будет мой,  
Век буду с мыслью той, до коли не увяну.  
Не лестна для меня иная красота  
Лишь в свете ты одна мой дух воспламенила.  
Скажу я не маня: свобода отнята –  
Та часть тебе дана о, ты! что дух пленила!  
Быть ввек противной мне измены не брегись,  
В сей ты одна стране со мною век любись.  
Мне горесть и беда, я мучуся тоскою,  
Противен мне тот час, коль нет тебя со мной;  
Как зрю твоих взор глаз, минутой счастлив той,  
Смушаюсь всегда и весел коль с тобою”.

Внимание исследователей привлекала курьезная форма этого стихотворения, восходящая к так называемым “кусочным” или “расколотым” сонетам, примеры которых мы находим во французской поэзии XVI века (кстати, такая поэтическая форма воспроизводится в повести Вольтера “Задиг, или Судьба”). Но не менее значимый смысл текста, направленный на пародирование щегольской культуры. В самом деле, обратим внимание на руководство к прочтению. Первоначально надлежало прочесть “полный” сонет, а уже затем составляющие его “полусонеты”. “Полный” же сонет заключал в себе уверения в вечной любви и верности, в то время как в “полусонетах” говорилось об охлаждении страсти и любви к другой красавице. Таким образом, заверение в любви (“полный” сонет) при ближайшем рассмотрении (чтения отдельных частей стихотворения) оборачивается на деле

холодностью и изменой. Это в полной мере отвечало сформулированному Ржевским кредо петиметра. “Любить по-петиметрски” значило “уверять... в своей любви как можно больше, а любить как можно меньше” (18). И сами “мысли” полустихий – хула одной красавице и похвала другой – напоминают характерный для щеголей спор о двух красавицах, о котором тоже упоминает Ржевский (при этом восторженные слова о предпочтенной петиметром даме сопровождались ругательствами и насмешками в адрес ее соперницы). Литературовед Г.А. Гуковский, оценивая подобные формальные ухищрения Ржевского, писал, что он ищет “трудности ради нее самой” (19). На деле же, эта “трудность” – не что иное как стилизация, созданная ради глумления над щегольством.

Сродни сонету и жанр рондо, так же приспособленный Ржевским к пародированию щегольской культуры. В журнале “Свободные часы” (1763, Сентябрь, с.538) помещено сатирическое рондо, в первой части которого занятие науками и творчеством (при незначительном приложении усилий) объявляется занятием доступным каждому (“Лишь потрудись, то может всяк // Никак”). Зато щегольство объявляется делом архиважным и в сущности недостижимым для большинства:

“Но букли хорошо чесать,  
И чтоб наряды вымышлять,  
Чтоб моды точно соблюдать,  
Согласие в цветах познать,  
И чтоб нарядам вкус давать,  
Или по моде поступать,  
Чтоб в людях скуку прогонять,  
Забавны речи вымышлять,  
Шутить, резвиться и скакать,  
И беспрестанно чтоб кричать,  
Но, говоря, и не сказать, -  
Того не может сделать всяк  
Никак”.

Распространение получили и надгробные надписи щеголям. Их отличительной чертой явилось отсутствие обязательной для такого случая скорби, что противоречило жанровым канонам традиционной эпитафии. Это и явно притворное сожаление (“крушение”) о некоем “щеголеватом красавце”:

“Прохожий! Потужи, крушись, как мы крушились –  
Щеголеватого красавца мы лишились.  
Того, кто первый был изобретатель мод,  
Того, кем одолжен толико смертный род.  
В тот час, когда его дух с телом разлучался,  
Он в твердых мыслях был, с сим словом он скончался;  
С сим словом навсегда его покинул зрак:  
Ах! В чем мне умирать, не сшит мой модный фрак”.

(Прохладные часы, или Аптека, врачующая от уныния. 1793, ч. II, с.134-135). Это и прямое указание на неуместность плача о покойном вертопрахе:

“...прохожий, посмотри,  
Ты плачешь, перестань, и слезы оботри.  
Не станет слез твоих, не станет сожаленья,  
Коль станешь ты сии оплакивать мученья” (Вечера, 1772, ч. II, с.167-168). И, конечно, исполнена презрением к щеголю такая “Надгробная”:

“Под камнем сим лежать был должен петиметр,  
Но прежде, нежели зарыли в землю тело,  
Оно уже истлело:  
Один остался прах, и тот развеял ветр” (Распускающийся цветок. М., 1787, с. 225).

К щеголям и кокеткам были обращены многочисленные эпиграммы явно издевательского характера. Вот одна из них, которая так и называется “Щеголихе”:

“Один мне друг сказал,  
Что будто волосы свои ты почернила.

Неправда, он солгал:

Мне кажется, что ты их черными купила” (Распускающийся цветок. М., 1787, с.225). Выделяются эпиграммы, написанные от лица вертопрахов:

“Я клялся век любить красавицу свою,

И клятву на листке я написал свою,

Ну что ж? Повевал ветерок;

Прощай, и клятва, и цветок” (Доброе намеренье, 1764, с.204). К эпиграмматической поэзии можно отнести и жанр “Разговоров”. Интересен в этом отношении своеобразный цикл – “Разговор между ученым и щеголем” П. Фонвизина и “Разговор между щеголем и ученым” В. Санковского (Доброе намеренье, 1764, Сентябрь, с.400):

“Ученой: Когда б вы были нам подобны хоть одним.

Мы после говорим, а прежде рассуждаем.

Щеголь: А мы совсем не так в сем случае поступаем,  
Мы после думаем, а прежде говорим.

Щеголь: Конечно, у тебя пустая голова,

Что на сто слов моих одним ты отвечаешь.

Ученой: Болтают вздор один, а говорят слова,

Я мало говорю, а много ты болтаешь”.

В журнале “Рассказчик забавных басен” (1781) опубликована целая подборка эпиграмм, посвященных “Кокетке”:

“Страстью нежною пылаю,

Хоть покрыта сединой;

Но любовью я страдаю,

В ней потерян мой покой

\*\*\*

В сорок лет еще не чужды

Утешения в любви.

В страсть вдаюсь я не от нужды,

Коль есть жар в моей крови” и т.

В ряду разработанных словесниками XVIII века пародийных образов можно назвать и жанр ложного панегирика щеголю. В одном из своих очерков Ржевский высказывает шутовское намерение “вознести хвалою того петиметра, которого сатирики осмеивают несправедливо”, а затем пишет о нем надлежащий опус, построенный по всем правилам риторики: “А ты! любимец и первосвященник Венерин, Амур тебе послушен; Грации следуют тебе повсюду. Ты более славился победами, как Пирр, Александр и Геркулес; орудия тех супротивлялись противуборники их; тебе же твои во плен безоружному даются. Где между красавиц беседуешь ты: не слышно инаго, как только вопль покоряющихся тебе: победа, твоя победа. О плен! приятнейшей свободы. Пленить единое сердце труднее, нежели множество городов и народов. Вот какую приносишь обществу ты пользу...”(20). Замечательно, что Ржевский говорит о внимательном чтении этого пассажа самими щеголями, поначалу принявшими текст за чистую монету и не заметившими его явно сатирической подкладки. Тем самым он подчеркивает неискусственность и непосредственность читателей-щеголей. Он пишет: “Они прежде были весьма довольны моею похвалою, которую издал я прошлаго году в печать. Она им столько нравилась, что петиметр удостоивал ту книжку, где она напечатана, возить в кармане и показывать ее в собраниях и таких, где он старался одерживать любовные победы...И красавица моему сочинению чести делала столько, что не довольно читала его, ложась спать, по несколько строк всякий вечер; но удостоивала класть на уборный стол... и, что еще больше, за уборным столом, окруженная петиметрами, говаривала про мое сочинение и нередко заставляла петиметров читать, которые в угодность ей делали столь много чести моему сочинению, что читывали его, смотря в лорнет...”

Но наиболее рельефно ложный панегирик моде был представлен в пародии на ведущий жанр поэзии классицизма – торжественную хвалебную оду. В анонимной “Оде полосатому фраку” (Спб., 1789) пародия уже сам объект восхваления. При этом использован свойственный одической поэзии высокий стиль, своеобразный композиционный строй, а также набор традиционных риторических приемов. Здесь наличествует и обращение к “златовласому” Аполлону, а также к целому сонму мифических и библейских героев. Начинается же повествование со времени оно, когда якобы уже имелись модные “полосатые тела”:

“Вот где источник и начало

Носимых ныне полосам;

Сие искусство доставляло

Одежду древним щеголям,

Тогда народы различались

Различной полосой цветов,

И так же ими украшались

Герои дальних сих веков”.

Преклонение перед полосатым фраком овладевает щеголем настолько, что в полосах видится ему весь окружающий мир – это и “полосатая заря”, и “луч солнца полосатый”. Полосатым кажется ему и ветхозаветный Иосиф, к которому он апеллирует, утверждая, что тот пас в Месопотамской долине “пеструю скотину”. Он говорит о “полосатой парче”, “полосатом фазтоне” и даже о “полосатой вражде”. Замечательно, что даже расположение стихов с перекрестной рифмовкой в самой оде сравнивается с чередованием полос на новомодном фраке. Завершается ода обращением к Моде самого автора текста:

“А ты, божественная мода!

Которой сильная рука

Творит красавца из уроды,

А умного из дурака;

Внемли усердное прошение,

Окончи тьмы своих чудес:

Я б на камин во всеожженье

Тебя, мой пестрый фрак принес”.

Говоря о текстах, писанных от имени щеголих, нельзя не остановиться на стихотворных “Любопытных известиях о браке и о любви по моде девушек и щеголей” (1790). Наше внимание привлекает дневник за неделю одной такой “девушки” с примечательным названием “Любовь модного века”:

“В понедельник я решилась

К одному любовь питать,

Но во вторник вновь пленилась,

Стала страстью той пылать

И, не зрев свободы боле,

Среду всю была в неволе.

Не терпя оков, я тщетно

Умоляла небеса,

Мне четверг лишь неприметно

В том открыл все чудеса

И соделал рай в напасти,

Дав вкусить иные сласти.

Пользуясь опять свободой,

В пятницу союз сплела

И, довольствуясь сей модой,

Верность день весь тот блюла;

Но в субботу мысль разбилась;

Страстью новой заразилась...” (19).

Подобные откровения кокетки говорят сами за себя.

Хотя щеголи и щеголихи и “вытверживали из романов некоторые места” (И То и Сно, 1769, июнь, 23 неделя), сами они “редко встречались на страницах романа” XVIII века. (Сиповский В.В. Очерки из истории русского романа. - Спб., 1909, т.1, Вып.1 (XVIII век), с. 203-204). Одна-



ко, в России были переведены посвященные вертопрахам сочинения Ф.Ковентри, Ф.А. Критцингера, Л. Гольберга, Г.В. Рабинера, П.Ж.Б. Нугаре, Р. Додсли и др. Доспелочно красноречивы и примеры из русских романов. Так, петиметр в одной из “Русских сказок” В.А. Левшина передает свой разговор с кокеткой: “Перестань, радость, ужесть как славно ты себя раскрываешь!” – “Ето правда!” – продолжаю я: “Вы меня растрепали!”, и с тем бросаю на нее гнилой взор. После малого числа вздохов становлюсь я опять жив, хвалю ее шнуровку и даю волю рукам. Красавица говорит: “Ето глупость!.. По чести ты шутишь!”...А я далее... Меня ударят полегоньку, но я продолжаю, - а наконец, она и сама поверит, что ето была не шутка” (Левшин В.А. Руския сказки, содержащие древнейшия повествования о славных богатырях, сказки народных, и прочия... - М., 1783, ч. 7, с. 44).

Здесь же представлен образец речи щеголя-галломана: “Мафуа! Дьябль!.. Аманта моя сделала мне энфидилитацию. Безделица! Бон есперанс у меня в кармане, - не о чем быть в пансии!.. Сия табакерка пур ла мерит новой моей любовнице” (Левшин В.А. Руския сказки... - М., 1780, ч. 4, с. 112). Какова была нравственность офранцузившихся модников, видно хотя бы из следующего монолога вертопраха: “Целомудрие...Как ето смешно! Как ето пахнет русским духом! Да что ето значит? Я от роду об етом впервые слышу, и не знаю, что за вещь целомудрие” (Львов П.Ю. Российская Памела или История Марии, добродетельной поселанки. - СПб., 1789, ч.2, с. 88). А в романе М.Д. Чулкова с вызывающим названием “Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины” (1770) сама его героиня, некая Матрона, дает описание одной щегольской вечеринки: “Чуднее всех показался мне один старик, который уговаривал тринадцатилетнюю девушку, чтобы она согласилась выйти за него замуж...В углу сидел какой-то молодец с бабушкою...Сего молодого человека хотела было я похвалить за то, что имеет он почтение к своим предкам и в угодность бабушке оставляет вертопрашные увеселения, но хозяйка уверила меня, что это любовник с любовницею. Молодой человек уверяет ее, что он, убегая хронологии, которая престарелым кокеткам весьма приятна, говорил ей: “Вы, сударыня, весьма приятны, ветрености в Вас никакая быть не может и всех тех пороков, которые молодости приличны; зрелые лета имеют свою цену, и Вы будете обузданием моей молодости...Инде красавица приставала к задумчивому щеголю и представляла себя к его услугам... Одним словом, нашла я тут любовную школу, или дом беззакония” (Чулков М.Д. Пересмешник, или Славенские сказки. - М., 1987, с. 310-311). В книге “Зубоскал или Новый пересмешник, египетские сказки (СПб., 1791, ч. 2, с. 24) содержится описание поведения петиметра: “Почитал себя не меньше, как взросшим в Париже, - смеялся всем, кои не попрыгивают на одной ножке и не вмешивают в разговоры таких слов, кои не по-французски и не по-немецки”.

Казалось бы, трагедия – отнюдь не щегольской жанр. Между тем, в комедии Н.П. Николева “Самолюбивый стихотворец” (1775) выведен петиметр Модрстих, дерзнувший поднести стихотворцу Надмену, сочиненную им трагедию. Надмен отвечает сочинителю-франту гневной филиппикой:

“О, гнусный петиметр! Французский водовоз!  
Спесив, а нужен так, как в улицах навоз.  
Парижем хвастает...науки презирает.  
А сам едва-едва Часовник разбирает...  
Того лишь я и ждал от дерзости твоей,  
Чтоб ты из дурака на модах заражена  
Преобразился вдруг в рифмовраля надменна” (20).

И хотя это единственное свидетельство о драматических потугах петиметра, журнал “Полезное с приятным” (1769) допускает, что щеголь может “прокрикивать ..некоторые стишки из трагедии” (впрочем, “как попугай, без всякого смысла”). Забавно, что А.П. Сумароков, как бы учитывая эту особенность вертопрахов, издал “Любовную гадательную книгу” (1774), составленную из двустийший любовной тематики, взятых из шести своих трагедий. Книжка эта предназначалась не для непосредственного чтения, а для гадания с помощью игральной кости, указующей на соответствующий номер выбранного наудачу двустийшия.

Своеобычный сатирический ракурс получила тема щегольства и в так называемой “низовой” культуре, охватывающей самые широкие читательские круги. Этнограф Д.А. Ровинский в капитальном труде “Русские народные картинки” (СПб., 1881) приводит целый ряд забавных лубочных листов, живописующих не только эксцентрическую трехэтажную прическу щеголих, но и их огромные чепцы кораблем, высокие модные шляпки, красные сапоги, черные мушки, наклепываемые на лицо, грудь и руки. Таким лубкам в еще большей степени свойственна бьющая в глаза карикатурность, граничащая с явной издевкой. Приводится здесь и речь петиметров. Однако, рассчитанная на восприятие самым незамысловатым читателем, она адаптирована и лишена непонятных галлицизмов, а потому вполне доходчива. Вот, на картинке представлены щеголь и щеголиха, ведущие следующий рифмованный диалог:

“Щеголь: Когда я жил в Казани, бродил в сарафане, прибыл в Шую, носил козлиную шубу. Ныне стал богат, ярыгам не брат, по моде убираюсь, по моде наряжаюсь, прут[и]ком подпираюсь, в прекрасных садиках гуляю, амурные песенки попеваю, никогда не работаю, веселюсь и гуляю. Какая б молодца, иль хотя девица, моей красоте подивится. Да вот уже первая и есть, хочет со мной знакомство свести.

Щеголиха: Я красна, я пригожа, я хороша, в нарядах знаю вкус, по моде живу, со многими ложусь. Знать, немало ты учен, высоко тупей [хохол на голове - Л.Б.] вздрочен, опустить его пониже, к моим услугам поближе. Такбудем со мной парочкой, как барашек с ярычкой.”

“Услужи, радость, мне, собери все наши модные слова и напечатай их особливую книжкою, под именем “Модного женского словаря”, ты многих одолжишь... Мы бы тебя до смерти захвалили,” – писала в журнал “Живописец” некая щеголиха (21). Издатель, однако, рассудил за благо поместить такой лексикон на страницах своего журнала и назвать его – “Опыт модного словаря щегольского наречия”. Открывался словарь словом “Ах!”, о котором говорилось, что щеголихи изменили его употребление: “В их наречии “Ах” большею частью преследуется смехом, а иногда говорится в ироническом смысле, итак, удивительный и ужасный “Ах” переменялся в шуточное восклицание”. Далее приводятся примеры щегольского употребления междометия: “Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотница. – Ах, как ты славен! Ужесть, ужесть, я от тебя падаю!...Ах...Ха, ха, ха...Ах, как он славен, с чужою женою и помахаться не смеет – еще и за грех ставит! Прекрасно, перестань шутить по чести, у меня от этого делается теснота в голове. – Ах, как это славно! Ха, ха, ха. – Они до смерти друг друга залюбят. – Ах, мужчина, ты уморил меня”.

Другой образец модного лексикона принадлежит литератору Н.П. Осипову, напечатанному в своем журнале “Что-нибудь от безделья на досуге” (1800, Суббота 3, с. 34-44; Суббота 26, с. 401-416) “Опыт Ученого и Модного Словаря” и “Лексикон для щеголей и модников”. Первый из названных опытов имел подзаголовок “Ключ ко всем

дверям, ларцам, сундукам, шкафам и ящикам Учености". Какого рода эта ученость, видно из следующих словарных статей: "Библиотека, Книгохранилище. Ученые люди располагают свои библиотеки по содержанию книг; а щеголи полагают их в число домовых украшений, устанавливают в шкапах по величине переплетов, которые должны сообразоваться с цветом комнатных обоев"; "Уметь жить... умеет всякой только выучился сказать что-нибудь забавное, по моде шаркать, прыгать и вертеться, писать любовные письма и говорить в собраниях всякую пустость с театральным тоном и кривлянием"; "Щегольство есть модная болезнь, которая столько же неизлечима, как чума или оспа".

Приноровленным к щегольству оказался и жанр библиографической описи, столь популярный с незапамятных времен не только в античной и европейской, но и в русской письменной культуре (древнейшие восходят к X веку). Знакомо российскому читателю было и использование этого жанра в сатирических целях. Речь идет об изданном по инициативе Петра I псевдокаталоге "Книги политические, которые продаются в Гааге" (1723), имевшем ярко выраженную антикатолическую направленность. Комический эффект создавался здесь с помощью манипулирования такими устойчивыми внешними признаками издания, как его объем, формат, художественное оформление и полиграфическое исполнение. Подобный же сатирический прием был использован при описании библиотеки, расположенной рядом с туалетным столиком щеголихи. "В ней книги на две разделялись части, - пишет журнал "Невинное упражнение" (1763), - Одни исторические, другие о науках". К историческим сочинениям, по мнению кокетки, надлежало отнести "новейшие романы и все любовные описания". Далее приводятся названия так называемых "научных" книг, популярных в среде петиметров. Обращают на себя внимание фоллиант "О уборках женского пола" (50 книг в лист), многотомное (30 книг) "Препровождение времени за уборным столом, сие состояло в баснях, песнях, эпиграммах и прочем", а также руководство "Искусство налепливать по пристойности мушки" (2 книги в восьмую долю листа) и "Сатиры на скромность, на нежные чувства, на постоянство, на верность и проч".

(в восьмушку). Завершает же эту опись "Нужное сведение светским женщинам о Философии, Истории, Географии и проч., издание модного писателя в шести (!) страницах, в двадцать четвертую долю листа (!)"

Одна из модификаций жанра - пародийный книгопродавецский реестр, представленный в журнале Н.И. Новикова "Трутенъ". В нем, помимо названных признаков, обыгрывается цена издания и характерная "говорящая" фамилия сочинителя. Так, в частности, сообщается, что у господина Искушателева продается книжка под заглавием "Атака сердца кокеткина, или Краткий и весьма ясный способ к достижению сердец прекрасного пола". Иронический смысл подобного псевдоиздания усиливало его читательское назначение - "в пользу юношества". Была указана и цена - 5 рублей (стоимость немалая, если учесть, что подушный налог с крестьянина составлял тогда меньше 1 рубля в год). Но еще вдвое дороже (10 рублей) стоила книжка "Тайные наставления, по которым безобразная женщина может совершенною сделаться красавицей". Ее автором назван "славный и искусный лекарь" по фамилии Обман. Наконец, сообщалось, что у переплетчика любовных книг продается "Проект о взятии сердец штурмом" (сочинения господина Соблазнителя), одобренный "в тайном г. волокит совете".

Наиболее выразительный и законченный образец жанра сатирического книгопродавецского каталога принадлежит Н.И. Страхову. В своем журнале "Сатирический

вестник, удобопоспобствующий разглаживать наморщенное чело старичков, забавлять и купно научать молодых барынь, девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочего состояния людей, писанный небывалого года, неизвестного месяца, неведомого числа, неизвестным сочинителем" (1790 - 1791, ч. 1-9) он систематически печатал объявления о продаже книг некой вымышленной Типографии Мод. Сочинитель воссоздавал, таким образом, целый поток изданий, предназначенных исключительно для щеголей, то есть по существу моделировал пародийный репертуар щегольской книжной культуры. Помимо традиционной характеристики изданий, Страхов в ряде случаев приводит данные об оформлении переплета и иллюстрациях. Вниманию петиметров предлагались, в частности, такие книги: "Известие о числе невест, их летах, красоте, богатстве и приданом, о местах, в коих можно с ними видаться, и о средствах им нравиться; С присовокуплением нужных объяснений, сколько времени живут и в котором именно месяце привозятся зимою в города их родителями, тетюшками или бабушками. Сочинение славной свахи Пройдоховой, 18 частей, в переплете из театральных объявлений, 25 рублей"; еженедельное издание "Кто за кем в городе волочится, и кто в кого влюблен, цена каждой недели в переплете из визитных карточек и билетов 1 рубль"; "Исторический словарь петиметров, щеголих, танцовальщиков и танцовальщиц, мотов, игроков и всех тех, которые работали себе громкую славу и соделали имена незабвенными в памяти обманурых купцов, обогащенных танцмейстеров, портных, французенок и обманурых людей, 112 (!) томов по подписке; за каждую часть, переплетенную в выкройки и мерки, ноты и надранные вексели - 5 рублей; для тех же, которые при жизни сделались достойными помещения в словарь, и в случае, когда благоволят сообщить издателю о деяниях своих, все сии томы будут отпускаемы с обождаением денег на 50 лет". Впечатляют и такие якобы вышедшие из Типографии Мод сочинения: "Новое средство выводить пятна из совести, сочинение славного г. Санам, переводу же г. Бездушикова, 350 коп."; "Новые и особенные правила и положения о том, как и кому должно кланяться, какой делать из себя вид, вступая в собрание, как надлежит сидеть и что говорить и каким произношением и голосом, как подавать руку в то время, когда девица или дама удостоивает чести идти вместе прогуливаться, к кому и когда должно подходить целовать руку, каким образом откланиваться, с каким видом извиняться, обещать и пр., еженедельное издание некоторого знающего общества в щегольстве, притворстве и обхождении светском - Билет на 12 тетрадок с эстампами, фигурами, рисунками и планами, 30 рублей". Всего подобных псевдоизданий приведено более шести десятков. Обратим внимание на цены. Даже по масштабам XVIII века они астрономические.

Страхов считал нужным подчеркнуть это весьма своеобразно - он поместил в своем реестре как бы случайно затерявшиеся среди щегольских изданий книги: "Опыт о здравии, или Доказательство о том, что если мы живем здоровы, то сие есть достоверный знак, что мы не были в руках лекарей, сочинение г. Прямосудова, 50 копеек"; "Рассуждение о похвальных речах, или Доказательство о том, что нынешние похвальные речи более приносят чести тем, кто их сочиняют, нежели тем, о коих оные пишут, цена 10 копеек", "Увещание болтунам, чтоб они более смотрели, более слушали и менее говорили - Достойное похвалы сочинение г. Благоразумова, в котором ясно доказывается, что природа одарила нас двумя глазами, двумя ушами, а одним только языком, цена 20 копеек". Смехотворно низкая цена подобных книг, как сообщает сати-

рик в сопроводительной аннотации, объясняется “причиной нераскупки оных” щеголями, что вполне понятно.

Заслуживает пояснения другое – сам механизм создания Страховым модели пародийной книжности. Пригладимся повнимательней к заглавиям “модных книг”, соотнесем их с существовавшими в XVIII веке видами изданий, и перед нами оживут знакомые современнику устойчивые шаблоны книжной продукции. Так, “Исторический словарь петиметров, щеголих, танцовальщиков и танцовальщиц...” имитирует распространенные тогда исторические словари, один из которых, кстати, начал тогда издаваться в Москве (“Словарь исторический, или Сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей...” – М., 1790-1798, ч. 1-14). Всевозможные “способы”, “науки”, “наставления”, “известия”, “правила”, “начертания” – все это типичные ключевые слова в заглавиях книг того времени: по нашим подсчетам, в России с 1725-1800 год были изданы 95 “способов”, 85 “наук”, 173 “наставления”, 82 “известия”, 83 “правила”, 36 “начертаний”. Все эти виды изданий сатирик осмыслил наново и представил в контексте щегольской культуры. Иногда просматривается почти буквальное сходство (Ср. псевдоиздание “Наука быть счастливым, или Искусство притворяться” и реальная книга “Наука счастливым быть...” (СПб., 1759). Примечательно и то, что сам Страхов как бы в шутку адресовал петиметрам и модникам свои антищегольские сатирические произведения (Ср. кн.: Страхов Н.И. Карманная книжка для приезжающих в Москву старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и проч... – М., 1791, ч. 1-3; Страхов Н.И. Плач *Моды* об изгнании *модных* и дорогих товаров. – М., 1793).

Помимо книг, Страхов упоминает вещи и “редкие рукописи”, хранящиеся у петиметра. Это и “коробочка с любовными стишками”, и “ящичек с разными женскими силуэтами”, и “лучшая голландская бумага, коей исходило на любовные письма, каждой день около десяти”, а также “Собрание любовных стихов, песен и трагедии покойного Виноглода”, “в 12 книжек переплетные подлинные письма тех женщин, которых он обманул в продолжение 12 месяцев”. Сатирик приводит якобы “подлинную записку” щеголя, названную им “Журнал жизни”. Это, как пишет Страхов, “сметка”, сделанная вертопрахом по прошествии года: “I. Сделано 52 обнови. II. Танцевал 5670 раз. III. Играл в карты 270 раз. IV. Был дома целый день 5 раз. V. Брошено прежних любовниц 30. VI. Приобретено новых 27. VII. Обмануто замужних 9. VIII. Обмануто вдов 18. IX. Обмануто старушек 6”.

Замечательно, что Страхову принадлежит почин псевдощегольского издания. Это своеобразное жанровое образование, относящееся не столько к словесности, сколько к книжности; издание-перевертыш (недаром он назвал его “в платье навыворот”), в котором речь ведется якобы от имени всемогущей *Моды*, предписывающей свету свои правила поведения, – на самом же деле уязвляющее и уничтожающее щегольство. Впрочем, лучше всего сказал об этом сам сатирик: “Моду представил я властительницею и такою сильную собою, к покровительству коей имели прибежище и самые люди”. Под стать и название книги – “Переписка *Моды*, содержащая письма безруких *Мод*, размышления неодушевленных нарядов, разговоры бессловесных чепцов, чувствования мебели, карет, записных книжек, пуговиц и старозаветных манек, кунташей, шлафоров, телогрей и проч. Нравственное и критическое сочинение, в коем с истинной стороны открыты нравы, образ жизни и разные смешные и важные сцены модного века” (М., 1791).

Среди прочего здесь помещено самоизобличающее письмо *Моды* к Непостоянству: “Правду сказать, где я, *Мода*, проживу хоть десяток лет, то надобно несколько на то веков, дабы истребить тот образ мыслей, которой я внушаю людям. Глупость надеть может столько в один год, что и самая мудрость не исправит того в десять. ..Где роскошь проживет десять лет, там через сто лет не научишь людей быть умеренными. Словом, где я, *Мода*, бываю хоть год, оттуда дурачество и ветреность не выживешь в пятьдесят”. Приводятся 56 постановлений *Моды*, из которых приведем наиболее характерные: “Над любовью начальствовать ветрености, легкомыслию и корыстолюбию”; “Главнейшими достоинствами прекрасного пола да будут: пустомозглость, щегольство, роскошь, городской образ мыслей, ложные понятия, ветреные мысли, презрение истинных дарований, добродетели и трудолюбия. – Далее: – Великое число любовников, позднее вставание, ежедневное небытие дома, рассеяние, картежная игра, праздность и пр.”; “Повелеваем, чтоб супружество было такою торговою вещью, которая продавалась бы по вольной цене” и т.д. Автор прямо говорит о цели своего издания, и состоит она в том, “чтоб безпристрастное сие начертание могло некоторым людям открыть глаза и удостоверить их о вреде, причиняемом *Модой*, роскошью, вертопрашеством и прочими пороками, которые являются повсюду и во многих сценах нынешней жизни” (с. V-VI).

С развитием сатирической периодики диапазон щегольских псевдопроизведений заметно расширился за счет новых газетных и журнальных жанров. Достаточно обратиться к вступительной статье журнала “Трутен” (1769-1770) “Каковы мои читатели”, чтобы понять характер предпринятых новаций. Издатель Н.И. Новиков среди прочих носителей пороков (Злорад, Скудоум, Лицемер и др.) упоминает Вертопраха. Автор тем самым обозначает читательские запросы петиметров: “Вертопрах читает мои листы, сидя перед туалетом. Он все книги почитает безделицами, не стоящими его внимания... Однако ж “Трутен” иногда заставлял его смеяться. Он его почитает забавною книгою и для того покупает. Вертопрах, повертевши листки в руках и которые заслужат его благоволения, те кладет, а прочие употребляет на завивание волос...”. (К слову, такое отношение щеголя к книгам было ранее представлено в сатирах поэта А.Д. Кантемира).

Замечательно, что на страницах русских журналов их издатели, как ранее Сумароков и Ржевский, так же говорят от имени щеголей. При этом использовался новый в то время жанр русской журналистики – письмо издателю от читателя. Примечательно в этом отношении послание из далекой провинции к издателю журнала “Смесь” (1769): “Сделайте милость, внесите в ваши листы нашего щеголя, который носит на голове престрашные кудри, у него зеленый мундир подложен розовую тафтою, а сапоги с красными каблучками... Пожалуйста, г. издатель, не презрите моей просьбы, дайте сему молодцу местечко в вашем издании”.

В ряду подобных опытов находятся и присланные письма от щеголих. Это тоже своеобразная мистификация, поскольку в подавляющем большинстве такие письма сочинялись самими издателями, которые, как правило, не оставляли их без ответа и, полемизируя с ними, развенчивали щегольство во всех его проявлениях.

Так, в послании к издателю “Трутня” из Москвы, датированном 25 ноября 1769 г., речь ведется от лица кокетки, а потому изобилует “модными словами”, то есть характерными оборотами щегольского наречия (“ужесть, как ты славен”, “теснота в голове”, “уморишь, радость”, “мила, как ангел” и др.). Начав свое письмо со свойст-

венной щеголям хулы серьезных книг, будто бы заставившей ее “провонять сухою моралью” (“все Феофаны да Кантемиры, Телемаки, Роллени, Летописцы и всякий этакий вздор”), эта дама повествует о том, как из “деревенской дуры”, знавшей только “как и когда хлеб сеют, когда сажают капусту, свеклу, огурец, горох, бобы” она превратилась в первую щеголиху. И уж ясное дело – тут не обошлось без “французской мадамы”, научившей ее щегольской науке. “Ни день, ни ночь не давала я себе покоя, – откровенничает кокетка, – но, сидя перед туалетом, надевала корнеты, скидывала, опять надевала, разнообразно ломала глаза, кидала взгляды, румянилась, притиралась, наклепывала мушки, училась различному употреблению опашала, смеялась, ходила, одевалась и, словом, в три месяца все научилась делать по моде”. Воздавая непомерную хвалу французам (“они нас просвещают и оказывают свои услуги”), она сосредоточивается на своем отношении к сильному полу, говоря, что дурачила “с десяток молодчиков”.

Весьма показательно, что сразу же вслед за откровениями кокетки издатель помещает в “Трутне” другое письмо, в котором, проясняя собственную позицию, категорично заявляет: “Поступки ваши совсем мне не нравятся”. Он отчаянно полемизирует с щеголихой, выступая противником моды и модного поведения – призывает следовать естеству и отрицает всякую пользу французских “учителей”. По мысли Новикова, наших дам должны просвещать не “мадамы”, а чтение серьезной литературы, о которой кокетка отзывалась с таким презрением.

Вообще, неприятие щеголями наук и учения просматривается во многих журнальных публикациях Новикова. В пространной статье “Автор к самому себе” (“Живописец”, 1772) он вкладывает в уста Щеголихи характерную сентенцию: “Ужесть как смешны ученые мужчины, а наши сестры ученые – о! они-то совершенные дуры... Не для географии одарила нас природа красотою лица, не для математики дала нам острое и пронзительное понятие, не для истории награждены мы пленяющим голосом, не для физики вложены в нас нежные сердца, для чего же одарены мы сими преимуществами? – чтобы быть обожаемыми. – В слове уметь нравиться все наши заключаются науки. За науки ли любят нас до безумия? Наукам ли в нас удивляются, науки ли в нас обожают? – Нет, право, нет”. Далее слово предоставляется Вертопраху, который излагает свое понимание наук: “Моя наука состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, говорить всякие трогательные безделки, воздыхать кстати, хотеть громко, сидеть разбросанно, иметь приятный вид, пленяющую походку, быть совсем развязану, словом, дойти до того, чтобы тебя называли шалуном те люди, которых мы дураками называем; когда можно до этого дойти, то это значит, дойти до совершенства в моей науке”.

Другое письмо к издателю написано от имени щеголихи-писательницы (забавная контаминация, едва ли реально существовавшая!) и заключает в себе несколько жанровых сценок, названных “историческими картинами”. Но к истории эти “картины” ни малейшего отношения не имеют, ибо живописуют повседневные быт и нравы. Одна из них запечатлела буквально следующее: “Представляется вдовушка лет двадцати – ужесть как недурна! – наряд ее показывает довольно знающую свет, подле нее в пребогатом уборе сидит согнувшийся старик, в виде любовника: он изображен отягченным подагрой, хирагрой, коликою, удушьем и, словом, всеми припадками, какие чувствуют старички при последнем издыхании. Спальня и кабинет сей вдовушки скрывают двух молодых ее любовников, которых она содержит на иждивении седого старика в должности помощников. Она де-

лает это для облегчения старости своего возлюбленного”.

Еще один образчик послания – нравоучительная “повесть” (как автор сам называет этот жанр) из жизни щеголихи. Так, в журнале “Праздное время в пользу употребленное” (1759) помещена слезная исповедь кокетки. Героиня буквально с молоком матери впитала в себя поклонение “высокой о красоте науке” и сызмальства готовила себя к тому, чтобы блистать в свете. Имея потом множество любовников, она никому не отдавала предпочтения, ибо знала щегольское правило – “сердце, сколько возможно, содержать в вольности”. “Я готовилась еще к новым завоеваниям, – рассказывает она, – ...но вдруг напала на меня она прекрасному полу страшная неприятельница, стократно проклинаясь им воспа”. В результате болезни красавица потеряла приятность лица, а заодно все, что ей “честь и славу приносило”. Нравоучение же, по ее словам, в том, что “надобно, чтоб в женщине такие были свойства, которые бы и по умалении цветущей красоты, делали ее любви достойною”. А свойства эти в щеголихе как раз отсутствуют.

Следующий жанр, использованный для осмеяния щегольства – известный в русской сатирической литературе еще с XVII века пародийный “Лечебник” (21). В нем приписывались своеобразные “рецепты” пациентам, “больным душою” (в терминологии той эпохи – носителям “больных”, то есть порочных страстей). В числе прочих персонажей особый “рецепт” новиковский “Лечитель” прописал пр-старелой щеголихе госпоже Смех, который рекомендовалось: “Не изволишь ли полечиться и принять следующее лекарство: оставь неприличное тебе жеманство, брось румяны, белилы, порошки, умыванья и сурмилы, которые смеяться над тобою заставляют. Храни, по крайней мере, хотя в старости твоей благопристойность, которой ты в молодости хранить не умела, и утешай себя воспоминанием прошедших твоих приключений. Поступая таким образом, не будешь ты ни смешна, ни презрительна”.

Не могли сатирики обойти вниманием и известный в России еще с петровских времен газетный жанр “ведомостей” (говоря современным языком, корреспонденций с мест), который Новиков так и назвал – “сатирические ведомости”. Вот показательный пример: “В Санктпетербурге. Из Мещанской. Есть женщина лет пятидесяти. Она уже двух имела мужей и ни одного из них не любила, по следуя моде. Достоинства ее следующие: дурна, глупа, упряма, расточительна, драчлива, играет в карты, пьет без просыпу, белится в день раза по два, а румянится по пяти. Она хочет замуж, а приданого ничего нет. Кто хочет на ней жениться, тот может явиться у свах здешнего города”. Издатель “Трутня” не ограничился этим “заманчивым” предложением – через несколько месяцев на страницах своего журнала он вернулся к нему. Дескать, в Москве “подряд любовников к престарелой кокетке, напечатанный в трутневых ведомостях, многим нашим господчикам вскружил голову, они занимают деньги и, в последний раз написав: “В роде своем не последний”, с превеликим поспешением делают новые платья и прочие убранства, умножающие пригожество глупых вертопрашных голов, а по совершении того, хотят скакать на почтовых лошадях в Петербург, чтобы такого полезного для них не совершить случая”. И снова налицо мистификация, уязвляющая щегольство!

Другая сатирическая ведомость представлена в новиковском журнале “Живописец” (1772). В ней говорится об абсурдном проекте “славного Выдумщика” по поводу приобщения “молодых российских господчиков к чтению русских книг. Оный в том состоит, чтобы русские книги печатать французскими литерами. Г. Выдумщик

уверяет, что сим способом можно приманить к чтению российских книг всех щеголей и щеголих, да и самых тех, которые российского языка терпеть не могут...". (Заметим в скобках, что эта идея не нова - латинскими буквами писали русские слова некоторые жители московской Немецкой слободы во времена Петра I). Издатель, разумеется, иронизировал, назвав Выдумщика "великим человеком".

Одной из разновидностей сатирических ведомостей был жанр "Известия" (объявления о текущих событиях). "Будущего июня 10 числа, в доме г. Наркиса, состоящем в Вертопрашной улице, - пишет "Живописец", - будут разыгрываться лотерейным порядком сердца разных особ, в разные времена г. Наркисом плененные и за ветхостию к собственному его употреблению неспособные. При каждом сердце отданы будут и крепости на оные, состоящие в любовных письмах и портрете. Билеты можно получать в собственном его доме, где и цена оным будет объявлена".

В журнале "Пустомеля" (1770) Новиков загадывает читателю характерную "Загадку" (еще один жанр!): "Вертопрах вползает за всякою женщиною, всякую открывает свою любовь, всякую уверяет, что от любви к ней сходит с ума, а приятелям своим рассказывает о своих победах, на гулянье указывает на женщин, в коих, по уверению его, был он счастлив и которых очень много; но в самом деле Вертопрах может ли быть счастлив? Читатель, отгадай".

Разработка темы велась и в популярном в XVIII веке жанре мемуаров, или "Записок", как их называли в России. "После покойного Г. Волокитова отысканы записки, - мистифицирует читателя "Сатирический вестник", - содержащая главное начертание любовных его приключений, превратностей и прочих злополучий его жизни". Эти пародийные "Записки" в деталях живописуют амурные похождения Волокитова, его связи с красотками с говорящими именами - Вертопраховой, Корыстолюбый, Великолепы, Безрассуды, Попрыгушкиной, Глупомыслы, Несмыслы и пр. Чем же завоевывал Волокитов любовь щеголих? Одна проявила к нему склонность из-за цвета сукна его кафтана, другую пленила его изысканная табакерка, третью - модная карета, четвертую - пряжки на ботинках, пятую - щегольская прическа, шестую - модная ария и т.д. Завершив "Записки" Волокитова, издатель посчитал нужным донести до читателя и собственное понимание предмета: "Как из сего... ясно усматривается, что не сердце, не чувствования наши, но одне только скоропременные наружности, блеск нашего благосостояния, минующиеся красы младости, жеманства и щегольства пленяют красавиц. От сего-то самого видим мы токмо непрерывную цепь непостоянств, обманов, притворств и ложностей".

Пародировались и бытовые документы эпохи. Так, в том же "Сатирическом вестнике" представлен образчик прейскуранта XVIII века - "Такса ценам за обучение разным искусствам прельщать", содержащая такие пункты: "За обучение искусства одному петиметру давать держать веер, а другого в то же время дарить цветком - 25 р. На двух смотреть быстро, а двум будто украдкою давать знак за собою следовать - 30 р....Одному подавать руку, чтоб с ним идти, а для прочих метать другую за спину и столь искусно шалить пальчиками, дабы каждый движение оных толковал в свою пользу - 75 р." и т.д. Здесь же приводится и другой тип документа, а именно "Штрафная пошлина" со следующими предписаниями: "За постоянство, против прочих вертопрахов - лишник 10 лет холостой жизни... За умеренность, презрение к роскоши и мод вместо штрафной пошлины от всех модников и модов налагается презрение".

Думается, однако, что русские литераторы XVIII века не были обескуражены отношением к ним петиметров. Они сами презирали щеголей и заявляли об этом и прямо, и опосредованно, создав на них едкую пародию в целом ряде жанров словесного и книжного творчества.

- (1) Feher M. *Libertinism // The Libertine Reader. Eroticism and Enlightenment in XVIII century France.* - New York, 1997, P.10.
- (2) Цитаты из произв. А.П. Сумарокова приводятся по изд.: Сумароков А.П. Полное собрание сочинений, в стихах и прозе, покойного действительного статского советника, ордена Св. Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена, Александра Петровича Сумарокова. - М., 1781-1782, ч. 1, 4, 5, 8.
- (3) Подробнее об июньском цикле сонетов 1755 года см.: Бердников Л.И. Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII - начала XIX века. - СПб., 1997, с. 58-65.
- (4) Пекарский П.П. История Императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. 193.
- (5) Покровский В.И. Щеголихи в сатирической литературе XVIII века. - М., 1903, с. 8 (2-ая паг.)
- (6) Елагин И.П. Автор. Четвертый лист // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих, 1755, Октябрь, с. 363.
- (7) См.: Берков П.Н. Ломоносов и литературная полемика его времени: 1750-1765. - Л., 1936, с.106-148.
- (8) Мартынов И.Ф., Шанская И.А. Отзвуки литературно-общественной полемики 1750-х годов (Сборник А.А. Ржевского) // XVIII век. - Л., 1976, Сб. 11, с. 131-148.
- (9) И То и сию, 1769, июнь, 23 неделя, с.172.
- (10) Свободные часы, 1763, апрель, с.212-213.
- (11) Писарев А. Переписка двух адских вельмож, Алгабека и Алгамека, находящихся по различным должностям в старом и новом свете; содержащая в себе сатирические, критические и забавные происшествия, повести, анекдоты и другие удивительные сцены нравственной жизни людей обоого пола. - М., 1792, ч. 1, с. 96.
- (12) Ежемесячные сочинения, 1755, Октябрь, с.369.
- (13) Поэты XVIII века - Л., 1972, т. 2, с. 376.
- (14) РГАДА, Ф.199, Оп.2, П.414, Д.20, Л.5 об. - 8 об.
- (15) Писарев А. Там же.
- (16) Ржевский А.А. Продолжение следствия моего сновидения // Свободные часы, 1763. Апрель, с. 213-214.
- (17) Гувовский Г.А. Русская поэзия XVIII века. - Л., 1927, с.179.
- (18) Ржевский А.А. Там же. О бесполезности петиметров для общества будет писать впоследствии журнал "И то и сию" (1769, 23 неделя): "Петиметр столько делает пользу отечеству, сколько и себе, проматывает деревни, занимает у всех без разбору, впадает от того в бедность и последний кафтан перешивает раз пять в различные валаны, но и тут еще не перестает быть петиметром, сказывая, что золотом обложенные кафтаны ныне уже не в моде, и носить их очень тяжело, потому что лгать петиметру свойственно и необходимо должно".
- (19) Здесь и далее цит. по изд.: Сатирический вестник // Друг честных людей. - М., 1989, с. 230-316.
- (20) Стихотворная комедия конца XVIII - начала XIX века. - М.; Л., 1964, с. 69-174.
- (21) Цит. из произв. и журн. Н.И. Новикова приводятся по изд.: Новиков Н.И. Избранное. - М., 1983. - 512 с.
- (22) См.: Лечебник на иноземцев // Русская демократическая сатира XVII века. - М., 1977, с. 95-96.

## МАРК ЛЕЙКИН

### НОВЕЛЛЫ ПАМЯТИ

#### К трехлетию кончины Фридриха Горенштейна

*Моя литературная молодость и литературная зрелость прошла в холодной недружбе, а то и в горячей вражде с либеральной официальной – советской, постсоветской и не советской*

Фридрих Горенштейн

В журнале «Слово/Word» № 37 я рассказал о поминках Сталина в одной из комнат нашего студенческого общежития.

Старшекурсник Павел Часовников, как потом выяснилось, не был случайно забредшим. Его пьяная (либо под пьяную) провокация, объектом которой стал третьекурсник Феликс (будущий Фридрих Горенштейн), не прошла. Она была нейтрализована удивившей нас точной игрой самого Феликса и непреклонной солидарностью сокурсников. Обошлось без последствий... А вот общение с Часовниковым на этом не закончилось...

На одном курсе, в одном общежитии, а пару семестров и в одной комнате 1950-1955 годы мы учились в Днепропетровском Горном институте. Феликс был заметно расщудочней многих из нас. И оставлял без ответа нередкие наши в его адрес цитирования Пушкина: «смешон и юноша степенный».

Потом стали инженерами и разъехались по шахтам и карьерам.

«И стало тесно голосам в эфире, но Левитан ворвался как в спортзал» (Высоцкий о старте Гагарина)... Примерно такое же впечатление произвел на читающих шестой выпуск «Юности» с «Домом с башенкой» Фридриха (!?) Горенштейна (1964). И все. Еще 16 лет до его эмиграции приходилось довольствоваться лишь «Саларисом» и разными путями все же доходившими до нас «из-за бугра» публикациями, чаще зачитанными копиями.

Никак неожиданными для нас (мы – это группа соучеников Феликса, и до сегодняшнего дня поддерживающих добрые отношения между собой) были встречи в его творениях с персонажами, фамилиями, словами, поступками, чертами и черточками, которые оказались списанными с ребят из ближайшего окружения, т.е. соучеников-сокурсников.

Однажды в телефонном общении я рассказал (уже Феликсу-Фридриху) Горенштейну, что о застольях с однофамильцами прототипов его персонажей. Когда-то каждые пять лет мы съезжались в институте, но, к сожалению, Феликс не был ни разу. У нас, шутя «обсуждался вопрос об иске» на передаче нам части его гонораров за пользование нашими именами... А я так еще «обижался», что персонаж рассказа «Искра», сподобленный великим Горенштейном из моей скромной фамилии был переименован им еще во студенчестве из Марка Григорьевича в Ореста Марковича. Он иронически посмеивался и не отказывался: «Вот и съезжайтесь у меня – получите сполна». Позднее (где-то в середине девяностых) мы говорили непривычно долго (он звонил из Москвы), был расслаблен, в отличном настроении. Сказал, что звонит с пульта высокого кабинета, в котором принимающая сторона организовала застолье. А прилетел он из Берлина как член Жюри какого-то кинофестиваля. Дернуло меня, и я спросил его о мотивах выбора мне однофамильца, сходства с которым, ни по профессии, ни по духу, ни по поведению я никак не видел. И присовокупил еще, что на первой же странице «Искры» - словами персонажа Лейкина он (автор) красиво изложил не мою, а свою философию само-

подготовки к старости. И напомнил, что я с максимализмом спортивного двадцатилетия воинствующе противопоставлял ему позицию пусть проигрышной, но восхитительной романтики Бабелевского могучего биндюжника Менделя Крика: «Всю жизнь хотел он жариться на солнышке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень», да и самого двадцатилетнего Бабеля: «мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого».

Фридрих не сразу, явно с недоумением, и мне даже показалось с обидой, и на удивление незнакомо резко ответил: - Читай не по диагонали...

Я внимательно перечитал давно кем-то даренный, зачитанный, с недостающими страницами машинописный вариант рассказа. Ясней не стало. И я уже почти смирился с мнением моей жены Нели (увы, ныне покойной) о большем моем соответствии известному персонажу Жванецкого, Карцева и Ильченко: «Тупой доцент»...

Уже здесь, перечитал рассказ «Искра», изданный цивилизованно. И ларчик открылся просто. Вот трехстрочный фрагмент из «Искры», отсутствовавший в растерзанном первоисточнике:

«Лейкин ускорил шаг и догнал Часовникова у входа, потянул его за плечо. Часовников все понял и пошел за Лейкиным. Когда они повернули за пустой киоск, который с каменным забором создавал глухой угол, Часовников ударил первый, без предупреждения, умело, прямо в глаз».

Все так и было (вплоть до пустого киоска, каменного забора, первого подленького удара, свистков охранника) в промозглый Днепропетровский вечер.

Мы возвращались из нашего спортзала в общежитие (всего-то несколько десятков метров) после очередной победной встречи (1954) гимнастов нашего ВУЗа и Запорожского Индустриального института. Мы выиграли (как и неделю назад «на их поле»). Феликс и Митенька (герой рассказа «Фотография») – оба мои ученики по гимнастике – болели втройне патриотично: и за команду, и за товарища, и за «играющего тренера».

Часовников в «Искре» - это (правда здорово интеллектуализированная) версия нашего несостоявшегося антисемитствующего доброхота с прошлогодних сталинских поминок (вот и встретились вторично).

Мы уже знали, что он слишком инициативно пытался наблюдать за некоторыми им избранными (конечно же «иной нацией»), за что был вроде даже бит (и, по слухам, возможно за это и не был удостоен официального доверия «всевидающих»... волонтерил, одним словом). И на этот раз он оказался рядом, на трибунах, не трезв. А после обогнал нас с пакостным шепотком «приветствия»: «Так вы - и гимнастическая нация. Физкультура...»). ...Митенька в короткие жестокие минуты драки кричал в голос. Феликс как мог его успокаивал. Оба «бойца», кроме нелегких травм были еще традиционно наказаны (спасибо, по низшему уровню - не исключением и годичной «реабилитацией» - работой на шахте, а выдворением на семестр из общежития (конечно же благодаря моей спортивной «неприкасаемости»).

Позднее (как не раз бывало и до того, и после) Феликс по своему ненавязчиво, но упорно возвращался к случившемуся (либо подобному) и упрекал-советовал: - мол пора «кончать с пацанством» и готовить себя к взрослой жизни.

И через тридцать лет Фридрих Горенштейн попомнил, и в другом фрагменте «Искры» метафорически и поэтично облек свои тогдашние товарищеские советы в мудрую, печальную, и, ох как редко кому по силам приемлемую, философию бытия:



«В этом году долго стояла зелено-золотая осень, однако девятнадцатого октября ночью внезапно ударил мороз, и листья, многие еще зеленые, не успевшие пожелтеть, дождем начали опадать с деревьев, устилая землю. Это было не увядание, а гибель, и листья не опадали, кружа, а падали тяжело, без опьяняющего сухого запаха, сопровождающего золотой осенний листопад. На следующий день, двадцатого октября, к вечеру повалил снег, и, поскольку на деревьях еще осталось много листьев, ветви начали гнуться и многие ломаться. Снег, правда, пролежал недолго и вскоре растаял. «Вот так и излишне молодой человек, - подумал Лейкин, вспоминая октябрьский листопад. - Надо готовить себя к старости постепенно. Если же молодиться, худеть, вести молодую жизнь, а время будет идти своим чередом, то с человеком может случиться то же, что и с деревьями, вовремя не сбросившими листву и не подготовившимися к зиме».

Герой пьесы «Споры о Достоевском» Василий Васильевич Чернокотов видится во многом сопоставимым с художником Пашей Часовником из «Искры». Правда, еще более интеллектуализированным (другое время, другая среда). Похож он и на нашего старшекурсника Павла Часовникова (вот и опять встретились). Те же явления в явочном порядке там, где не ждут, та же водочная зависимость, тот же зоологический антисемитизм, те же, в общем-то (данная далеко не всем) готовность и способность физически драться... И вот уже два персонажа разных произведений о двух эпизодах пресловутой идеологической борьбы пишутся Фридрихом Горенштейном с «живого факта и образа». И в Часовникове из «Искры», и в Чернокотове из «Споров» есть вероятно черты и других «живых фактов и образов», но и Часовников-студент в обоих - определенно узнаваем.

О Горенштейне пишут и спорят. Есть и о соответствии с Нобелевским. Есть и сопоставление с Достоевским. А есть и бескомпромиссно – «Достоевский XX-го века»... Есть и на удивление откровенно: «Как раз в это время Борис Добродеев принес мне сценарий по «Первому учителю» Чингиза Айтматова. Драматургия была не лучшего качества... Сценарий я сначала переписал сам, потом позвал Фридриха Горенштейна, заплатил ему, и он привнес в будущий фильм расклеванный воздух ярости. После чего уже стало ясно, что браться за картину стоит. Надо было утвердить сценарий у автора повести. Мы встретились с Айтматовым в Кремлевской больнице. Он прочел сценарий прямо в коридоре, сказал: «Мне нравится» (А. Кончаловский).

Есть уже и книга Мины Полянской с подзаголовком «Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна» (Слово-Word. New York, 2003).

Не мне судить о высоких «соответствии Нобелевской» и «Достоевский XX-го века». Я пристрастен и, естественно, горжусь соучеником. Но то, что он, как и Достоевский ... «всегда шел от живого факта – события, поступка, слова» (П. Фокин) – очевидно не только из примера «Искры». В случаях же недостаточности «живых фактов» Фридрих Горенштейн предупреждал (как, например, в подзаголовках: «Свободная фантазия по мотивам творчества Марка Шагала», либо «Записки казачьего офицера» в романе об Унгерне).

Литературные персонажи с именами соучеников (Митенька Бронз, Ваня Посторонко, Леня Булгаков, Витя Кулинич, Ким, Палеонный, Гацко, гимнастка Светлана Маркова и др.) и их жизнь в книгах Фридриха Горенштейна - нечто совсем иное, чем просто «слова, дела и образы чужого прошлого». Это собственное видение «Мастером неповторимого слова и образа» Фридрихом Горенштейном, видение с высоты

десятиков прошедших лет, видение «изнутри и откуда-то со стороны» (А.П. Межиров) неизбывных мотивов доброй памяти – своеобразных новелл памяти пятилетнего нашего студенчества. В основном прошедшего для Фелекса (кроме прочего) в климате доброжелательства и нешумного товарищества, которых он до и после был лишен.

Тепло от мысли, что мотивы памяти реальных студенчества Феликса Горенштейна, переходили в книги Фридриха Горенштейна новеллами памяти все десятки лет его тернистого подъема «на гора» литературного Олимпа.

А оценка самим Фридрихом Горенштейном «климата» этого подъема - в предпосланном выше эпиграфе, как и климата детства и ребячества в «Доме с башенкой». Да и приведенная Миной Полянской цитата из недавней статьи Александра Прошкина: «О Горенштейне в Берлине хлестко сказал Андрон Кончаловский: «Прозывает в ожидании Нобелевской премии.»... А в «Литературной Газете» от 26 марта 2002 Кончаловский (с Марком Розовским и Петром Фоменко) уже пишет: «Будь мы на месте Нобелевского комитета, непременно выдали бы премию по литературе Фридриху Горенштейну... ». Но это в некрологе...

Вот и выходит, что несытый, несвободный, тревожный и вынужденно камуфлированный период студенчества Феликса-Фридриха был наиболее душевно комфортным в его тяжелой жизни.

## МАРИНА ГАРБЕР

*«Киев. Русская поэзия. XX век» –  
ред. Ю. Каплан, Киев: «Юг», 2004, 488 с.*

Название этой антологии полно освещает ее содержание: перед читателем – не просто поэтическая антология, а антология формально обусловленного места и времени. Думается, что не многих читателей удивит сам факт существования русской поэзии Киева, ведь известно, что киевская земля щедра на талантливых поэтов: с ней связаны имена Волошина, Вертинского, Эренбурга, а из наших именитых современников, пожалуй, достаточно упомянуть Коржавина, Озерова, Морича... В то же время, читатель, прежде всего, думает о большинстве этих и многих других имен участников антологии как о русских (или даже российских) поэтах. Сам Киев зачастую является лишь частью биографии поэтов, увы, малозначимой для рядового читателя. Однако, как следует из предисловия главного редактора антологии, киевского поэта Юрия Каплана и подтверждается в кратких биографических справках об авторах, от начала до конца сложного и полного потрясений двадцатого века, Киев являлся одним из важнейших поэтических центров, истоком нескольких литературных течений и местом зарождения многих творческих студий, клубов и объединений. И нельзя не оценить тот титанический и скрупулезный труд составителей настоящей антологии, собравших под одной обложкой не только стихи, но и любопытные сведения о бурной литературной жизни Киева. Многие биографические данные представленных здесь поэтов были найдены в личных архивах, редких каталогах и антологиях; некоторые биографии были уточнены и дополнены; а несколько поэтических подборок публикуются впервые. Поэтому не удивительно, что, едва увидев свет, настоящая антология стала библиографической редкостью.

Антология состоит из четырех разделов, озаглавленных искусно подобранными цитатами: «Поэзия оживший материк», «Питомцы киевского ветра», «Все соблазны южных смол», «И новый век, и день иной». В первый раздел вошли стихи поэтов, чье творчество тесно связано

с Киевом. Так, например, здесь читатель прочтет стихотворения таких признанных мастеров слова как Семен Надсон и Бенедикт Лившиц, а так же наших современников, чье творчество известно далеко за пределами Киева – Николая Ушакова, Леонида Вышеславского, Евдокии Ольшанской. Первый раздел так же содержит несколько отдельных глав, уделенных поэзии украинских неоклассиков, участников литобъединения «Майна» и «Первого Эшелона», «Боярских мастеров» и киевского поэтического авангарда. Здесь же помещены русские стихи украинских поэтов, Максима Рыльского, Мыколы Зерова и Павла Филипповича. Широко представлены в этом разделе и поэты русского Зарубежья, как, например, Аркадий Рывлин, Лариса Щиголь, Игорь Михалевич-Каплан, Евгения Гейхман, Рафаэль Левчин, Леонид Даен, Ефим Чеповецкий. Во втором разделе помещены стихи «наших земляков», как пишет в предисловии Ю. Каплан, т.е. урожденных киевлян: Максимилиана Волошина, Александра Вертинского, Анатолия Штейгера, Льва Озерова, Николая Моршена, Ольги Анстей, Семена Гудзенко, Наума Коржавина, Валентины Синкевич, Юнны Мориц... В третьем – стихи поэтов, в чьем творчестве сыграл важную роль «киевский период», как, например, у Иннокентия Анненского, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Ивана Бунина, Николая Гумилева, Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка, Саши Черного, Тэффи, Самуила Маршака, Владимира Нарбута, Ивана Елагина, Юрия Терапиано, Алексея Парщикова, Ирины Ратушинской. В особую главу помещены стихи трех «гостей»: двух поэтов, писавших о Киеве и о событиях, связанных с Городом, Бориса Чичибабина и Евгения Евтушенко, а так же одного из составителей антологии «Киевская Русь», поэта Ольги Бешенковской. Последний, четвертый, раздел посвящен даровитой и многообещающей поэзии молодых, из которых хочется особо выделить стихи Ирины Иванченко, Елены Москаленко, Юлии Веретенниковой и Юлии Богдановой (примечательно, что из пятнадцати представленных здесь авторов – двенадцать женщин, – что, возможно, когда-нибудь станет интересной темой для отдельного исследования).

Итак, в одни и те же разделы включены стихи не похожих друг на друга поэтов – Надсона и Рыльского, Волошина и Моршена, Анненского и Бурлюка. Критерий составления – не принадлежность к тем или иным литературным течениям и школам, а степень причастности к Киеву – причастности творческой, биографической, тематической. Кто-то родился и вырос в Киеве, кто-то учился и работал, кто-то гостил, кто-то писал о Городе... И только лишь в редких случаях (как, например, в случае с Владимиром Высоцким) чувствуется «натяжка» в причислении поэта к «киевским».

Так или иначе, всех представленных здесь поэтов, прежде всего, объединяет любовь к русскому языку. Не случайно в антологии – столь много прекрасных стихов об этой любви, как, например, отрывок из чуть ироничного стихотворения Ларисы Щиголь:

Язык... Он спит, как змей – покуда свернут,  
Но если за него кого-то дернут,  
То этот гад способен довести  
До сведенья, до ручки, до упада,  
До Киева... – туда-то мне и надо,  
И потому нам нынче по пути.  
Или же – отрывок из стихотворения Ольги Анстей «Родной язык»:

Для новых бражников нужны места –  
И смена яств идет в высокой зале,  
И нас, еще не вытерших уста,  
Уводят спать. А пир бушует дале.

Пожалуй, ни одна киевская антология не может считаться полной без стихов о трагедии «Бабьего Яра», и в настоящей антологии эта всё еще берущая за живое тема щедро отражена в стихотворениях и отрывках из поэм Евгения Евтушенко, Льва Озерова, Людмилы Титовой, Яна Торчинского.

Закрываю глаза  
в непроглядном горячем тумане.  
Обманула надежда,  
что лекарем время послужит.  
Будь вам пухом земля,  
дорогие мои киевляне,  
И пускай выш покой  
никакая беда не нарушит.

Ян Торчинский, отрывок из поэмы  
«Открытие (Бабий Яр)»

История любого города неотделима от судеб его горожан. Это, нередко трагичное, сплетение судеб Киева и киевлян первой половины прошлого века особо ощутимо при чтении многих биографических справок об авторах. Слишком часто место смерти поэтов обозначено зловещими «лагерями», слишком часто их биографии заканчиваются жутким словом «расстрелян»; а позднее, многих переживших сталинскую «чистку» ждала либо гибель на фронте, либо нелегкая эмигрантская доля.

Даже при поверхностном взгляде на список представленных в антологии имен, читатель отметит отсутствие строго обозначенных географических границ. Конечно же, бывшие киевляне писали и продолжают писать стихи, оказавшись далеко за пределами родного города, будь то близкая Россия или далекие Америка и Европа. Однако составители антологии руководствовались иными – не географическими – критериями. Ведь, как показал опыт, русская поэзия приживается практически на любом отпущенном ей клочком земли. И лишь одна географическая величина важна в этой антологии – город Киев. Не случайно, в книге – множество стихов, посвященных Городу; о нем писали Александр Вертинский, Борис Чичибабин, Григорий Шурмак. И у каждого – Город со своим лицом, свои, четко врезавшиеся в память детали: золотые сады подле университета у Бенедикта Лившица, сумерки на Владимирской горке у Ивана Елагина, широкая пристань на Подоле у Михаила Сандомирского, разноцветный Первомайский Сад у Сергея Спирта, архитектура, каштаны и Днепр у Клавдии Билыч, или же могилы близких у Иммануила Глейзера и тюремная камера КГБ в «пять шагов от окна и четыре от стенки до стенки» у известной киевской поэтессы, заключенной и позже изгнанной из страны в незапамятных 80-х, Ирины Ратушинской. И так как невозможно процитировать всех достойных строк о Киеве, напоследок приведем отрывок из стихотворения Леонида Вышеславского «То, что подспудно назревало...», не помещенного в настоящую антологию, но точно отражающего преобладающий в ней лейтмотив:

О, нам не разглядеть сегодня  
просвета в этой преисподней!  
А всё же лестница ведет  
туда, где каменной Софии  
сияют главы золотые  
над глубиной вечных вод.

Именно такой «лестницей», ведущей к Киеву, видится нам антология «Киев. Русская поэзия. XX век».

**Ирина Машинская, «Путнику снится» –  
М.: ОГИ, 2004. – 80 с.**

Стихи Ирины Машинской удивительно своеобразны, так как всё в них свое – и ритм, и рифмы, и образность. О чем они, с первого прочтения понять трудно, ибо их необходимо научиться читать, точнее слышать. Для Машинской важна не тема и, тем более, не идея; ее стихи начинаются со звука: «...в узкое горло жизнь пролилась». Кажется, будто сначала к поэту приходит звук, а из него уже льется – само по себе – стихотворение. И, возможно, до его завершения, поэт сам не ведает, во что оно выльется. Почти в каждом стихотворении ощутимо упоение звуком, новое – *звуковое* – пережитие поэтом смысла привычных слов и фраз, например:

Вот и неважным  
стало: «никто мне не нужен».  
Ходит волной за стеною  
смутно знакомое, слева, бьется, как о волнолом,  
но слово какое случайное кажется: «сердце»!

От каждого стихотворения Машинской читатель ждет новизны, неожиданности. И хотя голос поэта всегда безошибочно узнаваем, стихи Машинской лишены бесполезных повторов, и многое в них – от изначального звука – его протяжности, тональности, густоты. Это может быть звук-возглас, как, например, в однострочном стихотворении «Луна»: «Какая нынче! будто жар у ней»; или звук-скороговорка: «Зазубриной, заусеницей / на убранном поле, резкостью / вскрытой на снимке местности, / где больше никто не селится»; или звук-вдох: «Вечерний зов / Небесных сил. / Кто захотел – / Тот и простил»; или звук-поток: «Расслабленное лето – как лицо / Задумавшегося, о лице забывшего, / Как шелковый платок, течет в кольцо».

«Поэта далеко заводит речь», – писала Цветаева, и если, всё-таки попытаться провести параллель между Машинской и предшественниками, то, скорее всего, это будет Цветаева. Вслушаемся в эту, почти цветаевскую игру звука и смысла:

весь ты мне в масть  
моей жизни ость суть  
нежный стержень  
слишком долго ряжены  
мы ходили волк  
мимо скважины  
ничьего я ребра  
да назад пора  
долг долг путь  
вглубь в твою грудь

Воистину цветаевское восклицание: «ничьего я ребра», как и концовка, усиленная уточнением: «долг долг путь / вглубь в твою грудь»... Возможно, что именно от Цветаевой автор унаследовала *фольклорность* (но не тематическую, а, опять-таки, звуковую); в ее стихах нередко слышится мелодичность народного сказа, например:

До свидания, суровые, до свидания, толковые.  
Плывет айсберг, прочь бомжовый отколотся,  
уплывает топорок.  
Впереди – глядит –  
ни льдинки: глади, глади, воды голые,  
позади – ледовый купол, сверху маковый пирог.

Истинный поэт, Машинская не боится экспериментировать, она ищет и находит новые способы поэтического выражения. Будучи поэтом *звукового восприятия*, она

всё же умеет *видеть* и усилить смысл не только звучанием, но и визуальными образами и приемами, как, например, в этом отрывке:

Ручей, впадающий в прохладный узкий пруд,  
хвощи, вьюнки в подслеповой чаще,  
косящий берег, стебелек торчащий –  
когда вы развернулись на восток?

Или, к примеру, стихотворение Машинской, начинающееся строкой «Моя фамилия с русалочьим хвостом», визуально напоминает изогнутый хвост; а следующий отрывок кажется поэтическим воплощением одной из картин Магритта:

Отчего не лицо мне маячит –  
до верха застегнутый ворот?

Как будто раскрою –  
там дырка от пули *люблю*.

Следует уточнить, что первоначальная «туманность» поэзии Машинской отнюдь не является ее недостатком. Напротив, в этом, пожалуй, состоит одна из ее отличительных черт. Здесь подразумевается не «заумь», не модное косноязычие, а естественность и индивидуальность поэтического языка, в который, дабы его понять, нужно лишь уметь вслушаться, вразумиться всем естеством. А невозможность пересказа этих поэтических монологов, как известно, является одним из неотъемлемых качеств истинного лирического стихотворения.

И о чем бы и как бы ни писала Ирина Машинская, главное стремление поэта – постигнуть природу звука, слова, чувства, души... И это ей неизменно удается.

Все в униформе, гуся полетят,  
я поднимусь за четкими полками,  
с такими же, как лапки, сапогами,  
или рябиной – встану в четный ряд,  
рябиною, с плодами невольно –  
и погребу неловкими руками.

**Михаил Бриф, «Галера» –  
Нью-Йорк: Слово-Word, 2003, 110 с.**

Думается, что название для своего сборника поэт Михаил Бриф избрал не потому, что галера часто ассоциируется с изнурительным и принудительным трудом (ведь в старину гребцами на галерах зачастую были преступники); скорее, автора привлекла идея безысходности существования поэта-гребца. Именно безысходность является преобладающим лейтмотивом его книги. Вот как пишет об этом сам автор:

Не видать мне счастья в полной мере,  
ведь родился не в краю отцов,  
потому и числюсь на галере  
самым нерадивым из гребцов.

Стихи Брифа – об одиночестве, остром поэтом, где бы он ни находился: в родной-чужой России, в Нью-Йорке ли, в семейном кругу, в окружении ли друзей... Такова доля поэта (возможно, добровольно избранная), ощущающего себя гостем в любой среде: «Не там отчизна, где бос и гол, / а там отчизна, где письменный стол». Или:

В гулаге жил, теперь живу в Нью-Йорке.  
Сбежал из ада. Что ж душа не рада?

Конечно, здесь вселенские восторги,  
здесь не зарежут из-за хлебной корки,  
в гостях положат паюсной икорки,  
но ты чужой, здесь слез твоих не надо.

Это стихи о внутренней отрешенности, об оторванности — от среды, людей, мира. Поэтому чаще всего они обращены ни к кому, точнее, к самому себе, вроде грустных дневниковых исповедей — о несложившихся человеческих отношениях, о несчастной любви, о разлуке... Не случайно, поэт сетует на отсутствие *своего* читателя:

Читателя ни одного  
нет у стихов и не найдется.  
Стихи пишу ни для кого,  
и чахнет лира от сиротства.

И, кажется, поэтому поэт не ищет новых форм и путей поэтического выражения (рифмы и размер у Брифа почти всегда ординарны, а сюжеты его стихотворений, хоть и достаточно разнообразны, почти никогда не заканчиваются мажором), ведь дневник обычно перечитывает лишь сам автор... Иногда присутствует в этих стихах и чувство ностальгии («Позабудь о загубленной жизни. / Пусть горит в негасимом огне / ностальгия моя по отчизне, / ностальгия отчизны по мне»), но чаще всего это — ностальгия по никогда не сбывшемуся, по родине, которой у поэта никогда не было.

Приведем в заключение стихотворение Михаила Брифа из цикла «Разлука», в котором снова звучит голос поэта-гребца:

Пропать нещадно к себе влечет.  
Отворотись от любви.

Днепр течет, Иордан течет,  
плещут в окна мои.

Тяжко грести на исходе дня.  
Смилуйся надо мной.

Было две родины у меня —  
нет теперь ни одной.

**Юлия Кунина, «Ночные шуточки пространства» -  
Изд-во «Пушкинского фонда»,  
Санкт-Петербург, 2004, 40 с.**

Первое, что отмечаешь при чтении этой книги, пожалуй, то, насколько для поэтессы Юлии Куниной важна «верность чутья»: она зачастую предпочитает фонетику семантике, а форме, похоже, — «бесформенность». Традиционные рамки нередко оказываются ей тесны, поэтому кажется, будто поэтесса ищет выход и освобождение от формальных уз. Стилистические же фигуры и тропы (анафоры, инверсии, цезуры и аллегория) становятся не просто инструментами стихосложения, а даже «героями» кунинских стихотворений («...Часть речи вообще», «Аллегорические фигуры»).

Итак, вслушаемся:

И это будет гость по улице ночной  
и это будет кость коробки черепной  
и это будет ствол в руке, в паху, в судьбе  
и всё мол обо мне, и всё мол о тебе  
И темные *Aha-a!*  
без смысла и причин  
так говорит беда на языке мужчин

Цветаева тоже высоко ценила это протяжное «а-а-а...», продолжающее звучать даже после финальной точки. Из-

вестно, что Цветаева сравнивала стихи с «дневниковыми записями», сродни молитвам, — с записями, продиктованными «ливым вдохновением». Действительно, незаконченность и отрывистость строк Куниной иной раз напоминают фрагментарность дневникового стиля. И лишь обтекающий звук как бы сглаживает углы и затушевывает шероховатости, «чтобы строчки тебя обтекали, / как линии — тело».

Именно псуддневниковость кунинских стихов — «абсолютных монологов» — причина частого использования автором эллипсиса — естественной недоговоренности наедине с собой. Должно быть, поэтому поэзия Куниной нередко напоминает *поток сознания*. Не случайно, поэтесса избегает точек и пауз, а деление на смысловые отрезки (почти никогда не складывающиеся в законченные предложения) у нее зачастую сугубо интонационно. Для Куниной, кажется, важнее продолжительность, длительность, протяженность... Ее стихи — своего рода протест против развязки, которая, во что бы то ни стало, ведет к концу, в то время как поэтессу прельщает именно процесс — вслушивания, «говорения», *стихо-творения*...

Ибо:

Это от резеды, руты, пастушьих сумок  
так больно, *Geliebter*, так трудно, и так истончен  
этот воздух, что пить его — что различать рисунок  
не после, а прежде чем он закончен

Отсюда, из продолжительного акустического движения, из непрерывного *perpetuum mobile* рождаются *беспрепятственные аллитерации* в стихах Куниной, когда последняя буква одного слова становится первой буквой другого, например: «...это речь это речь это речка»; или: «Любимая любить любимая люби»...

Чтобы по-настоящему почувствовать стихи Юлии Куниной, необходим опыт и навык их прочтения. Иными словами, нужно не просто вслушаться в их сердцебиение, но и попытаться слиться с этим, то отрывочным, то плавнотекущим ритмом. Так, идущие рядом через какое-то время невольно начинают дышать в унисон... И тогда...

И тогда, обнажая скелет, как рентген,  
как стая пираний, эриний,  
этот голос чужой — автоген  
сталь, скребушая алюминий,  
настоятельность правоты,  
пустоты, немоты, красноречья  
рвет мой голос, как волос,  
и становится речью,  
как ты,  
становится речью.

**Виктор Фет, «Многое неясно» -  
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004, 174 с.**

Чувствуется в необычном названии поэтического сборника Виктора Фета «Многое неясно» некоторая неудовлетворенность или даже легкое сетование на то, что человечеству никак не удастся разгадать все «тайны бытия». У поэта-лирика *неразгаданность* «тайн бытия» скорее бы вызвала ликование, так как именно из загадок он, как правило, черпает вдохновение. Для поэта-ученого, однако, *неразгаданность* чего бы то ни было часто означает нечто иное. «Может, в мире нету тайны; / Может, в этом весь секрет?» — гадает Фет. Можно согласиться с Петром Вегинным, написавшим предисловие к сборнику, в том, что Фет мало похож на своего знаменитого тезку по фамилии, так как в стихах Фета часто важ-

на не субъективность восприятия, а обратное – строго объективное видение жизни.

Однако, когда автор вольно или невольно разрывает замкнутый круг привычных поэтических средств, ему удаются по-настоящему лирические строки, как, например, в стихотворениях «Гумилеву», «Память», «Кавказ», «Берег», «Баллада», «Памяти Окуджавы»... В этих стихах есть присутствие лирического героя, в них чувствуется личное вовлечение автора и отчетливо слышна мелодичность строк. Например, в стихотворении «Кавказ» поэт мастерски использует сочетание звуков: сначала для создания атмосферы стихийного потока, а затем – для создания ощущения преграды на его пути:

Оборотного «э» оборот,  
Ермака подменяющий Эрик,  
Непредвиденный водоворот,  
Всероссийской истории Терек,  
Где от викинга до казака –  
Страх раба, брага пьяной отваги,  
Да эрозии буйной овраги  
Аж до шапки горы Машука.

Почти осязаемы здесь и вольное течение, выраженное посредством долгих «е», «э» и «о», и его борьба с препятствиями, проявляющаяся в «бра-» и «вра-». Это – один из примеров истинной поэтичности, когда и образы, и звуки, и смысл сливаются в одно гармоничное целое. Можно сказать, что приведенный ниже отрывок из стихотворения «Памяти Окуджавы» обращен ко *всем* поэтам:

Тем и жив этот мир, несуразный на вид,  
звуком песен великих и малых,  
словно кто-то чертит на полях алфавит  
из иных языков небывалых.

Именно такими, по-настоящему лирическими строками интересна эта книга Виктора Фета.

*Чикаго-Люксембург*

## ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

### ТРИ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ГОЛЛЕБАХА

*Сергей Голлербах. Свет прямой и отраженный: Воспоминания, проза, статьи. Санкт-Петербург, Инапресс, 2003.*

Не обязательно верить астрологам, чтобы сообразить, что твоя судьба во многом зависит от того, где ты родился – на Севере или на Юге. Место и страна рождения кладут на всю твою последующую жизнь несмываемое родимое пятно. Художнику и писателю Сергею Львовичу Голлербаху довелось, пусть не в яви, а в мечтах, прожить целых три жизни. Его родина – Россия, Царское село; в годы войны угнанный в Германию, он провел там юность, получил художественное образование; эмигрировав в Америку, уже более полувека живет в Нью-Йорке.

И вот что получается:

Сергей Голлербах, житель многомиллионного мегаполиса, кстати, прекрасно его знающий и нежно любящий, осознает, что жизнь его могла бы протекать и на других широтах – ведь чистая случайность, что он оказался в Америке.

Мотив «трех жизней», как я понимаю, – один из основополагающих в этой замечательной книге. А замечательна она во многих отношениях. Почему-то вначале захотелось сказать не о самой главной, но об очень зримой ее черте – книга огромная. Любители неторопливого вдумчивого чтения, собиратели неординарных мыслей, коллекционеры гротескно причудливой книжной графи-

ки обречут в ней то, что долго разыскивали на книжных развалах.

А вначале приведу полностью один из «фрагментов», помещенных составителями книги (Е.А. Голлербах и И.А. Трофимова) в раздел МОЗАИКА и озаглавленный «Север и Юг»:

*Север – это моя молодость, юг – моя старость. Я спускался с северных широт, на юг, всю мою жизнь – чтобы понять жизнь.*

*Юг не имеет тайн. Все тайны и секреты – на севере.*

*На севере природа сурово-нежна, на юге она ласково-жесточка, коварно-прекрасна. Еда на севере полезна и питательна, на юге она вкусна и вредна.*

*На севере пьют водку, на юге – душистое вино.*

*Северная женщина загадочна, южанка – прямее, привлекательнее. Все на юге яснее, радостнее, теплее.*

*Но почему же я все-таки люблю север, его скованность и скрытность, его мучительные тайны, его светло-зеленое небо, тишину его снегов?*

*Потому, что я там родился.*

*Потому, что северные духи, домовые и лешие, кикиморы и шишиморы смотрели в мою колыбель, когда я рос. Они оставили на мне взгляд своих зеленых водянистых глаз, свои призрачные улыбки. Они дали мне тепло горящих в печке дров и морозные узоры на заиндеветых стеклах окон. Как амулет, как талисман ношу я с собой маленький кусочек Севера, финских болот, Санкт-Петербурга.*

Если вы пленились красотой языка, выверенной жизнью точностью и небанальной мудростью этого «стихотворения в прозе», тогда каждый такой драгоценный кусочек вы будете смаковать как густое, высокой пробы вино, выдержанное в уединенном подвале.

Говоря о «небанальной мудрости», я имею в виду вполне конкретные вещи.

На первый взгляд, здесь высказаны хорошо известные, аксиоматические истины, вполне в духе изречений одного из чеховских героев: лошади кушают овес, Волга впадает в Каспийское море. И в самом деле, разве не общеизвестно, что на севере пьют водку, а на юге душистое вино? Кто не знает, что все на юге яснее, радостнее, теплее? Но взгляды и увидим, что лукавый автор, усыпляя нашу бдительность, «протаскивает» в этот текст мысли, далеко не всеми разделяемые, даже спорные. Все ли согласится с тем, что «юг не имеет тайн» и что «все тайны и секреты – на севере»? Как далеко это от обычного стереотипа сознания, приписывающего югу таинственность, непознанность, странность. О северных красавицах Пушкин устами Дон Жуана сказал как припечатал: «В них жизни нет – все куклы восковые», а тут, у Голлербаха: «Северная женщина загадочна». Нет, далеко не так прост Сергей Голлербах, как иногда кажется, или каким он порой сам себя представляет (вечные его ссылки на банальность собственной мысли!).

Это книга статей и эссе, содержащих неожиданные психологические и философские прозрения.

Но все же, в первую очередь, это книга художника. И сам Голлербах в своих заметках постоянно говорит о себе как о художнике, человеке «зрительном», идущем от внешних впечатлений. Первый раздел объемистой этой книжищи недаром озаглавлен «Заметки художника»<sup>1</sup>, раздел «Сильные ракурсы» включает статьи о художественных выставках, рассказы о художниках, но и на части «О чем иногда думается» и «Мозаика» также падает от-

<sup>1</sup> Этот раздел перекликается с первой книгой автора «Заметки художника». Russian Edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1983

раженный свет профессии их творца. Ловлю себя на том, что «художество» Голлербаха не «профессия», оно нераздельно с его личностью и не мыслится вне ее. И в самом деле, кому, кроме художника, придет в голову наблюдать за старыми башмаками и шляпами, писать о различных аспектах «голизны» и «наготы», видеть в передаче денег собирателю дорожной пошлины – из рук в руки – жест Творца, рукой касающегося пальца Адама в известной фреске Микеланджело.

Но, говоря по правде, больше всего в этой книге меня привлекли самые обычные, словно бы дневниковые записи, городские и бытовые зарисовки, из мозаики которых можно сложить жизнь их автора и представить себе его образ.

А образ получается любопытный. Уже очень немолодой художник, живущий один в самом центре Нью-Йорка, ищущий и находящий свои способы ухода от темноты, тяжести и неприветливости жизни, дабы сделать ее, эту жизнь, более сносной, уютной, своей. В ход идет наблюдение за соседями, встречами, посетителями ресторанов и кафе, гуляющими по улице и загорающими на пляже. Если вокруг нет людей, наблюдение ведется за животными, вещами. Если нет и их, – за самим собой. А ведь как интересно! Не знаю, может, и обижу этим восклицанием автора – его наблюдения порой весьма горьки и самоироничны. Но читатель следит за ними с захватывающим и, можно даже сказать, личным интересом – ему, читателю, тоже ведомы и эти настроения, и эта безысходность, и это одиночество. Вчитываясь в книгу, он проверяет себя, свои собственные ощущения, сопоставляет, сравнивает, учится и набирается ума.

Вот тягучее, зябкое название «С вечера знобило», читаешь – и описание больного старого человека, не могущего заснуть и бродящего в полутьме, в шубе и меховой шапке, среди привычных вещей своей комнаты, дает тебе тот катарсис, то душевное очищение, которые, увы, так редко посылаются современному читателю.

*Некое ночное бдение совершается в эти моменты, узнавание знакомого, защита самого себя окружением этих вещей. И медленно высыхают злора и тоска, и почти слезы благодарности выступают, неожиданно для самого себя. Да, вот так, в пространстве комнаты, полной вещей, в пространстве памяти, полной воспоминаний, очерчиваешь вокруг себя заколдованный круг. Он защищает тебя со всех сторон, но открыт сверху – для зова, просьбы, спасения. Тогда снимаешь с себя шубу и шапку и, сопя, укладываешься спать.*

На фотографии, имеющейся в книжке, Сергей Голлербах веселый, очень живой и моложавый, стоит с кистью в руке у недописанного портрета. На портрете полуобнаженная женщина, скорее всего, натурщица, в перерыве между сеансом что-то на себя накинувшая и примостившаяся в мастерской у столика – выпить чашку кофе.

Фотография выхватила еще один очень значимый для Сергея Голлербаха сюжет – женщина, тайны ее души и тела, непознанный «пейзаж» ее лица, скрытые телесные «абстракции», обособленный от мужского зачарованный женский мир. Похоже, что еще с военной поры, когда юный Сергей мучительно страшился умереть, так и не изведав женской любви, – сохранилось в нем это жадное любопытство ко всему, что касается женщины.

На страницах его книги мы столкнемся со случайными собеседниками, соседками, натурщицами, посетительницами кафе, созданными всех возрастов и наций, с точеными и странно уродливыми женскими формами и фигурами. Они интересны не только Голлербаху-художнику, но и Голлербаху-человеку, наблюдателю, проницательному психологу и физиономисту.

Вот эти две – бабушка и внучка, – пришедшие на художественную вечеринку, оказывается, никакие не натурщицы, а самые обыкновенные ведьмы, прилетевшие на Манхеттен с Лысой горы, а эта необыкновенная рыжеволосая красавица с пышной гривой, увиденная из окна автомобиля, – на поверку и вовсе обернулась ирландским сеттером. Но не думай, читатель, что женщины показаны в книге лишь в этом ракурсе – ракурсов много, они разнообразны и необычны. Художник, чутко реагирующий на женскую красоту, сохранивший что-то старомодно-рыцарственное в своем отношении к женщине, в наше, увы, нерыцарское время напоминает мне русского классика, а если точнее, – Ивана Алексеевича Бунина. В обоих есть нечто сходное, делающее их «последними поэтами» уже даже не «железного», а «пластмассового» века.

Читая книгу, совершаешь обратное путешествие – из сегодняшнего дня, обозначенного словом «старость», в молодость и детство автора. Если начало книги составлено из впечатлений «ньюйоркца», то ее последний раздел «Мозаика» содержит воспоминания о детстве, проведенном в овянном поэтическими ассоциациями Царском Селе, родителях<sup>2</sup> и их родовых корнях, школе и сверстниках; этот светлый период сменился с началом войны фашистской оккупацией, лагерем в Германии и последующей, следует сказать, успешной адаптацией к новой жизни.

И все же, несмотря на полнокровную послевоенную жизнь Сергея Голлербаха в Европе и Америке, несмотря на воплощенность его многочисленных талантов – художника большой формы, художника-графика, преподавателя живописи, писателя, – в его воспоминаниях звучит ностальгия по городу и стране его детства, по той другой – неосуществленной жизни, вымечтанной в книге как «вариация на тему». И в самом деле, Сергей Голлербах мог, как мой отец, кстати сказать, ровесник С.Л., попасть на фронт, воевать, затем, вернувшись с победой, влюбиться в хорошую советскую девушку, жениться на ней, работать в советских учреждениях... Оказавшись спустя годы в России и глядя в окно гостиницы на суету московской улицы, художник вдруг ощутил, как могла идти его «тугошняя» жизнь, параллельная «тамошней».

Ностальгия по детству, искусственно прерванному войной, особенно ошутима:

*Иногда мне хочется поцеловать мое детство, прикрикнуть на мою молодость и пригрозить кулаком моим зрелым годам.*

В книге отчетливо слышится горестный, идущий от пушкинского самоприговора – «строк печальных не смываю» – крик души, не избежавшей ошибок и падений. Вслушайся, читатель, в такое, например, признание:

*Как-то мне приснилось, что я снова стал молод. Ужас охватил меня: «Боже, неужели все начнется снова?»*

Видимо, дает старость своим избранникам панорамный, словно с вершины горы, взгляд на жизнь, и в свете этого взгляда именно молодость, с ее поисками себя, своего призвания и своей любви, будет казаться временем наиболее неопределенным и мучительным.

Как филолог не могу не обратить внимания на чудесный язык рассказчика, нисколько не утерянный за годы эмиграции. Мало того, может, именно пребывание в чужой языковой среде так обострило лингвистический слух писателя Голлербаха, что он с упоением берется за филологические изыскания, выискивая словесный ряд и корневые соответствия слов «красота» и «лепота», «жало и жалость». К удивительным наблюдениям приходит рас-

<sup>2</sup> С. Голлербах: посвятил книгу родителям.



сказчик в небольшом эссе «Крестики и нолики». Жаль, что не могу привести его целиком:

*Ноль – совершенство. Но ноль – и Ничто. Прибавь ноль к цифре, и она удесятерится. А диагональный крестик? Как два удара хлыстом, он зачеркивает и уничтожает. Но он и знак умножения, таинственный «икс» в алгебре, Андреевский флаг...*

*Но с ноликом не лучше. «О-о...- стонем мы. «О-о!» - вотчим мы в страхе. И ограждаем, охраняем себя тем же ноликом. Мы облачаем себя в одежды, мы окружаем себя друзьями. Мы очень-очень многое можем выразить, начиная слово с буквы «о»...*

Завершается это эссе на редкость красиво, я бы сказала, с драматургическим блеском. Голлербах вспоминает о картине раннего Шагала, хранящейся в Филадельфии, на которой изображен человек с отрезанной головой. На темном фоне возле парящей в воздухе отрезанной головы написано: «Ох, Боже!» Можно понять, что художник таким своеобразным способом выразил тогдашнее свое физическое состояние. И – комментарий Голлербаха: *«Но вот что интересно: восклицание «ох!» - это же нолик и крестик! Многие чувствовал Марк Захарьевич».*

В разделе, посвященном живописи, состоящем из критических статей и рецензий на выставки художников, я нашла любопытное определение. По Голлербаху, среди живописцев есть *«свои короли, герои и полководцы, избранные, шуты и мученики, но есть и просто праведники».* О праведниках автор говорит так: *«(их) творчество питает нас своим качеством и дает нам ощущение постоянства эстетических и человеческих основ в нашем непостоянном мире».* Очень это подходит к самому Голлербаху. Думаю, он рассмеется с обычной для него самоиронией над словом «праведник», но слово дела не меняет – его книга оставляет именно такое ощущение.

Под занавес, как правило, пишу о недостатках. Каюсь, недостатков не нашла. Издана книга прекрасно (петербургское издательство Инапресс), составители-редакторы не только умело подобрали к текстам графические зарисовки Голлербаха, но и в самом конце поместили статьи об его прозе Бориса Филиппова, Рене Герра, Юрия Кублановского и Юрия Зорина.

Кончить хочу еще одним фрагментом книги, на этот раз относящимся к истории.

*Царская Россия была наказана за свою гордыню большевизмом. Большевизм был наказан за свою гордыню демократией. Демократия будет наказана за свою гордыню преступностью, развратом и полным искажением самого понятия «свобода», что, в свою очередь, приведет к авторитарному режиму, который будет наказан за свою гордыню новой демократией, а она... И так далее.*

*Гордыня и наказание – вот, собственно, и вся история рода человеческого.*

Генрих Гессе все высказывания непрофессионалов на специальные темы называл «журнализмом» и относился к ним скептически. В противовес известному мыслителю, скажу, что мне приведенная максима кажется очень точной. Но как бы мы ни отнеслись к социологическому анализу-прогнозу художника, обратим внимание на то, что отталкивается он в своих догадках – от России. И это неспроста. Именно Россия, а не Америка или Европа – самая большая тема для русского по рождению, европейского американца Сергея Львовича Голлербаха.

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

## ПАНОРАМА РОССИЙСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЮМОРА

«О человеке можно судить по тому, насколько охотно он готов смеяться вместе со всеми над самим собой»

Изречение из Талмуда

«...только мудрец раздражает смехом завесу бытия».

Исаак Бабель

*Сборник шуток и анекдотов на религиозные темы «И сотворил Бог смех». Религиозные шутки и анекдоты, Прага-Москва: Изд-во «Права человека», 2005.*

Вниманию читателя предюжен сборник шуток, острот и анекдотов на религиозные темы. Может показаться, что религия и юмор трудно совместимы. Ведь если речь идет о спасении души, то тут, как говорится, не до шуток. Тем более, что в Библии, справедливо называемой Книгой книг и содержащей целую библиотеку религиозных, нравственных и философских трактатов, смеха практически нет.

Герои древнееврейских писаний редко предавались веселью, хотя, как замечает современный философ и исследователь природы смеха Леонид Столович, в ветхозаветных текстах «веселье людей отнюдь не возбраняется, и] сама Премудрость Божия веселилась перед лицом Господа и 'на земном кругу', радовалась 'с сынами человеческими' (1).

Показательна тут история Сарры, жены Авраама, которой Бог пообещал на старости лет рождение ребенка: И сказал Господь Аврааму: отчего это (сама в себе) рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»?.. Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал (ей): нет ты рассмеялась (2).

Смех Сарры в глазах Всевышнего был греховен, поскольку олицетворял недоверие к Нему. Поэтому, когда жена Авраама в преклонных летах родила Исаака, то ее постигло наказание ее же проступком: «И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется... ибо в старости... я родила сына» (3).

В этом смысле новозаветные сказания мало чем отличаются от ветхозаветных. Евангелия – это книги полные скорби, а не юмора. Один из российских мыслителей серебряного века Василий Розанов писал: «Христос никогда не смеялся... Я не помню, улыбался ли Христос. Печать грусти, пепельной грусти – очевидна в Евангелии. Радости в нем есть, но совершенно особенные, схематические, небесные; радости с неизмеримой высоты над землею и человечеством... В том и дело, что Евангелие действительно не земная книга, и все земное в высшей степени трудно связуемо или вовсе не связуемо с ним в один узел; не связуемо иначе, как искусственно и временно» (4).

И все же, несмотря на строгость священных книг, в истории религии вера в Бога и смех – не всегда исключали друг друга. Традиция религиозного юмора уходит своими корнями уже во времена средневековья, когда смех по преимуществу был связан с различными сторонами отправления культа. Как писал Михаил Бахтин в книге о Рабле: «По мере развития смеховой культуры Средних веков люди создавали пародийные дублисты буквально на все моменты церковного культа и вероучения. Это так называемая «parodia sacra», то есть «священная пародия», одно из своеобразнейших... явлений средневековой литературы, [из которой до] нас дошли довольно многочисленные па-

родийные литургии... пародии на евангельские чтения, на молитвы, в том числе и на священные гимны... на литании, на церковные гимны, на псалмы, дошли трагедии различных евангельских изречений и т.п. Литература эта почти необозрима. И вся она была освящена традицией и в какой-то мере терпелась церковью» (5).

Аналогичным образом обстояло дело и в Древней Руси, где в широких масштабах сочиняли пародии на жития святых, на службы, монастырские порядки и т.д.

Одной из важных особенностей средневекового и, в частности, древнерусского юмора была его направленность на самого смеющегося. Авторы шутовских произведений «валяли дурака», представляли себя убогими и ничтожными, и потешали читателя своей незадачливостью и неумелостью. Этот популярный прием «снижения авторского образа» выполнял ряд важных функций.

Прежде всего он позволял автору, спрятавшемуся за маской шута, безнаказанно вскрывать противоречия между официальной доктриной Церкви и ее реальным воплощением в жизни. Показное нечестие рассказчика ослабляло также психологическое давление, испытываемое верующими в отношении религиозных авторитетов. Проводя невольное сравнение с героем, читатель создавал себя не таким уж закоснелым и неисправимым грешником. Наконец, смех над собственной немощью и страданиями преподносил столь необходимый урок смирения и кроткого отношения к обидчикам, недоброжелателям и вообще людям с их слабостями и пороками.

Именно таким был юмор протопопы Аввакума, который в своем «Житии» описывает мучения, претерпеваемые им за веру, как нечто комическое, а также вовсю потешается над собственными подвигами и, подсмеиваясь, жалеет своих мучителей. Вообще, «ободрение смехом в самый патетический момент смертельной угрозы, - как справедливо замечал Дмитрий Сергеевич Лихачев, - всегда было сугубо национальным русским явлением» (6). Таков был и смех Аввакума, - этот «своеобразный 'религиозный смех' столь характерный для Древней Руси в целом [и служивший щитом] от соблазна гордыни, [как] житейский выход из греха и одновременно проявление доброты к своим мучителям, терпения и смирения» (7).

Традицию этого юмора продолжает и коллекция шуток, представленных в настоящем сборнике. Собранные в нем анекдоты высмеивают не религию и свойственные ей атрибуты, а людские недостатки и несовершенства, проявляющиеся по отношению к различным сторонам отправления культа. Все хорошо в меру, в том числе и религиозное усердие, которое является не самоцелью, а средством к духовно-нравственному совершенствованию. Не зря ведь в народе говорят: заставь дурака Богу молиться - он лоб расшибет. Многие анекдоты, как раз и рисуют в комическом свете это показное благочестие, стремление людей следовать букве религии в ущерб ее духу, нисколько не заботясь о внутреннем перерождении и оставаясь такими же скучными, расчетливыми, лживыми, тщеславными и похотливыми созданиями.

Религиозные анекдоты высмеивают слепое подражание авторитетам, буквальное (и зачастую абсурдное) толкование Писания, неуместные претензии на святость и неутолимое желание использовать Бога и религию в корыстных целях. Религиозный смех очищает души от скверны нетерпимости и фанатизма, пробуждает в нас уважение и сочувствие к людям, исповедующим иную веру или придерживающихся дру-

гих взглядов, а также принадлежащим к разным народам, расам, классам и цивилизациям. Одним словом, перефразируя известное высказывание Константина Станиславского, религиозный юмор учит нас любить не себя в религии, а религию в себе, - чувство, столь важное именно сейчас не только в пост-советской России, но и во всем мире, охваченном лихорадкой религиозного терроризма.

Собранные в книге анекдоты поделены на два больших раздела. Первый раздел называется «Библейские мотивы». В него входят остроты и шутки, обыгрывающие библейские темы, начиная с деяний Бога и Его ангелов и заканчивая концом света, вторым пришествием Мессии и загробным воздаянием. Второй раздел, названный «Религиозная мозаика», включает самые разнообразные анекдоты на общерелигиозные темы. Некоторые из них, разрабатывающие сексуальную тематику, по мнению составителя, находятся на грани приличия, однако были включены для воссоздания полноты картины и как пример того, что в среде филологов принято называть «народным карнавальным юмором». В целом, подбор анекдотов представит читателю достаточно полную картину русского религиозного юмора, а не выхолащенную и «политически корректную» его версию.

В заключение - приводим ряд шуток и острот, включенных в различные рубрики книги.

- (1). Леонид Столович, «О метафизике смеха», *Философия. Эстетика. Смех*, С.-Петербург, 1999, с. 247.
- (2). Библия. Книги священного Писания Ветхого и Нового Завета, Брюссель: «Жизнь с Богом», 1973, Бытие, 17:13, 15.
- (3). Там же, 21:6-7.
- (4). Василий Розанов, «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», *Сочинения*, М.: «Правда», 1990, т. 1, с. 561-562.
- (5). Михаил Бахтин, *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*, М., «Художественная литература», 1990, с. 20.
- (6). Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Поньрко, *Смех в Древней Руси*, Ленинград: «Наука», 1984, с. 61.
- (7). Там же, с. 63.

*Университет искусств, Филадельфия.*

\*\*\*

Много хороших людей на свете... Но на том свете их больше...

\*\*\*

Церковь у нас отделена не только от государства, но и от религии.

\*\*\*

День Благодарения - это Холокост для индюков...

\*\*\*

- Скажите, рабби, а в шабат с парашютом прыгать можно?

- Прыгать можно, парашют открывать нельзя.

\*\*\*

Почему, когда ты разговариваешь с Богом - это названо молитвой, а когда Бог с тобой - шизофренией?

\*\*\*

Библия учит любить ближнего своего. А Кама-Сутра объясняет как именно это делать.

\*\*\*

Одетого еврея можно спутать с христианином, а раздетого - только с мусульманином.

\*\*\*

Если вы любите грешить, обращайтесь в язычество. Только там вы сможете разгневать не одного Бога, а сразу несколько.

\*\*\*

Вот раньше жизнь была: РАЙком, РАЙисполком, а теперь сплошная АДминистрация!

\*\*\*

- Почему только 30% женщин попадают в рай?  
- Потому что если бы их там было больше, это был бы ад.  
\*\*\*

- Господи! Смерти прошу у тебя! Не откажи мне, Господи, ведь не для себя прошу...  
\*\*\*

- Доктор, операция прошла успешно?  
- Я не доктор. Я апостол Петр...  
\*\*\*

"Если есть жизнь после смерти, и мы все окажемся в одном месте, не звоните мне — я сам вам позвоню".  
(Вуди Аллен)  
\*\*\*

Никогда не надо судить о человеке по его окружению. Иначе идеалом надо было бы признать Иуду.  
\*\*\*

Самой счастливой парой на Земле были Адам и Ева: у них не было ни тещи, ни свекрови.  
\*\*\*

Знаете, почему новые русские не любят Свидетелей Иеговы?! Они вообще не любят никаких свидетелей!!!  
\*\*\*

- Мама, а правда, что Иисус был евреем?  
- Правда, сынок, правда. Тогда все были евреями, время было такое.  
\*\*\*

В начале было Слово... Однако, судя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.  
\*\*\*

Выпущена Библия для юристов. Первый пункт Нового завета выглядит так: "Внимание, Новый завет не отменяет Ветхого завета".  
\*\*\*

В советские времена была найдена новая книга Библии. В ней утверждается, что конец света может произойти в одной, отдельно взятой стране.  
\*\*\*

- Батюшка! Откуда это вдруг у вас фингал под глазом взялся?  
- В начала было слово, сын мой...  
\*\*\*

Бог дослал одиннадцатую заповедь:  
- Не пожелай ближнему жены своей.  
\*\*\*

Чем отличается Россия от Египта? На Египет Бог наслал десять казней до исхода евреев, а на Россию — после исхода.  
\*\*\*

По легенде Ной взял каждой твари по паре. А кого он взял себе?  
- Ноющую тварь.  
\*\*\*

Когда Бог велел Ною построить большой ковчег и взять на него каждой твари по паре, у Ноя возникла одна лишь маленькая проблема - где взять две тещи...  
\*\*\*

Хозяин сада повесил на деревьях таблички с надписью: "Бог все видит".  
Утром сад был обчищен, а на одной из табличек была сделана приписка: "... Но на нас не донесет".  
\*\*\*

Из разговора Адама с Богом:  
- Тебе что - ребра жалко?  
- Да нет - просто какое-то плохое предчувствие...  
\*\*\*

Адам и Ева изгнаны из рая и пашут в поте лица. К ним подползает змей-искуситель:  
- Ну и как вам нравится демократия?

## НАТАЛЬЯ ГЕЛЬФАНД

### УЧЁНЫИ И БИБЛИОГРАФ

*Рецензия на «Биобиблиографический указатель» Вадима Скуратовского, изданный на украинском и русском языках в Киеве в 2004 г.*

Задачей этой книги было охватить, зафиксировать все аспекты научной деятельности, все способы интеллектуального и творческого самовыражения (с 1968 по 2004) известного учёного, доктора искусствоведения, действительного члена Академии искусств Украины Вадима Леонтьевича Скуратовского. Есть немало эрудированных и талантливых учёных, чьи труды выходят за пределы основного направления их профессиональной деятельности. Скуратовский представлен в указателе как культуролог, искусствовед, историк, политолог, литературовед, публицист, оратор, сценарист, кинокритик, популярный телеведущий... и киноактёр. Право же, случай в современном мире едва ли не уникальный. И эта уникальность отражена как в структуре справочника, так и в его полиграфическом воплощении. Свидетельствую как библиограф, проработавший более тридцати лет в Институте мировой литературы им. А.М. Горького, через руки которого прошли десятки библиографических указателей, посвящённых множеству «персон», отражающих деятельность многих и многих представителей гуманитарной культуры.

Когда начинаешь подробно знакомиться с содержанием книги, с неординарной личностью, образ которой встаёт из сухого перечня его многожанровых трудов, насчитывающих более тысячи наименований, понимаешь, какой огромный объём работы проделала Ирина Панченко, составитель указателя. Печатные труды В.Л. Скуратовского собраны в таких тематических разделах: «Книги, авторефераты», «Кинематограф и ТВ», «Литературоведение и критика», «История», «Культурология». Доклады учёного на многочисленных отечественных и международных симпозиумах, конференциях, круглых столах, дискуссиях названы в разделе «Устное слово В. Скуратовского», а его вклад в создание художественных фильмов и телепередач представлен под заголовком «Участие в телевизионном и кинопроцессе». Во всех разделах материал размещён по хронологическому принципу.

Названия перечисленных работ, а также краткие аннотации к статьям и эссе (заголовки которых не до конца раскрывают содержание) дают возможность сделать вывод, что границы этих разделов во многих случаях достаточно условны, потому что взгляд Скуратовского на искусство и литературу — это чаще всего взгляд в направлении синтезированных оценок, стремление выявить убедительный национальный и мировой контекст того или иного явления культуры: «Человек искусства в романе немецкого критического реализма XX ст.» (на укр. яз.), «Экранные искусства в социокультурных процессах XX столетия (Генезис. Структура. Функция)» (на укр. яз.); «Нам внятно всё...»: Мировая литература — контакты, контексты, цели»; «Пушкин и Запад» (на укр. яз.); «Достоинство жизни: Лев Толстой в контексте мировой литературы»; «Велимир Хлебников, или Искусство миропонимания» и т.п. Конечно, Вадим Леонтьевич пишет и в жанре рецензий, интеллектуальных эссе, в которых он откликается на актуальные события, тем не менее названная устремлённость является доминантной тенденцией, характерной для его творчества.

Библиография работ убедительно показывает, что чрезвычайно важно для В.Л. Скуратовского не только исследование родной ему украинской культуры, но и осмысление её в соотнесении с русской и общемировой:

«Украина и Пушкин» (на укр. яз.), «Пушкин - украинист», «Гоголь в становлении новоукраинской литературы» (на укр. яз.); «Куприн и Украина: К 50-летию со дня смерти писателя» (на укр. яз.); «Шевченко в контексте мировой литературы» (на укр. и рус. языках); «... Чуть ли не весь эпос мирового бытия: из заметок о драматургии Леси Украинки» (на укр. яз.); «К еврейско-украинским литературным связям» (на укр. языке), «Норвежско-украинские литературные контакты» (на укр. яз.) и т.п.

Хочу сказать будущим пользователям справочника, что знакомясь с ним, надо ещё помнить, что все указанные интеллектуально-артистические деяния Скуратовского совершались параллельно с его не менее активной лекторской деятельностью преподавателя двух вузов: Киевского университета театра, кино и телевидения и Национального Университета «Киево-Могилянская академия».

Чрезвычайно ценен в указателе раздел «Устное слово В.Л. Скуратовского», составленный на основе личного архива учёного. Зафиксированы темы циклов его публичных просветительских лекций в музеях и библиотеках, его выступлений на республиканском радио и радио «Свобода», его научных докладов в Украине, России, Польше, Швейцарии, Израиле, США, Франции, которые отличаются новизной, оригинальностью наблюдений, идей, гипотез. Например, он прочёл доклад на международном симпозиуме в Союзе журналистов Украины на тему: «Мужской миф о женщине. Женский образ как феномен иудео-христианской культуры». На IV международной научной конференции «Язык и культура» в Украинском институте международных отношений КГУ на пленарном заседании Скуратовский выступил с докладом «Гибель языка (Об одной катастрофе в украинском «Доме бытия»). Совершенно очевидно, что учёный постоянно стремится высказаться публично, на людях, важные для него суждения и мысли, которые не могут ждать письменного стола и, вместе с тем, рано или поздно станут содержанием его эссе, статей, книг. Блестящим ораторским мастерством Вадима Леонтьевича члены нашего филадельфийского объединения «Побережье» имели возможность наслаждаться трижды: в 1999 г. («Современная украинская культура»), в 2003 («Современное кино: проблемы и противоречия») и в 2005 («Анализ современного литературного процесса в России»). Темы первых двух его страстных и темпераментных выступлений, слушателями которых мы были, отражены в рецензируемом указателе. Известен нам Скуратовский и как автор филадельфийского ежегодника «Побережье», в котором он публиковал интересные статьи и эссе в №№ 8-13. Мне приятно было обнаружить ссылки на них в «Биобиблиографическом указателе» его трудов.

Поражает та скрупулезность и полнота, с которой Ирине Панченко - «персональному архивисту», автору заметки «От составителя», преданному помощнику учёного - удалось собрать материалы для самого сложного, на мой взгляд, раздела «Устное слово В. Скуратовского», ведь как это часто бывает, далеко не все из его выступлений фиксировались в виде тезисов, текстов, стенограмм. Многие оставались лишь в виде строчки в программе конференции, а порой и сами программы отсутствовали. Надо было побывать на таких выступлениях, чтобы самостоятельно их фиксировать, или вести опрос тех, кто был слушателем на том или ином вечере, заседании... Думаю, что ни одна библиотека, ни один институт не смогли бы этого сделать.

Справочник демонстрирует чрезвычайно продуктивную работу В.Л. Скуратовского в украинском кино и на телевидении. Теоретик кино, он, как член жюри принимал участие во всеукраинских и международных кино-

фестивалях, снялся в пяти игровых фильмах («Родинка», «Певца Жозефина и мышиный народ» по новеллам Кафки, «Улыбка зверя», «Шум ветра», «Мой Гоголь») и в семи телероликах. За фильм «Певца Жозефина...» Скуратовский получил Гран-при фестиваля «Стожары» за лучшее исполнение мужской роли непрофессионалом (1995).

Из библиографии можно узнать, что он написал сценарий одного полнометражного художественного и другого художественного телефильма, снялся в двадцати пяти видеофильмах, в которых одновременно выступал как автор-ведущий; написал сценарии и был ведущим в восьми учебных телепрограммах. В рамках цикла телепередач «Свежий взгляд на историю» подготовил около тридцати передач «История Украины в европейском контексте». Был ведущим программы «Добрый вечер». На телеканале «Культура» (Москва) был ведущим передачи «Булгаков в Киеве». Участвовал в телепрограммах студии «1+1»: «Последняя баррикада», «Двойное доказательство», «Я так думаю». С 2002 г. и по настоящее время сотрудничает с 1-ым национальным каналом украинского ТВ, где создаёт свои авторские передачи из истории украинской культуры, одновременно являясь их ведущим. До 2004 г. в телеэфир вышло 47 телепередач Скуратовского. В 1994 г. он был награждён грамотой как создатель и ведущий лучших авторских передач.

О самом В.Л. Скуратовском на киевском телевидении было снято два документальных видеофильма (в 1966 и 2002 гг.)

Указатель не случайно носит название «биобиблиографического», что предполагает наличие в нём определённой дозы биографических материалов. В справочнике имеются «Основные даты жизни и творчества Вадима Скуратовского», небольшая заметка «Вадим Скуратовский о себе», раздел «О жизни и творчестве Вадима Скуратовского»; обложка книги в виде коллажа русских и зарубежных журналов, в которых печатался Скуратовский; чёрно-белый портрет учёного известного украинского фотомастера В. Запороженко; блок цветных фотографий, где Скуратовский запечатлён на фоне мировых столиц, на симпозиумах по всему свету - с коллегами и друзьями, видными учёными из разных стран; на сцене театра и на съёмке кинофильма «Певца Жозефина...» с режиссёром Сергеем Маслобойшиковым; во время произнесения устного слова в музеях, на радио и телепередачах; в кругу семьи, в домашней обстановке с матерью, сельской учительницей на Черниговщине, с женой, племянником, внуками... Органичны в этом оформлении рисунки Ксении Гамарник.

Важно, что с большим вкусом, изысканно выполненное Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко художественное оформление книги о трудах Скуратовского играет самостоятельную и многозначительную роль. Выбирая дизайн, известные и одарённые художники исходили из концепции: сделать - по возможности - зримой широту научных интересов и деловых связей Вадима Скуратовского, продемонстрировать, за что учёного называют в украинской прессе «человеком вселенной» (Р. Корогодский), «словно случайно заброшенного к нам из эпохи Ренессанса» (В. Марковский). Вот почему, например, создан для книги коллаж, в котором сопрягается французский текст официального приглашения учёного в Женеву, фотография заседания участников (среди них Вадим Леонтьевич) научной конференции «Проблемы Центральной и Восточной Европы» (Женева, 1994) и ниже - швейцарский пейзаж, на который наложен текст интервью Скуратовского женевскому журналисту с фотографией интервьюируемого. Снимок Вадима Леонтьевича с матерью около черниговского, построенного ещё отцом

дома, вписан в обширную панораму Нью-Йорка. Подпись гласит: «От родной хаты до Нью-Йорка», а из фотографий Скуратовского с женой-филологом, журналистом и единомышленницей помещён тот, где они оба сняты около здания ООН на фоне знаменитой, горящей золотом модели земного шара.

Создавая книгу, составитель И. Панченко, научный редактор Е. Чебанюк, оформители А. Рыбачук, В. Мельниченко, Б. Хлобыстов решительно преодолели существовавший в прежние годы стандарт и жанровую сухость библиографического издания. Перед нами очень приметная книга: яркая обложка, обилие цветных рисунков и фотографий, отличная бумага, разнообразные и чёткие шрифты. И всё это продуманно сочетается с содержанием трудов учёного. Полиграфическая культура книги вызывает восхищение.

Ещё одним новаторским элементом указателя являются эпиграфы, которыми снабжён каждый из разделов указателя. Эти эпиграфы представляют собой суждения и оценки, взятые из статей о В.Л. Скуратовском. Они высветляют многостороннюю и глубокую одарённость его личности. Приведу два них:

*«Как искусствовед Вадим Скуратовский способен вытащить десяток оттенков смысла из текста или экранной картинки. А как философ истории умеет увидеть сцепление следствий и причин, разделённых вековой и даже тысячелетней дистанцией, связь ничтожно малого частного факта с событием мирового масштаба»*

*(Людмила Лемешева, «Столичные новости»)*

*«Автор серии историко-культурологических исследований В.Л. Скуратовский масштабен и, в то же время, лаконичен: из тысяч фактов и явлений отбираются лишь самые необходимые и умственные»*

*(Юрий Шанин, «Правда Украины»)*

При всех достоинствах рецензируемой книги, она могла бы стать ещё более совершенной, если бы ней был указатель имён и если бы были специально выделены псевдонимы Вадима Леонтьевича. Удобна была бы и сквозная (а не по разделам) нумерация зарегистрированных работ, что облегчило бы пользование указателем. Изредка встречается дублирование работ в разных разделах. Иногда отсутствуют элементы описаний, необходимые для отыскания материалов. Все эти недоработки не снижают общего высокого уровня «Библиографического указателя». Тем более, что вышедший в 2004 году указатель, является *первым* изданием перечня трудов учёного. Для будущего второго издания могу порекомендовать создать новый раздел: «Цитирование работ В.Л. Скуратовского».

Искренне желаю составительнице Ирине Панченко не ослаблять усилий по совершенствованию Указателя, пополнению его новыми публикациями и новыми работами Скуратовского для кино и телевидения. Ведь и эту работу, казалось бы, на первый взгляд, лишь вспомогательную, можно делать творчески, и для неё необходимо вдохновение...

**НАДЕЖДА БАНЧИК**

**ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК СЛЕЗА  
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД**

Сергей Юшенков – Олегу Лобову: «Прочитайте хотя бы «Хаджи-Мурата»!

Олег Лобов: «Американцам можно наводить порядок на Гаити, а нам на Кавказе – нельзя?»

*Обмен мнениями в Госдуме накануне вторжения в Чечню. Декабрь 1994 (Цит. по: Дж. Данлоп. Россия и*

*Чечня: история противоборства. Корни сепаратистского конфликта. Пер. с англ. Н. Банчик. Москва: Мемориал, 2001).*

Они сошлись. Волна и камень,  
Стихи и проза, лед и пламень  
Не столь различны меж собой...

*А. С. Пушкин. Евгений Онегин*

Именно эти строки пришли на память, едва я увидела небольшую книжку Ахмада Хачароевского: «Генерал Зима и огонь Прометея» (Азербайджан: Габала, 2000).

И чем дальше продвигалась по ней сквозь века и годы по маршруту, проложенному чеченцем Ахмадом Хачароевским через Чечню и Россию, тем явственнее звучал символизм этого пушкинского единства противоположностей в описываемой коллизии Кавказ – Россия. И книжка, отражая реальное, самой природой сужденное, противопоставление, вся строится на контрапунктах.

*«Война и мир – в этих полярных состояниях извечно живет человечество. Но человек эмоционален и нетерпелив, требуя немедленного правосудия за претерпеваемое зло. И только гениальный ум способен прийти к выводу: нет в мире виноватых. Так было всегда»* (с. 3).

*«Вновь над Кавказом разнесся эхом дедовский клич: «Свобода или смерть!». Снова встретились в смертельной битве Россия, которую «аршином общим не измерить», и Чечня, «как родинка на теле у Земли». Опять в непримиримой схватке схлестнулись генерал Зима и огонь Прометея»* (с. 3).

*«Московской хищной птице-тройке: ФСК, Армия, МВД, – Кавказ противопоставил свой триумvirат: Чечня, Ингушетия, Дагестан, который издревле имеет общее название – Дег'аста»* (с. 4).

Известные события чеченской и российской истории мелькают фрагментами, как кадры вставного фильма, перекликаясь с драмой, разворачивающейся перед нашими глазами сегодня, сообщая ей многомерность в двухполюсном противостоянии.

И в этом противоположении меня более всего поражает пиетет к русскому народу. Не политкорректно сконструированное «не все русские – сволочи», а уважение, основанное на знании и чувствовании русского менталитета, умении найти те позитивные черты, которые, быть может, способны свести «лед и пламень» в мирном споре противоположностей – как мужское и женское начала сходятся в браке.

*«Русские идут». В старину эти слова вызывали уважение. Некогда Русь была достойна называться Русью. Когда-то русичи гордо сохраняли честь и богообразный вид: Лучшие на родине костями лечь, чем на чужбине быть в почете»* (с. 7).

*«Русь – это безмерное поле, нескончаемой далью простирающееся в душе русского человека»* (с. 8).

Ахмад Хачароевский показывает на истории государства Российского: все беды русского народа начались тогда, когда он перестал жить по естественным, Божьим законам, заменив их деспотическим государством, жаждой покорения соседних народов. «Пришедший с мечом от меча погибал» множество раз, но, словно попадая в один и тот же заколдованный круг, снова и снова рвался в бой. Зачем? Размышления чеченца Ахмада проникнуты болью не только за чеченский народ, но и за русский.

Канва истории вайнахов переплетается с канвой истории России, подобно диалогу двух лейтмотивов классической симфонии. Тема России – тема изначальной свободы русского народа, тиранически подавленной великодержавным имперским государством, словно раздольная река, скованная льдом «генерала Зимы», – сталкивается с темой Кавказа.

Чеченский Кавказ — по классически-музыкальному противопоставлению — выходит лейтмотивом — антонимом к солдатчине. Он начинается плавно-мудрым величавым танцем, сразу переходящим в воинственную лезгинку:

*«Ой, не проснутся навеки почившие,  
Вновь не родят их однажды родившие.  
Мертвыми быть иль совсем не родиться  
Лучше, чем жить и в неволе томиться!»*

Весь фольклор чеченцев, как эта песня, проникнут пафосом свободы, героизма, любви к родине... Красной нитью проходят в нем мотивы торжества справедливости в борьбе вольных горцев с феодалами. Даже приветствие и напутствие звучит: «Приди свободным, уйди свободным» (с. 9).

Лишь после этого музыкального зачина (автор понимает: музыка — сущность души любого народа, без нее характеристика бы ничего не сказала непосвященному!) Ахмад дает основополагающие сведения о чеченском народе.

*«Язык чеченцев входит в нахско-дагестанскую группу, которая относится к иберийско-кавказским языкам — языкам автохтонов Кавказа. В нахскую группу, которую часть ученых рассматривает как отдельную, входят чеченский, ингушский и баббийский языки. Нах — это «люди», а чеченцы и ингуши, объединенные религией и судьбой, называют себя вайнах («наши люди»). Что касается баббийцев (цова-тушинов), то они приняли подданство грузинских царей примерно в XVI веке и живут в Грузии поныне. Лингвисты относят нахские языки к древнейшим на планете. Нахи — носители уникальной культуры, граничащей с совершенством человеческой этики и уходящей корнями в глубь цивилизаций. Это подтверждает хотя бы деталь этикета, когда даже спящему надлежало иметь достойное положение... В языке нахов нет слова «господин». У этого общества-самородка были храмы, но не было тюрем» (с. 10).*

Далее Хачароевский описывает, как и почему «пасторальная идиллия сменилась воинственной поэзией», а «война стала привычным образом жизни». Экспозиция полярных тем — Чечни и России — перешла в драматические коллизии столкновений. И здесь контрастность «льда и пламени» показана во всей полноте своих проявлений.

*«Невзирая на воинственный облик, нахи не потеряли стариковскую миролюбивую сущность, по примеру своего гостеприимного отца — седого Кавказа. Даже попавший в их плен противник становился им едва ли не приятелем. Сами нахи никогда не ступали на чужую землю для завоевания, а любовь к оружию осталась в их генах как гарант мира. Здесь таится и причина их доброго и веселого нрава, ибо в ратном образе жизни необходим юмор для нормального состояния психики...» (с. 11).*

Но «с севера налетел двуглавый орел и, надменно усевшись над вершиной Казбека, втился когтями в скалы». Завоевание началось, «казалось бы, счастливо — с брака». Бракосочетание дочери кабардинского князя Марии Темрюковой с Иваном Грозным положило начало завоеванию Кавказа Россией (за 4 года до этого Кабарда официально присоединилась к России, — пишет Ахмад). Кабарда, Осетия и Грузия стали «тремя китами» российского завоевания Кавказа.

*«Франция, бесцеремонно вторгшаяся в Россию, была для России эталоном светскости... Чечня, никогда не вступавшая с оружием в руках в пределы России, превратилась для нее в испытательный полигон» (с. 12).*

Кавказская война, пишет Хачароевский, сопровождалась полным истреблением убыхов — народа, составлявшего

*«костяк Адыгеи... самое воинственное и предприимчивое племя во всей западной части Кавказского края».*

*«21 мая 1864 года, добив остатки адыгских племен и совершив чудовищнейшую акцию — потопив в Черном море целый народ — убыхов, история государства Российского поставила точку Кавказской войны в урочище Кбаада (ныне Красная Поляна). По имеющимся данным, из горстки оставшихся последний убых умер недавно в Турции» (с. 15).*

При всей жестокости войны на Кавказе XIX века (1817-1864), Ахмад не забывает подчеркнуть, что чеченцы были и друзьями России, и многие замечательные выходцы из чеченского народа внесли яркий вклад в историю империи. Первый чеченский генерал в российской армии, сражавшейся с Наполеоном, — Александр Чеченский, соратник Дениса Давыдова... Петр Захаров, художник, который вырос из мальчика, спасенного в сожженном генералом Ермоловым ауле Дада-Юрт — кстати, воспитал его двоюродный брат Ермолова! (Кто из родственников Шаманова, Трошева, Манилова... несть им числа возьмет на воспитание чеченского сироту?!)...

Поистине честная служба империи противоречива в той степени, в какой противоречивы деяния самой империи в тот или иной период. В свете новых переоценок сталинское «освобождение Восточной Европы» не представляется уж таким светлым в нравственном отношении, поскольку оно повлекло новую кабалу для народов, затянутых в соцлагерь. В историческом маршруте книги явно сквозит лейтмотив естественной раздвоенности чеченцев, затянутых в империю: с одной стороны, они так и не покорились ей, с другой же, вольно или невольно стремились стеречь с себя чудовищные ярлыки, которыми их «награждали» завоеватели, чтобы «оправдать» свои жестокости. И в этом смысле чеченцы всеми силами старались сохранить свой кодекс чести — даже в честном служении самой империи.

Откуда возникает эта раздвоенность и преодолима ли она? Ахмад дает свой ответ на оба вопроса. Самая серьезная раздвоенность возникала в моменты, когда нравственный кодекс чести чеченцев сталкивался с наиболее уродливыми проявлениями безнравственности государства-империи, порабошавшей не только соседей, но и свой же народ. Тогда дилемма разрешалась путем «бунта» чеченцев, и «бунт» этот поддерживали лучшие люди России. Декабристы, революционеры, советские диссиденты и наиболее талантливые представители русской интеллигенции не просто сочувствовали чеченцам — они видели в них союзников в борьбе за то, чтобы Россия вернулась на стезю Великого Нравственного Закона (как его ни назови, в разные эпохи — по-разному, но суть — неизменна).

*«Бунт» чеченцев против государства Российского совпадает по своей сути с «бунтом совести России» против безнравственности деспотического государства, какие бы формы оно ни принимало».*

И в этом «бунте» Ахмад ставит на первое место нравственный смысл борьбы. Он проводит четкое различие между подлинным стремлением к примирению и рабоподобным псевдопацифизмом некоторых московских и промосковских ставленников, не отличающих путь к достижению справедливого мира от мира путем сдачи, предательства морального содержания борьбы. Однако конечная цель борьбы — достижение мирного сосуществования, прекращение кровопролития и гарантия невозобновления его в будущем.

Закономерна поэтому опора автора на две исторические личности, самым Всевышним, кажется, посланные чеченскому и российскому народам во имя примирения «льда и пламени». Это — те, кого Ахмад, по крайней мере,



в данном контексте не без основания, считает наивысшими духовными проявлениями, эталонами, вершинами духа двух народов - Льва Толстого и чеченского духовного лидера Кунта-Хаджи Кишиева.

О Льве Толстом, конечно, известно больше, чем о горском философе из чеченского селения Элисхан-Юрт, народном мудреце и проповеднике учения суфия кадырийского тариката (изначально возникшего в Багдаде в XII веке, отмечает Ахмад).

...Потеряна почти четверть населения (как сейчас, хотя тогда не было бомб и прочих «мудрых» вооружений) – и ничего не достигнуто! В 1859 Чечня насильственно присоединена к Российской империи (правда, царь обязался оставить чеченцам религиозно-культурную автономию, а имаму Шамилю, сдавшемуся в плен, воздал почести как достойному противнику, - но разве стоят эти мизерные компромиссы стольких жертв?). А в начале 1860-х царь чуть ли не насильственно вытесняет чеченцев и других горцев в Турцию – и, несмотря на то, что это было сделано по соглашению между турецким султаном и царем, Турция так и не стала полноценным домом для чеченцев. Многие вернулись на земли отцов.

*«Новая проповедь, наверное, сыграла основную роль в отходе кавказцев от имама Шамиля, бывшего в авангарде газавата. Но утверждения, что кавказцы к тому времени были вконец измотаны и ослаблены многолетней войной, ошибочны. Дух Кавказа нисколько не сломился. Кавказ жаждал кавказскости»* (с. 79).

Если было и впрямь так, после всех неимоверных утрат, которые, наверное, должны были казаться тщетными (ведь присоединили-таки!), то и в таком случае учение Кунты-Хаджи было словно послано Всевышним для выхода из кризиса, в котором оказался народ после вхождения в состав чуждого ему государства. Как сохранить свою сокровенную суть в новых условиях? И в чем она?

И вот в этот период возникает проповедник Кунта (после совершения хаджа – Кунта-Хаджи). Ахмад приводит его собственные слова, аккумулирующие суть его учения:

*«Дальнейшее повальное сопротивление властям не угодно Богу. И если скажут, чтобы вы шли в церкви, идите, ибо они – только строения, а мы в душе мусульмане. Если вас заставляют носить кресты, носите их, так как это только железки, - оставаясь в душе магометанами. Но если ваших женщин будут использовать и насиловать, заставляя забыть язык и обычаи, подымайтесь и бейтесь до смерти, до последнего оставшегося в живых»*» (с. 80).

Элементом нового учения стал зикр - ритуальная темпераментная круговая пляска «с упоминанием Аллаха, экстатическим слиянием души-микрокосма в макрокосме. Участвующий в зикре обязан прежде снять оружие» (с. 78).

Будучи еврейкой, не могу удержаться от параллели с Израилем Баал Шем Товом (Бешт), народным еврейским мудрецом, основоположником хасидизма – движения, охватившего все еврейские общины Украины после стихийного национального восстания украинского народа против польского порабощения в XVIII веке, получившего название Колывищина и сопровождавшегося дикими еврейскими погромами. Как и Кунта, Бешт ставил на первое место нравственное самосовершенствование народа как наивысшую цель служения Всевышнему, совершенствование, которое позволило бы найти заново смысл своего бытия в разоренном мире и при оскверненных национальных ценностях; морально возвыситься над неимоверными страданиями, понесенными от жесточайшей, презревшей все человеческие нормы, геноцидной войны; ощутить счастье от самой жизни по законам слу-

жения Всевышнему, от собственной праведности – отсюда введение, в обоих духовных движениях, жизнеутверждающих танцев, пения, прославления мира как прекрасного творения Всевышнего.

И это, как мне представляется, – не случайное сходство. Если оба учения возникли при сходных ситуациях, это может свидетельствовать о том, в каком направлении идут нравственные искания народов в моменты острых кризисов, когда сами основы их исторического самобытного бытия колеблются и почти разрушаются внешними силами с жестокостью и беззаконием. В обоих случаях совершался духовный переход от внешнего сопротивления к внутреннему, осознание своего морального возвышения над гонителями, - и, в конечном итоге, революционный переход на более высокую ступень национально-культурного развития.

Сходным путем идет и Лев Толстой, только – с поправкой на русский менталитет и на условия, в которых оказался гениальный российский писатель и мыслитель.

И здесь раскрывается глубочайший смысл «непротивления злу насилием», который, возможно, правильнее было бы определить как «противление злу ненасилием».

*«Когда Л. Толстой покинул Кавказ, в его душе начался поиск нравственного единения человечества... «Противился злу» - такое определение дает проповеди Льва Толстого немецкий писатель Лион Фейхтвангер... Сама жизнь Л. Толстого – это героический протест против зла, вызвавший сердце и умом великого сына России. Его нравственное кредо – изречение из Талмуда, повторенное точь-в-точь им самим: «Чего не желаешь себе, не делай и ближнему своему, - в этом и есть весь закон; все остальное – комментарий»*» (с. 80).

Поразительно, как в краткой брошюре оказалось возможным собрать всю квинтэссенцию «толстовского Кавказа» и соотнести ее с исторической действительностью коллизий, коим Толстой стал свидетелем.

*«Его вера – это своего рода духовно-нравственный катарсис. Он уважительно относился ко всем религиям и пророкам, а в зрелом возрасте подсознательно проникся исламом»*» (с. 87).

Ахмад проследивает ту величайшую, до сих пор не оцененную по своему международному значению, роль Толстого как интеллектуальной силы, проходящей тонким лучом сквозь мрак трагического XX века. Так, автор замечает, что учение Толстого оказало огромное влияние на Махатму Ганди, вдохновившего индийский народ на борьбу за освобождение от британских колонизаторов.

*«Можно провести следующую параллель: Кунта-Хаджи – Лев Толстой – Махатма Ганди, символизирующую три мировые религии – ислам, христианство и буддизм, который в Индии растворился в индуизме, став его подосновой»*» (с. 91).

Я еще добавлю, что творчество Толстого оказало влияние и на Мартина Лютера Кинга, основоположника массового гражданского движения чернокожих американцев против расовой дискриминации. Тоже – противление ненасилием.

Мне все же представляется, что Лев Толстой не принял ни одну из официальных религий, а создал свое собственное понимание Бога и религии, приблизившись к постижению самой сокровенной диалектической природы человечества – его единства во многообразии свободных личностей. И этим открытием универсализма возвысился над ограниченностью каждого вероисповедания. Но это – мое мнение. Главное же, в чем мои мысли оказались созвучными мыслям Ахмада, - это понимание нравственной и духовной высоты противления злу ненасилием. Это ставит в один ряд Толстого с Кунтой, Бештом, Ганди и Кингом, создавая естественную основу для переключки

вершинных духовных лидеров народов, принадлежащих ко всем основным вероисповеданиям.

И тут мне в пору воскликнуть со всей болью человека, причастного к русской культуре: О Россия, неужто не замечаешь ты своих пророков? В отличие от Кунты, Бешта, Ганди и Кинга, за которыми пошли массы народа к национальному возрождению и обновлению, Льву Толстому суждено было изведать горечь отлучения от своего народа и умереть на Богом забытой железнодорожной станции Астапово.

«Смерть Льва Толстого на железной дороге – это символическая трагедия России. Бурно ворвавшийся неистовый XX век обернулся для России великим бедствием, когда целые народы необъятной страны были выселены с родной земли при «помощи» железной дороги... У России был шанс в XX веке через непротипление злу насилием Л. Толстого прийти к золотой середине, но теперь, на пороге XXI века, жизнь сама расставит все на свои места. «Ищите царства Божия и правды его, а остальное приложится вам». Л. Толстой сделал, «что должно, но Россия, которую издавна умом не понять, не послушалась его и, как та самая девка, засмеяла Христа. В России между «божеским и человеческим» вечно находится правительство, губящее почву духовного воспитания»... (с. 91).

Ахмад неожиданно для меня уподобляет Горбачева Платону Каратаеву. На мой взгляд, Горбачевым движет не столько идеализм, сколько прагматизм, но, наверное, он – один из самых светлых правителей России, потому что другие – полный мрак. Но последующее суждение – выстрел в десятку:

«Если Россия не признает Платона Каратаева своим, она будет олицетворять собой другой тип - карамазовщину» (с. 91).

Сегодняшняя Россия – торжество Карамазовых и Смердяковых...

А Чечня? Ахмад не идеализирует свой народ, но старается понять его состояние. «На протяжении столетий Россия перманентно практиковала на Кавказе все виды геноцида» (с. 17): физический, биологический, культурологический. Международное определение геноцида подразумевает только совокупность мер, ведущих к физическому уничтожению этнической группы. Но Ахмад считает третий вид «самым опасным и разлагающим» - и показывает, почему.

«Нахи... вслед за “старшим братом” поменяли храмы на тюрьмы. Переметнувшись из духа святости в смрад преступности, они лишились собственной истории и культуры. Тем же, кто считал, что их судьба не отличалась от участи остальных народов СССР, данный вопрос прояснит следующая выдержка (из Авторханова): “...ни в одном из уголков Советского Союза, ни в одной из автономных республик НКВД не вел политики сознательной провокации народа против власти в таких гнусных формах, как на Северном Кавказе, и особенно – в Чечено-Ингушетии”... нахи – выдающиеся дипломаты, но бездарные политики. Вот где истинная причина многовековых мук и грез Кавказа, аборигены которого не замарали себя лживой политикой и не растеряли дар искусства дипломатии. Усилия по ассимиляции нахского генофонда не принесли почти никаких результатов. Нахи могли с полным правом на пороге горбачевской эры продекламировать грибоедовские строки: “Живы в нас отцов обряды, кровь их буйная жива”. Но выплеснулась и пущенная в них зараза: изгаженная “специалистами” история “добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России”» (с. 19).

Все это – и «живость обрядов», и «зараза» - схлестнулось уже внутри чеченского народа, когда с 1991 года во-

зобновилась его борьба за освобождение, которой Россия диктовала все более и более жестокие формы: от ельцинского «берите суверенитета столько, сколько проглотите» - через разброд в Чечне времен Дудаева – к вопиюще неравному противостоянию российской агрессии.

И опять у чеченца Ахмада каждое слово сочтется искренней болью не только за свой народ, но и за российский!

«Случайное восхождение Горбачева на советский трон... обусловило распад советской империи, а присвоение чеченцу Джохару Дудаеву, в единственном числе из представителей этого “дикого” народа, звания генерала привело к разброду в империи Российской. Россия удостоила его высокой чести, а он ответил ей черной неблагодарностью. Впрочем, так ли это?.. Дудаев... в российско-чеченских отношениях готов был пойти на любой компромисс. Но главное требование, от имени избравшего его народа, он предать не мог: свобода, что было камнем преткновения вечного противостояния двух полюсов...» (с. 22-24).

Но далеко не весь чеченский народ оказался готовым на поджидавшие его испытания на пути к свободе.

«Возвращение народа к истокам – вот цель, которую ставил перед собой президент Дж. Дудаев. А чтобы претворить ее в жизнь, нужно пройти тяжелый путь переходного периода и очиститься, как это сделал египетский народ, выведенный из египетского плена пророком Моисеем и 40 лет странствовавший с ним по пустыням» (с. 25).

Чеченскому народу не было отпущено такого срока. И когда в 1991 Чечено-Ингушетия провозгласила независимость (вместе с союзными республиками, используя право суверенитета, данное Ельциным, Закон о реабилитации репрессированных народов, а также – и некоторую неразбериху в законах, неудавшийся путч ГКЧП – все в тот момент указывало на совершенную легальность такого провозглашения), а в 1993 отказалась подписать Конституцию РФ, народ оказался в стихии внезапно хлынувшей свободы, не пройдя нравственного очищения.

Вчерашние партийные бонзы, «их пасынки - профессионалы финансовой эквилибристики, готовые продать за 30 сребреников, и “разночинная интеллигенция, оторванная от народа”, как заметил Ф.М. Достоевский... вся эта разношерстная братия и втягивала политическую погоду из России в Чечню» (с. 25).

Думаю, смесь причин привела к этому некоторых деятелей чеченской интеллигенции: привычное существование в СССР, зависимость от работодателей; очевидно, понятные опасения слишком неравного противостояния со второй по мощности ядерной державой... Допускаю, что они могли понимать: рассчитывать на политическую поддержку чеченцев против российского гиганта – гиблое дело... На мой взгляд, все-таки самыми страшными предателями стали не они, а те, кто вполне сознательно «продались за 30 сребреников», создав в более или менее успешной постсоветской республике вопиющую мафиозную зону, опутав Дудаева (а затем и Масхадова) сетью финансовых и спецслужбовских интриг и, в конечном итоге, подготовив почву для вторжения российских войск. Если бы дело было лишь в интеллигенции, она бы в большинстве своем поддержала путь народа к независимости, как это было во всех бывших союзных республиках.

Превращение политического конфликта (который можно было бы решить в процессе политической дискуссии!) в грязную мафиозную войну – вот суть нынешней кавказской трагедии, и виноваты в этом те, кто эту войну развязал: российская постсоветская мафия (в которую входят и деятели чеченской национальности).

Во времена Толстого этого не было. Противостоять империи все же лучше, чем мафии. Сегодняшняя Россия – уже скорее мафиозное государство, чем империя в классическом смысле. Ахмад, как кажется, не полностью учитывает это превращение и потому все еще надеется на то, что великий российский гений Лев Толстой послужит посредником в достижении подлинного российско-чеченского примирения. Он бы послужил, если бы было кому... Нынешние те, от которых зависит прекращение кровопролития, Толстого не читали.

Но автор показывает главное: подлинное российско-чеченское примирение может произойти только если кардинально изменятся роли российского и чеченского народов. Вернее, если каждый из этих народов вернется к самому себе, к своим истокам, очистившись от скверны.

*«Лев Толстой, его жизнь и творчество – вот где зеркало человеческого спасения, отражающее микросм Вселенной... Сегодня он сам – маяк для идущего на рифы корабля под названием Россия»* (с. 51; 54).

И – квинтэссенция всего сказанного, итог, закономерный вывод: «Толстой-Юрт – вот где должен пребывать стол переговоров для поиска мира, а не находиться очаг пятой колонны Москвы по разжиганию войны. Если с одной стороны будет Библия, а с другой – Коран, то мостом здесь послужит великий писатель земли русской – Лев Толстой» (с. 55).

Ахмад нарисовал и модель будущего российско-чеченского сосуществования. *«Запад есть Запад, Восток есть Восток. На стыке этих цивилизаций находятся Россия и Кавказ... Вся беда – в том, что их взаимосвязь построена совсем наоборот... Кавказ плюс бывшая территория Киевской Руси в виде конфедерации – вот идеальный буферный форпост между Западом и Востоком!.. Чеченские боевики не являются «сепаратистами». Они не сторонники абсолютной независимости... Если южные штаты США, в 1861 году поднявшие мятеж, чтобы сохранить рабство, именовались конфедератами, то Кавказ, расположенный к югу от России, в результате вспыхнувшей войны стал, наоборот, причиной (наверное, не причиной, но одним из катализаторов – Н.Б.) отмены в России крепостного права в том же 1861»* (с. 74).

И, наконец, то, что сейчас, в свете сегодняшних реалий, звучит как прозрение (написано до 11 сентября!). Может показаться, что здесь автор, отступив от толстовской философии, призывает кавказцев к неравной войне. Так ли? Мне представляется, исходя из всего сказанного раньше, да и позже, здесь имеется в виду более широкий смысл: Кавказ должен наступать духовно, способствуя – для своего же спасения – очищению и русского народа. А может, и других народов тоже. Конечно, если Россия навязывает войну, придется ей отвечать. Важнее всего понять главное: война – не самоцель для кавказцев, она лишь вынужденное средство самоспасения. И спасения погрязшей во зле империи, которая должна очиститься, ибо таковы законы истории.

*«Сложившийся сегодня в России духовный и политический климат подсказывает, что попытка реанимации державы может перерасти в третью мировую войну – на этот раз между Западом и Востоком».*

Между чеченцами (кавказцами) и русскими должен быть заключен естественный мир. Иначе и быть не может, ибо оба народа «несут мессианскую идею», но – по-разному.

*«Кавказ по праву может стать экуменическим центром, представляя все религии мира в их поступательном движении к единому Богу»* (с. 100).

... Похоже, те, кто сейчас с российской стороны ведет эту войну, одержимы не только мафиозной страстью обо-

гащения и убийства свидетелей. В подтексте этой войны – «наш ответ Чемберлену», т.е. небольшевистский, реваншистский «ответ» на все, к чему призывали лучшие умы России, от Толстого донине здравствующей интеллигенции, ответ Лобова Юшенкову. Убийство Аслана Масхадова в селе Толстой-Юрт и невыдача его тела родственникам (или, по другим сведениям, убили его не там, но подбросили тело именно в это село!) – кульминация кафкианского символизма этой войны. Но кульминация – не кода, а вершина. Перевал пройден, значит, есть надежда, что начнется спуск. В долину Прозрения?

## АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

*Владимир Батшев. Власов: Опыт литературного исследования. Т. 4. Ч. 13-16. Франкфурт-на-Майне: «Мосты» – «Литературный европеец», 2004. 578 с.*

Четырехтомный труд Владимира Батшева – самое подробное исследование о Второй мировой войне, написанное по-русски на Западе и ставшее возможным только благодаря знакомству с немецкими архивами. Выдержки из газет, книг и бесед с теми, кто спасся от бомбы, Гестапо и НКВД, составляют основу этой колоссальной хроники. Даже если не разделять удобную мысль, что правдивых описаний давних, а тем более недавних событий не бывает, потому что история – это политика, повернутая в прошлое, рассказ о Власове, как бы его ни строить, не может не вызывать одобрения одних и протеста других, ибо речь идет о попытке гражданской войны, в которой «своих» поддерживали захватчики и оккупанты. Не важно, что Солженицын снял запрет с власовской темы (и удостоился клички духовного власовца), что доморощенный тиран блещет не лучше иноземного и что население приветствовало немцев, вообразив, что пришли спасители от большевистского ярма, а потом, даже зная правду, уходило с отступающей немецкой армией. Все равно невесело оказаться вместе с Гитлером, пусть даже и поневоле, из тактических соображений. Любопытно, что после 1917 года эмигрантские группировки ни по какому поводу не выступавшие единым фронтом, почти единодушно желали вторжения Антанты и готовы были вернуться на насиженные места с войсками англичан и французов. Надо полагать, что никто не счел бы их тогда изменниками родины. А ведь и бывшие союзники проливали бы кровь за Россию не из-за одного человеколюбия, хотя, конечно, не было бы ни геноцида, ни деления людей на высшую расу и унтерменшей. Но то Антанта, глава из учебника, а не живое воспоминание.

На протяжении многих тысяч страниц Батшев подчеркивает, что он прежде всего летописец. Его цель – показать, как началось движение Русской Освободительной Армии (РОА), кто влился в ее ряды, какова была ее цель и как фашистское руководство, по неизбывной глупости поверившее в свою политическую программу, не дало этому движению развиваться и обрекло себя на гибель (скорее всего, в любом случае неизбежную, но с меньшими жертвами для СССР, союзников и Германии). Гражданская война не состоялась, коммунистический режим окреп, а Германию вбили в каменный век – в каменный в прямом значении этого слова: на месте великих городов остались развалины.

Батшев нечасто дает выход своим эмоциям, но, разумеется, он на стороне своего героя: иначе трагедию не напишешь. В четвертом, последнем томе эпопеи (январь 1945 г. – конец 1946 г.) его сдержанный тон естественнее, чем в предыдущих, ибо поздно ломать копья. Разгром вермахта очевиден всем, кроме Гитлера, и, что бы

ни предпринял Власов (против воли немцев или с их одобрения), уже не сыграет никакой роли в большой игре. Теперь главное – спасти солдат и офицеров РОА от выдачи Сталину. Как известно, и этот план сорвался. Власов мог бежать, но предпочел погибнуть. В книге прослежено день за днем, как отступает огромная армия власовцев и казаков. Невозможно поверить, что еще в 1945 году казаков больше всего беспокоило, как бы не утратить своей автономии, и они оказывали противодействие Власову. До самого конца сильно была надежда, что англичане и американцы (демократы, поборники свободы) повернут оружие против большевиков или, как самое меньшее, разрешив борцам с большевистским режимом сдаться в плен, предоставят им политическое убежище. О ялтинских соглашениях никто еще ничего не знал. Самые жуткие страницы книги посвящены насильственной выдаче РОА и казаков СМЕРШ'у, а было тех душ без малого три миллиона. О выдаче бывших подсоветских граждан, а заодно и многих других писалось столько раз, что легко забыть главное: не только жулики, бежавшие от правосудия, и каратели, служившие в Гестапо (таких тоже было достаточно), но и «перемещенные лица», военнопленные и «простые советские люди» (повторим: миллионы) мечтали об одном: только бы избежать репатриации. Их соблазняли посулами: «Родина вас простила, война все спишет». Кто поверил этим речам, погиб почти сразу или пережил многолетний срок в лагерях.

Фон заключительных частей повествования широк: Россия, Германия, Австрия, Югославия, Франция, Италия и крошечный Лихтенштейн, единственный, не выдавший тех, кто попал на его территорию. Так выжило 134 человека. Власов – центральная фигура эпопеи Батшева, и она освещена превосходно. Даже злейшие враги не откажут Власову в мужестве, самоотверженности, глубоком уме и столь же глубокой порядочности. Но четыре тома написано о нем лишь постольку, поскольку ему верили люди, и за ним шли. В большей степени эти тома о крупнейшем антибольшевистском движении, о котором не только не сказано последнее слово, но и первое произнесено не вполне внятно. После труда Батшева нельзя будет притворяться, что неизвестны детали и потому трудно судить о мотивах участников. Именно детали, а не контуры, рассмотренные с высоты птичьего полета, представлены теперь читателю в совершенно исключительной полноте.

*Риталий Заславский. Избранные сочинения. [В 6-ти тт.]. Киев: Радуга, 2001– 2004.*

Риталий Заславский оставил по себе в Киеве добрую память. Когда ему еще не исполнилось и пятидесяти, он написал: «Учеников не выбирают, / они находят сами нас» (1977). Находили его разные люди, и много позже с его пера сорвалась раздраженная фраза: «Я думал, вы – наследник мой, / а вы – последний недостойный» (1994). Между этими высказываниями, в 1984 году, он назвал молодых поэтов лютыми волками, сбившимися в стаю, и демонстративно заявил, что не читает их: «Что мне эта молодость теперь? / Что мне их жестокие повадки, / ранняя досрочная страда... / Что мне их приемы и ухватки? / Молодым я не был никогда! / Сразу стал таким, каким застали / и сейчас, и тридцать лет назад...». На самом деле он их читал сотнями страниц, так как руководил студией и «пробивал» и их, и себя («Я встречаюсь с нужными людьми, / говорю ненужные слова»), но, видимо, каждому мастеру, независимо от размера дарования, надо хоть раз воскликнуть, что он не был ничьим современни-

ком или что он не менялся под влиянием времени. На самом деле взгляды Заславского на век, в котором ему довелось жить, менялись и развивалось критическое отношение к слову, но верно, что не был он волком по крови своей и что не только за тридцать, но и за пятьдесят лет, его поэтика ломки не претерпела.

В своих стихах Заславский с нежностью и пониманием говорил о несовершенстве прошлого. Он-то уж точно не стирал никаких строк:

О, эти ранние стихи –  
себя, вчерашнего, набросок,  
в них столько было всяких блесков  
и столько детской чепухи!

Я перечитываю их,  
скольжу по строчке зыбкой-зыбкой,  
со снисходительной улыбкой  
я отмечаю каждый штрих

той молодости, тех повадок,  
которые теперь смешат...  
Но почему так странно сладок  
забытых строчек звонкий лад?

Ему же принадлежит «набросок», вдохновленный фразой вдовы Бальмонта: «Сам он уже ничего не писал... Иногда он 'перечитывал Бальмонта'» – и бальмонтовским каламбуром: «...я русский, я русский!...» Приведу это стихотворение почти целиком:

Когда Бальмонт читал Бальмонта  
и бородашкой рыжей тряс,  
кто-то, а уж, наверно, он-то  
все понимал в последний час.

Звенела тоненько настройка,  
строка змеилась по губе.  
Он пережил себя настолько,  
что удивлялся сам себе.

.....  
Он все забыл: смешные позы,  
вино, любовь, друзей восторг.  
Но кто же, кто же эти слезы  
у старика опять исторг?

Он все забыл: насмешки, фронда...  
И только строк струилась вязь,  
когда Бальмонт читал Бальмонта,  
и удивляясь, и смесь.

В юности Заславского тянуло к «большой форме». Он писал поэмы и всю жизнь добавлял главы к роману в стихах. Многие он уничтожил и забыл, о чем впоследствии жалел. Столь ценившиеся официальной критикой грандиозные словесные полотна не читает в наши дни почти никто, разве что под поэмой скрываются бесчисленные отступления от нее (как у Пастернака). И все же не следует пропустить четвертый том («Поэмы. Роман в стихах. Стихи и поэмы для детей»); в нем много хороших мест.

Подобно десяткам своих коллег, Заславский зарабатывал на жизнь переводами «национальных поэтов». К счастью, не на одну халтуру потратил он годы, а переводчиком он был первоклассным. В пятом томе представлено целое соцветие языков. Среди них особое место занимают украинский и идиш; интересны и французские стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Баратынского и Давы-

дова, переведенные им. Заславский обладал тонким вкусом без претензий на эстетство и был широко образованным человеком. Казалось бы, что можно ожидать от подготовленных им к печати и прокомментированных антологий с заглавиями: «Сто поэтов о Пушкине», «Сто поэтов о любви» и «Сто русских поэтов о Киеве»? А между тем это прекрасные сборники. Он откапывал и издавал стихи неопубликованных поэтов и людей, убитых на фронте, в гетто и во время оккупации Киева. Он вырвал из забвения замечательную Людмилу Титову («Пятнадцать поэтов – пятнадцать судеб», 2002). Все эти книги изданы в Киеве издательством «Радуга».

Как и всякого лирика, Заславского неотступно преследовала мысль о смерти. Одно из лучших его стихотворений – разговор с любимой, в котором есть такие строфы:

Ты услышишь настойчивый зуммер.  
Снимешь трубку и скажешь: – Алло!  
– Это я. Понимаешь, я умер.  
– Было больно?  
– Чуть-чуть. Но прошло.

– Не грусти, дорогой, и не сетуй.  
У меня, понимаешь, долги.  
Зарядили дожди над планетой,  
промокают мои сапоги.

Это было написано в 1981 году. Заславскому оставалось «на планете» еще более двадцати лет. Он даже отредактировал свои избранные сочинения, но не дожидаясь выхода последнего тома.

*Миннеаполис, [liber002@umn.edu](mailto:liber002@umn.edu)*

## КНЯГИНЯ И ГРАЖДАНИН

**Новая выставка в Филадельфии, Пенсильвания, исследует идеи эпохи Просвещения на примере жизней двух знаменитых людей – княгини Екатерины Романовны Дашковой и Бенджамина Франклина**

Казалось, между ними не было ничего общего. Она – Екатерина Романовна Дашкова – была русской княгиней, он – Бенджамин Франклин – американским ученым и государственным деятелем. Она была подругой монарха, Екатерины Великой; он был врагом монарха, Джорджа III. Они были выходцами из диаметрально противоположных концов мира XVIII-ого столетия. Она предпочитала мужские брюки корсетам и длинным платьям, а он приводил французский двор в состояние шока, появляясь в меховой шапке. Он основал Научную Академию, Американское философское общество; она была директором Российской Академии наук. Когда они познакомились в Париже в отеле дэ ля Шин в 1781 году, это была встреча двух замечательных умов "эпохи Просвещения".

С помощью выставки "Княгиня и гражданин: Екатерина Романовна Дашкова, Бенджамин Франклин и эпоха Просвещения", которая проходит в Музее Американского философского общества в Филадельфии и приурочена празднованию 300-летия со дня рождения Бенджамина Франклина, посетители могут познакомиться с этими выдающимися личностями, которые оставили неизгладимый след в истории своих стран. Им обоим были характерны тяга к знаниям, преклонение перед земным миром и стремление сделать его лучше. Он пригласил ее стать членом Американского философского

общества (она была первой женщиной с членством в этом обществе). Благодаря ей, он стал первым американским членом Российской Академии наук. Они оба являлись образцами идеалов Просвещения, которые в то время процветали в Европе и в Америке и сформировали мир таким, каким он есть сегодня.

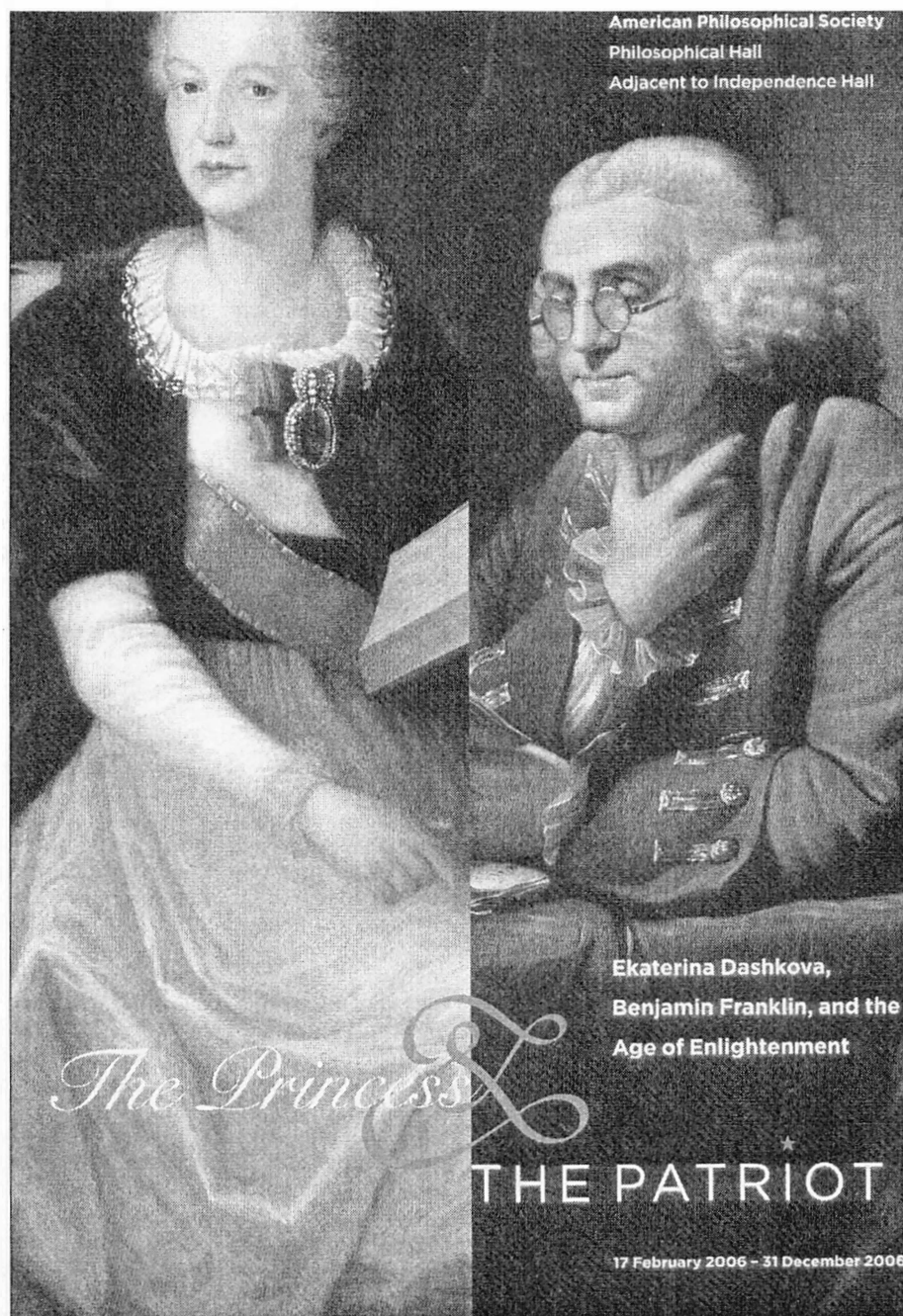
Портреты, мемуары, письма, придворные платья, ювелирные изделия и другие виды художественного искусства документируют необычайные жизни американского ученого и государственного деятеля с мировой славой и неординарной русской княгини, которая говорила на пяти языках, помогла свергнуть царя, и руководила самой престижной научной организацией в своей стране. Многие из предметов выставки, относящиеся к княгине Дашковой, выставляются в этой стране впервые. В эту категорию включены форма Преображенского полка, подобная той, которую надевала княгиня во время дворцового переворота 1762 года, чрезвычайно хрупкий, почти филигранный, силуэт членов Российской Академии наук и искусно выполненный бронзовый футляр с фигуркой Екатерины Великой, изображенной в виде законодательницы. В Американском философском обществе хранится более половины документов, оставшихся после Франклина, книг и уникальных предметов быта ученого, таких как библиотечное кресло, набор трафаретных печатей, которые он приобрел в Париже, миниатюрные шахматы и много другого.

Идеи Просвещения, подобно сегодняшнему интернету, связывали интеллектуальную жизнь мира в XVIII-ом столетии. Идеалы, которые играли значительную роль в жизнях Дашковой и Франклина, представлены с помощью важных документов, предметов искусства и ремесел, карт, научных экземпляров, редких книг и рукописей, и переписки современников, в которой раскрывается богатый международный обмен идеями и информацией в XVIII-ом веке.

Первый из этих идеалов Просвещения – поиск знаний и использование разума или, как сам Франклин любил говорить, "полезные знания". Второй, и более сложный для Франклина и Дашковой, идеал – свобода и равенство. Ведь и Франклин, который был рабовладельцем в молодости, и Дашкова, которая имела крепостных, оба на публике и в частной жизни пытались примерить реальность собственного поведения с этим идеалом Просвещения. Наконец, третьим идеалом были добродетель и самосовершенствование. Выставка показывает, как и Франклин, и Дашкова, каждый по-своему, создавали пример добродетели для современников и потомков.

Американское философское общество было создано Бенджамином Франклином в 1743 году с целью «продвигать полезные знания». В течение первой половины столетия, в котором началось существование республики, оно служило в качестве национальной библиотеки, музея и Академии Наук. Сегодня Общество продолжает оставаться значимой научной организацией с мировой репутацией. Оно известно высоким качеством научных исследований и публикаций, выдающейся библиотекой, насчитывающей более восьми миллионов рукописей, 300 000 книг и журналов, сотни карт и гравюр. Общество также славится международным списком своих избранных членов, который включает в себя выдающихся деятелей искусства и науки.

*Составитель Игорь Михалевич-Каплан (по материалам выставки).*



Обложка буклета Филадельфийской выставки "Княгиня и гражданин:  
Екатерина Романовна Дашкова, Бенджамин Франклин и эпоха Просвещения



**ПЕТР ИЛЬИНСКИЙ**  
**ЛАРЧИК ОТКРЫВАЕТСЯ**

...У китайцев ни одно явление не занимало меня так, как долговечность конфуцианской системы.

Г. Гессе, «Игра в бисер»

Книга А.С. Мартынова «Конфуцианство. Лунь Юй» вышла достаточно большим по нынешним временам тиражом (3000 экз., 2001 г.), прошла по прилавкам относительно незаметно и быстро с них исчезла. Сколько-нибудь значительного отклика в среде синологов-профессионалов пока не было, что странно, ибо автор является одним из крупнейших отечественным знатоком китайской культуры и занимается ее изучением и осмыслением в течение многих десятилетий.

Но быть может, отсутствие каких-либо внятных отзывов на книгу не случайно – поскольку тяжело писать какого-то рода «рецензию» на труд, которому, по нашему мнению, уготовано место в сокровищнице достижений отечественной (и не только!) гуманитарной мысли. Именно с такой «общекультурной» позиции и хотелось бы высказать некоторые соображения о данной монографии – оставив дискуссию по тем или иным китаеведческим «частностям» на долю сведущих людей.

Традиция культурологического исследования, посвящаемого относительно узкой проблеме, но затем выходящего за «специальные рамки» и постепенно становящегося частью самой культуры, восходит, по-видимому, к Якобу Буркхардту и его «Культуре Возрождения в Италии». За прошедшие полтора века появилось, наверное, несколько десятков работ подобного рода и калибра. Первыми на ум приходят наиболее знаменитые: монографии Й. Хейзинги, А. Лорда, М. Блока, Ф. Броделя, В. Я. Проппа и М. И. Бахтина. Из сочинений, вышедших в свет относительно недавно, – «Поэтика ранневизантийской литературы» С. С. Аверинцева. Все эти столь разные работы роднит одна общая черта, которую точно определил последний из названных авторов, сказав о цитируемой им статье русского античника, что она, «строгая конкретная по теме, дает более насыщенную смыслом историко-культурную перспективу, чем иные книги, трактующие о целых эпохах». Вряд ли случайно данное определение прекрасно подходит и к книге самого Аверинцева, который, отталкиваясь от «строгой конкретной» заглавной темы, создает широчайшую панораму ближневосточной, средиземноморской и европейской культур. Не менее точно отражают эти слова и суть труда А. С. Мартынова, столь же «конкретно» обсуждающего «всего лишь» двадцатипятивековую историю конфуцианской духовной традиции.

Несколько слов о структуре книги. Она вышла в двух томах, первый из которых содержит очерк жизни Конфуция, его посмертного статуса в обществе и влияния конфуцианства на политическую жизнь Китая. Далее автор подробно рассматривает цивилизационную судьбу учения «совершенно мудрого», поочередно останавливаясь на его исторической, философской и литературной сторонах. Особое внимание уделяется трансформации конфуцианского учения во времени и, так и хочется добавить: «духовном пространстве». Вслед за чем (во втором томе) еще более детально рассмотрению подвергаются «конкретная эпоха, конкретный человек и две философские категории из основного фонда конфуцианской мысли». Заключительную часть книги составляют переводы классических текстов конфуцианства, в первую очередь знаменитый «Лунь Юй». Обсуждение достоинств этого перевода – доля специалистов. Заметим лишь, что он вы-

годно отличается от предшествовавших ему версий с точки зрения литературного языка и тем, что необходимые историко-философские примечания включены переводчиком в текст, от чего его «читабельность» сильно выигрывает.

Масштаб охватываемого материала огромен – а объем книги относительно невелик. Поэтому ее текст предельно насыщен. Иначе, впрочем, не может быть: речь идет об одной из древнейших духовных традиций человечества. При этом единственной – не религиозной; если так можно сказать: «человечной» (вспомним, что одной из основных категорий конфуцианства является «гуманность» или «человечность»). Каким образом была достигнута подобная долговечность? Мартынов отвечает просто: «Залог вечности конфуцианства в том, что оно сумело выразить [вечные человеческие] ценности в наиболее доступной, наиболее общей и наиболее бесспорной форме». И замечает позже, что его, автора, целью было дать читателю возможность «почувствовать конкретность» конфуцианской доктрины, ее реальность и жизненность, которой она обладает, несмотря на почтенный возраст.

Книг такого рода, как уже говорилось, немного. По-видимому, непросто выполнить завет, вложенный в уста великого историка из «Игры в бисер» (романа совершенно конфуцианского и по духу, и по содержанию): «Самое притягательное, самое поразительное и наиболее достойное изучения в мировой истории... [это] те долговечные организации, где пытаются собирать, воспитывать и переставлять людей на основе их умственных и душевных качеств, воспитанием, а не евгеникой, с помощью духа, а не с помощью крови превращая их в аристократию, способную и служить, и властвовать». Очевидно, что слова отца Иакова полностью применимы к конфуцианской традиции. Напомним, что прототипом этого персонажа Гессе являлся упомянутый выше один из отцов концептуальной исторической монографии Я. Буркхардт – и кажется не случайным, что эта «псевдобуркхардтская» цитата очень точно отражает суть работы А. С. Мартынова.

Вряд ли возможно в коротком отзыве остановиться на всех важных особенностях «Конфуцианства». В первую очередь скажем о наиболее заметных, пусть и не самых наукообразных чертах книги. Блестательны литературно-исторические отступления, аллюзии автора – случающиеся именно в те моменты, когда затрагиваемые темы не могут не вызвать определенных ассоциаций у читателя, хотя бы поверхностно знакомого с отечественной историей, в том числе и культурной. Хотя многие из этих параллелей вовсе не очевидны, существование их, при следовании за пристальным авторским взглядом, не вызывает сомнений.

Например, знаменитое замечание Конфуция о необходимости улучшения общественного порядка по типу гораздо более «нормальных» в этическом смысле семейных отношений: «Пусть государь будет государем, подданный – подданным. Пусть отец будет отцом, а сын – сыном», – нашло немедленный отклик у правителя, к которому оно было адресовано: «Думаю, что если... отец не будет отцом, а сын – сыном, то [...] смогу ли я] есть хлеб, даже если он у меня будет» («Лунь юй», 12–11). Это вызывает у Мартынова воспоминание о том, что сходным образом «литературный персонаж Ф. М. Достоевского провидчески заметил, что если Бога нет, то и он капитаном считаться не может». Напомним, что в другом романе писателя подобная мысль была выражена острее: «Когда Бога бесконечного нет, то нет и никакого добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе», – и в чуты измененном виде стала афоризмом, известным даже тем, кто не добрался до конца «Братьев Карамазовых»: «Если Бога нет, то все дозволено». Дозволено, хочется подчеркнуть, как в

смысле поведения индивидуального, так и государственного. Ибо то и другое взаимосвязано. Ведь связь этических установлений социума с самым, что ни на есть, обыденным государственным бытом – несомненна.

«Общественность того времени, – добавляет Мартынов, – вяло отреагировала на эту мысль, за что сполна и поплатилась». Хочется спросить: а ныне, как – не смещены ли ориентиры оной общественности? Не так же ли, как и раньше, она озабочена мнимыми проблемами и увлечена ложными решениями социальных болячек? Конечно, бедное общество не может быть счастливым – да и сам Конфуций прежде всего предлагает «накормить подданных». Но одной экономикой – «хлебом единым» – добиться социальной гармонии невозможно.

Читая «Конфуцианство», не раз подумаешь: а ведь стоит преподавать основы древнего учения если не в школе, то уж, по крайней мере, на всех факультетах управления и менеджмента! Ничего кроме пользы не будет от того, что будущим руководителям повторят несколько раз известные уже много сотен лет и напоминаемые нам автором истины: о том, что «государственный порядок на приказах держаться не может»; о том, что «государственное управление не может быть основано на голом принуждении, даже в том случае, если это будет принуждение законом»; о том, что любой управляющий людьми «аппарат должен состоять из людей особого сорта, из тех, кто преодолел в себе корыстолюбие и стал на путь самосовершенствования». Хотя мы далеки от наивности и не думаем, что подобный учебный курс радикально разрешит все проблемы российской государственности (а уже сколько лет мыслящим россиянам обязательно хочется решить их «все» – и к тому же немедленно! – ну и как, удачны ли были предыдущие попытки?).

Здесь надо сказать об одном из любимых персонажей автора – великом поэте XI в. Су Ши (Су Дун-по) – том самом «конкретном человеке», о котором упоминает аннотация книги. Он, насколько это возможно, представляет собой тип «совершенного конфуцианца», сочетавшего службу обществу со служением культуре, как бы ни были тяжелы выпавшие ему жизненные обстоятельства. Его образ, в некотором смысле – живое воплощение конфуцианских принципов, от которых поэт никогда не отступал на своем Пути. Пусть с обыденной точки зрения Су Ши должен показаться неудачником, «но ведь именно неудачники, начиная с первого из них – Конфуция, и внесли основной вклад в китайскую духовную культуру». Да и не только в духовной культуре дело, показывает нам автор. Ведь, в отличие от Конфуция, которому не удалось, в прямом смысле слова, «поработать на благо общества», Су Ши, бывший «гениальным поэтом, прекрасным художником, талантливым каллиграфом, специалистом по эстетике, буддизму и даосизму и довольно умелым жуиром, – ухитрился стать одним из лучших администраторов во всей истории Китая, неизменно оставившим на подведомственной ему территории добрую и прочную память о себе». Не встает ли здесь перед нашим взором та самая «гармонично развитая личность», о которой человечество давно и почти что бесплодно мечтает? И кстати, многие ли «успешные администраторы», мировой истории, могут похвалиться достижением Су Ши – хорошей «памятью народной»? Вот, кажется, о чем стоит задуматься студентам многих академий.

Безусловно, многовековой путь конфуцианства не был безоблачным – как в смысле историко-философском, так и попросту в личном, индивидуальном. Мартынов показывает, что конфуцианская личность по своей природе двойственна: с одной стороны, убежденный конфуцианец должен трудиться «на благо общества», а с другой – повышать свой этический уровень или самосовершенство-

ваться возможно лишь в «одионом плавании». Более того, часто это одиночество оказывалось не временным, а постоянным, не добровольным, а вынужденным – ибо отнюдь не во всякую эпоху общество было заинтересовано в услугах «благородных мужей». Что в свою очередь приводило к внутреннему расколу или «трагическому раздвоению» неустребованной обществом конфуцианской личности, о котором первым в отечественной синологии писал В. М. Алексеев в своей статье о новеллах Ляо Чжая (Пу Сун-лина).

В этой связи невозможно пройти мимо подмеченной Мартыновым «параллельности» стихотворений Б. Пастернака и видного поэта IX века Сыкун Ту (цитаты из многих классических китайских текстов даны в собственном переводе автора – это позволяет надеяться, что они будут в свое время опубликованы отдельно).

Возможно ли какое-либо родство двух столь разных текстов – разделенных более чем целым тысячелетием и, казалось бы, культурным океаном? И, тем не менее, налицо вневременная перекличка чувств, определенных автором как «скорбь и отчаяние, которые посещают душу... всякого носителя определенных ценностей при взгляде на объективную реальность». Иначе говоря, что делать, когда окружающая нас нравственная действительность коренным образом расходится с этическим идеалом? Восстать (против кого?) или признать в собственном поражении?

Подобные чувства, напоминает Мартынов, не раз посещали и самого Конфуция, который так и не смог сделать успешную придворную карьеру и очень страдал оттого, что его таланты оказались не востребованы временем (следы чего отчетливо видны в «Лунь Юе»), «что не приводило однако – вот это и есть чистое конфуцианство – к прекращению его активности». Потому, заключает автор, настоящему конфуцианцу «кроме способности впадать в отчаяние следует иметь еще и рыцарскую душу». После чего подводит читателя к очень нетривиальной мысли об одном из самых знаменитых «стихотворений Юрия Живаго»: «Сказке». Автор замечает, что его «особенно привлекает в этом произведении четкая выраженность двух главных моментов: безнадёжного рыцарства и вневременной характер этого явления».

И, перечитав стихотворение, начинаешь с ним соглашаться – ведь пафос «Сказки» именно в том, что от борьбы уклониться невозможно и вовсе не награда (и уж точно – не рука прекрасной девицы) является ее причиной. А – как ни высокопарно это прозвучит – моральный императив. Ведь пастернаковский всадник, действительно, правит на опасность, «не вняв чутью», да и остается ли он в живых, неясно: «То возврат здоровья, / То недвижность жил / От потери крови / И упадка сил». После чего понимаешь, что бесконечно растраженный в европейской культуре миф о Персее-Георгии вовсе не так прост, как кажется. И это всего лишь один пример «обучающей ассоциации» или, если хотите, «обучающей аллюзии», которой автор пользуется не раз.

С точки зрения чисто «технической», упомянуть о которой требуется в любой рецензии, обсуждаемая работа прекрасно написана и легко читается. Особенно если учесть, насколько сложны для непрофессионала (а может – и для профессионала?) затрагиваемые автором предметы. И еще: автор несколько раз возвращается к некоторым из труднейших конфуцианских положений и наиболее важным сделанным им выводам. В другой бы ситуации это могло вызвать раздражение – зачем столько раз твердить одно и то же? Здесь же, наоборот, мысль читателя, пусть уже отчасти натренированная по ходу не самого простого пути, иногда жаждет подтверждения: «А так ли я все понял? Правильно ли помню изложенное?»

И автор всегда уместно приходит на помощь: «Да, правильно (или: «Нет, неправильно»). Да, именно об этом мы уже говорили и вот в какой связи с нынешним предметом обсуждения». Более того, на очень многие вопросы автор «Конфуцианства» смотрит под разными углами и часто не готов дать «окончательный ответ». Помимо того, что это опять же побуждает читательскую мысль к самостоятельной работе, книге тем самым добавляется «полифония», возможность подходить к одним и тем же проблемам по-разному, которая, согласно автору, была свойственна конфуцианству почти что изначально.

Такой заключенный в тексте «педагогический» аспект приводит нас к самому главному – тому, что делает «Конфуцианство» событием российской культурной жизни: это книга «обучающая». Дело не только в том, что по ее прочтении сложнейшие проблемы философии и философской истории будут значительно понятнее. И не в том, что суть конфуцианства станет много яснее и окажется гораздо шире, чем цитируемые ныне сплошь и рядом три с половиной изречения из «Лунь Юя» с упором на декларируемое там почтение к родителям и вышестоящим (что вызывает у юношества вполне закономерную реакцию отторжения). А в том, что мировоззрение внимательного читателя не сможет не измениться. Что, кажется, входило в намерения автора.

Данная цель достигается с помощью «педагогически-философских» дискурсов, искусно раскиданных по тексту книги. Приведем несколько примеров. Не раз автор указывает на следующие особенности поведения конфуцианской личности: постоянное самосовершенствование и стремление к общественно полезной деятельности (что составляет две неотъемлемые части единого целого – ибо первое обращено «внутрь», в мир «индивидуального духа», а второе – «наружу», в сферу социальную). И таким образом, затрагивает тему, весьма актуальную для русского общества на протяжении двух последних столетий: что делать, если ты «не согласен» с правительством, с государством: бороться против него или удалиться в частную жизнь? Легко заметить, что в конфуцианской традиции вопрос ставится совсем по-другому: где провести грань между тем, когда не просто сотрудничество, а государственная служба возможна и этически обязательна, и тем, когда пороки находящегося у власти тирана делают подобную службу невозможной. Только в этом случае конфуцианец может (и должен!) удалиться в жизнь частную.

Все это не к тому, что в китайской истории не отмечалось «лишних людей» или репрессий против тех, кто отстаивал свою точку зрения перед лицом властей: Мартынов показывает, что и того, и другого в Поднебесной было в избытке (не так уж они, следовательно, отличаются от нас). Но внимательный наблюдатель не сможет не уловить, что китайская традиция следует парадигме, отличной от старой и новороссийской. Истинный конфуцианец спрашивает себя: «До каких пор государству следует помогать?» – а не: «Каким образом следует уклониться от сотрудничества с государством (исчадием зла по определению – *nomine et re*)?» Ведь слово «государство» слишком часто означает: «общество в целом», – и потому акценты смещаются легко. Бывало (особенно в русской истории), что борьба с «порочным государством» оборачивалась схваткой с обществом, а игнорирование «несовершенного» социума приводило к достаточно бесплодному интеллектуальному отшельничеству.

Кстати, об отшельничестве Мартынов тоже пишет не раз. И часто без пиетета – притом, что прекрасно знает предмет: в отличие от поверхностных наблюдателей, иногда относящихся к отшельничеству, западному ли, восточному, как к некоей «блажи». И может, именно зна-

ния автора заставляют поверить ему, когда он, неоднократно обсуждая весьма плодотворный в творческом отношении духовный спор между буддизмом, даосизмом и конфуцианством, мягко, но настойчиво намекает, что, конечно, на гору-то можно уйти, и провести там оставшуюся жизнь, «рассматривая свой пупок» или же повторяя «Ом мани падме хум». Однако же, что случится с обществом, скажем больше, со всем человечеством, если все, как один, воззрятся на пупок и займутся бесконечным проникновением в глубины непознаваемого Дао?

Так и видится, как автор тихонько подмигивает читателю, как бы говоря: «Ты думаешь, это сложно – уйти на гору, питаться водой и травами и читать сутры без продыха? Ан нет, дружок, это – просто. По крайней мере, проще, чем жить в обществе и пытаться его хотя бы чуть-чуть улучшить».

При неоднократно упоминаемом в книге значении буддизма и даосизма для китайской творческой мысли и для развития самого конфуцианства, не возникает вопроса по поводу того, «на чьей стороне» находится автор «Конфуцианства» в великом духовном споре трех учений. Хотя и буддизм, и даосизм вовсе не оцениваются им как какие-то «неправильные», автор, вслед за великими конфуцианцами, просто не верит в то, что общество может улучшиться от индивидуального совершенствования как такового. Вслед за одним из главных героев книги – великим философом XII в. и основоположником неоконфуцианства Чжу Си – он дает нам понять, что «буддизм требует такой перестройки сознания, которая заставляет человека распрощаться с социальным аспектом своего существования» (подобно этому, многие решения мировых проблем, содержащиеся в знаменитых даосских притчах, пригодны «лишь для тех, кто решил прервать навсегда все свои отношения с обществом»).

При этом, что особенно важно, в противоположность европейским духовно-историческим традициям, описанный Мартыновым уход Чжу Си от буддизма не содержит в себе «освобождения от пут ереси и прозрения абсолютной истины». Просто определенная идеологическая концепция оказалась для данного философа более приемлемой, чем другая». Иначе говоря, буддисты-то (и христиане, и мусульмане) в конфуцианском мире жить могут и смогут. А вот насколько хорошо (и долго) сможет существовать общество, отрешивающееся от этических рекомендаций Великого Учителя? Ведь кажется, что пути, избранные современной постиндустриальной цивилизацией, имеют все шансы привести человечество в тупик. Технологией тут не спастись, ибо счастье – это категория не количественная.

Думается, что человеческому сознанию вообще свойствен самообман – и оно всегда готово отгородиться признаками внешнего благополучия от внутренних проблем. Оттого азбучные истины социальной жизни и имеют обыкновение, по словам автора книги, «исчезать из общественного сознания». Потому «в своей постоянной необходимости стабилизировать политическую жизнь человечество будет неизменно обращаться к конфуцианскому опыту». Ибо «придуманый Конфуцием способ соединения политической власти с учебной и нравственным совершенствованием... аналогов не имеет». И «ничего более совершенного история пока человечеству не предложила».

Мы далеки от того, чтобы посчитать конфуцианство панацеей от всех болезней современного общества. Впрочем, этого не делает и автор книги – он лишь обращает наше внимание на необыкновенную устойчивость китайской культурной традиции – свойство, благодаря которому она и существующее в ее рамках общество являются самыми долгоживущими в человеческой истории.

Заметим, что верно и обратное. Наверняка конфуцианская ригидность сыграла какую-то роль в том, что мир Поднебесной, оказавшейся в средневековье раньше Европы (в конце II в.), раз за разом воспроизводил парадигму расцвета, гибели и возрождения пост-средневековой монархии (от вышедшей на историческую арену в начале VII в. династии Тан до сметенной лишь прошлым веком Цин), и перешел к следующей исторической эпохе только на нашей памяти. «Да и является ли переход к следующей эпохе (в данном случае — индустриальной) каким-либо прогрессом?» — воскликнет здесь иной почитатель старины. В ответ ему стоит сказать, что речь идет не о прогрессе, а об исторической неизбежности. Той самой, по счетам которой китайское общество в XX столетии заплатило очень страшную цену. И не только китайское.

Будущее, хотим мы или нет, беспроblemным не будет. Потому так пронзительно звучат слова автора «Конфуцианства», напоминающего нам, что «общественная жизнь для человека является единственно возможной формой существования, но эта форма, по самой природе своей, опасна. Она требует могучего противовеса, который может дать только духовная культура». Потому, по его мнению, «именно характер персонального общения человеческого коллектива, а не его технологический потенциал должен стать мерилom развитости и совершенства человеческого общежития». Потому «ложь и агрессия должны рассматриваться как свидетельство недоразвитости и варварства данной человеческой общности». Не объясняет ли последняя фраза того, что наследство колониализма навсегда заклеило западную цивилизацию как «варварскую»? В глазах тех же китайцев? И никакие «жесты доброй воли» этого не изглаживают. И не они ведь нужны — и самому Западу, и старающейся имитировать его России. Не победа в отдаленной войне, не помощь беженцам (хотя кто желает своей стране поражения, а голодным смерть?), а в первую очередь, «обращение внутрь» и напряженная работа над собой. Готово ли к ней современное постиндустриальное общество, уверенное в том, что оно уже «почти всего» достигло?

Как ни странно это прозвучит, но за общество мы наверное все-таки не отвечаем. По крайней мере, не целиком. Но за себя — в ответе. Самосовершенствование или, в конфуцианской традиции, «самоокультуривание» — обязанность любого. Уклонение от него ведет к индивидуальной деградации, а когда критическая масса таких «уклонистов» превысит допустимую, то неминуем общественный кризис — и кризис тяжелый. Удел «ленивой души» — регрессия, защититься от которой может лишь тот, кто стал на путь внутреннего преобразования. А подобная духовная работа над собой должна рано или поздно привести к общественному служению — такова мысль автора «Конфуцианства». Потому и сама обсуждаемая книга оказывается, в конце концов, обучающим — в истинном смысле конфуцианским — трудом. Возможно первым, созданным на русском языке.

2003, © Петр Ильинский

## ИРИНА ПАНЧЕНКО

### ЮБИЛЕЙ СВЕРШИВШИХСЯ НАДЕЖД

В то время, как американская пресса много пишет об открывшейся в сентябре в нью-йоркском Музее Соломона Р. Гуггенхайма грандиозной выставке *Russia!*, охватывающей искусство России с XIII века до нашей современности, другое культурное событие оказалось в тени этого впечатляющего проекта.

Речь идет о выставке живописи (с 25 сентября по 23 октября), приуроченной к 25-летию со дня открытия Му-

зея современного русского искусства в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), расположенного неподалеку от Нью-Йорка.

В парадную ретроспективу *Russia!* были вложены огромные средства (как сообщилось в печати, только русский член попечительного Совета Гуггенхайма Владимир Потанин предоставил 4 миллиона долларов. И это не единственный источник денег для организации выставки).

Музей современного русского искусства не сумел убедить мэрию Джерси-Сити выделить несколько тысяч долларов, необходимых для приглашения гостей из России и издания каталога юбилейной выставки, пришлось ограничиться изданием скромного проспекта.

Казалось бы, оба эти столь различные по масштабу события не имеют ничего общего и ничем не связаны между собой. На самом деле связь существует. Ведь для того, чтобы на выставке *Russia!* в разделе искусства XX века рядом с соцреалистическими полотнами появились — «на законном основании» — работы художников-нонконформистов (представителей «неофициального искусства») Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Владимира Немухина, Оскара Рабина, Виталия Комара и Александра Меламида...), понадобилось упорное противостояние художников андерграунда и верных их единомышленников диктату власти в области культуры и эстетики. Противостояние, длившееся с 60-х годов XX века до окончания холодной войны.

У истоков этого прогрессивного процесса находился известный шестидесятник Александр Давидович Глезер, поэт, публицист и коллекционер живописи, который вот уже четверть века директорствует в Музее современного искусства в Джерси-Сити.

Его имя неотделимо от истории движения русских художников-нонконформистов. Это он в 1967 году организовал в Москве в клубе «Дружба» на шоссе Энтузиастов первую коллективную выставку их работ, которая продержалась всего два часа, но её успело посмотреть множество людей. Он же был одним из инициаторов знаменитой «бульдозерной выставки» под открытым небом на пустыре в Беляево 15 сентября 1974 года, когда власти применили против мирной акции художников-неофициалов, их картин, их художественного инакомыслия грузовики, водомёты и бульдозеры. Глезер оставался верен своей гражданской позиции, несмотря на травлю в тогдашней печати, преследования КГБ, вынужденную эмиграцию. (В случае ослушания, отказа покинуть Россию, Глезеру пригрозили тогда лагерями за «антисоветскую деятельность».)

Скандално выдворенный из России, Глезер сумел вывести а Европу свою прекрасную коллекцию русского авангарда «второй волны». В 1976 Александр Давидович открыл Музей русского искусства в Монжероне. Организованные им на основе этой коллекции выездные выставки прошли в галереях Австрии, ФРГ, Италии, даже Японии и, конечно, во Франции: в Шартре, Лавале, Туре. Он открыл международной общественности, отвергаемые в Союзе таланты, проявлявшие себя в самых разных авангардных стилях: в духе русского конструктивизма начала века, абстракционизма, сюрреализма, соц-арта, концептуализма... В парижском Дворце Конгрессов в том же 1976 году прошла гигантская выставка пятисот работ современной русской живописи. Монжеронский музей тоже принимал в ней участие. Вести об этих выставках, которые демонстрировали связь современного русского искусства с международными течениями (обычно наднациональными), доносились до СССР. За преданность избранной миссии во французской прессе тех лет Алексан-

дра Глезера справедливо назвали «подвижником «неофициального искусства».

Между тем, Глезер стремился к расширению своей деятельности. Он задумывался над тем, как познакомить с русским искусством Новый Свет. Тут неугомимому энтузиасту помог господин случай, о котором Александр Давидович недавно, во время своей поездки с выставкой в Париж, рассказал корреспонденту парижской газеты «Русская мысль» Елене Якуниной: «...Как раз в тот момент в Монжерон приехал жить Алик Гинзбург (бывший диссидент, составитель в 1959-1960 гг. московского подпольного альманаха «Синтаксис», за что отсидел два года в тюрьме. — И.П.). Он привёз с собой нью-йоркские газеты. В одной из них была напечатана статья «Ленинград на Гудзоне». Он же рассказал, что там есть такая организация CASE (Комитет абсорбции советских эмигрантов), и в их распоряжении находится трехэтажное здание ... Естественно, первой пришедшей мне в голову мыслью было открыть там музей. Я связался с президентом этого фонда Артуром Гильбергом, и мы быстро обо всём договорились» («Русская мысль», 2005. — № 32, 1 — 7 сентября).

15 сентября 1980 года, в шестую годовщину «бульдозерной выставки», в Джерси-Сити был открыт музей, который был назван тогда «Музеем современного русского искусства в изгнании». В течение многих лет Глезер руководил двумя музеями. Сегодня, когда нет музея в Монжероне, Глезер является генеральным директором Музея в Джерси-Сити, существующего при CASE и, параллельно, сохраняет свои деловые связи с европейскими галереями, продолжая организовывать выставки в Париже и в Москве.

До 1991 года по инициативе Музеев, возглавляемых Глезером, было организовано более ста выставок в разных концах света. Если учитывать экспозиции, в которых принимали участие отдельные полотна музея, общее число выставок тех лет приближается к цифре 160. Конечно, такая интенсивность пропаганды неконформистского отечественного искусства на Западе стала возможна на волне интереса, даже моды на русское искусство, возникшей, когда подул российский «ветер перемен», когда Советский Союз к середине 1980-х годов начал распадаться. Проводя выставки живописи и графики, издавая каталоги этих выставок, организовывая прессу, Александр Глезер помогал русским художникам завоевывать известность, приобретать имя.

Чтобы отстоять своё право на свободное творчество, на индивидуальное видение формы, цвета, фактуры, многие из художников андерграунда оказались в те годы эмигрантами поневоле в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Монреале, Париже, Лозанне, Тель-Авиве, Праге... В первый период работы в Джерси-Сити в Музее современного русского искусства в изгнании Глезер экспонировал, как и на передвижных коллективных выставках, работы неофициальных русских художников, датированные в основном 1960-ми — началом 1980-х годов XX ст.: Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина, Михаила Шемякина, Владимира Немухина, Ильи Кабакова, Эдуарда Штейнберга, Виталия Комара и Александра Меламиды... Раздобыв деньги от щедрых в те годы американских фондов, поддерживающих культуру, Глезер в Музее в Нью-Джерси провёл персональные выставки Владимира Немухина, Владимира Овчинникова, Бориса Свешникова, Александра Харитоновича, Владимира Григоровича, Дмитрия Краснопевцева. Гордостью Глезера тех лет стала выставка «Неофициальное русское искусство» (1983) в помещении Конгресса США в Вашингтоне, прошедшая с громадным успехом. Ей была посвящена часовая передача на американском ТВ. Выставку «Сердце России»

Музей Джерси-Сити возил в галереи Винчестера, Вермонта.

В исполнении возложенной на себя культурной миссии А. Глезеру помогали также организованные им в те годы издательский дом и журнал «Третья волна», ежемесячный журнал «Стрелец». Удался Глезеру и ещё один проект: он издал в Лондоне и Нью-Йорке книгу «Неофициальное русское искусство», написанную вместе с критиком Игорем Голомшток.

...Шло время. Социально-политическая ситуация в России радикально изменилась. В 1991 году Глезер вернулся в Россию, сохранив почти всю свою коллекцию. За прошедшие годы ранее опальные художники получили, вслед за международным признанием, известность и на родине. Кто бы поверил в годы их отверженности, что у эмигранта Эрнста Неизвестного будет свой музей в Швеции, что в США выйдет книга о «34 людях мира в Америке», куда от России войдёт опять-таки Эрнст, что его авторские скульптурные монументы будут установлены в России, Америке, Израиле, и президент России Владимир Путин вручит ему орден.

Столь же невероятным показалось бы тогда, что рисунки бывшего политзаключённого сталинских лагерей Бориса Свешникова приобретёт Третьяковская галерея; что итальянское издательство «Фабри» выпустит многостраничную монографию о творчестве эмигранта Олега Целкова, чьи работы приобрели американские и японские музеи; что картины, скульптуры, коллажи Льва Крапивницкого, Владимира Немухина, Ильи Кабакова, Вадима Сидура, Лидии Мастерковой и Оскара Рабина станут предметом изучения в Германии в Исследовательском центре стран Восточной Европы при Бременском университете и будут там храниться; что эмигранты Виталий Комар и Александр Меламид после переезда в США станут участниками самых престижных международных выставок, их работы окажутся в крупнейших западных музеях, а их имена попадут даже в университетские хрестоматии; что, наконец, защитник, хранитель и популяризатор творчества этих художников Александр Глезер вскоре по возвращении покажет свою коллекцию «неофициалов» в московском Центральном Доме художников («Картины возвращаются в Россию»), а в 1983 году — в Музее изящных искусств им. А.С. Пушкина.

Да, надежды осуществились. В годы гласности и перестройки неофициальное искусство в России стало признанным и популярным. Исчезли партийный контроль и цензура, перестали быть запретными эстетики всех школ и направлений, возникла система частных галерей, появилась широкая возможность выставляться и продаваться... «Твори, выдумывай, пробуй!». Таким счастливым поворотом завершился для всех упомянутых нами лиц важнейший этап жизни.

Но жизнь не остановишь, и сегодня померкло впечатление от тех, уже давнишних героических усилий. Новый монстр — коммерциализация искусства — обнажил своё отвратительное обличье. Подлинное искусство опять в оппозиции, теперь уже агрессивной коммерческой конъюнктуре, выдающей за искусство халтуру, китч, имитацию.

Александр Глезер по прежнему остро чувствует время. Его музей уже не является Музеем русского искусства в изгнании. Сегодня двери Музея современного русского искусства в Джерси-Сити открыты для ищущих себя представителей новых поколений. На стенах музея можно увидеть работы современных живописцев и графиков из Москвы, а рядом — полотна из российской глубинки (Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска). Нашлось здесь место и для русских художников с Украины (Киева, Одессы, Харькова, Запоро-

жья), а, начиная с 2002 года, — для русских художников-эмигрантов «третьей» и «четвёртой» волны, выехавших за рубеж по собственной воле. И не только русских, но других национальностей, проживавших раньше в бывшем СССР.

Несомненно, прав был действительный член Американской национальной академии художеств, эссеист и педагог Сергей Голлербах, который ещё в 1986 году проницательно написал в нью-йоркской газете «Новое русское слово»: «...Противопоставление «мы» — русские художники, а они — западные художники» исчезнет со временем вообще. Произойдёт неизбежная художественная ассимиляция. В конце концов, «когда осядет пыль» (как любят говорить американцы), останутся лишь художественные индивидуальности, работающие кто в Париже, кто в Нью-Йорке или других местах русского эмигрантского рассеяния». Или у себя на родине, добавим мы. Осуществлению именно этого процесса помогает Александр Глезер, когда открывает в своём музее выставки «Дети перестройки», «Незнакомая Россия», «От 20 до 40. Молодые русские художники», «Русские американцы», «Русский Париж в Нью-Йорке», «Москва в Нью-Йорке» и т.п.

Сегодня Глезер экспонирует не только искусство постмодернистов (хотя он неизменно верен в первую очередь творчеству художников авангардистских направлений). Исключительность такой задачи утратила в современных условиях прежний смысл. Музей в Джерси-Сити выставляет живописцев, графиков, скульпторов самых разных школ, направлений, манер.

Выполняя эту новую программу, музей с 1994 года обеспечивает доставку картин из России в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Париж, Москву. Директор музея (у него минимум помощников) исключительно мобилен, ему приходится постоянно бывать в деловых поездках. Он осуществляет свободное передвижение русского искусства через границы. «Человек-Музей» — так символически озаглавил главный редактор нью-йоркской газеты «В Новом свете» Михаил Гусев своё интервью, взятое у Александра Глезера по случаю семидесятилетия этого талантливого менеджера, как можно смело назвать Глезера сегодня («В Новом свете», 2004. — 12-18 марта).

С целью обеспечения своим подопечным материальной поддержки, Музей в Джерси-Сити принимал участие в холдинговых аукционах живописи в Нью-Йорке и Париже, и в экспозициях нью-йоркских галерей Zalman Gallery, Inter Art Gallery, Grand Gallery. Благодаря такой стратегии Александра Глезера, коллекционеры из США, Франции, Англии и Германии приобрели более 200 произведений современных русских живописцев, графиков и скульпторов, чем поддержали формирующуюся международную известность этих художников.

Так после экспозиции произведений москвички Марии Владимировой одна из статей в нью-йоркской газете вышла под заголовком «Русская художница, покорившая Нью-Йорк». Среди знатоков искусства, оценивших работы Владимировой, был известный американский коллекционер русского неофициального искусства Нортон Додж, который приобрёл три картины художницы. Коллекция Доджа — самое крупное собрание советского неофициального искусства (хронологические рамки коллекции — период между Сталиным и Горбачевым, тридцать лет с 1956 года по 1986 год), причем не только в США — во всем мире, включая Россию, нет более обширного архива русского нонконформистского искусства. Коллекция Доджа насчитывает 17 000 произведений и около 900 имен «антисоветского» искусства. Несколько лет назад Додж передал свою коллекцию в дар нью-джерсийскому Ратгерс-университету.

Экспозиция, посвящённая 25-летию Музея современного русского искусства, была задумана Глезером таким образом, чтобы напомнить посетителям историю музея, и, одновременно, показать наиболее талантливых художников, которых поддерживает («раскручивает») музей сегодня.

Первому периоду существования музея была посвящена небольшая часть экспонатов. Это работы корифеев «неофициального искусства»: несколько трагических рисунков Бориса Свешникова разных лет, навеянных страшной реальностью сталинского лагеря; мужской портрет-импровизация, выполненный углём Анатолием Зверевым; оптимистичная литография Эрика Булатова «Живу — вижу»; ироничный рисунок Оскара Рабина «В деревне», возвращающий нас к «прелестям» российского крестьянского существования. Обе работы (Булатова — 1999 года, Рабина — 2004 года) с любовью подарены авторами музею.

Основная часть выставочного пространства на всех трёх этажах здания CASE была отдана современным художникам, многие из которых стремятся заглянуть в «миры иные».

В огромной многофигурной композиции «Фантазия», выполненной маслом, Владимир Ганин из Владивостока представил выписанный с реалистической обстоятельностью образ некоего условного «сверхсовременного» технократического мира с неизвестными приборами и сосудами, населённого существами в ореоле светящейся ауры; Сергей Ёраних из Москвы вымечтал свой «Таинственный остров» с уютными сказочными домиками, изобразив свою фантазию в мягкой, сентиментальной и несколько мультипликационной манере. Сергей Усатов применил в композиции «Вторжение» смешанную технику (пастозно-рельефную, дающую эффект почти «керамики»), изобразив неведомых пришельцев в виде трёх мрачных, выразительных голов, вырастающих из земли (дальних «родственников» богатырской головы из пушкинского «Руслана и Людмилы»).

Самым романтичным из живописцев-фантастов предстаёт Алексей Шабатинас, эмигрант из Каунаса, живущий в Нью-Йорке. Он будто навсегда ранен тайнами Вселенной. В юбилейной экспозиции представлена впечатляющая работа Шабатинаса «Начало сказки». На предыдущих выставках можно было увидеть его картины с философскими названиями «Время», «Генезис» и тому подобными. И всегда в его холстах возникает контраст взвихрённого или гармоничного космического пространства, часто одушевлённого, и маленьких человеческих фигур. В работах Шабатинаса постоянны символические знаки (шары и сферы, зеркала, таинственные парящие женские лики, фигуры). Художник предлагает зрителю широкий простор для самых смелых догадок и свободных ассоциаций. Его художественные фантазии на космические темы неисчерпаемы. Можно предположить влияние на Шабатинаса русских философов-космистов. Он любит контрастное сочетание синего или зелёного с жёлтым и оранжевым (с минимальными вкраплениями иного цвета), передающее ощущение обострённой эмоциональности.

Москвич Александр Махов сотрудничает с Александром Глезером много лет, с 1971 года. Его полотна отличаются реалистической манерой исполнения, изощренной техникой. Своеобразный мир реальных и, одновременно, вымышленных, часто мистических образов, который воссоздаёт этот художник, романтичен и полон скрытой символики. Изобразительную манеру Махова называют *фантастическим реализмом*. Ему нравится противопоставлять, соединять в пространстве одной композиции лица и тела, играя пропорциями и масшта-



бами. Он любит рисовать «свет любви», буквально материализуя свечение на полотне. В экспозицию вошли три полотна Махова: «Свеча на ветру», «Наедине с небесами» и «Охота» (мифологический сюжет о лесной нимфе-охотнице).

Фантастическое кукольное иномирие предстаёт в работах москвича Андрея Медведева, работавшего художником МХАТа. Его работа маслом «Кукла в синем платье» по настоящему театральна и ярка. (Нельзя не вспомнить здесь экспонировавшуюся ранее чудесную пастель Медведева «Призраки» с кукольной парой на первом плане, на лицах которой навсегда поселилось выражение «не от мира сего»). Казалось, эта призрачная и хрупкая пожилая пара выходит из рамы картины прямо на нас из густого голубого тумана, окутавшего таинственный город, тонущий в кустах и деревьях. В настраении картины ощущим едва уловимый привкус иррациональности. Если в «Кукле в синем платье» доминирует яркость открытого цвета, то в «Призраках» завораживает матовость серебристо-нежной цветовой гаммы).

Кукольный сюжет с подтекстом обнаруживается в картине харьковчанки Тагуа Барсегян «Сумерки». Здесь изображён грустный финал карнавальной игры куколкариц на фоне угасающего дня. Две куклы ещё в масках, причём одна маска с уродливо-длинным носом. Третья кукла уныло дует в трубу, около четвёртой валяется барабан. Полунагие куклы застыли в позах соблазнительниц. Серый колорит холста еще усиливает пасмурное настроение сцены. Если позволить себе расшифровать подтекст картины, то обнаружится совсем некукольный его смысл: сочувствие женскому эротическому одиночеству, тоске по празднику, который так минолётен.

Мифологические и литературные сюжеты любит иронично, весело и неожиданно переосмысливать в своих живописных и графических работах москвич Алексей Орловский. У него лёгкий, присущий только ему стиль, он изящно окарикатуривает своих кентавров, амазонок, средневековых воинов и их дам, и конечно, великого испанского чудака Дон-Кихота. Юмористические игровые сюжеты Орловского разворачиваются на суше и на море. Он использует масло, акрил, пастель. Его многоцветные композиции нужно смотреть издали, чтобы разноцветные мазки слились в единое радужное целое. На выставке он был представлен типичной для него работой «Мушкетёры короля».

С 1997 года Глезер сотрудничает с москвичом Борисом Ивановым, чьё чувство юмора не менее впечатляющее, чем у Орловского. А вот изобразительные манеры этих художников совершенно оригинальны. Творчество остро-наблюдательного и добродушно-ироничного Бориса Иванова можно отнести к *фантастическому гротеску*. Когда это диктуется замыслом, Иванов использует также сюрреалистические приёмы.

Его гротескные персонажи похожи друг на друга, как двойники. У них шаржированно-мелкие черты лица, высоко поднятые под самый лоб, полные круглые щёки. В соотношении с толстыми телами их ручки и ножки крохотны, похожи на птичьи лапки. Эти смешные персонажи могут быть «людьми из народа» в матросских телняхках, ватниках и ушанках, а могут оказаться интеллигентами. Но тем и другим присущи черты чудачества. Простой люд упоённо и тупо марширует на демонстрации под аккомпанемент духовых инструментов (заставляя зрителей вспомнить стихотворение Генриха Сапгира «Парад идиотов»).

Интеллигенты абсурдны: с географической картой отправляются в пустыню, чтобы штопором проделать отверстие в песке и перекачать оттуда воду в канистру. Или впадают в детство, играя в песочнице, забыв про своих родных детей. Или в ночи открывают за верёвочку дверь

цу на небе (где за дверцей пребывает такой же чудак), вопрошая его «о потустороннем». Или устраивают себе вручную приятные миражи вопреки суровому предгрозы...

С помощью подобных притчевых сюжетов Борис Иванов создаёт насмешливое художественное иносказание о человеческих слабостях и пороках, невежестве и заблуждениях. На юбилейной выставке Музея в Джерси-Сити экспонировалась работа Иванова «Соло для Оскара Рабина», посвященная 70-ти летию парижского коллеги. На картине запечатлены два азартных выпивохи с водкой «Абсолют» на столе, вписанные в парижский ландшафт с Эйфелевой башней, которые упоённо пьют, сопровождая себя один на гармошке, другой на барабане.

Ирония свойственна многим современным художникам, и они находят различные способы, чтобы напомнить об этом. Абстрактную композицию, представляющую собой растяжку мрачных чёрно-красных тонов, Михаил Шапиро из Монреаля назвал «Наша жизнь». Под картиной Бориса Лукина из Одессы, на которой художник изобразил во всю длину двух огромных рыб, повернутых друг к другу ртами, читаем: «Поцелуй».

На полотне «Погружение в супрематизм» Алексей Бабенко изобразил человечка в красном, примостившегося на щеке огромной головы (чей профиль едва помещается на полотне), как на ступенях древнего храма. Человек осторожно вглядывается вдаль, в виднеющийся на морской глади силуэт горы. В верхнем и нижнем левом углах художник расположил красный и чёрный квадрат. Название работы иронично, а сама она написана в духе философской поэтики концептуализма, ибо автор условно воссоздаёт знаменитые чёрный и красный квадраты Малевича, которые вобрали в себя концепцию супрематизма как беспредметничества, поставив предел движению в этом направлении. Бабенко знает об этом. Он не пытается создать свою супрематическую композицию, ведь это обернётся лишь эпигонством. Он запечатлел своё *понимание этой невозможности*. Погружения в супрематизм (как в чёрную дыру искусства) быть не может, и так хочется творческому человеку вопреки всему заглянуть за горизонт...

Среди наиболее авангардных художников, которых представляет сегодня его музей, Александр Глезер называет художников из Нижнего Новгорода Вячеслава Голоченко Нижнего Новгорода («Октябрь»), Виктора Грязнова («Лабиринт») и Дмитрия Яновского («Убежище»); Юрия Шеина из Харькова («Двое»). В их работах Глезера привлекает органическая способность синтезировать мистику и реализм, абстракцию и экспрессионизм. В подобных экспериментах Глезер видит главную тенденцию сегодняшнего искусства.

В Музее в Джерси-Сити также представлены работы нескольких художников, которые верны традициям реализма, среди них наиболее интересны «Зимний день» харьковчанки Ольги Савченко и жанровая композиция «Бойня» Сергея Сорокина из Нижнего Новгорода.

Невозможно рассказать обо всех участниках экспозиции, организованной в честь юбилей Музея русского искусства в Джерси-Сити. Многолетние участники всех начинаний и дел музея и только несколько лет назад влившиеся в их ряды (Михаил Шапиро, Ксения Гамарник, Вадим Александров и др.) равно исповедуют принципы: искренность самовыражения, свободу художественного эксперимента, верность подлинному искусству.

Музей современного русского искусства в Джерси-Сити — свидетельство тому, как важен для российских художников мост в США и Европу и как дорог для художников-эмигрантов этот очаг русской культуры, связующий их с родиной.

Филадельфия

**СВЕТЛАНА АЗВОЛИНСКАЯ**  
**РУССКИЙ СЛЕД В МУЗЫКАЛЬНОЙ**  
**ИСТОРИИ ФИЛАДЕЛЬФИИ**

Филадельфия известна как один из наиболее знаменитых музыкальных центров мира. Её музыкальная история чрезвычайно насыщена. И в эту историю вписано не одно имя музыкантов, имеющих российское происхождение. Как известно, наиболее значительными коллективами классической музыки в этом городе являются Филадельфийский симфонический оркестр и Кёртис Институт (Kurtis Institute of Music). О них и пойдёт речь в этой статье, на их примере мы поговорим о «русском следе» в музыкальной летописи Филадельфии.

Филадельфийскому симфоническому оркестру в 2007 году исполняется 150 лет. В 1909 году первый руководитель оркестра, Карл Полиг, пригласил выступить со своим коллективом русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Это первое выступление русского музыканта в Филадельфии прошло с большим успехом. Рахманинов дирижировал своей 2-ой Симфонией и исполнил как пианист пьесу из фортепьянного цикла «Картинки с выставки» - «Ночь на Лысой горе» - Модеста Мусоргского. Рахманинов был доволен концертом и обратился к Филадельфийской музыкальной федерации со словами благодарности за предоставленную возможность дирижировать, как он выразился: «My very favorite orchestra».

В 1912 году К. Полиг ушёл в отставку и новым дирижёром и руководителем оркестра стал выдающийся музыкант Леопольд Стоковский. Он возглавлял оркестр на протяжении 26 лет. За эти долгие годы он был не только руководителем, но и близким другом музыкантов, благодетелем, пытавшимся помочь каждому молодому дарованию.

Типичный музыкант оркестра того времени – иностранец. Либо это иммигрант, прибывший в Америку на постоянное место жительства, либо студент, приехавший в страну временно для получения музыкального образования. Во времена Л. Стоковского костяк оркестра составляли немцы, также итальянцы и венгры. Многие музыканты были из еврейских семей.

В 1938 году Л. Стоковский закончил работу в Филадельфийском оркестре и основал в Филадельфии американский молодёжный оркестр, в котором было немало выходцев из России.

Леопольда Стоковского сменил 3-ий руководитель Филадельфийского оркестра Евгений (Юджин) Орманди. Он родился в Будапеште, в семье дантиста Бленбойма. Заниматься на скрипке начал очень рано и в четыре года уже выступал перед публикой. Блестящий талант и упорный труд сделали его всемирно известным скрипачом, и в историю музыкальной культуры он вошёл под взятым им псевдонимом Орманди.

В 1939 году Ю. Орманди вновь пригласил С. Рахманинова выступить с Филадельфийским оркестром. Со времени первого выступления прошло 30 лет. Рахманинов уже более 20 лет жил в Америке, не вернувшись из гастролей в 1917 году в Россию, ставшую большевистской.

В 1940 году С. Рахманинов написал «Танцевальную сюиту» и предложил её Ю. Орманди для исполнения его оркестром. Композитор сам дирижировал новым произведением. И перед концертом он обратился к публике: «Раньше я сочинял свои произведения с оглядкой на Шалаяпина, примеряясь на возможности его голоса. Сейчас, когда его не стало, я пишу для вас – лучшего симфониче-

ского оркестра мира. Нынешнюю работу я посвящаю потрясающему музыкальному коллективу и его гениальному дирижёру Евгению Орманди».

Упоминание великого певца не случайно: в конце XIX-начале XX веков С. Рахманинов создал ряд романсов – шедевров вокальной лирики и часто выступал, аккомпанируя великому певцу Фёдору Ивановичу Шаляпину.

Сергей Васильевич Рахманинов скончался в 1943 году в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В течение первых десяти лет эмиграции он занимался только исполнительством, но в последние годы вернулся к сочинительству и создал 4-ый фортепьянный концерт, «Рапсодию на тему Паганини» для фортепьяно с оркестром, 3-ю симфонию «Симфонические танцы», «Три русские песни» для хора и оркестра. Тема Родины – основная в этих произведениях.

Вторая мировая война повлияла на многие аспекты американской жизни, в том числе и на музыкальный репертуар. Сезон Филадельфийского оркестра 1942 года открылся русской программой в честь советских воинов, сражавшихся с нацистскими захватчиками. В концерте прозвучали «Первая симфония» Тихона Хренникова, «Пятая» Шостаковича, сюита Стравинского «Жар-птица». Программа повторялась 25 раз и была записана радиостанцией Armed Forces Net Work. Оркестр во время войны потерял 13 членов своего коллектива, принимавших участие в боевых действиях.

В 1944 году, когда еще шла война, коллектив филадельфийского оркестра оказал большую помощь своим коллегам из Ленинградской филармонии, у которых во время блокады погибли почти все инструменты. Они подарили им смычки, струны, сурдинки, язычки – приспособления, необходимые для восстановления былой славы одного из лучших музыкальных коллективов мира. Этот дружеский жест не был забыт ленинградцами, устройшими через несколько лет великолепный прием музыкантам, приехавшим на гастроли из Филадельфии.

После войны Орманди стал постоянно включать в репертуар оркестра произведения современных зарубежных композиторов, в том числе русских. Среди них были Хачатурян, Шостакович, Хренников, Прокофьев, чья кантата «Александр Невский» и «Ода на окончание войны» прозвучали впервые в исполнении филадельфийцев.

В 1957 году Академия Музыки отмечала 100-летие своего существования. На юбилей Орманди пригласил исполнителей с мировыми именами. Как и Стоковский, он считал, что музыка не имеет границ, является достоянием всего мира. Начиная с 1955 года, когда Европа постепенно заживала раны, нанесённые войной, Филадельфийский оркестр начал зарубежные гастроли. Первый концерт из этой серии состоялся во Франции, а потом ещё в одиннадцати странах Европы. В график гастролей входило и посещение Советского Союза. Но двум музыкантам оркестра по неизвестной причине не выдали визы. В знак протеста все члены коллектива отказались от поездки. Вместо них в СССР отправился Бостонский симфонический оркестр. Только через два года Филадельфийскому оркестру в полном составе удалось в числе 14-ти других европейских стран посетить Советский Союз. Все сорок три концерта в Европе прошли с невероятным успехом. Но подлинный триумф их ожидал в России. В Ленинграде коллектив филармонического оркестра стоя долго приветствовал американских коллег за дар, преподнесенный им после блокады. В Москве люди осаждали вестибюль гостиницы, где остановились музыканты. В Киеве оркестр исполнял «Картинки с выставки» Мусоргского у подножия развалин Золотых ворот, став-

ших местом действия, положенного в основу этого фортепьянного цикла. В завершение гастролей Орманди сделал русской музыкальной культуре неоценимый подарок – передал письмо, написанное рукой Чайковского своему американскому другу, и через 67 лет возвратившееся на родину отправителя.

Начиная с 1976 года в Филадельфии, в летнем театре Мэн Центр (Main Center) каждое лето, в июне-июле месяце, проходят выступления выдающихся музыкальных коллективов и солистов. Немало среди них и русских имён. По традиции цикл летних концертов в Мэн Центре завершается исполнением Филадельфийским оркестром увертюры Чайковского "1812 год", сопровождаемой звуками пушечной канонады и фейерверком. Это незабываемое зрелище, когда градом разноцветных огней озаряются не только близлежащие холмы, но в торжественном величии возникает вдали, освещенный неоновыми огнями, центр города с вечным его символом - фигурой основателя Филадельфии Вильяма Пенна на башне Сити Холла.

Осень 1955 года вошла в историю музыкальной культуры города под названием «русские вечера». 3 октября пианист Эмиль Гилельс, исполнил впервые в Америке «Первый концерт» Чайковского для фортепьяно с оркестром. Критики назвали его игру феноменальной. 25-26 ноября советский скрипач Давид Ойстрах околдовал филадельфийскую публику исполнением Брамса и Прокофьева. После возвращения на родину Ойстрах поместил в газете "Советская культура" статью, посвященную гастролям в Америке. Восторженно прозвучали в ней слова, обращенные к коллективу Филадельфийского оркестра: "Трудно себе представить другой музыкальный коллектив в мире, сравнимый с ним по красоте звучания, богатству красок, разнообразию нюансов, гармоничности. Не представляю, кто бы другой, кроме Орманди, мог дирижировать оркестром такого уровня".

9 ноября 1956 года любители классической музыки Филадельфии услышали впервые "Концерт для виолончели с оркестром" Дмитрия Шостаковича. Соло на виолончели исполнял Мстислав Ростропович. Он входил в состав советской делегации, возглавляемой Шостаковичем, посетившей своих американских коллег. В этом концерте были исполнены также произведения других современных советских композиторов - Кабелевского, Хренникова. Дирижировал Ю. Орманди. Газеты захлебывались от восторга, восхищаясь исполнителями и авторами.

Мстислав Ростропович - один из выдающихся виолончелистов XX-го века родился в Баку 27 марта 1927 года. Учился игре на виолончели у своего отца, а уроки фортепьяно брал у матери. В 1931 году семья переехала в Москву, где он выступил с дебютом в восемь лет. В 1943 году поступил в Московскую консерваторию, к окончанию которой был уже автором нескольких произведений, среди которых два концерта для фортепьяно. С 1953 года преподавал там в звании самого молодого профессора в стране. В качестве солиста выступал с Московской филармонией с 1946-1950 годы, завоевав мировую репутацию и победу в международном конкурсе виолончелистов в Праге в 1950. Впервые на западе появился через год на музыкальном фестивале во Флоренции. Дебют в США состоялся в 1956 году в Карнеги Холл. Как композитор и пианист аккомпанировал сопрано с мировым именем Галине Вишневской, на которой женился в 1955 году. Несмотря на мировое признание, политические взгляды семейной четы вызвали недовольство советского правительства. В 1977 году Ростроповича избрали музыкальным директором Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Здесь он отметил свой 50-

летний юбилей, где очаровал присутствующих неутомимым чувством юмора и шутками. А в следующем году уже было не до шуток. Вместе с Вишневской он был лишен советского гражданства, в котором их восстановили только в 1990 году.

Невиданный успех Филадельфийского оркестра, во многом благодаря участию "русских", послужил толчком для возвращения Леопольда Стоковского. Орманди на протяжении многих лет пригласил его разделить с ним руководство коллективом. Оркестр, управляемый такими двумя титанами, засверкал новыми, доселе неизвестными гранями.

Дебют пятого дирижера оркестра Риккардо Мути состоялся 27 октября 1972 года исполнением симфонии Прокофьева по мотивам оперы "Огненный ангел". Ему аплодировала не только публика, но и музыканты оркестра.

Шестой дирижёр Вольфганг Завалиш возглавил оркестр в 2003 году. До последних дней работы Завалиш приглашал выдающихся исполнителей, среди которых было немало русских. То, что сделал Завалиш для оркестра выше всяких похвал. Он осуществил переезд в новую резиденцию - Киммел Центр. Никто никогда не узнает с какими трудностями столкнулся коллектив в связи с переменой места обитания. На счету Завалиша многочисленные награды, самая престижная из которых от Конгресса США за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. И даже сегодня, несмотря на более чем 80-летний возраст, Завалиш иногда дирижирует оркестром и даже выезжает с ним на зарубежные гастроли, заявляя, что от таких нагрузок приобретает новые жизненные силы, помогающие держаться на плаву.

После ухода Завалиша на пенсию, седьмым дирижером стал Кристоф Эшенбах, считающийся сегодня одним из ведущих дирижеров мира. Свою музыкальную деятельность он представляет, в основном, как организацию фестивалей, посвященных выдающимся личностям, композиторам и музыкантам с привлечением зарубежных коллективов. В сезон 2003-2004 годов на сцене Киммел Центра выступали Берлинский и Израильский симфонические оркестры, всемирно известные скрипачи Пинхус Цукерман, Исаак Перельман, пианисты Питер Серкин и Альфред Брендер.

Кроме дирижирования, К. Эшенбах занимает еще несколько блестящих позиций в мировом масштабе и поэтому часто покидает Филадельфию. В его отсутствие музыкальный коллектив работает с приглашенными дирижерами. В 2004 году состоялся дебют с Филадельфийским оркестром знаменитого дирижера, уроженца Китая - Тен Дана, открывшего серию концертов под названием "The map". Первый концерт был посвящен русской классической и фольклорной музыке. Была исполнена рапсодия Шостаковича на русские и киргизские народные мелодии, "Половецкие пляски" из оперы Бородина "Князь Игорь".

Сезон 2005-06 годов обещает быть еще более захватывающим. Среди возможных гастролеров немало наших соотечественников - дирижеры Юрий Темирканов и Владимир Юровский, виолончелист Дмитрий Масленников, сопрано Марина Мещерякова, Кировский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, скрипачи Николай Шнайдер и Олег Крыса, пианист и дирижер Владимир Фельцман.

В помещении Киммел Центра, кроме Верайзен Холл (Verizon Hall), вмещающим 2500 зрителей, расположен еще один зал на 650 мест, названный в честь четы Руз и Раймонда Перельман, пожертвовавших огромные средства на строительство этого уникального концертного холла. Это постоянная резиденция Молодежного театра и

танцевальной группы Philadance. Но чаще всего на его сцене выступает Камерный оркестр Филадельфии, основанный в 1964 году Марком Мостовым, являющимся ныне художественным руководителем музыкального коллектива. Под его управлением оркестр, в основном, включал в репертуар композиции 18 века, принесшие ему славу интерпретатора музыки барокко.

С 1997 года главным дирижером Камерного оркестра стал Игнат Солженицын. Он начал работать с этим коллективом в 1994 году. Сегодня Игнат признан одним из наиболее ярких дирижеров и пианистов мирового уровня. За эти годы оркестр под его управлением покорила сердца любителей камерной музыки не только в Америке, но и в Европе, Израиле, России. С оркестром сотрудничают такие выдающиеся исполнители, как Мстислав Ростропович, Лейла Юзефович, Стивен Изерлис, Чарльз Дутон, Кристоф Пендерески, Давид Зинман, Максим Шостакович, Наталья Гутман и др. Сам Игнат Солженицын в качестве приглашенного дирижера выступал во многих штатах Америки, в том числе и в штате Вермонт, где он прожил большую часть жизни. (Игнат Солженицын - сын писателя Александра Исаевича Солженицына, лауреата Нобелевской премии по литературе, который был выслан с семьей из Советского Союза в 1974 году и проживал в Америке.)

Камерный оркестр под управлением Игната Солженицына много гастролировал за рубежом, в том числе в России - Москве, Санкт-Петербурге, городе международных музыкальных фестивалей Нижнем Новгороде. Он также часто выступает как пианист в таких музыкальных столицах мира как Лондон, Цюрих, Токио, Сидней, Милан. С 2004 года И. Солженицын еще и дирижер этого коллектива. Он неоднократно выступал по радио и телевидению на канале CBS, Общественному каналу телевидения. Камерный оркестр Филадельфии под управлением таких двух мастеров высшего класса как Мостовой и Солженицын имеет сегодня все возможности открывать новые горизонты, совершать туры по стране и за рубежом, накапливать зрелость и мудрость. Газета "Нью-Йорк Таймс" после выступления оркестра в помещении Карнеги Холл писала: "Музыканты оркестра обладают замечательным чувством меры для поддержания качественного уровня за счет собственного стиля, в котором переплетается высокий накал с лиризмом и романтизмом".

Особое место занимает в музыкальном мире Кёртис Институт (Kurtis Institute of Music). Это уникальный центр подготовки музыкантов высочайшего профессионализма. Его выпускники становятся выдающимися солистами, играют в лучших оркестрах мира, поют в Опере, преподают в стенах родного института. Институт был основан в 1924 году 48-летней Мари Луизой Кёртис-Бок, дочерью филадельфийского издателя и жены журналиста Эдварда В. Бока. Непосредственное участие в разработке планов и задач учрежденного института принимал Леопольд Стоковский. Основным условием приема был талант, независимо от места рождения, происхождения и имущественного положения студента. Обучение было и остаётся бесплатным. Институт существует на фонд семьи Кёртис-Бок. Уникальна и система обучения и воспитания музыкантов. Весь коллектив представляет собой подобие большой семьи. Тяжёлый труд в классах перемежается совместными беседами, традиционными чаепитиями у большого русского самовара, репетициями студенческих коллективов — от камерных ансамблей до симфонического оркестра и оперы. Роль музыкантов русскоязычной диаспоры (или выходцев из этой среды) на всём протяжении истории института очень велика.

В 2005 году Филадельфия отметила 90-летие Элеоноры Соколофф, выпускницы Кёртис Института 1936 года. Она почти до этого почетного юбилея преподавала в своей альма-матер, обеспечив блестящий профессионализм многочисленным ученикам. Со дня открытия института и до смерти в Нью-Йорке в 1956 году тут преподавала всемирно известная пианистка Изабелла Венгерова. Она родилась в Минске в 1877 году, училась в Вене, по окончании образования долгие годы была профессором Санкт-Петербургской консерватории. Покинула Россию в 1923 году и поселилась в США. Самые знаменитые ее ученики - Леонард Бернштейн, закончивший Кёртис в 1939 году, Самуэль Барбер, одна из опер которого "Антоний и Клеопатра" включена в репертуар многих театров мира. Один из достойнейших поступков Венгеровой вошел в историю, когда во время экономической депрессии она отказалась от зарплаты и целый год, мотаясь между Нью-Йорком и Филадельфией, преподавала бесплатно, чтобы обеспечить необходимые условия обучающимся студентам. Ее благородный почин был подхвачен другими преподавателями, что дало возможность в трудные для страны годы удержать престиж и качество жизни учебного заведения.

В 1927 году преподавателем института стала коренная одесситка скрипачка Лия Любошиц. Она обосновалась в Филадельфии и проработала в Кёртис 20 лет. В следующем году преподавательский состав пополнился двумя легендарными фигурами из Санкт-Петербурга, сбежавшими от советской власти - Леопольдом Авером и его бывшим учеником Ефремом Цимбалом, ставшим позднее директором Кёртиса и прослужившим в этой должности почти 30 лет.

А первым директором института был декан фортепьянного факультета Джозеф Хофман, поднявший престиж Кёртис Института на небывалую высоту. Он родился в Кракове в 1876 году в семье, ведущей свои корни из небольшого еврейского местечка Украины. Дебют музыканта состоялся в шесть лет. А уже через пять лет, 11-летний вундеркинд дает сольный концерт в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке. Именно в это время его преподавателем в течение двух лет был Антон Рубинштейн, посетивший Америку для выступления с серией фортепьянных концертов.

В 1924 году Хофман стал деканом фортепьянного факультета, а через 3 года, по получении гражданства, был избран директором института. Он был им 12 лет, совмещая административную и преподавательскую деятельность, а также писал музыку для фортепиано, публикуя свои работы под псевдонимом Михаил Дворский. Хофман умер в Лос-Анджелесе в 1957 году.

Гордостью института с первых лет его существования стал симфонический оркестр, выступающий, кроме собственной сцены, на других престижных площадках: в Academy of Music, а ныне в Киммел Центре. С оркестром выступали знаменитые дирижеры, среди которых и наши соотечественники: Станислав Скровашевский, Мстислав Ростропович, Давид Зинман, Юрий Темирканов.

В 1999 году оркестр с дирижером Андре Превиним совершил большое концертное турне. Андре Превин родился в 1929 году в Берлине, в семье иммигрантов из России. С приходом в Германии к власти нацистов семья переезжает в Париж, а затем в США, где поселяется в Лос-Анджелесе. Здесь Андре учится в консерватории на факультете фортепьяно и композиции. В 1950-60 годы Превин работал в Голливуде, как аранжировщик музыки ко многим известным кинофильмам. Он дирижировал лучшими оркестрами в Хьюстоне, Питсбурге, Лос-Анджелесе. В 1987 году Превин был назначен главным дирижером Лондонской королевской филармонии, где

стал "conductor laureate" в 1991 году. Его собственные композиции представляют камерную музыку, в основном, концерты для разных инструментов (скрипичные, серенады, музыкальная поэма на стихи Филиппа Ларина). В 1998 году Превин был награжден дипломом Honor Award. На процедуре награждения присутствовал симфонический оркестр Кертиса в полном составе. Вручение награды транслировалось по телеканалу CBS.

Не меньшей популярностью у любителей музыки пользуются студенты вокального факультета института. Первой оперой, поставленной на сцене Академии музыки в 1929 году под управлением Артура Радзинского, стала "Tiefland" Евгения Альберта. Успешному росту вокалистов способствовало объединение студии с Оперной компанией Филадельфии. Следующей оперой, поставленной в сопровождении оркестра Кертиса, стал "Борис Годунов" Мусоргского. Среди исполнителей русские имена - Наталия Боданя и Ирина Петина. В 1927 году был открыт факультет камерной музыки, где вскоре стал блистать Curtis string quartet. Среди четырех солистов квартета - три были нашими соотечественниками: Яша Бродский, Макс Аронов, Гама Зильбер. Четвертым был Мехли Метта - отец будущего великого дирижера Зубина Метта.

Когда наступал летний сезон, студенты переезжали в лагерь Рокпорт в штате Мэйн. Это удивительная по красоте местность со скалистыми берегами, обрамленными соснами и березами, спускающимися каскадом к заливу. Здесь, на берегу залива семья Бок владела усадьбой "Lindenwood". Когда грянула экономическая депрессия, Мэри Луиза Кертис-Бок приобрела почти за бесценок огромный участок земли рядом с портом, и, наняв строителей, обустроила его, превратив в летнюю резиденцию Кертис Института. Сюда к студентам часто наезжали знаменитые гости - Евгений Орманди и Фриц Рейнер. Студенческие композиторы, будущие знаменитости Менотти и Барбер катали их на яхте, сопровождая путешествие исполнением всех известных оперных арий от Кармен до Бориса Годунова. Однажды, когда к ним приехал директор Джозеф Хофман, они устроили в его честь веселый капустник, играя вместо музыкальных инструментов на кастрюлях, сковородках, метелках и другой кухонной утвари. Руководил этим самодеятельным оркестром пианист Петр Любошиц, обладающий кроме музыкального таланта еще и артистическим. Он успевал одновременно делать все: руководить хором, строить смешные рожицы, пританцовывать русскую плясовую. В один из вечеров он исполнил танец индейцев вместе с виолончелистом Григорием Пятигорским, сценический наряд которого стал после концерта его повседневной одеждой, вызывавший своей раскованностью немало пересудов в то время, когда он стал деканом.

Григорий Пятигорский родился в Екатеринославле (ныне Днепрпетровский) в 1903 году. После окончания Московской консерватории стал первой виолончелью в Императорском (Большом) театре Москвы. Эмигрировал из России в 1921 году, сначала в Варшаву, потом в Берлин, где был солистом филармонии в течение пяти лет. В 1929 году переехал в США, выступал с Нью-Йоркским симфоническим оркестром. Играл в дуэте с Яшей Хейфецом, сочетал концерты с преподавательской деятельностью. Умер в Лос-Анджелесе в 1976 году. Его имя включено в американскую энциклопедию в раздел "Выдающиеся виолончелисты мира".

В этом же летнем лагере состоялась первая, но не последняя, студенческая свадьба между пианисткой Элеонорой Блум и преподавателем Владимиром Соколовым, окончившими институт в 1938 году. Эта семейная пара проработала в институте несколько десятилетий. Кроме

преподавания они часто выступали в составе Филадельфийского симфонического оркестра до глубокой старости.

Десятилетний юбилей института отмечался в 1934 году необычайно торжественно. Прибыли гости-питомцы института, официальные лица, известные музыканты и общественные деятели. Весь пол сцены был усыпан красными и белыми гвоздиками. Основательница института Мэри Луиза Бок была увенчана головным убором розового и голубого цветов, который за день до этого ей вручили в Пенсильванском университете вместе с дипломом доктора наук и грамотой за безупречную преподавательскую и благотворительную деятельность в сочетании с глубоким человеческим достоинством.

У входа в институт на флагштоке развевалось два флага - США и Польши, в знак уважения к родине директора Джозефа Хофмана. Перед началом торжественной церемонии были исполнены гимны двух стран. Среди награжденных Почетным дипломом находился пианист и композитор Леопольд Годовский, заметивший в ответном слове: "Здесь не хватает еще одного флага - старой России, ибо многие студенты Кертиса предпочитают его Санкт-Петербургской консерватории". Преподавателем оперного искусства, а с 1977 года главой факультета стал Фриц Рейнер, а его заместителем Борис Голдовский, сын скрипачки и преподавателя Лей Любошиц, Голдовский неожиданно после окончания скрипичного факультета Кертиса стал оперным певцом.

28 ноября 1937 года в институте отметили 60-летия со дня рождения Джозефа Хофмана и 50-летие его музыкальной карьеры. Торжественный вечер в честь юбиляра состоялся в Метрополитен-опера, где дирижер симфонического оркестра института Ф. Рейнер представил впервые на суд слушателей "Концерт для фортепиано с оркестром", доселе неизвестного композитора Мишеля Дворского (псевдоним Хофмана).

Новым лидером Кертиса стал композитор Рендел Томпсон, сумевший создать не только великолепные произведения в разных жанрах, но привлечь к ним внимание публики, истосковавшейся в трудные для страны дни по хорошей музыке, особенно хоральной. Во время нахождения Томпсона в должности директора Института, пришла мировая слава к пианисту Рудольфу Серкину. Он родился в 1903 году в Чехословакии в семье иммигрантов из России. Уже в 12 лет талантливый мальчик направляется на учебу в Венскую консерваторию, где его учителями стали всемирно известные музыканты и композиторы: Джозеф Маркс, Арнольд Шoenберг, Ричард Робертс. Сольная карьера Серкина началась в 17 лет, когда он выступил с Камерным оркестром под управлением Адольфа Буша. Связь с оркестром укрепилась еще больше после того как Рудольф женился на дочери Буша Ирине. В 1933 году Серкин впервые выступил перед американской публикой в Вашингтоне, а через год в Нью-Йорке с филармоническим оркестром. Зарубежные гастроли проходили постоянно, пока Серкин в 1939 году окончательно не переехал в Америку, где стал преподавателем, а позднее деканом фортепианного факультета в Кертис институте. Со вступлением США во Вторую мировую войну, фонды, идущие на обучение, были переброшены на военные нужды. Опять остро встал вопрос как выжить институту. В этой ситуации Р. Серкин повел себя весьма достойно. Вместе со своим тестем-скрипачом он создает октет из арф. Они исполняли сонаты Карлоса Селедо, пользующегося большим успехом у публики, а все вырученные от концертов средства Серкин отдает в фонд института. Он ушел в отставку в 1975 году. Умер Рудольф Серкин в 1991 году, в Вермонте. Его сын Питер

окончил Кёртис и стал успешно концертирующим пианистом.

В 1949 году Кертис Институт отметил 25-летие своего существования. Празднование проходило в течение двух вечеров в помещении Академии музыки. Студенческий оркестр под управлением нового дирижера Александра Хилберга исполнил увертюру Берлиоза к опере "Римский карнавал" и концерт Брамса для скрипки и виолончели. Солистами выступили Ефрем Цимбалист и Григорий Пятигорский.

Ефрем Цимбалист родился в Ростове на Дону в 1889 году. Занимался музыкой сначала с отцом, а потом в Петербургской консерватории с Леопольдом Ауэром. Дебют в США состоялся в 1911 году с Бостонским симфоническим оркестром, был исполнен "Концерт для скрипки" Александра Глазунова. После многочисленных зарубежных туров, с 1928 года Цимбалист начинает преподавать в Кертис институте, становится деканом скрипичного факультета, а в 1941-1968 – директором института. В 1943 году Цимбалист женится на основательнице института Мэри Луизе Кёртис-Бок, которая отныне стала Мери Луизой Кёртис-Бок-Цимбалист. Первой женой Ефрема была известная сопрано Альма Глюк, умершая в 1938 году.

Два новых имени появились на музыкальном небосклоне при Цимбалисте-директоре: Мечислав Хорщовский и Иван Галамян. М. Хорщовский – пианист и камерный музыкант – пришёл в Кёртис в 1942 году. Он проработал в коллективе более 50-лет до смерти в 1993 году. Одаренный ребенок из еврейской семьи на Украине, получил образование в Венской консерватории, где учился вместе с Венгеровой у преподавателя Теодора Лешетинского. А до этого уже в восемь лет осуществил тур по Европе, а затем в США. Особый успех достался на его долю исполнением произведений Бетховена для фортепьяно. В 1944 году к Хорщевскому присоединился другой наш соплеменник Иван Галамян, родители которого прибыли из Армении. Он создал новую методику игры на скрипке, которую изложил в учебнике, ставшем настольной книгой для скрипачей во всем мире.

Преподавателем по классу виолончели был Эммануэль Флуэрман, давший путевку в жизнь многим музыкантам. Позднее к нему присоединился еще один наш земляк - Григорий Пятигорский. Бывшая первая виолончель императорского оперного театра в Москве, он покинул страну после Октябрьской революции. Легенда гласит, что, спасаясь от преследования, он переплыл Днепр, держа виолончель над головой. После побега из советской России долгие годы занимал первые позиции в Берлинской филармонии. С приходом к власти нацистов Пятигорский эмигрировал в США. Преподавая девять лет (1942-1951) в Кертисе, этот элегантный красивый мужчина с копной темно-каштановых волос отличался необычайной щедростью и благотворительностью. Он помогал материально всем, кто к нему обращался, независимо от того - были это коллеги или студенты, давал деньги взаймы без возврата, покупал инструменты. Вместе с другим преподавателем пианистом Ральфом Берковичем устраивал часто бесплатные концерты в стенах института для пенсионеров и людей среднего достатка. Эта традиция жива до сих пор, на протяжении учебного года три раза в неделю все желающие могут услышать выступление студентов разных факультетов, будущих "мировых звезд". Самой большой гордостью Пятигорского был успех его ученика Леонарда Роуза, ставшего первой виолончелью Кливлендского оркестра, а позднее вошедшего во всемирно известное трио – Истомин-Стерн-Роуз.

Ефрем Цимбалист ушел в отставку в 1968 году. Его последний день на службе, как он поделился со своим

другом Владимиром Соколовым, стал самым печальным днем в жизни. Он отдал институту почти тридцать лет. Жене Цимбалиста Мэри Луизе было в это время 92 года. Он оставался рядом с ней до ее смерти в 1970 году, после чего переехал в штат Невада, поближе к дочери. Хотя Ефрем был неизлечимо болен, он по-прежнему оставался доброжелательным, жизнерадостным, улыбающимся. В 90 лет он приехал из Рено, где жил, в Кертис на празднование своего юбилея, куда собрались выпускники со всех уголков мира, многочисленные коллеги. Музыкальной студии, где прошли его лучшие годы, было присвоено имя Zimbalist Room.

Гала-обед завершился концертом, где исполнялась музыка Цимбалиста. Вечером состоялся званый ужин, на котором присутствовали его бывшие ученики, снискавшие мировую славу - композиторы Карло Менотти, Самуэль Барбер, Джордж Рохберг, а также квартет Гварнери, пианист Джордж Болен, правнук Рихарда Вагнера - Готфрид. Из Токио в знак признательности за несколько туров Цимбалиста в азиатские страны, прилетели питомцы Кертиса скрипачи Тошия Это, его жена Анджела Нудо с сыном-пианистом Майклом, исполнившими концертное трио.

В 1974 году отмечалось 50-летие Кертис Института. Это было "золотое время", когда в прошлое ушли трудности, связанные с экономической депрессией и Второй мировой войной. Подготовка началась задолго до торжества и проходила с размахом. Сольные концерты давали знаменитые выпускники. Оперная студия подготовила три оперы. Были приглашены музыкальные звезды из разных уголков мира, среди них скрипач из России Леонид Коган и виолончелист Мстислав Ростропович. Хотя "холодная война" была в разгаре, иногда удавалось заполнить из СССР известных на весь мир музыкантов.

В феврале 1977 года впервые вошел в свой кабинет седьмой директор института, выдающийся гобоист Джон де Ланси. При нем особого расцвета достигла оперная студия, возглавляемая Борисом Голдовским, выпускником института 1934 года. В короткий срок он поставил силами студентов три оперы - "Мадам Баттерфляй" Пуччини, "Ганс и Гретель" Хампердинка, "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова.

В 1984 году Кертис Институту исполнилось 60. Это событие ознаменовалось целой серией концертов. Один из них прошел в Grand Court престижного магазина Джона Ванамейкера, где блеснули многие питомцы института, среди них Шура Черкасский, Питер Серкин. Вскоре после торжественного юбилея подал в отставку директор института Де Ланси, руководивший им восемь лет. Некоторое время должность директора исполнял Владимир Соколофф, а в 1985 году им стал Гари Граффман, преподававший в Институте с 1980 года фортепьяно. В 1991 году Г. Граффман стал и первым президентом Кертис Института. С его приходом началась новая эра в истории Института, продолжающаяся до сих пор.

Гари Граффман родился в 1929 году в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Киева. Его дедушка был адвокатом, принимавшем участие в знаменитом деле Бейлиса. Первым учителем музыки был отец - скрипач, а потом знаменитый Ауэр. В 7 лет Гари стал студентом фортепьянного факультета Кертиса. Его педагогом была Изабелла Венгерова, с которой он прошёл 10-летний путь обучения (1936-1946). После окончания он совершенствовал мастерство, посещая классы у Владимира Горовица, участвовал в летнем фестивале Мальборо с Рудольфом Серкиным. Он был призёром конкурса Рахманинова, лауреатом конкурса Leventritt Award. 30 лет Гари Граффман гастролировал с сольными фортепьянными концертами и с лучшими симфоническими оркестрами. Им записаны на



СД многочисленные концерты из произведений Чайковского, Рахманинова, Брамса, Шопена, Бетховена с такими выдающимися дирижёрами, как Леонард Бернстайн, Зубин Мета, Юджин Орманди, Джордж Зел.

В 1979 году карьера Граффмана-пианиста, к сожалению, оборвалась в связи с травмой правой руки. Его репертуар стал включать произведения, написанные только для левой руки. С Андре Превинем в сопровождении симфонического оркестра Кёртис Института он принимает участие в мировой премьере Неда Рорема «Первого концерта для фортепьяно с оркестром». Вместе с Леоном Флейшером он также участвовал в музыкальных фестивалях, где исполнялись произведения для двух левых рук.

Лишившись возможности активно концерттировать, Г. Граффман перенёс свою активность, свой талант, силы и желание служить музыке на деятельность сначала педагога, а затем директора и президента Кёртис Института. Он также автор учебника «I really should be practicing» (1981 г.), а также многочисленных статей. Г. Граффману присвоено звание Почётного профессора Пеннсильванского Университета и Juilliard School, город Нью-Йорк – звание Почётного гражданина, губернатор Пеннсильвании совместно с Commonwealth вручили престижную награду «Walk of Fame».

В 2004 году многолетний президент одного из лучших в мире учебных заведений, подготовившего плеяду известных музыкантов, талантливый пианист и просто потрясающе обаятельный человек отметил 75-летний юбилей. На юбилейном вечере почётные гости, коллеги и друзья горячо поздравляли его, отдавая дань человеку, внёсшего огромный вклад в развитие не только культурной жизни Филадельфии, но и всего музыкального мира. В торжественном концерте в Киммел Центре юбиляр исполнил концерт Равеля для левой руки и играл в составе Филадельфийского оркестра (дирижёр Розен Миланов) 4-ую симфонию Чайковского и «Blue Cathedral» филадельфийского композитора Дж. Хигдона.

С 1990 года на скрипичном факультете преподаёт Виктор Данченко, закончивший Московскую Консерваторию по классу скрипки у Давида Ойстраха. В институте периодически знаменитые музыканты читают лекции и дают консультации. Так, Игорь Ойстрах помогал студентам в подготовке скрипичного концерта Кабалевского. Много раз оказывал благотворительную помощь Мстислав Ростропович.

В последнее десятилетие века институт один за другим потерял своих лучших преподавателей. В мае 1991 года умер в возрасте 88 лет Рудольф Серкин в своем поместье в Вермонте. На его похоронах с траурной речью выступил Гари Граффман и сказал: "Две вещи всю жизнь вдохновляли Руди - музыка и доброта. Они сливались воедино, и из этого единения вытекал его уникальный талант". В мае 1993 в возрасте сто лет умирает Мечислав Хорщовский, музыкальная карьера которого длилась 90 лет. Он пришел в Кертис в 1942 году, успел выпустить целую плеяду замечательных пианистов. С несколькими студентами он продолжал работать за месяц до смерти. За роялем он забывал о своих годах и молодел на глазах.

В 1997 году ушел из жизни в 84 года декан фортепьянного факультета Владимир Соколофф, которого все называли "Мистер пьяно" или "Доктор Кертис". После его смерти семейная связь с институтом не оборвалась - продолжала преподавать его жена Элеонора Соколофф. В этом же году умер Яша Бродский - первая скрипка Камерного оркестра института, выступавшего несколько десятилетий в этом коллективе. Здесь он, еще будучи студентом, встретил свою будущую жену Мернам. На

траурном обеде после похорон его многолетний друг Арнольд Стейнгард рассказывал забавные истории об энергичности и неутомимости Яши. Ему не составляло труда провести несколько мастер-классов, после чего успеть сесть в последнюю минуту на пароход, следующий в Нью-Йорк, познакомиться на палубе с Мишей Элмонтом, сыграть несколько партий в шахматы с Сергеем Прокофьевым, случайно оказавшимся здесь же, и успеть на ужин к Сергею Рахманинову!..

В 1989 году отмечалось 112 лет со дня рождения Изабеллы Венгеровой. Она умерла 33 года тому назад. Ее вспоминали два десятка бывших учеников, приехавших в Филадельфию из Лос-Анджелеса, Торонто, Перу, чтобы почтить память о любимом учителе. Среди присутствовавших был её правнучатый племянник, которому она преподавала еще в Санкт-Петербургской консерватории. Это был ученый, писатель, прекрасный рассказчик Николай Слонимский. После торжественной части следовал настоящий "петербургский ужин", который обычно готовила сама Венгерова. В меню входили борщ, каша с грибами, куриные котлеты.

Частым гостем Кертиса бывал знаменитый русский музыкант Давид Зинман. Будучи человеком другого поколения и культуры, он заражал студентов своей энергетикой, превращая любую репетицию в настоящий праздник. Находясь в оркестровой яме, он свистел, пел, отбирал скрипку у концертмейстера, имитируя целый оркестр.

В 1998 году оркестр Кертиса провел большую часть летнего сезона в Швейцарских Альпах, где в рамках Международного фестиваля дал шесть концертов под управлением Юрия Темирганова и Курта Мазура с солистами Максимом Венгеровым и питомцем института Ефимом Бронфманом.

За три четверти века из стен Кертис института вышло более 3,5 тысяч музыкантов, вокалистов, композиторов, дирижеров. И как в первые годы, так и сейчас, он является кузницей кадров для всего музыкального мира.

Когда у Гари Граффмана спросили, как Кертис изменился за годы его президентства, он ответил: "Я надеюсь, что никак!" Отмечая 80-летний юбилей со дня основания администрация института думала о том, как сохранить музыкальные традиции, духовные и человеческие стандарты, заложенные его основательницей Мэри Луизой Кёртис-Бок-Цимбалест, назвавшей когда-то Кертис "Castle building in Spain". Ежегодно из стен института выходит несколько десятков выпускников. Среди них были и есть наши соотечественники, профессионалы высшего класса: Анита Мишукова - скрипачка из Петербурга, пианистка Кристина Ануш-Доркюсо - коренная одесситка, кларнетист из Харькова - Александр Биденко, альтист Антон Живаев. В штат института зачислены аккомпаниаторами выпускники прошлых лет, Анна Полонская и Ида Кавафян, давшие сольный концерт в стенах института (они исполнили произведения Стравинского и Баха). Продолжает учебу в институте 18-летний вундеркинд Роман Рабинович, бывший житель Ташкента, ныне проживающий в Израиле. Хочется надеяться, что еще многие имена наших соотечественников пополнят стены этого уникального учебного заведения.

В современной Филадельфии живет большая группа выходцев из бывшего СССР, выпускников многих учебных музыкальных заведений: музыкантов-исполнителей, певцов, композиторов. Но это уже другая тема для разговора.

## РУССКОЕ ИСКУССТВО В АМЕРИКЕ

В США хранятся великолепные коллекции и образцы русского искусства. Самым значительным считается собрание, которое можно увидеть в поместье Хиллвуд в Вашингтоне. Превосходная коллекция русского искусства также хранится в музее Ратгерс-университета имени Джейн Вурхис Зиммерли в Нью-Брансвике, штат Нью-Джерси. И, наконец, единственную в Америке серию из девяти окон-витражей, созданную Марком Шагалом, можно увидеть в церкви Покантико-Хиллс, штат Нью-Йорк.

За каждым из собраний стоят личности горячих поклонников русского искусства, увлеченных собирателей, посвятивших коллекционированию не одно десятилетие своей жизни.

**Сокровища Хиллвуда.** В музее Хиллвуд в Вашингтоне можно познакомиться с самой богатой коллекцией русского искусства за пределами России. Завещала этот замечательный музей потомкам Марджори Мерривезер Пост, бурная жизнь которой до краев была наполнена событиями.

Марджори родилась в Спрингфилде, штат Иллинойс, в 1887 году, в семье Чарльза Вильяма Поста и Эллы Летиции Мерривезер.

В молодости Чарльз Вильям Пост лечился от нервных срывов и депрессии в мичиганском санатории доктора Келлогга, разработавшего для больных новую диету. Позже идеи доктора воплотились в сухие завтраки «Келлогг» в картонной упаковке. В санатории к Посту пришла идея создания кофезаменителя «Постум», позднее он разработал рецепт сухих хлопьев «Пост Тостис» и «Грейп-Натс», благодаря которым Чарльз Вильям Пост, основавший Postum Cereal Company, в начале XX века стал обладателем одного из самых больших состояний в США.

Пост настоял на том, чтобы его единственная дочь Марджори изучила все тонкости производства продукции компании, от изготовления и упаковки до рекламы и составления планов на будущее, обсуждавшихся на заседаниях дирекции. Отцовская школа помогла 27-летней Марджори, унаследовавшей огромное состояние, крепко взять управление отцовской компанией в свои руки, когда в 1914 году Пост вследствие нервного истощения и депрессии покончил с собой. К тому времени Марджори уже была замужем за Эдвардом Беннеттом Клосом и матерью двух дочерей, Аделаиды и Элеоноры.

Возглавив отцовскую компанию, Марджори стала одной из первых деловых женщин Америки. Дела бизнеса вынудили ее переехать в Нью-Йорк, где она поселилась в роскошном районе Манхэттена. В 1919 году Марджори развелась с первым мужем и в 1920 году вышла замуж за финансиста Эдварда Фрэнсиса Хаттона. Они были идеальной парой – оба молодые, хороши собой, полны энергии и жадного интереса к жизни. Хаттон помог Марджори осуществить ее замыслы, превратив отцовскую компанию в империю готовых к употреблению сухих и замороженных продуктов General Foods Corporation. В 1925 году у Марджори и Хаттона родилась дочь Нединия, которая вошла в историю американского кинематографа как актриса Дина Меррилл.

Несмотря на то, что Марджори вела дела корпорации и воспитывала трех дочерей, она находила время для занятий для души. Вдохновленная общением с семьями магнатов – Вандербильдов, Фриков, Уитни, коллекционировавших произведения искусства, она тоже увлеклась собиранием.

«Коллекционирование искусства может быть одним из самых волнующих увлечений, однако, прежде всего, не-

обходимо выбрать определенный период или область искусства, чтобы подстегнуть страсть к коллекционированию. Как только объект «страсти» избран, значит, семена азарта поиска попали в благотворную почву и коллекционер на правильном пути», - писала Марджори Мерривезер в одном из своих писем.

Сама она в то время сосредоточила свое внимание на декоративно-прикладном искусстве – северском фарфоре и французских золотых шкатулках XVIII века. Марджори ничего не делала наполовину. Чтобы стать настоящим специалистом, она записалась на курсы при Метрополитен музее и обучалась у самого известного торговца предметами искусства того времени сэра Джозефа Дювина. В те же годы Марджори с увлечением обставляла и декорировала свои жилища – квартиру в Нью-Йорке, поместье в Палм-Бич во Флориде, дом в Адирондакских горах и роскошную яхту «Морское облако».

В 1935 году Марджори Пост развелась с Хаттоном, который ей постоянно изменял, и в том же году снова вышла замуж. Ее третьим мужем стал столичный адвокат Джозеф Дэвис. Вскоре он был назначен послом США в СССР. В 1937-38 годах, в разгар сталинских репрессий, Марджори жила с мужем в Москве. Еще одним увлечением Пост стали киносъемки. Сохранились уникальные кадры, снятые Марджори в России на одну из первых в мире цветных кинокамер.

Приехав в Москву, Марджори была навсегда покорена русским искусством. В предисловии к книге, посвященной искусству Фаберже, она писала: «Будучи в России, я получила возможность познакомиться с любовью русских к цвету, проявляющейся во всех видах искусства. Гениальность русских в использовании цвета – духовное свойство, порожденное самой русской землей».

В Москве Марджори начала регулярно посещать комиссионные и антикварные магазины, в которых, по распоряжению советской власти, распродавались конфискованные сокровища царской семьи и других дворянских семей. Картины, иконы, оклады, которые продавались в то время на вес, церковное облачение, вышитое золотой нитью, сваленное в магазинах прямо на полу, фарфор, драгоценные изделия Фаберже (включая одно из пятидесяти знаменитых яиц, изготовленных ювелиром для царской семьи) – все это стало предметом собирательства Марджори. Советские эксперты не считали произведения, выполненные после 1830 года, ценными и потому их продавали за бесценок...

Сделавшись после краткого пребывания в Москве страстным коллекционером русского искусства, Марджори по возвращении в Вашингтон в начале 1940-х годов начала регулярно приобретать русские сокровища в галерее Хаммера, в нью-йоркском магазине «Старая Россия», в Лондоне у ювелира и дилера Вартски, а также у многих дилеров в Париже и на аукционах.

В 1955 году Марджори развелась с Дэвисом. В том же году она приобрела в пригороде Вашингтона имение Арбрмонт, раскинувшееся на 25 акрах земли, которое при ней получило название Хиллвуд.

Хиллвудский особняк был построен в 1926 году архитектором Джоном Дейбертом. Пост пригласила нью-йоркского архитектора Александра Макиллена, перестроившего и расширившего особняк, в котором разместилась богатейшая коллекция западноевропейского и русского искусства, собранная Марджори. Возле дома был разбит парк, включающий французский «партер» и чудесный японский сад, созданный японским мастером садового ландшафта Шого Миядой.

В 1958 году наследница империи готовых продуктов вышла замуж в четвертый и последний раз, присоединив к своему имени еще одну фамилию. Таким образом, ее полное имя было Марджори Мерривезер Пост Клос Хаттон Дэвис Мэй. Брак с питтсбургским бизнесменом Гер-

бертом Мзем распался в 1964 году, после того, как Марджори получила компрометирующие снимки мужа, вступившего в гомосексуальную связь.

Тогда же, в 1958 году Марджори пригласила для работы с ее коллекцией куратора Марвина Росса, выпускника Гарвардского университета. В последние пятнадцать лет жизни Марджори Пост, когда она решила превратить свой хиллвудский дом в музей, Росс составлял каталоги экспонатов и помогал пополнять коллекцию новыми произведениями.

«Когда я начала заниматься коллекционированием, то делала это для собственного удовольствия, - писала Пост, - Но когда коллекция начала разрастаться, я поняла, что мое собрание должно принадлежать государству».

После смерти Марджори Пост, последовавшей в 1973 году, ее замысел стал реальностью – Хиллвуд превратился в музей.

С 1997 по 2000 год поместье Хиллвуд было закрыто на реставрацию. Реставраторы постарались бережно сохранить прежнее убранство имения, так что человек, бывавший там ранее, вряд ли заметит перемены. Однако были проделаны важнейшие работы – установлены новые системы отопления, вентиляции и кондиционирования, улучшено освещение залов, и теперь обновленный музей снова радушно принимает поклонников русского искусства.

**Витражи Шагала.** В живописной долине реки Гудзон, привлеченные красотами природы и небольшим расстоянием до Нью-Йорка, построили свои особняки наследник огромного состояния Фредерик Вандербильт и железнодорожный магнат Джей Гулд, Джеймс Рузвельт, отец будущего президента Франклина Делано Рузвельта, и американский писатель и поэт-романтик Вашингтон Ирвинг.

Среди созвездия имений богатых и знаменитых американцев, выстроенных в долине реки Гудзон, находится имение Кайкит, в котором проживали четыре поколения влиятельной семьи Рокфеллеров. В настоящее время это имение открыто для посещений. Однако, помимо красот Кайкита, туристов привлекает в эти места местная церковь, украшенная удивительными витражами. Один из витражей, окно-роза, был создан Анри Матиссом, остальные – Марком Шагалом.

Джон Рокфеллер, один из богатейших людей своего времени, поселился на берегах Гудзона в начале 1890-х годов. Начиная с той поры, представители семьи Рокфеллеров, когда они проводили время в своем загородном доме, регулярно посещали воскресные службы в Объединенной церкви в Покантико-Хиллс.

Единственный сын Джона Рокфеллера, Джон Рокфеллер-младший, поддерживал движение протестантизма, но считал, что храмы для прихожан различного вероисповедания необходимы для успешного развития общин.

В 1921 году прихожане Объединенной церкви решили, что пришло время построить новое церковное здание. Рокфеллер-младший сделал щедрый благотворительный взнос на строительство церкви и на установку карильона – тип органа, в котором клавиатура соединена не с трубами, а с колоколами. Карильон был установлен в память о его матери, Лоре Спелман Рокфеллер.

Когда ушла из жизни жена Рокфеллера-младшего Эбби Олдрич Рокфеллер (1874-1948), дети решили увековечить память матери.

Эбби вошла в историю искусства, став основательницей знаменитого нью-йоркского музея МоМА (Museum of Modern Art) – музея современного искусства, открывшегося в 1929 году. В отличие от своего мужа, Джона-младшего, не жаловавшего современных художников, Эбби Рокфеллер была поклонницей живописных экспериментов. Одним из ее самых любимых художников был

прославленный французский живописец Анри Матисс (1869-1954), с которым Эбби доводилось встречаться в 1920-е годы в Париже.

Эбби не только коллекционировала работы французского мастера, но и настояла на том, чтобы на первой персональной выставке, которая прошла в МоМА в 1931 году, были представлены работы именно Матисса. По приглашению Эбби Матисс прибыл в Нью-Йорк на открытие выставки и присутствовал на обеде, данном в его честь Джоном Рокфеллером-младшим.

Поэтому, когда Эбби не стало, один из ее сыновей, Нельсон Рокфеллер, предложил установить в Объединенной церкви в память о матери витраж круглой формы, который решено было заказать Анри Матиссу. Одрахлевший, прикованный к постели 84-летний Матисс завершил эскизы витража, а также выбрал цвета и тип стекла за два дня до своей кончины. Круглый витраж «роза» был открыт в мае 1956 года, в день Матери.

В 1960 году не стало Джона Рокфеллера-младшего. На этот раз не Нельсон, а другой сын, Дэвид Рокфеллер, задумал установить в Объединенной церкви витраж в память об отце. «Два витража, установленные напротив друг друга, чтобы увековечить память об отце и матери, словно снова соединят на земле эту пару, прожившую вместе долгую и счастливую жизнь», - писал Дэвид. Однако, одоблив замысел Дэвида, братья и сестра Рокфеллеры долго не могли найти художника, которому они могли бы доверить это важное задание.

В июле 1961 года Дэвид Рокфеллер, который как раз занял пост президента банка «Чейз Манхеттен», вместе с женой Пегги отправился в деловую поездку в Париж. В день накануне отъезда, пока Дэвид принимал участие в деловых переговорах, Пегги отправилась в Лувр, где ей довелось посмотреть выставку, на которой были представлены двенадцать витражей Марка Шагала, сделанные для медицинского центра в Иерусалиме.

Увидев цикл витражей, получивший название «Иерусалимские окна», Пегги Рокфеллер пришла в восторг. Вечером сияющая Пегги встретила мужа словами: «Я нашла художника, который сделает витражи в память о твоем отце! Ты обязательно должен увидеть его работы до того, как мы уедем из Парижа».

На следующее утро, перед отъездом в аэропорт, Дэвид побывал в Лувре и согласился с женой – лучше Марка Шагала им художника не найти. Но необходимо было еще убедить в этом остальных наследников Джона-младшего, которые опасались, что манера Шагала вступит в противоречие с внутренним убранством Объединенной церкви.

К счастью, в 1962 году, перед отправкой в Израиль, по завершении выставки в Лувре, «Иерусалимские окна» экспонировались в том самом музее МоМА, который основала Эбби Олдрич Рокфеллер, что позволило ее детям ознакомиться с ними и согласиться с мнением Дэвида относительно того, что Шагал сумеет сделать прекрасный витраж для церкви в Покантико-Хиллс.

Шагал с радостью откликнулся на просьбу семьи. Рокфеллеры и прихожане Объединенной церкви составили список из десяти библейских тем, и передали его преподобному доктору МакКракену, который выбрал тему «Доброго самаритянина», полагая, что именно эта библейская притча как нельзя лучше воплощает земной путь Джона Рокфеллера-младшего.

В марте 1963 года, после делового заседания, проходившего на Французской Ривьере, Дэвид Рокфеллер отправился в Ванс, где жил Марк Шагал, в тот самый город, где по случайному, но полному символического значения совпадению, провел свои последние дни Матисс, работая над витражом в честь Эбби. После встречи с Дэ-

видом Шагал побывал в Америке, чтобы самому увидеть церковь в Покантико-Хиллс. Большой витраж «Добрый самаритянин» был установлен в церкви в сентябре 1964 года.

Покоренные талантом мастера, Рокфеллеры заказали ему цикл из восьми витражей меньшего размера. Семь из них созданы на темы Ветхого завета, и только восьмой витраж воссоздает сюжет Нового завета. Он называется «Распятие», и был установлен в память о Майкле Рокфеллере, сыне Нельсона. В 1961 году Майкл погиб во время антропологической экспедиции в Новой Гвинее.

Цикл витражей в скромной церкви Покантико-Хиллс, затерянной в тихой провинции в стороне от больших городов, стал единственным циклом витражей Марка Шагала, которые можно увидеть в Америке.

Только в 1980-е годы, уже после смерти Шагала, Дэвид Рокфеллер узнал, что создание витражей было для прославленного мастера чем-то большим, нежели просто очередная работа на заказ. В начале 1940-х годов действовал комитет Спасения, члены которого спасали от преследований нацистского режима европейских интеллектуалов и художников. Комитет финансировался из средств Рокфеллеровского фонда. Одним из последних художников, которым с помощью комитета Спасения удалось бежать из Франции в США, был Марк Шагал.

Три коллекции музея Зиммерли. Писатель Джон Макфи родился в Принстоне в 1931 году и с тех пор почти всю жизнь прожил этом городе. Получив образование в Принстонском и Кембриджском университетах, Макфи начал писать для журнала «Таймс», а в 1964 году получил приглашение стать постоянным сотрудником журнала «Нью-Йоркер». С тех пор почти каждый год Макфи издает научно-популярные книги, многие из которых посвящены геологическим особенностям различных регионов Америки. До настоящего времени Макфи издал 26 книг, причем в 1999 году его труд *Annals of the Former World* – «Анналы бывшего мира» был награжден Пулитцеровской премией.

Когда в январе 1993 года Джон Макфи садился в пригородный поезд «Амтрак», он и не подозревал, что два часа спустя, сойдя на нужной ему станции, он уже будет знать, чему посвятит свою следующую книгу.

Судьба устроила так, что в купе поезда рядом с писателем сел профессор экономики Нортон Додж. Представившись, взъерошенный профессор обрушил на писателя страстный двухчасовой монолог, в котором поведал о своей уникальной коллекции. «Казалось, в его монологе было сорок тысяч слов», – вспоминает Макфи. Покоренный увлеченностью собеседника, писатель решил посвятить свою следующую книгу не геологии, а искусству.

Нортон Додж родился в Оклахоме в 1927 году. В 1956 году молодой докторант работал над диссертацией о роли женщин в экономике Советского Союза, поэтому решение побывать в этой стране, начинавшей после смерти Сталина под влиянием «оттепели» пробуждаться к новой жизни, пришло само собой.

Как когда-то Марджори Мерривезер Пост, жена американского посла в СССР, проживавшая в Москве в 1937-38-х годах, увлеклась коллекционированием русского искусства, так и Доджа захватила страсть к коллекционированию. Однако если супругу посла интересовало русское изобразительное и декоративное искусство царской России, Додж начал скупать работы художников андерграунда, не желавших работать в рамках официального направления – социалистического реализма.

Увлечение постепенно переросло во вторую профессию. Американский профессор экономики приезжал в Советский Союз неоднократно, и каждый раз увозил с собой новые работы непризнанных художников. В отли-

чие от Арманда Хаммера, Нортон Додж отнюдь не был миллионером, однако затраты на приобретение картин непризнанных художников были тогда невелики. Сперва Додж покупал только работы художников из Москвы и Ленинграда, затем он и его помощники стали посещать другие города России и советские республики – Украину, Прибалтику и Закавказье.

Увлеченность и последовательность позволили Доджу собрать лучшую в мире коллекцию работ советских художников-нонконформистов, включающую более 17 000 произведений и около 900 имен «антисоветского» искусства во всей его полноте и разнообразии, в которой представлены работы таких известных сегодня художников как Анатолий Зверев, Михаил Шемякин, Илья Кабаков, Олег Целков, Татьяна Назаренко, Гриша Брускин, Эрик Булатов, Тимур Новиков, Владимир Шагин, Виталий Комар и Александр Меламид, и других. Хронологические рамки коллекции – период между Сталиным и Горбачевым, тридцать лет с 1956 года по 1986 год. В собрание Доджа вошли живописные полотна и графика, скульптуры, фотографии, эскизы, макеты и рукописные материалы.

Типичный профессор, какими принято изображать профессоров в романах и кино, скромный и непрacticный, и, по словам жены Нэнси, настолько безобидный, что «не смог бы выбраться даже из бумажного пакета», Нортон Додж каким-то непостижимым образом прокладывал себе путь по неприветливым улицам советских городов к подвалам и чердакам, тайно встречался с неофициальными художниками, подвергавшимся гонениям, арестам и принудительному лечению в психушках, а также с подпольными советскими «арт-дилерами» и нелегально вывозил «запрещенное искусство» в США.

История Нортон Доджа и его знакомых русских художников, рассказанная Джоном Макфи в книге *The Ransom of Russian Art* – «Выкуп русского искусства», получилась захватывающей, почти детективной, и, в то же время, книга стала правдивым свидетельством эпохи холодной войны и медленного умирания «империи зла».

Несколько лет назад Нэнси и Нортон Додж передали свою коллекцию русского искусства в дар музею нью-джерсийского Ратгерс-университета. Музей был открыт при университете в 1956 году. В 1983 году музей был значительно расширен и получил имя Джейн Вурхис Зиммерли.

Коллекция Нортон Доджа и Нэнси Додж – самое крупное собрание советского неофициального искусства, причем не только в США – во всем мире, включая Россию, нет более обширного архива русского искусства второй половины XX века. Как считает доктор искусствоведения Алла Розенфельд, которая руководит русским отделом Зиммерли-музея, есть две черты, которые отличают это собрание: во-первых, оно представляет лучшие работы выдающихся русских художников-нонконформистов 1960-1980-х годов, во-вторых, в коллекции представлены все художественные направления того времени «левее» соцреализма.

В 1999 году музей Зиммерли закрылся на реконструкцию, длившуюся в течение года. После того, как музей был расширен, он оказался на третьем месте среди самых крупных университетских музеев США, после музеев Гарвардского и Йельского университетов. Общее собрание музея Зиммерли насчитывает 60 000 работ.

Коллекция Нортон Доджа и Нэнси Додж стала синонимом музея Зиммерли. Однако в русском отделе этого музея хранится не только собрание Доджей. В 1994 году музей получил в дар коллекцию русского искусства, собранную Джорджем Рябовым. Рябов, сын русских эмигрантов Эммы и Василия Рябовых, в свое время закончил Рат-

герс-университет. Его коллекция насчитывает свыше 1100 работ и оценивается в 18.5 миллионов долларов.

Если Доджи собирали работы художников-нонконформистов, то в собрании Рябова представлены произведения русского искусства, созданные в период с XIV до XX века, включая иконы, старинные лубки, пейзажную живопись, эскизы театральных костюмов и декораций, в том числе, созданные Александром Бенуа и Сергеем Судейкиным, а также образцы театральных костюмов.

В 2005 году музей Зиммерли получил в дар еще одну коллекцию русского искусства. Ее передали музею супруги Клод и Нина Грюен, совладельцы фирмы «Грюен Грюен», предоставляющей консультации по вопросам урбанистической экономики и маркетингу. Как и собрание Доджей, коллекция Грюенов включает работы российских художников - противников соцреализма, таких как Илья Кабаков, Владимир Немухин, Эдуард Штейнберг, Владимир Яковлев, Андрей Хлобустин и других.

Благодаря соединению трех коллекций, музей Зиммерли располагает прекрасным собранием русского искусства, от древних православных икон до работ известных современных российских художников.

## ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

### ТАМ БЫЛА СЦЕНА, ЗДЕСЬ – ЗРИТЕЛЬ

Творческий портрет композитора и пианистки Татьяны Меликовой. В семье Татьяны Меликовой с детства царил атмосфера искусства, в доме всегда ценили и любили музыку, пение, литературу, устраивали любительские концерты. Мама, сама обладающая изумительным сопрано, поощряла увлечение дочери музыкой, как и тетя, Анна Григорьевна Грудницкая, знаменитый в городе хормейстер. Семья жила в Баку, известном давними традициями классической и народной музыки.

Серьезное обучение ребенка музыке началось после забавного случая. Девочка, прозанимавшаяся пять-шесть уроков только для общего образования, сказала вдруг: «Машина на улице гудит си-бемолем». Опытнейший преподаватель Любовь Марковна Кругляк определила редкий абсолютный слух. Но, когда Татьяну приняли в музыкальную одиннадцатилетку при Бакинской консерватории, она оказалась в классе виолончели. Ее так в шутку и называли: «Маленькая Таточка с большой виолончелью». Через некоторое время тяга к фортепиано пересилила.

Ее преподавателями были ведущие специалисты в этой области: Этери Банашкевич-Мамедова, Регина Сирович, Лидия Егорова (две последние - авторы знаменитого «Пособия для начального обучения игре на фортепиано») и другие педагоги. Уже в восьмом классе начались концерты, серьезные сольные программы, и вещи, которые разучила тогда, она играет до сих пор: «Жаворонок» Глинки-Балакирева, Рапсодию № 11 Листа, «Мелодию» Глюка из оперы «Орфей» и многие другие произведения. Но особенно запомнилось: за год до выпуска приехала профессор Московской консерватории Т. Н. Кравченко и дала для выпускников мастер-класс с Татьяной, показав Сонату № 3 Прокофьева. Эта соната, в числе других сложнейших произведений, входила в программу, с которой Татьяна поступила через год в Бакинскую Государственную консерваторию.

Характер у Татьяны живой и общительный; учебу в консерватории она вспоминает как самые плодотворные годы - появилось новое творческое общение, друзья. Особенно ей было интересно проводить время со студентами вечернего и заочного отделений, у которых был уже жизненный опыт, активная концертная и педагогическая

деятельность. На третьем курсе она сама стала преподавать в музыкальной школе-одиннадцатилетке, где некоторые ученики были всего лет на десять моложе ее. Во время учебы Татьяна участвовала в нескольких Закавказских конкурсах музыкантов-исполнителей.

После окончания Бакинской консерватории по классу фортепиано, Татьяна много лет работала в Азербайджанском концертном объединении. Проходили гастролы по многим городам и весям. Было приятно находить свое имя на афишах, расклеенных на улицах. У отца Татьяны сохранилась целая пачка афиш, которые он коллекционировал всю жизнь.

Постепенно в Баку, городе детства, наступили новые времена: пришла «перестройка». Для творческих работников также повеяло ветрами свободы. Но события пошли непредсказуемым образом. Некогда многонациональный город раскололся на два враждебных лагеря: азербайджанцев и армян. Было до ужаса больно смотреть на озверевшие толпы людей, расправы. Страх бродил по улицам. Некогда гордившийся своим интернационализмом и высокой культурой город впал в хаос. Семья Татьяны особенно остро пережила армянские погромы: ведь в их семье были еврейско-польско-азербайджанские (и кто знает какие еще?) корни. Вражды здесь не бывало - это точно. Но у ее дочери - армянская фамилия. Пришлось срочно принимать решение об эмиграции, ибо в такой атмосфере жить было просто невозможно. Стали беженцами.

По приезде в США, уже будучи в эмиграции, Татьяна поняла, что многие новички в здешней среде теряются, что трудности адаптации приводят к потере уверенности в себе, и что это надо преодолеть. Ведь раньше она выступала в качестве только классического музыканта, и слушателями были знатоки - коллеги-музыканты, студенты музыкальных училищ, консерватории. Здесь же надо было играть для публики в широком значении и понимании этого слова. В Америке она начала играть всё - и попури, и легкую музыку. И Татьяна поняла главное - да, там была сцена, которую обеспечивали тебе и консерватория и филармония, а здесь - благодарные слушатели, зрители, новая публика. Она начала глубоко понимать разницу между концертами на родине и в Филадельфии. Там она играла то, что было подготовлено вместе с профессорами консерватории, здесь - то, что она подготовила сама для своей благодарной публики. Татьяна формулирует это так: «В Баку я любила саму сцену, а в Америке - публику». Часто она играет то, что людям хочется слышать, и делает это с удовольствием. Татьяна исполняет не только классический репертуар, но и легкие джазовые и песенные мелодии, романсы, попури.

Композитор Татьяна Меликова стала членом культурно-литературного общества «Побережье», где собираются поэты и писатели, журналисты, танцоры, вокалисты, музыканты, ученые, дипломаты, профессора университетов. Вот тут-то игодились композиторские данные, умение сочинять музыку. У новых друзей - филадельфийских поэтов были замечательные стихи - и стали рождаться романсы.

Она выступает на творческих встречах «Побережья» с произведениями Баха, Листа, Рахманинова, Шопена и других композиторов. Татьяна сама стала сочинять музыку к поэтическо-театральным постановкам, писать романсы, работать с певцами и актерами. Написать романс для своих друзей оказалось колоссальным творческим удовольствием. Ведь в консерватории она этого «не проходила». Так появилась музыка к спектаклям: «Дом Волошина», «Парижская нота», «Поэзия о любви» и другие постановки. Она чувствует драматизм произведения, характер, историческое время, литературный слой и многое

другое, что необходимо для такой сложной работы. Труд этот подчас «подневольный»: ведь к спектаклю необходимо писать шесть-семь песен, плюс связки между отрывками. Всё это - в сжатые сроки.

Татьяна дает сольные концерты, аккомпанирует видным певцам Филадельфии - премьеры романсов состоялись в исполнении Лилии Казанской и Елены Зарх. В ее репертуаре - произведения на слова поэтов Софьи Парнок, Игоря Северянина, Марины Цветаевой, Тэффи, Виталия Рахмана, Инны Богачинской и многих других. Романсы были также исполнены по русскому радио. И чувствуется, что она не просто пишет музыку, а понимает авторский стиль, поэтические особенности, как говорят, внутреннюю музыку стиха. Татьяна удостоилась хвалебной рецензии в престижном американском музыкальном журнале.

У Татьяны Меликовой множество интересов. Например, она работает с хором «Фаргениги». Она вспоминает, как организатор этого коллектива сказал: «Может быть, когда-нибудь вы будете зарабатывать деньги своими выступлениями...». Она тогда засмеялась и подумала: «Кремлевский мечтатель». Но он оказался прав. Сегодня у хора есть своя аппаратура, костюмы, солисты, и самое главное - имя коллектива. Татьяна - концертмейстер хора и гордится своим участием в его работе. Она сотрудничает с дирижером, помогает расписывать голоса, делает аранжировки, аккомпанирует на концертах. Хор выступает в санаториях для пожилых людей, в религиозных учреждениях, на фестивалях песни.

Татьяна Меликова зачастую руководит всей музыкальной частью литературных вечеров и встреч общества «Побережье». Когда приезжают известные литераторы, она перемежает литературную программу классической музыкой. Можно вспомнить выступления бывшего главного редактора журнала «Новый журнал» Вадима Крейда, ныне покойного литературоведа Эдуарда Штейна, профессора Анатолия Либермана, писательницы Татьяны Успенской, выступления на весенних концертах «Побережья», встречу в Баварском клубе и многое другое.

Несколько лет тому назад состоялся самый главный концерт ее жизни. В этом творческом отчете она предстала перед публикой во всех своих ипостасях - как солистка, аккомпаниатор, композитор, пианист для балета (в ее биографии - несколько лет работы музыкальным директором в известной балетной школе Михаила Корогодского). Все друзья, музыканты и не музыканты, приняли участие в этом увлекательном действе - рассказывали про работу с ней и просто забавные и интересные случаи, дарили ей свое искусство - стихи, пение, танцы.

Хочется отметить и другие таланты Татьяны Меликовой. Она является корректором-редактором журнала «Побережье». Это очень сложная и интересная работа. Татьяна работает с текстами известных авторов. Когда мы, писатели, познакомились с Татьяной в обществе «Побережье», то не предполагали, что она обладает не только абсолютным музыкальным слухом, но и, как говорится, «слухом литературным», то есть особым искусством «вылавливать» ошибки и править стиль. Делает она это на добровольных началах, как и многие другие добрые дела. Ведь кроме журнала, на ее счету много изданных книг, где она числится корректором. Например, она работала над сборником филадельфийских поэтов - «4», в котором изданы стихи Евгении Гейхман, Георгия Садхина, Валерия Судаккина, Эрика Фридмана.

Кроме всего Татьяна всегда доброжелательна к людям, умеет найти тонкий подход к совершенно разным творческим сложным натурам (это особенно важно в мире искусства), умеет кооперироваться с писателями, музыкантами, певцами, всегда и во всем вдохновляться, ра-

доваться успеху друзей и, главное, - совсем уже редкое качество - всегда готова прийти на помощь на волонтерских началах. Она добрый и сердечный друг в нашем кругу «Побережья» и, как кто-то пошутил «Заслуженная артистка Норд-Иста» (район Филадельфии, где живут эмигранты).

«Иногда бывает так приятно, - рассказывает Татьяна, - незнакомые люди подходят на улице - мы вас узнали, мы вас слушали».

Впрочем, вот как о ней отзываются уважаемые коллеги:

Певец Борис Казанский: «Удивительно профессиональный музыкант, преданный своему делу и любящий людей».

Пианист Марк Соболев: «Татьяна замечательный педагог. Умея преподавать сам, я бы доверил ей учить мою дочь. Этим всё сказано».

Певца Елена Зарх: «Она быстро подключается к концерту, бегло читает с листа, выучивает новое произведение и на ходу переводит это в нужную тональность - ее знак качества».

## ЕВГЕНИЯ ГЕЙХМАН

### ВСПОМИНАЯ РУФЬ ЗЕРНОВУ

В воскресенье 24 апреля 2005 года в поэтическом клубе Бовери на Манхэттене состоялся вечер памяти Руфи Зерновой, прекрасно организованный и проведенный ее сыном Марком Серманом.

Руфь Зернова, или Зевина (Зернова - ее литературный псевдоним) родилась в Одессе в 1919 году, а умерла в 2004 в Иерусалиме.

Писательница родилась в обеспеченной (до революции обеспеченной, разумеется) и интеллигентной семье, в доме которой было принято, чтобы в гостиной стоял рояль, дети учились музыке и иностранным языкам. Необыкновенная музыкальность Руфи Александровны сыграла позже немалую роль в ее жизни.

Она была автором многих маленьких рассказов и нескольких повестей, написанных в том жанре, который потом сделал знаменитыми ее коллег по цеху: И. Грекову, В. Токареву и других - в жанре женской прозы, повествующей о судьбах обыкновенных, «маленьких» женщин. В этом же смысле, о Гоголе говорят как об авторе, впервые представившем публике «маленького человека». Достаточно перечитать такие произведения писательницы: «Немые звонки», «Свет и тень», «Солнечная сторона», чтобы понять, о каком направлении в литературе идет речь.

Кроме собственного творчества, Руфь Зернова занималась переводами с испанского и французского, а в последние годы - и с иврита; в ее переводе на русский была издана автобиография Голды Меир.

Писательская карьера Руфи Зерновой началась в шестидесятые годы прошлого века с публикации ее рассказа «Скорпионовы ягоды» в некогда знаменитом журнале «Огонек». Только хрущевская «оттепель» сделала это возможным. А первая публикация состоялась тогда, когда собственная биография писательницы уже обогатилась жизненным опытом.

За плечами автора была гражданская война в Испании, куда она попала студенткой второго курса факультета романо-германской филологии Ленинградского университета, после ускоренного курса испанского языка в качестве переводчицы советских военных советников.

События этого периода жизни писательницы отразились в рассказах «Бакалао», «Бронзовый бык» и других произведениях ее «испанского цикла».

Возвращалась домой она через Париж, и ее наблюдательные подруги даже сейчас, через 60 с лишним лет,



помнят ее обновленный в мировой столице моды облик. Как хорошо, что женщина всегда остается женщиной!

Затем была Великая Отечественная война, когда писательница работала корреспондентом и переводчицей в ТАСС; потом, в эвакуации в Ташкенте, состоялось замужество и рождение дочери, а по возвращении в Ленинград - и сына. А позже - ГУЛАГ и досрочное освобождение, после смерти Сталина (а приговор был - 15 лет!).

Арестовали Руфь Зернову и ее мужа, известного литературоведа профессора Илью Захаровича Сермана, обвиненных в антисоветской агитации и пропаганде, в 1949 году, и они были приговорены к 15 и 25 годам лагерей соответственно. На вечере прозвучали шепчущие воспоминания об их случайной встрече после ареста в Ленинградском Большом Доме (здании НКВД), когда смягчившиеся конвоиры неожиданно позволили супругам обнять и поцеловать друг друга, как оба думали тогда, - в последний раз.

В воспоминаниях, прочитанных на вечере, говорилось и о необыкновенном оптимизме Руфи Александровны - она искренне верила, что весь срок ей отсидеть не придется, так как Сталин - тоже смертен, что должно произойти изменение политического режима в стране.

А пока родители сидели в лагерях, их маленькие дети, поделенные между родственниками с обеих сторон, жили в разных городах. Мысли об их трудной судьбе, вместе с рассказами о детях других заключенных женщин, легли впоследствии в основу необыкновенно трогательных рассказов Руфи Александровны о детях, например таких, как «Длинное-длинное лето». «Лагерный» цикл ее рассказов складывается из многих наполненных собственным горьким опытом произведений - таких как «Кузькина мать», «Элизабет Арден», «Тонечка».

Музыкальность Руфи Александровны, ее необыкновенный жизненный путь и опыт сделали ее непревзойденной исполнительницей зевковских песен. На вечере прозвучала запись песни: «Будь проклята ты, Колыма». Программа о лагерных песнях, подготовленная Руфью Зерновой, передавалась радиостанцией БиБиСи.

В середине семидесятых годов прошлого века семья Руфи Зерновой эмигрировала в Израиль. За годы эмиграции у писательницы вышло несколько книг на русском языке и сборник рассказов на английском, она печаталась в периодических изданиях в Израиле, Франции, США.

Женская задача хранить и передавать воспоминания от поколения к поколению, обозначенная в свое время знаменитым литературоведом Борисом Эйхенбаумом, была выполнена Руфью Зерновой сполна. Она могла бы сказать о себе и словами другого знаменитого автора: «Я научила женщин говорить».

Литературный процесс, как и водный поток, не обязательно выносит на поверхность самые достойные внимания имена, слагаясь из многих составляющих, без которых он не возможен как явление.

Одним из таких неотъемлемых составляющих явилось и творчество Руфи Зерновой.

## ВАДИМ СМОЛЕНСКИЙ

### QUO VADIS?\*

#### О музыке XXI века

*Посвящается Давиду Финко*

Триумфальные столетия создали иллюзию вечного торжества музыки. Ещё полвека назад музыкальный небосклон не предвещал грозы. Но когда вчерашние бунтари, успевшие стать прижизненными классиками, упокои-

лись в Пантеоне, восприимчивых не оказалось. Меломанам было предложено несъедобное меню авангарда.

На протяжении столетий основой музыки были мелодия, гармония и ритм. Деятнадцатый век посягнул на незбылемые устои. Благозвучие рвалось к диссонансу, ритм тяготел к аритмии, симметрия жаждала асимметрии. Отклонение от нормы становилось нормой. Хроматизм Вагнера разьедал мелодию, гармония томила, как перезрелый плод. Музыкальная Европа внимала диктатору, и только Клод Дебюсси записывал в дневнике: «То, что все принимают за рассвет, на самом деле - роскошный закат».

Обманчивая внешность баловня салонов скрывала беспредельную дерзость гения. На вопрос профессора, каким гармониям он следует, Дебюсси отвечал: «Тем, которые доставляют мне удовольствие». Дебюсси свернул с заезженной колеи тональности. Революция, впрочем, оказалась бескровной. Истинный француз не погрешил против меры и вкуса. Чувственная мечтательность, дремотное расслабление убаюкивали. Дебюсси ослабил старые связи, но не порвал с ними.

Арнольд Шёнберг завершил фронду Дебюсси конфронтацией. Он чувствовал, музыка становится добычей эпигонов. Выход не в усложнении гармонии и мелодии, а в отказе от них. Триста лет мажора-минора всего лишь укоренившаяся привычка.

Однако, лишенная мелодического развития, атональная музыка кружила на месте. Непривычные звучания обжигали, как кипятки. Без гармонического корсета бесвязные фрагменты рассыпались, словно фигурки из песка. Практика разметала теорию. Шёнберг замолчал.

После десяти лет уединения он прервал молчание, чтобы поведать миру о серии из двенадцати нот, которой надлежало заменить мелодию. Извечная приверженность к ней создала неистребимую привычку слышать мелодию даже там, где её нет. Повторение любой ноты или октава уже вызывали её призрак. Так появилось правило додекафонии: каждая из двенадцати нот серии может прозвучать единожды, пока не прозвучат остальные.

Приоткрывая завесу будущего, Шёнберг негаданно перенёсся на двести лет назад. Серия стала наследницей неисчерпаемости фуги. Её возможности казались беспредельными. Но сериализм не поднялся выше музыкальной схоластики. Он не был востребован обществом, и племя музыкантов покинуло бесплодную ниву. Авангард отступил к арьергарду. Атональность пошла на компромисс с тональностью.

Материнская почва тональности вернула атональной музыке, как Антею, эмоциональную силу. Новая «пантональная» музыка прорвала блокаду отчуждения. Подобно Дмитрию Шостаковичу, чьи симфонии воссоздали дух эпохи, Альфред Шнитке провел слушателя по адским кругам своей души и своего времени.

Здесь впору замедлить бег, но музыка не признаёт остановок. Достигнув предельной усложнённости, она повернула вспять. Началось разложение формы.

В ростке нового заключена неизбежность развития и гибели. К бесконечным кризисам музыки научились относиться спокойно. Каждый разрешался во благовремье, уступая место следующему. Родовые муки шестнадцатого века дали миру оперу. Романтизм взорвал чопорную сдержанность классицизма и обрёл свободу чувств. Но кризис двадцатого века походил на тупик.

Пессимисты оплакивали вырождение мелодии, ставшей жертвой дьявольского соблазна вечного поиска. Они не верили в преемственность. Их мысленный взор подавляла гибель античности вместе с её культурой. Кризис музыки означал для них конец цивилизации. Человечес-

ву оставалось исчезнуть, чтоб, возродясь когда-нибудь, сотворить искусство и музыку сызнова.

Оптимисты уповали на диалектику. Музыка не раз предрекали гибель. Так было в четырнадцатом веке, когда новые ритмы пробивали путь к *Ars Nova*, и в семнадцатом, когда изощрённая полифония вступила в спор с бесхитростной монодией. Оптимисты наслаждались ностальгическим очарованием музыки прошлого, но были убеждены, что каждая эпоха должна найти свою музыкальную идею. Новый виток в развитии музыки они связали с постмодерном, восставшим против мелодии и мелодического мышления.

Поэт сравнил мелодию с любовной страстью:

*«Из наслаждений жизни / Одной любви музыка уступает. / Но и любовь мелодия».*

Божественная мелодия быстротечна, как любовь. Чтоб продлить себя, она облачилась в сонатную форму и превратилась в музыкальный роман. Но, как и классический роман изжила себя.

Полноводное течение начинается у истоков. В поисках истоков Стравинский вернулся к классицизму. Шёнберг отступил ещё дальше. Постмодернисты отважились на поиск начала.

Стравинский и Шёнберг не порывали с целостностью музыкальной идеи и звука. Постмодернисты сожгли мосты, за которыми оставили мелодию и гармонию, ритм и форму. Углубились в звук, его колорит, насыщенность.

Они считают, музыка движется к созданию новой эстетики. Можно найти законы, по которым она создаётся. Необходимо вернуть её к первозданным, не осложнённым полифонией и гармонией звучаниям. Они уединились в лабораториях. Сосредоточились на микрополифонии, тембрах, шумах и ритмах. Записывали звуковые диаграммы и преобразовывали их в нотную запись. Синтезаторы, гармонизаторы, компьютеры заменили музыкальные инструменты.

Когда-то Герман Гессе поведал об игре в бисер, процветавшей в утопической республике Касталия. Игра зародилось как соревнование музыкантов-импровизаторов. Анализ музыкальных значений привёл к тому, что музыкальные процессы стали выражаться физико-математическими формулами. Импровизация могла основываться на какой-нибудь астрономической идее, или теме Баха, или исходить из какого-нибудь положения Лейбница.

Энтузиасты новых звучаний, подобно игрокам в бисер, в поисках внемusicalных идей обратились к теории конечных групп, к булевой алгебре. Они считают, что математика отражает реальный мир и может быть связана с реальностью уха и разума. Они открыли, что модуляции тембра могут восприниматься как изменение высоты. Забрехала идея нового музыкального языка. Но человеческому уху не хватает изощрённости познать его. Не потому ли, что в течение тысяч лет оно больше внимало высоте, чем тембру?

Новое отталкивается от известного. Язык искусства и музыки - врождённый дар. Его нельзя изобрести и невозможно исчерпать. Исчерпаться может потребность в самовыражении.

Музыка барокко вдохновлялась верой, классицизм - разумом, романтизм - чувством. Новейшая музыка не нашла источника вдохновения. Она полна смятения. Кризис музыки совпал с кризисом культуры не случайно. Творцам хватает мастерства. Им не достаёт вдохновенных идей.

Quo vadis? Этот вопрос - не к искусству музыки, но к человеку и эпохе.

Филадельфия

\* quo vadis? - куда идёшь? (лат.)

## ЧЕЛОВЕК, ЭТО ЗВУЧИТ ГОРЬКО...

*... Хочу, чтоб каждый из людей был Человеком.*

М. Горький, «Человек»

*Человек - вот правда! Что такое человек?... Это не ты, не я, не они... нет! - это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! ... Это - огромно!.. Чело-век! Это - великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!.. Хорошо это... чувствовать себя человеком!..»*

М. Горький, пьеса «На дне»

Не стоит лишний раз подчеркивать общеизвестное, что при всех научно-технических и социальных достижениях Человека, многие жестокие страницы его истории, в том числе, связанные с глобальными и локальными войнами, межнациональными, межрелигиозными конфликтами чести ему не прибавляют. Но нельзя не отметить, что предыдущие конфликты все же определялись законами войн, где прежде всего были четко очерчены линии фронта, разделявшие враждующие стороны. И важнейшим показателем устремленности к развитию цивилизованных форм регулирования международных отношений стали соглашения, договоры, декларации, в том числе и посвященные военным конфликтам и войнам. Среди них, конечно же Вестфальский договор 1648 г, который принято считать отправной точкой цивилизованного регулирования международных конфликтов, попыткой поворота к поиску мирных решений. Известные Женевская Конвенция 1864 года, Гаагские конвенции, начало которым было положено в 1899, содержали многосторонние международно-правовые соглашения, определяющие основные законы и обычаи, как объявление и ведение войн. В Конференции 1899 г. участвовали 27 государств. На ней были приняты три Конвенции: о мирном решении международных столкновений; о законах и обычаях сухопутной войны; о применении к морской войне начал Женевской Конвенции 1864 г., о раненых и больных. Были приняты также три декларации, ограничивающие средства ведения военных действий.

Современный терроризм навязывает беспрецедентные, неведомые ранее условия противостояния, когда точка исходящей от него опасности, непредсказуема. Так же непредсказуема и география места действия: в разгар веселья, радости на вечеринке, или просто дома, или на свадьбе друзей, на дискотеке, в театре, на работе, в магазине, в автобусе или на машине по дороге к повседневной мирной работе. Везде нас может застигнуть угроза: бомба или взрывное устройство, упавшая не с военного злобного неба, а взорвавшаяся вместе с оказавшейся рядом с виду мирным мужчиной, юнцом, симпатичной женщиной... И еще страшнее - это женщиной-матерью, добровольно принявшей на себя миссию - принести людям смерть. Террориста не волнует те, на кого он посягает. И самое ужасное, что на это идет женщина, созданная для того, чтоб производить на свет человеческую жизнь.

И не могу я вновь не вернуться к моему любимому классику Максиму Горькому, который в одной из новел «Сказки об Италии», представляет трагедию матери, сын которой стал террористом.

«... Мать - творит, она - охраняет, и говорить при ней о разрушении - значит говорить против неё, - утверждает писатель. - Мать - всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям...».

Приведенный ниже фрагмент названной новеллы рисуют всю глубину пропасти между матерью, призванной природой охранять жизнь и ее сыном, жизнь разрушающим.

*«Вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, - в шёлке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё - так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне - богатым, знаменитым и любимым.*

*- Мать! - говорил он, целуя её руки. - Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!*

*- В котором ты родился, - напомнила она.*

*Опылённый подвигами своими, обезумевший в жажде ещё большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:*

*- Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его унижением! Я щадил этот город для тебя - он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь - завтра - я разрушу гнездо упрямцев!*

*- Где каждый камень знает и помнит тебя ребёнком, - сказала она.*

*- Камни - немые, если человек не заставит их говорить, - пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!*

*- Но - люди? - спросила она.*

*- О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!*

*Она сказала:*

*- Герой - это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...*

*- Нет! - возразил он. - Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри - мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но - точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город...*

*- Который пережил все имена, - напомнила мать.*

*Её сын не видел этого, ослеплённый холодным блеском славы, убивающим сердце...*

*- Ты красив, но бесплоден, как молния, - сказала она, вздохнув.*

*Он ответил, улыбаясь:*

*- Да, как молния...*

*И задремал на груди матери, как ребёнок.*

*Тогда она, накрыв его своим чёрным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер - ведь она хорошо знала, где бьётся сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумлённой стражи, она сказала в сторону города:*

*- Человек - я сделала для родины всё, что могла; Мать - я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.*

*И тот же нож, ещё тёплый от крови его - её крови, - она твёрдой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, - если оно болит, в него легко попасть».*

(М. Горький, «Сказки об Италии»)

Признаюсь, что когда-то в школьные годы я знала это произведение наизусть и читала его на школьных литературных вечерах. И всегда последние слова вызывали у меня слезы, потому, что не могла смириться с таким исходом, когда мать убивает своего сына. Но эта мать, принимает грех жестокости сына на себя и потому, убив его для того, чтоб спасти людей, она убивает и себя, потому что разделяет вину сыну за зло, которое он вершит.

Интервью матерей, посылающих своих детей на гибель с «поясами смерти», во время террористических актов в наше время, демонстрировали самое страшное, что может быть в человеке: они испытывают счастье, что отдали сознательно жизни своих детей в услужение «Алла-

ху». Это говорили матери о своих детях, которым дали жизнь.

И хочется воскликнуть: Человек, это звучит горько! Человек - каждая больная частичка тебя, Человек, таит опасность разрушения целого. Общеизвестно, что болезнь проще предотвращать, чем лечить. Но уж если она возникла, запускать ее чревато непредсказуемым исходом.

Всему животному миру свойственны два основополагающих инстинкта - инстинкт самосохранения жизни и инстинкт сохранения потомства (материнства). Сегодняшний терроризм отрицает и уродует законы природы.

Человечество столкнулось с беспрецедентной по цинизму и жестокости угрозой и предпринимает меры противостояния ему. Важнейшие среди них - это развитие в цивилизованных странах законодательства, направленное на защиту жизни и здоровья детей в семье, которое призвано лимитировать произвол родителей, если они считают, что свободны в обращении с детьми, которым дали жизнь.

Замечу, мой творческий путь сложился таким образом, что как юрист и философ, я оказалась вовлеченной в сферы гуманитарных знаний: юриспруденции, социологии и философии медицины. Каждая из них, естественно, имеет свой аспект исследования человека. Но главный объект, который неотвратимо пересекает эти науки и соприкасается их исследования - это понятие «Свобода!»

Что есть Свобода - это один из основополагающих вопросов философии ибо ответ на него определяет взаимодействия сознания с бытием, независимо от того, что из них мы считаем первичным, а что вторичным.

Что есть свобода - один из основополагающих вопросов нравственно-правовой, общественной жизни людей (общества, государства). И тем из них, кто свободу подменяет вседозволенностью, грозит несвобода, определяемая нравственными и юридическими законами.

Что есть свобода - один из важнейших вопросов сохранения здоровья Человека, поскольку его болезни часто являются результатом подмены понятия свободы вседозволенностью в индивидуальном образе жизни, нарушающем психобиологические законы нормы жизнедеятельности и гармонию взаимодействия человека с окружающей природной средой.

И если мы оглянемся вокруг, в нашей сегодняшней жизни на всех уровнях - от самых масштабных внешнеполитических отношений между государствами, между разными социальными группами внутри государства, на уровне семьи и образа жизни отдельного о человека, - мы обнаружим, что все проблемы упираются в отсутствие четкого понимания, что есть свобода. Отсюда, непонимание, что есть демократия, краеугольным камнем которой и является понятие Свободы.

Уинстону Черчиллю принадлежат широко известные слова (привожу по памяти, не дословно): «Демократия имеет массу недостатков, но ничего лучшего человечество не придумало». И это, безусловно верно. Но первая часть фразы могла бы звучать более позитивно, если б человечество определилось в понимании, что есть свобода и четко выработало критерии отмежевывающие понятие свободы, от понятия вседозволенности, анархии и произвола.

Свобода есть свобода, если она имеет ограничения по двум основополагающим критериям: нравственности и культуры!

Сегодня в условиях глобализации образа жизни, беспрецедентных условий для взаимосвязи людей с появлением интернета, вопрос о содержании понятия «свобода» в распространении и потреблении информации становится ключевым, потому что наряду с полезной, обогащаю-

щей и упрощающей жизнь человека информацией, доступно стало распространение и потребление информации развращающей и вредной, особенно для лиц без четкого нравственного стержня и для подрастающего поколения.

Правозащитное движение в этом вопросе крайне противоречиво, неэффективно, из-за отсутствия стержня в понимании, что есть свобода вообще и свобода слова, в частности.

А между тем, глобализация образа жизни и процессов распространения и потребления информации открывает и беспрецедентные возможности для выработки, принятия общепланетарного, обязательного для исполнения всеми кодекса свободы, с жестким определением прав, обязанностей и ответственности каждого жителя земли (социальной группы, государства) по критериям нравственности и культуры.

Невольно возникает следующая аналогия. Самый очевидный, и бесспорный символ и фактор свободы образа жизни современного человека - это личный транспорт. Ощущение за рулем машины - это прежде всего ощущение сладостной свободы, независимости! Езжай куда хочешь, как хочешь, когда хочешь, выбирай любой маршрут, делай любой поворот - ты сам себе хозяин! Ан нет! Постой! Сначала, прежде чем получить право на эту свободу - выучись ею пользоваться, выучи правила уличного движения - единые и обязательные для всех, во всем мире, во всех уголках земли. И в рабочих джинсах, и в козыночке-атрибуте одежды мусульманки, и в вечернем туалете светской львицы, и с миллионными счетами в банке, и одним центом в кармане, и в большом городе, и в маленькой деревне, и в 16 и в 80 лет, и простой рабочий, и президент страны - будь добр, подчиняйся общепланетарному кодексу уличного движения, когда ты лично за рулем! И попробуй не подчиняться. Даже, если ничего опасного не произошло, даже если ты никому не навредил, за лишние капли алкоголя в крови, за неверное пересечение дорожной линии, за проезд на красный свет, даже просто по невнимательности, или пропуск сигнала «Стоп» и все прочие большие и малые нарушения, ты подвергаешь себя риску наказания вплоть до лишения свободы. И никакой пощады, никаких оправданий ни для кого! И именно этими ограничениями каждого каждому обеспечивается свобода передвижения на дорогах.

Вот так должно быть, на мой взгляд со всеми аспектами пользования свободой. Ведь по большому счету жизнь каждого человека (группы, страны), процесс реализации всей сферы его потребностей - это тоже движение, которое происходит не в вакууме, а в общем потоке движения окружающих людей (социальных групп, народов, государств). И каждый из них имеет право на свободу в этом движении, но свободу, регулируемую общеобязательными для всех нормами нравственности и культуры. Иначе может случиться то, что бы случилось, если бы мы перестали следовать водительским правилам движения на дорогах.

И если раньше, в прошлые времена, когда средства коммуникаций не были так мощны и всеобъемлющи, нарушения «правил движения» не грозили столь пагубными и масштабными последствиями.

Простой пример. Раньше мы мирно, тихо стояли или сидели в ожидании приглашения на посадку в самолет. Сейчас это порой становится адом из-за сотовых телефонов. «Я свободный человек и могу делать все, что хочу», - оправдываю я себя, когда, громко во весь голос разговариваю с кем-то по сотовому телефону. Меня при этом совершенно не беспокоит, как чувствует себя стоящий (сидящий) рядом человек - может у него голова болит, может ему просто неприятно слушать те перлы, которые я изрекаю, изошряясь в остроумии перед собеседником на

другой стороне «провода»... Я просто не думаю о нем, потому что считаю себя свободным поступать так, как хочу. Но если пофантазировать невероятное (даже для такого в сущности малозначимого для жизненных проблем факта), что в этот момент всем обитателям даже этого одного «gate» одновременно понадобится в этот момент позвонить и они будут вести себя так же, как я, то каждому в отдельности и всем вместе, как говорится, мало не покажется.

Мне думается, что в рамках поднятой проблемы вписывается и разговор о понимании свободы в публичном выражении нашей интимной жизни. В данном случае я имею в виду ту часть из нас, кому характерна так называемая нетрадиционная сексуальная ориентация. Известно, что в не столь давние времена человек, «уличенный» в этой «особенности» (так скажем) обвинялся по законам морали и права.

В своей книге «Презумпция виновности» я подарила своей главной героине автобиографический эпизод, в котором выпускница школы, поступив на работу в прокуратуру для получения необходимого стажа для поступления на юридический факультет, наталкивается на письмо «трудящегося», уличившего соседа в гомосексуализме. Девушка впервые видит это слово и даже не знает, что оно означает. И когда она спрашивает об этом своего начальника-прокурора, он указывает ей на статью уголовного кодекса, где дается разъяснение содержания этого «преступления» и указаны варианты сроков наказания.

Сейчас уже смешно об этом вспоминать. Гомосексуализм признан неотъемлемой частью системы прав человека на частную жизнь, в которую никому не дозволено посягать. И с этим трудно не согласиться. Но с чем согласиться трудно, так это то, что лица с такой ориентацией не довольствуются тем, что они получили права не прятать свою «особенность» и быть защищенными от каких-либо ущемлений их прав, как в сфере морали, так и права. Они хотят всячески пропагандировать свой образ жизни, навязывать его стандарты другим в виде рекламы себя, самым ярким проявлением чего являются их парады, проводимые в разных городах. Это называется «свободой».

Но, если я не хочу, чтоб мой ребенок (как моя героиня) до взросления даже знал о существовании такого явления, то эти парады ущемляют мою свободу в нежелании посвящать моего ребенка в это.

«С Аргутинским, снимавшим в 1893 г. комнату у Модеста Ильича, где умер Петр Ильич, я могла говорить о тайне. О той тайне, которую, я твердо была убеждена, настало время раскрыть. ...На Западе это было время, когда об интимных сторонах человека стали говорить открыто. Отчасти - благодаря Фрейду, отчасти - благодаря общему повороту литературы к затаенным сторонам человека. Андрогонизм начал пониматься не как болезнь, которую нужно и можно лечить, хотя бы и насильно, и не как преступление, за которое необходимо карать, а как опыт, через который проходит 20% людей, из которых три четверти просто забывают его или вырастают из него (подчеркнуто - Л.М.)»

(Нина Берберова, «Чайковский». Санкт-Петербург, Лимбус Пресс, 1977, стр. 7).

Я привела эту цитату из крайне интересной книги Н. Берберовой о Чайковском, не только потому, что она иллюстрирует сколь осторожно, деликатно она подходит к обсуждению темы гомосексуализма, но и потому, что впечатляют в ней сведения о том, что «три четверти просто забывают его (опыт гомосексуализма - Л.М.) или вырастают из него».

Но, чтоб правильно воспринимать эти данные, нужно не забывать, что книга Берберовой впервые была опубли-

ликована в Париже в 1937 году. Предисловие, к названному выше русскому изданию, из которого я выписала приведенную цитату, начинается со слов «Прошло пятьдесят лет со времени написания этой книги» и трудно судить, какой период времени отражают эти цифры. Но уже и с 1987 года прошло почти двадцать лет, на которые приходится мощная активизация гомосексуального движения. Я не владею, к сожалению, данными о том, насколько активизация внешних проявлений этого движения влияет на размер доли тех, для кого характерен такой тип интимной жизни. Но не думаю, что оно способствовало тому, что названные двадцать процентов обратились в меньший показатель, или уменьшилось число тех, кто «забыл или вырос» из этого опыта.

Хочу еще раз подчеркнуть, что я ни в коей мере не сторонник посягательства на личную, тем более интимную жизнь человека. Но ведь не зря сексуальную жизнь мы люди-человеки, отнесли к категории интимных (от латинского *intimus* - самый глубокий, внутренний, личный, сокровенный; задушевный) сторон жизни. Это значит, что мы до минимума сузили пространство для ее внешнего проявления. И именно потому, думаю, мы вправе были называть себя "*homo sapiens*" - человек разумный. Именно потому, что на протяжении своего «человеческого» развития Человек отделил себя от животного прежде всего тем, что определил какие-то аспекты своей жизни как интимные, скрытые от окружающих. Но порой мы об этом забываем. И этой забывчивостью страдают не только гомосексуалисты. Всеобщий Кодекс Свободы должен содержать статью о том, что никто не вправе вторгаться в интимную жизнь других, но и никому не позволено афишировать ее и демонстрировать массово парадами или иными способами.

И не подменять понятие «свободы» с понятием вседозволенности.

Несколько лет назад я писала рецензию на книгу известного литератора Ю. Дружникова «Я родился в очереди». Рецензия была опубликована на страницах «Побережья», но сейчас я считаю уместным напомнить один из ее фрагментов, в той части, где анализируется очерк "Избыток свободы". Там писатель делится своим профессорским опытом преподавания в американском университете. Он приводит весьма характерные примеры подмены понятий свободы и вседозволенности в системе ценностей молодежи, что наряду с многими нежелательными последствиями, влечет еще трудновообразимое для прошлых времен взаимоотношение студентов с профессорами. "Моя свобода - академическая... а у студентов реальная, - пишет автор - студентка, которая только что родила, вытащила грудь и кормит младенца... Покормив и все еще держа рукой грудь, она задает вопрос..." "И тут не избежать, - заключает автор свои размышления, - сакраментального вопроса: Что делать?"

«Кто виноват? Что делать?» - вопросы, которые никогда не сойдут с повестки дня, пока мы не выработаем четких критериев в понимании, что есть СВОБОДА. И "не высокие материи абстрактного философствования", а земные насущные проблемы современного образа жизни призывают нас к этому.

\*\*\*

И когда Человек очистится от излишеств вседозволенности, он обретет подлинную свободу и станет достойным самого себя. Я хочу в это верить, и в счастливые мгновенья радости и подъема духа, я думаю о величии Человека. О собирательном образе его и о каждом конкретном, кто оставил свет в моей душе, кто сформировал меня как личность, позволил ощущать себя его составляющей и ощущать, что все происходящее в мире с Человеком, происходит со мной, что каждый звонящий ко-

локол звонит по мне и что каждый звук фанфары имеет и ко мне отношение.

Я люблю ездить по миру и не перестаю восхищаться, радоваться творениям рук Человека, которые подтверждают полет его фантазии, творчества и возможности со-зидания.

Ничто не действует на меня так, как музыка! Когда я слушаю ее, всегда охвачена волнением от того, как велика, многогранна и утонченна Душа человека, отраженная в этих звуках, и как мудра и велика Душа в способах реализации себя во внешнем мире. «Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находится тот, кто писал эту музыку...», - это слова великого Толстого, которые и я повторяю всякий раз, когда погружаюсь в волшебство звуков, ощущая необъяснимую духовную связь с их творцами, даже разделенными со мной веками во времени и географическим пространством.

Всю жизнь, с первых шагов, ощущаю себя под влиянием озвученного слова Человека - собирательного и конкретного, в лице родных, близких, учителей, разного уровня ораторов и восхищаюсь этим чудом-языком - подаренным людям природой (или Богом) для общения и взаимопонимания.

Всю жизнь, с того мгновенья, когда взяла в руки «Букварь» и научилась читать, ощущаю себя под влиянием печатного слова собирательного и конкретного Человека - автора, знаменитого и неизвестного, но внесшего свою лепту в формировании того нравственно-этического стержня, который способствует умению впитывать прекрасное и противостоять уродливому, что есть в нашей жизни.

Все, все, что создано Человеком, я ощущаю в себе как в его крупнице.

Могла бы перечислить немало из филигранно оформленных словами концепций мудрости, которые воспринимаю как формулы, определившие законы моей жизни и жизни близких мне по духу людей. Из самых ярких из них для меня я вывела в эпиграф данного эссе и еще одно приведу ниже.

«В человеке должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа и мысли» - оно принадлежит, как общеизвестно, перу великого мастера слова и врача Антона Павловича Чехова.

Заметим какие глаголы употребили писатели-мыслители в своих формулировках: «Надо» - у Горького и «Должно» - у Чехова. Это повелительные глаголы! Задумаемся над их сутью: в них содержится своего рода приказные наставления нам - потомкам хранить в себе все величие человеческого, что дано нам от природы (или от Бога), и что мы можем развивать в себе сами?!

Были ли авторы этих наставлений идеалистами, не знавшими того страшного, ужасного, и уродливого, что вершил Человек над собой на протяжении многовековой жизни своей - противостояния, изощренные методы убийства, жестокости, руководимые корыстью, завистью, ненавистью, амбициями?..

Конечно же не были они идеалистами, смотревшими на мир Человека сквозь розовые очки! Со школьных лет мы знаем их биографии, то, что пришлось пережить в жизни непосредственно им, их современникам и в целом эпохам, в которых они жили. И все же, именно как писатели-реалисты они провозглашали эти наставления Человеку. Почему? А потому, что верили: по мере развития знаний, образованности, коммуникаций, увеличения возможностей для самореализации Человека, он станет именно таким, что позволит ему звучать гордо!

# ПОЭЗИЯ



## ПОБЕРЕЖЬЕ



## ЛЕВ ОЗЕРОВ

### «СТИХИ, ЧТО ЛАВА...»

На клочке бумаги остались мелко наискосок написанные строчки:

Сны свои не доглядел,  
Не доделал сотни дел,  
Жизнь свою не дожил...

Итог, подведенный на излете дней человеком, который неутомимо и плодотворно трудился всю жизнь. И которого роковая болезнь настигла внезапно, безжалостно перечеркнув все замечательные творческие планы, рассчитанные еще на одну долгую жизнь. Поэт, критик, переводчик, издатель, профессор Литературного института, он был одним из старейшин нашей литературы.

Слагать стихи ему было так же естественно, как дышать и ходить. Они возникали из всего, что касалось его глаз и души. Удивительных глаз и удивительной души Поэта милостию Божией. И при этом им сказано: «Каждое стихотворение — неожиданность. Ожиданием неожиданности предстает день поэта. Со стороны это кажется привлекательным и даже таинственным. Но это — адова работа. Круглосуточная вахта. Да еще у самого сердца».

Он был блистательным знатоком поэзии Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Некрасова, Фета. Считал своими учителями по XIX веку. Ахматову, Пастернаку. Асееву, Сельвинского, Светлова — наставниками по веку XX, "Всю жизнь я старался оплатить счета, выданные мне в юности. Ибо без привязанностей, проходящих через всю жизнь, нет самой жизни", — сказал он в предисловии к своей последней прижизненной книге «Страна русской поэзии» — книге о поэтах. Лев Озеров вошел в русскую литературу не только собственным творчеством. Литературоведы отмечают, что после Валерия Брюсова и Павла Антокольского никто из поэтов только что минувшего столетия не сделал столько для того, чтобы чужое, не им сказанное поэтическое слово пришло к читателем и дошло до них.

Благодаря его усилиям мы узнали поэтов, которым после смерти грозило полное забвение. Это М. Зенкевич, П. Семенин, Г. Оболдуев, А. Кочетков,

Опубликованная в 1959 г. в «Литературной газете» статья Л.А. Озерова «Стихотворения Анны Ахматовой» была первым отзывом о ее поэзии после долгих лет замалчивания. «Прорывом блокады» назвала ее сама Анна Андреевна.

После смерти Бориса Пастернака Озеров по собственной инициативе отважился взять на себя труд подготовки первого научного издания его стихотворений для Большой серии «Библиотеки поэта». В дневнике К.И. Чуковского (1962 г.) есть такая запись: «Был у меня Озеров — редактор стихотворений Пастернака, замученный Пастернаком. Слишком уж это тяжелая ноша».

С помощью Льва Адольфовича увидели свет стихи И. Сельвинского из заветной «синей папки», которые писались «в стол» и которые Л.А. назвал «отдушиной, необходимостью, потребностью души, ее криком».

Возможно ли перечислить всех молодых поэтов, которым именно Лев Озеров помог пробиться с первыми стихами? Скольким из них он написал предисловие к первому сборнику, подобрал рецензий, добрым советом!

Следует вспомнить основанную Л.А. «Устную библиотеку поэта», соединившую авторское чтение с актерским. Прожила эта библиотека тринадцать лет. Триста вечеров, триста «звуковых книг, триста авторов, многих из которых не печатали в те времена.

А циклы поэтических передач на радио? А его бесконечно увлекательные вечера памяти поэтов, на которых слушатели забывали о времени? Кажется, никто лучше и бескорыстнее не говорил о своих собратьях по перу.

Неутомимый просветитель, он служил только русской словесности, не примыкая ни к каким литературным группировкам. Именно поэтому на его 80-летний юбилей в Дом литераторов с поздравительными адресами пришли

представители обоих отделений расколовшегося писательского Союза.

Архив Озерова кажется необъятным. С уверенностью можно сказать, что его освоение сулит немало интересных находок и открытий. Ниже публикуются стихи из хранящихся в семье Озеровых записных книжек Л.А. и два «портрета» из цикла «Портреты без рам», который представляет собой зарисовки-воспоминания — жанр, впервые возникший в нашей литературе.

София Кутель, Бостон

## ЛЕВ ОЗЕРОВ

### СТИХИ

\*\*\*

Стихи, что лава. Пусть течет она.  
Не дай остыть ей. Пусть течет в избытке.  
Когда придут иные времена,  
Ее на равные нарежут плитки.

\*\*\*

«Играем жизнь», как сказано у Рильке.  
Так, значит, есть театр, и прав Шекспир,  
И мир стоит на том, и это правда  
Существования также, как игры,  
И, видимо, размытые границы  
Игры и жизни нам не разглядеть.  
Король и шут, блудница и Мадонна,  
И правдолюб и лжец повторены  
Одновременно в жизни и на сцене.  
Как будто все. Но что-то есть такое,  
Что всякий раз тревожит: жизнь? игра?..

\*\*\*

Имеется у мастеров  
Особый дар прикосновения,  
И это — лучший из даров,  
И выше нет вознаграждения,  
Дотронуться, оставить след  
Своей единственной натуры  
На много дней, на много лет  
На белизне клавиатуры,  
На глине, мраморе, стекле,  
На арфе, на листе бумаги,  
И это знак твоей отваги  
В час пребывания на земле.

\*\*\*

Сердца ахиллесова пята  
Чувствуется, особенно ночью.  
Суетность, сомненье, маята,  
Звезд нетерпеливое отточье...

Я лежу, закрыв глаза.  
Темна Пустошь моего существования.  
Что же там за бездною окна?  
Что же там за голизной молчанья?

Я не знаю. Только сердца зов  
Внятен, словно маятника звуки,  
Я, готовый жизнь начать с азов,  
Вновь к тебе протягиваю руки.

\*\*\*

Зачем рожден поэтом?  
Зачем поэтом рос?  
Не торопись с ответом  
На этаким вопрос.

Ты и не жди ответа  
И не ищи его.  
Призвание поэта —  
Судьба и волшебство.

\*\*\*

Ты пришла не поздно и не рано,  
Как приходит вовремя рассвет.  
Это ты нежданно-нежданным  
Одиночество мое свела на нет.

Ты на нет свела мою тревогу —  
Думал, что пути вот-вот конец.  
Снова мне разматывать дорогу,  
И звенит поддужный бубенец.

\*\*\*

Ты запрети мне так неугомонно  
Без передышки думать о тебе  
До самоотречения, до звона  
В ушах, до отвращения к судьбе,  
Что мне дала на позднем перегоне  
Такой сюжет, такую благодать,  
Такую муку. Отдохните, кони!  
Зачем так необузданно скакать,  
Зевая сшибая на большой дороге?  
Ты запрети мне в горестной мольбе,  
Ты запрети мне в смутной ворожбе,  
В блаженстве, в сумасшествии, в тревоге  
Ты запрети мне думать о тебе.

\*\*\*

Моментально, как радуга,  
И нежданно, как молния,  
Вошла в мою жизнь, радуя,  
Прервав безмолвие.  
Ничего не сказала особого,  
Только взглянула тепло,  
И сразу поняли оба:  
Что-то произошло.

\*\*\*

Ну кто меня будит так рано!?  
Земля звенит, как мембрана,  
Как гусли поет небосвод,  
И шелканье птичье зовет.  
Один не умею вместить я  
В себя эту радость нантя,  
Хочу разделить я с тобой  
Весенний простор голубой,  
Возвышенный до удивленья,  
Вот повод для вдохновенья  
И ликования двоих  
В этот особый миг.  
Дремотно. И тихо. И странно:  
Кто меня будит так рано?!

\*\*\*

Мне кажется, что от меня  
К тебе идут в часы разлуки  
В ночной тиши, при свете дня —  
Радиоволны, токи, звуки,  
И от тебя идут в ответ  
Радиоволны, звуки, токи,  
Какой-то негасимый свет  
И весть, что мы не одиноки,  
Что происходит разговор,  
Который мы, увы, не слышим.  
Не говори, что это вздор.  
Нет, это воздух. Им мы дышим.

\*\*\*

Дня и ночи неизбывна смена.  
До свиданья! Будь благословенна!  
Это мало — слушать тишину.  
Это много — отойти ко сну.  
Это грандиозно — быть с тобою,  
Заодно с невнятной судьбою.  
Это важно — ощущая явь,  
В сновидения пускаться вплавать  
В пору, когда море по колено.  
До свиданья! Будь благословенна!

## ПОРТРЕТЫ

### МЕЙЕРХОЛЬД

Вбежал человек,  
А за ним ветерок —  
Вестник гениальности.  
Он овевал всех, кто стоял в фойе.  
Никто не сказал: «Пришел».  
Все почувствовали: «Он здесь».  
На ходу снимает кашне,  
Общий поклон,  
Сбрасывает пальто,  
Кто-то подхватывает и уносит куда-то.  
День начинается.  
— Будем работать,  
«Список благодарений» —  
Юрий Карлович Олеша,  
Прошу любить и жаловать.  
Мейерхольд сосредоточенно скользит в пространстве,  
Ищет тональность,  
Сверкает сизой голубиной глаз,  
Голубой своей зеленцой.  
В гневе глаза могут быть темными.  
Веки величаво припущены.  
Кулисы пахнут тесом,  
Щепой, духами,  
Грибоедовскими стихами.  
Вздохмаченный, дымчатый  
Быстро снимает пиджак.  
Рядом на сцене два актера,  
Один должен ударить другого.  
— Не то! — говорит Мейерхольд.  
Он берет не за бьющего,  
А принимающего удар.  
Приседает, склоняясь вбок,  
Руки подняты для защиты  
От того, кто хочет ударить.  
— Еще раз, еще!  
Вы ударяете по человеку,  
А не колете дрова.  
Разница!  
Мы к этому вернемся.  
Эпизоды пока не монтируются,  
Они приглядываются друг к другу.  
Мейерхольд приглядывается к ним  
И лепит: спектакль.  
Он создается странно —  
Из догадок, из нелепиц,  
Из всего, что трудно предсказать.  
Я пристрастился к таинству репетиций,  
Я уже знал всех поименно:  
Райх, Бабанова, Штраух,  
Мартинсон, Шостакович, Гарин,  
Шебалин, Ильинский, другие —  
Острые, яркие, незабываемые.  
Я слышу знаменитое:  
— Улялюм! Великий Улялюм приехал!  
Какие слова!  
Помню с юношеских лет.

Еще я видел Мейерхольда:  
Выходил на вызов публики;  
Смотрел здание театра  
На Триумфальной;  
Разговаривал с Олешей  
О «Гамлете».  
Мейерхольд остается без театра,  
Остается без дома,  
Остается без жизни.  
Мир остается  
Без Мейерхольда.  
Как все убийственно просто!

*Июль 1994 — март 1996 г.*

## ФАДЕЕВ \*

Чем белей были волосы,  
Тем сильнее краснота лица проступала.  
Он говорил каким-то придушенным голосом  
Дальневосточного провинциала.  
Трудно писать о Фадееве.  
— Сан Саныч, можно к вам?  
— А почему бы и нет.  
Ах, какой кабинет!  
Сам Сталин звонит.  
Из фаворитов фаворит.  
Он читал рукописи, книги,  
Он встречался с людьми,  
Он хотел им помочь  
И помогал.  
И это, оказалось, недостаточно.  
Я никогда не просил его ни о чем.  
Начальство я обходил.  
Но сильно столкнулись в дни войны,  
Вернее, в одну из ночей.  
В «Комсомольской правде», на четверге.  
После вечера встречи с Фадеевым  
Мы остались вдвоем с ним  
И проговорили до утра.  
— Я не дописал своего «Последнего из удэге».  
Он был готов у меня вне текста,  
Текст предстояло мне дописать, —  
Три месяца или полгода,  
Но на дворе какая погода —  
Война, блокада.  
И Сталин послал меня в Ленинград.  
Я написал книгу,  
Которая не удалась,  
Потому что меня звал «Удэге».  
Я не разродился  
И погиб...

Но неокончательно.  
Окончательно после войны,  
После смерти Сталина.  
— Возвращались люди из ссылки.  
Бросали в лицо мне «сволочь»,  
Плевали в глаза.  
Врачи запрещали мне пить —  
Цирроз печени.  
Мне надоело сидеть в президиуме.  
Мне тошно представлять себя.  
Мне тяжело не писать,  
А числиться писателем.  
Трижды я, человек женатый,  
Предлагал моей любимице Клавье:  
«Поедем с тобой на Урал,  
Там приглядел я избушку,  
Будем жить-поживать;  
Там допишу я роман свой  
«Черная металлургия»  
О сталеварах,  
О Кополе директоре  
И о рекордах металлургов...»  
Она мне отказала:  
«У тебя, Саша, семья».  
Последний раз мы виделись с Сашей  
Ранней весной 56-го года на Клязьме.  
Твардовский, Петровых, Лидин, Грубиан.  
Фадеев на черной машине,  
Высокий, седой, краснолицый,  
Приезжал устроить в санаторий  
Дочь своего партизанского командира.  
Он торопился,  
Торопился делать добрые дела.  
И вот выстрел в Переделкино  
Из револьвера образца 19-го года.  
Я думал о Фадееве.  
Самоубийство не бывает по одной причине.  
Человек стреляет в себя  
По 12-15 причинам.

Все причины встретились,  
Нет, сцепились — мертвая хватка.  
Ко мне пришла Клава с грудю писем Фадеева.  
Я читал их жадно.  
Живой разговор, пошлость, отчаянье, вера,  
Трепет.  
Когда оторвался от писем,  
Я поднял глаза на Клавю.  
Она уже не плакала,  
Все лицо ее было в ручьях слез.  
Вся она была слезой.  
И когда уходила —  
Слезой, катящейся по лицу земли.  
«Бедный Саша!» —  
Сказала во французском некрологе Эльза Триоле.  
Бедный Саша!  
Здесь звучит жалость и сочувствие,  
Боль и почитание.

*\* Портрет не был окончен, остался в черновиках. Редакция и подготовка к печати А. Озеровой.*

## РИНА ЛЕВИНЗОН

\* \* \*

*"Begin and cease  
and then again begin"  
M. Arnold*

Начнется и закончится, и снова  
начнется, но в реальности другой  
на грани улетающего слова  
за облаком, за радугой-дугой.  
Закончится, забудется, отчетится,  
как спящая принцесса в царстве лет...  
Начнется, прекратится, вновь начнется.  
Как Бог нам обещал,  
как пел поэт.

\* \* \*

Боже, как перемешались звуки...  
Шин и Ша — как счастлива душа!  
Азбуки сложились и науки,  
Музыки сошлись, судьбой дыша.

Звон двойной развеял все ненастья,  
Тайна — в сочетании голосов.  
И печаль помножена на счастье...  
Аз и Алеф — точный знак Весов.

\* \* \*

Как путь зерна — из полной тьмы на свет,  
Как голос птицы — просто так поющей...  
Всегда велик дарующий, дающий,  
Открывший мира нашего секрет.  
Все раздарить, и, значит, все сберечь,  
Не тает Дух над нашей жизнью тленной...  
Услышать солнца утреннюю речь,  
Разгадывая тайный код Вселенной.

## Городок с полотен Шагала

Этот городок с полотен Шагала,  
весь —  
с его скрипачами,  
и летающими красавицами,  
с женихами и невестами,  
с его раввинами и ремесленниками,  
с детьми и стариками —  
весь городок попал в газовую камеру  
и вышел оттуда  
колечками дыма...  
И скрипки больше не играют,  
и некому читать свитки Торы,  
и влюбленные никогда  
не вернутся на землю.

\* \* \*

А после... после жизнь начнется снова,  
Совсем другая – легкая, как дым,  
Как тень крыла и отзвук сна земного,  
Дарованная только нам двоим.

Смотри же в эти дали, не печалься,  
Там вечность расставляет *невода*,  
Все для того, чтоб мы не разлучались  
При жизни, после жизни – никогда.

\* \* \*

На грани прощания или свидания.  
За что тебе, мама, такие страдания...  
И снова в последний, отчаянный час  
Ты боль на себя приняла —  
вместо нас.

\*\*\*

Я угадала дождь в проеме сосен....  
С души снимая невозможный груз,  
Опять придет ко мне подруга Осень  
Делить со мной печаль мою и грусть.  
Смывая слезы, пестуя, жалея,  
В кругу олив притихших ждет меня,  
Промыв дождем все окна и аллеи  
И взяв тепла у летнего огня.  
И долог день, и бесконечны воды  
И хороводы листьев на ветру,  
И сладок свет невиданной свободы,  
И солнца знак секретный поутру.

*Елене Рыжковой*

В нашем веке повинном,  
Не смыкающем век,  
Только духом единым  
И жив человек.

Все ли беды смололи  
Дней моих жернова ...  
Перемогутся боли –  
Только этим жива,

Только духом единым.  
Только духом одним  
В сочетании дивном  
С упрямством моим.

\* \* \*

*Валентине Синкевич*

О, этот дождь благословенный  
Пронесся над моей вселенной,  
Над личным садом сентября.  
И показалось, что не зря  
Я в этих переулках малых,  
В горах горячих, в белых скалах  
Живу.

И сонная заря  
Мне улыбается,  
как будто  
Вовек не кончится ни утро,  
Ни жизнь, ни песня снегиря.

\* \* \*

Запутался ветер в оливах,  
 Душа заплутала в горах,  
 Судьба бережет терпеливых  
 И в дальних, и в ближних мирах.

Кто властен над временем бренным,  
Кто ведаёт тайны души...  
Господь помогает смиренным,  
Он слышит их голос в тиши.

\* \* \*

Суть в том, чтобы любить,  
                                когда любить не в силах,  
суть в том, чтобы забыть себя,  
                                как сон ночной.

Куда исчезли вдруг  
два ангела двукрылых,  
Те, что бывали здесь, когда ты был со мной.

Суть в том, чтоб отыскать ту световую точку,  
Которая жива в любой крошечной тьме.  
Довериться земле, судьбе своей, листочку,  
Что тянется к весне, хотя привык к зиме.

Суть в том, чтоб не упасть и не пропасть от горя.  
Скольжение весла в потоке вечных рек.  
Единственность души во всем земном просторе.  
Сияние лица, любимого навек.

\* \* \*

Я – веточка ветра, подружка его вековая.  
Я с ним добираюсь до гор, до небесных светил,  
Нескладицы жизни я с ним, только с ним, забываю,  
Когда-то, давно он меня приручил, приютит.  
Он рядом живет – то в соснах моих, то в оливах,  
Он платья касается, за руку нежно ведет,  
И птиц посылает мне утром – щебечущих, быстрых,  
пугливых,  
И света охапку для меня он у солнца крадет.

Я – веточка ветра, подружка его вековая,  
Вольнее волны и свободнее солнечных птиц,  
Я помню о небе, о гневе земном забываю,  
Игру затеваю со светом далеких зарниц.

**АРКАДИЙ КАЙДАНОВ**

\*\*\*

Покуда дня непрочная постройка  
еще стоит и выдыхает свет,  
а мера воздаяния настолько  
мала, что на нее расчета нет,  
пренебреги сомнительным посылом  
подверженной шараханью судьбы,  
чтобы в одном лице отцом и сыном  
идти на голос родственной волшбы.  
Пока преодолимы расстоянья  
и не ликует пламя за спиной,  
пока еще восторгу узнаванья  
причастен взор, негаданно живой,  
перемогая зловную ушербность,  
внедренную в убогий генотип, –  
признай небес отчаянную щедрость,  
смахни с плеча прилипчивый мотив,  
на языке воды, травы и праха  
себя заговори от всех скорбей,  
смирившись с тем, что эта жизнь, однако,  
тем более бездарна, чем длинней.

\*\*\*

Приеду в Литву.  
Только дым.  
Только аист летит.  
Никого не найду.  
Тень любимой витает в Тракае.  
Жгут сырую листву.  
Пламя с ветром в обнимку гудит.  
Холодящий огонь  
осторожными трону руками.

Было – не было.  
Дым в облака.  
Аист выше взлетит.  
Ни о чем не жалею.  
Что будет – спокойно приемлю.  
Никого не найду.  
Торопливый костер догорит.

Аист, крылья сложив,  
разобьется о мерзлую землю.

\*\*\*

А самые беспамятные нас  
не забывают, как это ни странно.  
В случайный день и безразличный час,  
осадком взвешенным со дна стакана –  
всплывают наши лица, имена,  
сопутствуемы легкою досадой:  
зачем запоминать кого не надо?  
Как бездна, тайна памяти темна.

### СТАРЫЙ АДРЕС

Ступать ноге туда не то чтобы  
запрещено, а просто нет резона,  
как жарить ядовитые грибы,  
как выходить на улицу с балкона,  
как при фужерах из ладоней пить,  
как спичкою дразнить лежалый порох,  
как при цейтноте время проводить  
в пустых и бесконечных разговорах

\*\*\*

Взошедший на чужой порог, увы,  
не многое я разглядел с порога:  
сад незнакомый, темная дорога,  
кустарник душистый выше головы.

Кричала в полумгле желевой выпь,  
ей с озера лягушки отвечали.  
Ознобно передергивал плечами  
зеленый бог взъерошенной травы.

Шла по воде стремительная зыбь,  
как будто кто-то дул на блюде с чаем.  
Присевший дом молчал, обуреваем,  
предчувствием порывистой грозы.

Хозяин вышел тридцать лет назад  
в сопровождение давешних растений,  
и тридцать лет оставленные тени  
в углах усадьбы гнутся и шуршат.

И нескончаем скорбный разговор  
полыни с чабрецом, ромашки с мятой  
в присутствии дыхания и взгляда  
того, кто обессмертил этот двор.

Я разглядел не многое, увы,  
где сосны высоки, как строй элоги,  
где безрассудно сходятся дороги  
хулы и славы, правды и молвы.

\*\*\*

Так дождь семенит или жарят картошку на кухне, –  
а это лишь раннее соло метлы под балконом,  
пока возмужавшие тучи, как почки, набухли,  
готовясь найти утверждение в праве законном  
поступки и планы к своим приспособить причудам,  
востребовав, если не чувств, то хотя бы вниманья  
к тому, как, нежданно явившись бог знает откуда,  
они громогласные преподнесут излиянья.

Однако тому совершаться пока что не время –  
еще вознесенная пыль беспощадно живуча,  
и, выислав место в искусно прописанной теме,  
готовится грохнуть в литавры угрюмая туча,  
готовится сад захлебнуться восторгом оаций,  
в трубе водосточной густеет надрыв саксофона,  
но что-то мешает, мешает душе подчиняться  
законам насилья, косящим под силу закона.

### ПАМЯТИ ДАВИДА САМОЙЛОВА

А тех, кому я доверял,  
уже почти и нет на свете.  
Я писем их не сохранял,  
и даже не на все ответил.

Я опасался заводить  
архива дремлющую скуку,  
чтобы судьбу не торопить,  
не провоцировать разлуку.

И вот теперь – не позвонить,  
не написать, ища спасенья.  
Не ведаю, как пережить  
полуистлевший день осенний.

\*\*\*

Есть в самозаполняемости дня  
всему что ни на есть и час, и место –  
и женщине, идущей сквозь меня,  
и скрипке ресторанный оркестра,  
и чайке с волчачимся крылом,  
и всхлипу векового прибора,  
и духу, утвердившемуся в том,  
что смерть лишь имитация покоя.

\*\*\*

Не задерживая вашего вниманья,  
не испытывая вашего терпенья,  
я уйду, не заслужив прощанья,  
я уйду, не заслужив прощенья.

Перед всеми виноватыми – виновен,  
напоследок чуть помешкаю у края  
и сойду туда, где адский пыл жаровен,  
свято место для других освобождая.

*Т.Н.*

Песни, которые ты давно не поешь,  
верные птицы бережно сохранили.  
Воспоминанья рождают уже не дрожь,  
но ветерок, словно форточку не закрыли  
в самой незаселенной из блеклых дач,  
где скрипит услужливо половица,  
где в печной трубе хоронится плач,  
а иначе где ж ему хорониться?

Тесно в гортани дыму от сигарет.  
Сердце свои рубцы сторожит тревожно.  
Песне и плачу места давно уж нет.  
Как оказалось, жить и без них возможно.  
Тянет из палисадника резедой.  
Тянет-потянет памятью и тоскою.  
Душу окатит мертвою высотой  
и отшатнешься в ужасе: Бог с тобою!

### ЛОРЕНС БЛИНОВ

#### Credo

Как вещь  
сквозь кувыркание граней  
внушает вечность бытия,  
так я – тем больше постоянен,  
чем более изменчив я.  
Мне не вместить себя – в себя,  
как луч не спрятать во Вселенной:  
весь мир являя плотью брэнной,  
мне душу в ьзй укрыть нельзя...  
И ни на миг не удержать  
разящей  
истины мгновенье!  
И всякое стихотворенье –  
преображения печать.

## Из поэмы «НИЩИЙ БОГ»

Снова песни перепел  
перепел.  
Север сыпал перьями –  
свирепел.  
Сколько ж это нужно извести  
извести!  
Вьюга метит избы все  
и – свистит.  
Кем-то мысли велено  
спеленать...  
Снежной кистью белена  
белена.  
Не дожидаться, видно, лиственной  
вести нам.  
Снова рядом – истина  
и – стена!

### Лучник

Стрела дрожащая нацелена в зенит,  
и тетива уже огнем горит;  
в себе незримый преступив порог,  
весь – в небо устремлен, застыл стрелок.  
В суровой жажде опрокинуть рок,  
он дерзостно-надменный принял вид.  
Безумец! Оглянись на свой исток –  
стрела еще в руке, а уж назад летит!  
Один лишь миг – и будешь пригвожден  
булавкой огненной на этом самом месте.  
Пронзая в небо, метишь не в себя ль?!  
Искрится в нетерпенье вертикаль  
натянутой стрелы: слепец, ты обречен!  
И чем верней рука, тем гибельней возмездье.

\*\*\*

Все в жизни этой –  
в первый раз:  
и крик птенца, и солнца чаша,  
и леденца горящий глаз,  
и ветер седины летящей...  
Все в этой жизни –  
в первый раз.  
И опыт всякий – только шутка.  
И держится любой из нас  
печальной волей предрассудка.

\*\*\*

Взметнувшиеся птички стан  
разбередят колокола,  
и синь густая  
твой омоет купола;  
осеннею листвою клен  
осветит грубые дома,  
и сердце чем-то раскаленным  
пронзит –  
и тьма.  
И свет –  
качающейся бездне вслед.

### Интерлюдия

(...и мне бы  
белкой огненной,  
золотистой по стволу скользнуть...)  
Лист осенний,  
что сказать  
ты хочешь?  
(... зашуршать тихо,  
опуститься вдруг  
на плечо  
к тебе,  
не поверить ветру...)  
Что сказать ты хочешь мне,  
Лист осенний?..

\*\*\*

Печали тихая сирень  
души нечаянно коснется...  
И солнце в травы окунется,  
и в звезды устремится день.  
Из трав и звезд рождаются стихи –  
тихи, бездонны, ясны и легки.  
Спешу вослед неявленным стихам –  
и гибну ЗДЕСЬ –  
чтоб возродиться  
там.

### Последний лист

Осени меня, осени лист.  
Осени меня сном и свободой.  
Осени своей тихою одой,  
моросящей судьбы пианист.  
Осени светом солнца – в прожилках,  
легким отзвуком давних надежд.  
Знаю: трудно считать старожилом, –  
кто так ветрен в листве и промеж  
этих листьев, и этих падений,  
этой жаждой истлеть до конца! –  
между медленным жаром прозренья  
и – внезапным ледком у крыльца.  
Ты мгновенен. И – все-таки – вечен!  
Вечен твой обнаженный полет –  
и тогда, когда светом отмечен,  
и тогда, когда иней падет.  
...Осени меня инеем писем –  
тех, что, может, меня не найдут.  
Первый снег будет чист, независим.  
Ровно не было этих минут.

### Побережье

Я видел  
два валуна на берегу.  
Они понимали друг друга  
с полуслова...  
И понимала их волна.  
И я подумал:  
как же далеки,  
насколько далеки мы все же  
друг от друга.  
И как далек он – этот берег.

\*\*\*

И камни без креста –  
осиротелые...  
Колокола без языка –  
замшелые...  
Язык...  
В душе слова –  
обледенелые

### Тридцать седьмой

Нам не поспеть за мудрецами –  
они ушли вперед, к истокам...  
И до начертанного срока  
мы ношу нашу движем сами.  
В разгуле жертвенном огня,  
в чаду и звоне созиданья,  
спасаем Слово от закланья,  
взамен отдав самих себя.  
И нам уже не удержать  
ни гнев отцов, ни истин лютых,  
как в ликовании салюта  
не спрятать прошлого печать.  
Иллюзии разбиты в прах.  
И сказка снова стала пылью...  
Но для того ль мы страх избыли,  
чтоб снова прятаться в кустах?!



## Сонет

Все прошлое России – в настоящем:  
и рюриковский стяг, и византийский свет...  
И так понятно таинство примет  
нам, – у черты Грядущего стоящим.  
Оно дохнет на нас ледком хрустящим,  
и в звонкой пройме обнажится след,  
едва шагнем за грань октябрьских лет,  
вновь осененные трехцветием летящим.  
А будущее – разве не светло?  
А будущее – разве не ужасно? –  
дилемма наших дедов и отцов.  
Россия хмурит древнее чело:  
на прошлое взирая ежечасно,  
шлет в будущее молодых гонцов.

## Российский триколор

Все небо – красное.  
И красная – стезя.  
Иной дорогой нам идти –  
– нельзя.  
Все небо синее –  
И синий звон – до дна.  
И храм Господень. И судьба –  
– одна.  
Все небо – белое.  
И белая – тоска.  
Любовь. Свобода. Смерть...  
Тропа узка.  
Белеют в море синем – паруса.  
И всё ясней –  
восхода полоса.  
И дух – един.  
И святы –  
небеса.

## Вертикаль

и тени  
и в пруду  
колокола  
немые  
руины  
луны  
задумчивый двойник  
листвы  
завеса  
капель  
тяжелых  
робкое свечение  
тишины  
далеких дней  
взывание свечи  
угаснувшей в углу античный торс  
палитра сиротливая  
и кисти  
и холстов пугливых нетерпение последний  
автопортрет  
багровой тишины  
руины  
луны  
и тени  
и в пруду  
далеких дней  
двойник задумчивый  
тяжелых капель  
колокола немые  
и листвы  
свечение  
небес  
и дева  
и храм невидимый

## Только о музыке

Лишь одной  
снежинке  
стоит не выпасть  
в пору, когда она должна  
упасть –  
и белая песня  
становится черной...  
Но я говорю  
не только о снеге.  
Одному лишь цветку –  
не вспыхнуть  
тогда, когда все говорит о том,  
что должен  
цвести он, –  
и в град обращается  
каждое слово.  
Но не о цветке я...  
Лишь одна струна  
не откликнется тоном,  
созвучным  
искре глубокой –  
и вот уже  
ягненок  
видит во сне:  
кто-то гладкий и потный  
душно глядит в глаза,  
омерзительно-ласково трогает  
выступы будущих рожек,  
хрипло бормочет:  
«Где ж  
мой нож?»  
Но мне  
о музыке лишь  
хотелось напомнить вам.  
О музыке только.

## Ладна

*А в омуте синем  
Листья кувшинок.*  
В. Хлебников

Я пламя зажег  
чтоб кашу сварить  
но в воздухе синий Будильник  
повис  
и белые велязи вдаль понеслись  
и дух тополиный  
замшелым туманом сошел  
на вечерние думы  
кустарник  
нагой  
чуть приметна дорога  
глубокая тонкая топкая пыль  
сереет и  
где-то справа  
колодезный журавль  
как призрак зенитного орудия 1941 года  
нацелился внезапно куда-то ввысь  
на сизосвинцовую тучу  
Солнце  
угасло давно  
и блистание иволги долгой  
померкло  
и шум камышей  
затаился и каша  
томлением вся изошла над усталым костром  
и прогорклой прохладой  
изогнута память  
пушинки  
сквозили в тиши и летучие мыши  
шмыгали шустро  
и ладная песня  
ладьей неприметной  
отчала тихо

и тихо  
скользнула  
в глубокую темень  
волнуя  
ночную волну

#### Андантино

Как отзвук золота в изломанной воде,  
дробясь и растворяясь в тьме падения,  
осенние листья  
— в неспешной суете —  
ложатся тяжело  
на дно  
осеннее.  
И тихо светится печальный сев  
печальных дум  
— в невидимом парении —  
и ты отмечен дивным озарением,  
внезапно сам  
куда-то  
полетев.  
И все слилось: дыхание коней,  
и бересты березовой дрожанье,  
и талой пади обуянный бег...  
В душе искрится отдаленный снег —  
и взор твой тонет в бездне мирозданья,  
как в золоте листья —  
струенье дней.

\* \* \*

Сияние небес и бренности дыханье  
сплелись одним узлом в натуге огневой.  
Вдруг обнажилась даль — и наш мундир страданья  
остался истлевать в прозрачности земной.  
И прежние пути иной задеты вестью —  
В душе посеяны иные письма.  
И тень усталых лет — как вечности предместье.  
И тяжким жребием подброшена луна.  
На миг былой огонь из некой древней дали  
мятежным зовом озарит полет...  
И вновь — немой покой: в той стороне зеркальной  
всему земному заповедан вход.

\* \* \*

День безумен и — велик.  
Изнурительно-прекрасен.  
Волн луноязыкий лик —  
с вечера — огнеопасен.  
В чаше, меж седых колонн,  
масло жертвенное блещет —  
в сумрачные входит веси  
океана мерный сон.  
Звезд огнистая вода  
увлекает в заглубинье...  
Гроты осеняет иней,  
радость — душу. Иногда.

#### ЮРИЙ БЕРДАН

\*\*\*

Комплект для тела и души —  
Коньяк и семга.  
Который день у нас дожди,  
У вас — поземка.

Чего же я схожу с ума?  
Мне в офис в восемь.  
Который день у вас зима,  
В Нью-Йорке — осень.

Все дома спят давным-давно,  
Жена и дети.  
Другая жизнь,  
Любовь, кино  
На всей планете.

Коньяк закончен,  
Семги нет —  
Одна горчица.  
А сквозь рассвет — твой силуэт.

Пора лечиться.

\*\*\*

Сколько вокруг лиц —  
Кто я, если один?  
Гроза весной без зарниц...  
Небо в мае без птиц...  
Полюс без синих льдин —  
Кто я, если один?

Спящий в стволе свинец —  
Кто я, если один?  
Без песен и нот певец...  
Без жажды любви юнец...  
Без шутки Ходжа Насреддин —  
Кто я, если один?

Говор вокруг и смех —  
Кто я, когда один?  
Без теплых ворсинок мех...  
Без белых снежинок снег...  
Мудрец без своих сединок —  
Кто я, если один?

Сколько зовущих рук —  
Кто я, когда один?  
Ночной без ответа стук...  
Любовь без встреч и разлук...  
Восток без Мекк и Медин —  
Кто я, если один?

\*\*\*

Она к нам в апреле  
С последней поземкой пришла...  
Первый парус проплыл  
И метель задохнулась, отчаясь...  
Как она нас нашла?  
Полыхнула, взметнулась —  
Едва не сожгла...  
И сама бы сгорела,  
Но мы уже попрощались.

Я живу, как живу.  
Мои губы — багровая жесь.  
Всё, что может цвести — отцвело,  
Всё, что может гореть — обгорело.  
Сколько их за всю жизнь —  
Двадцать, сто или шесть —  
Захлебнулось во мне, захирело?

Закрывал им глаза  
Или рвал, словно сгнившую нить...  
Умирали от дряхлости  
Или сгорали мгновенно.  
Я с букетами пышными  
Их приходил хоронить  
В октябре  
Под дожди и Шопена.

Умирали-хирели  
В поспешно-кромешных делах,  
В запотелых словах,  
Смутных жестах  
И столах случайных...  
На футболах, рыбалках,  
В раздумьях, бездумьях, деньгах,  
В стылых, как Заполярье,  
Молчаньях.

Умирали в постели,  
Со мной благодарно простясь,  
Иль взорвавшись в толпе,

Долго корчась от боли,  
Замирали с улыбкой,  
К Востоку лицом обратясь,  
Мои страсти-мордасти-напасти –  
Любови.

Мои губы, как жесть,  
И в зрачках начинается мгла.  
Понимаю теперь –  
Зря друг друга пытаться  
И напрасно пытаться...  
Понимаю теперь –  
Чтоб любовь захотела  
Остаться,  
Чтоб метелью мела,  
Чтоб металась и жгла,  
Чтобы парусом  
В хмуре апреля плыла, –  
Нужно сразу расстаться...

\*\*\*  
Январь был дождливым, апрель был морозным...  
Планету топило, тошнило, рвало.  
Год выдался пьяным, шальным – високосным.  
Всё в пику, всё вдрызг, в раскорячку, назло!

Потом был июль. Солнце яростно грело  
И красило бежевым сны и тела,  
И женщина в белом на гальке сидела,  
Смотрела в прибой и кого-то ждала.

Потом море пенилось и изнывало –  
Обрывки сети и обломки весла...  
И чайка с ладони печеньё клевала,  
И девочка куклу в коляске везла...

А в декабре были маски и пляски,  
Коньяк, Санта-Клаусы и гексоген.  
Забятая кукла лежала в коляске  
И в церкви старуха вставала с колен...

И черные шали кистями качали.  
Планету взрывало, рвало и пекло.  
Но женщины ждали, но чайки кричали,  
И мокрые ветки стучали в стекло...

\*\*\*  
Кто эта странная женщина мне?  
Зачем ею всё, что осталось мне, полнится?  
Поется, танцуется, бродит в вине?  
Зачем улыбается, хмурится, помнится –  
Не сон и не явь, не жена, не любовница...  
Кто эта странная женщина мне?

Радость и злость, что во мне перемешаны,  
Закат – полоса из тоски и огня.  
Вот, что она для меня – эта женщина,  
И больше она ничего для меня.

Плотно шторой окно занавешено,  
Мечутся блики воскресшего дня.  
Сентябрьский рассвет для меня эта женщина,  
И больше она ничего для меня.

Когда в наших душах землетрясение,  
И рушится твердь, и вскипают моря,  
Она мне дыханье, она мне спасенье,  
И больше она ничего для меня.

И дети молчат, средь руин умирая,  
И с серых гранитов кричат имена...  
Она моя гибель – ни ада, ни рая.  
Она моя жизнь – ни начала, ни края.  
И больше она ничего для меня.

## ВАЛЕРИЙ ЛУКИН

\* \* \*  
осень сырыми пальцами гладит меня по лысине  
мордою в руки тычется  
мокрой до невозможности  
а на душе волнение будто оклад повысили  
сердце колотится радостно словно подняли в должности  
в темном и гулком черепе  
сильно пугая прыткостью  
мысли доныне плавные снова шустрят и мечутся  
доктор мне молвит ласково  
шприц наполняя жидкостью  
все до зимы поправится  
все до зимы залечится

\* \* \*  
пеппи длинный чулок на коленях протертый и грязный  
перештопанный наспех неровной суровой ниткой  
с голубыми глазами и речью смешной и несвязной  
и кольцом укатившемся в ванной с расколотой плиткой  
где-то твой капитан у какого далекого края  
что-то скажет вернувшись когда о потере узнает  
что ж за сука судьба если счастье подарит играя  
и за ниточку дернув сейчас же его отбирает...

\* \* \*  
раздать долги  
наболовавшись всласть  
запить густую кровь попутным ветром  
измерить обезумевшую страсть  
зашкалившим от страха амперметром  
и закусив от радости губу  
обняв недоуменных домохозяев  
раскланяться  
и вылететь в трубу  
и больше никогда не возвращаться

\* \* \*  
...а от тебя лекарства нет  
в цепи изломанных событий  
звонков  
объятий  
и соитий  
брелоков  
запонок  
монет  
разлук  
проклятий  
и открытий  
что от тебя лекарства нет...

\* \* \*  
сквозь дырку в небесах не видно тьмы  
зато течет продукция распада  
грядущего  
и спящие умы  
подсказывают  
так ему и надо  
но из колоды вынули туза  
по-детски глуп некорольевский покер  
что ни расклад – все мимо  
наглый джокер  
смеясь тарашит синие глаза  
на муки чуть живого игрока  
в бесславном ожидании победы  
дрожит худая бледная рука  
а на лице надежда и тоска  
и жажда продолжения беседы  
но разговор безжалостно увяз  
в бесцельных сплетнях  
и случайных людях  
и мечется свеча  
и рвется связь  
финалов  
кульминаций  
и прелюдий...

\* \* \*

мы не становимся моложе  
да и счастливее похоже  
порой вода бежит по роже  
без всяких видимых причин  
и не унять случайной дрожи  
и время с каждым годом строже  
и ясен след его на коже  
в узоре ласковых морщин

мы не становимся мудрее  
лишь только суше  
тверже  
злее  
и с нами вместе матерее  
надежный верный нежный враг  
но и вражда стареет тоже  
мы не становимся моложе  
и на вопрос  
за что  
о боже  
привычно слышим  
*сам дурак*

\* \* \*

ангел вышел на пенсию  
сдал свои крылья на склад  
уместил в двух картонных коробках полвека труда  
дверь скрипела прощально  
но так нарочито не в лад  
что ускорив шаги он бежал от нее в никуда  
в пустотелую ночь  
где давно притаилось как тать  
вездесущее время  
крадущее силы  
где впрямь  
ежедневная школа учиться ходить  
не летать  
непростые уроки умения смирно стареть

\* \* \*

в складках бального платья  
на вешалке в пыльной прихожей  
что снимают раз в год для похода,  
к «рождественской пьянке»  
спрятан маленький страх твой  
продрогший  
измятый  
похожий  
на оранжевый йод что прикладывал к ноющей ранке  
в детстве папа  
горячий  
колючий  
неловкий  
еле слышно щекокуший ухо  
сбиваясь на идиш  
повторяющий глупую фразу  
ты знаешь плутовка  
хватит хныкать  
до свадьбы пройдет  
вот увидишь...

\* \* \*

*земную жизнь пройдя до середины*  
мы очутились сами знаешь где  
лишь ссадины лелея и седины  
и камешки с кругами на воде  
как в ветхой шали  
кутаясь в дороге  
я не жалею впрочем  
ни о чем  
а петр спит на каменном пороге  
с зажатым в пальцах сломанным ключом

\* \* \*

... и услышать в минуты затишья  
как в неровном колышется ритме

жизнь  
случайное четверостишие  
с неуклюжей глагольной рифмой...

\* \* \*

неровный пульс так короток и тонок  
что пальцами почти и не нащупать  
и бьется как испуганный ребенок  
в объятьях глупой матери  
душонка  
а остальное кажется в порядке  
могу дышать  
и улыбаться тупо  
и совершать забавные движенья  
застрявшего в удаве лягушонка

\* \* \*

то летаю  
то лютую  
то тоскую  
то таскаю  
свою голову пустую  
тесно сжатую висками  
и растраченный впустую  
почерневшим снегом таю  
то ласкаю  
то рискую  
то лютую  
то летаю

\* \* \*

в пыльном мотеле  
на протертом до дыр диване  
прижиматься к друг другу  
воплощением ин и янь  
как и сто лет назад  
лишь коньяк с житаном  
поменяв на теплый виски  
и вонючую кубинскую дрянь  
всю ночь читать тебя по слогам  
аз  
буки  
веди  
а потом лететь домой через пару штатов  
и думать под пенье шин  
что жизнь похожа  
на мятый жетон из зеленой меди  
брошенный кем-то сдуру  
в сломанную ice-machine

\* \* \*

не жури меня мой свет  
что сижу на попе я  
у меня ж и жизни нет  
только ксерокопия

\* \* \*

надкусили адамово яблочко  
надорвали румяную кожу  
почему-то от этого мамочка  
все недужится мне да неможется:

то ли солнце скворчит папироскою  
то ли глупые мысли всклокочены  
то ли ставни горбатыми досками  
до неблизкой весны заколочены

\* \* \*

...вот клок моей неровной суши  
где в два притопа  
в три хлопка  
танцуют вяло гопака  
полузадушенные души  
еще не мертвые пока  
где полуночная тоска  
стекая как вода из крана  
блестит обманчиво и странно

в безумных прелестях экрана  
и в пьяных бельмах мужика  
в моих  
где зябкая рука  
тепла твоей ладони ищет  
где ухо долготы гудка  
не слышит  
господи  
не слышит  
в замерзшей трубке телефонной  
где мир бездумный заоконный  
потусторонний  
полусонный  
посконный  
костный  
толоконный  
щелчком работника балды  
воздаст нам грешным за труды...

\* \* \*

весь мир по полочкам разложен  
а я в нем мыкаюсь  
не зная  
что он безжалостно возможен  
в твоё отсутствие  
родная

\* \* \*

любимая  
вот если б бес попутал  
но он и сам выпутываться рад  
и вместе с нами дергает подряд  
за сны и струны  
за пути и пуги  
петля все туже с каждой минутой  
и с каждым вздохом холоднее взгляд  
а в темном небе ангелы летят  
и нас не замечают почему-то...

\* \* \*

верим нехотя  
любим робко  
на бегу представляя вкратце  
жизнь как спичечную коробку:  
чиркнуть  
вспыхнуть  
сгореть  
сломаться

\* \* \*

лето было коротким  
натянутым как струна  
в воздухе пахло гарью  
тлели леса и души  
он точно сошел с ума бы  
если бы не она  
а с нею стало легче дышать  
говорить и слушать  
но сказка однажды кончилась  
с неба спустилась тень  
ветер сделался нервным  
порывистым и упругим  
они жили долго  
и умерли в один день  
в разных частях планеты  
думая друг о друге

\* \* \*

...но жизнь твоя беспечна и легка  
и так легко не разглядеть вначале  
что тонкой нитью жилка у виска  
стучится мерно в такт твоей печали...

\* \* \*

хватит о грустном  
давай о деле  
сумрачны духи в здоровом теле

трудно в учении легко в постели  
все получили чего хотели  
скомканным сором полна копилка  
к завтраку ссора  
ко сну бутылка  
нимб нарисованный у затылка  
пальцем любовника  
имя  
ссылка...

\* \* \*

слов так мало  
их  
как банкноты мота  
изорвали  
вытерли  
изорвали  
на губах молчания позолота  
серебра бы милая  
серебра бы

\* \* \*

любят девочки мальчишек  
но недолго  
а потом  
любят мишек  
без штанишек  
или зайчиков в пальто  
вот такие блин вопросы  
жизнь нам ставит  
мужики  
то ли вновь пальто набросить  
то ли стягивать портки

\* \* \*

...я пишу тебе в записке  
на клочке бумажки в клетку  
что скучаю  
и шалею  
и что кажется  
опять  
деревянный  
и непрочный  
мир похож на табуретку  
он качается под нами  
подозрительно скрипя...

\* \* \*

я пойду с утра на рынок  
и куплю себе матрешку  
с разрисованной улыбкой  
нераспятого христа  
и замызганный кулечек  
одиночества за трешку  
потому что больше денег  
не осталось ни копейки  
и поеду на трамвае  
в неудобную фатеру  
возле старенькой котельной  
с почерневшей трубой  
чтобы в темной пыльной спальне  
гарью пахнувшей и серой  
у расшатанной кровати  
снова встретиться с тобой  
и в глазах твоих соленых  
не увидеть сожалений  
что так криво и неловко  
и совсем не по-людски  
мы мотаемся и рвемся  
между судеб лет и мнений  
не умея верить в чудо  
или сдохнуть от тоски...

\* \* \*

говорила мне той зимой  
мой  
убеждала не верь часам

сам  
нынче ж носишь свой новый нимб  
с ним  
ну а я в сотый раз пустой  
с той  
все шуршу себе по кустам  
там  
по задворкам да по задам  
дам  
потому что куда верней  
с ней  
за нее не болит душа  
ша

\* \* \*

...и я ломаясь словно ветка  
дышу от боли и до боли  
мир без тебя пустая клетка  
а с этим справиться легко ли...

\* \* \*

ах ленка-ленка  
кто тебе парис  
пастух  
мальчишка  
выскачка  
задира  
с ним разве счастье  
только и держись  
за полы недошитого мундира  
за кромку королевского венца  
за грани ускользящих реалий  
за обещанье быстрого конца  
еще не начинавшихся баталий  
с самим собой...  
а эллины хитры  
без лишних сантиментов и уныний  
их легкие походные шатры  
всегда у стен слабеющей твердыни  
лишь дай им повод вновь пойти на вы  
минута – и железная фаланга  
спешит на штурм  
и кто-то скрытный с фланга  
ползет среди нескошенной травы  
в глубокий тыл вершить лихое дело  
жечь пригороды  
резать часовых  
и голосом полуночной совы  
перекликаться в сумраке...  
умела б ты себе вообразить тогда  
итог почти невинных увлечений  
но ты была красива и горда  
а красота слепа  
без исключений...

\* \* \*

офелия  
зачем тебе париж  
он суетен  
прокурен  
неспокоен  
в нем чуть зажмурь глаза  
уже летишь  
с готических соборных колоколен  
куда-то вниз в синеющую даль  
изящной кисти модного маэстро  
в продрогший и издерганный февраль  
в котором не осталось больше места  
ни жалости  
ни нежности простой  
ни треска закопченного камина  
где время  
вечный мастер пантомимы  
без гнева и стыда пронесит мимо  
души картинки памяти пустой  
они давно как мертвому припарка  
тебе и мне

зачем глядеть в упор  
на серый и пустынный эльсинор  
с деревьями заброшенного парка  
где больно давит нимб у головы  
и солнце вязнет в воздухе упругом  
где розенкранц и гильденстерн мертвы  
забытые и преданные другом  
где над тобой смыкается вода  
холодного дворцового пруда...

\* \* \*

шепот вспышек  
шелест раций  
клеток кэнонов и леек  
суетятся папарацци  
заводясь без батареек  
будут проданы в газеты  
счастьем полные бидоны  
будь то джексоновские детки  
или родинки мадонны  
только я стою в сторонке  
не акула  
и не рыбка  
в старой мыльнице  
на пленке  
у меня  
твоя улыбка

\* \* \*

подернута свинцовая вода  
случайными вуалями морщинок  
а фея снов  
размолвок  
и починок  
куда-то затерялась как всегда  
не сыплет в нас волшебным порошком  
и не трещит серебряным звонком  
со всей своей лихой недетской прыти  
а без него не тает в горле ком  
и только жизнь  
железным молотком  
вбивает нас  
в мозаику  
событий

\* \* \*

сказка ложь  
а правда клетка  
мне ж на это наплевать  
дай-ка милая пипетку  
будем горе пропивать  
пусть на дне дырявой лодки  
мутно плещется вода  
наливай стаканчик водки  
и две капельки стыда

эх судьба моя лукошко  
впору лихо собирать  
на душе скребутся кошки  
чтобы песней горло драть  
воды гладки ветры кротки  
остальное ерунда  
на стаканчик теплой водки  
дай мне капельку стыда

грянем выше на полтона  
про ядрену иху мать  
коли стонем не утонем  
будем как-то выгребать  
возле сучки погляди ты  
суетятся кобельки  
водку любят паразиты  
а стыда не капельки

\* \* \*

...я еще напишу тебе совсем другие письма  
о любви



и уважении к традициям  
и о том  
что я выйду в отставку  
сразу после войны  
и поселюсь под саратовом  
с тихой и незаметной женой  
и заведу дюжину ребятишек  
и обрасту щетиной и жирком  
как и положено уважаемому отцу семейства  
и буду выходить к обеду в халате  
спать в пижаме  
в надежде умереть в своей постели  
среди грелок и компрессов  
буду показывать сыновьям шрамы  
от ланцета  
выдавая их за сабельные удары  
а когда младшенькая  
непременно сбежит из дома  
с проезжим прохвостом  
буду пить дрянной арманьяк  
и украдкой плакать  
вспоминая тебя  
думая что и мы могли бы  
да вот духа  
все-таки  
не хватило...

\* \* \*

...здравствуй  
милая  
умер вчера телефон  
дожидаясь звонка  
не жури за неровный  
потерянный тон  
это просто тоска  
или мерзлые когти  
последней зимы  
а под ними вода  
кто-то держится за руки  
снова не мы  
до свида...

\* \* \*

в доме ангелы бродят на цыпочках  
сквозняки затаили дыхание  
мальчик маленький  
вот тебе скрипочка  
поиграй мне на ней на прощание  
как тогда  
неуверенно  
тоненько  
но светло  
и не грустно  
не больно, я  
ухвачусь за дрожащую тонику  
и растаю  
как пыль  
канифольная

\* \* \*

что за выдумки маменька  
полно-те  
мне на скрипке сегодня не хочется  
это черти  
не ангелы в комнате  
суетятся  
волнуются  
топчутся  
бьются в окна ветвями упругими  
вьются тенью  
изломанной  
тонкою  
бледный ангел укрылся  
испуганный  
в почерневшем углу  
за иконкою

\* \* \*

как же мне надоели до черта  
ваши вина отборного сорта  
ваши книги на тонкой бумаге  
мне до ужаса хочется браги  
и кабацкой влзни суматошной  
чтобы стало по-взрослому тошно  
чтобы было по-честному больно  
неслучайно  
нежданно  
невольно  
чтобы мыслью пробило до дрожи  
неужели живу еще  
боже

## СЕРГЕЙ ЯРОВОЙ

### Сонет № 1

*В Талмуде упоминается загадочная река Самбатсион, или Саббатсион, "бросающая песок и камни из огненной воды". Чудесным свойством Самбатсиона является то, что эта река совершенно непреодолима по будним дням, но с наступлением субботы она затихает. Евреи, живущие по ту сторону Самбатсиона, не имеют возможности перейти реку, так как это было бы нарушением шаббата, и могут лишь переговариваться со своими соплеменниками по эту сторону реки, когда она затихает. О Самбатсионе писали древние историки Иосиф Флавий ("Иудейская Война", 7:96-99) и Плиний Старший ("Естественная История", 31:34).*

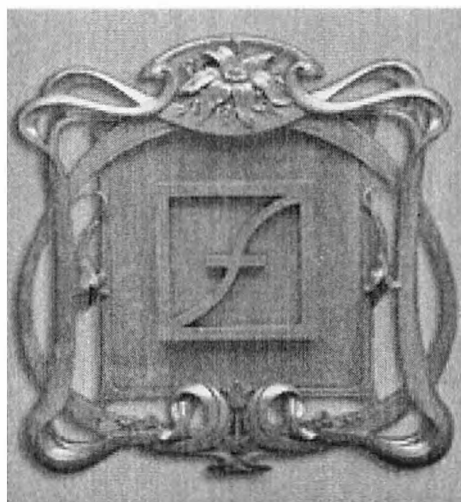
Самбатсион, река камней, струясь  
Долиной к неизведанным пределам,  
Нас разделяет, рвется с миром связь,  
Еще не словом, но – безумным делом.

Оживший миф. Зловеще вьется пыль,  
Ревет поток, ярится камнепадом.  
О, эта грань времен! О, эта боль –  
Жизнь на границе ада с райским садом!

Дерзнешь ли перейти камней поток,  
Едва застынет он субботним часом?  
Не убьешься ль, что коварен рок?

Прах сединой на головы ложится...  
И правит всем непостижимый разум,  
А в небе не журавль, а синица.

24 апреля 2005



Светлана и Леонид Закурдаевы. Резьба по дереву.

### Сонет № 2

Храм, призраком возведенный в пустыне,  
Пристанищем спасительным нам стал,  
Наставника его увидеть ныне  
Дано лишь сквозь магический кристалл.

Что заслужил он, одинокий воин  
Храня сии священные места?  
Был рыцарь за заслуги удостоен  
Роз терниев и бархата креста.

Возделывая Храм, подобно саду,  
И день, и ночь, не покладая рук,  
Вселенную он получил в награду:

Тягучий вечный сон, в котором птицы  
Чрез пентаграмму, вписанную в круг,  
Несут погибель Зверю и Столице.  
*21 марта 2005*

### Сонет № 3

Возвышенным сонетом сделай жизнь,  
Отточенным творением поэта,  
В ненастье, в счастье ль – равно дорожи  
Весны катреном и зимы терцетом.

Познав гармонию небесных сфер любви,  
Исчислив алгеброй пропорций совершенство,  
Ты истинной любовью назови  
Страдания сплав с восторженным блаженством.

Будь всё и вся, будь мудр и весел ты,  
И, наконец, пред ликом пустоты,  
Омытая слезою вешних гроз,

Росой кровавой, под шипами роз  
Рожденной, упадет душа, чиста,  
В разверстые объятия креста.  
*17 марта 2005*

### Сонет № 4

Так рвутся дни на лоскутья мгновений,  
И полночь мнится серединой дня,  
Так с холодом ночных прикосновений  
Смешался пепел мертвого огня.

Воображение видит дальше зренья,  
За иероглифом, угадывая кровь,  
Прозренья отделяя от презренья,  
И ад из них замешивая вновь.

Сочится отравительная немочь,  
Не тысячи ли это мертвых лун  
Как из могил, настойчиво и немо  
К нам тянут лапы из слепых лакун,

Из снов, где, вспугнутые выводком мышат,  
Песчинки времени встревожено шуршат.  
*27 июня 2005*

### Сонет № 5

*Пятый буддийский патриарх Хунжэнь  
ищет преемника В результате конкурса  
на лучшую гатху выбирают Хуэйнена.*

Так слышал я. Однажды попросил  
Хунжэнь представить гатхой суть Ученья  
Шэньсю, любимый ученик, провозгласил,  
Что тело наше – дерево Просветленья,

А сердце – светлая подставка для зеркала.  
Мы протираем тщательно его,  
Чтоб и пылинка на него не пала,  
Усердья не жалея своего.

Был Хуэйненом дан иной ответ:  
Не древо – Бодхи, разве вы забыли?  
Подставки у зеркала вовсе нет,

И пуст есть изначально белый свет.  
Откуда же, скажите, взяты пыли?  
Да славит эту Истину сонет!

*Август 2005*

### Сонет № 6

Сползали сны на мокрую страну,  
Лишь журавли курлыкали угрюмо,  
Да нарушал лесную тишину,  
Звук колокола глухо, как из трюма.

Туман поля окутал молоком,  
К дубраве жался ватными клоками,  
Мохнатым, безобразным пауком  
Взбегая на пригорки меж колками.

Как тать в ночи, подкрадывался снег,  
Толкались пни замшелыми боками,  
Мерцали совы очи маяками,

Беспомощный, скитался человек,  
Запутываясь в грезах меж трех сосен.  
Крылами ангела всё укрывала осень.  
*21 октября и 9 декабря 2005.*

### Сонет № 7

*Ирине Сергеевне Белецкой*

С ветвей срывались ворохи миров –  
С орбит рвались скопления галактик,  
Упрятывая в шепчущий покров  
Приверженцев духовных тайных практик.

Тончала нить, и нисходил покой,  
Мозаика пространство укрывала,  
И откликалась вековой тоской  
Душа, исполненная вечного начала.

Мир соткан из случайных пестрых снов,  
Проявленных в великом афоризме,  
Из дивных снов бессмысленных, из слов,  
Произнесенных не в своей отчизне.

Нас множество, бесчисленных миров,  
Соединенных тонкой нитью жизни.  
*5 ноября и 9 декабря 2005*

## ЕЛЕНА МАКСИНА

### ЛИТОГРАФИЯ

Филадельфийский сюр: разгар зимы,  
Дождь медлит, не решается стать снегом,  
Гуашью растекается под небом,  
Окрашивая утренние сны.

Дождинки укрупняются и льнут  
Друг к другу, разбиваются о ветки,  
И город, как раздетая конфетка,  
Блестит и растворяется во рту.

Но первый снег берёт свои права –  
Выстреливая редкие частицы,  
Проходим попадет на ресницы,  
Сражая красотою наповал.

И улица стихает... тормозит...  
Теряет цвет, объём под слоем мела,  
Лишь девочка в пальтишке чёрно-белом  
По зимней литографии скользит...

## ЯНВАРЬ В КОНЬКАХ

...коньки — январский антидот:  
чертить по льду косые знаки  
и вспоминать июль и маки —  
так, встретить старый новый год.

...в двойном тулупе воспарив,  
нестись стрелой навстречу цели —  
сгореть кометой в атмосфере,  
хвостом восьмёрку начертить.

...разбив инерцию воды,  
разрезать лёд на сотни граней,  
и растворить в резном стакане  
сопротивление среды.

...забыть про минус 25,  
плюс 30 и бесснежный ветер,  
закрыв глаза, мечтать о лете,  
и поскользнувшись, хохотать.

...вот так, скользить по январю  
через февраль к началу марта,  
взлетев над плоскостью Декарта,  
и напевая «я люблю...»

## МОСКВА

Семиугольный ранящий магнит, —  
Ты женщина распущенного нрава,  
Которая волнует и манит  
И колет слева, а целует справа.

Столь разная — ты блеск и нищета,  
Контрастная — ты в ладане и в поте,  
Заразная и праздная мечта,  
Распятая мадонна, в позолоте.

Ты — радуга бульварного кольца  
И слякоть переходов на “Динамо”,  
Ты — шахматная партия отца  
На лавке во дворе...  
И голос мамы.

Цветаевская первая весна,  
Последняя булгаковская осень,  
Соседка из квартиры номер восемь —  
Любовница-Москва...  
Но не жена.

## БОРИС ГАНКИН

### БАХ ИГРАЕТ НА ОРГАНЕ

Ударяя толстыми пальцами в клавиши,  
Бах упивался, наверно, звучанием  
музыки,  
стены собора качающей  
и возносящейся звездным сиянием.

Уже клавишин пел негромкие песни,  
и клавикорды в дворцах звучали.  
Но для разговоров с Богом чудесных  
были они пригодны едва ли.

И только орган, сотрясающий стены  
басами своими, страстно-неистовыми,  
мог достигать и говорить с небом  
всеми своими регистрами.

Играет Бах.  
Канделябры качаются.  
Играет Бах — сын давнего века....

И не знает,  
что в толстых пальцах рождается  
связь между Богом и человеком.

## ЯСНОЕ УТРО СЕНТЯБРЯ

Спицей солнечных лучей  
связан полог неба синий,  
утренний хрустальный иней,  
стаяка тающих грачей.  
В необычном макраме  
вырисованы искусно  
рос серебряные бусы,  
райских яблок карамель.  
Я, влюбленно восхищен  
каждой ниточкой в той вязи,  
молча постою под вязом,  
спрячусь в тень под красный клен.  
Тянутся за лес столбы,  
озеро сверкает ярко...  
Кажется, иных подарков  
и не надо от судьбы...

## НАЧАЛО ПЕТЕРБУРГА

Забрызганы чулки и башмаки  
привеской грязью.  
Кружева измяты.  
По гати катят легкие возки,  
кареты, дроги...

Русь спешит куда-то,  
гонима мощной жесткостью царя.

А в головах под париками робко:  
— Ох, погоняет Петр Россию зря.  
Идти бы ей не гатью — тихой тропкой...  
Вон сколько уложили мужиков,  
порушили имений и усадеб!  
В России много лет не слышно свадеб —  
Гром пушек да движение полков...

Но грозен Государь.  
Среди болот  
то тут, то там уже восходят стены,  
и крепость быстро на Неве растет.

На жизнь и смерть давно уж сбиты цены,  
уют московских теремов забыт,  
заброшен вековечный старый быт,  
и катят гатью легкие возки,  
и в черных пятнах модные чулки...

## АПРЕЛЬСКИЙ ДОЖДЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

На Итальянской тарантеллу  
плясал апрельский дождь с утра,  
и струйки проникали к телу  
сквозь курточки и свитера.

Нам было мокро по-русски,  
но было весело опять  
под этот танец итальянский  
вдвоем по Питеру шагать.

Мы шли к калалу.  
Многоцветьем  
Спас на Крови над ним играл.  
И, разгулявшись, легкий ветер  
с разгону под мосты нырял.

Был город отражен асфальтом,  
и мост в канале отражен.  
Как акробат, веселым салто  
нас радовал внезапно он.

Всё пело, шлепало, звенело:  
апрель правленье в руки брал...

На Итальянской тарантеллу  
дождь с южной радостью плясал...

## КОННЫЕ ПАМЯТНИКИ

Сколько золотых коней  
мчат куда-то по столетьям,  
сколько памятников этих  
носятся средь наших дней!  
Где-то в Питере, Москве,  
в тихой Праге, шумном Риме  
в бронзово-зеленом гриме  
мчат куда-то по траве.  
По булыжнику стучат,  
по асфальту – дробный цокот  
сквозь дождя веселый хохот,  
крики маленьких ребят.

На конях тех золотых –  
императоры и принцы.  
Им бы всем остановиться  
хоть на малый передых.  
Вздрыбленные кони тех,  
что властителями были –  
посреди автомобилей  
и теперешних потех.

Равнодушные, порой  
мы любимся конями,  
их раздутыми ноздрями,  
чудо-гривой золотой.

Кто те всадники?  
Сейчас  
нам они неинтересны:  
от своих хозяев тесно!  
Кони привлекают нас  
статью, мощью мышц и жил,  
страстью, бешеным аллюром,  
солнцем на горячих шкурах  
да избытком юных сил.

## ФЕРТ

*Ферт – фат, щеголь (из толкового словаря)*

Давал приезжий ферт концерт.

В костюме от Версаче ферт  
на сцену выбежал легко  
со скрипочкой в руке.  
Был несолиден.  
Ростом мал.  
Улыбкой дерзкою сиял.  
«Ах, надо же!..» – подумал зал...

Но где-то вдалеке  
взлетел смычок,  
родился звук,  
другие набежали вдруг –  
и повели туда,  
где снега шли,  
дожди текли,  
трава пробилась из земли,  
а реки – из-под льда.

И зал, поддавшийся вперед,  
не мог понять, где ферт берет  
все эти звуки,  
как ведет  
весь зал он за собою...

Давал проезжий ферт концерт.  
Был от Версаче он одет.

Но с музыкой в ладу был ферт  
и был в ладу с судьбою...

\*\*\*

Нет намека изящней и тоньше,  
чем раскраска клавиатуры:  
белых клавиш всё-таки больше,  
что и надобно для культуры.

\*\*\*

Было холодно много недель.  
Жизнь текла, небогата на ласку.  
Но сегодня открыл Рафаэль  
тайну синей светящейся краски.  
И ударила кисть в полотно,  
и глаза широко растворились!...  
И от глаз синевы заодно  
небеса за окном засветились.  
Синий плащ прикрывал облака,  
по которым шагала Мадонна.  
Теплый ветер дул издалека.  
Мир стал ласковым.  
Небо – бездонным.

## СОН О MOULINE ROUGE

*Mouline Rouge...*

Художники, подвыпив,  
что-то обсуждают горячо.

Время соль на раны чьи-то сыплет,  
холм Монмартра поднят,  
как плечо  
города.  
Внизу – огней движенье.  
Сверху – неподвижность звезд и лун...

Время, неподверженное тленью.

Может, этот город – просто лгун:  
ведь ему – за тысячу.  
А – молод!  
А еще – красив, вихраст и юн.

*Mouline Rouge.*

Меня волнует холод  
этих бесконечных звезд и лун.

А еще волнует, что у двери  
тень Моне,  
и Модильяни – с ней,  
что извечной лжи во сне я верю:  
днем мне с ней и проще, и ясней.

Всё забыто:  
годы и невзгоды,  
с неба вниз спускается квартал,  
и несет влюбленных к небосводу  
худенький подросток Марк Шагал...

\*\*\*

Становились у суженой  
глаза суженными:  
то ли вглядывалась в свет,  
то ль искала, в чем секрет  
моего счастья  
и ее власти...

А секрет открытым был:  
суженую я любил  
и за взгляд суженный,  
и за жизнь, натруженную  
многими заботами  
да вечными работами...

*ДЖ*

Зёрна ли, звёзды с ладони у Бога  
Тихо губами снимает рассвет.  
Свет мой, прости – опоздала немного.  
Вот и тебя уже нет.

В осень ты вечную канул, в весну ли –  
Это уж воля твоя...  
Свет мой, мы в пропасть с тобой заглянули  
С разных начал бытия.

Ночь искрошилась на влажном изломе  
Стылого, бледного, бедного дня.  
Искры всего не достало соломе.

Свет мой, молись за меня.

*Пане*

...Вот качнётся разок на висячем мосту  
и направится в эту долину в цвету,  
где костров не палят, где не пьют, не поют,  
но уже никого никогда не убьют.

И, лицом обратившись к мерцающей мгле,  
Он подумал, что пожил на тёплой земле,  
Но такие настали на ней холода...  
Повернулся, и скрипнули доски моста.

Только в свете размазанных по небу звёзд  
Занесло одинокую лодку под мост,  
Чёрной чайкой качнуло над чёрной водой,  
И зевнул весельчак: – Не серчай, молодой!

Пошутили, подумашь, ё-мумиё,  
Воротись-ка домой, догуляешь своё.  
Хочешь, сам отвезу, хочешь, прыгай – да вплавь...-  
...Но пожал он плечами и бросил: – Оставь.

**Вариация на тему**

Опять февраль наплёл с утра  
Три короба вранья.  
– Ты дышишь легче, чем вчера.  
– Навзрыд, – сказала я.

Он пел, шептал и шелестел –  
Воды ему не жаль.  
Врал вдохновенно, что хотел –  
На то он и февраль.

И всё бубнил: спроси, спроси!  
Ведь ты ж хотела знать!..  
...О чём же? Боже упаси,  
счастливым не понять.

Кого тут спрашивать, зачем?  
В том нет ничьей вины,  
Что нас так страстно тянет к тем,  
Кому мы не нужны.

\*\*\*

А дьявол, не к ночи, пирует в печи,  
Голодный, весёлый и злой.  
Но ярость, что нынче бушует в ночи,  
К утру обернётся золой.  
Он станет нежней, чем отец или брат,  
Покорней, чем ласковый зверь.  
О нём не такое ещё говорят...  
Ты, если не хочешь, не верь.  
Но косм его рыжих коснуться не смей,  
Но губ его чёрных не тронь.  
Никто никогда не ласкает страшней,  
Чем нежно влюблённый огонь.

\*\*\*

*«Пернатым легче...»*

М. Щербаков

Снова гонит тоска на бывшие места –  
Разве ж память откажет?  
Пена грязи под сводом того же моста,  
И водица – всё та же.

Да и голуби те же, Господь их храни,  
А чего ты ждала-то?  
И бездумны они, и бездумны они,  
И крылаты, крылаты...

Что там внутренний голос тебе говорит?  
Не завидуй пернатым.  
Поброди по Музею Разбитых Корыт,  
Подивись экспонатам.

Ты же видишь – неважно, что будет потом,  
Если нынче – всё то же:  
Та же пена и та же вода под мостом,  
Те же голуби, боже...

\*\*\*

... И вспыхнули, свет мой, и живы.  
Горим ли – о том помолчи.  
Искать невеликой поживы  
Отправились губы в ночи.

Изменчивы нежности лики.  
Мой ангел, не всё ли равно,  
Что тrefы, и бубны, и пики  
Сегодня смешались в одно?

Но сладко, и больно, и жалко,  
Что пламени свечка под стать.  
И смутные карты гадалка  
Не в силах сама прочитать.

Да много ли тёмная скажет?  
И в том ли секрет ворожбы,  
Что спутались линии наши  
На смуглой ладони судьбы?

И толку ли каяться, милый,  
И плакать над этой судьбой?  
Мы так безнадежно бескрылы,  
Мы так безнадежны с тобой...

**Годовщина**

Так тихо, так просто,  
Как в полдень с погоста,  
С корзиной рябины с могилы твоей  
Вернется, немая, уже понимая  
Что тайна сия не откроется ей.

Что цепи так тонки, что звенья так слабы,  
Да что ж тут поделать, раз дверь на замке.  
И вззоет тоска, полупьяная баба,  
Рябою кликушей в дырявом платке.

\*\*\*

*Ik trok een streep...*

Toon Tellegen

Угомонись, не прекословь.  
Ни шагу за черту!  
Но тянет за руку любовь  
В такую темноту,  
Что лишь полшага – и навек  
Прощён – иль проклят ты...  
Мой бедный чёрный человек,  
Не преступай черты.

\*\*\*

*à toi*

Шита белыми нитками наша любовь –  
Метеорная черная осень.  
Листопады, ограды, гудки поездов –  
двадцать шесть – тридцать семь – сорок восемь...

Мокрый плющ у стены, пять часов тишины –  
Только ахают стрелки по кругу –  
Но светает, и вот мы с тобой не нужны  
Ни плющу, ни себе, ни друг другу.

На губах еще корчится имя твоё,  
Но запели уже, засвистели...  
И прощание скомкано, словно бельё  
На заправленной наспех постели.

\*\*\*

...Не ждать, не просить и не верить.  
И вроде бы всё решено.  
Но ветер, вломившийся в двери,  
Упрямо захлопнет окно.

Взорвётся осколками рама –  
Уймись! Не дразни! Не гневи! –  
... и брызнет дешёвая драма  
с изрезанных пальцев любви.

\*\*\*

Ожидание тоски выпускает ростки:  
Тяжелеет к ночи голова.  
Что с того, что у страха глаза велики –  
Он незряч, как дневная сова.

Ожидание звонка – пострашнее тоска,  
Глубже, горше, сильнее и темней.  
И не страшно, не страшно, что жизнь коротка.  
Страшно то, что мы делаем с ней.

Отгибай лепесток, мой полночный цветок,  
Наливайся крошечным свинцом.  
А к рассвету багрянцем набухнет восток,  
Как запястье – кровавым рубцом.

#### Маятник

*Лёле*

Маятник, оба мы, видно, больны  
Хворью зелёных кровей  
Той, от которой зрачки солоны,  
И по губам суховей.

Рыжая индия, красный мадрас,  
Чёрный пустынный песок  
Смерти не будет.  
Но кто мне сейчас  
Мерно стучится в висок?

Перцем на веки и солью на лёд  
Сыплет полночная муть.  
Маятник, если тебе повезёт  
Сможешь сегодня заснуть.

Что ж ты не слушаешь песню сестры  
Про золотого сверчка?  
...Больно-уж-звёзды-сегодня-остры  
В чёрном разрыве зрачка.

Ластится к горлу летучая мышь,  
Ласково скалит клыки...  
Маятник, маятник, что ж ты не спишь?  
...Больно-глаза-велики...

\*\*\*

Всё небо – в облачной проседи,  
Что снег – в застывшей золе.

Темна печаль твоё, Господи,  
Об этой тёмной земле.

Да полно, стоит ли маяться,  
Тревогой сердца не рви.  
Мы и хотели б покаяться,  
Да нет грехов у любви.

А с неба падает, сеется,  
И след не найдёт следа.  
Позволь хотя бы надеяться,  
Что это просто вода –

Ковшами, лейками, вёдрами,  
Куда нам столько – Бог весть...  
Задумал-то ты нас добрыми.  
Да вот какие есть...

\*\*\*

Да неужто мне вечно по этим платить векселям  
За минутную слабость – годами, годами, годами...  
Как неистовый всадник, промчался Февраль по полям,  
Лишь дыхание вьётся над конскими злыми следами.

То-то вольно ты дышишь, наездник; а мне не вздохнуть,  
Лишь со свистом клокочет в гортани подобие крика.  
Мне б в седло к тебе вспрыгнуть  
да рысью по полю махнуть –  
Да ведь ты же летучий – тебя остановишь, поди-ка:

Крикнул, гикнул, пришпорил конягу – и скрылся вдаль,  
Растворился в тумане – и кони бывают крылаты...  
Ну куда мне с тобою – такие проценты взошли,  
Что пора бы, пожалуй, подумать о средствах оплаты.

#### Саламандры

*В.В.*

Куда швырнёт нас новая волна  
Из глубины залива обжитого?  
С какого мёда захмелеем снова?  
Каким огнём надышимся сполна?

Дай бог – туда, к неведомым местам,  
В кристальный рай кораллового мыса,  
К иной луне, и травам, и цветам,  
И к нежности целительного бриза,

Что шёлком льнёт к исхлещанной щеке  
И прежних ран разглаживает струпы...  
Но бьёмся мы, как рыбы на песке,  
На раскалённой отмели безлюбыя.

\*\*\*

Туман поднимается – тёмный, тягучий, густой,  
Смывая пустые леса и пустые дороги  
Не знаю, смогу ли поладить с такой пустотой  
Глухой и безглазый, безмолвствует день на пороге

Ты хочешь, чтоб я говорила с тобою – изволь,  
Вопросов с лихвой за пределами этого круга.  
Зачем мы придумали эту прекрасную боль?  
Зачем мы с тобою так страстно не любим друг друга?

Зачем так жестоко, так зло мы покорны судьбе,  
На ощупь дорогу держи по расставленным вехам?  
Зачем ты никак не даёшь мне забыть о тебе?  
...И небо пустое пустым отзывается эхом.

#### Дом престарелых Женские портреты ДОРИС

Не томи её, брат, не томи там,  
День не кончен, хоть в окнах – на зги,  
И во взгляде, от жизни отмытом,  
Тихий ангел сужает круги.

В теле-сне обескровленных комнат  
Грезит сумрак с распахнутым ртом.  
Дорис были обещаны – помнит!  
Сигареты. – Покурим? – Потом...

Безмятежна, как сытый младенец,  
Тихой сапой – сам Сон босиком –  
Бродит Дорис меж дремотных пленниц,  
Не знающих, что – под замком.

Вот плывёт она, вытянув руку,  
И поди ж ты не дай, обмани!..  
Что ж нам делать с тобою, подруга?  
Мне ведь сказано было: ни-ни...

Пятый раз прилетает сегодня  
На запретный огонь мотылёк.  
Что осталось ей? Ласка господня  
Да с жаровни его утолёк.

– Сигареты, мадам! Сигареты!.. –  
и улыбка слепа и остра.  
...да плевать мне на эти запреты.  
– Вот, с ментолом. Покурим, сестра.

### ФРИДА

Здесь говорить умеют даже звери,  
А Фрида ничего не говорит.  
Но, что ни ночь, она стоит у двери,  
Проклятие бессонных Маргарит.

Всё слыша, ничего не понимая,  
Страшась находок больше, чем потерь,  
Дрожащая, слепая и немая,  
Она стучится в запёртую дверь.

Всё прощено, и всё давно забыто,  
Не сладко ли забвение твоё?  
Не этого ли ты хотела, Фрида?

К чему теперь расспрашивать её,  
Когда, как часть вечернего обряда,  
Трясущаяся комкает рука  
В кармане неопрятного халата  
Больную зелень влажного платка.

### ЛИЛИ

И вот ведь суметь – восемь душ родить,  
Каждый день – нет-нет, да к тебе зайдут.  
И ведут гулять, и зовут крестить,  
И глядят в глаза, и чего-то ждут.

Тормошат: – Скажи, как меня зовут?  
– Ты, наверно, Пьер? Ты, наверно, Поль?  
... и ушла в цветы, в трин-разрыв-траву...  
– Потанцуй, Лили.  
– Я – Мари!  
– Изволь.

...А зачем мне спать? Я вчера спала.  
Говорят, сегодня мне нужно есть.  
Ах, сегодня – нет, у меня дела.  
А который час? Это сколько – шесть?

...И плывёт Лили по траве-цветам.  
В темноте – к звезде, по сырой воде.  
Ох, на что ж ребро ты пустил, Адам –  
Восемь душ детей к сорока годам,  
Одного бы вспомнить – куда там, где...

### МАРГАРИТА С ЦВЕТКОМ

В час, когда на столе засыпает цветок,  
И Марго устаёт от любви жениха,

Сон её ударяет распатыем в висок –  
Отдохни до рассвета, усни без греха.

И, клубясь, точно дым под морозной луной,  
Он целует её в окровавленный глаз.  
«Каждой грэгни – по Смиуту. Ты будешь со мной.  
Я клянусь на распатые – сегодня. Сейчас».

А когда наступает рассвет, наконец,  
И усталые сны оправляют кровать,  
Просыпается дом одиноких сердец.  
Лишь Марго позабыла, что нужно вставать.

Ей глаза без ресниц омывает восток.  
Не солгал, не оставил.  
Как тихо вокруг.  
– Что случилось?  
– Я спал, – отвечает цветок.  
И распатые не вынуть из стиснутых рук.

### Восьмое февраля 2005 года

*Лёле*

Очищеньем души укрощается плоть,  
Но и ангелов тянет к земле.  
И в сердцах разметал наши карты Господь  
Вниз лицом на небесном столе.

Ты молилась, голубка, пред Ликом святым  
О прощенье – да только беда:  
Мы и сами себе ничего не простим.  
Лишь друг другу – наверное, да.

Ох, не бейся, сестра – не сложились игра,  
Наших бесов ничто не возьмёт.  
И опять о гору разобьётся гора...  
А Господь лишь плечами пожмёт

И вздохнёт, не подняв опечаленных глаз,  
Устремлённых в кромешную тьму...  
Ведь кому же он станет молиться за нас?  
Разве только себе самому.

### ОЛЬГА РОДИОНОВА

\* \* \*

У нас с тобою – не в глаз, а в бровь  
Всегда, и всегда – одно:  
Я знаю, красное – это кровь.  
А ты говоришь – вино.

Нам врозь влюбиться, и врозь остыть,  
И каждого Бог простит.  
Я знаю стыд, и ты знаешь стыд,  
Но он у нас разный, стыд.

Отговориться былым грехом,  
Паскудством, дурным стишком?  
Но там, где ты – на коне верхом,  
Там я – босиком, пешком.

Огонь – по жилам бежит, а дым –  
В глаза, вот и песня вся.  
У нас с тобою Господь один,  
Да разные небеса.

Нам всё поделом, по делам, а наш  
Разводчик – в разрезе глаз.  
Я жду, когда ты меня предашь  
В пятьсот азиатский раз.

Ходящий по водам, пескам, звездам  
Не видит путей простых.  
Но знай: я тоже тебя предаю.  
И ты мне простишь, простишь.



## гамлет – офелии

так получилось, нимфа, прости, не плачь  
в наших пенатах музы не носят брюк  
поистрепался мой пилигримский плащ  
рыцарский облик тоже слегка обрюзг

в дании принцев учат сажать редис  
это полезно – лучше, чем жрать вино  
в общем, не парься, бэйби, не простудись  
я простудился – мне уже всё равно

сплю да гуляю, думаю, снова сплю  
вынес вот на помойку словес мешок  
только не начинай про люблю-люблю  
я ведь уже ответил: *всё хорошо*

## офелия – гамлету

нет, ваша милость, я тебя не зову.  
(хотела сказать: не люблю, – не вышло, ну, значит, так).  
я сочиняю песенку, донник рву,  
выше шумит река, подпевая в такт.

мокрый рукав елзлит, бумагу мнет,  
песенка осыпается мимо ног.  
даже тебе теперь ее не собрать,  
мальчик, когда-то любивший меня, как брат.

(хотела сказать: как сорок тысяч, да всё вранье, –  
вон они, сорок тысяч, – галки да воронье).

знаешь, что я узнала, став, наконец, рекой?  
жить под водой нельзя. Поэтому никакой  
тут отродясь живности, кроме жаб,  
не было бы, когда б не моя душа б.

ладно, молчу-молчу, и пока-пока.  
лучше б я замуж вышла. За рыбака.

## Ане

Ты целуешь себя перед тем, как покинуть дом.  
Я целую дом свой перед отъездом в Канны.  
Одиночество в сердце борется со стыдом,  
Друг на друга ставя призрачные капканы.

Удержись, моя радость, покуда твой воздух чист,  
В Нагасаки, в пыльной и темной утробе боли.  
Ничему не верь, никого не слушай, лучись,  
Научись, например, ходить по канату, что ли.

Ты целуешь себя перед тем, как сойти в весну,  
Как шагнуть с ума и в зеркале отразиться.  
Я целую время, которое протяну  
До весны, что плачет, грезится и грозит.

Я целую дом перед тем, как уйти в кино –  
Мне покажут жизнь в деревне под Хиросимой.  
Одиночество неопасно, вполне смешно,  
Как шекотка – и точно так же невыносимо.

Ты целуешь себя, чтоб вернуться в себя назад,  
Но глаза грозят зеленым огнем номады.  
И когда ты плачешь, и сны по лицу скользят,  
Зеркала в прихожей мой бледный рот отразят  
Сквозь кровавый отпечаток бесстыжей твоей помады.

## Китай

а мне говорят: в Китае снег – и крыши, и весь бамбук  
мне нравится один человек, но он мне не друг, не друг  
столкнет и скажет – давай взлетаю, – а я не могу летать  
и я ухожу внутри в Китай, и там меня не достать

я там сижу за своей Стеной, и мне соловей поет,  
он каждый вечер поет весной, ни капли не устаёт

у соловья золоченый клюв, серебряное крыло  
поэтому мне говорить «люблю» нисколько не тяжело

внутри шелкопряд говорит: пряди, – и я тихонько пряду  
снаружи в Стену стучат: приди, – и я, конечно, приду  
в груди шуршит этот майский жук,

хитиновый твердый жук  
и я сама себя поддерживаю, сама себя поддерживаю

стоишь, качаешься – но стоишь, окошко в снегу, в раю  
на том окошке стоит малыш и смотрит, как я стою  
за той Великой Китайской Стеной, где нет вокруг никого,  
стоит в рубашечке расписной, и мама держит его

## 2

колокольчик – голос ветра – на китайском красном клене  
мне сказал татуировщик: будет больно, дорогая  
он собрал свги иголки, опустившись на колени  
на его лопатках птица вдаль глядела, не мигая

он достал большую книгу в тростниковом переплете  
будет больно, дорогая, выбирай себе любое:  
хочешь – спящего дракона, хочешь – бабочку в полете:  
это тонкое искусство именуется любовью

я его коснулась кожи, нежной, смуглой и горячей  
точно мед, в бокале чаином

разведенный с красным перцем  
будет больно, дорогая! – я не плачу, я не плачу,  
я хочу такую птицу, на груди, вот здесь, над сердцем

...колокольчик – голос ветра – разбудил нас на рассвете  
алым, желтым и зеленым дуновением Китая  
было больно, больно, больно!..

но, прекрасней всех на свете,  
на груди горела птица, никуда не улетающая

## \* \* \*

плещутся, плещутся в чашках обломки Селен  
пей ли, не пей ли, – осадок космической пыли  
может, тебя и любили, – наверно, любили,  
нежно целую болячки разбитых колен

звали тебя на заре, обходили в игре,  
звали во тьме, на Луне, на коленях качали  
эти качели, которые в самом начале  
каждой печали, как яблони в детском дворе

эти мечты о тебе, как следы на Луне  
холод, космический холод, разрыв оболочки,  
детские страхи, дощечки, занозки, болячки –  
всё о тебе, обо мне, о тебе, обо мне...

вот мы достигли Луны, на Луне тишина  
яблоки катятся, скрипы, шуршанье, прохлада  
райского детского сада, вселенского лада...  
ладно, любимый, не надо, я буду одна.

...звали тебя на заре, оставляли в саду  
лунные камни тропинок, забытые дети,  
сонные тени, как дети в гриппозном бреду,  
звали – ты помнишь, как звали тебя в Назарете?..

## \* \* \*

Вас ожидает в аэропорту  
Ласточка с дряхлой дареной во рту.  
Спит на лету.

Путаясь под самолетным крылом,  
Спящих летящих за толстым стеклом  
Видит в салоне, мелькая во сне  
Темною тенью на круглом окне.

Хмурый архангел с пентаклем во лбу  
Меж облаков затевает пальбу.  
Спи в комфортабельном узком гробу.  
Спи, вылетая в трубу.

Ласточка спит, превращается в лёд.  
Милый, зачем тебе этот полет,  
Грохот прощанья и шорох стыда...  
Ты не вернешься назад никогда.

Ласточка спит и стареет во сне,  
Не возвращаясь к весне.

\* \* \*

Свет-Иванушка, светозар,  
Лицом ясен, да взором древен.  
У тебя такие глаза,  
Что сбивают с пути царевен.

Нежность плещется через край,  
Колыбельные петли вяжет.  
Говорят, таких полон рай  
Там, у Бога, да Бог не скажет...

Омут мой, туман, озерцо  
Ледяное – вместо свадьбы!  
У тебя такое лицо –  
Только плакать да целовать бы.

Говорят еще, по весне  
С неба наземь дыра сквозная...  
Я видала тебя во сне.  
Как проснуться теперь, не знаю.

\* \* \*

Ты думаешь, смерти нет, перевозчик спит,  
И неувядаем сад, и атласна кожа,  
Почтовый ящик тесен, нектар испит,  
На рынке розы, и радость на них похожа,

И каждую среду – ярмарка до шести,  
И каждый пряник надкушен тобою сладко,  
И даже лед – чтоб норвежки скользили гладко...  
Но это неправда, радость моя, прости.

Харон не ведает сна. На дворе весна –  
Но эту розу – ты видишь? – побилло градом.  
Старушка была пленительна и юна –  
Теперь живет в деревне под Ленинградом.

Ее никто не помнит, и даже ты,  
И даже я, потому что я тоже, тоже...  
Никто из тех, кто тогда приносил цветы,  
Никто из тех, кто влюбленно глядел из ложи.

Кружись, кружись на праздничном колесе,  
Пока среда, пока на пороге лето.  
Ты тоже боишься смерти – как я, как все.  
Поэтому я целую тебя. За это.

\* \* \*

"– Не пей вина, Гертруда!  
– Простите, сударь, но мне хочется".  
(В. Шекспир "Гамлет")

Гертруда, мы умерли оба,  
Мы выпили чашу сполна.  
А те башмаки, что за гробом –  
За лодкой колышет волна.  
Коварен? Не знаю. Корыстен?  
Кто нас разберет, королей.  
В копытце, в корытце, в корыте  
Дельфина купает Нелей.  
Ты знаешь, что тленьем задеты  
И зеленью тронуты все –  
И мальчик, и чаша, и детство,  
Летящее на колесе.  
И рай отворяется, жалок,  
Тому, кто ключи отыскал, –  
Наш край сумасшедших весталок,  
Ручьев, кораблей и русалок,  
Могильщиков, роз и зеркал.

Я, видимо, скверный любовник.  
Так будет отныне всегда:  
Терновник, Гертруда, терновник,  
Гнилая, Гертруда, вода  
В крови... Отрави кавалера  
Дурной приворотной травой.  
Но руки твои, королева,  
Как веточки над головой!..  
Браслеты, запястья, ключицы,  
Колечки, пустырьник, репей...  
Гертруда, не пей из копытца –  
Русалочкой станешь! Не пей!  
Прогнило здесь что-то. И трудно  
Смириться, и пал Камелот...  
Не трогай бокала, Гертруда!  
Твой берег дымится, Гертруда!  
Останься со мною, Гертруда!..  
– Простите, я жажду, милорд.

\* \* \*

Спашем, Пегги? Осеннее пламя твоей головы  
Приостынет к весне, ты начнешь разводить маргаритки.  
В опрокинутом городе ангелам хватит травы,  
Чтоб легко пробежать, не примяв, от окна до калитки.

Этот грустный полковник Апрель, наблюдатель планет,  
Орнитолог и ангел, читающий умные книги,  
Прогулялся б на мост Поцелуев, да времени нет:  
От рожденья аскет, или носит под платьем вериги.

Как его целовать, если он – отражение в реке?  
Ах, как грустно-то, господи... вот и твои маргаритки,  
И мои незабудки лежат на прибрежном песке,  
Как небрежный набросок к дешевой пасхальной открытке.

Спашем, Пегги! Обманчивый город, сводящий с ума,  
Машет серым крылом, отсыревшими машет холстами...  
Ничего, ничего! Вот закончится эта зима –  
Мы вернемся сюда, где плывут кораблями дома  
Целовать отраженья полковников между мостами.

## БОРИС КУШНЕР

### ТАГАНКА

*Памяти Веры Свечинской (1939 – 1996)*

Мастерская.  
Сквозь оконце  
Связки кукол и ключей.  
В жёлтой двери бьётся солнце  
Ожерельем из лучей.

Что же, видно спозаранку  
В гуле вечной толчеи  
Солнце смотрит на Таганку,  
На зонты и на ключи.

Звон лучей немногим слышим,  
Лёгкий трепет по скамье...  
Мы с тобою вместе дышим  
В странной уличной семье.

Плачут дети на качалках  
За чертой чужая речь...  
Но, как гордая весталка,  
Ты не гнёшь бедою плеч.

Но сгибаюсь я безмерно  
От бессилия помочь,  
И курю, и ёжусь нервно,  
А в душе чернеет ночь...

Боль моя... мой свет прощальный!  
Верность вышнюю храня,  
В горький свиток поминальный  
Удостой внести меня...

Чтоб как вечное спасенье  
В миг, когда порвётся нить,  
Рук твоих прикосновенье  
Я успел бы ощутить,  
И в последний раз заплакать,  
И шепнуть: «А правда, жаль?»

Ах, Таганка,  
                    копоть, слякоть,  
Улиц серая печаль....  
24 апреля 1986 г., Москва

\*\*\*

И опять эти горькие сгустки  
Перепутанных смыслов и слов,  
И не пишется что-то по-русски  
На собрание учёных ослов.

И тошнит от речей их учтивых,  
Хоть сочувствием полон синклит –  
Всё равно на совет нечестивых  
Нам ходить запрещает Давид.

Но мы ходим, ликуем и пляшем,  
Залезаем в чужой хоровод.  
И играет достоинством нашим  
Не прощающий русский народ.  
28 мая 1988 г., Москва

## ЛЕТО

1  
Жарой пропитаны все поры,  
В бессвязных мыслях разум гас...  
Жара обугливала шторы  
И плавил стекло террас...

Горячим газом над лугами  
Она ломала горизонт,  
И неба раскалённый зонт  
Как приговор висел над нами.

И сердце отзывалось гулом,  
Немыслимым в таком чаду,  
Секунд почётным караулом,  
Застывшим, разорвав череду...

И день не мог смениться новым  
В однообразье знойной мглы  
И липким запахом сосновым  
Сочились потные стволы...  
3 июля 1988 г., ст. Отдых

2  
Однообразья безобразье,  
Но утро – внове каждый раз...  
И лёгких занавесей газ,  
И брызги Солнца на террасе...  
И ночь на кончиках ресниц,  
Что мне поднять мешает веки...  
И где-то в ветках – крики птиц,  
И неба голубые реки...  
И пар, что предвещает зной... –  
Всё поражает новизной.  
4 июля 1988 г., ст. Отдых

## ВАРИАЦИЯ-6

Сочетанье трагедии с фарсом  
В неожиданной пряности встреч –  
Так Венера стремится за Марсом,  
Чтоб его же к обрыву увлечь.

Коротка и печальна дорога  
И беда в предсказаниях птиц... –  
Как пленить ей горячего Бога  
На бегу его колесниц?

Он могуч и уверен без меры,  
Он небрежен и нежен, как Бог, –  
Но измена в природе Венеры,  
Как для Солнца привычен Восток.

Беспощадна Богини походка,  
Сладок яд, что она принесла... –  
Закачалась Харонова лодка,  
Чёрный Стикс заструился с весла...

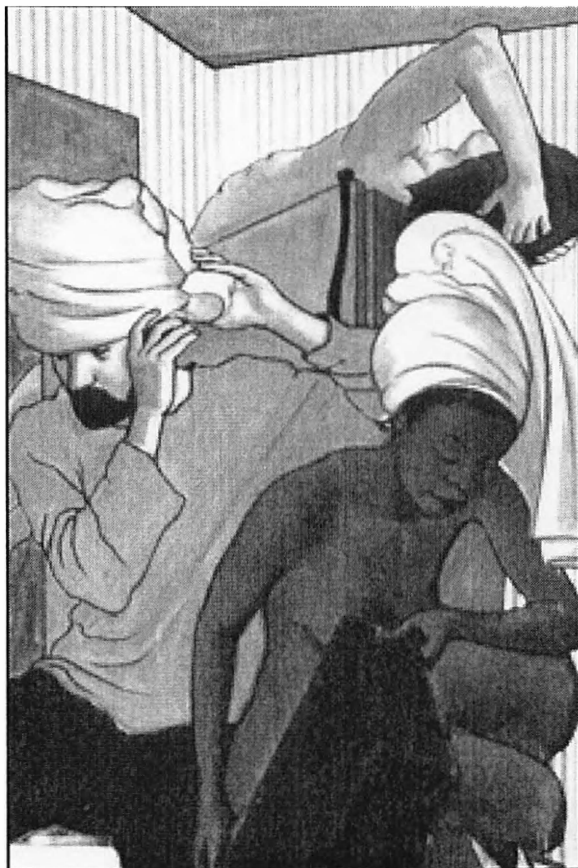
Пусть воздастся убийце сторицей, –  
Вот уже он направился к ней... –  
Ох, не править ему колесницей,  
И не мучить могучих коней!

.....  
Ноябрь... тоска и разлука...  
И траурный снег на крыльце,  
Какая нездешняя мука  
Сегодня у всех на лице!

Чернеет асфальт за забором...  
Бессилье души и ума... –  
Вороньим отчаянным хором  
С деревьев срывается тьма...

Глаза Твои – чёрные Солнца,  
Два Солнца в разлёте бровей –  
Мольбы и безумства Веронца  
Дорогою стали моей...

Последней чертой обороны –  
Промёрзший, шершавый асфальт, –  
По жаркой брусчатке Вероны  
Со шпагой проходит Тибальд.



Алексей Сторонкин. Живопись на холсте. Масло.

А в сердце обвалы оаций,  
И небо в дыму сигарет,  
И шепчет мне верный Гораций  
Чего в философии нет.

Но слёзы исчерпаны ночью,  
Слезам беде не помочь. —  
Сухими глазами воочью  
Я вижу последнюю ночь.

И мир в умирании света  
Струится спокойной рекой —  
Как будто бы в вечности где-то  
И мне уготован покой.  
*7-8 ноября 1988 г., Москва*

\*\*\*

Проникнуть в смутный мир  
Нейтрона,  
В мой заурановый распад,  
Когда сиянием  
Корона  
Уже обозначает  
Ад,  
Когда по квантовым  
Орбитам  
Сознания мечется  
Игра  
И жаждет словом  
Неизбитым  
Пометить существо

Ядра.  
Когда любое слово —  
Жалко,  
Когда мы плачем  
И кричим... —  
Когда Любовь —  
Константа  
Планка,  
За коей свет  
Неразличим,  
За коей исчезает мера  
В мирах моих созвездий-жён —  
Так уравнием  
Шредингера  
Начальный Хаос  
Подожжён!  
В Любви — отчаянье  
Такое,  
В Любви —

такая скрыта

Боль,  
Что спорит с массой  
Покоя,  
В бессмертье  
обращая ноль...  
Любовь, Любовь

всему

Причина,  
Любовь —

всему Движенью

Ось, —  
Лети,  
стрела Любви  
Нейтрино!  
Пронзай  
Вселенную  
Насквозь!

*9 апреля 1994 г., Pittsburgh*

\*\*\*

Считаю медленно до ста —  
Да хоть считай до миллиарда! —  
Ответом та же пустота,  
Тоска Вселенной-биллиарда.  
Кружение пламенных светил,

Косматый хопод тьмы безмерной —  
Г-дь услышал и простил? —  
Быть может... Кажется... Наверно...  
Печаль на сердце, хоть недужь, —  
Лежать без сна дождливой ночью...  
О, шёпоты ушедших душ,  
О, слёзы глаз, что знал воочью...  
*5 августа 2005 г., Pittsburgh*

\*\*\*

*«Горе мне, мать моя, что ты родила меня  
человеком, который спорит и ссорится со всей землею!  
никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а  
все  
проклинают меня».*

Иеремия 15:10

Раздор и с небом и с землёй,  
Раздор с самим собою. —  
Зачем? — Всё кончится золой,  
Моею злой судьбою.  
Не лавр-венок — шипы от роз,  
Пройти огонь и воду. —  
Не проще ли тянуть всерьёз  
Обычную подводу?  
Нет, я не брал сонеты в рост,  
Не занимал их тоже. —  
Я просто слышал шёпот звёзд —  
Твой вздох, Великий Б-же.  
За что ж меня назначил Рок  
Живой мишенью сброду?

Горит земля, в слезах Пророк  
По Б-жьему Народу.  
*21 сентября 2005 г., Johnstown*

\*\*\*

*Елене Минкиной*

Заря хрестоматийно ало  
По серым стёклам разлилась,  
Переливалась и шептала:  
«Довольно петь про смерть, про страсть,  
Об ураганно-грозном Роке,  
О тайнах собственной души —  
Простые ласковые строки  
Созвучны Женщине — спешите!  
Отринь Эрота аксельбанты,  
Эзопа, виноград, лису —  
Что из того, что снился Данте,  
Что сам ты в сумрачном лесу?  
И философии — ни грамма! —  
Озноб по спинам от спинов! —  
Смотри же, — заскучала Дама, —  
Развесели её до слёз!  
Смотри, уже Светило в раже,  
Не спи, Художник, соль земли! —  
Пусть вся печаль на вернисаже —  
Развесели, развесели!  
Отринь сомнения проказу,  
Воздвигни строфы, Корифей! —  
Душа не пишет по приказу? —  
А как же Моцарт и Орфей?»  
Пьлает сердце. Взоры зорки.  
Я — виночерпий на пиру.  
К чертям пустые отговорки,  
К перу, немедленно к перу!  
Заря — как Золотая Рыбка,  
Кто не проспал, тот просит власть. —  
Ах, не заря, — Твоя улыбка  
Загоризонтная зажглась.  
*29 октября 2005 г., Pittsburgh*

\*\*\*

Закат. Корма. Кошмары Лема.  
Обрывы — в золоте, в рубине.  
И *Dies Irae* Реквиема —

О, Моцарт, Верди, Керубини,  
Под взрывы ваших труб, Маэстро,  
Душа в ознобе, сердце – в жаре, –  
Забвенье времени и места  
На бешено летящем шаре.  
Все краски осени смешали  
Жрецы богов, ереснархи,  
И ночь, как взмах цыганской шали, –  
Конец истории, плутархи!  
*30 октября 2005 г., Route 22, East*

\* \* \*

Мефисто – в сто чертей виват!  
Но пусть засохнет кровь чернильниц –  
Он мне не друг, не брат, не сват  
И даже не однофамилец.  
И не припомню, чтоб в ночи  
Мы договор с ним заключали.  
А на заре? Молчи, молчи... –  
Что не подпишешь от печали...  
*2 ноября 2005 г., Johnstown*

\* \* \*

Ноябрь был необычно светел,  
И, приняв осень на постой,  
Он будто сразу в зиму метил  
Со всей шуршащей листвой.  
Забыв про пору обнаженья,  
Он синевой благоухал,  
И презирал самосожжение,  
И возводил свой Тадж-Махал.  
Как славно было, Б-же правый! –  
Я плыл песчинкой меж громад,  
И голову кружили травы  
И тленья сладкий аромат.  
*2 ноября 2005 г., Johnstown*

## МИХАИЛ МАЗЕЛЬ

### ПРЕДЧУВСТВИЕ СТРОКИ

*Оленьке Шишкиной*

Мелодия стиха рождается во мне  
ударами земли по кованым подошвам,  
и теплится любовь, и копится на дне,  
и с криком петуха она не станет прошлым.

Она опять растёт незримо, как рассвет,  
вернувшись, как всегда, когда раздумья жалят.  
Она уже живёт в проснувшейся листве.  
Она опять со мной: моя, а не чужая.

И я, поверив вновь, шагаю налегке,  
не зная, кто она, но позабыв печали.  
И на вопросы: «Где?» – твержу: «Недалеке...»  
и встречные стихи улыбкою встречаю.

Мелодия любви рождается во мне,  
волною пробежав по телу прямо к пальцам.  
И если я собой доволен не вполне,  
То не в связи с судьбой бродяги и скитальца.

Предчувствие живёт в груди тугой строкой  
её не растянуть верёвкой дороги.  
Я всё готов связать с мелодией такой...  
Осталось подождать уже совсем немного.  
*13 февраля 2004 года*

### ДРУГ ИЗ НИОТКУДА

*Оленьке Шишкиной*

Он как бы здесь и в тоже время рядом  
из ниоткуда мчится мимо, прочь,  
и продирает душу странным взглядом,  
в котором слились вместе день и ночь.

Он каплями дождя стучит по крышам,  
по стеклам, по деревьям и траве,  
и в непонятной речи его слышишь  
отчетливо ты лишь призыв: «Поверь!..»

И ты, ему опять безмерно веря,  
прижав к груди исписанный листок,  
прислушиваясь к шорохам за дверью  
сквозь тьму ночную смотришь на восток.

Загадочный, неведомый, тревожный,  
но вместе с тем надежный, верный друг  
из никуда в куда-то осторожно  
тебя ведет... Забудь про свой испуг!..

Поверь тем звукам, словно стуку сердца,  
как верил в детстве в то, что горя нет,  
и сам найди неведомые дверцы  
в воздвигнутой тобою же стене.

*3 марта 2004 года*

## АЛЕКСАНДР ГАБРИЭЛЬ

### ЧЕТЫРЕ ГОДА АРТЮРА РЕМБО

*Я знаю рвущееся небо, и глубины,  
И смерчи, и бурун, я знаю ночи тьму,  
И зори трепетнее стаи голубиной,  
И то, что не дано увидеть никому.  
Артур Рембо. «Пьяный корабль»*

Как это можно – рваться на куски,  
к пятнадцати годам достигнуть пика,  
всё выразив, от шепота до крика,  
полудетским росчерком строки?!

Как можно так – в пятнадцать чутый тлен,  
сгорать от нетерпимости к подонкам  
и быть – во всём! – рассерженным ребенком,  
как звал его придиричивый Верлен?!

Как это можно – в девятнадцать лет  
стихи и баррикады революций  
к чертям забросить. Заново проснуться,  
раскрыть глаза  
и не увидеть света?!

### СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Я пью надежды терпкое вино  
без горечи, сомнения и гнева,  
и снова жду, когда в мое окно  
заглянет око Снежной Королевы.  
Я ей скажу: «Входи скорее в дом!»,  
открою дверь и встану у порога.  
И та, что окна стягивала льдом,  
войдет ко мне задумчиво и строго;  
вздохнет, переведет неспешно дух.  
В вечерней полутьме остынут звезды...  
Мы встретимся. И здесь одно из двух:  
она растает  
или я замерзну.

### ЗАЧЕМ

Зачем же так?  
Зачем же так?  
Зачем?  
Железо по стеклу...  
Мороз по коже...  
Во времена,  
где не было проблем,  
мы были так понятны  
и похожи.

Мы охаем,  
волнуемся,

ворчим...  
Придуманы сценарии  
для бедствий...  
И лабиринты  
мыслимых причин  
уперлись в тупики  
ничтожных следствий.

Простудишься...  
Давай поправлю шарф...  
Нам только нездоровья  
не хватало.  
Холодный пепел –  
там, где был пожар.  
Изъеден  
белый мрамор  
пьедестала.

А мы давно  
зачитаны до дыр,  
заиграны,  
как ноты  
в тусклой гамме;  
и просто перестал  
вращаться мир  
вокруг всего,  
что прежде  
было нами.

### ПРОМЕЖУТКИ

Серой пылью, травой и прахом  
обязательно станет каждый.  
Всё исчислено.  
А пока что  
остаются да Винчи с Бахом,  
Модильяни, Рембо, Прокофьев,  
Боттичелли, Толстой, Стравинский,  
осторожная терпкость кофе  
и согревный глоточек виски.

Остаются БГ и Заппа,  
уморительный взгляд коалы,  
и хрустальной росы кристаллы,  
и пьянящий сосновый запах,  
остаются слова и споры,  
и грибные дожди, и ветер,  
и один человек,  
который  
стоит всех остальных на свете.

Промежутки – как склад, забытый  
мелочами  
и чем-то важным,  
до момента, когда однажды  
мы с последней сойдем орбиты  
под прощальный аккорд заката,  
отыгравши все ноты в гамме...  
Чтоб вернуться назад  
когда-то  
серой пылью,  
травой,  
дождями.

### МИНИМАЛИЗМ

Когда филе, которое миньон,  
отсутствует –  
закусывайте салом,  
поскольку в силе божеский закон  
умения  
довольствоваться малым;  
простой закон,  
имеющий в виду,  
что цель – порой не ценность,  
а приманка...  
Я тоже бы хотел

с небес звезду,  
но –  
сил в обрез,  
и сломана стремянка.  
Ну что ж, за неимением звезды  
сойдет любая тусклая лампада.  
Не нами  
пополняются ряды  
немногих тех,  
кто вышел вон из ряда.  
Мы новые  
не сотворим миры,  
легко застраховавшись от падений  
разумным потреблением икры,  
любви,  
надежды,  
гордости и денег.  
А мысли о Великом –  
просто так  
мы сказкам отдадим  
и кинозалам...

Пускай полощет ветер  
белый флаг  
умения довольствоваться малым.

### НЕ ПРИВЕДИ

Не приведи, пожалуйста, Господь,  
беспомощным остаться и забытым,  
не управляться с захудалым бытом:  
и гвоздь не вбить, и дров не наколоть.

Не приведи, Господь, не приведи  
смотреть на мертвый контур телефона  
и видеть, как в немых окнах сонно  
линяет абрис Млечного Пути.

Не приведи, Господь, меня туда,  
где стены – собеседники. А кроме –  
вся жизнь в полупустом фотоальбоме,  
который не пополнить никогда.

### ПЫТКА ПРОШЛЫМ

Этот сквер и скамья нас с тобой уже больше не помнят;  
звуки наших шагов растворились над тихой рекой.  
И уже не для нас теплый сумрак зашторенных комнат,  
и надежда ушла на заслуженный вечный покой.

Мысль, что всё позади, неприятна, как лающий кашель;  
да и время само лишь в одном направлении – назад...  
База данных зеркал не хранит отражения наши,  
и наш образ вдвоем из возможных архивов изъят.

Нет занятия глупей, чем в безмолвии клеить осколки  
и беспомощно видеть сердца покидающий свет.  
Лишь осталась любовь позабытой игрушкой на полке  
в неприкаянном доме, к которому доступа нет...

### ФИЛОСОФ

Бредёт по планете Неспорящий,  
землю не роющий,  
тропинками еле приметными,  
мохом поросшими,  
вдали от хайвеев,  
ведущих гаврошей к Сокровищам,  
и встречной дороги,  
до «пробок» забитой гаврошами.

Его наблюдательность –  
мера познания Сущего.  
Отведав из утлой котомки  
нехитрой провизии,  
он будет смотреть,  
как дорога осилит идущего,

и будет свидетелем  
каждой дорожной коллизии.

Как выгодно быть в этом клане –  
Не Ищущих Выгоды,  
как здорово просто сидеть  
и на солнышко шуриться,  
поскольку давно уже сделаны  
главные выводы,  
и только неясно, что раньше:  
яйцо или курица.

В глазах утомленных –  
ростки непредвзятости Знания,  
а мимо несутся  
спешащие, злые, охочие...  
Удачи им всем!  
А ему – всё известно заранее.  
Спокойная мудрость.  
Усмешка.  
Пикник на обочине.

### ЭРИК ФРИДМАН

\*\*\*

Лебединые руки, лебединая шея  
И ресницы-десницы, что волнуют меня.  
Нереальность волшебна. Ты – колдунья, ты – фея,  
Призрак, в воздух восставший из Воды и Огня.  
Взять хочу я на руки твою хрупкую нежность,  
Чтоб укрыться от мира в танце древних страстей.  
Прикоснуться губами, ощутив неизбежность  
Той потери, что вскоре принесёт мне Борей.  
Он подует с Востока, сильно – неумолимо  
Унесёт тебя Ветер вновь туда, в небеса...  
Осень. Рыжие листья. Одиноко. Тоскливо.  
Но весной буду ждать лебедей голоса.  
Белокрылые стаи прилетят на озёра,  
В дуэте кружась, в синей глади воды.  
И увижу я взглядом мага и фантазёра,  
Что одна из них – лебедь, той, волшебной мечты.  
И мы вновь закружимся в страстном танце, дерзая,  
Он рождён вместе с нами, из воды и огня.  
И прижав тебя крепче, улыбнусь, сознавая,  
Что мы созданы небом: Ветер, Лебедь и Я.

### ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК

#### МОЛЕНИЕ О СЛОВЕ

*Горе мнѣ блѣдну, горе окаянну,  
Сузѹ безкровну, беспомощну, странну.*

Симеон Полоцкий  
«Комидия притчи о блуднѣм сыне»

Ты, кто столь к избранным щедр, будь милостив снова,  
истцу дай прилудному единого слова!  
Как воды, дай и мертвого, и слова живого,  
подай безъязыкому слова хоть какого.  
Сам бо слабенею телом, пуще слаб душею,  
куда же поплечусь за нуждой своею?  
Магомета ль щедрого умолять я буду?  
Вопрошать ли буду безмолвного Будду?

Из времен в трудном слове днесь явленный, о не  
остави мя в темени, отче Симеоне!  
*Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,  
помилуй мя грешного!* – бо аз есмь хороший,  
аз есмь телок заблудший, в бездумье стоящий  
ста дорог на стечение, о кноте молящий.  
Дай мне путеводного беспутному слова –  
опричь слова нет в свете ничего иного.

### БАЛЛАДА О ПАДАЮЩЕЙ ЛУНЕ

Мы сошли с электрички. Выходила луна  
полусферой крутой над путями,  
на лимонные ломтики расчленена  
расходящимися проводами,

раздвигаясь всё шире над крышами дач,  
выше – над капюшонами елей...  
Ближе – виселицы электропередач  
на сияющем диске чернели,

где морщинами гор проступали хребты,  
швами – кратеров рваных заплаты.  
И казалось, воздѣнь к этим ранам персты –  
прикоснешься живого лица ты,

всё плотней придвигающегося, вот-вот...  
Вот, вращаясь, провисло над нами,  
перепонявая весь видимый небосвод  
златокупольными небесами.

И горели и дачи, и скорый состав,  
словно в тонкой мерцающей пыли...  
Головы до головокруженья задрал,  
за бескрайней луной мы следили,

как за чем-то подспудным, не сказанным вслух,  
что взошло, на себя не похоже,  
и подробно, как лунное небо! И дух  
перехватывало: с нами что же?

А оно оттеснялось уж с края земли  
столь привычною звездною бездною...  
Но в беспомыслии пальцы мы переплели,  
шли по шпалам дороги железной.

### В МЕТРО – К ТЕБЕ

Я ирисов куплю небесных иль солнечных лилий садовых,  
Свежайших, «только что с участка»,  
как все старушки говорят,  
но отличу свежайше-свежих

в бугонках треснувших, готовых  
(лишь подрезай, меняя воду с утра) недели три подряд

цвести в твоей скворечне вешней  
с балконом на последнем пятом,  
где свыше вид на дом соседний  
и пальцами прикрытый двор  
разлапистых каштанов;

нежен здесь воздух на свету пернатом  
и небо безгранично рядом, и столь домашен кругозор,

что с чашкою сравним для чая...

За чаем будто пустомелю! –  
бы мне сплести, с мечтой на встречу спеша,  
повычурнее вязь...

«Ну, здравствуй! – расцвела, встречая.  
– Чем занимался всю неделю  
тут без меня?» – а что отвечу,  
в глаза судьбы взглянуть стыдась,

не о любви и смерти речью, но пустяках: ее причуде  
вдруг на балкон сбежать средь ночи –  
проведать звезды, фонари?..  
цветах, что, срезаны досрочно,  
в хрустальном ожили сосуде,  
и значит, облетят не скоро – недельки через две иль три.

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Как прозрачно время, как ночь чиста!  
Как бездонно млечное окно!  
И неяркий свет одиночества  
в воздухе сквозит уже давно.



В сферах мира необозримого  
звездами гадают небосвод:  
что с тобой сбылось непоправимого,  
что теперь с утра произойдет?

От картинок дня сумасшедшего  
до зари больная голова...  
Нет его потемок, шума нет его!  
Под сурдинку шепчет сон-трава:

«Спи, моя хорошая, спи, моя  
самая прекрасная из всех,  
навсегда желанная, любимая  
за глаза лучистые и смех...»

Спи, не слушай вечную речь тоски,  
не крути прошедшее опять.  
Спи – недолог сон человеческий,  
попытайся в этот час поспать.

В небе все цветочки выцвели,  
над землей колеблется рассвет.  
Птица ли?.. мгновенье длится ли?  
Счастье только снится... или нет?

## ДАЧНЫЙ РОМАНС

Встречала и с последней электричкой  
в такой мороз, когда собаку не...  
Не потому ль ты нынче истеричкой,  
что всё-то угадала обо мне?

Что плотская, открыла ты, мирская  
его мечта. И вымерз небосвод.  
Как меркнут звезды, светом истекая,  
так смерть любви твой смех переживет.

Так в оттепель, когда снежок творожный  
кружит в глазах, и в этом упреки,  
что насыпи вдоль железнодорожной  
раскисшая тропинка в две ступни.

## УХОДИ

Любовь пришла – любовь уйдет.  
Дословно знаю наперед,  
хоть позабыл откуда,  
как это будет, Чудо

мое, когда совой в груди  
глухое ухнет “уходи”,  
и глянешь, как старуха,  
бесчувственно, и в уxo

задышишь: – Я могла бы боль  
тебе, как женщине любой  
способен ты... – и в губы, –  
ты ж не любой, а любой! –

с тобой шучу, тебе смолчу,  
иначе, значит, оплачу:  
не выволочкой частной,  
а скукой ежечасной,

и как в любви была не та,  
в тебе так стану пустота,  
без памяти хранима,  
другой невосполнима,

чтоб с той, которая придет,  
ты всё припомнил наперед...  
Узнаешь не отчасти –  
в лицо – свое несчастье.

## ПЛАЧ ПО НЕВЕСТЕ

Как проведала, что есть у меня невестушка,  
Муза-разлучница, дура-то русская,  
тут мою суженную и замучила:  
За ворот лила ей отворотное,  
глаза закрывала сглазами,  
подсознание изводила дознаниями.  
Запугала маленькую куколками,  
страхами девочку затрахала,  
мечту ее заветную, лучшую,  
бесплодной нагадала да неслучно.

А как девица чуть мало отнадеялась,  
залобзала нежную соблазнами:  
Раззадорила интрижкой с мальчишками,  
денежкой пожурила свеженькой,  
Париж ей показала да чёрта рыжего.  
Из души она зазнобушку-то и вышелушила.

Муза-Муза, ты мне не союзница,  
союзница, разве, да сокандаляница,  
знать, вовек от тебя не избавиться,  
сколь же надо надо мною скалиться?  
Вразумись, говорю, верни милую,  
или слово мне открой с прежней силою,  
чтобы воскресить любовь, спасти душу грешную,  
мне свою почти не жаль безутешную.

## ЯН ТОРЧИНСКИЙ

### СНОВИДЕНИЯ

(Венок сонетов)

*... Жизнь моя, иль ты приснилась мне?*

*Словно я весенней гулкой ранью*

*Прискакал на розовом коне...”*

Сергей Есенин

*“Сном забьётся. Уснуть...”*

*И видеть сны.*

Вильям Шекспир

1.

Так бывало подчас,  
Так случалось не раз –  
Нам стихия врата открывала,  
Приходил звездный час  
И забрасывал нас  
На вершину девятого вала.

И под Божеский глас  
Нам ничто не указ,  
И житейских соблазнов не нужно.  
Только б гривою тряс  
Своенравный Пегас,  
В небеса унося нас послушно.

И лучась, как алмаз,  
Сны роились у глаз.

2.

Сны роились у глаз –  
Еженощный показ –  
Ты в любом – и участник, и зритель:  
Ты – с Федотовым в пас,  
Ты – прославленный ас,  
И, как молния, твой истребитель.

Грозных волн перепляс,  
Гул космических трасс –  
Всё для маленького человека,  
И моряцкий компас,  
И веселый рассказ:  
Приключения Чука и Гека.

И владеешь, подобно поэтам,  
Неоформленным звуком и цветом.

3.  
Неоформленным звуком и цветом,  
По незримым следам и приметам  
Посещают наш дом чудеса –  
Беззащитны, как градинки летом  
Под пронзительным солнечным светом,  
И опасны, как в шторм паруса.

Их не видно, не слышно, но где-то  
Ускоряют движение планеты  
И клубящихся звезд мошкара.  
Улыбается Пушкин с портрета.  
И слова, зачиная сонеты,  
Расцветают, сорвавшись с пера.

И гремят, как фугас,  
И преследуют нас.

4.  
*И. Г.*

И преследует нас  
Эхо школьных проказ,  
Возникая порой из тумана.  
Ах, "гвардейский" мой класс!  
И директорский бас.  
И азартная дробь барабана.

Даже драки подчас –  
Ну, под дых или в глаз,  
Ну, синяк – небольшие печали.  
И тревожный: "Атас!"  
И – в спасительный лаз,  
И бегом, чтоб менты не достали...

Сочинить бы о вас  
Хоть стихи, хоть рассказ...

5.  
Хоть стихи, хоть рассказ  
Сотворить на заказ –  
Труд как труд. Не судите сурово.  
Вот надежный каркас,  
Вот словарный запас:  
Натянул, как пальто, и готово.

"Ананас. Контрабас.  
Карабас-Барабас.  
Хлебный квас" – что-нибудь пригодится.  
И товар – первый класс...  
Почему же сейчас  
Мне иная поэзия снится?..

Незаказанным, вольным куплетом  
Написать бы о том и об этом...

6.  
Написать бы о том и об этом...  
Дело было, по-моему, летом,  
Но прохладно – для драк благодать.  
Я рубился, хоть не был атлетом,  
С прибалтийным Валушкой-Валетом,  
Чтоб тебя никому не отдать.

Всё по правилам, по этикетам...  
А потом он мне врезал кастетом,  
Но не смог одолеть до конца.  
Мой прием был с коварным секретом:  
Я женился! И этим ответом  
Уничтожил его, стервеца.

Был я мудр, как сова –  
Аж не верил сперва!

7.

Я не верил сперва,  
Хоть не раз и не два  
Ты являлась в мои сновиденья,  
Как строка, как строфа,  
Как абзац, как глава.  
Как мелодия стихотворенья.

Как волна и листва,  
Как луна и трава –  
Всё, что я, если в силах, восславлю...  
Снов судьба такова,  
Что вступают в права  
Поутру и становятся явью.

И душа их жива.  
И приходят слова...

8.  
И приходят слова –  
В них рычание льва,  
Птичий щебет и шум водопада,  
И младенца "У-а!",  
и «Говорит Москва!»),  
И людская молва,  
И чеканная поступь парада.

Разобравшись едва,  
Выплетай кружева.  
Но себя проверяя построчно  
(«Здесь немного крива,  
Там шустра, как плотва...»),  
Сосчитай и записывай точно!

Чтоб они не сбежали, как звери,  
Сквозь закрытые окна и двери.

9.  
Сквозь закрытые окна и двери  
Ускользала печальная Мэри.  
Но зато появлялся порой  
В пропыленном плаще офицера  
Десять верст проскакавший карьером  
Одинокий опальный Герой.

Ах, романтики и флибустьеры,  
Неприкаянные Агасферы!  
Вам бессмертие – высший итог.  
И не властны любые химеры,  
Коль сквозь время, эпохи и эры  
Открывается небо и Бог.

Там бессильна молва,  
И слепит синева.

10.  
И слепит синева  
Там, где Дон и Нева.  
Сновиденья – восторг и обман!..  
Ах, как память жива.  
Но ложится листва  
На чикагский Крещатик – Диван \*.

Золотая Москва,  
Кремль и храм Покрова...  
Образ Киева свято храня,  
Отыщу ли слова –  
Рассказать, как Уфа  
В сорок первом пригрела меня?

Слов звенящих канва –  
Так звенит тетива.

-----  
\* Диван (*Devon*) – «русская» улица в Чикаго

11.

Так звенит тетива,  
Так звенит голова,  
Если время собраться в дорогу.  
Вот твоя бечева –  
Закатай рукава  
И тяни, привыкай понемногу.

И тебе воевать,  
Разрушать, убивать,  
И любить, и считаться любимым.  
Всё же жизнь не права,  
Если мы, как дрова,  
Выгорая, становимся дымом.

А в пути – западни и барьеры,  
Будто знамения чертовой веры.

12.

Будто знамения чертовой веры,  
Из кошмаров ночных и мистерий  
Возникает реальный кошмар.  
И его не унять, не умерить,  
Даже кровь из аорт и артерий  
Не погасит вселенский пожар.

Достижение всех инженерий  
И наук: смертоносный дейтерий  
И уран, и в озоне дыра...  
Может, лучше укрыться в пещеры  
Или сну наши судьбы доверить,  
Чтобы как-то дожить до утра?

Но с клеймом сатаны  
И счастливые сны!

13.

Ах, счастливые сны –  
Предвкушенья весны.  
Ожиданье любви и тепла...  
Ах, как зори ясны,  
И закаты красны,  
И в душе ни тревоги, ни зла.

Только мы рождены  
Там, где нет тишины,  
Где сменяется вождем за вождем,  
И повсюду видны  
Башни страшной стены...  
А надежды, что день проживем

Без борьбы, без войны –  
Лишь во сне нам даны.

14.

Лишь во сне нам даны  
Ощущенья вины.  
А проснешься – ничуть не осталось:  
Никому не должны,  
Ни пред кем не грешны,  
Ну, возможно, какую-то малость.

Мы сильны, мы умны,  
Мы Заветам верны.  
Но внезапно приходит такое –  
Будто отзвук струны,  
Будто отблеск луны –  
Наяву не давая покоя,

Словно чей-нибудь сглаз.  
... Так бывает подчас.

15. Магистрал

Так бывает подчас:  
Сны роятся у глаз  
Неоформленным звуком и цветом.

И преследует нас –  
Хоть стихи, хоть рассказ  
Написать и о том, и об этом.

Ты не веришь сперва,  
Но приходят слова  
Сквозь закрытые окна и двери,  
И спит синева,  
И звенит тетива,  
И являются знамения веры!

Но счастливые сны  
Лишь во сне нам даны...

## МАРИНА ГАРБЕР

*Игорю Михалевичу-Каплану*

А в птичьем мире снова кутерьма,  
Кого-то там клюют, кого-то кличут,  
Кромсают день, как мертвую добычу,  
И ствол вишневый, словно рябь письма,  
Мне ведает про эту долю птичью.

Пойдем, пойдем туда, где время ждет,  
Где ты мне снишься зло и еженощно,  
Такой *высоко-грустно-светлый*, точно  
Сон – это явь, а не наоборот:  
Минуты сыплются, в окне шурша песочно.

И я ищу тебя в своих стихах,  
В вишневых письмах, в птичьем крике-гаме,  
Вожу *тебя-любившими-губами*  
По воздуху, где о семи холмах  
Нежданно Рай раскрылся перед нами.

Ищу тебя и вновь не нахожу,  
Лишь чувствую присутствие и даже  
Предчувствую, описывая страже  
У Райских врат, и глаз не отвожу,  
Когда редет сон – прозрачней, глаже...

А в нашей яви пятятся года –  
Не по холмам, а плавною рекою,  
Ты жив, ты рядом... Но над головою,  
Ты слышишь, птицы нас зовут туда,  
Где нет тебя и, всё же, ты со мною.

\*\*\*

Здесь ручьи беспробудны, отравлены,  
Здесь по колосу плачут поля,  
Но девчонка с ведром продырявленным:  
«Я люблю своего короля!»

Здесь в колодцах вода – то ли высохла,  
То ли в землю уходит зазря,  
Но седая старуха за вышивкой:  
«Я люблю своего короля!»

Здесь в дубравах тоскливо и сумрачно,  
Здесь и суше, и глуше земля,  
Но пастушка с поломанной дудочкой:  
«Я люблю своего короля!»

Здесь дождей-то осталось – на доньшке,  
Не поскачут, по крышам звеня,  
Из амбаров, в которых – ни зернышка:  
«Я люблю своего короля!»

Но когда за полночными искрами,  
Под зловещие крики совы,  
Сны накатят, таимы да искренни,  
Не сносить королю головы!

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Дымок струится из черненной трубки,  
Над головами – блоковский угар...  
А что любовь? Подкрашивает губки  
И ноготком стучит о портсигар.

Здесь говорят о колдовстве Феллини,  
Французской школе... «Мэтр де эколя»  
Уклончиво вещает: или – или,  
Живую речь на паузы деля.

Мэтр говорит о смерти и Голгофе, –  
Как говорит! И в воздухе накал!  
А что любовь? Помешивает кофе,  
Полистывая красочный журнал.

Как голуби за окнами – на крошки  
Так публика – на меткое словцо...  
А что любовь? Покачивает ножкой,  
К дубовой двери обратив лицо.

А в кулуарных разговорах после  
Мне разъясняют: «Долог к правде путь...»  
Мне, прощенной, но не просившей гостье,  
Втолковывают непростую суть.

Мэтр распыляется – и – колышком борода, –  
Сам воздух рассекает – о любви...  
А что любовь? Кулак у подбородка,  
Рассматривает ноготки свои.

С осанкой барина, с воззреньями скитальца,  
Мэтр дарит книжечку, где четко – *от кого*.  
Но, уходя, я разжимаю пальцы,  
И на ладони – всё и ничего.

\*\*\*

Словно коршуны, соколы, ястребы ищем-рыщем,  
Кораблем, зацепившимся голым днищем  
За пучину моря (да простят меня моряки!),  
Раздаем себя первым встречным, как первым нищим,  
Пятаки.

Произносим слова, искривляя тона и смыслы,  
Выражаем чувства, искажающие наши мысли.  
Вот и я, наглотавшись гари, стихи палю,  
Как из пушки, и черным облаком тает в выси:  
Люблю.

А когда надвигается ночь, словно бровь небосвода,  
Мы, как коршуны, соколы, ястребы – за свободой,  
Кораблем с продырявленным дном по колючим водам,  
Лишь бы смерч не настиг, не застала б ночь пути.  
И шепчу, боясь оглянуться, в пол-оборота:  
Прости.

## ОЖИДАНИЕ

Нет, не чайка, – ворота в околице  
вскрикнул-всхлипнул в испуге под конницей  
ветра.

Нет, не море, – трава опаленная,  
от росы, словно море, соленая  
где-то.

Нет, не небо, – дорога асфальтова  
вдаль уходит, чернеет базальтово,  
млечно.

Нет, не я, – эта только похожа,  
ждет да ждет тебя настоже –  
вечно...

\*\*\*

Сколько раз говорила себе: «Не солги!» –  
резко, твердо (так – под серпами рожь),  
но всё так же ломлюсь в ворота твои,  
Ложь.

Сколько раз повторяла: «Не возжелай!»,  
каждый раз, наморщив и лоб, и бровь,  
но банально-заманчив твой битый рай,  
Любовь.

Сколько раз, словно птица, срывалось с уст:  
«Не страшись!» – оседая вновь на устах,  
но вовек твой храм не бывает пуст,  
Страх.

Сколько раз уговаривала: «Не верь!»,  
и теперь повторяю, и впредь, и прежде...  
Отчего же в ночь открываю дверь –  
Надежде?..

\*\*\*

Вот так всегда (прости неумного  
раба Твоего): не желать того, что просил.  
Выйдя на волю, зачерпнуть неба огромного  
и хотеть обратно в тюрьму, из последних сил  
Дыша этим небом... Живя у моря,  
мечтать о пустыне, о морских ее миражах...  
В бою неизменно просить отбоя,  
в мире – с миром быть на ножах.  
А по ночам, когда мечты и желания  
обретают плоть из голого «ничего»,  
Снова молиться – до возгорания:  
«Прости неумного раба Твоего...»

\*\*\*

Расскажи мне о том, что и как я люблю,  
О себе, несговорчивом, черноволосом...  
Нынче небо посыпано пеплом и просом, –  
Не о том ли с тобою теперь говорю?

Расскажи мне о том, как смеюсь невпопад,  
Как рука непослушно ведет к многоточью...  
Присмотрись, звездный град в этот маленький град,  
Как в стеклянную вазу, ссыпается ночью.

Расскажи мне о том, как летящие дни  
Календарь позабудет, поэт не опишет.  
Слышишь, плачет Луна, мне, бессонной, сродни,  
И хрустальные слезы роняет на крыши?..



Светлана и Леонид Закурдаевы. Город. Резьба по дереву

## ЭМИЛИ ДИКИНСОН

Когда сорвется, оборвется, полетит  
жизнь-ласточка и крылья срежет ветер,  
в какой родной, единственный на свете,  
любимый дом душа метнется? Щит  
тёла оттолкнув – крылом, крылом,  
над городом вспорхнув, над безымянным,  
и будет небо заглушать Псалом  
всей грудью серебристо-оловянной...  
Такой нехлебосольный выпал век,  
в нем жить и умирать – одно и то же.  
Где тень в окне, где тех бессонных век  
сплошное ожиданье, настороже  
у черного окна, – по мне, по мне  
и страх, и слезы, и молитвы шепот,  
где там, в непробиваемой стене,  
моя надежда на любовь? Но – топот  
копыт по улице, повозка, капюшон,  
тугая плеть... Полет души очерчен.  
А дома не было и нет, и только стон  
души – а не душа – высок и вечен.

\*\*\*

Я затворю окно, свет погашу,  
уляжется последних бликов стая,  
стесав углы, как нос карандашу,  
ночь-труженица, с тесаком, босая,  
почти что девочка, возьмется за труды,  
за эти сны, в которых – дно двойное,  
и выторгует у небес воды,  
немного звезд... И молоко парное  
уже струится – млечным ли путем,  
моей ли мыслью над тобою спящим,  
и будет сон, как тихий водоем,  
бесцветный, безволновый, настоящий.  
И там, во сне, я заслону тебя  
от суеты, от скачки и погони,  
от грубых искр – для слабого огня  
последней спички в бережной ладони.  
Ты будешь спать, прожилки бледных век  
чуть будут вздрагивать, вкушая превращенья,  
забудешь имя, вольный имярек,  
плывя далёко – до невозвращенья,  
до несвиданья, до невестреч, до не-  
прощаний наших и, увы, прощений,  
и ты уже не вспомнишь обо мне,  
не обогнешь стремительных течений,  
лишь только – вдаль, да вглубь, да напроочь-прочь...  
А я останусь в тишине бесслезной,  
где нет тебя, и труженица-ночь  
мне к сердцу приколачивает звезды.

## ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Мне кажется, что это я сама  
придумала и мерзлоту, и вечность,  
и снег колюч, и долгая зима  
уводит по дороге в бесконечность.  
Хоть календарь три дня твердит: «июль»,  
я стала снегу верно мишенью,  
и ни одна из леденящих пуль  
не пролетает мимо...

В совершенный,  
в последний миг, тягучий, как вино  
на самом донышке, я вспомню лица, лица,  
высоких городов веретено,  
моих тетрадей желтые страницы,  
в твоих глазах и в запахе волос  
счастливое, потерянное лето,  
и как у дома старый тополь рос...  
У дома – где? У дома где-то, где-то...  
Пересчитав мгновенья на бегу,  
сквозь рикошет разгневанной метели,  
забуду другу и прощу врагу,  
отдав им все победы и потери.  
В снег упаду, в красивый белый холм,

он – и постель моя и покрывало,  
как и должно быть, вспомню отчий дом,  
которого и вовсе не бывало,  
наверное... И там, наверняка,  
у края гиблого, у забыгья и бреда,  
мне на плечо падет Его рука...  
И в этом будет главная победа.

## АРКАДИЙ ЗАСТЫРЕЦ

\*\*\*

*I say, I love thee more than he can do.*  
W. Shakespeare  
«A Midsummer Night's Dream»

Я пишу эти письма на сломе небесной зари,  
где закат и восток проливаются в страшную чашу  
и весёлый пачач говорит голове: – Говори!  
И легучие мыши на крыше платочками машут.

Я пишу эти письма на склоне великих идей,  
вровень маяя, на камни ломающим светлую гору.  
Сколько рядом толпится здесь наших-то, то есть людей,  
то есть ангелов, вверженных Богом в порочную пору!

И какой-то мальчишка, какой-то бесстрастный старик  
распевает, стараясь, как пьяный, но очень серьёзно:  
«Между прошлым и будущим есть несгораемый миг!»  
А за окнами – ночь, неподкупно глуха и беззвезда.

Я пишу эти письма бесславно, одно за другим.  
Пляшет кисть, иероглиф по мокрому ветру кидая,  
Отчего, я не знаю, но верю, что крепко любим  
В поднебесном, российском, холодном подполье Китая.

И, помянут и цел – ничего, что убит и помят, –  
я на эту любовь отвечаю, срываясь и мучась.  
Так на страдном совете во тьме языки говорят,  
не стремясь облегчить до рассвета решённую участь.

\*\*\*

*... скажем просто и прямо, как дело есть, что пишем  
так, как пишется, не потому, чтобы это было хорошо,  
полезно и красиво, а что так, видно, было нам доселе на  
роду написано...*

Владимир Даль

«Если эдак, то так», – надоело во сне повторять.  
Я надеюсь, что нет у надежды земных предикатов.  
Значит, знамо не то, что извне нам назначено знать,  
и бесформульны свет и звучанье речных перекатов.

Не скажу, что бессилён предложенный сердцу язык,  
расставляющий всюду коварные скобки и рамки...  
Кавардак – не по-русски, тем более, впрочем, кердык.  
В мастерской по ремонту замков ремонтируют замки.

И речные (смотрите в четвёртой от неба строке)  
происходят от речи, а речи перечащий камень  
в крайний угол кладётся, чтоб дальше идти налегке,  
под туманом траву загребая босыми ногами.

«Я люблю мою речь» – это ж надо такое срубить!  
Или лучше сказать, это ж надо такое сморозить!  
«Я убью мою речь» – веселее, чем подлая прыть –  
Языком и глазами по воздуху слуха елозить.

Я убью мою речь, начиная с упорного *речи*,  
чтобы в лепет начальный скользнуть по снежку и мазуту,  
где последних созвучий цветные, как день, леденцы  
исчезают в одну, незаметную небу минуту.

\*\*\*

Уж не вода – как воздух сквозь песок,  
уходит время с бурей на подлёте  
в раздолье тьмы. Цветочный лепесток  
кружит над головой. В конечном счёте

начальный счёт не слишком ли жесток,  
защитный в правде, выверенный в теле?  
И формулу к нулю сводящий срок,  
как сто страниц бесшумной нонпарели,  
достаточен ли? Впрочем, ну его!  
Когда не лжёт восторг о запредельном,  
простительно любое естество,  
любая связь над городом метельным...  
Всё только бы по совести с руки!  
И, вследствие любви, исчезновение —  
лишь поворот и новое движение,  
а страсть и страх — и вовсе пустяки.

\*\*\*

Взметая над зеленью моря золу,  
Над миром раскинулась синяя сила...  
Мне снилась моя Оппозиция Злу,  
И Зло побеждало, но не победило.

Голодные волки ступали за мной  
По мху потаенных до свету решений,  
И шерсть их воняла холодной весной  
В течение трех предпоследних мгновений.

И путь уходил в постепенный песок,  
Сводивший на нет колеи и ухабы.  
От верной погибели на волосок  
Спешили на помощь учёные крабы.

И мчался мне в голову огненный шар,  
Подернутый белым калением с краю,  
Но темной волной заливая пожар,  
Я молвил с улыбкою: — Всё отменяю...

И вот, по сухому полярному льду,  
Сдавая, мерзейшая мощь заскользила...  
Мне снилась моя Оппозиция Злу,  
И Зло побеждало, но не победило.

\*\*\*

Может, и я для тебя теперь,  
Как ты для меня, — за пределом:  
Смотрят в обе стороны — дверь  
И черта, проведенная мелом.

Не облетевшая с губ строка —  
Шестивие этого света.  
Что в темноте моего кулака?  
Пуговица или монета?

Так и расходимся, хоть кричи, —  
Попусту глядя в оба:  
Ты — на туманность огня свечи,  
Я — на границу гроба.

\*\*\*

Город огромный мне дорог,  
Даром, что холод и морок.

Женщины там и мужчины  
Стёклами скрыты, машины  
Ходят по четверо в ряд...  
Ведают ли, что творят?

В твёрдую землю трамваи  
Гонят бетонные сваи.

Летом — влюблённые пары,  
Спички, помойки, пожары,  
С маленьким ножиком страх  
Прячет себя в гаражах.

Вспыхнет антенна на крыше —  
Разве что солнышко выше  
Слева, а справа луна  
Со свету еле видна.

Лето взлетит по прямой,  
Коротко листьями смажет —  
Небо морозной зимой  
Мокрые звёзды покажет.

Город замрёт — и парит...  
Ведает ли, что творит?

\*\*\*

Весна в краю моём черна.  
Когда отступит мгла немая,  
Апрель проводит времена  
По тонкой веточке до мая.

Сугроб осядет в тень и грязь  
И едким выветрится паром.  
Глядишь — и зелень занялась  
Благоухающим пожаром.

Но лето коротко на вдох  
И опрометчиво, как порох, —  
Тепла невидимый сполох  
В балконных тает разговорах,

И осень — золото и дым  
В моём краю победных зим.

\*\*\*

Говори, говори... Как во сне —  
Продолжай себе страстные речи.  
Ни крючка на весёлой блесне,  
В фейерверке ни грана картечи.

Говори, говори в темноту...  
Языка незаметна измена:  
Просто камушки вертлит во рту,  
Или меч над плечом Демосфена.

Говори, говори, говори...  
Лей на чёрную мельницу воду.  
Всё свободны мои снегири,  
Невзирая на смерть и погоду.

Вдох и выдох, нажим и щелчок,  
Перерыв, перенос — и сначала...  
Говори, говори, дурачок.  
Целой книги для записи мало.

Говори. Говори, как дыши,  
Петли гласных на быстрые спицы...  
Всё равно за тобой ни души —  
Лишь на холоде слава клубится.

\*\*\*

Рукой — к семнадцатому веку  
Притронулся легко и вдруг:  
Так входят в медленную реку,  
Уняв — от холода испуг.  
Ни волн — бурлящего напора,  
Ни вдохом по сердцу — огня, —  
Век за день вмиг мелькнули скоро,  
Сомкнув меня и не меня.  
У не меня, у ротозея  
Слетела с лошади узда  
За лесом, там, где Мангазея —  
К ногам упавшая звезда,  
А надо мной доныне вьются  
Дымок и льдистая труха  
И нимбом в небо раздаются  
Златокипящие меха!

\*\*\*

А за полночь, конечно, дождь пошёл,  
Упорно, точно в путь благословенный.  
Как странник, а не то — как белый вол,  
Иль колос в рост, овсяный и ячменный.

И так моя любовь к тебе идёт  
И в сердце кровь шумит тепло и сыро.  
Всегда в запасе влажный поворот  
У темноты негасящего мира.

\*\*\*

Сообщений сегодня не будет,  
а только мороз,  
чья брусничная ярость  
сильнее воздушных потоков,  
чьё строение из —  
разнесённых по яблоку блоков  
и на девять параграфов  
делится трудный вопрос...

И прекрасно. Пускай  
обломает на льду каблук  
нынче утром до горла  
уже достающая слякоть,  
что готова, упав,  
подниматься по новой и плакать  
по пути с берегов  
полноводной и мутной реки.

Сообщений сегодня не будет,  
а только повтор,  
повторение на ночь  
знакомых до чёртиков сказок,  
ради этой и той  
всевозможной счастливой развязки,  
от души — чистой правде  
весёлый и злой приговор.

Я и новой зиме  
корабельное дно засмолю.  
Все подробности — тут,  
после лета, пропитого вкратце.  
Да и нечего нам  
в холодильнике горном бояться:  
Разве жарче ещё  
от простуды тебя полюблю.

\*\*\*

Чего испугался? Неужто суконной невзгоды?  
Как будто мне голод — не тётка, не мать — нищета...  
И точно не черпал ладонями тёмные воды,  
Спустившись к реке с разведённого в полночь моста.

Иль страшно мне стало от ясно обещанной боли?  
Но если надолго, наверно сумею терпеть,  
А если придет нестерпимое — полымя, что ли? —  
Так будет, ей-богу, коротким — как пуля и плеть.

Смотря по зубам — я и то: на две трети порушен,  
Но во поле бранном бывает поруха страшней.  
Ввиду ли грядущей разлуки я так малодушен?  
Так мы уж встречались, так нас уж знакомили с ней.

Да нет, и вдвоём не осилить нам эту задачу.  
А всё-таки ты оставайся до света со мной,  
Когда я под утро сажусь на кровати и плачу,  
Разбужен как криком — летящей во тьме тишиной.

\*\*\*

Продолжим, моя дорогая.  
Не вечность же всё-таки век:  
Отскочит задвижка тугая —  
И всем ещё выйдет побег.  
И даже холопам безверья  
Изношенной мысли взамен  
Пожалуют чистые перья —  
Вот так, от рамен до колен.  
Ровняя поляну и гору,  
На все возраженья в ответ  
Обхватит собой без разбору  
Теплеющий утренний свет  
Любовно — подумаешь, дело! —

И душу, и уж заодно  
Больное по памяти тело,  
И куполом скажется дно.  
Опустишь — а пение взмоет,  
Святая моя простота!  
Заплачешь — а Бог успокоит...  
Поднимешь — а чаша пуста...

## ГРИГОРИЙ ТИСЕЦКИЙ

### ЛЕПЕСТКИ

Снег сходит, унося с собой следы.  
Тает, как этого требует время...  
Кто проходил по нему каждый день?  
Кто невольно, а может быть и специально  
Оставлял на нём слепки с ботинок?  
Кто многократно притаптывал его?  
Снег уже не падает с серого неба.  
Не режет белизной глаза,  
Заставляя их слезиться.  
Нет более тех чистых мыслей...  
Снег уже не покрывает мою голову  
Белыми лепестками с деревьев...  
Я прислоняюсь к стволу  
И слышу едва ощутимый шёпот:  
«Пора... Пора... Пора...».  
Я чувствую чьи-то шаги за спиной.  
Я оборачиваюсь...  
Он протягивает мне свои руки  
И я дотрагиваюсь до его ран...  
«Пора!», — хриплым голосом произносит он,  
Немного нервно отдёргивая руки  
И переводя взгляд на ещё заснеженную ветку.  
Я думаю, он таит обиду на себя за то, что  
Всегда приходит слишком поздно...  
Какая мысль тревожит его, —  
Наблюдающего, не имеющего возможности  
Ощущать?..  
Не имеющего возможности течь  
В этом разноцветном, а иногда  
И черно-белом потоке...  
Ведь он не знает, что за чувство испытываешь  
Идя под снегопадом...  
Что за чувство — брать снег в ладони...  
Но ему уже пора...  
Он уходит, унося отпечаток мгновения.  
А вместе с ним уносятся,  
Кружась в танце последние лепестки снега...  
Так пусть же они покроют дорогу,  
Создавая ощущение невероятной лёгкости!

## ЕВГЕНИЯ ГЕЙХМАН

Из цикла «Воспоминания о городах, где я побывала»

*Десна течет в Венецию...  
В перемещение волн  
Приблизится и встретится  
Высоконосый челн.*

Е. Гейхман

Где мечты мои не витали бы,  
Но всегда возвращались к ней.  
И Господь подарил мне Италию  
На блаженные десять дней.

\*\*\*

С чем придется мне в жизни встретиться,  
Что придется сжигать дотла?  
Но я знаю, что есть Венеция,  
Потому что я там была.

Даже если власть переменится,  
Но никто уж не отберет  
Кружевные дворцы Венеции,  
Разноцветный их хоровод...



... Ерошит ветер волосы,  
Закат глядит в глаза,  
А за кормою полосы  
От черного весла.

Высокий нос изогнуто  
Стремится над волной.  
Ну что ж, мне всё равно куда!  
Был бы ты со мной.

\*\*\*

Карусель моей жизни вертится,  
Вдоль вселенских скользят осей,  
А на площади во Флоренции  
Тоже кружится карусель.

По крутым, трехсотлетним лестницам,  
В переулочек, за поворот,  
Карусель плывет по Флоренции,  
На углах замедляя ход.

В красных кадках синие пинии,  
В узком небе солнца овал,  
Так надменно блестят глицинии,  
Как сто лет никто не блистал.

От зимы никуда ни деться мне,  
Но скольжение не страшит,  
Там, за морем, цветет Флоренция,  
И от этого легче жить.

\*\*\*

Заштрихована кипарисами,  
Спит Тоскана в своих лугах,  
Акварелью она написана  
И рассказана вся в стихах.

\*\*\*

Красны крыши и желты стены,  
Вектор времени смотрит вспять,  
Разлилась по холмам Сиена,  
Как вселенская благодать.

Ее воздухом не надышаться,  
Ее мраморы несказанны,  
И поверить надо бы в счастье,  
Наблюдая ее часами.

И забыть обо всем на свете,  
На ее площадях пируя...  
Коль предложат сменить планету.  
Эту, старую, заберу я.

## БОРИС ЮДИН

\*\*\*

Уехать бы из стороны,  
Где волны зыбкостью больны,  
И мы весь день обречены  
Глазеть на пальмы,  
В тот край, где утверждают сны,  
Что в мире липкой тишины  
Они пророчески важны,  
И предвкушение весны  
Материально.

Где мордочки веселых краль,  
Поправ семейную мораль,  
Любвеобильны.  
Где Пастернаковский февраль  
Рыдал чернильно.

Туда, где в бездорожье карт,  
И черных оспинах проталин  
Юоновский прозрачный «Март»  
Сверхлевитанен.

Но тень от крыльев – налицо:  
Как ни мечтай – в конце концов  
Наглеют чайки.  
Бескрайна горькая вода,  
В депо ржавеют поезда,  
И обручальное кольцо  
Так обречально.

\*\*\*

Билеты в кассе, очередь ОВИРа...  
Цыганка преуспела в ворожбе.  
И жизнь была прочерчена пунктиром  
Из пункта А в загадочный пункт Б.

Пылали сосны на закате свечкой,  
Отечество сгорало в горький дым.  
Но почему-то кислый дух местечка  
Был, словно царь Кошей, неистребим.

И возникало саднящее что-то,  
И мир был к восприятию не готов,  
И подменяли красочные фото  
Сердцебиенье стран и городов.

Капкан дивана. Яд самообмана.  
Гвоздь – в стену. В рамке на руке гвоздя –  
Кольцо троллейбуса на пальце безымянном  
И невезений сладкая стезя.

## КОРРИДА

Арена. Трибуны. Всё будет в ажуре:  
Ведь смерть, как любовь, горяча и интимна.  
Я бык, а не центнер говядины в шкуре!  
Я мачо, бретёр, настоящий мужчина.

Рога, словно шпаги, стальные и упрямые,  
У губ моих – пена разгневанной плоти.  
Я сэр Ланцелот, защищающий даму,  
Я раненый Пушкин, стреляющий с локтя.

Я бык. Глadiator. Трещат кастаньеты,  
И бомбардировщики над городами  
Глядят, как убийца, отбросив мулету,  
Несет мое ухо скучающей даме.

\*\*\*

Кино. Пиноккио по кличке Буратино.  
Рука под юбку. Как коленка горяча!  
И кофточка из белого сатина,  
И родинка у чьевого плеча.

Под шиканье соседок возмущенных  
Трепещет плоть, запретный зреет плод,  
А по экрану ходит кот ученый  
И сказки про несбывшееся врет.

## ВИЛЬЯМ БАТКИН

### «Я КРИЧУ НЕВЫКРИЧАННЫМ КРИКОМ...»

Имя израильской поэтессы Анны Фишелевой – не на слуху, не в «обойме» громких имен. Участница Второй мировой войны, она ушла на фронт со студенческой скамьи Харьковского университета. В Израиле – с 1994 года. Автор стихотворных книг «Дожди. Деревья» (1997) и «Города, дороги» (2001), член редколлегии литературно – художественного альманаха «Галилея», жила в городе Нацрат-Илите. Увы, этот глагол – лаконичный, исчерпывающий, – вынужден применить в прошедшем времени. В конце апреля 2001 года Анна Фишелева умерла в Харькове, где гостила у своей дочери – известной поэтессы Инны Сухоруковой. Ее родители были не просто милыми интеллигентными людьми, любящими и писавшими стихи, зачастую, по тем временам, крамольные, – они были знатоками русской, украинской и мировой поэзии, в их доме – Сухоруковском – умело и ненавязчиво

приобщали к культуре молодую поросль, в пятидесятых годах – и автора этих строк.

Чем меня пленила поэзия Анны Фишелевой?

Прежде всего – страстным, сильным голосом и предельной искренней исповедальностью, своеобычностью, чистой русской речью, точностью метафор, – а ими щедро пересыпаны ее строки. Стихи этой внешне хрупкой женщины напроочь лишены слезливой сентиментальности, нарочитой искусности или сноровки. Читатели «Побережья» оценят по достоинству, негромкую поэзию Анны Фишелевой, особенно стихи, написанные в Израиле, где, на излете судьбы, особым светом вспыхнул ее талант.

## АННА ФИШЕЛЕВА

\*\*\*

Я, может, этим деревом была.  
А, может быть, соседнею осиной.  
Разломом влажным –  
желтой древесиной.

Лишайником  
в шершавинах ствола.

Я продолжала странную игру:  
Распространялась,  
слушала, тянулась.  
К рассеянному небу прикоснулась,  
Развеваясь, забылась на ветру.

В мой бедный бок впирается пила.  
Я накрениюсь  
со скрежетом и скрипом.  
Нет! – я кричу  
невыкриканным криком  
И падаю. Я деревом была.

\*\*\*

В раздумье человек на берегу  
Проследживает пасмурную реку.  
Она,  
тоску сбывая человеку,  
Так много слез скопила на бегу.

Нам непонятен осторожный лес:  
Чужие тайны и чужие смыслы  
Сомкнулись,  
и привстали, и нависли –  
Неведомое стойбище древес.

Сухая степь – прабабушка моя.  
Старухина растресканная кожа.  
Завет земли. Связующее ложе.  
И неба закругленные края.

Пускай в степи  
останется мой прах.  
Приклеится к подножию былинки,  
Запорошит вельветовые спинки  
Полдневных пчел.  
Рассеется в ветрах.

\*\*\*

А время обрабатывает раны,  
Накладывает ниточки – минуты,  
Заклеивает пластырями – днями,  
Культию мою баюкает тихонько.

Ах, время!  
Убывает от рожденья,  
А может – убывает от зачатия,  
А может –  
пребывает после смерти?  
Галактики расходятся во мраке,  
И мы с тобой  
в стремительном разбеге.

\*\*\*

Мертвые терпеливы.  
Я затаюсь под спудом.  
Отбарабанят ливни –  
Сразу меня забудут.

Не шевельну рукою,  
Не обозначусь тенью.  
Ляжет на дно со мною  
Каменное терпенье.

Мертвых манят надежды,  
Вложенные в столетия.  
И между мнѣй и между  
Вечностью – встреча светит.

Может, зарница летом  
Или угрюмость зданья,  
Или безветрье веток  
Выведут на свиданье.

В поле, на горьком ложе,  
В завязи водоема,  
В чьей-то душе похожей  
Выплывет звук знакомый.

И просочится мимо  
И заметет забвенью.  
Мертвым необходимо  
Каменное терпенье.  
И живым.

\*\*\*

И вот хамсин, отвязанный, нагой,  
Всей широтой раскованной натуры  
Придавит рощу пятернею бурой,  
И камни заклокочут под ногой.  
Тогда – твоя. И рядом, на горбе,  
Завоют эвкалипты и заплачут.  
Я в этом доме есть. Живу и значу.  
Клеймо меняю в масть своей судьбе.

## В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Нет! Птицей не хочу.  
И тучей – не хочу.  
Вот разве веткой –  
По ветру пластаться.  
А лучше – ветром,  
Мальчика касаться,  
Догнать, обнять,  
Погладить по плечу.

\*\*\*

Восходит ввысь  
единственная нота.  
Вы слышите?  
Над полем вековым  
Нам души завораживает кто-то  
Поземкой острой,  
ветром низовым.

Мой Бедный,  
Всеблагой и Вездесущий!  
Тебя постигла неудача. Да.  
Ты этой болью  
вяжущей, сосущей  
Меня к себе приклеил навсегда.  
Не разогнешь невидимую спину.  
А то, что Ты бессилен – бог с Тобой.  
Не бойся, Б-г!  
Тебя я не покину  
В Твоей холодной яме голубой.

## ВАЛЕРИЙ ДАШКЕВИЧ

\*\*\*

Приезжай, тебе станет больно,  
Как тогда – иль еще больней.  
В каждой твари спрятана бомба,  
Да не всякий помнит о ней.

Расквитайся с последним счетом,  
О щетину слезу утри,  
Как ребенок, не зная, что там  
Так надрывно болит внутри.

Ни смолчать, ни солгать не вправе,  
Позабыв про твои права,  
В многословье, как в разнотравье,  
Снова спрячу силки-слова.

Станет больно, тепло и тихо.  
Встанут стрелки, мгновенье для.  
И отчетливей станет тикать  
Боль, неслышная в шуме дня.

Мутным взглядом обняв осину,  
Мыслям вторя, как попугай,  
Я осилю себя, осилю...  
Только ты мне не помогай.

\*\*\*

Ходить по лезвию листа...  
И вновь, поля переступая,  
ни слов не прятать, ни лица –  
когда неясная, тупая  
в них проступает...

Не дано  
признанью, втиснутому в рамки,  
звучать естественней, чем «по»  
разбогатевшей иммигрантки...

Семь пятниц выносив во лбу,  
дерзнуть на робкое движенье,  
услышать – я тебя люблю...  
И испугаться продолженья.

\*\*\*

Я сгорел, словно флаг в руках Дина Риды.  
Там, где я, тебя нет. Где же ты...  
Иммигранты на пляжах зловонной Флориды  
Греют жирные животы.

Это что за авто с перекошенной мордой,  
Вдоль за ним – полицейский огонь...  
Ныне вовсе не умно, не круто, не модно  
Уходить от погонь.

Знаешь, мне повезло – кривошипно-шатунный  
Организм до конца не добил...  
Я любил это небо с луною латунной.  
Навзничь землю любил.

Прятал в море стекло. Кровь текла, как текила.  
Наигралась и – вытекла вон...  
Если снимешь в аренду семь футов под килем,  
Вряд ли купишь спасенье у волн.

Посмотри, посмотри...  
Я всё тот же, я прежний –  
Как всегда на мели в океане людском.  
Это я для тебя на чужом побережье  
Сигаретным стою маяком.

\*\*\*

Гитлер опять загрустил – у него ничего  
Вновь не выходит с задачкою. Вот незадача...  
Милая фройляйн, скорей поцелуйте его,  
Пусть он заплачет.

Ну, поцелуйте скорей, растопите войну –  
Пусть он смягчится, пока не безвыходно болен...  
Недоцелованность губит мужчин на корню,  
Милая фройляйн.

В Линце ли, в Мюнхене – где он еще победит...  
Где наследит он, какие задачи решая...  
Ну, поцелуйте, ведь он не палач, не бандит –  
Он еще мальчик, а значит – цена небольшая.

Если б вы знали, как много безвыходных битв  
Предотвратите, коснувшись подростка губами...  
Милая фройляйн, покуда никто не убит,  
Не говорите его наказующей маме!

Не говорите, молчите, пускай говорят –  
Гладьте вихрастый затылок, любите, жалеете...  
Пусть он заплачет – прольется безвыходный яд.

Пусть он заплачет, как тот Рабинович – на флейте.  
Об руку, вместе, над мокрой паря мостовой,  
Вы унесетесь туда, где никто не догонит.  
Только склонитесь на миг над его головой,  
Пусть он заплачет – не будет огня и агоний...

Милая фройляйн, цена небольшая, цена –  
Просто любовь и всего-то любовь – не война.

\*\*\*

Смотришь в глаза, говоришь за глаза,  
Думаешь третье...  
Раз уж без мыслей живому нельзя –  
Думай о смерти.

Я преуспел. И сомнений лишен  
Правдой такою:  
Бог – это смерть, потому что лишь Он  
Всех успокоит.

\*\*\*

Если Бог отвернулся, за что эта злость?  
Нынче даже кадык выбрит,  
Да и тело с душой не охотятся врозь...

Вот опять, усмехаясь, нечаянный гость  
Сверлит взглядом – считает, что видит насквозь.  
Но меня ведь не видит...

И, в прозрачный бокал подливая вина,  
Я смолчу. Так случилось во все времена.  
...где, какую строкой, даже мне не видна,  
Бродит радость моя, недодрога...  
Не она ли из шума машин и людин  
Вдруг возникла с невидимой раной в груди,  
Прислонилась и ждет у порога...

Если есть наказание, была ли вина  
В том, что нежность моя никому не нужна...  
Не оценит вина, кто не допил до дна,  
Не поможет строки многозначность.

Как легко в окруенье прозрачных стрижей  
На последнем, обрывном стоять рубеже,  
Как свободно... и к самому горлу уже  
Подступает прозрачность.

От рентгеновских взглядов друзей и врагов  
Упаду в пустоту, не оставив кругов.  
Ни рыдания, ни всхлипы чужих берегов  
Даже эхом не тронут...  
Я исчезну, один, как подраненный волк,  
Так же странно, как если бы канул без волн  
Жернов, брошенный в омут.

Я презрел эту битву, борьбу, чехарду...  
Потерпи, моя радость, я скоро приду –  
Побреду, увязая в словесном бреду,

Не дождавшись конца поединка,  
Не дождавшись прозрачной слезы из-под век...  
Что слепому с того, что исчезнет навек  
Человек-невидимка.

\* \* \*

Где счастливая спичка  
Изогнулась в золе,  
Где кричит электричка,  
Исчезая во мгле,  
Где скрипит удивленно  
Неожиданный снег  
Под ногой почтальона —  
Там меня больше нет.

Ну же, связывай нитку,  
Дальше, парка, пряди!

...пригубить землянику  
У тебя на груди...  
Хмель сердечной отравы  
Принимая всерьез,  
Ворошить разнотравье  
Твоих пряных волос...

Где постукивать ставней  
Только ветер придет...  
Где, богами оставлен,  
Всяк себе напрядет...  
Где нежданная проседь  
Твой висок убелит,  
Больше строчек не носит  
Почтальон-инвалид...

Лишь бессмысленной болью  
Неуемной строки  
Остаются в мозолях  
Узелки, узелки...

\* \* \*

И вновь, и вновь любовь рифмую с болью,  
Ведь нас, безумцев, хлебом не корми...  
И дразнит Бог последнюю любовью,  
И зреет сумасшествие в крови.

О, я сходить с ума имею навык —  
Мучительно, надрывно, постепен...  
...но сам сойду, подталкивать не надо  
На шаткую последнюю ступень.

И стоя на последней, обреченной,  
Над черным средоточием судьбы —  
Я сам сосредоточенным и черным  
Пребуду в муках внутренней борьбы.  
И мне на миг привидится, приснится,  
Что смерть неповторима и легка...

И надо мной карающей десницей  
Господь на миг раздвинет облака  
И, видя изменения палитры,  
Я потянусь к несбыточной мечте  
И обращусь не в робкие молитвы,  
Но в жаркий шепот, шепот в темноте.  
Покуда мига зыбкое богатство  
Мерцает, как последний флажолет...  
Позволь не испугать, не испугаться,  
Не отшатнуться и не пожалеть.

## ДОРОЖНАЯ

Мы едем и видим виденья.  
Мы едем. Куда — всё равно...  
Ребенок на заднем сиденье  
Задумчиво смотрит в окно.

Мы едем от славы опальной,  
Оставив дела и долги.

Мелькают проселки и пальмы,  
А родина где-то вдали.

И вновь неуютные мысли  
Вползут из шурушания шин...  
Куда мы всё время стремимся,  
Про разум забыв и аршин —

Уже ни бензина, ни денег,  
Ребенок уже не поет...  
Мы едем и видим виденья.  
И каждый, конечно, свое.

И каждому нужно немного —  
Чтоб темень неслась по пятам,  
Чтоб к свету тянулась дорога,  
И мерно мотор трепетал.

О, нет безрассуднее гонок,  
Чем эта — из лета в весну...  
Давно утомленный ребенок  
На заднем сиденье заснул.

Но нет остановок в помине —  
Мне легче лететь оттого,  
Что ты в полутемной кабине  
Не видишь лица моего.

\* \* \*

Надо мной ворожит ворог,  
Вороненым зрачком светит.  
А в зобу у него порох.  
А в глазу у него ветер.

А меня по земной пыли  
То ли Бог, то ли черт гонит,  
Заставляя слагать были,  
Заставляя презреть голод.

И пока над земным зовом  
Вран завис неземной точкой —  
Не соврать ни одним словом.  
Не солгать — ни одной строчкой.

\* \* \*

Не дрейфь, не дрейфуй, поднебесный читатель,  
меж ложью и мной.  
Пусть в каждой фонеме — прокуренный кашель,  
эпический гной...

Чего ни сболтнешь, осознание без спроса  
сгоняя с виска...  
Ты знаешь, ты знаешь, как это непросто —  
молчать свысока.

Бывает, такое откроется взору —  
да вниз не сойдешь...  
А значит, мне истина в жилу и впору  
дражайшая дрожь.

Но чей это голос, ты слышишь, не мой ли —  
из пагубных недр...  
Я знаю, ты нем, потому что ты молвил.  
А я еще нет.

Снаружи печет лихорадки румянец,  
зола — изнутри...  
Я понял, ты все меня не помянешь.  
...но молча смотри,  
пока я не умер, чтоб выжить, пока мне  
в молчанье не соль.  
Ты видишь, как я наступаю на камни  
строкою босой...

\* \* \*

Вздрыгнул... Это что за остановка –  
Мавзолей? Курган? Теночтитлан?  
Или это сердца остановка...

Длинно ночь тянущая текла,  
Стыла лавой Попокатепетля...  
И опять до самого утра  
Я катил, как перекасти-поле,  
На себя наматывая страх.

Страшно. От Байкала до Эмпайра  
Стонут беспризорные ветра.  
Поцелуй еще меня, Элвайра  
Или как там звал тебя вчера...

От любви до самых до окраин,  
Где б ни обняла тебя судьба –  
Человек проходит как хозяин,  
Превращаясь в Божьего раба.

\* \* \*

Нынче осень на слова урожайная.  
Жаль, погибнет на корню урожай...  
Если любишь, то молчи – уважай меня.  
А не любишь – так себя уважай.

Все заначки по блокнотам рассованы.  
Что не влезет – износится в хлам...  
Если боль твоя не мне адресована –  
Что осталось поделить пополам?..

Вянет луч в окне – светло и божественно  
Загостившийся... Кричит ребяшня.  
И лежит отдельно взятая женщина –  
Отделенная лежит – от меня.

\* \* \*

Свету ли нам достанет,  
Птицы ли отпоют –  
Тихо собьемся в стан  
И полетим на юг.

Будем в ночи кромешной  
Мрак раздвигать рукой.  
Так не молчи, не мешкай,  
Пой, безымянка, пой...

Голос твой тих и тонок,  
Перья твои – в золе.  
Вечность, как орнитолог,  
Ищет тебя во мгле.

Ну же, помашем Лете  
И полетим туда,  
Где в позабытом следе  
Мокрая спит звезда.

Где над кирпичным полднем  
Грязь на миру бела,  
Замыслы птичьих вспомним...  
Вспомним, как ты была  
Горлом залетных горлиц,  
Звуком запретных струн –  
Как, услышав твой голос,  
Скрипку сломал горбун...

Как нам весь мир казался  
Чашею... полной зла.  
Как я тебя касался  
И обжигал крыла...

**МИХАИЛ ФОКС**

## **ВЕСЕННЯЯ ИЛЛЮЗИЯ**

Глаза пустые. Дары волхвов.  
Снега России в осколках снов.

Ночная нежность. Святая тень.  
Рождённый летним рассветом день.

Закаты счастья в лучах огня  
Ушедших в вечность секрет храня.

Полёт кукушки над лесом слов  
Страх от потери земных оков.

Уединенье с самим собой.  
Поток сознания по мостовой.

Зари весенней волшебный миг  
Прикосновений родной язык.

Рожденье мысли из волн огня  
Поползновение уйти в себя...

Глаза слепые. Следы волков.  
В снегах России осколков снов.

## **ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ?**

Что есть любовь? Эмоций карусель.  
Секреты. Суэта. Ночные блёстки  
Обрывков мыслей спрятанных досель  
Чтобы зажечь в глазах любимой звёзды.

Что есть любовь? Ночная тишина.  
Сладкая песнь подаренных мгновений  
Взаимных чувств волшебная волна  
Немая речь твоих прикосновений...

Что есть любовь? Это когда без слов  
Ты знаешь всё, что в будущем свершится,  
И каждый поделуй – как дар волхвов  
И никуда не надо торопиться...

## **РЕЦЕНЗИЯ НА ЖИЗНЬ**

В лучах разбившейся кометы  
Сверкают прошлого монеты,  
Живут чужие силуэты,  
Вдаль уплывают корабли...

И в кассе нет домой билетов...  
Быть может, мы, как две планеты,  
Вернёмся на орбиту лета,  
В объятья матушки земли?

Поднимем полные бокалы,  
Облокачимся на штурвалы,  
И, забыв про стоп сигналы,  
Зажжём бенгальские огни...

Венецианские каналы  
И подмосковные причалы –  
Лишь веки на пути к началу  
В прошлом и будущем они.

И вспышки молний равнодушных  
Словам воздушным непослушных,  
Забыв про ангелов тшедушных,  
Блаженство озарят на миг

И из останков мирозданья  
Над бездной сна самопознания  
Точкой над «и» в любви признания  
Победный прогремит мой крик.

## ВЕРА В МЕЧТУ

Там куда я уйду  
Растворяются мысли в ночи  
А обрывки стихов  
Озаряют лучами зарницы.  
И за веру в мечту  
Неуменье уйти в пустоту  
За потерянный рай  
Провиденье воздаст мне сторицей

Неизвестных миров суета  
Бесполезность дорог  
Что ведут лишь туда  
Где нельзя пересечь все границы  
Отражения улиц  
В полночных гудках поездов  
Обещанья вершин  
На исписанных кровью страницах

Впереди неизвестность  
Лазурных морей берега  
Где о вечной любви  
Можно петь у костра до рассвета.  
Тёплых маминых слов  
Захлестнувшая чувства волна  
Мне с улыбкой вернёт  
Безмятежность забытую где-то...

## ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Вновь завтра переходит в никогда  
Судьбы капризы смертным непонятны  
Грядущего бегущая вода  
Нам шепчет правду голосом невнятным.

Не надо ждать, надеяться, любить  
Всё будет так. Нет выбора иного.  
Нам не дано свободу заслужить  
Счастье в руках правителя слепого...

Но есть безумцы кто своим путём  
Идут вперёд как будто без причины  
Дверь в темноту открыв своим ключом  
Бегут смеясь по тропке до вершины

Там в опьяненье посмотрев на сон  
Постигнув все секреты мирозданья  
Они с улыбкой свечи у икон  
Зажгут в экстазе слёз самопознания...

## ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

На улице дождь. Больше нечего ждать.  
И в каплях живых застывают мгновенья  
Но надо понять что нельзя приказать  
Влюблённому сердцу не верить в спасенье.

Взорвётся последней надеждой январь  
Снежинкой на грудь упадёт откровенье  
И в тёмной ночи загорится фонарь  
Лучами любви осветив наважденье...

Я снова вернусь в заколдованный лес  
Где алые розы под снегом зимуют  
Их души омытые кровью небес  
Меня как любимая нежно целуют.

## АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВ

### РЕМБРАНДТ

Лето в бархате, кружеве, шелке,  
Оплывает по бронзе свеча...  
И ложится на книжные полки  
Предзакатного солнца парча.

От каналов, затянутых тиной,  
Пахнет небом, что кануло в них...  
И изысканно-злой паутиной  
Легкий ветер на окнах затих.

Амстердам, приготовившись к ночи,  
Тонет в облаке сладостных грез.  
С облаков, что разорваны в клочья,  
Слезы падают листьями роз.  
Будто аиста стук в черепицу,  
Дождь играет свое болеро...  
Ах, как славно ночами здесь спится,  
По утрам просыпаться – хитро...

... Только всё это слишком елебно  
И доступно иным городам...  
Я б хотел здесь увидеть Ван Рейна –  
Ну, какой без него Амстердам?  
В мастерской его, в золоте ставен  
Стынет небо из звезд и комет...  
И – по-своему лаской забавен –  
Лунный луч тормозит табурет.  
На холсте, что допишется скоро,  
Краски в вихрях литого мазка...  
Это – поступь ночного дозора,  
От которого вечность близка...

... Да. Теперь сквозь оконные рамы,  
У которых томится герань,  
Ощушаю я дух Амстердама,  
Будто вижу лицо сквозь вуаль.  
И настолько всё это красиво,  
Что восторгом великим томим,  
Я – с раскаяньем блудного сына –  
На колени паду перед ним...

## О СЕБЕ

... Москва казалась мне когда-то,  
То просветленной, то – кромешной...  
Я поступил во ВГИК без блага.  
И спал с актрисами, конечно.  
Я бунтовал! И, пряча книги  
Антисоветские на даче,  
Я видел на себе вериги –  
Святого строя, не иначе...

Тот город был – миллионом окон,  
Задержанных наполовину...  
Он тыкал, выкал, плакал, окал –  
А мне в нем было одиноко,  
Как будто я его покинул...  
... И я покинул. Я уехал,  
И сгинул в новых днях и странах.  
И – коль в Москве остался эхом –  
Так лишь в дешевых ресторанах...

Хоть память кажется неловкой:  
Тринадцать лет как нет меня там –  
Хожу во сне я по Петровке,  
И пролетаю над Арбатом.  
Ну да, здесь прадеды, и деды,  
И бабки в кружевах и кольцах.  
И предрассветные обеды  
С шампанским для народовольцев.  
И то столичное смятение,  
Чего теперь в помине нету...  
Я – тень – гляжу на предков тени,  
Как во вчерашние газеты.

... Сегодня день такой унылый,  
Что с четырех сторон обгажен...  
Попробую, я буду милый,  
Хоть знаю, результат не важен...

О, сколько боли, сколько сердца,  
А отклик пуст и слишком тонок...

Старик... Куда теперь мне деться,  
Когда душою я – ребенок?

## ОСЕНЬ

Давай поговорим с тобой.  
О чем? О чем-нибудь...  
Ну, что полезен зверобой,  
Иль что – разбужена трубой –  
Листва летит на грудь.  
Что на десятом этаже,  
В окне не гаснет свет...  
Что осень кончилась уже,  
Вот только снега нет...

Давай с тобой поговорим –  
Всё лучше, чем молчать...  
О том, что мир – как пилигрим,  
Который ищет Третий Рим.  
Так что? Рим Третий сотворим?  
Не сложно обещать...  
Рим – не сироп, не бланманже,  
А что-то от конфет...  
Что? Осень кончилась уже?  
Вот только снега нет.

Поговорим с тобой? Давай,  
На свете много тем...  
Все души улетают в рай,  
Но путь простой не выбирай,  
Ведь грешники бегут в трамвай:  
Там места хватит всем.  
Трамвай, как вилка по *спарже*,  
Летит во тьму и бред...  
Ах, осень кончилась уже?  
Вот только снега нет.

Моя душа горит внутри,  
Как сотая печать.  
Ну... Тишины же не твори,  
Хоть сердце вскрой и заberi...  
Прошу тебя, поговори,  
И перестань молчать...  
Иль, если пули есть в ружье,  
Стреляй, коль сильно зол...  
Да... Осень кончилась уже,  
Теперь вот – снег пошел...

## ТАМ

Бьется бабочка в бокале –  
Винопитствует и плачет.  
И мечтами рвется в дали...  
Хоть мечты не много значат.  
Там, в мечтах, в ином пространстве,  
Где возможно всё на свете,  
Есть любовь и постоянство...  
Не смешны ль мечтанья эти?

Там, в ином подлунном мире,  
Всё сбывается на деле:  
Тигры ходят по квартире,  
Боги кружат карусели.  
Там – ни омота, ни срока,  
Время вытерто до лысин,  
Это – вечная эпоха,  
Что зовут «игрою в бисер»...

Там, как долго б ни искали,  
Одного лишь не найдете:  
Нет там бабочки в бокале,  
Только – бабочка в полете!

## КРУЖЕВНИЦА

Будет жизнь хитро твориться –  
Или ей рецепт не нужен?

Нежно вяжет кружевница  
Пену сонную из кружев.  
Там – бульвар, вино и лето.  
Тут – секретное свиданье...  
Бесконечные сюжеты  
Крохотного мирозданья.  
То – Овидий, то – Проперций,  
То – цитата из Гомера.  
Кружева плетут из сердца –  
Точно так же, как химеры.  
Судьбы – дни из мелких точек,  
Что плывут над головами...  
Ты трудись, трудись, крючок,  
Обвяжи нас кружевами.  
Города, цветы и лужи,  
Страсти, смех и волхвованье...  
Мир сплетен из тонких кружев,  
Перепутанных с дыханьем.  
Души, плоть, сердца и лица,  
И знакомства, и разлуки...  
Бойко вяжет кружевница –  
Не поймать в полете руки...

... Ты скажи, ответ мне нужен,  
У тебя ж он – наготове.  
– Если, впрямь, весь мир из кружев,  
Отчего же я – из крови?!..

## СТАККАТО И БАРОККО

Мне было одиноко,  
И как-то пустовато...  
Стаккато и барокко,  
Барокко и стаккато...

Как дождь стучит по крыше,  
Как снег скульптуры лепит.  
В душе моей всё тише  
Иллюзии и трепет.

Вся жизнь – цена урока,  
Как вылезти из ваты...  
Стаккато и барокко,  
Барокко и стаккато.

Воспоминанья детства,  
И страх перед грядущим...  
И не пророчит сердце  
Пройтись по райским кушам.

И не было бы проку:  
Я был ведь там когда-то...  
Стаккато и барокко...  
Барокко и стаккато...

## ОЛЬГА РУСАКОВА

\* \* \*

В стихах, во взглядах нету толка,  
Любовная скороговорка  
Томит собою складки губ,  
Но для нее ты слишком груб.

Мое невелико призванье –  
Одной из многих сложно ль быть?  
Тебе я только расставанье  
Смогу простить.

И я смолчу, когда под небом  
Взметнутся, словно два крыла,  
Два взгляда, упираясь немо  
В слова.

\* \* \*

Не смогла остаться  
Незамеченной,



А с тобой встречаться –  
Опрометчиво.

Я в твои не верю  
Обещания –  
Открываю двери  
Расставанию.

Видно ты был тем –  
Судьбой отмеченным –  
Не смогла остаться  
Незамеченной.

\* \* \*

Тяжко с коробом грехов  
Да сомнительных шагов  
Отыскать дорогу –  
Светлый путь:  
В глаза взглянуть –  
Богу.

\* \* \*

Еще не знаю, только чую  
Движенья истинной любви,  
Зову ее к себе – колдую  
И все заклятия свои –  
Рифмую.

\* \* \*

Улиц темных рукава  
Манят в ночь.  
Одиночеством полна голова.  
Прочь  
Уехать, потеряться,  
Где-то сгинуть навсегда,  
Чтобы больше никогда  
Не бояться  
Одной остаться.  
Чтобы больше голова  
Не горела, как пророчеством –  
Одиночеством.

А.Р.

Переперчена, пересолена  
Вся любовь твоя –  
злыми фразами.  
Оказались мы слишком разными,  
Оказалось – хочу на волю я.

И всё чаще я, засыпая,  
Придвигаюсь к кровати краю –  
Придвигаюсь к разлуки краю –  
Засыпая и – забывая,

Как мне больно из уст – прежде сладких –  
Слышать ложное: «Всё в порядке!»

\* \* \*

До черты дошли, а дальше?  
Прыгнуть вниз не усташусь! –  
Ты ведь знаешь – я боюсь  
Одного –  
Любовной фальши.

\* \* \*

Спасите меня! Спасите меня  
Из этого круга, из этого ада.  
Отдайте мне лиру, отдайте коня,  
А полкоролевства не надо.

\* \* \*

Сердце сковано – немотой.  
Уготовано – за чертой:  
Поцелуй в щеку и даже  
Может что-нибудь ты мне скажешь.  
Поздно, пусто и холодом  
Пробирает до самого сердца,  
А куда от этого деться  
Если нежности слишком много?



Андрей Бузилов Война. Графика

## ОТРИНУТАЯ ДУША

Оставляю штрих помады красной  
На меховом воротнике.  
Всё так обманчиво и ясно –  
Рука в руке.

Души моей коснешься взглядом.  
Чуть затенило наш мирок,  
Но всё по-прежнему – ты рядом –  
Уйти не смог.

Так предначертано – смиряюсь.  
Не отрекись, не поклянись!  
В тебя вжилась, тобою маюсь  
И не боюсь!

## ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

### В ФРУКТОВОЙ ЛАВКЕ

Может, купить наудачу  
у продавца без сдачи  
персики и бананы,  
чтобы тобою пахли?..  
Цвета красного золота  
в ящике спелые яблоки,  
как щеки лица румяного.  
Сливы-глаза голубиные  
синью меня голубят...  
Черникой зрачки чернит...  
Грудь твою, как дыню,  
при луне лимонно-дымной.  
Губы распахнуты дольками  
сочного апельсина.  
Ева-Богиня-Кошечка!  
Куплю всего понемногу,  
на белую скатерть поставлю,  
пусть прилетают птицы.  
И мы попируем с тобою.

\*\*\*

Ветер дует на Север,  
ветер веет на Юг,  
день перекрасит в белое,  
ночь – чернотой вокруг.  
Голоса из прошлого  
не отгоняю прочь, –  
ни обрывком слова,  
ни шепотом строк.  
Я свободен до срока  
от прикосновения губ,  
моя жизнь в рассрочку  
опишет памяти круг.  
И луна в пол-лица  
ярким светом взошла,  
как серебро на волосы  
пролила.  
Так хочется воспарить,  
но теперь уж нельзя –  
я разбился бы вдребезги,  
если б не два крыла.

## ОСЕННИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ

Поздняя осень.  
Барьер из стекла.  
Желтые листья на окнах.  
Я отражаюсь,  
а вижу тебя –  
почти до физической боли.

\*\*\*

Рука Творца создала Океан и Берег.  
И бредит скульптор человеком –  
Из глины лепит Человека.  
Из белой глины жизнь построит на песке.  
Всё будет:

дождь и ветер,  
свет и тьма...

Всё будет явным в этом мире,  
И лишь загадочна душа,  
загадочна и одинока,  
как первобытная звезда  
в Галактике,  
где только Океан и Бесконечность...

## РИМЛЯНИН

*Сергею Якличкину*

Арена века –  
Калигулы утеха.  
Над Колизеем мира –  
властитель Рима!

Красавицы Империи  
при омовении  
на шкурах грозных львов.  
Любовники провозглашают зов:

– Да будет Цезарь-зверь убит!  
На плахе возлежит  
его лишь тело; а душа  
на семь холмов взлетела.

О, римлянин, –  
ты мой должник!  
И новый узурпатор норовит  
поджечь все клетки цирка.  
Но я остался жить в огне истории,  
и мой народ, как искра.

## ЕВГЕНИЙ ДУБНОВ

\*\*\*

Что мы способны дать – на ручке – руку  
И подбородка на ладони вес –  
Теперь уже на вечность отстоящим  
От смерти? Здесь, у отмени стиха,  
В потоке этом радиационном  
Всех элементов времени найдёт  
Наш дух пристанище и утешенье.

\*\*\*

От перелазы к перелазу,  
От поля к лугу, от корней  
Зеленых к желтым стеблям, сказка  
Моя о севе и этерне.

Вдоль полускошенного поля  
И бледной, мертвенной травы  
Проходит путь души в неволе,  
Как путь полевки и совы...

Сейчас, когда леса умолкли  
И одиноко на мосту  
И птицы под дождем промокли,  
Я чувствую синхронность ту:

В час, что над Темзой пролетела  
Сквозь синий ласточка рассвет,  
Разгоряченный лоб задела  
Метель на площади в Москве.

\*\*\*

Сквозь несобранный, неопрятный осенний ветер  
Ты вдруг начинаешь бежать во всю пору,  
Словно пытаешься касанием ног захватить и присвоить –  
Или вновь овладеть нерешённой загадкой,  
сырою землёю.  
Задыхаясь, спеша, торопясь обогнать время,  
Чтобы успеть погладить кору на дереве речи,  
У степенных, достойных, медлительных рек,  
что как будто желают  
Успокоить, напомнить, что ты –  
путешественник, странник.

\*\*\*

Озябные ветра приносят  
С востока ноябрь и не просят  
Их вспомнить, махнуть им рукою,  
Почувствовать их за спиною  
Годов и десятилетий:  
Жестоки эстонские эти  
Ветра, антисентиментальны,  
Их дело – готовить в путь дальний.

\*\*\*

Наедине оставшись с языком  
Во время подведения итогов,  
Когда на море шторм и темнота  
И одиночество желанно, как общенье  
С ушедшими, ты, проходящий, речь  
Подслушаешь случайно и усвоишь  
Живой диалектической воды.

\*\*\*

Время холмов зелёно-голубое  
Течёт неторопливо – посмотри:  
Вот мастер черепицей крышу кроет,  
Вот школьники на кроссе – "Раз-два-три!" –

Кричат: повсюду собранность, усилие,  
Открытость жизни – только ты опять  
Тревожащихся глаз от птичьих крыльев  
Не хочешь и не можешь оторвать.

\*\*\*

Стремительный зигзаг бекаса  
Над мокрым лугом, вопреки  
Болезненному ветру – сказка  
Всё сказывается у реки.

Дождь слог за слогом поглощает:  
Он тихо моросит с утра  
И шёпотом в ответ вещает:  
"Проточная вода – пора".

\*\*\*

Удачи неожиданные мысли,  
Откусанные ветром голоса  
На кроссе школьников; с утра умылись  
Холодной влагой осени леса.

Ноябрьский жёсткий свет свободно плечи  
Охватывает, воля облаков,  
Геральдов декабря, свободной речи  
Передаётся честно и легко.

\*\*\*

Различной речью скажем об одном:  
Блажен, кто выбирает сам, как жить,  
Кто строит – иль не строит – сам свой дом,  
Блажен, кому приходится платить

По собственному счёту за свои,  
А не чужие сны – когда виска  
Коснётся смерть, он языка слон  
С ней общие сумеет отыскать.

\*\*\*

Язык, он дразнит гласными, бросает  
Согласных вызов, ставит на пути  
Дифтонги, снова звуком заставляет  
Железную дорогу перейти

Меж болью и всесилием, услышать  
И выразить невольным языком  
Мелодию луны, что красит крышу,  
И дюны, что пропитана дождем. \*\*\*

\*\*\*

По другую сторону погоды  
И её программы находясь,  
Из-за самых-самых небосвода  
Верхних сфер они целуют нас

Незаметно, в лоб, глаза и щёки  
Снегопадом, ветром и дождём,  
Лучиком весенним – тёплым, лёгким –  
И лица коснувшимся листом.

\*\*\*

Метафорами тела говорить  
О них возможно ли теперь? Владеем  
Свободно все мы плоти языком  
Домашним, чувственным, но подбирая  
Слова, что, может статься, подойдут  
Для одиссеи послесмертной духа,  
Мы здесь молчим всё чаще и вперед  
Куда-то смотрим опустевшим взглядом.

## ИННА БОГАЧИНСКАЯ

### СТИХИ О РОЛЯХ, КАТЕГОРИЯХ И О МЕСТЕ В ИСТОРИИ

Будто в спецназовцев, в нас запакованы  
Тризна, молитвы, метания, травмы,  
Неврастении, эдиповы комплексы,  
И предпочтительный в небе журавль.

Мы – обворованное население,  
Равно, как и большинство предыдущих.  
Нас продавали, как шлюху последнюю,  
Закрепостив наши песни и души.

Не полагалось нам быть индивидуумом.  
Определять свои нивы и ниши.  
Выйти на связь с измереньем невиданным.  
И восходить к звёздным пикам, не ниже.

В карликовые нас гнали параметры  
И обучали послушности бычьей.  
Догмами и дефицитом таранили.  
От бунтарей избавлялись обычно.

Антинародно любое правительство.  
Побоку мне всех мастей президенты.  
Я – за мятущихся. Удивительных.  
Неподчиняющихся. Беспрецедентных.

Только они украшают историю.  
Им надлежит пир и порох новаций.  
В них – откровенья путей непроторенных  
И фантастических истин авансы.

Жизнь их излишествами не жалуется.  
Всё отнимает. Премирует редко.  
Но им даны исключения шальные  
И подключение к каналам запретным.

Всё остальное – проделки иронии  
Из сериала «Рога и копыта».  
Все друг для друга мы здесь посторонние,  
Хоть и молвой никогда не забыты.

Всё перепето. О чём разглагольствовать?  
Волки не сыты. И овцы не целы.  
Голыми входим. И к выходу – голые,  
Справив свой срок. Без руля и без цели...

## О РЕАКТИВНОЙ РОЛИ РЕМОНТА В МИМОЛЁТНОМ МАЙСКОМ СМЕЩЕНИИ

В. Ж.

Заварю покрепче чаю с ромашкой,  
С отворотным, отрезвляющим зельем,  
Чтобы сладить с этой смутю майской  
И спуститься с лунных замков на Землю.

Разукрасите мне стены абсурдом.  
На губах своё оставите лого.  
Я сначала прыгну в Вас безрассудно,  
А потом – зачислю в область бывшего.

Хоть корабль наш сотым валом измотан,  
Нас друг в друга засосало, как штопор.  
Начиналось безобидно – с ремонта.  
Превратилось в смесь пожара с потопом.

Мне казалось – для меня не первично  
На любовной обнаружиться ниве.  
Но свалились, будто «veni da vici» \*,  
Или атипичнейшая пневмония.

Если в сеть влетала макро накала  
В исторически сложившейся схеме,  
Я в Москву, как в Ренессанс, убегала,  
Забываясь в вихре встреч и в богеме.

Но на этот раз бессильна столица.  
Под целебными её небесами  
Мне от взглядов Ваших не исцелиться,  
И от рук, что в силуэт мой вписались.

Я кружусь под шёпот листьев московских,  
Упиваюсь полуночною брагой.  
И не знаю – оставаться ль? Насколько?  
Иль – к ремонту. В майский омут. Обратно.

Век с собой не завершаются войны.  
Схватка разума с гореньем исконна.  
Если больно – значит, высоковольтно.  
А другое для меня – вне закона.

Вот и чай готов. С заваркой покрепче.  
Светин номер наберу. Или Стаса.  
И судьбе не буду больше перечить.  
Зацелованной ремонтом останусь.

Пребывающей в разряде «ничейных»,  
Разучившейся клонировать слабость.  
Для ремонта разве что – исключенье.  
Разгадать бы – блажь это или благо?..

\* Полное выражение, приписываемое Юлию Цезарю:  
«Veni, vidi, vici» – «Пришёл, увидел, победил» (лат.)

## ГРИГОРИЙ МАРГОВСКИЙ

### СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ В ПОДЗЕМКЕ

Звук тянется норой землеройки  
От Виллиджа до гарлемских трущоб.  
Сомлели руки. Смерд шибает стойкий,  
Эмалированный буравя лоб.  
Каких еще б невероятных рытвин  
Занять у этой рубчатой скалы?  
Шипит сабвей, и ритм его молитвен,  
Хрусталики тоскливы и тусклы.  
Там, наверху, пакгаузы и доки,  
Расплюснутым жуком ползет баржа

И небоскреб на зорь кровоподтеки  
Дубинкой копа зарится, дрожа.  
И там наводят марафет бордели,  
Как школьницы на выпускном балу:  
Чтоб икры туч по-жеребьячи рдели,  
Когда их шпиль посадит на иглу.  
Смурной братве охота быть косматей.  
Под космос гримируется Бродвей.  
Астматику от восковых объятий  
Мадам Тюссо не развести бровей.  
А в этой магматической подкорке,  
Куда ты вторгся из погибших стран,  
С виденьями ньюйоркца о Нью-Йорке  
Вынашивается предезкий план.  
Вот сказано: "Вначале было Слово",  
А что как Слово будет и в конце –  
И в рай восхлынет языка земного  
Концепция, концепция, конце...  
Под гром метафор свodka биржевая  
Мигает, как пугливый семафор;  
Из амфоры, ты губ не разжимая,  
Пьешь замысел – и мчишь во весь опор.  
Пускай же с героиню чухлой рвани  
Тебя анналы копоты всосут.  
Опережение переживаний –  
Поэзия, не в этом ли вся суть?

4 сентября 2002 г.

\* \* \*

Имя твоё произносится «Оушен»  
На бронхиальном наречии древнем.  
Кончено, ты ничего мне не должен!  
Ставь свою подпись торчащим форштевнем.  
В том-то и прелесть кораблекрушений,  
Что размывает волной закладные.  
И не избавится разве лишь гений  
От философского камня на вые.  
Да, безусловно, Америка – самый  
Необитаемый остров на свете!  
Пятница носит бородку Осама,  
Коврики стелит в прибрежной мечети.  
Из судового журнала страница:  
Время сквиталось с «Летучим Голландцем»...  
Только ль на суше участок столбится?  
Только ль цитата свыкается с глянцем?  
Даже тебе, Перси Биши, нелишним  
Было б расчислить дно Леты заране...  
Жаль одного: диалог со Всевышним  
Вряд ли войдет в основное собрание.

5 января 2002 г.

\* \* \*

Каламбурить я с детства привык. Но о странах  
Лишь по атласу знал. А сегодня-то, глядь:  
Сын – в Голландии, мать и отец – на Голанах...  
Ну а сам-то ты где? Остается гадать.  
Но гадать на, о тоже не с бухты-барахты,  
Не на гуще кофейной – по книге «И-Цзин».  
Не тревожься: инкогнито в этих морях ты!  
Ты – из Минской династии. Съешь мандарин.  
Погоди, не сдирай кожуру без разбора:  
Старый Свет сковырнешь ненароком, а там –  
Колыбель нашей Торы, да их Тора-Бора,  
Да факхверковый, вечно сырой Амстердам!..  
Еще в Минске ты родину Наполеона –  
Городишко Аяччо – прочел, как вопрос:  
«А я чо? Я ничо...» Очень скромное лono  
Для кумира, не правда ли, великоросс?  
Впрочем, ты россиянин с неменьшей натяжкой,  
Чем насельник Сиона. Вернее всего –  
Апатрид одинокий в депрессии тяжелой  
Из эпохи изгнанничества осевой.  
В Бонапарти не вышел. Когда-нибудь урну  
С твоим прахом подпишет такой же игрун:  
«Бурундук бурундийский, бурчавший сумбурно  
И в Бургундии пересидевший бурун».

27 апреля 2002 г.

## ЗИМА И ЛЕТО

*Хельге Ольшванг-Ландауэр*

Ты помнишь зимний Central Park?  
Он так в ту пору обезлюдел,  
Что привставал на лапах пудель,  
Вороний презирая карк, —  
И, в пуританском парике  
Послом гарцуя церемонным,  
Беседовал с Ягайло конным  
На просвещенном языке.  
Ни Скотт, ни Бернс, ни Христофор,  
Присыпанные мелкой пудрой,  
Ни с кем хрестоматийно мудрый  
Не затевали разговор.  
Скрипач-индеец под мостом  
Не пел в набедренной повязке,  
И негров бешеные пляски  
Не наблюдал с раскрытым ртом  
Малыш под ангельским перстом...

Немало расцвело с тех пор  
Левкоев, кленов и киосков.  
Ораторствует для подростков  
Воздушный змей-гипнотизер.  
По мановению антенны  
Фрегат игрушечный плывет  
В объятья селезня... И вот —  
Утята крикают, блаженны!  
И можно слушать легкий джаз  
Улыбчивого австралийца,  
Иль то, как шепчет: «Засгелиться!»  
Подвыпивший рабочий класс,  
Как остролицый рав — «Увы!» —  
Кивает рядом на скамейке:  
Мол, преимущества еврейки  
Пред нееврейкой таковы;  
Как роликовые коньки  
Шипят велосипедной шине  
И как трепещут на вершине  
Наскальной крепости флажки...

Но визг ребячьей карусели  
И цокот призрачных подков  
По сути столь же бестолков,  
Что и натужное веселье.  
Тебе милее тишина,  
Верней сказать — зима, чем лето.  
Припомни: ария пропета  
Была в той опере одна.  
И ты, под белок нервный тик,  
Ступал медлительно по снегу —  
Покуда альфу и омегу  
Докучной жизни не постиг.  
И платоническая пясть  
Американского платана  
Наигрывала полупьяно  
Ту заключительную часть.  
27 мая 2002 г.

## ALMA MATER

О да, я был накоротке  
С поэтами Литинститута!  
Цвела бессмертия цукута  
В кастальском нашем городке.  
И Герцен, крепенький старик,  
Бил в "Колокол" спиной к ГУЛАГу —  
Честную потчуя ватагу  
Вольнолюбивым "чик-чирик"...  
Был первым Саша Бардодым,  
Толмач вайнахских саг суровых:  
В горах отнюдь не Воробьевых  
Воюя, сгинул молодым.  
Руслан Надреев из Уфы  
Коммерцией хотел заняться —  
Но пуля изложила вкратце

Прицельный замысел строфы.  
Ушла в тишайший из миров  
Певунья Катя Яровая,  
Аккордами посеребряя  
Бродвея выморочный рев.  
А там и царственный Манук  
Ступив на Невский, парижанин, —  
Авто безглазым протаранен  
Не без участия длинных рук...  
Пусть выжил Игорь Меламед,  
Успевший высечь искру Б-жью, —  
И он теперь прикован к ложу  
Предначертанием планет.  
Кто опрометью сиганул  
Во тьму, распахнутую настежь, —  
Тому, летейской бездны гул,  
Ты Прометеев слух не застишь!..  
И вот, скитаюсь я один —  
Охрипший выкормыш лица,  
Кочую меж корявых льдин,  
Твержу их строки, индеев.  
На Осеан Avenue стою  
И рекламирую посуду...  
И никогда уж не пребуду,  
Как прежде, равным в их строю.  
25 сентября 2002 г.

## КОННЕКТИКУТ

*Сергею Шабалину*

Гадаешь ты, Коннектикут  
На "джипе" посетив:  
Зачем все русла рек текут  
В Лонгайлендский залив?  
Нигде такого вольного  
Простора не сыскать:  
От росчерка Линкольнова  
По рощам — тишь да гладь.  
А небо — ну не чистое ль,  
Как лица у актрис?  
"Переселился — выстоял!" —  
Таков и наш девиз.  
От Хартфорда к Нью-Хэвену  
Гони наискосок:  
По той ли, этой Avenue —  
Мы вырулим в лесок.  
Близ Йельской академии —  
Один из местных "звезд" —  
Почил, урвав все премии,  
На горном лавре дрозд.  
А там — стволем обглоданным  
Зияет белый дуб:  
Барсук под Новым Лондоном  
Когтист и острозуб.  
Пускай. И тем не менее,  
Уважь единство вер —  
Поглубже под сидение  
Запрячь свой револьвер.  
Ведь мы же не на выжженной  
Техасской стороне:  
Здесь дяди Тома хижиной  
Довольны все вполне!  
Портовою таверною  
Гордится этот штат, —  
И мы глотнем, наверное,  
Мистический мускат...  
Тогда, запойный пьяница,  
Поймешь и ты, поплыв,  
Почто река так тянется  
В Лонгайлендский залив.  
27 сентября 2002 г.

## СТАНСЫ ЭЛЛЕ

Жажде творчества недостает  
Этой пробковой сухости в горле —  
Среди «ауди» и «тойот»,

Что наш утлый «фольксваген» приперли  
К духоте у эдемских ворот.

Зной, однако, спадает быстрее  
Свистопляски, затеянной Брайтоном –  
Ах, не тем, где родился Бердслей,  
А родным, чумовым, где и рай-то нам  
Предлагают за десять рублей;

Где в витринном стекле, у метро ли  
То и дело с тоской лицезришь  
Оффенбаха летучую мышь  
В сонме зошечковских мумми-троллей  
И зовешь океанскую тишь...

А на пляже твой позвоночник  
Лакированных слоников строй  
Мне напомнил: ведь я, полуночник,  
Прежде знал с небесной сестрой  
И мутил ее горный источник.

Не с картавинкою карта вин –  
Мною чтится иная, предивнее:  
Та *Divina*, где бродишь один.  
Прохлади ж мою душу, приди в нее,  
Мне природа милее картин.

Да, подобные мушкам вуали  
Птичьи гнезда в тенетах ветвей  
Подарил нам Коро – но едва ли  
Незнакомка-наядя живей  
Оттого, что ее рисовали.

*12 июня 2003 г.*

## РЕВНОСТЬ

Преступая зыбкие чертоги,  
Повелел эфир, бесплотный уникум,  
Из-под гладкой чародейской тоги  
Выбиваться белопенным туникам.  
Загорайтесь, плавники касаткины,  
В тех пределах, где мы веки шурим  
И закатами шпалеры затканы  
Пятизвездочных прибрежных тюрем!  
Рогоносец млечности, проклянуся,  
Чтобы ночь, цикадами ограяна,  
Разносила ароматы скунса,  
От которых морщится окраина!  
Кантилены сплетен меркантильными  
Часто выглядят на фоне фьордов,  
Хоть и в лад с рыбацкими коптильнями  
На пороге тлеет шнур бикфордов.  
Оживайте, ревности химеры!  
Порывались фитили задуть бы мы –  
Не играй надсадный вой сверх меры  
Постояльцев призрачными судьбами.

*Ю. Куниной*

Страх символов и совпадений –  
Не суеверье, не тщета:  
Он касты жреческой священной,  
Древней аргосского щита.  
Врата любви срывая с петель,  
Блажит, расшатывает впрок  
Бесхитростную добродетель  
Изобретательный порок.  
Нам время видится с изнанки,  
Мой бедный Хайдеггер, пока  
Роландов разум в лунной склянке  
Процеживает облака.  
А к песнопениям и недавно  
От века безответна страсть,  
И лавровой ухмылкой Дафна  
Рапсода норовит проклясть.  
Ужели била мимо цели  
Картезианская струя,

Схоласта очи – проглядели  
Непредрешенность бытия?..  
*15 октября 2003 г.*

\* \* \*

Циферблат легонько отстегни –  
И застынь в ребяческом испуге:  
Рычажки, пружинки, шестерни  
Там отплясывают буги-вуги...  
Развлекал удушливый июль  
Нас танцульками в пансионатах.  
За одной из диких тех косуль  
Ты следил в конце семидесятых.  
Механизму Гюйгенса – хвала,  
Бойся в тиканье его вторгаться!  
Полоумным визгом досветла  
Оглашали пригород аркадцы...  
Но оторван от земли Антей  
К вящей славе дюжего Геракла.  
Ты скитаешься среди теней,  
И терпенье времени иссякло.  
Круг очерчен, и пора ко сну.  
Погаси ночник рукой несмелой.  
Юную партнершу звали Эллой –  
Как твою четвертую жену...  
С лепестками средней полосы  
Облетели стрелки. Чет иль нечет?..  
В комнате глухой песочные часы  
Первый поцелуй увековечат.

*18 октября 2003 г.*

## РОМАН КАМБУРГ

### Письмо себе

Друг мой,  
Друг зеленоглазый,  
Я пишу бессчетное письмо,  
Пыльный стол. Тарелка. Хлеб и ваза.  
И полуоткрытое окно.

Шум машин.  
Восточный жаркий вечер.  
Здесь не в моде  
Водка или спирт.  
Кофе пьют. Вино  
И южный ветер.  
Кипарисы. Фигуры и мирт.

Я пишу,  
Мой друг зеленоглазый.  
Вспоминаю север. Баню.  
Первый снег.  
Я ответ не получал ни разу.  
Скоро новый  
Двадцать первый век.

До сих пор  
Я жду и жду ответа.  
От кого? От бога.  
От людей.  
Не дождусь. Пока  
Не кану в лету  
Или сам не напишу себе.

*05.97*

\*\*\*

Ощуцаешь ли ты,  
Пройдя эмиграцию,  
Способность к долгому поцелую,  
И дрожь, и каждой клетки вибрацию,  
И жажду гульнуть напропалую?

И стремление,  
Вопреки минусу в банке,  
И ссудам, словно питонам на горле,

Сбежать к несерьезной кафе-штанке  
И утонуть без оглядки в шторме

Страсти внезапной  
И нелогичной,  
Конечно, лишенной любого расчета,  
И оттого глубоко неприличной,  
Что непонятно с позиции счета.

Скажи, а хочешь  
Исчезнуть в поле?  
Или еще надежнее в горы?  
И кричать до слез или даже до боли  
Во все раскрытое миру горло!

03.97

\*\*\*

Наслаждался бог, наслаждался,  
Дав страданий мне с избытком,  
Но нахмурил брови, удивился,  
Как увидел на лице моем улыбку.

Рассердился старый, рассердился,  
И добавил соли мне на раны,  
Если этот смертный не смирился,  
Он заплачет горькими слезами.

Утром бог окинул землю взглядом –  
Посмотреть на результаты пытки,  
И, хотя мне жизнь стала адом,  
Не сошла с лица моя улыбка.

08.97

\*\*\*

В Амстердаме  
В Как в северной Венеции, каналы,  
И вытянутые к небу домов фасады,  
Все слитые в единый фасад улицы.

И многие стоят в воде столетия,  
Читаю на фронте цифры-  
1605-один-шесть-ноль-пять.  
Здесь на углу недалеко от порта  
Жил в те годы божественный Рембрандт,  
Гравюры сделаны его рукою,  
Неужели такое можно увидеть  
На грани второго тысячелетия.  
Чем он взял нас?  
Светом и тенью –  
Говорят сухие искусствоведы,  
А я чувствую – Данаей и Блудным сыном.

И сколько скрытых и нескрытых страстей  
В этом северном Амстердаме.  
Не говоря о Красном квадрате или Музее секса-  
Там плоть напоказ, и все, что под плотью  
И вместо плоти, и вместе с плотью.

Каналы, каналы, как сеть рыбацкая  
Поймала город, как вены и жилы его,  
Скользят вместо южных гондол закрытые лодки...  
Мосты без счета царят над каналами,  
А по узким асфальтовым тропам-улицам  
Снуют бесконечные велосипедисты.

Каналы-велосипеды-фасады...  
И еще одна страсть Амстердамская –  
Галерея забываемого Винсента,  
Взорванный мир разлетающихся галактик –  
Штрихов сумасшедших автопортретов,  
Изгибающегося стула Гогена или лодок,  
Или полей Арля, или простых провинциальных  
Церквей и небес над ними...

Нет таких в мире, не было и не будет  
Вторых подсолнухов.

Сказкой Андерсеновской уплыл от меня Амстердам,  
Как корабль в повороте канала...

10.96

\*\*\*

Уже не здесь с тобою мы,  
Но и не там,  
Горят мосты, а мы бежим  
По тем мостам  
В страну далекую навек,  
Возврата нет,  
Где жил Христос, где был ковчег,  
Где бога след.  
Мы верим в счастье древних звезд,  
В тепло людей,  
Живущих там. Сгорает мост  
Между морей.  
Как тяжек путь, здесь день за пять,  
А год за три,  
Родной очаг исчез опять,  
Вперед смотри,  
Стучит в груди – быстрее, быстрее,  
Сожгли мосты,  
Молю тебя – успей, успей  
В страну любви.

05.92

\*\*\*

На границе из света и тьмы  
Самолеты летят за границу,  
Унося в неизвестность мечты  
И помятые временем лица,  
Впереди, далеко впереди  
Лишь надежда и вера в удачу,  
Позади, навсегда позади  
Разоренные гнезда – поплачете!  
Лучше плакать теперь у границы,  
Иссушить всех страданий запас,  
Растяните улыбку лица  
и расслабьтесь, хотя бы на час.

«Боинг» быстро домчал  
До заветной черты,  
На снижение пошел  
Побережью вразрез,  
Окунул в незнакомые  
Ленты зари,  
Посадил нас  
На летное поле чудес.

03.93

\*\*\*

Когда раздавали роли  
В театре жизни,  
Никто не брал одиночества.  
Нужно много сил  
И предстоит бездна страданий  
Тому, кому достанется эта роль.

А он был в то утро  
То ли с бессонной ночи,  
То ли похмельный спьяну,  
То ли рассеян не в меру,  
Влюбившись в новую даму.

Через толщу прошедших лет  
Лишь вспоминается голос –  
Дайте одиночество Роме,  
Он справится с ролью,  
Сил у него достанет  
И талант еще не растрачен,  
Пусть поиграет вволю  
В вечном театре жизни.

И, то ли не понял мальчик  
Своего приговора,  
То ли застала уши



Притворная лесть о таланте,  
То ли решил беспечно  
Сыграть в рулетку с богом,  
И бросил судьбу на карту,  
Роль получая, с улыбкой.

Репетиции долги, репетиции тяжки,  
Не найти поддержки одинокому юноше.  
Заметался парень в поиске,  
Запутался сразу в женщинах,  
Захлебнулся в винных опытах,  
Доигрался неприкаянный...

И решил тогда мальчик,  
Как неразумный школьник,  
Выбросить дневник с двойками,  
Разорвать тетрадь с ошибками,  
Начать переписывать начисто  
Жизни своей сценарий.

Перекрасил он декорации,  
Вымыл подмостки дважды,  
Заменил слова в репликах,  
Назвал перемену научно –  
Кризисом середины жизни.  
Но роль-то осталась навечно –  
Полное одиночество.

04.97

#### АЛЕКСАНДР КРАМЕР

\*\*\*

Мысль должна быть нежной в профиль,  
Мысль должна быть жесткой в фас,  
В коже, точно картофель,  
Чтоб хранилась про запас;

Чтоб костер, толпой зажженный,  
Не обуглил душу ей,  
Но под коркой – сохраненной  
Оставалась сердцевина...

Мысль должна быть – как калина:  
В лютый холод – лишь вкусней!

\*\*\*

О чем звонят колокола,  
Когда распутица и слякоть,  
И ты готов навзрыд заплакать,  
Тоскою выжженный дотла?..

О чем они звонят, когда  
Судьбой владеет сочиненье,  
И первое стихотворенье  
Взойдет, как тихая звезда?..

О чем колокола звонят,  
Когда, распахнутая вере,  
Душа очистится от скверны,  
И с нею Боги говорят?..

\*\*\*

*В присутствии Пастернака*

Февраль.  
Ни строчки за февраль.  
Зима бесснежная, сухая  
Мела мучительную пыль,  
Глаза и губы обжигая,  
И поутру, заиндевав,  
Приукрашала чернь дерев.

Ни строчки.  
Мертвые крыла  
По черной пыли волочились,  
Копыт бессильные следы  
Всесильной пылью заносились.

Февраль.  
Чужое воронье  
Над голым кладбищем кружило  
И вдохновенным служило  
Насквозь промерзшее былье.

\*\*\*

Нарисован на стене  
Холодный дождь.  
Нарисован за дождем  
Понуры лес.  
Нарисованные листья  
На полу  
Мокнут в лужах нарисованных.  
В углу  
Стоит старое разбитое трюмо:  
В паутинке трещинок – глаза,  
Нарисованные, –  
Пойманы.  
Часы  
Нарисованные тикают.  
Звучит  
Нарисованная музыка...  
Ушли.  
Все ушли.  
Давным, давным-давно,  
Дождь холодный  
Льет и льет, и льет,  
Опадают листья,  
И глаза  
Тускло светятся  
В промозглой пустоте.

\*\*\*

Загорится огонь высокий –  
Звезды затмит.  
Загорится огонь далекий –  
Душу разбередит.  
Загорится огонь ласковый –  
Сожжет дотла...  
Угли жаркие рдеют.  
Утром будет зола.

\*\*\*

Седой мулат,  
Одетый в домино,  
Двух белых коней  
Гонит в недра ночи,  
Туда, где все отчетливей окно  
Вдали становится,  
Как мысль между строчек.

\*\*\*

Огромная комната –  
Пустая и длинная,  
Лампы синего света  
Горят вполнекала;  
На табурете –  
Широком и прочном –  
Сидит в одеянии красном  
Палач  
И чистый топор осторожно  
Баюкает, точно дитя

\*\*\*

Я смотрю на апельсины  
И думаю о солнце,  
Которого нет сегодня  
И завтра не будет –  
Такой уж здесь климат  
И к этому нужно привыкнуть.

Но я не хочу привыкать.  
Я беру апельсины  
И в постное небо  
Швыряю их, сколько есть силы!  
И, когда они падают,

Швыряю их снова и снова...  
Пусть будет такое солнце,  
Если нету другого.

\* \* \*

Я не мастер разговоры говорить.  
Дело сделано. Пора табак курить.

Я люблю побаловаться табачком,  
Дым колечками пуская и торчком.

Докурю вот, да пойду уже к своим.  
А вам трубочка останется и дым.

\* \* \*

Я в переулках осени брожу,  
Как гость, который  
Может в миг любой  
Собраться  
И уйти к себе домой...  
А осень сыплет за спиной цветной листвою,  
До срока хитрости наивной потекает,  
И близких заморозков время прикрывает  
Лукавою осенней теплотой.

### ВИКТОР БУШЕВ

#### «НА СЖАТОМ ПОЛЕ РУССКИХ РИФМ...»

Поэты русские молчат.  
Ужель до нас им дела мало?  
И щебетание галчат,  
стыдясь, печатают журналы.

Обрыскан щедрый наш словарь,  
истерлась звуков сеть паучья.  
И возвращаются, как встарь,  
в стихи  
глагольные созвучья.

Весна поэзии прошла.  
Перебираем, словно четки,  
не стоящие ни гроша  
позавчерашние находки.

И осень, листья обогрив,  
дарит нам сладкую усталость.  
На сжатом поле русских рифм  
так мало колосков осталось.

\*\*\*

Я делаю стихи  
из ветра, из дыхания —  
из всякой чепухи,  
не стоящей вниманья.  
Не стоящей, увы.  
Но это только с виду:  
нет маленькой любви,  
нет маленькой обиды.  
Я верю в смысл примет,  
я верю в силу слова.  
Я верю.

В этом нет,  
по-моему, дурного.  
На памятниках — пыль.  
На солнце нашем — пятна.  
Тому, кто не любил,  
наверно, непонятно,  
как могут быть стихи  
из ветра, из дыхания.  
Из всякой чепухи,  
не стоящей вниманья.

\*\*\*

Нашей мысли, уставшей от прозы,  
путь к полёту еще не закрыт.

Возникают и гаснут вопросы,  
натываясь на каменный быт.

Но пока мы живем,  
постоянно  
освещают нам небо в ночи  
письмена от Марины и Анны  
и горенье февральской свечи.

Что мы,  
кто мы,  
куда мы,  
зачем мы,  
в одиночку пытаюсь понять,  
мы листаем стихи и поэмы  
и надеемся гению внять.

\*\*\*

Поэзия — бездонный кладёз,  
животворящий тело дух.  
Скажи,  
легко ли жить,  
приладясь  
к источнику, который сух?  
Который сам тебя утопит  
в водовороте черных плит.  
И тут помалкивает опыт,  
и образованность молчит.

#### Памятник поэту (баллада с преувеличениями)

Поэт умел одно: слагать стихи.  
Судьба его за это не простила.  
И все считали, что на пустяки  
расходуются молодость и сила.  
Он надевал потрепанный пиджак —  
блестели локти лучше гонораров.  
Но жизнь поэт приветствовал и так,  
не защищаясь от ее ударов.  
Он умер в середине октября.  
И рассуждая вычурно и праздно,  
друзья о нем поплакали, скорбя,  
что он старался долго и напрасно...  
Но человек стихи его прочел,  
найдя листок, оставленный поэтом.  
А прочитав, задумался.

О чем?

Он никому не говорил об этом.  
Но с этих пор он стал совсем другим.  
Творил добро, где раньше сеял горе.  
О жизни его сложили гимн,  
и именем его называли море.  
И, сам не понимая почему,  
он осчастливил целую планету.  
И памятник поставили ему.  
По-моему, достаточно поэту.

\*\*\*

От снега до весны  
и от весны до снега  
есть время видеть сны  
и время для побега.

Февраль или июль,  
село или ракета.  
Фонарь или аул,  
седло или ракета.

Лопаты и пера  
проталины и почек —  
есть время выбирать  
знамение и почерк.

\*\*\*

Читая том Пастернака,  
я будто в гору шел с равнины,

ступнями чувствуя накал  
необязательных сравнений.  
Но я читал, но я читал,  
уже не в силах отстраниться.  
И шум неясный нарастал  
и поднимался от страницы.  
На строчке рифма, как прицел.  
Даря обоям отблеск медный,  
свеча горела...  
Он сгорел.  
Но свет не весь исчез бесследно.

\*\*\*

То ивритской пальнут картечью,  
то волна английская брызнет –  
расставание с русской речью,  
обрывание прежней жизни.  
Это вряд ли могло присниться  
или мыслью кольнуть игривой.  
Словно был я когда-то птицей,  
а отныне вдруг стану рыбой.

\*\*\*

Родится стих от белого листа  
и памяти, где только шум и пятна.  
И это просто или непонятно –  
родится стих от белого листа.

Всё то, что человеку не постичь –  
благополучье, хуже всякой боли,  
привязанность, что нам нужнее воли, –  
всё то, что человеку не постичь.

Родится стих от белого листа,  
родится от мечты или надежды.  
Всё сбудется, что не сбывалось прежде,  
и спустится к нам с белого листа.

Никто вам никогда не объяснит –  
рискнуть или пуститься на попятный.  
И это просто или непонятно –  
никто вам никогда не объяснит.

\*\*\*

Когда в тебе струна  
гудит,  
подобно джину,  
достань её со дна,  
согни её в пружину.  
Она еще не то –  
подделка,

примитив.

За первой суетой  
прорежется мотив.  
Когда стихи,  
как ты,  
со строк сигают,  
прытки,  
как прыгают коты  
на кафельные плитки,  
когда они легки,  
как тополиный пух,  
легки, как кулаки,  
когда возьмет испуг,  
тогда стихам не верь:  
бывает, сон приснится –  
как закрывают дверь,  
переверни страницу.

### Мое пристанище

Есть у меня одно пристанище –  
стихия русского стиха.  
Оно давно мне светит маняще,  
к себе зовет издалика.  
Гнетет забот густое варево.  
Дела не клеятся никак.  
Ко мне

приходят разговаривать  
то Хлебников, то Пастернак.  
Они советами не жалуют.  
Но лишь склонюсь я,  
том раскрыв,  
как убегают мысли жалкие  
под натиском великих рифм.  
А после,  
пьяный и растерзанный,  
я в забытьи твержу стихи.  
Как будто начисто отрезанный  
от повседневной шелухи.  
Но ничего со мной не станется.  
Я понимаю все равно,  
что для кого-нибудь пристанищем  
мне стать уже не суждено.

\*\*\*

Мне захотелось в первый раз  
услышать голос тишины.  
Часы пробили первый час,  
и я шепнул им: *тише вы*.  
Бывают звуки – пустяки.  
Бессмысленные, как лото.  
А в тишине звучат стихи,  
каких не читывал никто.

\*\*\*

Удачи пустыми жетонами  
меж пальцев проворно скользят.  
Быть может,  
когда-нибудь  
что-нибудь  
мне все же удастся сказать  
об этой преступной и праведной  
земле,  
где смотри – не смотри,  
снаружи все верно и правильно,  
и так все неладно внутри.

\*\*\*

Все высказано в прошлом  
и тоньше, и умней.  
Доверьте лодку веслам,  
а жизнь – течению дней.  
Пройдут шторма и рифы,  
спасенья близок мыс.  
Не подбирайте рифмы,  
а постигайте смысл.

\*\*\*

Вхожу, как в двери, в измерение,  
где вместо воздуха слова,  
где рифмы крестное знамение  
имеет главные права.  
Где я ещё любить способен  
и на ночь за стихи засесть.  
Где места нет вражде и злобе,  
а благородству место есть.

\*\*\*

Я ухожу от поля, где цветы  
и травы опьяняют ароматом.  
Где птичий гам разносится.  
И ты,  
любимая, зовёшь меня обратно.

Я ухожу.  
Кончается мой срок,  
отпущенный на песни и забавы.  
Ждет лодочник меня у переправы,  
чтобы везти меня через поток.

Я ухожу. И некого винить,  
что я все яства так и не отведал,  
что не пришла еще одна победа,  
пока не начал колокол звонить.

\*\*\*

Уже весна сменилась летом,  
а лето осенью на дню.  
И я когда-нибудь об этом  
воспомяну сочинию.  
И я предельно откровенно,  
как сквозь подзорную трубу,  
легко и просто вижу сцену,  
где я к финалу подойду.  
Я все оцениваю трезво  
за день, за месяц и за год.  
Проходит линия отреза  
под длинным перечнем забот.  
Припоминаю всё, что было.  
Мелькает жизни общий план.  
И старость, как ночной громила,  
уже врывается в чулан.

### Старое перо

Возьму однажды старое перо,  
забыв былые сны и поражения.  
В надежде, что, как сказочный паром,  
оно скользнёт в лучах воображенья.

Реальность очертила узкий круг.  
Нигде не видно выхода из транса.  
За океаном мой старинный друг  
следит – иное время и пространство.

Рассчитывать как раньше на аншлаг  
по меньшей мере было бы слишком смело.  
Та женщина давно уже ушла.  
С другими. Или по другому делу.

Возьму однажды старое перо  
не для того,  
чтоб в жизнь вносить поправки.

Но в ту страну,  
я говорил вам про  
которую,  
нет больше средств доставки.

\*\*\*

*Пишу*

не длинно и не скучно,  
окно в пространство растворив.  
Не зная, что мне делать с кучею  
уже использованных рифм.

*Живу,*

однако,  
в напряжении,  
упершись, чтоб не отнесло  
в предательское окружение  
уже использованных слов.

*Жду,*

что какое-нибудь новшество  
позволит отыскать ответ,  
чем одарило меня множество  
уже использованных лет.

### ВИТАЛИЙ РАХМАН

#### ПОЭМА О ЗАПАХАХ

Я думаю, что запахи в строку  
Не раз благоуханием вплетали,  
Что, в общем, абсолютно не пугает.  
Искусство, очень часто повторяя  
проблемы и сюжеты,  
выискивает новые ответы  
к вопросам на изношенные темы,  
меняя форму, методы, дилеммы,  
язык и мироощущенья

в попытке раскодировать мгновенье,  
до взгляда в бесконечность.  
Но, чтоб не разглагольствовать беспечно,  
Вернемся к слову.

К слову говоря, не в слове дело.  
Суть его в идее,  
С которой, видно, все и началось.  
А слово выразителем жило,  
Проводником и бабкой повивальной,  
Осуществив контакт сакраментальный  
Между понятием и сущностью вещей.  
Поэтому в Китае и Египте  
Использовали знаковость. Видней,  
Как говорится, визуальней  
Ассоциации понятий в пиктограммах.  
Вот у евреев, чтоб не заблудиться,  
Не исказить божественного смысла,  
Не растрести, не потерять ни грамма,  
Вводилась цифровая кодировка.  
Но там, где запахам в поэзию путевка,  
Нет места чистоте формулировок.  
Своей культурой, торжеством обилья  
Они собой язык являют сильный.  
Однако, вместо точных описаний,  
Границы расплываются в тумане.  
Пределы для поэта не беда.  
Творить на пограничной грани,  
Нырнув в соблазны - поиграть словами,  
Где образов размытых галерея  
Раздвинет стены Эрмитажа и Дорсея,  
Способствуя решительному - Да!

Давайте ж галерею посетим,  
Что бы напомнить зыбким содержанием  
Ассоциации, навеянные сим.  
Как говорит народ, шагнем от печки,  
Где всему предтече,  
Согласно Фрейду, запахи груди,  
В них молоко хранят, как в мавзолее,  
В натянутых и нежных оболочках,  
Так радующих маленьких и взрослых.  
О, груди белые  
И запах их молочный,  
Чувствительность Моне или Сера,  
Туманом утренним омытые стога.  
Хрустящий запах скошенного сена,  
Окраина села и сеновал,  
Хранящий трепет девичьего тела.  
Я помню - этот запах на руках,  
Как пахла молоком в пеленках белых  
Головка дочери с открытым пухлым ртом,  
Пеленок стирку в узком туалете.  
По бедности на памперсов пакеты  
Жалели мы не пахнущие деньги.  
О, дети, дети, их Бог послал, ей, ей,  
Как говорят, пошлет и на детей,  
Проходят через нас на этом свете,  
Похожие на нас, из вечной тьмы,  
но согласитесь, все-таки - не мы.

Так вот, когда пеленки допоздна  
Старательно стирал я в туалете,  
Воспоминаний грустная стезя  
К Америке внезапно подползла.

На Западе кому дано познать,  
Как в коммуналках стирка протекала  
Под завыванье примуса соседки,  
и запах едкий кислого белья,  
Как пахнет снег,  
Оттаивая летом, вокруг казарм,  
Сливаясь желтым цветом с землей,  
как надолбы в солдатских туалетах  
Растут курганами под коркой ледяной,  
Как пахнут мочевиной три вокзала,  
Обоссанные с ног до головы

Гостями столь блистательной столицы,  
Как выдраены с блеском галюны  
Военных кораблей, где хлорка ест глаза,  
как за

собором Божьей Матери Парижа  
Текут ручьи из непотребной жижи,  
Напоминая мясокомбинат,  
где свиньи цепенели, осознав  
все варварство и скотство человека.  
Которое, поверьте, не под силу  
Отмыть под час хозяйственному мылу.  
Ну, хватит о дерьме, оно и есть и было.  
Правду сказать - тибетские врачи  
По запаху и кала и мочи  
Могли диагноз ставить справедливо.

Другое дело, запах фиолетов,  
В лаванду разодетого Прованса,  
С овечьим сыром свежего багета,  
С природою в естественном альянсе,  
Французская изысканность духов,  
Букет вина старинных погребов,  
Подсолнухи Арли,  
Кораблики в дали,  
Туманность кимерийских берегов,  
Где шаловливый бриз  
Несет волны каприз,  
Сквозь водорослей йодистый покров.

Вы посещали Арлингтонские холмы,  
Когда в цвету вишневом Вашингтон,  
Губами брали розовый бутон?  
Лежали вы в березовом бору,  
В гречишном поле,  
Под липою, под яблоней уснув?  
Под радугой, под молнией вдыхали  
Озоновые капельки дождя,  
Забыв про возраст, место, и любя?  
Бродили вы в осиновом лесу,  
Когда блестела паутиной осень,  
Когда грибы сквозь золото ковров  
Дарили запах срезанных стволов?  
Вы жарили лисички ко столу под водочку?  
Быть может, порохом пропахшую шинель в Авгане  
На славу и Шанель по пьяни променяли?  
А ваши руки удочкой и рыбой по утру не пахли,  
Вы в детстве не затягивались паклей,  
И даже не жевали черный битум?  
Карбидом вы ракет не запускали,  
И запах керосинки не вдыхали?  
Портянками и воблой,  
Плацкартом третьей полки  
не дышали?  
Из печки пирожки, глазурные горшки,  
Картошку из углей не вынимали?  
Калмыкской степью, Мексикой, тайгой,  
Корридой и мадридской синевой,  
Морошкой, костяникой, бузиной  
Свой нос не напрягали?  
А в бане, в русской бане  
Вас веником березовым стегали?  
Коль нет,  
Поверьте мне, вы много потеряли!  
2006. Филадельфия

*Валентине Синкевич*

Валя, Валя, Валечка, –  
Косточка дворянская.  
Детство в серых валенках  
Средь красного пространства.  
Годы нежной юности  
С красотой пугливою.  
Гнула в горе спинку  
Сквозь войну - чужбинушку.  
Только Матерь Божия,

Словно невозможное,  
Статуей Свободы  
Будущее прочила.  
Сколько было пройдено,  
Много было прожито,  
Всё, что в детстве вложено  
Поперек кровати,  
Проросло плодами розовых тетрадей.  
Вдруг прозрев сознанием,  
Возмужав словами,  
Расцвело поэзии  
Дерево над нами.

08.05

## ЮРИЙ ЛЕВИН

\*\*\*

Недопитою чашей вина,  
Недомолвкою в круге беседы,  
Этой строчкой, ещё недопетой  
Не спеши насладиться до дна.

Недосказанность, в душу приди,  
В недосвязанность чувств и желаний,  
Преврати всё решённое ранее  
В никуда никакие пути.

Мир рассыпчатых кубиков лжи  
Окружи неизбежностью истин  
И, свершая обряд бескорыстья,  
Каплей света в рассветах дрожи.

Пусть не будет у формы границ  
И у цвета и света названья,  
Перепутайтесь, мгла и сиянье,  
В бесконечном струении лиц.

Не кончайся, творения миг,  
Источайся из сладостной боли!  
Длись, смятенье свершенья, доколе  
К неподвижности мир не привык!

\*\*\*

В осеннем шелесте берез –  
Какая-то девичья прелесть,  
И сладковата листьев прелесть,  
Как аромат твоих волос...

И тихий звон в лесах стоит,  
Дымят костры, ползут туманы...  
Ты веришь сладкому обману,  
А осень холода таит.

А город залит по утрам  
Звнящей ломкой позолотой  
И, разбежавшись для полета,  
Березы встали на ветрах...

И ты сама, с разбегу вниз,  
По ветру волосы раскинув,  
Растаешь вдруг в стеклянной сини,  
Как облетевший хрупкий лист...

\*\*\*

Твои печали не в моих руках -  
Я над своими бедами не властен!  
Мир катится на дантовых кругах  
И жрица ада мудро златовласа...

Так мудро всё, что движет этот мир,  
Толкает вспять, и жжёт и рвёт на части,  
Но каждый в нём по-своему несчастен,  
Как девами заласканный Ратмир.

\*\*\*

Последние листы,  
Потухшие кресты  
Умолкших колоколен,  
Мир позолотой болен  
И тяжестью сползающих веков.

В могильном злате гибельных оков  
В последний путь он нехотя влачится,  
Уж плотницкий топор в рассвет стучится  
И плотник за работою поёт.

Вот-вот палач на мёрзлый эшафот,  
Скрипя, взойдёт с секирой ледяною  
И белый саван тишину накроет,  
И Парка нить живую оборвёт

\*\*\*

Мир притаился... Где-то в тишине  
Кармен на площадях танцует лунных.  
Ночные звёзды гаснут в вышине,  
Плетут ограды свой мотив чугунный...

Жива Кармен... Мелькнёт её плечо,  
Изгиб ноги в бегущих бликах света -  
Мир полон перемен, но обречён  
Плясать под злые ритмы кастаньет!

Зарёй, упавшей в чёрный водопад,  
Вдруг вспыхнет роза в вычурной причёске,  
Так свет на море лунную полоску  
Посеребрит и убежит назад...

Она промчалась и спугнула ночь.  
Встаёт рассвет, роса в её ресницах.  
И мир прекрасен и Земля не хочет  
С своей душой, с моей Кармен проститься!

\*\*\*

И конь разлук плывёт в закате,  
В зарю, вонзая звон копыт,  
В степей желтеющую скатерть  
Завёрнут стон твоих молитв.

В увядших травах стынут блики  
Танцую солнце мнёт туман  
Звенящей тишиною выпит  
И свист ветров и снов обман

А ты чеканью в алом небе  
И нимб заката плавит лоб,  
Всё ждёшь, когда священный трепет  
Коня разлук сорвёт в галоп...

\*\*\*

Твои тонкие пальцы  
Как тонкие звуки рояля  
В тихом вальсе  
Стеклянные капли роняют

Вдруг в раздумье застынут  
Над кусочками сахарных клавиш  
И опять где-то тонут  
Корабли... И опять ты играешь

И опять где-то штормы  
Где-то любят, рыдают, стреляют  
Закрываются шторы  
Про тебя, про меня плачут струны  
Даже струны, а струны из стали...

Эти нежные пальцы  
Могут твёрдыми стать и прямыми  
И свернуться как кольца  
И цепями-путями кривыми  
Всё опутать  
И стоном и криком...

Я не стану  
Из стали  
Я не буду...  
Ты любишь Грига?

\*\*\*

Аварцы говорят, по двум причинам  
Не стыдно на колени встать мужчине -  
Чтобы воды из родника напиться  
И чтоб цветок с родной земли сорвать.

Влюблённому что робости стыдится,  
И как же на колени мне не встать,  
Когда я воду пью из родника,  
И трепетный цветок - в моих руках!

\*\*\*

Скрипи, сарайчик на колесах,  
На край Москвы, почти задаром,  
Вдоль верениц мазутных плёсов,  
Вчерашних пыльных тротуаров...

О, мне б такое бескорыстье,  
Чтоб не высчитывая сальдо,  
Порой копеечные мысли  
Не выдавать за песни скальдов.

О мелкий дождь! Под тихий ропот,  
Под визг колёс по мыслям грешным,  
Я б променял все песни оптом  
На тишину дождей неспешных,

На эти мокрые деревья,  
На капли-ящерки на стёклах  
И на покой печали древней,  
Дождём плывущей к водостокам.

\*\*\*

На расстоянье понимаешь  
Как много рядом потерял...  
Я склянку сердца вынимаю  
Толчки и сбои матеря

И вижу - много накопилось!  
Обидный взгляд, привычка, лесть  
И мне оказанная милость  
И не оказанная честь

Какой-то встречи трепет ложный  
И сложных знаков пустота  
И мудрая неосторожность  
И не святая простота

И расставанья - то с улыбкой,  
То с огорченьем, то на век...  
Ушла. Стена качнулась зыбкой,  
Расплывшись тьмою из-под век...

Что ж! Расстоянья расставаний  
Расставят чётко на места  
То каждое из состояний,  
Что распечатало уста...

Однако, сколько всякой дряни!  
Писать не пробуя начать,  
Промою, подышу на грани,  
Слезой напивно при свечах

И вроде всё опять в ажуре  
Простил, забыл, вернул должок...  
Пустой зрачок на сердце шура,  
В нас одиночество дежурит,  
Смертельный затаив прыжок.

"... А я внутри травы небесной"

С Сергеем Дмитриевским (Шрайбманом) мы были знакомы по Львову. Он выделялся в среде богемной золотой молодежи: необыкновенно добрый, образованный, начитанный, общительный, человек широкой натуры и страстей. Он всегда делился последним, хотя сам зачастую жил на редкие случайные заработки. Его скромность, оригинальность и хорошие манеры в те времена стали в городе почти легендой. Он был талантлив, красив, любил читать стихи, свои и чужие, слушать музыку, пение (сам окончил музыкальное училище), был общительным и душой компании молодых творческих интеллектуалов. И всегда — с неизменной трубкой в зубах и шуткой на устах. Я помню некоторые его ранние стихи, хотя прошло много лет с тех пор, — более двадцати пяти, — но те стихи, которые показал мне его отец, с которым мы подружились уже в Филадельфии, произвели на меня большое впечатление.

Сергей Дмитриевский ушел из жизни 4-го марта 2006 г. в возрасте сорока пяти лет. Он был одаренным поэтом и способным музыкантом. В 1999 г. Сергей переехал с семьей в Израиль. Сережа слишком рано ушел из жизни. Он оставил после себя рукопись книги, презентация которой состоялась в Москве (по совпадению в те дни, когда он умирал) и двух очаровательных дочерей. Последний раз мы разговаривали год тому назад, он был полон планов, проектов и надежд. Как-то в беседе Сережа мечтательно произнес: «Знаешь, Игорь, вот встретимся, будем читать друг другу стихи, долго, долго...». Не пришлось... Светлая тебе память, дорогой! Как ты сам писал:

Сжимает время плуг, обретши слог,  
и на меже заметнее соцветья.  
Но как, земной испытывая срок,  
оглядки уберечься после смерти,  
переступив осмеянный порог.

Игорь Михалевич-Каплан

#### СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВСКИЙ 1961-2006

\*\*\*

...и не достигнут ласточки Босфора,  
когда я выйду в прежние леса.  
О Боже, как расходятся нескоро  
дымы, что у подножия висят!

Какого птицы наглотались зелья,  
что не доносят помыслы мои,  
и падают на горы средиземья,  
глотив его евангельской струи?

В глазах "зимовье, ловчие и свора,  
и снега развороченного пласт".  
Я снова здесь. И стужа нам воздаст.  
И не достигнут ласточки Босфора.

\*\*\*

От пыльных каталогов, от верхов,  
от перечней и от перечислений  
пора спуститься внутрь, и там последний  
найти ночлег без глаз и петухов.

Пора уже взойти на глубину  
остаточных, первичных и попутных,  
а там, глотнув удельных и подспудных,  
разлить своё молчание по дну.

Пора сойти под слой червонных глин,  
к теплу крота с переносимой стужи,  
за атом, что на страже и снаружи,  
в подвал, который пуст, но неделим.

"... Я знаю, мы внутри небес.  
Но те же небеса в нас..."

Л. Аронзон

Спасибо дыму и уму,  
пчеле спасибо — что за имя!  
Воде, причастной ко всему,  
спасибо в голосе и дыме  
за долг спасибо говорить,  
за перья зимнего товара,  
за дар дыхательного пара  
и долю холода внутри.

За воробья и кожуру  
небес, летящую на темя,  
на растопыренное тело  
в земную крепкую нору, —  
спасибо — Бог тебя спаси.  
Ты — это всё, чего так много.  
Стручком упругим недотрога  
на стебле высохшем висит.

Нам весь её недолгий треск —  
зима над муравьиной бездной —  
за то, что "мы внутри небес",  
а я внутри травы небесной.

#### Стихи в отсутствие перевода поэмы К.-И. Галчинского "Вит Ствош"

Только ночью, только в поле и в реку  
ниспадая под луною кошачьей,  
город небу попадает под веко  
и во тьме его рождается зрячий.

Он колотится по окнам и рамам,  
поворачиваясь в щелях и шрамах,  
и качается по дуплам и брамам,  
проворачиваясь в дырах и ранах.

Под собою не почувствует бездны,  
только выдохнет и звякнет подковой,  
видя прошлое простым и древесным,  
а грядущее пустым и не новым.

Где немецкая дорога пылится,  
хлебный ветер по хоромам дубовым,  
золотые деревянные лица  
назовут его просушенным словом.

И останется держава вторая,  
где вовеки не рождаются дети,  
вдалеке от деревянного рая,  
на чужом и неоструганном свете.

Значит, был он у себя за спиной,  
а теперь себя прошествует мимо,  
засыпавший под кошачьей луною  
возле Анны или Иоахима...

И висит над Мариациною башней  
тень алтарная, тень рощи вчерашней.  
И назавтра по корням и кронам  
бедняков примет небо со звоном.

\*\*\*

Город, который забыть меня хочет и пробует,  
светел языческой костью и белой утробой.  
Там, где на корточках лазают полый трамвай,  
дважды аукни — и сразу меня забывай.

Будет на встѣчу отпущено время великое,  
будем знакомиться заново целую тьму.  
Если ты лесом — я буду твоей земляникою,  
если любимой — я тоже тебя обниму.



Тонкие кости твои, позвоночную готику,  
рынок точёного и крестового крестца  
я закажу повторенью, бесплотному плотнику,  
всё положив на топор его злого лица.

Не пропусти надо мной ни одно равноденствие,  
Страшно — нестрашно, а станешь меня отпевать.  
В белую пену блаженный Лычаков оденется  
и заартачится темя моё целовать.

Ну, наклони ж эти брамы, катедру с часовнею,  
в Азии жарких кофеен я был тебе ровнею,  
взял тебя — выпустил — взял и повис на губе —  
вот и без памяти я, вот и память тебе.

\*\*\*

Мы там, куда глядели из-за спин,  
Из-за голов, не отделяя лица,  
но называя. Кто сюда ступил, —  
не очарован. Будто свежий спил  
глухи и святы прежние границы.

Сжимает время плуг, обретши слог,  
и на меже заметнее соцветья.  
Но как, земной испытывая срок,  
оглядки убережешься после смерти,  
переступив осмеянный порог?

Он там, куда является двойник,  
внутри запрета теплится движенье;  
но тот живой, кто на гряде возник,  
как вавилон тяжеловесных книг,  
лежит, страну разметив на сажени.  
Простите мне, что вовремя не встречу,  
что опоздал на несколько веков.  
Я виноват уже свободной речью,  
произнесённой в доме дураков.

А здесь я время понапрасну трачу,  
и чья бы в этом ни была вина,  
пускай хозяин выкупит удачу  
и пусть берёт недорого она.

Мой бедный шут, умей под крики "браво"  
за кожей прозрачной загнить,  
для пошляков юродствовать коряво  
и запросто обманывать кровать.

Ты здесь один. И твой небесный стих,  
как Боливар, достоин вас двоих.

\*\*\*

Плечистый храм, в который вводишь сына,  
посередине севера слепит.  
В миру оставим то, что объяснимо,  
и обновив касанием зенит,  
чернеем там, где покаянье сыро  
и грех чужой удобен, как ночлег,  
над непреклонной бездною Надира,  
под лопотанье пьяниц и калек.

*Симону*

Я уже достиг в потерянном  
состоянии вечернего,  
и хочу увидеть дерево,  
чтобы было просто деревом,

чтоб на ствол садилось кроною,  
одинокое от холода, —  
даже пальцами не тронута,  
даже взглядом не уколото.

\*\*\*

Ветреница крестится и свищет,  
в ней пшеницу камешек грызёт,

дымные, короткие жилища  
когти запускают в чернозём,

прачка на болоте запропала,  
по селу рубаха поплыла  
и гудит повешенная шпала  
на сосновом гвоздике села.

**Ружьё**

Смотри, опутка в орденских значках,  
к ней он бежал, сопя и спотыкаясь.  
По смерти оборвал трещотку аист  
и, сгорбленный, укрылся в тростниках.

Лежит кабан. Хотелось рядом лечь,  
подстреленным — а что гулять без толку!  
Отец смеётся, разломив двустволку:  
"Смотри, Жюльен, что делает картечь".

А зверь не дышит больше, он живёт  
уже в другом лесу, где нет охоты.  
Я вижу змей. Вода сочится в боты  
и долго в землю целится ружьё.

**Сын**

Ни времени в тебе, ни правды нет,  
и нет рассудка с мыслями о славе,  
зато ты можешь видеть, как лемех  
живёт в тяжёлой корневой забаве  
внутри того, где ты один за всех.  
О, как лежать в положенной земле,  
которую не выпашут зубами  
две жизни настоящих полных лет!  
Здесь ночь. Меня гривастые собаки  
к тебе выводят, рты прижав к земле —  
но где в ней ты? И вот собаки спят  
на низком ложе твоего тумана.  
Ты в том, чего на всех ничтожно мало:  
в семи холмах почти не слышен сад,  
но явственнее скрежет переправы...

\*\*\*

Это зной по природе идёт  
самовольным бичующим шагом,  
и от города с терпкою влагой  
удаляется кромка болот.

Наливаются криком жуки  
и летят, ударяясь повсюду,  
я в молитве по этому гуду  
изломал уже обе руки.

О святой скарабей горожан,  
лунный жук, плавунец лупоглазый,  
дай твои мне исполнить приказы,  
чтоб тебя я за крылья держал!

Мамка жужелиц, хрущ золотой,  
тётка бронзовок, божья коровка,  
будь во время, что плавко и ковко,  
сам правителем сферы пустой!

Потому что засушливый год  
и ни капли спасительной влаги  
в этом городе боли и славы,  
муравейнике вдов и сирот.

\*\*\*

Отверни меня, отвори,  
заслони своим неприходом.  
Волочится землистый холод  
от оконных ночных картин.  
Твой колодезный эрмитаж,  
известковая фата-моргана  
вся размыта, как царский пляж,



**СЕРГЕЙ ДМИТРОВСКИЙ**

**1961 – 2006**

от чумы и свечного нагара.  
Как уйти из тебя на простор,  
что на сваях торжественных рёбер  
углубляется ртами озёр  
и становится лучшей из родин,  
где леса голавлей и жуков  
на ручьях преисполнены звука,  
где свистками святая гадюка  
жениха призывает в альков,  
воды – небо, а кедры – цари,  
ни стены, ни иного погоста...  
Отврати же меня или просто  
прогони меня, отвори,  
и в голодном белом аду  
из великого sklepa ночного,  
чтобы не обмануться снова,  
проследи, куда я иду.

\*\*\*

За всех оставленных во сне,  
за всех не помнящих ни слова  
да выпадут лишенья мне  
достойны прежнего улова,  
за ночь на скошенном лугу,  
за стены города в болоте,  
за всё, где выжить я смогу,  
чтоб видеть уток на пролёте,  
ладонью ящерку накрыть,  
садиться оводом на спины  
и созерцать глазами рыб  
завоевания трясины.  
Кто заслужил оставить мир  
таким, как я его оставил,  
земле найдёныша скормил,  
чтоб из земли поднялся Авель.  
Прощайте, скопища чудес!  
Во имя вечного возврата,  
за всех, кто мне дороже брата,  
благодарю, что я не здесь.  
И, как небесная вода  
сухих песков не достигает,  
за всех растоптанных ногами  
не дай мне Бог сойти сюда.

\*\*\*

... Ну что за год сейчас, – ни памяти, ни шума –  
спасибо, хоть за окнами зима  
сменяется зимой темно и отрешённо  
от видимого полустёртым глазом,  
но целых два в прозрачные очки  
следят за переменами погоды:  
то видят петухов, то перелётных птиц,  
то комья грязи в почерневших травах...  
Какое время нынче на дворе?  
Обычное – за Днём Благодаренья,  
минуя встречи, брезжит Рождество –  
смотри и пальцы грей на батарее,  
ты больше не запомнишь ничего,  
зато увидишь всё, сходящее степенно  
туда, где тесно от чужих свобод,  
по тропам травяным, по лиственным ступеням  
в подвал, в пустой колодец, в бывший год;  
в окно, неотделимое от ветра,  
идут столбы – фонарь за фонарём,  
под корень горла срезанное лето  
ползёт на них, сгнивая по дороге...  
О царство пустоты в перечисленье  
травы и птиц, порезов и стволов!  
Так дай же Бог не выйти на ступени  
и... не запомнить сна тебе, моя любовь.

\*\*\*

Не бойся, я здесь не останусь, родная,  
И, если когда-нибудь выпьешь со мной,  
узнаешь, как в оное время ни дня я  
от боли своей не бывал выходной.  
Я выйду, не бойся, я чёрен, и светел,

расти меня только и сытно корми.  
Я выйду в тебе – зёрна бросят на ветер,  
чтоб старый колодник пророс дочерьми.  
В беспмятном свете на крике мотаюсь  
и в стенах постылых на трёпе плыву.  
Не бойся, родная, я здесь не останусь,  
я куш обязательно снова сорву.  
Одно только плохо, а что – я не знаю,  
меня в это место всадили, как нож.  
Раз имя моё не поднимут на знамя,  
такты плащаницей меня обернёшь.  
Ну что же, мы пьём? Ты хмелеешь от чачи,  
а я прогораю насквозь до крестца –  
рождаемся в тысячный раз, не иначе,  
и в тысячный раз не теряем лица.  
Смотри, за меня подрастают волчата,  
мы, кажется, вместе всё громче молчим  
и многое мы упустили *молча–то*:  
их след уже трудно в траве различим.  
Где мерин белесый грохочет с тележкой,  
в начале апреля наступит зима,  
орлы упадут и раздавятся решкой,  
чума отпирует и сгинет чума.  
В миру, как бубоны, цветы разорвутся  
и ночь разродится неистовым днём,  
и, прежде чем влить в себя полные блюдца,  
мы день подожжём – и останемся в нём.

\*\*\*

На улице гроза сбивает зелень,  
а мне не угадать в щели окна,  
как эти листья падают на землю,  
и где земля? И дышит ли она?

В мышинных пересменках на этапах  
проходит заживание в аду.  
Кислотный, бесконечный, душный запах  
объял меня. Я больше не приду.

Не жди знаменья. Не ходи к острогу.  
что кончилось – забудется легко,  
и зря не загораживай дорогу  
ни в шушуне, ни в платье, ни в трико.

А шутовской колпак забрось на печку,  
чтоб не мешал трезвон тебе уснуть.  
Я там, где пуля платит за осечку.  
Услышу дождь. Взойду в него и – в путь.

\*\*\*

Потерпи, и даст Бог, не привяжут тебя простынями  
к чешуе горизонта, на сетке у самой спины.  
Мы остались – и что теперь нелюди сделают с нами,  
разве мы им по капле за каждое семя должны?

Разве только обрывки рубашек или чайную мерку...  
Промолчи, что подходит сезон, и они отойдут.  
Разве только две-три насекомые буквы, которые меркнут,  
но пока горячо, помусоль их немного в бреду.

Это бред или хлеб вперемежку с крутыми мозгами.  
Всё равно не берись, волноваться уму не резон.  
Плоский мир, где вороны и окуни ходят кругами,  
мы без пошлости, просто в любую державу ввезём.

## ГЕОРГИЙ САДХИН

\*\*\*

Платье вечернее. Мыслей прочтение.  
Нам танцевать суждено и порвать  
с юностью. И, обретая прощенье,  
гостью в гостинице не пировать.

Черная липа и рамы оконные.  
Запонкой канул в неведение страх.  
И бесшабашно повис на руках,  
мальчик, сжимающий прутья балконные...

\*\*\*

Не воспетый поэтом, загадочный путь на Пачёво  
прошлогодние травы разбудит у ног,  
а притянута рифмою - стежка в деревню Пучково,  
где ни ступит сапог - там ударный рождается слог.

И хозяйственный дятел осмотрит седую осину.  
И разумные белки сыграют с тобой в городки.  
И широкая ель, одичавшая, видно, за зиму,  
семипальными лапами схватит, шутя, за грудки...

\*\*\*

И осенней порою предстанет нагой  
наша улица, узкой поднявшись дугой,  
над озябшим районом, стволы-молодцы  
поредевших деревьев, её за концы  
непременно удержат, так в детстве вдвоем  
мы вертели скакалку. В разбуженный дом  
шкодный ветер запрыгнет, и даст стрекача  
по ступеням наш пес, но сверкнет сгоряча,  
ограждая, строка, и закружит у люстр,  
поднимая тебя пятерней моих чувств.

### ЗАКАТ

Драконового дерева затем сочтется кровь,  
что солнце обрело ущербность полукруга,  
подобие свое роняющего в ров.  
И у меня совсем не стало друга.

Картины полдня сняты со стены,  
короткие лучи погашены в чулане,  
где кисти и бинты случайно сожжены,  
и нечем врачевать пейзаж в оконной ране.

\*\*\*

Когда один построже  
и подобрей – другой,  
прославиться Хорошим  
несложно – есть Плохой.  
Осталось покоситься, не ведая забот,  
к Плохому приторочив эпитет: «Идиот».

*Валентине Синкевич*

Лесною дорогой нагонит тебя велогонщик.  
На звук обернешься – старик ковыляет с клюкой.  
Бежишь от судьбы, а ее настигающий росчерк  
грозит, словно конная сотня вдали за рекой.

Давно ли на школьную мы выбегали линейку?  
И вот, комсомольское сердце пробито в угоду стихам.  
От долгой ходьбы на лесную присядешь скамейку,  
которую кто-то несет за тобой по пятам.

Табличка на ней. И, английским себя занимая,  
прочтешь и поклонись чьей-то судьбе.  
– Погиб за рабочих? И женщина глухонемая,  
сидящая рядом, в ответ улыбнется тебе.

\*\*\*

Где синь с небосвода стекает,  
меня абсолютно не трогая,  
в коралловых рощах гуляет  
пила-камбала длинноногая.

Прозрачен у рыб и рептилий  
купальник и даже открыт.  
Она поглядит и распилит,  
но прежде всем телом пронзит.

Хвостом поведя у колена,  
сачок доведет добела.  
Чурайся прелестного плена  
ведь рыба она – Кабала!

И я, как безусый тунец,  
плыву от порочного зренья,  
смущаясь, как будто крестец  
торчит, словно знак ударенья.

\*\*\*

Не из варяг, не записались в греки.  
И уезжали за моря и реки.  
Переживали наши земляки,  
– иерусалимские бежали казаки.

\*\*\*\*

И затем, оттолкнувшись от края стола,  
устремится в былое бегун длинноногий,  
чтоб настигнуть товарищей выкриком: «Ваша взяла!»,  
в сапогах «Скороход» воспарив по короткой дороге,  
и на Карповке сядет с тобою в трамвай  
в «тройку», кажется, иль в «тридцать первый»,  
вот такой вышины разломив каравай  
за шестнадцать копеек, напевный  
прикусив свой язык, проливая в портфель,  
дух пекарни на шифр закорючек,  
потому что во рту, как под лестницей, дверь  
и еще «золотой ключик»,  
и, пока переедет вечерний трамвай  
освещенное Марсово: Коля,  
шестикрылый конспект сонно перегибай,  
ведь зачет по «Теории поля»,  
скорость альфа и бета средь гаммы частиц  
русской речи едва обнаружив,  
соберет у ядра столько памятных лиц,  
что в кафе, с прежней вывеской «Дружба»,  
мы на совесть повторим Зубровки урок  
в два овала над головою,  
чтобы тень указала на дикий восток,  
как на Марсовом поле ковбою.

### ЗНОЙ

О простуженном горле стекляшкой на дне,  
не напомним и лед, на правах  
заключенного в чашке. Пчелою в окне  
вентилятор зудит на свой страх.  
На тарелке, как желтые зубы, лежат  
кукурузные зерна. Светло  
поле зреньем усталым, где колос не сжат,  
а полег, чтоб остриженную наголо  
не нашел эту землю закат,  
придающий разбросанным крышам вдали  
ослепляющий трепет слюды,  
укрывая плывущие к вам корабли  
над свеченьем соленой воды.  
И полощет у берега мутный прилив,  
в речке яблочки, белый налив...

\*\*\*

Где плавника мохнатый лепесток  
проник в тайник искусственных растений,  
усатый гений лег на правый бок,  
переживая опыт отчуждений.

И, раздвигая небо, косяком  
вонзаясь в славную и зыбкую открытку,  
из глубины, встревоженной сачком,  
достану умирающую рыбку.

Опустится взволнованная взвесь  
и незачем подруг напрасно беспоконить.  
Есть Интернет, чтоб нас могли прочесть.  
И добровольный труд, чтоб не смогли уволить.

\*\*\*

Мне много лет. Я поздно начал,  
приобретая глазомер.  
Не страшно подразнить удачу,  
взвездя рулеткой револьвер,

когда, гудя от ударений  
в словах, кружится голова  
и щедро плещется плотва  
в блестяшках редких сновидений.

## АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

### СИДЕНИЕ В ЛУЖЕ

Я поскользнулся и упал.  
Сижу в воде, как в вате.  
В народе юмора запал –  
На две планеты хватит.  
Смеются люди: «Ну, шалишь!  
Он думал, там не скользко».  
Мне восемь лет, совсем глупыш.  
Не больно мне нисколько,  
Но слезы близко. Я не шут,  
Не тем и поминаем.  
А парни, девки ржут и ржут,  
Хоть сена задавай им.

(Король накаркал нам: «Deluge, –  
Пусть будет внукам хуже».  
Да кто ж не знает этих луж?  
Вся жизнь – сплошные лужи).

Я встал, с одежды пятна стер,  
Не дав возрасти досаде,  
Но не поверите: с тех пор  
Народ гогочет сзади.  
Замерзла и покрылась льдом  
Та лужа у колодца,  
А после высохла. С трудом  
Та улочка найдется.  
Годам давно потерян счет,  
Минувшее не манит,  
Но встретишь с тех времен народ,  
Ухмылкой рот растянет:  
«Ты помнишь?» «Помню что?» «Да ну,  
Купель? Чего вздыхаешь?»  
«Так. Жаль, что не пошел ко дну.  
А ты не просыхаешь?»

О мелководье грязных луж,  
Их скучная безбрежность!  
Уже не мальчик я, а муж,  
Но детская небрежность  
Пристала выжженным тавром.  
Все в жизни быстротечно,  
Но, как войдешь ребенком в дом,  
Так и живешь в нем вечно.

### МОНОЛОГ ДРУГА ДЕТСТВА

– Она так и осталась вдовой?  
– Как и многие в те времена.  
Молодых мужчин сгубила война;  
Отцы не вернулись, как и твой.  
Я часто думал: «А вдруг он жив  
Среди тучных немецких нив?».

Бывало ж, я знаю, и не раз  
Под улюлюканье егерей  
«Потерявший паспорт» блондин-еврей  
Скрывался среди более чистых рас.  
А потом с другими в далекий штат,  
Где устроился и снова женат –

Удачней, чем когда был юнцом.  
Что ж до первой, он забыл о ней,  
И новый сын получился умней  
И похож на него лицом;  
Любит девочек, белозуб,  
Ходит с папой в спортивный клуб.

Но мучил меня и такой вопрос:  
Вдруг войдет старичок с клюкой?  
Я удивлюсь: «Так ты такой?»  
Он усмехнется: «И ты подрос.  
Слева уже седина у виска».  
И правда: с тех пор ведь прошли века.

Но, я думаю, нет у него жены  
И зубастого сына нет.  
Ни через мало, ни через много лет  
Никто не приходит домой с войны.  
Мертвецы хоронят своих мертвецов.  
Сыновья не хоронят своих отцов.

### ЦИТАТЫ

*Кто успел  
Прожить на свете  
Восемь лет,  
Тех сегодня  
До обеда  
Дома нет...*  
Маршак

*Встречаюсь я с восемнадцатой весной.  
В последний раз, быть может, я с тобой,  
Задумчиво внимая шум дубравный,  
Над озером иду рука с рукой.*  
Пушкин

*Ужель мне скоро тридцать лет?*  
Пушкин  
О, это незадачливое попури  
Из уцелевших в памяти цитат!  
Они, словно живые существа внутри,  
Со мною о забытом говорят.

Я самый младший из детей. Идет война.  
Мне бесконечный год до школы ждать.  
Но первая послеблокадная весна –  
Меня в зверинец провожает мать.

Кто успел прожить на свете восемь лет,  
С ними меньше, чем всегда, возни;  
Их сегодня до обеда дома нет  
(Мне-то не исполнилось восьми).

Летит ли время? Нет, оно ползет ползком.  
Возможно ли, что десять лет прошло?  
Мной озабочен в мире только военком,  
А мне давно без женщин тяжело.

Они, наверно, исстрадались без меня,  
И только одному мне невдомек,  
Что образ призрачный, в туманность нас маня,  
Очеловечился бы, если б мог.

Встречаюсь я с восемнадцатой весной.  
Приятель, руку дай средь наших тощих нив!  
Под вой народный умер царь лесной,  
Лежит у всадника ребенок полужив.

Еще он вырастет, как выросли и мы.  
От повзросления защиты нет,  
Как не нашли ее и от сумы-тюрьмы.  
Ужель мне скоро тридцать лет?

Передо мною фотографии. Альбом,  
Как усыпальница моих теней,  
И не дано пробить ее бесплотность лбом,  
Чтобы вернуть мерцанье давних дней.

Оно и к лучшему. Нет в жизни ничего,  
О чем вздохнуть бы стоило всерьез.  
Она природных сил забава, баловство.  
О ней ли лить потоки горьких слез...

## АЛЯБЬЕВ, СЛУЦКИЙ И АНОНИМ

*И сперва казалось – плавать просто,  
Океан казался им рекой.*

*Но не видно у реки той края.  
На исходе лошадиных сил*

*Вдруг заржали кони, возражая  
Тем, кто в океане их топил.  
Б. Слуцкий. Лошади в океане.*

Оклеветанный, в жизненных хлябях,  
Оглядывая гору нот,  
Плакался композитор Алябьев,  
Что усердно за годом год  
Нанизывает трио, как бусы,  
Но только один «Соловей»  
Пришелся слушателям по вкусу.  
Веревошкой горе завей!  
И помни, что публика – дура:  
Ей бы только колоратура.

То же произошло и со Слуцким,  
Заметившим, не помню, где:  
«Зря писал я на четыре с плюсом –  
Чтут лишь троечных лошадей,  
От природы умеющих плавать,  
Но идущих в море на дно.  
Глупейшая мне досталась слава –  
Плыть со смертником-табуном.  
Так всегда у публики-дуры:  
Ей бы кровь или шуры-муры.

Но случаются вещи забавней:  
Человек весь век сочинял –  
Жизнь окончена. Песня была в ней,  
Но никто ей – никто! – не внял.  
Уносились заветные трели  
В поднебесье, в чистую синь.  
Люди в них распознать не сумели  
Даже крошечного дзинь-дзинь,  
И ни нотки к публике-дуре  
Не вернулось из той лазури.

## АЛЕКСАНДР СИНДАЛОВСКИЙ

### Смех судьбы

Надо мной судьба смеялась.  
Вместе с ней и я хихикал.  
Все лицо в морщины смылось,  
Я старался, как заика.

Я с судьбой смеялся вместе.  
(Где смог наглости набраться?)  
Не подумал, знать, о мести:  
Рок не терпит панибратства.

В подворотне мне свернула  
Шею жизнь, отбила почки,  
Обокрала, но вернула  
Паспорт с нарочным по почте.

Я признателен за то ей,  
Как без паспорта, вестимо?  
Деньги ж — двигатель застоя,  
Вдруг без них начнет везти мне?

Но Фортуна притомилась,  
В список черный подверстала,  
Не сменила гнев на милость,  
Но смеяться перестала.

Взяв в прокат унылый облик  
У судьбы (мол, хата с краю),  
Я на каждый злобный окрик

Паспорт с фото предъявляю.

Но в документе блуждает  
На устах моих усмешка,  
Ради сходства принуждая  
Улыбаться безуспешно.

Улыбаюсь виновато  
(мол, стократно извиняюсь),  
Прохожу (зачем слова-то?)  
Молча и в лице меняюсь.  
19 мая 2004 г. Екстон.

### Свеча-балерина

В грезах: аншлаги, банкеты, награды,  
гастроли (Европа кроме Германии) —  
(из пачки) свеча-балерина.

Наяву: па-де-де до упаду,  
пируэт пиромании,  
истерика отекшего стеарина.  
27 декабря 2004 г., Екстон.

### Детка

— Мужчина, может быть, хватит пялиться?!  
— Детка, у Вас музыкальные пальцы.  
Наверное, Вы — пианистка...  
— Не дай мне Господь опуститься так низко!  
— Детка, у Вас безумно длинные ноги и  
страшно изящные. Вы — балерина?  
— Мне говорили об этом многие.  
Нет, но почти... Кстати, зовут Ирина.  
— Ирина? Какое чудесное имя!  
Ваш облик совсем не вязался б с иными.  
— А еще отзываюсь на клички:  
Перина, Перчатка, Синичка.  
— Ирина, у Вас сумасшедшие груди!  
Я ими контужен, как залпом орудий,  
И их оглушен канонадой!  
— Вот лезть мне под платье не надо...  
— Девушка, мы б идеально смотрелись в паре.  
Вы такая красивая! Может быть, Вы — модель?  
— Послушай-ка парень,  
Видишь вон то двухэтажное здание?  
Это мотель.  
Тебе задание:  
Слетай туда, как комета.  
Я бы сама, когда б не такой момент:  
Консьерж — бывший мент,  
Знает мои приметы  
Все до одной. И черты.  
В общем, сгоняй туда ты.  
Закажи нам комнату  
Без лишнего гомона.  
— Мне начинает казаться, что мы  
Единого целого два компонента —  
Сложное и простое.  
— А ну-ка, руку подай с кормы.  
И поспешай: твои комплименты  
Трудно мне слушать стоя.

22 декабря 2004 г. Екстон.

### Письмо Беллерофонта Немезиде

Робкой рукой неверной,  
Почерком некрасивым  
Я в состояньи нервном  
Мелким пишу курсивом:

Не без уловок хитрых  
Примем скорее меры  
Против унынья гидры,  
Черной тоски химеры.

Если ты не горгона,  
Чуть дружелюбней Сфинкса,  
Я унимаю гонор  
(Тот, что предтеча свинства).

Мне красоты не надо,  
Я не страшусь изъянов.  
Если в душе — менада,  
Можешь явиться пьяной.

Нравом нежней эринний?  
Ликом милей Медузы?  
Скепсиса спесь отринем:  
Брачные скрепим узы!

В стенах новой квартиры,  
В мягкой роскоши плена  
Норов крутой Сатира  
Нравом сменю Силена.

Там за пыльной кулисой,  
Скрывшей навек арену,  
Спрячу тоску Улисса  
Под сольфеджо сирены.

Статью не Геркулес я?  
И не под стать Тезею?  
Сад — полезней полесья,  
Тесный сортир — музея.

Травы взрастут на камне,  
Нас увенчают лавры,  
Если ты скажешь, как мне  
Смыть тавро Минотавра...  
*5 января 2005 г. Экстон.*

#### Река

Осуществить я мечтал прорыв  
В *домен* кораллов, волшебных рыб,  
Проникнуть за грань вещей.

Но, как насмешка, всегда в пути  
Река, в которую не войти  
Дважды, да и вообще.

Что не свершилось, пора забыть.  
Мне за буйки не дано заплыть,  
Как ни маши веслом.

Твердыня жизни: дворцы, мосты,  
Бараки, склады — давно пусты,  
Вскоре пойдут на слом.

Струится время сквозь пальцы рук,  
Как ни сжимай их. Порочный круг —  
Устью лобзать исток.

Невозмутимо течет река,  
И вторит шепоту волн пока  
В часах проворный песок.  
*12 января 2004 г. Экстон.*

#### Эзотерции

В молодые годы к одиночеству,  
Его надменному высочеству,  
Адресовался я по отчеству.

Как звонкий горн, трубило горло,  
Азот вершин глотало гордо.  
Я путь держал на норму Норда.

Теперь, потугами издерганы,  
Мои дыхательные органы  
Борьбой неравною подорваны.

Бегу от ночи одиночества,  
Как от порочного пророчества.  
И больше прочего мне хочется:

На Юг умчаться в вагоне спальном  
Альпийским консулом опальным,  
Сменить ледник на плеск купальни.

Там страх вершин меня покинет,  
Где одиночество — в бикини,  
В обличье греческой богини.

На этом, закругляя строчку  
В безлюдный остров, ставлю точку  
В стихе, прожитом в одиночку.  
*10 января 2005 г. Экстон.*

#### АНТОНИНА КАЛИНИНА

##### Суламифь

Суламифь, ты гуляла в саду,  
Где бессонные птицы играли  
Среди сизых олив.  
Этот голос ты вспомнишь едва ли,  
И едва ли тебя я найду  
Суламифь, Суламифь...  
Помнишь вьющейся выступ тропинки,  
Золотистую ряску в пруду,  
Птичьих перьев отлив?  
Я по светлому склону взойду,  
Ветер волнами гонит былинки,  
Словно море в прилив...

Эхо имя твоё повторяет,  
И бездонное небо горит  
Нестерпимым огнем.  
А внизу море глухо шумит,  
И лиловые волны вскипают  
В бухтах с каменным дном.  
Пена сизая в воздух летит,  
Разбивается в брызги и клочья,  
Влага точит свой дом,  
Растворенною полною ночью,  
Над косою песчаной блестит  
Голубым светлым днем.

Только юность как волны вольна,  
Пахнет солнцем и медом,  
Желтой патокой нив.  
Ту страну, откуда мы родом,  
когда будешь одна,  
вспоминай, Суламифь!  
Наподобие каменной чаши,  
Ярким светом долина полна, —  
Котловина, обрыв,  
И до самого дымного дна  
Сходят светлые полосы пашен  
И ступени олив.

Виноградники наши в цвету...  
Образ этой забытой долины  
В моем сердце воскрес.  
В синем воздухе, в крике стрижином,  
Я, как стрелы, ловлю на лету  
Звуки прежних небес.  
Море сизой подернулось тенью,  
День стекает уже в темноту,  
Блик последний исчез.  
Помнишь пестрых голубок чету,  
И сосновой раскинутой сенью  
Переливчатый лес?

Слышно гулкое пение ночи,  
Как биение моря в прилив,  
Звездный холоден свет,  
Всходит месяц и, слыша призыв,



Волны в скалах бурлят и клокочут,  
И вскипают в ответ.  
Повторяют бессонные губы,  
"Суламифь, Суламифь, Суламифь!"  
Ищет прежних примет  
Память, имя твоё сохранив.  
Льётся море, гудя в свои трубы,  
И забвения нет.

2002-2003

## Давид

Я давно по отрогам скалистым блуждаю один,  
Только козы пастушеский сон мой минутный тревожат:  
"Разве нас охранять не велел тебе наш господин?"  
По камням, по былинкам сбредаются в кучки и гложут  
Лиловатых колючек клочки на нетучной земле.  
Мое счастье – лежать под оливковой тенью зеленой,  
И гудеть в свой тростник – это редкость на нашей земле,  
Я добыл его осенью сам,

когда прячется зной раскаленный,  
На реке себе дудочку срезал, наполненной вновь.  
В жарком мареве мне открываются сверху долины;  
Созерцание их – это, верно, и значит "любовь".  
И внизу, под собой, я полет наблюдаю стрижиный,  
А меж скал ненароком мне моря кусочек блеснет –  
Там, где тает зеленый и синий отлив голубиный.  
Притомившись, у ног моих стадо мое прикорнет –  
И тогда я мечтаю спуститься тропинкою длинной  
К этим домикам, чуть желтоватым, обмазанным глиной,  
Где на дымной жаровенке кто-то лепешки печет.

Нынче светятся ясным сиянием очерки скал,  
И уже миновали мы нежную область олив.  
Здесь все выше и чище, как будто покров кто-то снял  
И морщины на лице суровом и ясном открыл.  
Только слышен повсюду жестяных кузнечиков треск,  
Словно солнца каленые капли о камни звенят,  
И повсюду небес нескончаемый пламенный блеск,  
И по колкому камню копыта так тонко стучат.

Он явился мне ясно и воду из камня исторг  
Там, где раньше пылавший источник исчез этим летом,  
И огнистой водою меня наполнил, и исток  
Озарился его нескончаемым пламенным светом.  
Я на землю у ног его бросился и целовал  
Край одежды и камни у царственных легких сандалий,  
Но он поднял меня, и я руки его осязал,  
И рыдания смуглые плечи мои сотрясали.

Над землею мы вместе стояли, и он показал  
Мне далекие страны в сияющей дымке тумана,  
Виноградные лозы и реки, что вьются меж скал,  
В желтоватой долине теряясь, и нежные раны  
Каменистых оврагов, засыпанных бурей песчаной,  
И зияющих пропастей сизый неровный оскал.  
Он открыл мне глаза – и я видел меж пламенных птиц,  
Как рука его верно их быстрый полет направляла –  
И как птица свое голубое крыло расправляла,  
Совершая движенье, подобное взмаху ресниц.  
И я видел зверей в переливчатых солнечных бликах,  
Как их мышцы играли, и как они были легки,  
И как стаями наполнилось небо, а в реках великих  
И под зыбью зеленой морскою шли рыб косяки.

Он со мной говорил, и я каждое слово запомнил:  
"Увенчают короною черные лозы кудрей,  
Ты наполнишь рабами и слугами каменоломни  
И воздвигнешь дворцы, освещая их славой своей".  
И ответил я тихо: "Покорен я воле твоей,  
Но мне дороги эти отроги, и скал созерцанье,  
Дорог ветер ночной, что витает среди узких полей,  
Когда с гор мы спускаемся

в звездном неровном мерцанье.  
Я всего лишь пастух – мне неведомы души людей,  
И мила мне свирель, а не громких кимвалов бряцанье".  
"О, мой царственный мальчик!

Ты выше венчанных царей!  
– он ответил. – Пускай же отныне до срока  
Ты гуляешь средь скал, на свирели играя своей,  
и минует до времени участь царя и пророка,  
мальчик стройный, тебя. Промолчи же о ней.  
Не обмолвишься ни словом о встрече сияющей нашей".

О, журчанье источника, холод искристой воды!  
Вечереет, и синее небо спускается ниже.  
Дробный топот копыт словно крупные бусинки ниже,  
Видно темные горы, а воздух – прозрачной слюды.  
Никому не скажу я о встрече чудесной своей –  
О свирель моя, ты лишь Его славословь...  
Бледной дымкой подернулись грани долин и морей.  
Созерцание их – это, верно, и значит "любовь".

24 января 2001 – 5 февраля 2001

## Весна

Кто может описать разверзшуюся твердь  
И звездный в ней разлом, как внутренность граната, –  
Как хлынувший металл, как лавы круговерть –  
И нежную лазурь, зажатую когда-то.  
Сказав: "Да будет свет", – Он купол сей воздвиг,  
Он твердь рассек мечом, и солнце просияло.  
Тогда Он не скрывал свой лучезарный лик –  
И пелена с небес новорожденных спала.

Лишь только благодать себя являет нам,  
Мы словно о.о сна чумного прозреваем,  
И с радостью цветов тогда к ее лучам  
Как к солнцу, мы лицо послушно обращаем.  
Так в пажить пышных трав нырнуть и навзничь лечь,  
Высокой синевы внимая превращеньям,  
Полдневной глубины клубящейся стеречь  
Непостижимый ход и мерное движенье.

Он Землю среди всех других отметил звезд,  
Благословив свой труд – и синие вершины,  
И сизых волн степных привольный, буйный рост,  
По белой кости скал – искристый бег стремнины.  
Как одинока ты в бездонной высоте!  
Подобных нет тебе. Любовь не выбирает –  
Но предстает тебе как светоч в темноте,  
И благодать свою, и тяжесть налагает.

Стал осязаем свет, и воздух как стекло,  
На водяную пыль распалось неба бремя  
И иго радуги прозрачное легло  
На темный бок земли, изогнутый, как стремя.  
И чертят ласточки растаявший хрусталь,  
А капли и плоды к земле пригнули ветки,  
И округленная, как мяч и чаша, даль  
Чуть схвачена внизу деревьев узкой сеткой.

Наброски в янтаре и в глыбах известняка  
Хранят начала дней тугие очертанья,  
И жесткий папоротник, и сухой костяк  
Огромных хрупких рыб, сих первенцев созданья,  
И раковин крутых точеные ходы.  
Исчезнувших существ и перистых растений  
В расколотых камнях застывшие следы  
И в желтый свет густой закованные тени.

Вот к темному ручью подходит леопард,  
Он пестро окроплен глазками тесных пятен.  
Как терпкий финиам, как благородный нард,  
Благоухает он, и глас его стал внятней.  
А под водой плывут узорные стада  
Блестящих синих рыб, что тою же рукою  
Расписаны, что зверь, и небо, и вода,  
Незримо длящая движенье и в покое.

Здесь праотец Адам бродил среди олив,  
Серебряной каймой сад райский охвативших.  
Он видел вдалеке мерцающий залив,  
Меж светлых берегов, меж пышных куп, вместилища

И первые плоды, и стаи певчих птиц,  
И гнезда диких пчел, что сот прозрачных полны,  
И гроздя белые цветочных снежных лиц,  
Медовых запахов рождающие волны.

Он слишком счастлив был в саду, неизвестном нам,  
И, словно с детством, с ним спешил скорей расстаться,  
Сказав свое "прости" деревьям и цветам.  
Весною каждую, как время распускаться  
Придет полям, и вновь зазеленеет лес,  
В игре его ветвей отыщешь, может статься,  
Былой узор и рай – в прогалинах небес.  
И каждый миг Адам за счастьем будет гнаться.

2002

\*\*\*

– Не проси за него – он ко мне не приходит давно;  
Сердце сделалось камнем  
без света живительной дружбы;  
Стало укусом горьким в кувшине святое вино,  
И напрасно просфоры приносишь ему после службы.

– Но не ты ли из камня в пустыне источник иссек?  
Сделал воду вином, сделал плотью причастия хлебы?  
Неужели – промолвить боюсь – он совсем одинок  
И душа лишь вольна отказать от чуда и неба?

2004

### Фьямметта

Сказали Фьямметте: «Забудется все, что умрет,  
Живи же и искрою будь, и забудь о Памфило»;  
Флоренции я не видала – а в Риме живет  
Любой, кто с резцом или кистью всходил на стропила.

И в вечность спускается лестница, и человек  
Нисходит по ней, как спускался Эней в подземелье  
И статуя смотрит на мир из-под мраморных век,  
И зелень фонтанов вскипает над каменной мелью.

Фонтан, как корабль, что на площади встал на прикол,  
Сквозь улиц проливы вливается море людское,  
Под тяжестью фруктов трещит нарисованный стол,  
И дышит гробница прохладою, правдой, покоем.

Ах, ради гробницы такой мне не жаль умереть!  
Не страшно лежать здесь, ведь смерти присуще величие,  
Не нам о блаженных, не нам о счастливых скорбеть,  
Где столик в саду нарисован и трапеза птичья.

### Опера

Как падает снег на землю,  
На черную сеть ветвей,  
Где темные листья дремлют,  
А окна еще темней,

Рассеянной тверди тени  
Спускаются вдоль стены  
К холодным перстам растений  
К дороге прямой струны.

В кого теперь воплотиться  
И чьи одежды надеть,  
Чьи трели, подобно птице,  
В холодном воздухе петь?

Лишь тот запоем, как птица,  
Кто сбросит, как плащ, свой век.  
Распастись и вновь сгуститься,  
Как небо и воды – в снег.

10. 2003

### Чужая комната

Проснись с ощущением, будто понятно  
Событие в прошлом – далеком, ненужном –

Которое ты воскрешал многократно,  
С которым ты ночью сидел, как с недужным.

Вставая, ты меришь шагами и взглядом  
Такое чужое родное пространство  
(Как чуждо все то, что находится рядом  
Так долго, что вечностью мнишь постоянство).

Ты видишь чужую одежду на стуле,  
Чужое лицо в расколовшейся выси,  
Где тучи, такие большие в июле,  
Свой бег ускоряют до медленной рыси.

И зеркало ты протираешь рукою,  
И дверь открываешь туда, где сплетает  
Мелодию ветер свою с тишиною  
И прошлое сердце твоё оставляет.

2004

### Отчужденность

Пролетай над землею ночною,  
Над своею страной пролетай,  
Нет следа за твоею кормою,  
И, осыпанный звездной пылью,  
Тверди милой чуть светится край.

Где безоблачна вечно погода,  
Где надоблачный тающий рай,  
В легких недрах небесного свода,  
Небывалую чужую свободу,  
По воздушным волнам пролетай.

Поднимайся все выше и выше,  
Там, где тьма развеивает свой стег,  
Ветер марево рвет и колышет...  
А внизу переливами пышут  
Как недавно угасший очаг,

Города... И к окну, невесомый,  
Прислонись. Невозможно никак  
Разглядеть то, что было знакомо,  
Лишь лиловую бездну над домом  
Различает небесный моряк.

Не постигнуть и умственным зреньем  
Изменений размеренный ход;  
Вот светает, и грусть в отдаленье  
Точно так же, как гаснут селенья  
Под крылом, отгорит и пройдет;

Посмотри: ведь земля недвижима  
В переливах подвижных теней.  
Словно старость, чужда, нелюбима,  
Но незбылема, непостижима,  
Как и небо, столь чуждое ей.

2002-2003

### Разбитая колесница

Тяжелый корпус медленно качнулся  
И поднялся. Как сердце под ногами  
Вдруг дрогнуло и замерло. Коснулся  
Могучий ветер крыльев, и под нами  
Открылся город, в золотых вкраплениях  
Своей прозрачной ночи – как кострище  
Разметанное, в тусклых блесках тленья,  
Где пламя не находит больше пищи, –  
Словно следы паденья Фазтона –  
Распавшейся осколки колесницы.  
«Я проходил над адом, слышал стоны  
И пламя опалило мне ресницы».

2002

\*\*\*

Я слышу колокол дальний,  
Глубокий и нежный звон,

Когда мой город печальный  
Уже во тьму погружен.

Мрак улицы затопляет  
Высокой синей волной  
И в темных окнах мерцает  
Нежданною глубиной.

Как гулко синее небо!  
Текущий воздух ночной  
Доносит мне запах хлеба  
И черной влаги речной.

На церкви Фридрих-Вильгельма,  
Упрямой в витражи,  
Огнями святого Эльма  
Певучая ночь дрожит.

Одною дрожью наполнен,  
Катит из страны в страну  
Напев с ее колокольни  
Мерцающую волну.

2002

К стеклу прикоснувшись рукою,  
Рисуя над дымной чертой,  
Я вдруг вспоминаю с такою  
Чернильной и снежной тоской:  
Когда Рождество распускалось  
Серебряной розой фольги,  
Там тоже в четыре смеркалось  
За мягкой стеною пурги.  
Простые примеры сложенья  
Рукою чертя на стекле,  
Я синего снега движенье  
Едва различаю во мгле.  
Ах, не расстояние, но время  
Мешает мне это вернуть:  
Летучего холода семя  
И искрами усталый путь.

2002

### Берлинское метро

Под вечер, в дымке темно-синей,  
Где блески бледных фонарей  
Не освещают, а скорей  
Скрывают сочетанья линий –

Когда окончены дела,  
И только в зеркало перрона  
Глядится смерть из-за угла.  
Войти в прозрачный свет вагона

И в гладкий лак громадных окон  
Смотреть, глотая на лету  
Огнями уличных потоков  
Пропитанную темноту, –

А после выйти, отраженье  
Свое оставив позади –  
Разомкнутое на мгновенье  
Слепою раною в груди, –

Вместившей мост под фонарями,  
Кафе, два деревца, крыльцо –  
Где вечер смотрит мне в лицо  
Как бы незрячими глазами.

10-11.2001

### Море

Море – шумно и бездонно,  
Чудища роятся в глубине.  
Трепет волн – или русалок стоны?  
Гулко отзывается во мне.

Мальчиков, играющих на взморье,  
Нежною улыбкою манит.  
Голубую раковинной кровью  
Небо море сонное поит.

Гулким вздохом, темною волною,  
Ярким всплеском светлого весла –  
Море, говоришь ли ты со мною  
Там, где смесь прибоя и тепла?

Желтый на коричневом; пылает  
Белый пух на тоненьких руках,  
Резвы ноги; море заглушает  
Шорох гальки в маленьких следах.

В высоте, где слышны только птицы,  
Легкий мяч взлетает и парит.  
Сохнет соль на *сомкнутых* ресницах;  
Крики вдалеке... Лицо горит...

Море шумно падает и всходит,  
Море бьется; раковинный шум  
Теплой дремы пелену наводит,  
Сети сна – и угасает ум...

Кануть в эти воды безвозвратно,  
Раствориться в светлой глубине.  
Соль и синь, и нет пути обратно:  
Плещет море горькое во мне.

Морем стать, плесканьем глади зыбкой –  
Но, когда утихнут все моря,  
Осени меня своей улыбкой –  
И, пылая, улыбнусь и я

1998-99

### Счастье

Слышен шепчущий шум океана  
Сквозь закрытые створки окна,  
Но с волною душа неслиянна,  
Поднимающей щебень со дна.

Вечность камня и неба ночного  
Одинаково сердцу страшны –  
Только в трепетной вечности слова  
Мы прошедшее видеть вольны.

Что его очищающей властью  
Освятилось, то сердцу родней –  
Потому-то предчувствие счастья  
Настоящего счастья сильней.

2003

### Шаги и голоса

Что чувствует земля, когда по ней ступают?  
Что чувствует река, когда плывут по ней?  
И, в немоте своей, в бездвижности своей,  
Тот внемлет ли шагам и тихим голосам  
Кого во тьме глухой и душной оставляют?

Есть дальний гул шагов, что бьют в земную грудь,  
Есть дробный плеск весла, что воду разбивает,  
И волны воздуха колышет и качает  
Звук обращения сфер, присущий небесам –  
Но как мне хочется услышать где-нибудь

Родные голоса: пусть звонко окликают  
Меня, и пусть закатом крашен будет путь  
Меж зреющих полей, что ветер овеивает,  
И гулкий, быстрый бег пусть вторит голосам.

2000

\*\*\*

Он странником отправился когда-то  
Из деревень, где варят терпкий сыр,

Дорогою, где шаг дробят солдаты,  
В огромный Рим, что ныне значит "мир".

Путь раскрывался перед ним, и ваял  
Горячий бриз сквозь пение цикад,  
И в ярком небе черный ястреб реял  
Над дымкою, где горы чуть сквозят.

И он вошел в высокие ворота  
Из сельской синеглазой тишины,  
И шуму города внимал, где что-то  
Кричал погонщик, и, утомлены,

Волы свою арбу тащили сонно,  
И мальчиков играли голоса  
В колодцах улиц, звонких и бездонных,  
Взмывая под тугие небеса.

Под парусом ли золотой триеры  
Приплыли эти синие, как день,  
Покровы для носилок? Всякой веры  
Торговцы здесь раскидывают сень.

А целых улиц душно дыхание,  
Где темных роз охапки продают  
И в камнях спрятанные притиранья,  
И птицы в клетках по стенам поют?

Все оглушительнее, все страшнее  
Врывался город в уши, и звенел,  
И звал, грозясь, и окликал нежнее,  
Чем кто-либо когда-либо сумел.

Лишь сжать виски – и гаснущего лета  
Ловить и зов, и скрытую печаль.  
Свой слух слепца и зрение поэта  
Готовя, словно чистую скрижаль.

### Трагедия

Вновь свежий воск на деревянной плашке,  
Прошла гроза, наполнен водосток,  
Раскрыты двери в темный сад, и тяжело  
Ступает приближающийся бог.

Пусть стихнет гул – в преддверии помоста  
Шумят листья, как тысячи ладош.  
Что с высоты божественного роста  
Аплодисментов долгожданный дождь?

О призрак, Диониса кровью сытый,  
Ты о былом величье говори:  
Пусть осветит рассказ полузабытый  
Пурпурный блеск трагической зари.

Летят со сцены гулкие рыдания,  
Им внемлет хор, к которому ты глух,  
Не повторится больше возлиянье,  
Твой более не потревожат слух.

Не воскресят ни молоком, ни медом,  
Ни кровью жертв – ты вновь сойдешь в «Аид».  
И призрак меркнувший перед уходом  
Все рассказать и выплакать спешит.

Вкус новых строф давно знаком и горек.  
Кто бога был явленьем оглушен,  
Вновь слышать стал. Луной мерцает дворик.  
В твоих глазах светильник отражен.

2003

### Крит

Пусть будет слово – словно город бледный,  
Окутанный прозрачною зарею.  
Сейчас, сейчас я говорю с тобою –  
Запомни этот город предрассветный.

И все изгибы переулков темных,  
И темноту еще закрытых окон,  
И дерево, что там, в углу укроном,  
Роняет липкой гусеницы кокон.

Остановись на этом перекрестке –  
Куда тебе теперь свернуть, не зная,  
Туда ли, где уже со звуком хлестким  
Из шланга мостовую поливают

Перед столами в пестрых пятнах тени?  
Туда ли, где торговцы выставляют  
Из лавок пыльных – яркие сплетенья  
Платков и шарфов, где коты шныряют,

Где солнце спозаранку полирует  
Старинную и звонкую, как скалы  
Над городом курортным, мостовую.  
Мы не заметили, как солнце встало...

Присядь за стол – и вспомни, вдруг, неясно:  
Тебе когда-то виделось все это,  
Клонящееся к завершению лето,  
Веселый звук гортанных, громких гласных.  
2000

### ТАТЬЯНА КАЛАШНИКОВА Из цикла «Посвящения»

Александру Избицеру

«Прощай, прощай...»  
Да я и так прощаю...  
Б. Очуджава

И чаек крик прощание пророчит,  
и небо растревожилось густой,  
клубящейся дымами серой тучи  
белесой пеленой. «Постой, постой!  
Не торопи: осеннюю кручину,  
к зимовью птиц резные косяки...», –  
волнуется орешник, сгорбив спину  
под ветром, у взволнованной реки.  
«Постой, постой!», – шумит камыш, осыпав  
подвыцветший коричневый бутон  
на рябь воды. «Постой, – хлопчут липы, –  
не ускоряй прощальный фазтон».

«Не подгоняй, попридержи поводья,  
дай надышаться пряною травой,  
дай налюбоваться под ветвистым сводом  
и с пьяною от счастья головой  
уснуть под шепот девственной березы,  
перебирая в пальцах поздний цвет,  
рассматривать мистические грезы  
грядущих и ушедших зим и лет», –  
ложится стих чредой неровных строчек...

А чаек крик прощание пророчит.

Июль, 2004

### ПРОБУЖДЕНИЕ

Василию Пригодичу

Скорее бы порвалась перепонка,  
чтоб я до смерти на душу оглох.  
Василий Пригодич

«Мне тягостно седое пробужденье,  
«седое утро», грезится туман.  
Стихи... стихи... слепое вдохновенье...  
любовь... потери... грязь словес... обман...

Но видится сквозь серость и туманность,  
как в запотевшем зеркале, во сне,  
медлительна и величава Данность  
ладони тянет бабочкой ко мне.

Движение изящное запястий –  
едва заметный взмах раскрытых крыл.  
Я не бывал доселе столько счастлив,  
касясь дамских рук.  
У козых рыл  
от зависти повытянулись скулы,  
и бляенные слилось в единый вой.  
Они уже давно под волчьей шкурой  
наводят страх, выравниваясь в строй.

Но... Данность, Данность, милая голубка,  
твои ладони бабочкой – балет –  
глаза, вуаль, усыпанная шубка  
лохматыми снежинками.  
И нет,  
козлам и свиньям в волчьих душегрейках  
не растерзать крылатый разворот», –

мне пробужденье у ночной горелки  
пророчеством грозит который год.

*Июль, 2004*

*Валерию Сердюченко*

*Он в жизнь играл, а думал, что в слова,  
стремясь к конечной точке мастерства.*

Канат. Упругая тревога  
витыми прядями дрожит.  
Кому – канат. Ему – дорога –  
от стойки к стойке путь лежит.

Скользит кошачьею повадкой  
его проворная стопа.  
Сжимают пальцы мертвой хваткой  
шары и кольца. В диком па  
спина жонглера изогнулась  
«Страховки нет!», – прошло сквозь зал.  
Толпа испугом задохнулась...  
Но выпрямляется фигляр.

И вновь скользит, и вновь играет  
своей удачей и толпой.  
Приобретет ли, потеряет,  
схватив железною рукой  
запястье кегли полумертвой?

Последний шаг, еще бросок...

И «К черту кегли! Кольца – к черту!», –  
стучит усталое в висок.

*Август, 2004*

*Сергею Саканскому*

Тонка связующая нить,  
натянута струной скрипичной.  
Их поединок нетипичный  
уже нельзя остановить.  
Торопятся за часом час.  
Струны скрипичной импульс нервный  
тревожит тьму, и свет неверный  
со тьмой вступает в резонанс.  
Бледна рассветная луна  
за дымкой облачною тает.  
Струны звучанье нарастает.

И светом тьма обнажена,  
сама подобной свету станет.

## ДЕНЬ СКОРБИ

*Памяти Виктора Есикова*

Дрожит рука. Удушье слез обильных  
не облегчит души.  
Но снизойдет  
с небес скорбящих животворным ливнем,

сопроводив стенания в полет  
к далеким звездам, в звезды рассыпая:  
звезда Любви, звезда Добра, звезда  
Великой Памяти, звезда немая  
Великой Скорби...

Месяцы, года  
ажуры звезд ночного неба светят:  
«Любите вечно, помните навек,  
дарите благо ближнему и детям, –  
и этим жив покуда человек».

*Л.С.*

Собрав морщинки густо на челе,  
опустошив недобрую бутылку,  
Вы думаете с грустью обо мне.  
Доверившись всецело рифме пылкой,  
слагаете сомнение и боль,  
последнюю любовь, скупые грезы,  
то верите, то, не поверив вновь,  
сливаете со дна спиртные слезы.

И так же, как вчера, и, как назад  
не год, не два, но много-много боле,  
понутив затуманившийся взгляд,  
парализуя спиртом дух и волю,  
больное место в сердце залечив  
жестоким прижиганием на время,  
твердите про себя речитатив,  
рифмованный то с этими, то с теми.

*9 октября, 2002*

*Ю.М.*

Это – только для Вас, это – только сегодня –  
неприкрыты слова, ненапыщенна речь –  
выступление в театре Любви и Свободы.  
Красный зал – для таинственных избранных встреч,

голубой – для волнений душевных прибоев,  
а вот этот, огромный из мраморных плит –  
для нелегких бесед, проводимых с собою,  
для бесед, когда сердце сомненьем болит.

В красном зале на сцене под дымчатым светом  
я открою Вам тайну доверчивых глаз.  
Здесь – не место вопросам, не место ответам.  
Это – только сегодня и только сейчас.

«Тихо, – палец к губам, – Я всё знаю. Молчите.  
Всё изучено раньше, и сказано «Да».  
Здесь не место словам. Вон туда поглядите.  
Это – искра надежды и наша звезда».

Это – только для Вас, это – только сегодня –  
неприкрыты слова, ненапыщенна речь –  
выступление в театре Любви и Свободы,  
в красном зале таинственных избранных встреч.

*Весна, 2002*

## СОНАТА МОЛЧАНИЯ

*Брату Володе*

Пойдем со мной к реке. Прохладной тенью  
покрой мои незримые следы.  
Обряд святого воссоединенья  
души устало? и речной воды  
я покажу. Ни звуком и ни жестом  
не беспокою лазурной пустоты.  
Волшебный миг великого блаженства  
не хочет слов, не терпит суеты.  
Коснись реки тихонечко рукою,  
доверься ей, расслабившись, войди  
в речную воду, душу успокой  
и позабыв, что за и впереди.  
Закрой глаза. Какие ароматы!  
Божественно! Вдыхай, вдыхай сильнее.

Дыши водой, речной травой и мятой.  
 Ты — дух реки, дух ветра и полей.  
 Закрой глаза и слушай, слушай...  
 Журчанье, легкий всплеск, сверчок...  
 Ты — высший слух. Забудь про уши.  
 Вот-вот коснется струн смычок.  
 Еще мгновение и...  
 проникновенно,  
 пронзая неба облачную вату,  
 струится музыка Вселенной.  
 Для нас звучит Молчания Соната.

Июль, 1999

## ЕВГЕНИЙ МИНИН

\* \* \*

Не верьте никому,  
 что дальше будет легче,  
 Жестока жизнь всегда,  
 а после — только тлен.  
 Удар судьбы всегда  
 лишь слабого калечит,  
 А сильный,  
 тот всегда поднимется с колен.  
 Когда нужда придет,  
 в дверь постучав клюкою,  
 Что ей ни говори —  
 придется отпереть.  
 Но слабый, сможет жить  
 с протянутой рукою,  
 А сильный,  
 тот найдет причину умереть...

\* \* \*

В этом ливне не видится смысла,  
 Только плащ поплотней застегни!  
 Есть обувка и полная миска  
 И под крышей четыре стены.  
 Вроде надо бы выглядеть гордо,  
 Сочиняйся, игривый сонет!  
 Плохо то, что внутри непогода —  
 Заливает,  
 а выхода нет.

## ПЕРЕСАДКА

Экспресс любви несёт нас в никуда,  
 Захватывает дух,  
 как от полёта,  
 Кто знает, что бывает так всегда  
 До первого крутого поворота.  
 Не каждому на свете выбор дан  
 Решить,  
 куда лететь, как вольной птице,  
 Но кто-то первым дёргает стоп-кран,  
 Чтоб выйти из вагона и проститься.  
 И штраф сполна,  
 не споря, оплати,  
 Гарантии не жди, что будет сладко  
 У каждого есть точка на пути,  
 Которая зовётся — пересадка.  
 К чему твердить,  
 что и любовь недуг,  
 довольно,  
 Я буду вспоминать тебя, мой друг,  
 Когда мне станет холодно и больно.  
 И, может быть, как будто в странном сне  
 Туда, где разошлись мы, всё разрушив,  
 Вернёмся,  
 чтоб услышать в тишине,  
 Как от разлуки наши плачут души.

## ОТЧЕГО?

Грустен лампы свет настольной.  
 Ночь седеет понемногу.  
 Строчки капая, как слёзы,

прямо с кончика пера.  
 Я — один на белом свете,  
 я тебе молюсь, не Богу,  
 Чтоб услышала и знала,  
 что уже назад пора.  
 К нам раздор, как смерч, ворвался  
 вдруг, внезапно, ниоткуда.  
 Разлетелись, словно пташки,  
 всяк на веточку свою.  
 Быть свободным в этом мире —  
 просто счастье, просто чудо.  
 Ты поёшь теперь, что хочешь,  
 то, что мило — я пою.  
 Но под утро наступает  
 наказание, и расплата  
 Одиночеством танцует  
 в длинном платье до пят.  
 Отчего так сердцу больно,  
 если ты не виновата,  
 Отчего душе не спится,  
 если я не виноват?

## ПЕНТИУМ

Пентиум — так зовут моего Пегаса,  
 И когда  
 он выносит меня на поля Интернета,  
 Я кручу головой.  
 Во мне бьётся восторг папуаса —  
 Всё моё, что хочу,  
 если надо — и брутто, и нетто.  
 Я по странам скачу —  
 по огромным раскрашенным лужам,  
 Я невидим для всех,  
 но могу быть и явью и демо,  
 На столе  
 ждёт меня остывающий ужин,  
 И подъём в семь утра,  
 всё те же заботы,  
 проблемы.  
 Да плевать на провайдера,  
 вот уж дерёт их контора,  
 Рви копыта, мой Пентиум,  
 жизнь коротка и прекрасна,  
 А когда угасает  
 сверкающий глаз монитора,  
 Мне Пегас распечатает мысли  
 доступно и ясно.



Валерий Грязнов. Фотоэтюд.

## ВЫХОДНОЙ

Воскресенье проскользнуло,  
Как слезинка по щеке.  
Приподнялся лишь со стула,  
А оно уж вдалеке.  
Стало просто днем вчерашним,  
Растворилось, словно тень.  
Не был горьким,  
не был страшным,  
Необычно тихий день.  
Нам нужна такая малость,  
Чтобы жить не на авось,  
Чтобы где-то  
не взорвалось,  
Не случилось,  
не стряслось.

## ПТАШКА

Дни стали светлей и длиннее,  
Деревья цветут не спеша.  
Вот птаха на ветке.  
Под нею  
Сию я, неслышно дыша.  
Расплакалась что-то пичуга,  
Прощаясь с ушедшей зимой  
Ее приютившего юга,  
Теперь же на север, домой.  
Но в странных сиреневых звуках,  
Незримая спрятана боль.  
О грусти,  
потерях,  
разлуках  
Выводит тоскливый бемоль.  
И каждое «треньканье» – в душу,  
Как тонкой иглы острие...  
И кто я такой,  
чтобы слушать  
Печальные тайны ее.

## КОГДА...

Когда человеку даётся от Бога,  
И больше, чем надо,  
и больше, чем много,  
Чтоб словом и  
делом возвысить планету.  
Он вызовет после к себе – для ответа, –  
Орлиным круженьем  
забрался ли к высям,  
Иль полз потихоньку  
по тропкам по лисьим.  
А если талант,  
что бесценен и дорог,  
Профукал,  
проспал –  
не ищи отговорок.  
Закроет глаза,  
отвернется с презреньем,  
И память  
сотрет о тебе  
с сожаленьем.

## ЮРИЙ ПОПОВ

### УЗНИК

Был потолок и стены,  
оконный переплет –  
не вырваться из плена  
и не уйти в полет.  
Сидел я не в темнице,  
холодной и сырой,  
но курица – не птица,  
а узник – не герой.

В душе азарта нету,  
у крыльев силы нет,  
казалось, песня спета  
на середине лет.  
Мне не забыть ту пору,  
далекую теперь,  
мечтал я о просторах,  
не выходя за дверь.  
Во сне я видел волю  
и с птицами дружил,  
и просыпался с болью,  
и с этой болью жил.  
Жизнь проходила втуне,  
впивалась в мозг игла,  
но мудрая колдунья  
заклятие сняла.  
И расточился морок,  
утих в душе раздор,  
и оказалось, сорок –  
еще не приговор,  
еще доступны дали  
в сиреновом дыму...  
Меня расколдовали,  
а я – опять в тюрьму.

## ТАТАРОЧКА

Русая была ты, словно русская,  
Тонкая, как горная коза,  
А глаза – татарские, не узкие,  
Но с дичинкой, шалые глаза.

Отражался в них степными далями  
Солнцем залитый морской простор,  
И плясал огнями разудалыми  
Диких предков кочевой костер.

Но костер загасит ветер северный,  
И развеют годы горький дым.  
Хоть у твоего склонялся стремени,  
Но не стал я данником твоим.

Только вдруг приснятся косы русые,  
Будто бы в чужом каком-то сне,  
И глаза, татарские, нерусские,  
С вековой тайной в глубине.

## ПРОЩАНИЕ

Мы расставались. Как всё было глупо!  
Как всё тоскливо было в этот день –  
И неба мутный, вылинявший купол,  
И пыльных кленов реденькая тень.

Всё было так мучительно обычно,  
Так буднично в вокзальной суете,  
И только сердце билось в непривычной,  
Безрадостной, бездушной пустоте.

Прощанье вышло скомканным, неловким,  
Казались неуклюжими слова,  
А летний полдень жарил, как в духовке,  
И разрывалась болью голова.

Но вот уже закрыта дверь вагона,  
И за окошком плавное, как бред,  
Обратное движение перрона  
В минувшее, куда дороги нет.

## ПРОГРЕСС

Искрясь, шагает техника вперед,  
Повсюду электронные коробки,  
И нажимает клавиши и кнопки  
С прогрессом ознакомленный народ.  
Штурвалы крутит, тянет рычаги  
И мрет, погубленный прогресса силой,



А у чертей в аду – простые вилы  
И что-то вроде древней кочерги.

## НЕПОГОДА

За окном неуютно опять,  
Будто шепот тех давних напастей.  
Их следов из души не изъять:  
Или сны возвращаются вспять,  
Или так вот напомнит ненастье.

Хмурый сумрак под пологом туч  
Нас скорее уводит в былое,  
Чем беспамятный солнечный луч –  
Почему-то от памяти ключ  
Непогода приносит с собою.

Верно, очень похожа тоска  
Беспросветной, ознобливой хмари  
На бессильную тяжесть в висках  
И на жажду в безводных песках  
И на слезы в похмельном угаре.

## МИКРОРАЙОН

Дома стоят, сутулятся  
над тополями хилыми.  
Чревата наша улица  
осенними разливами.  
Одной большою лужею  
вдоль новостроек тянется,  
и самосвал нагруженный  
шатается, как пьяница.  
Народ гуськом по краешку  
от остановки топает –  
по камешку, по камешку,  
проложенными тропами.  
В окна района спального  
глядится горемычная  
осенняя, печальная  
судьба круглогодичная.

\*\*\*

Я отдам тебе всё, что имею –  
И надежды свои, и мечты,  
Свое сердце и не пожалю  
Жизнь свою до последней черты.

Только память отдать не сумею,  
Не затем, что не счёл бы за честь –  
Просто я раздаю, что имею,  
Но не то, извини, что я есть.

## ЛАРЕЦ ИСТИНЫ

Есть истина, и есть искатель,  
Есть путь искателя, не знающий конца,  
Который обрывается нестати  
Задолго до заветного ларца.

Ларец сокрыт от жадных взоров  
Не потому, что разум наш не дюж,  
Но потому что ящиком Пандоры  
Он обернется для тщеславных душ.

## ДРАМА БЫТИЯ

Кочуют мириады душ  
По беспредельности эфира,  
Не зная преходящих нужд  
Земного крохотного мира.

А залетев в земной предел  
Вкусить любви, вина и хлеба,  
Бегут от ненасытных тел  
Назад в космическое небо.

И разум, не успев созреть  
В покинутой душою плоти,  
Бессильно протестует против  
Того, что называют «смерть».

\*\*\*

Будь счастлива, не думай о годах.  
Ушедшее ушло, оставив эхо.  
Любое время – при своих делах,  
Любые годы – счастьем не помеха.  
Не бродит в голове весенний хмель,  
Но так же зреют винограда кисти,  
И так же осенью кружатся листья,  
И замечает зимняя метель.

Будь счастлива! Еще горит закат,  
И не спешит расстаться с нами вечер,  
Душа настроилась на мирный лад –  
Не бой, а мир непреходящ и вечен.  
Жизнь наша нами пишется вчерне,  
Ничто не до конца, всегда сначала.  
Будь счастлива, и пусть твои печали  
Растают в этой чуткой тишине.

## БОЛЬШАЯ ХАНДРА

Дни вливались в душу ядом,  
Всё казалось в те *поры*  
Утомительным обрядом  
Нескончаемой игры.

Отравляли сонным зельем  
Повседневные дела,  
И во сне казалась целью  
Жизнь, которая спала.

Что-то бег остановило,  
Закружило в колесе,  
Свет не мил, ничто не мило  
В этой чёрной полосе.

Встала поперек плотина,  
Стал болотом водоем –  
Будни, суета, рутина  
Год за годом, день за днем.

## КАТЕРИНА ТАРАНЕНКО

\* \* \*

Стук четок  
Во мраке душевной узкой кельи,  
Сон чуток,  
Бред и жар – порог и двери.  
Шепот вяжет  
Плед защитный из молитвы,  
Бес закажет  
Музыку для новой битвы.  
Измотался  
На замызганной перине,  
Потерялся  
Крест в алеющей лавине.  
Из груди  
Лети на волю, пташка,  
Всё, гляди,  
Пора сменить ему рубашку.

\* \* \*

Застлали туманы холодные  
Гладь вод и покой берегов,  
Скрыв утром, за нишею плотною,  
Волнение юных птенцов,

Их матушек, нервно талдычащих,  
Что в стае прилично, что нет,  
И старых, собраться всех кличущих  
Гусынь, – уже время лететь.

Лишь я в камышах засекреченной  
Останусь... забудут, простят...  
Не буду душой искалеченной  
Расстраивать – пусть не грустят,

Летят преспокойно в Германию,  
Где пища, злых нет холодов...  
Я здесь свой урок выживания  
Приму от российских ветров.

#### Колдовство

Хватит ветви клонить,  
Залетай сюда, ветер,  
Здесь огонь разгорелся давно,  
Серебро раскалить  
Мне pomoжешь, запрещен  
Плод познания, но мне всё равно.

И хрустальная чаша  
Шипит в нетерпенье,  
Ждет энергию лунных ночей,  
Языки восьми пташек  
И сердце оленя –  
Открывают твой мир без ключей.

Предо мной появись.  
Помутнел юный разум, –  
Всех секунда застала врасплох...  
Я прошу – не гневись,  
Ведь эфир наш заряжен  
Быстротечностью разных эпох.

Я сгорала, сгораю,  
Сгорю без остатка...  
Отпусти, прогони, пощады...  
Лучик лунный срываю,  
Ненароком украдкой  
За меня он коснулся тебя.

#### МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

##### ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Я долго голову ломал,  
Кто счастлив больше, чем нахал.  
И, наконец, сыскал – по мне  
Счастливей всех нахал вдвойне.

##### ПОКОЙ И ВОЛЯ

Отрашу я бороду  
Ни к селу, ни к городу.  
Выберу невесту,  
Чтоб была не к месту.  
Буду речи град  
Сыпать невпопад.  
Раз и навсегда  
Стану сам не свой.  
Может, хоть тогда  
Обрету покой.

##### САМОЕДСТВО

Как я жалок и гадок.  
Не перенести.  
Оказалось, я падок  
На лесть.

Мне твердят, что галантен,  
Талантлив,  
И что ж?  
Оказалось, гарантий  
На грош.

Мед речей их мне сладок.  
Упадок.

\* \* \*

Что случилось с моей бедной Родиной?  
Как чужие, по проспектам бродим мы.  
В магазинах очередь выстаиваем,  
Матом окруженные, как лаем.  
Дома, чуть живые, – к телевизору,  
Одурев, испытые и сизые.  
А на службе, где сплошной маразм,  
Толчем воду в ступе раз за разом.  
Не глупы и смелы были вроде мы,  
Но проспали, брат, с тобой мы Родину.

#### ИСКУС НАЦИОНАЛИЗМА

Воз народа слишком грузен.  
Мы бредем по кругу, да,  
Тяготясь избытком Грузий,  
Куб и Никарагуа?

Что нам бедствия Китаев,  
Нужды Латвий или Литв,  
На самих коль не хватает  
Дел Господних и молитв!?

#### ПИКНИК

Ложусь  
на холмик  
с глянцем  
травки.  
Берусь  
за томик  
Франца  
Кафки.  
Читаю,  
думаю...  
Съедаю  
еду мсю.  
Потом –  
глотаю  
и том...

#### СВОБОДА И БЛАГОДАТЬ

«Вольному воля,  
Спасенному рай» –  
Всяк свою долю  
Сам выбирай.

#### АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ

\* \* \*

Расторопный 4-й маршрут  
Вновь увозит на «спальный» Каштак.  
Нас в маршрутке друг к дружке прижмут,  
Хоть сердцами прижаты и так.

Фонари проплывают впотьмах,  
По мороженым стеклам скользя...  
Будем спать с тобой в разных домах,  
Потому что в одном нам нельзя.

А в глазах твоих горький вопрос.  
Выйдешь ты через пару минут.  
И не видит невидимых слез  
Распроклятый 4-й маршрут.

\* \* \*

Я разрешаю утру во дворе  
С морозным скрипом разлепить ресницы,  
Но если спишь ты, пусть тебе приснится,  
Что счастье есть в морозном январе.

Пусть встречи стали кротко коротки,  
Пусть мало их – когда их было много?!  
Я нежностью кормлю тебя с руки,

Зверенок мой...  
И пусть нас судят строго,

И пусть клеймят – меня, а не тебя! –  
Анафемой деруг свои гортани,  
но высь мы поднимаемся, любя,  
И, может быть, высокими мы станем.

И страсти переплавятся в слова  
Узорнее морозных дивных кружев,  
Скукожится недобрая молва,  
Недоброту свою же обнаружив.

И будет свет звучать, как нота "ре" –  
светло и чисто, страстно и бодряще.  
как пушкинское утро во дворе –  
меж будущим и прошлым, в настоящем.  
*27 января*

\*\*\*  
Всё так просто – как нечет и чёт,  
Нет и да, свет и тьма, лёд и пламень...  
Только сердце, к несчастью, не камень,  
Под который вода не течет.

Посмотри: мы с тобой две зари,  
Но ты утро, я – вечер ненастный.  
Потому восклицанья напрасны:  
Ты прекрасно, мгновенье, замри!

Ты восходишь, а я уйду –  
Всё естественно, просто и мудро.  
Я люблю тебя, ясное утро,  
Дорожу, уходя за межу.  
*27 февраля*

\*\*\*  
Моя вечнозеленая любовь  
С твоей, еще зеленой, не в раздоре,  
Хоть кто-то мне пророчит мрак и боль,  
А нам двоим – посмешище и горе.

Конечно, я замшелый тот утес,  
Ты – легонькая тучка золотая,  
Но где оставил Лермонтов вопрос,  
У нас с тобою – четко – запятая.

А что за ней?.. Родство безумных душ  
И нежеланье вписываться в роли:  
Не дядя, не учитель и не муж,  
Я твой отец, пускай и не по крови.

Почти инцест – шальная наша связь.  
Да, признаём, но снова – запятая!..  
Пусть кто-то норовит столкнуть нас в грязь,  
Для нас и грязь – от солнца золотая.  
*13 марта*

\*\*\*  
Да, мой Рыжик, мой ласковый Лис,  
Я устроился вправду неплохо:  
Я плюю на эпоху; эпоха  
Не дает для прописки мне виз.

Видно, я недостаточно крут,  
Видно лох до скончания века,  
Коль неплохо устроился тут,  
Где копейка – цена человека.

Но людей дорогих не сдаю  
И тебя, рыжий Лис, я не выдам  
Ни охотникам и ни бандитам,  
Лучше песню прощанья спою.

В этой песенке толка на грош,  
Но Любви запас в ней утроен...

Ты мой камень надгробный найдешь –  
Буду там еще лучше устроен.

\*\*\*  
Да, лисенок, пучина любви,  
Столько страха в себе затаила,  
Но влекла тебя властная сила –  
Вон, кругами, следочки твои.

Нюхал бездну лисенок не раз,  
Громко фыркал от жара и хлада.  
Но шепнул я из бездны: «Не надо!..» –  
Погибая, лишь этим и спас.

\*\*\*  
Ты свободен, прирученный Лис,  
Пусть и буду за это в ответе.  
Ждет тебя полный тайнами лес,  
Ждет простор, а не тесные клетки.

Есть с моей привыкая руки,  
Ты губил в себе зверьи повадки.  
Я тебя отпускаю – беги,  
Улепётывай, Лис, без оглядки.

Прослежу я твой радостный бег,  
Не такой уж торопливый вначале...  
Поглядим, что ответит печали  
Приручивший тебя человек.  
*26 марта*

\*\*\*  
Ты беглянка с костра Инквизиции.  
Волос рыж, как тот жаркий костер.  
Рушишь схемы, устои и принципы,  
Рушишь стены, чтоб хлынул простор.

Из пустот созидаеть созвездия,  
Чтоб от света корячилась тьма,  
Ангелица и ведьма, и бестия,  
Дура дурой с палатой ума.

Все стихи твои мира несельники –  
От заоблачных высей до дна,  
И погибель моя, и спасение,  
Оправданье мое и вина.  
*1 апр.*

\*\*\*  
Ученица, послушница, дрянь,  
И чиста и порочна насквозь.  
Не талант бы, пронзающий рань,  
Бросил бы, а такую вот брось!..

Стало быть, буду брошен я сам,  
Черт-те как помяну черт-те где:  
«Мёд пивал я, текло по усам,  
Мимо рта, задержась в бороде!..»  
*1 апреля*

\*\*\*  
*Откуда у хлопца испанская грусть?..*

Гляжу, и пульсирует мысль у виска:  
Откуда в девчонке такая тоска?

Гляжу, и ломается в выгибе бровь:  
Откуда в девчонке такая любовь?

Под челкою рыжей глазищи хитры.  
Откуда в девчонке такие миры?

Джультетта, двадцатого века дитя,  
Летишь в двадцать первый ты, сальто вертя.

А век наиподлый – руками толпы –  
Коварно готовит камень, шипы.

И думать не время: люблю – не люблю?  
Я мягкой соломки тебе подстелю.

Чтоб встала с нееты, цела и легка,  
И чтобы опять на солому легла,

Чтоб разум терял я, додумать спеша:  
Откуда в девчонке родная душа?..  
*17 апреля*

\*\*\*  
Запишу неразборчивой вязью  
И без менторской вовсе нуды,  
Что бывает земля моя грязью,  
Если много в ней слишком воды.

Лишь себе, не кому-то в угоду,  
За стихи первым делом, боясь,  
Выжми воду, излишнюю воду,  
Чтоб земля в них была, а не грязь.

\*\*\*  
Хоть бываю я на мели,  
Хоть не вылез я из долгов,  
Слава богу, друзья мои  
Интересней моих врагов.

Хоть не чужд мне порою грех,  
Хоть мосты я, бывает, жгу,  
Слава богу, люблю я тех,  
Не любить кого не могу.

Хоть не все мой узрели свет,  
Хоть нечасто бываю прав,  
Слава богу, что Бога нет  
Лишь для тех, кто без Бога здрав.

## БОЛЬНИЧНЫЙ НОКТЮРН

Набрякла тяжело тьма ночная.  
Сгустилась тишь. Ты спишь одна.  
Я не войду в твой сон, родная,  
Чтоб не прервать сюиту сна.

Меж нами вовсе-то не дали –  
Езды на несколько минут,  
Но разлучили нас печали.  
Когда же радости сведут?

Когда рассеются напасти,  
Без хмарей будет оком,  
И дастся нам простое счастье,  
Простое чудо – спать вдвоем.

\*\*\*  
Угловат по наружности  
И внутри – угловат,  
Совершенству окружности  
Восторгался квадрат.

Но, поди разберись,  
Где отыщется прок...  
Та сказала: катись!..  
Он катиться не смог.

\*\*\*  
Бог подушки выколачивать решил –  
Снег летит, кружась, и застит белый свет...  
Каюсь, каюсь – шибко много я грешил  
И тому не оправданье, что – поэт.

Это будет отягченьем на Суде,  
Как надбавочка за винные пары.  
Только зла я делал больше сам себе,  
Но не звал я, чтоб хватали топоры.

Звал к любви и даже верил в Светлый век.  
И пластался – приближал его, как мог.  
Видит Бог, я не пропащий человек.  
Но подушками он занят, добрый Бог.

\*\*\*  
Как будто это не со мной –  
Я лишь сторонний наблюдатель:  
Всё, что звалось и было мной.  
С досадой комкает Создатель.

Я – неудачный черновик.  
О, сколько сам листков я скомкал!..  
...Я червь, я Бог, я человек...  
А жить осталось «Бог» сколько?..

Да мне ли нос вперед совать?!  
Грохочут, продыху не зная,  
Грехов моих вагон, состав,  
Еще тележка прицепная...

Но не дрожащая я тварь,  
Не суечусь и не психую.  
Ведь на тележке той – фонарь.  
И светит, светит в ночь глухую!..

\*\*\*  
Я с монстром-паровозом был знаком,  
Вверялся «кукурузнику»-биплану,  
И клёши я носил... Но стариком  
Ни при каком раскладе я не стану.

Еще я, может, вволю пошалою,  
Пушу в глаза завистникам порошу,  
Еще в себя прелестницу влюблю –  
Ну, поматрошу малость, да и брошу!

И строчками потешу белый свет,  
Аж будут все зыряновцы гордиться!..  
«Пора тебе под капельницу, дед!» –  
Мне сообщает юная медица.

\*\*\*  
Разве я помещусь  
в твоём крохотном сердце,  
с горами моих дерзаний,  
с морями моих мечтаний,  
с лесами непроходимыми  
заблуждений моих?..

А вдруг  
заблуждение главное –  
будто я не помещусь  
в твоём сердце?..

Вдруг  
со всеми горами,  
морями и чащами  
кану!

Вдруг  
еще местечко останется –  
для плодов грядущих –  
будь то дети или стихи!..

## «ЗАРОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ»

Пубертатный период –  
Прорезание чувств.  
Улыбаюсь я криво –  
Расцепляюсь, лучусь!..

Я велик и ничтожен,  
Я трагично смешон,  
До мурашек по коже  
В похоть я погружен.

Звон в ушах от напряга,  
Жар и холод в крови,

А не знаю, однако,  
Ни черта о любви.

Мука или блаженство?  
Или просто фигня?..  
Электричеством женскость  
Аж искрит сквозь меня.

В мире, скроенном классно,  
Я убог, хоть убей, —  
То, как облако, ласков,  
То утеса грубей.

Не скрываю досаду,  
Злом к себе обуян.  
Тьму галактик достану,  
Коль полезу в карман.

\* \* \*

Снова, битый, вползаю в логово  
И досаду лишь тем гашу:  
Богу — богово, лоху — лохово,  
Я ведь лишнего не прошу.

Обуздать не сумевший времени,  
Не седок я и не герой...  
Но порою звезда прозрения  
Над моею горит норой.

\* \* \*

Почти не писал ради хлеба —  
Лишь для тебя, красавица...  
А что касается неба —  
Оно меня касается.

\* \* \*

Безмашинный умру, безлошадный,  
Не построивший счастья и вилл,  
Но узнает пусть век беспощадный,  
Что я был. Изумительно был!

\* \* \*

Нет повести печальнее на свете,  
Чем рассказы сумбурные о йети.  
Пугливы и восторженны, как дети,  
Косматые, загадочные йети.  
Не сыщешь одиночей на планете,  
Чем эти неопознанные йети.  
Всё высказав однажды тем и этим,  
Уйду не к праотцам — уйду я к йетям.

## ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сколько раз ты не по силам,  
Русь, дерзала, тратя пыл!  
А царь-пушка не палила,  
А царь-колокол не бил.  
Вот и вместо Солнцеграда —  
Глушь, бесправье, нищета.  
Честным — тщетная досада,  
Подлым — суммы на счета.

Я, Россия, не психую,  
Хоть устав твой так не мил,  
Что любить тебя, такую,  
Часто тоже — выше сил.  
Но люблю и верю, верю —  
Сможешь разум обрести  
И ворью укажешь двери,  
Где сидеть им взаперти.  
И хулителю за жабры  
Тоже вскоре сможешь взять...

Мне не надо сверхдержавы,  
Мне нужна Отчизна-мать.  
А у матери, понятно,  
Хоть в Московии, хоть где,

Крепнут силы многократно,  
Если детушки в беде.

От Кремля и до избушки  
Светом вытеснится мгла.  
Будут бить в зенит царь-пушки,  
Ухатъ царь-колокола!

\* \* \*

Тобою отвергнут, в тоске я тонул,  
Сорвался, как в омут, в подлючую скуку,  
Но мой современник Валерий Катулл  
Поддал волосатую руку.

Сказал он: «Не много таких вот, как мы,  
А баб легионы, как сора!..»  
И с ним, как мечи, мы скрестили умы,  
Сближая сердца до упора.

И вскоре забылись в искристой гульбе,  
В братанье и спорах неслабых...  
Но после я думал опять о тебе,  
Опять о тебе, не о бабах.

\* \* \*

Познавая глубь и высь,  
В ладах со стихией дикой,  
Однажды великой проснись,  
Оставшись совсем невеликой.

Москва это будет? Париж?..  
Но Томск ведь поднимет с постели! —  
Старик был, как ты, ярко-рыж  
Душой, хоть седой, в самом деле.

Старик? А душа пацана,  
В ней нежность к тебе и забота.  
— Мадам, вы всплакнули? Ну что ты!..  
Вы с ним расплатились сполна.

\* \* \*

Вот мне говорят: ты такой и сякой!  
Сам сер и плодишь, мол, серятину.  
А им «оппонентам» сердиться на кой,  
Ведь их обхожу я старательно?

Вот в том и причина как раз: обошел!  
Давно, безнадежно и запросто!  
Уймитесь, болезные, все хорошо:  
Я с вами не бегая взапуски!

Я вышел с Сократом чуток поболтать,  
С Рубцовым знакомиться заново,  
И, вашу не слушая мать-перемать,  
«Боярку» пить с Анькой Незнамовой.

\* \* \*

Пани Загрядская Анна,  
Грустно, что медлит весна,  
Что за окошком туманно,  
Будто уже навсегда.

Да, неуклюжъя рифма,  
Впрочем, по смыслу точна.  
Анна, Вы бестия риска,  
Серость всегда вам тошна.

В этом мы сходимся, пани,  
Только ли в этом, увы!..  
Если б и были, опали  
Нимбы вокруг головы.

Но многоцветие слова —  
Душ помрачения мзда, —  
Наша грядущая слава,  
Общая наша беда.

Если блажно и погано  
Серость поднимет свой вой,  
Пани Загрядская Анна,  
Ткнитесь в плечо головой.

Хоть я и враль беспросветный,  
Верьте, безумному, мне:  
Пусть без меня, непременно,  
Все же прорвемся к Весне!

\* \* \*

Я молю этих строк прочтения –  
Там, хоть пепел им будь удел!  
Я прошу у вас всех прощения,  
Чернотой кого задел.

Свет и тьма – их во мне ведь поровну.  
А хотел ведь я светлым стать.  
Что ж, глядите во гневе в сторону,  
Обо мне не желая знать.

Знайте лишь: за межою жизненной  
Я из адовых пропастей  
Со слезой покаянной, истинной,  
На любимых гляжу людей.

Столько мук вам принес, хорошие, –  
Всем написанным не избыть!..  
Проклят и не прощен. Непрошено  
Продолжаю любить, любить...

\* \* \*

Вот и кончились дни золотые,  
Приближается срок-лиходей,  
Ведь за радости мы заплатили  
Днями черными близких людей.

Плачь – не плачь, да хоть локоть закусывай,  
Ничего не изменишь в судьбе...  
И все это вот – ради искусства ли?  
Может, лишь бы потрафить себе?

А уж как мы себе-то потрафили!  
Налетались, натешились, да!..  
Стали яркими так биографии,  
Как залитые краской стыда.

\* \* \*

Я скажу тебе так, напрямик.  
Прозвучит это резко, пожалуй:  
Я коварный и хитрый старик,  
Ты со мной, малолетка, не балуй.

Если любишь, люби, не дури,  
И за межи заглядывай реже:  
Впереди не горят фонари,  
Тьма, как торф, аж лопата не режет.

Я тебе не сулил, что фату  
Ты нацепишь, идя к аналою.  
Я тебе открывал красоту,  
Что бывает и доброй, и злою.

И о том я заранее знал, –  
А тебе не сказал это разве?  
Будет горек и страшен финал  
Нашей столь неестественной связи.

Дурь клокочет в башке, хоть седа.  
А не будет коль выхода больше,  
Я всю горечь возьму на себя  
И весь страх. Ты, родная, не бойся.

\* \* \*

Не курва, не дрянь, не вакханка,  
С апостольской верой в крови

Скрижали пиши свои, Анка,  
И яро, в три сердца, живи.

Их, правильных, уймы и прорвы –  
Уж как разошлись-то, клеймя! –  
И вряд ли дадут они продых  
Тебе, разыскавшей меня.

Но будет не подло отречься,  
Ведь просто с какого-то дня  
В меня не впадешь ты, как речка,  
А вытечешь ты из меня.

Вслед буду поглядывать с грустью,  
Но чую – душа не пуста,  
Хоть буду завидовать устью:  
Кто встает там твои уста?!..

А может быть, в мире жестоком,  
Где чувства и страсти мелки,  
Быть лучше надежным истоком  
Незнамой могучей реки.

\* \* \*

Маленькая, рыжая, родная,  
Выпала из коих ты эпох?  
Может, ты та самая Даная –  
Зевса ждешь, а я, увы, не бог.

Золотым дождем я не прикинусь, –  
Я ведь не на раз и не на час, –  
Потом окроплю и грудь, и спину,  
Новый миф творя с тобой –  
о нас.

## ЛЕОНИД БУЛАНОВ

### ПИТЕРСКИЙ КОЛЛАЖ

\*\*\*

Скучаю ли я по Белым Ночам  
и чёрным провалам каналов,  
по времени, что миновало,  
предназначение влача –  
быть или не быть (всё от взгляда),  
и Летнего Сада ограда –  
не довод, а просто предмет,  
отягощающий память,  
которую не составить  
в багажных закутах карет.

Ногами – оттуда, да память – туда,  
(за что ей такая поблажка?),  
туда, где Никольский и Пряжка,  
где – Ладожская вода,  
ласкающая лениво  
стыдливые мели залива,  
замкнувшего этот поток  
искусственного пространства,  
и признаком постоянства  
где – дождь, как заслуженный рок.

А бронзовых статуй конный конвой  
ведёт петербуржцев усталых  
оттуда, где склад пьедесталов,  
где, ставшая роковой  
дуэль Поэта – предтеча  
отсроченных Чёрных Речек,  
которым нет счёта, и где  
вскрывают Белые Ночи  
созвездия оболочек  
в колеблющейся воде.

\*\*\*

Как тогда хотелось что-то,  
то ли, чтобы карта – в масть,  
то ли, чтоб вернулась нота,

то ли, чтоб прошла икота,  
то ли, чтоб – любая льгота,  
то ли выйти за ворота  
и трагически пропасть.

Стать таинственной пропажей,  
Джокондой этих дней,  
скрыться в недрах Эрмитажей,  
среди пейзажей и коллажей,  
среди библейских персонажей,  
между Рембрандтовских Стражей  
и Акимовских Теней.

Приобщиться глухоты,  
как молящийся – псалму,  
отвозить татарам дани,  
не стрелять при Рамадане,  
Амазонка – поле брани,  
потому, что там – пираньи,  
и лишь только потому.

*Д. Шраеру-Петрову*

Войти в пике и выйти вон  
в круговорот, во время оно,  
цитируя традиционность,  
пугающую шегольством.  
Или напротив. Не входить  
в пике, поскольку страшно это.  
И этот страх диктует вето  
и грубо обрывает нить  
переплетения аур.  
Но так традиционен ветер,  
что снова слово – Петербург  
надписываю на конверте.

И утыкается строка  
в реминисценцию традиций  
с гвоздикой белой в петлице  
наглаженного пиджака.

\*\*\*

К другой эпохе приурочен  
киборд, наследуя рондо,  
ещё не познан, как подстрочник,  
что «в ожидании Годо»,  
бдит, не разобранный по частицам  
на ритм, понятия и звук,  
или звуки, коим – табунироваться  
внутри словесных закорюк,  
пропавших словно день вчерашний.  
Подстрочник память ворошит,  
как ВячИвановская Башня –  
штришком в Таврической тиши.

\*\*\*

Если так себе обрыд,  
что всему – зилот,  
поднимаешься в обрыв,  
физике назло,  
словно заглотив абсент,  
стонешь под пятой  
уютившейся в уме  
П Е Р Ш П Е К Т И В Ы.  
Той,  
где реальность и намёк –  
на одно лицо,  
где оставленный Восток –  
сломанным зубцом,  
в роковом ЕЯ венце –  
сваи да ветра,  
нескончаемый концепт  
имени Петра.

ДИАЛОГ

Я – бывший Ваш. И Вы, как тетива,  
натянутый двумя прямыми прогиб,

даете жизнь возвышенным словам,  
валяжным, словно ментор в апологе.

Она в ответ: не Ваша я, не Ва-  
ша Гренивая, ренивая, рене,  
а, чем валяжней, тем витиева-  
тей я, поскольку рукавов кушенье

дает возможность течь и там, и там,  
и лишь не там, где вижу я спросонья,  
когда сюжеты Ваших мелодрам  
Вы норовите выловить в Гудзоне.

Так стоит ли скорбеть, что скарабей  
отнюдь не эвфемизм для сибарита,  
как родовспомогательный Бродвей,  
прорвавший плевы авеню и *стритов*.

Ни мне, ни Вам не угрожает швед,  
но, всё-таки из всех весомых фраз та,  
где вспоминают суету – сует.

Вы помните еще Экклезиаста?

\*\*\*

Время тоже поношено,  
как обычный предмет,  
возвращаешься в прошлое,  
только прошлого – нет.

Эта память дотошная  
снаряжает коней  
возвращаешься в прошлое,  
значит что-то сильней.

Врать доступно и дешево,  
да себе не налги,  
возвращаешься в прошлое  
на чужие круги.

Перемолото, сброшено,  
да опять – под откос,  
возвращаешься в прошлое  
на маршруты Каносс.

Как бы ни было б тошно и  
Сколь не лили б дожди,  
Возвращение в прошлое...  
Господи, не приведи.

МИХАИЛ КАНОВА

Адажио

Зима никак не наступает.  
Скулит слепым кутенком у крыльца.  
Скрывает белизну ее лица  
стеной обидчивости боль тупая.  
По расписанию,  
словно поезда,  
уходят сроки,  
что даны природой.  
Лишь грусть,  
настоянная непогодой,  
похоже,  
не уходит никуда.  
И даже бают, что вплетают грозы  
серьгу весны в распущенные гривы ив...  
Над скатертью седо-поблёкших нив  
когда ж зима распухнет хрустальной розой?!...  
...Быть может,  
мне известно одному,  
что в думах  
у туманов над рекою,



и почему  
не хочется покоя,  
заснеженности  
сердцу моему...

ЕСТЬ!

Есть печка, чтоб согреть стынь-бездну тела  
и наледь сердца и души, и мысли в завязи в слова,  
вино, чтоб в вальс-бостоне *плыла* голова,  
и, протрезвев, пьянела вновь и вновь... И пела!  
Есть редкий целый день, чтобы забыть  
о чем и ком угодно в мире. И сполна  
тебе отжаться, чтоб твоя волна  
накрыла бирюзой и явь, и сон, полет и быт.  
Есть метеора миг нырнуть в глаза,  
и в них найти ответ на всё, дойти до сути  
твоей былинкой на ветру сердечной смуты,  
всё очищающей, как майская гроза.  
Есть планы робкие и дерзкие мечты,  
«победо-пораженья» вполнекала,  
но есть и силы, чтоб всё-всё с нуля, сначала –  
белкой-подсолнухом, чье солнце-первородок – ты!  
Есть печка – значит, есть огонь, хлеб, кров, судьба!..

\* \* \*

Ты – дверка  
между страхом и надеждою,  
тропинка  
из ничего во что-то!  
Ты беззащитной нагоде –  
одеждою,  
презренной ссылке –  
ссылкою почётной!  
Ты –  
ключ  
от будущих моих часов  
и маятник  
прошедшего мгновения,  
и ключ басовый  
для бесовских голосов,  
и ключ скрипичный  
тайного моленья...

ИЗ ЗАВЕТОВ МОЕЙ БАБУШКИ\*

Не слишком плачь,  
когда беда ломает,  
коль горе гирею влечет ко дну.  
Не слишком прыгай,  
схоронив беду:  
*что* за углом стоит –  
никто не знает!

-----  
\* *Женщина недипломированная, но такая мудрая, что  
была избрана еврейской общиной Третьим Судьей г.  
Кременчуга*

ПОЧЕМУ?

Почему часы беззвучны и днём, и ночью?  
Почему они *так* тикают тихо очень?  
Почему секундные стрелки-спринтеры  
спуртуют в отрыв от нас, словно форварды «Интера»?  
Почему отмирает время змеиною кожей?  
А бремя тревог не спешит отмирать, похоже?  
Почему мы кричим на ложе и боли, и страсти?  
И, как рыбы, молчим, когда в чужие неводы  
уплывает наше счастье?  
Почему мы не дыбимся на колесах часовых циферблатов,  
если маленький миг не вернется  
по самым крутейшим блатам?  
Почему же мы немые и ночами, и днями,  
когда ширится пропасть меж жизнью и нами?!..

\* \* \*

Уходят поезда Надежд,  
покинув сердца полустанок.  
Накинув ночи полушалок  
на плечи снов.  
Вместо...одежд.  
Родных родней...  
*несовпаденья.*  
И всех *анти*миров...  
союз...  
Кометохвостое впадение  
Звезды «Любовь»  
в планету «Грусть».  
И разговор  
звезды с звездой.  
С послесвечением звездной пыли.  
Хоть от одной одни лишь были,  
а свет другой –  
сквозь толщу лет –  
чредой...  
Мятежный дух  
под шубой...тленья –  
полу-огонь,  
полураспад.  
Слезливых мыслей листопад,  
в прибое  
душ о души тренья...  
...Увы!...  
уходят поезда –  
Экспрессы сроков судеб наших...  
А кто-то там  
с платформы  
машет,  
прощаясь с нами  
на-все-гда...

МИХАИЛ БЕРКОВИЧ

\* \* \*

Ну, кто же спорит, это день вчерашний,  
И всё-таки история Земли.  
Построили однажды в Пизе башню,  
А удержать, как должно, не смогли.  
И хоть она была вполне красива  
И красотой народ к себе влекла,  
Но всё-таки ее перекосило  
Да так, что чуть на землю не легла.  
Наехали китайцы, турки, россы,  
Хотели, видно, опыт перенять...  
И с той поры любые перекосы  
С пизанской башней начали равнять.  
12.07.2004

\*\*\*

Был зелен клен и зелен краснотал  
И луг в безветрии зеленом замер.  
И ты пришла с зелеными глазами,  
Мне показалось, мир зеленым стал.  
Под осень пожелтели травы, листья,  
Слегка поблекла неба бирюза...  
Так время всё сменило в мире быстро,  
Лишь у тебя зеленые глаза.  
Как желтизна вгоняет луг в унынье!  
Да и меня усталость гнет ко сну,  
Но гляну я в глаза твои родные,  
И вижу вновь зеленую весну.  
30.01.2004

\* \* \*

Голод был. Есть просил козодой,  
Ну, а я породнился с бедой,  
Я бы кинул пшеницы ему,  
Но ведь нечего есть самому.  
Ах ты, птишка моя, козодой,  
Первогодок, совсем молодой,  
Среди сирого, серого дня  
Ты защиты искал у меня.

Но и я был пичуге под стать:  
Сам не знал, где спасенья искать.  
22.01.2004

\*\*\*  
И белым днем, как и при лунном свете,  
Когда смолкает птиц веселый гам,  
На струнах-проводах играет ветер  
И музыку разносит по лугам.  
Шагаю краем луговины старой,  
Еще и сам не ведая куда,  
И восхищаюсь песнею гитарной,  
Но это только плачут провода.  
А луч луны загадочно не светел  
Летит по луговине, как стрела...  
О, как он музыкален — вешний ветер.  
И как мне эта музыка мила!

5.08.2004

\*\*\*  
Иду средь моря алых роз,  
Неторопливо, молчаливо.  
Кудрявая, как меринос,  
Цветет зеленая олива.  
А рядом — хлебные поля  
Волнует африканский ветер...  
Так Ханаанская земля  
Лучится в плодородном лете.  
18.06.2004

\*\*\*  
Куда идти, уже не знаю сам,  
Но под ногою долгая дорога,  
Идти по ней до самого отрога,  
Что тихо устремился к небесам.  
Там облаков бесчисленная рать.  
В запасе лет осталось так немного.  
Но не затем дается нам дорога,  
Чтобы на ней недвижимо стоять  
Загадочно: а что в раскладе там?  
В разгадке тайны у меня потреба.  
И я ступаю медленно на небо,  
К моим волнистым, белым берегам.  
21.05.2004

## ФЕЛИКС ЧЕЧИК

\*\*\*  
Ты действительно думаешь, что  
проживёшь без меня, дорогая?  
Что уйдёшь налегке, без пальто,  
улыбаясь, из нашего рая.

Понадеялся, что не уйдёшь.  
Просчитался. Ушла в самом деле.  
И тебе аплодировал дождь  
посреди января и метели.

2005

## Исход

Год беременен — на девятом  
Месяце — сентябре.  
И вальсирует с листопадом  
ветер---раз-два-три — за окном.

И закружит нас и завертит,  
в тридцатое унесет,  
то ли прошлое, то ли ветер,  
в одна тысяча девятьсот

девяносто седьмом от рожденья  
вундеркинда. Ату его!  
Ни спасителя. Ни спасенья.  
Даже осени. Ни-че-го.

\*\*\*  
Надежду посеять и всходов не ждать.  
О чем ты, мой друг?  
О том ли, что поздние слезы глотать  
смешно, и косится на крюк,  
где люстра висела, теперь не висит.  
К чему бы? Понятно без слов.  
И умный наносит прощальный визит  
в страну дураков.

\*\*\*  
Опуститься на самое дно.  
Не всплывать, даже если попросят.  
Поматросят — известно давно,  
а потом обязательно бросят.

И ещё посмеются — да-да!  
имена перепутав и числа.  
Над тобой голубая вода  
многотысячной массой нависла.

Нет, не в яблоках конь у тебя,  
свет звезды немигающе-тусклый,  
и в бесшумные трубы трубя,  
тишину умножают моллюски.

Опустился на самое дно.  
Не всплывёшь. Даже если попросят.  
Ах! Теперь всё равно. Всё равно?  
Поматросили бы. Не матросят.

\*\*\*  
Опорожня мирозданье,  
приняв как следует на грудь,  
забей с самим собой свиданье  
и о свидании забудь.

И не приди. Пускай поплачет.  
Пускай узнает, что почём...  
А пустота уже маячит,  
заклеенная сургучом. 2005

\*\*\*  
Я сяду на троллейбус-"бэшку",  
и по Садовому кольцу  
с чужим народом вперемешку  
поеду к своему концу.

На полусогнутых, на слабых,  
в последний путь, не в первый раз  
подпрыгивая на ухабах,  
и в душной тесноте трясясь.

Свою отпраздновав победу  
не чокаясь, один в толпе,  
трамвайной вишенкой уеду  
в троллейбусе маршрутом "Б".

\*\*\*  
Запломбиром пломбир, а потом на развес  
300 гр. с шоколадною крошкой и без,  
сто с ванилью и двести с сиропом-  
обжирался, давился, но лопал.  
По рогам схлопотал от родителей: — Чтоб  
в январе, на морозе! То жар, то озноб.  
Выиграл спор. Но от этого спора  
отойдёт победитель не скоро.  
Пусть калёным железом пытаются. В бреду  
разболтать и обречь себя на немоту.  
И уже окончательно спятить  
от того, что на солнце нет пятен.  
Оказалось, что есть. Не сейчас, но потом  
будешь имя шептать окровавленным ртом, —  
бесподобное, лживое имя.  
Разделив своё счастье с другими.  
И до боли любить этот грёбаный мир,  
где как Пик Коммунизма не тает пломбир.

\*\*\*

Природа забыла, какое число  
и месяц на календаре,  
всю ночь завывала метель, и мело,  
как если бы в январе.

Как если бы всё перепуталось, и  
Мерещится, будто я сплю.  
Ноябрь признавался в безумной любви  
к распутному февралю.

И было от этого не по себе,  
запахло скандалом, и сквер  
за десять каких-то минут поседел  
и не узнаваем теперь.

Нежданно-негаданно крыши домов  
прогнулись и рухнут вот-вот,  
опасен и вооружён до зубов,  
из школы идущий народ.

И все, кроме дворников, рады зиме,  
пускай невзаправдашней, а  
лубочной, раёшной, держащей в уме,  
что не за горами зима

по календарю, как положено, в срок,  
как должно, без всяких причуд.  
И Гидрометцентр излишне был строг  
и выставил осени "уд".

\*\*\*

И уже заодно, напоследок,  
с первым снегом, с последней листвою,  
улетает с насиженных веток  
вороньё в этот час заревой.

Чтоб вернуться под вечер, как только  
в звонкий бубен ударит мороз.  
И небес голубая наколка  
потемнеет от зимних угроз.

Потемнеет, покроется сыпью  
вполнакала мерцающих звёзд.  
И о ветре узнаем по скрипу,  
безутешному всхлипу берёз.

Всё, что надо для счастья, и даже  
больше чем. Просто слёзы из глаз.  
Одного не хватает в пейзаже, —  
не хватает, любимая, нас.

\*\*\*

Сесть на волну. С волны не слазить  
до самой финишной черты.  
Из грязи в князи. Разукрасить  
улыбкой зрительские рты.

А тот, кто не успел в герои,  
вниз головой, который год  
на перевёрнутом каноэ  
против течения плывёт.

\*\*\*

Я улыбнулся одной из своих самых  
обаятельных улыбок. Единственно  
ради того, чтобы развеселить лежащего  
в коляске младенца. Для этого  
я вспомнил всё самое лучшее, что  
у меня было в жизни: хруст свежеевыпавшего  
снега, запах прелых листьев в осеннем  
парке, первое "люблю" и «ухмылку»  
в ответ, мучительную сладость точного  
попадания в слово, азбуку "Морзе"  
ночного дождя, твоё дыхание во сне,  
и многое, многое, многое другое, без

чего моя жизнь была бы убога и однообразна.  
Но ребёнок заплакал, увидев мою гримасу.

\*\*\*

Случится так, что не успею,  
не выберу одно из двух,  
и ранним утром, выгнув шею,  
прокукарекает петух,

а я застряну где-то между,  
на полпути обратно из,  
на бесполезную надежду,  
поглядывая сверху вниз.

А то, что обознался дверью  
нет дела никому сейчас.  
И я чужую смерть примерю,  
и смерть придётся в самый раз.



Светлана и Лэонид Закурдаевы. Часы. Резьба по дереву.

\*\*\*

*Вышел месяц из тумана  
Над Москвою, над Кремлём.  
Ю.Новикова*

У Дениса на могиле  
и от родины вдали  
говорили, говорили,  
намолчаться не могли.

Вышел месяц из тумана  
над Безр-Шевой, над жлобьём.  
Выпьем водки из стакана,  
а потом опять нальём.

А потом по третьей или  
мы не русские с тобой?  
Говорили, говорили,  
плакали наперебой.

А потом, согласно знаку  
свыше, где бессильна тьма:  
я – выгуливать собаку,  
ты – домой, сходить с ума.

*Ю. Новиковой*

Я подарю тебе клетку,  
в клетке поёт тишина,  
на перекладину-ветку  
с краю уселась она.

Чтобы ты слушала трели  
и не печалилась зря  
от середины апреля  
и до конца декабря.

## НИЭЛЬ

Из цикла «ИЕРУСАЛИМ. ОБРЫВКИ ДИАЛОГА»

\*\*\*

До свиданья, мой израненный,  
до свидания, живой.  
Вечером – к тревоге каменной –  
возвращусь к тебе, – домой.

В желтизне луча закатного,  
дух на взлёте затаив,  
буду издали высматривать:  
Что с тобою?..  
Как там – жив?..

*10 сентября 2001*

## ПОРТРЕТ

*Е.Г.*

Не поймать тебя в рамку портрета,  
аппаратом мгновенье схватив.  
Волшебства исходящего света  
не осилит его объектив.

Освещение позднего полдня  
так сумело на облик твой лечь,  
как одежды пленительной донны  
кружевами касаются плеч.

Из-под струй белопенного шёлка  
ноготками блеснула нога,  
словно розовых раковин створки  
обнажили на миг жемчуга.

И прервав хороводы с другими,  
бризом моря и лесом дыша,  
ты сейчас босоногой богиней  
с полотна Боттичелли сошла.

В эти пряди, как поле льняные,  
васильки голубые вплелись –  
как тебя угадала впервые  
флорентийца тончайшая кисть.

## ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА В ДОЖДЬ

Мой Боже, Любовью Твоей сохрани  
всех тех, кто сегодня в дороге,  
на мокром шоссе ездовых осени  
заботой хранящей ладони.

Слепых от тумана, в слезах от дождя,  
нахохленных в дреме на ощупь,  
пока наш автобус, о жёсть дребезжа,  
небесная мойка полощет.

Затопленных дворников бег по стеклу –  
как мать хлопотливой рукою  
студёной водой, разбудив поутру,  
лицо непоседы умоет.

Бок о бок зелёные склоны бегут,  
и метров в десятке, не далее,  
дождю подставляют деревья вокруг  
набухшие почки миндаля.

И можно стекло надышать изнутри,  
оттаять озябшие ноги  
и мокрую даль беззащитной страны  
озвучить молитвой дороги.

## ШКОЛА БЕЗМОЛВИЯ

*Безмолвие во мне.  
Маленькими глотками  
пью облака, плывущие в пиале.*

*Е. Г.*

*Песчинки слёз - пустыня без воды,  
когда в них нет единственного Слова.  
Б. Ахмедов*

Учиться тишине,  
цедить святую влагу.  
Закаливать в огне  
белейшую бумагу.

Безмолвию нужны  
для совершения чуда  
блаженство тишины  
с готовностью сосуда.

В прозрачной вышине  
скользить они помогут  
пушинкой на волне  
воздушного потока.

И в золоте зари  
пускай обезоружит  
безмолвие внутри,  
прекрасное снаружи.

Как будто всей душой  
принять благословенье –  
узнать, как хорошо  
прозрачное смирение.

И явится тогда,  
как бытия основа,  
из белизны листа –  
единственное Слово.

## ПАШНЯ

Когда перепахивается пашня,  
кричат от боли и рвутся в ней

переплетенья любви вчерашней,  
тугие жилы живых корней!

Когда урожай до крупницы собран,  
как кость, изглоданная добела,  
приходит время тяжёлым сохам  
перекроить чернозём дотла.

Все червоточины и коросты,  
которые в почву живём вросли,  
взрезает плуг беспощадно острый,  
освобождающий ткань земли.

И вот, распластанная под небом  
она лежит, опустошена –  
но зарождаются новым хлебом  
в глубинах спящие семена.

Таясь в покое под коркой стылой  
в оцепенении и зиме,  
им вызревать, наливаясь силой  
ещё неведомой на земле.

Когда же мир, отмерев, очнётся –  
на чистом лоне её холста  
однажды утром в лучах зажёётся  
полупрозрачный флажок роста.

**МИХАИЛ РОММ**

**Сонет**

Когда зима случилась, стало тесно  
В груди, в уме и вообще - в эфире...  
Не улыбалась женщина в ОВИРе,  
А мне ей ухмыльнуться было лестно.

Я знал, что скалить зубы неуместно,  
Ведь сам себе устрою хакарири,  
И тётка за столом глядела пресно:  
В тяжёлом взгляде - каменные гири.

Но загляни в глаза её глубоко:  
В них отразилась долгая усталость,  
Нетрезвый муж да сорняки на даче.  
Тут вспомнилось "По вечерам..." - из Блока,  
Так, ерунда, стишок, пустая шалость...  
Смотрела дама, но уже иначе.

*15 ноября 2003 года*

**Вечерами теплее**

Вечерами бывает теплее, чем днём. Вечерами  
Согревает спокойствие стен, полутьма и камин.  
Вечерами гостей не зовём, тишина по программе,  
Тишина - долгожданный, навевающий сон витамин.  
На помин уходящего дня посидим, помолчим, улыбаясь.  
Самолёты устали и не нарушают дремоту потухшего дня.  
Но ошибочно думать, что эта усталость

похожа на старость,

Мне казалось, что эта усталость  
защищает как панцирь, броня.  
Для меня, для тебя, для всего

столь привычного нам интерьера  
Безусловно, инстинкт тишины,  
полутьмы, полусна сотворён.  
Характерно: чем неслышнее звук, тем отчётливей вера,  
Чем незримее мир, тем спокойнее кажется он.  
Миллионы огней убери, погаси, не жалея,  
Полумрак - знамение света и света итог,  
Он теплее душе, и значит милее  
Лучезарному имени Бог.

*15 декабря 2003 года*

\*\*\*

Всё не так и не то...  
На погосте морали

Наденешь пальто,  
Если шкуру содрали,

Никому невдомёк,  
Что скрывает личина.  
Сожмётся в комок –  
Распрямись, ты мужчина.

Посмотри в небеса:  
Им легко, не иначе  
Творить чудеса  
И не требовать сдачи.

В небеса посмотри,  
И не думай плохого.  
Сосут упыри,  
Но и это не ново.

Под ногами земля -  
Велико достижение,  
А "льзя" и "нелзя"  
Вопрошать - унижение.

Сам себе не соври:  
Нет гнуснее мороки.  
Сгорая внутри,  
Знай: всему свои сроки.

*15 января 2004 года*

\*\*\*

*«Голос единицы тоньше писка.»*

В. Маяковский

Голые стены напоминали о том,  
Что на них могли бы висеть картины.  
Мы оставались вдвоём с котом  
И включали свет, опустив гардины.

Не было вокруг ни единой души,  
Только я и кот, да, возможно, муха.  
Кот мурлыкал, тёрся: мол, вот здесь почешу.  
Я чесал ему бок, и другой, и брюхо.

Кот засыпал на коленях моих,  
Я перекладывал его на кресло.  
В доме никто, кроме нас двоих,  
Не живёт и много пустого места.

Кот – не человек, у него изо рта  
Вырывается междометие «мяу» - не больше.  
Поэтому речь – это та черта,  
Которая нас разделяет. Боль же –

Мне не известно, испытывал ли кот  
Подобное чувство. Говорят, что коты  
Ходят сами по себе, а человеческий род  
Предпочитает смыкаться в ряды.

То и другое – мне внапрямь  
(Есть в новоязе такое слово).  
Если один, то «замри и ляг»,  
А если много – тоже не клёво.

«Сноб ты, сноб, неотёсанный Цицерон!» –  
Кот заговорил, и при том – именами.  
Я же подумал: «Схожу на аукцион,  
Куплю картину – большую, в раме».

*26 июня 2004 года*

**В Древнем Египте**

1.  
В Древнем Египте любили и чтили полный порядок,  
Тысячелетняя память его неустанно хранила:  
Солнце рождается каждое утро; пророка достаток,  
Точно в сезон разливаются воды великого Нила.

В Древнем Египте хранили гробницы и слово о предках,  
Память побед согрели священные буквы на камне,  
Соль поражений – не словом, морщинами на статуетках,  
О неудачах молчали, как рыбы, всегда египтяне.

Мифы бессмертия дьявола дали коварному Сету,  
Вечного счастья герои достигли, Изис и Озирис.  
Древние мумии рушатся от прикосновения к свету.  
Что остаётся? – надменные сфинксы и вечный папирус.

*7 августа 2004 года*

2.

«Что Россия без царя?»

В. Музыкантов, Филадельфия

Без фараона нет Египта,  
Без Нила нет и без жрецов,  
Без каменного манускрипта  
Нет и не может быть Египта –  
Так Рима нет без близнецов.

Закон Египта – постоянство,  
Утробный голос старины.  
Ему смертельно мессианство,  
Египта нет без постоянства –  
Так нет Китая без стены.

Вся жизнь Египта – повторенье,  
Застывший лист календаря.  
А новый день влечёт гниенье,  
Спасенья нет без повторенья –  
Так нет России без царя.  
*13 августа 2004 года*

### Музы и мудрость

Лишь перебесится стихия,  
Устав карать слепых котят,  
Выходит мудрая София  
И говорит. А музы спят.

Их сон неровен и тревожен.  
Они проснутся и опять  
Возьмут оружие из ножен –  
Не смей на маленьких пенять!

Потом растает эйфория,  
Как ледяной метеорит.  
Вновь выйдет мудрая София  
И всё сначала повторит.  
*19 октября 2004 года*

### Тишина

Гудел обогреватель. Ливнем за окном стучало.  
Часы не умолкали: «...спать...пора...».  
В нутре компьютера ворчало и урчало  
Загадочное нечто. Полтора  
Часа как ветер завывал за стенкой.  
Скрипела дверь: «Печаль твоя грешна...»  
Все спали в доме. Занятый «нетленкой»,  
Я был один и думал: «Тишина!»  
*28 декабря 2004 года*

### Осенний сонет

Наедине с капризами погоды  
Остались вы к исходу сентября.  
Твердило бабье лето: «Жить – не зря», –  
Что было отголоском прежней моды.

Когда полил октябрь, как из ведра,  
Казалось, не на месяц, а на годы,  
Слетали капли синие с пера,  
Осенние отмеривая льготы.

Не смейте полениться, пренебречь  
Сезонным даром северного ветра! –

По нитям с облаков нисходит речь,  
Вживляясь влагой в каменные недра,  
И вырастает невозможный плод... –  
Не повторится это целый год.

*21 мая 2005 года*

### ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВСКАЯ

\*\*\*

Всю жизнь мы ждем. Сначала – чтобы вырасти,  
Потом – любви, взаимности, добра,  
Мифической какой-то справедливости,  
А после – промелькнувшее вчера.  
В копилки собираем не из жадности,  
Детишкам передать, как долг велит,  
Одни – простые маленькие радости,  
Другие – вороха своих обид.  
Решений ожидая, часто мечемся,  
Смахнув усталость, словно пот, с лица.  
А по ночам вздыхает человечество  
И ждет, как в сказке, доброго конца.

\*\*\*

А Мастер плакал перед Маргаритой,  
Рассказывая ей про род людской,  
Твердил, что правда временем сокрыта,  
А он устал и хочет на покой,  
Припомнил, как роман писал когда-то,  
Как прост и безыскусен был сюжет  
С пленительной пластикой заката,  
Легко перетекавшего в рассвет;  
И тем одним из вечного народа,  
Пытавшимся постичь своим умом  
Идею безграничности свободы,  
Когда о небо стукаешься лбом;  
И совместимость честности и власти;  
И тот неугасимый интерес  
К вопросу: как добиться в жизни счастья,  
Хоть счастье – не итог, а сам процесс  
Длиною в жизнь – лишь крошечную точку  
На смерти, как оси координат...  
И плакал Мастер, поджигая строчку,  
Хоть рукописи, верил, не горят.

\*\*\*

Ты и вправду Малыш? Извини: я ответ не расслышал.  
Я сейчас прожужжу по-над самым твоим потолком,  
А потом полетим прогуляться по вымокшим крышам  
И по лунной тропе, что протоптана летним дождем.  
Ты заглянешь в дома и увидишь, как выглядят люди.  
Это очень смешно. И неважно, что ты еще мал.  
Мама с папой поймут и тебя никогда не осудят.  
Не поверит лишь тот, кто всю жизнь ни о чем не мечтал.  
Мы собаку найдем самой лучшей на свете породы.  
Будем с нею вдвоем мы по лужам бродить до утра.  
Только знаешь, Малыш, ничего нет прекрасней свободы  
Ощущать высоту. Но домой возвращаться пора.  
Я еще прилечу. Никуда друг от друга не деться.  
Подсади на с/но. Да на кнопку не сильно дави.  
Одиночество я или Карлсон, что родом из детства.  
Я – ненайденный друг. А быть может – начало любви.  
Что ж ты, милый, реवेशь?

Говоришь, у тебя день рождения?

Ну, держи. Я дарю. Мне для друга насколько не жаль  
Этот сказочный мир, как огромную банку варенья.  
Пригуби и почувствуй, что горечью пахнет миндаль.

### СТАРЫЙ НОЙ

«Вот и день отгорел. Видишь, Боже, измученный Ной  
В утомленном ковчеге упавшие звезды качает,  
И слезится душа, и над черной постылой волной  
Кроме Ноя молитвой никто Тебе не докучает.  
Позабыть бы о днях, когда рос этот мрачный ковчег,  
О соседях, друзьях и родне, ребятишках и прочем.  
Я доподлинно знал, что уже обречен человек.  
Но без воли Твоей разве мог я хоть чем-то помочь им?»

А когда напирала, с высот низвергаясь, вода,  
И в отчаянье люди бежали под прорванным небом,  
Я за них не молил, малодушно боявшись тогда  
На себе ощутить отголоски великого гнева.  
Помнишь, юную мать заливало холодной водой,  
А она мне тянула бутон верещавших пеленок  
И молила: «Спаси! Помоги ему! Смилуйся, Ной!  
Ведь ни в чем не виновен родившийся этот ребенок!»  
Я до смерти своей этим плачем, как грязью, облит.  
И устала душа принимать эту горечь без меры.  
Потому-то, наверное, старое сердце болит,  
Что придавлена совесть моей стопудовою верой.  
Что мне делать, Господь? Я давно потерял аппетит  
И смотреть не могу на сынов помрачневшие лица.  
«Успокойся, старик. Видишь: голубь назад не летит.  
Значит, будет весна. И Земля для любви возродится».

## ПИСЬМО ГОРАЦИЮ

Как и прежде, Гораций, в почете лишь деньги и власть,  
Человечности суть до нуля обесценило время,  
И удачлив лишь тот, кто сумел незаметно украсить,  
И кого на престол посадило бездумное племя.  
Правду можно купить. И Фемиды, увы, не строга.  
И любовь – лишь товар. И не знают величия духа.  
Мог ли это не видеть теряющий зренье Дега?  
Мог ли это не слышать Ван-Гог, отрезающий ухо?  
Эта странная жизнь, где вещичек накопленных воз  
Называют «добром», не изведав душевных сомнений.  
Ах, Гораций, ответь: неужели мы только навоз  
Для расцвета иных, приходящих сюда, поколений?

\*\*\*

Стекала ночь на нижний ярус,  
Как охлажденная вода.  
Заглядывал в окно Антарес –  
Большая, яркая звезда  
В моем зодиакальном знаке.  
Тихонько, чтоб не разбудить,  
Он предрекал мне, как оракул,  
Всё, что сокрыто впереди,  
Вещал о том, что было прежде,  
Чему не повториться впредь,  
Смеялся над моей надеждой,  
Париж увидев, умереть.  
И то ли грежу, то ли вижу,  
Что я, как ведьма на метле,  
Несусь над дремлющим Парижем  
В воздушном шаре Монгольфье.  
Глаза то тьма, то ветер режет,  
Но в сердце ощущаю боль,  
Когда в отчаянной надежде  
Дотла сжигаю жирандоль.  
Лишь час остался до рассвета.  
Антарес, что же ты спешишь  
Жизнь, как разменную монету,  
Принять за снявшийся Париж?

\*\*\*

Он создал Тьму и Свет, и Землю,  
И звуки сочные нашел.  
И, сотворенное приемля,  
Решил, что это – хорошо.

На жизни песгром карнавале  
И мы, не ведая стыда,  
Всё время что-то создавали:  
Сонаты, книги, города,

Чтоб где-то на изломе судеб  
Постичь измученной душой,  
Что ничего уже не будет,  
А всё, что было – хорошо.

\*\*\*

Сыграть! Да так, чтоб зал рукоплескал!  
Цветы в корзинах, шоколад, букеты,

Улыбки, крики «Браво!», вспышки света  
И пенного шампанского бокал.  
Потом в гримерной протереть лицо,  
Салфеткой промокнуть остатки грима,  
Одеться не спеша и выйти в зиму,  
В колючий снег, на скользкое крыльцо.  
Поймать такси, доехать, а потом,  
Ключи нащупав в темноте кармана,  
Войти и сесть на краешек дивана.  
И только после расстегнуть пальто  
И, приготовив вазу для цветов,  
Усталым взглядом обвести квартиру.  
И знать, что любят все мужчины мира.  
А лучше бы один. Весь мир – ничто.

\*\*\*

*2005г. Первый всеукраинский пушкинский поэтический фестиваль. Село Каменка Черкасской области. Имение Раевских. Гостевой домик. И возможность прикоснуться к роялю, на котором играл П.И. Чайковский и, облокотившись на который, писал стихи А.С. Пушкин. И звучащее в душе любимое произведение Чайковского «Воспоминание о Флоренции», партию альты в котором так божественно исполняет Ю. Башмет.*

Слегка заденешь, чуть ударишь –  
И побежит по нервам ток,  
Чтоб откровенья ждущих клавиш  
Нетерпеливый слышать вздох,  
Чтоб у себя в Днепропетровске  
Была я звуками полна,  
Чтоб на минуточку Чайковский  
Вошел и замер у окна,  
Чтоб стали пальцы непослушны,  
И трепетало естество  
Во всех без исключения душ,  
Внимавших музыке его,  
Когда потоком чувств и света  
Преображался старый зал,  
И вспоминался альт Башмета,  
И дух Флоренции витал,  
И наполнились глаза слезами,  
И вдохновение пришло,  
Чтоб, как у Пушкина, стихами  
Душа стекала на перо.

## ВАЛЕРИЙ ПАЙКОВ

### МУДРОСТЬ

Слышим, как рыбы, и видим, как совы,  
в каждом угадывая врагов.  
Телодвижение – это основа,  
а направление для дураков.  
Все эликсиры из корня жень-шеня  
нам помогают лишь раньше уснуть.  
В хаосе броуновского движения  
мы познаём свои силы и суть.  
Всё отупляя до крика и хруста,  
молимся небу и радуем плоть.  
Боги – легенда, а жизнь – это пустошь...  
Главное, ноги бы не исколоть.

\*\*\*

О, как мне хочется остаться  
у древних каменных оград –  
смотреть, как будет удаляться  
в своё грядущее отряд.  
Следить, как безупречны тени,  
как ветер абсолютно чист,  
и знать, что чувствуют растения;  
теряя свой последний лист.

### ПРОСТИ

Нелепой боли острота –  
и чувство, словно мир потух,



и словно комната пуста,  
и с кем-то мысли спорят вслух...  
Ещё звучит последний смех,  
и греет свет субботних свеч,  
и сердцу хочется посметь,  
рукам — обнять, глазам — зажечь.  
И пальцы радуг в окна бьют,  
и слышен ветер голубой,  
и поздней осени салют  
ласкает нежностью былой...  
Я всё уже почти прошёл,  
Почти узнал, почти... Прости,  
Что нынче вечер пуст и жёлт.  
Молчи со мной. Потом прочти,  
что я заметил второпях  
в окне, огне, дожде, луче,  
что утаил в своих глазах  
от всех — у жизни на клочке.

#### УТРО

На верёвках, натянутых для белья,  
каждое утро сидят воробьи:  
всё вместе — подобие радиосхем.  
Облака дымятся, по веткам скользя.  
За стеной объясняются Б-гу в любви —  
снова суббота.

Молится Шхем  
в позе, сводящей небо с ума,  
(неподалёку, рукой подать)  
эхом распугивая ранних птиц.  
Гор малахитовая бахрома,  
солнца материнская пядь,  
прохладный шорох пустых страниц —

в пылающем тигле души моей  
переплавляются в медный звон  
колокола над землёй,  
в шорох песка и ползущих змей,  
в раздражающий рот озон,  
в изнуряющий почву зной.

И сам я, словно гора Гризим,  
удерживающая на своих плечах  
забытых заветов немой укор,  
вижу сквозь дали, как третий Рим  
тоже молится при свечах  
в Храме, не выстроенном до сих пор.

\*\*\*

Мы плывём по реке Бесконечности —  
то легко, то рывками, урывками —  
бестелесными серыми рыбками,  
безымянными, зыбкими, млечными.

Мы играем зеркальными спинами,  
отражая сияние космоса,  
и трясём плавниковыми космами,  
раздвигая созвездия синие.

Мы плывём по небесным пожарищам,  
через чёрные дыры и скважины.  
Нас красавицы адовы сглазили,  
чтоб ни памяти в нас, чтоб ни жалости.

Мы плывём, ни живые, ни мёртвые,  
словно тени, что Б-гом отвергнуты.  
И лишь Вечность над каменным Негевом  
Всё пульсит, не смолкая, аортою.

#### ОПЫТ

Вера, равная жажде.  
Память — времени гулкие улы...  
Мы вернёмся однажды  
в наших прожитых чащ закоулки,  
к пчёлам диким, медведям,

не утратившим вкуса к малине...  
Мы успели отведать  
глубины за чертой ватерлиний,  
ощутить бесполезность  
высоты, именуемой властью,  
сказок венского леса —  
их опасные, тонкие ласки...  
Выбор образа труден —  
вместо Штрауса музыка Грига.  
Сказок венские трубы  
затишают средь птичьего крика.  
И теряются в чаще...  
Без космической связи, без раций  
нам бы надо почаще  
в глубине бездорожий теряться,  
где сосновые корни  
омываются водами Юга\*...  
Будем жизни покорны,  
будем верить в бессмертье друг друга.

-----  
\* река на Вологодчине (Россия)

#### РЫНОК

Всё тесно. И пахнет дымом,  
Фалафелем, рыбным царством —  
забытым таким, родимым,  
каким-то чужим, опасным.

За мной, за базарным шумом,  
за окнами в шторах тёмных  
о ком-то вздыхает Шуман,  
и пальцы в далёком тонут...

У рынка душа в законе —  
хохочет она, грохочет:  
Ей тяжело в своём загоне,  
она на свободу хочет.

Она раздвигает стены —  
и пляскою половецкой  
выплёскивается на Алленби, \*  
собой накрывая вечер.

Трещат пояса и блузки,  
и острым движениям тесно.  
А я говорю: «Нечестно».  
А я остаюсь, где узко.

Там пахнет морской печалью  
под окнами в шторах тёмных,  
и сам я кажусь случайным,  
придуманным и бездомным.

И сам я не понимаю  
причину своих метаний...  
А где-то на склоне мая  
восходит заря иная.

-----  
\* Одна из центральных улиц Тель-Авива

#### НАШ АКТИВ

Мы запишем в актив:  
мы сегодня смотрели вдвоём,  
как восходят созвездья  
на осеннего неба экраны,  
как теряется день,  
и, окрашены лунным огнём,  
начинают полёт  
молчаливых олив караваны.

Мы запишем в актив  
бесконечные крики вождей,  
крики птиц и машин,  
матерей беспокойные крики  
в ожиданье детей —

это прочих намного важней,  
даже боль от разлук,  
что обвила, как нить повилики.

Мы запишем в актив  
всё, что нам испытать довелось  
на земле, где игра  
называется жизнью — без шуток,  
где, чернея, любовь  
на глазах обращается в злость,  
где плывущий рассвет  
словно кровь гемофильная, жуток.

## ПИКНИК

Молодые и старики,  
развлекающаяся масса,  
собираемся на шашлыки.  
Запах уксуса, лука, мяса.  
Совпадение — поёт пурим<sup>1</sup>.  
Семьи сабров<sup>2</sup> гуляют в масках.  
Осторожнее! Все сгорим!  
Вкусно пахнет дымящейся массой  
на шампурах. Народ шумит,  
дети воле весенней рады.  
Голосуем за вечный мир —  
но, конечно, в семье арабов.  
Голосуем за наших дам,  
чьё достоинство не уроним.  
Март звенит по цветным садам.  
И не хватает ли о Шароне<sup>3</sup>,  
о «друзьях», что толпою злой  
собрались возле наших окон...  
Дивно пахнет травой, землёй —  
рядом с домом и нашим Б-гом.

-----  
*1-еврейский праздник; 2-уроженцы Израиля;  
3-премьер-министр Израиля*

\*\*\*

Открывает глаза ботанический сад,  
и восхода звенит медь.  
Не хочу оглядываться назад,  
и вперёд маяком смотреть.  
Встать хочу, когда птицы в кустах поют,  
увлекая: пой-дём, пой-дём,  
и доносится ветром — куранты быют,  
объявляя кремлю подьём.  
Вот прочищу горло морской водой,  
свой привычный надену «фрак» —  
джинсы, футболку с красной звездой,  
такую, как носит враг.  
Буду утром один на мысу стоять,  
отражая морское дно.  
Я давно не хочу никого побеждать,  
и трубить, как трубил давно.  
Так чудесно просто стоять на мысу —  
по светлеющей дали плыть,  
и луну удерживать на весу,  
и всех на земле любить.

## ВИД ИЗ ОКНА В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ

Что без хлопот увидишь из окна:  
дорога бесконечная видна;  
вороны прячут истины в кустах;  
гарем кошачий роется в костях;  
поблекший флаг полощет на ветру —  
знакомо всё до мелочи. Сотру.

Начну сначала: прямо из окна  
я вижу, как торопится весна  
взамен увядшей на ветвях листвы  
зажечь цветов пурпурные костры,  
смахнуть с платанов ржавую кору,  
и плоть стволов разгладить на ветру.

Начну сначала: ради новизны  
сам на себя взгляну со стороны —  
из окон, что напротив, где порой  
мелькнёт рука, и кажется игрой  
её привет (неведомому мне).  
А может, просто утру и весне? —

И всё же мне — я интересен ей.  
И улица становится красней,  
и я стройней, и несколько острот,  
давно забытых, произносит рот.  
И суть вещей становится ясна —  
живёшь пока в тебе жива весна.

## ДРУГАЯ ВСТРЕЧА

Только мы, два случайных путника,  
на дороге, где всё измерено,  
всё завязано, перепутано  
меж травой, человеком, зверем ли.  
Зазвенели вдруг колокольчики,  
и дорогу накрыла музыка:  
всё бывшее ушло, закончилось —  
только мы, два случайных узника.  
На дороге, где всё потеряно,  
мы нашли на исходе осени —  
под созвездьями, словно в тереме,  
встретим ночи многоголосие.  
Будут ветры кружить над кронами,  
и листвою звенеть, как монетками.  
Будет в целой вселенной кроме нас  
те мелодии слушать некому.  
Может, были с тобой одними мы  
Из планет, что к Земле причаляли?  
Не надеялись и не чаяли.  
Поцелуемся же, обнимемся.

*Памяти Александра Воловика*

«Познай себя», — мне повторяют Дельфы.  
Но путь познания не определён:  
собою жить, как островом отдельным,  
где только ты рассудком наделён,  
прислушиваясь к шепоту дыханья,  
к порывам пульса, к мыслей суете,  
чтобы извлечь крупицы подсознания,  
к безмерной приближаясь высоте,  
где Свет иной, пронзительный и дикий,  
предупрежденьем — подходить не смей!?!  
Моя судьба — по следу Эвридики  
идти в леса, чтобы спасти от змей.

Познать себя — понять, пока не поздно,  
другого сердца воспалённый стук  
не где-то там, на перекрёстках звёздных, —  
на расстояние вытянутых рук.  
Познать себя — понять живую душу  
детей своих и одиноких нив  
не где-то там в таинственном грядущем, —  
по праву жизни одного из них.  
Познать себя — в любви им объясниться,  
отдать свой свет до капли, не скупясь,  
в их нить судьбы войти своею нитью,  
чтобы вовек не оборвалась связь.

\*\*\*

Не дай мне, Б-г, чужого крова,  
не дай мне сжечь мосты дотла,  
к уютной клетке быть прикован,  
кормиться с барского стола.

Не дай казаться ниже ростом,  
молчать, когда смолчать нельзя,  
не дай мне обрасти коростой,  
от горя отводя глаза.

Не дай бояться высших судий,  
идя по собственным следам.  
Не дай мне, Б-г... Но это будет,  
когда я сам себе не дам.

### ВСЁ ОСТАНЕТСЯ

Вяз ссутуленный, седой, угловой –  
в рождество над ним золотистый серп.  
Туманы, кутавшие с головой,  
от которых город казался слеп.

Детских мыслей хрупкая бахрома,  
улыбка случайная на лице.  
На рынках – оранжевая хурма.  
И трамваи сонные на кольце...

Всё останется навек – всё уйдёт  
за дыханьем, истаявшим, как воск,  
в тишину, где осенью, словно мёд,  
дивно пахнет зарево наших звёзд.

*Моим родителям*

Мать с отцом, молодые, на фото:  
море жизни и света на лицах.  
Вся земля в них готова влюбиться...  
Я любил и люблю вас.

И вот я  
столько лет, столько зим бесконечных  
согреваюсь лишь именем вашим.  
Поделиться мне с Вечностью нечем –  
нет ни силы, ни славы, ни власти,  
чтобы линиями кружными  
обойти на мгновение Б-га,  
и сказать вам, как вы нужны мне,  
что осталось дышать немного,  
что и день без вашего слова  
всё сильнее ощущаю лишним.  
Прислонюсь к земли изголовью –  
и почудится вдруг, что слышу  
хрипловатый отцовский голос,  
и мотив материнской песни.  
И слабеет сердечный холод,  
и опять мы, как прежде, вместе.  
Мы сидим за столом парадным,  
Левитан читает указы.  
Мы все живы ещё, все рядом –  
Ни песков за окном, ни Газы\*.

*\* район Палестинской автономии*

### НАДЕЖДА БАНЧИК

ДОЖДЬ...  
(Почти по Эдгару По)

Уже три дня... без перерыва...  
Нет, три тысячелетия... беспрестанно,  
Унылый, серый,  
беспросветный, безрадостный,  
Льет и льет, изливая  
Все, что скопилось в туче,  
На меня,  
Словно я губка.  
Не спросит,  
Не губительно ли?  
Льет и льет  
Неустанно,  
Ловлю губами  
каждую каплю,  
ливень льет и льет по лицу, рукам, телу,  
черными струями хлещет на черную землю, заливая  
зеленую траву,  
и вдруг я взлетаю – выше, выше, выше,  
весь мир подо мною – лети куда угодно,  
приземляйся, где хочешь,

и дождь перестал,  
и мириадами алмазов сверкает каждая  
ярко-зеленая травинка,  
блестят крыши, мостовые-зеркала отражают тени,  
только никак не могу приземлиться,  
ветер меня подхватывает, несет,  
я не могу выпрыгнуть из него...  
Ах, зачем, дождь,  
ты вымыл из моей души всю чернобыльскую пыль?  
Ветер утих.  
Я плавно коснулась ногами земли.  
Каждая травинка  
сверкает мириадами разноцветных  
осколков чьего-то счастья  
на нежно-зеленом фоне...  
И нигде – ни пылинки.

Ах, почему я три тысячелетия  
Смотрела в окно своего маленького дома,  
как стекали по стеклу  
Струи,  
Беспрестанно, беспросветно, бездонно  
Изливая все, что накопилось в туче?

2004

### Статус беженца

Статус беженца – вечный.  
Возраст – тысячи лет.  
Путь сквозь мир бесконечный.  
Нам – нигде места нет.

Перелетные птицы,  
Всё глядим с высоты  
На чужие границы,  
На чужие мосты,

А под нами – планета  
Разноцветным ковром...  
Пятна красные – где-то  
То ль война, то ль погром,

То ль чужая победа,  
То ль чужая уеда...  
Нас попутные ветры  
Унесут от суда,

Что на Землю взирать-то,  
В небе наше гнездо!  
...Выстрел грянул внезапно.  
Снизу, из-за кустов.

1987

### Ереван-91

*Сестре Багдасарян, сестре Эдуарда Багдасаряна, прекрасного исполнителя русских романсов и армянских песен, которые я слушала в Москве в 1983 г., когда все армянские кошмары были только в снах и документах о 1915-м годе.*

Прахом – жизнь. За серым туманом –  
Даль. И выхода нет.  
Из блокадного Еревана –  
Дар: коробка конфет!

Ни тепла, ни света. В руинах –  
Боль, бездомность, бездонность ран...  
Как же я пред тобой повинна,  
белый аист мой, Айастан!

От нагих твоих ран стыдливо  
Отвернуть бы взор, отрешить...  
Быть свидетелем нестерпимо –  
На распяты твоей души!

Суд предательства над судьбою,  
Скорбной страсти страшная власть...  
Вековой неизлечимой болью  
Вся душа твоя взорвалась!

О мой Боже! Снова и снова  
Я молю тебя – дай ответ!  
Нашей веры одна основа,  
Всемогуший Ветхий Завет,

Сквозь века сочтется, изранен,  
алым росчерком:

- Не убий!

Иисус, Магомет, Израиль  
Сроднены судьбой на крови,

Над отверженным Апаратом –  
Зовом Ноя – вечный вопрос...  
Над всеобщей бездной разъятой –  
Бог Единый...

Аллах....

Христос...

1991

## ЧЕЧЕНЦАМ

### Беженке

Не побеждена в бою неравном,  
Только дом разбит, и жертв не счесть...  
Лишена судьбы, свободы, правды,  
права на достоинство и честь,

Муж и дети – где-то в черных ямах,  
Ты – в засохших комьях грязной лжи,  
Всё бредешь, поглубже гордость спрятав,  
из последних сил спасая жизнь.

Но везде твои старанья лишни,  
Прокаженная! Последний стон  
Твой услышит разве что Всевышний,  
Только не поможет даже он...

О сестра-чеченка, дай мне руку!  
Я надену желтую звезду,  
сквозь твою безвыходную муку  
Я с тобою вместе побреду!

Мы присядем на пустом вокзале.  
Ночью, когда всех укроет сном,  
ты поведаешь мне о Джохаре,  
О семье, о городе родном,

Превращенном в пепел и в преданья...  
Но предательски придет рассвет,  
Снова бесконечные скитанья,  
Нам нигде с тобою места нет...

### «Террористам»

*Я не знаю, зачем и кому это нужно,  
кто послал их на смерть недрожжащей рукой...  
Но зачем так нещадно, так зло и ненужно  
Опустили их в вечный покой?*

*А. Вертинский. 1918*

Как страшно умирать... Весна в хмельном разгуле  
Средь вздыбленной земли, среди родных руин...  
Как страшно умирать – от бомбы или пули,  
От пыток и тюрьмы, от голода и мин...

Как страшно умирать – а сердце рвется бомбой  
Расоптанных надежд, бессчетных похорон...  
Как страшно умирать невидимо, безмолвно  
С клеймом чужой вины, без права на закон!

Как страшно умирать – а жить еще страшнее.  
Все отнято: и дом, и имя, и судьба,  
И право лишь дано всем превратиться в тени  
И ветром унести, и согнуть без следа...

Как страшно умирать... Остался выход – только  
Пред смертью всадить последний свой патрон  
В такого же, как сам, мальчишку-одногодку,  
Что послан был сюда недрогнувшей рукой –

Мочить в сортире... Что ж, задача благородна.  
И этому ль нас всех учил Хаджи-Мурат?  
Но подполковник, знать, не выучил урока,  
И, значит, всем судьба – бесследно умирать.

Ведь двойка – на всю жизнь... Весь мир трепещет в страхе  
Пред двоечником – он ведь сделался вождем!  
Как страшно умирать в безвыходном восстании,  
Когда последний крик молчанья не пробьет...

### Тем, кто еще выживает

Не соблазняйте обманчивой легкостью мщения,  
Даже когда вас ведут в беспросветную тьму!  
Каждый ответит пред Богом в момент всепрощенья,  
Каждый найдет оправданье греху своему.

Тяготы жизни затянут коростой вам раны,  
Братские ямы и память асфальтом залиют,  
Желтым пунктиром – и горе, и радость на равных –  
Тысячи окон сигнал мирной жизни пошлют,

Утро займётся, и солнце зальет новый город  
Розовым светом мечты, неизбывной, как кровь...  
Эй, под асфальтом! Кричите! Услышат вас горы  
И разнесут по мирам безымянную боль...

2001 - 2005

## ЛАРИСА МАТРОС

### ДЕД МОРОЗ

Я жду под елкой праздничный подарок,  
Еще хочу я верить в чудеса.  
И пусть считают то самообманом,  
Я не желаю правду разгадать.

Хочу я верить в таинство заботы,  
В волшебный мир вниманья и любви,  
В умение свернуть порою горы  
И даже сказку былью обратить.

О, как нужны вы нам, Деды-Морозы,  
Кем ни были б под красным колпаком.  
Так хочется, чтобы сбывались грезы,  
Хоть раз в году,  
хоть в ночь под Новый год!

### ГОЛОД

Незрим духовной пищи голод,  
Потери веса не сулит,  
Он вовсе может быть отторгнут,  
Тем, кто единым хлебом сыт.

Но не такой он безобидный,  
Хоть и за хлебом не бежать:  
Его наличьем одержимым  
Таит угрозу съесть себя

## ВИКТОР ФЕТ

### ИВАНУШКА

«Не пей из козьего копытца, —  
грозится умная сестрица, —  
не то обрушится беда»,  
Но далеко до родника.

А на краю солончака  
копится долгими годами  
в грязи, истоптанной следами,  
мутаций мутная вода.

Там жизнь свои бросает споры  
в микроскопические поры,  
в пустые полости песка,  
где меркнет свет, и смерть близка.

Вот путь Аленкиного братца:  
рассыпаться и вновь собраться;  
в глубь бытия, не в глупых коз  
направлен мой метемпсихоз.

Сквозь тел горящих лепрозорий  
пройдя каналами латрин,  
я - царь червей и инфузорий,  
я - бог фотонов и нейтрин!

Пусть я потомок обезьяны,  
я вижу дали осиянны,  
летя по линии луча;  
я дружен с силою земною,  
и вся природа, как парча,  
расстелется передо мною!

Мне виден вызов жизни новой,  
веществ просторные ряды,  
и жесткий луч звезды суровой,  
и шок отравленной среды.

И я растаю и остыну,  
как песнь в ночи, как уголь костра —  
и ты тогда войди в картину,  
и сядь на берегу, сестра.

И снег сойдет, и в запахах прели  
легенда новая моя  
вольется ручейком свирели  
в метаболизме бытия.

*24 сентября 2005, Хантингтон*

### ИСТОЧНИК

Нас не останется — однако,  
Нас, ископаемых, найдет  
Сквозь миллионнолетний лед  
Потомок в пойме Потомака.

Употребив алмазный бур,  
Он вытянет тугие керны  
Из радиоактивной скверны  
Разрозненных культур-мультир.

Как мы сжигаем уголь древний,  
Так новый тот космополит  
Наш слой событий ежедневный  
В печи космической спалит.

Ведь всё, что было до потопа,  
Все наши мысли и дела  
Для них — источник изотопа,  
Чтоб их история цвела.

*28 сентября 2005, Хантингтон*

## СЛЕД

Слепи себе из пластилина  
очередного властелина  
в зеленой тоге, без лица.  
Дай в лапки липкие монету,  
как потемневшую планету,  
где жить придется до конца  
под властью этого слепца.

Потом сомни его в комок,  
чтоб больше зла творить не мог,  
чтоб дать урок другим тиранам;  
забрось в коробку под диваном.

Потом прошелестят века,  
и археологи в пустыне  
найдут монету в середине  
окаменевшего комка.  
И с осторожностью великой  
в музейной зале под стеклом  
уложат след эпохи дикой,  
игравшей в поддавки со злом.

*30 октября 2005, Хантингтон*

### 11-Й ТЕЗИС

Уже виктория близка;  
Назло законам неоткрытым,  
не гнется пылкий Фейербах,  
объявленный космополитом.  
Европа ждет мое «бабах»  
На благо новым замполитам.  
Уважьте, дети, старика  
на поле действия, пока  
тиранов кровью не политом —  
кувалдою по древним плитам!  
Своим *verändern* неумытым  
застрясть у вечности в зубах.

*12 марта 2005, София*

## ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ

### Конфуций и Гераклит

Один, чья седина как седина полыни,  
Когда колышется к ненастью борода,  
И чей скуластый лик желтее той пустыни,  
В которой мёртвые таятся города;

Другой, в прозрении, не знающем гордыни,  
Готовый веровать, что мёртвая вода --  
Огонь по существу и звёзды старше льда  
И, кроме черепа, нет никакой твердыни;

В один и тот же век, на двух материках,  
На двух загадочных, но внятных языках,  
Питомцы времени в пространстве даровитом,

Где снег незыблемый волнует и влечёт,  
На разных берегах Конфуций с Гераклитом  
В один и тот же миг сказали: "Все течёт".

*1975*

### Сова Собора

*Моей жене Татьяне*

Неверные нам изменяют нервы  
Среди нервюр, как будто бы не в гроб  
Мы ввергнуты, а хищной птице в зоб  
Забывчивый, и вестница Минервы

Возносится из каменных утроб,  
Предчувствуя небесные резервы,  
Хотя горят ещё святые стервы  
Поблизости, и мы боимся проб

Заоблачных, мы здесь не видим хора  
Соседних звёзд, не помним лунных фраз;  
Пытаешься, телесная опора,  
Ты удержать меня в который раз  
Над бездною, когда Сова Собора  
Всю ночь с меня не сводит жёлтых глаз.

10.11. 1993. Фрайбург

## Фрайбург

Р. Б. Е.

Среди колокольного звона  
Своим я не верю глазам,  
И был бы я здесь вне закона,  
Когда бы не тайный бальзам,

Который до слёз лучезарен,  
И я, содрогнувшись, постиг:  
Мне Фрайбург тобою подарен,  
Пушай не навек, а на миг.

Я здесь чужестранец и странник,  
Гонимый, но хищный, как рысь;  
Влечёт меня красный песчаник,  
Стремительно рвущийся ввысь,  
И звезды мне кажутся сором  
Среди облаков по ночам;  
“И это зовётся собором?”  
кричу я соседям-сычам.

Но я не страшусь монолита  
На склоне осеннего дня;  
Я знаю: всё это молитва,  
Молитва твоя за меня.

Архангелы мне подсказали,  
Владевшие речью родной:  
Своими ты видишь глазами  
Всё то, что увидено мной.

Мне нравится даже могила,  
Где я торжествуя, скорбя,  
С тех пор, как ты мне подарила,  
Навек подарила себя.

Для нас воскресать не заслуга;  
Мы всё ещё вровень летим;  
Друг другу мы дарим друга,  
А большего мы не хотим.

12.11. 1993. Фрайбург

## Авалон

Роуз Брэйди

На острове, где нет плодов запретных,  
Ваш тайный дом, чья кровля -- небосклон,  
На полюсах, берущий нас в полон,  
Чтобы спасти от призраков несметных

И от земных утопий, топких лон,  
Где в западнях мы гибнем незаметных,  
А эта цель скитаний кругосветных –  
Овал; она зовётся Авалон.

Прозрачные над голубой поляной,  
Там яблоки сияют сквозь туман,  
Хотя вокруг ненастный океан;

Эссенции не нужно конопляной,  
Когда дождусь и я ладьи стеклянной,  
Где на корме ваш стройный виден стан.

1993

## Миндальный посох

На северном ветру заранее опальный  
Родился человек и крикнул: “Перестань!”

Убийце, но вокруг усиливалась брань,  
И вырос без брони сей саженец миндальный.

Он выкорчеван был, хоть протянул им длань,  
Где горстка буковок – дар, милостыня, дань,  
Тому, кого зовут “народ многострадальный”.  
Из ямы извлечён, не слишком был тяжёл,  
Но прочного прочней для пешехода посох,  
Когда теряешься в разрозненных вопросах,  
И слышится в ответ жужжанье чутких пчёл,  
Которое поэт угадывает в росах.  
Мёд незаслуженный: а посох-то расцвёл!

28.05. 1994.

## Тютчев

1

Он хаос воспевал, пока душой владело  
Предположение: всё во мне, и я во всём,  
И выдавал себя за око окоём,  
Свидетельствуя: там таинственное дело

Решается, что мы гармонией зовём;  
Скудеет в жилах кровь, пока не оскудело  
Очарование, но небо вдруг задело  
Его, и понял он: нет хаоса вдвоём,

Откуда мне сие? – когда зовёшь синелью  
Ты дала молнию и рад бы зарыдать,  
Когда склоняется над грешной колыбелью

Покойница, когда блаженство – сострадать  
И око – окоём становится купелью...  
Изведал он, как нам даётся благодать.

6.06. 1994.

2.

Сказал он: “Эта скудная природа”,  
И вдруг узнал её в глубоком взоре,  
Где стелется и где клубится горе,  
Образовав подобье небосвода.

Кто скажет, отчего бы в общем хоре  
Душе не петь, чья скорбная свобода  
В неотвратимой близости ухода,  
А впереди безоблачное море.

Не избежал он страсти многотрудной,  
Когда она влекла его, живая  
Всей нежностью своею безрассудной,

Страдая, грустно млея, изнывая...  
Он узнавал её в природе скудной,  
В покойнице Россию узнавая.

08.06. 1994.

3

Не это ли завещано отцами?  
Кричать “ура”, когда грозит урон...  
Мы против нас, и смерть со всех сторон:  
В крови до пят мы бьёмся с мертвецами.

Охотятся за нашими сердцами  
То снайперы, то полчища ворон;  
Воскресшими для новых похорон  
Обречены себя считать мы сами.

Ещё за ней не затворилась дверь,  
А мы уже готовы лицемерить  
И делать вид, как будто бы не зверь,

А человек велит нам зубы шерить  
И повторять друг другу: в Бога верь,  
Когда в Россию можно только верить.

08.06. 1994

#### 4. Последний отблеск дня

В бережно возделанном, но нищем  
Травянистом вздыбленном краю  
Мы его на этом свете ищем,  
Как искал он мёртвую свою,  
Всё ещё любимую, но где бы  
Души не витали, он ушёл,  
Не свершив своей последней требы,  
Потому что слишком был тяжёл  
У неё в устах упрёк последний,  
Причинивший боль в последний час  
И ему, и каждому из нас,  
И никто не скажет: это бредни,  
Так как нам его не отыскать  
Ни в музее, ни за переплётом;  
Остаётся нам рукоплескать  
И паденье называть полётом,  
Но, любуясь храмами вдаль,  
А вблизи всегда боясь подлога,  
Мы друг друга тоже не нашли,  
Как философ не находит Бога,  
Если не откроется улет  
Бог, немую немочь улетучив,  
И мы смотрим пристально во тьму,  
Как во тьму смотрел бессмертный Тютчев.

Публикация Яна Пробиштейна

11.06.94

#### СЕРГЕЙ ШЕЛКОВЫЙ

Сергей Константинович Шелковий родился 21 июля 1947 года в г. Львове. Окончил инженерно-физический факультет Харьковского политехнического института, затем аспирантуру, кандидат технических наук, доцент.

Он – автор одиннадцати поэтических книг, вышедших в издательствах Москвы, Харькова, Киева. Награжден литературной премией им. Б. Слуцкого за книгу стихотворений "Листы пятикнижья" (2000) и литературной премией им. Н. Ушакова, присуждаемой Национальным союзом писателей Украины за книгу поэзии и эссеистики "Вечеря" (2001). С. Шелковий опубликовал ряд эссе о творчестве Н. Гоголя, В. Даля, М. Булгакова, Э.Т.А. Гофмана, О. Мандельштама, Б. Чичибабина, М. Зерова, М. Цветаевой, А. Тарковского. Является автором поэтической книги, включающей переводы его стихотворений с русского языка на украинский и оригинальную поэзию на украинском.

Стихи и эссеистика С. Шелковского публиковались в Украине, России, Болгарии, Германии, Израиле: в журналах "Огонек", "Дружба", "Сельская молодежь", "Радуга", "Ясная поляна", "Прапор", в альманахах и антологиях "Истоки", "Молодая гвардия", "Алтарь", "Дикое поле", "Прекрасны вы, берега Тавриды", "Антология русского лиризма", "Вітрила", "Антология современной русской поэзии Украины", "Хрестоматия по литературе родного края" и многих других.

Поэтическое творчество С. Шелковского высоко оценивали в печати многие писатели и литературоведы – Ю. Мориц, Б. Чичибабин, Е. Рейн, И. Дмитриев и др.

Для творческого почерка С. Шелковского характерны образная, фактурно-насыщенная словесная пластика, обращение к внутренней музыке языка, к его глубинным возможностям. "Художник от Бога, поэт, ощутивший свое слово как миссию" – вот определение Владимира Леоновича. Миссия эта, несомненно, не ограничивается эстетической составляющей, но и отмечена живым этическим и социальным откликом, энергией духовности:

Для жизни духа нет плохих времен,  
Как нету для нее времен хороших.  
Гонимой глине предназначен обжиг,  
Упорный жар со всех шести сторон.

"Способность соединять в речи несоединимое, вживаться, вгрызаться в плоть слова и создавать сложную образность, осуществлять "крутой словесный замес", "вы-

сокая нравственная, сострадательная христианская нота, с аввакумовым, страстно указующим перстом" – вот еще несколько слов (из статьи С. Минакова), определяющих, о чем и какими средствами говорит поэзия С. Шелковского.

Еще любил я первое июля,  
Когда после дождя опять светло  
И солнце золотит в столовой стулья  
И брызжет на граненое стекло.

Как дышит рухлядь в этом доме старом –  
Открытки, ноты, бастионы книг!  
Все шло к тому, чтоб тайно и задаром  
Я некий мир из воздуха воздвиг...

Именно об этом поэтическом мире С. Шелковского говорила Ю. Мориц в предисловии к одной из его ранних книг: "Собственный характер, собственный мир, ядро которого "вещественно и необманно". А самые, быть может, щедрые слова написаны еще в 1989 году Борисом Чичибабиным: "Сергей Шелковий принадлежит к тем подлинным поэтам, число которых я как читатель измеряю единицами. И потому я испытываю чувство благодарной радости, духоподъемного восторга, перечитывая его великолепные стихи".

Таня Варен

#### СЕРГЕЙ ШЕЛКОВЫЙ

\*\*\*

Святой Андрей на Киевских холмах  
и братец Моцарт на высотах Праги  
заботятся о крепнущих умах,  
о клятве юной кровью на бумаге.

Блажен, кому качали колыбель  
крылатые высотные идеи,  
ведь цепь шагов – такая канитель,  
что чую себя Лотом среди людей я.

Но жив, кто отказался постареть.  
Его дерзання, не устаревая,  
таланом и алтыном кроют медь,  
и в честь его искрят дугой трамваи.

А цепь шагов... Чугун, долбя свинец,  
куражится служебной запиской...  
Но Амадей, но Зальцбурга птенец!  
„Цок, цок“ – лошади по стране альпийской.

„Цок, цок“, седые, чалые! Вперед!  
Сливовый блеск – два чуть косящих глаза.  
Святой Андрей на крест косою пойдет,  
но не обманет крестника ни разу.

2005

\*\*\*

И воробей купается в пыли,  
крылом в июльской плещется полове,  
имущества узлы, добра кули  
растрынькивая в воробьином слове.

Как вписан в хоку звонкий «чик-чирик!»  
Как безупречен росчерк Хокуса  
в пичужке той, от коей ни на миг  
и не пытаюсь отвести глаза!

Не оброну улыбки. Не хочу  
небесней пенья, щибета земнее,  
чем те, что Божьей птице по плечу,  
чем Четьи воробьиные Минен.

А только бы не возжелать: «Лови!»  
Спугнешь его – себя же не увидишь...  
Просторен день – шатер ничьей любви,  
храм на зелено-золотой крови,  
в настое зноя растворенный Китеж.

2005



\*\*\*

Глаза укропной свежестью омоем,  
Авессалом, мой брат, Авессалом!  
Кто не рожден в тугих ремнях героем,  
тот с лодкой породнится и веслом.

И полночь перейдет он, и границу,  
без выстрела преодолев поток,  
где узким бликом месяца двоятся  
к веслу прилипший ивовый листок.

Полыни горечь с губ горячих смоем  
осенней, темно-льдистою водой.  
Пред ивой в ризах, перед аналоем,  
пред затаенной в двух шагах бедой

дрожит бездомной ноты отголосок –  
в гребке и всплеске, в воздухе ночном –  
о днях, необратимых и раскосых,  
о гриве-смоли и пшеничных косах...  
На дне шелом... Увы, Авессалом!

2005

\*\*\*

Ждешь лета – добредаешь до жары.  
Дитя лелея, вскормишь равнодушие.  
Над океаном, над размахом суши  
давно сложились правила игры.

Куда ни правь, сколь споро не рули,  
Услышишь то, что подлинно звучало, -  
Голгофы зной и три железных жала:  
«Зачем меня оставил, Элон?...»

2005

\*\*\*

И вот еще Болонья. – Целый день  
брожу по многоствольным галереям,  
чья век за веком присягает тень  
свечам алтарным, папским орхидеям.

Здесь сукровицей жилистых колонн,  
Феррары кровью, колером железа  
стволы из камня – без ветвей и крон –  
крепят хребет властительного жезла.

И в лонах темно-красных кирпичей,  
в виду доминиканцев и Гальвани,  
я, как при каждом из дворов, - ничей,  
с обрывком карты города в кармане.

Кивать не в силах шушере столиц, -  
ни митрам соглядтай, ни тиарам, -  
я, все, что нажил, лишь родству зениц  
отдам. Лишь за «спасибо», лишь задаром.

Ведь привкус ржавчины державной не отбить  
вином теологического спора,  
а власть, пусть даже книжную, любить  
уже не смогут Галилейские озера...

2005

### Левитация

О, Стоунхендж, мой кельт с десницей – культей!  
Кровит до сей поры твоя рука...  
Лишь в каменном твоём стотонном культе –  
планида благодатна, смерть легка.

Изрублен травник-кельт металлом сакса,  
но в прорези проломы зрит друид,  
как неизбежно малость параллакса  
караты философии гранит.

Парит валлийский голубой песчаник.  
Живет во лбу друидова душа.

Висячий камень, Мерлин и печальник,  
родительного взывает падежа.

Священных листьев скомканы картинки,  
скворечник сброшен и в щепу разбит.  
Но вдохновеньем полнятся поминки –  
в колючий воздух певчий зверь волынки  
легко возносит неподъемность плит.

2005

Борису Чичибабину

То были дни, когда в кафе «Болонья»  
входили два еще живых поэта.  
Один из них – давно в нездешнем лоне.  
Несут его черниговские кони  
вдоль радуги. Вдоль крутояра-лета.

То были дни, когда в шинок, на стыке  
Студенческой и Пушки, забредали  
на пару мы – книголюбиволики,  
тревожнооки, бражники, музыки,  
на ангелов похожие едва ли.

Но он глядит, задумчивая птица,  
в предзимье том на огневые ветки.  
И он – среди тех, кто мне доньше снится,  
среди троих... Строга его зеница,  
чиста, как подвиг первой пятилетки.

Доныне смуту и целим, и множим  
изломом слова, неизломом духа.  
В кургузом рабстве пелось о хорошем.  
А что споешь сегодняшним, небожьем,  
добытчикам – с плечами, но без слуха?

То были дни без алчи, дни иные.  
Лишь охрой сентябри, как братья, схожи.  
Он курит у двери, и у стены я  
молчу о том, что мытари земные  
нас не склюют. Ну, разве, чуть попозже...

2005

### Пересадка в Хоффе

Медвежий заснеженный угол,  
Баварская Тьмутаракань.  
Граненый – сквозь прозелень – купол,  
понтифика медная дань

чуть слышному веянию Духа  
в ничуть не хвастливых краях...  
Сочельник – огней заваруха,  
нерусской гульбы полувзмах.

Тевтон по надежде и вере  
пирует. Что Рейн, а что Майн –  
езде карусельные звери  
и паром цветущий глювайн.

Повсюду – генетика долга  
и честь аксиомы о том,  
что путь – да свершается долго  
над велосипедным седлом!

И я в пересадочном Хоффе,  
где поезд вот-вот подадут,  
под елкою выхлебав кофе,  
негромко подумаю: «Гут!»

про этот старательный угол,  
что вынырнул в твердом труде:  
искрящейся патины купол  
и Святок малиновый уголь,  
трескучий – навстречу Звезде...

2005

## Плато

Есть крепость Каламита в Инкермане  
на пьедестале известковых скал.  
Когда-то я в Завете и Коране  
об этой вещи пустоши читал.

Внизу ютится скомкано, убого  
Климентовский могильный монастырь.  
Гремит железный поезд – мимо Бога,  
А едкий выдох кельи – нашатырь.

Но наверху, средь башен и развалин,  
средь белых глыб, усыпавших плато,  
стоит июль – безмолвно гениален  
и Божьим словом полон на все сто.

И мириады веретен-улиток,  
усеяв каждый стебель травяной,  
прядут свое, свивая некий свиток,  
неисчислимы, как перед войной.

Так близко небо! Камни под ногами,  
разбитые надгробья и кресты, –  
в оплете трав. И мощными кругами  
очерчен купол синей высоты.

Весь день – ни человека, ни пичуги.  
И лишь в каменоломне – ор орды  
бродяжей: хохот хама, визг подруги –  
погибель накликающие звуки  
по-над смарагдом почвенной воды...

2005

\*\*\*

Похоже, осень динозавра  
иссякла. Не сегодня – завтра  
взвихрится снежная крупа,  
чтоб, разлохматив дно ресницы,  
в зеницы стужею внедрится...  
Опасная зимняя тропка

обледенелой отчей трассы.  
И вектор вожделий массы  
влечет, вестимо, не туда.  
Нет, не сыскать верней лекарства,  
чем полночь с лампою, чем царство  
немногословного труда.

Там, между строчек, слава Богу,  
еще достанет сил – в дорогу  
добро в коробочку собрать:  
стальные перышки, иные  
приспособленья жестяные,  
чтоб ноту к ангелам приврать...

2005

## На переезде

Шестерки, шестерки, шесты с шаманским флагом!  
На кой вам шут ваш шестипалый пот?  
Шумит вода подтаявшим оврагом  
И к Дону шушваль зимнюю несет.

Вскипает снег, похмельно рвется в море  
поток, что гравитацией пленен.  
И вновь ты, бормоча «мemento море»,  
в двухсотый раз пересекаешь Дон.

Менты – плащи, погоны да фуражки –  
блюдут Воронеж на посту-мосту.  
А надо ведь дитю родному кашки,  
и ну тебя опять – в седло, в езду...

Карданом, шестерней вгрызается в овраги  
промасленный народ, твой трудный друг.

И март-мурлыка, пьян от талой влаги,  
кошачьим оком жмурится на юг.

Но ты рулишь – на севера, на полночь,  
За ради жмени воли и пшена...  
Держись, весна – краса, гулена-сволочь –  
враз Муромец, Добрыня и Попович  
на толстых икрах вгрузли в стремена!

2005

## МАКС РЕМПЕЛЬ

### Мефистофель Антокольского

Бородкой остроу уставленный вперед  
И оком пристальным насквозь и вдаль глядящий,  
Согбенный знанием о смуте предстоящей,  
Он удивляться до сих пор не устает.

Какая грусть, увенчанная силой!  
Начало века, перерыв перед грозой...  
Ты получила все, о чем просила,  
О моя Родина, о бедный город мой!

Куда ж теперь, в какую снова бездну,  
Тебя заносит под собачий вой?  
Лишь лунный свет спускается отвесно  
Над снегом занесенною Москвой.

14 ноября 2000 г.

\*\*\*

Туман - и прочерк. Эйдельман. Суббота.  
Прогулка дилетантов по векам:  
От сотворенья мира до исхода -  
Эпистолярно-глиняная ода,  
Хвала архивам и черновикам.

Туман - и прочерк. Перельман. Четверг.  
Гореньем свечки бесов заморочим:  
Брожением, катализом и прочим...  
Спасительным закончив многоточьем  
Почти уже научный фейерверк.

18 сентября 2002 г.

\*\*\*

Горька отвага, глубока тревога.  
Прошла ветхозаветная пора,  
Но теплится до самого утра  
Лампадка, согревающая Бога.

Но теплится надежда в глубине,  
И чем страшнее ночь, тем ярче пламя,  
И славится горячими губами  
Его отображенье на стене.

Незнамо как и по каким законам,  
Но строится, незрим и невредим,  
Великий храм, и купола над ним,  
И свет бежит по окнам и иконам,

И эта тайна о семи печатях,  
И это чудо о семи главах  
Становятся зерном на жерновах  
И кружевной оборкою на платье,

И поздней ночью огонек неясный  
Горит напоминанием о том,  
Что эта осень и вот этот дом,  
И даже слезы вовсе не напрасны.

21 октября 2002 г.

\*\*\*

Какая осень и какая синь!  
И как прозрачен тополь облетевший!  
Прислушайся к молчанию осин,  
К их окрыленности и красоте нездешней.

Прислушайся к молчанию травы,  
Уже предчувствующей неизбежный холод,  
И так, не поднимая головы,  
Услышь небесный, бестелесный голос.

Услышь заветную родительскую речь,  
Еще совсем неясную, глухую,  
Что пробует тебя предостеречь,  
Иль объясняет истину простую,

Прижмись щекой к корявому стволу,  
Зажмурь глаза под аромат древесный...  
Ну здравствуй, наконец! Придвинься ко столу,  
Возьми бокал, хрустальный и чудесный.  
*ноября 2000 г.*

\*\*\*  
Я сам не свой. Какая-то волна  
Меня охватывает сонно, постепенно,  
И жизнь моя мне кажется темна,  
Но привкус соли на губах и запах пены...

Чужая речь давно в меня вошла,  
Приобретая акцент неукротимый.  
Она уже вершит мои дела.  
Но привкус соли на губах и запах тины...

Все забылся, и я бреду один.  
Не вижу и не помню я в смятенье  
Того, что предо мной, того, что позади,  
Лишь память запаха, лишь запах тени.  
*10 февраля 2000 г.*

\*\*\*  
Мой мир сужается, темнеют облака,  
Темнеют стены, круг сжимаю.  
Я узнаю слова издадека,  
Мне кажется, что даже понимаю.

Лишь удержать момент, лишь не вспугнуть  
Текущий с высоты прообраз речи,  
И уловить размер, и вдруг шепнуть  
Два-три словца случайных и беспечных.

Забыться, окунуться в небеса,  
И, ставя точку, увидеть в восторге,  
Взгляд приподняв с тетрадного листа,  
Как облака светлеют на востоке.  
*17 февраля 2000 г.*

\*\*\*  
Дрожащую струну дрожащею рукой  
Я приглушу, и сумрак мне ответит.  
Божественных небес торжественный покой  
Вдали от дома приземлен и светел.  
*21 февраля 2000 г.*

\*\*\*  
Привет, мои друзья! Печальная пора  
К концу подходит в этой части света.  
Сугробы тают. Номера  
Блестят на солнце - верная примета!

Уже ремонтники, прищурившись на свет,  
Свои буйки лениво расставляют,  
И я достану свой велосипед,  
Не дожидаясь, пока снег растает.

Надув колеса, смазав шестерни,  
Я прокачусь по сохнувшим кварталам.  
- Давайте выберемся ближе к выходным  
Куда-нибудь, где снег уже растаял!

О это чувство мерного полета...  
Не смейтесь, не с седла, не вниз башкой,

А просто - бестолковая свобода  
Вертеть педали и рулить одной рукой.  
*11 февраля 2000 г.*

\*\*\*  
Из невесомой красоты и тени,  
Из неизвестной дали и огня,  
Из множества тугих переплетений  
Рождается мелодия, звеня.

Звеня божественной неодолимой силой,  
Влекущая в неведомую даль,  
И обращающая этот мир унылый  
Листвы опавшей - в бархат и хрусталь,

И отдающая на растерзанье птицам  
Наш старый хлам и жалкие грехи,  
Чтобы очиститься и снова возвратиться,  
И с ярко-красной начинать строки,

И красной нитью, красной и прекрасной  
Пройти по краю и зайти за край  
Нарядной осени и суеты напрасной,  
И там, за краем, обрести свой рай.

Свой сладкий рай, скупой и неподдельный,  
С искрой огня в ноябрьской ночи,  
Где тихий свет, переплетений тени,  
Едва колеблемые пламенем свечи.  
*1 ноября 2000 г.*

\*\*\*  
Блажен будь день, блаженна будь земля,  
Блаженны будьте, протянувши ветви кверху,  
Безлистые, слепые тополя,  
Фонарь, не освещающий аптеку...

Закреть глаза, увидеть тихий свет  
И разглядеть черты стихотворенья,  
И после долгих мук вдруг отыскать ответ,  
Чтоб жизнь внезапно обрела значенье...

Как речь родной земли бросается в глаза  
Средь хаоса чужих слогов и чисел,  
Как молния пронзает небеса,  
Так жизнь нечаянно приобретает смысл.  
*23 февраля 2000 г.*

\*\*\*  
Сырая хмарь. И я, как пономарь,  
Бубню себе под нос свою частушку.  
А отбубнив, отправлюсь за алтарь,  
Чтоб закусить и пропустить чекушку.

Во мгле сырой уже не нахожу  
Ни песни ангела, ни дуновенья с моря.  
Но я не тороплюсь, я не спешу  
Наедине с пучиной мироюю.

И улыбнусь я, глядя в никуда,  
И, глядя вдаль, прищурюсь, не увижу  
Ни лунный свет, мерцающий все ближе  
Ни старца, стерегущего стада.  
*14 июня 2000 г.*

## ИННА САНИНА

### Бабье лето

Уже начало октября  
И явны осени приметы  
Во всей природе  
И в листьях календаря...  
Но что ж волнует так меня,  
Манит тревожно ярким светом,  
Всё перепутать нороя?...  
Ах, это просто бабье лето!

Хоть кратковременность тепла  
Январской стужи не отменит,  
Но всё-таки пускай помедлит  
Седая снежная зима!

...Очарованьем лета мучась,  
Ловлю последний солнца лучик -  
Его скупым теплом согрета,  
Благословляю бабье лето!

#### ГОЛЛИВУД

Светофоры... светофоры... -  
(за рулём здесь, будто в шорах!),  
перекрёстки и заторы -  
шумных улиц суета.  
Колоритен этот город:  
блещет роскошь,  
глохнет голод  
и течёт по тротуару  
разноликая толпа.

Под весёлым ясным небом  
без дождей и облаков  
Голливуд в начале века  
стал для мира кино-Меккой -  
«фабрикой волшебных снов».  
Кинозвёзды здесь рождались  
мановением жезла -  
в звёздной славе,  
как в угаре,  
восходили и сгорали,  
у прохожих под ногами  
отражаясь навсегда.  
Здесь в интригах закулисных  
пьют актёры и актрисы  
иллюзорности дурман,  
но зато уж если признан  
и пробился на экран,  
деньги, слава, власть - не призрак,  
не мираж и не туман,  
а реальной жизни вызов  
и успех за труд, талант  
полной мерою воздан!

В самом центре Голливуда  
днём и ночью многолюдно :  
экскурсанты отовсюду -  
из заморских разных стран.  
Развлечения... и лавки! -  
все товары на прилавке  
(по тарифам цены, ставки)...  
Эй, турист, держи карман!  
Полицейский на работе,  
как охотник на охоте:  
там - воришка,  
здесь - наркотик  
или просто хулиган.  
Хоть трюкачество здесь в моде,  
но, рядясь, преступность бродит  
и таит в себе обман -  
сувенирный талисман.  
Здесь, не прячась, при народе  
грех и срам в обнимку ходят  
без стыда и без суда...  
Мишура и кутерьма  
в Голливуде колобродит  
от темна и до темна!..  
(но, известно: жизнь - игра!  
А в игре везде, всегда  
кто - теряет, кто - находит...,  
что на грустный лад наводит...)

К небу пальмы тянут руки,  
знойный воздух полон муки...  
Бомжи, панки - не до скуки -  
настоящий Вавилон!

Звуки рока,  
блеск рекламы,  
гор цветная панорама -  
всё зовёт, влечёт упрямо,  
всё кричит со всех сторон!

Знаю: сетовать излишне -  
все равно никто не слышит...  
...Шум реклам и барыши  
заглушают крик души.

1989

\*\*\*

Скупые дождинки, коснувшись окна,  
На стекле начертались царапинами.  
Но дождь не пошёл -  
лишь прошёлся слегка,  
Брызнув с неба нечастыми каплями.

В тучном небе проносятся облака,  
Увлечённые дивными танцами:  
То, сплетаясь, плывут в грациозных па,  
То кружат пируэтными странными...

Вдруг какой-то пронзительный  
солнечный луч,  
Проскользнул сквозь облако рваное  
И, улыбочиво глянув на туч суету,  
Внес мажорную ноту в анданте!

И тотчас же взволнованные облака,  
Цепляясь за пёструю радугу,  
Стали мрачные тучи, спеша, покидать,  
Вольной воле и солнцу радуясь.

И, смирив свой порыв и дождя не пролив,  
Недовольные недосказанностью,  
Тучи двинулись, медленно тая вдали,  
И пропали за дымкою радужной.

2003

\* \* \*

«Иди вперёд, пока не кончится дорога...»,  
Гляди на небо, ночи не страшась -  
Какой бы не казалась жизнь убогой,  
Так велика её над нами власть,  
Что право властью той пренебрегать  
Дастся среди людей немногим.  
И счастлив тот, кто может принимать  
Все проявления её законов строгих,  
Кто, смело шествуя своей дорогой,  
Не позволяет в драме жертвой пасть,  
Не доиграв всю роль до эпилога.

2005

\* \* \*

Люблю я женщин на полотнах Ренуара,  
прекрасных :  
и в толпе, и в будуарах,  
в дешёвом кабаре,  
и в ложе театральной,  
в нарядном платье,  
и... без платья - в спальне.  
В одеждах модных,  
или без одежды -  
они всегда милы и безмятежны...  
В них красота и естество земное  
пленают мерой гармоничного покоя.  
Округлость форм  
и плавность силуэта,  
вибрации неуловимых чувств и света,  
тел обнажённых  
целомудренная скромность,  
бездумная задумчивость  
и чувственная томность;  
свобода поз,  
как будто бы случайных -

всё живо, подлинно, материально!  
Они, как майский день,  
светлы и ясны...  
но в душу заглянуть к ним -  
труд напрасный!..  
В их облике Художника уменьем  
воспета значимость мгновенья.

...Люблю я женщин на полотнах Ренуара  
за красоты земной загадочные чары,  
за радость молодости, чуждой увяданью,  
за вечной женственности обаянье.

1996

\* \* \*

На стене тихо дремлет гитара –  
Струны сникли в глубокой печали...  
Видно, времени бег и усталость  
Голос звонкий сковали молчаньем.

...Если струны гитары остыли,  
Изошёл из души её трепет,  
Значит песня не будет отныне  
Сердцетешить светлым приветом...

Значит в доме ослепнут окна  
И оглохнут закрытые двери...  
О, верните гитаре голос,  
Чтобы снова струны запели!

2004

\* \* \*

*«Нам не дано предугадать...»*  
Ф.Тютчев

Нам не дано предугадать,  
В какие дебри увести нас может  
Один лишь взгляд неосторожный  
Или бездумно обронённые слова,  
Случайно понятые ложно!

Бывает, необдуманная фраза,  
Задев нечаянно душевную струну,  
Встревожит обострённый разум,  
Настроив на враждебную волну;  
Или приветливость улыбки неуместной  
Кому-то вдруг покажется кокетством,  
Способным враз перевернуть  
Понятий обусловленную суть...

И в искажённом преломленье,  
На разум новой парадигмою ложась,  
Возникнет хаос недоразуменья,  
А в сфере прежних отношений  
Разрушится логическая связь...

2004

\*\*\*

*«Не каждый умеет петь...»*  
С.Есенин, «Исповедь хулигана»

«Не каждый умеет петь...»  
Не всякому голос дан...  
Но если имеешь, пой,  
Да так, чтобы голос твой  
Как чистый ручей журчал  
И землю собой осиял,  
Как утренняя заря –  
Чтоб радость другим даря,  
Знать, что живёшь не зря!..

О, если можешь, пой!  
...Только фальши не допускай  
Хотя бы нотой одной –  
Пой, не кривя душой,  
О том, чем жива земля.  
Даже если песня твоя  
Кем-то будет не понята,

Всё равно, не сдавайся, пой,  
Оставаясь самим собой!

2004

### Из цикла «Арабески»

\*\*\*

Не томи меня своим молчаньем,  
Усмири поток тревожных мыслей.  
Пусть молчанья лёд от слов растает –  
Превратится в радужные брызги!

Прислонись ко мне главой усталой,  
Вслушайся в трепещущее сердце...  
Я любовью уталю твои печали –  
Не останется в душе для грусти места.

Раздели со мной свои сомненья –  
Может, вместе дым сомнений мы разведем.  
Ты доверься мне, мой друг, доверься  
И растает лёд в тепле доверья!

\* \* \*

Не уходи, повремени немного...  
пока наш метроном, не перестроив лад,  
ещё звучит, блюдя законы строго,  
пока не развели нас разные дороги,  
отрезав навсегда пути назад.

Не уходи, побудь ещё со мною...,  
пока судьбы связующая нить  
не порвана решительной рукою  
и смерти лик ещё нам не грозит  
непоправимую беду...  
Не уходи, пока пред нами жизнь!

Не уходи, прошу тебя, пожалуйста.  
Сжимает сердце смертная тоска...  
Но не желаю я ничтожной жалости -  
любая жертвенность сочтётся малостью  
пред неизбежным расставаньем навсегда.

А если всё-таки не избежать разлуки,  
мы наш былой союз благославим,  
и память будет нам надёжною порукой!  
...Вот только жаль, что мы с тобою не смогли  
о главном во время сказать друг другу.  
Давай же на прощанье помолчим...

### Ода ветру

Однажды легкокрылый ветер  
Шепнул мне ласковое что-то на лету  
И, невзначай задев душевную струну,  
Умчался вдаль, махнув зелёной веткой.  
Взволнованная мимолётной встречей,  
Весь день я думала о том,  
Чем на приветливость ответить? –  
Ну, разве что почтить его стихом!..  
Но вдруг окажется, что ветру  
Мои земные песни ни к чему,  
И выйдет, что «бросать слова на ветер»?..  
Ведь только ветру одному  
Подвластны все звучания на свете!  
Ему, повсюдному, слышны:  
И пенье звёзд непостижимо дальних,  
И блюзы радужные голубой Луны,  
Ноктюрны зорь закатных и светальных,  
Кантаты Солнца, оратории Земли,  
Рек многоводных и ручьёв журчанье,  
И эхо горное, и всплеск морской волны.

К тому ж он сам поёт любимыми голосами  
И песнь любую может запросто сложить!..  
Так что ему стихи моей стихии  
И чувств моих восторженный порыв –  
Ему, живущему в полёте легкокрылом,  
Ему, кто сам умеет музыку творить?..

Но ветру благодарна я душою,  
За то, что он меня вниманием почтил,  
За то, что памятной весеннею порою  
Во мне восторженное чувство пробудил;  
За то, что как-то, пролетая мимо,  
Он веткою махнул приветно мне  
...И каждый год решила я отныне  
Благие вести ждать от ветра по весне.

2005

\* \* \*

Памяти заветную шкатулку  
Прячу я от посторонних глаз,  
Чтобы невзначай не вызвать всеу  
Любопытства тёмного соблазн.

Там средь хлама разностей случайных,  
Значимых и важных для меня, –  
Робкие души незрелой тайны  
И ещё неспетые слова.

Сложены там стопкой аккуратной  
Отрочества светлые мечты –  
Те, что не затёрты и не смяты  
В будничном потоке суеты.

Там нездешним чудом неуклюжим  
Вера в правду и добро лежит...  
Да ещё, нетронутые стужей,  
Дар земной любви и свет души.

А на самом доньшке хранимы  
Непонятные чужим глазам  
Родины простые «краевиды»\*  
И природы «сціплай»\*\* голоса...  
\* «краевиды» (белоруск.) – пейзажи;  
\*\* «сціплай» (беларуск.) – скромной.

2004

\* \* \*

Пегас\*, возьми меня с собою,  
Умчи в безоблачную даль –  
Туда, где небо голубое  
Роняет солнечный янтарь,  
К прозрачным водам Гипокрены\*\*,  
Где в чистом лоне неизменна  
Незамутнённая мораль.

...Прошу лишь, не сочти виною:  
В моей котомке за спиною  
Отправится в полёт со мною  
Моя всегдашняя печаль...

Мы навестим края святые,  
Где место лишь для светлых душ,  
Где зреют гроздь золотые  
Возвышенных и добрых чувств...  
Но там, с вершины Геликона\*\*\*,  
Дай мне понять неотстранённо  
Мироустройства суть,

В котором, кроме зорь сиянья,  
Есть и пожары полыханья,  
Нужда, вражда, непониманье –  
Вся жуть земных безумств...

А за ухабистость дороги  
Благодарю тебя вдвойне –  
Над бездной чувств дано немногим  
Летать на сказочном Коне,  
Тем более, в такие дали,  
Где лишь немногие бывали...  
И участь та досталась мне.

...А вот печаль, что за спиною,  
Простят не все, сочтя виною...

Но верю, взяв меня с собою,  
Пегас простит ту вольность мне!..

-----  
\*Пегас (греч. миф.) – конь, от удара копытом которого на горе Геликон\*\*\* возник источник Гипокрены\*\*. Воды этого источника дарят поэтам вдохновение.

### Плач по чашке

Разбилась чашка!..  
Упала и разбилась  
на две  
друг другу чуждых половины.  
А прежде были  
половины те в единстве.  
Теперь же -  
не соединимы!  
Их разобщённость  
осмыслить тяжко...  
Разбилась чашка!  
Но очевидность неоспорима :  
всё, что разбито,  
несовместимо.  
Разбилась чашка...  
Повод для раздумий :  
как в мире хрупко всё  
и бrenно,  
и ничтожно!  
Разбить, конечно,  
и случайно можно...  
Но, чтобы сохранить  
то, что едино,  
быть осторожным  
и бережливым  
необходимо!

...Не правда ль, просто?  
Но выполнимо ль?..

1997

### Рапсодия дождя

Я ночью слушала рапсодию дождя,  
пленась затейливой и странной оркестровкой.  
А музыка лилась, журчала и плыла,  
дразня воображенье исполнительской сноровкой!..

Вступленье началось с изящного стаккато  
нечастых капель по мембранам крыш.  
Потом бабахнули литавр раскаты  
и разом нотные потоки полились!

Взахлёб ревели водосточных труб валторны,  
фагот и флейта плакали навзрыд,  
басил кларнет, звенел гобой на форте,  
бил в бубен ветра дерзостный порыв!

Но под незримым управлением дирижёра  
лилась так стройно музыка дождя,  
что мне казалось: ангельские хоры  
вот-вот с оркестром вместе зазвучат!..

Однако дождь мажорную тональность  
к исходу ночи стал решительно менять  
и в музыку к утру заметно вкралось  
раздумье ноток наступающего дня.

И плавно перейдя в протяжное легато,  
исполнил дождь рапсодии финал.  
А напоследок виртуозным пиццикато  
прошёл по окну.., вздохнул... и замолчал...

## У СТЕНЫ ПЛАЧА

*Пройдя круги немислимого ада  
с твердоупорством каменной стены.  
с надеждой в сердце  
и с клеймом чужой вины...  
обрёл Израиль, наконец,  
свой дом в награду.*

Иерусалим. Великая столица!  
Слились в единстве здесь и быть, и небылица...  
В веках развеялся цивилизаций прах,  
оставив след на выжженных камнях  
и в недописанных Историей страницах.  
Здесь некогда потомки Авраама  
для Божьей славы и на страх врагам  
построили величественный Храм...  
Судьба ж по-своему решала :  
врагами был разрушен Дом и Храм,  
удел изгнания достался сыновьям -  
их жизнь по свету разбросала.  
...И только лишь одна стена  
от славного осталась Храма.

Из бездны времени она вознесена,  
как символ родины для многих поколений,  
как путеводный луч во тьме гонений -  
слезами окрапленная Стена.  
Испещрена суровой мудростью морщин  
и скорбной участью поруганного Храма,  
стоит Стена!  
И с гордостью упрямой  
подъемлет веру предков из руин.

2

*Враждой и ветрами гонимый по Земле,  
познавший горькую в скитаниях бездомность,  
вновь обретал Еврей свою духовность,  
припав устало к Храмовой Стене...*

...Склонился день к подножию Стены,  
и свет закатный вырвал на мгновенье  
из тёмной монотонности толпы  
лицо, преображённое молением -  
лик старца в ореоле седины.  
Старик был в чёрное, как многие, одет  
(наверное, в знак вековой печали...),  
глаза горели, излучая свет,  
а губы что-то горестно шептали.  
И под его взволнованной рукой,  
как будто ожил мёртвый камень...  
и, вспыхнув верой в тысячах сердец,  
молитвы сокровенный пламень  
взметнулся ввысь над древнею Стеной!

И было в том порыве единенья  
земное воплощение мечты.  
И благодатным было возрожденье...  
У древней Храмовой Стены  
Сиона скорбные сыны  
вкусали радость причащенья!

1988

ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ

### КРАСНАЯ СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПА

#### 1. БЕНЗОКОЛОНКА

К бензоколонке  
Подрулил  
Цены суровы,  
Как патрули.

#### 2. ЧУВАШСКИЕ ЛАПТИ

Это  
Чувашские  
Лапти

Цвета  
Чувашского  
Лета:  
Золото  
Рожь.  
Ты меня  
Не забудь,  
Помножь  
На лапти  
Верст,  
На версты  
Лаптей,  
На лапти  
Чувашских  
Трудагеров,  
На письма  
Эзоповские  
На посылки,  
На Пасху,  
На павскающие  
Носилки,  
На мой  
Непокой,  
На сирены вой,  
Уносящей меня  
Жизнь на вечность  
Менять.

### 3. УТРО НА БЕРЕГУ МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА

Детский шелест.  
Вода накрывает  
Песок.  
Пришелец,  
Посох отбрось.  
Это море  
Даром, что рос  
Даром, что рос  
Под шелест Невы.  
Горе мне с памятью  
Горе.  
Я забывать неумелец.  
Я забивать нехотелец  
Посох в прибрежный песок —  
Лодке на привязь сгодится.  
Как мне переродиться,  
Чтобы шелест утренних волн,  
Чтобы привязанный с вечера челн  
Не говорили о невиской водиче,  
Где пролетает сизая птица,  
Где напевает детский стишок  
Память на посошок.

### 4. КРАСНАЯ СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПА

*Вал. Полухиной*

Красная шляпа  
Плетеной соломки  
Срывы, поломки,  
Головоломки.  
Сердца поземки,  
Каналы, котомки,  
Камеры, меры,  
Тюрьмы, отели,  
Осени рыжеволосой  
Качели,  
Цензорство кляпа.  
Жизнь весьма косолапа.  
Клавиши трапа.  
Жжет ревнивая граппа.  
Клена аль  
И солома,  
Хохот цирка,  
Изломы  
Ласк/обманов,  
Клякс/туманов,  
Кляцк турманов,  
Свист карманов,



Ветер архангельских  
Поселений,  
Ржа кандалов  
Судьбы  
Повелений.  
В рыжем поэте  
Судьба поколений.

#### 5. АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Уперлись быками  
Набычились лбами  
Мы с вами.  
Шагнули, шатнули  
Сдвинули, пали.  
Куча мала  
Беги со двора  
Сила—игра.

#### 6. СМЕРТЬ ВРАГА

Не умирай,  
Последний враг.  
Ты стяг  
Над вражеской когортой.  
Так горько  
Потерять врага,  
Когда обломаны рога  
И помнятся былые  
Битвы.  
Мы не побиты.  
Мы убиты.

#### 7. МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

Яму  
Не надо копать.  
Братской могилы  
Глубь  
Горы Кавказа.

#### 8. ОСЕНЬ

Стул, прислоненный к стволу  
Клена.  
Поздние астры среди желтизны.  
Буду ли снова я удивленно  
Видеть цветы весны?

#### 9. ЦЕЛИТЕЛЬ

Я заблудших лечил  
Наложеньем руки  
На ослепшее сердце.  
И за все получил,  
Любви вопреки,  
Любовь иноверца.

#### 10. БУХАРИКИ

В Бухаре живут бухарики,  
На заре жуют сухарики.  
А под вечер в чайхане  
Бормотуху пьют оне.  
И бормочут, и бормочут,  
А домой идти не хотят.

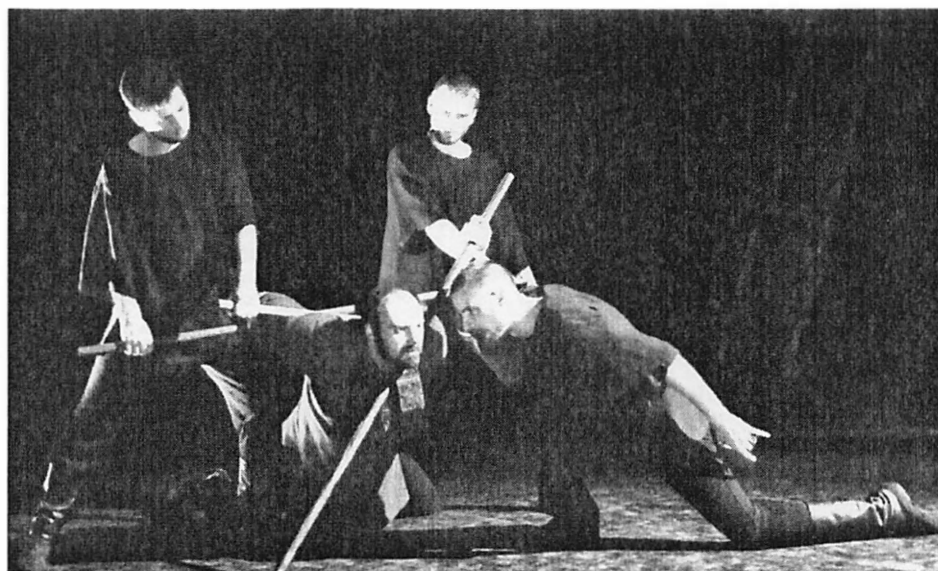
#### 11. ВАНЕЧКА

Шел по лесу Ванечка.  
Уронил он варешку.  
А на будущий годок  
Вырос беленький грибок.

#### 12. НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Ночные голоса  
Развешаны в кустах.  
Рассвета полоса  
Запрятана в листьях.  
Иссохли лица рек —  
Слезы не обронить.  
Зелененький зарек  
Танцует и бранит.  
Прельщает дев игрой,  
Цена которой — сон.  
Покинутым икрой  
Весну пророчит он.  
Ночные голоса,  
В них дерево и скука.  
Круженье колеса,  
Крушение искусства.  
Искали снег в ручьях  
Тюльпаны по горам.  
Их гений выручал,  
Но разум покарал.

Сцена из спектакля  
«Гость и хозяин»  
в постановке театра  
«Синетик» (Вашингтон).  
Пьеса Важи Пшавелы.  
Режиссер  
Паата Цикуришвили



### 13. КАРТОННЫЙ КЛОУН

Я не могу без тебя уснуть.  
Я посылаю картонного клоуна  
Влезть на сосну  
И тебя зазывать поклонами.  
Я не могу без тебя уснуть.  
Не пугайся щек, раскрашенных известью.  
Когда б оценила значение минут  
Нашей близости,  
Подошла бы к ночному дереву:  
- Ты и не звал, я сама, первая...  
И клоуну пряник теплый дала.  
- Я и сама еще ночью прошлой  
Послала к тебе расписную матрешку.  
Да, видно, ее задержали дела.

### 14. НАТЮРМОРТ

Лимон. Помидор. Яйцо.  
Твои золотистые пальцы.  
Краба скалистый панцирь.  
Сброшенное кольцо.  
Стул. Купальник. Стихи.  
Трек телефонный. Ласты.  
Курево против астмы.  
Комнатные грехи.  
Приемник. Окно. Дуб.  
Голуби и газеты.  
Пепел и сигареты —  
Макет обгоревших труб.  
Губы. Ресницы. Моря.  
Солнце. Простыни к черту!  
Ты ведь моя! Моя!  
Да оживут натюрморты!

### 15. КАКАЯ МУЗЫКА В РЕБЯЧЕСКОЙ ДУШЕ.

Какая музыка в ребяческой душе,  
Какая ей гармония подвластна!  
Мы от нее скрываем ежечасно,  
Что мы другие навсегда уже.  
И пароход и красные шары,  
И облака, и радость, и неправду  
Она воспринимает, как награду.  
А мы за все готовы брать дары.  
Как странно эту музыку понять,  
Как страшно погрузиться в эти звуки.  
Но чей приход заставит наши руки  
Цветок полурастоптанный поднять?  
Но чей приход и чье прикосновение  
Ребячьи песни возвратит душе?  
Кто нам подарит навсегда уже  
В забытый прежде мир проникновенье?

### 16. ПОЭТ И НАРОД

Нужны и поэты народу?  
Не более, чем уроды.  
Они отвлекают народ  
От повседневных забот.

### 17. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ

*И знали бы бог седобородый.  
Что это животные разной породы.*  
Вл. Маяковский.

Конечно же, обезьяны произошли от белок.  
Просто белки оказались пластичней.  
Они двинулись в северные широты,  
Как и другие северные народы.  
Конечно, белки вышли из обезьян  
И дальше, дальше пошли на север.  
Обезьяны же как практичные южные народы  
Заселили южные широты.  
И только, когда обезьяны с белками  
Совершенно случайно встречаются  
На верхушке пальмы или сосны,  
Где-нибудь на границе мира или войны,  
Они оскалываются зубами,

Они обмериваются хвостами,  
Они обмениваются прыжками  
И братскими рукопожатиями.

### 18. СЛОВАРЬ ДАЛЯ

*Генриху Сапгиру*

Бродить, блукать, плутать, блуждать,  
Брести высокою травой,  
Брести глубокою водою,  
Брожение слова пробуждать.

### 19. СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ

*Борису Смородину*

То же самое, помнишь, и в наших краях:  
Безотцовщина, бедность, бесправие, блеф.  
Что же нам лицемерить и быть на паях  
С теми, кто загонял черный люд в грязный хлев.

### 20. СТИХИ ИЗ РОМАНА «ЗАМОК В ТЫСТАМАА»

Индийские лица, как хищные птицы.  
Еврейские лица, как гончие псы.  
А русские лица — куда мне укрыться?  
О, как мне забыться, напиться, забиться  
В какие овсы?

### 21. НАШИ ОДИССЕИ

Ты понимаешь, я не знаю сам,  
Зачем мы кинулись в такие одиссеи,  
Что непосильны даже кораблям,  
Куда подались мы с лодчонкою своею?

### 22. ТЫ ГОВОРИЛА

Ты говорила: «Я тебя люблю».  
И это было правдой в тот момент.  
Когда дарило солнце октябрю  
Прощальный, желтый, расставальный цвет.  
Ты говорила. Я губами брал  
Твои слова, как волк берет кутят.  
Так ветер западный берет Урал.  
Так забулдыги на заре кутят.

### 23. КОНЕЦ 20-го ВЕКА

Захлопнулась книга 20-го века,  
И мы не успели внести свои песни.  
Вписать не успели, хотя мы их пели  
И млели от звездного меда и млека.

### 24. ГАДЫ И ГОДЫ

Гадов не меняют годы.  
Гады меняют коды.

### 25. САМОИРОНИЯ

*Максиму*

Я еще действующий вулкан.  
Недра мои потрясает страсть.  
И никаким волкам  
На меня не нагнать страх.

### 26. НА ВЫСТАВКЕ ПИКАССО

Пройдя по голубому и розовому периодам  
Творчества этого гения,  
Я понял, что кубизм — это антипародия  
Уставшего от реальности гения.

### 27. МИЛЕ

Хохотунья, тигрица, любовь,  
Я тобой украшаю столетья,  
Я тобой устрашаю столетья,  
Ты любовь моя, ты мой лубок.

### 28. УТРО НА БЕРЕГУ

Гольшом купается старик —  
Бережет белье его старуха.  
Водорослей плещется парик,

На волне колыхнется медузы брюхо.  
Солнце из-за леса приползло.  
Дворники сгребают мусор с пляжа.  
Милое святое ремесло:  
Верить в животворность камуфляжа.

## 29. ВЕСЕЛЫЙ НЕГР

Веселый негр накручивает вело  
На разъяренный августом асфальт.

## 30. ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Пересекая границу страны, где закат  
Пляшет на горных вершинах,  
Словно Мазай в хороводе зайчат  
Или песчинки на шинах,  
Помни, что это не навсегда,  
Ты еще песней вернешься,  
Храбрость чужие берет города,  
Ты еще дома проснешься.

## 31. ЧАЙКА НА СКАЛЕ

Чайка сидит на скале,  
Белая в синем  
Водка стоит на столе.  
Выпьем, о сыне!  
Выпьем за море, за небо и скал  
Точку опоры.  
Выпьем за то, что никто не искал  
Правду в ту пору,

## ЯН ПРОБШТЕЙН

### Две стороны медали

1.

*Да — скифы мы.*  
А. Блок

Жизнь человека измерена и рассчитана:  
у одних — города и годы,  
у других — страны, века, народы,  
у иных же — и вовсе ошипана.  
Всё зарастает травой Уитмена.  
Вышла Лолита замуж за Липмана.  
Неудачник Гумберт теперь в Калифорнии —  
мелкий преступник. Мы тем упорнее  
за жизнь цепляемся, чем она нестерпимее  
или, вернее, необратимее.  
Жизнь рассчитана до безобразия.  
Мы устали жить без фантазии.  
Все теории — сплошные Евразии:  
нам милее быть скифами, азиатами,  
чем страдальцами, на атомы разъятыми.  
Мечтали мы о грядущих гуннах,  
и прошли они по нам в сапогах чугунных.

Лучше быть Иванушкой-дураком, чем умником.  
“Умный, что ли? Тоже мне, уникам, —  
говаривал старшина в армии. —  
Умников опускают, а дураков отпускают”.  
Так нам в совке мозги парили,  
что все интеллигенты — парни,  
даром что был другого мнения Чехов.  
Приструнили мы венгров и чехов  
(горстка вышла на Красную площадь;  
возмущаться на кухне спокойней и проще).  
Барды со стадионов рвались на ударную стройку  
или в Америку — правда, с обратным билетом  
(до и после делая стойку),  
или писали про белые снега,  
на станции Зима исходя от неги,  
не теряя патриотизма при этом.  
В моду вошла романтика костра,  
большой дороги, ножа и топора:

“Пóшло, милая, нежиться в беседке,  
хорошо нам будет в геологоразведке!”  
Канули в небытие шестидесятые,  
и попали мы все в соглядатаи —  
кому-то бросили кость, а кому-то дали по вые.  
Потянулись за бугор наиболее передовые,  
считалось, что самые достойные  
(нужно было, однако, ещё заслужить изгнание,  
то бишь любовь народа и Лубянки признание,  
либо попасть в число совести узников  
или про крайней мере — рефьюзников).  
Годы были глухие, застойные,  
свобода тайная, анекдоты застольные,  
чуден был Днепр, и мирно струился Терек,  
и чечен не полз с гранатомётом на берег,  
далеко было до Грозного и Чернобыля,  
чтоб чужие боялись, мы себя *гнобили*.

А потом появились новые русские  
(но глаза подозрительно узкие),  
возлюбили жар холодных числ  
больше, чем дар божественных видений,  
равно презрев и острый галльский смысл  
и сумрачный германский гений.  
Комсомольцы построили Братскую ГЭС и БАМ,  
а потом вернулись с Урала  
и расчистили силою интеграла  
место под солнцем себе и браткам:  
поделили по-братски близнецы-братья  
и задушили страну в объятьях.

2.

Если в первом акте на стене висит плётка,  
то в финале не избежать порки.  
Сия сентенция, быть может, не находка,  
но раствориться в человечестве —  
значит жить и умереть в Нью-Йорке:  
не надо ездить в Мозамбик и Танзанию,  
до Китая — полчаса езды на саввее,  
а оттуда — на запад, беря левее,  
попадёшь в Маленькую Италию,  
от которой, правда, одно название,  
но в ресторанах тамошних трудно хранить талию,  
так что хлеб изгнания не всегда горький.

Жить в Нью-Йорке — не избежать порки:  
“Город Жёлтого Дьявола”, как сказал Горький.  
С грешных и праведных равно сдирают шкуры:  
всех помещают в плавильный котёл  
и вливают азы языка и культуры,  
а потом Герион является хмурый  
и начинает сдирать три шкуры,  
так что не взвидишь белого света  
и станешь как до рождения гол,  
и растёт дефицит доверия, любви, иммунитета,  
пока, поражённые, не застынем:  
жизнь, словно свечку, задули.  
За непохожесть схлопочешь пулю:  
с красной банданой не суйся к синим  
(чуть не сказал по инерции — к белым).  
Если ты занят серьёзным делом —  
торгуешь травкой и героином,  
ни Отцом не клянись, ни Сыном —  
ты сам себе Бог, Авель и Каин,  
окаян, неприкаян и нераскаян,  
но здесь упражняются в умирании,  
философией не отягощая сознание.  
Как просто душа расстается с телом —  
возносится, не моргнув глазом,  
и взирает, как сокрушают глупую плоть,  
подвергая разнообразным заразам,  
пока не смилуется над нами Господь.

2005

**О БОРИСЕ СОХРИНЕ.** Хочу предложить вниманию читателей «Побережья» стихи поэта Бориса Сохрина. Я сделала подборку из его произведений разных лет, хотя у него есть и более поздние стихи: например, цикл "Эпилог", сочинённый в 1998 году. Это фактически реквием по любимой женщине.

Борис Сохрин родился в 1932 году в Ленинграде. Зарабатывал на жизнь, работая шофёром, а также механиком рефрижераторных установок. Страстный меломан. Знаток истории и литературы. В настоящее время живёт в Вюрцбурге, Германия. Две его поэмы - "Поэма острова" и "Смерть негоцианта" опубликованы в обоих выпусках иерусалимского альманаха "Гнездо".

Борис Сохрин не входил в круг поэтов-шестидесятников, разбуженных оттепелью, хотя был их ровесником и многих из них знал лично. Пленник своего неконвенционального мироощущения, он всё время шёл против потока, даже если это был маленький ручей.

В миру он хранил верность своим друзьям, с которыми сошёлся ещё в средней школе. Он относился к ним с простодушным обожанием, рассказывал про них истории, в которых отводил себе роль восхищённого зрителя, слыл между ними "не от мира сего". Но в поэзии был упрям и неуступчив. Ей он подчинил, бросил под ноги всю свою жизнь: не делал никакой карьеры, работал только ради пропитания то шофёром, то слесарем, то механиком рефрижераторных поездов. В его стихах звучит нота индивидуализма, которая была бы диссонансом в благородном многоголосье той весенней поры. Чувство соборности было ему чуждо. Он порою и сам огорчался, что не мог быть, как другие. Перефразируя его стихи, можно сказать, что он своим существованием вседневно отрицал "казённое время", "которое лгало всечасно, лукавило в мыслях, кривило сердцами".

Ещё в отрочестве он нашёл себе кумира - бунтаря А. Рембо, был покорён его стихами, заворожён историей его жизни. Позже он взялся за поэму "Смерть негоцианта" о последних днях Рембо и работал над ней много лет, не находя в этом ни сочувствия, ни понимания, ни одобрения у близких людей. Такая преданность своему замыслу потрясает сама по себе.

**Елена Иоффе**

*28 апреля 2005, Гиват Зеэе, Израиль*

## БОРИС СОХРИН

### СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

1951-1955. Время службы на Дальнем Востоке.

\*\*\*

Мы теснимся бортами в ночное танго,  
В угол пирса дождём снесены.  
Эти долгие вздохи мостов и танков,  
эти хриплые всхлипы волн.  
Этот шлак небосвода, что тяжестью всей  
продавил паутину снастей.  
Мамы, сестры, друзья!  
Вас не будет, вас нет,  
вы приснились когда-то во сне.  
Это наши сердца - подобья костров -  
не дают темноте оседать.  
Мы теснимся бортами в кричащий фокстрот  
наугад, насовсем, навсегда.

1952

\*\*\*

Деревня детства лишь коснулась моего,  
а детство — странный сон, давно полузабытый.  
И в памяти — асфальт, булыжник мостовой,  
бесстрастие колонн, опёршихся о плиты.  
Душа — сплетение теорий, мер и всех  
близких символов,  
над миром сень простёрших.  
Давно понятен мне медноязычный цех,

неугомонный шкив, неутомимый поршень.  
Двадцатилетие у известковых скал  
на скользких палубах кочующих конструкций.  
Но вдруг почудится: не жил, а только спал,  
поблёкнут краски все и линии сотрутся.  
И оживут на миг, запахнув, замелькав,  
тропинка узкая к гумну ещё сырому,  
мычанье долгое парного молока,  
прохладный бабий пот, овевший солому.

1952

### Город

Окаменевшую грядой  
минувших тщет и доль  
он виден с площади любой  
и поперёк и вдоль.  
Когда сравниют звёзды счёт,  
мне слышится подчас,  
как в нём симфонией растёт  
мистический экстаз.  
И он спешит заолодеть  
в бесстрастии колонн.  
И суетящихся людей  
не замечает он.  
И в этой уличной волне  
моих забот струя.  
Нет сходства с городом во мне,  
его не стою я.

1953

\*\*\*

Когда к вагонной маете  
с просторов задымивших  
по снегу выбежит артель  
заснеженных домишек,  
ловлю дымков морозных весть,  
загадкой беспокоим:  
какие люди ходят здесь  
и чем дышать легко им.  
Но, порывая с чьим-то днём,  
во тьме грохочет долго,  
и среди лесных и снежных дрём  
опять огни посёлка.  
И сколько вновь предлогов есть  
сойти, где их зарница,  
судьбе моей остаться здесь,  
душе моей зарыться.

1953

1957-1959

\*\*\*

Октябрь на панель просыпал  
Листву — ажурного письма.  
Уже брюзжит на осень сипло  
её наследница-зима.  
Дома и небо погасила;  
чтобы поведать горячей  
витрины книжных магазинов  
тебе, премудрый книгочей.  
Чтоб нас минувшим обдавало  
от лестниц и дворов немых.  
Что ж, в этом городе немало  
не только зим знавали мы.  
Еще ведь можно нам, отпетым,  
трезветь, пока портвейн пунцов,  
ходить без шапки, брать билеты  
на "Рим. Одиннадцать часов".

### Люсе

Пустырем

к миражу новостроек  
ты уходишь... И, словно во сне,  
в небе вымершем отсвет нестоек,  
снег безжизненный будто ослеп.

Ты в снегу ускользающей тенью.  
Наш автобус ушёл. Ни души.  
Только я безнадежно затерян  
в засыпающей этой глуши.  
Только там – за невидимой речкой  
ледяная усмешка огней.  
Это город тасует и мечет  
череду утомительных дней.  
Там круженье не помнящих смены  
треволнений, забот и примет.  
Те же лица, трамваи и стены...  
А тебя, о печаль моя, нет.

\*\*\*

Зачем, косынкою крылатой  
коснувшись тонкого стекла,  
она в дверях моей палаты  
свою головку пронесла?  
И в свете сумрачном и зыбком,  
где сон тревогами гоним,  
её смущённая улыбка  
светло склоняется к больным.  
Мне не уснуть. В плену тягучем  
бессонниц, обмороков, бед  
меня дурманит, злит и мучит  
влюблённость, горькая как бред.  
А в окнах осень городская  
трезва, печальна и строга  
Живых несёт и увлекает  
невозвратимая река.  
И застываю, как незрячий  
чуть шорох близится к окну.  
И страшно, что сейчас заплачу,  
когда в глаза к ней взгляну.

60-е годы

### Котёнок

*По поводу котёнка, возвращённого автором  
к жизни и потом выброшенного его начальством.*

Я зря пригнул тебя, напрасно  
от близкой смерти уберёг,  
кисёнок мой, комочек атласный,  
беззлойной жизни огонек,  
того не ведавший недавно,  
всё тельце жалкое ко мне  
протягивая благодарно,  
оживший, чуя в полусне  
тепло, покой, какого сроду  
не знал, такую благодать...  
Обратно в грязь, в гниль и воду  
тебя швырнули умирать.  
Чего хотел ты, угасая?  
Побыть в тепле, поспать, поесть?  
А их заботит спесь чужая,  
в них, задевая ту же спесь.  
Гордятся вычуры сорочек  
или фасоном башмака.  
Но что им жизнь твоя, комочек,  
два боязливых озёрка?  
И что тебе немые слёзы,  
в моей кипящие груди,  
о мой кисёныш остроносый?  
Ведь я не спас тебя, прости.  
Прости, что всё на этом свете  
так безразличия полно.  
Прости меня, когда мы, встретясь  
с тобой, сваемся в одно.  
Когда я также, также сгину,  
и бессердечие миров  
меня вмешает в ту же глину,  
в такую ж грязь перемолов.

### Лесной прелюд

Предзакатный, поредевший,  
тишиной процветший весь,  
лес, гряди, куда грядеши,  
только в душу мне не лезь.  
Всей армадой в этот воздух  
ты врываешься, как в барак,  
словно затхлостью тифозной,  
прелью осени набряк.  
Не бросай лучей раскосых  
в глубину и свысока,  
не следи зрачком берёзы  
сквозь туманность сосняка.  
Не стели свой сумрак сонный,  
под стволами расслоив  
вдаль крадущиеся сонмы  
папоротников своих.  
Старомодны, неуместны  
сумрак, готика, резьба.  
От романтики немецкой  
проходящего избавь.

### ГАРИ ЛАЙТ

#### Високосный февраль

«...И лампа не горит,  
и врут календари»...  
Александр Васильев, «Сплин»

Високосный февраль – аномалия, грань, предрассудки  
За припевом печаль – нарисованы лишние,  
вовсе ненужные сутки,  
И от этого вдоль неуместной зимы – ощущение неволи,  
От которой узы, новогодняя сказка не станет судьбой,  
а нелепо уляжется в пыль антресолей.  
Очарованность тем, как приходит из неба  
сплошная стена снегопада.  
Обернулась не тем, чем казалась,  
а много ль неверию надо...

Високосный февраль кристаллически честен в оценках –  
прощать не умеет,  
так уставший нагвал не форсирует истин,  
а если и знает, должно быть, сказать не посмеет...  
И у той тишины, что сочится из слов  
не пролившихся звуком,  
Нет ни чувства вины, ни обиды на то,  
что чревато, и, в общем, должно завершиться разлукой.  
Диалоги во снах, зачастую открыты познанию свыше,  
И звучат голоса, так, как могут звучать только те,  
кто друг друга хотел бы услышать, но вовсе не слышат.

Високосный февраль – камер-юнкер зимы,  
обречён на удачу,  
Обрётённый грааль, вожделению дань,  
в ретроспекции снега и мглы, верно мало что значит.  
Равноденствия тень, обрастает весной,  
ближе с каждой неделей,  
И рождается день, он заметно длинней,  
и существенно позже темнеет.  
Если так суждено,  
значит кроны деревьев предчувствуют влагу,  
Это значит лишь то, что прошедшим сквозь этот февраль,  
будет выдан душевный покой «за отвагу»...  
11-24 февраля, 2004

29 февраля, 2000 года 6-я рота, 104-ого полка Псковской дивизии ВДВ численностью в 90 человек в течении 20 часов сдерживала натиск трёхтысячного отряда боевиков Хаттаба и Басаева. Из 90 десантников роты погибло 84...  
«Известия», № 138, Москва  
\*\*\*

Февраль отменён. Указанием свыше - весна...  
Десант на плацдарме, прошедший по минному полю.  
Теория риска – в последствии ночи без сна...

Десант на плацдарме – пришедший в весну добровольно.  
Ему б продержаться на этом плацдарме и станет теплей,  
А там подойдут подкрепления и раненых вывезут морем,  
Но взрывы всё ближе, прицельней, и вдвое больней,  
Что может быть это – своя артиллерия кроет...  
Нет связи со штабом – там в мнениях полный разброд  
Штабные, похоже, десант этот вовсе списали –  
«Ну кто добровольцем в весну раньше времени прёт?...»  
Мол – «... сами нарвались,

и пусть там теперь висят...»

Десант в гимнастёрках, шинели остались в зиме,  
И боеприпасов – всего ничего – для защиты...  
Десант уходил, чтобы стало немного теплей,  
А ради весны можно раненым быть и убитым...  
Весна как знамение томится приходом извне...  
Тех строк, что легли на аккорды, никто не узнает  
А там, на плацдарме тепла – уже выхода нет,  
Февраль отменён, но без веры весна не настанет.  
И гибнет десант в разговорах нелепых, пустых,  
В огне перекрёстном своих и чужих различая -  
Ушедшие верят, что тех, кто останется жив,  
Обнимет весна, и нальёт им зелёного чая...

*Зима-весна, 2004, Lincoln Park*

### Чикаго-Москва-параллели

У нас на речке – стильный ледоход,  
и аромат бензина и резины...  
Название города с рекой в один черёд –  
всё как в Москве – и время сплавить зиму.  
Она достала, и в издержках февраля  
такой постмодернизм – держись, не падай,  
Афро-амер, цедя сквозь зубы: «бля...»  
Рассёк по Michigan\* с арбатскою досадой.  
И девушки в дублёнках нарастают,  
что на Тверской, что здесь – всё те же темы -  
«Секс в Городе», Ирак, Пелевин, Бах -  
– «... Вчера дала, не то, чтобы хотела...»  
На том же транспорте, такие же менты  
лениво созерцают disposition\*\*,  
чтоб на этап до местной Воркуты  
отправить тех, кто «белым снегом» дышит...  
У всех «объектов интересных» – стрём-спецназ,  
чтоб пакистанская диаспора боялась...  
Похож на Арафата? – схватишь в глаз –  
в такой связи политкорректность задолбалась...  
И там и здесь предвыборный напруг,  
но местному генсеку будет жёстче,  
и оппозицию сдадут под белый флаг,  
не раньше срока, а когда уже закончат.  
У нас на речке – стильный ледоход,  
до дня Святого Патрика «отлётимся»,  
затем всю реку зелёной зальёт  
ирландец-мэр, и мы не уклонимся –  
Чикаго выпьет «брудершафт» с сестрой-Москвой,  
и параллельно на широтах потеплеет,  
а фраза светлая – «ну что, пошли домой»,  
в любой из параллелей нас согреет...

\* Центральная улица Чикаго, также известная под названием «Великолепная миля»

\*\* (англ.) – расклад

*24 февраля, 2004*

\*\*\*

С приходом в город силуэтов кораблей,  
не перечисленных Гомером в «Илиаде»  
улёгся ветер, сделалось теплей,  
и заструилась магия во взгляде.  
Как мимолётно, ненавязчиво, легко  
венцианкой ночь скользнула в такте,  
так окрылённый, плен из облаков  
минует лайнер, ощутив кураж на старте.  
А дальше небо – предсказанья не всегда  
вершатся в облике не требующим боли,  
что совместимость знаков – ерунда,  
одна из самых неизведанных теорий.

Начало августа – приходы кораблей,  
немыслимая дерзость перспективы,  
но будет так, как рассказали ей  
в далёком детстве под цыганские мотивы.  
Фарватер изменения судьбы  
не обозначен текстом и курсивом  
тем не уместней элемент борьбы  
с самим собой, когда иная сила  
настолько светлая, что больно не глазам.  
Подскажет истину, в контексте и размере,  
прозрение к пришедшим кораблям,  
должно быть, отношение имеет.  
С приходом в город...

*август, 2003*

### По мотивам осенних песен

Ливень однако, сегодня нешуточный,  
ты ещё слушаешь «Город игрушечный»...  
Я предпочтение снегу пока не отдал.  
Жаль мне гитару незачехлённую,  
но в искушение – на Малую Бронную,  
через Париж, от тебя, или Лондон не исчезал.  
Кровь на пуантах – образ русалочий,  
Ты была ближе родной, незагадочной –  
это сравнение чревато изгибом зеркал.  
Больше не спето пока, а написано,  
то, что волнует и жжёт за кулисами,  
а в остальном – не заполненный публикой зал.  
Ты прочитала Кундеру и Павича,  
я же запал на Катаева давеча,  
и... благодарен тебе за октябрь полёта начал.

*17 ноября, 2003*

### Ранне-декабрьское

Ты приходила, или это вновь  
мираж усталости замешанной на чуде,  
какой нелепой кажется любовь  
в столь затянувшейся пародии прелюдий.  
Не верится... Как жаль, что снова я  
не помещаюсь в выдуманном мире,  
вневременно... Аккорды декабря  
холодным ветром маются в эфире.  
Хорош урок для баловня судьбы -  
не все предначертанья совместимы,  
не то, чтоб крепость сдали без борьбы,  
но не всегда пути исповедимы...  
Я не жалею ни о чём в своих словах,  
и в общем не умею по-другому,  
а строки о пришедших кораблях,  
мне удались, хоть не были искомы.  
Им бы на рейде стать и зимовать  
с крепённым грогом, мандаринами, туманом  
но что-то не склосось у них вить,  
и об уходе мыслят капитаны.  
Покуда в лёд не вмёрзли якоря,  
любой исход возможен: или-или,  
ещё не скрыта саваном земля,  
и в подстаканниках надежды не остыли.  
Но время – негуманный эскулап  
о ясности твердит неумолимо,  
ты приходила, и ещё не убран трап,  
но осень явно переходит в зиму...

*5 декабря, 2003*

### Осознание

Побродив по «старым башням», обретя покой и море  
автор был обескуражен невозможностью признаться  
самому себе и прочим, что хотелось бы иного –  
ощущения, какое и смелее, и поближе  
к осознанию и вере:  
Что любовь – не вдохновенье, мимолётное и злое,  
а загадочная заводь с родниковой водою,  
там где женщина не строит далеко идущих планов,  
сознавая, что судьбою обозначенный фарватер

воплощен в саму реальность, что искать уже не нужно, –  
что сбылось, пришло, свершилось...

Одиночества не будет...

И «всеобщее притворство» канет где-то по дороге,  
вместе с ханжеством и позой,

столь пришедшихся по вкусу  
в промежуточном периоде знатокам и словоблудам...

Что условности не стоят ни копейки, ни сантима –  
возраст, знаки зодиака, цвет сосков, волос и взгляда –  
эфемерности эскизы.

Всё рассказано Платоном –

о любви, как единенье, до того, как Громовержец  
беспощадно разделит нас...

Но пройдя по старым башням, по границе волн и пены,  
как в переводной картинке, в детстве кажущейся чудом,  
осознание приходит – и становится несложным  
ощущение, как будет дальше складываться повесть.

13 марта, 2004, Miami

## АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ

### МОТИВ

Мне хотелось бы жить, путешествуя там,  
Где и в снах не могли ни Улисс, ни Язон  
Побывать и остаться, подобно богам,  
Что и сами взошли на чужой небосклон.  
Мне хотелось бы жить, а не быть на виду  
И не радовать взор одноглазых часов.  
Я и так под прицелом. Я ровно иду  
По изломанной кромке крутых берегов!

Мне хотелось бы жить! Не предлог, не глагол –  
Каламбур, ветерок, что сдувает с руки  
Измельченный зрачок Полифема на стол,  
Рассыпая согласные новой строки.  
Будет берег и дом. Будет плеск в темноте!  
Будет шторм и скала – и раздолье волнам!  
Будет гулкое эхо в ночной пустоте –  
Мне хотелось бы жить, путешествуя там ...  
12.1996

### ПЛЫВУЩИЕ ГОЛГОФЫ

Прошло сто лет – и что ж осталось  
От сильных, гордых сих людей...  
А.С. Пушкин

Подумать только! Он еще плывет –  
Корабль ... Мне эпитетов не хватит,  
Чтоб выразить, как время ветром катит  
Громаду по волнам ... Что в свой черед  
Воспеть и нам пришла уже пора –  
Мужицкую и царскую отвагу!  
Построить флот – не вымарать бумагу,  
Как чью-то славу росчерком пера.

Где веком правил грозный мореход,  
Мостили топь и дело пахло дракой ...  
Расхристанным портовым забиякой  
Сходил с лесов помазанник в народ.  
И плотники на мачтовых крестах  
Висели, и плывущие Голгофы  
Выстраивались в море, словно строфы –  
«Полтавы» - в драматических стихах.

10.2005

### ДЕРЕВО ЖИЗНИ

1  
Наши взоры – как ветви. Звезды – листва.  
Наша планета и есть Древо Познания,  
Дерево Жизни в поле Добра и Зла –  
Вот и метафора в целом для мирозданья.  
Так веселее, чем у Эйнштейна, и  
Стороны света не надо менять местами.  
Как бы там ни было, право самой Земли

Крону наращивать и шелестеть листками,  
Краситься осенью, сбрасывать лишний вес,  
Прятать охотника или сбивать со следа,  
Или вдруг вспыхнуть ярким костром небес –  
К тихому ужасу сонного короеда.

2

Белкой по древу ... Дивом среди ветвей ...  
Как это близко! Только что, в разговоре,  
Вдруг прозвучало. Терпкой смолой корней  
Росы янтарные с кроны упали в море.  
Вот и выходит – к лучшему сей пример  
Виденья мира животворящим взором.  
Пифагорейской музыки высших сфер  
Самые тесные связи с крестьянским кровом,  
С мерой зерна, со стерней, что прошел мужик,  
С песней девицы и зрелой формой плода.  
Наши время и место – и есть язык,  
В слово отлитый стихийный глагол народа.

3

Август из лодочки вычерпал звездопад!  
Речка журчит в рукавах из гончарной глины.  
В легкой испарине этот нескучный сад –  
В зеркале водном колеблемый куст рябины.  
Глазом совы проморгнет в облаках Луна.  
Белая рыба выпрыгнет из потемок.  
Так и хочется крикнуть, допив до дна,  
Берегу дальнему – с берега: «Эй, потомок!»  
Звезды, как листья, ночью сгорят в костре.  
И на восходе лодка качнется в кроне,  
Тенью взволнованной, в дымчатом сентябре,  
Там, где шумит золотой березняк на склоне.

2.2006

### ЛЕС РАСХОДЯЩИХСЯ ТРОПОК

Лес расходящихся тропок – от родника,  
Чья чистота – как исповедь самурая.  
Дальневосточный поезд издалека  
Гулом проби.т пространство лесного края.

Что там теперь, в том веселом густом саду?  
Светит ли лампа под мелкой старинной сеткой?  
Где тот философ, мыслящий на ходу,  
Что управлял оркестром ольховой веткой?

Поезд, как время, все ускоряет ход,  
Пересекая плоскость в картине сада  
С тенью садовника, что заклинал восход  
Неповторимой лексикой вертограда!

Можно исправить повести и стихи,  
Но персонажей не привязать к предмету  
Новой эстетики, как и все их грехи  
Лучше оставить людям, чем бросить в Лету.

Только в садах вызревают плоды идей.  
Образ Платона глубже, чем тень платана.  
Лес, где расходятся тропки, как мир людей,  
Не переносит ни ясности, ни тумана.

Как в иллюзорной графике полотна,  
Каменный идол, тот, что завис над бездной,  
Благообразный кажется из окна  
Поезда, что все мчится из Поднебесной.

6.2006

### ПРОСОДИЯ пение на ходу

1

В том городе, где средние века  
Пересеклись с эпохой расцвета  
Науки и печатного станка,  
Я в новый век, в сороковое лето  
Вошел и не заметил, что вполне  
Оправдано внезапным переходом



Кочевника к оседлости – в стране,  
Освоенной торгующим народом.

Пронизан воздух боем часовым.  
Сумятица. Скопление народа.  
Поток машин преобразует в дым  
Программу из поэмы Гесиода.  
И над землей ночной звезды отвес,  
Что выпрямил когда-то человека,  
Как маятник в механике небес  
С картинки девятнадцатого века.

Все связано. Калейдоскоп времен.  
Синоптик по заказу гоминида  
Дает прогноз миграции племен  
В границах геометрии Эвклида,  
Где свет и время плоские, к земле  
Направлены – к тотальному исходу!  
К падению в единственном числе  
Икара в ледниковую природу.

2

В том городе, где лужи во дворах,  
Планктон, вдруг вылетая в атмосферу,  
Свиристельствует и в парках, и в домах,  
Меня порой испытывал не в меру.  
Когда бы не урок – будь глух и нем,  
Наверное, не выжил бы ... Тот город  
Теперь в другой эпохе – вместе с тем  
Двором, где был и голоден, и молод,

Но как любил! И правил черновик,  
Катренами выстраивая строки.  
Так легче было пересилить крик  
И сохранить свидетельства, вещдоки  
Того, чем жил, но забывшая – как,  
Склонялся к осмыслению дороги:  
Стремился вверх и попадал впросак,  
Слагал элегии, читал эклоги.

И больше, чем портрет, любил пейзаж,  
Исполненный по осени с натуры  
В том городе, где небо, как витраж,  
Среди возвышенной архитектуры,  
Где звонницы, одетые в леса,  
И древние постройки на обрыве,  
И жителей тревожные глаза  
Глядят мне вслед в обратной перспективе.

3

В том городе подземная река,  
Как скрытая от смертных Гиппокрена,  
Еще выносит в мир из родника  
Потоки из эпохи плейстоцена...  
Но дальше – осторожней! Перебор  
Грозит потерей сна, утратой речи  
И памяти, что сводит кругозор  
К отрезку времени и месту встречи.

Труды и дни! Наивный Гесиод  
Не разгадал в Божественной картине  
Простой круговорот проточных вод,  
Как следствие, влекомое к причине,  
Где нет уже ни города, ни той  
Мелодии, что родилась до слова.  
И снится нам тот город золотой  
Под мягкий баритон Гребенщикова.

Расплывчато, но верно. Городов  
Пределы, словно небеса святыми,  
Как воздухом, до самых облаков,  
Пронизаны мечтами золотыми.  
И в окнах золотой вечерний снег  
Горит, как свет, во тьме пирамидальной.  
И город, как спасительный ковчег,  
Подходит к лирике исповедальной.

3.200

## ИОСИФ ВИТЕБСКИЙ

\*\*\*

Моё время уходит, дорогой пыля,  
И котомка надежды становится тощей...  
Мне б цветами взойти на зелёных полях  
Или ветром бродить по берёзовым рошам,  
Раствориться в прохладе бездонной воды,  
Пить по каплям небесную просинь,  
Снять, как знаки раба, ожиданье беды  
И одеться в багряную осень.  
Ничего не забуду, что было со мной,  
Ни о чём никогда не заплачу, -  
Благодарен я жизни короткой такой,  
Временами дарившей удачу.

1988 г.

\*\*\*

Когда беда к тебе стучится,  
И ломится настырно в дверь,  
А над тобой летят зарницы,  
Ты всё равно люби и верь,  
И сохрани надежды семя,  
Что повернёт течение вспять,  
И вновь упор ногою в стремя,  
И в битву полетим опять.  
О, дай мне, Господи Всевышний,  
Почувствовать победы вкус, -  
Не надо славословий пышных,  
Я просто в молодость вернусь.

1977 г.

\*\*\*

Наш разговор как ни о чём,  
Твои слова звенят каплейю  
И вписано твоё плечо  
В ночное небо акварелью.  
Мы в темноте не видим глаз,  
Но иногда луной подсвечен  
Твой взор, как мысленный рассказ,  
Мне обещал любовь и вечность.  
Метались волны по песку,  
Шепча нам с тихою печалью,  
И серый облака лоскут  
На звёздах трепетал вуалью.  
А вдалеке скалистый клык  
Уступом рассекает море  
И корабля тревожный вскрик,  
Как будто с тишиною спорит.  
Такая нега есть в ночи,  
Что в ней хотелось раствориться...  
Мы замираем и молчим,  
Листая лунные страницы.

1988 г. Крым. Карабах.

\*\*\*

Однажды упаду я на бегу  
И сердце разобьётся, но поверьте,  
Что никогда забыть я не смогу  
Свою любовь, что дарит нам бессмертье.  
Слова любви теряются порой  
И в повседневности теряется сердечность,  
Но сквозь ошибок пережитых строй  
Я руку протяну к тебе, как в вечность,  
И буду гладить волосы твои,  
И вспоминать, что где-то за горами  
Уже летят над миром журавли,  
Чтоб повстречаться, повстречаться с нами.

1979 г.

\*\*\*

Уйдут со мной все горести и беды,  
Желания, надежды и победы,  
Ещё любовь и неба голубень, -  
Вдруг разобьётся солнце на куски  
И упадёт, как слёзы от тоски,  
И канет в Лету уходящий день.

Но ты плохому никогда не верь,  
В необратимость горя и потерь,  
А верь в любовь, что нас хранит с тобою, —  
Уйдут, как лепестки весны,  
Очарование юности, как сны,  
И мы летим на небо голубое.

\*\*\*

Ты меня не забудь в тот оставшийся миг,  
Когда станешь однажды вдовою,  
Я к тебе своим сердцем навечно приник, —  
Вспоминай же, что было нас двое.  
Даже если в годах растворится мой лик,  
Словно время твоё молодое,  
Даже если другой в твоё сердце проник, —  
Ты запомни, что было нас двое.

1979 г.

\*\*\*

Словно в старый забытый архив,  
В свою память вхожу осторожно,  
Где историй различных извив  
Отыскать при желании можно.  
И поток пожелтевших страниц  
Мне покажет влюблённости годы  
И десятки исчезнувших лиц  
В перепутях злой непогоды.  
Вдруг всплывают из самых глубин  
Чьи-то образы, милые сердцу,  
А, оставшись один на один,  
Превращаются в нежное скерцо.  
И призыв далеко-далеко  
Позовёт в позабытые дали —  
То, что раньше манило-влекло  
И о чём мы когда-то мечтали.  
И, отбросив на время года,  
Я иду по аллеям бессонья:  
Здесь не жили вражда и беда,  
Только ревности падали комья.  
Вспоминать невозможно теперь,  
Как бывало до боли обидно, —  
Но закрыта у памяти дверь  
И нагадивших больше не видно.  
Только радость летит, как салют,  
Разноцветные блёстки рассеяв,  
Здесь плохие уже не живут,  
Здесь любви и надежды посевы.  
У родимых поплачем могил,  
Наше прошлое вымыв слезами,  
Тот, кто был и останется мил, —  
Этот выбор мы сделали сами  
И живём мы, себя не щадя,  
Если любим, то любим без края,  
И надежды, как капли дождя,  
Что на солнце палитрой играют.  
Пусть ложится вчерашняя боль  
На *запыленных* полках архива,  
Где немало неведанных доль  
Нам расскажет, что жили счастливо.

\*\*\*

Научитесь работать веслом,  
Не идите всегда по теченью  
И проверьте его на излом,  
Чтоб не плавать подводною тенью.  
Кто сумеет дорогу найти?  
Не суди ослабевших огульно, —  
Очень многие люди в пути  
Оказались на лодке безрульной.  
Их так мало сегодня ещё,  
Не боящихся ветра и молний,  
Те, кто штормом свирепым крещён,  
Но простор полюбившие вольный.  
Я готов вместе с ними в огонь  
И в любую холодную воду,  
Не боимся угроз и погонь,

Породивших последнюю моду.  
Стоит только согнуться в беде,  
Что навалится глыбой ужасной,  
И становится ясно тебе:  
Эту жизнь прожили напрасно.

1979 г.

\*\*\*

Мнёт болезней меня круговерть,  
Я, как мяч, только в дырках и сдутый,  
Но не верится мне в мою близкую смерть  
До последней, последней минуты.  
Ничего не бояться и выжить суметь,  
От судьбы не приемлю подвоха, —  
Никогда не поверю я в близкую смерть  
До последнего взгляда и вздоха.

\*\*\*

Над рекою нависли обрывы  
И хатынок белеющих ряд,  
За жердями дворовых оград  
Ветер треплет склонённые ивы.  
Пахнут яблоки солнцем и мёдом,  
А над ними кружение ос,  
Пряным запахом поздний покос  
Постелился на тихую воду.  
Поздний август ложится повсюду, —  
Словно золота груды стога,  
И душистой копною шуга  
Тешат взоры уставшему люду.  
Растворился я в тёплой воде,  
В ароматах созревшего лета, —  
Значит, песня моя не допета,  
Я забыл о постигшей беде.

Чиповичи. 1956 г.

\*\*\*

Сейчас декабрь, солнышка не жди,  
Зима раздела догола деревья, —  
Идут по Филадельфии дожди,  
Мою печаль по улицам развеяв.  
Но сквозь туман и холода полёт  
Я вижу взрыв весеннего цветенья  
И потому душа моя поёт  
И требует любви и всепрощенья.

\*\*\*

На зелёной россыпи трав  
Багряные листья.  
Тяжёлая холодная волна  
Ломает солнечные руки.  
Октябрь.

\*\*\*

Ноябрь.  
Холодная морось.  
Руки тополей воздеты —  
пошадь!  
Время не безжалостно, —  
оно уходит,  
потому что время.

\*\*\*

Декабрь.  
Солнце  
прикладывает тёплые руки  
к застывшим телам деревьев.

---

# ПЕРЕВОДЫ

---



---

ПОБЕРЕЖЬЕ

---

МАРИНА ГАРБЕР

КЛАУДИО БАЛЬОНИ

Перевод с итальянского

## ПРОПАВШИЕ (UOMINI PERSI)

...и даже тот, спящий в углу с клопами, накрывшись газетой, с ладонью на глазах, когда-то спал в комнате, где из-под двери виднелась полоска света из спальни напротив; быстрые ноги, пританцовывая, лавировали у моря в последнее лето детства, яркие карусели, где светло и безлюдно, и многократные просьбы: «мама, еще разочек»...

...и те, другие, полузадушенные воротничками и галстуками, те, которые Двадцать четыре часа кряду призывают к войне, вернулись в школы после каникул; раскрытые ранцы, листы бумаги по ветру и солнце, удлиняющее цветные тени, игры на пустыре перед домом и два пальца «аля пистолетик»...

...и те, безумные, стрелявшие в людей, будто компостировали билеты, полагали, что мертвых накрывали, дабы они не замерзли, и что сон их был легкий, следили за самолетом в небе, не дыша и не сглатывая, и вперялись в игрушечный город внутри стеклянного шара, в котором, если потрясти, шел снег...

...те, которые покупают чужие жизни, выдавая взамен тяжелые фунтики с горем, когда-то обменивались солдатиками, делились секретами с друзьями постарше, сперва заставляя поклясться в хранении тайны; закинутые головы на задних сиденьях отцовских автомобилей на длинных и шумных дорогах по возвращению в город...

...и пропащие, которые сеют бомбы среди беспомощных тел, словно среди стеклотары или бездушных марионеток, когда-то швыряли камни в рядовых муравьиной армии; строгие голоса матерей под звездным квадратом двора-колодца, именины, родные, пальто «на вырост» и восторги, мол, «как на тебя шито»...

...и эти, с глазами жаждущих жизни, но рожденных для голодной смерти, когда-то слюной лечили ободранные коленки, и легкие, словно лохмотья платьев, мечтали играть в футбол «взаправду и только вместе»; добрый отец, выгоняющий еженощно страшные чудища из-под кровати...

...и эти христосы, павшие без креста и без имени, игравшие в мореходов; жар в волосах, конфеты, растаявшие в ладонях, и лодки из ореховой скорлупы, в которых покоятся надежды на завтра

— всех пропавших и всех пропащих на свете...

## ДЖОНАТАН САФРАН ФОЕР

Из романа «Всё освещено»

Глава «Книга повторяющихся снов»

Перевод с английского

4:512 Сон о любви без боли. Четыре ночи тому мне снились стрелки часов, соскальзывающие со вселенной вниз — дождем, зеленый глаз луны, жуки и зеркала, любовь без края. Это не было чувством полноты, которого мне так недостает, скорее, чувством не-пустоты. Мой сон прервался, когда я почувствовала близость мужа.

4:513 Сон об ангелах, которым снятся люди. Когда я задремал после обеда, мне приснилась лестница. Ангелы-лунатики взбирались и спускались по ступенькам, с закрытыми глазами, с дыханием тяжелым и глухим, с крыльями, вяло свисающими по бокам. Я наткнулся на старого ангела, разбудив и перепугав его. Он был похож на моего деда незадолго до смерти, когда каждую ночь он молился о том, чтобы умереть во сне. О, сказал ангел, а ты мне только что снился.

4:514 Сон, как смешно это ни звучит, о полете.

4:515 Сон о вальсе тира, чумы и тира.

4:516 Сон об отпущенных птицах (4б). Я не знаю, называть ли это сном, или воспоминанием, потому что это действительно произошло, но, засыпая, я вижу комнату, в которой я оплакивал своего сына. Те из вас, кто находился там, помнят, как мы сидели, не произнося ни слова, как мы ели лишь столько, сколько от нас требовалось. Вы помните, как птица разбилась об оконное стекло и упала на пол. Вы, присутствовавшие, помните, как она пере-

дернула крыльями перед смертью, и оставила после себя кровавое пятно на полу. Но кто из вас первым заметил негатив, оставленный птицей на стекле? Кто первым увидел тень, отброшенную птицей, тень, сосавшую кровь из любого пальца, посмевшего потянуться к ней, тень, которая была доказательством птичьего существования — более значительным, чем сама птица? Кто из вас был со мной, когда, оплакивая своего сына, я вышел, чтобы похоронить эту птицу собственными руками?

4:517 Сон о любви, свадьбе, смерти любви. Кажется, что этот сон длится несколько часов, хотя он всегда мне снится в течение пяти минут после возвращения с полей — перед тем, как меня будят к ужину. Мне снится то время, когда я впервые встретил свою жену, пятьдесят лет тому, снится так, как это было на самом деле. Мне снится наша свадьба, и я даже вижу слезы гордости в глазах моего отца. Всё точно так, как было в жизни. Но потом мне снится моя собственная смерть, что, как я слышал, невозможно, но уж поверьте мне на слово. Мне снится моя жена у моей постели, она говорит, что любит меня, и хотя она думает, что я ее не слышу, я всё слышу, и она говорит, что не изменила бы ничего. Мне кажется, что я пережил этот миг тысячу раз, так всё знакомо, вплоть до последнего мига, кажется, что всё это снова повторится бесконечное число раз, что мы встретимся, поженимся, родим наших детей, будем одинаково благополучны, одинаково неблагополучны, абсолютно такие же, по-прежнему бессильные что-либо изменить. Я снова внизу неостановимого колеса, и, закрывая глаза для того, чтобы умереть, как это было и будет тысячу раз, я просыпаюсь.

4:518 Сон о вечном движении.

4:519 Сон о низких окнах.

4:520 Сон о безопасности и покое. Мне снилось, что я появился на свет из тела незнакомки. Она родила меня в секретном местечке, далеко от всего того, что я, подрастая, привык считать своим. Сразу же после родов, для правдоподобности, она отдала меня моей матери, и моя мать сказала, Спасибо. Ты дала мне сына, дар жизни. Поэтому, что я появился на свет из тела незнакомки, я не боялся тела своей матери, и я мог обнимать ее, не стыдясь, а просто любя. Так как моя мать меня не рожала, мое желание возвратиться домой никогда не приводило меня к ней, и я был волен говорить Мать, подразумевая исключительно Мать.

4:521 Сон об отпущенных птицах (47). В этом сне, который снится мне каждую ночь, всегда сумерки, и я наслаждаюсь своей женой, своей настоящей женой, ну той, на которой я женат вот уже тридцать лет, а вы знаете, как я люблю ее, как сильно я ее люблю. Я глажу ее бедра, вожу руками по ее талии и животу, касаюсь ее груди. Моя жена очень красивая женщина, вам это хорошо известно, и во сне она такая же красивая. Я всматриваюсь в свои руки на ее груди – мозолистые, огрубевшие, мужские руки, жилистые, дрожащие, нежащие – и я вспоминаю, сам не зная почему, но так происходит каждую ночь, я вспоминаю двух белых птичек, которых моя мама привезла мне из Варшавы, когда я был еще совсем ребенком. Мы отпустили их полетать по дому, садиться там, где им вздумается. Я помню спину матери, когда она жарила яйца мне к ужину, и я помню, как птички примостились на ее плечах, клювами вверх – у ее ушей, будто собирались сказать ей что-то по секрету. Она протянула руку к шкафчику, ища – не глядя – какую-то специю на верхней полке, хватаясь за что-то ускользающее, нежащее, следя за тем, чтобы не пригорел мой ужин.

4:523 Сон о встрече с собой молодым.

4:526 Сон о животных, два по два.

4:524 Сон о том, чего я не стыжусь.

4:525 Сон о том, что мы – наши отцы. Я пошел к Броду, не зная зачем, и взгляделся в свое отражение в воде. Я не мог оторваться. Какое видение увлекло меня за собой? Что было тем, что я любил с такой силой? Наконец, я догадался. Так просто. В воде я видел лицо моего отца, а его лицо видело лицо моего отца, и так далее, и так далее, возвращаясь назад к началу времени, к лицу Бога, по образу которого мы были созданы. Мы сгорали от любви к самим себе, каждый из нас был источником огня нас сжигавшего, наша любовь была мукой, единственным исцелением от которой была наша любовь.

## ЯН ПРОБШТЕЙН

Из английской поэзии XVII века

Джон Марстон (1575? – 1634)

### Вечному Забвению

Великая прожорливая пасть,  
Не отвергай меня, хотя упасть,  
Казалось бы, не терпится в твой зев.  
Пусть молят, чтоб не сгинул их напев,  
Другие, но, голодное Забвенье,  
Пожри меня, прими мое моление:  
Пусть докучаю искренней мольбой,  
Нарушив царства твоего покой,  
Меня, мой грубый стих возьми с собой.  
Стихи достойнее моих во сны  
Уж погрузились в царстве тишины,  
Вольны от ненависти и любви,  
Но ненависть бурлит в живой крови  
И яростью блазнится человек,  
А после успокой его навек.  
Уймись, злые языки, теперь  
Молчания приоткрываю дверь,  
Свободен от всех подлостей, однако  
Коль не разбудит злобная собака,  
Заснет разящий стих мой в царстве мрака.

## Ричард Лавлейс (1618-1658)

Лукасте, отправляясь на войну

Не говори, что я жесток,  
Что персей белизной,  
Дум чистотою пренебрёг  
Я, призванный войной.

Другую предпочтя — войну,  
Я в бой с врагом лечу  
И с верой крепнущую льну  
К щиту, коню, мечу.

Но пыл, что и тебе ведь мил  
В моей измене есть:  
Я так тебя бы не любил,  
Коль не любил бы честь.

Генри Вокс (1621/1622-1695)

### Преследование

Господы! Зачем неугомонным  
Ты человека сотворил -  
С утра и до ночи бессонным,  
В работе до последних сил?  
Когда же тучи свет дневной  
Затмят, сокрыв светило,  
Он трудится во тьме ночной,  
Хоть солнце мгла сокрыла.  
Когда б ты сей активный прах  
Усталости лишил,  
О доме блудный сын в бегах  
Навечно бы забыл.  
Вот – тайна, Боже, но и милость,  
Благословенье света,  
Когда спасенье не открылось,  
То остается это.  
Когда б ты, Боже, хворью взять нас мог,  
Ведь нам, здоровым, так ли нужен Бог?

### Быстрота

Ты, жизнь, обман и мишура,  
Прейдешь как скоро?  
Обманывает всех твоя игра,  
Скрывая правду от их взора.

Лунатиков бесплодный труд,  
Всегда в смятенье,  
Ветра с волнами спор ведут,  
Пустое бури мельтешенье.

Но жизнь есть также вечный свет,  
Покой, Отрада,  
Сияет до скончанья лет,  
Вовек не пресыщая взгляда.

Живой улыбкою горя,  
Жизнь — благодать,  
Способна, светом нас дая,  
Без Вечности очаровать.

Жизнь – трудолюбие крота.  
Никто не смог  
Сказать, что жизнь есть быстрота,  
Её поцеловал мой Бог.

### Книга

Господы! Создатель ты творенья,  
Живущего сс дня паденья;  
Утес веков! В твоей тени  
Живут, хоть сгинули они.  
Ты знал сей лист, когда едва  
Из семени взошла трава,  
Не скошена еще и даже

Не стала ни холстом, ни пряжей:  
Как жил, что делал, думал как —  
Зерно та жизнь или сорняк?  
Чем был покрыт, когда Покров  
Ты сотворил, как рос и зрел,  
Будто не смерть его удел?

Жил безобидный зверь, доколе  
Питанье находил по воле  
Твоей средь зелени кругом,  
Насытившись, он спал потом,  
Одетый в кожаный покров,  
Обложкой много уж веков  
Сей книге служит он - в слезах  
Гляжу на собственный свой прах,  
Ты знал их всех, ты наблюдал их,  
Потом рассеял, разбросал их.

Великий дух! Когда зверей,  
Растенья возродишь, людей,  
Все возроди и жить позволь,  
И уничтожь лишь смерть и боль,  
Чтоб средь творений тот возник,  
Кто в них искал любя твой лик!

**Томас Тразн (1637/38-1674)**

### Приветствие

1  
Глаза и руки эти,  
Вот эти ножки, розовые щечки,  
Все, в чем дана мне жизнь на этом свете,  
В какой таились оболочке?  
Из бездны, пропасти какой возник,  
Где был ты, мой глаголющий язык?

2  
Когда немой  
В хаосе много сотен тысяч лет  
Лежал, покрытый праха пеленой,  
Мог распознать ли свет,  
Смех, слезы, все, что в дар очам, ушам,  
Устам дано? Сколь рад я всем дарам!

3  
Из вечности возник,  
Где долго как ничто я пребывал,  
Не ведал радостей, как слух или язык,  
Не зрил, не осязал  
Вот этими руками, а стопами  
По сей земле не шел под небесами.

4  
Дороже злата  
Тех радостей слепящих новизна!  
Стократ младенческие ножки святы,  
Живет душа в них радостей полна;  
Сокровищ всех стократ  
Ценнее голубых прожилок клад.

5  
Восстал из праха я,  
Проснувшись из ничто, облекся в плоть —  
Здесь яркие приветствуют края,  
Где одарил Господь  
Морями, солнцем, небом и землей,  
Здесь все мое, что я дарю хвалой.

6  
Задолго перед тем,  
Как был я в этот яркий мир рожден,  
Его Господь украсил блеском всем,  
Мир подготовил он,  
И в этот рай, просторный и пригожий,  
Вхожу как сын и как наследник Божий.

7  
Я странник все же,  
И странны мне явления, предметы  
И все великолеpie мира тоже,  
Все ново, странно это,  
Но мне странней всего однако то,  
Что отдано все мне, кто был ничто.

### Чудо

1.  
Сошел я в мир, как будто ангел, право!  
Сколь все здесь ослепляет глаз!  
Меня, когда явился в первый раз,  
Его созданий увенчала Слава!  
Напоминал мне вечность мир Его,  
Моя душа по ней бродила;  
Все, что касалось зренья моего,  
Со мною говорило.

2.  
Великолеpie дивное небес,  
Живой и животворный воздух,  
Божественное небо в звездах -  
Всех чувств услада и очес,  
И столь чисты все Божии творенья,  
Их слава столь ярка,  
Что мне казалось, чудо восхищенья  
Продлится на века.

3.  
Природные невинность и здоровье  
Вливались в чресла, в плоть,  
Пока мне Славы блеск являл Господь,  
Всех чувств вбирал я полнокровье,  
Сие был Дух. Плыл в море жизни я,  
Пьянившимся, как вино,  
Пусть мира я не знал, ни бытия,  
Божественно оно.

4.  
Сокрыты были грубые предметы,  
Грехи, раздоры, гнев и гнет,  
Стенанья, слезы, вопли из тенет, -  
Сверкало в средоточье света  
Лишь то, в чем явлен Божий дух, награда  
Для ангелов, не труд, печали, -  
Лишь благодать, невинности отрада  
Все чувства наполняли.

5.  
Блистают золотые мостовые,  
Друзьями были мне все дети,  
Так лица их светились в добром свете,  
Что дети смертных были как святые,  
Открылся мир веселья, красоты,  
Все, что меня здесь окружало, -  
Как ангел, всъ я видел с высоты, -  
Все землю украшало.

6.  
Алмазы, бриллианты, изумруды  
Я видел роскошь пред собой,  
Зеленый, желтый, красный, голубой,  
Везде за чудом чудо,  
Богатства принимая во владенье,  
Не уставал на них взирая я,  
Благословеньем было изумленье —  
Нет выше счастья!

7.  
Проклятой собственности ухищренья,  
То, что растлить смогло бы Рай —  
Обман, алчба и зависть через край  
Затмились блеском восхищенья,  
Как ряд границ, пределов и оград, -  
Не к ним стремился я душой,

Мечте об общности людей был рад,  
И обретал покой.

8.  
Усадьбы и дома моими стали,  
Любой кустарник, сад любой,  
Все стены, залы, сундуки с казной  
Не разделяли – озяляли.  
Наряды, украшения, кружева,  
Столь восхищали на других,  
Что мне казалось, был рожден едва,  
Уже носил я их.

#### Эдем

1  
Неведеньем ученым отделен  
Я был от суеты  
И всей земной тщеты,  
Не слышал я несчастий стон,  
Безумств и праздной пустоты,  
Грехи, смятенье, распри и печали  
Еще ни твердь, ни землю не пятнали.

2  
Еще не ведал я, что змия жало  
Сражало всех подряд,  
Излив на смертных яд,  
Что пасть людскому роду угрожало  
И что грехи весь мир сразят, -  
Казались люди мне чисты, умы  
И жизни, и бессмертия полны.

3  
Любовь, надежда, слава, наслажденье,  
Жизнь, свет и доброта,  
Гармония и красота  
Мое ласкали сердце, слух и зренье,  
И чувств не стерлась острота,  
Сокровищницу я открыл Вселенной,  
И мир был полон радости бесценной.

4  
К раскаянью тогда не принуждали,  
Ни дорогих забав,  
Ни рынков, ни орав,  
Мальчишки сквернословия не орали, -  
А вереск, радости поправ,  
Не заглушал мой путь и все окрест,  
И красоту, и благодать здешних мест.

5  
Адама зрел я до грехопаденья,  
А золотой песок  
И серебра поток  
Земля еще скрывала. Наслажденья  
В судьбе благословенной мог  
Невинные вкушать, благие - те,  
Что знал он в первозданной простоте.

6  
И как Эдем Адамов, украшала  
Та простота меня,  
С рождения храня,  
И с юных дней младенчество венчала.  
Глаза, сокровища огня,  
Первотворенья Господа узрели,  
Пути любви познал я с колыбели, -

7  
Любовь была столь велика, светла,  
Божественна, верна,  
Прекрасна и ясна,  
Что с детских лет душа была  
От дел людских отвлечена,  
И увлекла меня, чтоб мог я впредь  
Чудес Господних славу лицезреть.

#### Невинность

1  
Но более всего дивлюсь я чуду,  
Тому я вечно радоваться буду  
И высшую воздам из всех похвал,  
Что я пятна греха не знал.

Я жил не затемнённый мраком,  
Был чистым свет внутри меня,  
Не сокрушен виной и страхом,  
Душа была полна огня.

Была мне ночь сродни заре,  
Душа чиста и рада,  
И лето было в декабре,  
Невинности награда.

2.  
Серьёзной медитацией душа  
Поглощена, восторженно спеша,  
Смотрела не на внешние приметы,  
Но прозревала все предметы.

И зрак парил, исполнен восхищенья,  
Хвалить не уставая и любить  
То, что сокрыто славою от зренья,  
Что может лишь присутствие открыть.

Присутствие явлений сих  
В непреходящей славе,  
Что было скрыто от других,  
Ликуя, зрел я въяве.

3.  
Малейшего не чувствовал влеченья  
К алчбе или гордыне. На колени  
Душа в восторге пала, ниц склонясь.  
Не замутняла жизнь борьба и грязь.

Презренье, ложь и гневный пыл,  
И ревность не владели мной,  
Все, что я видел, я любил.  
Восторг и благодатный покой

В душе моей царили. О, такую  
Испытывал я благодать  
И вдохновение, что ликуя  
Я рад был на колени пасть.

4.  
Была, быть может, столь чиста природа,  
Порочны лишь пути людского рода,  
Иль Бог чудесно устранил вину,  
Душе даруя лишь любовь одну

Столь рано, иль один лишь миг  
Я испытал блаженство счастья,  
Был свет столь яростен и велик,  
Что заключил навек в объятья.

Но чем бы ни был этот свет,  
Он бесконечен для меня,  
И мир восторга с первых лет  
Зрю до сегодняшнего дня.

5  
Небесные врата узрел я Рая,  
И древний свет Эдема, проникая  
Мне в душу, мне открыл тогда: Адамом  
Я был ребенком малым самым

В той сфере радости, где Рай,  
Переполюсь через край,  
Невинности явил мне вид.  
Бесценный мир был весь открыт.



Преддверье Неба зрил я въяве!  
Царить я на земле был вправе,  
Мир чист внутри был и вовне.  
Вновь стать ребенком должно мне.

### Приготовление

1  
Бездействовала плоть, ни рук, ни ног  
Не чуял я, пока язык  
И звезды глаз я не постиг,  
Свое лицо и щеки видеть смог,  
Пока своими рук не ощутил,  
И то, как плоть крепилась сетью жил,  
Пока язык и уши, нос и руки  
Не различили вкус, предметы, звуки,  
Я в доме незнакомом  
Сживался с новым кожаным покровом.

2  
Одна душа была в моем владенье -  
Огромным оком, в нем  
Тонул весь окоем, -  
И претворяла суть и силу в зренье.  
Я внутренней был Сферой Света цельной  
Или орбитой Зренья беспредельной,  
Живым и бесконечным днем,  
Животворящим Солнцем, что лучом  
Дарило жизнь, нагим  
И чистым Разумом простым.

3  
Ни голода, ни жажды я не знал,  
Необходимость и нужда  
Не докучали мне тогда,  
И мед вкушал я, избегая жал,  
И без помех Идеи всех вещей  
Я постигал в божественности всей,  
А внутреннее мыслящее око  
Покой вбирало, скрытое глубоко.  
Меня, небесного царя,  
Все восхищало, радости дая, -

4  
Ведь красота у Зренья во владенье,  
У Слуха звук, у Носа – аромат,  
А в языке таится Вкусов клад,  
И Чувство Чувству дарит наслажденье,  
Но обо всем я позабыл в тот час,  
Став средоточьем зренья, то бишь глаз.  
Я бестелесен был и беззаботен,  
Подобно ангелам святым, бесплотен,  
Ибо у совершенств один –  
Простое чувство полный властелин.

5  
Я к радости и счастьем был готов,  
Не озабочен суетой  
Иль низменных вещей тщетой  
Погибелю, свободен от оков  
Всех суетных страстей,  
Способных чувства соблазнить в моей  
Земной сей ипостаси, или  
Ущерб им нанести, лишит их крылий.  
Я был свободен, словно  
Ни грех, ни скорбь не посетили мир греховный.

6  
Копились силы, лишены страстей,  
Чисты, прозрачны, как хрусталь,  
Отполированы, как сталь,  
И облачались в образы идей.  
Небесных впечатлений сонм  
Всю душу вмиг охватывал огнем.  
Рай создается вовсе не явленьем,  
Но светом и незамутненным зреньем,

Дается тем отрада,  
Кто обладает чистотою взгляда.

7  
Где чувство не запутано ничуть,  
Где легкость вольных дум,  
Где быстр незамутненный ум,  
От суетных страстей свободна грудь,  
Где в чистом духе воплощен покой,  
А разум с Серединой Золотой  
Знаком, - там красоты, отрад  
Чертог, и совершенства там царят.  
Душа, когда вольна,  
Ты станешь, восхитишься всем сполна.

### Восхищение

1  
О детства миг!  
Огонь небес! Священный свет!  
Светлее нет!  
Сколь я велик -  
Вселенной увеличен лик!

2  
О радость неземная!  
О сколь огромна благодать,  
Я счастлив обладать  
Тобой, святая!  
Не свыше ль получил тебя я!

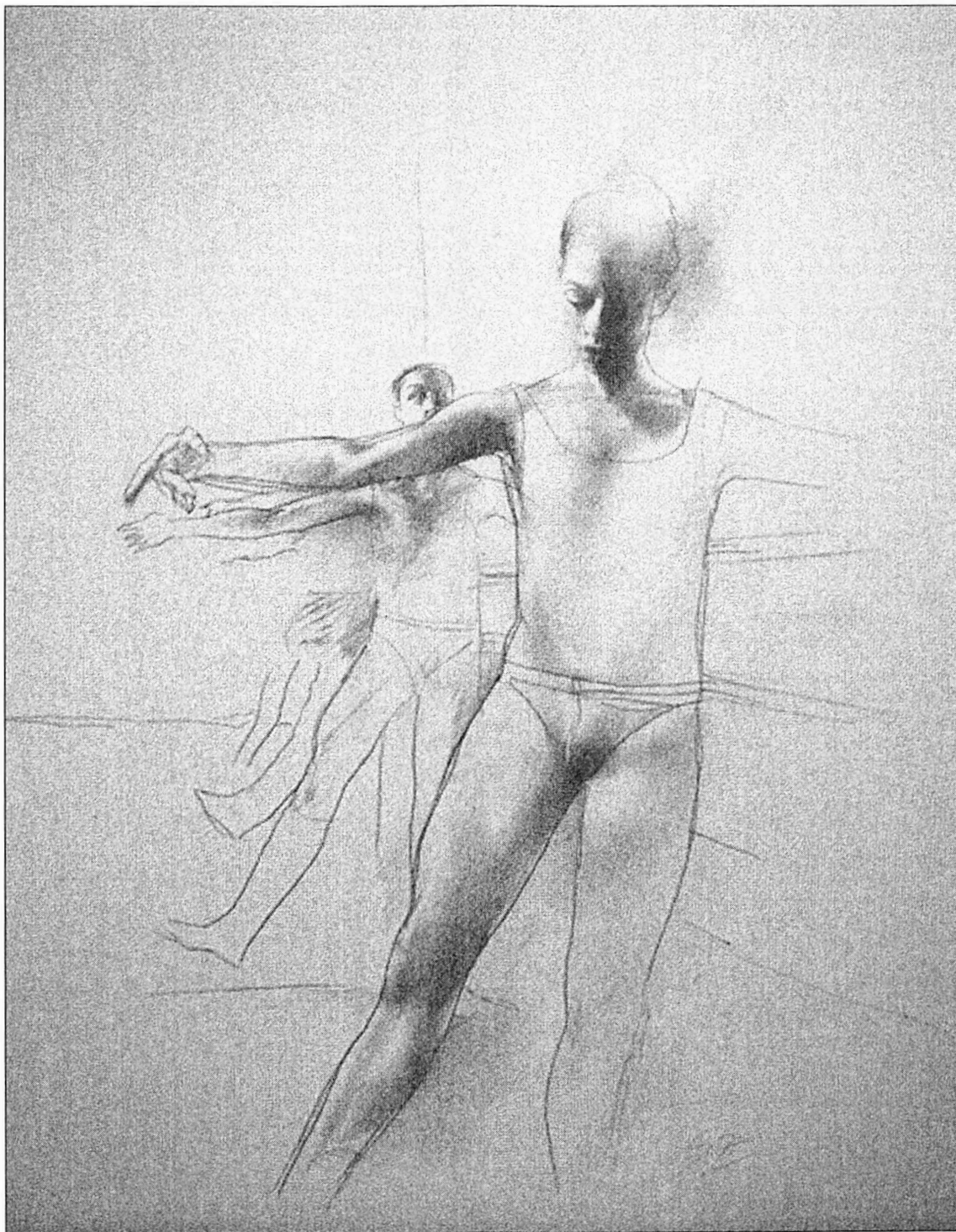
3  
Ты Богом мне  
Дана, чтоб славить Бога имя  
Со звездами твоими,  
И солнце в вышине  
Любовь являет мне в огне.

4  
Божественный какой  
Я сам! Кто одарил здоровьем  
Меня, подобьем  
Создал святой  
Своей Божественной рукой!

### Мой дух

1  
От жизни я возник простой,  
И озарились разом  
Земля и небо надо мной,  
И зародился разум,  
Я сам был чувством и душой.  
Душа, как чаша без краев и граней,  
Была не телом и не пустотой,  
Моею сутью было содержание.  
Я чувствовать все вещи мог,  
И мысль брала в себе исток,  
Ей для ходьбы не нужно было ног  
Ни рук для осязанья,  
Она, отринув крылья,  
Парила без усилья,  
Зорка без глаз, проста, как Бог,  
Где центр был сферою, и где  
Все было в центре и везде.

2  
От центра ни один предмет  
Не удален, со сферой слит,  
В ней действия от центра нет,  
Все бытие в единстве зрит  
И тяги собственной секрет  
Таит в себе, не нужно ей, чтоб сила  
Извне в движенье приводила  
Ее, чтоб действовать в ответ,  
А суть столь истинна, верна  
В столь совершенный акт она



Сергей Жуков. Карандаш. В балетной студии Ольги Кресиной.

Была Творцом претворена  
Таинственно, и сила эта -  
Не только действие и зренье,  
И созерцанье, и движенье, -  
За воплощением воплощенье,  
Вся переменчивее света  
Была сама в себя одета.

3

Когда я зрил предмет, то он,  
Вливаясь тотчас же в мой зрак,  
В моей душе был заключен,  
Природа повелела так,  
Таков был Господи закон.  
Хранившийся во мне чудесный клад,  
Прямой источник внутренних отрад,  
Даря восторги, разум просвещал.  
Всем, что чеканила она,  
Моя душа была полна,  
Где мысль была то ль вещью рождена,  
То ль мыслью вещь была, я сам не знал, -  
Возникли ль сами там явления,  
Но только в духе без сомненья  
Все вещи обитали, или мал  
Мой разум был, вобравший мирозданье,  
И не один он излучал сиянье?

4

В одном лишь был уверен я, -  
Любое расстоянье  
Преодолев, душа моя  
(Всю силу, претворив в дерзание)  
Неслась в далекие края -  
Столь быстр и чист ее родник,  
Что разум уносился с нею вмиг,  
Сливаясь с тем, что видел он:  
Ему ничто был милей миллион  
До солнца; далека  
Звезда и высока,  
Но в яблоке глазном она жила,  
Там разум, чувства, жизнь, сознание,  
Мой дух сиял, субстанция была,  
Не трансцендентным было то влияние,  
Был имманентным акт: пусть был далек  
Предмет, его здесь чувствовать я мог.

5

О радость и творенье волшебства!  
Святая тайна! Восхищенье!  
Моя душа есть образ Божества!  
И духа бесконечного явление!  
И свет чистейший естества!  
Великое нам мнится бытие  
Ничем, но почему оно мое?  
Всего превыше что сие!  
Загадочная сфера! В глубине  
Там бездна зрит,  
Собой являя вид  
Приюта благодати мне.  
Сравниться может лишь с Творцом  
Любовью, жизнью, естеством,  
Величьем, чувством и умом, -  
Сей образ столь любим,  
Что сына в нем и друга Бога зрим.

6

Сколь сфера радости чудна:  
Хоть изнутри ее движенье,  
На внешних сторонах помещена,  
Не Божьего происхожденья,  
В мгновенье все ж заключена,  
Стоит как неделимый центр, притом  
Объяла вечность целиком,  
Не сферою была нимало,  
Но бесконечной представляла  
И вездесущность проявляла,  
Всевидения дар имела

И прозревала за пределы,  
И все ж сиять она могла  
И сгустком разума была,  
Ведь бесконечность въяве зрела.  
Не сфера, но при этом сила,  
Незрима, но приют дарила.

7

Сколь дивно «я»! О, сфера света  
В прекрасном радостном обличье!  
Сколь жива сфера зренья эта!  
Деяние! Могущество! Величье!  
Изысканный несвязанный эфир!  
Во мне, но все же я. Ты - целый мир  
Внутри. Ты бесконечности венец  
И око. Тут,  
Освободясь от пут,  
Все вещи и явления живут,  
Духовности редчайший образец, -  
Пусть отличаются от всех  
Творений чистых тех,  
Что создал мироздания Творец,  
Хотя и запятнал их ныне грех,  
Божественны они и там нужны,  
Возвышенны и там сиять должны!

## О Новостях

1.

Те новости из заграницы  
Пришли, как бы даря бесценный клад:  
Я сердцем смог воспламениться!  
Не слух лишь был дарить душе их рад.  
Душа была столь рада  
Ту близкую усладу  
Встречать в преддверье,  
Неведомому благу веря.  
Паря, коснулась слуха,  
Чтоб вылететь из уха,  
Как бы обнять спеша  
Известий тех прилив,  
Покинуть кров могла душа,  
Ту радость вновь продлив.

2.

Вещественны как будто вести были,  
Заморские сокровища из клада,  
Или взмывали ввысь по воле крылий,  
Такая в них услада и отрада!  
Стояла у ворот  
Душа моя, вот-вот  
Готова в благодати  
Омывшись, в скорости объятья  
Упасть и бросить взгляд  
Окрест, но к сердцу вновь назад  
Спешить должна была она  
И оставаться всё ж на месте  
Блаженствуя, но всё ж должна  
Была назад нести те вести.

3.

Надеждой в детстве вдохновлял мне душу  
Столь мощною какой инстинкт святой?  
И радости искать, покинув сушу,  
Кто в детстве тайной заставлял рукой?  
Я знал, была отрада  
Вдали от взгляда,  
И видел, одинок,  
Что радостей источник был далёк,  
Хотел припасть я  
К истокам дальним счастья,  
И полагал, что за морями  
А может, рядом милость ту  
(Не радовало то, что пред глазами)  
Я вскоре обрету.

4.

Едва ли всё ж мечтать ребёнок мог,  
Что все сокровища миров в тот час  
Лежали в ожидании у ног,  
И что он сам - венец всего, алмаз.  
Но было так. Венец,  
Начало и конец,  
Кольцо, собой  
Объяввшее весь шар земной,  
И зрак небес,  
Что были меньше тех очес.  
Та вещь, где вещая душа,  
Как царь, владела всем, была  
Столь велика и хороша  
И всё ж ничтожна и мала!

#### **Возвращение**

(Из Манускрипта Берни – Burney Manuscript)

Иду, Господь, я в детство снова, чтобы  
Мне зрелость выправить свою:  
Наставник первый мой – утроба,  
Я колыбель люблю.  
Как странно – мудрым я слышу,  
Грехов не видя наяву.

Пока соблазн не в силах побороть,  
Младенцем быть почти за благо  
(От риска детский ум и плоть  
Мужа спасут однако);  
Во чрево потому лечу,  
Что я родиться вновь хочу.

Я знал, Господь, твои щедроты,  
Пока не свылся с нищетой,  
И с восхищением зрил я, что ты  
Дарил своей рукой.  
Вкушал я от твоих щедрот  
Добра и славы круглый год.

#### **О прыжке через луну**

Я новый мир увидел под водой,  
Иное небо и народ другой,  
Где солнце, коли светит днем на вещи,  
Позволит их увидеть много резче.  
Узрел мой брат  
Немного дней назад  
Во время странствий ночью  
Еще чуднее вид воочью,  
Навряд ли мир сумел бы показать  
Такой чудесный вид опять.

Сколь дивно приключение! Едва ли  
Подобное в мечтах видали:  
Шел по земле, казалось, он,  
Но был над твердью вознесен,  
И в поднебесье тело  
Его взлетело.  
Что въяве зрел он, было волшебством,  
Шел по дороге брат, и все ж притом  
Икару он подобно воспарил  
Над бездной без руля и без ветрил.

По Королевской он дороге шел  
И на речушку вдруг набрел  
Жемчужную, и вот без крыл  
Или весла над ней поплыл,  
И рассекало тело,  
Как воду, воздух смело.  
Не доверял однако он и там  
Предательским Икаровым крылам,  
Ибо над куполом небесным  
Вознесся образом чудесным, –

Чуть соскользни тогда он с небосклона,  
Паденье было бы его бездонно,

И в нижних небесах  
Летя, о чудесах  
Над нашею землей  
Поведать мог бы, но с бедой  
Он справился, преодолев напасти,  
И прыгнув, вне себя от счастья,  
Поведал брат историю одну,  
Как перепрыгнул он через луну.

Что на земле творится из чудес,  
Внизу, но и над солнцем, средь небес?  
Все в высших сферах повторится снова,  
Средь облачного все ж покрова,  
Но там явленья эти  
В ином предстанут свете,  
И вновь они иными тут  
Под нами предстают,  
Ведь вся земля объята небесами,  
И даже здесь меж них мы ходим сами, –  
Здесь, посреди небес в земле Господней  
Глаголем мы о том сегодня,  
Что если мы с умом  
По сей земле пойдем,  
То сможем ввысь  
Над небом вознестись,  
И если кто с заоблачных высот  
Падет сквозь пропасть в самый Ад до дна,  
Где пресмыкается сам Сатана,  
Отчаянье и Смерть увидит тот.

Иным привидится, что под луной  
Они лежат, так увлечен мечтой  
Брат жаждал ввысь  
Над звездным небом вознестись,  
И отражен  
Был в бездне он,  
И тем открыл свет мудрости чудесной  
Он мне в ночи моей беззвездной, –  
Постиг я, что под нашими стопами  
Сень благодати, как над головами.

#### **АЛЕКСАНДР ВОЛОВИК**

##### **Иегуда Амихай**

**Бог милосерден к маленьким детям  
Переводы с иврита**

##### **КОГДА Я БЫЛ МАЛЬЧИШКОЙ**

Когда я был мальчишкой,  
травы и мачты высились на берегу,  
и я, лежа,  
не различал их,  
потому что все они возносились  
к небу, надо мной.  
Только слова мамы  
носил я с собой,  
словно ломоть хлеба,  
завернутый в шуршащую бумагу.  
И не знал я, когда вернется отец,  
потому что лес подымался  
за лесом.

Все протягивало мне руку,  
и бык задевал солнце рогами,  
и ночь ласкала уличным светом  
мои щеки,  
когда прижимался я к стенам,  
и месяц, словно кувшин большой, повернулся  
и коснулся  
жаждущего сна моего.

##### **СИНАГОГА ВО ФЛОРЕНЦИИ**

Во дворе разлита весенняя нега,  
цветет дерево,

четыре девочки играют  
в перерыве между двумя уроками  
святого языка  
перед мраморной стеной мемориальной:  
Леви, Сонино, Касуто и другие  
в ровных строчках,  
словно в газете  
или в торе.

А дерево здесь стоит не в память  
чего бы то ни было,  
а в память этой весны,  
*ариведерчи*, отец наш,  
*бона ноте*, царь наш.

Слезы в глазах -  
словно сухие крошки в кармане,  
оставшиеся от съеденного пирога.  
Бона ноте, Сонино,  
ариведерчи, шесть миллионов,  
девочки, и дерево, и крошки.

## ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ СТРАНЕ

А страна моя поделена меж областями памяти  
и районами надежды, и жители их перемешиваются  
между собой, словно возвращающиеся со свадьбы  
с теми, кто возвращается с похорон.

А страна моя не делится на части,  
там, где война, и там,  
где мир, и роющие ямы, чтобы спрятаться  
от снарядов, еще вернутся к ним, чтобы лечь там с  
девушкой, если будет мир.

А страна моя прекрасна.  
Даже враги, окружающие ее,  
украшают ее блеском оружия  
своего в лучах солнца, словно ожерелье на шее.

А страна моя - узел.  
И она скреплена крепко, и все в ней, и затянуты веревки  
сильно, и временами это причиняет боль.

А страна моя - так мала.  
И я могу ее всю вместить в себе,  
и когда дожди вымывают землю, это нарушает и мой сон,  
и всегда я помню об уровне воды в Кинерете.  
И посему всю мою страну я чувствую всегда, стоит  
лишь закрыть глаза: море - долины - горы,  
и потому я помню все, что с ней случилось,  
вспоминаю разом, как человек припоминает всю  
свою жизнь в мгновение смерти.

## ПОСЛЕДНИЕ РАЗГОВОРЫ

Говорить с мамой моей в последние дни ее,  
словно построить лифт  
в доме, старом и готовом упасть.  
Она говорит: "Ты сейчас такой чистый,  
и рубашка на тебе такая белая,  
и глаза у тебя сияют. Скажи, рэб Гановвер  
еще жив? Открой себе коробку сардин,  
они очень хорошие. Иерусалим стал  
такой большой. Вот книги мои,  
я читаю их по вечерам и сразу начинаю дремать.  
И сын у меня большой.  
И тень твоя такая большая.  
Мне смешно".

## ОЙ, РАСТЕТ ПЛЮЩ

Ой, растет плющ на стене комнаты,  
где угасает женщина. Рост этот, он тоже  
медленное угасание снизу вверх.

Ой, последние взгляды живого -  
словно мухи вокруг свечи в летний вечер.  
И всем взглядам конец - свет,  
и всем шагам конец - пляс,  
и всем словам конец - песнь,  
и молчанию конец - вечность.

И умерла мама ночью. В молчании  
в темноте лежала она, закрыта и прибрана,  
навстречу завтрашнему дню, словно комната,  
закрытая и прибранная, со столами, накрытыми  
к завтраку для других.

## БОЖЕ, ДУШ'А, КОТОРУЮ ТЫ ДАЛ МНЕ

Боже, душа, которую ты мне дал, -  
дым.  
Дым от сгорающей памяти  
о любви.  
Мы рождаемся, и сразу же начинаем гореть,  
и так до тех пор,  
пока дым не задохнется  
от дыма.

## ТЕЛО - ПРИЧИНА ЛЮБВИ

Тело - причина любви,  
а потом крепость любви,  
а потом - тюрьма любви,  
но когда человек умирает,  
любовь выходит из него, на свободу,  
и как много ее,  
словно сломалась машина удачи,  
и враз посыпались из нее,  
звеня, все монеты  
всех поколений счастья.

## СВОБОДНА

Свободна, свободна она, свободна от тела,  
и от души свободна, и от крови, а кровь она и есть душа.  
Свободна от желаний, и свободна от внезапного страха,  
и от страха за меня, свободна от уважения,  
свободна от стыда,  
свободна от надежды и отчаяния, огня и воды,  
свободна от цвета очей своих и от цвета волос,  
свободна от мебели, свободна от ложки, ножа и вилки,  
свободна от Иерусалима небесного  
и Иерусалима земного,  
свободна от личности и от удостоверения личности,  
свободна от печатей круглых,  
и от печатей квадратных,  
свободна от фотографий, и свободна от прищепок,  
свободна она, свободна.  
И все буквы и все номера,  
обозначавшие жизнь ее, тоже свободны  
для новых сочетаний и новых судеб, и новых игр  
всех новых поколений, что придут после нее.

## САД, ПОСАЖЕННЫЙ

Сад, посаженный в честь парня, павшего на войне,  
стал походить на него, каким он был  
двадцать восемь лет тому назад.  
Старые родители его приходят сюда  
почти каждый день - посидеть на скамейке  
и посмотреть на него.

И каждую ночь жужжит в саду память,  
словно моторчик.  
А днем его не слышать.

## МЕЛЬНИЦА В ЯМИН-МОШЕ

Мельница эта никогда не молола муки.  
Она молола ветер и птиц  
желаний Бялика, она молола

слова и время, она молола  
дождь и даже орудийные снаряды,  
но никогда не молола муки.

Теперь она обнаружила нас,  
и каждый день она мелет наши жизни,  
чтобы приготовить из нас муку мира,  
чтобы испечь из нее хлеб мира  
для поколений грядущих.

**ВЛАДИМИР РОЗЕНТАЛЬ**  
Перевод с английского

**ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР**

**НЕ НУЖНО СОВЕРШЕНСТВУ ДОПОЛНЕНИЙ**

Схватить неуловимость формы лилий,  
Иль золото пытаться золотить,  
Фиалки запах дополнять духами,  
А лёд из гладкого пытаться сделать скользким,  
Добавить радуге какой-нибудь оттенок,  
Искать красивый колер  
Для глаз прекрасных, цвета неба, —  
Всё это и нелепая чрезмерность,  
И глупость расточительства. Не правда ль?

**ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО**

**ПСАЛОМ ЖИЗНИ**

В оглушительном пламени боя,  
На коротких привалах судьбы,  
Не покорствуй как скот для убоя, —  
Стань героем, достойным борьбы!

Не грядущему, блага сулящим,  
И не прошлому (прошлое — тлен)  
Доверяй. Нет, — живи настоящим!  
Каждый миг подымайся с колен!

Подымайся в своём дерзновенье,  
Отражай все удары судьбы,  
Закаляясь в трудах и терпенье  
Стань прекрасней в горниле борьбы!

\*\*\*

И восходит поток, и спадает поток,  
В дымке ласковой влажный вихрит завиток;  
Там, где море коснулось городской полосы,  
Поздний путник спешит вдоль песчаной косы;  
И восходит поток, и спадает поток.

Скрылись в сумерках стены и крыш козырёк,  
Но от ветра объятий город скрыться не мог;  
Вечер тайнами грёз очарованно полн,  
Нежно море ласкает кудри белые волн;  
И восходит поток, и спадает поток.

Утро тает вдали. В стойлах топотом ног  
Пробуждаются кони для дальних дорог;  
Возвращается день, но уже никогда  
Поздний путник вчерашний не вернётся сюда;  
И восходит поток, и спадает поток.

**ВАЛТЕР СКОТТ**

**ПИБРОЧ ДОНЬЮЛ ДЬЮ \***

Пиброч, пиброч Доньюл Дью,  
Пиброч, пиброч Доньюл;  
Вновь и снова рать свою  
Клан сзывает Коньюл!

Гэй! Зовёт собратьев клан!  
Слушай вся ватага!

Пусть и смердов и дворян  
В бой ведёт отвага!

Слышите? Несутся с гор  
Звуки труб, волюнок;  
Предстоит кровавый спор,  
Грозный поединок!

Глянь! Спешат уже сынки  
На родные звуки,  
Держат крепкие клинки  
Их медвежьих руки!

Пастухи! Сюда скорей!  
Прочь от стад бездомных!  
От невест у алтарей,  
От кладбищ укромных!

Гэй! Ватага молодцов!  
Бросьте лодки, сети!  
Меч и крепкое слово  
Всех сразят на свете!

И несутся по холмам,  
Сквозь лесные чащи,  
Все — как волны к морьям,  
На мели сидящим.

Всё быстрее натиск наш,  
Всё быстрее, быстрее!  
Мчат вассал, сеньор и паж,  
И слуга в ливрее.

Как стремителен полёт  
Стаи крыл орлиных,  
Среди солнечных высот  
И руин старинных!

Пледы наземь! Меч свою  
Песню начинает!  
Пиброч, пиброч Доньюл Дью,  
Сквозь огонь со всех сторон,  
Через погребальный звон  
К битве призывает!

-----  
\*Пиброч — боевой сигнал на волюнках.

**ДЖОНАТАН СВИФТ**

**УТРЕННИЕ ЗАРИСОВКИ**

С превеликим трудом здесь и там, на наемной карете  
Приближаясь, румяный является лик на рассвете.  
Вот и Бетти, нахмурясь в хозяйской кровати зевает,  
По-кошачьи скользнув и смутившись, свой рот разевает.  
Её туфли ночные стоят у хозяйских дверей сиротливо;  
Чисто пол подметён и побрызган вокруг. Всё красиво.  
Ловкий ветер копну её рыжих волос

закружил хороводом,  
К подметанью готовя парадную дверь  
и крыльцо перед входом.

Молодёжь, что огрызками мётел следы замечает,  
От колёс колею на истёртой земле оставляет.  
Надрывается угольщик голосом низким и грубым,  
Утонув в трубочиста *profondo* \*, глубоко как трубы.  
Как скрипучие створки ворот отворил он хлебало;  
Ветер едкую пыль через улицу гонит устало.  
Это стадо галдящее вмиг подмечает отмычка,  
Чтобы вовремя ночью стянуть: ведь на то и привычка.  
Вот и бдительный пристав судебный,

кто молча всех ловит,  
Вот и школьник с портфелем,  
кто уроков своих не готовит.

-----  
\* Разновидность баса (итал.)





Шильон! Твоё святилище – темница,  
Твой пол – алтарь для праведных шагов,  
Чей мерный скрип стократно повторится  
Среди истёртых плит и тяжких снов.

О, Боннивар!\*\* Призыв твой воплотится  
В тиранов смерть и свет Господних слов!

-----  
\* Шильон – замок в Швейцарии. Использовался как политическая тюрьма.

\*\* Боннивар – противоречивый герой и ярый реформатор. В течение шести лет был узником Шильона.

## ПЕРСИ БИШУ ШЕЛЛИ

### АНГЛИЯ В 1819 СОНЕТ

Безумный, старый и слепой, король,  
порвавший с миром связь, –  
Ленивых принцев череда – отбросы гибнущего рода;  
Сквозь стыд презрения текут, – из грязного истока в  
грязь,  
Уроды, кто не хочет знать ни боль,  
ни жизнь, ни чувств народа.

Пиявки, коих божий суд и ад кромешный не пугают;  
Сосут, пока не лопнет плоть  
и кровью жертв не запятнает.

Голодный, гибнущий народ ползёт на вспаханное поле;  
Не армия, – военный сброд поспешно рвётся грабить  
мир,  
Двуострый обнаглевший  
меч крушит всех встречных поневоле,  
Соблазнов, призрачных свобод,  
блестит вдали румяный жир.

Без Бога паства, без Христа, подобна онемевшей книге,  
Хранит дряхлеющий Сенат законов мёртвые вериги.  
Лишь призрак Славы из могил маячит,  
сохраняя строгость,  
Петардой освещая мрак и наших бурных дней убогость.

### РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

#### ЕСЛИ

Коль можешь голову сберечь, когда везде тебя пинают,  
И обвиняют каждый день в несуществующих грехах,  
И если веришь ты себе, когда тебе не доверяют,  
И, усомнившись в правоте,

с трудом удерживаешь страх, –  
И если сможешь ожидать, не уставая в ожиданье,  
И в сделку с ложью не вступив,  
ей позволяешь просто быть,  
Иль ненавидя, не давая ей выхода в своём сознание,  
И нелукаво излагать, а правду мудро говорить;

И если можешь ты мечтать, не делая мечту подвластной,  
И если мышление своё ты в самоцель не претворишь,  
Или спокойствие храня,

Триумф и Крах приняв бесстрастно,  
Прыть самозванцев этих двух  
ты хладнокровно отразишь;  
И если сможешь правду ты часами слушать терпеливо,  
И негодяев обуздав, капкан поставить на глупцов;  
Следить за сущностью вещей,  
крушащих жизнь неторопливо,  
Сгибаясь, выпрямляться вновь,  
движеньем вечных рычагов;

И если в кучу ты смешав весь выигрыш твоей победы,  
Рискуя лоб себе разбить, судьбы бросков не различишь,  
Когда срываешься, встаёшь, преодолевая боль и беды,  
И снова раунд проиграв, дыханье затаив, молчишь;  
Заставив сердце трепетать, сжимая мускулы и нервы,

Вновь подчинить себя всего, как пульс, биению в груди;  
И если сможешь дрожь унять,  
чтоб снова в схватке выйти первым,  
Порыв желанья превозмочь и сердцу крикнув: «Погоди!»

И если сможешь как трибун свободно говорить с толпой,  
Гулять с царями иногда и жить не прикасаясь к ним,  
И коль друзья, или враги, увы, бессильны пред тобою,  
В надежде завладеть на миг расположением твоим;  
И если ты своим умом, своею плотью ощущаешь  
В минуте шестьдесят секунд, гурьбой бегущих в никуда,  
И если ты в своей борьбе душой Земли овладеваешь, –  
Мой сын! Ты – человек! Ты Царь и Бог тогда!

## УОЛТ УИТМЕН

### Я СЛЫШУ АМЕРИКИ ПЕНЬЕ

Я слышу Америки пенье,  
весёлый хорал Рождества,  
Поют столяры, прославляя умение:  
без мастера доски – дрова;  
И каменщик бойкий о кладке на стройке  
распелся свой слух веселя,  
Поют корабелы, что строят умело  
изящный обвод корабля;  
Сапожников стая, ботинки тачая,  
выводят рулады любви  
О девушках страстных, весёлых, прекрасных,  
что к ним на свиданье пришли;  
Так пой же о братьях, о крепких объятьях  
Америки дружный народ,  
Пусть будут нетленны, трудом вдохновенны,  
кто песни свободы поёт!

## ПОДАРКИ

Дай мужчине коня, чтобы мчать сквозь года,  
Дай корабль, чтоб у паруса встать;  
Хоть здоров он, богат, но на море стократ  
Будет берега не доставать.

Дайте трубку ему, чтобы смог он курить,  
Книгу дайте, чтоб смог он читать;  
Светел, чист его дом, но нет радости в нём:  
Без хозяйки в нём грусти печать.

Парню девушку дайте, чтоб смог он любить,  
Как тебя я, родная, люблю;  
Будет сердцем он знать, как судьбу распознать,  
Проложить верный курс кораблю.

## ВАСИЛИЙ СИМОНЕНКО

### Переводы с украинского

\*\*\*

Чёрные от скорби мои ночи,  
Белые от грусти мои дни,  
Погружаюсь в дорогие очи,  
В жадные, зовущие огни.

Не могу пройти на расстояние,  
Я тебя не смею обойти,  
Губ моих горячее дыханье  
Ты волною нежной поглоти.

Диких орд несчётные набеги  
Разгромили прашуры в бою,  
Чтоб несла ты, белую как снега,  
Чистую нетронутость свою.

Чтоб пылали маками ладони,  
Два сердцебиения слились,  
Чтоб в твоём стыдливо-нежном лоне  
Вызревала будущая жизнь.

Пусть моё проклятье оголтело  
Тех позорных недругов разит,  
Кто твоё божественное тело  
Помыслом позорным осквернит.

Эти бёдра, груди и рамена \*,  
Трепетный изгиб изящных рук,  
Всё в тебе прекрасно и священно,  
Мама моих радостей и мук!

-----  
\* Рамена – плечи (старославянское).

\*\*\*  
Мы думаем о вас, погожей летней ночью,  
Морозным утром, в сумеречный час,  
И в шуме праздников, и в ритме дней рабочих,  
О, правнуки! Мы думаем о вас.

Мы думаем о вас, – и наши руки  
Не устают от плуга и станка,  
Душа рождает светлых песен звуки,  
И радость вдохновенна и легка.

Нет, не тоска нас гложет безнадежно,  
Нам творчество старается помочь,  
А творчество мечтательно-тревожно,  
Как майская волнующая ночь.

### ЛЕСЯ УКРАИНКА

Играет ветер на виолончели,  
Мороза пальцы стынут за стеклом,  
А ты одна под музыку метели  
Задумчиво склонилась над столом.

Как древний раб, скрижали вырезая,  
Поведал нам о подвигах царя,  
Ты на бумагу чувств своих моря  
Переливаешь, строки создавая.

Больная девочка среди затворной ночи,  
Врезаешь в вечность, огненно пророча,  
Слова из солнца будущих веков,

Чтобы от слов тех пошатнулись троны,  
Чтоб их несли по миру легионы  
Непобедимых новых Спартаков.

### УКРАИНЕ

Когда во тьме надежду обретаю,  
В безверии отчаяньем гоним,  
Именем твоим я расцветаю  
И тоскую именем твоим.

Когда сверкает туча грозовая,  
И демон зла ползёт неистребим,  
Я именем твоим благословляю,  
И проклиная именем твоим.

Когда мечами злоба роковая  
Небес твоих взрывает синеву, –  
С именем твоим я умираю,  
И в твоём я имени живу.

### ТАРАС ШЕВЧЕНКО

\*\*\*  
Думы мои, думы мои,  
Ох, беда мне с вами!  
Зачем встали на бумаге  
Скорбными рядами?  
Что ж вас ветер не развеял  
В степи как пылинку?  
Что ж беда не приласкала  
Вас как сиротину?

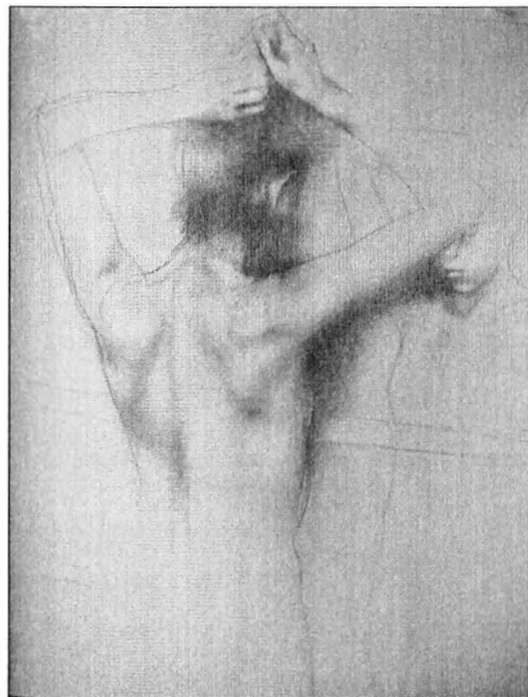
Оттого, что горе вас на свет породило,  
Поливало слезами... Что ж не затопило?  
Не вынесло в море, не размыло в поле?  
Не спросили б люди, отчего страдаю,  
Не спросили б, отчего судьбу проклиная.  
Отчего мне свет не мил? Отчего рыдаю?  
"Делать нечего ему", – не подняли б на смех...

Цветы мои, дети!  
Для чего любил вас, для чего ласкал?  
Иль заплачет сердце, одно на всём свете,  
Как я с вами плакал? Может угадал...

Может где-то обитает  
Сердце милой очи,  
Что над вами зарывает, –  
А моё – не хочет...

Одну слезу глаз родных –  
И пан над панями!  
Думы мои, думы мои,  
Ох, беда мне с вами!

\*\*\*  
Мне всё равно (пусть не осудят),  
Иль жить в Украине, или нет,  
И вспомнит кто, или забудет  
Меня в снегу на чужине –  
Поверьте, – безразлично мне.  
В неволе вырос меж чужими,  
И неоплаканный своими,  
В неволе, плачущий, умру,  
И всё с собою заберу,  
И без следа родного сгинет  
Мой прах на нашей Украине,  
На нашей, – не своей земле.  
И никогда не скажет сыну  
Отец, беспамятством сражён:  
"Молись, мой сын. За Украину  
Когда-то был замучен он".  
Мне безразлично: или будет  
Тот сын молиться, или нет...  
Но всё ж не безразлично мне,  
Когда Украину злые люди,  
Обманом усыпив, – в огне  
Её окраденной разбудят...  
О, нет! Не безразлично мне!



Сергей Жуков. Карандаш. В студии Ольги Кресиной.

**АЗВОЛИНСКАЯ, СВЕТЛАНА.** Журналист, исследователь культуры. По профессии – инженер, патентовед. Окончила Московский Текстильный институт. Жила и работала в Киеве. На Западе с 1992 г. Ныне живет в Филадельфии, США. Сотни статей в области культуры, искусства, архитектуры, литературы и музыки.

**АНЦИС, ЭМИЛЬ.** Кинематографист, мастер художественной фотографии, эссеист. Род. в 1937 г. в Киеве. Был оператором, сценаристом и режиссером документального кино. На Западе с 1978 г. Занимается художественной фотографией. Публ. в зарубежной периодике. Участник многочисленных выставок художественной фотографии.

**БАНЧИК, НАДЕЖДА.** Поэт, переводчик, журналист. Род. в 1959 г. во Львове, Украина. Окончила Львовский полиграфический институт и аспирантуру Всесоюзной Книжной палаты (Москва). С 1966 г. живет в Сан-Хосе, Калифорния. Печатается в зарубежных изданиях.

**БАНУ, МИХАИЛ.** Прозаик. Род. в 1958 г. в Киеве. Живет в г. Пушкино-на-Оке, Россия. Старший научный сотрудник Филиала Института биоорганической химии РАН. Канд. техн. наук. Публ. в журналах «Арион», «Волга» (Саратов), «Фонтан» (Одесса) и др. Книги: «Обет безбрючия», 1998, «Поджигатель жизни», 2000, «Презумпция невинности», 2002.

**БАТКИН, ВИЛЬЯМ.** Поэт, прозаик, переводчик. Род. в 1930 г. в Полтаве, Украина. По образованию инженер. С 1996 г. живет в Иерусалиме. Автор нескольких сб. стихов и переводов. Кн. сокетов «Неприкаянный мир» (1997).

**БЕРДАН, ЮРИЙ.** Прозаик, журналист, поэт. Род. в 1940 г. в Харькове, Украина. По профессии – инженер-строитель. Окончил Ташкентский университет. Работал в Средней Азии. Занимался журналистикой в газетах и на ТВ. В 1990 г. эмигрировал на Запад. Живет в Нью-Йорке. Автор двух сборников прозы.

**БЕРДНИКОВ, ЛЕВ.** Литературовед, кандидат филол. наук. Род. в 1956 г. в Москве. Работал в Отделе редких книг в РГБ. Эмигрировал на Запад. Ныне живет в Калифорнии. Кн.: «Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – начала XIX века», 1997, «Пантеон российских писателей XVIII века», 2002 (совм. С Ю. Серебряным).

**БЕРКОВИЧ, МИХАИЛ.** Поэт, журналист, редактор. Род. в 1929 г. в Ачинске, Красноярский край. Жил в Одессе и Новокузнецке. В 1994 г. уехал на Запад. Живет в Израиле. Кн.: «Сонет», «Белое руно», «Приглашение», «Берега» - сб. стихов, «По ком тюрьма плакала», «Деревня» - сб. повестей и рассказов.

**БЛИНОВ, ЛОРЕНС.** Композитор, философ, поэт, педагог. Род. в 1936 г. Окончил Казанскую консерваторию. Живет в Казани. Автор множества поэтических, философских и музыкальных публикаций. Доктор философии.

**БОГАЧИНСКАЯ, ИННА.** Поэт, эссеист, журналист, переводчик. Род. в Москве. Эмигрировала на Запад в 70-х гг. Живет в Нью-Йорке, США. Сб.: «СТИХИЯ», 1983, «Подтексты», 1990, «В четвертом измерении», 1994, «Перевод с космического», 1999.

**БУЗИКОВ, АНДРЕЙ.** Художник, музыкант, дизайнер. Род. в 1979 г. в г. Витебске, Белоруссия. Выехал на Запад в 1995 г. Живет в Сан-Франциско. Студент Академии Искусств.

**БУЛАНОВ, ЛЕОНИД.** Поэт. По профессии инженер. Род. в Ленинграде. Жил в Нью-Йорке, теперь в Бостоне, США. В эмиграции. с 1981 г. Печатается в лит. изданиях. Сб. стихов: «Четыре действия» (1992), «В поисках потянутого пульса» (1996).

**БУШЕВ, ВИКТОР.** Поэт, публицист, ученый. Доктор медицинских наук. Закончил Киевский мед. институт. Опубликовал пятнадцать книг в области медицины. Жил и работал в Киеве. На Западе с 1990 г. Жил в Иерусалиме. В настоящее время в Филадельфии, США. Поэтический сборник: «Прощание с русским», 1996.

**ВАРЕН, ТАТЬЯНА** (Татьяна Варениченко). Прозаик, литературовед, педагог. Род. в 1960 г. в Днепрпетровской обл., Украина. Окончила Киевский Педагогический институт. Преподавала русский язык. Эмигрировала в 2000 г. в США. Живет в Филадельфии. Окончила Holy Family University. Книга прозы «Тайна не одной любви», 2006.

**ВЕНГЕР, ХАЙМ.** Поэт, прозаик, журналист. Жил в Ленинграде. С 1980 г. живет в Израиле. Работал лит. редактором журнала «Родина», гл. редактором газеты «Иерусалимский еженедельник». С 1991 года – сотрудник газеты «Новости недели». Автор девяти книг: пять прозы и четыре – стихов. Произведения публиковались в журналах, альманахах сборниках Израиля, России, Америки, Литвы.

**ВИТЕБСКИЙ, ИОСИФ.** Поэт. По профессии – педагог. Род. в 1938 г. в Киеве, Украина. Окончил Киевский институт физкультуры. Выехал на Запад в 1998 г. Живет в Филадельфии, США. Преполагает в Пенсильванском университете. Книга мемуаров «На фехтовальных меридианах».

**ВИТКИН, АЛЕКСАНДР.** Поэт, переводчик. Род. в Киеве. С 1994 г. живет в Израиле. Окончил Киевский пединститут и Хайфский университет по специальности французский язык и литература. Стихи и переводы публиковались в литературных журналах Израиля и Германии.

**ВОЛОВИК, АЛЕКСАНДР** (1931-2004). Поэт, прозаик, переводчик. Род. в 1931 г. в Горьком. С 1976 г. жил в Иерусалиме, Израиль. Переводил с нем., англ., ивр. и др. языков. Издал: четыре сб. на русск., один на иврите, «100 стихотворений в переводе с иврита», 1991, «Райский сад», 1993.

**ВОТРИН, ВАЛЕРИЙ.** Прозаик, переводчик. По профессии – эколог. Род. в 1974 г. в Ташкенте. Окончил Ташкентский университет. С 2000 г. живет в Бельгии. Учится в магистратуре Брюссельского университета. Известен как переводчик прозы с английского. Перевел Рассела Хобана, Флэнна О'Брайена. Печатается в литературных журналах. Готовит к изданию книгу прозы.

**ТАБРИЗЬ, АЛЕКСАНДР.** Поэт. Выехал на Запад в 1997 г. Живет в Бостоне, США. По профессии – инженер, кандидат технических наук. Печатается в лит. изданиях в США, России, Англии, Латвии, Германии.

**ГАМАРНИК КСЕНИЯ.** Поэт, прозаик, театральный критик, художник. Род. в 1969 г. в Киеве, Украина. Окончила Пензенское художественное училище и Киевский ин-тут театрального искусства. Персональные худ. выставки в С.-Петербурге, Пензе, Киеве, а также участница многих коллективных выставок. Худ. иллюстрации и статьи печатались в периодике. С 1994 г. живет в Филадельфии, США. Работает графиком-дизайнером.

**ГАМАРНИК ЯН.** Прозаик, поэт. По профессии программист-кибернетик. Род. в 1967 г. в Киеве, Украина. Окончил Киевский ун-т, факультет кибернетики. Работал в АН Украины. С 1994 г. живет в Филадельфии, США. Работает программистом. Печатается в литературных изданиях.

**ГАНКИН, БОРИС.** Поэт, переводчик. Род. в Гомеле в 1936, Белоруссия. Автор семи поэтических книг. С 1996 г. на Западе. Живет в Анн Арбор, Мичиган, США.

**ГАРБЕР, МАРИНА.** Поэт, эссеист, переводчик, редактор, педагог. Род. в Киеве. На Западе с 1990 г. Жила в Денвере, Чикаго, США. Ныне живет в Люксембурге. Окончила Денверский университет, факультет иностранных языков и литературы. Печатается в зарубежных лит. изданиях. Кн. стихотворений: «Дом дождя», 1996, «Город» - совместно с Г. Лайтом, 1997, «Час одиночества», 2000.

**ГЕЙХМАН, ЕВГЕНИЯ.** По профессии – программист. Поэт, прозаик, филолог, редактор, журналист. Род. в 1954 г. в Киеве, Украина. Училась в Ужгородском и Тартуском ун-тах. Работала редактором научно-технической информации в системе Академии наук УССР. Жила в Киеве. С 1992 г. живет в Филадельфии, США. С 1995 г. сотрудничала с русской редакцией Би-Би-Си. С 1992 по 1998 гг. - редактор отдела прозы литературного альманаха «Побережье» (Филадельфия). Публ. в изданиях: «Советская культура», «Побережье», «Литературная газета» и др. Один из авторов сб. стихов «4», 2001.

**ГЕЛЬФАНД, НАТАЛЬЯ.** Библиограф-литературовед. Родилась в Москве, Россия. В эмиграции с 1987 г. Живет в Филадельфии, США. Редактор и консультант журнала и издательства «Побережье».

**ГОЛЛЕРБАХ, СЕРГЕЙ.** Живописец, график, эссеист, педагог. На Западе с 1942 г. Живет в Нью-Йорке, США. Кн. по искусству и эссе: «Заметки художника», 1983, «Жаркие тени города», 1990, «Мой дом», 1994, альбомы рисунков, акварелей и техники живописи. Работы в музеях США, Франции, Германии, России. Член Американской национальной академии художеств, Общества акварелистов и др. Преполагает в колледжах. Широко известен как оформитель книг худ. лит.

**ГРИНВУД, ОЛЬГА.** Прозаик, переводчик. Род. в 1973 г. в Ленинграде. Окончила филологический факультет СПбГУ. С 2002 года живет в Бельгии. Переводит прозу французских писателей.

**ГРИШИНА, ОЛЬГА.** Поэт, переводчик. Род. в 1963 году в Подмосковье. Закончила Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Жила в Петербурге, Голландии, Германии. В настоящий момент живет в

Бельгии. Известна переводами с нидерландского (Тоон Теллеген, Герард Реве).

**ГРЯЗНОВ, ВАЛЕРИЙ.** Фотограф, преподаватель. Род. в 1945 г. Казани, Россия. Окончил Казанский университет. Кандидат химических наук, член Нью-Йоркской АН. Печатался в Российской периодике.

**ДАШКЕВИЧ, ВАЛЕРИЙ.** Поэт, прозаик, художник. Род. в 1964 г. в г. Никельтау на Урале. Окончил Московский полиграфический ин-тут. На Западе с 1993 г. Жил в Нью-Йорке. Ныне живет в Филадельфии. Сб. стихов: «Ангел сумерек», 1998, «Сизый ворох Сизифа», 2001. Печатается в литературных изданиях.

**ДЕМИДОВ, ГЕОРГИЙ** (1908-1987). Физик, писатель. Род. в Санкт-Петербурге. До 1938 г. работал в Харькове в лаборатории Ландау. Был репрессирован, провел на Колыме 16 лет. После освобождения занялся лит. работой. Им написано более 5.000 страниц рассказов, повестей и романов. Архив в 1980 г. был арестован КГБ. Посмертные публ.: рассказы в журн. "Дружба народов", "Огонек", "Горизонт", "Странник". Книга рассказов и повестей вышла во Франции (1991, изд. Natchette на фр. яз.).

**ДЕМИТРОВСКИЙ, СЕРГЕЙ.** Смотри на стр. 323.

**ДУБНОВ, ЕВГЕНИЙ.** Поэт, прозаик. Родился в 1949 г в Таллине. С 1960 г жил в Риге. Выехал на Запад в 1971 г. Учился в Московском, Бар-Иланском (Израиль) и Лондонском университетах; окончил факультеты психологии и английской литературы. С 1974 по 1993 преподавал английскую, американскую, русскую литературу и сравнительное литературоведение в Израиле и Англии. С 1991 по 1994 подготовил к изданию переводы русской поэзии на английский (совместно с Королевским лауреатом поэзии Хит-Стаббзом). Публиковал стихи и рассказы русскоязычных зарубежных изданий: "Время и мы", "Встречи", "Галилея", "Грани", "22", "Континент", "Новый журнал", "Новое русское слово", антологии "Литературный Иерусалим" и множества др Сб. стихов: "Рыжие монеты", 1978, "Небом и землею", 1984. Израиль. Проживает в Иерусалиме и Лондоне.

**ЗАКУРДАЕВ, ЛЕОНИД.** Художник-скульптор, реставратор. Род. в 1960 г. в Москве. На Западе с 1999 г. Живет в Филадельфии, США. Окончил Строгановское училище. Участник многих международных выставок. Работы находятся в музеях и частных коллекциях.

**ЗАКУРДАЕВА, СВЕТЛАНА.** Художница, дизайнер, реставратор. Род. в 1954 г. в Перми, Россия. На Западе с 1999 г. Живет в Филадельфии, США. Окончила Пермский институт культуры. Участница многих международных выставок. Работы находятся в музеях и частных коллекциях.

**ЗАСТЫРЕЦ АРКАДИЙ.** Поэт, переводчик, прозаик, публицист. Род. 1959 г. в г. Екатеринбург. Печатался в журналах «Урал», «Знамя», «Новое литературное обозрение» и мн. других. Автор целого ряда изданных книг.

**ЖИГЛЕВИЧ, ЕВГЕНИЙ.** Эссеист, литературовед, переводчик, чтец. Живет в Вашингтоне, США. Иммигр. в США в 50-х годах. Работала на радиостанции "Голос Америки". Ею подготовлены и изданы (и во многих случаях предварены статьями) произведения Ю. Анненкова, Джона Дьюи, Е. Замятина, В. Кандинского, Р. Розанова, Ф. Степуна, З. Фрейда, М. Шкапской, Т. С. Элиота и др. Сотрудник газеты "Русская мысль", редактор изд. "Международное содружество" (1964-1970). Печатается в русской зарубежной периодике. Воспоминания «Семья Жиглевич» были опубликованы в России.

**ЖУКОВ, СЕРГЕЙ.** Художник. Окончил Высшее художественно-промышленное училище им. Мухомова. На Западе с 1990 г. Живет в Филадельфии, США. Участник многочисленных выставок в России и США. Постоянно сотрудничает с F.A.N. Gallery в Филадельфии.

**ИЛЬИНСКИЙ, ПЕТР.** Поэт, прозаик. По проф. биолог, кандидат наук. Род. в 1965 г. в Санкт-Петербурге. Жил в Москве. Окончил биол. факультет МГУ. С 1991 г. живет в Бостоне, США. Работал науч. сотрудником в Гарвардском ун-те, затем в частных компаниях. Публ. в российских и зарубежных лит. изданиях. Сб. стихов «Перемены цвета», 2001. Кн. Прозы «Резьба по камню».

**ИОФФЕ, ЕЛЕНА.** Поэт, эссеист, переводчик, редактор. Родилась в Ленинграде в 1934 г. Окончила Ленинградский политехнический институт. На Западе с 1977 г. Ныне живет в Иерусалиме, Израиль. Сборник стихов - "Когда мне исполнится вечер" (1987). Составитель и редактор литературного альманаха «Гнездо», Иерусалим. Автор ряда статей на литературоведческие темы.

**ИСАЕВ, СЕРГЕЙ.** Поэт, прозаик. Род. в 1958 г. в г. Луцке, Украина. Живет и работает в Казахстане. По профессии – строитель.

**КАГАН, ВИКТОР.** Поэт, прозаик, журналист. По специальности врач-психолог. Доктор мед. наук. Род. в 1943 г. В США с 1999 г., живет в Далласе, шт. Техас. Более двухсот публикаций. Сб. стихов «Долгий миг», 1994, Санкт-Петербург.

**КАЗАНЦЕВ, АЛЕКСАНДР.** Поэт, прозаик, переводчик, редактор. Род. в Зырянском, Восточно-Казахстанская обл. Живет в Томске. Автор более двадцати книг поэзии и прозы. Главный редактор журнала «Сибирские Афины».

**КАЙДАНОВ, АРКАДИЙ.** Поэт, режиссер. Род. в 1955 г. в Нальчике. Автор двенадцати поэтических сборников, публиковался в «толстых» литературно-художественных журналах в СССР и зарубежья. Член Союза писателей и журналистов России. Лауреат премии "Золотой теленок". Работал на ТВ гл. редактором Службы информационных программ. Автор и режиссер нескольких телефильмов и десятков информационных сюжетов на телеканале НТВ. В настоящее время живет в Валенсии, Испания.

**КАЛАШНИКОВА, ТАТЬЯНА.** Поэт, прозаик, детский литератор. Живет в Оттаве, Канада. Печатается в литературных изданиях.

**КАЛИНИНА, АНТОНИНА.** Род. в 1978 году в Москве. Окончила МГУ, защитила докторскую диссертацию по классической филологии в Берлинском университете. Известны переводы Константиноса Кавафиса, итальянских и английских поэтов. Живет в Берлине.

**КАМБУРГ, РОМАН.** Поэт, прозаик. Живет в Израиле. По профессии – врач. Книги: «Поэзия и проза врачевания», Казань, 1991, «Миг», Тель-Авив, 2001.

**КАНОВА, МИХАИЛ.** Поэт, журналист, фотограф. Род. и жил в Киеве. Окончил Киевский Политехнический институт, кандидат технических наук. На Западе с 1993 г. Живет в шт. Нью-Йорк. Печатается в литературных изданиях.

**КАЦЕВА, МАРИНА.** Музыковед, исследователь в области литературно-музыкальной тематики, искусствовед. Род. в г. Джамбул, Казахстан. Окончила Харьковскую консерваторию и аспирантуру Московской консерватории. Работала музыкальным редактором в Союзе композиторов и лектором-музыкаведом в Московской ф. лармонии. Выехала на Запад в 1989 г. Ныне живет в Бостоне, США. Автор многочисленных литературно-музыкальных программ и статей по искусству. Работает над книгой «Я родилась не в жизнь, а в музыку» на тему Цветаева и музыки.

**КЛЕТНИЧ БОРИС.** Поэт, прозаик, сценарист, режиссер. Род. в 1961 г. в Кишиневе. Выехал на Запад в 1990 г. в Израиль. С 2001 г. живет в Монреале, Канада. В 1983 г. окончил ВГИК (сценарный факультет). Книга стихов "МОНО" (Израиль, 1993). Автор романов "Мое частное бессмертие" и «Силой берущий». Автор-режиссер документальных фильмов "Матос", "Страна Мория". Публ. в журналах "Юность", "Поэзия", "Истоки", "22", "Зеркало", "Киносценарии" и др.

**КОРЖАВИН, НАУМ.** Смотри на стр. 183.

**КРАМЕР АЛЕКСАНДР.** Поэт. По профессии – инженер. Род. в 1953 г. на Украине. Окончил Харьковский политехнический институт. С 1998 г. живет в г. Любеке, Германия. Печатается в России, Украине, Германии.

**КУГЕЛЬ, СОФИЯ.** Редактор. Род. в Ленинградской обл. Окончила Московский текстильный институт. Выехала на Запад в 1997 г. Живет в Бостоне, США.

**КУШНЕР, БОРИС.** Математик (профессор Питтсбургского Университета, США), поэт, переводчик, эссеист и публицист. С 1989 г. живёт в США. Стихи, переводы, эссе и публицистика публиковались в США, Израиле, России, Германии, Белоруссии и Украине. Автор пяти книг стихов. Член Международного ПЕНКлуба и Союза Писателей Москвы.

**ЛАИТ, ГАРИ.** Поэт, переводчик, публицист. По профессии юрист. Род. в 1967 г. в Киеве, Украина. Эмигр. на Запад в 1979 г. Живет в Чикаго, США. Окончил Нортвестернский ун-тет (политология и русск. лит.) и юридическую аспирантуру Chicago Kent. Сб.: "Вервь", 1992, "VOIR DIRE", 1993, "Треть", 1996, "Город" — совм. с Мариной Гарбер, 1997, «Возвращения», 2002. Член СП Москвы. Печатается в лит. журналах России, Украины, США. Участник Антологии "Строфы Века-2".

**ЛЕВИН, ЮРИЙ.** Поэт. По профессии – инженер-механик. Род. в 1941 г. в Москве. Окончил Московский автомеханический институт. Ныне живет в Вестон, шт. Флорида, США. Печатается в литературных журналах.

**ЛЕВИНЗОН, РИНА.** Поэт, прозаик, переводчик, педагог. Род. в Москве. Выехала из России в 1976 г. Живет в Иерусалиме, Израиль. Автор двадцати поэтических сб.

Книги выходили на русск., ивр., нем., араб. и других языках. Последний сборник - "Седьмая свеча", 2000.

**ЛеГеза В.** Прозаик. Род. в 1957 г. в Киеве. По специальности - архитектор. Публикуется с середины 1980-х гг. В 1988 г. выехал на Запад. Живет в Чикаго. Печатаются в лит. изданиях, антологиях и сборниках. Кн.: «Эмигрантские сказки» тт. 1-2 (1999-2000), сб. прозы «Хвосты и крылья» (2002), «Повести Кошкина», 2005. Составитель антологии прозы женщин-эмигрантов «Арена».

**ЛЕЙКИН, МАРК.** По профессии - горный инженер. Доктор технических наук, профессор. Род. в 1932 г. Окончил Днепропетровский горный институт. Выехал на Запад в 1999 г. Живет в г. Портленд, шт. Орегон, США.

**ЛИБЕРМАН, АНАТОЛИЙ.** Германист и славист, литературный критик, поэт, переводчик. Доктор филологических наук, профессор Миннесотского университета. Род. в Ленинграде в 1937 г. На Западе с 1975 г. Живет в Миннеаполисе, США. Переводчик Шекспира, Лермонтова, Тютчева, Боратынского, испанских поэтов. Ред., комментатор и переводчик на англ. язык Н. С. Трубецкого (три тома) и В. Я. Проппа. Сб. стихотворений и переводов "Врачевание духа" (1996, Н-И.). Около 400 публикаций, включая шестнадцать книг по языкознанию, литературоведению, фольклору. Автор постоянной колонки в Oxford University Press.

**ЛИПКОВИЧ, ЯКОВ.** Прозаик, драматург, публицист. Жил в Ленинграде. Эмиг. в США в 1992 г. Ныне живет в Кливленде. Член Союза писателей России. Автор повестей, рассказов, очерков, пьес. Публ. в журналах "Звезда", "Нева", "Аврора" и т.д. Книги: "Забывшая дорога", "Только пять дней", "И нет этому конца", "Три повести о любви", "Так мало нас осталось" и др. Пьесы: "Несносный характер", "А над крышами - небо" и др.

**ЛУКИН, ВАЛЕРИЙ.** Поэт, прозаик. Род. в 1965 г. под Москвой. Учился в Военно-воздушной инженерной академии. Живет в Тель-Авиве, Израиль.

**ЛЮБАНОВ, ВАЛЕРИЙ.** Прозаик, поэт. Родился в 1946 году в г. Горьком. Окончил Томский госуниверситет, физик. В России занимался экологическими проблемами, защитил кандидатскую диссертацию. С 1995 года живет в Чикаго, преподаёт математику. Публикации в журналах России и США.

**МАЗЕЛЬ, МИХАИЛ.** Поэт. Род. в 1967 г. в Москве. На Западе с 1997 г. Живет в Нью-Йорке, США. Публ. в зарубежных литературных изданиях. Кн. стихотворений «Нити дорог», 2001 (с иллюстрациями автора).

**МАКСИНА ЕЛЕНА.** Поэт. Род. в 1972 г. в Москве. С 1997 г. живёт в Филадельфии, США. В России окончила Авиационный Технологический Университет. В США работает в сфере информационных технологий.

**МАРГОВСКИЙ, ГРИГОРИЙ.** Поэт, переводчик, журналист, редактор. Род. в 1963 г. в Минске. Окончил Литературный институт им. Горького. В 1993 г. выехал на Запад. Живет в Бостоне, США. Автор романов, новелл, эссе, двух сборников стихов: «Мотылек пепла», 1997, «Сквозняк столетий», 1998.

**МАТРОС, ЛАРИСА.** Доктор философии, прозаик, критик. Род. в Одессе. С 1992 г. живет в шт. Миссури, США. Окончила Одесский ун-т. Автор книг и более шестидесяти науч. и публ. работ по различным аспектам проблем человека. Печ. в России и Зарубежье: "Вестник", "Панорама", "Побережье" и др. Член ПЕН-клуба. В 2000 г. вышел роман "Презумпция виновности".

**МИГУЛОВ, АЛЕКСАНДР.** Прозаик. Род. в 1945 г. в Ленинграде. Окончил МГУ, факультет журналистики. С 1979 г. живет во Флориде, США. Книги: «Поля проигранных сражений», 1993, «Веранда для ливней», 1999, «Отель "Миллион обезьян"» (на англ. яз.), 2000.

**МИКУШЕВИЧ, ВЛАДИМИР.** Поэт, философ, критик, переводчик. Род. в 1936 г. в Москве. Пишет стихи на русском и немецком языках. Кн.: «Крестница зари». Переводчик средневековой поэзии.

**МИНИН, ЕВГЕНИЙ.** Поэт. Род. в г. Невель Псковской области. Окончил Ленинградский Политехнический и Витебский педагогический институты. С 1990 г. живет в Иерусалиме, Израиль. Сб. стихов: «Разве!», «Линия крыла».

**МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН, ИГОРЬ.** Поэт, прозаик, переводчик, издатель. Род. в г. Мары в 1943 г., Туркменистан. Жил и вырос во Львове, Украина. На Западе с 1979 г. Ныне живет в Филадельфии, США. Кн.: "Посадить дерево", 1983, "Окна в лето", 1986, "Утро в зеркале", 1995, "Отраженные дни. Избранное", 1998, на английском языке 2000; "Триада", 1996 и "Приближение", 1999 (сб. трех поэтов). Окончил Львовский полиграфический институт. Публикации: "Нева", "Новый журнал", "Встречи", "Па-

русник", "Петрополь", "Радуга", "Российская эмиграция: прошлое и современность", "Галилея" и др. Издавался в России, США, Канаде, Германии, Израиле и т.д. Участник антологий: «Филадельфийские страницы», «Строфы Века-2», «Библийские мотивы в русской лирике XX века», «Киев. Русская поэзия. XX век» и мн. др..

**МОСКАЛЕВА, ТАМАРА.** Прозаик. На Западе с 1992 г. Живет в Нью-Йорке.

**НЕКРАСОВСКАЯ, ЛЮДМИЛА.** Род. в 1956 в г. Бендеры, Молдавия. Живет в Днепропетровске, Украина. По специальности - инженер, занималась наукой. Автор четырех книг. Публиковалась в литературных журналах и альманахах Украины, России, Израиль.

**НИКЛАС, МАЙКЛ Дж.** Режиссер-постановщик театральных и эстрадных представлений, автор пьес, новеллист, мастер художественного слова. Родился в 1924 г. в американском городе Бетлахеме (Пенсильвания), с 1934 по 1994 г. жил в СССР, ветеран Отечественной войны. В 1994 г. вернулся в Америку и в настоящее время живет в Ньютоне (Массачусеттс). Печатаются в литературных журналах, выступает со своими новеллами в русско- и англоязычных аудиториях. Смотри на стр.144.

**НИЭЛЬ.** Поэт. По профессии - биолог. Род. в Ташкенте. С 1991 г. живет в Иерусалиме, Израиль. Окончила Иерусалимский университет. Печатаются в литературных журналах.

**ОЗЕРОВ, ЛЕВ.** Смотри на стр. 270.

**ПАЙКОВ, ВАЛЕРИЙ.** Поэт. Род. в 1939 г. С 1999 года живет в Ашдоде, Израиль. Доктор мед. наук, профессор. Стихи публикуются в литературных изданиях России и Израиль.

**ПАНЧЕНКО, ИРИНА.** Литера: урвед, критик, педагог, журналист. Род. в Ярославле, Россия в 1939 г. Жила в Киеве. Окончила Киевский ун-т. Канд. фил. наук, доцент. Член союза журналистов Украины. Преподавала в Киевском пединституте и Киевском ун-те. Автор трех книг и двухсот работ в области культурологии и литературоведения. С 1997 г. живет в Филадельфии, США. Печатаются в российских, украинских и американских изданиях, в том числе я: «Вопросы литературы», «Побережье», «Литературное обозрение», «Новый журнал», «Новое русское слово» и др.

**ПОЛИЩУК, ДМИТРИЙ.** Поэт, литературный критик. Род. в 1965 г. в Москве. Автор трех книг стихотворений. Живет в Москве. Окончил Литературный институт. Печатаются в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион».

**ПОЛИЩУК, СЛАВА.** Прозаик, художник. Род. в 1961 г. в г. Клинцы, Россия. Окончил Строгановское училище и Московское художественное училище. Участник многочисленных выставок, работы находятся во многих галереях мира. Книга: «Время радости. Этюды на кухне».

**ПРОБШТЕЙН, ЯН.** Поэт, переводчик, журналист, литературовед. Род. в 1953 г. С 1989 г. живет в шт. Нью-Джерси, США. Член СП России. Первая публ. в «Континенте»: поэма «Плавание», 1989. Автор шести сб. стихов. Переводы помещены в девяти антологиях. Статьи, стихи, переводы, рецензии публ. в «Радуге», «Литературной газете», «Поэзичи», «НРС», «Арионе», «Времени и мы», «Побережье», «Новом журнале», «Стрельце» и др.

**ПОПОВ, ЮРИЙ.** Поэт. Род. в 1934 г. в Краснодаре. На Западе с 1992 г. Живет в Вустере, шт. Огайо. Публикуется в зарубежных периодических изданиях.

**РАЙБЕРГ, ЛАНА.** Прозаик, художник, журналист, педагог. Родилась в Мидске, Белоруссия. В эмиграции с 1992 г. Живет в Нью-Йорке, США. Закончила Витебский пед. институт, художественно-графический факультет. Рассказы печатаются в зарубежных лит. изданиях. Графические работы выставались в картинных галереях. Кн. прозы «Картонная луна», 2002, «Олежкины истории», 2005.

**РАХМАН, ВИТАЛИЙ.** Поэт, художник, дизайнер. Род. в 1945 г. в Севастополе. С 1980 г. живет в США, Филадельфия. Сб. стихов "Чаша без дна" (1992). Печатаются в лит. журналах и альманахах США. Участник художественных и дизайнерских выставок в России и Зарубежье. Редактор газеты «Реклама и жизнь».

**РЕМПЕЛЬ, МАКС.** Поэт, ученый, кандидат биологических наук. Род. в Свердловске в 1964 г. Окончил химфак МГУ. Работал на Беломорской биостанции и в Якутской геологической экспедиции. В США с 1996 г., живет в шт. Мэриленд. Работает в Институте Рака. Сб. стихов: "Тихо, медленно, сентиментально", 1994 г., "Полет над гаражами", 2002.

**РОДИОНОВА, ОЛЬГА.** Поэт, журналист. Род. в 1959 г. в г. Барнаул, Сибирь. Окончила Свердловский университет. Работала в Омске, Ленинграде. На Западе с 1993 г. Жила в Нью-Йорке. Ныне живет в Филадельфии. Сб. сти-



хов: «Мои птицы на ветке», 1998, «За крысоловом», 2000. Печатались в коллективных сборниках и лит. журналах.

**РОЗЕНТАЛЬ, ВЛАДИМИР.** Поэт-переводчик, график-иллюстратор, живописец. Род. в Киеве, Украина. В 90-х гг. эмигр. в США. Живет в Филадельфии.

**РОММ, МИХАИЛ.** Поэт. Род. в 1968 г. в Москве. В 1992 г. переехал в Сан-Диего, шт. Калифорния. Кн.: «Треугольные строфы», «Балаган», «География слова» и др.

**РУСАКОВА, ОЛЬГА.** Поэт. По профессии – библиотечкарь. Род. и живет в Москве. Окончила Колледж Искусств, занимается в Московском государственном университете культуры. Печатаются в литературных изданиях России.

**САДОВСКИЙ, МИХАИЛ.** Поэт, прозаик, детский писатель. Канд. техн. наук. Род. в 1937 г. в Москве. Автор мюзиклов, пьес, опер. Издал несколько десятков детских книг. Сб. стихов: «Завтрашнее солнце», 1992; «Бобе Лее», 1993; «Доверие», 1998, «Унисоны», 2001. Автор романа «Под часами», 2003. С 2000 г. живет в Нью-Йорке, США.

**САДХИН, ГЕОРГИЙ.** Поэт, по профессии инженер-физик. Род. в 1951 г. в Сумах, Украина. Жил в Троицке под Москвой. Работал в институте общей физики АН. С 1994 г. живет в Филадельфии, США. Печатаются в литературных изданиях. Один из авторов сборника «4», 2001.

**САНИНА, ИННА.** Поэт, прозаик. Живет в Лос-Анджелесе, Калифорния. По образованию архитектор, кандидат наук. Член Международного ПЕН-клуба. Автор поэтических сборников: «Цветы времени», «Смысл», «Родники» и др., публикации в литературных изданиях русского зарубежья.

**СЕРГЕЕВ, МИХАИЛ.** Доктор философии. Род. в 1960 г. в Москве. На Западе с 1990 г. Живет в Филадельфии, США. Преподаст в Университете Искусств.

**СИНДАЛОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР.** Прозаик, поэт. По профессии – программист. Род. в Ленинграде в 1972 г. В 1992 г. эмигрировал в США. Живет в Филадельфии. Окончил Темпл Университет. Изучал психологию. Печатаются в российских и зарубежных литературных изданиях. Сборник стихов "V.S.O.P.", 2004.

**СКУЛЬСКАЯ, ЕЛЕНА.** Поэт, прозаик, драматург. Читает лекции в университетах по русской лит. и истории театра. Живет в Таллинне, Эстония. Член Союза писателей России и Эстонии. Сб.: «Глава двадцать шестая», 1978, «Неизвестному художнику», 1980, «Песня грифельной ветки», 1984, кн. стихов и прозы «В пересчете на боль», 1991, «Записки к N...», 1996, «На смерть фикуса», 1996, «Рыбы спят с открытым ртом. Открытый рояль», 2000, «Русская рулетка» (на эстон. яз., 2002). Пьеса «Ева на шесте», сценарий для фильма о Леннарте Мери, фильм о С. Довлатове по сб. Елены Скульской «Малозвестный Довлатов» и «Довлатов. Жизнь. Творчество. Судьба». Публ.: «Нева», «Звезда» и мн. др.

**СКУРАТОВСКИЙ, ВАДИМ.** Доктор искусствоведения, профессор, действительный член (академик) Академии искусств Украины. Автор восьми книг. Более тысячи научных и литературно-критических статей по литературе, психологии, театро- и киноведению, истории искусства и культурологии. Род. в с. Бакланова-Муравейка, Украина. Окончил романо-германский ф-т Киевского ун-та. Профессор кафедры телережиссуры Киевского ун-та театра, кино и ТВ, доцент кафедры истории, культурологии и компаративистики Киево-Могилянской Академии, редактор отдела «Наука и культура» журн. «Сучасність».

**СМОЛЕНСКИЙ, ВАДИМ.** Эссеист. По профессии инженер, кандидат техн. наук. Род. в 1937 г. в Москве. На Западе с 1990 г. Живет и работает в Филадельфии, США. Автор вокальных поэм «Дачный роман» (по поэме Б. Ахмадулиной), «Граф Нулин», «Палинодия». Печатаются в зарубежных лит. изданиях. Эссе о музыке и искусстве.

**СОХРИН, БОРИС.** Смотри на стр. 369.

**СТОРОНКИН, АЛЕКСЕЙ.** Художник, дизайнер. Жил в Нью-Йорке, ныне живет в Берлине. Окончил Пенсильванскую и Нью-Йоркскую Академии искусств Участник художественных выставок. Работал художником в реставрационно-дизайнерской фирме Evergreen Painting Studios.

**СТУЛЬ, МАРИНА.** Доктор искусствоведения, редактор. Жила и работала в г. Челябинске. Окончила Крымский педагогический институт. Эмигрировала в США в 1992 г. Живет в Кливленде. Опубликовала шесть научно-популярных книг по общим проблемам воспитания творческих способностей средствами искусства. Печатаются в литературных изданиях.

**ТАРАШЕНКО, КАТЕРИНА.** Поэт. Род. в г. Калининграде, Россия. Окончила Санкт-Петербургский институт международной экономики и права. В 2004 г. выехала на

Запад. Живет в Филадельфии, США. Печатаются в литературных изданиях.

**ТИСЕЦКИЙ, ГРИГОРИЙ.** Поэт. Род. в 1985 г. Живет в Минске. Студент Академии Искусств, факультет театральной режиссуры.

**ТОРЧИНСКИЙ, ЯН.** Прозаик, поэт, литературовед, журналист. По профессии – инженер. Родился в 1934 г. в Киеве. Окончил Киевский политехнический институт. Эмигрировал на Запад в 1992 г. Ныне живет в Чикаго, США. Издается в России, Украине, США.

**ФЕТ, ВИКТОР.** Поэт. Род. в Кривом Роге, Украина. Окончил Новосибирский ун-тет. Эмигрировал в США в 1988 г. Ныне живет в Хантингтоне, Вэст Вирджиния. Сб. Стихотворений «Под стеклом», 2000.

**ФЕРР, ГАРРИ** (Бельфер Игорь). Поэт, прозаик. По профессии – геофизик. Доктор технических наук. Род. в 1947 г. в г. Алма-Ате. Окончил Политехнический институт. С 1993 г. живет в Израиле.

**ФИШЕЛЕВА, АННА.** Смотри на стр. 303.

**ФОКС, МИХАИЛ.** Поэт. Род. в 1974 г. В Москве. В 1987 эмигр. США. Учился на финансовом факультете Пенсильванского университета, Филадельфия. Ныне студент Колумбийского университета. Жил в Техасе, Буэнос-Айресе, затем в Нью-Йорке. Пишет стихи с 1996 г. Подготовлена к печати первая книга «Аргентинское танго».

**ФРИДМАН, ЭРИК** (Аркадий). Поэт, критик. По профессии – врач. Род. в 1968 г. в г. Черновцы, Украина. Жил в Калуге и Смоленске. На Западе с 1993 г. Живет в Филадельфии, США. Окончил Пенсильванский университет. Публикуется в литературных изданиях.

**ЦЫГАНКОВ, АЛЕКСАНДР.** Поэт, график. Род. в 1959 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. Жил в г. Кемерово, а с 1992 г. в Томске. Автор книг: «Тростниковая флейта», 1995, 2005, «Ветер над берегом», 2005.

**ЧАЙКОВСКАЯ, ИРИНА.** Прозаик, драматург, преподаватель. Род. в Москве. Окончила Педагогический университет. Кандидат фил. наук. С 1992 г. на Западе. Жила в Италии. В 1999 г. переехала в Солт-Лейк Сити, затем в Бостон, США. Книга прозы «Завтра увижу», 1991.

**ЧЕЧИК, ФЕЛИКС.** Поэт. Род. в г. Пинске, Белоруссия в 1961 г. Окончил Литературный институт в Москве. Учился в Институте славистики Кёльнского ун-та. Автор двух поэтических книг. Составитель антологии современной русской поэзии «Там звезды одни».

**ШЕЛКОВЫЙ, СЕРГЕЙ.** Смотри на стр. 358.

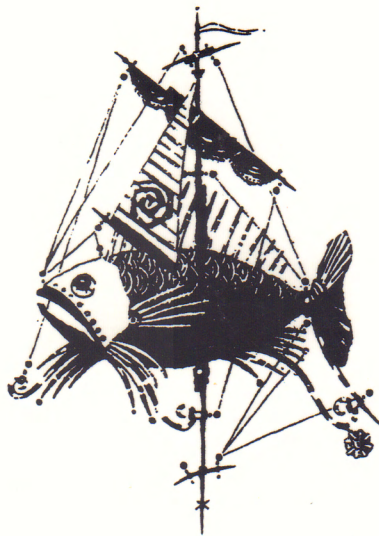
**ШРАЕР, МАКСИМ.** Поэт, прозаик, литературовед, переводчик, профессор-славист. Род. в Москве в 1967 г. С 1987 г. живет в США. Профессор литературы в Бостон Колледже. Сборники стихов: «Табун над лугом» (1990), «Американский романс» (1994), «Ньюхэйвенские сонеты» (1998). Автор книги «The World of Nabokov's Stories» (1999), «Russian Poet / Soviet Jew» (2000), «Набоков: темы и вариации» (2000). Составитель «Антологии еврейской литературы, 1800-2000».

**ШРАЕР-ПЕТРОВ, ДАВИД.** Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Род. в Ленинграде в 1936 г. С 1987 г. живет в Провиденсе, США. Автор 18 книг прозы, поэзии, воспоминаний. Кн. стихов «Холсты», 1967, две кн.-эссе о поэзии, «Песня о голубом слоне», 1990, «Вилла Боргезе», 1992, «Пропавшая душа», 1997, «Питерский дождь», 1999, «Форма любви», 2003. Романы: «В отказе», 1986, «Друзья и тени», 1989, «Герберт и Нелли», 1993, «Москва Злато-главая», 1994, «Французский коттедж», 1999 и др.

**ШРАЕР (ПОЛЯК), ЭМИЛИЯ.** Переводчик. Род. в Москве в 1940 г. В США с 1987 г. Переводит с английского и на английский. Переводы (совместно с Д. Шраером-Петровым) Э. Колдуэлла, австралийских поэтов и др.

**ШТЕЙН, ЭДУАРД** (1934-1999). Писатель, литературный критик, исследователь литературы, эссеист, доктор наук. Род. в Польше. С 1968 г. живет в США. Преподавал в Йельском ун-те. Основал изд. «Антиквариат». Кн.: «Литературно-шахматные коллизии от Набокова и Тала до Солженицына и Фишера», «Русская печать лагерей ДИ-ПИ». Оуб. более сотни статей по вопросам лит. исследований в России и Зарубежье.

**ЯРОВОЙ, СЕРГЕЙ.** Поэт. По профессии молекулярный биолог. Род. 1964 г. в Алчевске, Украина. Окончил Донецкий ун-тет. Защитил диссертацию в Институте биоорганической химии РАН. Жил и работал в Москве. Выехал на Запад в 1994 г. Жил во Франции, затем в США. Ныне живет в Филадельфии. Занимается научной работой в Пенсильванском ун-те. Публикуется в зарубежных литературных изданиях.



**THE COAST**  

---

**PHILADELPHIA**  
**2005**

**JAK**  
STUDIO